БОЛЬШИЕ КНИГИ



О. Генри

ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ

«ИНОСТРАНКА»

Трест, который лопнул
О. Генри

Аннотация
О. Генри. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕФФА ПИТЕРСА И ЭНДИ ТАККЕРА. (Сборник)
Трест, который лопнул
Джефф Питерс как персональный магнит
Развлечения современной деревни
Кафедра филантроматематики
Рука, которая терзает весь мир
Супружество как точная наука
Летний маскарад
Стриженый волк
Простаки с Бродвея
Совесть в искусстве
Кто выше?
Стихший ветер
Заложники Момуса
Поросячья этика
Примечания к сборнику
О. Генри. ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА. (Сборник)
Линии судьбы
Дары волхвов
Космополит в кафе

В антракте
Комната на чердаке
Из любви к искусству
Дебют Мэгги
Прожигатель жизни
Фараон и хорал
Гармония в природе
Воспоминания жёлтого пса
Приворотное зелье Айки Шонштейна
Золото и любовь
Весна порционно
Зелёная дверь
С высоты козел
Неоконченный рассказ
Калиф, Купидон и часы
Сёстры золотого кольца
Роман биржевого маклера
Через двадцать лет
Мишурный блеск
Курьер
Меблированная комната
Недолгий триумф Тильди
Примечания к сборнику
О. Генри. СЕРДЦЕ ЗАПАДА. (Сборник)
Сердце и крест
Выкуп

Друг Телемак
Справочник Гименея
Пимиентские блинчики
Поставщик седел
Санаторий на ранчо
Королева змей
Кудряш
Купидон порционно
Как истый кабальеро
Яблоко сфинкса
Пианино
По первому требованию
Принцесса и пума
Бабье лето Джонсона Сухого Лога
Ёлка с сюрпризом
Сказочный принц
Возрождение Каллиопы
Примечания к сборнику
О. Генри. ГОЛОС БОЛЬШОГО ГОРОДА. (Сборник)
Голос большого города
Один час полной жизни
Грошовый поклонник
Как прозрел Доггерти
Персики
Предвестник весны
Пока ждёт автомобиль

Комедия любопытства
Тысяча долларов
Город побеждён
Прихоти Фортуны
Адское пламя
Немезида и разносчик
Квадратура круга
Розы, резеда и романтика
Весна души
Кошмарная ночь на лоне столичной природы
Смерть дуракам
В Аркадии проездом
Погребок и Роза
Трубный глас
Похищение Медоры
Повар
Кто чем может
Святыня
Примечания к сборнику
О. Генри. ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ. (Сборник)
Деловые люди
Золото, которое блеснуло
Младенцы в джунглях
День воскресения
Пятое колесо
Поэт и поселянин

Ряса
Женщина и жульничество
Комфорт
Неизвестная величина
Театр — это мир
Блуждания без памяти
Муниципальный отчёт
Психея и небоскрёб
Багдадская птица
С праздником!
Новая сказка из «Тысячи и одной ночи»
Сила привычки
Теория и практика
Во втором часу у Руни
Искатели приключений
Поединок
«Кому что нужно»
Примечания к сборнику
О. Генри. КОЛОВРАЩЕНИЕ. (Сборник)
Дверь и мир
Теория и собака
Гипотетический казус
Шифр Кэллоуэя
Вопрос высоты над уровнем моря
«Девушка»
Костюм и шляпа в свете социологии

Вождь краснокожих
Брачный месяц май
Формальная ошибка
Так живут люди
Коловращение жизни
Жертва невпопад
Дороги, которые мы выбираем
Сделка
Оперетка и квартальный
Фальшивый доллар
Сила печатного слова
Громила и томми
Рождественский подарок
Особенный Нью-Йоркский колорит
Резолюция
Перспектива
Мадам Бо-Пип на ранчо
Примечания к сборнику

Аннотация

Знаменитый американский писатель О. Генри (Уильям Сидни Портер) — автор популярных коротких рассказов, мастер оригинальных поворотов сюжета, колоритных диалогов и ошеломляющих развязок. Творческое наследие писателя составляют свыше шестисот новелл, представляющих собой нечто вроде юмористической энциклопедии американской жизни начала XX века. Впрочем, зарисовки О. Генри как нельзя лучше отвечают и тому, что мы наблюдаем в современной жизни. Необыкновенно занимательные и остроумные, рассказы О. Генри по-прежнему живая классика… В настоящий том вошли все истории о приключениях двух благородных жуликов — Джеффа Питерса и Энди Таккера, а также целиком и полностью пять самых известных авторских сборников.

Содержание:

1. **О. Генри:** Приключения Джеффа Питерса и Энди Таккера (сборник) *(1904-1908)*

2. **О. Генри:** Четыре миллиона (сборник)

(1906)

3. **О. Генри:** Сердце Запада (сборник) *(1907))*
4. **О. Генри:** Голос большого города (сборник) *(1908)*
5. **О. Генри:** Деловые люди (сборник) *(1910)*
6. **О. Генри:** Коловращение (сборник) *(1910)*

О. Генри
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕФФА ПИТЕРСА И ЭНДИ ТАККЕРА
(Сборник)

Трест, который лопнул

Перевод К. Чуковского

— Трест есть свое самое слабое место, — сказал Джефф Питерс.

— Это напоминает мне, — сказал я, — бессмысленное изречение вроде «Почему существует полисмен?».

— Ну нет, — сказал Джефф, — между полисменом и трестом нет ничего общего. То, что я сказал, — это эпиграмма… ось… или, так сказать, квинтэссенция. А значит она, что трест и похож и не похож на яйцо. Когда хочешь раскокать яйцо, бьешь его снаружи. А трест можно разбить только изнутри. Сиди на нем и жди, когда птенчик разнесет всю скорлупу. Поглядите, какой выводок новоиспеченных колледжей и библиотек щебечет и чирикает по всей стране. Да, сэр, каждый трест носит в своей груди семена собственной гибели, как петух, который в штате Джорджия вздумает запеть слишком близко от сборища негров-методистов, или тот член республиканской партии, который выставляет свою кандидатуру в губернаторы Техаса.

Я шутя спросил Джеффа, не приводилось ли ему на протяжении его пестрой, полосатой, клетчатой и крапленой карьеры стоять во главе предприятия, которому можно было бы дать наименование треста. К моему удивлению, он признал за собой этот грех.

— Один-единственный раз, — сказал он. — И никогда печать штата Нью-Джерси не скрепляла документа, который давал бы права на более солидный и верный образчик законного ограбления ближних. Все было к нашим услугам — вода, ветер, полиция, выдержка и безраздельная монополия на ценный продукт, чрезвычайно нужный потребителям. Ни один враг монополий и трестов не мог бы найти в нашем предприятии никакого изъяна. В сравнении с ним маленькая нефтяная афера Рокфеллера казалась жалкой керосинной лавчонкой. И все-таки мы прогорели.

— Возникли, вероятно, какие-нибудь неожиданные препятствия? — спросил я.

— Нет, сэр, все было именно так, как я сказал. Мы сами себя погубили. Это был случай самоликвидации. Люлька оказалась с трещинкой, как выразился Альберт Теннисон[1].

---

[1] Примечания: 1

«Трещинка в лютне» — известные слова из поэмы Альфреда Теннисона «Мерлин».

Вы помните, я уже рассказывал вам, что мы работали несколько лет в компании с Энди Таккером. Этот Энди был гениальный мастак на всякие военные хитрости. Каждый доллар в руке у другого он воспринимал как личное для себя оскорбление, если не мог воспринять его как добычу. Он был человек образованный, и к тому же полезных сведений у него была уйма. Он почерпнул из книг богатейший опыт и мог часами говорить на любую тему, насчет идей и всяких словопрений. Нет такого жульничества, которого бы он не испробовал, начиная с лекций о Палестине, которые он оживлял, показывая с помощью волшебного фонаря снимки ежегодного съезда закройщиков готового платья в Атлантик-Сити, и кончая ввозом в Коннектикут целого моря поддельного древесного спирта, добытого из мускатных орехов.

Как-то весной нам с Энди случилось на короткое время побывать в Мексике, где один капиталист из Филадельфии заплатил нам две тысячи пятьсот долларов за половину паев серебряного рудника в Чихуахуа. Да нет, такой рудник существовал. Все было в порядке. Другая половина паев стоила двести или триста тысяч долларов. Я часто думал потом: кому принадле-

жал этот рудник?

Возвращаясь в Соединенные Штаты, мы с Энди споткнулись об один городишко в Техасе, на берегу Рио-Гранде. Назывался городишко Птичий Город, но жили там вовсе не птицы. Там было две тысячи душ населения, все больше мужчины. На мой взгляд, возможность существовать им давали главным образом густые заросли чапарраля, окружавшие город. Иные из жителей были скотопромышленники, иные — картежники, иные — лошадиные барышники, иные — и таких было много — работали по части контрабанды. Мы с Энди поселились в гостинице, которая представляла собой нечто среднее между книжным шкафом и садом на крыше. Чуть мы прибыли туда, пошел дождь. Как говорится, залез Ной на гору Арарат и отвернул краны небесные.

Надо сказать, что хотя мы с Энди и непьющие, но в городе было три кабака, и все жители целый день и добрую половину ночи шагали по треугольнику из одного в другой. Каждому было отлично известно, что ему делать со своими деньгами.

На третий день дождь чуть-чуть перестал, и мы с Энди отправились за город полюбоваться прегрязной природой. Птичий Город был постро-

ен между Рио-Гранде и широкой ложбиной, где прежде протекала река. Сейчас, когда река вздулась от дождей, дамба, отделявшая ее от старого русла, была размыта и совсем сползала в воду. Энди долго смотрел на нее. Ум у этого человека никогда не дремал. Не сходя с места, он открыл мне идею, которая осенила его. Вот тогда-то мы и основали трест, а потом вернулись в город и пустили в ход свою идею.

Первым делом мы отправились в главный салун, который назывался «Голубая змея», и приобрели его в собственность. Это стоило нам тысячу двести долларов. А потом мы зашли на минутку в бар мексиканца Джо, поговорили о погоде и так, между делом, купили его за пятьсот. Третий нам охотно уступили за четыреста.

Проснувшись на следующее утро, Птичий Город увидел, что он превратился в остров. Река прорвала дамбу и хлынула в старое русло; весь город был окружен ревущими потоками воды. Дождь лил не переставая; на северо-западе висели тяжелые тучи, предвещавшие на ближайшие две недели еще штук шесть среднегодовых осадков. Но главная беда была впереди.

Птичий Город выпорхнул из гнезда, отряхнул перышки и поскакал за утренней выпивкой. И ах!

Бар мексиканца закрыт, другой пункт спасения утопающих — тоже. Естественно, из всех глоток разом вырывается крик изумления и жажды, и жители скопом несутся в «Голубую змею». И что же они видят в «Голубой змее»? За одним концом стойки сидит Джефферсон Питерс, этакий восьминогий спрут-эксплуататор, справа у него кольт и слева у него кольт, и он готов дать сдачи либо долларами, либо пулей. В заведении — три бармена, а на стене вывеска в десять футов длины: «Каждая выпивка — доллар». Энди сидит на несгораемой кассе, на нем шикарный синий костюм, в зубах первоклассная сигара, вид выжидательный. Тут же начальник полиции с двумя полисменами: трест обещал им бесплатную выпивку.

Да, сэр, не прошло и десяти минут, как Птичий Город понял, что дверца клетки захлопнулась. Мы ждали бунта, но все обошлось спокойно. Жители знали, что они в наших руках. Ближайшая станция железной дороги находилась за тридцать миль, и можно было с уверенностью сказать, что вода в реке спадет не раньше, чем через две недели, а до той поры переправа невозможна. И жители выругались, но очень учтиво, а потом стали сыпать доллары к нам на прилавок

так исправно, что звон стоял, как от попурри на ксилофоне.

В Птичьем Городе было около полутора тысяч взрослых мужчин, достигших легкомысленного возраста; чтобы не умереть от тоски, большинству из них требовалось от трех до двадцати стаканов в день. Пока не схлынет вода, «Голубая змея» оставалась единственным местом, где они могли получить их. Это было и красиво и просто, как всякое подлинно великое жульничество.

К десяти часам утра серебряные доллары, сыпавшиеся на стойку, немного замедлили темп и стали вместо джиги наигрывать тустепы и марши. Но я глянул в окно и увидел, что сотни две наших клиентов вытянулись длинным хвостом перед городской сберегательной и ссудной кассой, и понял, что они хлопочут о новых долларах, которые высосет у них наш восьминог своими мокрыми и скользкими щупальцами.

В полдень все ушли по домам обедать, как и подобает фешенебельным людям. Мы разрешили барменам воспользоваться этим кратким затишьем и тоже пойти закусить, а сами стали подсчитывать выручку. Мы заработали тысячу триста долларов. По нашему подсчету выходило, что, если Птичий Город останется островом еще

две недели, у нашего треста будет достаточно средств, чтобы пожертвовать Чикагскому университету новое общежитие с обитыми войлоком стенами для всех профессоров и доцентов и подарить ферму каждому добродетельному бедняку в Техасе, если участок земли он купит за собственный счет.

Энди — того так и распирало от гордости, потому что ведь план первоначально зародился в его предпосылках. Он слез с несгораемой кассы и закурил самую большую сигару, какая только нашлась в салуне.

— Джефф, — говорит он, — я думаю, что во всем мире не найти пауков-эксплуататоров, столь изобретательных по части угнетения рабочего класса, как торговый дом «Питерс, Таккер и Сатана». Мы нанесли мелкому потребителю чувствительнейший удар в область солнечного переплетения. Что, не так?

— Верно, — говорю я, — выходит, что ничего нам не останется, как заняться гастритом и гольфом или заказать себе шотландские юбочки и ехать охотиться на лисиц. Этот фокус с выпивкой, по-видимому, удался. И мне он по душе, — говорю я, — ибо худой жир лучше доброй чахотки.

Энди наливает себе стаканчик нашей лучшей

ячменной и препровождает его по назначению. Это была его первая выпивка за все время, что я его знал.

— Вроде как излияние богам, — пояснил он.

Почтив таким образом языческих идолов, он осушил еще стаканчик — за преуспеяние нашего дела. А потом и пошло — он пил за всю промышленность, начиная от Северной тихоокеанской дороги и кончая всякой мелочью вроде заводов маргарина, синдиката учебников и федерации шотландских горняков.

— Энди, Энди, — говорю я ему, — это очень похвально с твоей стороны, что ты пьешь за здоровье наших братских монополий, но смотри, дружок, не увлекайся тостами. Ты ведь знаешь, что самые наши знаменитые и всеми ненавидимые архимиллиардеры не вкушают ничего, кроме жидкого чая с сухариками.

Энди ушел за перегородку и через несколько минут вышел оттуда в парадном костюме. Во взгляде у него было что-то возвышенное и смертоносное, этакий, я бы сказал, благородный и праведный вызов. Очень не понравился мне этот взгляд. Я всматривался в Энди с беспокойством: какую штуку выкинет с ним виски? В жизни бывают два случая, которые неизвестно чем кон-

чаются: когда мужчина выпьет в первый раз и когда женщина выпьет в последний.

За какой-нибудь час «муха» у Энди выросла в целого скорпиона. Снаружи он был вполне благопристоен и умудрялся сохранять равновесие, но внутри он был весь начинен сюрпризами и экспромтами.

— Джефф, — говорит он, — ты знаешь, что я такое? Я кратер, живой вулканический кратер.

— Эта гипотеза, — говорю я, — не нуждается ни в каких доказательствах.

— Да, я огнедышащий кратер. Из меня так и пышет пламя, а внутри клокочут слова и комбинации слов, которые требуют выхода. Миллионы синонимов и частей речи так и прут из меня на простор, и я не успокоюсь, пока не произнесу какую-нибудь этакую речь. Когда я выпью, — говорит Энди, — меня всегда влечет к ораторскому искусству.

— Нет ничего хуже, — говорю я.

— С самого раннего детства, — продолжает Энди, — алкоголь возбуждал во мне позывы к риторике и декламации. Да что, во время второй

избирательной кампании Брайана[2] мне давали по три порции джина, и я, бывало, говорил о серебре на два часа дольше самого Билли. Но в конце концов мне дали возможность убедиться на собственном опыте, что золото лучше.

— Если тебе уж так приспичило освободиться от лишних слов, — говорю я, — ступай к реке и поговори, сколько нужно. Помнится, уже был один такой старый болтун, — звали его Кантарид, — который ходил на берег моря и там облегчал свою глотку.

— Нет, — говорит Энди, — мне нужна аудитория, публика. Я чувствую, что дай мне сейчас волю — и сенатора Бэвриджа прозовут Юным Сфинксом Уобаша. Я должен собрать аудиторию, Джефф, и утихомирить свой ораторский зуд, иначе он пойдет внутрь и я буду чувствовать себя ходячим собранием сочинений миссис Саутворт в роскошном переплете с золотым обрезом.

— А на какую тему ты хотел бы поупражнять свои голосовые связки? — спрашиваю я. — Есть ли у тебя какие-нибудь теоремы и тезисы?

— Тема любая, — говорит Энди, — для меня

---

[2] Примечания: 2

Брайан Уильям (1860–1925) — несколько раз был кандидатом на пост президента; одним из пунктов его программы была неограниченная чеканка серебра и уравнение его с золотом как платежного средства.

безразлично. Я одинаково красноречив во всех областях. Могу поговорить о русской иммиграции, или о поэзии Китса, или о новом тарифе, или о кабильской словесности, или о водосточных трубах, и будь уверен: мои слушатели будут попеременно то плакать, то хныкать, то рыдать, то обливаться слезами.

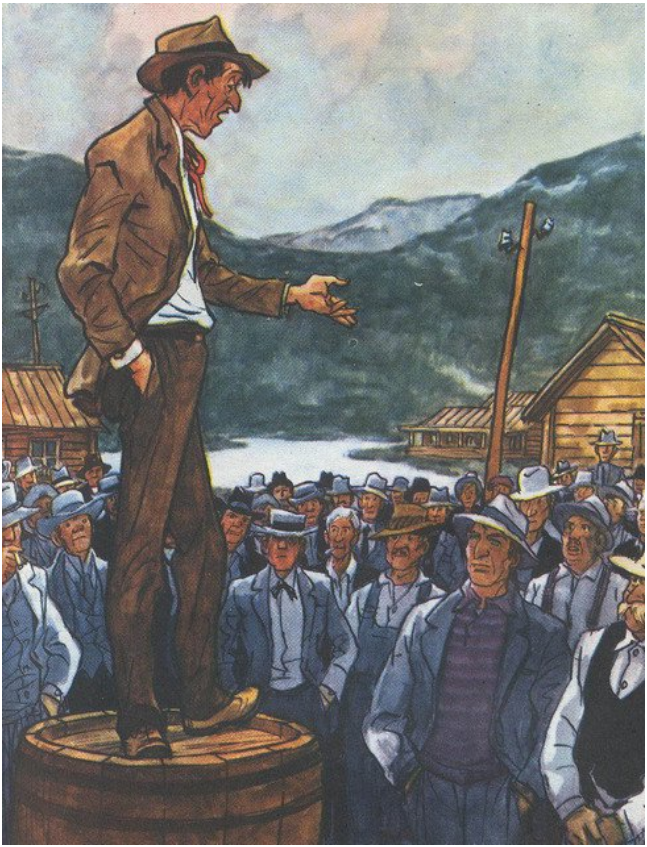
— Ну что ж, Энди, — говорю я ему, — если уж тебе совсем невтерпеж, иди и вылей весь избыток своих словесных ресурсов на голову какому-нибудь здешнему жителю, который подоброе и повыносливее. Мы с нашими подручными и без тебя тут управимся. В городе скоро кончат обедать, а соленая свинина с бобами, как известно, вызывает жажду. К полуночи у нас будет еще полторы тысячи долларов.

И вот Энди выходит из «Голубой змеи», и я вижу, как он останавливает на улице каких-то прохожих и вступает с ними в разговор. Не прошло и десяти минут, как вокруг него собралась небольшая кучка людей, а вскоре я увидел, что он стоит на углу, говорит что-то и машет руками, а перед ним уже порядочная толпа. Потом он повернулся и пошел, а толпа за ним, а он все говорит. И он повел их по главной улице Птичьего Города, и по дороге к ним приставали еще и еще

прохожие. Это напомнило мне старый фокус, о котором я читал в книгах, как один дудочник все играл на дудке и до того доигрался, что увел с собой всех детей, какие только были в городе[3].

[3] Примечания: 3

Питерс имеет в виду рассказанную поэтом Робертом Браунингом легенду про мстительного колдуна-крысолова из Гаммельна, который игрою на дудке заманил всех детей города в пещеру и там погубил.



Пробило час, потом два, потом три, а ни одна птица так и не залетела к нам выпить. На ули-

цах было пусто, одни утки, да изредка женщина пройдет мимо в лавчонку. А между тем дождик почти перестал.

Какой-то мужчина остановился у нашей двери, чтобы соскрести грязь, налипшую на сапоги.

— Милый, — говорю я ему, — что случилось? Сегодня утром здесь царило лихорадочное веселье, а теперь весь город похож на развалины Тира и Сифона, где по стенам ползает одинокая ящерица.

— Весь город, — отвечает он, — собрался у Сперри, на складах шерсти, и слушает речь вашего друга-приятеля. Что и говорить, он умеет извлекать из себя всякие звуки касательно разных материй.

— Вот оно что, — говорю я. — Ну, надеюсь, что он сделает перерыв очень скоро, потому что от этого страдает торговля.

До самого вечера к нам не заглянул ни один клиент. В шесть часов два мексиканца привезли Энди в салун: он возлежал на спине их осла. Мы уложили пьяного в постель, а он все еще бормотал, жестикулируя руками и ногами.

Я закрыл кассу и пошел разузнать, что случилось. Вскоре мне попался человек, который рассказал мне всю историю. Оказывается, Энди

говорил два часа подряд. Он произнес самую великолепную речь, какую, по словам этого человека, когда-либо слышали не только в Техасе, но и на всем земном шаре.

— О чем же он говорил? — спросил я.

— О вреде пьянства, — ответил тот. — И когда он кончил, все жители Птичьего Города подписали бумагу, что в течение целого года в рот не возьмут спиртного.

Джефф Питерс как персональный магнит

Перевод К. Чуковского

Джефф Питерс делал деньги самыми разнообразными способами. Этих способов было у него никак не меньше, чем рецептов для приготовления рисовых блюд у жителей Чарлстона, штат Южная Каролина.

Больше всего я люблю слушать его рассказы о днях его молодости, когда он торговал на улицах мазями и пилюлями от кашля, жил впроголодь, дружил со всем светом и на последние медяки играл в орлянку с судьбой.

— Попал я однажды в поселок Рыбачья Гора, в Арканзасе, — рассказывал он. — На мне был костюм из оленьей шкуры, мокасины, длинные волосы и перстень с тридцатикаратовым бриллиантом, который я получил от одного актера в Тексаркане. Не знаю, что он сделал с тем перочинным ножиком, который я дал ему в обмен на этот перстень.

В то время я был доктор Воф-Ху, знаменитый индейский целитель. В руках у меня не было ни-

чего, кроме великолепного снадобья: «Настойки для Воскрешения Больных». Настойка состояла из живительных трав, случайно открытых красавицей Та-Ква-Ла, супругой вождя племени чокто. Красавица собирала зелень для украшения национального блюда — вареной собаки, ежегодно подаваемой во время пляски на Празднике Кукурузы, — и наткнулась на эту траву.

В городке, где я был перед этим, дела шли неважно: у меня оставалось всего пять долларов. Прибыв на Рыбачью Гору, я пошел в аптеку, и там мне дали взаймы шесть дюжин восьмиунциевых склянок с пробками. Этикетки и нужные припасы были у меня в чемодане. Жизнь снова показалась мне прекрасной, когда я достал себе в гостинице номер, где из крана текла вода, и бутылки с «Настойкой для Воскрешения Больных» дюжинами стали выстраиваться передо мной на столе.

— Шарлатанство? Нет, сэр. В склянках была не только вода. К ней я примешал хинина на два доллара, да на десять центов анилиновой краски. Много лет спустя, когда я снова проезжал по тем местам, люди просили меня дать им еще порцию этого снадобья.

В тот же вечер я нанял тележку и открыл тор-

говлю на Главной улице. Рыбачья Гора, хоть и называлась Горой, но была расположена в болотистой, малярийной местности; и я поставил диагноз, что населению как раз не хватает легочно-сердечной и противозолотушной микстуры. Настойка разбиралась так шибко, как мясные бутерброды на вегетарианском обеде. Я уже продал две дюжины склянок по пятидесяти центов за штуку, как вдруг почувствовал, что кто-то тянет меня за фалды. Я знал, что это значит. Быстро спустившись с тележки, я сунул пять долларов в руку субъекту с немецкой серебряной звездой на груди.

— Констебль, — говорю я, — какой прекрасный вечер!

А он спрашивает:

— Имеется ли у вас городской патент на право продажи этой нелегальной бурды, которую вы из любезности зовете лекарством? Получили ли вы бумагу от города?

— Нет, не получал, — говорю я, — так как я не знал, что это город. Если мне удастся найти его завтра, я достану себе и патент.

— Ну а до той поры я вынужден прикрыть вашу торговлю, — говорит полисмен.

Я перестал торговать и, вернувшись в гостини-

цу, рассказал хозяину все, что случилось.

— У нас, на Рыбачьей Горе, вам не дадут развернуться, — сказал он. — Ничего у вас не выйдет. Доктор Хоскинс — зять мэра, единственный доктор на весь город, и власти никогда не допустят, чтобы какой-то самозваный целитель отбивал у него практику.

— Да я не занимаюсь медициной, — говорю я. — У меня патент от управления штата на розничную торговлю, а когда с меня требуют особое свидетельство от города, я беру его, вот и все.

На следующее утро иду я в канцелярию мэра, но мне говорят, что он еще не приходил, а когда придет — неизвестно. Поэтому доктору Воф-Ху ничего не оставалось, как снова вернуться в гостиницу, грустно усесться в кресло, закурить сигару и ждать.

Немного погодя подсаживается ко мне молодой человек в синем галстуке и спрашивает, который час.

— Половина одиннадцатого, — говорю я, — а вы Энди Таккер. Я знаю некоторые ваши делишки. Ведь это вы создали в Южных штатах «Универсальную посылку Купидон». Погодите-ка, что в ней было?.. Да, да, обручальный перстень с чилийским брильянтом, кольцо для венчания,

машинка для растирания картофеля, склянка успокоительных капель и портрет Дороти Вернон — все за пятьдесят центов.

Энди был польщен, что я помню его. Это был талантливый уличный жулик, и, что важнее всего, он уважал свое ремесло и довольствовался тремястами процентов чистой прибыли. Он имел много предложений перейти на нелегальную торговлю наркотиками, но никому не удавалось совратить его с прямого пути.

Мне нужен был компаньон, мы переговорили друг с другом и согласились работать вместе. Я сообщил ему о положении вещей на Рыбачьей Горе, как трудны здесь финансовые операции ввиду вторжения в политику касторки. Энди прибыл только что с утренним поездом. У него у самого дела были не блестящи, и он намеревался открыть в этом городе публичную подписку для сбора пожертвований на постройку нового броненосца в городе Эврика-Спрингс[4]. Было о чем потолковать, и мы вышли на крыльцо.

На следующее утро в одиннадцать, когда я сидел в номере один-одинешенек, является ко мне какой-то дядя Том и просит, чтобы доктор пожа-

---

[4] Примечания: 4

Эврика-Спрингс — городок в Арканзасе, вдали от моря.

ловал на квартиру к судье Бэнксу, который, как выяснилось, и был мэром, — он тяжело захворал.

— Я не доктор, — говорю я, — почему вы не позовете доктора?

— Ах, господин, — говорит дядя Том, — доктора Хоскинса уехала из города за двадцать миль… в деревню… его вызвали к больному… Он один врач на весь город, а судья Бэнкса очень плоха… Он послал меня. Пожалуйста, идите к нему. Он очень, очень просит.

— Как человек к человеку, я, пожалуй, пойду и осмотрю его, как человек человека, — говорю я, кладу к себе в карман флакон «Настойки для Воскрешения Больных» и направляюсь в гору к особняку мэра. Отличный дом, лучший в городе: мансарда, крутая крыша и две чугунные собаки на лужайке.

Мэр Бэнкс в постели; из-под одеяла торчат только бакенбарды да кончики ног. Он издает такие утробные звуки, что, будь это в Сан-Франциско, все подумали бы, что землетрясение, и кинулись бы спасаться в парки. У кровати стоит молодой человек и держит кружку воды.

— Доктор, — говорит мэр, — я ужасно болен. Помираю. Не можете ли вы мне помочь?

— Мистер мэр, — говорю я, — я не могу назвать

себя подлинным учеником Эс. Ку. Лаппа. Я никогда не изучал в университете медицинских наук и пришел к вам просто, как человек к человеку, посмотреть, чем я могу помочь.

— Я глубоко признателен вам, — отвечает больной. — Доктор Воф-Ху, это мой племянник, мистер Бидл. Он пытался облегчить мою боль, но безуспешно. О господи! Ой, ой, ой! — завопил он вдруг.

Я кланяюсь мистеру Бидлу подсаживаюсь к кровати и щупаю пульс у больного.

— Позвольте посмотреть вашу печень, то есть язык, — говорю я. Затем поднимаю ему веки и долго вглядываюсь в зрачки.

— Когда вы заболели? — спрашиваю я.

— Меня схватило… ой, ой… вчера вечером, — говорит мэр. — Дайте мне чего-нибудь, доктор, спасите, облегчите меня!

— Мистер Фидл, — говорю я, — приподнимите-ка штору.

— Не Фидл, а Бидл, — поправляет меня молодой человек — А что, дядя Джеймс, — обращается он к судье, — не думаете ли вы, что вы могли бы скушать яичницу с ветчиной?

— Мистер мэр, — говорю я, приложив ухо к его правой лопатке и прислушиваясь, — вы схватили

серьезное сверхвоспаление клавикулы клавикордиала.

— Господи боже мой, — застонал он, — нельзя ли что-нибудь втереть, или вправить, или вообще что-нибудь?

Я беру шляпу и направляюсь к двери.

— Куда вы? — кричит мэр. — Не покинете же вы меня одного умирать от этих сверхклавикордов?

— Уж из одного сострадания к ближнему, — говорит Бидл, — вы не должны покидать больного, доктор Хоа-Хо…

— Доктор Воф-Ху, — поправляю я и затем, возвратившись к больному, откидываю назад мои длинные волосы.

— Мистер мэр, — говорю я, — вам осталась лишь одна надежда. Медикаменты вам не помогут. Но существует другая сила, которая одна стоит всех ваших снадобий, хотя и они стоят недешево.

— Какая же это сила? — спрашивает он.

— Пролегомены науки, — говорю я. — Победа разума над сарсапариллой. Вера в то, что болезни и страдания существуют только в нашем организме, когда вы чувствуете, что вам нездоровится. Признайте себя побежденным. Демонстрируйте!

— О каких это параферналиях вы говорите,

доктор? — спрашивает мэр. — Уж не социалист ли вы?

— Я говорю о великой доктрине психического финансирования, о просвещенном методе подсознательного лечения абсурда и менингита внушением на расстоянии, об удивительном комнатном спорте, известном под названием персонального магнетизма.

— И вы можете это проделать, доктор? — спрашивает мэр.

— Я один из Единых Синедрионов и Явных Моголов Внутреннего Храма, — говорю я. — Хромые начинают говорить, а слепые ходить, как только я сделаю пассы. Я — медиум, колоратурный гипнотизер и спиртуозный контролер человеческих душ. На последних сеансах в Анн-Арборе покойный председатель Уксусно-Горького общества мог только при моем посредстве возвращаться на землю для бесед со своей сестрой Джейн. Правда, в настоящее время я, как вы знаете, продаю с тележки лекарства для бедных и не занимаюсь магнетической практикой, так как не хочу унижать свое искусство слишком низкой оплатой: много ли возьмешь с бедноты!

— Возьметесь ли вы вылечить гипнотизмом меня? — спрашивает мэр.

— Послушайте, — говорю я, — везде, где я бываю, я встречаю затруднения с медицинскими обществами. Я не занимаюсь практикой, но для спасения вашей жизни я, пожалуй, применю к вам психический метод, если вы, как мэр, посмотрите сквозь пальцы на отсутствие у меня разрешения.

— Разумеется, — говорит он. — Только начинайте скорее, доктор, а то я снова чувствую жестокие приступы боли.

— Мой гонорар двести пятьдесят долларов, — говорю я, — излечение гарантирую в два сеанса.

— Хорошо, — говорит мэр, — заплачу. Полагаю, что моя жизнь стоит этих денег.

Я присел у кровати и стал смотреть на него в упор.

— Теперь, — сказал я, — отвлеките ваше внимание от вашей болезни. Вы здоровы. У вас нет ни сердца, ни ключицы, ни лопатки, ни мозгов — ничего. Вы не испытываете боли. Признайтесь, что вы ошиблись, считая себя больным. Ну а теперь вы, не правда ли, чувствуете, что боль, которой у вас никогда не бывало, постепенно уходит от вас.

— Да, доктор, черт возьми, мне и в самом деле стало как будто легче, — говорит мэр. — Пожа-

луйста, продолжайте врать, что я будто бы здоров и будто бы у меня нет этой опухоли в левом боку. Я уверен, что еще немного, и меня можно будет приподнять в постели и дать мне колбасы с гречишной булкой.

Я сделал еще несколько пассов.

— Ну, — говорю я, — теперь воспалительное состояние прошло. Правая лопасть перигелия уменьшилась. Вас клонит ко сну. Ваши глаза слипаются. Ход болезни временно прерван. Теперь вы спите.

Мэр медленно закрывает глаза и начинает похрапывать.

— Заметьте, мистер Тидл, — говорю я, — чудеса современной науки.

— Бидл, — говорит он. — Но когда же вы назначите второй сеанс для излечения дядюшки, доктор Пу-Пу?

— Воф-Ху — говорю я. — Я буду у вас завтра в одиннадцать утра. Когда он проснется, дайте ему восемь капель скипидара и три фунта бифштекса. Всего хорошего.

На следующее утро я пришел в назначенное время.

— Ну что, мистер Ридл, — сказал я, как только он ввел меня в спальню, — каково самочувствие

вашего дядюшки?

— Кажется, ему гораздо лучше, — отвечает молодой человек.

Цвет лица и пульс у мэра были в полном порядке. Я сделал второй сеанс, и он заявил, что последние остатки боли у него улетучились.

— А теперь, — говорю я, — вам следует день-другой полежать в постели, и вы совсем поправитесь. Ваше счастье, что я очутился здесь, на вашей Рыбачьей Горе, мистер мэр, так как никакие средства, известные в корнукопее и употребляемые официальной медициной, не могли бы вас спасти. Теперь же, когда медицинская ошибка обнаружена, когда доказано, что ваша боль самообман, поговорим о более веселых материях — например, о гонораре в двести пятьдесят долларов. Только, пожалуйста, без чеков. Я с такой же неохотой расписываюсь на обороте чека, как и на его лицевой стороне.

— Нет, нет, у меня наличные, — говорит мэр, доставая из-под подушки бумажник; он отсчитывает пять бумажек по пятидесяти долларов и держит их в руке.

— Бидл, — говорит он, — возьмите расписку.

Я пишу расписку, и мэр дает мне деньги. Я тщательно прячу их во внутренний карман.

— А теперь приступите к исполнению ваших обязанностей, сержант, — говорит мэр, ухмыляясь совсем как здоровый.

Мистер Бидл кладет руку мне на плечо.

— Вы арестованы, доктор Воф-Ху или, вернее, Питерс, — говорит он, — за незаконные занятия медициной без разрешения властей штата.

— Кто вы такой? — спрашиваю я.

— Я вам скажу, кто он такой, — говорит мэр, приподнимаясь на кровати как ни в чем не бывало. — Он сыщик, состоящий на службе в Медицинском обществе штата. Он шел за вами по пятам, выслеживал вас в пяти округах и явился ко мне третьего дня, и мы вместе придумали план, чтобы вас изловить. Полагаю, что отныне ваша практика в наших местах кончена раз навсегда, господин шарлатан. Ха, ха, ха! Какую болезнь вы нашли у меня? Ха, ха, ха! Во всяком случае, не размягчение мозга?

— Сыщик! — говорю я.

— Именно, — отвечает Бидл. — Мне придется сдать вас шерифу.

— Ну, это мы еще посмотрим! — говорю я, хватаю его за горло и чуть не выбрасываю из окна. Но он вынимает револьвер, сует мне его в подбородок, и я успокаиваюсь. Затем он надевает на

меня наручники и вытаскивает из моего кармана только что полученные деньги.

— Я свидетельствую, — говорит он, — что это те самые банкноты, которые мы с вами отметили, судья Бэнкс. Я вручу их в полицейском участке шерифу, и он пришлет вам расписку. Им придется фигурировать в деле в качестве вещественного доказательства.

— Ладно, мистер Бидл, — говорит мэр. — А теперь, доктор Воф-Ху — продолжает он, обращаясь ко мне, — почему вы не воспользуетесь своим магнетизмом и не сбросите с себя кандалы?

— Пойдемте, сержант, — говорю я с достоинством. — Нечего делать, надо покориться судьбе. — А затем, оборачиваясь к старому Бэнксу и потрясая кандалами, говорю:

— Мистер мэр, недалеко то время, когда вы убедитесь, что персональный магнетизм огромная сила, которая сильнее вашей власти. Вы увидите, что победит она.

И она действительно победила.

Когда мы дошли до ворот, я говорю сыщику:

— А теперь, Энди, сними-ка с меня наручники, а то перед прохожими неловко…

Что? Ну да, конечно, это был Энди Таккер. Весь план был его изобретением: так-то мы и добыли

денег для дальнейшего совместного бизнеса.

Развлечения современной деревни

Перевод К. Чуковского

Джефф Питерс нуждается в напоминаниях. Всякий раз, когда попросишь его рассказать какое-нибудь приключение, он уверяет, что жизнь его так же бедна событиями, как самый длинный из романов Троллопа[5]. Но если незаметно заманить его, он попадается. Поэтому я всегда бросаю несколько самых разнообразных наживок, прежде чем удостоверюсь, что он клюнул.

— По моим наблюдениям, — сказал я однажды, — среди фермеров Запада, при всей их зажиточности, снова заметно движение в пользу старых популистских кумиров[6].

— Уж такой сезон, — сказал Джефф, — всюду заметно движение. Фермеры куда-то порываются, сельдь идет несметными косяками, из деревьев

---

[5] Примечания: 5

Троллоп Энтони (1815–1882) — английский писатель, автор пространных бытовых романов.

[6] Примечания: 6

Популисты — мелкобуржуазная фермерская партия, созданная в 1891 г. и провозгласившая борьбу за некоторые реформы — передачу государству железных дорог и телеграфа, введение подоходного налога, ограничение земельной собственности и др.

сочится смола, и на реке Конемо начался ледоход. Я немного разбираюсь в фермерах. Однажды я вообразил, что нашел фермера, который хоть немного отклонился от проторенной колеи своих собратьев. Но Энди Таккер доказал мне, что я ошибаюсь. «Фермером родился — простофилей умрешь», — сказал Энди. «Фермер — это человек, пробившийся в люди наперекор всем политическим баламутам, баллотировкам и балету, — сказал Энди, — и я не знаю, кого бы мы стали надувать, если б его не было на свете».

Как-то просыпаемся мы с Энди утром, а у нас всего капитала шестьдесят восемь центов. Было это в желтой сосновой гостинице, в Южной Индиане. Как мы накануне соскочили с поезда, я не могу вам сказать; об этом даже страшно подумать, потому что поезд шел мимо деревни так быстро, что из окна вагона нам казалось, будто мы видим салун, а когда мы соскочили, мы увидели, что это были две разные вещи, отстоявшие одна от другой на два квартала: аптекарский магазин и цистерна с водою.

Почему мы соскочили с поезда при первом же удобном случае? Тут были замешаны часики из фальшивого золота и партия брильянтов с Аляски, которые нам не удалось спустить по ту

сторону кентуккийской границы.

Когда я проснулся, я услышал, что кричат петухи; пахло чем-то вроде азотно-соляной кислоты; что-то тяжелое хлопнулось об пол в нижнем этаже; какой-то мужчина ругнулся.

— Энди, — говорю я, — смотри веселее! Мы ведь попали в деревню. Там внизу кто-то швырнул для пробы фальшивым слитком чистого золота. Пойдем и получим с фермера то, что нам причитается. Обмишулим его, а потом до свидания.

Фермеры всегда были для меня чем-то вроде запасного фонда. Всякий раз, бывало, чуть дела у меня пошатнутся, я иду на перекресток, зацепляю фермера крючком за подтяжку, выкладываю ему механическим голосом программу моей плутни, бегло проглядываю его имущество, отдаю назад ключ, оселок и бумаги, имеющие цену для него одного, и спокойно удаляюсь прочь, не задавая никаких вопросов. Конечно, фермеры были для нас слишком мелкая дичь, обычно мы с Энди занимались делами поважнее, но иногда, в редких случаях, и фермеры бывали нам полезны, как порой для воротил с Уолл-стрит бывает полезен даже министр финансов.

Спустившись вниз, мы увидали, что находимся в замечательной земледельческой местности.

За две мили на горке стоял среди купы деревьев большой белый дом, а кругом была сельскохозяйственная смесь из амбаров, пастбищ, полянок и флигелей.

— Чей это дом? — спросили мы у нашего хозяина.

— Это, — говорит он, — обиталище, а также лесные, земельные и садовые угодья фермера Эзры Планкетта, одного из самых передовых наших граждан.

После завтрака мы с Энди, оставшись при восьми центах капитала, принялись составлять гороскоп этого земельного магната.

— Я пойду к нему один, — сказал я. — Мы вдвоем против одного фермера — это было бы слишком много. Это все равно, как если бы Рузвельт пошел на одного медведя с двумя кулаками.

— Ладно, — соглашается Энди. — Я тоже предпочитаю действовать по-джентльменски даже по отношению к такому огороднику. Но на какую приманку ты думаешь изловить эту Эзру?

— О, все равно, — говорю я. — Здесь годится всякая приманка, первое, что мне попадется, когда я суну руку в чемодан. Я, пожалуй, захвачу с собой квитанции в получении подоходного налога; и рецепт для приготовления клеверного меда из

творога и яблочной кожуры; и бланки заказов на носилки Мак-Горни, которые потом оказываются косилкой Мак-Кормика; и маленький карманный слиток золота; жемчужное ожерелье, найденное мною в вагоне; и…

— Довольно, — говорит Энди. — Любая из этих приманок должна подействовать. Да смотри, Джефф, пусть этот кукурузник не дает тебе грязных кредиток, а только новые, чистенькие. Это просто позор для Департамента земледелия, для нашей бюрократии, для нашей пищевой промышленности — какими гнусными, дрянными бумажками расплачиваются с нами иные фермеры. Мне случалось получать от них доллары что твоя культура бактерий, выловленных в карете скорой помощи.

Хорошо. Иду я на конюшню и нанимаю двуколку, причем платы вперед с меня не требуют ввиду моей приличной наружности. Подъезжаю к ферме, привязываю лошадь. Вижу — на ступеньках крыльца сидит какой-то франтоватый субъект в белоснежном фланелевом костюме, в розовом галстуке, с брильянтовым перстнем и в кепке для спорта. «Должно быть, дачник», — думаю я про себя.

— Как бы мне увидеть фермера Эзру Планкет-

та? — спрашиваю я у субъекта.

— Он перед вами, — отвечает субъект. — А что вам надо?

Я ничего не ответил. Я стоял как вкопанный и повторял про себя веселую песенку о «человеке с мотыгой»[7].

Вот тебе и человек с мотыгой! Когда я всмотрелся в этого фермера, маленькие пустячки, которые я захватил с собой, чтобы выжать из него монету, показались мне такими безнадежными, как попытка разнести вдребезги Мясной трест при помощи игрушечного ружья.

Он смерил меня глазами и говорит:

— Ну, рассказывайте, чего вы хотите. Я вижу, что левый карман пиджака у вас чересчур оттопыривается. Там золотой слиток, не правда ли? Давайте-ка его сюда, мне как раз нужны кирпичи, а басни о затерянных серебряных рудниках меня мало интересуют.

Я почувствовал, что я был безмозглый дурак, когда верил в законы дедукции, но все же вытащил из кармана свой маленький слиток, тщательно завернутый в платок. Он взвесил его на руке и говорит:

---

[7] Примечания: 7

«Человек с мотыгой» (1899) — стихотворение американского поэта Эдвина Маркхема о фермере, замученном непосильным трудом.

— Один доллар восемьдесят центов. Идет?

— Свинец, из которого сделано это золото, и тот стоит дороже, — сказал я с достоинством и положил мой слиток обратно в карман.

— Не хотите — не надо, я просто хотел купить его для коллекции, которую я стал составлять, — говорит фермер. — Не дальше как на прошлой неделе я купил один хороший экземпляр. Просили за него пять тысяч долларов, а уступили за два доллара и десять центов.

Тут в доме зазвонил телефон.

— Войдите, красавец, в комнату, — говорит фермер. — Поглядите, как я живу. Иногда мне скучно в одиночестве. Это, вероятно, звонят из Нью-Йорка.

Вошли мы в комнату. Мебель как у бродвейского маклера: дубовые конторки, два телефона, кресло и кушетки, обитые испанским сафьяном, картины, писанные масляной краской, в позолоченных рамах, а рамы в ширину не меньше фута, а в уголке — телеграфный аппарат отстукивает новости.

— Алло, алло! — кричит фермер. — Это Риджент-театр? Да, да, с вами говорит Планкетт из имения «Центральная жимолость». Оставьте мне четыре кресла в первом ряду — на пятницу,

на вечерний спектакль. Мои всегдашние. Да. На пятницу. До свидания.

— Каждые две недели я езжу в Нью-Йорк освежиться, — объясняет мне фермер, вешая трубку. — Вскакиваю в Индианополисе в восемнадцатичасовой экспресс, провожу десять часов среди белой ночи на Бродвее и возвращаюсь домой как раз к тому времени, как куры идут на насест, — через сорок восемь часов. Да, да, первобытный юный фермер пещерного периода, из тех, что описывал Хаббард[8], немножко приоделся и обтесался за последнее время, а? Как вы находите?

— Я как будто замечаю, — говорю я, — некоторое нарушение аграрных традиций, которые до сих пор внушали мне такое доверие.

— Верно, красавец, — говорит он. — Недалеко то время, когда та примула, что «желтеет в траве у ручейка», будет казаться нам, деревенщинам, роскошным изданием «Языка цветов» на веленевой бумаге с фронтисписом.

Но тут опять зазвонил телефон.

— Алло, алло! — говорит фермер. — А-а, это Перкинс, из Миллдэйла? Я уже сказал вам, что

---

[8] Примечания: 8

Фрэнк Хаббард (1868–1930) — американский юморист и карикатурист.

восемьсот долларов за этого жеребца — слишком большая цена. Что, этот конь при вас? Ладно, покажите его. Отойдите от аппарата. Пустите его рысью по кругу. Быстрее, еще быстрее… Да, да, я слышу. Но еще быстрее… Довольно. Подведите его к телефону. Ближе. Придвиньте его морду к аппарату. Подождите минуту. Нет, мне не нужна эта лошадь. Что? Нет. Я ее и даром не возьму. Она хромая. Кроме того, она с запалом. Прощайте.

— Ну, красавец, — обращается он ко мне, — теперь вы видите, что деревенщина постриглась. Вы обломок далекого прошлого. Да что там, самому Тому Лоусону не пришло бы в голову попытаться застать врасплох современного агрария. Нынче на фермах уже суббота, четырнадцатое[9]. Вот, посмотрите, как мы, деревенские люди, стараемся не отстать от событий.

Подводит он меня к столу, а на столе стоит машинка, а у машинки две такие штучки, чтобы вставить их в уши и слушать. Вставляю и слушаю. Женский голос читает названия убийств, несчастных случаев и прочих пертурбаций политической жизни.

---

[9] Примечания: 9

Томас Лоусон (1857–1925) — американский финансист и писатель, разоблачавший коррупцию финансовых кругов в ряде статей, а также в романе «Пятница, тринадцатое» (1907).

— То, что вы слышите, — объясняет мне фермер, — это сводка сегодняшних новостей из газет Нью-Йорка, Чикаго, Сент-Луиса и Сан-Франциско. Их сообщают по телеграфу в наше деревенское Бюро последних известий и подают в горячем виде подписчикам. Здесь, на этом столе, лучшие газеты и журналы Америки. А также отрывки из будущих журнальных статей.

Я взял один листок и прочитал: «Корректуры будущих статей. В июле 1909 года журнал „Сенчури“ скажет…» и так далее.

Фермер звонит кому-то, должно быть своему управляющему, и приказывает ему продать джерсейских баранов — пятнадцать голов — по шестьсот долларов; засеять пшеницей девятьсот акров земли и доставить на станцию еще двести бидонов молока для молочной цистерны. Потом он предлагает мне первого сорта сигару фабрики Генри Клея, потом достает из буфета бутылку зеленого шартреза, потом идет и глядит на ленту своего телеграфа.

— Газовые акции поднялись на два пункта, — говорит он. — Очень хорошо.

— А может быть, вас медь интересует? — спрашиваю я.

— Осади назад! — кричит он и поднимает ру-

ку. — А не то я позову собаку. Я уже сказал вам, чтобы вы не тратили времени зря. Меня не надуете.

Через несколько минут он говорит:

— Знаете что, красавец, не уйти ли вам из этого дома? Я, конечно, очень рад и все такое, но у меня спешное дело: я должен написать для одного журнала статью «Химера коммунизма», а потом перед вечером побывать на собрании «Ассоциации для улучшения беговых дорожек». Ведь вам уже ясно, что ни в какие ваши снадобья я все равно не поверю.

Что мне оставалось делать, сэр? Вскочил я в свою тележку, лошадь повернула и привезла меня в наш отель. Я оставил ее у крыльца, сам побежал к Энди. Он у себя в номере, я рассказываю ему о моем свидании с фермером и слово в слово повторяю весь разговор. Я до того обалдел, что сижу и дергаю краешек скатерти, а мыслей у меня никаких.

— Не знаю, что и делать, — говорю я и, чтобы скрыть свой позор, напеваю печальную и глупую песенку.

Энди шагает по комнате взад и вперед и кусает конец левого уса, а это всегда означает, что он обмозговывает какой-нибудь план.

— Джефф, — говорит он, наконец. — Я тебе верю; все, что ты сказал мне об этой фильтрованной деревенщине, правда. Но ты меня не убедил. Не может быть, чтобы в нем не осталось ни одной крупицы первобытной дури, чтобы он изменил тем задачам, для которых его предназначило само Провидение. Скажи, Джефф, ты никогда не замечал во мне особо сильных религиозных наклонностей?

— Как тебе сказать, — говорю я, чтобы не оскорбить его чувств, — я встречал также немало богомольных людей, у которых означенные наклонности изливались наружу в такой микроскопической дозе, что, если потереть их белоснежным платком, платок останется без единого пятнышка.

— Я всю жизнь занимался углубленным изучением природы, начиная с сотворения мира, — говорит Энди, — и свято верую, что каждое творение Господне создано с какой-нибудь высшею целью. Фермеры тоже созданы Богом не зря: предназначение фермеров заключается в том, чтобы кормить, одевать и поить таких джентльменов, как мы. Иначе зачем бы наделил нас Господь мозгами? Я убежден, что манна, которой израильтяне сорок дней питались в пустыне, — не что

иное, как фигуральное обозначение фермеров; так оно осталось по сей день. А теперь, — говорит Энди, — я проверю свою теорию: «Раз ты фермер, быть тебе в дураках», несмотря на всю лакировку и другие орнаменты, которыми лжецивилизация наделила его.

— И тоже останешься с носом, — говорю я. — Этот фермер стряхнул с себя всякие путы овчарни. Он забаррикадировался высшими достижениями электричества, образования, литературы и разума.

— Попробую, — говорит Энди. — Существуют законы природы, которых не может изменить даже Бесплатная Доставка на Дом в Сельских Местностях.

Тут Энди удаляется в чуланчик и выходит оттуда в клетчатом костюме; бурые клетки и желтые, и такие большие, как ваша ладонь. Блестящий цилиндр и ярко-красный жилет с синими крапинками. Усы у него были песочного цвета, а теперь, смотрю, они синие, как будто он окунул их в чернила.

— Великий Барнум[10], — говорю я. — Что это ты так расфуфырился? Точно цирковой фокусник,

---

[10] Примечания: 10

Ф. Т. Барнум — владелец известного в своё время американского цирка.

хоть сейчас на арену.

— Ладно, — отвечает Энди. — Тележка еще у крыльца? Жди меня, я скоро вернусь.

Через два часа Энди входит в комнату и кладет на стол пачку долларов.

— Восемьсот шестьдесят, — говорит он. — Дело было так. Я застал его дома. Он посмотрел на меня и начал надо мною издеваться. Я не ответил ни слова, но достал скорлупки от грецких орехов и стал катать по столу маленький шарик. Потом, посвистев немного, я сказал старинную формулу:

— Ну джентльмены, подходите поближе и смотрите на этот маленький шарик. Ведь за это с вас не требуют денег. Вот он здесь, а вот его нету. Отгадайте, где он теперь. Ловкость рук обманывает глаз.

Говорю, а сам смотрю на фермера. У того даже пот на лбу выступил. Он идет, закрывает парадную дверь и смотрит не отрываясь на шарик. А потом говорит:

— Ставлю двадцать долларов, что я знаю, под какой скорлупкой спрятана ваша горошина. Вот под этой…

— Дальше рассказывать нечего, — продолжал Энди. — Он имел при себе только восемьсот

шестьдесят долларов наличными. Когда я уходил, он проводил меня до ворот. Он крепко пожал мне руку и со слезами на глазах сказал:

— Милый, спасибо тебе; много лет я не испытывал такого блаженства. Твоя игра в скорлупку напомнила мне те счастливые невозвратные годы, когда я еще был не аграрием, а просто-напросто фермером. Всего тебе хорошего.

Тут Джефф Питерс умолк, и я понял, что рассказ его окончен.

— Так вы думаете… — начал я.

— Да, — сказал Джефф, — в этом роде. Пускай себе фермеры идут по пути прогресса и развлекаются высшей политикой. Житье-то на ферме скучное; а в скорлупку им приходилось играть и прежде.

Кафедра филантроматематики

Перевод К. Чуковского

— Посмотрите-ка, — сказал я, — вот поистине царственный дар: на образовательные учреждения пожертвовано больше пятидесяти миллионов долларов.

Я просматривал хронику вечерней газеты, а Джефф Питерс набивал свою терновую трубку.

— По этому случаю, — сказал он, — не грех распечатать новую колоду и устроить вечер хоровой декламации силами студентов филантроматематики.

— Это намек? — спросил я.

— Намек, — сказал Джефф. — Разве я никогда не рассказывал вам, как мы с Энди Таккером занимались филантропией? Было это лет восемь назад в Аризоне. Мы разъезжали в двуконном фургоне по горным ущельям Хила — искали серебро. Нашли — и продали свою заявку в городе Таксоне за двадцать пять тысяч долларов. В банке заплатили нам серебряной монетой — по тысяче долларов в каждом мешке. Нагрузили мы эти мешки в фургон и помчались на восток как безумные.

Разум вернулся к нам только тогда, когда мы отмахали миль сто. Двадцать пять тысяч долларов — это кажется сущей безделицей, когда читаешь ежегодный отчет Пенсильванской железной дороги или слушаешь, как актер разглагольствует о своем гонораре; но если ты в любую минуту можешь приподнять парусину фургона и, ткнув сапогом мешок, услышать серебряный звон, ты чувствуешь, как будто ты круглосуточный банк в те часы, когда операции в полном разгаре.

На третий день приехали мы в городишко — самый чистенький и аккуратненький, какой когда-либо создавала природа или фирма Рэнд и Мак-Нэлли[11]. Он был расположен у подошвы горы и украшен деревьями, цветами и двумя тысячами приветливых, полусонных жителей. Назывался он Флоресвиль или что-то вроде этого, и природа еще не осквернила его ни железными дорогами, ни блохами, ни туристами из восточных штатов. Внесли мы наши деньги на имя Питерса и Таккера в банк «Эсперанца» и остановились в гостинице «Небесный пейзаж». После ужина сидим и покуриваем; вот тогда-то меня и осенило: почему бы не сделаться нам филан-

[11] Примечания: 11

Американское издательство, выпускавшее путеводители и географические карты.

тропами? По-моему, эта мысль, рано или поздно, приходит в голову каждому жулику.

Когда человек ограбил своих ближних на известную сумму, ему становится жутковато и хочется отдать часть награбленного. И если последить за ним внимательно, можно заметить, что он пытается компенсировать тех же людей, которых еще так недавно очистил до нитки. Возьмем гидростатический случай: предположим, некто А. нажил миллионы, продавая керосин неимущим ученым, которые изучают политическую экономию и методы управления трестами. Так вот, эти доллары, которые гнетут его совесть, он непременно пожертвует университетам и колледжам.

Что же касается В., тот нажился на рабочих, у которых всего богатства — руки да инструмент. Как же ему перекачать некоторую долю своего покаянного фонда обратно в карманы их спецодежды?

— Я, — восклицает Б., — сделаю это во имя науки. Я погрешил против рабочего человека, но говорит же старая пословица, что милосердие искупает немало грехов.

И он строит библиотечные здания на восемьдесят миллионов долларов, и единственные,

кому от этого польза, — маляры да каменщики, работающие у него на постройке.

— А где же книги? — спрашивают любители чтения.

— А я почем знаю! — ответствует Б. — Я обещал вам библиотеку — пожалуйста, вот, получите. Если б я вам дал подмоченные привилегированные акции стального треста, вы что же, потребовали бы и воду из них в хрустальных графинах? Идите себе с богом, проваливайте!

Но, как я уже сказал, я и сам из-за такого изобилия денег заболел филантропитом. В первый раз мы с Энди раздобыли такой капитал, что даже приостановились на время и стали размышлять, каким образом он очутился у нас.

— Энди, — говорю я, — люди мы с тобой богатые. Конечно, богатство у нас не громадное, но так как мы скромный народ, то выходит, что мы богаты, как Крысы. И хочется мне подарить что-нибудь человечеству.

Энди отвечает:

— Я тоже не прочь. Чувства у нас с тобой одинаковые. Были мы мазуриками всю свою жизнь и как только не объегоривали несчастную публику. Продавали ей самовоспламеняющиеся воротнички из целлулоида, наводнили всю Джорджию

пуговицами с портретами президента Гока Смита, а такого президента и не было. И я бы внес два-три пая в это предприятие по искуплению грехов, но не желаю я бить в цимбалы в Армии спасения или преподавать соплякам Ветхий Завет по системе Бертильона[12]. Куда же нам истратить эти деньги? Устроить бесплатную обжорку для бедных или послать тысчонки две Джорджу Кортелью[13]?

— Ни то ни другое, — говорю я. — У нас слишком много денег, и потому мы не вправе подавать милостыню; а для полного возмещения убытков все равно не хватит капиталов. Так что надо изобрести средний путь.

На следующий день, шатаясь по Флоресвилю, видим мы: на горке стоит какой-то красный домина, кирпичный и вроде как будто пустой. Спрашиваем у прохожих: что такое? И нам объясняют, что один шахтовладелец лет пятнадцать назад затеял построить себе на этом холме резиденцию. Строил, строил и выстроил, да заглянул в

---

[12] Примечания: 12

Альфонс Бертильон (1853–1914) — французский криминалист, разработавший технику опознавания преступников по совокупности особых примет.

[13] Примечания: 13

Джордж Кортелью — министр финансов в правительстве Теодора Рузвельта.

чековую книжку а у него на покупку мебели осталось два доллара и восемьдесят центов. Вложил он этот капитал в бутылочку виски, взобрался на крышу и вниз головой на то самое место, где теперь почиет в мире.

Посмотрели мы на кирпичное здание, и оба одновременно подумали: набьем-ка мы его электрическими лампочками, фланельками для вытирания перьев, профессорами, поставим на лужайку чугунного пса, статуи Геркулеса и отца Иоанна и откроем лучшее в мире бесплатное учебное заведение.

Потолковали мы об этой идее с самыми именитыми флоресвильскими гражданами; им эта идея понравилась. Нам устраивают шикарный банкет в пожарном сарае — и вот впервые мы появляемся в роли благодетелей человечества, радеющих о просвещении и прогрессе. Энди даже речь говорил — полтора часа, никак не меньше — об орошении в Нижнем Египте, а потом завели граммофон, слушали благочестивую музыку и пили ананасный шербет.

Мы не теряли времени и пустились филантропствовать вовсю. Каждого, кто только мог отличить лестницу от молотка, мы завербовали в рабочие и принялись за ремонт. Оборудовали

аудитории и классные комнаты, потом дали телеграмму в Сан-Франциско, чтобы нам прислали вагон школьных парт, мячей для футбола, учебников арифметики, перьев, словарей, профессорских кафедр, аспидных досок, скелетов, губок, двадцать семь непромокаемых мантий и шапочек для студентов старшего курса и вообще всего, что полагается для университетов самого первого сорта. Еженедельные журналы, понятно, напечатали наши портреты, гравированные на меди; а мы тем временем послали телеграмму в Чикаго, чтобы нам выслали экстренным поездом и с оплаченной погрузкой шестерых профессоров — одного по английской словесности, одного по самым новейшим мертвым языкам, одного по химии, одного по политической экономии (желателен демократ), одного по логике и одного, который знал бы итальянский язык, музыку и был бы заодно живописцем. Банк «Эсперанца» гарантировал жалованье — от восьмисот долларов до восьмисот долларов и пятидесяти центов.

В конце концов все сложилось у нас как следует. Над главным входом была высечена надпись: «Всемирный университет. Попечители и владельцы — Питерс и Таккер». И к первому сентября стали слетаться со всех сторон наши гуси. Снача-

ла прибыли экспрессом из Таксона профессора. Были они почти все молодые, в очках, рыжие, обуреваемые двумя сентиментами: амбиция и голод. Мы с Энди расквартировали их у жителей Флоресвиля и стали поджидать студентов.

Они прибывали пачками. Мы напечатали публикации о нашем университете во всех газетах штата, и нам было приятно, что страна так быстро откликнулась на наш призыв. Двести девятнадцать желторотых юнцов в возрасте от восемнадцати лет до густых волос на подбородке отозвались на трубный глас, зовущий их к бесплатному обучению. Они переделали весь этот город, как старый диван, содрали старую обшивку, разорвали ее по швам, перевернули наизнанку, набили новым волосом, и стал городок — прямо Гарвард[14].

Маршировали по улицам, носили университетские знамена — цвет ультрамариновый и синий; очень, очень оживился Флоресвиль. Энди сказал им речь с балкона гостиницы «Небесный пейзаж»; весь город ликовал и веселился.

Понемногу — недели в две — профессорам удалось разоружить молодежь и загнать ее в классы.

---

[14] Примечания: 14
Старейший из американских университетов: основан в 1636 г.

Приятно быть филантропом — ей-богу, нет на всем свете занятия приятнее. Мы с Энди купили себе цилиндры и стали делать вид, будто избегаем двух интервьюеров «Флоресвильской газеты». У этой газеты был фоторепортер, который снимал нас всякий раз, как мы появлялись на улице, так что наши портреты печатались каждую неделю в том отделе газеты, который озаглавлен «Народное просвещение». Энди дважды в неделю читал в университете лекции, а потом, бывало, встану я и расскажу какую-нибудь смешную историю. Один раз газета поместила мой портрет между изображениями Авраама Линкольна и Маршела П. Уайлдера.

Энди был так же увлечен филантропией, как и я. Случалось, проснемся, бывало, ночью и давай сообщать друг другу свои новые планы — что бы нам еще предпринять для университета.

— Энди, — говорю я ему однажды, — мы упустили очень важную вещь. Надо бы устроить для наших мальчуганов дромадеры.

— А что это такое? — спрашивает Энди.

— А это то, в чем спят, — говорю я. — Есть во всех университетах.

— Понимаю, ты хочешь сказать — пижамы, — говорит Энди.

— Нет, — говорю я, — дромадеры.

Но он так и не понял, что я хотел сказать, и мы не устроили никаких дромадеров. А я имел в виду такие длинные спальни в учебных заведениях, где студенты спят аккуратно, рядами.

Да, сэр, университет имел огромный успех. Флоресвиль процветал: ведь у нас были студенты из пяти штатов. Открылся новый тир, открылась новая ссудная касса, открылась парочка новых пивных. Студенты сочинили университетскую песню:

Ро, ро, ро,
Цы, цы, цы,
Питерс, Таккер
Молодцы.
Ба, ба, ба,
Ра, ра, ра,
Университету —
Гип, ура!

Славный был народ эти студенты; мы с Энди гордились ими, как родными детьми.

Но вот в конце октября приходит ко мне Энди и спрашивает, известно ли мне, сколько капитала осталось у нас в банке. Я сказал, что, по-моему,

тысяч шестнадцать. Но Энди говорит:

— Весь наш баланс восемьсот двадцать один доллар и шестьдесят два цента.

— Как? — реву я. — Неужели ты хочешь сказать, что эти проклятые сыны конокрадов, эти толстоголовые олухи, эти заячьи уши, эти собачьи морды, эти гусиные мозги высосали из нас столько денег?

— Да, — отвечает Энди. — Именно так.

— Тогда к чертям всякую филантропию, — говорю я.

— Зачем же непременно к чертям? — спрашивает Энди. — Если поставить филантропию на коммерческую ногу, она дает очень хороший барыш. Я подумаю об этом на досуге, и авось наше дело поправится.

Проходит еще неделя. Беру я как-то университетскую ведомость для уплаты жалованья нашим профессорам и вижу в ней новое имя: профессор Джеймс Дарнли Мак-Коркл, по кафедре математики, жалованье сто долларов в неделю. Конечно, я заревел таким голосом, что Энди, как вихрь, влетел ко мне в комнату.

— Что это такое! — кричу я. — Профессор математики за пять тысяч долларов в год? Как это могло произойти? Или он, как вор, влез в окошко

и назначил себя сам на эту кафедру?

— Нет, — отвечает Энди, — я вызвал его по телеграфу из Сан-Франциско неделю назад. При открытии университета мы совсем упустили из виду кафедру математики.

— И хорошо сделали! — кричу я. — У нас только и хватит капитала уплатить ему за две недели, а потом нашей филантропии будет такая же цена, как девятой лунке на поле для гольфа.

— Нечего каркать, увидим, — отвечает Энди. — Дела еще могут поправиться. Мы предприняли такое благородное дело, что теперь нельзя его бросить. Кроме того, повторяю, мне кажется, что, если перевести его на хозяйственный расчет, получится другая картина; нужно хорошенько подумать об этом. Недаром все филантропы, которых я знаю, всегда обладали большим капиталом. Мне бы давно следовало подумать об этом и выяснить, где здесь причина и где следствие.

Я знал, что Энди дока в финансовых вопросах, и оставил все это дело на его попечении. Университет процветал, цилиндры наши лоснились по-прежнему, и Флоресвиль оказывал нам такой великий почет, как будто мы миллионеры, а не жалкие прогоревшие филантропишки.

Студенты по-прежнему оживляли весь городок

и способствовали его процветанию. Приехал какой-то человек из соседнего города и открыл игорный домик — над конюшней — и каждый вечер загребал кучу денег. Мы с Энди тоже побывали в его заведении и, чтобы показать, что мы не чуждаемся общества, тоже поставили на карту один-два доллара. Там, в заведении, было около пятидесяти наших студентов, они пили пунш и передвигали по столу целые горки синих и красных фишек всякий раз, как банкомет открывал карту.

— Черт возьми, — сказал я, — эти дятлы, эти безмозглые головы, охочие до бесплатной учености, щеголяют в шелковых носочках и имеют такие деньги, каких мы с тобой никогда не имели. Посмотри, какие толстые пачки достают они из своих пистолетных карманов.

— Да, — отвечает Энди. — Многие из них — сыновья богатых шахтовладельцев и фермеров. Очень жаль, что они тратят и капиталы и время на такое недостойное занятие.

На рождественские каникулы все студенты разъехались по домам. В университете состоялась прощальная вечеринка. Энди прочел лекцию «Современная музыка и доисторическая литература на островах Архипелага». Все профессора говори-

ли нам приветственные речи и сравнивали меня и Энди с Рокфеллером и с императором Марком Автоликом. Я ударил кулаком по столу и позвал профессора Мак-Коркла; но его на вечеринке не оказалось. А мне хотелось взглянуть на человека, который, по мнению Энди, мог зарабатывать сто долларов в неделю на филантропии, да еще на такой захудалой, как наша.

Студенты уехали вечерним поездом; город опустел. Стало тихо, как в глухую полночь в школе заочного обучения. Я вошел в гостиницу, увидел, что в номере у Энди горит свет, открыл дверь и вошел.

Энди сидел за столом. Тут же сидел и содержатель игорного дома. Они делили между собой кучу денег, фута в два вышиной. Куча состояла из пачек, а каждая пачка из бумажек по тысяче долларов.

— Правильно! — говорит Энди. — По тридцати одной тысяче в каждой пачке. А, это ты, Джефф. Подходи, подходи. Вот наша доля от выручки за первый семестр во Всемирном университете, основанном с филантропической целью. Теперь ты видишь, что филантропия, если ее поставить на коммерческую ногу, есть такое искусство, которое оказывает благодеяние не только берущему,

но и дающему.

— Чудесно, — говорю я. — Ты на этот счет прямо доктор наук.

— Утренним поездом надо нам уезжать, — говорит Энди. — Поди собери воротнички, манжеты и газетные вырезки.

— Чудесно, — говорю я. — Мне недолго собраться… А все же, Энди, я хотел бы познакомиться с этим профессором Джеймсом Дарнли Мак-Корклом. Любопытно бы взглянуть на него перед нашим отъездом.

— Это нетрудно, — говорит Энди и обращается к содержателю игорного дома.

— Джим, — говорит он, — познакомься, пожалуйста, с мистером Питерсом.

Рука, которая терзает весь мир

Перевод К. Чуковского

— Многие из наших великих людей, — сказал я (по поводу целого ряда явлений), — признавали, что своими успехами они обязаны участию и помощи какой-нибудь блистательной женщины.

— Да, — сказал Джефф Питерс. — Мне случилось читать и в истории и в мифологии о Жанне д'Арк, о мадам Иэл, о миссис Кодл[15], о Еве и других замечательных женщинах прошлого. Но женщины нашего времени, по-моему, почти бесполезны и в бизнесе, и в политической жизни. Куда годится современная женщина? Ведь мужчины в настоящее время и лучше стряпают, и лучше стирают и гладят. Лучшие сиделки, слуги, парикмахеры, стенографы, клерки — все это мужчины. Единственное дело, в котором женщина превосходит мужчину, это исполнение женских ролей в водевиле.

— А я думал, что женская чуткость и женская хитрость оказывали вам бесценные услуги в

---

[15] Примечания: 15

Миссис Кодл — сварливая жена, персонаж американской юмористики.

вашей… как бы это сказать? специальности…

— Да, — сказал Джефф и энергично кивнул головой, — так может показаться. А на поверку женщина — самый ненадежный товарищ во всяком благородном мошенничестве. Вдруг, ни с того ни с сего, когда вы больше всего на нее надеетесь, она становится честной и проваливает все дело. Однажды я испытал этих дамочек на собственной шкуре.

Билл Хамбл, мой старый приятель, с которым я сдружился на Территории[16], вбил себе в голову, что ему хочется, чтобы правительство Соединенных Штатов назначило его шерифом. В ту пору мы с Энди занимались делом чистым и законным — продавали трости с набалдашниками. Если вам вздумается отвинтить набалдашник и приложить его к губам, вам прямо в рот потечет полпинты хорошего пшеничного виски, которое приятно прополощет вам горло в награду за вашу догадливость. Полиция изредка докучала нам, и, когда Билл сообщил мне, что хотел бы сделаться шерифом, я сразу смекнул, что в этой должности он был бы очень полезен торговому дому «Питерс и Таккер».

---

[16] Примечания: 16

Так назывались области, фактически входившие в США, но ещё не получившие статуса штата.

— Джефф, — говорит мне Билл, — ты человек ученый, образованный, да к тому же обладаешь всякими знаниями и сведениями касательно не одних только начальных основ, но также фактов и выводов.

— Правильно, — говорю я, — и в этом я никогда не раскаивался. Я не из тех, говорю, кто видит в образовании дешевый товар и ратует за бесплатное обучение. Скажи мне, — говорю я, — что имеет больше цены для человечества — литература или конские скачки?

— Э-э… гм… ну, разумеется, хорошие лошади… то есть я хотел сказать поэты и всякие там великие писатели, — те, конечно, идут впереди, — говорит Билл.

— Вот именно, — говорю я. — А если так, то почему же наши финансовые и гуманитарные гении берут с нас два доллара за вход на ипподром, а в библиотеки пускают бесплатно? Можно ли, — говорю я, — назвать это внедрением в массы правильного понятия об относительной ценности двух вышеупомянутых способов самообразования и разорения?

— Не угнаться мне за твоей риторикой и логикой, — говорит Билл. — Мне от тебя нужно одно: чтобы ты съездил в Вашингтон и выхлопотал

мне место шерифа. У меня, понимаешь ли, нет способностей к интригам и высокому тону. Я — простой обыватель и хочу получить это место. Вот и все. Я убил на войне семерых, а детей у меня девять душ. Я член республиканской партии с первого мая. Я не умею ни читать, ни писать и не вижу никаких оснований, почему я не гожусь для этой должности. Мне сдается, что и твой компаньон, мистер Таккер, тоже человек мозговитый и может оказать тебе содействие. Я выдам вам авансом тысячу долларов на выпивку, взятки и трамвайные билеты в Вашингтоне. Если вы устроите мне это дело, я дам вам еще тысячу наличными, кроме того — у вас будет возможность целый год безнаказанно продавать ваши контрабандные спиртуозные трости. Надеюсь, что ты добрый патриот и поможешь мне провести это дело через Белый Вигвам Великого Отца на самой восточной станции Пенсильванской железной дороги[17].

Рассказал я про это дело Энди, и оно ему страшно понравилось. Энди был сложная натура. Ему было мало шататься по деревням и продавать до-

---

[17] Примечания: 17

Великий Отец — на языке Билла — президент республики; Белый Вигвам — Белый дом, где живет президент; самая восточная станция Пенсильванской железной дороги — Вашингтон, столица США.

верчивым фермерам комбинацию из валька для отбивания бифштексов, рожка для ботинок, щипцов для завивки, пилки для ногтей, машинки для растирания картофеля, коловорота и камертона. У Энди была душа художника, и ее нельзя было мерить чисто коммерческой меркой, как душу проповедника или учителя нравственности. Так что мы приняли предложение Билла, сели в поезд и помчались в Вашингтон.

Приехали мы, остановились в гостинице на Южно-Дакотской авеню, и я говорю Энди:

— Вот, Энди, первый раз в нашей жизни мы готовимся совершить истинно бесчестный поступок. Подкупать сенаторов нам еще никогда не случалось, но что делать, ради Билла придется пойти и на это. В делах благородных и честных можно допустить немного жульничества, но в этом грязном, отвратительном деле лучше всего — прямота. Здесь карты на стол, и никакого лукавства. Предлагаю тебе вот что: давай вручим пятьсот долларов председателю комитета избирательной кампании, получим квитанцию, положим квитанцию на стол президенту и расскажем ему про Билла. Я убежден, что президент сумеет оценить кандидата, который стремится получить должность таким прямолинейным пу-

тем, а не убивает все свое время на политические интриги.

Энди согласился со мной, но, обсудив эту идею с одним из служащих нашего отеля, мы отказались от нее. Служащий объяснил нам, что в Вашингтоне существует только один способ достать место: надо действовать через женщину, имеющую связи в сенате. Он дал нам адрес одной такой дамы, к которой и рекомендовал обратиться; звали ее миссис Эвери; он утверждал, что она очень важная птица в дипломатических кругах и высших сферах.

На следующее утро мы с Энди явились в ее особняк и были введены в приемную.

Эта миссис Эвери была бальзам и утешение для глаз. Волосы у нее были такого же цвета, как оборотная сторона двадцатидолларовой золотой облигации, глаза голубые, и вообще вся система красоты была у нее такая, что девицы, которых изображают на обложках июльских журналов, рядом с ней показались бы кухарками с угольной баржи, плывущей по реке Мононгахеле.

Платье у нее было открытое, усыпанное серебряными блестками, в ушах висюльки, на пальцах брильянты. Руки были голые, одной рукой она говорила по телефону, а другой пила чай.

Прошло немного времени, она говорит:

— Ну, мои милые, что же вам надо?

Я в самых кратких словах объяснил ей, зачем мы пришли и сколько мы можем заплатить.

— Это дело нетрудное, — отвечает она. — На Западе легко назначать кого хочешь. Посмотрим, кто может нам пригодиться. С депутатами от Территории связываться нечего. По-моему, нам нужен сенатор Снайпер: он и сам оттуда, из западных штатов. Посмотрим, каким знаком отмечен он в моем маленьком приватном меню.

Тут она вынимает какие-то бумаги из ящичка, обозначенного буквой С.

— Да, говорит, у меня он отмечен звездочкой; это значит: готов к услугам. Погодите, дайте взглянуть. «Пятидесяти пяти лет от роду; состоит во втором браке; вероисповедания пресвитерианского; любит блондинок, Льва Толстого, покер и черепашье жаркое; становится сентиментален после третьей бутылки». Да, да, я уверена, что мне удастся назначить вашего приятеля мистера Баммера посланником в Бразилию.

— Не Баммера, а Хамбла, — говорю я. — Шерифом Соединенных Штатов.

— Ах да, — говорит миссис Эвери. — У меня столько подобных дел, что иногда нетрудно пе-

репутать. Дайте все меморандумы вашего дела, мистер Питерс, и приходите через четыре дня. Думаю, что к тому времени все будет сделано.

Вернулись мы с Энди в гостиницу. Сидим и ждем. Энди шагает по комнате и жует конец своего левого уса.

— Женщина высокого ума и при этом красавица — очень редкое явление, Джефф, — говорит он.

— Такое же редкое, — говорю я, — как омлет, приготовленный из яиц той сказочной птицы, которую зовут Эпидермис.

— Такая женщина, — говорит Энди, — может обеспечить мужчине роскошную жизнь и славу.

— Едва ли, — возражаю я. — Самое большое, чем женщина может помочь мужчине получить должность, это быстро приготовить ему пищу или распустить слух о жене другого кандидата, будто та была в прежнее время магазинной воровкой. Вмешиваться в дела и политику, — говорю я, — женщинам идет так же, как Альджернону Чарльзу Суинберну[18] быть распорядителем на ежегодном балу союза швейников. Мне известно, — говорю я Энди, — что иногда женщина как будто и правда выступает на авансцену в

[18] Примечания: 18

Альджернон Чарльз Суинберн (1837–1909) — известный английский поэт.

качестве импресарио политических затей своего мужа. Но чем это кончается? Предположим, живет себе человек спокойно, у него хорошее место — либо иностранного консула в Афганистане, либо сторожа при шлюзе на канале Делавэр — Раритан. В один прекрасный день этот человек замечает, что его жена надевает калоши и кладет в клетку канарейке трехмесячный запас корма. «На курорт?» — спрашивает он, и в глазах у него загорается надежда. «Нет, Артур, — говорит она, — в Вашингтон. Мы здесь зря пропадаем. Ты бы должен быть Чрезвычайным Лизоблюдом при дворе Сент-Бриджет или Главным Портье острова Порто-Рико. Подожди, я выхлопочу тебе это место».

— И вот эта леди, — говорю я Энди, — вступает в единоборство со всеми вашингтонскими властями, имея в качестве оружия пять десятков писем, которые писал ей неразборчивым почерком один из членов кабинета, когда ей было пятнадцать лет; рекомендательное письмо от бельгийского короля Леопольда Смитсоновскому научному институту и шелковое розовое платье в крапинку канареечного цвета.

— И что же дальше? — продолжаю я. — Она помещает письма в вечерних газетах, таких же

желто-розовых, как ее туалет, она читает лекции на званом обеде, устроенном в пальмовом салоне вокзала железной дороги Балтимор — Огайо, а затем идет к президенту. Девятый помощник министра торговли и труда, первый адъютант Синей комнаты и некий цветной человек (личность установить не удалось) уже ждут ее, и когда она появляется, хватают ее за руки… и за ноги. Они выносят ее на Юго-западную улицу Б.[19] и кладут на люк угольного подвала. Тем и кончается. Следующее, что мы узнаем о ней, это, что она пишет открытки китайскому посланнику — просит его устроить Артуру местечко приказчика в чайном магазине.

— Значит, — говорит Энди, — ты не думаешь, что эта миссис Эвери достанет место шерифа для нашего. Билла?

— Нет, не думаю, — отвечаю я. — Я не хочу быть скептиком, но мне кажется, что она может сделать не больше, чем ты или я.

— Ну, это ты врешь, — говорит Энди, — я готов побиться с тобой об заклад, что она устроит все как следует. С гордостью заявляю тебе, что у меня более высокое мнение о талантах и дипломати-

---

[19] Примечания: 19

В Вашингтоне некоторые улицы называются буквами алфавита.

ческих способностях дам.

В назначенное время мы явились в особняк миссис Эвери. Внешность у нее была шикарная, такая внешность, что всякий мужчина с радостью позволил бы ей ведать всеми назначениями в стране. Но я не слишком доверяю внешности и поэтому был весьма изумлен, когда она представила нам документ, украшенный большой печатью Соединенных Штатов, а на обороте написано прекрасным почерком крупными буквами: «Уильям Генри Хамбл».

— Вы могли получить эту бумагу еще три дня тому назад, мои миленькие, — сказала она, улыбаясь. — Достать ее было очень легко, я только заикнулась, и все было моментально устроено... А теперь до свиданья. Я рада была бы поговорить с вами дольше, но я страшно занята и надеюсь, что вы простите меня. Одного я должна сегодня устроить послом, двоих — консулами, а еще человек десять на более мелкие должности. У меня нет времени даже для сна. Пожалуйста, по приезде домой кланяйтесь мистеру Хамблу.

Вручили мы ей пятьсот долларов. Она сунула их в ящик письменного стола не считая. Я положил в карман бумагу с назначением Билла, и мы откланялись.

Выехали мы домой в тот же день. Мы послали Биллу телеграмму: «Все устроено, готовь бокалы» — и чувствовали себя превосходно.

Энди всю дорогу пилил меня, что я так мало знаю женщин.

— Ладно, — говорю я. — Охотно признаю, что эта женщина меня удивила. Первый раз вижу женщину, которая выполнила то, что обещала, в назначенный срок и ничего не перепутала.

Подъезжая к Арканзасу, вынимаю я полученную нами бумагу, рассматриваю ее и молча подаю Энди — для прочтения. Энди прочел ее и не нарушил моего молчания ни словом.

В бумаге было все как следует, бумага была не фальшивая и выдана на имя Билла Хамбла, но назначали его почтмейстером в Дэд-Сити во Флориде.

На станции Литтл-Рок соскочили мы оба с поезда и послали Биллу его бумагу по почте. А сами двинулись на северо-восток, по направлению к Верхнему озеру.

С тех пор я уже никогда не встречал Билла Хамбла.

Супружество как точная наука

Перевод К. Чуковского

— Вы уже слыхали от меня, — сказал Джефф Питерс, — что женское коварство никогда не внушало мне слишком большого доверия. Даже в самом невинном жульничестве невозможно полагаться на женщин как на соучастников и компаньонов.

— Комплимент заслуженный, — сказал я. — По-моему, у них есть все права называться честнейшим полом.

— А чего им и не быть честными, — сказал Джефф, — на то и мужчины, чтобы жульничать для них либо работать на них сверхурочно. Лишь до тех пор они годятся для бизнеса, покуда и чувства и волосы у них еще не слишком далеки от натуральных. А потом подавай им дублера — тяжеловоза-мужчину с одышкой и рыжими баками, с пятью ребятами и заложенным и перезаложенным домом. Взять, к примеру, хоть эту вдову, которую мы с Энди Таккером попросили оказать нам содействие, чтобы провести небольшую матримониальную затею в городиш-

ке Каире.

Когда у вас достаточно денег на рекламу — скажем, пачка толщиной с тонкий конец фургонного дышла, — открывайте брачную контору. У нас было около шести тысяч долларов, и мы рассчитывали удвоить эту сумму в два месяца, — дольше такими делами заниматься нельзя, не имея на то официального разрешения от штата Нью-Джерси.

Мы составили объявление такого примерно сорта:

> «Симпатичная вдова, прекрасной наружности, тридцати двух лет, с капиталом в три тысячи долларов, обладающая обширным поместьем, желала бы вторично выйти замуж. Мужа хотела бы иметь не богатого, но нежного сердцем, так как, по ее убеждению, солидные добродетели чаще встречаются среди бедняков. Ничего не имеет против старого или некрасивого мужа, если будет ей верен и сумеет распорядиться ее капиталом.

Желающие вступить в брак благоволят обращаться в брачную контору Питерса и Таккера, Каир, штат Иллинойс, на имя

Одинокой».

— До сих пор все идет хорошо, — сказал я, когда мы состряпали это литературное произведение. — А теперь — где же мы возьмем эту женщину?

Энди смотрит на меня с холодным раздражением.

— Джефф, — говорит он, — я и не знал, что ты такой реалист в искусстве. Ну на что тебе женщина? При чем здесь женщина? Когда ты продаешь подмоченные акции на бирже, разве ты хлопочешь о том, чтобы с них и вправду капала вода? Что общего между брачным объявлением и какой-то женщиной?

— Слушай, — говорю я, — и запомни раз навсегда. Во всех моих незаконных отклонениях от легальной буквы закона я всегда держался того правила, чтобы продаваемый товар был налицо, чтобы его можно было видеть и во всякое время предъявить покупателю. Только таким способом, а также путем тщательного изучения городового устава и расписания поездов, мне удавалось

избежать столкновения с полицией, даже когда бумажки в пять долларов и сигары оказывалось недостаточно. Так вот, чтобы не провалить нашу затею, мы должны обзавестись симпатичной вдовой — или другим эквивалентным товаром для предъявления клиентам — красивой или безобразной, с наличием или без наличия статей, перечисленных в нашем каталоге. Иначе — камера мирового судьи.

Энди задумывается и отменяет свое первоначальное мнение.

— Ладно, — говорит он, — может быть, и в самом деле тут необходима вдова, на случай, если почтовое или судебное ведомство вздумает сделать ревизию нашей конторы. Но где же мы сыщем такую вдову, что согласится тратить время на брачные шашни, которые заведомо не кончатся браком?

Я ответил ему, что у меня есть на примете именно такая вдова. Старый мой приятель Зики Троттер, который торговал содовой водой и дергал зубы в палатке на ярмарках, около года назад сделал из своей жены вдову, хлебнув какого-то снадобья от несварения желудка вместо того зелья, которым он имел обыкновение наклюкиваться. Я часто бывал у них в доме, и мне казалось,

что нам удастся завербовать эту женщину.

До городишки, где она жила, было всего шестьдесят миль, и я сейчас же покатил туда поездом и нашел ее на прежнем месте, в том же домике, с теми же подсолнечниками в саду и цыплятами на опрокинутом корыте. Миссис Троттер вполне подходила под наше объявление, если, конечно, не считать пустяков: она была значительно старше, причем не имела ни денег, ни красивой наружности. Но ее можно было легко обработать, вид у нее был не противный, и я был рад, что могу почтить память покойного друга, дав его вдове приличный заработок.

— Благородное ли дело вы затеяли, мистер Питерс? — спросила она, когда я рассказал ей мои планы.

— Миссис Троттер! — воскликнул я. — Мы с Энди Таккером высчитали, что, по крайней мере, три тысячи мужчин, обитающих в этой безнравственной и обширной стране, попытаются, прочтя объявление в газете, получить вашу прекрасную руку, а вместе с ней и ваши несуществующие деньги и воображаемое ваше поместье. Из этого числа не меньше трех тысяч таких, которые могут предложить вам взамен лишь свое полумертвое тело и ленивые, жадные

руки, — презренные прохвосты, неудачники, лодыри, польстившиеся на ваше богатство.

— Мы с Энди, — говорю я, — намерены дать этим социальным паразитам хороший урок. С большим трудом, — говорю я, — мы с Энди отказались от мысли основать корпорацию под названием Великое Моральное и Милосердное Матримониальное Агентство. Ну, теперь вы видите, какая у нас высокая и благородная цель?

— Да, да, — отвечает она, — мне давно бы следовало знать, что вы, мистер Питерс, ни на что худое не способны. Но в чем будут заключаться мои обязанности? Неужели мне придется отказывать каждому из этих трех тысяч мерзавцев в отдельности, или мне будет предоставлено право отвергать их гуртом — десятками, дюжинами?

— Ваша должность, миссис Троттер, — говорю я, — будет простой синекурой. Мы поселим вас в номере тихой гостиницы, и никаких забот у вас не будет. Всю переписку с клиентами и вообще все дела по брачному бюро мы с Энди берем на себя. Но, конечно, — говорю я, — может случиться, что какой-нибудь пылкий вздыхатель, у которого хватит капитала на железнодорожный билет, приедет в Каир, чтобы лично завоевать ваше сердце… В таком случае вам придется потрудить-

ся самой: собственноручно указать ему на дверь. Платить мы вам будем двадцать пять долларов в неделю, и оплата гостиницы за наш счет.

Услышав это, миссис Троттер сказала:

— Через пять минут я готова. Я только возьму пудреницу и оставлю у соседки ключ от парадной двери. Можете считать, что я уже на службе: жалованье должно мне идти с этой минуты.

И вот я везу миссис Троттер в Каир. Привез, поместил ее в тихом семейном отеле, подальше от нашей квартиры, чтобы не было никаких подозрений. Потом пошел и рассказал обо всем Энди Таккеру.

— Отлично, — говорит Энди Таккер. — Теперь, когда твоя совесть спокойна, когда у тебя есть и крючок и приманка, давай-ка примемся за рыбную ловлю.

Мы пустили наше объявление по всей этой местности. Одного объявления вполне хватило. Сделай мы рекламу пошире, нам пришлось бы нанять столько клерков и девиц с завивкой перманент, что чавканье любителей жевательной резины дошло бы до самого директора почт и телеграфов. Мы положили на имя миссис Троттер две тысячи долларов в банк, а чековую книжку дали ей на руки, чтобы она могла показывать

ее сомневающимся. Я знал, что она женщина честная, и не боялся доверить ей деньги.

Одно это объявление доставило нам уйму работы, по двенадцать часов в сутки мы отвечали на письма.

Поступало их штук сто в день.

Я и не подозревал никогда, что на свете есть столько любящих, но бедных мужчин, которые хотели бы жениться на симпатичной вдове и взвалить на себя бремя забот о ее капитале.

Большинство из них сообщало, что они сидят без гроша, не имеют определенных занятий и что их никто не понимает, и все же, по их словам, у них остались такие большие запасы любви и прочих мужских достоинств, что вдовушка будет счастливейшей женщиной, черпая из этих запасов.

Каждый клиент получал ответ от конторы Питерса и Таккера. Каждому сообщали, что его искреннее, интересное письмо произвело на вдову глубокое впечатление и что она просит написать ей подробнее и приложить, если возможно, фотографию. Питерс и Таккер присовокупляли к сему, что их гонорар за передачу второго письма в прекрасные ручки вдовы выражается в сумме два доллара, каковые деньги и следует прило-

жить к письму.

Теперь вы видите, как прост и красив был наш план. Около девяноста процентов этих благороднейших искателей вдовьей руки раздобыли каким-то манером по два доллара и прислали их нам. Вот и все. Никаких хлопот. Конечно, нам пришлось поработать; мы с Энди даже поворчали немного: легко ли целый день вскрывать конверты и вынимать оттуда доллар за долларом!

Были и такие клиенты, которые являлись лично. Их мы направляли к миссис Троттер, и она разговаривала с ними сама; только трое или четверо вернулись в контору, чтобы попросить у нас денег на обратный путь. Когда начали прибывать письма из наиболее отдаленных районов, мы с Энди стали вынимать из конвертов по двести долларов в день.

Как-то после обеда, когда наша работа была в полном разгаре и я складывал деньги в сигарные ящики: в один ящик по два доллара, в другой — по одному, а Энди насвистывал: «Не для нее венчальный звон», — входит к нам вдруг какой-то маленький шустрый субъект и так шарит глазами по стенам, будто он напал на след пропавшей из музея картины Гейнсборо. Чуть я увидел его, я почувствовал гордость, потому что наше дело

правильное и придраться к нему невозможно.

— У вас сегодня что-то очень много писем, — говорит человечек.

— Идем, — говорю я и беру шляпу. — Мы вас уже давно поджидаем. Я покажу вам наш товар. В добром ли здоровье был Тедди, когда вы уезжали из Вашингтона[20]?

Я повел его в гостиницу «Ривервью» и познакомил с миссис Троттер. Потом показал ему банковую книжку, где значились две тысячи долларов, положенных на ее имя.

— Как будто все в порядке, — говорит сыщик.

— Да, — говорю я, — и если вы холостой человек, я позволю вам поговорить с этой дамой. С вас мы не потребуем двух долларов.

— Спасибо, — отвечал он. — Если бы я был холостой, я бы, пожалуй… Счастливо оставаться, мистер Питерс.

К концу трех месяцев у нас набралось что-то около пяти тысяч долларов, и мы решили, что пора остановиться: отовсюду на нас сыпались жалобы, да и миссис Троттер устала, — ее одолели

---

[20] Примечания: 20

Тедди — Теодор Рузвельт — президент Соединенных Штатов в 1901–1909 гг. Говоря о Рузвельте, Питерс хотел показать, что ему известна профессия посетителя: это сыщик, прибывший из столицы по поручению властей.

поклонники, приходившие лично взглянуть на нее, и, кажется, ей это не очень-то нравилось.

И вот, когда мы взялись за ликвидацию дела, я пошел к миссис Троттер, чтобы уплатить ей жалованье за последнюю неделю, попрощаться с ней и взять у нее чековую книжку на две тысячи долларов, которую мы дали ей на временное хранение.

Вхожу к ней в номер. Вижу: она сидит и плачет, как девочка, которая не хочет идти в школу.

— Ну, ну, — говорю я, — о чем вы плачете? Кто-нибудь обидел вас или вы соскучились по дому?

— Нет, мистер Питерс, — отвечает она. — Я скажу вам всю правду. Вы всегда были другом Зики, и я не скрою от вас ничего. Мистер Питерс, я влюблена. Я влюблена в одного человека, влюблена так сильно, что не могу жить без него. В нем воплотился весь мой идеал, который я лелеяла всю жизнь.

— Так в чем же дело? — говорю я. — Берите его себе на здоровье. Конечно, если ваша любовь взаимная. Испытывает ли он по отношению к вам те особые болезненные чувства, какие вы испытываете по отношению к нему?

— Да, — отвечает она. — Он один из тех джентльменов, которые приходили ко мне по вашему

объявлению, и потому он не хочет жениться, если я не дам ему двух тысяч. Его имя Уильям Уилкинсон.

Тут она снова в истерику.

— Миссис Троттер, — говорю я ей, — нет человека, который более меня уважал бы сердечные чувства женщины. Кроме того, вы были когда-то спутницей жизни одного из моих лучших друзей. Если бы это зависело только от меня, я сказал бы: берите себе эти две тысячи и будьте счастливы с избранником вашего сердца. Мы легко можем отдать вам эти деньги, так как из ваших поклонников мы выкачали больше пяти тысяч. Но, — прибавил я, — я должен посоветоваться с Энди Таккером. Он добрый человек, но делец. Мы пайщики в равной доле. Я поговорю с ним и посмотрю, что мы можем сделать для вас.

Я вернулся к Энди и рассказал ему все, что случилось.

— Так я и знал, — говорит Энди. — Я все время предчувствовал, что должно произойти что-нибудь в этом роде. Нельзя полагаться на женщину в таком предприятии, где затрагиваются сердечные струны.

— Но, Энди, — говорю я, — горько думать, что по нашей вине сердце женщины будет разбито.

— О, конечно, — говорит Энди — И потому я скажу тебе, Джефф, что я намерен сделать. У тебя всегда был мягкий и нежный характер, я же прозаичен, суховат, подозрителен. Но я готов пойти тебе навстречу. Ступай к миссис Троттер и скажи ей: пусть возьмет из банка эти две тысячи долларов, даст их своему избраннику и будет счастлива.

Я вскакиваю и целых пять минут пожимаю Энди руку, а потом бегу назад к миссис Троттер и сообщаю ей наше решение, и она плачет от радости так же бурно, как только что плакала от горя.

А через два дня мы упаковали свои вещи и приготовились к отъезду из города.

— Не думаешь ли ты, что тебе следовало бы перед отъездом нанести визит миссис Троттер? — спрашиваю я у него. — Она была бы очень рада познакомиться с тобой и выразить тебе свою благодарность.

— Боюсь, что это невозможно, — отвечает Энди. — Как бы нам на поезд не опоздать.

Я в это время как раз надевал на себя наши доллары, упакованные в особый кушак, — мы всегда перевозили деньги таким способом, как вдруг Энди вынимает из кармана целую пачку крупных

банкнот и просит приобщить их к остальным капиталам.

— Что это такое? — спрашиваю я.

— Это две тысячи от миссис Троттер.

— Как же они попали к тебе?

— Сама мне дала, — отвечает Энди. — Я целый месяц бывал у нее вечерами… по три раза в неделю…

— Так ты и есть Уильям Уилкинсон? — спрашиваю я.

— Был до вчерашнего дня, — отвечает Энди.

Летний маскарад

Перевод М. Беккер

— Нелегко служить у Сатаны, — сказал Джефф Питерс. — Когда все отдыхают, тут-то он как раз и навалит на тебя кучу работы. Как говорил не то старик доктор Уоттс[21], не то святой Павел, а может, еще какой-то диагност — «Для праздных рук всегда найдет он дело».

Помню, однажды летом я и мой компаньон Энди Таккер решили немножко отдохнуть, но всегда получается так, что наши дела увязываются за нами, куда бы мы ни двинулись.

То ли дело проповедник — он может бросить все свои обязанности и предаться радостям жизни. 31 мая он закрывает свою кафедру фольгой и москитной сеткой, хватает клюшку для гольфа, требник и удочку и отправляется бродяжничать вокруг озера Комо или по Атлантик-Сити — в зависимости от того, насколько громогласно взывает к нему его паства. И вот, сэр, на целых три месяца он может забыть про свой бизнес — знай

[21] Примечания: 21

Исаак Уоттс (1674–1748) — английский священник, автор церковных гимнов и назидательных стихов для детей.

себе выискивай во Второзаконии, Книге притчей Соломоновых или в Послании к Тимофею цитаты, чтоб искупить свои мелкие летние грешки вроде того, что проиграл в рулетку два-три золотых или давал уроки плавания вдове пресвитерианина.

Однако я хотел описать вам наш с Энди летний отпуск, который оказался совсем не отпуском.

Нам надоели финансы и все прочие отрасли еретического плутовства. Даже Энди Таккер, чей мозг работает почти без передышки, начал скрипеть, как пресс для теннисной ракетки.

— Эх-ма! — говорит Энди. — Я устал. Дай пару! Полный ход вперед! Покатим на Ривьеру! Где моя яхта «Корсар»[22]? Хочу слоняться праздно и душу ублажать, как заявил Уолт Уитьер[23]. Хочу сыграть в пинокль с кардиналом Мерри дель Валем, или задать порку арендаторам в моих территаунских поместьях, или, нарядившись в шотландскую юбку, произносить речи на летнем

---

[22] Примечания: 22

«Корсар» — яхта Моргана.

[23] Примечания: 23

Строка, которую, перевирая, цитирует Энди, принадлежит не Джону Гринлифу Уитьеру а Уолту Уитмену.

сборе учителей в Шатокве[24], или делать еще что-нибудь этакое необычное, летнее, солнечное, непохожее на вульгарную кражу со взломом.

— Терпение, — говорю я. — Прежде чем насладиться лаврами, венчающими ноги великих капитанов промышленности, тебе придется подняться на ступень выше в твоей собственной профессии. Что касается меня, Энди, то мне нужен летний отдых в горной деревушке вдали от сцен воровства, труда и концентрации капитала. Я тоже устал, и недельки три-четыре безгрешности позволят нам войти в хорошую форму, а осенью мы снова примемся облегчать бремя белого человека.

Энди одобрил идею лечения отдыхом. Мы обратились к агентам бюро путешествий при всех железных дорогах с просьбой прислать нам литературу о курортах, и целую неделю потратили на изучение вопроса, куда нам ехать. Я всегда считал, что первым в мире агентом бюро путешествий был этот субъект по фамилии Генезис[25].

---

[24] Примечания: 24

Территаун — поселок в штате Нью-Йорк, где родились миллионеры Джей Гульд и Джон Рокфеллер; Шатоква — местечко на озере Шатоква в штате Нью-Йорк, где ежегодно происходили летние собрания учителей.

[25] Примечания: 25

Генезис (или Бытие) — первая книга Библии.

Однако в его время не было никакой конкуренции, и когда он сказал: «Господь сотворил землю за шесть дней и увидел, что это хорошо весьма», ему и в голову не приходило, до какой степени пресс-агенты летних гостиниц будут впоследствии изощряться в плагиатах с его писаний.

Досконально изучив эти проспекты, мы ясно поняли, что вся Америка от Пассадумкега, что в штате Мэн, до Эль-Пасо и от Скагуэя до Ки-Уэста — не что иное, как рай, переполненный горными вершинами, кристально чистыми озерами, яйцами прямо из-под кур, гольфом, девицами, гаражами, прохладительными бризами, пикниками, клозетами под сенью струй, теннисом — и все это не более чем в двух часах езды.

Ну вот, значит, мы с Энди выбрасываем эти книжонки на помойку, складываем чемодан, покупаем билеты на шестичасовой поезд «Летающая черепаха» и едем на станцию Вороний Бугор — забытое богом местечко в горах на линии Теннесси — Северная Каролина.

Нам рекомендовали гостиницу под названием «Лесной сурок», и туда-то мы с Энди и направили свои стопы (и чуть было их не обломали о тамошние пни и каменья). Гостиница стояла в стороне от дороги в большой роще, и ее широкие

затененные веранды, на которых сидели в качалках женщины в белых платьях, являли весьма приятное зрелище. Остальная часть Вороньего Бугра состояла из почтовой конторы и скудного пейзажа под углом 45° к небосводу.

И кто, по-вашему, встречает нас у калитки, сэр? Не кто иной, как старик Выкури-Вон Смизерс, бывший продавец электрических грелок для больной печени и лучший на всем Юго-Западе уличный дантист (лечение и удаление зубов без боли). Старик Выкури-Вон наряжен на клерикально-пейзанский манер и имеет вид не то землевладельца, не то захватчика чужих земельных участков. Каковое впечатление он подкрепляет рассказом о том, что он — хозяин и сотворитель «Лесного сурка». Я представляю ему Энди, и мы непринужденно болтаем о том о сем, как это бывает на собраниях совета директоров или на встречах старых приятелей вроде нашей троицы. Старик Выкури-Вон ведет нас в беседку во дворе у самых ворот, а потом берет арфу жизни и ударяет по струнам мощной правой дланью.

— Счастлив вас видеть, джентльмены, — говорит он. — Хорошо, если бы вы помогли мне выпутаться из истории, в которую я попал. Я уже слишком стар, чтобы гоняться за Фортуной по

улицам, и потому арендовал эту собачью конуру в надежде, что Фортуна придет ко мне сама. За две недели до открытия сезона я получил одно письмо за подписью лейтенанта Пири, а другое — от герцога Мальборо[26]. Оба просили сдать им на лето комнаты с пансионом.

Мне ли объяснять вам, джентльмены, как важно для заштатного деревенского заведения заполучить в качестве гостей двух джентльменов, чьи имена прославлены благодаря их продолжительной связи с айсбергами и Кобургами. Я немедленно заказываю объявление о том, что «Лесной сурок» приютит на лето сих выдающихся лиц, и рассылаю его по всем городам и местечкам от Ноксвилла и Шарлотты до Рыбьей Запруды и Медвежьего Угла.

А теперь взгляните на веранду, джентльмены, где в ожидании герцога и лейтенанта сидят безутешные образчики прекрасного пола. Весь дом от чердака до погреба битком набит жрицами культа героев.

Среди них — четыре учительницы нормаль-

---

[26] Примечания: 26

Лейтенант Пири (1856–1920) — американский полярный исследователь, в 1909 г. достиг Северного полюса. Потомок герцогов Мальборо лорд Рэндолф Черчилль (отец Уинстона Черчилля) был женат на богатой американке.

ных школ и две ненормальных, три выпускницы средних школ в возрасте от 37 до 42 лет, две литературные старые девы и одна не пишущая, парочка дам из общества и одна дама с берегов реки Хо. Две чтицы-декламаторши ночуют в ларе для кукурузы, а на сеновал я втиснул две складных койки для кухарки и редакторши отдела светской хроники чатанугской газеты «Бинокль». Видите, какова притягательная сила имен, джентльмены? — говорит Выкури-Вон.

— Так чего ж ты теперь показываешь кукиш своей Фортуне? Это на тебя совсем непохоже, — говорю я ему.

— Я еще не кончил, — отвечает старик. — Вчера был день, назначенный для приезда прославленных лиц. Я отправился на станцию их встречать. Смотрю, сходят с поезда два явно одушевленных предмета. У обоих в руках сумки, набитые крокетными молотками, и волшебные фонари — ну, знаете, которые с кнопками. Сравниваю я эти величины с их автографами, джентльмены, и вижу, что ошибка произошла по причине моего слабого зрения. Оказалось, что это вовсе не лейтенант Пири, а некий Леви Т. Пиви, продавец содовой воды из Эшвилла, а герцог Мальборо — не кто иной, как Тео. Дрейк Мерфрисборо, приказчик в

бакалейной лавке. Что я сделал? Я погрузил их обратно в вагон и постоял на платформе, пока эти низкие твари не отбыли обратно в свои низины.

Теперь вам ясно, джентльмены, в какую переделку я попал? — продолжает Выкури-Вон Смизерс. — Я известил дам, что именитые гости задержались в дороге вследствие непредвиденных обстоятельств, намекнув на подвижку льдов и богатую наследницу, и что дня через два они приедут. Когда дамы поймут, что их обманули, то все эти многочисленные ярды клетчатой кисеи и накладных локонов соберут свои пожитки и уедут. Жуткое дело, — говорит Выкури-Вон.

— Дружище! — восклицает Энди, ткнув старика пальцем в пищевод. — К чему вся эта иеремиада, когда Северный полюс и порталы замка Бленхейм[27] вступили в заговор с целью вручить вам златые горы на серебряном блюде высшей пробы? К вам прибыли мы.

Лицо старика Выкури-Вон просветлело.

— Вы можете это сделать, джентльмены? — спрашивает он. — Вы могли бы это сделать? Вы могли бы изобразить полярного исследователя и коротышку-герцога для этих милых дам? Вы

---

[27] Примечания: 27
Замок Бленхейм — родовое поместье герцогов Мальборо в Англии.

это сделаете?

Я вижу, что Энди уже обуяла его старая перорально-полиглотическая система плутовства. Этот человек владел словарем тысяч в десять слов и синонимов, которые, едва успев слететь с его языка, тут же выстраивались в мудреные притчи и софизмы.

— Послушайте, — говорит Энди старику Выкури-Вон. — Вы спрашиваете, можем ли мы это сделать? Мистер Смизерс, перед вами — два человека, лучше всех на свете экипированные для обольщения неимущих классов, будь то посредством оборотов речи, ловкости рук или резвости ног. Герцоги приходят и уходят, полярные исследователи уходят и без вести пропадают во льдах, а мы с Джеффом Питерсом пребываем вовеки. Если таково ваше желание, мы и есть та пара знаменитых постояльцев, которых вы ожидали. И вы убедитесь, что мы придадим настоящий местный колорит всем главным ролям от северного сияния до герцогских фризов и карнизов.

Старик Выкури-Вон приходит в восторг. Он ведет нас с Энди под ручки в гостиницу и всю дорогу клянется, что роскошнейшие консервированные фрукты и другие деликатесы прямо со скорых товарных поездов будут бесплатно предоставлены

нам на все то время, пока мы у него живем.

Подойдя к веранде, Выкури-Вон говорит:

— Уважаемые дамы, имею честь представить вам его экселенцию герцога Мальборо и прославленного изобретателя Северного полюса лейтенанта Пири.

Под шелест многочисленных юбок и скрип качалок мы с Энди отвешиваем поклоны и идем записываться в книгу для приезжающих. Затем мы умываемся, переворачиваем свои манжеты, а хозяин, проводив нас в отведенные нам комнаты, достает четвертную бутыль настоящей «горной росы» из Северной Каролины.

Когда Энди стал пить, я сразу понял, что это плохо кончится. Он подвержен артистическому метемпсихозу — будучи трезвым, он наполовину пьян, а стоит ему чуть-чуть пригубить, как он уже начинает смотреть сверху вниз на аэропланы.

Просидев некоторое время за бутылью, мы с Энди вышли на веранду, где дамы сразу же начали зарабатывать нам на пропитание. Мы уселись в наши кресла, а учительницы и литераторши окружили нас тесным кольцом своих качалок.

Одна дама обращается ко мне с вопросом:

— Как прошло ваше последнее предприятие, сэр?

При этих словах я вспоминаю, что начисто забыл сговориться с Энди насчет того, кто я — герцог или лейтенант. А из вопроса этой дамы никак нельзя было понять, интересуют ли ее экспедиции арктические или матримониальные. Поэтому я дал ответ, подходящий для обоих случаев.

— Ах, сударыня, — говорю я ей, — я получил ледяной душ, изрядный ледяной душ, сударыня.

Тут Энди открывает шлюзы своего красноречия, и мне сразу становится ясно, которую из двух мнимых знаменитостей я в этом спектакле играю. Ни ту и ни другую. Обеих играет Энди. Более того, он, очевидно, задался целью стать рупором всей британской знати и всех исследователей Арктики, начиная с сэра Джона Франклина и до наших дней. Это был союз кукурузной водки с солидной беллетристической формой, которую столь высоко ценит мистер У. Д. Хоулетт[28].

— Уважаемые дамы, я весьма счастлив посетить Америку, — говорит Энди, улыбаясь всему полукругу качалок. — Я считаю, что великая хартия вольностей, воздушные шары и лыжи отнюдь не наносят ущерба красоте и очарованию

---

[28] Примечания: 28
Питерс искажает фамилию американского писателя У. Д. Хоуэлса.

американских женщин и небоскребов, а также архитектуре ваших айсбергов. В следующий раз, когда я поеду за Северным полюсом, все гренландские Вандербильты вместе взятые не осмелятся оказать мне холодный прием, то есть, вернее, задать мне жару.

— Опишите нам какое-нибудь из ваших путешествий, лейтенант, — просит одна нормальная.

— Извольте, — решительно отвечает Энди, икая. — Прошлой весной я доплыл на замке Бленхейм до 87-го градуса широты по Фаренгейту и побил рекорд. Милые дамы, — продолжает он, — это было поистине печальное зрелище — в краю полугодовой ночи пропал без вести герцог, связанный с одним из лучших ваших семейств узами гражданской и литургической ипотеки. Когда разбились четыре склянки, в поле зрения показалось Вестминстерское аббатство, но у нас не было ни капли еды. В полдень мы выбросили за борт пять мешков с песком, и корабль поднялся на пятнадцать узлов выше. В полночь все рестораны закрылись. Сидя на ледяной лепешке, мы съели семь горячих сосисок. Вокруг простирался снег и лед. За ночь боцман вставал шесть раз — он отрывал листки от календаря, чтобы нам не отстать от барометра. В полдень, — с болью

в голосе произнес Энди, — три огромных белых медведя впрыгнули через люк в каюту, и тогда…

— Что тогда, лейтенант? — замирая от волнения, спрашивает одна из учительниц.

Энди громко всхлипывает.

— Герцогиня толкнула меня в бок! — восклицает он, сползает с кресла и разражается рыданиями на полу.

Ну тут, разумеется, наша афера с треском лопнула. Наутро все постоялицы уехали. Хозяин целых два дня не желал с нами разговаривать, но, убедившись, что мы способны заплатить за стол и квартиру, сменил гнев на милость.

В итоге мы с Энди безмятежно провели лето, а покидая Вороний Бугор, еще увезли с собой 1100 долларов, которые старик Выкури-Вон проиграл нам в семерку.

Стриженый волк

Перевод К. Чуковского

Джефф Питерс был готов спорить со мной без конца, едва только, бывало, зайдет у нас речь, можно ли считать его профессию честной.

— Уж на что мы друзья с Энди Таккером, — говаривал он, — но и в нашей дружбе появлялась очень заметная трещина, — правда, единственная, — когда мы не могли с ним согласиться насчет нравственной природы жульничества. У меня были свои принципы, у Энди свои. Я далеко не всегда одобрял выдвигаемые Энди Таккером проекты о взимании контрибуции с публики, а он, со своей стороны, был уверен, что я слишком часто вмешиваю в коммерческие операции совесть и наношу таким образом нашей фирме немалый ущерб.

Случалось, что в наших спорах мы хватали через край. Однажды в пылу полемики он даже выразился, будто я нисколько не лучше Рокфеллера.

— Энди! — ответил я. — Я знаю, что ты хочешь нанести мне обиду. Но мы с тобою давние приятe-

ли, и я не стану обижаться на такие ругательства, о которых ты и сам пожалеешь, когда к тебе вернется хладнокровие. Ведь я еще никогда не подлизывался к судебному приставу.

Однажды, в летнюю пору, мы с Энди решили отдохнуть в Кентуккийских горах, в небольшом городишке Грассдейл. Считалось, что мы скотопромышленники и к тому же солидные почтенные граждане, которые приехали сюда провести отпуск. Жителям Грассдейла мы пришлись по душе, и потому мы решили прекратить военные действия и не морочить их — покуда мы живем в ихнем городе — ни проспектами каучуковой концессии, ни сверканием бразильских брильянтов.

Жили мы в гостинице, и вот однажды приходит к нам самый крупный грассдейлский торговец железною утварью и садится с нами на веранде, чтобы покурить за компанию. Мы еще раньше успели хорошо познакомиться с ним, так как нам случалось не раз наблюдать, как во дворе городского суда он в послеобеденный час играет в железные кольца. У него была одышка. Был он крикливый и рыжий. Но в общем толстый и такой важный, степенный, что даже глядеть удивительно.

Сначала мы поговорили о разных злободневных новостях, а потом этот Меркисон — у него была такая фамилия — достает из бокового кармана письмо и с этаким беззаботно-озабоченным видом дает его нам прочитать.

— Ну, как вам это нравится? — говорит он и смеется. — Послать такое письмо МНЕ!

Мы с Энди сразу же смекнули, в чем дело. Но делаем вид, будто внимательно вчитываемся в каждое слово. Письмо напечатано на машинке — одно из тех старомодных писем, где вам объясняют, каким манером вы можете за одну тысячу долларов получить целых пять, — и притом такими бумажками, что никакой эксперт не отличит их от настоящих. В письме сообщалось, что эти доллары являются оттисками с подлинных клише Государственного казначейства в Вашингтоне, выкраденных тамошним служащим.

— Подумать только, что они смеют с подобными письмами обращаться ко МНЕ!

— Ну, что за беда! — говорит Энди. — Такие письма рассылаются и порядочным людям. Если вы не ответите этим аферистам на первое их письмо, они отстанут. А если откликнетесь, напишут вам снова и предложат вам принести ваши доллары к ним и совершить полюбовную сделку.

— Но подумать только, что с подобным письмом они посмели обратиться ко МНЕ! — возмущается Меркисон.

Через несколько дней он приходит опять.

— Друзья! — говорит он. — Я знаю, вы люди безукоризненной честности, иначе я не стал бы откровенничать с вами. Знайте: я написал тем мошенникам, просто так, для потехи. Они тотчас же прислали ответ: предлагают приехать в Чикаго. В день своего отъезда я должен послать телеграмму на имя Дж. Смита. А в Чикаго — встать на такой-то улице, на таком-то углу и ждать. Там подойдет ко мне один в сером костюме и уронит передо мною газету. Тогда мне следует спросить у него, теплая ли сегодня вода. Таким образом он узнает, что я — это я, а я узнаю, что он — это он.

— Старая штука, — говорит Энди, зевая. — Я часто читал про такие проделки в газетах. Потом он ведет вас в гостиницу, в укромный застенок, а там уже поджидает вас мистер Джонс. Они показывают новехонькие, свежие, настоящие деньги — и за каждый ваш доллар продают вам пятерку. Вы видите своими глазами, как они укладывают их к вам в саквояж. Вы уверены, что доллары тут, в саквояже. А когда вам вздумается взглянуть на них снова, они, конечно, оказываются оберточ-

ной бумагой.

— Ну нет! Со мною такие штучки не пройдут, — говорит Меркисон. — Не на такого напали! Я не создал бы доходнейшего бизнеса в нашем Грасдейле, если бы у меня не было нужной смекалки. Вы сейчас сказали, мистер Таккер, что они покажут мне настоящие деньги?

— По крайней мере, я сам… то есть я читал в газетах, что эти молодчики поступают именно так.

— Друзья! — говорит Меркисон. — Я решил доказать, что им не удастся объегорить меня. Я возьму две тысчонки, суну их в карманы штанов и проучу аферистов как следует. Стоит только Биллу Меркисону глянуть разок на настоящие деньги, уж он не оторвет от них глаз. За один доллар они предлагают пятерку — ну что ж! — им придется выложить мне чистоганом всю сумму. Для этого я приму свои меры. Нет, Билл Меркисон не такой простофиля. Вот увидите: съезжу в Чикаго и заставлю этого самого Смита выдать мне за тысячу долларов — пять. И поверьте: вода будет теплая.

И я и Энди, мы оба пытаемся вышибить у него из головы этот неудачный финансовый план. Но куда там! Он стоит на своем. «Я, — говорит, — исполню свой гражданский долг и поймаю банди-

тов в расставленную ими же самими ловушку. Авось это послужит им хорошим уроком!»

Меркисон уходит, а мы с Энди продолжаем сидеть и молча предаемся размышлениям о том, как плачевно заблуждается человеческий ум. В такие размышления мы погружались не раз. Чуть выдастся у нас свободный часок, мы всегда посвящаем его благочестивым попыткам усовершенствовать свою духовную личность при помощи умственных мыслей.

Мы долго и сосредоточенно молчим. Наконец, Энди прерывает молчание.

— Джефф! — говорит он. — Признаюсь, я нередко от всего сердца хотел выбить у тебя лучшие зубы, когда ты, бывало, начнешь жевать свою мочалу о совести в бизнесе. Теперь я прихожу к убеждению, что, пожалуй, я был неправ. Как бы то ни было — в нынешнем случае я с тобою согласен вполне: по-моему, с нашей стороны было бы прямо-таки бессовестно отпустить мистера Меркисона одного, без охраны, для свидания с теми мазуриками. Ведь ему несдобровать, это ясно. Не думаешь ли ты, что мы обязаны вмешаться и предупредить катастрофу?

Я встаю, крепко жму руку Энди Таккеру и долго трясу ее.

— Энди, — говорю я, — если мне когда-нибудь и приходила в голову сердитая мысль, будто у тебя недоброе сердце, я беру эту мысль назад. Я вижу, что внутри твоей наружности все же есть зернышко добра и любви. Это делает тебе честь. Меня тоже волнует судьба Меркисона. С нашей стороны, — говорю я, — было бы грешно и постыдно, если бы мы не помешали ему ввязаться в это темное дело. Он решил ехать? Ну что же! Поедем и мы вместе с ним и не дадим этим бандитам одурачить его.

Энди вполне разделяет мои опасения, и я с радостью вижу, что он намерен активно вмешаться и положить конец махинациям с подложными долларами.

— Я не причисляю себя к очень набожным людям, — говорю я, — никогда не был ни ханжой, ни фанатиком, но не могу же я безучастно глядеть, как человек, который своей энергией, своим умом, не боясь никакого риска, создал крупное торговое дело, станет жертвой ловких негодяев, угрожающих общественному благу.

— Правильно, Джефф, — говорит Энди. — Если Меркисон заупрямится и все же поедет в Чикаго, мы не отступим от него ни на шаг. Мы обязаны сорвать эту затею. Я, так же как и ты, не потерплю,

чтобы этакие деньги были брошены на ветер.

И мы пошли к Меркисону.

— Нет, друзья, — говорит Меркисон. — Я не могу допустить, чтобы сладкогласные песни тех чикагских сирен унеслись на крыльях весенних зефиров. Я либо повытоплю сало из этих блуждающих огоньков, либо прожгу в сковородке дыру. Но, конечно, я буду до смерти рад, если вы поедете со мною. Быть может, мне и вправду будет нужна ваша помощь, когда дело дойдет до того, чтобы уложить в саквояж всю эту гору деньжищ. Да, для меня это будет истинный праздник, если вы согласитесь проехаться вместе со мной.

Меркисон пускает слух по Грассдейлу будто он уезжает на несколько дней с мистером Питерсом и мистером Таккером посмотреть какие-то железные рудники в Западной Виргинии. Потом телеграфирует Дж. Смиту, что в такой-то день он готов влипнуть в его паутину и вот уже вся наша тройка мчится в Чикаго.

В поезде Меркисон увеселяет себя предвкушением забавных событий и приятных воспоминаний.

— В сером костюме, — говорит он. — На юго-западном углу Уобаш-авеню и Озерной улицы… Он роняет газету а я спрашиваю: теплая ли сегодня

вода? Хо-хо-хо!

И Меркисон пять минут заливается неумолкающим хохотом.

Временами, однако, он хмурится, и похоже, что он старается прогнать от себя какие-то мрачные мысли.

— Друзья мои! — говорит он в такие минуты — И за десять тысяч не согласился бы я, чтобы об этом деле узнали у нас в Грассдейле. Это сразу разорило бы меня. Но вы люди благородные, не так ли? И, по-моему, это долг каждого гражданина, — говорит он, — обуздать и проучить тех разбойников, которые занимаются ограблением доверчивой публики. Я покажу им, теплая ли сегодня вода. За каждый доллар — целая пятерка, вот что предлагает Дж. Смит, и ему придется выполнить свое обещание, раз он имеет дело с Биллом Меркисоном.

В Чикаго мы приехали в семь часов вечера. А встреча с тем серым человеком должна была состояться в половине десятого. Мы пообедали в ресторане гостиницы и пошли к Меркисону в номерок дожидаться условного часа.

— Ну, мои милые, — говорит Меркисон, — давайте раскинем мозгами и обдумаем план, как разбить неприятеля наголову. Что, если в то са-

мое время, как я обмениваюсь сигналами с тем серым субъектом, вы, джентльмены, проходите мимо — о, конечно, случайно, совершенно случайно! — и восклицаете: «Алло, Мерк!» — и удивляетесь неожиданной встрече, и дружески жмете мне руку. Тогда я отвожу этого субъекта в сторонку и сообщаю ему, что вы тоже грассдейлские жители, Дженкинс и Браун, и что у одного из вас бакалейная лавка, а у другого магазин гастроном. Что вы превосходные люди и тоже не прочь попытать счастья здесь, на чужой стороне. «Что ж, — говорит он, — отлично, зовите и их, если они желают умножить свои капиталы». Ну как вам нравится этот проект?

— Что ты скажешь по этому поводу, Джефф? — спрашивает Энди и глядит на меня.

— Сейчас, — говорю я, — вы услышите, что я скажу! Я скажу: давайте уладим все это дело сейчас же. Зачем канителиться попусту?

И достаю из кармана мой никелированный револьвер, калибр тридцать восемь, и раза два поворачиваю его барабан.

— Ты, коварный, безнравственный, шкодливый кабан! — говорю я, обращаясь к Меркисону. — Выкладывай-ка на стол свои тысячи. Да пошевеливайся, а не то будет поздно. Сердце у меня мягкое,

но порой и оно закипает от праведной злобы. Из-за таких негодяев, как ты, — продолжаю я после того, как он выложил деньги, — на свете существуют суды и темницы. Ты приехал сюда похитить у этих людей их деньги. И разве можно оправдать тебя тем, что они, в свою очередь, собирались ограбить тебя? Нет, любезнейший. Ты в десять раз хуже, чем тот, промышляющий долларами. Дома ты ходишь в церковь и притворяешься почтенным гражданином, а потом тайно ускользаешь в Чикаго, чтобы околпачивать людей, создавших безупречную солидную фирму для борьбы с презренными мерзавцами, в число которых ты сегодня собирался вступить. Откуда ты знаешь, что тот человек не обременен многочисленной голодной семьей, пропитание которой всецело зависит от его деловых операций? Все вы считаетесь достойными гражданами, а сами только и глядите, как бы заграбастать побольше, не давая взамен ни шиша. Не будь вас, разве существовали бы в нашей стране биржевики, перехватчики чужих телеграмм, шантажисты, продавцы несуществующих шахт, устроители фальшивых лотерей? Не будь вас, эти социальные язвы исчезли бы сами собой. Тот человек, который хотел всучить тебе подложные доллары

и которого ты сегодня собирался ограбить, — может быть, он много лет трудился, чтобы придать своим пальцам необходимую ловкость и овладеть мастерством? На каждом шагу он рискует и своими деньгами, и свободой, а в иных случаях — жизнью. Ты же приходишь сюда, как святоша, ты вооружен до зубов и своей почтенной репутацией, и секретным почтовым адресом. Если ему удастся заполучить твои денежки, ты вопишь: караул! полиция! Если же счастье на твоей стороне, ему приходится закладывать свой серый костюмчик, чтобы купить себе ужин, — при этом он молчит и не жалуется. Мы с мистером Таккером хорошо раскусили тебя, — говорю я, — и приняли меры, чтобы ты получил по заслугам. Давай сюда деньги, ты, травоядный ханжа!

И я кладу две тысячи во внутренний карман пиджака. Деньги были крупными бумажками — каждая в двадцать долларов.

— А теперь выкладывай часы, — говорю я. — Нет, нет, Я не возьму их… Положи их на стол и сиди неподвижно, покуда они не оттикают час. Тогда можешь встать и идти. Если ты вздумаешь кричать или двинешься с места раньше, мы растрезвоним о тебе всю правду в Грассдейле, а твоя репутация дороже для тебя, чем две тысячи.

После этого мы с Энди уходим.

В поезде Энди очень долго молчит. А потом обращается ко мне:

— Джефф, можно задать тебе один вопрос?

— Два, — говорю я. — Или сорок.

— Вся эта идея пришла тебе в голову еще до того, как мы тронулись в путь с Меркисоном?

— Еще бы! А как же иначе? Ведь и у тебя было на уме то же самое?

Энди опять умолкает и полчаса не произносит ни слова. Видно, на него порою находит затмение, когда он не вполне понимает мою систему гуманности и нравственной гигиены.

— Джефф, — говорит он, — я очень хотел бы, чтобы ты как-нибудь на досуге начертил для меня диаграмму твоей пресловутой совести. А внизу под чертежом — примечания. В иных случаях это было бы мне очень полезно — для справки.

Простаки с Бродвея

Перевод М. Беккер

— В один прекрасный день я надеюсь уйти на покой, — сказал Джефф Питерс, — и когда это случится, никто не сможет сказать, что я взял у человека хоть один доллар, не дав ему взамен quid pro rata[29]. Закончив сделку, я всегда ухитрялся оставить клиенту на память какую-нибудь безделицу, которую можно вклеить в альбом для газетных вырезок или засунуть в щель между стеной и часами работы Сета Томаса.

Правда, однажды я чуть было не нарушил это свое правило, совершив гнусное непохвальное деяние, но от этого меня спасли законы и статуты нашего великого доходного государства.

Как-то летом мы с моим компаньоном Энди Таккером отправились в Нью-Йорк, чтобы пополнить наш ежегодный ассортимент костюмов и мужской галантереи. Мы всегда одевались по последней моде, справедливо полагая, что импозантная внешность — один из первейших

---

[29] Примечания: 29
Справедливое вознаграждение за услугу (*искаж. лат.*).

атрибутов нашего ремесла, уступающий разве что знакомству с расписанием поездов и фотографии президента с его автографом, которую подарил нам Лёб[30]. — скорей всего, по ошибке. Энди однажды написал ему письмо о природе, в котором, между прочим, упомянул, что в детстве мать не разрешала ему ловить раков пятерней. Лёб, наверное, понял это место так, что она «разрешилась пятерней», и прислал нам портрет. Как бы там ни было, мы с успехом показывали его в подтверждение своей благонамеренности.

Мы с Энди всегда избегали делать бизнес в Нью-Йорке. Уж очень это смахивает там на браконьерство. Ловить ротозеев в этом городе все равно что глушить окуней динамитом в техасских озерах. Для этого достаточно встать на углу в любой точке между Северной и Восточной рекой[31] и держать в руках мешок с надписью: «Пачки банкнот опускать сюда. Чеки и отдельные бумажки не принимаются». Рядом должен находиться полисмен, чтоб отгонять дубинкой разную шушеру,

---

[30] Примечания: 30

Жак Лёб (1859–1924) — немецкий физиолог и естествоиспытатель, живший в США.

[31] Примечания: 31

Северная река (Гудзон) и Восточная река с двух сторон омывают остров Манхэттен.

которая норовит подсунуть почтовые переводы или канадские деньги. И это все, что может сделать в Нью-Йорке охотник, влюбленный в свое ремесло. Потому-то мы с Энди в этом городишке обычно превращались в естествоиспытателей. Вооружившись полевыми биноклями, мы наблюдали, как олухи, шатающиеся по бродвейским болотам, накладывают гипс на свои сломанные конечности, а после потихоньку смывались, не сделав ни единого выстрела.

Как-то раз мы с Энди, гуляя по переулку в десятке дюймов от Бродвея, забрели в некое злачное место, где под сенью пальм из папье-маше клиентам подсыпают в пиво снотворное, и тут на нашу голову навязался какой-то нью-йоркский житель. Мы пили с ним за одним столиком пиво, как вдруг выяснилось, что у нас есть общий знакомый по фамилии Хелсмит, коммивояжер фирмы по производству печей в Дулуте. Это дало нам повод заметить, что мир тесен, после чего этот нью-йоркский житель срывает с себя веревку, сбрасывает упаковку из фольги и стружек и излагает нам свое жизнеописание, начиная с времен, когда он продавал индейцам шнурки для ботинок на том самом месте, где нынче стоит Тэмени-холл.

Этот житель Нью-Йорка был владельцем сигарной лавки на Бикмен-стрит и уже лет десять ни разу не заходил на север дальше Четырнадцатой улицы. Более того, у него была борода, между тем как давно уже прошло то время, когда уважающий себя жулик мог обидеть бородача. Теперь ни у одного аферист не хватит духу околпачить человека, который предал забвению бритву. На такое может пойти только вдова или мальчишка, вербующий подписчиков на иллюстрированный еженедельник с целью получить в награду духовое ружье. Этот бородач был типичный провинциал — бьюсь об заклад, что за последние четверть века он ни разу не удалялся за пределы видимости небоскреба.

Итак, вскоре эта столичная деревенщина достает пачку банкнот, туго стянутую синей нарукавной резинкой, и через стол протягивает ее мне.

— Мистер Питерс, — говорит он, — тут пять тысяч долларов, скопленных мною за пятнадцать лет коммерческой деятельности. Положите их в карман и сохраните их для меня, мистер Питерс. Я рад, что встретил вас, джентльменов с Запада. Я могу хлебнуть лишнего, и поэтому прошу вас сберечь для меня эти деньги. А теперь давайте

выпьем еще по кружке пива.

— Держали б вы их лучше при себе, — отвечаю я ему. — Вы нас совсем не знаете. Нельзя доверять первому встречному. Положите свою пачку обратно в карман да отправляйтесь восвояси, покуда какой-нибудь батрак из долины реки Хо не явился сюда и не продал вам медный рудник.

— Ерунда, — говорит бородач. — Полагаю, что старина Нью-Йорк как-нибудь сам за себя постоит. Я честного человека сразу вижу. Я всегда считал, что на Западе живут хорошие люди. Прошу вас, мистер Питерс, сделайте одолжение, спрячьте эту пачку к себе в карман. Я джентльмена сразу отличаю. Давайте лучше выпьем еще пивка.

Не прошло и десяти минут, как этот дождь из манны небесной откинулся на спинку стула и захрапел. Энди смотрит на меня и говорит:

— Я, пожалуй, побуду с ним минут пять, на случай, если вдруг придет официант.

Я вышел в боковую дверь, прогулялся по улице, вернулся и снова сел за стол.

— Энди, — говорю я. — Не могу. Это слишком похоже на дачу ложных показаний в налоговом управлении. Я не могу уйти с его деньгами, не сделав никакой попытки их заработать — ну,

хотя бы воспользоваться законом о банкротствах или сунуть ему в карман пузырек с примочкой от экземы, чтоб это хотя бы отдаленно напоминало честную сделку.

— Да, — согласился Энди, — сбежать с достоянием бородатого клиента, особенно после того, как он в благодушной наивности урбанистического легкомыслия сам назначил тебя стражем своей кубышки, — это, конечно, недостойно профессионала. Давай попробуем сочинить какой-нибудь коммерческий софизм, в силу которого он мог бы снабдить нас и деньгами и оправданием.

Мы будим бородача. Он потягивается, зевает и высказывает гипотезу, что, очевидно, на минутку задремал. Потом он говорит, что, пожалуй, не имел бы ничего против маленькой джентльменской партии в покер. Когда он ходил в школу в Бруклине, он частенько баловался картишками, а уж коль скоро он решил кутнуть, так почему бы… и так далее.

Энди повеселел, усмотрев в этом возможный выход из наших финансовых затруднений. И вот мы все трое отправляемся по Бродвею к нам в гостиницу и велим принести в номер Энди карты и фишки. Я еще раз пытаюсь всучить этому невинному младенцу его пять тысяч. Но не

тут-то было.

— Сделайте одолжение, мистер Питерс, — говорит он. — Подержите эту пачку пока у себя. Я ведь не где-нибудь, а среди друзей. Поверьте, что человек, который двадцать лет делал бизнес на Бикмен-стрит, в самом сердце этого хитрейшего на свете городишки, прекрасно знает, что к чему. Я уж как-нибудь отличу джентльмена от мазурика и проходимца. У меня в карманах еще осталась кой-какая мелочь — для начала хватит.

Он роется в карманах, и на стол сыплется столько золотых монет по двадцать долларов, что это начинает напоминать картину Тернера «Осенний день в лимонной роще», которую на выставке оценили в 10 000. Энди чуть не улыбнулся.

В первом же раунде этот пижон кладет на стол свои карты и, даже не пытаясь блефовать, сообщает нам, что у него на руках каре валетов и десятка бубен, после чего сгребает весь банк.

Энди всю жизнь гордился своим искусством играть в покер. Он встал из-за стола и принялся грустно смотреть в окно на трамваи.

— Джентльмены, — говорит бородач. — Я не сержусь на вас за то, что вы не хотите со мной играть. Я так давно не занимался этим делом, что наверняка перезабыл все тонкости. Скажите,

джентльмены, вы еще долго пробудете в городе?

Я говорю, что примерно неделю. Он отвечает, что ему это как нельзя более кстати. Сегодня вечером из Бруклина приедет его двоюродный брат, и они пойдут осматривать нью-йоркские достопримечательности. Его двоюродный брат торгует протезами и свинцовыми гробами. Он уже лет десять не переезжал через мост. Они решили повеселиться напропалую. В заключение он просит меня подержать его деньги до завтра. Я снова попытался их отдать, но он счел это за личное оскорбление.

— Мне хватит мелочи, которая у меня осталась, — говорит он. — А пачка пусть полежит у вас. Завтра часов в шесть или семь вечера я к вам загляну, и мы с вами и с мистером Таккером пообедаем. Будьте паиньками.

После ухода бородача Энди посмотрел на меня с любопытством и сомнением.

— Джефф, — сказал он, — похоже, что вороны так стараются нас накормить, словно мы с тобой — два Ильи-пророка[32]. И если мы их отринем, то как бы на нас не напустилось Общество защиты

---

[32] Примечания: 32

По библейской легенде, Илью-пророка в пустыне кормили вороны.

пернатых имени Одюбона[33]. Нельзя слишком часто отказываться от короны. Разумеется, все это сильно смахивает на отеческое попечение, но не кажется ли тебе, что Удача уже достаточно долго стучится к нам в двери?

Я положил ноги на стол и засунул руки в карманы — поза, отнюдь не располагающая к фривольным мыслям.

— Энди, — отвечаю я. — Этот волосатый бородач поставил нас в весьма затруднительное положение. Мы связаны по рукам и ногам и не смеем даже пальчиком тронуть его деньги. Мы заключили джентльменское соглашение с фортуной и никак не можем его нарушить. На Западе, где мы делаем бизнес, он больше похож на честную игру. Там люди, которых мы хотим обчистить, пытаются обчистить нас — даже фермеры или нищие эмигранты, которых редакции журналов посылают рекламировать золотые прииски. Но в Нью-Йорке с удочкой, ружьем и спиннингом не разгуляешься. Здесь ходят на охоту либо с рогаткой, либо с рекомендательным письмом. В здешних водах столько сазанов, что вся мелкая

[33] Примечания: 33

Джон Джеймс Одюбон (1785–1861) — американский путешественник, художник, писатель, больше всего известный своей книгой «Птицы Америки», которую сам иллюстрировал.

рыбешка давно ушла. Ты думаешь, что если закинуть здесь сеть, то в нее попадется законная добыча, которую сам Бог велел ловить, — наглые всезнайки, хлыщи-шулера, уличные зеваки и деревенские проныры? Нет, сэр. Здесь жулики пробавляются за счет вдов и сирот или за счет иностранцев, которые скопили мешок денег и готовы выложить его на первую попавшуюся стойку, да еще за счет фабричных работниц и мелких лавочников, которые никогда не выходят за пределы своего квартала. Вот кто здесь попадается на удочку — консервированные сардины, для которых не требуется никакой наживки, кроме карманного ножа и соленого печенья.

Этот сигарочник как раз и есть один из подобных типов. Он прожил двадцать лет на одной улице и знает ровно столько, сколько ты узнаешь от немого цирюльника, пока он бреет тебя в каком-нибудь канзасском захолустье. Но зато он — житель Нью-Йорка, и он будет похваляться этим все то время, когда не гоняется за последними новостями, не оказывается перед трамваем, не стоит под сейфом, который втаскивают лебедкой на последний этаж небоскреба, или не отдает свои деньги перехватчику биржевых телеграмм. Уж если житель Нью-Йорка решил дать

себе волю, так это напоминает ледоход на реке Аллегейни — отходи подальше, не то тебя собьет с ног холодной водою и льдинами.

— Нам здорово повезло, Энди, — продолжаю я, — что этот представитель сигарных интересов с гарниром из петрушки облек нас своим младенческим доверием и альтруизмом. Ибо эти его пять тысяч подрывают мои нравственные устои и этические нормы. Мы не можем их взять, Энди, ты сам прекрасно знаешь, что не можем, — ведь мы не имеем на них ни малейшего, ну просто ни малейшего права. Будь у нас хотя бы тень основания на них посягнуть, я бы с удовольствием предоставил ему возможность поработать еще двадцать лет, чтобы накопить еще пять тысяч, но увы — мы ему ничего не продавали, ни в какие сделки с ним не вступали и никаких коммерческих соглашений с ним не подписывали. Он оказал нам дружеское доверие, — говорю я, — и со слепым прекраснодушием идиота вложил свое добро нам в руки. Нам придется отдать ему эти деньги, как только он того пожелает.

— Твои аргументы выше всякой критики и разумения, — отвечает мне Энди. — Конечно, мы не можем уйти с его деньгами — при теперешнем положении вещей. Я восхищаюсь твоей добросо-

вестностью в бизнесе и не позволю себе никаких предложений, которые не соответствовали бы твоим теориям личной инициативы и морали.

— Однако на сегодня и завтра я вынужден тебя покинуть. Мне надо заняться кой-какими делами, — говорит он. — Когда этот меценат придет сюда завтра вечером, задержи его до моего возвращения. Ведь мы приглашены на обед.

И вот, сэр, назавтра часов около пяти появляется наш сигарочник. Глаза у него наполовину заплыли.

— Мы изумительно провели время, мистер Питерс, — говорит он. — Обошли все достопримечательности. Да, доложу я вам, Нью-Йорк — это первый класс прима. Сейчас, если вы не возражаете, я прилягу на эту софу и сосну минут этак девять — до прихода мистера Таккера. Я не привык всю ночь не спать. А завтра, мистер Питерс, если вы ничего не имеете против, я хотел бы взять у вас эти пять тысяч. Вчера вечером я познакомился с одним человеком, который совершенно точно знает, кто победит на завтрашних скачках. Простите мою неучтивость, мистер Питерс, но я сегодня не выспался.

И вот этот обитатель второго города в мире ложится и начинает храпеть, а я сижу рядом,

размышляю о разных вещах и мечтаю поскорее вернуться на Запад, где клиент всегда будет драться за свои деньги с упорством, вполне достаточным для того, чтобы твоя совесть позволила тебе их у него отобрать.

В половине шестого в комнату входит Энди и видит спящее тело.

— Я ездил в Трентон, — говорит он, вынимая из кармана какую-то бумагу. — Мне кажется, я отлично уладил это дело, Джефф. Вот, посмотри.

Я разворачиваю бумагу и вижу, что это патент на право учреждения корпорации, выданный штатом Нью-Джерси «Объединенной Акционерной Компании Развития Воздушных Путей Питерс и Таккер».

— Это дает преимущественное право на беспрепятственное пользование воздушными коридорами, — поясняет Энди. — Законодательное собрание штата сегодня не заседало, но я разыскал в кулуарах владельца газетного киоска, который на всякий случай держит у себя запас патентных бланков. Всего имеется в наличии сто тысяч акций, которые, как ожидают, должны достичь номинальной стоимости в один доллар каждая. Я заказал в типографии бланк свидетельства на долю участия в акционерном капитале

компании.

С этими словами Энди вынимает бланк, берет вечную ручку и начинает его заполнять.

— Весь этот капитал наш друг из царства грез получит оптом за пять тысяч долларов. Ты узнал, как его фамилия?

— Пиши на предъявителя, — отвечаю я.

Мы вложили свидетельство в руку сигарочника и принялись укладывать чемоданы.

На пароме Энди говорит:

— Ну как, Джефф, теперь твоя совесть спокойна?

— Разумеется, спокойна, — отвечаю я. — Чем мы лучше любой другой акционерной компании?

Совесть в искусстве

Перевод К. Чуковского

— Я никогда не мог заставить своего компаньона Энди Таккера держаться в законных границах благородного жульничества, — оказал мне однажды Джефф Питерс.

Энди не способен к благородству: у него слишком большая фантазия. Он, бывало, изобретал такие мошеннические, такие сверхфинансовые способы добывать деньги, что на них наложила бы вето даже железнодорожная компания.

Сам же я принципиально никогда не брал у своего ближнего ни одного доллара, не дав ему чего-нибудь взамен — будь то медальон из фальшивого золота, или семена садовых цветов, или мазь от прострела, или биржевые бумаги, или порошок от блох, или хотя бы затрещина. Наверное, какие-нибудь мои предки происходили из Новой Англии, и я унаследовал от них стойкий и упорный страх перед полицией.

Ну а у Энди родословное дерево другой породы. Он, вероятно, мог бы проследить свою генеалогию только до какой-нибудь финансовой

корпорации.

Как-то летом, когда мы обретались на Среднем Западе и промышляли в долине Огайо семейными альбомами, порошками от головной боли и жидкостью от тараканов, Энди пришла в голову новая финансовая комбинация, подлежащая преследованию со стороны судебных властей.

— Джефф, — говорит он, — по-моему, пора нам бросить этих огородников и удостоить своим вниманием что-нибудь более питательное и плодовитое. Как тебе нравится идея нырнуть в самую гущу страны небоскребов и покусать каких-нибудь оленей покрупнее?

— Что ж, — говорю я, — моя идиосинкразия тебе известна. Я предпочитаю честный, легальный бизнес, такой, как сейчас. Когда я беру деньги, я люблю оставлять в руках у моего покупателя какой-нибудь осязательный предмет, чтобы он любовался им и не слишком следил, в какую сторону я смываюсь. Но если ты придумал что-нибудь новенькое, Энди, — говорю я, — выкладывай, послушаем. Не так уж я привержен к мелкому жульничеству, чтобы отказаться, если взамен предложат что-нибудь лучшее.

— Я подумывал, — говорит Энди, — устроить небольшую облаву — так, без собак, без егерей и

без особого шума — на обширное стадо американских Мидасов[34], которые в просторечии зовутся питтсбургскими миллионерами.

— В Нью-Йорке? — спрашиваю я.

— Нет, милейший, — говорит Энди. — В Питтсбурге. Они водятся главным образом там. Нью-Йорка они не любят. Бывают там изредка и только потому, что от них этого ждут.

Питтсбургский миллионер, попавший в Нью-Йорк, — все равно, что муха, попавшая в чашку горячего кофе, — люди смотрят на него и говорят о нем, а удовольствия никакого. Нью-Йорк издевается над ним за то, что он просаживает уйму денег в этом городе насмешек и снобов. На самом же деле он там ничего не тратит. Я однажды видел запись расходов, которую один житель Питтсбурга, стоивший пятнадцать миллионов, составил после того, как прожил десять дней в Нью-Йорке. Вот какова эта запись:

Доллары Центы

Проезд по железной дороге туда и обратно.....21 00

---

[34] Примечания: 34

Мидас — в греческой мифологии — фригийский царь, по одной легенде, имевший ослиные уши, по другой — обладавший властью обращать в золото все, к чему он прикасался.

Проезд
в кебе в отель и обратно.....2 00
Счет
в
отеле по 5 долларов в день.....50 00
На чай.....5750
00
Итого 5823 00

— Вот он, голос Нью-Йорка, — продолжает Энди. — Этот город — сплошной официант. Если дать ему на чай слишком много, он станет у двери и будет острить на ваш счет с мальчишкой при вешалке. Когда житель Питтсбурга хочет тратить деньги и наслаждаться жизнью, он сидит дома. Там-то мы и будем его ловить.

Ну, короче говоря, спрятали мы с Энди наши альбомы, и нашу парижскую зелень, и антипириновые порошки в погребе у одного знакомого и отправились в Питтсбург. У Энди не было заранее составленной программы беззаконных и насильственных действий, но он рассчитывал, что, когда дойдет до дела, его аморальный инстинкт окажется на высоте положения.

Идя навстречу моим идеям самосохранения и честности, Энди обещал, что, если я приму

деятельное участие в любом бизнесе, какой вздумается ему оборудовать, жертва получит за свои деньги что-нибудь такое, что можно воспринять с помощью зрения, осязания, обоняния или вкуса, так что моя совесть может быть спокойна. После этого я уже не чувствовал никаких угрызений и гораздо бодрее пошел на беззаконное дело.

— Энди, — говорю я, пробираясь с ним сквозь дым по шлаковой дорожке, которую там называют Смитфилд-стрит, — а ты подумал о том, как нам познакомиться с этими королями кокса и герцогами чугунных болванок? Я вовсе не хочу умалять мое умение вести себя в гостиной и мою систему обращения с ножами и вилками, но проникнуть в салоны здешних потребителей дешевых сигар труднее, чем тебе кажется.

— Если что и помешает нам сблизиться с ними, — говорит Энди, — так только наше хорошее воспитание. Мы для них слишком высокого тона. Здешние миллионеры — простой, добродушный народ, демократы, без всяких претензий.

Правда, они грубы, но очень невежливы, и хотя в манерах их не заметно ни лоска, ни учтивости, в глубине души они наглы и дерзки. Почти каждый из них вышел из самых темных низов, и они так и останутся в потемках, покуда город

не заведет дымоочистителей. Если мы станем держать себя просто, без всяких претензий, не будем избегать салунов да сумеем заявить о себе достаточно громко, как импортная пошлина на стальные рельсы, нам ничего не стоит стать с этими миллионерами на самую короткую ногу.

Ну вот, бродили мы с Энди по городу дня три-четыре, все примеривались. Нескольких миллионеров мы уже знали в лицо.

Один из них каждый день проезжал мимо нашей гостиницы, останавливался у ее дверей и требовал, чтобы ему на улицу вынесли кварту шампанского. Лакей выносит ему шампанское, откупоривает, а он берет бутылку и прямо из горлышка. Сразу видно, что перед тем, как разбогатеть, он работал стеклодувом на заводе.

Однажды вечером Энди не явился к обеду, а пришел лишь около одиннадцати и прямо ко мне в номер.

— Подцепил одного! — сказал он. — Двенадцать миллионов. Нефть, прокатные заводы, недвижимость, природный газ. Хороший человек, никакого чванства. Все свои богатства нажил за последние пять лет. Теперь нанимает кучу профессоров, чтобы обучали его литературе, искусству и всякой такой пустяковине. В первый

раз я увидел его, когда он только что выиграл пари у представителя Стального треста, что сегодня на Аллегейнском сталепрокатном будет четыре случая самоубийства. Ставка была десять тысяч. По этому случаю каждый желающий приходил и поздравлял его, и каждого он угощал стаканом виски. Я почему-то понравился ему с первого взгляда, и он предложил пообедать вдвоем. Я согласился, мы пошли на Брильянтовый проспект в ресторан, сели за столик, пили искрящийся мозель, ели рагу из устриц и на закуску яблочные оладьи.

Потом он захотел показать мне свою холостую квартиру на Либерти-стрит. Квартирка в десять комнат прямо над рыбными рядами, а ванная выше этажом. Он сказал, что ему стоило восемнадцать тысяч долларов обставить эту резиденцию, и я ему верю.

В одной комнате картин на сорок тысяч, а в другой — разных курьезов и древностей на двадцать. Его фамилия Скаддер, ему сорок пять лет, он учится играть на пианино, и его нефтяной фонтан дает каждый день по пятнадцать тысяч баррелей нефти.

— Что ж, — говорю я, — все это, пожалуй, недурно звучит, но для нас как будто ни к чему. На

черта нам его картины? И нефть?

Энди в задумчивости сидит на кровати.

— Нет, — говорит он, — нет, этот человек не просто заурядный мерзавец. Когда он показывал мне свой шкафчик с древностями, лицо у него раскраснелось, словно дверца печки, в которой пылает кокс. Он говорит, что если ему удастся провести еще несколько крупных операций, то в сравнении с его коллекцией гобеленовое, фарфорово-бисерное собрание Дж. П. Моргана покажется не изящнее, чем содержимое страусиного зоба на экране волшебного фонаря.

— А потом он показал мне одну вещицу, — продолжал Энди, — ну, это, сразу видно, вещь замечательная. Вырезана из слоновой кости. Он говорит, что ей две тысячи лет. Цветок лотоса, и в нем лицо какой-то женщины. Скаддер заглянул в каталог и объяснил все как по-писаному. Один египетский резчик, по имени Хафра, сделал две таких штучки для фараона Рамзеса Второго в какой-то год до рождества Христова. Вторая куда-то пропала, и ее до сих пор не нашли. Антикварные крысы обшарили всю Европу, надеясь отыскать ее, но напрасно. Скаддер заплатил за свою две тысячи долларов.

— Ладно, — говорю я, — для меня это пустые

слова. Я думал, что мы прибыли в Питтсбург, чтобы научить миллионеров, как нужно делать дела, а выходит, что они дают нам уроки по части изящных искусств.

— Ничего, потерпи немного, — благодушно отвечает Энди. — Дым еще может рассеяться.

На следующий день рано утром Энди ушел из отеля и воротился только к двенадцати часам. Он пригласил меня к себе в номер, вынул из кармана какой-то сверточек величиной с гусиное яйцо, и, когда распаковал его, там оказалось точно такое же изделие из слоновой кости, как то, которое Энди видел у миллионера вчера.

— Час тому назад, — говорит Энди, — захожу я в одну здешнюю лавчонку, где продается всякая пыльная рухлядь. Там же принимают вещи в заклад. Смотрю — из-под каких-то старинных кинжалов выглядывает вот эта история. Закладчик говорит, что она валяется у него уже несколько лет и что ее завезли сюда арабы, или турки, или другие неверные, которые жили тогда внизу, у реки. Я предложил ему за нее два доллара, но, должно быть, по моим глазам было видно, что она мне страшно нужна, потому что продавец сказал, что самая малая цифра, о которой он может вести разговор, это триста

тридцать пять долларов и что говорить о более мелких цифрах значило бы вырвать кусок хлеба изо рта у его детей. В конце концов я приобрел ее за двадцать пять.

— Джефф, — продолжает Энди, — посмотри. Это и есть та вторая фараонова штучка, о которой говорил мне Скаддер. Они похожи как две капли воды. Я не сомневаюсь, что, когда он увидит ее, он заплатит за нее две тысячи с такой же быстротой, с какой он затыкает себе за ворот салфетку перед обедом. И в самом деле, почему бы этой штуке не быть настоящей? Весьма возможно, что ее вырезал тот старый цыган.

— Почему бы и нет? — говорю я. — Но как же мы заставим нашего миллионера добровольно приобрести такую штучку?

На этот счет у Энди был готовый, вполне разработанный план, и вот как мы привели его план в исполнение.

Я достал синие очки, напялил черный сюртук, взлохматил себе волосы и превратился в профессора Пиклмена. Я переехал в другую гостиницу, зарегистрировался там и послал телеграмму Скаддеру прося его пожаловать ко мне по важному делу, касающемуся изящных искусств. Не прошло и часа, он поднялся ко мне на лифте.

Неотесанный мужчина, крикун, весь пропахший коннектикутскими сигарами и нефтью.

— Алло, профес! — кричит он. — Что поделываете?

Я пуще прежнего взлохмачиваю волосы и смотрю на него через синие очки.

— Сэр, — говорю я. — Вы Корнелиус Т. Скаддер, проживающий в штате Пенсильвания в городе Питтсбург?

— Да, это я! — кричит он. — Давайте выпьем по этому случаю.

— У меня, — говорю я ему, — нет ни желания, ни времени предаваться таким злокачественным и нелепым развлечениям. Я приехал сюда из Нью-Йорка по делу, касающемуся биз… то есть искусства. Мне стало известно, что вы являетесь обладателем египетской таблетки из слоновой кости времен фараона Рамзеса Второго. На ней изображена голова царицы Изиды на фоне цветка лотоса. Таких изображений было изготовлено только два. Одно из них считалось пропавшим. Недавно мне посчастливилось приобрести его в ломб… в одном малоизвестном музее в Вене. Я хотел бы купить и то, которое хранится у вас. Какова будет ваша цена?

— Черт возьми, профессор! — кричит Скад-

дер. — Неужели вы нашли его? И вы хотите, чтобы я продал вам свое? Нет, нет! Корнелиусу Скаддеру нет нужды продавать свои коллекции. При вас ли это произведение искусства?

Я показываю безделушку Скаддеру. Он внимательно рассматривает ее.

— Да, да, вы правы, — говорит он. — Это подлинный дубликат моей. Те же завитушки, те же линии. Я вам скажу что я сделаю. Я не продам, но куплю. Даю вам две тысячи пятьсот за вашу.

— Ну, если вы не продаете, я продам, — говорю я. — И, пожалуйста, бумажки покрупнее. Я не люблю терять время. Сегодня же возвращаюсь в Нью-Йорк читать в аквариуме публичную лекцию.

Скаддер пишет чек, посылает его вниз, в контору гостиницы, там его меняют, приносят мне деньги. Он берет свою египетскую штучку, а я беру деньги и еду к Энди, в его гостиницу.

Энди шагает по комнате и глядит на часы.

— Ну? — спрашивает он.

— Две тысячи пятьсот, — говорю я. — Наличными.

— У нас осталось всего одиннадцать минут, — говорит он. — Поезд сейчас отойдет. Бери чемодан — и ходу.

— К чему торопиться? — говорю я ему. — Дело было честное. А если даже наша египетская штучка подделка — это не сию минуту откроется. Для этого нужно время. Скаддер как будто уверен, что она настоящая.

— Она и есть настоящая, — говорит Энди. — Она его собственная. Вчера, когда я обозревал его коллекцию, он вышел на минуту из комнаты, а я сунул эту штучку в карман. Бери же скорей чемодан и бегом.

— Так зачем же, — говорю я, — ты выдумал, будто нашел вторую у закладчика-антиквара?

— Ох, — отвечает Энди, — из уважения к твоей честности, чтобы тебя совесть не мучила… Идем же, идем!

Кто выше?

Перевод К. Чуковского

Мы с Джеффом Питерсом сидели в ресторанчике Провенцано в укромном углу. Перед каждым из нас было блюдо спагетти, и Джефф объяснял мне, что жулики бывают трех сортов.

Каждую зиму он приезжает в Нью-Йорк полакомиться спагетти, посмотреть из глубин своей беличьей шубы, как снуют пароходы по Восточной реке, и запастись в одном из магазинов готового платья на Фултон-стрит одеждой, которая сшита в Чикаго. В течение трех остальных времен года его следует искать западнее — поле его деятельности где угодно, от Спокана до Тампо[35]. Своей профессией он гордится и совершенно серьезно защищает ее достоинства с помощью своеобразной этической философии. Профессия его не нова. Он дает надежный, радушный и просторный приют беспокойным и неразумным долларам своих ближних.

В каменной пустыне, куда Джефф ежегодно

[35] Примечания: 35

Первый город — в штате Вашингтон, на северо-западе Соединенных Штатов, второй — во Флориде.

удаляется на зимний отпуск, он не прочь бывает поболтать о своих многочисленных приключениях, — так в вечернюю пору мальчишка любит свистеть в лесу. Вот почему я отмечаю у себя на календаре время, когда Джефф должен приехать в Нью-Йорк, и открываю у Провенцано переговоры относительно залитого вином столика в углу, между развесистым фикусом и palazzo della что-то такое[36] в раме, на стене.

— Есть два рода жульничества, такие зловредные, — говорил Джефф, — что их следовало бы уничтожить законодательной властью. Это, во-первых, спекуляция Уолл-стрита, а во-вторых — кража со взломом.

— Ну, насчет одного из них с вами согласится каждый, — сказал я смеясь.

— Нет, нет, и кража со взломом тоже подлежит запрещению, — сказал Джефф, и мне пришло в голову, что я, может быть, смеялся некстати.

— Месяца три назад, — сказал Джефф, — мне посчастливилось быть sine qua grata[37] с представителями обеих вышеназванных разновидностей

---

[36] Примечания: 36

Картиной, изображающей какой-то итальянский дворец.

[37] Примечания: 37

Джефф хотел употребить латинский дипломатический термин persona grata — «желательное лицо».

нелегального искусства. Судьба свела меня одновременно с членом Союза Грабителей и с одним из наших Джон Д. Наполеонов.

— Интересное сочетание, — сказал я зевая, — а я не рассказывал вам, как я на прошлой неделе, на берегу Рамапоса, уложил одним выстрелом утку и суслика?

Я знал, как вытягивать из Джеффа его истории.

— Подождите, сначала я вам расскажу про этих полипов, которые тормозят колеса общественной жизни и отравляют источники честности своим смертоносным взглядом, — сказал Джефф, и в его глазах горело чистое пламя карающей добродетели.

Как я уже рассказывал, три месяца назад я попал в дурную компанию. Это случается с человекам в двух случаях жизни — когда он без гроша и когда он богат.

Бывает, что и в самых законных делах наступает полоса невезения. На одном перекрестке я свернул не туда, куда нужно, и по ошибке попал в городишко Пивайн. Мне не следовало отправляться туда, так как прошедшей весной я уже осаждал этот город и нанес ему большие повреждения. Я продал тамошним жителям на шестьсот долларов молодых фруктовых деревьев

— грушевых, сливовых, вишневых, персиковых. С тех пор жители города не переставали глядеть на дорогу, поджидая, не пройду ли я по этой дороге опять. А я, не подозревая ни о чем, еду по главной улице, доезжаю до аптекарского магазина «Хрустальный дворец» и только тогда замечаю, что мы оба попали в засаду — я и мой сивый конек Билл.

Жители Пивайна схватили Билла под уздцы и завели со мной разговор, имеющий ближайшее отношение к теме о фруктовых деревьях. Двое-трое из представителей города просунули мне сквозь проймы жилета постромки и повели меня по своим фруктовым садам. Вся беда была в том, что их деревья не хотели соответствовать тем надписям, которые были начертаны на привязанных к ним дощечках. Большинство из них оказались грушей-дичком и терновником, но были и липы, и небольшие дубки. Единственное дерево, которое сулило принести хоть какой-нибудь плод, был молоденький виргинский тополек, на котором выросло хорошее осиное гнездо и половина старого лифчика.

Жители довели нашу бесплодную прогулку до самой окраины города, потом конфисковали у меня в счет долга все мои деньги и золотые часы,

а Билла и тележку оставили у себя в качестве заложников. Они заявили, что в ту самую минуту, как на их терновом кусте вырастут июньские персики, я могу вернуться и получить свои вещи назад. Потом они сняли с меня постромки и ткнули пальцем по направлению к Скалистым горам; и я пустился крупной рысью к непроходимым лесам и полноводным рекам.

Когда я пришел в себя, оказалось, что я шагаю по шпалам железной дороги Арканзас — Техас к какому-то неведомому городу. Жители Пивайна не оставили мне ничего, только немного жевательной резинки, и это спасло мне жизнь. Сел я на груду шпал, откусил кусок резинки и стал собирать свои мысли и силы.

Вдруг мимо проносится скорый товарный поезд; подъехав к городу, он чуть-чуть замедляет ход, и вот из вагона вылетает какой-то черный узел, катится двадцать шагов в туче пыли, а потом встает на ноги и начинает выплевывать полужирный уголь вместе с междометиями. Передо мной оказался молодой человек, круглолицый, одетый для путешествия в спальном купе, а не в товарном вагоне, и с самой веселой улыбкой, какую когда-либо видели на таком грязном лице.

— Выпали? — спрашиваю я.

— Нет, — отвечает он. — Соскочил. Прибыл к месту своего назначения. Какой это город?

— Я еще не посмотрел по карте, — говорю я. — Я и сам прибыл сюда за пять минут до вас. Как, по-вашему, ничего городок?

— Не очень-то мягкий! — отвечает он и ощупывает свою руку. — Как будто здесь, вот это плечо… а впрочем, нет, все в порядке.

Он нагибается, чтобы стряхнуть пыль со штанов, и из кармана у него выскакивает хорошенькая девятивершковая стальная отмычка. Он поднимает ее и глядит на меня с опаской, а потом ухмыляется и протягивает мне руку.

— Брат, — говорит он, — прими мой сердечный привет! Не тебя ли я видел на юге Миссури прошлым летом, когда ты занимался продажей цветного песочка по полдоллара за чайную ложку и уверял, что стоит только всыпать его в лампу и керосин никогда не взорвется?

— Керосин и вправду никогда не взрывается, — отвечаю я. — Взрывается только газ.

Тем не менее я жму ему руку.

— Мое имя Билл Бассет, — говорит он, — и если ты не сочтешь хвастовством мою профессиональную гордость, то я скажу тебе, что сейчас ты имел удовольствие познакомиться с одним из

лучших взломщиков, какие когда-либо ступали резиновой подошвой на почву орошаемую рекой Миссисипи.

Хорошо. Уселись мы с этим Бассетом рядом на шпалы и стали хвастаться друг перед другом, как и подобает художникам, работающим по одной специальности. Оказалось, что и он без гроша, так что мы с ним живо сошлись. Он объяснил мне, почему самый талантливый взломщик бывает по временам принужден путешествовать в товарном вагоне. В Литтл-Роке чуть не выдала его изменница-горничная, и ему пришлось убежать сломя голову.

— Такое уж у меня ремесло, — объяснял мне Билл Бассет. — Для того чтобы оно имело успех, я вынужден обрабатывать плоеные чепчики. Покажи мне домик, где есть ценные вещи и смазливая горничная, и можешь быть уверен, что серебро будет расплавлено и сплавлено, а я буду пить шато да поплевывать в салфетку трюфелями. Полиция же будет уверять, что кражу совершил кто-нибудь из своих, ибо племянник старухи хозяйки преподает закон Божий. Сперва я оказываю некоторое давление на девушку, а потом уже, когда девушка пускает меня в дом, — на замочные скважины при помощи воска. Но эта

литтл-рокская горничная подвела меня: она увидела, как я катаюсь на трамвае с другой девицей, и в ту же ночь, когда она должна была впустить меня в дом, заперла дверь на замок. А у меня заготовлены ключи для дверей второго этажа… Да, сэр, она оказалась Далилой.

Из дальнейшего выяснилось, что Билл все же пытался пустить в ход свою отмычку, но девушка разразилась целой руладой бравурных звуков, вроде тех, которые испускают борзятники, и Биллу пришлось перепрыгивать через все заборы по дороге к вокзалу. Багажа у него не было, поэтому его всячески пытались не пустить на вокзал, но он все-таки вскочил в отходивший товарный поезд.

— Ну-с, — сказал Билл Бассет, когда мы обменялись мемуарами о минувших деньках, — а теперь мне охота поесть. Непохоже, чтобы весь город был заперт на французский замок Что, если мы учиним небольшое злодейство и добудем себе мелочишки на карманные расходы? Ты, вероятно, не догадался захватить с собой какого-нибудь снадобья для ращения волос, или позолоченных часовых цепочек, или других каких-нибудь запрещенных товаров, которые мы могли бы всучить здешним олухам?

— Нет, — говорю я, — все осталось у меня вместе с чемоданом в Пивайне — и серьги с патагонскими брильянтами, и незолотые брошки. Там они останутся, покуда на тополях не вырастут японские сливы и не наводнят собой весь рынок. А рассчитывать на это трудно, разве что мы пригласим в помощники Лютера Бербанка[38].

— Ну, что же делать, — отвечает Бассет, — поищем других путей. Может быть, когда стемнеет, я выпрошу у какой-нибудь дамочки шпильку и попробую с помощью этой шпильки взломать сейф Пастушеско-Фермерского банка.

Во время нашей беседы к станции подходит пассажирский поезд. Из вагона выскакивает какой-то мужчина в цилиндре — выскакивает не с той стороны, откуда все люди, а с другой — и бежит вприпрыжку по путям, прямо к нам; маленький, толстенький, длинноносый, с крысиными глазками, но платье на нем дорогое, в руке саквояж, который он несет так осторожно, как будто там яйца или железнодорожные акции. Он прошел мимо нас по шпалам, словно и не заметил, что поблизости город.

— Идем! — говорит Билл и встает с места.

---

[38] Примечания: 38

Лютер Бербанк (1849–1926) — знаменитый американский садовод-селекционер.

— Куда? — спрашиваю я.

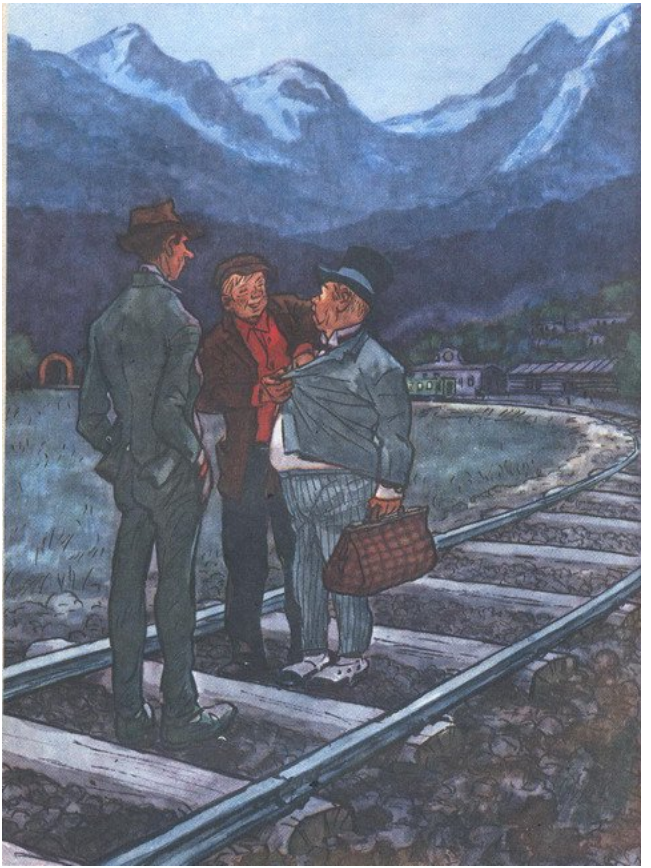
— Как куда? — говорит Билл. — Или ты забыл, что ты в пустыне и что у тебя перед глазами сию минуту просыпалась манна? Или ты не слышишь, как ворон шумит крыльями? Эх ты, Илья-пророк!

Мы догнали незнакомого мужчину на опушке леса, и, так как место было безлюдное, а солнце уже закатилось, никто не видел, как мы остановили его. Билл снял с него цилиндр, погладил его рукавом и снова надел незнакомцу на голову.

— Что это значит, сэр? — спрашивает незнакомец.

— Когда я носил цилиндр, — отвечает Билл, — и испытывал какое-нибудь затруднение, я всегда снимал свой цилиндр и гладил его рукавом. Теперь цилиндра у меня нет, и приходится пользоваться вашим. Я в таком затруднении, что даже не знаю, с чего мне начать, как объяснить вам, по какой причине мы обеспокоили вас, и потому не лучше ли будет, если мы, для первого знакомства, пощупаем ваши карманы.

Билл тщательно обшарил все карманы приезжего, и на лице у него выразилось отвращение.



— Часов и тех нет, — сказал он. — Как же вам

не стыдно, вы, истукан алебастровый? Разодет, как первый лакей в ресторане, а денег не больше, чем у какого-нибудь графа. Нет даже мелочи на трамвай. И куда вы девали билет?

Приезжий отвечает, что при нем действительно нет никаких ценных вещей. Но Бассет берет у него из рук саквояж. В саквояже оказываются носки, воротнички и какая-то газетная вырезка. Билл внимательно читает газетную вырезку, а потом протягивает приезжему руку.

— Брат, — говорит он, — прими мой сердечный привет. Позволь принести тебе извинение друзей. Я Билл Бассет, громила. Мистер Питерс, познакомьтесь, пожалуйста, с мистером Альфредом Э. Риксом. Пожмите друг другу руки.

Потом Билл снова обращается к приезжему и говорит:

— Мистер Питерс по своей профессии занимает среднее место между мною и вами в деле преступления и порока. Он всегда дает какой-нибудь товар за те деньги, которые получает. Очень рад познакомиться с вами, мистер Рикс, — с вами и с мистером Питерсом. Это первый раз мне случается присутствовать на таком пленарном заседании Национального Синода Акул, где представлены все три ремесла: грабительство, жульничество и

банковое дело. Пожалуйста, мистер Питерс, рассмотрите верительные грамоты мистера Рикса.

В газетной вырезке, которую вручил мне Билл Бассет, этот Рикс был изображен во весь рост. Газета была чикагская, и каждая строчка заключала проклятия по адресу Рикса. Из нее я усмотрел, что вышеназванный Рикс разделил на участки те области штата Флорида, которые находятся глубоко под водой, и продавал эти участки простодушным людям в своей роскошно обставленной конторе в Чикаго. После того как он собрал что-то около ста тысяч долларов, один из тех пронырливых и беспокойных покупателей, которые всегда готовы чинить неприятности (я знал таких, которые проверяли купленные у меня золотые часы — кислотой), — один из этой шайки пройдох совершил по удешевленному тарифу экскурсию на купленный им участок посмотреть, не требуется ли там починить забор, а кстати закупить к Рождеству лимонов для предпраздничной торговли. Он прихватил с собой землемера, чтобы тот установил окончательно границы его участка. Подъезжают они к берегу и видят, что имение «Райская долина», столь прославленное в газетных рекламах, находится на дне озера Окичоби. Участок этого человека был

на глубине тридцати шести футов, и, кроме того, аллигаторы и щуки так давно сделали на него заявку, что тягаться с ними было бы трудновато.

Естественно, владелец участка вернулся в Чикаго и устроил Альфреду Э. Риксу такую жаркую погоду, какая бывает в те дни, когда бюро погоды предскажет мороз. Рикс пытался отвести обвинение как голословное, однако аллигаторы оставались фактом. Вскоре обо всем этом деле появились статейки в газетах, и Риксу пришлось экстренно бежать из своего дома по пожарной лестнице. Власти успели заявить о чем следует в банк, где он держал свои сбережения, и пришлось ему удирать в чем был, захватив только носки да дюжину крахмальных воротничков сороковой номер. Случайно в бумажнике у него завалялся бланк на бесплатный проезд по железной дороге, и с помощью его он доехал до города в пустыне, где и свалился на меня с Биллом Бассетом как Илия Третий, только без всякого ворона.

А между тем Альфред Э. Рикс через несколько минут начинает хныкать, что он голоден, и клятвенно заверяет, что денег у него ни цента даже на приобретение пищи. Пользуясь параболами и силлогизмами, мы могли бы сказать, что мы трое представляли труд, торговлю и капитал. Но

когда у торговли нет капитала, операции удаются плохо. А когда у капитала нет денег, тогда начинается полный застой по части бифштексов и лука. Человек с отмычкой понял это.

— Братья-разбойники! — говорит Билл Бассет. — Никогда еще я не покидал своего товарища в беде. Мне сдается, что в том лесочке имеется квартира без мебели. Переселимся туда и будем ждать, чтобы стало темнее.

В роще действительно виднелась пустая лачуга, и мы втроем отправились туда. Наступает вечер, Билл Бассет велит нам сидеть смирно, а сам уходит на полчаса. Вскоре он возвращается, неся с собой ломти хлеба, свиную грудинку и пироги.

— Позаимствовал на ферме, на Уошита-авеню, — объясняет он. — Ешь, пей и веселись.

Взошла полная луна и осветила нашу лачугу. Мы садимся на пол и пируем при лунном освещении. Билл Бассет начинает хвастаться.

— Иногда, — говорит он (а рот у него набит деревенским продуктом), — как подумаю, что вы воображаете, будто ваша профессия выше моей, я прямо выхожу из себя. Ну, скажите, что бы вы делали, если бы я не поставил вас на ноги? Вот хотя бы ты, например, Рикси.

— Я не могу не признать, мистер Бассет, — го-

ворит мистер Рикс, причем его слова звучат невнятно, так как у него полон рот пирогами, — я не могу не признать, что при данных неблагоприятных обстоятельствах я был бы, пожалуй, не в силах создать предприятие, которое улучшило бы положение вещей. Крупные операции, которые я привык проводить, естественно, требуют крупных предварительных расходов. Я…

— Знаю, знаю, Рикси, — перебил его Билл Бассет. — Можешь не продолжать свою речь. Когда ты начинаешь дело, тебе требуется пятьсот долларов, чтобы нанять блондинку-машинистку и сделать первый взнос за купленную в рассрочку дубовую мебель на все четыре комнаты конторы. И кроме того, тебе нужно еще пятьсот долларов, чтобы напечатать публикации в газетах. И еще тебе нужно ждать две недели, покуда рыбка не начнет клевать. Обращаться к тебе за помощью в трудную минуту — все равно что требовать муниципализации дома, когда жильцы уже задохлись от неочищенного газа. И твое жульничество, братец Питерс, тоже не сразу дает тебе прибыль.

— Ой, ой, ой, — отвечаю я. — Подумаешь, какая фея нашлась. Я что-то не видал, чтобы ты превратил в золото какой-нибудь мусор своим магическим жезлом. Потереть волшебное коль-

цо, чтобы добыть вот эти жалкие объедки, мог бы любой из нас.

Бассет смеется еще пуще:

— Подождите, мисс Золушка, сейчас за вами приедет карета шестеркой. Может быть, у вас в рукаве имеется какой-нибудь проект для начала?

— Сын мой, — говорю я ему, — я старше тебя на пятнадцать лет и все же еще достаточно молод, чтобы застраховать свою жизнь. Мне и раньше случалось сидеть на мели. Огни города не дальше полумили отсюда. Моим учителем был Монтегью Силвер, величайший из всех жуликов, какой когда-либо торговал незаконною дрянью с тележки. Сейчас по этим улицам шагают целые сотни людей, у которых платья усеяны жирными пятнами. Дай мне газолиновую лампу, коробку с лоскутками материи, а также кусок белого кастильского мыла ценою в два доллара, нарезанный на мелкие…

— А где у тебя два доллара? — прерывает меня Билл Бассет.

Бесполезно было спорить с этим вором.

— Нет, — продолжает он, — оба вы беспомощные младенцы. Капитал закрыл свою контору, и Торговля спустила шторы. Оба вы только и ждете,

чтобы явился Труд и привел колеса в движение. Возражений нет? Отлично. Сегодня я покажу вам, что может сделать Билл Бассет.

Он советует мне и Риксу не уходить из лачуги и ждать его возвращения, хотя бы он вернулся на рассвете. После этого он уходит по направлению к городу, и мы слышим, как он весело насвистывает.

Альфред Э. Рикс стаскивает башмаки, снимает пиджак, покрывает свой цилиндр шелковым платочком и растягивается на полу.

— Я попытаюсь погрузиться в дремоту, — пищит он. — День у меня выдался утомительный. Спокойной ночи, милый мистер Питерс.

— Кланяйтесь от меня Морфею, — говорю я. — А я еще немного посижу.

Около двух часов ночи (насколько я мог судить по моим часам, которые остались в Пивайне) возвращается наш труженик, расталкивает Рикса и приглашает нас подвинуться к тому месту лачуги, где луна сияет ярче всего. Потом он раскладывает на полу пять пачек по тысяче долларов каждая и начинает кудахтать над ними, как курица над яйцами.

— Теперь я могу рассказать вам кое-что про этот городишко, — говорит он. — Называется он

Рокки-Спрингз, и в нем строится масонский храм, а кандидата в мэры от демократов, скорей всего, посадит в лужу другой кандидат — популист, а жена судьи Таккера болела плевритом, но теперь ей лучше. Пришлось побеседовать на все эти лиллипутские темы, прежде чем получить хоть один сифон из источника сведений, которые мне были нужны. Так вот, в городишке имеется банк под названием «Институт Верного Дровосека и Бережливого Пахаря». Вчера вечером, когда этот институт закрылся, в нем было двадцать три тысячи долларов, а сегодня утром, когда он откроется, в нем будет всего восемнадцать тысяч — серебряной монетой, вот почему я не принес вам больше. Так-то, Капитал и Торговля. Ну, что вы теперь скажете?

— Мой молодой друг, — говорит Альфред Э. Рикс, воздевая руки горе. — Неужели вы ограбили этот банк? Ай, ай, ай!

— Вряд ли это можно назвать грабежом, — отвечает Бассет. — Грабеж — слишком грубое слово. Вся моя работа была в том, чтобы выяснить, на какой улице находится банк. Город такой тихий, что я, стоя на углу, слышал, как тикает секретный механизм сейфа: «Вправо на сорок пять; влево два раза на восемьдесят; вправо на шестьдесят;

влево на пятнадцать» — так явственно, словно это капитан университетской футбольной команды отдает распоряжения своим молодцам. Но, дети, — говорит Бассет, — в этом городе встают рано. Еще до зари все жители на ногах. Я спрашивал их, почему они не спят дольше, они объяснили, что к этому времени у них готов завтрак. Ну а теперь не пора ли сматывать удочки? Ансамбль распадается. Я готов финансировать вас. Сколько вам нужно? Говори ты, Капитал.

— Мой юный и милый друг, — говорит этот суслик Альфред Э. Рикс, встав на задние лапки, а передними подбрасывая орешки, — у меня есть друзья в Денвере, которые готовы мне помочь. Если бы у меня было сто долларов, я бы…

Бассет развязывает пачку денег и швыряет Риксу пять бумажек по двадцать долларов.

— А тебе, Торговля, сколько надо? — говорит он, обращаясь ко мне.

— Спрячь свои деньги, Труд, — говорю я, — я никогда еще не эксплуатировал честного труженика. Доллары, которые я добываю, всегда принадлежат простофилям и олухам. Им они не нужны и только жгут им карманы. Когда я стою на улице и продаю за три доллара какому-нибудь щенку массивное золотое кольцо с брильянтом, я

зарабатываю на этом деле два доллара и шестьдесят центов. Ну а он? Разве я не знаю, что он хочет подарить его какой-нибудь девушке и получить от нее столько, будто кольцо стоит не меньше ста двадцати пяти долларов? Чистого дохода у него сто двадцать два. Кто же больше наживается — я или он?

— А когда ты за пятьдесят центов продаешь бедной женщине щепотку песка, чтобы предохранить ее лампу от взрыва, в какую сумму ты исчисляешь ее валовой доход? Песок-то, не забудь, стоит сорок центов тонна.

— Пойми, — сказал я, — я учу ее хорошенько чистить лампу и вовремя подливать керосину. Если она исполнит мой совет, лампа не взорвется. А когда у нее есть песок, она знает наверняка, что взрыва не будет, и одной заботой у нее меньше. Это своего рода «христианская наука» в промышленности. Женщина платит пятьдесят центов и разом ублаготворяет и Рокфеллера и миссис Эдди[39]. Это не всякий умеет — одновременно дать заработать этим двум золотым близнецам.

Альфред Э. Рикс чуть не лижет сапоги у Билла Бассета.

---

[39] Примечания: 39

Мэри Эдди — основательница шарлатанского религиозного учения «Христианская наука».

— Мой юный, мой милый друг! — говорит он. — Никогда я не забуду вашей щедрости. Награди вас Господь. Но умоляю вас, прекратите свои преступления и вступите на путь добродетели.

— Ах ты, мышь несчастная, — говорит Билл, — прячься в свою норку и помалкивай. Для меня все ваши догмы и принципы все равно что предсмертные слова велосипедного насоса. Что дала вам ваша высоконравственная система грабежа? Нужду и нищету. Даже брат Питерс, которому так нравится осквернять искусство воровства теориями торговли и промышленности, и тот оказался банкротом. Брат Питерс, — обращается он снова ко мне, — лучше бы ты взял у меня несколько долларов. Сделай одолжение, пожалуйста.

Я снова говорю Биллу Бассету, чтобы он спрятал свои деньги в карман. Я никогда не разделял того уважения к краже со взломом, которое питают к ней некоторые. Я никогда не брал с людей деньги даром, всегда давал им что-нибудь взамен — маленький пустячный сувенир, хотя бы для того, чтобы научить их не попадаться вторично.

Альфред Э. Рикс снова кланяется в ноги Биллу Бассету и желает нам счастливо оставаться. Он говорит, что достанет на какой-нибудь ферме лошадей и доедет до следующей станции, а оттуда

поездом в Денвер. Прямо дышать стало легче, когда этот жалкий червяк, наконец, уполз. Не человек, а позор для всякой индустриальной профессии. К чему привели все его грандиозные планы и шикарные конторы? Не мог даже честно заработать себе на хлеб, оказался в долгу у незнакомого и, может быть, беспринципного громилы! Я был рад, что он уходит, хотя мне было жаль его немного, так как я знал, что он человек конченый. Что может сделать такой человек, не имея для начала больших капиталов? Он был беспомощен, как черепаха, опрокинутая на спину. У него не хватило бы хитрости выманить грошовый грифель у маленькой девочки.

Когда я остался с Биллом Бассетом наедине, мне пришла в голову одна комбинация, заключавшая в себе маленькую торговую тайну. Я подумал: покажу я этому громиле, какая разница между трудом и бизнесом. Очень он задел мою профессиональную честь.

— Не нужно мне ваших подарков, мистер Бассет, — сказал я ему, — но если вы оплатите наши расходы по совместному путешествию из опасной зоны, где вы причинили такой безнравственный дефицит финансам этого города, то я буду вам очень признателен.

Билл Бассет согласился, и мы с первым же поездом помчались на запад.

Когда мы прибыли в Аризону, в городок, который называется Лос-Перрос, я предложил Биллу попытать там счастья. В этом городе жил на покое мой старый учитель Монтегью Силвер. Теперь он удалился от дел, но я знал, что в случае чего он даст мне денег сплести паутину, если увидит, что у меня на примете есть муха, которая жужжит невдалеке. Билл Бассет заявил, что для него все города одинаковы, так как он работает главным образом по ночам. Ну, вот мы и сошли с поезда в Лос-Перросе; прелестный городок, в серебряном районе.

У меня был один изящный коммерческий план, нечто вроде камня на палке, которым я намеревался ударить Билла Бассета прямо в затылок. Я не хотел воровать у него деньги, покуда он спал, но я хотел научить его скромности и взять у него за этот урок те четыре тысячи семьсот пятьдесят пять долларов, которые остались у него, когда мы сошли с поезда. Но едва я намекнул ему о помещении капитала, как он поворачивается ко мне всем туловищем и разгружается от следующих выражений и терминов.

— Братец Питерс, — говорит он, — идея твоя

неплоха. Скорее всего, я именно пущусь на какое-нибудь предприятие. И знаешь, что я сделаю, братец Питерс? Я открою игорный домик. Рутина жульничества меня тяготит. И не желаю я торговать вразнос мутовками или сбывать в цирке питательные мучные препараты под видом опилок. Но игорное дело, — говорит он, — это хороший компромисс между кражей серебряных ложек и продажей вытиралок для перьев на благотворительном базаре в отеле «Уолдорф-Астория».

— Так, значит, мистер Бассет, — говорю я, — вы отказываетесь обсудить мое деловое предложение?

— А разве вы еще не поняли, — говорит он, — что я не курица и тем более не рыба и ждать, пока я клюну, — дело пропащее?

И вот Бассет снял комнату над салуном и стал искать, где бы ему купить мебель и две-три картинки на стену. В тот же самый вечер я побывал у моего учителя Монти Силвера, и он, познакомившись с моим коммерческим планом, выдал мне заимообразно двести долларов. Во всем городе был только один магазин, где продавались игральные карты. Я пошел туда и скупил все колоды, какие только были в магазине. На

следующее утро, чуть только магазин открылся, я принес все колоды назад. Я сказал, что мой компаньон передумал и не дает мне денег на открытие игорного дома, так что эти колоды мне не нужны. Хозяин магазина согласился взять их назад за полцены.

Да, да, да, на этой комбинации я потерял семьдесят пять долларов. Но карты недаром пролежали у меня всю ночь. Всю ночь я корпел над ними и ставил крапинки на каждую карту. Это был труд. А потом в дело вмешалась коммерция, и хлеб, который я «отпустил по водам», начал возвращаться ко мне в виде сладких пудингов с винной подливкой.

Конечно, когда у Бассета открылся притон, я первый пришел туда. Бассету пришлось купить те самые колоды, которые были разрисованы мною, потому что других во всем городе не было, а я знал затылок каждой карты гораздо лучше, чем знаю свой собственный, когда парикмахер показывает мне, при помощи двух зеркал, какую он мне сделал прическу.

Когда игра кончилась, у меня оказалось пять тысяч да еще несколько долларов мелочи, а у Бил-

ла Бассета только и осталось что Wanderlust[40] да черная кошка, которую он купил на счастье. Когда я уходил, он пожал мне руку.

— Братец Питерс, — сказал он мне, — я не имею призвания к бизнесу. Я создан для черной работы. Когда знаменитый взломщик пробует перековать свою отмычку на безмен, он поступает немудро. А в карты играешь ты ловко, везет тебе, как утопленнику, живи себе с миром, прощай.

И больше я не видел Билла Бассета.

— Ну и как же, Джефф, — сказал я, когда решил, что мой искатель приключений кончил, — надеюсь, вы сберегли ваши деньги? Как пригодятся они вам, когда вдруг, в один прекрасный день, вы вздумаете переменить вашу жизнь и заняться более регулярной коммерцией.

— О, еще бы! — сказал Джефф с благородными нотами в голосе. — Будьте спокойны, уж я их не потеряю, эти пять тысяч. Я так их припрятал, что любо.

И он победоносно хлопнул себя по боковому карману.

— Отличные акции золотых рудников. Каждая акция — доллар. Дадут не меньше пятисот про-

---

[40] Примечания: 40
Тяга к странствованиям (*нем.*).

центов прибыли, не облагаются налогом. «Рудник Голубого Крота». Открыт всего месяц назад. Советую и вам вложить туда лишние доллары.

— Иногда, — сказал я, — эти рудники не…

— Нет, это дело солидное, — перебил меня Джефф. — На пятьдесят тысяч долларов руды, гарантировано десять процентов добычи. — Он вынул из кармана продолговатый конверт и положил его передо мной на столик.

— Ношу его повсюду с собой, — пояснил он. — Чтобы банкир не взломал мою кассу и взломщик не попробовал бы вытянуть их шантажом.

Я стал рассматривать акции. Они были очень красивые.

— Ах, это в Колорадо, — сказал я. — Кстати, Джефф, как звали того банкира, которого вы с Биллом встретили возле станции? Который потом уехал в Денвер?

— Эту жабу звали Альфред Э. Рикс, — сказал Джефф.

— Вот оно что, — сказал я. — А председатель вашей акционерной компании расписался на акциях А. Л. Фредерикс. Я думал…

— Покажите! — рявкнул Джефф и вырвал у меня свои бумаги.

Чтобы хоть как-нибудь отвлечь собеседника от

тягостных дум, я подозвал лакея и заказал еще одну бутылку барберы. Это было самое меньшее, что я мог сделать при таких обстоятельствах.

Стихший ветер

Перевод М. Беккер

Вид Бакингема Скиннера впервые нарушил покой моих зрительных нервов в Канзас-Сити. Стоя на углу против одного конторского здания, я увидел, как Б. Скиннер высунул свою рыжую голову из окна третьего этажа и во всю глотку заорал: «Тпру! Тпру!», как бы пытаясь остановить сбежавших мулов.

Я оглянулся по сторонам, но не обнаружил в поле зрения ни единого представителя животного царства, если не считать двух привязанных к столбу фургонов, да полисмена, которому чистили башмаки. Спустя минуту этот самый Бакингем Скиннер скатился с лестницы, выскочил из дверей, добежал до угла, остановился и окинул взором улицу по которой клубилась воображаемая пыль, поднятая несуществующими подковами мифической упряжки химерических четвероногих. Затем Б. Скиннер вернулся на третий этаж в контору, и я увидел над окнами вывеску «Акционерное Общество Взаимного Кредита Друг Фермера».

Через некоторое время Рыжий снова появился внизу, и тогда я перешел через улицу ему навстречу, ибо у меня возникли кой-какие идеи. Да, сэр, подойдя поближе, я сразу увидел, в чем он переигрывал. Он, конечно, выглядел типичным деревенским увальнем, поскольку дело касалось синих штанов и сапог из воловьей кожи, но у него были холеные руки актера, а сдвинутая на ухо соломенная шляпа была явно позаимствована из театрального реквизита труппы, играющей «Старую ферму». Меня одолело любопытство, и я решил узнать, чем он промышляет.

— Скажите, это ваши мулы только что отвязались и сбежали? — вежливо спрашиваю я. — Я пытался их остановить, но где там! Они наверняка уже на полдороге к ферме.

— Черт бы побрал этих проклятых мулов! — отвечает Рыжий с таким правдоподобным прононсом, что я чуть было не рассыпался в извинениях. — Вечно они сбегают.

С этими словами он пристально на меня взглянул, снял свою дурацкую шляпу и совсем другим голосом сказал:

— Я хотел бы пожать руку мистеру Парле-Ву Пикенсу величайшему уличному шарлатану на всем Западе, за исключением одного только

Монтегью Силвера, чего вы, разумеется, отрицать не станете.

Я разрешил ему пожать мне руку.

— Я учился у Силвера и готов уступить ему пальму первенства, — говорю я. — Но скажи, сынок, чем ты тут промышляешь? Должен признаться, что фиктивное бегство апокрифических животных, по адресу коих ты произнес замечание «тпру», несколько меня озадачило. В чем суть этого трюка?

Бакингем Скиннер покраснел.

— Карманные деньги, только и всего, — отвечал он. — Мои финансы временно пришли в упадок. В городе такого размера сюжет со шляпой из сенной трухи дает сорок долларов. Как я это делаю? Прежде всего я напяливаю отвратительное одеяние деревенского недотепы. Набальзамированный таким образом, я превращаюсь в Джонаса Брюквингема — имя, лучше которого едва ли можно придумать. Затем я с грохотом вваливаюсь в какую-нибудь кредитную контору, удобно расположенную на третьем этаже окнами на улицу. Положив на пол шляпу и нитяные перчатки, я обращаюсь с просьбой выдать мне под залог моей фермы ссуду в две тысячи долларов, которая необходима для завершения музыкального

образования моей сестры в Европе. В кредитных конторах обожают ссуды подобного сорта. Ставлю десять против одного, что, когда настанет срок оплаты векселя, лишение права выкупа закладной на целых два корпуса опередит самое резвое стаккато.

И вот, сэр, в ту самую минуту, когда я сую руку в карман, чтобы извлечь из него документ на право владения фермой, я вдруг слышу, что моя упряжка сорвалась с привязи и удирает. Подбежав к окну я издаю вышеупомянутый звук — или, если угодно, восклицание «тпру!». Затем я скатываюсь вниз, выбегаю на улицу, бросаюсь вдогонку и вскоре возвращаюсь назад.

«Проклятые мулы, — говорю я, — опять они сбежали, да на этот раз еще сломали дышло и разорвали две постромки. Теперь я должен топать домой на своих на двоих, потому что не взял с собою денег. Пожалуй, придется нам отложить разговор о ссуде до другого раза, джентльмены».

Вслед за тем я возвожу очи горе и, подобно сынам израилевым, жду, когда на меня упадет манна небесная.

«Что вы, мистер Брюквингем, — говорит мне красный как рак субъект в очках и в пикейном жилете, — сделайте одолжение, возьмите у нас

до завтра десять долларов. Почините сбрую и приходите в десять часов утра. Мы будем очень рады помочь вам с этой ссудой».

— Все это проще простого, — скромно замечает Бакингем Скиннер, — но, как я уже говорил, годится лишь как временная мера и лишь для мелких сумм.

— В случае стихийного бедствия все средства хороши, — говорю я, щадя его чувства. — Конечно, это безделица по сравнению с организацией треста или с партией в бридж, но ведь и Чикагский университет тоже с малого начинался.

— А вы каким бизнесом сейчас занимаетесь? — спрашивает меня Бакингем Скиннер.

— Законным, — отвечаю я. — Продаю горный хрусталь и Электрическую батарею от Головной Боли доктора Касторкини, Швейцарский Манок для Певчих Птичек, модные башмаки и туфли, а также Золотой Мешок, в котором хранится позолоченное кольцо для обручения и свадьбы, шесть луковиц египетской каллы, комбинированная вилка для соленых огурцов, она же ножницы для ногтей и, наконец, полсотни гравированных визитных карточек — ни одна фамилия не повторяется дважды — и все за тридцать восемь центов.

— Два месяца назад я был в Техасе, — рассказывает Бакингем Скиннер, — и неплохо зарабатывал там на патентованных мгновеннодействующих бензиновых зажигалках из прессованной древесной золы. Я продавал их сотнями в городах, где любят сжигать негров быстро, не теряя времени на просьбу дать огонька. И вот, в то самое время, когда мои дела шли как по маслу, там ни с того ни с сего находят нефть и вытесняют меня с рынка. «Твоя машинка слишком медленно действует, сосед, — говорят они мне. — Пока твой старый трут и огниво нагреет негра до такой температуры, что он начнет молиться за упокой своей души, глядишь, наш керосин уже отправил его прямехонько в ад!» Пришлось мне, значит, бросить свои зажигалки и переехать в Канзас-Сити. Этот маленький дивертисмент с легендарной фермой и гипотетической упряжкой, который я исполнил на ваших глазах, совсем не по моей части, и мне очень стыдно, что вы видели меня в этой роли, мистер Пикенс.

— Никто не должен стыдиться, что наложил на кредитную контору контрибуцию, будь она всего лишь в десять долларов, — мягко замечаю я. — Хотя, разумеется, это нельзя назвать безупречно честным поступком. Это почти то же, что брать

деньги в долг без отдачи.

Бакингем Скиннер мне сразу понравился. Вскоре мы стали с ним друзьями, и я посвятил его в свой новый план и предложил войти в долю.

— Я рад и счастлив принять участие в чем угодно, кроме явно нечестных деяний, — ответил мне Бак. — Давайте извлечем квинтэссенцию из вашей пропозиции. Я чувствую себя униженным, когда ради ничтожной суммы в десять долларов мне приходится принимать буколический облик и носить в волосах бутафорскую солому. Откровенно говоря, мистер Пикенс, я при этом чувствую себя как Офелия на сцене Великой Оксидентальной Театральной Конгрегации.

Мой новый план как нельзя более соответствовал моим наклонностям. От природы я несколько сентиментален и потому отношусь с симпатией к умиротворяющим элементам бытия. Я склонен проявлять снисходительность к наукам и искусствам и всегда нахожу время для восторгов перед такими гуманистическими явлениями природы, как романтика, атмосфера, трава, поэзия и четыре времени года. Когда я чищу жирного сазана, я не упускаю случая полюбоваться красотою его призматической чешуи. Продавая какую-нибудь золотоносную безделушку человеку с мотыгой,

я никогда не игнорирую гармонического сочетания зеленого и желтого цветов. Потому-то мне и полюбился этот план — он был так полон свежего воздуха, пейзажей и бешеных денег.

Для осуществления задуманной махинации нам требовалась молоденькая ассистентка, и я спросил Бака, нет ли у него на примете какой-нибудь девицы.

— Хладнокровной и сугубо деловой — начиная от прически «помпадур» и кончая полуботинками «Оксфорд». Никакие экс-хористки, жевательницы резинки или зазывалы клиентов для уличных художников нам не годятся.

Бак сказал, что знает одну подходящую фемину по имени мисс Сара Мэллой, и тут же повел меня к ней.

Мисс Мэллой пленила меня с первого взгляда. Это был товар точно по заказу. Ни малейшего намека на три «П» — пероксид, папильотки и пачули. Двадцать два года, темные волосы, приятные манеры — словом, женщина что надо.

Мисс Мэллой с ходу берет быка за рога.

— Попрошу план махинации, — говорит она.

— Ах, мадемуазель, наша маленькая афера настолько прелестна, изящна и романтична, что по сравнению с ней сцена на балконе из «Ромео и

Джульетты» может показаться грубой кражей со взломом на втором этаже.

Мы всё обсудили, и мисс Мэллой согласилась принять участие в нашем предприятии. Она сказала, что рада возможности отказаться от места секретаря-стенографистки в конторе по продаже пригородных участков и заняться чем-нибудь более респектабельным.

Наш план состоял в следующем. Во-первых, я разработал его по поговорке. Лучшие плутни в мире основаны на прописных истинах, псалмах, пословицах и баснях Исава, в которых скупыми словами характеризуется какое-либо свойство человеческой природы. Наша невинная маленькая комбинация была построена на старинной поговорке: «Все племя жуликов любит влюбленных»[41]. В один прекрасный вечер Бак и мисс Мэллой с быстротою молнии подкатывают на повозке к дверям какой-нибудь фермы. Бледная, но бархатистая и нежная как персик, она прильнула к его плечу — томно прильнула к его плечу. Они рассказывают, что убежали от жестоких родителей, которые противятся их свадьбе.

---

[41] Примечания: 41

Так запомнилась рассказчику фраза из очерка «О любви» американского поэта и философа Эмерсона «Все человечество любит влюбленных».

Они спрашивают, где можно найти священника. Фермер отвечает: «Ах ты, господи, тут поблизости нет ни одного священника, кроме преподобного Авелса, да и тот живет на Кэни-Крик, отсюда мили четыре». Фермерша вытирает руки фартуком и протирает очки.

Вдруг откуда ни возьмись по дороге тарахтит таратайка, а на ней восседает Парле-Ву Пикенс — весь в черном, с белым галстуком и длинной физиономией. Он шмыгает носом, издавая противоестественные звуки, напоминающие молитву.

«Ах ты, господи, — восклицает фермер, — провалиться мне на этом месте, если это не священник!»

Выясняется, что я — преподобный Обадия Грин и держу путь в Малый Вифлеем с целью прочитать проповедь в тамошней воскресной школе.

Молодые люди утверждают, что им необходимо немедленно обвенчаться, потому что папаша выпряг из плуга мулов, запряг их в телегу и гонится за ними по пятам. И вот его преподобие Грин, после недолгого колебания, совершает свадебный обряд у фермера в гостиной. Фермер ухмыляется, выносит бутыль сидра и говорит: «Ах ты, господи!» Фермерша всхлипывает и гладит новобрачную по плечу. А лжепреподобие Парле-Ву

Пикенс выписывает брачное удостоверение, на котором в качестве свидетелей расписываются фермер с фермершей. После чего участники первой, второй и третьей части усаживаются в свои экипажи и уезжают. О, это была идиллическая махинация! Верная любовь, мычание коров и красные амбары в лучах заходящего солнца. Все доселе известные плутни ей и в подметки не годились!

Кажется, я успел обвенчать Бака и мисс Мэллой не меньше чем на двадцати фермах. Меня все время мучила мысль о том, как померкнет вся эта романтика, когда банки, в которых мы дисконтировали эти брачные свидетельства, потребуют с фермеров уплаты от трехсот до пятисот долларов за каждый подписанный ими вексель.

Пятнадцатого мая мы разделили на троих около шести тысяч долларов. Мисс Мэллой чуть не расплакалась от радости. Не часто можно встретить девицу столь мягкосердечную или добродетельную.

— Мальчики, — сказала она, вытирая глаза шелковым платочком, — эта сумма пришлась мне как нельзя более кстати — даже больше, чем корсет толстухе перед балом. Она дает мне возможность исправиться. Когда вы появились

на моем горизонте, я пыталась оставить бизнес, связанный с продажей недвижимости. И если б вы не пригласили меня принять участие в этой небольшой экспедиции по снятию эпидермиса с брюквоедов, я наверняка пошла бы по дурному пути. Я уже готова была наняться на один из этих Женских Благотворительных Базаров, где под названием Завтрак Бизнесмена продают за семьдесят пять центов ложку куриного салата и булочку с кремом, чтобы на вырученные деньги построить дом для приходского священника.

А теперь я могу заняться честным благородным делом и предать забвению все эти сомнительные операции. Я поеду в Цинциннати и открою там кабинет хиромантии и ясновидения египетской волшебницы мадам Сарамалой, где каждый всего лишь за доллар сможет получить полную порцию своего будущего. До свидания, мальчики. Послушайте моего совета — займитесь какими-нибудь приличными плутнями. Вступите в союз с полицией и прессой, и все будет в порядке.

Итак, мы пожали друг другу руки, и мисс Мэллой нас покинула. Мы с Баком тоже собрали свои пожитки и отъехали на пару сотен миль: нам не особенно хотелось дожидаться срока оплаты брачных свидетельств.

С четырьмя тысячами долларов на двоих мы отправились к берегам Нью-Джерси в один нахальный городишко, известный под названием Нью-Йорк.

Если есть на свете птичник, сверху донизу набитый гусями и гусынями, так это именно Олухвиль-на-Гудзоне. Его называют городом космополитов. Что верно, то верно. Такова же полоска липучки для мух. Прислушайтесь к тому, что они жужжат, пытаясь выпростать свои лапки из клея. «Старина Нью-Йорк — городок что надо», — хором выводят они.

Той деревенщины, что проходит по Бродвею за один-единственный час, вполне достаточно для закупки всей недельной продукции расположенной в Огасте (штат Мэн) фабрики Новомодных Новинок, вроде дутых золотых колец и тупых шпилек для запускания друзьям.

Может, вы думали, что в Нью-Йорке живут одни умники? Ничего подобного. Там ни у кого нет ни малейшего шанса хоть чему-нибудь научиться. Там такая теснота, что даже простаки — и те ходят косяками. Да и в самом деле — чего хорошего можно ожидать от города, который отделен от мира с одной стороны океаном, а с другой — штатом Нью-Джерси?

Нью-Йорк не место для честного жулика с небольшим капиталом. Мошенничество облагается там слишком высоким протекционным тарифом. Когда Джованни продает кварту вареных макарон и шелухи от каштанов, он и то должен поднести пинту всеядному фараону. А хозяин гостиницы требует двойную плату за все, что внесено в счет, который он посылает с полицейским в храм Божий, где герцог готовится вступить в брак с богатой наследницей.

Правда, старый Дряньбург-близ-Кони-Айленда — идеальное местечко для утонченного разбоя, но и то лишь если вы способны уплатить пошлину за мошенничество. Импортные плутни обходятся здесь очень дорого. Таможенники, приставленные за этим следить, вооружены дубинками, и очень трудно протащить контрабандой даже какую-нибудь игрушку для завоевания Бруклина, если только у вас нет денег на пошлину. Но теперь мы с Баком, обзаведясь капиталом, снизошли на Нью-Йорк с целью всучить столичным дикарям несколько стеклянных бусин в обмен на недвижимость — точь-в-точь как это делали голландцы лет эдак сто или двести назад.

В одной истсайдской гостинице мы свели знакомство с неким Ромулусом Дж. Этербери,

человеком, обладавшим самой способной к финансам головой на всем белом свете. Она была вся блестящая и лысая, не считая седых бакенбардов. Стоит вам увидеть такую голову за конторским барьером, и вы в мгновение ока выложите миллион, даже не попросив квитанции. Этот Ромулус Дж. Этербери был щегольски одет, хотя ел он очень редко, и рядом с резюме его речей сладкогласные напевы сирены звучали бы как брань ломового извозчика. Он утверждал, что когда-то состоял членом Фондовой биржи, но некоторые крупные капиталисты так сильно ему завидовали, что составили заговор и вынудили его продать свое место.

Мы с Баком очень понравились этому Этербери, и он специально для нас принялся набрасывать на полотно кое-какие из тех планов, которые послужили причиной эвакуации его шевелюры. Один из этих планов, насчет того, как учредить национальный банк, имея всего сорок пять долларов в кармане, мог бы превратить в твердый стеклянный шарик даже Миссисипский Мыль-

ный Пузырь[42]. Он рассказывал нам об этом трое суток подряд, и только когда у него заболело горло, мы смогли вставить словечко о наших финансах. Этербери взял у нас взаймы четвертак, вышел на улицу, купил таблетки от кашля и начал все с начала. На этот раз он выдвинул более солидные идеи и заставил нас посмотреть на них его глазами. Задуманное им дело казалось весьма верным, и он уговорил нас вложить в него весь наш капитал. Сам он намерен вложить полированный купол своей мысли. Это была довольно деликатная афера — всего-навсего каких-нибудь полтора дюйма вне пределов досягаемости полиции, но зато прибыльная, как монетный двор, именно то, что требовалось мне и Баку, — регулярный бизнес на перманентной основе.

И вот, не прошло и шести недель, как по соседству с Уолл-стритом появилась шикарно обставленная контора с выведенной золотыми буквами вывеской «Инвестиционный Банк Голконда». Сквозь открытую дверь кабинета вы могли лицезреть одетого с иголочки секретаря

[42] Примечания: 42

Грандиозная финансовая афера (1717–1720), связанная с монополией французской акционерной компании на торговлю в долине Миссисипи и в Луизиане. Предприятие это лопнуло, что повлекло за собой разорение множества акционеров.

и казначея мистера Бакингема Скиннера, возле которого красовался его цилиндр. На всякий случай Бак всегда держит под рукой какую-нибудь шляпу.

В центральном зале восседал президент и главный управляющий мистер Р. Дж. Этербери со своим бесценным полированным куполом. Он диктовал письма королеве стенографисток, увенчанной прической «помпадур», помпезность коей уже сама по себе составляла надежную гарантию сохранности вкладов. Фирма располагала также бухгалтером и счетоводом, помимо общей атмосферы внешнего блеска и внутреннего криминала.

Наконец усталый взгляд посетителя мог отдохнуть, наслаждаясь зрелищем одетого кое-как простого человека в сдвинутой набекрень грязной шапчонке, который, положив ноги на стол, поглощал яблоки. Это был не кто иной, как полковник Текумсе (бывший «Парле-Ву») Пикенс, вице-президент компании.

— Никаких живописных лохмотьев мне не надо, — заявил я Ромулусу Этербери, когда мы готовили мизансцену для грабежа. — Я — человек простой и не признаю ни французского языка, ни пижам, ни ручных гранат в форме щетки для во-

лос. Либо вы даете мне роль неотшлифованного алмаза, либо я подаю в отставку. Если вы можете использовать меня в моей естественной, хотя и неприглядной форме, — я к вашим услугам.

— Наряжать вас? — восклицает Этербери. — Ни в коем случае! В том виде, в каком вы есть, от вас будет гораздо больше проку, чем от целой кучи предметов, которым вдевают в петлицы хризантемы. Вам надлежит сыграть роль солидного, хотя и неумытого капиталиста с Дальнего Запада. Вы презираете условности. У вас так много акций, что вам не до абстракций. Консервативный, невзрачный, неотесанный, хитрый и бережливый — такова ваша поза. В Нью-Йорке это действует безотказно. Положите ноги на стол и ешьте яблоки. Кто бы ни вошел — ешьте яблоки. Пусть все видят, как вы засовываете яблочную кожуру в ящик своего стола. Старайтесь выглядеть как можно более экономным, богатым и грубым.

Я выполнил все указания Этербери. Я играл роль этакого простака-капиталиста со Скалистых гор без воротничка и манжет. Когда в конторе появлялся клиент, я вносил яблочную кожуру на свой текущий счет в ящик стола с таким видом, что рядом со мной показалась бы немыслимой

транжирой сама Хетти Грин[43]. Я слышал, как Этербери говорил очередной жертве, снисходительно и благоговейно улыбаясь в мою сторону:

— Это наш вице-президент, полковник Пикенс… колоссальное состояние на Западе… очаровательно простые манеры… зато в любую минуту может подписать чек на полмиллиона… простодушен, как дитя… светлая голова… консервативен и осторожен до невероятности.

Руководил предприятием Этербери. Мы с Баком так до конца и не смогли полностью во всем разобраться, хотя он нам все подробно объяснил. Похоже на то, что компания была как бы кооперативной, и каждый, кто покупал акции, имел право на долю прибыли. Сначала мы, служащие фирмы, приобрели контрольный пакет акций (нам полагалось им владеть), заплатив по пятьдесят центов за сотню, то есть ровно столько, сколько взял за них типограф, а остальные акции были проданы публике по доллару штука. Компания гарантировала акционерам ежемесячную прибыль в размере десяти процентов, каковая подлежала выплате в последний день каждого месяца.

---

[43] Примечания: 43
Хетти Грин — американская капиталистка.

Когда взнос акционера достигал ста долларов, компания вручала ему Золотую Облигацию, и он становился облигационером. Я однажды спросил Этербери, какие выгоды и преимущества дают вкладчику эти Золотые Облигации сверх тех льгот и привилегий, которыми пользуется рядовой простофиля, владеющий одними только акциями. Взяв в руки одну из Золотых Облигаций, разукрашенную золотым тиснением, завитушками и большой красной печатью на голубой ленте с бантиком, Этербери посмотрел на меня с таким видом, словно я смертельно его обидел.

— Дражайший полковник Пикенс, — сказал он, — в вас слабо развит инстинкт художника. Подумайте о тысячах семейств, осчастливленных этими великолепными жемчужинами литографского искусства! Представьте себе, какая радость царит в доме, где одна из наших Золотых Облигаций, перевязанная розовым шнурком, висит на этажерке для безделушек, а вторую облизывает своим розовым язычком младенец, с веселым лепетом ползающий на полу! Ах, полковник! Я вижу влагу в ваших глазах. Вы глубоко тронуты, правда?

— Ничуть, — отвечаю я. — Влага, которую вы видите в моих глазах, — всего только яблочный

сок. Вы не можете требовать от одного человека, чтобы он одновременно исполнял роль пресса для сидра и знатока изящных искусств.

Этербери уделял неусыпное внимание всем деталям, связанным с деятельностью нашего концерна. Насколько я понимаю, они были весьма просты: вкладчики вкладывали деньги, и, если я не ошибаюсь, к этому сводились все их обязанности. Компания эти деньги получала, и, честно говоря, больше ничего я не припомню. Мы с Баком понимали в операциях Уолл-стрита меньше, чем в продаже мозольной мази, но и нам было ясно, как «Инвестиционный Банк Голконда» делает деньги. Если вы принимаете вклад, а потом выплачиваете десять процентов, то совершенно очевидно, что вы получаете законную чистую прибыль в размере девяноста процентов за вычетом издержек — до тех пор, покуда рыбка клюет.

Этербери, кроме президента, хотел быть еще и казначеем, но Бак подмигнул ему и сказал:

— Вы вложили в дело свои мозги. По-вашему, прием денег — образец работы для мозга? Советую вам хорошенько поразмыслить. Сим я назначаю себя казначеем ad valorem, sine die[44]

[44] Примечания: 44

Латинские термины, означающие «согласно стоимости» и «на неопределенный срок».

и без голосования. Это небольшое количество мозговой деятельности я жертвую безвозмездно. Мы с Пиком вложили в дело свой капитал, и мы намерены распоряжаться его незаработанным приростом по мере того, как он будет прирастать.

Пятьсот долларов ушло на аренду помещения и на первый взнос за мебель, полторы тысячи — на типографские расходы и рекламу. Этербери свое дело знал.

— Мы продержимся ровно три месяца, минута в минуту, объявил он. — Одним днем больше — и мы либо сядем на мель, либо сядем в кутузку. К этому времени мы должны заработать шестьдесят тысяч. После чего мне потребуются пояс, чтоб зашить в него купюры, и нижняя полка в вагоне, а бульварные писаки и владельцы мебельного магазина пускай себе подводят итог.

Наши объявления возымели действие.

— Разумеется, мы поместим объявления в сельские еженедельники и в вашингтонские листки, которые печатаются на ручном печатном станке, — сказал я, когда мы собирались заключать контракты.

— Друг мой, — говорит мне Этербери, — в качестве агента по рекламе вы способны в разгар

жаркого лета скрыть от людского носа производство лимбургского сыра. Дичь, на которую мы охотимся, водится здесь, в читальнях Нью-Йорка, Гарлема и Бруклина. Это люди, для которых изобретены буфера на трамваях, «Ответы читателям» в газетах и объявления о розыске карманных воров. Наша реклама должна печататься в самых больших нью-йоркских газетах, в верхней части первой полосы, рядом с передовицами об открытии радия и с изображениями девицы, делающей гимнастику для поправления здоровья.

Очень скоро деньги потекли к нам рекой. Баку не пришлось притворяться, будто он очень занят, — его стол был завален денежными переводами, чеками и ассигнациями. Люди ежедневно приходили в контору покупать акции.

Акции большей частью были на незначительные суммы в десять, двадцать пять и пятьдесят долларов, а многие даже всего на два или три доллара. И вот несокрушимый лысый череп президента Этербери сияет энтузиазмом и сомнительной репутацией, тогда как полковник Текумсе Пикенс, неотесанный, но достойный всяческого уважения Крез с Дальнего Запада, поглощает такое количество яблок, что из мусорного ящика красного дерева, который он

называет своим столом, до полу свисает кожура.

Как и предсказывал Этербери, почти целых три месяца никто нас не беспокоил. Бак без проволочек превращал в наличные все поступавшие в контору кредитные билеты и держал деньги в сейфе неподалеку от конторы. Он никогда не питал особого доверия к банкам. Мы регулярно выплачивали проценты на проданные акции, так что ни у кого не было ни малейшего повода для жалоб. У нас накопилось уже около пятидесяти тысяч наличными, и мы все трое вели роскошную жизнь — ни дать ни взять боксеры на отдыхе.

В одно прекрасное утро, когда мы с Баком, гладкие и лоснящиеся после плотного завтрака, неторопливо входили в контору, навстречу нам выскочил какой-то развязный востроглазый субъект с трубкой в зубах. Этербери мы нашли в таком виде, словно он попал под проливной дождь в двух милях от дома.

— Вы знаете этого человека? — спрашивает он.

Мы отвечаем, что не знаем.

— Я его тоже не знаю, — говорит Этербери, вытирая пот со лба. — Но я готов поставить столько Золотых Облигаций, сколько надо для оклейки

камеры в Гробнице[45], что он — репортер.

— Что ему тут понадобилось? — спрашивает Бак.

— Информация, — отвечает наш президент. — Сказал, что хочет купить акции. Задал мне девятьсот девяносто девять вопросов, из которых каждый попал прямехонько в самое больное место. Я уверен, что он из газеты. Меня не проведешь. Оборванец, глаз как бурав, курит жевательный табак, на воротнике перхоть, знает больше, чем Джон Пирпонт Морган и Шекспир, вместе взятые. Провалиться мне на этом месте, если он не репортер. На детективов и почтовых инспекторов мне наплевать — я беседую с ними семь минут, после чего продаю им акции, но эти репортеры способны высосать весь крахмал из моего воротничка. Ребята, я предлагаю объявить дивиденд и скрыться. На то указывают знаки Зодиака.

Мы с Баком кое-как успокоили Этербери, и он перестал потеть и суетиться. Нам казалось, что этот субъект нисколько не похож на репортера. Встретив вас, репортер тотчас вытащит блокнот и огрызок карандаша, расскажет вам старый

---

[45] Примечания: 45
Название тюрьмы в Нью-Йорке.

анекдот и начнет клянчить на выпивку. Однако Этербери весь день нервничал и дрожал.

На следующее утро мы с Баком вышли из гостиницы примерно в половине одиннадцатого. По дороге мы купили газеты, и первое, что мы увидели, была целая колонка о нашей скромной афере. Этот репортеришка честил нас самым бессовестным образом. Он рассказывал о нашей комбинации так, как он ее понял, богатым, сочным языком, с юмором, способным позабавить кого угодно, но только не акционера. Да, Этербери был прав: щеголеватому казначею, башковитому президенту и неотесанному вице-президенту надлежало безотлагательно удалиться, дабы продлились их дни на земле.

Мы с Баком спешим в контору. На лестнице и в прихожей мы находим огромную толпу, которая пытается протиснуться в центральный зал, а он и без того уже набит битком. Почти у всех в руках акции Голконды и Золотые Облигации. Мы с Баком заключаем, что все эти люди тоже читают газеты.

Остановившись у дверей, мы с некоторым удивлением воззрились на наших акционеров. Мы представляли их себе несколько иначе. Все они казались бедняками: среди них было много ста-

рух и молодых девушек, судя по всему, работниц с фабрик и заводов. Попадались также старики, с виду похожие на ветеранов войны, некоторые даже на костылях. Были и совсем еще мальчишки — чистильщики сапог, газетчики, рассыльные. Были рабочие в комбинезонах с засученными рукавами. Никто из всей этой компании ничем не напоминал акционера какого-либо предприятия — разве что лотка с земляными орехами. Но у всех были в руках акции Голконды, и все имели такой убитый вид, что дальше некуда.

Когда Бак оглядел эту толпу, он побледнел, и на лице его появилось какое-то странное выражение. Подойдя к одной изможденной женщине, он спросил:

— Сударыня, у вас тоже есть эти акции?

— Да, на сто долларов, — еле слышно ответила женщина. Это все, что я скопила за год. У меня при смерти ребенок, и во всем доме нет ни цента. Я пришла узнать, нельзя ли хоть что-нибудь получить. В проспектах сказано, что можно в любое время получить свои деньги обратно. Но теперь говорят, что я все потеряла.

В толпе был один смышленый мальчишка — наверное, газетчик.

— Я вложил двадцать пять, мистер, — сказал

он, с надеждой глядя на щегольской костюм и шелковый цилиндр Бака. Каждый месяц мне выплачивали два пятьдесят. Тут один человек говорит, что они не могли это делать, если все было честно. Как вы думаете, можно мне взять назад свои двадцать пять?

Некоторые старухи плакали. Фабричные работницы были в полном отчаянии. Они лишились всех своих сбережений, а теперь у них еще вычтут из жалованья за то время, которое они сегодня потеряли.

Одна хорошенькая девушка в красной шали сидела в углу и рыдала так горько, словно ее сердце вот-вот разорвется. Бак подошел и спросил, в чем дело.

— Понимаете, мистер, я даже не из-за денег, хотя я их целых два года копила, — отвечает она, дрожа всем телом. — Я из-за того, что Джеки теперь на мне не женится. Он возьмет Розу Стейнфилд. Я… я Джеки знаю. У нее четыреста долларов в сберегательной кассе. Ай-ай-ай! — рыдает она.

Бак все с тем же странным выражением огляделся по сторонам. И тут мы увидели этого самого репортера. Он стоял, прислонившись к стене, попыхивал трубкой и смотрел на нас своим острым глазом. Мы с Баком подошли к нему.

— Вы очень интересный писатель, — говорит Бак — Что вы еще собираетесь написать? Что у вас теперь на уме?

— О, я просто жду, не подвернется ли еще что-нибудь занятное, — отвечает он и знай попыхивает в свое удовольствие. — Теперь все зависит от ваших акционеров. Кое-кто может подать жалобу. Что я слышу? Это случайно не полицейский фургон? — продолжает он, прислушиваясь к стуку колес за окном. — Нет, это всего лишь катафалк для банкротов. Пора бы уж мне научиться узнавать его колокол. Да, иной раз и мне случалось написать кое-что интересное.

— Подождите немножко, — говорит ему Бак. — Я сейчас подкину вам еще порцию новостей.

С этими словами Бак сует руку в карман, извлекает оттуда ключ и протягивает его мне. Он еще и слова не успел сказать, как я уже понял, что у него на уме. Ах ты, старый разбойник! Я сразу понял, что у него на уме. Таких, как Бак, теперь не делают.

— Пик, — пристально глядя на меня, говорит он, — не кажется ли тебе, что эта махинация не совсем по нашей части? Разве мы хотим, чтобы Джеки женился на Розе Стейнфилд?

— Ни в коем случае, — говорю я. — Через десять

минут все будет здесь.

Сказав это, я иду в камеру, где находится наш сейф, и вскоре возвращаюсь с большим мешком денег. Затем мы с Баком через боковую дверь вводим репортера в один из кабинетов.

— А теперь, мой литературный друг, садитесь в это кресло и сидите тихо, а я буду давать вам интервью, — говорит Бак — Вы видите перед собой двух жуликов из Жуликбурга, что в округе Жулико, штат Арканзас. Мы с Пиком торговали драгоценностями из латуни, средством для ращения волос, песенниками, краплеными картами, патентованными снадобьями, персидскими коврами коннектикутской выделки, политурой для мебели и альбомами для стихов во всех городах и селениях от Олд-Пойнт-Комфорт до Золотых Ворот. Мы добывали нечестным путем каждый доллар, который, по нашему мнению, отягощал карман своего владельца. Но мы никогда не гнались за монетой, спрятанной в чулке, засунутом под кирпич в углу кухонного очага. Быть может, вы слышали старинную поговорку fussily decency averni,[46] что в переводе означает: «легок путь

[46] Примечания: 46

Рассказчик произносит фразу, по звукам напоминающую строку из Вергилия — facilis descensus Averni — «легок спуск Авернский», то есть нисхождение в ад, путь к злу.

от лотка уличного галантерейщика до конторы на Уолл-стрите». Мы проделали этот путь, но мы не знали, куда он нас приведет. Вам полагается быть умным человеком, но ваш ум принадлежит к нью-йоркской разновидности, то есть вы склонны судить о человеке по внешнему виду его одежды. Так нельзя. Надо смотреть на подкладку, на швы и петли. Пока мы дожидаемся полиции, вы можете вооружиться своим тупым карандашом и набросать заметки для будущего фельетона.

После этого Бак поворачивается ко мне и говорит:

— Мне наплевать, что подумает Этербери. В конце концов он вложил в дело всего лишь свои мозги и пусть радуется, что они останутся при нем. А ты что скажешь, Пик?

— Я? Пора бы тебе знать, что я за птица, Бак, — отвечаю я ему. — Я понятия не имел, кто покупает акции.

— Отлично, — говорит Бак.

Он проходит из кабинета в главный зал и смотрит на толпу, которая пытается протиснуться за барьер. Ни Этербери, ни его шляпы нигде не видно. И Бак обращается к толпе с краткой речью:

— Эй, вы, овечки, занимайте очередь. Сейчас

вы получите обратно свою шерсть. Не толкайтесь, становитесь в очередь — в очередь, а не в кучу. Сударыня, будьте так любезны, перестаньте блеять. Ваши деньги вас ждут. Послушай, сынок, не надо лезть через барьер, все твои медяки в целости и сохранности. Не плачьте, сестрица, вы не потеряли ни единого цента. Говорю вам, становитесь в очередь. Пик, поди сюда и наведи тут порядок. Впускай их по одному и выпускай через другую дверь.

Он снимает пиджак, сдвигает на затылок свой шелковый цилиндр и закуривает «королеву викторию». Затем садится за стол и кладет перед собой весь нечестно добытый капитал, сложенный в аккуратные пачки. Я выстраиваю акционеров в цепочку, по одному впускаю из главного зала в кабинет к Баку, а репортер через другую дверь выпускает их обратно в зал. Бак принимает акции и Золотые Облигации и выплачивает каждому наличными — доллар за доллар — ровно столько, сколько тот внес. Акционеры «Инвестиционного Банка Голконда» не верят собственным глазам. Они буквально вырывают деньги у Бака из рук. Некоторые женщины все еще плачут, ибо таково уж свойство женского пола — плакать от горя, плакать от радости и

проливать слезы в отсутствие того и другого.

У старух дрожат руки, когда они засовывают доллары за пазуху или в карманы своих вылинявших платьев. Фабричные работницы нагибаются, торопливо задирают свою мануфактуру, и вы слышите, как щелкает резинка, пропуская валюту в дамское отделение «Верного Домашнего Банка Фильдекос».

Кое-кого из акционеров, которые громче всех причитали за дверью, теперь опять обуяло доверие, и они решили не изымать свои вклады.

— Суньте эту мелочь в свои лохмотья и убирайтесь отсюда подобру-поздорову, — говорит им Бак. — Чего ради вам вздумалось вкладывать деньги в облигации? Старый дырявый чайник да трещина в стене — вот наилучшее вместилище для ваших медяков.

Когда к Баку подходит со своими акциями та хорошенькая девушка в красной шали, он вручает ей дополнительно двадцать долларов.

— Свадебный подарок от «Банка Голконда», — говорит наш казначей. — И запомните — если Джеки вздумает сунуть свой нос даже в самые отдаленные окрестности дома, где живет Роза Стейнфилд, настоящим мы уполномочиваем вас укоротить оный нос на парочку дюймов.

Когда все забрали свои капиталы и ушли, Бак призвал репортера и вручил ему остаток денег.

— Вы эту кашу заварили, вы ее и расхлебывайте, — сказал он. — Вон там лежат книги, в которых записаны все акции и облигации. Вот деньги на покрытие убытков — за вычетом того, что мы истратили на жизнь. Назначаю вас ликвидатором имущества несостоятельного должника. Надеюсь, вы, как представитель прессы, будете вести дело честно. Мы считаем, что это наилучший способ все уладить. А мы с нашим солидным, но переутомленным яблоками вице-президентом намерены последовать примеру нашего высокочтимого президента и незамедлительно смыться. Полагаю, что на сегодня вам материала хватит. Или вы хотите взять у нас интервью по части этикета, а также по вопросу о том, как лучше всего переделать старую шелковую юбку?

— Нечего сказать, материалец! По-вашему, я мог бы его использовать? — возмутился репортер. — Я не хочу лишиться работы. Допустим, я являюсь в редакцию и рассказываю, как было дело. Что говорит редактор? Он отправляет меня в желтый дом и велит не возвращаться, пока меня там не вылечат. Я мог бы дать ему репортаж о том, как по Бродвею проползает кобра, но на

такую ахинею у меня смелости не хватит. Шайка прожженных аферистов — прошу прощения — возвращает свою добычу! Нет уж, увольте. Я не сотрудник отдела юмора.

— Вам, разумеется, этого не понять, — говорит ему Бак, держась за ручку двери. — Мы с Пиком не похожи на известных вам дельцов с Уолл-стрита. Мы никогда не позволяем себе обирать больных старух и фабричных работниц или выманивать медяки у ребятишек. Это не по нашей части. Мы отнимаем деньги у тех, кого сам Господь Бог велел околпачивать, — у игроков, пьяниц, бездельников и хлыщей, которые всегда имеют при себе несколько лишних монет, да еще у фермеров, которые не мыслят себе счастья без того, чтобы какой-нибудь жулик не объегорил их при продаже урожая. Мы еще ни разу не унизились до того, чтобы ловить рыбешку, которая клюет в нью-йоркских водах. Нет, сэр, мы слишком уважаем свою профессию и самих себя. До свидания, мистер Ликвидатор.

— Постойте минутку, — говорит нам журналист. — Тут этажом выше есть один биржевой маклер. Подождите, пока я суну это барахло к нему в сейф. Я хотел бы угостить вас на прощание.

— Вы? — с изумлением вопрошает Бак. — Уж не воображаете ли вы, что в редакции поверят этой басне? Покорнейше благодарим. К сожалению, нам некогда. Всего.

Мы с Баком выскользнули из дверей, и таким образом «Компания Голконда» недобровольно растворилась в эфире.

Если бы вы захотели повидать нас с Баком на следующий вечер, вам пришлось бы отправиться в грошовую гостиницу близ паромной переправы в Вест-Сайде. Мы сидели в маленькой комнатушке окнами на задний двор, и я наполнял двенадцать дюжин аптечных пузырьков водой из крана, которую мы подкрасили анилином и сдобрили ванилином. Бак, у которого на голове вместо цилиндра красовался скромный коричневый котелок, курил с видом человека, совершенно довольного жизнью.

Загоняя пробки в пузырьки с водой, Бак сказал:

— Как хорошо, что Брэди согласился одолжить нам на неделю свой фургон и лошадь. За это время мы сумеем сколотить небольшой капиталец. В Нью-Джерси наше средство для укрепления волос наверняка будет пользоваться спросом. По причине большого количества комаров лысины

там не в моде.

Тут я как раз вытащил свой чемодан, чтобы достать этикетки.

— Этикетки на средство для укрепления волос кончаются. Осталось всего штук десять, — говорю я.

— Закупим еще партию, — отвечает Бак.

Мы исследовали свои карманы и убедились, что денег у нас осталось ровно столько, сколько потребуется завтра утром для оплаты счета в гостинице и для покупки билетов на паром.

— Тут целая куча этикеток «Стряси трясучку от простуды», — говорю я, изучив содержимое чемодана.

— Так чего ж тебе еще надо? — спрашивает Бак — Давай прилепим их. В низине Хэкенсека как раз открывается простудный сезон. На что человеку волосы, если он все равно обречен их стрясти?

Мы еще с полчаса приклеивали этикетки, после чего Бак произнес:

— Зарабатывать на жизнь честным путем куда лучше, чем промышлять на Уолл-стрите. Правда, Пик?

— Еще бы! — отвечал я.

Заложники Момуса

Перевод М. Беккер

I

Я никогда не забирался в область законных разновидностей жульничества — за исключением одного-единственного раза. Но однажды, как я уже сказал, я аннулировал решения пересмотренных статутов и предпринял одно дельце, за которое мне наверняка придется просить прощения даже по антитрестовским законам штата Нью-Джерси.

Я и Калигула Полк из Маскоги, что на Индейской Территории племени Крик, промышляли перипатетической лотереей и карточной игрой «монти» в мексиканском штате Тамаулипас. А надо вам сказать, что в Мексике продажа лотерейных билетов — жульничество, которое является прерогативой местного правительства, точно так же, как прерогатива нашего — продажа за сорок девять центов почтовых марок достоинством в

сорок восемь. Поэтому дядюшка Порфирио[47] напустил на нас *руралов*. Кто такие *руралы*? Это нечто вроде сельской полиции, но не вздумайте мысленно набрасывать цветными мелками портрет почтенного констебля с оловянной звездой и козлиной бородкой. *Руралы* — это… ну, если посадить членов нашего Верховного Суда на мустангов, вооружить их винчестерами и послать в погоню за истцом и ответчиком по имени Икс и Игрек, то получится нечто похожее.

Когда *руралы* пустились в погоню за нами, мы пустились в дорогу по направлению к Штатам. Они преследовали нас до самого Матамораса. Мы спрятались на кирпичном заводе, а ночью переплыли Рио-Гранде, причем Калигула по рассеянности держал в каждой руке по кирпичу, которые он тут же бросил на землю Техаса.

Затем мы эмигрировали в Сан-Антонио, а оттуда в Новый Орлеан, где решили немного передохнуть. И в этом городе, переполненном тюками хлопка и другими приложениями к женской красоте, мы познакомились с напитками, которые креолы изобрели еще во времена Людовика Пятнадцатого и которые по сей день подают

---

[47] Примечания: 47
Порфирио Диас — президент Мексики в 1877–1880 и 1884–1911 гг.

на заднем крыльце в кружках пятнадцатого века. Об этом городе я запомнил только то, что я, Калигула и француз по фамилии Мак-Карти — постойте минутку, Адольф Мак-Карти — пытались заставить французский квартал вернуть недоимку, подлежащую выплате по купонам, оставшимся от приобретения штата Луизиана в 1803 году, как вдруг кто-то заорал: «Джон-дармы!» Еще у меня сохранилось смутное воспоминание о том, как я покупаю в окошке два желтых билета, а потом я вроде бы вижу человека, который размахивает фонарем и кричит: «Посадка окончена!» Дальше я уже не помню ничего, кроме того, что железнодорожный разносчик укрывает нас сухими фруктами и сочинениями Августы Эванс[48].

В пересмотренном издании было обнаружено, что мы наскочили на штат Джорджия в пункте, доселе никак не предусмотренном в расписании поездов, если не считать звездочки, которая означает, что они останавливаются там каждый второй четверг по сигналу, подаваемому вырванным из полотна рельсом. Мы пробудились в желтой сосновой гостинице от шума цветов и запаха птиц. Да, сэр, так оно и было, потому что

[48] Примечания: 48

Августа Джейн Эванс (1835–1909) — американская писательница — южанка, автор сентиментальных романов.

ветер колотил в стену подсолнухами величиной с колесо от двуколки, а прямо под нашими окнами находился курятник. Мы с Калигулой оделись и сошли вниз. Хозяин лущил горох на веранде. Желтый, как выходец из Гонконга, он представлял собой шесть футов малярии, но в остальном как будто вполне отвечал за отправление всех своих чувств и иных признаков.

Калигула — от природы оратор и коротышка, и хотя он человек рыжий и нетерпимый ко всякого рода болезненности, он тут же произносит речь.

— Сосед, — говорит он, — доброе вам утро и проклятье на вашу голову. Окажите любезность разъяснить нам, в какое мы прибыли почему? Мы знаем причину, куда мы находимся, но не можем точно установить, вследствие какой местности.

— Джентльмены, — отвечает хозяин, — я так и знал, что вы с утра начнете наводить справки. Вчера в девять тридцать вечера вы сошли с поезда, и вы были под сильным шафе. Да, вы употребили много спиртного. Могу вам сказать, что в настоящее время вы пребываете в городе Горная Долина, штат Джорджия.

— Вы еще скажите, что тут нечего есть, — говорит Калигула.

— Присядьте, джентльмены, — отвечает хо-

зяин, — и через двадцать минут я угощу вас завтраком, лучше которого вы во всем городе не сыщете.

Завтрак состоял из жареной ветчины и желтоватого сооружения, которое оказалось чем-то средним между плумпудингом и эластичным песчаником. Хозяин называл это кукурузной лепешкой. Затем он подал на стол миску гипертрофированного продукта, обычно употребляемого здесь за завтраком и известного под названием мамалыга. Так мы с Калигулой познакомились с этим знаменитым блюдом, благодаря которому во время Гражданской войны каждый солдат армии южан четыре года подряд мог побивать по одному и две трети янки.

— Будь я на месте ребят дядюшки Роберта Ли, — говорит Калигула, — я бы от этой папалыги до того озлился, что загнал бы команду Гранта и Шермана[49] прямехонько в Гудзонов залив. Не пойму, как они могут все время жрать такую дрянь.

— Свинина с кукурузой — главный продукт питания в здешних местах, — объясняю я ему.

— В таком случае пусть здешние жители са-

[49] Примечания: 49

Роберт Ли — главнокомандующий армией южан в Гражданской войне США; Грант и Шерман — генералы армии северян.

ми его и едят. Я думал, что это гостиница, а не свинарник. Вот если б мы с тобой посетили Дом Святого Люцифера в Маскоги, я бы тебе показал, что едят на завтрак порядочные люди. Для начала — бифштекс из антилопы и жареную печенку, потом оленьи отбивные под chili con carne[50], пончики с ананасом, сардины в маринаде, а на закуску — банку желтых персиков и бутылку пива. У вас в восточных штатах про такое меню ни в одном ресторане никто и слыхом не слыхал.

— Слишком жирно, — отвечаю я. — Настоящего завтрака человек не увидит до тех пор, пока он не отрастит себе такие длинные руки, чтоб дотянуться до Нового Орлеана и взять там чашку кофе, потом раздобыть булочки в Норфолке, вытащить кусок мяса из погреба в штате Вермонт, а под конец повернуться к улью возле лужайки, поросшей белым клевером в штате Индиана. Вот тогда он сможет сказать, что отведал нечто вроде амбразуры, которой питаются боги на горе Олимпия.

— Слишком эфемерно, — возражает Калигула. — Лично мне для аппетита требуется яичница с ветчиной или рагу из кролика. А на обед ты

---

[50] Примечания: 50
Перец с мясом (*исп.*).

какие воспитательные блюда предпочитаешь?

— Я, бывало, упивался затейливыми разветвлениями провианта, как-то: черепахи, омары, рисовая стрепатка или брезентовая утка. Но что я больше всего люблю, так это бифштекс под грибным соусом на балконе под звон бродвейского трамвая, звуки шарманки и выкрики газетчиков, продающих экстренный выпуск с репортажем о последнем самоубийстве. Что же касается вина, то я готов удовольствоваться скромным шампуньским. И тогда кроме demi-tasse[51] мне больше ничего не надо.

— Да, в Нью-Йорке человек должен быть гастрономом, а когда ты шатаешься взад-вперед со своей demi-tasse, тебе, натурально, приходится покупать эту стильную жратву.

— Нью-Йорк — город жрецов Эпикура, — говорю я. — Если б ты там поселился, ты бы очень скоро перенял все их повадки.

— Навряд ли, — возразил мне Калигула. — Я уж как-нибудь проживу и без маникюра.

---

[51] Примечания: 51
Чашечка кофе (*франц.*).

II

После завтрака мы вышли на веранду, закурили две хозяйские сигары «перфекто» и принялись рассматривать штат Джорджия. Представившаяся нашему взору порция пейзажа являла собою зрелище более чем жалкое. Кругом, сколько видел глаз, простирались рыжие холмы, изрытые промоинами и кое-где поросшие сосняком. Заборы из деревянных жердей не рушились только благодаря кустам ежевики, которые поддерживали их в вертикальном положении. Милях в пятнадцати к северу виднелась небольшая гряда лесистых гор.

Поселок Горная Долина своих функций не выполнял. По улицам слонялось штук десять прохожих, но преобладали там бочки для сбора дождевой воды, петухи да еще мальчишки, которые усердно раскапывали палками кучи золы, оставшиеся от сожженных декораций к пьесе «Хижина дяди Тома».

Через некоторое время на противоположной стороне улицы показался высокий человек в длинном черном сюртуке и касторовой шляпе. Все прохожие стали кланяться, а некоторые даже перешли через улицу, чтобы пожать ему

руку. Народ выходил из домов и лавок, чтоб с ним поздороваться; женщины высовывались из окон и улыбались; ребятишки перестали играть, чтоб на него посмотреть. Наш хозяин вышел на веранду, согнулся в три погибели — ни дать ни взять складная плотницкая линейка, — а когда тот отошел уже ярдов на десять, громко произнес: «Доброе утро, полковник!»

— Это Александр, папаша? — спросил хозяина Калигула. — И почему его называют великим?

— Джентльмены, — отвечает хозяин, — это не кто иной, как сам полковник Джексон Т. Рокингем, президент Железнодорожной Ветки Восход — Парадиз, мэр Горной Долины и председатель совета по иммиграции и общественному благоустройству округа Перри.

— Он что, долго был в отъезде? — поинтересовался я.

— Нет, сэр, полковник Рокингем идет за своей почтой в почтовую контору. Сограждане приветствуют его так восторженно каждое утро. Полковник — самый именитый гражданин нашего города. Кроме контрольного пакета акций Железнодорожной Ветки Восход — Парадиз, он владеет земельными угодьями в тысячу акров на том берегу ручья. Горная Долина счастлива вы-

казать свое почтение гражданину, обладающему столь высокими достоинствами и столь исключительной преданностью общественному благу.

В этот день Калигула целый час просидел на веранде, изучая газету, — времяпрепровождение, необычное для человека, презирающего печатное слово. Прочитав ее от первой до последней строки, он отвел меня в конец веранды, где в солнечных лучах сушились посудные полотенца. Я сразу понял, что Калигула изобрел новую плутню, ибо в таких случаях у него была привычка жевать кончики усов и двигать вверх и вниз пряжку от подтяжек.

— Ну, что у тебя теперь на уме? — спросил я его. — Я готов обсудить любой проект, лишь бы ты не предложил мне размещать акции горных рудников или играть в пенсильванские прятки.

— Играть в пенсильванские прятки? Ах, да, это способ добычи денег, принятый у пенсильванцев. Они поджигают пятки старухам, чтобы заставить их признаться, где они прячут свои капиталы.

Калигуловы рассуждения о бизнесе всегда горьки и лаконичны.

— Ты видишь эти горы, — говорит он, указывая пальцем, — и ты видел этого субъекта в чине полковника, который владеет железными доро-

гами и который, еще не успев дойти до почтовой конторы, добился большего, нежели Рузвельт, который эти конторы обчистил. Что нам надо сделать, так это похитить второго в первые и потребовать выкуп в десять тысяч долларов.

— Криминальное действие, — говорю я, качая головой.

— Я так и знал, что ты это скажешь, — говорит Калигула. — На первый взгляд и в самом деле может показаться, что оно нарушает мир и приличие. Но ничего подобного в нем нет. Я взял эту идею из газеты. Разве ты станешь изрыгать хулу на законную аферу которую сами Соединенные Штаты утвердили, амнистировали и одобрили?

— Похищение людей, — говорю я, — есть безнравственный поступок, который значится в реестре противозаконных деяний. Если Соединенные Штаты его поощряют, то это, должно быть, новая статья этики, недавно внесенная в статуты вместе с «расовым самоубийством» и «бесплатной доставкой почтовых отправлений в сельскую местность».

— Слушай внимательно, и я разъясню тебе дело, о котором пишут в газетах, — говорит Калигула. — Один греческий подданный по имени Бердик Гаррис был схвачен африканцами. В ответ

на это Соединенные Штаты посылают в Танжер две канонерки и заставляют короля Марокко отдать африканцу Райсули семьдесят тысяч долларов.

— Не торопись, — останавливаю его я. — Это звучит так международно, что сразу не уразумеешь, кто дал, кому и за что?

— Это я прочел депеши из Константинополя, — продолжает Калигула. — Подожди полгода, и сам увидишь. Их подтвердят ежемесячные журналы, а потом ты сможешь найти их в любом популярном еженедельнике — из тех, что читают, сидя в кресле у цирюльника — рядом с фотографиями, снятыми с фотографий извержения вулкана Мон Пеле. Все в порядке, Пик, можешь не беспокоиться. Этот африканец Райсули прячет Бердика Гарриса в горах и назначает свою цену правительствам разных стран. Надеюсь, ты ни на минуту не усомнился, что Джон Хэй[52] нипочем не стал бы содействовать этой махинации, не будь в ней все честно и благородно.

— Разумеется, нет, — отвечаю я. — Я всегда одобрял политику Брайана, да и сейчас не скажу

---

[52] Примечания: 52

Джон Хэй (1838–1905) — государственный секретарь в правительствах Маккинли и Теодора Рузвельта в 1898–1905 гг., известен также как писатель.

худого слова про администрацию республиканцев. Но если этот Гаррис — грек, то непонятно, на основании какой системы международных протоколов Хэй мог вмешаться?

— Об этом в газетах точно не сказано, — отвечает мне Калигула — Я думаю, тут, скорее всего, дело в чувствах. Ты же знаешь, что Хэй сочинил стихотворение «Штанишки», а эти греки ходят либо в коротких штанах, либо вовсе без штанов. В общем, Джон Хэй посылает туда «Бруклин» и «Олимпию», и они держат всю Африку под прицелом тридцатидюймовых пушек. Потом Хэй по телеграфу справляется о здоровье persona grata. «Как они себя чувствуют нынче утром? — телеграфирует он. — Жив ли еще Бердик Гаррис и помер ли уже мистер Райсули?» И тогда король Марокко шлет семьдесят тысяч долларов, и Гарриса выпускают на свободу. И это мелкое похищение вызывает вдвое меньше международных трений, чем мирный конгресс. А Бердик Гаррис говорит репортерам на греческом языке, что он много слышал о Соединенных Штатах и обожает Рузвельта, но еще больше он обожает Райсули, ибо это один из самых белых и самых благородных похитителей, с какими ему когда-либо приходилось работать. Теперь ты видишь,

Пик, что международное право на нашей стороне, — заключает свою речь Калигула. — Мы отделим этого полковника от стада, загоним его в эти горки и выманим у его наследников и правопреемников десять тысяч долларов.

— Ах ты, уникальный рыжий территориальный террорист! — восклицаю я. — Нет, брат, дядюшку Текумсе Пикенса ты не проведешь! Я согласен стать твоим компаньоном в этой махинации. Однако, Калиг, я сомневаюсь, что ты проник в истинную сущность дела Бердика Гарриса, и если в одно прекрасное утро мы получим от государственного секретаря телеграфный запрос о состоянии здоровья нашего заговора, то я предлагаю незамедлительно приобрести наиболее близлежащего и резвого мула во всей округе и дипломатично отгалопировать на соседнюю мирную территорию Алабама.

III

В течение трех дней мы с Калигулой обследовали небольшую кучку гор, в которые мы предполагали похитить полковника Джексона Т. Рокингема. В конце концов мы выбрали вертикальный ломоть топографии, заросший деревьями и кустами, до которого можно было

добраться лишь в обход, по тропинке, которую мы же сами и прорубили. Единственный путь к этой горе лежал вдоль излучины речки, которая вилась среди холмов.

Затем я взял на себя важное подразделение всей процедуры. Я поехал поездом в Алабаму и закупил там на двести пятьдесят долларов самого изысканного и питательного провианта. Я всегда был поклонником яств в их наиболее паллиативных и пересмотренных стадиях. Свинина с мамалыгой не только производит антихудожественное действие на мой желудок, но и вызывает несварение моего нравственного чувства. Я думал о полковнике Джексоне Т. Рокингеме, президенте Железнодорожной Ветки Восход — Парадиз, и о том, как он будет страдать от отсутствия роскошной домашней кухни, столь почитаемой среди богатых южан. Я вложил добрую половину наших с Калигулой капиталов в такой элегантный набор свежих и консервированных продуктов, какой едва ли приходилось когда-либо видеть в лагере Бердику Гаррису или любой другой профессиональной жертве похищения.

Еще на сотню я купил два ящика бордо, две кварты коньяку; две сотни гаванских сигар с золотыми ободками, а также переносную печку,

складные стулья и походные кровати. Я хотел окружить полковника всевозможным комфортом — в надежде, что, отдав десять тысяч долларов, он отдаст должное мне и Калигуле как джентльменам и щедрым хозяевам, подобно тому как это сделал Бердик Гаррис по отношению к своему другу, который принудил Соединенные Штаты взыскать с Африки суммы по выданным им векселям.

Когда из Атланты прибыли наши покупки, мы наняли фургон, доставили их на горку и разбили лагерь. После этого мы засели в засаду на полковника.

Мы изловили его однажды утром в двух милях от Горной Долины, когда он отправился проведать одно из своих темно-бурых сельскохозяйственных владений. Это был элегантный старый джентльмен, длинный и тонкий, как удочка для форели, с обтрепанными манжетами и пенсне на черном шнурке. Мы сжато и непринужденно объяснили ему, что нам от него надо, а Калигула небрежно показал ему рукоятку пистолета сорок пятого калибра, спрятанного под полой пиджака.

— Что? — удивился полковник Рокингем. — Бандиты в округе Перри, штат Джорджия? Я

немедленно сообщу об этом в совет по иммиграции и общественному благоустройству.

— Будьте безрассудны сесть в эту двуколку, — сказал ему Калигула, — во исполнение приказа совета по перфорации и общественному неустройству. Это деловое заседание, и мы намерены объявить перерыв sine qua non[53].

Мы провезли полковника Рокингема через горный перевал и вверх по склону до того места, куда могла добраться двуколка, затем привязали лошадь и отвели нашего пленника пешком в лагерь.

— А теперь, полковник, — говорю ему я, — я и мой партнер будем ждать выкупа. Мы не причиним вам никакого вреда, если король Маро… если ваши друзья пришлют монету. А до тех пор вы сможете убедиться, что мы джентльмены не хуже вас. Если вы обещаете не предпринимать попыток к бегству, мы предоставим вам полную свободу передвижения по лагерю.

— Обещаю, — говорит полковник.

— Отлично, — продолжаю я. — Сейчас одиннадцать часов — самое время нам с мистером Полком приступить к изготовлению кое-каких

---

[53] Примечания: 53
Без которого нельзя, необходимый (*лат.*).

пустяков по части жратвы.

— Благодарю вас, — говорит полковник — Я, пожалуй, с удовольствием съел бы ломтик ветчины и тарелку мамалыги.

— Чего нет, того нет, — категорически заявляю я. — Во всяком случае, у нас в лагере. Мы привыкли витать в сферах более возвышенных, нежели те, в которых обычно располагается ваше столь же прославленное, сколь и отвратительное блюдо.

Пока полковник читал газету, мы с Калигулой сняли пиджаки, засучили рукава и принялись готовить небольшой ленч de luxe — просто так, чтоб показать ему, на что мы способны. Калигула — превосходный повар западного толка. Он может зажарить буйвола и сделать фрикасе из быка с такой же легкостью, с какой хозяйка заваривает чай. Он наделен счастливым даром состряпать на скорую руку обильную трапезу, требующую значительных затрат мускульной энергии. К западу от реки Арканзас он побил рекорд в искусстве одновременно левой рукой печь оладьи, правой жарить отбивные из оленины, а зубами свежевать кролика. Что до меня, то я — мастер го-

товить блюда en casserole и a la creole[54], ласково и нежно заправляя их маслом и соусом тобаско, как настоящий французский повар.

И вот к двенадцати часам у нас был готов горячий завтрак, напоминавший банкет на пароходе, плывущем по Миссисипи. Мы сервировали его на трех больших ящиках, откупорили две кварты красного вина, поставили возле прибора полковника салат из маслин и консервированных устриц и готовый мартини, а затем пригласили его к столу.

Полковник Рокингем пододвинул свой складной стул, протер пенсне и взглянул на выставку блюд. Мне послышалось, будто он выругался, и я почувствовал себя последним негодяем оттого, что не постарался сготовить что-нибудь повкуснее. Но нет — оказывается, он всего лишь прочел молитву. Мы с Калигулой опустили головы, и я заметил, как полковник уронил в салат большую слезу.

Я еще в жизни не видывал, чтоб человек ел с такой серьезностью и усердием — не наспех, как студенты или подрядчики на строительстве канала, а с чувством, как анаконда или истинный

---

[54] Примечания: 54
Тушеные и по-креольски (*франц.*).

vive bonjour[55].

Через полтора часа полковник откинулся на спинку стула. Я подал ему стопку бренди и чашку черного кофе и поставил на стол коробку гаванских сигар.

— Джентльмены, — проговорил он, выдыхая дым и пытаясь вдохнуть его обратно, — когда мы, взирая на эти вечные холмы и на улыбающийся благодатный ландшафт, размышляем о милосердии Создателя, который…

— Прошу прощения, полковник, пора перейти к делу, — объявил я, протягивая ему бумагу и чернильницу с пером. — К кому вы желаете послать за деньгами?

— Пожалуй, к вице-президенту нашей железной дороги, — подумав, отвечает он, — в главную контору компании в Парадизе.

— А далеко ли отсюда до Парадиза? — спрашиваю я.

— Приблизительно десять миль.

Затем полковник пишет под мою диктовку следующие строки: «Два отчаянных головореза похитили меня и держат в таком месте, которое бесполезно искать. Они требуют выкуп в десять

---

[55] Примечания: 55

Рассказчик имеет в виду bon vivant (*франц.*) — любитель сытой, веселой жизни.

тысяч долларов. Необходимо тотчас достать эту сумму и действовать согласно нижеследующей инструкции. Принесите деньги к Каменному Ручью, который вытекает из подножия Черной Горы. Следуйте вдоль русла ручья до тех пор, пока не увидите на левом берегу большой плоский камень, на котором красным мелом начертан крест. Встаньте на камень и взмахните белым флагом. К вам явится провожатый, который отведет вас туда, где меня держат в плену. Не теряйте времени».

Окончив письмо, полковник попросил разрешения присовокупить к нему постскриптум насчет того, как благородно с ним обращаются, — чтобы при мысли о его страданиях у железной дороги не щемило сердце. Мы дали свое согласие. Он написал, что только что сидел за завтраком в обществе двух отъявленных бандитов, после чего полностью привел все меню от салатов до кофе. В заключение он заметил, что к шести часам будет готов обед, по всей вероятности, еще более обильный и неумеренный, чем завтрак.

Повара падки на лесть, и потому мы с Калигулой решили ничего не вычеркивать, хотя на переводном векселе все это выглядело неуместно.

Я взял письмо, вышел на дорогу, ведущую в Горную Долину, и стал высматривать посыльного. Вскоре показался чернокожий всадник, направлявшийся верхом в Парадиз. Я дал ему доллар, велел доставить письмо в контору железной дороги и возвратился в лагерь.

IV

Около четырех часов пополудни Калигула, исполнявший обязанности впередсмотрящего, закричал:

— Докладываю, сэр! По правому борту с носа сигналит белая рубашка!

Я спустился с горы и привел в лагерь рыжего толстяка, у которого был альпаковый пиджак, а воротничка не было.

— Джентльмены, разрешите представить вам моего брата, капитана Дюваля С. Рокингема, вице-президента Железнодорожной Ветки Восход — Парадиз, — говорит полковник.

— Он же — король Марокко, — уточняю я. — Надеюсь, вы не возражаете, если я пересчитаю выкуп — так сказать, для проформы.

— Н-н-нет, нет, пожалуйста, пересчитывайте, — неуверенно отвечает толстяк. — То есть я хочу сказать, когда его доставят сюда. Я поручил это

дело нашему второму вице-президенту. Полагаю, что он скоро прибудет. Сам я был очень обеспокоен безопасностью братца Джексона. Скажи, братец Джексон, как тебе понравился салат из омаров, о котором ты упомянул в своем письме?

— Мистер вице-президент, — обращаюсь к нему я. — Не откажите в любезности остаться здесь до прибытия второго вице-президента. Это неофициальная репетиция, и мы предпочли бы, чтоб никто не торговал билетами у входа.

Через полчаса Калигула снова крикнул:

— Вижу парус! Вроде фартука на швабре!

Я снова скатился с утеса и эскортировал наверх человека шести футов трех дюймов в длину, с рыжей бородой и, сколько я мог судить, без всех остальных измерений. Ну, подумал я, если он держит эти десять тысяч при себе, то не иначе, как одной бумажкой и к тому же сложенной вдоль.

— Мистер Паттерсон Дж. Кобл, наш второй вице-президент, — объявляет полковник.

— Рад познакомиться с вами, джентльмены, — говорит Кобл. — Я пришел распространить известие, что майор Таллахасси Таккер, начальник отдела пассажирских перевозок, в настоящее время ведет переговоры с Банком округа Перри о предоставлении займа под залог корзины для

персиков, наполненной акциями нашей железной дороги. Уважаемый полковник Рокингем, мы с проводником пятьдесят шестого поспорили — в том меню, которое вы приводите в своем письме, значилось консоме с гренками или фрикасе с грибами?

— Опять паруса на утесах! — возглашает Калигула. — Если я увижу еще хотя бы один, то открою огонь, а потом присягну, что это были канонерки!

Провожатый снова спускается вниз и конвоирует в логово человека в синем комбинезоне, обремененного фонарем и хроническим алкоголизмом. Я настолько уверен, что это майор Таккер, что даже не задаю ему никаких вопросов, но наверху выясняется, что это — дядюшка Тимоти, стрелочник из Парадиза, высланный вперед с целью подорвать наше взаимопонимание слухами о том, будто судья Пендергаст, юрист железной дороги, находится в процессе получения займа под заклад сельскохозяйственных угодий полковника Рокингема.

Пока он это рассказывает, из-под кустов в лагерь вползают еще двое, и Калигула, не видя белого флага, который мог бы воспрепятствовать выполнению его прямого долга, грозит им

пистолетом. Но тут снова вступается полковник Рокингем, — он представляет нам мистера Джонса и мистера Бэттса, машиниста и кочегара поезда номер сорок два.

— Простите, — говорит Бэттс. — Мы с Джимом охотились на белок в здешних горах, и белый флаг нам ни к чему. Скажите, полковник, неужто тут и в самом деле был плумпудинг, ананасы и настоящие покупные сигары?

— Полотенце на удилище в море! — орет Калигула. — Может, это выходит на линию огня взвод проводников товарных вагонов под командованием тормозного кондуктора?

— Это мой последний спуск, — говорю я, вытирая пот со лба. — Если Ветка Восход — Парадиз желает устроить экскурсию, чтоб осмотреть место, где находится ее похищенный президент, — милости просим. Мы вывесим вывеску «Кафе Похитителя и Приют Кочегаров».

На этот раз пришелец сам начал с признания, что он — майор Таккер, и мне сразу стало легче. Однако на всякий случай я пригласил его в ручей — чтоб если он окажется путевым обходчиком или диспетчером, можно было тут же его утопить. Всю дорогу наверх он нес околесицу насчет гренков со спаржей — предмета, составлявшего

досадный пробел в его гастрономическом опыте.

Наверху я с трудом изолировал его мозг от провианта и спросил, принес ли он выкуп.

— Милостивый государь, — ответил он, — под заклад акций нашей железной дороги на сумму в тридцать тысяч долларов мне удалось получить заем и…

— Не беспокойтесь, майор, — перебил я его, — сейчас это не к спеху. После обеда мы все уладим. Джентльмены, — продолжал я, обращаясь ко всей команде, — вы приглашены на обед. Мы облекли друг друга взаимным доверием, и над всем происходящим должен реять белый флаг.

— Очень разумная идея, — подтвердил Калигула, который в эту минуту стоял рядом со мной. — Пока ты ходил вниз, с дерева свалились два носильщика и один кассир. А этот твой майор принес деньги?

— Он говорит, что ему удалось получить заем, — отвечаю я.

Если какие-либо два повара когда-либо заработали десять тысяч долларов за один-единственный день, то это были мы с Калигулой. В шесть часов вечера мы сервировали на вершине горы такой роскошный обед, какой навряд ли когда-либо доводилось поглощать персоналу какой-либо

железной дороги. Мы раскупорили все вино, состряпали первое, второе и небольшое аппетитное третье, словом, организовали такую жратву, какую редко удается извлечь из бутылок и консервных банок, содержащих гастрономические товары. Вся железная дорога собралась вокруг, и все бражничали и веселились напропалую.

После пира мы с Калигулой переходим к делу. Отведя майора Таккера в сторонку мы требуем выкуп. Майор достает агломерацию валюты на сумму, составляющую примерно стоимость городского участка в предместьях Кроликбурга, что в штате Аризона, и издает следующий крик отчаяния:

— Джентльмены! Акции Железнодорожной Ветки Восход — Парадиз несколько обесценились. Заем, который я смог получить под залог акций на сумму в тридцать тысяч долларов, составил всего лишь восемьдесят долларов пятьдесят центов. Выправив девятую по счету закладную на сельскохозяйственные угодья полковника Рокингема, судья Пендергаст получил еще пятьдесят долларов. Благоволите пересчитать всю сумму — сто тридцать семь пятьдесят.

— Президент железной дороги, владелец тысячи акров земли, и несмотря на это... — говорю я,

глядя прямо в глаза этому Таккеру.

— Джентльмены, — поясняет Таккер, — протяженность железной дороги составляет десять миль. Ни один поезд не может по ней пройти до тех пор, пока поездная бригада, сделав остановку в сосновом лесу, не наберет достаточно шишек, чтобы развести пары. В доброе старое время, когда дела шли хорошо, чистый доход составлял восемнадцать долларов в неделю. Земли полковника Рокингема тринадцать раз были проданы в уплату налогов. Последние два года в этой части Джорджии был неурожай персиков. Дождливая весна сгубила все дыни. Ни у кого во всей округе нет денег для покупки удобрений, а земля такая плохая, что кукуруза не уродилась, и не хватает даже травы на прокорм кроликам. Уже больше года никто не ел здесь ничего, кроме свинины с мамалыгой и…

— Пик, — говорит Калигула, взъерошив свою рыжую шевелюру, — что ты намерен делать с этой мелочью?

Я возвращаю деньги майору Таккеру, подхожу к полковнику Рокингему, хлопаю его по плечу и говорю:

— Полковник, надеюсь, вам понравилась наша маленькая шутка. Однако мы не хотим заходить

слишком далеко. Это мы-то похитители? Умора, да и только! Меня зовут Райнгелдер, и я племянник Чонси Депью[56]. Мой друг — внучатый кузен редактора юмористического журнала «Пак». Полагаю, что теперь вам все ясно. Мы приехали на Юг немножко поразвлечься. Осталось еще две кварты коньяку, и на этом, пожалуй, можно поставить точку.

Стоит ли вдаваться в подробности? Приведу лишь два-три примера. Мне запомнилось, как майор Таллахасси Таккер играл на варгане, а Калигула танцевал вальс с долговязым носильщиком, прижавшись головой к его желудку. Не знаю, уместно ли будет упомянуть о кекуоке, который исполнили мы втроем с мистером Паттерсоном Дж. Коблом и полковником Джексоном Т. Рокингемом.

А на следующее утро — хотите верьте, хотите нет — мы с Калигулой все же несколько утешились. Нам стало ясно, что сам Райсули и вполовину так не ублаготворил Бердика Гарриса, как мы ублаготворили Железнодорожную Ветку Восход — Парадиз.

---

[56] Примечания: 56

Чонси Депью (1834–1928) — видный американский адвокат, оратор и политический деятель.

Поросячья этика

Перевод К. Чуковского

Войдя в курительный вагон экспресса Сан-Франциско — Нью-Йорк, я застал там Джефферсона Питерса. Из всех людей, проживающих западнее реки Уобаш, он единственный наделен настоящей смекалкой. Он способен использовать сразу оба полушария мозга да еще мозжечок в придачу.

Профессия Джеффа — небеззаконное жульничество. Вдовам и сиротам не следует бояться его: он изымает только излишки. Больше всего он любит сравнивать себя с той мишенью в виде маленькой птички, в которую любой расточитель или опрометчивый вкладчик может стрельнуть двумя-тремя завалящими долларами. На его разговорные способности хорошо влияет табак; зная это, я с помощью двух толстых и легко воспламеняемых сигар «брэва» узнал историю его последнего приключения.

— Самое трудное в нашем деле, — сказал Джефф, — это найти добросовестного, надежного, безупречно честного партнера, с которым можно

было бы мошенничать без всякой опаски. Лучшие мастера, с какими мне случалось работать по части присвоения чужого имущества, и те оказывались иногда надувателями.

Поэтому прошлым летом решил я отправиться куда-нибудь в захолустную местность, куда не проник еще змей-искуситель, и посмотреть, не найдется ли там какого-нибудь подходящего малого, одаренного талантом к преступлению, но еще не развращенного успехом.

Попался мне один городишко, на вид как раз то, что нужно. Жители еще ничего не слыхали о конфискации Адамовых угодий и блаженствовали, как в райском саду, давая имена скотам и птицам и убивая гадюк. Городок назывался Маунт-Нэбо и расположен был примерно в том месте, где сходятся штаты Кентукки, Западная Виргиния и Северная Каролина. Что, эти штаты не граничат друг с другом? Ну, в общем, был расположен где-то там, поблизости.

Потратив неделю на то, чтобы жители удостоверились, что я не сборщик налогов, я как-то зашел в лавочку, где собирались все сливки местного общества, и начал нащупывать почву.

— Джентльмены, — говорю я (после того, как мы уже достаточно потерлись носами и

собрались вокруг бочонка с сушеными яблоками), — джентльмены, мне кажется, что вы самое безгрешное племя на всей земле: вы так далеки от всякого плутовства и порока. Все женщины у вас благосклонны и храбры, все мужчины честны и настойчивы, и потому жизнь здесь прямо-таки идеальная.

— Да, мистер Питерс, — говорит хозяин лавчонки, — правильно вы говорите: мы благородные, неподвижные, заплесневелые люди, лучше нас во всей этой местности нет, но вы не знаете Руфа Татама.

— Вот, вот, — подхватывает городской констебль, — он не знает Руфа Татама. Впрочем, где бы они могли познакомиться? Это самый отчаянный из всех негодяев, когда-либо убежавших от виселицы. Кстати, я только что вспомнил, что мне еще третьего дня следовало выпустить его из тюрьмы, когда кончился месячный срок, к которому он был присужден за убийство Янса Гудло. Но ничего: лишние два-три дня ему не повредят.

— Что вы говорите! — воскликнул я. — Да не может этого быть! Неужели у вас, в Маунт-Нэбо, есть такой дурной человек? Кто бы мог подумать: убийца!

— Хуже! — говорит хозяин лавки. — Он ворует

свиней.

Я решил разыскать этого мистера Татама. Через два-три дня после того, как констебль выпустил его из-за решетки, я свел с ним знакомство и пригласил его на окраину города. Мы сели на какое-то бревно и завели деловой разговор.

Мне нужен был компаньон деревенской наружности для одноактной проделки, которую я намеревался поставить в провинции, и Руф Татам был прямо-таки рожден для той роли, которая была намечена мной для него.

Рост у него был гигантский, глаза синие и лицемерные, как у фарфоровой собаки на камине, с которой играла тетя Гарриет, когда была маленькой девочкой. Волосы волнистые, как у дискобола в Ватикане, а цвет волос напоминал вам картину «Закат солнца в Великом Каньоне», написанную американским художником и повешенную в американской гостиной для прикрытия дырки в обоях. Это было воплощение Деревенского Простофили, это было совершенство.

Я рассказал ему все мое дело и увидел, что он готов хоть сейчас.

— Оставим в стороне смертоубийство, — сказал я. — Это дело пустяковое и мелкое. Сделали ли вы что-нибудь более ценное в области плутовства и

разбоя, на что вы могли бы указать — с гордостью или без гордости, — дабы я знал, что вы подходящий для меня компаньон?

— Как? — говорит он и растягивает по-южному каждое слово. — Разве вам никто не говорил обо мне? Во всем Синегорье нет ни одного человека, ни белого, ни чернокожего, который мог бы с такой ловкостью украсть поросенка без всякого шума, не видно, не слышно, и при этом ускользнуть от погони. Я могу выкрасть свинью из хлева, из-под навеса, из-за корыта, из леса, днем и ночью, как угодно, откуда угодно и ручаюсь, что никто не услышит ни визга, ни хрюканья. Вся штука в том, как ухватить свинью и как нести ее. Я надеюсь, — продолжает этот благородный опустошитель свинарников, — что близко то время, когда я буду признан мировым чемпионом свинокрадства.

— Честолюбие — похвальная черта, — говорю я, — и здесь, в глуши, свинокрадство — почтенная профессия; но там, в большом свете, за границами этого узкого круга, ваша специальность, мистер Татам, покажется провинциально вульгарной. Впрочем, она свидетельствует о вашем таланте. Я беру вас себе в компаньоны. Капитала у меня тысяча долларов, и, пользуясь вашей простец-

кой деревенской наружностью, мы, я надеюсь, заработаем на денежном рынке несколько привилегированных акций «Прости навек».

И вот я ангажировал Руфа, и мы покинули Маунт-Нэбо и спустились с гор на равнину, и всю дорогу я натаскивал его для той роли, которую он должен играть в задуманных мною беззаконных делах. Перед тем я два месяца проболтался без дела на Флоридском побережье, чувствовал себя превосходно, и в голове у меня было тесно от всяких затей и проектов.

Я предполагал, собственно, проложить борозду шириною в девять миль через весь фермерский район Среднего Запада, куда мы и держали путь. Но, доехав до Лексингтона, мы застали там цирк братьев Бинкли. По этой причине в город со всей округи собралась деревенщина и попирала самодельными сапожищами бельгийские торцы мостовой. Я никогда не пропускаю цирка без того, чтобы не закинуть удочку в чужие карманы и не разжиться кое-какой мелочишкой. Поэтому мы сняли две комнаты со столом неподалеку от цирка у одной благородной вдовы, которую звали миссис Пиви. Затем я повел Руфа в магазин готового платья и одел его с ног до головы джентльменом. Как я и предвидел, он стал весь-

ма авантажен, когда мы со старым Мисфицким облекли его в новый наряд. Да, это был великолепный наряд: сукно голубенькое, в зеленую клетку, жилет — цвета дубленой кожи, галстук — пунцовый, а сапоги — самые желтые во всем городе.

Это был первый костюм, надетый Руфом за всю его жизнь. До сих пор он носил просто нанковую рубашку и домотканые штаны своего родного края. Ну уж и гордился он этим новым костюмом — как дикий Игоротт новым кольцом в носу.

В тот же вечер я направился к цирку и открыл поблизости игру «в скорлупки». Руф должен был изображать постороннего и играть против меня. Я дал ему горсть фальшивой монеты для ставок и оставил себе такую же горсть в специальном кармане, чтобы выплачивать его выигрыш. Нет, не то чтобы я не доверял ему: просто я не могу направлять шарик на проигрыш, когда вижу, что ставят настоящие деньги. Рука не поднимается, пальцы бастуют.

Я поставил столик и стал показывать, как легко угадать, под какой скорлупкой горошина. Неграмотные олухи собрались полукругом и стали подталкивать друг дружку локтями и подзадоривать друг дружку к игре. Тут-то и должен был

выступить Руф — рискнуть какой-нибудь мелкой монетой и таким образом втянуть остальных. Но где же он? Его нет. Раз или два он мелькнул где-то вдали, я видел: стоит и пялит глаза на афиши, а рот у него набит леденцами. Но близко он так и не подошел.

Кое-кто из зрителей рискнул поставить монету, но играть в скорлупки без помощника — это все равно, что удить без наживки. Я закрыл игру, получив всего сорок два доллара прибыли, а рассчитывал я взять у этих мужланов, по крайней мере, двести. К одиннадцати часам я вернулся домой и пошел спать. Я говорил себе, что, должно быть, цирк оказался слишком сильной приманкой для Руфа, что музыка и прочие соблазны так поразили его, что он забыл обо всем остальном. И я решил наутро прочесть ему хорошую нотацию о принципах нашего дела.

Едва только Морфей приковал мои плечи к жесткому матрацу, как вдруг я слышу неприличные дикие крики, вроде тех, какие издает ребенок, объевшийся зелеными яблоками. Я вскакиваю, открываю дверь, зову благородную вдову и, когда она высовывает голову, говорю:

— Миссис Пиви, мадам, будьте любезны, заткните глотку вашему младенцу, чтобы поря-

дочные люди могли спокойно спать.

— Сэр, — отвечает она. — Это не мой младенец. Это визжит свинья, которую часа два назад принес к себе в комнату ваш друг мистер Татам. И если вы приходитесь ей дядей или двоюродным братом, я была бы чрезвычайно польщена, если бы вы, уважаемый сэр, сами заткнули ей глотку.

Я накинул кое-какую одежду, необходимую в порядочном обществе, и пошел к Руфу в его комнату. Он был на ногах, у него горела лампа, он наливал в жестяную сковородку молока для бурой, среднего возраста, визжащей хавроньи.

— Что же это, Руф? — говорю я. — Вы манкировали своими обязанностями и сорвали мне всю игру. И откуда у вас свинья? Почему свинья? Вы, кажется, опять взялись за старое?

— Не сердитесь, пожалуйста, Джефф, — говорит он. — Имейте снисхождение к моей слабости. Вы знаете, как я люблю свинокрадство. Это вошло мне в кровь. А сегодня, как нарочно, представился такой замечательный случай, что я никак не мог удержаться.

— Ну что ж! — говорю я. — Может быть, вы и вправду больны клептосвинией. И кто знает, может быть, когда мы выберемся из полосы, где разводят свиней, ваша душа обратится к каким-

нибудь более высоким и более прибыльным нарушениям закона. Я просто понять не могу, какая вам охота пятнать свою душу таким пакостным, слабоумным, зловредным, визгливым животным?

— Все дело в том, — говорит он, — что вы, Джефф, не чувствуете симпатии к свиньям. Вы не понимаете их, а я понимаю. По-моему, вот эта обладает необыкновенной талантливостью и очень большим интеллектом: только что она прошлась по комнате на задних ногах.

— Ладно, — говорю я. — Я иду спать. Если ваша милая свинья действительно такая премудрая, внушите ей, сделайте милость, чтобы она вела себя тише.

— Она была голодна, — говорит Руф. — Теперь она заснет, и больше вы ее не услышите.

Я всегда перед завтраком читаю газеты, если только нахожусь в таком месте, где поблизости есть типографская машина или хотя бы ручной печатный станок. На следующий день я встал рано и нашел у парадной двери «Лексингтонский листок», только что принесенный почтальоном. Первое, что я увидел, было объявление в два столбца:

ПЯТЬ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ НАГРАДЫ

Указанная сумма будет уплачена без всяких расспросов тому, кто доставит обратно — живой и невредимой — знаменитую ученую свинью по имени Беппо, пропавшую или украденную вчера вечером из цирка братьев Бинкли.

Дж. Б. Тэпли, управляющий цирком.

Я аккуратно сложил газету, сунул ее во внутренний карман и пошел к Руфу. Он был почти одет и кормил свинью остатками молока и яблочной кожурой.

— Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро вам всем! — сказал я задушевно и ласково. — Так мы уже встали? И свинка завтракает? Что вы думаете с ней делать, мой друг?

— Я упакую ее в корзинку, — говорит Руф, — и пошлю к маме в Маунт-Нэбо. Пусть развлекает ее, пока я не вернусь.

— Славная свинка! — говорю я и щекочу ей спину.

— А вчера вы ругали ее самыми скверными словами, — говорит Руф.

— Да, — говорю я, — но сегодня, при утреннем свете, она гораздо красивее. Я, видите ли, вырос на ферме и очень люблю свиней. Но я всегда

ложился спать с заходом солнца и не видал ни одной свиньи при свете лампы. Вот что я сделаю, Руф: я дам вам за эту свинью десять долларов.

— Я не хотел бы продавать эту свинку! — говорит он. — Другую я, пожалуй, и продал бы, но эту — нет.

— Почему же не эту? — спрашиваю я и начинаю пугаться, что он уже догадался, в чем дело.

— Потому, — говорит он, — что это было замечательнейшим подвигом всей моей жизни. Никто другой не мог бы совершить такой подвиг. Если когда-нибудь у меня будут дети, если у меня будет семейный очаг, я сяду у очага и стану рассказывать им, как их папаша похитил свинью из переполненного публикой цирка. А может быть, и внукам расскажу. То-то они будут гордиться. Дело было так: там стоят две палатки, соединенные между собою. Свинья лежала на помосте, привязанная маленькой цепочкой. В другой палатке я видел великана и даму, сплошь покрытую кудлатыми седыми волосьями. Я взял свинью и выбрался ползком из-под холста. Она была тише мышонка: хоть бы взвизгнула. Я сунул ее под пиджак и прошел мимо целой сотни людей, покуда не вышел на темную улицу. Вряд ли я продам эту свинью, Джефф. Я хочу, чтобы мама

сохранила ее, тогда у меня будет свидетель моего знаменитого дела.

— Свинья не проживет столько лет, — говорю я, — она околеет раньше, чем вы начнете свою старческую болтовню у камина. Вашим внукам придется поверить вам на слово. Я даю вам за нее сто долларов.

Руф с изумлением взглянул на меня.

— Свинья не может иметь для вас такую большую ценность, — сказал он. — Зачем она вам?

— Видите ли, — сказал я с тонкой улыбкой, — с первого взгляда трудно предположить во мне темперамент художника, а между тем у меня есть художественная жилка. Я собираю коллекцию. Коллекцию всевозможных свиней. Я исколесил весь мир в поисках выдающихся и редких свиней. В долине Уобаша у меня есть специальное свиное ранчо, где собраны представители самых ценных пород — от мериносов до польско-китайских. Эта свинья кажется мне очень породистой, Руф. Я думаю, это настоящий беркшир. Вот почему я приобретаю ее.

— Я, конечно, рад оказать вам услугу но у меня тоже есть художественная жилка, — отвечает Руф. — По-моему, если человек может похитить свинью лучше всякого другого человека, — он

художник. Свиньи — мое вдохновение. Особенно эта свинья. Давайте мне за нее хоть двести пятьдесят, я и то не продам.

— Нет, послушайте, — говорю я, вытирая пот со лба. — Тут дело не в деньгах, тут дело в искусстве; и даже не столько в искусстве, сколько в любви к человечеству. Как знаток и любитель свиней, я обязан приобрести эту беркширскую свинку. Это мой долг по отношению к ближним. Иначе меня замучит совесть. Сама-то свинка этих денег не стоит, но с точки зрения высшей справедливости по отношению к свиньям, как лучшим слугам и друзьям человечества, я предлагаю вам за нее пятьсот долларов.

— Джефф, — отвечает этот поросячий эстет, — для меня дело не в деньгах, а в чувстве.

— Семьсот, — говорю я.

— Давайте восемьсот, — говорит он, — и я вырву из сердца чувство.

Я достал из своего потайного пояса деньги и отсчитал сорок бумажек по двадцать долларов.

— Я возьму ее к себе в комнату и запру, — говорю я, — пусть посидит, пока мы будем завтракать.

Я взял ее за заднюю ногу. Она завизжала, как паровой орган в цирке.

— Дайте-ка мне, — сказал Руф, взял хавронью

под мышку, придержал рукой ее рыло и понес в мою комнату, как спящего младенца.

С той минуты, как я нарядил Руфа в такой шикарный костюм, его охватила страсть к разным туалетным безделицам. После завтрака он заявил, что пойдет к Мисфицкому купить себе лиловые носки. Чуть он ушел, я засуетился, как однорукий человек в крапивной лихорадке, когда он клеит обои. Я нанял старого негра с тележкой; мы сунули свинью в мешок, завязали его бечевкой и поехали в цирк.

Я разыскал Джорджа Б. Тэпли в небольшой палатке, у открытого отверстия вроде окна. Это был толстенький человечек с пронзительным взглядом, в красной фуфайке и черной ермолке. Фуфайка была заколота у него на груди брильянтовой булавкой в четыре карата.

— Вы Джордж Б. Тэпли? — спрашиваю я.

— Готов присягнуть, что я, — отвечает он.

— Ну, так я могу вам сказать, что я достал и привез.

— Выражайтесь точнее, — говорит он. — Что вы привезли? Морских свинок для азиатского удава или люцерну для священного буйвола?

— Да нет же, — говорю я. — Я привез вам Беппо, ученую свинку; она у меня в мешке, тут в тележке.

Сегодня утром я нашел ее в садике у моих парадных дверей. Она подрывала цветы. Если вам все равно, я хотел бы получить мои пять тысяч долларов не мелкими, а крупными билетами.

Джордж Б. Тэпли вылетает из палатки и просит меня следовать за ним. Мы идем в один из боковых шалашей. Там на сене лежит черная, как сажа, свинья с розовой ленточкой на шее и кушает морковь, которой кормит ее какой-то мужчина.

— Эй, Мак! — кричит Тэпли. — Сегодня утром ничего не случилось с нашей всемирно известной?

— С ней? Нет! — отвечает мужчина. — У нее отличный аппетит, как у хористки в час ночи.

— С чего же вы взяли такую нелепицу? — спрашивает Тэпли, обращаясь ко мне. — Скушали на ночь слишком много свиных котлет?

Я вынимаю газету и показываю ему объявление.

— Фальшивка! — говорит он. — Ничего об этом не знаю. Вы своими глазами видели замечательное всемирно известное чудо четвероногого царства, вы видели, с какой сверхъестественной мудростью оно вкушает свой утренний завтрак; вы своими глазами могли убедиться, что оно не

украдено и не заблудилось. До свидания. Будьте здоровы.

Я начал понимать, в чем дело, и, усевшись в тележку, велел дяде Нэду ехать к ближайшей аллее. Там я вынул мою свинью из мешка, тщательно установил ее, долго прицеливался и дал ей такого пинка, что она вылетела из другого конца аллеи — на двадцать футов впереди своего визга.

Потом я заплатил дяде Нэду его пятьдесят центов и пошел в редакцию газеты. Я хотел услышать своими ушами — коротко и ясно — обо всем происшествии. Я вызвал к окошечку агента по приему объявлений.

— Я держал пари, и мне нужны кое-какие подробности, — говорю я. — Не был тот человек, который сдал вам объявление о свинье, толстенький, с длинными черными усами, со скрюченной левой ногой?

— Нет, — отвечает агент. — Он очень высокий и тощий, волосы у него кукурузного цвета, а расфуфырен, как оранжерейный цветок.

К обеду я вернулся к миссис Пиви.

— Не оставить ли на огне немного супу для мистера Татама? — спрашивает она.

— Долго вам придется его ждать, — говорю я. — Сохраняя для него горячий суп, вы истощите

на топливо все угольные копи и все леса обоих полушарий.

— Итак, вы видите, — заключил свою повесть Джефф Питерс, — как трудно найти надежного и честного партнера.

— Но, — начал я, считая, что долгое знакомство дает мне право на такой вопрос, — правило-то ваше обоюдоострое. Предложи вы ему поделить пополам обещанную в газете награду вы не потеряли бы…

Джефф остановил меня взглядом, полным благородной укоризны.

— Совершенно разные вещи, и смешивать их нельзя, — сказал он. — То, что я пытался проделать, есть самая простая спекуляция, нравственная, разрешенная всеми законами. Дешево купить и дорого продать — чем, как не этим, держится Уолл-стрит? Там быки и медведи[57], а тут была свинья. Какая же разница? Свиная щетина — разве она не под стать рогам и звериной шкуре?

---

[57] Примечания: 57

«Быками» на американском биржевом жаргоне называют спекулянтов, играющих на повышение курса акций, «медведями» — играющих на понижение.

Примечания к сборнику

Трест, который лопнул (The Octopus Marooned), 1908. На русском языке в журнале «Современный Запад», 1923, № 4, пер. К. Чуковского. Этот и десять последующих рассказов были написаны О. Генри по контракту с нью-йоркским издательством Макклюр без права предварительного опубликования в периодике. Все они появились впервые в сборнике «Благородный жулик».

Джефф Питерс как персональный магнит (Jeff Peters as a Personal Magnet), 1908. На русском языке под названием «Джефф Питерс — как личный магнит» в журнале «Современный Запад», 1923, № 4, пер. К Чуковского.

Развлечения современной деревни (Modern Rural Sports), 1908. На русском языке в книге: О. Генри. Благородный жулик. М.—Л., 1924, пер. К. Чуковского.

Кафедра филантроматематики (The Chair of Philanthro-mathematics), 1908. На русском языке в журнале «Современный Запад», 1923, № 4, пер. К. Чуковского.

Рука, которая терзает весь мир (The Hand that Riles the World), 1908. На русском языке под на-

званием «Власть женщины» в журнале «Красная нива», 1924, № 13, пер. К. Чуковского.

Супружество как точная наука (The Exact Science of Matrimony), 1908. На русском языке в журнале «Современный Запад», 1923, № 4, пер. К. Чуковского.

Летний маскарад (A Midsummer Masquerade), 1908. На русском языке под названием «Таинственный маскарад» в книге: О. Генри. Таинственный маскарад. Л.—М., 1924, пер. З. Львовского.

Стриженый волк (Shearing the Wolf), 1908. На русском языке под названием «Обстригли волка» в книге: О. Генри. Милый жулик. Л., 1925, пер. С. Адрианова. (Собр. соч.)

Простаки с Бродвея (Innocents of Broadway), 1908. На русском языке под названием «Бродвейские младенцы» в книге: О. Генри. Милый жулик. Л., 1925, пер. С. Адрианова. (Собр. соч.)

Совесть в искусстве (Conscience in Art), 1908. На русском языке в журнале «Красная нива», 1924, № 9, пер. К. Чуковского.

Кто выше (The Man Higher Up), 1908.На русском языке в журнале «Красная нива», 1924, № 17, пер. К. Чуковского.

Стихший ветер (A Tempered Wind), 1904. На русском языке под названием «Стриженую овцу

ветер милует» в книге: О. Генри. Милый жулик. Л., 1925, пер. С. Адрианова. (Собр. соч.) Автор имеет в виду поговорку «Стриженую овечку ветер щадит» и иронически прилагает ее к «милосердию» своих «благородных жуликов».

Заложники Момуса (Hostages to Momus), 1905. На русском языке под названием «Заложники на смех» в книге: О. Генри. Милый жулик. Л., 1925, пер. С. Адрианова. (Собр. соч.) Называя незадачливых похитителей «заложниками Момуса» (Момус — бог насмешки в древнегреческой мифологии), автор имеет в виду причудливый ход событий, в результате которого они сами же оказываются одураченными. Тот же мотив повторен в более известном рассказе О. Генри «Вождь краснокожих» (сб. «Коловращение»).

Гротескный рассказ одного из героев «Заложников Момуса» о похищении и выкупе «Бердика Гарриса» — сатирический отклик О. Генри на злободневное «дело Пердикариса» (1904–1905), связанное с агрессивной политикой США в Северной Африке. Вождь кочевого марокканского племени Райсули похитил некоего Пердикариса, американского грека, и потребовал за него выкуп. Хотя США не имели юридических оснований для вмешательства (Пердикарис не был

гражданином США), президент Теодор Рузвельт и государственный секретарь Хэй послали военные корабли к марокканскому побережью и заставили султана Марокко выкупить Пердикариса и уплатить денежную компенсацию США. В ходе грубого дипломатического нажима Вашингтон также направил в Танжер телеграмму с требованием «живого Пердикариса или мертвого Райсули», имевшую сенсационный успех в американских империалистических кругах. В своем пародийном описании всех этих событий О. Генри высмеивает действия правительства США.

Поросячья этика (The Ethics of Pig), 1906. На русском языке под названием «Поросенок» в журнале «Красная нива», 1924, № 6, пер. К. Чуковского.

О. Генри
ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА
(Сборник)

Линии судьбы

Перевод Н. Дехтеревой.

Мы с Тобином как-то надумали прокатиться на Кони-Айленд. Промеж нас завелось четыре доллара, ну а Тобину требовалось развлечься. Кэти Махорнер, его милая из Слайго[58], как сквозь землю провалилась с того самого дня три месяца тому назад, когда укатила в Америку с двумя сотнями долларов собственных сбережений и еще с сотней, вырученной за продажу наследственных владений Тобина — отличного домишки в Бох Шоннаух и поросенка. И после того письма, в котором она написала Тобину, что едет к нему, от Кэти Махорнер не было ни слуху ни духу. Тобин и объявления в газеты давал, да без толку, не сыскали девчонку.

Ну и вот мы, я да Тобин, двинули на Кони — может, подумали мы, горки, колесо да еще запах жареных зерен кукурузы малость встряхнут его. Но Тобин парень таковский, расшевелить его нелегко — тоска въелась в его шкуру крепко. Он

---

[58] Примечания: 58
Графство на северо-востоке Ирландии.

заскрежетал зубами, как только услышал писк воздушных шариков. Картину в иллюзионе ругательски изругал. И хоть пропустить стаканчик он ни разу не отказался, только предложи, — на Панча и Джуди он и не взглянул. А когда пошли эти, что норовят заснять вашу физию на брошке или медальоне, он полез было съездить им как следует.

Ну, я, значит, отвожу его подальше, веду по дощатой дорожке туда, где аттракционы малость потише. Около палатки чуть побольше пятицентовика Тобин делает стойку, и глаза у него смотрят вроде бы почти по-человечески.

— Здесь, — говорит он, — здесь я буду развлекаться. Пусть гадалка-чародейка из страны Нила исследует мою ладонь, пусть скажет мне, сбудется ли то, чему должно сбыться.

Тобин — парень из тех, кто верит в приметы и неземные явления в земной жизни. Он был напичкан всякими предосудительными убеждениями и суевериями — принимал на веру и черных кошек, и счастливые числа, и газетные предсказания погоды.

Ну, входим мы в этот волшебный курятник — все там устроено как полагается, по-таинственному — и красные занавески, и картинки, — руки,

на которых линии пересекаются, словно рельсы на узловой станции. Вывеска над входом показывает, что здесь орудует мадам Зозо, египетская хиромантка. Внутри палатки сидела толстуха в красном джемпере, расшитом какими-то закорючками и зверюшками. Тобин выдает ей десять центов и сует свою руку, которая приходится прямой родней копыту ломовой коняги.

Чародейка берет руку Тобина и смотрит, в чем дело: подкова, что ли, отлетела или камень в стрелке завелся.

— Слушай, — говорит эта мадам Зозо, — твоя нога…

— Это не нога, — прерывает ее Тобин. — Может, она и не бог весть какой красы, но это не нога, это моя рука.

— Твоя нога, — продолжает мадам, — не всегда ступала по гладким дорожкам — так показывают линии судьбы на твоей ладони. И впереди тебя ждет еще много неудач. Холм Венеры — или это просто старая мозоль? — указывает, что твое сердце знало любовь. У тебя были большие неприятности из-за твоей милой.

— Это она намекает насчет Кэти Махорнер, — громко шепчет Тобин в мою сторону.

— Я вижу дальше, — говорит гадалка, — что у

тебя много забот и неприятностей от той, которую ты не можешь забыть. Линии судьбы говорят, что в ее имени есть буква «К» и буква «М».

— Ого! — говорит мне Тобин. — Слышал?

— Берегись, — продолжает гадалка, — брюнета и блондинки, они втянут тебя в неприятности. Тебя скоро ожидает путешествие по воде и финансовые потери. И еще вижу линию, которая сулит тебе удачу. В твою жизнь войдет один человек, он принесет тебе счастье. Ты узнаешь его по носу — у него нос крючком.

— А его имя на ладони не написано? — спрашивает Тобин. — Неплохо бы знать, как величать этого крючконосого, когда он явится выдавать мне мое счастье.

— Его имя, — говорит гадалка этак задумчиво, — не написано на линиях судьбы, но видно, что оно длинное и в нем есть буква «О». Все, больше сказать нечего. До свиданья. Не загораживайте вход.

— Ну и ну; — говорит Тобин, когда мы шагаем к причалу. — Просто чудеса, как она все это точно знает.

Когда мы протискивались к выходу, какой-то негритос задел Тобина по уху своей сигарой. Вышла неприятность. Тобин начал молотить

парня по шее, женщины подняли визг, — ну, я не растерялся, успел оттащить своего дружка подальше, пока полиция не подоспела. Тобин всегда в препаршивом настроении, когда развлекается.

А когда уже обратно ехали, буфетчик на пароходике стал зазывать: «Кому услужить? Кто пива желает?» — и Тобин признался, что да, он желает — желает сдуть пену с кружки их поганого пойла. И полез в карман, но обнаружил, что в толкотне кто-то выгреб у него все оставшиеся монеты. Буфетчик, за недостатком вещественных доказательств, отцепился от Тобина, и мы остались ни с чем, — сидели и слушали, как итальяшки на палубе пиликают на скрипке. Получилось, что Тобин возвращался с Кони еще мрачнее, и горести засели в нем еще крепче, чем до прогулки.

На скамейке у поручней сидела молодая женщина, разодетая так, чтобы кататься в красных автомобилях. И волосы у нее были цвета необкуренной пенковой трубки. Тобин, когда проходил мимо, ненароком зацепил ее малость по ноге, а после выпивки он с дамами всегда вежливый. Он и решил этак с форсом снять шляпу, когда извинялся, да сбил ее с головы, и ветер унес ее за борт.

Тобин вернулся, опять сел на свое место, и я

начал присматривать за ним — у парня что-то зачастили неприятности. Когда неудачи вот так наваливались на Тобина, без передыху, он был способен стукнуть первого попавшегося франта или взять на себя командование судном.

И вдруг Тобин хватает меня за руку, сам не свой.

— Слушай, Джон, — говорит он. — Ты знаешь, что мы с тобой делаем? Мы путешествуем по воде!

— Тихо, тихо, — говорю я ему. — Возьми себя в руки. Через десять минут причалим.

— Ты взгляни на ту дамочку, на блондинку, — говорит он. — На ту, что на скамейке, — видишь? А про негритоса ты забыл? А финансовые потери — монеты, которые у меня сперли, один доллар и шестьдесят пять центов? А?

Я подумал, что он просто-напросто подсчитывает свалившиеся на него беды — так иной раз делают, чтобы оправдать свое буйное поведение, и я попытался втолковать ему, что все это, мол, пустяки.

— Послушай, — говорит Тобин, — ты ж ни черта не смыслишь, что такое чудеса и пророчества, на которые способны избранные. Ну вспомни, что сегодня гадалка высмотрела у меня на руке?

Да она всю правду сказала, все получается по ее, прямо у нас на глазах. «Берегись, — сказала она, — брюнета и блондинки, они втянут тебя в неприятности». Ты что, забыл про негритоса — хоть я, правда, тоже врезал ему как надо, — а можешь ты найти мне женщину поблондинистей, чем та, из-за которой моя шляпа свалилась в воду? И где один доллар и шестьдесят пять центов, которые были у меня в жилетном кармане, когда мы выбирались из тира?

Так, как Тобин мне все это выложил, вроде бы точь-в-точь сходилось с предсказаниями чародейки, хотя сдается мне, такие мелкие досадные случаи с кем хочешь могут приключиться на Кони, тут и предсказания не требуются.

Тобин встал, обошел всю палубу — идет и во всех пассажиров подряд так и впивается своими красными гляделками. Я спрашиваю, что все это значит. Никогда не знаешь, что у Тобина на уме, пока он не примется выкидывать свои штуки.

— Должен был бы сам смекнуть, — говорит он мне. — Я ищу свое счастье, которое обещали мне линии судьбы на моей ладони. Ищу типа с крючковатым носом, того, который вручит мне мою удачу. Без него нам крышка. Скажи, Джон, видел ты когда-нибудь такое сборище прямоно-

сых горлодеров?

В половине десятого пароход причалил, мы высадились и потопали домой через Двадцать вторую улицу, минуя Бродвей, — Тобин ведь шел без шляпы.

На углу, видим, стоит под газовым фонарем какой-то тип, — стоит и пялит глаза на луну поверх надземки. Долговязый такой, одет прилично, в зубах сигара, и я вдруг вижу, нос у него от переносицы до кончика успевает два раза изогнуться, как змея. Тобин тоже это приметил и сразу задышал часто, словно лошадь, когда с нее седло снимают. Он двинул прямиком к этому типу, и я пошел вместе с ним.

— Добрый вечер вам, — говорит Тобин крючконосому.

Тот вынимает сигару изо рта и так же вежливо отвечает Тобину.

— Скажите-ка, как ваше имя? — продолжает Тобин. — Очень оно длинное или нет? Может, долг велит нам познакомиться с вами.

— Меня зовут, — отвечает тип вежливо, — Фридёнхаусман. Максимус Г. Фриденхаусман.

— Длина подходящая, — говорит Тобин. — А как оно у вас пишется, есть в нем где-нибудь посередке буква «О»?

— Нет, — отвечает ему тип.

— А все ж таки, нельзя ли его писать с буквой «О»? — опять спрашивает Тобин с тревогой в голосе.

— Если вам претит иноязычная орфография, — говорит носатый, — можете, пожалуй, вместо «а» сунуть «о» в третий слог моей фамилии.

— Тогда все в порядке, — говорит Тобин. — Перед вами Джон Мэлоун и Дэниел Тобин.

— Весьма польщен, — говорит долговязый и отвешивает поклон. — А теперь, поскольку я не в состоянии понять, с какой стати вы на углу улицы подняли вопрос об орфографии, не объясните ли мне, почему вы на свободе?

— По двум приметам, — это Тобин старается ему втолковать, — которые обе у вас имеются, вы, как напророчила гадалка по подошве моей руки, должны выдать мне мое счастье и прикончить все те линии неприятностей, начиная с негра и блондинки, которая сидела на пароходе скрестив ноги, и потом еще финансовые потери — один доллар и шестьдесят пять центов. И пока все сошлось, точно по расписанию.

Долговязый перестал курить и глянул на меня.

— Можете вы внести какие-либо поправки к этому заявлению? — спрашивает он. — Или вы из

тех же? Судя по вашему виду, я подумал, что вы при нем сторожем.

— Да нет, все так и есть, — говорю я. — Все дело в том, что как одна подкова схожа с другой, так вы точная копия того поставщика удачи, про которого моему другу нагадали по руке. Если же вы не тот, тогда, может, линии на руке у Дэнни как-нибудь нескладно пересеклись, не знаю.

— Значит, вас двое, — говорит крючконосый, поглядывая, нет ли поблизости полисмена. — Было очень-очень приятно с вами познакомиться. Всего хорошего.

И тут он опять сует сигару в рот и движется быстрым аллюром через улицу. Но мы с Тобином не отстаем, — Тобин жмется к нему с одного бока, а я — с другого.

— Как! — говорит долговязый, остановясь на противоположном тротуаре и сдвинув шляпу на затылок. — Вы идете за мной следом? Я же сказал вам, — говорит он очень громко, — я в восторге от знакомства с вами, но теперь не прочь распрощаться. Я спешу к себе домой.

— Спешите, — говорит Тобин, прижимаясь к его рукаву, — спешите к себе домой. А я сяду у вашего порога, подожду, пока вы утром выйдете из дому. Потому как от вас это зависит, вам полагается

снять все проклятия — и негритоса, и блондинку, и финансовые потери — один доллар шестьдесят пять центов.

— Странный бред, — обращается ко мне крючконосый, как к более разумному психу. — Не отвести ли вам его куда полагается?

— Послушайте, — говорю я ему. — Дэниел Тобин в полном здравом рассудке. Может, малость растревожился — выпил-то он достаточно, чтоб растревожиться, но недостаточно, чтоб успокоиться. Но ничего худого он не делает, всего-навсего действует согласно своим суевериям и предсказаниям, про которые я вам сейчас разъясню.

И тут я излагаю ему факты насчет гадалки и что перст подозрения указывает на него, как на посланца судьбы, чтобы вручить Тобину удачу.

— Теперь понятно вам, — заключаю я, — какая моя доля во всей этой истории? Я друг моего друга Тобина, как я это разумею. Оно нетрудно быть другом счастливчика, оно выгодно. И другом бедняка быть нетрудно — вас тогда до небес превознесут, еще пропечатают портрет, как вы стоите подле его дома — одной рукой держите за руку сиротку, а в другой у вас совок с углем. Но многое приходится вытерпеть тому, кто дружит с

круглым дураком. И вот это-то мне и досталось, — говорю я, — потому как, по моим понятиям, иной судьбы на ладошке не прочтешь, кроме той, какую отпечатала тебе рукоятка кирки. И хоть, может, нос у вас такой крючковатый, какого не сыщешь во всем Нью-Йорке, я что-то не думаю, чтоб всем гадалкам и предсказателям вместе удалось выдоить из вас хоть каплю удачи. Но линии на руке у Дэнни и вправду на вас указывают, и я буду помогать ему вытягивать из вас удачу, пока он не уверится, что ничего из вас не выжмешь.

Тут долговязый начал вдруг смеяться. Привалился к углу дома и знай хохочет. Потом хлопает нас по спине, меня и Тобина, и берет нас обоих под руки.

— Мой, мой промах, — говорит он. — Но смел ли я рассчитывать, что на меня вдруг свалится такое замечательное и чудесное? Я чуть не прозевал, чуть не дал маху. Вот тут рядом есть кафе, — говорит он, — уютно и как раз подходит для того, чтобы поразвлечься чудачествами. Пойдемте туда, разопьем по стаканчику, пока будем обсуждать отсутствие в наличии безусловного.

Так за разговорами он привел нас, меня и Тобина, в заднюю комнату салуна, заказал выпивку и выложил деньги на стол. Он смотрит на меня и

на Тобина как на своих родных братьев и угощает нас сигарами.

— Надо вам сказать, — говорит этот посланец судьбы, — что моя профессия называется литературой. Я брожу по ночам, выслеживаю чудачества в людях и истину в небесах. Когда вы подошли ко мне, я наблюдал связь надземной дороги с главным ночным светилом. Быстрое передвижение надземки — это поэзия и искусство. А луна — скучное, безжизненное тело, крутится бессмысленно. Но это мое личное мнение, потому что в литературе все не так, все шиворот-навыворот. Я надеюсь написать книгу, в которой хочу раскрыть то странное, что я подметил в жизни.

— Вы вставите меня в книгу, — говорит Тобин с отвращением. — Вставите вы меня в свою книгу?

— Нет, — говорит литературный тип, — обложка не выдержит. Пока еще нет, рано. Пока могу только сам насладиться, ибо еще не подоспело время отменить ограничения печати. Вы будете выглядеть неправдоподобно, фантастично. Я один, наедине с самим собой, должен выпить эту чашу наслаждения. Спасибо вам, ребята, от души вам благодарен.

— От разговора вашего, — говорит Тобин,

шумно дыша сквозь усы, и стукает кулаком по столу, — от разговора вашего, того и гляди, терпение мое лопнет. Мне была обещана удача через ваш крючковатый нос, но от него пользы, я вижу, как от козла молока. Вы с вашей трепотней о книгах словно ветер, который в щель дует. Я бы подумал, что ладонь моей руки наврала, если бы все остальное не вышло по гадалке — и негритос, и блондинка, и…

— Ну-ну — говорит этот крючконосый верзила. — Неужели физиогномика способна ввести вас в заблуждение? Мой нос сделает все, что только в его возможностях. Давайте еще раз наполним стаканы, чудачества хорошо держать во влажном состоянии, в сухой моральной атмосфере они могут подвергнуться порче.

На мой взгляд, тип этот поступает по-хорошему — за все платит и весело это делает, с охотой — ведь наши-то капиталы, мои и Тобина, улетучились по пророчеству. Но Тобин, разобиженный, пьет молчком, и глаза у него наливаются кровью.

Вскорости мы вышли, было уже одиннадцать часов, постояли малость на тротуаре. А потом крючконосый говорит, что ему пора домой. И приглашает меня и Тобина к себе. Через пару

кварталов мы доходим до боковой улицы, на которой стоят кирпичные дома — у каждого высокое крыльцо и железная решетка. Долговязый подходит к одному такому дому, глядит на окна верхнего этажа, видит, что они темные.

— Вот мое скромное обиталище, — говорит он. — И по некоторым приметам я заключаю, что жена моя уже легла спать. Так что я осмелюсь оказать вам гостеприимство. Мне хочется, чтобы вы зашли вниз на кухню и немного подкрепились. Найдется и отличная холодная курица, и сыр, и пара бутылок пива. Я в долгу перед вами за доставленное удовольствие.

И аппетиты у нас с Тобином, и настроение подходили к такому плану, хотя для Дэнни это был удар: тяжко было ему думать, что несколько стаканов выпивки и холодный ужин означают удачу и счастье, обещанные ладонью его руки.

— Спускайтесь к черному ходу, — говорит крючконосый, — а я войду здесь и впущу вас. Я попрошу нашу новую прислугу сварить вам кофе — для девушки, которая всего три месяца как прибыла в Нью-Йорк, Кэти Махорнер отлично готовит кофе. Заходите, — говорит он, — я сейчас пришлю ее к вам.

Дары волхвов

Перевод Е. Калашниковой.

Один доллар восемьдесят семь центов. Это было все. Из них шестьдесят центов монетками по одному центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бакалейщиком, зеленщиком, мясником так, что даже уши горели от безмолвного неодобрения, которое вызывала подобная бережливость. Делла пересчитала три раза. Один доллар восемьдесят семь центов. А завтра рождество.

Единственное, что тут можно было сделать, это хлопнуться на старенькую кушетку и зареветь. Именно так Делла и поступила. Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают.

Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, оглядим самый дом. Меблированная квартирка за восемь долларов в неделю. В обстановке не то чтобы вопиющая нищета, но скорее красноречиво молчащая бедность. Внизу, на парадной двери, ящик для писем, в щель которого не протисну-

лось бы ни одно письмо, и кнопка электрического звонка, из которой ни одному смертному не удалось бы выдавить ни звука. К сему присовокуплялась карточка с надписью: «М-р Джеймс Диллингхем Юнг» «Диллингхем» развернулось во всю длину в недавний период благосостояния, когда обладатель указанного имени получал тридцать долларов в неделю. Теперь, после того как этот доход понизился до двадцати долларов, буквы в слове «Диллингхем» потускнели, словно не на шутку задумавшись: а не сократиться ли им в скромное и непритязательное «Д»? Но когда мистер Джеймс Диллингхем Юнг приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно встречал возглас: «Джим!» и нежные объятия миссис Джеймс Диллингхем Юнг, уже представленной вам под именем Деллы. А это, право же, очень мило.

Делла кончила плакать и прошлась пуховкой по щекам. Она теперь стояла у окна и уныло глядела на серую кошку, прогуливавшуюся по серому забору вдоль серого двора. Завтра рождество, а у нее только один доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Долгие месяцы она выгадывала буквально каждый цент, и вот все, чего она достигла. На двадцать долларов в

неделю далеко не уедешь. Расходы оказались больше, чем она рассчитывала. С расходами всегда так бывает. Только доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Ее Джиму! Сколько радостных часов она провела, придумывая, что бы такое ему подарить к рождеству. Что-нибудь совсем особенное, редкостное, драгоценное, что-нибудь, хоть чуть-чуть достойное высокой чести принадлежать Джиму.

В простенке между окнами стояло трюмо. Вам никогда не приходилось смотреться в трюмо восьмидолларовой меблированной квартиры? Очень худой и очень подвижной человек может, наблюдая последовательную смену отражений в его узких створках, составить себе довольно точное представление о собственной внешности. Делле, которая была хрупкого сложения, удалось овладеть этим искусством.

Она вдруг отскочила от окна и бросилась к зеркалу. Глаза ее сверкали, но с лица за двадцать секунд сбежали краски. Быстрым движением она вытащила шпильки и распустила волосы.

Надо вам сказать, что у четы Джеймс. Диллингхем Юнг было два сокровища, составлявших предмет их гордости. Одно — золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду, другое

— волосы Деллы. Если бы царица Савская проживала в доме напротив, Делла, помыв голову, непременно просушивала бы у окна распущенные волосы — специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряди и украшения ее величества. Если бы царь Соломон служил в том же доме швейцаром и хранил в подвале все свои богатства, Джим, проходя мимо; всякий раз доставал бы часы из кармана — специально для того, чтобы увидеть, как он рвет на себе бороду от зависти.

И вот прекрасные волосы Деллы рассыпались, блестя и переливаясь, точно струи каштанового водопада. Они спускались ниже колен и плащом окутывали почти всю ее фигуру. Но она тотчас же, нервничая и торопясь, принялась снова подбирать их. Потом, словно заколебавшись, с минуту стояла неподвижно, и две или три слезинки упали на ветхий красный ковер.

Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую шляпку на голову — и, взметнув юбками, сверкнув невысохшими блестками в глазах, она уже мчалась вниз, на улицу.

Вывеска, у которой она остановилась, гласила: «M-me Sophronie. Всевозможные изделия из волос», Делла взбежала на второй этаж и остано-

вилась, с трудом переводя дух.

— Не купите ли вы мои волосы? — спросила она у мадам.

— Я покупаю волосы, — ответила мадам. — Снимите шляпу, надо посмотреть товар.

Снова заструился каштановый водопад.

— Двадцать долларов, — сказала мадам, привычно взвешивая на руке густую массу.

— Давайте скорее, — сказала Делла.

Следующие два часа пролетели на розовых крыльях — прошу прощенья за избитую метафору. Делла рыскала по магазинам в поисках подарка для Джима.

Наконец, она нашла. Без сомнения, что было создано для Джима, и только для него. Ничего подобного не нашлось в других магазинах, а уж она все в них перевернула вверх дном, Это была платиновая цепочка для карманных часов, простого и строгого рисунка, пленявшая истинными своими качествами, а не показным блеском, — такими и должны быть все хорошие вещи. Ее, пожалуй, даже можно было признать достойной часов. Как только Делла увидела ее, она поняла, что цепочка должна принадлежать Джиму, Она была такая же, как сам Джим. Скромность и достоинство — эти качества отличали обоих.

Двадцать один доллар пришлось уплатить в кассу, и Делла поспешила домой с восемьюдесятью семью центами в кармане. При такой цепочке Джиму в любом обществе не зазорно будет поинтересоваться, который час. Как ни великолепны были его часы, а смотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на дрянном кожаном ремешке.

Дома оживление Деллы поулеглось и уступило место предусмотрительности и расчету. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять разрушения, причиненные великодушием в сочетании с любовью. А это всегда тягчайший труд, друзья мои, исполинский труд.

Не прошло и сорока минут, как ее голова покрылась крутыми мелкими локончиками, которые сделали ее удивительно похожей на мальчишку, удравшего с уроков. Она посмотрела на себя в зеркало долгим, внимательным и критическим взглядом.

«Ну, — сказала она себе, — если Джим не убьет меня сразу, как только взглянет, он решит, что я похожа на хористку с Кони-Айленда. Но что же мне было делать, ах, что же мне было делать, раз у меня был только доллар и восемьдесят семь центов!»

В семь часов кофе был сварен, раскаленная сковорода стояла на газовой плите, дожидаясь бараньих котлеток.

Джим никогда не запаздывал. Делла зажала платиновую цепочку в руке и уселась на краешек стола поближе к входной двери. Вскоре она услышала его шаги внизу на лестнице и на мгновение побледнела. У нее была привычка обращаться к богу с коротенькими молитвами по поводу всяких житейских мелочей, и она торопливо зашептала:

— Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравилась.

Дверь отворилась, Джим вошел и закрыл ее за собой. У него было худое, озабоченное лицо. Нелегкое дело в двадцать два года быть обремененным семьей! Ему уже давно нужно было новое пальто, и руки мерзли без перчаток.

Джим неподвижно замер у дверей, точно сеттера учуявший перепела. Его глаза остановились на Делле с выражением, которого она не могла понять, и ей стало Страшно. Это не был ни гнев, ни удивление, ни упрек, ни ужас — ни одно из тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он просто смотрел на нее, не отрывая взгляда, в лицо его не меняло своего странного выражения.

Делла соскочила со стола и бросилась к нему.

— Джим, милый, — закричала она, — не смотри на меня так. Я остригла волосы и продала их, потому что я не пережила бы, если б мне нечего было подарить тебе к рождеству. Они опять отрастут. Ты ведь не сердишься, правда? Я не могла иначе. У меня очень быстро растут волосы. Ну, поздравь меня с рождеством, Джим, и давай радоваться празднику. Если б ты знал, какой я тебе подарок приготовила, какой замечательный, чудесный подарок!

— Ты остригла волосы? — спросил Джим с напряжением, как будто, несмотря на усиленную работу мозга, он все еще не мог осознать этот факт.

— Да, остригла и продала, — сказала Делла. — Но ведь ты меня все равно будешь любить? Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами.

Джим недоуменно оглядел комнату.

— Так, значит, твоих кос уже нет? — спросил он с бессмысленной настойчивостью.

— Не ищи, ты их не найдешь, — сказала Делла. — Я же тебе говорю: я их продала — остригла и продала. Сегодня сочельник, Джим. Будь со мной поласковее, потому что я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей голове и можно

пересчитать, — продолжала она, и ее нежный голос вдруг зазвучал серьезно, — но никто, никто не мог бы измерить мою любовь к тебе! Жарить котлеты, Джим?

И Джим вышел из оцепенения. Он заключил свою Деллу в объятия. Будем скромны и на несколько секунд займемся рассмотрением какого-нибудь постороннего предмета. Что больше — восемь долларов в неделю или миллион в год? Математик или мудрец дадут вам неправильный ответ. Волхвы принесли драгоценные дары, но среди них не было одного. Впрочем, эти туманные намеки будут разъяснены далее.

Джим достал из кармана пальто сверток и бросил его на стол.

— Не пойми меня ложно, Делл, — сказал он. — Никакая прическа и стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни этот сверток, и тогда ты поймешь, почему я в первую минуту немножко оторопел.

Белые проворные пальчики рванули бечевку и бумагу. Последовал крик восторга, тотчас же — увы! — чисто по женски сменившийся потоком слез и стонов, так что потребовалось немедленно применить все успокоительные средства, имевшиеся в распоряжении хозяина дома.

Ибо на столе лежали гребни, тот самый набор гребней — один задний и два боковых, — которым Делла давно уже благоговейно любовалась в одной витрине Бродвея. Чудесные гребни, настоящие черепаховые, с вделанными в края блестящими камешками, и как раз под цвет ее каштановых волос. Они стоили дорого… Делла знала это, — и сердце ее долго изнывало и томилось от несбыточного желания обладать ими. И вот теперь они принадлежали ей, но нет уже прекрасных кос, которые украсил бы их вожделенный блеск.

Все же она прижала гребни к груди и, когда, наконец, нашла в себе силы поднять голову и улыбнуться сквозь слезы, сказала:

— У меня очень быстро растут волосы, Джим!

Тут она вдруг подскочила, как ошпаренный котенок, и воскликнула:

— Ах, боже мой!

Ведь Джим еще не видел ее замечательного подарка. Она поспешно протянула ему цепочку на раскрытой ладони. Матовый драгоценный металл, казалось, заиграл в лучах ее бурной и искренней радости.

— Разве не прелесть, Джим? Я весь город обегала, покуда нашла это. Теперь можешь хоть сто

раз в день смотреть, который час. Дай-ка мне часы. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть все вместе.

Но Джим, вместо того чтобы послушаться, лег на кушетку, подложил обе руки под голову и улыбнулся.

— Делл, — сказал он, — придется нам пока спрятать наши подарки, пусть полежат немножко. Они для нас сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты.

Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры, может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они и

есть волхвы.

Космополит в кафе

Перевод Л. Каневского.

К полуночи кафе было битком набито посетителями. По счастливой случайности мой маленький столик не привлекал внимания входивших, и два свободных стула с продажным гостеприимством протягивали свои руки-подлокотники навстречу вливавшемуся в кафе потоку, где могли найтись их будущие хозяева.

Но вот на один стул сел какой-то космополит, и я ужасно сему обрадовался, потому что никогда не разделял теории о том, что со времен Адама на земле не было настоящего гражданина мира. Мы только слышим о них, видим иностранные наклейки на их чемоданах, но все равно они никакие не космополиты, а простые путешественники.

Прошу вас обратить внимание на обстановку — столики с мраморными крышками, ряд обтянутых кожей сидений вдоль стены, дамы в красивых полусветских туалетах, почти зримо ощущаемый хор изысканных фраз, о тонком вкусе, об экономике, о богатстве или искусстве,

усердные, любящие щедрые чаевые гарсоны, удовлетворяющая любой вкус музыка из наскоков на сочинения различных музыкантов, разговоры, прерываемые смехом, и в придачу «вюрбургер» в высоком коническом стакане, который так и льнет к вашим губам, а выдержанное «черри» течет по наклону к похожему на клюв носу болтливого грабителя. Один скульптор из Мауч Чанка сказал мне, что это — типично парижская атмосфера.

Моего космополита звали Э. Рашмор Коглан, и о нем услышат уже со следующей недели на Кони-Айленде. Там он собирается открыть новый «аттракцион», который, как он пообещал мне, всем доставит развлечение, достойное короля. Теперь его разговор касался земных долгот и широт. Он воображал, что держит в руках весь этот громадный земной шар, и обращался с ним, можно сказать, весьма фамильярно, даже презрительно, хотя он был нисколько не больше косточки, выуженной им из «черри Мараскина», или грейпфрута на табльдоте для пансионеров. Он без всякого уважения отзывался об экваторе, перелетал с одного континента на другой, зло высмеивал некоторые места и промокал океан своей салфеткой. Небрежно помахивая рукой, он

рассказывал о каком-то базаре в Хайдарабаде.

Ах, как здорово! Вот вы вместе с ним скользите на лыжах в Лапландии. Вжик! Вот вы взмываете на высоких волнах с канаками в Килайкаики. Гопля! Вот он тащит вас за собой на дубовом шесте по болоту в Арканзасе, позволяет вам немного обсохнуть на солончаковой равнине своего ранчо в Айдахо и швыряет вас в изысканное общество венских эрцгерцогов.

Он расскажет вам о том, какой сильный насморк он подхватил на ветру холодного озера в Чикаго, и как его вылечила в Буэнос-Айресе старуха Эскамила горячей припаркой из водоросли чучула. Если захотите ему написать, то пишите на конверте такой адрес: «Э. Рашмор Коглану, эсквайру, Земля, Солнечная система, Вселенная», отправляйте смело его по почте и можете быть спокойным, — оно непременно дойдет до адресата.

Я был уверен, что, наконец, мне удалось найти настоящего космополита со времен Адама, и слушал его обнимающий весь мир спич, опасаясь услышать в нем банальную нотку человека, просто путешествующего по свету. Ничего подобного! Несгибаемую твердость его мнений не могло поколебать даже его желание чему-то по-

льстить или потрафить — нет, он был абсолютно беспристрастным ко всем городам, странам и континентам, таким же беспристрастным, как ветер или земное тяготение.

И когда Э. Рашмор Коглан продолжал увлеченно болтать об этой маленькой планете, я с восхищением думал — о великом почти — космополите, который писал для всего мира и который посвятил себя Бомбею. В своей поэме он утверждает, что между городами на земле царят гордыня и соперничество и что «те люди, что вкусили в них молоко матери, путешествуют по всему миру, но все равно цепляются за эти города, словно карапуз за подол материнского платья». И когда они «бродят по незнакомым улицам», то вспоминают свой родной город, «хранят ему верность, свою глупую любовь» и лишь «произнесенное его название становится для них еще одним долговым обязательством, присовокупляемым к другим». И восторг мой достиг предела, когда я заметил, что мистер Киплинг отдыхает. Вот передо мной человек, созданный не из праха, который не хвастает своим местом рождения или своей страной словно зашоренный, человек, которому если и придет охота похвастать, будет это делать в отношении всего земного шара, чтобы

позлить марсиан или обитателей Луны.

Выражения такого рода вылетали изо рта Э. Рашмор Коглана и долетали до самого дальнего угла. Когда Коглан описывал мне топографию местности вдоль Великой Сибирской магистрали, оркестр заиграл попурри. Завершающей частью был диксиленд «Южные штаты»; когда веселая, будоражащая мелодия разносилась по кафе, громкие аплодисменты почти всех сидевших за столами ее заглушали.

Стоит мимоходом заметить, что такие замечательные сцены можно наблюдать каждый вечер в многочисленных кафе Нью-Йорка. Тонны пива и других напитков выпивались под обсуждение теорий, могущих объяснить этот феномен. Некоторые высказали несколько преждевременную догадку, что южане, живущие в городе, спешат в кафе с наступлением вечера. Одобрение аплодисментами мятежной «южной атмосферы в этом северном городе» несколько озадачивает. Но в этом нет ничего таинственного. Война с Испанией, большие урожаи несколько лет подряд мяты и арбузов, несколько блестящих побед, одержанных в Новом Орлеане на скачках, роскошные банкеты, устраиваемые жителями Индианы и Канзаса, входящими в Общество друзей Север-

ной Каролины, действительно превратили юг в помешательство на Манхэттене. Ваш маникюр подскажет ей, что ваш указательный палец на левой руке так напоминает ей одного джентльмена из Ричмонда, штат Виргиния.

Когда оркестр играл «Южные штаты», вдруг из ниоткуда выпрыгнул молодой черноволосый человек и с диким воплем племени мосби лихорадочно замахал своей мягкой шляпой с полями. Потом, продравшись сквозь пелену дыма, он плюхнулся на свободный стул за нашим столиком и достал пачку сигарет.

Вечер подходил к той стадии, когда сдержанность все заметнее тает. Один из нас заказал официанту три «вюрцбургера»; черноволосый выразил признательность за свою долю в заказе улыбкой и кивком головы. Я поспешил задать ему вопрос, так как очень хотел подтвердить правильность своей теории.

— Не скажете ли нам, откуда вы, — начал я.

Тяжелый кулак Э. Рашмор Коглана с грохотом опустился на стол, и я заткнулся.

— Прошу меня простить, — сказал он, — но я не люблю, когда задают подобные вопросы. Какая разница, откуда человек? Разве можно судить о человеке по адресу, написанному на конверте его

письма? Я, например, видел кентуккцев, которые терпеть не могли виски, виргинцев, которые никогда не спускались с Покохонтас, индианцев, которые не написали ни одного романа, мексиканцев, которые не носили вельветовых штанов с зашитыми в их швах серебряными долларами, забавных англичан, скупердяев янки, хладнокровных южан, узколобых западников и нью-йоркцев, которые куда-то очень спешили и не могли позволить себе простоять битый час на улице, чтобы понаблюдать, как однорукий клерк в бакалейной лавке раскладывает клюкву по бумажным пакетам. Пусть человек будет человеком, вот и все, и нечего ставить его в неловкое положение, приклеивать ему какой-то ярлык.

— Прошу меня простить, — сказал я, — но мое любопытство не столь уж пустое. Я знаю Юг, и когда джаз-банд наяривает «Южные штаты», я люблю наблюдать за тем, что происходит вокруг. У меня сложилось твердое впечатление, что если человек изо всех сил бьет в ладоши, приветствуя эту мелодию, и таким образом демонстрирует свою пристрастность, то он либо уроженец Сикокуса, штат Нью-Джерси, или района между Мюррей-хилл-Лайсиэм и Гарлем-ривер в этом городе. Я хотел только подтвердить правильность

своего наблюдения, спросив этого джентльмена, когда вы перебили меня своей собственной теорией, гораздо, правда, более обширной, чем моя, должен это признать.

Теперь черноволосый говорил со мной, и мне стало ясно, что мысль его течет по весьма замысловатым извилинам.

— Мне хотелось бы быть барвинком, — с каким-то таинственным видом сказал он, — расти на вершине долины и распевать «ту-ралу-ра-лу…».

Это было весьма туманно, и я вновь обратился к Коглану.

— Я двенадцать раз объехал весь земной шар, — сказал он. — Я знаю одного эскимоса в Апернавиа, который посылает заказы на галстуки в Цинцинатти, я видел скотовода в Уругвае, который выиграл приз в соревновании по угадыванию еды, употребляемой греческим воином за завтраком. Я вношу плату за снимаемые мною комнаты, одну — в Каире, Египет, и другую в Йокогаме, плачу круглый год, а мои шлепанцы дожидаются меня в чайном домике в Шанхае, и мне нет необходимости объяснять в Рио-де-Жанейро или в Сиэтле, как для меня нужно готовить яйца. Наш такой маленький, такой старый мир. Для чего же хвастать тем, что ты с Севера, или с Юга,

из старого особняка в долине, или живешь на Эвклид-авеню, в Кливленде, или на пике горной гряды, или в графстве Фэкс, штат Виргиния, или в Хулигэн-флэтс, в общем, где угодно? Когда же наконец мы бросим эти глупости и не будем сходить с ума из-за какого-то скромного городка или десяти акров заболоченной местности только потому, что нам посчастливилось там родиться?

— Судя по всему, вы обычный космополит, — восхищенно произнес я, — но кажется, вы открыто осуждаете патриотизм.

— Реликвия каменного века, — беззлобно заявил Коглан. — Все мы братья, — китайцы, англичане, зулусы, патагонцы, те люди, которые живут в изгибе реки Кау. В один прекрасный день вся эта гордыня из-за своих городов, штатов, районов, секций или стран будет искоренена, и все мы станем гражданами мира, как это и должно быть.

— Но когда вы скитаетесь по чужим землям, — продолжал я гнуть свое, — не возвращаетесь ли вы в мыслях к какому-нибудь месту, такому дорогому и…

— Какое там место! — резко перебил меня Э. Р. Коглан. — Земная шаровидная планетарная масса, слегка сплющенная на полюсах, известная

под названием Земля, — вот мое пристанище. За границей я встречал много граждан этой страны, сильно привязанных к родным местам. Я слышал, как чикагцы, катаясь в гондоле по ночной Венеции, облитой лунным светом, хвастались своим дренажным каналом. Я видел одного южанина, который, когда его представляли английскому королю, не моргнув глазом сообщил ему такую ценную информацию — мол, его прабабушка по материнской линии являлась по браку родственницей Перкисам из Чарлстона. Я знавал одного ньюйоркца, которого афганские бандиты захватили в плен и требовали за него выкуп. Его родственники собрали деньги, и он вернулся в Кабул с агентом. Не расскажете ли об Афганистане? — спросили его дома. — Не знаю, что и рассказывать… и, вместо того, что с ним произошло, он стал рассказывать о каком-то таксисте с Шестой авеню и Бродвея. Нет, такие идеи меня не интересуют. Я не привязан ни к чему, что меньше восьми тысяч миль в диаметре. Называйте меня просто Э. Рашмор Коглан, — гражданин земного шара.

Мой космополит церемонно попрощался со мной, так как ему показалось, что он увидел в этом галдеже через плотную завесу сигаретного

дыма своего знакомого. Таким образом, я остался наедине с возможным барвинком, которого стаканчик «вюцбергера» лишил охоты распространяться дальше о своем стремлении уютно торчать на какой-то вершине в долине. Я сидел, размышляя о моем таком убедительном, ярком космополите, и честно удивлялся, как же его просмотрел какой-нибудь поэт.

Он был моим открытием, и я в него верил. Как это? «Те люди, которые вкусили в своих городах молоко матери, путешествуют по всему миру, но все равно цепляются за эти города, словно карапуз за подол материнского платья». Нет, Э. Р. Коглан не таков. В его распоряжении — весь мир…

Вдруг мои размышления были прерваны каким-то грохотом и скандалом, возникшем в другом углу кафе. Через головы сидевших за столиками я видел, как Э. Рашмор Коглан затеял с незнакомцем ужасную драку. Они дрались, между столами, как титаны, а стаканы падали на пол и громко разбивались, они сшибали с ног мужчин, а те ловили слетавшие с голов шляпы; какая-то брюнетка дико визжала, блондинка стала напевать «Как все это соблазнительно».

Мой космополит отважно отстаивал свою гордыню и репутацию Земли. Официанты пошли

знаменитым «клином» на дерущихся и стали их теснить, а те все еще отчаянно сопротивлялись.

Я подозвал Маккарти, одного из французских «гарсонов», и спросил его, какова причина возникшего конфликта.

— Человек с красным галстуком (это был мой космополит) сильно разозлился из-за того, что его собеседник дурно отозвался о бездельниках, шатающихся по тротуарам, и о плохом водоснабжении того города, в котором он родился.

— Не может быть, — удивился я. — Ведь он — завзятый космополит, гражданин мира. Он…

— Он родился в Маттавамкеги, штат Мэн, — продолжал Маккарти, — и не смог вынести оскорбительного для него отзыва о своем родном городе!

В антракте

Перевод Н. Дарузес.

Майская луна ярко освещала частный пансион миссис Мэрфи. Загляните в календарь, и вы узнаете, какой величины площадь освещали в тот вечер ее лучи. Лихорадка весны была в полном разгаре, а за ней должна была последовать сенная лихорадка. В парках показались молодые листочки и закупщики из западных и южных штатов. Расцветали цветы, и процветали курортные агенты; воздух и судебные приговоры становились мягче; везде играли шарманки, фонтаны и картежники.

Окна пансиона миссис Мэрфи были открыты. Кучка жильцов сидела на высоком крыльце, на круглых и плоских матах, похожих на блинчики. У одного из окон второго этажа миссис Мак-Каски поджидала мужа. Ужин стыл на столе. Жар из него перешел в миссис Мак-Каски.

Мак-Каски явился в девять. На руке у него было пальто, а в зубах трубка. Он попросил извинения за беспокойство, проходя между жильцами и осторожно выбирая место, куда поставить ногу в

ботинке невероятных размеров.

Открыв дверь в комнату, он был приятно изумлен: вместо конфорки от печки или машинки для картофельного пюре в него полетели только слова.

Мистер Мак-Каски решил, что благосклонная майская луна смягчила сердце его супруги.

— Слышала я тебя, — долетели до него суррогаты кухонной посуды. — Перед всякой дрянью ты извиняешься, что наступил ей на хвост своими ножищами, а жене ты на шею наступишь и не почешешься, а я-то жду его не дождусь, все глаза проглядела, и ужин остыл, купила какой-никакой на последние деньги, ты ведь всю получку пропиваешь по субботам у Галлегера, а нынче уж два раза приходили за деньгами от газовой компании.

— Женщина, — сказал мистер Мак-Каски, бросая пальто и шляпу на стул, — этот шум портит мне аппетит. Не относись презрительно к вежливости, этим ты разрушаешь цемент, скрепляющий кирпичи в фундаменте общества. Если дамы загораживают дорогу, то мужчина просто обязан спросить разрешения пройти между ними. Будет тебе выставлять свое свиное рыло в окно, подавай на стол.

Миссис Мак-Каски тяжело поднялась с места и пошла к печке. По некоторым признакам Мак-Каски сообразил, что добра ждать нечего. Когда углы ее губ опускались вниз наподобие барометра, это предвещало град — фаянсовый, эмалированный и чугунный.

— Ах, вот как, свиное рыло? — возразила миссис Мак-Каски и швырнула в своего повелителя полную кастрюльку тушеной репы.

Мак-Каски не был новичком в такого рода дуэтах. Он знал, что должно следовать за вступлением. На столе лежал кусок жареной свинины, украшенный трилистником. Этим он и ответил, получив отпор в виде хлебного пудинга в глиняной миске. Кусок швейцарского сыра, метко пущенный мужем, подбил глаз миссис Мак-Каски. Она нацелилась в мужа кофейником, полным горячей, черной, не лишенной аромата, жидкости; этим заканчивалось меню, а, следовательно, и битва.

Но Мак-Каски был не какой-нибудь завсегдатай грошового ресторана. Пускай нищая богема заканчивает свой обед чашкой кофе. Пускай делает этот faux pas. Он сделает кое-что похитрее. Чашки для полоскания рук были ему небезызвестны. В пансионе Мэрфи их не полагалось, но эквивалент

был под руками. Он торжествующе швырнул умывальную чашку в голову своей супруги-противницы. Миссис Мак-Каски увернулась вовремя. Она схватила утюг, надеясь с его помощью успешно закончить эту гастрономическую дуэль. Но громкий вопль внизу остановил ее и мистера Мак-Каски и заставил их заключить перемирие.

На тротуаре перед домом стоял полисмен Клири и, насторожив ухо, прислушивался к грохоту разбиваемой вдребезги домашней утвари.

«Опять это Джон Мак-Каски со своей хозяйкой, — размышлял полисмен. — Пойти, что ли, разнять их? Нет, не пойду. Люди они семейные, развлечений у них мало. Да небось скоро и кончат. Не занимать же для этого тарелки у соседей».

И как раз в эту минуту в нижнем этаже раздался пронзительный вопль, выражающий испуг или безысходное горе.

— Кошка, должно, — сказал полисмен Клири и быстро зашагал прочь.

Жильцы, сидевшие на ступеньках, переполошились Мистер Туми, страховой агент по происхождению и аналитик по профессии, вошел в дом, чтобы исследовать причины вопля. Он возвратился с известием, что мальчик миссис

Мэрфи, Майк, пропал неизвестно куда. Вслед за вестником выскочила сама миссис Мэрфи — двухсотфунтовая дама, в слезах и истерике, хватая воздух и вопия к небесам об утрате тридцати фунтов веснушек и проказ. Вульгарное зрелище, конечно, но мистер Туми сел рядом с модисткой мисс Пурди, и руки их сочувственно встретились. Сестры Уолш, старые девы, вечно жаловавшиеся на шум в коридорах, тут же спросили, не спрятался ли мальчик за стоячими часами?

Майор Григ, сидевший на верхней ступеньке рядом со своей толстой женой, встал и застегнул сюртук.

— Мальчик пропал? — воскликнул он, — Я обыщу весь город.

Его жена обычно не позволяла ему выходить из дому по вечерам. Но тут она сказала баритоном:

— Ступай, Людовик! Кто может смотреть равнодушно на горе матери и не бежит к ней на помощь, у того каменное сердце.

— Дай мне центов тридцать или, лучше, шестьдесят, милочка, — сказал майор. — Заблудившиеся дети иногда уходят очень далеко. Может, мне понадобится на трамвай.

Старик Денни, жилец с четвертого этажа, который сидел на самой нижней ступеньке и читал

газету при свете уличного фонаря, перевернул страницу, дочитывая статью о забастовке плотников. Миссис Мэрфи вопила, обращаясь к луне.

— О-о, где мой Майк, ради господа бога, где мой сыночек?

— Когда вы его видели последний раз? — спросил старик Денни, косясь одним глазом на заметку о союзе строителей.

— Ох, — стонала миссис Мэрфи, — может, вчера, а может, четыре часа тому назад. Не припомню. Только пропал он, пропал мой сыночек, Майк. Нынче утром играл на тротуаре, а может, это было в среду? Столько дела, где ж мне припомнить, когда это было? Я весь дом обыскала, от чердака до погреба, нет как нет, пропал да и только. О, ради господа бога…

Молчаливый, мрачный, громадный город всегда стойко выдерживал нападки своих хулителей Они говорят, что он холоден, как железо, говорят, что жалостливое сердце не бьется в его груди; они сравнивают его улицы с глухими лесами, с пустынями застывшей лавы. Но под жесткой скорлупой омара можно найти вкусное, сочное мясо. Возможно, какое-нибудь другое сравнение было бы здесь более уместно. И все-таки обижаться не стоит. Мы не стали бы называть омаром

того, у кого нет хороших, больших клешней.

Ни одно горе не трогает неискушенное человеческое сердце сильнее, чем пропажа ребенка. Детские ножки такие слабенькие, неуверенные, а дороги такие трудные и крутые.

Майор Григ юркнул за угол и, пройдя несколько шагов по улице, зашел в заведение Билли.

— Налейте-ка мне стопку, — сказал он официанту. — Не видели вы такого кривоногого, чумазого дьяволенка лет шести, он где-то тут заблудился.

На крыльце мистер Туми все еще держал руку мисс Пурди.

— Подумать только об этом милом-милом крошке! — говорила мисс Пурди — Он заблудился, один, без своей мамочки, может быть, уже попал под звонкие копыта скачущих коней, ах, какой ужас!

— Да, не правда ли? — согласился мистер Туми, пожимая ей руку. — Может, мне пойти поискать его?

— Это, конечно, ваш долг, — отвечала мисс Пурди. — Но боже мой, мистер Туми, вы такой смелый, такой безрассудный, вдруг с вами что-нибудь случится, тогда как же.

Старик Денни читал о заключении арбитражной комиссии, водя пальцем по строчкам.

На втором этаже мистер и миссис Мак-Каски подошли к окну перевести дух. Согнутым пальцем мистер Мак-Каски счищал тушеную репу с жилетки, а его супруга вытирала глаз, заслезившийся от соленой свинины. Услышав крики внизу, они высунули головы в окно.

— Маленький Майк пропал, — сказала миссис Мак-Каски, понизив голос, — такой шалун, настоящий ангелочек!

— Мальчишка куда-то девался? — сказал Мак-Каски, высовываясь а окно. — Экое несчастье, прямо беда. Дети другое дело. Вот если б баба пропала, я бы слова не сказал, без них куда спокойней.

Не обращая внимания на эту шпильку, миссис Мак-Каски схватила мужа за плечо.

— Джон, — сказала она сентиментально, — пропал сыночек миссис Мэрфи. Город такой большой, долго ли маленькому мальчику заблудиться? Шесть годочков ему было, Джон, и нашему сынку было бы столько же, кабы он родился шесть лет тому назад.

— Да ведь он не родился, — возразил мистер Мак-Каски, строго придерживаясь фактов.

— А если б родился, какое бы у нас было горе нынче вечером, ты подумай наш маленький

Филан неизвестно где, может, заблудился, может, украли.

— Глупости несешь, — ответил Мак-Каски. — Назвали бы его Пат, в честь моего старика в Кэнтриме.

— Врешь! — без гнева сказала миссис Мак-Каски. — Мой брат стоил сотни таких, как твои вшивые Мак-Каски. В честь него мы и назвали бы мальчика — Облокотившись на подоконник, она посмотрела вниз, на толкотню и суматоху.

— Джон, — сказала миссис Мак-Каски нежно, — прости, я погорячилась.

— Да, — ответил муж, — пудинг был горячий, это верно, а репа еще горячей, а кофе так прямо кипяток. Можно сказать, горячий ужин, правда твоя.

Миссис Мак-Каски взяла мужа под руку и погладила его шершавую ладонь.

— Ты послушай, как убивается бедная миссис Мэрфи, — сказала она. — Ведь это просто ужас, такому крошке заблудиться в таком большом городе. Если б это был наш маленький Филан, у меня бы сердце разорвалось.

Мистер Мак-Каски неловко отнял свою руку, но тут же обнял жену за плечи.

— Глупость, конечно, — сказал он грубовато, —

но я бы и сам убивался, если б нашего… Пата украли или еще что-нибудь с ним случилось. Только у нас никогда детей не было. Я с тобой бываю груб, неласков, Джуди. Ты уж не попомни зла.

Они сели рядом и стали вместе смотреть на драму, которая разыгрывалась внизу.

Долго они сидели так. Люди толпились на тротуаре, толкаясь, задавая вопросы, оглашая улицу говором, слухами, и неосновательными предположениями. Миссис Мэрфи то исчезала, то появлялась, прокладывая себе путь в толпе, как большая, рыхлая гора, орошаемая звучным каскадом слез. Курьеры прибегали и убегали.

Вдруг гул голосов, шум и гам на тротуаре перед пансионом стали громче.

— Что там такое, Джуди? — спросил мистер Мак-Каски.

— Это голос миссис Мэрфи, — сказала жена, прислушавшись — Говорит, нашла Майка под кроватью у себя в комнате, он спал за свертком линолеума.

Мистер Мак-Каски расхохотался.

— Вот тебе твой Филан, — насмешливо воскликнул он. — Пат такой штуки ни за что не отколол бы. Если бы мальчишку, которого у нас

нет, украли бы или он пропал бы неизвестно куда, черт с ним, пускай назывался бы Филан да валялся бы под кроватью, как паршивый щенок.

Миссис Мак-Каски тяжело поднялась с места и пошла к буфету — уголки рта у нее были опущены.

Полисмен Клири появился из-за угла, как только толпа рассеялась. В изумлении, насторожив ухо, он повернулся к окнам квартиры Мак-Каски, откуда громче прежнего слышался грохот тарелок и кастрюль и звон швыряемой в кого-то кухонной утвари. Полисмен Клири вынул часы.

— Провалиться мне на этом месте! — воскликнул он. — Джон Мак-Каски с женой дерутся вот уже час с четвертью по моему хронометру. Хозяйка-то потяжелей его фунтов на сорок. Дай бог ему удачи.

Полисмен Клири опять повернул за угол. Старик Денни сложил газету и скорей заковылял вверх по лестнице, как раз вовремя, потому что миссис Мэрфи уже запирала двери на ночь.

Комната на чердаке

Перевод В. Маянц.

Сначала миссис Паркер показывает вам квартиру с кабинетом и приемной. Не смея прервать ее, вы долго слушаете описание преимуществ этой квартиры и достоинств джентльмена, который жил в ней целых восемь лет. Наконец, вы набираетесь мужества и, запинаясь, признаетесь миссис Паркер, что вы не доктор и не зубной врач. Ваше признание она воспринимает так, что в душе у вас остается горькая обида на своих родителей, которые не позаботились дать вам в руки профессию, соответствующую кабинету и приемной миссис Паркер.

Затем вы поднимаетесь на один пролет выше, чтобы во втором этаже взглянуть на квартиру за восемь долларов, окнами во двор. Тон, каким миссис Паркер беседует на втором этаже, убеждает вас, что комнатки по-настоящему стоят все двенадцать долларов, как и платил мистер Тузенберри, пока не уехал во Флориду управлять апельсиновой плантацией своего брата где-то около Палм Бич, где, между прочим, проводит каждую зиму

миссис Мак-Интайр, та, что живет в комнатах окнами на улицу и с отдельной ванной, — и вы в конце концов набираетесь духу пробормотать, что хотелось бы что-нибудь еще подешевле.

Если вам удается пережить презрение, которое выражает миссис Паркер всем своим существом, то вас ведут на третий этаж посмотреть на большую комнату мистера Скиддера. Комната мистера Скиддера не сдается. Сам он сидит в ней целыми днями, пишет пьесы и курит папиросы. Однако сюда приводят каждого нового кандидата в съемщики, чтобы полюбоваться ламбрекенами. После каждого такого посещения на мистера Скиддера находит страх, что ему грозит изгнание, и он отдает еще часть долга за комнату.

И тогда — о, тогда! — Если вы еще держитесь на ногах, потной рукой зажимая в кармане слипшиеся три доллара, и хриплым голосом объявляете о своей отвратительной, достойной всяческого порицания бедности, миссис Паркер больше не водит, вас по этажам. Она громко возглашает: «Клара!», она поворачивается к вам спиной и демонстративно уходит вниз И вот когда, чернокожая служанка, провожает вас вверх по устланной половичком узенькой крутой лестнице, ведущей на четвертый этаж, и показывает

вам Комнату на Чердаке. Комната занимает пространство величиной семь на восемь футов посредине дома. По обе стороны ее располагаются темный дощатый чулан и кладовка.

В комнате стоит узкая железная кровать, умывальник и стул. Столом и шкафом служит полка. Четыре голые стены словно смыкаются над вами, как крышка гроба. Рука ваша тянется к горлу, вы чувствуете, что задыхаетесь, взгляд устремляется вверх, как из колодца — и вы с облегчением вздыхаете: через маленькое окошко в потолке виднеется квадратик бездонного синего неба.

— Два доллара, сэр, — говорит Клара полупрезрительно, полуприветливо.

Однажды в поисках комнаты здесь появилась мисс Лисон. Она тащила пишущую машинку, произведенную на свет, чтобы ее таскала особа более массивная. Мисс Лисон была совсем крошечная девушка, с такими глазами и волосами, что казалось, будто они все росли, когда она сама уже перестала, и будто они так и хотели сказать: «Ну что же ты отстаешь от нас!»

Миссис Паркер показала ей кабинет с приемной.

— В этом стенном шкафу, — сказала она, — можно держать скелет, или лекарства, или уголь…

— Но я не доктор и не зубной врач, — сказала, поеживаясь, мисс Лисон.

Миссис Паркер окинула ее скептическим, полным жалости и насмешки, ледяным взглядом, который всегда был у нее в запасе для тех, кто оказывался не доктором и не зубным врачом, и повела ее на второй этаж.

— Восемь долларов? — переспросила мисс Лисон. — Что вы! Я не миллионерша. Я всего-навсего машинистка в конторе. Покажите мне что-нибудь этажом повыше, а ценою пониже.

Услышав стук в дверь, мистер Скиддер вскочил и рассыпал окурки по всему полу.

— Простите, мистер Скиддер, — с демонической улыбкой сказала миссис Паркер, увидев его смущение. — Я не знала, что вы дома. Я пригласила эту даму взглянуть на ламбрекены.

— Они на редкость хороши, — сказала мисс Лисон, улыбаясь точь-в-точь, как улыбаются ангелы.

Не успели они уйти, как мистер Скиддер спешно начал стирать резинкой высокую черноволосую героиню своей последней (неизданной) пьесы и вписывать вместо нее маленькую и задорную, с тяжелыми блестящими волосами и оживленным лицом.

— Анна Хелд ухватится за эту роль, — сказал мистер Скиддер, задрав ноги к ламбрекенам и исчезая в облаке дыма, как какая-нибудь воздушная каракатица.

Вскоре набатный призыв «Клара!» возвестил миру о состоянии кошелька мисс Лисон. Темный призрак схватил ее, поднял по адской лестнице, втолкнул в склеп с тусклым светом где-то под потолком и пробормотал грозные таинственные слова: «Два доллара!»

— Я согласна, — вздохнула мисс Лисон, опускаясь на скрипящую железную кровать.

Ежедневно мисс Лисон уходила на работу. Вечером она приносила пачки исписанных бумаг и перепечатывала их на машинке. Иногда у нее не было работы по вечерам, и тогда она вместе с другими обитателями дома сидела на ступеньках крыльца. По замыслу природы мисс Лисон не была предназначена для чердака. Это была веселая девушка, и в голове у нее всегда роились всякие причудливые фантазии. Однажды она разрешила мистеру Скиддеру прочитать ей три акта из своей великой (не опубликованной) комедии под названием «Он не Ребенок, или Наследник Подземки».

Мужское население дома всегда радостно ожив-

лялось, когда мисс Лисон находила свободное время и часок-другой сидела на крыльце. Но миссис Лонгнекер, высокая блондинка, которая была учительницей в городской школе и возражала: «Ну уж, действительно!» на все, что ей говорили, садилась на верхнюю ступеньку и презрительно фыркала. А мисс Дорн, догорая по воскресеньям ездила на Кони-Айленд стрелять в тире по движущимся уткам и работала в универсальном магазине, садилась на нижнюю ступеньку и тоже презрительно фыркала. Мисс Лисон садилась на среднюю ступеньку, и мужчины быстро собирались вокруг нее.

Особенно мистер Скиддер, который отводил ей главную роль в романтической (никому еще не поведанной) личной драме из действительной жизни. И особенно мистер Гувер, сорока пяти лет, толстый, богатый и глупый. И особенно очень молоденький мистер Ивэнс, который нарочно глухо кашлял, чтобы она упрашивала его бросить курение. Мужчины признали в ней «забавнейшее и приятнейшее существо», но фырканье на верхней и нижней ступеньках было неумолимо.

Прошу вас, подождем, пока Хор подступит к рампе и прольет траурную слезу на комплекцию мистера Гувера. Трубы, возвестите о пагубности

ожирения, о проклятье полноты, о трагедии тучности. Если вытопить романтику из толстяка Фальстафа, то ее, возможно, окажется гораздо больше, чем в худосочном Ромео. Любовнику разрешается вздыхать, но ни в коем случае не пыхтеть. Удел жирных людей — плясать в свите Момуса. Напрасно самое верное сердце в мире бьется над пятидесятидвухдюймовой талией. Удались, Гувер! Гувер, сорока пяти лет, богатый и глупый, мог бы покорить Елену Прекрасную; Гувер, сорока пяти лет, богатый, глупый и жирный — обречен на вечные муки. Тебе, Гувер, никогда ни на что нельзя было рассчитывать.

Как-то раз летним вечером, когда жильцы миссис Паркер сидели на крыльце, мисс Лисон взглянула на небеса и с милым веселым смешком воскликнула:

— А, вон он, Уилли Джексон! Отсюда его тоже видно. Все насмотрели наверх — кто на окна небоскребов, кто — на небо, высматривая какой-нибудь воздушный корабль, ведомый упомянутым Джексоном.

— Это вон та звезда, — объяснила мисс Лисон, показывая тоненьким пальцем, — не та большая, которая мерцает, а рядом с ней, та, что светит ровным голубым светом. Она каждую ночь вид-

на из моего окна в потолке. Я назвала ее Уилли Джексон.

— Ну уж действительно! — сказала мисс Лонгнекер. — Я не знала, что вы астроном, мисс Лисон.

— О да! — сказала маленькая звездочетша. — Я знаю ничуть не хуже любого астронома, какой покрой рукава будет осенью в моде на Марсе.

— Ну уж действительно! — сказала мисс Лонгнекер. — Звезда, о которой вы упомянули, называется Гамма из созвездия Кассиопеи. Она относится к звездам второй величины и проходит через меридиан в…

— О, — сказал очень молоденький мистер Ивэнс, — мне кажется, для нее больше подходит имя Уилли Джексон.

— Ясное дело, — сказал мистер Гувер, громко и презрительно засопев в адрес мисс Лонгнекер, — мне кажется, мисс Лисон имеет право называть звезды, как ей хочется, ничуть не меньше, чем все эти старинные астрологи.

— Ну уж действительно, — сказала мисс Лонгнекер.

— Интересно, упадет эта звезда или нет, — заметила мисс Дорн. — В воскресенье в тире от моих выстрелов упали девять уток и один кролик

из десяти.

— Отсюда, снизу, он не такой красивый, — сказала мисс Лисон. — Вот вы бы посмотрели на него из моей комнаты. Знаете, из колодца звезды видны даже днем. А моя комната ночью прямо как ствол угольной шахты, и Уилли Джексон похож на большую брильянтовую булавку, которой Ночь украсила свое кимоно.

Потом пришло время, когда мисс Лисон не приносила больше домой неразборчивые рукописи для перепечатки. И по утрам, вместо того, чтобы идти на работу, она ходила из одной конторы в другую, и сердце ее стыло от постоянных холодных отказов, которые ей передавали через наглых молодых конторщиков. Так продолжалось долго.

Однажды вечером, в час, когда она обычно приходила после обеда из закусочной, она устало поднялась на крыльцо дома миссис Паркер. Но на этот раз она возвращалась не пообедав.

В вестибюле она встретила мистера Гувера, и тот сразу воспользовался случаем. Он предложил ей руку и сердце, возвышаясь над ней, как громадный утес. Она отступила и прислонилась к стене. Он попытался взять ее за руку, но она подняла руку и слабо ударила его по щеке. Шаг за шагом она медленно переступала по лестнице

хватаясь за перила. Она прошла мимо комнаты мистера Скиддера, где он красными чернилами вписывал в свою (непринятую) комедию ремарки для Мэртл Делорм (мисс Лисон), которая должна была «пируэтом пройтись от левого края сцены до места, где стоит Граф». По устланной половиком крутой лестничке она, наконец, доползла до чердака и открыла дверь в свою комнату.

У нее не было сил, чтобы зажечь лампу или раздеться. Она упала на железную кровать, и старые пружины даже не прогнулись под ее хрупким телом. Погребенная в этой преисподней, она подняла тяжелые веки и улыбнулась.

Потому что через окно в потолке светил ей спокойным ярким светом верный Уилли Джексон. Она была отрезана от всего мира. Она погрузилась в черную мглу, и только маленький холодный квадрат обрамлял звезду, которую она назвала так причудливо и, увы, так бесплодно. Мисс Лонгнекер, должно быть, права: наверно, это Гамма из созвездия Кассиопеи, а совсем не Уилли Джексон. И все же так не хочется, чтобы это была Гамма.

Она лежала на спине и дважды пыталась поднять руку. В третий раз она с трудом поднесла два исхудалых пальца к губам и из своей темной ямы послала Уилли Джексону воздушный поцелуй.

Рука ее бессильно упала.

— Прощай, Уилли, — едва слышно прошептала она. — Ты за тысячи тысяч миль отсюда и ни разу даже не мигнул. Но ты мне светил оттуда почти все время, когда здесь была сплошная тьма, ведь правда? Тысячи тысяч миль… Прощай, Уилли Джексон.

В десять часов утра на следующий день чернокожая служанка Клара обнаружила, что дверь мисс Лисон заперта, дверь взломали. Не помогли ни уксус, ни растирания, ни жженые перья, кто-то побежал вызывать скорую помощь.

Не позже чем полагается, со страшным звоном, карета развернулась у крыльца, и из нее выпрыгнул ловкий молодой медик в белом халате, готовый к действию, энергичный, уверенный, со спокойным лицом, чуть жизнерадостным, чуть мрачным.

— Карета в дом сорок девять, — коротко сказал он. — Что случилось?

— Ах да, доктор, — надулась миссис Паркер, как будто самым важным делом было ее собственное беспокойство оттого, что в доме беспокойство. — Я просто не понимаю, что с ней такое. Чего мы только не перепробовали, она все не приходит в себя. Это молодая женщина, некая мисс Элси,

да, — некая мисс Элси Лисон. Никогда раньше в моем доме…

— Какая комната! — закричал доктор таким страшным голосом, какого миссис Паркер никогда в жизни не слышала.

— На чердаке. Это…

По-видимому, доктор из скорой помощи был знаком с расположением чердачных комнат. Он помчался вверх, прыгая через четыре ступеньки Миссис Паркер медленно последовала за ним, как того требовало ее чувство собственного достоинства.

На первой площадке она встретила доктора, когда он уже возвращался, неся на руках астронома. Он остановился и своим острым, как скальпель, языком отрезал несколько слов, не очень громко Миссис Паркер застыла в неловкой позе, как платье из негнущейся материи, соскользнувшее с гвоздя. С тех пор чувство неловкости в душе и теле осталось у нее навсегда. Время от времени любопытные жильцы спрашивали, что же это ей сказал тогда доктор.

— Лучше не спрашивайте, — отвечала она. — Если я вымолю себе прощение за то, что выслушала подобные слова, я умру спокойно.

Доктор со своей ношей шагнул мимо сво-

ры зевак, которые всегда охотятся за всякими любопытными зрелищами, и даже они, ошеломленные, расступились, потому что вид у него был такой, словно он хоронит самого близкого человека.

Они заметили, что он не положил безжизненное тело на носилки, приготовленные в карете, а только сказал шоферу: «Гони что есть духу, Уилсон!»

Вот и все. Ну как, получился рассказ? На следующий день в утренней газете я прочел в отделе происшествий маленькую заметку, и последние слова ее, быть может, помогут вам (как они помогли мне) расставить все случившееся по местам.

В заметке сообщалось, что накануне с Восточной улицы, дом 49, в больницу Бельвю доставлена молодая женщина, страдающая истощением на почве голода. Заметка кончалась словами:

— «Доктор Уильям Джексон, оказавший первую помощь, утверждает, что больная выздоровеет».

Из любви к искусству

Перевод Т. Озерской.

Когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы.

Такова предпосылка. Наш рассказ явится выводом из этой предпосылки и вместе с тем ее опровержением. Это будет оригинально и ново с точки зрения логики, а как литературный прием — лишь немногим древнее, чем Великая китайская стена.

Джо Лэрреби рос среди вековых дубов и плоских равнин Среднего Запада, пылая страстью к изобразительному искусству. В шесть лет он запечатлел на картоне городскую водокачку и одного почтенного обывателя, в большой спешке проходящего мимо. Этот плод творческих усилий был заключен в раму и выставлен в окне аптеки, рядом с удивительным початком кукурузы, в котором зерна составляли нечетное количество рядов. Когда же Джо Лэрреби исполнилось двадцать лет, он, свободно повязав галстук и потуже затянув пояс, отбыл из родного города в Нью-Йорк.

Дилия Кэрузер жила на Юге, в окруженном соснами селении, и звуки, которые она умела извлекать из шести октав фортепьянной клавиатуры, порождали столь большие надежды в сердцах ее родственников, что с помощью последних в ее копилке собралось достаточно денег для поездки «на Север» с целью «завершения музыкального образования». Как именно она его завершит, ее родственники предугадать не могли, впрочем, об этом мы и поведем рассказ.

Джо и Дилия встретились в студии, где молодые люди, изучающие живопись или музыку, собирались, чтобы потолковать о светотени, Вагнере, музыке, творениях Рембрандта, картинах, обоях, Вальдтейфеле, Шопене и Улонге[59].

Джо и Дилия влюбились друг в друга или полюбились друг другу — как вам больше по вкусу — и, не теряя времени, вступили в брак, ибо (смотри выше), когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы.

Мистер и миссис Лэрреби сняли квартирку и стали вести хозяйство. Это была уединенная квартирка, затерявшаяся в каком-то закоулке, подобно самому нижнему ля диез фортепьян-

---

[59] Примечания: 59
Улонг — сорт китайского чая.

ной клавиатуры. Супруги были счастливы. Они принадлежали друг другу, а Искусство принадлежало им. И вот мой совет тому, кто молод и богат продай имение твое и раздай нищим, а еще лучше — отдай эти денежки привратнику, чтобы поселиться в такой же квартирке со своей Дилией и своим Искусством.

Обитатели квартирок, несомненно, подпишутся под моим заявлением, что они самые счастливые люди на свете. Дом, в котором царит счастье, не может быть слишком тесен. Пусть комод, упав ничком, заменит вам бильярд, каминная доска — трюмо, письменный стол — комнату для гостей, а умывальник — пианино! И если все четыре стены вздумают надвинуться на вас, — не беда! Лишь бы вы со своей Дилией уместились между ними. Ну, а уж если нет в вашем доме доброго согласия, тогда пусть он будет велик и просторен, чтобы вы могли войти в него через Золотые ворота, повесить шляпу на мыс Гаттерас, платье — на мыс Горн и выйти через Лабрадор!

Джо обучался живописи у самого великого Маэстри. Вы, без сомнения, слышали это имя. Дерет он за свои уроки крепко, а обучает слегка, что, вероятно, и снискало ему громкую славу мастера эффектных контрастов. Дилия училась музыке у

Розенштока — вы знаете, конечно, какой широкой известностью пользуется этот возмутитель покоя фортепьянных клавиш.

Джо и Дилия были очень счастливы, пока не прожили всех своих денег. Так оно всегда, но я не хочу показаться циником. Стоявшая перед ними цель была им совершенно ясна. Джо в самом непродолжительном времени должен был написать такие полотна, ради обладания которыми пожилые джентльмены с тощими бакенбардами и толстыми бумажниками будут лупить друг друга кистенем по голове у него в мастерской. Дилия же должна была познать все тайны Музыки, затем пресытиться ею и приобрести обыкновение при виде непроданних мест в партере или в ложах лечить внезапную мигрень омарами, уединившись в своих личных апартаментах и отказываясь выйти на эстраду.

Но прекраснее всего, на мой взгляд, была сама их жизнь в маленькой квартирке: горячие, увлекательные беседы по возвращении с уроков; уютные обеды вдвоем и легкие, необременительные завтраки; обмен честолюбивыми мечтами — причем каждый грезил не столько своими успехами, сколько успехами другого; взаимная готовность помочь и ободрить, и — да простят

мне непритязательность моих вкусов — бутерброды с сыром и маслины перед отходом ко сну.

Однако дни шли, и высоко поднятое знамя Искусства бессильно повисло на своем древке. Так оно бывает порой, хотя знаменосец и не виноват. Все из дома и ничего в дом, как говорят грубые, одержимые практицизмом люди. Не стало денег, чтобы оплачивать ценные услуги мистера Маэстри и герра Розенштока. Но, когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы. И вот Дилия заявила однажды, что намерена давать уроки музыки, так как нужно свести концы с концами.

День за днем она уходила из дома вербовать учеников и, наконец, однажды вернулась домой к вечеру в очень приподнятом настроении.

— Джо, дорогой мой, я получила урок? — торжествующе объявила она. — И, знаешь, такие милые люди! Генерал… генерал А. Б. Пинкни с дочкой. У них свой дом на Семьдесят первой улице. Роскошный дом, Джо! Поглядел бы ты на их подъезд! Византийский стиль — так, кажется, ты это называешь. А комнаты! Ах, Джо, я никогда не видала ничего подобного!

Я буду давать уроки его дочке Клементине. И представь, я просто привязалась к ней с первого

взгляда. Она такая нежная, деликатная и так просто держится. И вся в белом с головы до пят. Ей восемнадцать лет. Я буду, заниматься с ней три раза в неделю. Ты только подумай, Джо, урок пять долларов! Это же чудно! Еще два-три таких урока, и я возобновлю занятия с герром Розенштоком. Ну, пожалуйста, родной, перестань хмуриться и давай устроим хороший ужин.

— Тебе легко говорить, Дали, — возразил Джо, вооружась столовым ножом и топориком и бросаясь в атаку на банку консервированного горошка. — А мне каково? Ты, значит, будешь бегать по урокам и зарабатывать на жизнь, а я — беззаботно витать в сферах высокого искусства? Ну уж нет, клянусь останками Бенвенуто Челлини! Я, вероятно, тоже могу продавать газеты или мостить улицы и приносить в дом доллар-другой.

Дилия подошла и повисла у него на шее.

— Джо, любимый мой, ну какой ты глупый! Ты не должен бросать живопись. Ты пойми — ведь если бы я оставила музыку и занялась чем-то посторонним… а я сама учусь, когда даю уроки. Я же не расстаюсь с моей музыкой. А на пятнадцать долларов в неделю мы будем жить, как миллионеры И думать не смей бросать мистера

Маэстри.

— Ладно, — сказал Джо, доставая с полки голубой фарфоровый салатник в форме раковины. — Все же мне очень горько, что ты должна бегать по урокам. Нет, это не Искусство. Но ты, конечно, настоящее сокровище и молодчина.

— Когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы, — изрекла Дилия.

— Маэстри похвалил небо на том этюде, что я писал в парке, — сообщил Джо. — А Тинкл разрешил мне выставить две вещи у него в витрине. Может, кто и купит одну из них, если они подадутся на глаза какому-нибудь подходящему идиоту с деньгами.

— Непременно купят, — нежно проворковала Дилия. — А сейчас возблагодарим судьбу за генерала Пинкни и эту телячью грудинку.

Всю следующую неделю чета Лэрреби рано садилась завтракать Джо был необычайно увлечен эффектами утреннего освещения в Центральном парке, где он делал зарисовки, и в семь часов Дилия провожала его, насытив завтраком, нежными заботами, поцелуями и поощрениями.

Искусство — требовательная возлюбленная. Джо теперь редко возвращался домой раньше семи часов вечера.

В субботу Дилия, немного бледная и утомленная, но исполненная милой горделивости, торжественно выложила три пятидолларовые бумажки на маленький (восемь на десять дюймов) столик в маленькой (восемь на десять футов) гостиной.

— Клементина удручает меня порой, — сказала она чуть-чуть устало. — Боюсь, что она недостаточно прилежна. Приходится повторять ей одно и то же по нескольку раз. И эти ее белые одеяния стали уже нагонять тоску. Но генерал Пинкни — вот чудесный старик! Жаль, что ты не знаком с ним, Джо. Он иногда заходит к нам во время урока — он ведь одинокий, вдовец — и стоит, теребя свою белую козлиную бородку. «Ну, как шестнадцатые и тридцать вторые? — спрашивает он всегда. — Идут на лад?»

Ах, Джо, если бы ты видел, какие у них панели в гостиной! А какие мягкие шерстяные портьеры! Клементина немножко покашливает. Надеюсь, что она крепче, чем кажется с виду. Ты знаешь, я в самом деле очень привязалась к ней — она такая ласковая и кроткая и так хорошо воспитана. Брат генерала Пинкни был одно время посланником в Боливии.

Но тут Джо, словно какой-нибудь граф Мон-

те-Кристо, извлек из кармана сначала десять долларов, потом пять, потом еще два и еще один-четыре самые что ни на есть настоящие банкноты — и положил их рядом с заработком своей жены.

— Продал акварель с обелиском одному субъекту из Пеории, — преподнес он ошеломляющее известие.

— Ты шутишь, Джо, — сказала Дилия. — Не может быть, чтобы из Пеории!

— Да вот, представь себе. Жаль, что ты не видала его, Дилия. Толстый, в шерстяном кашне и с гусиной зубочисткой. Он заметил мой этюд в витрине у Тинкла и принял его сначала за изображение ветряной мельницы. Но он славный малый и купил вместо мельницы обелиск и даже заказал мне еще одну картину — маслом: вид на Лэкуонскую товарную станцию. Повезет ее с собой. Ох, уж эти мне уроки музыки! Ну ладно, ладно, они, конечно, не отделимы от Искусства.

— Я так рада, что ты занимаешься своим делом, — горячо сказала Дилия. — Тебя ждет успех, дорогой. Тридцать три доллара! Мы никогда не жили так богато. У нас будут сегодня устрицы на ужин.

— И филе-миньон с шампиньонами, — добавил Джо. — А ты не знаешь, где вилка для маслин?

В следующую субботу Джо вернулся домой первым. Он положил восемнадцать долларов на столик в гостиной и поспешно смыл с рук что-то черное — по-видимому толстый слой масляной краски.

А через полчаса появилась и Дилия. Кисть ее правой руки, вся обмотанная бинтами, была похожа на какой-то бесформенный узел.

— Что случилось, Дилия? — спросил Джо, целуя жену Дилия рассмеялась, но как-то не очень весело.

— Клементине пришла фантазия угостить меня после урока гренками по-валлийски, — сказала она. — Вообще это девушка со странностями. В пять часов вечера — гренки по-валлийски!

Генерал был дома, и посмотрел бы ты, как он ринулся за сковородкой, можно подумать, что у них нет прислуги. У Клементины, конечно, что-то неладно со здоровьем — она такая нервная. Плеснула мне на руку растопленным сыром, когда поливала им гренки. Ужас как больно было! Бедняжка расстроилась до слез. А генерал Пинкни… ты знаешь, старик просто чуть с ума не сошел. Сам помчался вниз в подвал и послал кого-то — кажется, истопника — в аптеку за мазью и бинтами. Сейчас уж не так больно.

— А это что у тебя тут? — спросил Джо, нежно приподымая ее забинтованную руку и осторожно потягивая за кончики каких-то белых лохмотьев, торчащих из-под бинта.

— Это такая мягкая штука, на которую кладут мазь, — сказала Дилия. — Господи, Джо, неужели ты продал еще один этюд? — Она только сейчас заметила на маленьком столике деньги.

— Продал ли я этюд! Спроси об этом нашего друга из Пеории. Он забрал сегодня свою товарную станцию и, кажется, склонен заказать мне еще пейзаж в парке и вид на Гудзон. В котором часу стряслось с тобой это несчастье, Дили?

— Часов в пять, должно быть, — жалобно сказала Дилия. — Утюг… то есть сыр сняли с плиты примерно в это время. Ты бы посмотрел на генерала Пинкни, Джо, когда он…

— Поди-ка сюда, Дили, — сказал Джо. Он опустился на кушетку, притянул к себе жену и обнял ее за плечи.

— Чем это та занималась последние две недели? — спросил он.

Дилия храбро посмотрела мужу в глаза — взглядом, исполненным любви и упрямства, — и забормотала что-то насчет генерала Пинкни… потом опустила голову, и правда вылилась наружу

в бурном потоке слез.

— Я не могла найти уроков, — призналась Дилия. — И не могла допустить, чтобы ты бросил живопись. Тогда я поступила в эту большую прачечную — знаешь, на Двадцать четвертой улице — гладить рубашки. А правда, я здорово придумала все это — насчет генерала Пинкни и Клементины, — как ты считаешь, Джо? И сегодня, когда одна девушка в прачечной обожгла мне руку утюгом, я всю дорогу домой сочиняла эту историю с гренками. Ты не сердишься, Джо? Ведь если бы я не устроилась на работу, ты бы, может быть, не продал своих этюдов этому господину из Пеории.

— Он, между прочим, не из Пеории, — с расстановкой проговорил Джо.

— Ну, это уж не важно, откуда он. Ты такой молодчина, Джо, и скажи, пожалуйста… нет, поцелуй меня сначала, скажи, пожалуйста, как это ты догадался, что я не даю уроков?

— Я и не догадывался… до последней минуты, — сказал Джо. — И теперь бы не догадался, но сегодня я послал из котельной наверх, в прачечную, лигнин и мазь для какой-то девушки, которой обожгли руку утюгом. Я уже две недели как топлю котел в этой прачечной.

— Так, значит, ты не…

— Мой покупатель из Пеории — так же, как и твой генерал Пинкни, — всего лишь произведение искусства, которое, кстати, не имеет ничего общего ни с живописью, ни с музыкой.

Оба рассмеялись, и Джо начал:

— Когда любишь Искусство, никакие жертвы… Но Дилия не дала мужу договорить, зажав ему рот рукой.

— Нет, — сказала она. — Просто: когда любишь…

Дебют Мэгги

Перевод Н. Дехтеревой.

Каждый субботний вечер клуб «Трилистник» устраивал танцы в зале спортивного общества «Равные шансы», помещавшегося в Ист-Сайде. Чтобы получить право посещать эти танцы, вам полагалось или состоять членом общества «Равные шансы», или же работать на картонажной фабрике Райнгольда — последнее, разумеется, при условии, что, танцуя вальс, вы не путали, где у вас правая нога и где левая. Впрочем, любой член «Трилистника» пользовался разовой привилегией явиться в сопровождении постороннего — партнера или партнерши. Но в подавляющем большинстве случаев каждый из «трилистников» приводил с картонажной фабрики ту, к которой испытывал особое расположение. Мало кто из чужих мог похвастаться, что он регулярно разминает ноги на субботних встречах «Трилистника».

У Мэгги Тул были тусклые глаза, крупный рот и экстракосолапый стиль в тустепе, и потому на танцы она ходила вместе с Анной Мак-Карги и ее «парнем». Анна и Мэгги работали на фабрике бок

о бок и были закадычными подругами, поэтому Анна заставляла Джимми Бернса каждую субботу заходить с ней на дом к Мэгги, чтобы та тоже могла побывать с ними на танцах.

Спортивное общество «Равные шансы» оправдывало свое наименование. Его гимнастический зал на Орчард-стрит был оборудован всевозможными снарядами, способствующими развитию мускулатуры. Члены общества, характер которых сложился при таких обстоятельствах, были склонны к бодрым физическим соревнованиям с полицией и с различными спортивными и неспортивными соперничающими организациями. Субботний бал, прерывающий эти серьезные занятия, одновременно оказывал облагораживающее влияние и служил надежной ширмой. Ибо время от времени проползал слушок, и если вы принадлежали к числу избранных, вы на цыпочках поднимались по неосвещенной лестнице черного хода и могли присутствовать при самой безукоризненной встрече борцов полусреднего веса, какая когда-либо происходила за канатами арены.

По субботам картонажная фабрика Райнгольда заканчивала работу в три часа. В один из таких дней Анна и Мэгги вместе возвращались домой.

У дверей дома, где жила Мэгги, Анна сказала, как всегда:

— Ровно к семи будь готова, Мэгги, мы с Джимми зайдем за тобой.

Но что это? Вместо того чтобы, как обычно, услышать от неудачливой подруги униженные изъявления благодарности, Анна увидела высоко вздернутую голову, горделивые ямочки в уголках широкого рта и подобие блеска в тусклых карих глазах.

— Спасибо, Анна, — сказала Мэгги, — но сегодня вам с Джимми незачем беспокоиться. За мной зайдет один знакомый.

Миловидная Анна кинулась к подруге, принялась тормошить, упрекать и умолять ее. Мэгги Тул подцепила парня! Славная, преданная, неприметная дурнушка Мэгги — добрая товарка, но такая непривлекательная в качестве партнерши в танцах или на залитой луной скамейке в маленьком парке! Как это так? Когда это случилось? Кто он?

— Сегодня вечером увидишь, — сказала Мэгги, зардевшись от вина из первых гроздей, собранных в винограднике Купидона. — Шикарный что надо. На два дюйма выше Джимми, и модный дальше некуда. Я познакомлю вас с ним, как

только войдем в зал.

Анна и Джимми в тот вечер прибыли одними из первых. Анна не отрывала жадных глаз от входа в зал, чтобы поскорее увидеть, что уловила Мэгги в свои сети.

В половине девятого мисс Тул вступила в зал в сопровождении своего кавалера. Ее торжествующий взгляд мгновенно обнаружил подругу под крылышком верного Джимми.

— Ого! Вот это да! — воскликнула Анна. — Вот это называется оторвала! Шикарный, а? Вот это я понимаю! Ничего себе! Ты только взгляни, Джимми!

— Давай, давай, не стесняйся, — проговорил Джимми голосом с наждачным оттенком. — Иди, лови его, коли так нравится. Придет новый тип, фасонит и уже «ах, ах!». Можешь не обращать на меня внимания. Небось не все до одной на него клюнут. Подумаешь!

— А, заткнись, Джимми! Ты же понимаешь, о чем я говорю. Я рада за Мэгги. Ведь это у нее первый в жизни парень. Вот они идут сюда!

Мэгги двигалась через зал, словно кокетливая яхта, конвоируемая величественным крейсером. В самом деле, ее кавалер заслуживал панегирика верной Анны. На два дюйма выше среднего

атлета из «Равных шансов»; темные вьющиеся волосы; глаза и зубы сверкают при каждой то и дело мелькающей улыбке. Молодые люди из клуба «Трилистник» ценили в мужчине не столько внешнюю привлекательность и изысканные манеры, сколько отвагу, успешность в решении конфликтов «вручную» и умение уклоняться от постоянно угрожавшей им «казенной квартиры». Член этого общества, желающий привязать к своей победной колеснице деву с картонажной фабрики, не унижался до того, чтобы стараться выиграть сражение методами Красавца Бруммеля[60]. Подобные приемы в военных действиях почитались недостойными. Железные бицепсы, еле стягиваемый пуговицами пиджак на широкой груди, в глазах выражение полной убежденности в том, что представитель мужской половины рода человеческого есть вершина мироздания, — таково было узаконенное оружие и снаряжение рыцарей из «Трилистника». Даже ноги, выгнутые дугой, не только не смущали их обладателей, но как бы входили в арсенал дополнительным оружием, напоминающим то, которым пользуется Купидон. И потому атлеты-

[60] Примечания: 60

Щеголь, денди — от имени знаменитого законодателя мод Джорджа Бруммеля (1778–1840), англичанина, друга Георга IV.

ветераны клуба поглядывали на изящные позы и поклоны случайного посетителя, выставив подбородки под новым углом.

— Мой друг, мистер Терри О'Салливен, — так представляла его Мэгги. Она обвела его вокруг всего зала, знакомя с каждым «трилистником» по мере их появления. Она стала почти хорошенькой, в глазах ее появился тот особый блеск, какой бывает у всякой девушки, заполучившей своего первого поклонника, или у котенка, поймавшего свою первую мышь.

— Ну, наконец-то Мэгги нашла себе парня, — все как одна высказались девушки с картонажной фабрики.

— Мэгги Тул приманила шаркуна, — в такой форме спортсмены общества «Равные шансы» выразили свое равнодушное презрение.

Обычно на этих еженедельных танцульках Мэгги весь вечер согревала спиной кусок стены. Если иной раз кто-нибудь из чувства самопожертвования и приглашал ее на танец, она испытывала и выражала вслух столько благодарности, что в значительной степени умаляла и обесценивала его удовольствие. Она даже привыкла замечать, как Анна толкает Джимми локтем, подавая ему знак, что он должен выполнить свою повинность

— пригласить ее подругу и дать ей возможность на протяжении нескольких минут наступать ему на ноги.

Но в этот вечер тыква превратилась в карету с шестеркой коней. Терри О'Салливен стал победителем принцем, и Мэгги Тул распустила крылышки для своего первого полета бабочки. И хотя в наших метафорах волшебные сказки несколько перепутались с энтомологией, они не убавляют ни единой капли амброзии с увенчанного розами первого чудесного бала Мэгги.

Девушки осаждали Мэгги, прося познакомить с «ее парнем». Молодые люди из «Трилистника», после двух лет слепоты, вдруг прозрели и заметили, что мисс Тул не лишена обаяния. Они пружинили бицепсы и приглашали ее танцевать.

Так Мэгги взяла реванш за прежнее. А что до Терри О'Салливена, то его успех на вечере был выше всякой меры. Он встряхивал кудрями, дарил улыбки и с легкостью проделывал все те семь телодвижений, на которые вы ежедневно тратите десять минут у себя в комнате перед открытым окном для приобретения гибкости и изящества. Он танцевал, как фавн. Он создавал вокруг себя атмосферу любезности и тонкого обращения: сло-

ва свободно слетали с его языка и… и он два раза подряд протанцевал вальс с той картонажной девушкой, которую привел Демпси Донован.

Демпси был главарем общества. Он носил фрак и мог дважды подтянуться на перекладине, держась одной рукой. Он был одним из подручных «Большого Майка» О'Салливена, и тревоги его не тревожили: ни один фараон не осмелился бы арестовать его. Если Демпси случалось пробить голову уличному торговцу или всадить пулю в коленную чашку члена Клуба любителей природы и литературы имени Хайнрика Б. Суини, кто-нибудь из полицейского участка заходил к нему мимоходом и говорил:

— Загляни к нам как-нибудь, Демпси, когда найдешь время. Капитан хочет перекинуться с тобой парой слов.

Но обычно оказывалось, что там собрались какие-то джентльмены с широкими золотыми цепочками для часов на животе и с черными сигарами. Кто-нибудь рассказывал забавный анекдот, и после этого Демпси возвращался к себе и полчаса работал с шестифунтовыми гантелями. Поэтому прогулку по канату, натянутому через Ниагару, можно считать безопасным балетным номером по сравнению с тем, чтобы

дважды провальсировать с девушкой Демпси Донована. В десять часов у входа в зал показалась веселая круглая физиономия «Большого Майка» О'Салливена и в течение пяти минут озаряла улыбкой бальный зал. «Большой Майк» всегда заглядывал на пять минут на эти субботние танцульки, улыбался девушкам и раздавал настоящие перфекто[61] молодым людям, к большому удовольствию последних.

Демпси Донован мгновенно оказался с ним рядом и что-то быстро проговорил. «Большой Майк» внимательно оглядел танцующих, улыбнулся, покачал головой и отбыл.

Музыка смолкла. Танцоры расселись на стульях вдоль стен. Терри О'Салливен, отвесив артистический поклон, вернул хорошенькую девушку в голубом ее обычному партнеру и направился на поиски Мэгги. Посреди зала Демпси Донован преградил ему путь.

Некий тонкий инстинкт, унаследованный нами, вероятно, от времен Древнего Рима, заставил почти всех присутствующих обернуться и взглянуть на них — у всех возникло ощущение, что это встреча двух гладиаторов на арене. Двое или

---

[61] Примечания: 61
Сорт дорогих сигар.

трое из «Равных шансов» с бицепсами, плотно заполняющими рукава пиджака, подошли ближе.

— Минутку, мистер О'Салливен, — проговорил Демпси. — Надеюсь, вам у нас понравилось. Где, вы сказали, вы живете?

Оба гладиатора были один другому под стать. Демпси, возможно, не мешало бы сбросить фунтов десять веса. О'Салливен отличался некоторой несдержанностью движений. У Демпси был ледяной взгляд, властная линия рта, несокрушимые челюсти, цвет лица юной красотки и хладнокровие чемпиона. Гость более пылко выражал свое презрение и меньше сдерживал язвительную насмешку. Они были врагами согласно закону, написанному уже в ту пору, когда еще не остыли камни. Оба были слишком великолепны, слишком мощны, слишком несравненны, чтобы делить главенство. Лишь один из них мог выжить.

— Я живу на Гранд-стрит, — сказал О'Салливен вызывающим тоном. — И застать меня дома нетрудно. А вот где вы живете?

Демпси как будто не слышал вопроса.

— Так вы говорите, вас зовут О'Салливен, — продолжал он. — А вот «Большой Майк» сказал, что никогда вас прежде не видел.

— Он много чего не видел, — ответил фаворит бального зала.

— Вообще-то говоря, — продолжал Демпси любезным, но несколько хриплым голосом, — в нашем районе все О'Салливены друг друга знают. Вы пришли с одной из наших дам, членом нашего клуба, и нам бы хотелось быть в курсе дела. Если у вас имеется фамильное древо, дайте нам возможность познакомиться с какими-нибудь выросшими на нем историческими отростками. Или вы предпочитаете, чтобы мы это древо вырвали из вас с корнем?

— А не лучше ли вам не совать нос, куда не следует? — предложил О'Салливен невозмутимо.

Глаза Демпси оживились. Он поднял указательный палец, и на лице у него появилось такое выражение, будто его осенила блестящая мысль.

— Понял, — проговорил он сердечным тоном. — Понял. Произошло небольшое недоразумение. Вы не О'Салливен. Вы цепкохвостая обезьяна. Прошу прощения, что не узнал вас сразу.

Глаза О'Салливена сверкнули. Он сделал быстрое движение, но Энди Гоуген был начеку и успел схватить его за руку.

Демпси кивнул Энди и Уильяму Мак-Мохэну, секретарю клуба, и быстро зашагал к двери в

конце зала. Еще двое спортсменов из общества «Равные шансы» мгновенно присоединились к небольшой группе. Терри О'Салливен был теперь в руках Совета клуба и Общественных судей. Они поговорили с ним мягко и кратко и вывели его из зала через заднюю дверь.

Этот маневр со стороны членов общества нуждается в некотором пояснении. За просторным танцевальным залом находилась комната поменьше, также арендуемая клубом. В этом помещении все персональные конфликты, возникающие на балах, разрешались один на один с помощью оружия, дарованного человеку самой природой, и под наблюдением Совета общества. Ни одна представительница прекрасного пола не могла бы сказать, что когда-либо своими глазами видела рукопашную схватку во время бала «трилистников». Мужские представители клуба не допускали этого.

Так легко и гладко прошли предварительные переговоры, что многие в зале и не заметили, как прервался бальный триумф О'Салливена. Среди таких была Мэгги. Она ходила и искала своего провожатого.

— Проснись! — сказала ей Роза Кассиди. — Ты что, не знаешь? Демпси Донован схлестнулся с

твоим красавчиком, и они все провальсировали на бойню. Скажи, Мэгги, как тебе нравится моя новая прическа?

Мэгги прижала руку к груди своей маркизетовой блузки.

— Он пошел драться с Демпси! — еле выговорила она. — Надо их остановить! Демпси Донован не может с ним драться. Да ведь… да ведь он его убьет!

— А-а, что тебе за дело? — сказала Роза. — Они на каждой танцульке дерутся, не знаешь, что ли?

Но Мэгги уже бежала, с трудом пробираясь в лабиринте танцующих. Она стремглав ворвалась через дверь в конце зала в темный коридор и налегла крепким плечом на дверь комнаты, служившей ареной поединков. Дверь поддалась, и в одно мгновение Мэгги увидела все — Совет клуба с часами в руках, Демпси Донована без пиджака, с воинственной грацией современного боксера, приплясывающего почти перед носом противника, и Терри О'Салливена, который стоял, сложив руки на груди, с лютой ненавистью в темных глазах. Мэгги, не сбавляя скорости, бросилась вперед с громким криком — она как раз успела схватить О'Салливена за руку, повиснуть на ней и вырвать

из нее длинный блестящий стилет, который он выхватил из-за пазухи.

Нож со звоном упал на пол. Холодная сталь в помещении клуба «Равные шансы»! Такого еще ни разу не случалось. С минуту все стояли, застыв на месте. Потом Энди Гоуген с любопытством взглянул на стилет и двинул его носком ботинка — словно археолог, столкнувшийся с древним, еще неведомым ему оружием.

И тогда О'Салливен прошипел сквозь зубы что-то невразумительное. Демпси и члены Совета обменялись взглядами. Затем Демпси взглянул на О'Салливена без гнева, как смотрят на приблудную собаку, и кивком головы указал ему на дверь.

— С черного хода, Джузеппе, — сказал он отрывисто. — Кто-нибудь швырнет тебе вслед твою шляпу.

Мэгги подошла к Демпси Доновану. На щеках ее горели алые пятна и по ним медленно текли слезы. Но она мужественно взглянула ему в лицо.

— Я знала это, Демпси, — сказала она, и глаза ее потускнели даже в потоках слез. — Я знала, что он итальяшка. Его зовут Тони Спинелли. Я прибежала сюда, когда мне сказали, что у вас драка. Такие, как он, всегда носят ножи. Но ты не понимаешь,

Демпси: у меня еще никогда не было парня и мне так надоело каждую субботу таскаться вместе с Анной и Джимми, и я уговорилась с этим Спинелли, чтобы он назвался О'Салливеном, и сама привела его сюда. Его ведь к нам не пустили бы, если бы знали, кто он такой. Мне придется выйти из клуба, я понимаю.

Демпси повернулся к Энди Гоуэну.

— Выброс эту пилу для сыра в окно, — проговорил он. — И скажи там в зале, что мистера О'Салливена вызвали по телефону в Тэмени-холл[62].

Потом он снова повернулся к Мэгги.

— Послушай, Мэг, — сказал он, — я провожу тебя домой. И как насчет следующей субботы? Хочешь пойти со мной на танцы, если я зайду за тобой?

Поразительно, с какой быстротой карие глаза Мэгги из тусклых становились блестящими.

— С тобой, Демпси? — сказала она, запинаясь. — Ты ещё спроси — хочет ли утка плавать?

---

[62] Примечания: 62
Тэмени-хол — штаб демократической партии в Нью-Йорке.

Прожигатель жизни

Перевод Л. Каневского.

Мне хотелось узнать пару-тройку вещей. Не люблю тайн. Посему я начал расследование.

Две недели ушло у меня на исследование того, что женщины носят в своих небольших плоских чемоданчиках. Потом меня занимало, почему матрац состоит из двух частей. Вначале мое такое серьезное расследование столкнулось с подозрением, потому что оно казалось всем головоломкой. В конце концов мне стало ясно, что такая двойная конструкция преследовала цель облегчить труд женщины, которая стелет постель. Я имел достаточно глупости, чтобы продолжать, и спрашивал у всех, почему в таком случае они не делаются с двумя одинаковыми частями, но все от меня испуганно сторонились.

Третьей вещью, которую я жаждал получить из фонтана знаний, было стремление непременно стать просвещенным по поводу такого человека, которого мы называем *Прожигателем жизни*. Мои представления о таком типе были крайне расплывчатыми, чего никак нельзя было до-

пустить. Мы всегда должны иметь конкретное представление о чем бы то ни было, даже если речь идет о воображаемой идее, иначе всего этого не понять. Теперь у меня есть воображаемый портрет Джона Доу, такой четкий и ясный, словно он гравирован на стальном листе. У него близорукие голубые глаза, он носит коричневую жилетку и блестящий черный сюртук из саржи. Он всегда стоит на солнцепеке и непременно что-то жует, его карманный нож полураскрыт, и он постоянно трогает его лезвие большим пальцем. Ну а что касается *Человека наверху*, то если его найдут, то можете мне поверить — это будет крупный, бледный мужчина с голубыми прожилками на запястьях под белыми манжетами, он будет чистить свои ботинки на улице, куда долетают звуки игры в шары, и в его облике будет что-то изумрудное.

Но воображение мое, когда нужно было описать портрет *Прожигателя жизни*, оказалось чрезвычайно скудным. Я представил себе, что у него презрительный смешок (как улыбка Чеширского кота) и пристегнутые манжеты, и это все.

После этого я спросил об этом одного газетчика, репортера.

— Ну, — начал он свое объяснение, — *Про-*

жигатель жизни — это нечто среднее между бездельником и завсегдатаем клуба. Это, правда, не совсем точно, но он похож на того, кого приглашает на приемы миссис Фиш и кто следит за частными боксерскими поединками. Он, конечно, не принадлежит к клубу «Лотос» или Ассоциации Джерри Мак-Джорджана, учеников сталелитейщиков, выпускающих оцинкованную сталь, и любителей похлебки из моллюсков. Не знаю, право, как поточнее вам его описать. Вы увидите его повсюду, там, где что-то происходит. Да, я думаю, — это настоящий тип. Модно одевается по вечерам; знает каждого полицейского или официанта в городе по имени. Нет, он никогда не путешествует с крашенными перекисью водорода блондинками. Он всегда либо один, либо в компании с настоящим человеком.

На этом репортер оставил меня, и я стал сам углубляться в тему. К этому времени все три тысячи сто двадцать шесть электрических лампочек зажглись в Риальто. Мимо шли люди, но они меня не интересовали. Куртизанки жгли меня своими глазами, но ожогов на мне не оставалось. Мимо шли любители поесть, пешеходы, продавщицы, доверенные лица, попрошайки, актеры, дорожные работники, миллионеры, иностранцы

— все они скользили, подпрыгивали, крались, шли вразвалочку, — но я их не замечал. Я их всех знал, я читал в их сердцах, они уже мне отслужили. Мне нужен был теперь *Прожигатель жизни*. Он был настоящим типом, и отказаться от него было бы ошибкой, даже типографской! — так что нет! Будем продолжать.

Ну, что же, если продолжать, то с отступления нравственного порядка. В самый раз понаблюдать за семьей, читающей воскресную газету. Ненужные страницы уже отброшены. Папа с важным видом пристально разглядывает фотографию молодой девушки, которая занимается физическими упражнениями перед распахнутым настежь окном, она совершает опасные наклоны, но будет, будет! Мама старается найти недостающие буквы в слове — Н-ю Йо-к. Старшие девочки жадно изучают финансовые сообщения, так как какой-то молодой человек сказал, что в прошлое воскресенье он совершил умопомрачительную биржевую аферу. Вилли, восемнадцатилетний сынок, который посещает Нью-Йоркскую публичную школу, погружен в еженедельно появляющуюся статью о том, что можно сделать со старой рубашкой, так как надеется получить приз в соревновании по шитью в день их выпуска.

Бабушка уже два часа штудирует юмористическое приложение. А маленькая Тотти, совсем еще младенец, ловко ползает по страницам, где указаны сделки с недвижимостью.

Такая картина весьма приятна, и она призывает меня скостить несколько строк в рассказе. Иначе пришлось бы говорить о горячительных напитках.

Я пошел в кафе и, пока мне смешивали мою выпивку, спросил у человека, хватающего еще теплый мой стакан после того, как я его выпиваю и ставлю на стойку, что он понимает под термином, эпитетом, описанием или характеристикой того, что называется *Прожигатель жизни*?

— Ну, — осторожно начал он, — это такой парень, который любит принимать участие в ночных тусовках, понимаете, это — увлекательный спорт, и тут не до тормозов — вот что это значит, как я думаю.

Я поблагодарил его и пошел прочь.

На тротуаре девушка из Армии Спасения побренчала своей коробкой для сбора подаяний возле моего кармана.

— Не могли бы вы мне сказать, — обратился я к ней, — приходилось ли вам когда-нибудь встречать такого человека, которого обычно называют

Прожигателем жизни, во время своих ежедневных прогулок?

— Кажется, я знаю, кого вы имеете в виду, — ответила она с милой улыбкой. — Мы их постоянно видим в одних и тех же местах по ночам. Они — пособники дьявола, и если бы солдаты любой армии хранили бы такую же верность присяге, как они ему, то их командиры были бы этим весьма довольны. Мы общаемся с ними, пытаемся выжать несколько пенни из этих исчадий во имя служения Господу.

Она снова забренчала железной коробкой, и я бросил в щель дайм.

Перед сияющим огнями отелем я увидел своего приятеля, литературного критика, который вылезал из экипажа. Казалось, он никуда не спешил, и я обратился к нему с тем же вопросом. Он мне искренне ответил, на что я и рассчитывал.

— Здесь, в Нью-Йорке, существует такой тип — *Прожигатель жизни*, — сказал он. — Этот термин мне хорошо знаком, но, по-моему, еще никто прежде не просил меня описать такого человека. Я сказал бы, недолго думая, что это такой человек, который безнадежно болен весьма распространенной у нас в Нью-Йорке болезнью — желанием все видеть и все знать. Он строго соблюдает все

условности в одежде и в манерах, а в искусстве совать свой нос туда, куда его не просят, он может любому дать сто очков вперед: любопытной кошке, циветте или галке. Это человек, прогнавший всю богему из винных погребков на крышу сада и с Хестер-стрит в Гарлем, таким образом в городе не осталось ни одного места, где они режут спагетти ножом. Все это сделал ваш *Прожигатель жизни*. Он всегда идет по следу чего-то нового. Он — воплощение любопытства, неблагоразумия, вездесущности. Для него были изобретены двухколесные экипажи, сигары с золотым ободком, а также музыка за обедом. Таких, как он, немного, и, хотя их — меньшинство, они все же заметны.

Я очень рад, что вы затронули эту тему, я чувствовал то влияние, которое оказывает эта ночная болезнь на наш город, но я никогда прежде этого не анализировал. Теперь я осознаю, что вашего *Прожигателя жизни* нужно было квалифицировать давным-давно. За ним всегда увязываются агенты по продаже вина и модели, рекламирующие одежду, а оркестр исполняет для него «Давайте отправимся все выше и выше!», а не Генделя. Он совершает свои обходы каждый вечер, а мы с вами его не замечаем, как слона в зоопарке. Когда грабят сигаретный киоск,

он лишь с чувством собственного достоинства подмигивает полицейскому офицеру и спокойно уходит, свободный от всяких подозрений, а мы с вами роемся в записных книжках, ищем имена президентов или звезд, чтобы их сержант записал как тех, кто за нас поручится.

Мой друг, литературный критик, немного помолчал, чтобы скопить энергии для нового приступа красноречия. Я тут же воспользовался моментом.

— Вы верно его квалифицировали, — радостно воскликнул я. — Вы удачно нарисовали его портрет в галерее городских типов. Но мне нужно с таким встретиться лицом к лицу. Я должен изучить Прожигателя жизни, основываясь на сведениях из первых рук. Где я могу найти его? Как я его узнаю?

Но критик, видимо, меня не слышал, так как продолжал. А извозчик терпеливо ждал, когда он заплатит за проезд.

— Это — сублимация бесцеремонного вмешательства в разговор, это — экстракт резиновой липучки высшей пробы это — сконцентрированный, очищенный, непреодолимый, неизбежный дух Любопытства и Пытливой любознательности. Он дышит новой сенсацией. А когда его опыт

истощается, принимается за исследование новых областей с такой неутомимостью, что…

— Простите меня, — перебил я его, — не могли бы вы представить мне такого типа? Это совершенно нечто новое для меня. Мне нужно его изучить. И я обыщу весь город, покуда не найду его. Вероятно, его обиталище где-то здесь, на Бродвее.

— Я собираюсь здесь пообедать, — сказал мой друг. — Пойдемте со мной, и если там окажется *Прожигатель жизни*, я незаметно укажу вам его. Я знаю там почти всех завсегдатаев.

— Я тоже еще не обедал, но вы, надеюсь меня простите. Я с вами не пойду. Не хочу зря терять времени. Ибо я намерен сегодня же вечером найти *Прожигателя жизни*, даже если бы мне для этого пришлось прочесать весь Нью-Йорк от Бэттери до Кони-Айленда.

Я зашагал прочь от отеля по Бродвею. Мое расследование, связанное с этим типом, придавало вкус жизни, и я с особым удовольствием втягивал в ноздри воздух. Мне было так радостно находиться в этом громадном городе, таком сложном, таком различном. Не торопясь, с несколько напыщенным видом, я шел вперед, и сердце мое сильно колотилось в груди от сознания, что я

— гражданин «великого Готхэма», как в шутку называют все Нью-Йорк, что я разделяю вместе с ним его великолепие, все его удовольствия, его славу и престиж.

Я решил перейти через улицу. Вдруг я услышал жужжание, словно летала пчела, потом я совершил долгую приятную прогулку на автомобиле. Когда я открыл глаза, то, вспомнив запах бензина, громко произнес:

— Разве все еще не кончилось?

Больничная нянечка положила свою удивительно мягкую руку мне на горячий лоб. Пришел моложавый доктор, он, широко улыбнувшись, передал мне утреннюю газету.

— Хотите узнать, что случилось? — весело спросил он.

И я прочитал статью. После заголовка шли строчки, в которых рассказывалось о том, что приключилось со мной после того момента, когда я накануне вечером услышал пчелиное жужжание.

А статейка заканчивалась такими строками: «В больнице Бельвю утверждают, что полученные пациентом повреждения не очень серьезные. На вид этот человек — типичный *Прожигатель жизни*».

Фараон и хорал

Перевод А. Горлина.

Сопи заерзал на своей скамейке в Мэдисон-сквере. Когда стаи диких гусей тянутся по ночам высоко в небе, когда женщины, не имеющие котиковых манто, становятся ласковыми к своим мужьям, когда Сони начинает ерзать на своей скамейке в парке, это значит, что зима на носу.

Желтый лист упал на колени Сопи. То была визитная карточка Деда Мороза; этот старик добр к постоянным обитателям Мэдисон-сквера и честно предупреждает их о своем близком приходе. На перекрестке четырех улиц он вручает свои карточки Северному ветру, швейцару гостиницы «Под открытым небом», чтобы постояльцы ее приготовились.

Сопи понял, что для него настал час учредить в собственном лице комитет для изыскания средств и путей к защите своей особы от надвигавшегося холода. Поэтому он заерзал на своей скамейке.

Зимние планы Сопи не были особенно честолюбивы. Он не мечтал ни о небе юга, ни о поездке

на яхте по Средиземному морю со стоянкой в Неаполитанском заливе. Трех месяцев заключения на Острове — вот чего жаждала его душа. Три месяца верного крова и обеспеченной еды, в приятной компании, вдали от посягательства Борея и фараонов — для Сопи это был поистине предел желаний.

Уже несколько лет гостеприимная тюрьма на Острове служила ему зимней квартирой. Как его более счастливые сограждане покупали себе билеты во Флориду или на Ривьеру, так и Сопи делал несложные приготовления к ежегодному паломничеству на Остров. И теперь время для этого наступило.

Прошлой ночью три воскресных газеты, которые он умело распределил — одну под пиджак, другой обернул ноги, третьей закутал колени, не защитили его от холода: он провел на своей скамейке у фонтана очень беспокойную ночь, так что Остров рисовался ему желанным и вполне своевременным, приютом. Сопи презирал заботы, расточаемые городской бедноте во имя милосердия. По его мнению, закон был милостивее, чем филантропия. В городе имелась тьма общественных и частных благотворительных заведений, где он мог бы получить кров и пищу,

соответствовавшие его скромным запросам. Но для гордого духа Сопи дары благотворительности были тягостны. За всякое благодеяние, полученное из рук филантропов, надо было платить если не деньгами, то унижением. Как у Цезаря был Брут, так и здесь каждая благотворительная койка была сопряжена с обязательной ванной, а каждый ломоть хлеба отравлен бесцеремонным залезанием в душу. Не лучше ли быть постояльцем тюрьмы? Там, конечно, все делается по строго установленным правилам, но зато никто не суется в личные дела джентльмена.

Решив, таким образом, отбыть на зимний сезон на Остров, Сопи немедленно приступил к осуществлению своего плана. В тюрьму вело много легких путей. Самая приятная дорога туда пролегала через ресторан. Вы заказываете себе в хорошем ресторане роскошный обед, наедаетесь до отвала и затем объявляете себя несостоятельным. Вас без всякого скандала передают в руки полисмена. Сговорчивый судья довершает доброе дело.

Сопи встал и, выйдя из парка, пошел по асфальтовому морю, которое образует слияние Бродвея и Пятой авеню. Здесь он остановился у залитого огнями кафе, где по вечерам сосредоточивается

все лучшее, что может дать виноградная лоза, шелковичный червь и протоплазма.

Сопи верил в себя — от нижней пуговицы жилета и дальше вверх. Он был чисто выбрит, пиджак на нем был приличный, а красивый черный галстук бабочкой ему подарила в День Благодарения[63] дама-миссионерша. Если бы ему удалось незаметно добраться до столика, успех был бы обеспечен. Та часть его существа, которая будет возвышаться над столом, не вызовет у официанта никаких подозрений. Жареная утка, думал Сопи, и к ней бутылка шабли. Затем сыр, чашечка черного кофе и сигара. Сигара за доллар будет в самый раз. Счет будет не так велик, чтобы побудить администрацию кафе к особо жестоким актам мщения, а он, закусив таким манером, с приятностью начнет путешествие в свое зимнее убежище.

Но как только Сопи переступил порог ресторана, наметанный глаз метрдотеля сразу же приметил его потертые штаны и стоптанные ботинки. Сильные, ловкие руки быстро повернули его и бесшумно выставили на тротуар, избавив,

---

[63] Примечания: 63

День Благодарения (последний четверг ноября) — американский праздник, введённый ранними колонистами Новой Англии в ознаменование первого урожая, собранного в Новом Свете.

таким образом, утку от уготованной ей печальной судьбы.

Сопи свернул с Бродвея. По-видимому, его путь на Остров не будет усеян розами. Что делать! Надо придумать другой способ проникнуть в рай.

На углу Шестой авеню внимание прохожих привлекали яркие огни витрины с искусно разложенными товарами. Сопи схватил булыжник и бросил его в стекло. Из-за угла начал сбегаться народ, впереди всех мчался полисмен. Сопи стоял, заложив руки в карманы, и улыбался навстречу блестящим медным пуговицам.

— Кто это сделал? — живо осведомился полисмен.

— А вы не думаете, что тут замешан я? — спросил Сопи, не без сарказма, но дружелюбно, как человек, приветствующий великую удачу.

Полисмен не пожелал принять Сопи даже как гипотезу. Люди, разбивающие камнями витрины магазинов, не ведут переговоров с представителями закона. Они берут ноги в руки. Полисмен увидел за полквартала человека, бежавшего вдогонку за трамваем. Он поднял свою дубинку и помчался за ним. Сопи с омерзением в душе побрел дальше… Вторая неудача.

На противоположной стороне улицы находился

ресторан без особых претензий. Он был рассчитан на большие аппетиты и тощие кошельки. Посуда и воздух в нем были тяжелые, скатерти и супы — жиденькие. В этот храм желудка Сопи беспрепятственно провел свои предосудительные сапоги и красноречивые брюки. Он сел за столик и поглотил бифштекс, порцию оладий, несколько пончиков и кусок пирога. А затем поведал ресторанному слуге, что он, Сопи, и самая мелкая никелевая монета не имеют между собой ничего общего.

— Ну, а теперь, — сказал Сопи, — живее! Позовите фараона. Будьте любезны, пошевеливайтесь: не заставляйте джентльмена ждать.

— Обойдешься без фараонов! — сказал официант голосом мягким, как сдобная булочка, и весело сверкнул глазами, похожими на вишенки в коктейле. — Эй, Кон, подсоби!

Два официанта аккуратно уложили Сопи левым ухом на бесчувственный тротуар. Он поднялся, сустав за суставом, как складная плотничья линейка, и счистил пыль с платья. Арест стал казаться ему радужной мечтой, Остров — далеким миражем. Полисмен, стоявший за два дома, у аптеки, засмеялся и дошел дальше.

Пять кварталов миновал Сопи, прежде чем на-

брался мужества, чтобы снова попытать счастья. На сей раз ему представился случай прямо-таки великолепный. Молодая женщина, скромно и мило одетая, стояла перед окном магазина и с живым интересом рассматривала тазики для бритья и чернильницы, а в двух шагах от нее, опершись о пожарный кран, красовался здоровенный, сурового вида полисмен.

Сопи решил сыграть роль презренного и всеми ненавидимого уличного ловеласа. Приличная внешность намеченной жертвы и близость внушительного фараона давали ему твердое основание надеяться, что скоро он ощутит увесистую руку полиции на своем плече и зима на уютном островке будет ему обеспечена.

Сопи поправил галстук — подарок дамы-миссионерши, вытащил на свет божий свои непослушные манжеты, лихо сдвинул шляпу набекрень и направился прямо к молодой женщине. Он игриво подмигнул ей, крякнул, улыбнулся, откашлялся, словом — нагло пустил в ход все классические приемы уличного приставалы. Уголком глаза Сопи видел, что полисмен пристально наблюдает за ним. Молодая женщина отошла на несколько шагов и опять предалась созерцанию тазиков для бритья. Сопи пошел за ней следом, нахально стал

рядом с ней, приподнял шляпу и сказал:

— Ах, какая вы милашечка! Прогуляемся?

Полисмен продолжал наблюдать. Стоило оскорбленной молодой особе поднять пальчик, и Сопи был бы уже на пути к тихой пристани. Ему уже казалось, что он ощущает тепло и уют полицейского участка. Молодая женщина повернулась к Сопи и, протянув руку, схватила его за рукав.

— С удовольствием, Майк! — сказала она весело. — Пивком угостишь? Я бы я раньше с тобой заговорила, да фараон подсматривает.

Молодая женщина обвилась вокруг Сопи, как плющ вокруг дуба, и под руку с ней он мрачно проследовал мимо блюстителя порядка. Положительно, Сопи был осужден наслаждаться свободой.

На ближайшей улице он стряхнул свою спутницу и пустился наутек. Он остановился в квартале, залитом огнями реклам, в квартале, где одинаково легки сердца, победы и музыка. Женщины в мехах и мужчины в теплых пальто весело переговаривались на холодном ветру. Внезапный страх охватил Сопи. Может, какие-то злые чары сделали его неуязвимым для полиции? Он чуть было не впал в панику и дойдя до полисмена,

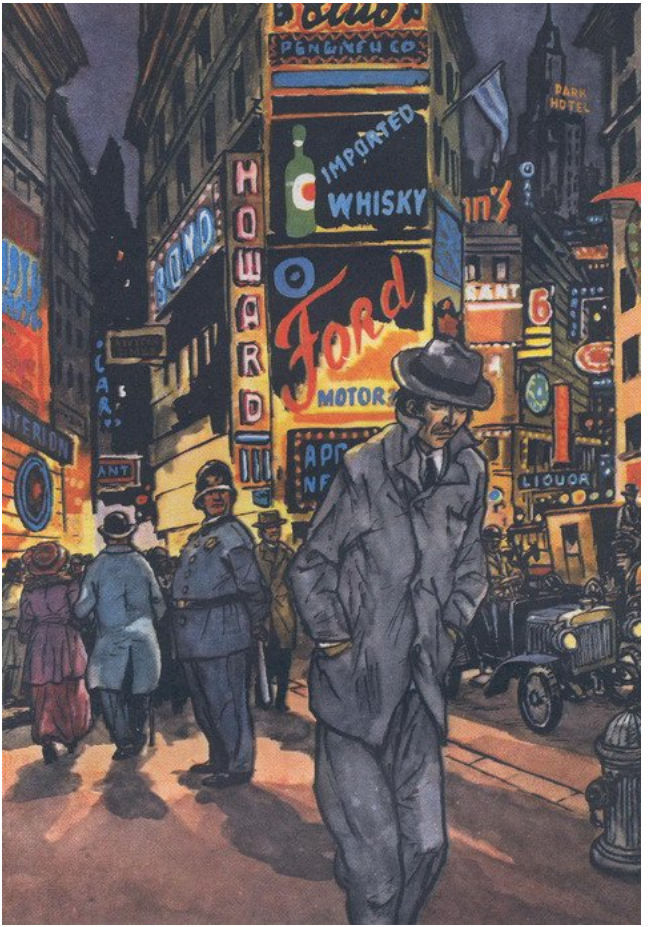
величественно стоявшего перед освещенным подъездом театра, решил ухватиться за соломинку «хулиганства в публичном месте».

Во всю мочь своего охрипшего голоса Сопи заорал какую-то пьяную песню. Он пустился в пляс на тротуаре, вопил, кривлялся — всяческими способами возмущал спокойствие.

Полисмен покрутил свою дубинку, повернулся к скандалисту спиной и заметил прохожему:

— Это йэльский студент. Они сегодня празднуют свою победу над футбольной командой Хартфордского колледжа. Шумят, конечно, но это не опасно. Нам дали инструкцию не трогать их.

Безутешный Сопи прекратил свой никчемный фейерверк. Неужели ни один полисмен так и не схватит его за шиворот? Тюрьма на Острове стала казаться ему недоступной Аркадией. Он плотнее застегнул свой легкий пиджачок: ветер пронизывал его насквозь.


PENGUIN FISH CO.
IMPORTED
WHISKY
HOWARD III
BOND
Ford
MOTOR
PARK HOTEL
LIQUOR

В табачной лавке он увидел господина, закуривавшего сигару от газового рожка. Свои шелковый зонтик он оставил у входа. Сопи перешагнул порог, схватил зонтик и медленно двинулся прочь. Человек с сигарой быстро последовал за ним.

— Это мой зонтик, — сказал он строго.

— Неужели? — нагло ухмыльнулся Сопи, прибавив к мелкой краже оскорбление. — Почему же вы не позовете полисмена? Да, я взял ваш зонтик. Так позовите фараона! Вот он стоит на углу.

Хозяин зонтика замедлил шаг. Сопи тоже. Он уже предчувствовал, что судьба опять сыграет с ним скверную шутку. Полисмен смотрел на них с любопытством.

— Разумеется, — сказал человек с сигарой, — конечно… вы… словом, бывают такие ошибки… я… если это ваш зонтик… надеюсь, вы извините меня… я захватил его сегодня утром в ресторане… если вы признали его за свой… что же… я надеюсь, вы…

— Конечно, это мой зонтик, — сердито сказал Сопи.

Бывший владелец зонтика отступил. А полисмен бросился на помощь высокой блондинке в пышном манто: нужно было перевести ее через

улицу, потому что за два квартала показался трамвай.

Сопи свернул на восток по улице, изуродованной ремонтом. Он со злобой швырнул зонтик в яму, осыпая проклятиями людей в шлемах и с дубинками. Он так хочет попасться к ним в лапы, а они смотрят на него, как на непогрешимого папу римского.

Наконец, Сопи добрался до одной из отдаленных авеню, куда суета и шум почти не долетали, и взял курс на Мэдисон-сквер. Ибо инстинкт, влекущий человека к родному дому, не умирает даже тогда, когда этим домом является скамейка в парке.

Но на одном особенно тихом углу Сопи вдруг остановился. Здесь стояла старая церковь с остроконечной крышей. Сквозь фиолетовые стекла одного из ее окон струился мягкий свет. Очевидно, органист остался у своего инструмента, чтобы проиграть воскресный хорал, ибо до ушей Сопи донеслись сладкие звуки музыки, и он застыл, прижавшись к завиткам чугунной решетки.

Взошла луна, безмятежная, светлая; экипажей и прохожих было немного; под карнизами сонно чирикали воробьи — можно было подумать, что вы на сельском кладбище. И хорал, который иг-

рал органист, приковал Сопи к чугунной решетке, потому что он много раз слышал его раньше — в те дни, когда в его жизни были такие вещи, как матери, розы, смелые планы, друзья, и чистые мысли, и чистые воротнички.

Под влиянием музыки, лившейся из окна старой церкви, в душе Сопи произошла внезапная и чудесная перемена. Он с ужасом увидел бездну, в которую упал, увидел позорные дни, недостойные желания, умершие надежды, загубленные способности я низменные побуждения, из которых слагалась его жизнь.

И сердце его забилось в унисон с этим новым настроением. Он внезапно ощутил в себе силы для борьбы со злодейкой-судьбой. Он выкарабкается из грязи, он опять станет человеком, он победит зло, которое сделало его своим пленником. Время еще не ушло, он сравнительно молод. Он воскресит в себе прежние честолюбивые мечты и энергично возьмется за их осуществление. Торжественные, но сладостные звуки органа произвели в нем переворот. Завтра утром он отправится в деловую часть города и найдет себе работу. Один меховщик предлагал ему как-то место возчика. Он завтра же разыщет его и попросит у него эту службу. Он хочет быть человеком. Он…

Сопи почувствовал, как чья-то рука опустилась на его плечо. Он быстро оглянулся и увидел перед собою широкое лицо полисмена.

— Что вы тут делаете? — спросил полисмен.

— Ничего, — ответил Сопи.

— Тогда пойдем, — сказал полисмен.

— На Остров, три месяца, — постановил на следующее утро судья.

Гармония в природе

Перевод Н. Дехтеревой.

На днях я побывал на выставке и увидел там картину, проданную за пять тысяч долларов. У Крафта, ее создателя — юнца, прибывшего с Запада — было одно любимое кушанье и одна излюбленная теория. Его хлебом насущным была несокрушимая вера в Безупречную Гармонию в Природе. Свои теоретические рассуждения он строил вокруг рубленой солонины с яйцом-пашот. У картины имелась предыстория — вернувшись домой, я вытряхнул ее из своей авторучки. Только подумать, что Крафт…

Но не это начало рассказа.

Три года тому назад Крафт, Бил Джадкинс (поэт) и я питались у Сайфера на Восьмой авеню. Вернее сказать, нас там питали. Когда в наших карманах заводились деньги, Сайфер, как он сам выражался, «вынимал» их оттуда. Никакого официального кредита ресторан Сайфера нам не предоставлял. Мы приходили, заказывали еду, съедали ее. Потом или платили за нее, или не платили. Нас не отпугивала воркотня Сайфера и его свирепые

брови. Где-то в глубинах его хмурой души он был либо принцем, либо глупцом, либо художником. Он сидел за изъеденным червоточиной столом, заваленным кипами официантских чеков такой давности, что, я уверен, в самом низу лежал чек за устрицы, съеденные и оплаченные самим Гендриком Гудзоном[64].

У Сайфера была особая, роднившая его с Наполеоном III и пучеглазым окунем способность заволакивать свои глаза пеленой, отчего окна его души делались непроницаемы. Однажды, когда мы уходили из ресторана, заплатив за еду лишь явно неубедительными извинениями, я обернулся и увидел, что Сайфер, глядя нам вслед затянутыми пленкой глазами, трясется от беззвучного смеха. Время от времени мы платили ему что-нибудь в счет долга.

Но самым примечательным в ресторане Сайфера была Милли. Милли работала официанткой. Она служила великолепным подтверждением теории Крафта относительно Гармонии в Природе. Милли в значительной степени была создана для ресторанного обслуживания, как Минерва

---

[64] Примечания: 64

Гендрик Гудзон — английский мореплаватель, открывший в начале XVII в. названную его именем реку, в устье которой был позже основан Нью-Йорк.

для развития искусства потасовок, а Венера — для науки серьезного флирта. Отлитая из бронзы и водруженная на пьедестал, Милли стояла бы в ряду самых благородных из всех своих героических сестер, и имя ей было бы Богиня, Насыщающая Мир. Она была неотделима от ресторана Сайфера. Едва войдя, вы уже знали, что сейчас увидите ее колоссальную фигуру, маячащую в сизой туче прогорклого чада, точно так, как с уверенностью ожидаете, что сквозь плывущие над Гудзоном туманы появятся Палисады[65].

Здесь, в облаках пара от вареных овощей, аромата бесчисленных порций «ветчины с…», среди грохота посуды, звона ножей и вилок, возгласов «спешный заказ!», криков проголодавшихся и жуткого шума насыщающихся, в ореоле жужжащих крылатых созданий, завещанных нам фараонами, Милли величественно расчищала себе путь, как огромный лайнер, рассекающий волны среди пирог с вопящими дикарями.

Наша Богиня Чревоугодия была таких мощных форм, что взирать на них можно было только с благоговейным трепетом. Рукава ее блузки были всегда засучены выше локтя. Она могла бы

---

[65] Примечания: 65
Отвесные скалы на западном берегу Гудзона.

всех нас троих мушкетеров сгрести в охапку и выбросить в окно. Милли была моложе нас, но в ней было столько от праматери нашей Евы и столько простодушия, что с самого начала она обращалась с нами по-матерински. Снедь из ресторанного меню она выкладывала нам на тарелки с царственным безразличием в отношении ее цены и количества, словно высыпала ее из неисчерпаемого рога изобилия. Голос ее звучал как большой серебряный колокол. Широкая, белозубая улыбка редко сходила с ее лица. Она была как золотистый солнечный восход на горных вершинах. Глядя на нее, я всякий раз вспоминал Йосемитскую долину[66].

И при этом я как-то не мог представить ее себе вне ресторана Сайфера. Природа определила ей место, и именно здесь Милли пустила корни и дала пышный рост. Казалось, она была вполне довольна своим положением и, принимая по субботам свои жалкие несколько долларов, вспыхивала от удовольствия, как ребенок, получивший неожиданный подарок.

Крафт первым выразил вслух те опасения, которые, вероятно, давно уже зрели в каждом из

[66] Примечания: 66

Живописная горная долина с водопадами, национальный парк в Калифорнии.

нас. Вопрос был, разумеется, поднят случайно, что-то в связи с проблемами искусства, которые мы усердно обсуждали. Кто-то из нас сопоставил гармонию, существующую между симфонией Гайдна и фисташковым мороженым, с тонким соответствием между Милли и рестораном Сайфера.

— Над Милли висит роковая опасность, — заметил Крафт. — И если это случится, она будет потеряна и для Сайфера и для нас.

— Неужели растолстеет? — спросил Джадкинс со страхом.

— Начнет посещать вечернюю школу, станет образованной? — предположил я с тревогой.

— Дело вот в чем, — заговорил Крафт, при каждом слове тыча выпрямленным пальцем в лужицу от пролитого на столе кофе. — У каждого свое. У Цезаря — Брут, у хлопка — коробочный червь, у хористки — банкир из Питтсбурга, у прорастающего корня — ядовитый плющ, у героя — медаль Карнеги[67], у искусства — Морган[68],

---

[67] Примечания: 67

Медаль за героический поступок, учрежденная миллионером-филантропом Карнеги.

[68] Примечания: 68

Морган, Джон Пирпонт (1837–1913) — потомственный миллионер, коллекционировал картины.

у розы…

— Ну, не тяни, — прервал я его, уже серьезно обеспокоенный. — Не думаешь ли ты, что Милли начнет носить корсет?

— В один прекрасный день, — произнес Крафт с мрачной торжественностью, — к Сайферу явится заказать тарелку бобов лесопромышленник-миллионер из Висконсина, и он женится на Милли.

— Никогда! — в ужасе воскликнули мы с Джадкинсом.

— Да-да, лесопромышленник, — повторил Крафт хрипло.

— Лесопромышленник-миллионер! — вздохнул я с отчаянием.

— Из Висконсина! — со стоном выдохнул из себя Джадкинс.

Мы все сошлись на том, что нашей Милли действительно может угрожать такая ужасная судьба. Это было более чем вероятно. Милли, обширная, как необозримая девственная сосновая роща, была создана, чтобы привлечь внимание лесопромышленника. Мы очень хорошо знали, что такое Барсук[69], когда ему улыбнется фортуна. Сразу же направляется в Нью-Йорк и

---

[69] Примечания: 69
Прозвище жителей штата Висконсин.

выкладывает свои богатства к ногам девицы, подавшей ему в закусочной тарелку бобов. Мы уже заранее видели броский газетный заголовок — он сам собой напрашивался журналисту воскресной газетки:

ПРЕУСПЕВАЮЩИЙ ПРОМЫШЛЕННИК

ПОКОРЁН
ОЧАРОВАТЕЛЬНОЙ ОФИЦИАНТКОЙ

Некоторое время нас не покидало ощущение, что мы вот-вот потеряем нашу Милли.

Вдохновляла нас только любовь к Безупречной Гармонии в Природе. Мы не могли отдать Милли лесопромышленнику, вдвойне ненавистному из-за его богатства и места рождения. Нас передергивало при мысли, что Милли с укрощенным голосом и уже не засученными рукавами сидит в мраморном вигваме и наливает чай этому убийце деревьев. Нет, ни за что! Милли неотделима от ресторана Сайфера, от чада жареного бекона, аромата капусты, величественного вагнеровского хора небьющихся фаянсовых кружек и гремящих судков.

Наши страхи оказались пророческими, ибо в тот же вечер дикие леса обрушили на нас предопределенного судьбой похитителя Милли

— расплата за приверженность к гармонии и порядку! Но повинным в этом бедствии оказался не Висконсин, а Клондайк.

Мы сидели и ужинали тушеным мясом и сушеными яблоками, когда он ввалился в дверь, словно только что правил собачьей упряжкой, и расположился за нашим столом. С общительностью и громогласностью старателя он стал терзать наши уши, требуя товарищеского союза людей, затерянных в дикой глуши закусочной.

Мы приняли его как оно подобало и через три минуты были только что не готовы отдать жизнь друг за друга.

Грубый, неотесанный бородач с обветренной кожей, только что с парома на Северной реке. Мне чудилось, что на плечах его еще серебрится снежная пыль Чилкута[70].

А потом он усыпал стол золотыми самородками, чучелами куропаток, бусами и тюленьими шкурами — все, как полагается только что вернувшемуся с Аляски, и принялся болтать о своих богатствах.

— В банке на счету у меня уже два миллиона, — подвел он итог. — Да на моих приисках в день

---

[70] Примечания: 70
Горный перевал в Скалистых горах на Аляске.

до тысячи набирается. А сейчас я хочу тушеного мяса и консервированных персиков. Я не сходил с поезда с тех пор, как отъехал от Сиэтла, я изголодался. То, что негритосы скармливают вам в пульмановских вагонах, в счет не идет. Джентльмены, заказывайте, чего пожелаете.

И тут выплыла Милли с тысячью тарелок на вытянутой обнаженной руке — большая, белорозовая, внушающая трепет, как горы Святого Илии[71].

И улыбка на ее лице была как светлый день, зарождающийся в горном ущелье. Этот, с Клондайка, отшвырнул свои самородки, шкуры и чучела, как хлам, — челюсть у него отвисла, и он уставился на Милли. Вы словно уже видели бриллиантовые диадемы на ее волосах и шелковые, с ручной вышивкой парижские платья, которые он подумывал накупить для нее.

Коробочный червь добрался до хлопка, ядовитый плющ уже выпустил свои усики, чтобы зацепиться за молодой росток, лесопромышленник, грубо загримированный под золотоискателя с Аляски, готовился похитить нашу Милли и нарушить Гармонию Природы.

---

[71] Примечания: 71
Горная цепь на западе Аляски.

Крафт первым открыл военные действия. Он вскочил и смачно хлопнул по спине пришельца с Клондайка.

— Сперва пойдем выпьем! — заорал он. — Промочим горло, а еда уж потом.

Джадкинс подхватил миллионера под руку с одной стороны, я — с другой. Развязно, шумно, с бесшабашной веселостью мы вытащили его из ресторана, предварительно набив ему карманы его бальзамированными пичугами и несъедобными золотыми орешками, и потащили в кафе.

Он было заартачился, но вполне добродушно.

— Эх, как раз такая девушка, какая мне требуется, товар по моим деньгам, — заявил он. — Она может есть из моего котелка до конца своей жизни. Ей-богу, сроду не видывал такой первосортной девушки. Пойду вернусь, скажу, чтоб выходила за меня замуж. Небось живо забудет про свой ресторан, когда посмотрит на кучу золотого песка, какую я насбирал.

— Теперь надо еще виски и молока, — настаивал Крафт, улыбаясь сатанинской улыбкой. — Я-то полагал, вы, ребята с Севера, покрепче.

Крафт истратил все свои микроскопические финансовые резервы у стойки и кидал на меня и Джадкинса такие умоляющие взгляды, что мы

опустошили наши карманы до последнего цента, продолжая угощать гостя.

Когда мы, наконец, расстреляли все наши патроны, а этот, с Клондайка, все еще сохранял некоторую трезвость и начал опять лопотать что-то о Милли, Крафт шепнул ему на ухо вежливое, но колкое оскорбление насчет жмотов с капиталами, и тогда наш золотоискатель принялся швырять пригоршнями серебро и бумажки, требуя все имеющиеся в наличии и запечатанные в бутылках жидкости, чтобы залить ими обвинение.

Дело было завершено. Мы прогнали врага с поля боя его же оружием. А потом отвезли в маленькую отдаленную гостиницу и уложили в постель вместе с его самородками и шкурами тюленьих детенышей.

— Теперь ему ни за что не разыскать ресторан Сайфера, — сказал Крафт. — Он сделает предложение первому белому фартучку, который увидит завтра утром в молочной закусочной. И Милли — я имею в виду Гармонию Природы — спасена!

И мы втроем вернулись к Сайферу и, так как в ресторане клиентов было мало, взялись за руки и проплясали вокруг Милли танец диких индейцев.

Все это, повторяю, произошло три года тому назад. И приблизительно в то же время на всех нас свалилась удача и позволила нам перейти на более дорогую и менее здоровую пишу, чем у Сайфера. Наши пути разошлись. Крафта я больше ни разу не встречал, с Джадкинсом видался редко.

Но, как я уже сказал, я увидел на выставке картину, проданную за пять тысяч долларов. Картина называлась «Боадицея»[72], и фигура королевы, казалось, занимала собой и все полотно, и пространство вокруг. Но среди тех, кто стоял перед картиной и восхищался ею, я, вероятно, был единственный, кто хотел бы, чтобы Боадицея вышла из рамы и принесла мне рубленую солонину с яйцом-пашот.

Я торопился встретиться с Крафтом. Его сатанинские глаза остались прежними, волосы взлохматились еще больше, но костюм на нем был от портного.

— Не знал, — сказал я ему.

— На эти деньги мы купили домик в Бронксе, — сказал он. — В любой вечер, в семь часов — ждем.

— Значит, — сказал я, — когда ты вел нас против

---

[72] Примечания: 72
Боадицея — королева Британии I века нашей эры.

лесопромышленника — того, с Клондайка, — это было не только ради сохранения Безупречной Гармонии в Природе?

— Пожалуй, не только ради этого, — ответил Крафт, ухмыляясь.

Воспоминания жёлтого пса

Перевод под ред. В. Азова.

Думаю, что вы, люди, не очень-то удивитесь, прочтя литературное упражнение животного. Мистер Киплинг и немало еще других писателей доказали — и не без материальной выгоды для себя, — что животные умеют изъясняться на недурном английском языке; в нынешнее время ни один иллюстрированный журнал не обходится без звериного рассказа, если не считать старинных ежемесячников, которые все еще угощают читателей изображениями Брайана и ужасами катастрофы на горе Пело.

Но не ищите в моем повествовании тех высокопарных фраз, которыми обмениваются в книгах джунглей Нума — лев, Шита — пантера и Хиста — змея. У Желтого Пса, проведшего большую часть своей жизни в дешевой нью-йоркской квартире, где он спал в углу на старой сатиновой нижней юбке (на той, которую его хозяйка облила портвейном во время банкета в клубе), нельзя ожидать особых фокусов по части слога.

Родился я желтым щенком: время и место

рождения, а также и родословная и вес — неизвестны. Первое, что я помню, это старуху, которая стояла на углу Бродвея и Двадцать третьей; она держала корзинку, в которой я лежал, и пыталась продать меня толстой даме. Старая ведьма расхваливала меня на все лады и выдавала меня за чистокровного померанско-гамбльтонского красного ирландского кохинхинского фокстерьера. Толстая дама начала охотиться у себя в ридикюле за пятеркой; наконец, нашла ее в куче образчиков бумазеи и фланелета и расплатилась. С того момента я стал любимой собачкой — маминым собственным дусиком-песиком. Скажите, любезный читатель, случалось ли когда-нибудь с вами, чтобы толстая двухсотфунтовая особа, пахнущая сыром и под'Эспанем, брала вас на руки и водила бы носом по вашей шерсти, приговаривая все время:

— Ути, мой холосенький дусик-пупсик-мусик-кисик-мисик.

Из чистокровного желтого щенка я, выросши, превратился в безымянного желтого пса, похожего на помесь ангорского кота с целым ящиком лимонов. Но моя хозяйка не огорчалась. Она твердо верила, что два первобытных щенка, которых Ной загнал себе в ковчег, являлись лишь боковой

ветвью моих предков. Потребовалось вмешательство двух полицейских, чтобы не допустить ее на выставку в Мэдисон-сквер-гарден, куда она хотела записать меня на приз для сибирских лаек.

Я вам сейчас расскажу про эту самую квартиру. Дом был обыкновенным нью-йоркским домом, выложенным мрамором у входа и булыжником повыше первого этажа. Чтобы добраться до нашей квартиры, нужно было подн… нет, не подняться — вскарабкаться на три лестницы. Моя хозяйка наняла ее без мебели и обставила ее как полагается, старинным, тысяча девятьсот третьего года, мягким гарнитуром, олеографией с изображением гейш, заседающих в гарлемской чайной, каучуковым деревом в кадке и мужем.

Клянусь созвездием Пса! Вот жалкое было двуногое! Это был маленький человечек с песочно-желтыми волосами и ушами, сильно смахивавшими на мои. Он был заклеван, как будто все клювы всех туканов, фламинго и пеликанов всего мира щипали его. Он всегда вытирал посуду и выслушивал рассказы моей хозяйки про дешевое и рваное белье, которое развешивала на веревке дама со второго этажа, у которой было, однако, беличье манто. И, кроме того, она заставляла выводить меня на веревочке, пока

она готовила ужин.

Если бы мужчины знали, как проводят время женщины, когда они одни, они ни за что бы не женились. Романы Лауры Лин Джибби, щелканье орехов, натиранье мускулов шеи миндальным кремом, — причем посуда остается немытой, — получасовая беседа с поставщиком льда, перечитывание связки старых писем, закуска из парочки пикулей и двух бутылок мальц-экстракта, просиживание в течение часа у дырочки, выцарапанной в матовом стекле окна, чтобы посмотреть, что делается в квартире напротив, — пожалуй, вот и все их занятия. За двадцать минут до его прихода со службы они начинают прибирать, поправлять прическу, чтобы не торчала фальшивая подкладка, и вытаскивают ворох шитья — чтобы разыграть десятиминутную комедию.

Собачью я вел жизнь в этой квартире. Большей частью я лежал в моем углу и смотрел, как толстая женщина убивает время. Иногда я спал и видел первоклассные сны о том, как я на дворе гоняюсь за кошками, а те прячутся в подвалы, или ворчу на старых дам с черными митенками, — одним словом, выполняю истинное назначение собаки. Тогда она набрасывалась на меня со всякими соп-

ливыми телячьими нежностями и целовала меня в нос, — но что мне было делать? Ведь собака не может жевать гвоздику, чтобы от нее разило, по крайней мере, за милю?

Я начал жалеть ее мужа (пробачьте всех моих кошек, если вру). Мы были так похожи друг на друга, что это начали замечать люди на улице; и потому мы бросили ходить по тем местам, где разъезжает Морган в своем кебе, и предпочитали взбираться на кучи прошлогоднего снега на улицах, где живет бедный люд.

Как-то раз вечером, во время одной из наших прогулок, когда я старался изобразить из себя премированного сенбернара, а старик притворялся, что у него нет особого желания задушить первого шарманщика, которого он поймает за исполнением мендельсоновского «Свадебного марша», я взглянул на него вверх и по-своему сказал ему:

— Ну, чего это ты такой кислый, рак ты вареный? Ведь она тебя не целует. Тебе не приходится сидеть у нее на коленях и выслушивать разговор, по сравнению с которым опереточное либретто покажется равным по мудрости афоризмам Эпиктета. Ты должен радоваться, что ты не собака. Бодрись и забудь тоску.

Матримониальное недоразумение посмотрело на меня вниз с почти собачьим выражением лица.

— Что, собачка? — говорит он. — Хорошая собачка. Ты так смотришь, точно говоришь. В чем дело, песик? В кошках? Кошки, я говорю.

Но, конечно, он понять меня не мог. Людям ведь не дано разговаривать, как это делают животные. Единственная область, где возможно общение между собакой и человеком, — это беллетристика.

В квартире напротив жила дама, у которой был черно-пегий терьер. Каждый вечер ее муж выводил его на цепочке, но он возвращался домой всегда веселый и неизменно что-то насвистывал. Однажды мы с черно-пегим обнюхали друг друга на лестнице, и я попытался добиться у него разъяснения.

— Слушай-ка, Попрыгун, — говорю я ему, — ты знаешь, что ни один настоящий мужчина не любит разыгрывать на людях роль собачьей няньки. Я еще ни одного не встречал, который, будучи прикреплен к собачке, не выражал бы всем своим видом желания проглотить всякого, кто на него смотрит. Но твой хозяин возвращается каждый раз веселеньким, точно фокусник-любитель,

которому удался фокус с яйцом. Откуда это у него берется? Не уверяй меня, что ему нравится.

— У него-то? — говорит черно-пегий. — Он употребляет лучшее средство, указанное самой природой. Насвистывается! Вначале, когда мы выходили, он конфузился и робел. Но после того, как мы обойдем восемь баров, ему уже все равно, что у него на удочке болтается, — собака или морская кошка. У меня эти вращающиеся двери баров отхватили уже дюйма два от кончика хвоста, когда я пробовал проскользнуть через них.

Указание, полученное мною от этого терьера, заставило меня призадуматься.

Однажды вечером, часов около шести, хозяйка велела ему приготовиться, чтобы вывести Дусика для принятия обычной порции озона. Да, я до сих пор это скрывал, но вот как она меня прозвала! А черно-пегого звали Тютюлькой. Я считаю, что все-таки обогнал его на несколько зайцев. Но все же величать пса Дусиком ничуть не лучше, чем привязать ему пустую банку к хвосту.

На тихой улице, в укромном месте, перед входом в заманчивый, приличного вида бар, я стал натягивать лесу, на которой болтался мой гувернер. Я ринулся очертя голову к дверям, царапал их и визжал не хуже собаки в отделе происше-

ствий, когда она старается дать понять семье маленькой Алисы, что девочка увязла на топком месте, собирая цветы у ручья.

— Лопни мои глаза! — сказал, широко улыбаясь, муж. — Лопни мои глаза, если этот шафрановый потомок бутылки с лимонадом не приглашает меня войти и выпить стаканчик. Постойте, да с каких это пор я не подходил вообще к стойке? Я, пожалуй…

Тут уж я понял, что он от меня не уйдет. Он сел за стол и начал пить горячее шотландское виски. Целый час кемпбелли[73] так и шли у него друг за дружкой. Я сидел рядом и вызывал лакея, стуча хвостом об пол и поглощая дорогую закуску, с которой отнюдь не могли сравниться яства мамаши, покупаемые в гастрономической лавке минут за восемь до прихода папаши со службы.

Когда все шотландские продукты, кроме ржаного хлеба, были уничтожены, муж отвязал меня от ножки стола и повел меня к выходу, дергая за сворку, как рыбак, поймавший на удочку лосося. На улице он снял с меня ошейник и выбросил его вон.

— Бедная собачка, — говорит он, — хорошая

---

[73] Примечания: 73
Шотландский гимн: «Вот идут Кемпбелли».

собачка. Не будет она больше тебя целовать. А то чистый срам! Собачка, милая, беги, попади под трамвай и будь счастлива.

Но я отказался его покинуть. Я начал прыгать и резвиться вокруг него, счастливый и довольный, как щенок на коврике у камина.

— Эх ты, старый, блохастый охотник за воробьями, — сказал я ему, — только ты и умеешь, что выть на луну, да гоняться за зайцами, да яйца воровать, — а не видишь, что я вовсе не хочу уходить от тебя. Разве ты не понимаешь, что мы оба с тобой — заблудившиеся в лесу щенята, а хозяйка — жестокая мачеха, которая хочет нас извести: тебя — вытиранием посуды, а меня — мазью от блох и розовым бантом на хвосте. Почему бы нам не бросить все и не стать навсегда товарищами?

Вы, может быть, будете утверждать, что он не понял. Не стану спорить. Но горячее шотландское виски ему точно жару поддало, и он остановился на минуту в размышлении.

— Собачка, — наконец сказал он, — мы больше дюжины жизней на земле не проживем, и мало кто из нас достигает трехсотлетнего возраста. Назови меня чертом, если я когда-нибудь вернусь в этот ад; а ты будешь сукиным сыном, если нос туда покажешь. Держу пари на шестьдесят про-

тив одного, что Запад выиграет сегодня у Востока на корпус взрослой таксы.

Сворки не было, но я, несмотря на это, добрался, весело прыгая, до парома на Двадцать третьей улице вместе с моим хозяином. И кошки, встречавшиеся нам по дороге, имели полное основание радоваться, что унаследовали от своих первобытных предков острые когти.

Когда мы переехали на пароме на другую сторону, мой хозяин сказал какому-то незнакомцу, который стоял тут же, на вокзале, и ел булку с изюмом:

— Мы с собачкой думаем махнуть в Скалистые горы.

Но больше всего я обрадовался, когда мой гувернер, дернув меня за уши так больно, что я завыл, объявил мне:

— Эх ты, обезьяноголовая, крысохвостая, желтошерстая дворняга, знаешь ли ты, как я отныне буду тебя звать?

Я вспомнил «Дусика» и жалобно завизжал.

— Барбосом буду тебя звать, — сказал мой хозяин; и я пожалел, что у меня не пять хвостов и я не могу достаточно намахаться, чтобы достойно отметить это нововведение.

Приворотное зелье Айки Шонштейна

Перевод Н. Дехтеревой.

Аптекарский магазин «Синий свет» находится в деловой части города — между Бауэри-стрит и Первой авеню, — там, где расстояние между ними наикратчайшее. «Синий свет» полагает, что фармацевтический магазин не то место, где продают всякую дребедень, духи и мороженое с содовой. Если вы спросите там болеутоляющее, вам не подсунут конфетку.

«Синий свет» презирает современное, сберегающее усилия искусство фармацевтики. Тут сами размачивают опиум, сами фильтруют из него настойку и парегорик. По сей день пилюли тут изготовляют собственноручно за высокой рецептурной конторкой на специально служащей для того кафельной дощечке — дозируют шпателем, скатывают в шарики с помощью большого и указательного пальцев, обсыпают жженой магнезией и вручают вам в круглых картонных коробочках. Аптека стоит на углу, где стайки веселых растрепанных ребятишек играют, бегают взапуски и становятся кандидатами на таблетки

от кашля и мягчительные сиропы, поджидающие их в «Синем свете».

Айки Шонштейн был в нем ночным фармацевтом и другом своих клиентов. Так уж оно повелось на Ист-Сайде, где сердце фармацевтики еще не стало glace[74].

Там аптекарь, как оно и следует быть, — советчик, исповедник и помощник, умелый и благожелательный миссионер и наставник, чью эрудицию уважают, чью высшую мудрость глубоко чтят и чьи лекарства, часто не притронувшись к ним, выбрасывают на помойку. Оттого-то повисший крючком и оседланный очками нос и тощая, согбенная под бременем познаний фигура Айки Шонштейна были хорошо известны в ближайших окрестностях «Синего света» и ученые назидания ночного фармацевта высоко ценились.

Айки проживал и завтракал у миссис Ридл, в двух кварталах от аптеки. У миссис Ридл была дочь, ее звали Рози. Скажем без обиняков — вы ведь, конечно, и сами догадались, — Айки боготворил Рози. Ее образ вошел в его мысли столь постоянным ингредиентом, что уже никогда не

---

[74] Примечания: 74
Замороженным, ледышкой *(фр.)*.

покидал их; она была для него сложным экстрактом из всего абсолютно химически чистого и утвержденного медициной — во всей фармакопее не нашлось бы ничего ей равного. Но Айки был робок — застенчивость и нерешительность служили ему плохим катализатором для преобразования надежд в реальность.

Стоя за конторкой, он являл собою существо высшего порядка, сознающее свои особые достоинства и эрудицию, а за пределами аптеки это был тщедушный, нескладный, подслеповатый, проклинаемый шоферами ротозей — в мешковатом костюме, перепачканном химикалиями и пахнущем socotrine aloes[75] и valerianate ammoniae[76].

Нежелательной примесью к розовым мечтам Айки Шонштейна (вполне, вполне уместный каламбур!) был Чанк Мак-Гоуэн.

Мистер Мак-Гоуэн также стремился поймать на лету ослепительные улыбки, кидаемые Рози. Но если Айки стоял у задней черты, то Мак-Гоуэн ловил их прямо с ракетки! Вместе с тем Мак-Гоуэн был и другом и клиентом Айки и частенько, после

---

[75] Примечания: 75
Слабительное из столетника *(лат.)*.

[76] Примечания: 76
Валериана на нашатырном спирте *(лат.)*.

приятной вечерней прогулки по Бауэри-стрит, заглядывал в «Синий свет», чтобы ему помазали йодом царапину или же залепили пластырем порез.

Как-то раз к вечеру Мак-Гоуэн с обычной своей непринужденностью манер ввалился в аптеку — ладный, видный с лица, ловкий, неукротимый, добродушный парень — и уселся на табурет.

— Айки, — обратился он к фармацевту, когда тот принес ступку, сел напротив и принялся растирать в порошок gum bensoin[77], — раскрой-ка уши пошире. Выдай мне зелье такое, какое мне требуется.

Айки внимательно оглядел внешность мистера Мак-Гоуэна, отыскивая обычные свидетельства конфликтов, но ничего не обнаружил.

— Снимай пиджак, — приказал он. — Значит, все-таки пырнули тебя ножом в ребра. Сколько раз говорил я тебе — итальяшки до тебя доберутся.

Мак-Гоуэн усмехнулся:

— Да нет, не они. Не итальяшки. Но насчет ребер диагноз ты точно поставил — верно, это под пиджаком, возле ребер. Слушай, Айки, мы

---

[77] Примечания: 77
Бензойная смола, росный ладан.

— я и Рози — решили нынче ночью удрать и пожениться.

Указательным пальцем левой руки Айки крепко придерживал край ступки. Он сильно стукнул по пальцу пестом, но боли не почувствовал. А на лице мистера Мак-Гоуэна улыбка сменилась выражением мрачной озабоченности.

— То есть, понятно, если она в последнюю минуту не передумает, — продолжал он. — Мы вот уже две недели утаптываем дорожку, чтобы дать деру. Сегодня она тебе скажет «согласна», а к вечеру стоп — нет, говорит, не выйдет. Теперь вот как будто вконец порешили на сегодняшнюю ночь. Рози уже два дня держится, вроде бы не отступает. Но, понимаешь ли, до того срока, на какой мы уговорились, еще целых пять часов — боюсь, в последний момент, когда уже все будет на мази, она опять даст отбой.

— Ты сказал, что тебе нужно какое-то лекарство, — напомнил Айки.

На лице мистера Мак-Гоуэна отразились смущение и тревога — отнюдь не обычное для него состояние. Он скрутил в трубку справочник патентованных лекарств и с ненужной старательностью надел его себе на палец.

— Понимаешь, я и за миллион не соглашусь,

чтобы этот двойной гандикап дал сегодня неверный старт, — сказал он. — В Гарлеме у меня уже снята квартирка — хризантемы на столе и все такое. Чайник наготове, только вскипятить. И я уже договорился, церковный говорун будет ждать нас у себя на дому ровно в девять тридцать. Ну, просто нельзя, чтоб все это сорвалось. Если Рози снова не пойдет на попятную…

Мистер Мак-Гоуэн умолк, весь во власти сомнений.

— Я пока еще не усматриваю связи, — сказал Айки отрывисто. — О каком зелье ты болтаешь и чего ты хочешь от меня?

— Старик Ридл меня не жалует, то есть ни вот столько, — продолжал озабоченный претендент на руку Рози, желая высказать свои соображения до конца. — Уже целую неделю он не выпускает Рози со мной из дому. Они меня давно бы выкинули, да не хочется им терять денежки, которые я плачу за стол. Я зарабатываю двадцать долларов в неделю, Рози никогда не раскается, что сбежала с Чанком Мак-Гоуэном.

— Извини, Чанк, — сказал Айки, — мне надо приготовить лекарство по срочному рецепту, за ним должны скоро зайти.

— Слушай, — вдруг вскинул на него глаза Мак-

Гоуэн, — слушай, Айки, нет ли какого-нибудь такого зелья — ну, понимаешь, каких-нибудь там порошков, чтоб, если дать их девушке, она полюбила тебя крепче, а?

Верхняя губа Айки презрительно и высокомерно искривилась: он понял. Но прежде, чем он успел ответить, Мак-Гоуэн продолжал:

— Тим Лейси рассказывал, что как-то раздобыл у одной старухи гадалки такой вот порошок, развел в содовой и скормил его своей девушке. Она едва глотнула, и парень стал для нее первым номером, все остальные уже и в счет не шли. Двух недель не прошло, как они окрутились.

Сила и простота — таков был Чанк Мак-Гоуэн. Более тонкий, чем Айки, знаток людей понял бы, что грубоватая форма надета на отличный каркас. Как умелый генерал, готовящийся завладеть враждебной территорией, он выискивал меры, чтобы предотвратить все возможные неудачи.

— Я подумал вот что, — продолжал Чанк с надеждой в голосе, — будь у меня такой порошок, я б подсыпал его Рози сегодня за ужином. Может, это ее подстегнет, не станет, как всегда, отнекиваться. Я, само собой, не считаю, что ее надо силком, на поводу тянуть, но женщинам оно както сподручнее, когда их в каретах увозят, чем вот

так самой давать старт. Если зелья на несколько часов хватит, дело выгорит.

— На когда назначен этот дурацкий побег? — спросил Айки.

— На девять часов, — ответил мистер Мак-Гоуэн. — Ужин в семь. В восемь Рози прикинется, что голова разболелась, пойдет спать. А в девять старик Парвенцано пропустит меня своим двором, и я пролезу через забор Ридла, там, где доска отстала. Проберусь к окну Рози, помогу ей спуститься по пожарной лестнице. Затеяли все так рано из-за священника, он потребовал. Да все проще простого, только бы Рози не отступила, когда придет момент. Ну как насчет порошков, можешь ты мне это устроить, Айки?

Айки Шонштейн медленно потер себе нос.

— Слушай, Чанк, — сказал он. — Относительно таких снадобий фармацевты должны соблюдать особую осторожность. Из всех моих знакомых одному тебе мог бы я доверить подобное лекарство. И я сделаю это для тебя — ты увидишь, что после этого станет думать о тебе Рози.

Айки пошел и встал за конторку. Он стер в порошок две таблетки морфия, каждая в четверть грана. К ним он добавил немного молочного сахара, чтобы получилось побольше, и аккуратно

завернул смесь в белую бумажку. Взрослому такая доза обеспечивала несколько часов глубокого сна и была совершенно безвредна. Айки вручил пакетик Мак-Гоуэну, дав при этом указания, что порошок желательно принять растворенным в жидкости. И получил за то изъявления сердечной благодарности от Локинвара[78] с городских задворок.

Коварство Айки станет очевидным по мере изложения дальнейшего хода событий. Он послал гонца за мистером Ридлом и раскрыл ему планы Мак-Гоуэна относительно похищения Рози. Мистер Ридл отличался крепким сложением, цветом лица сродни кирпичному и решительностью в поступках.

— Весьма обязан, — сказал он отрывисто. — Нахальный лоботряс! Моя комната как раз над комнатой Рози. После ужина поднимаюсь к себе, заряжаю дробовик и жду. Если он заявится на мой двор, обратно выедет не в свадебной карете, а в карете скорой помощи.

Рози в объятиях Морфея на протяжении многих часов, а жаждущий крови родитель предупре-

---

[78] Примечания: 78

Локинвар — герой баллады из поэмы Вальтера Скотта «Мармион», умчавший свою возлюбленную на коне в день её венчания с соперником.

жден и вооружен. Айки полагал, что соперник близок к полному поражению.

Всю ночь, выполняя свои обязанности в аптекарском магазине «Синий свет», Айки ждал, что случай принесет ему вести о трагедии у Ридлов, но никаких сведений о ней не поступало.

В восемь часов утра Айки Шонштейна сменили, и он поспешил к миссис Ридл, торопясь узнать о результате ночных событий. Но кто как не сам Чанк Мак-Гоуэн выскакивает из проходящего мимо трамвая и хватает Айки за руку — да-да, Чанк Мак-Гоуэн собственной персоной. И физиономия у него расплывается в победной улыбке и сияет восторгом.

— Вышло, — проговорил он, и в голосе его отразился Элизиум. — Рози на лестницу вылезла точно, секунда в секунду. В девять тридцать с хвостиком мы уже были у почтенного духовника — все как договаривались. Она уже в нашей квартирке — сегодня, когда варила яйца к завтраку, была в голубом кимоно. Бог ты мой, до чего же я рад, ей-богу! Ты, Айки, непременно загляни к нам как-нибудь, отобедаем вместе. Я получил работу тут неподалеку, у моста. Туда я сейчас и двигаю.

— А… а порошок? — спросил Айки, заикаясь.

— То зелье, которое ты мне выдал? — Улыб-

ка Чанка стала еще шире. — Оно вот как все обернулось. За ужином у Ридлов поглядел я на Рози и сказал про себя: «Чанк, коли ты хочешь заполучить такую первосортную девушку, как Рози, — действуй честно, без всяких фокусов». Твой пакетик так и остался у меня в кармане. Но тут глянул я на кое-кого другого — на того, кому не грех бы побольше жаловать своего будущего зятя. Улучил минутку, да и высыпал порошок в кофе старика Ридла — понятно?

Золото и любовь

Перевод Н. Дарузес.

Старик Энтони Рокволл, удалившийся от дел фабрикант и владелец патента на мыло «Эврика», выглянул из окна библиотеки в своем особняке на Пятой авеню и ухмыльнулся. Его сосед справа, аристократ и клубмен Дж. ван Шуйлайт Саффолк-Джонс, садился в ожидавшую его машину, презрительно воротя нос от мыльного палаццо, фасад которого украшала скульптура в стиле итальянского Возрождения.

— Ведь просто старое чучело банкрота, а сколько спеси! — заметил бывший мыльный король. — Берег бы лучше свое здоровье, замороженный Нессельроде, а не то скоро попадет в Эдемский музей. Вот на будущее лето размалюю весь фасад красными, белыми и синими полосами — погляжу тогда, как он сморщит свой голландский нос.

И тут Энтони Рокволл, всю жизнь не одобрявший звонков, подошел к дверям библиотеки и заорал: «Майк!» тем самым голосом, от которого когда-то чуть не лопалось небо над канзасскими прериями.

— Скажите моему сыну, чтоб он зашел ко мне перед уходом из дому, — приказал он явившемуся на зов слуге.

Когда молодой Рокволл вошел в библиотеку, старик отложил газету и, взглянув на него с выражением добродушной суровости на полном и румяном без морщин лице, одной рукой взъерошил свою седую гриву, а другой загремел ключами в кармане.

— Ричард, почем ты платишь за мыло, которым моешься? — спросил Энтони Рокволл.

Ричард, всего полгода назад вернувшийся домой из колледжа, слегка удивился. Он еще не вполне постиг своего папашу, который в любую минуту мог выкинуть что-нибудь неожиданное, словно девица на своем первом балу.

— Кажется, шесть долларов за дюжину, папа.

— А за костюм?

— Обыкновенно долларов шестьдесят.

— Ты джентльмен, — решительно изрек Энтони. — Мне говорили, будто бы молодые аристократы швыряют по двадцать четыре доллара за мыло и больше чем по сотне за костюм. У тебя денег не меньше, чем у любого из них, а ты все-таки держишься того, что умеренно и скромно. Сам я моюсь старой «Эврикой» — не только но привыч-

ке, но и потому, что это мыло лучше других. Если ты платишь больше десяти центов за кусок мыла, то лишнее с тебя берут за плохие духи и обертку. А пятьдесят центов вполне прилично для молодого человека твоих лет, твоего положения и состояния. Повторяю, ты — джентльмен. Я слышал, будто нужно три поколения для того, чтобы создать джентльмена. Это раньше так было. А теперь с деньгами оно получается куда легче и скорей. Деньги тебя сделали джентльменом. Да я и сам почти джентльмен, ей-богу! Я ничем не хуже моих соседей — так же вежлив, приятен и любезен, как эти два спесивых голландца справа и слева, которые не могут спать по ночам из-за того, что я купил участок между ними.

— Есть вещи, которых не купишь за деньги, — довольно мрачно заметил молодой Рокволл.

— Нет, ты этого не говори, — возразил обиженный Энтони. — Я всегда стою за деньги Я прочел всю энциклопедию насквозь: все искал чего-нибудь такого, чего нельзя купить за деньги; так на той неделе придется, должно быть, взяться за дополнительные тома. Я за деньги против всего прочего. Ну, скажи мне, чего нельзя купить за деньги?

— Прежде всего, они не могут ввести вас в выс-

ший свет, — ответил уязвленный Ричард.

— Ого! неужто не могут? — прогремел защитник корней зла. — Ты лучше скажи, где был бы весь твой высший свет, если бы у первого из Асторов не хватило денег на проезд в третьем классе?

Ричард вздохнул.

— Я вот к чему это говорю, — продолжал старик уже более мягко. — Потому я и попросил тебя зайти. Что-то с тобой неладно, мой мальчик. Вот уже две недели, как я это замечаю. Ну, выкладывай начистоту. Я в двадцать четыре часа могу реализовать одиннадцать миллионов наличными, не считая недвижимости. Если у тебя печень не в порядке, так «Бродяга» стоит под парами у пристани и в два дня доставит тебя на Багамские острова.

— Почти угадали, папа. Это очень близко к истине.

— Ага, так как же ее зовут? — проницательно заметил Энтони.

Ричард начал прохаживаться взад и вперед по библиотеке. Неотесанный старик отец проявил достаточно внимания и сочувствия, чтобы вызвать доверие сына.

— Почему ты не делаешь предложения? — спросил старик-Энтони. — Она будет рада-радехонька.

У тебя и деньги и красивая наружность, ты славный малый. Руки у тебя чистые, они не запачканы мылом «Эврика». Правда, ты учился в колледже, но на это она не посмотрит.

— Все случая не было, — вздохнул Ричард.

— Устрой так, чтоб был, — сказал Энтони. — Ступай с ней на прогулку в парк или повези на пикник, а не то проводи ее домой из церкви. Случай! Тьфу!

— Вы не знаете, что такое свет, папа. Она из тех, которые вертят колесо светской мельницы. Каждый час, каждая минута ее времени распределены на много дней вперед. Я не могу жить без этой девушки, папа: без нее этот город ничем не лучше гнилого болота. А написать ей я не могу — просто не в состоянии.

— Ну, вот еще! — сказал старик. — Неужели при тех средствах, которые я тебе даю, ты не можешь добиться, чтобы девушка уделила тебе час-другой времени?

— Я слишком долго откладывал. Послезавтра в полдень она уезжает в Европу и пробудет там два года. Я увижусь с ней завтра вечером на несколько минут. Сейчас она гостит в Ларчмонте у своей тетки. Туда я поехать не могу. — Но мне разрешено встретить ее завтра вечером на Центральном

вокзале, к поезду восемь тридцать. Мы проедем галопом по Бродвею до театра Уоллока, где ее мать и остальная компания будут ожидать нас в вестибюле. Неужели вы думаете, что она станет выслушивать мое признание в эти шесть минут? Нет, конечно. А какая возможность объясниться в театре или после спектакля? Никакой! Нет, папа, это не так просто, ваши деньги тут не помогут. Ни одной минуты времени нельзя купить за наличные; если б было можно, богачи жили бы дольше других. Нет никакой надежды поговорить с мисс Лэнтри до ее отъезда.

— Ладно, Ричард, мой мальчик, — весело отвечал Энтони. — Ступай теперь в свой клуб. Я очень рад, что это у тебя не печень. Не забывай только время от времени воскурять фимиам на алтаре великого бога Маммона. Ты говоришь, деньги не могут купить времени? Ну, разумеется, нельзя заказать, чтобы вечность завернули тебе в бумажку и доставили на дом за такую-то цену, но я сам видел, какие мозоли на пятках натер себе старик Хронос, гуляя по золотым приискам.

В этот вечер к братцу Энтони, читавшему вечернюю газету, зашла тетя Эллен, кроткая, сентиментальная, старенькая, словно пришибленная богатством, и, вздыхая, завела речь о

страданиях влюбленных.

— Все это я от него уже слышал, — зевая, ответил братец Энтони. — Я ему сказал, что мой текущий счет к его услугам. Тогда он начал отрицать пользу денег. Говорит, будто бы деньги ему не помогут. Будто бы светский этикет не спихнуть с места даже целой упряжке миллионеров.

— Ах, Энтони, — вздохнула тетя Эллен. — Напрасно ты придаешь такое значение деньгам. Богатство ничего не значит там, где речь идет об истинной любви. Любовь всесильна. Если б он только объяснился раньше! Она бы не смогла отказать нашему Ричарду. А теперь, я боюсь, уже поздно. У него не будет случая поговорить с ней. Все твое золото не может дать счастья нашему мальчику.

На следующий вечер ровно в восемь часов тетя Эллен достала старинное золотое кольцо из футляра, побитого молью, и вручила его племяннику.

— Надень его сегодня, Ричард, — попросила она. — Твоя мать подарила мне это кольцо и сказала, что оно приносит счастье в любви Она велела передать его тебе, когда ты найдешь свою суженую.

Молодой Рокволл принял кольцо с благогове-

нием и попробовал надеть его на мизинец. Оно дошло до второго сустава и застряло там. Ричард сиял его и засунул в жилетный карман, по свойственной мужчинам привычке. А потом вызвал по телефону кэб.

В восемь часов тридцать две минуты он выловил мисс Лэнтри из говорливой толпы на вокзале.

— Нам нельзя задерживать маму и остальных, — сказал она.

— К театру Уоллока, как можно скорей! — честно передал кэбмену Ричард.

С Сорок второй улицы они влетели на Бродвей и помчались по звездному пути, ведущему от мягких лугов Запада к скалистым утесам Востока.

Не доезжая Тридцать четвертой улицы Ричард быстро поднял окошечко и приказал кэбмену остановиться.

— Я уронил кольцо, — сказал он в извинение. — Оно принадлежало моей матери, и мне было бы жаль его потерять. Я не задержу вас, — я видел, куда оно упало.

Не прошло и минуты, как он вернулся с кольцом.

Но за эту минуту перед самым кэбом остановился поперек дороги вагон трамвая. Кэбмен

хотел объехать его слева, но тяжелый почтовый фургон загородил ему путь Он попробовал свернуть вправо, но ему пришлось попятиться назад от подводы с мебелью, которой тут было вовсе не место. Он хотел было повернуть назад — и только выругался, выпустив из рук вожжи. Со всех сторон его окружала невообразимая путаница экипажей и лошадей.

Создалась одна из тех уличных пробок, которые иногда совершенно неожиданно останавливают все движение в этом огромном городе.

— Почему вы не двигаетесь с места? — сердито спросила мисс Лэнтри. — Мы опоздаем.

Ричард встал в кэбе и оглянулся по сторонам. Застывший поток фургонов, подвод, кэбов, автобусов и трамваев заполнял обширное пространство в том месте, где Бродвей перекрещивается с Шестой авеню и Тридцать четвертой улицей, заполнял так тесно, как девушка с талией в двадцать шесть дюймов заполняет двадцатидвухдюймовый пояс. И по всем этим улицам к месту их пересечения с грохотом катились еще экипажи, на полном ходу врезываясь в эту путаницу, цепляясь колесами и усиливая общий шум громкой бранью кучеров. Все движение Манхэттена будто застопорилось вокруг их экипажа. Ни

один из нью-йоркских старожилов, стоявших в тысячной толпе на тротуарах, не мог припомнить уличного затора таких размеров.

— Простите, но мы, кажется, застряли, — сказал Ричард, усевшись на место. — Такая пробка и за час не рассосется. И виноват я. Если бы я не выронил кольца…

— Покажите мне ваше кольцо, — сказала мисс Лэнтри. — Теперь уже ничего не поделаешь, так что мне все равно. Да и вообще театр это, по-моему, такая скука.

В одиннадцать часов вечера кто-то легонько постучался в дверь Энтони Рокволла.

— Войдите! — крикнул Энтони, который читал книжку о приключениях пиратов, облачившись в красный бархатный халат.

Это была тетя Эллен, похожая на седовласого ангела, по ошибке забытого на земле.

— Они обручились, Энтони, — кротко сказала тетя. — Она дала слово нашему Ричарду По дороге в театр они попали в уличную пробку и целых два часа не могли двинуться с места.

И знаешь-ли, братец Энтони, никогда больше не хвастайся силой твоих денег Маленькая эмблема истинной любви, колечко, знаменующее собой бесконечную и бескорыстную преданность,

помогло нашему Ричарду завоевать свое счастье. Он уронил кольцо на улице и вышел из кэба, чтобы поднять его. Но не успели они тронуться дальше, как создалась пробка. И вот, пока кэб стоял, Ричард объяснился в любви и добился ее согласия. Деньги просто мусор по сравнению с истинной любовью, Энтони.

— Ну ладно, — ответил старик. — Я очень рад, что наш мальчик добился своего Говорил же я ему, что никаких денег не пожалею на это дело, если…

— Но чем же тут могли помочь твои деньги, братец Энтони?

— Сестра, — сказал Энтони Рокволл. — У меня пират попал черт знает в какую переделку. Корабль у него только что получил пробоину, а сам он слишком хорошо знает цену деньгам, чтобы дать ему затонуть. Дай ты мне ради бога дочитать главу.

На этом рассказ должен бы кончиться. Автор стремится к концу всей душой, так же как стремится к нему читатель. Но нам надо еще спуститься на дно колодца за истиной.

На следующий день субъект с красными руками и в синем горошчатом галстуке, назвавшийся Келли, явился на дом к Энтони Рокволлу и был

немедленно допущен в библиотеку.

— Ну что же, — сказал Энтони, доставая чековую книжку, — неплохо сварили мыло. Посмотрим, — вам было выдано пять тысяч?

— Я приплатил триста долларов своих, — сказал Келли. — Пришлось немножко превысить смету. Фургоны и кэбы я нанимал по пяти долларов; подводы и двуконные упряжки запрашивали по десяти. Шоферы требовали не меньше десяти долларов, а фургоны с грузом и все двадцать. Всего дороже обошлись полицейские — двоим я заплатил по полсотне, а прочим по двадцать и по двадцать пять. А ведь здорово получилось, мистер Рокволл? Я очень рад, что Уильям А. Брэди не видел этой небольшой массовой сценки на колесах; я ему зла не желаю, а беднягу, верно, хватил бы удар от зависти. И ведь без единой репетиции! Ребята были на месте секунда в секунду. И целых два часа ниже памятника Грили даже пальца негде было просунуть.

— Вот вам тысяча триста, Келли, — сказал Энтони, отрывая чек. — Ваша тысяча да те триста, что вы потратили из своих. Вы ведь не презираете денег, Келли?

— Я? — сказал Келли. — Я бы убил того, кто выдумал бедность.

Келли был уже в дверях, когда Энтони окликнул его.

— Вы не заметили там где-нибудь в толпе этакого пухлого мальчишку с луком и стрелами и совсем раздетого? — спросил он.

— Что-то не видал, — ответил озадаченный Келли. — Если он был такой, как вы говорите, так, верно, полиция забрала его еще до меня.

— Я так и думал, что этого озорника на месте не окажется, — ухмыльнулся Энтони. — Всего наилучшего, Келли!

Весна порционно

Перевод Н. Дехтеревой.

Был месяц март.

Никогда-никогда, если вздумаете писать рассказ, не начинайте его таким образом. Худшего начала не придумаешь. Плоско, сухо, ни на йоту воображения. Ровным счетом ничего. Но в данном случае оно допустимо. Ибо следующий абзац, которым, собственно, и надлежало бы предварить повествование, настолько экстравагантен и нелеп, что его нельзя так вот сразу бросить в лицо читателю.

Сара плакала над прейскурантом ресторана.

Вы только представьте себе — юная жительница Нью-Йорка проливает слезы над ресторанным меню!

В объяснение такой сцены вы располагаете возможностью строить любые догадки: омаров уже нет, кончились; она дала зарок весь пост не есть мороженого; заказала сырой лук; или же только что вернулась с утренника в театре Хэккета. А затем, поскольку все эти версии не соответствуют истине, разрешите мне продолжить рассказ.

Джентльмен, заявивший, что земной шар — устрица, которую он вскроет мечом[79], пользуется большей славой, чем того заслуживает. Вскрыть устрицу мечом не такая уж хитрость. А приходилось ли вам видеть, чтобы кто-нибудь пытался вскрыть это сухопутное двустворчатое с помощью пишущей машинки? Хватило бы у вас терпения ждать, пока их таким способом вскроют дюжину?

Действуя этим неудобным орудием, Саре кое-как удавалось приоткрывать тугие створки неподатливой устрицы, чтобы добраться до ее холодного, вязкого содержимого. Стенографию Сара знала не лучше тех, кто изучал эту науку на Коммерческих курсах и только что выпущен упомянутым учебным заведением в широкий мир. И потому, не обладая этим умением, она не могла войти в яркое созвездие талантов в высокой учрежденческой сфере. Ей оставалось взять свободную профессию машинистки-одиночки и рыскать в поисках случайной работы по переписке.

Самым блестящим, самым великим ее триум-

---

[79] Примечания: 79

«Пусть устрицей мне будет этот мир. // Его мечом я вскрою!» // (Слова Пистоля, персонажа из «Виндзорских насмешниц» Шекспира. // Перевод С. Маршака и М. Морозова.)

фом оказался устный контракт с Шуленбергом, владельцем ресторана «Домашний стол». Ресторан находился бок о бок со старым неоштукатуренным кирпичным домом, где Сара снимала отгороженный конец коридора, именуемый «комнатой на одного». Как-то раз после трапезы за табльдотом у Шуленберга (сорок центов за обед из пяти блюд) Сара унесла с собой меню. Оно было написано совершенно неразборчивым почерком — то ли по-немецки, то ли по-английски, и строчки располагались так, что, если не проявить должного внимания, вы рисковали начать обед с зубочистки и рисового пудинга, а закончить его супом и названием дня недели.

На следующий день Сара показала Шуленбергу аккуратный листок, на котором было безупречно отпечатано меню, где яства соблазнительно выстроились под надлежащими заголовками, начиная от hors d'oeuvre[80] и до «за сохранность пальто и зонтов ресторан не отвечает».

Шуленберг был приобщен к цивилизации в мгновение ока. Прежде чем Сара покинула ресторан, его владелец с полной готовностью заключил с ней соглашение. Она обязывалась

---

[80] Примечания: 80
Закуски *(фр.)*.

поставлять отпечатанные на машинке меню для двадцати одного столика — к обеду каждый день новые, для первого и второго завтрака — всякий раз, как блюда менялись или же листки утрачивали свою первоначальную свежесть.

Шуленберг, со своей стороны, должен был посылать ей с официантом — по возможности любезным — еду трижды per diem[81] и заранее вручать ей карандашный черновик того, что судьба припасла клиентам Шуленберга назавтра.

Обе стороны оказались полностью удовлетворены соглашением. Посетители ресторана «Домашний стол» знали теперь названия подаваемых блюд, если даже порой становились в тупик, пытаясь разобраться в их субстанции. А Сара в течение всей холодной, унылой зимы была обеспечена питанием, что для нее было самое главное.

Однажды календарь солгал, он заявил, что наступила весна. Но весна наступает тогда, когда она действительно наступает. А в переулках еще лежали смерзшиеся и сверкающие, как алмаз, январские снега. Шарманки продолжали наигрывать «Веселое летнее времечко» с декабрьским

---

[81] Примечания: 81
В день *(лат.)*.

пылом и экспрессией. Многие предусмотрительные люди получили месячную рассрочку на покупку пасхальных обновок. В доходных домах отключили отопление. А когда все это происходит, каждому ясно, что город еще в цепких когтях зимы.

Как-то под вечер Сара сидела дрожа в своей элегантной «комнате на одного» («паровое отопление; безупречная чистота; все удобства; убедитесь лично»). У Сары не было никакой работы, кроме шуленберговских меню. Она сидела в своей скрипучей плетеной качалке и глядела в окно. Календарь на стене кричал ей не переставая: «Сара, пришла весна! Говорю тебе: уже весна, весна! Ты только взгляни на меня, на мои милые, весенние числа! Между прочим, ты и сама очень мила, и в тебе тоже есть что-то весеннее. Что же ты глядишь в окно так печально?»

Окно выходило во двор, и прямо перед ним высилась глухая кирпичная стена картонажной фабрики. Но для Сары стена была прозрачна, как хрусталь, и сквозь него она видела деревенский проулок, заросший травкой, затененный вишневыми деревьями и вязами, обсаженный кустами малины и китайской розы.

Подлинные вестники Весны трудно уловимы

глазом или ухом. Для одних это расцветший крокус, или усыпанное желтыми цветочками деревце кизила, этого лесного красавца, или же первые ноты певчей птахи. А другим требуется такой грубый намек, как прощание с устрицами и гречневой кашей, чтобы их тусклые души осознали приближение Леди в Зеленом Наряде. Но до истинного избранника, детища матери-природы, ее нежные послания доходят мгновенно, заверяя его, что он не станет ее пасынком, если только сам того не пожелает.

Прошлым летом Сара жила в деревне и полюбила фермера.

(Запомните: будете писать рассказ, никогда не тяните его вот так вспять. Это гасит интерес читателя. Рассказ должен двигаться вперед, вперед!)

Сара пробыла на ферме «Солнечный ручей» две недели. И за это время полюбила Уолтера, сына старого фермера Франклина. В фермеров влюблялись, женили их на себе и отпускали обратно на родные пастбища и за более краткий срок. Но юный Уолтер Франклин был земледельцем современного образца. У него был телефон в коровнике, и он мог с точностью определить, как повлияет урожай пшеницы в Канаде в будущем году на картофель, посаженный неведомо когда.

В этом тенистом, заросшем малиной проулке Уолтер ухаживал за ней и покорил ее сердце. И они сели рядышком, вместе сплели венок из одуванчиков и увенчали им голову Сары.

Уолтер безмерно восхищался эффектным сочетанием желтых цветов с ее темными косами. Она так и вернулась на ферму в этом золотом венце, вертя в руках свою соломенную шляпу.

Они уговорились пожениться весной — в самом начале весны, уточнил Уолтер. И Сара вернулась в город выбивать дробь на своей машинке.

Стук в дверь развеял видения того счастливого дня. Официант принес испещренный угловатыми знаками Шуленберга черновой карандашный набросок завтрашнего меню.

Сара села за машинку и вставила в валик чистый листок. Она работала проворно. Обычно за полтора часа все листки до одного бывали готовы.

Сегодня изменений в прейскуранте оказалось больше обычного. Супы легче; свинина из холодных мясных блюд изъята, фигурирует лишь среди жарких (с гарниром из русской репы). Весь список яств был овеян свежим весенним дыханием. Барашек, только что резвившийся на зазеленевших холмах, подвергся эксперименту

под соусом из молодой зелени, как бы послужившим памятником его резвым прыжкам. Пение устрицы если и не вовсе умолкло, звучало diminuendo con amore[82]. Сковорода, уже ненужная, удалилась на покой, уступив место рашперу. Список паштетов удлинился; сдобные пудинги исчезли; сосиски в своих тестяных одеяльцах и гречневая каша замирали в приятной летаргии. А среди сладких блюд сироп из кленового сахара был, можно сказать, обречен.

Пальцы Сары плясали, как мошкара над летним ручьем. Она отстукивала строку за строкой, зорко следя, чтобы каждое слово получало место, соответствующее его длине и содержанию.

Как раз перед десертом шел список овощных блюд. Морковь, зеленый горошек, гренки со спаржей, извечные помидоры, кукуруза, бобы, капуста и…

Сара плакала над прейскурантом ресторана. Слезы, скопившиеся в глубинах отчаяния, заполнили ей сердце и устремились к глазам. Голова ее опустилась на машинку, и каретка задребезжала сухим аккомпанементом к ее влажным рыданиям.

---

[82] Примечания: 82
Нежно затихая *(ит.)*.

Дело в том, что вот уже две недели, как от Уолтера не было писем, а в меню после капусты упоминались одуванчики — одуванчики с каким-то там соком… Одуванчики с их золотыми цветами, которыми Уолтер короновал свою королеву сердца и невесту, — одуванчики, вестники весны и горестный венец ее горестей — напоминание о счастливейших днях!

Не думаю, сударыня, что вы бы улыбались, если бы вас подвергли такому испытанию — если бы те чайные розы, которые ваш Перси преподнес вам в тот вечер, когда вы подарили ему свое сердце, полили бы французским соусом и поставили перед вами за табльдотом у Шуленберга. Если бы Джульетта увидела, что знакам ее любви нанесено подобное оскорбление, она бы еще раньше обратилась к доброму аптекарю за травами, дарующими вечный покой.

Но какая она кудесница, эта Весна! Ей нужно было послать весть о себе в огромный, холодный, одетый в камень и металл город, и она сумела найти посланца — маленького, скромного обитателя полей в простеньком зеленом плаще. Да, он истинный слуга судьбы, этот одуванчик! В пору своего цветения помогает влюбленным, вплетаясь в венок для девы с каштановыми волосами;

юный и упругий, еще не расцветший, попадает на кухню и таким образом вручает адресату послание от своей всемогущей госпожи.

Понемногу Сара справилась со слезами: надо было печатать меню. Все еще озаренная слабым золотистым блеском одуванчиковой мечты, она рассеянно нажимала на клавиши, а мысли ее и чувства продолжали бродить в зеленом проулке близ фермы «Солнечный ручей». Но вскоре она поспешила вернуться к каменным колодцам Манхэттена, и машинка начала тарахтеть и подпрыгивать, как грузовик штрейкбрехера.

В шесть часов официант принес ей обед и унес отпечатанные меню. За обедом Сара со вздохом отставила в сторону салат из одуванчиков. Как яркие цветы превратились в недостойную снедь, в унылую, темноватую массу, так завяли и погибли мечты Сары. Допустим, что любовь, как сказал Шекспир, питается сама собой. Но Сара не могла принудить себя съесть одуванчики, украсившие, как драгоценности, ее первый праздник истинной сердечной любви.

В половине восьмого пара в соседней комнате затеяла ссору. Жилец в комнате этажом выше пытался извлечь ля из своей флейты. Газ в рожке еще поубавился. Во дворе стали разгружать один

за другим три угольных фургона — единственная звуковая симфония, которой может позавидовать граммофон. Кошки на заборе медленно отступили к Мукдену[83].

Все это служило Саре сигналом, что пора приняться за чтение. Она взяла «Монастырь и очаг»[84] — книгу, побившую в этом месяце рекорд по отсутствию спроса, — поставила ноги на сундучок и пустилась в странствие вместе с Жераром.

У входной двери раздался звонок. Хозяйка пошла открывать. Сара оставила Жерара и Дени загнанными медведем на дерево и прислушалась. Да-да, вы сделали бы то же самое. И она услышала громкий голос внизу лестницы. Сара вскочила, книга упала на пол — первый раунд Жерара с медведем явно закончился в пользу последнего.

Вы угадали. Она успела добежать до площадки как раз в ту минуту, когда молодой фермер, вихрем взлетев по ступеням, сжал и убрал ее в житницу всю без остатка, не потеряв ни единого

---

[83] Примечания: 83

При Мукдене происходили военные действия во время русско-японской войны 1904–1905 гг.

[84] Примечания: 84

«Монастырь и очаг» — исторический роман английского писателя Чарльза Рида (1814–1884).

драгоценного колоска.

— Почему ты не писал, ну почему? — воскликнула Сара.

— Нью-Йорк — городок довольно вместительный, — ответил Уолтер Франклин. — Я приехал неделю тому назад, пошел по твоему старому адресу. Сказали, что ты выехала в прошлый четверг. Ну, думаю, хорошо еще, что хоть не в пятницу — не сулит неудачи. Но все же целую неделю за тобой охотился, и полицию пришлось брать в подмогу.

— Но я же тебе все написала! — сказала Сара с горячностью.

— Да, но письма-то я не успел получить.

— Как же ты все-таки меня разыскал?

Уолтер улыбнулся весенней улыбкой.

— Зашел сегодня поесть тут рядом, в ресторан «Домашний стол», — сказал он. — Пусть думают, что хотят, но в это время года мне еда не еда без свежей зелени. Я проглядел их меню, так славно отпечатанное на машинке, поискал чего-нибудь подходящего. Когда я увидел то, что напечатано после «Капуста красная», я опрокинул стул и стал во все горло звать хозяина. Он сказал мне, где ты живешь.

— Да, помню, — проговорила Сара с радостным

вздохом. — За капустой шли одуванчики, одуванчики с лимонным соком.

— Это кривое заглавное «М» у твоей машинки я где хочешь узнаю, — сказал Уолтер.

— Но в слове «одуванчики» нет заглавного «М»! — воскликнула Сара недоумевающе.

Молодой человек извлек из кармана листок и указал на одну из напечатанных на нем строчек.

Сара сразу же узнала тот первый экземпляр меню, который печатала днем. В правом верхнем углу его заметно было слабое расплывшееся пятнышко от оброненной слезы. Но на том месте, где следовало бы прочесть название блюда из полевого цветка, неотступное воспоминание о золотистом венке заставило ее пальцы отстукать странные буквы.

Между «Капустой красной» и «Зеленым фаршированным перцем» стояло:

МИЛЫЙ УОЛТЕР С ЛИМОННЫМ СОКОМ.

Зелёная дверь

Перевод Н. Дехтеревой.

Вообразите, что после обеда вы шагаете по Бродвею и на протяжении десяти минут, потребных на то, чтобы выкурить сигару, обдумываете выбор между забавной трагедией или чем-нибудь серьезным в жанре водевиля. И вдруг вашего плеча касается чья-то рука. Вы оборачиваетесь, и перед вами дивные глаза обворожительной красавицы в бриллиантах и русских соболях. Она поспешно сует вам в руку невероятно горячую булочку с маслом и, сверкнув парой крохотных ножниц, в один миг отхватывает ими верхнюю пуговицу на вашем пальто. Затем многозначительно произносит одно лишь слово: «параллелограмм!» — и, боязливо оглядываясь, скрывается в переулке.

Вот все это и есть настоящее приключение. Вы бы на это откликнулись? Вы — нет. Вы бы залились краской смущения, конфузливо уронили булочку и зашагали бы дальше, неуверенно шаря рукой по тому место на пальто, откуда только что исчезла пуговица. Именно так вы и поступили бы, если только не принадлежите к тем немногим

счастливцам, в которых еще не умерла живая жажда приключений.

Истинные искатели приключений всегда были наперечет. Те, которых увековечило печатное слово, были большей частью лишь трезвые, деловые люди, действовавшие новоизобретенными методами. Они стремились к тому, что им требовалось: золотое руно, чаша святого Грааля, любовь дамы сердца, сокровища, корона или слава. Подлинный искатель приключений с готовностью идет навстречу неведомой судьбе, не задаваясь никакой целью, без малейшего расчета. Отличным примером может послужить Блудный сын — когда он повернул обратно к дому.

Псевдоискатели приключений — хотя личности яркие, отважные, — крестоносцы, венценосцы, меченосцы и прочие — водились во множестве, обогащая историю, литературу и издателей исторических романов. Но каждый из них ждал награды: получить приз, забить гол, посрамить соперника, победить в состязании, создать себе имя, свести с кем-либо счеты, нажить состояние. Так что их нельзя отнести к категории истинных искателей приключений.

В нашем большом городе духи-близнецы — Романтика и Приключение — всегда наготове,

всегда в поисках своих достойных почитателей. Когда мы бредем по улице, они тайком поглядывают на нас, заманивают, прикрываясь десятками различных масок Неведомо почему, мы вдруг вскидываем глаза и видим в чужом окне лицо, явно принадлежащее к нашей портретной галерее самых близких людей. В тихой, сонной улочке из-за наглухо закрытых ставен пустого дома мы ясно слышим отчаянный крик боли и страха. Кебмен, вместо того чтобы подвезти вас к привычному подъезду, останавливает свой экипаж перед незнакомой вам дверью, и она приветливо открывается, как бы приглашая вас войти. Из высокого решетчатого окна Случая к вашим ногам падает исписанный листок. В спешащей уличной толпе мы обмениваемся взглядами мгновенно вспыхнувшей ненависти, симпатии или страха с совершенно чужими нам людьми. Внезапный ливень — и, быть может, ваш зонт укроет дочь Полной Луны и кузину Звездной Системы. На каждом углу падают оброненные платки, манят пальцы, умоляют глаза, и вот уже в руки вам суют отрывочные, непонятные, таинственные, восхитительные и опасные нити, которые тянут вас к приключению. Но мало кто из нас захочет удержать их, пойти туда, куда они поведут. Наша

спина, вечно подпираемая железным каркасом условностей, давно закостенела. Мы проходим мимо. И когда-нибудь на склоне нашей унылой, однообразной жизни мы подумаем о том, что Романтика в ней особой яркостью не отличалась — одна-две женитьбы, атласная розетка, запрятанная на дно ящика, да извечная непримиримая вражда с радиатором парового отопления.

Рудольф Штейнер был истинным искателем приключений. Редкий вечер не выходил он из своей «комнаты на одного» в поисках неожиданного, необычного. Ему всегда казалось, что самое интересное, что только дает жизнь, поджидает его, быть может, за ближайшим углом. Порой желание испытать судьбу заводило его на странные тропы. Дважды он провел ночь в полицейском участке. Вновь и вновь становился жертвой плутов, облегчавших его карманы. За лестное дамское внимание ему пришлось расплатиться и кошельком и часами. Но с неослабевающим пылом поднимал он каждую перчатку, брошенную ему на веселой арене Приключения.

Однажды вечером Рудольф прогуливался в старой центральной части города. По тротуару текли людские потоки — одни спешили к домашнему очагу, другие — беспокойный народ! — покинули

его ради сомнительного уюта тысячесвечного табльдота.

Молодой и приятной внешности искатель приключений был в ясном расположении духа, но преисполнен ожидания. Днем он служил продавцом в магазине роялей. Галстук он не закреплял булавкой, а пропускал его концы сквозь кольцо с топазом. И однажды он написал издателю некоего журнала, что из всех прочтенных им книг самое сильное влияние на его жизнь оказал роман «Испытания любви Джуни», сочинение мисс Либби[85].

Громкое лязганье зубов в стеклянном ящике, выставленном на тротуаре, заставило было его (не без внутреннего трепета) обратить внимание на ресторан, перед которым упомянутый ящик был выставлен, но в следующую минуту он обнаружил над соседней дверью электрические буквы вывески дантиста. Стоя подле двери, ведущей к дантисту, огромного роста негр в фантастическом наряде — красный, расшитый галунами фрак, желтые брюки и военное кепи — осторожно вручал какие-то листки тем из прохожих, кто соглашался их принять.

---

[85] Примечания: 85

Либби Лора Джин (1862–1924) — американская писательница, автор популярных в своё время сентиментальных романов.

Этот вид зубоврачебной рекламы был для Рудольфа знакомым зрелищем. Обычно он проходил мимо, игнорируя визитные карточки дантистов. Но в этот раз африканец так проворно сунул ему в руки листок, что Рудольф не выбросил его и даже улыбнулся тому, как ловко это было проделано.

Пройдя несколько шагов, Рудольф равнодушно глянул на листок. Удивленный, он перевернул его и потом снова рассмотрел, уже с интересом. Одна сторона листка была чистая, на другой чернилами было написано: «Зеленая дверь». И тут Рудольф увидел, что шагавший впереди прохожий выбросил на ходу листок, также врученный ему негром. Рудольф поднял листок, посмотрел: фамилия и адрес дантиста с обычным перечнем — «протезы», «мосты», «коронки» и красноречивые посулы «безболезненного удаления».

Адепт Великого Духа Приключений и продавец роялей остановился на углу и задумался. Затем перешел на противоположную сторону улицы, отшагал квартал в обратном направлении, вернулся на прежнюю сторону и слился с толпой, движущейся туда, где сияла электрическая вывеска дантиста. Проходя вторично мимо негра и делая вид, что не замечает его, Рудольф небрежно

принял листок, снова предложенный ему. Шагов через десять он осмотрел новый листок. Тем же самым почерком, что и на первом, на нем было выведено: «Зеленая дверь». Поблизости на тротуаре валялись три подобных же листка, брошенных шагавшими впереди или позади Рудольфа — все листки упали чистой стороной вверх. Он поднял их и осмотрел. На всех он прочел соблазнительные приглашения зубоврачебного кабинета.

Быстрому, резвому Духу Приключений редко приходилось манить Рудольфа Штейнера, своего верного почитателя, дважды, — но на этот раз призыв был повторен, и рыцарь поднял перчатку.

Рудольф опять повернул назад, медленно прошел мимо стеклянного ящика с лязгающими зубами и негра-гиганта. Но листка он не получил. Несмотря на нелепый, пестрый наряд, негр держался с достоинством, присущим его сородичам, вежливо предлагая карточки одним, других оставляя в покое. Время от времени он выкрикивал что-то громкое и невразумительное, сходное с возгласами трамвайных кондукторов, объявляющих остановки, или с оперным пением. Но он не только оставил Рудольфа без внимания — молодому человеку даже показалось, что ши-

рокое, лоснящееся лицо африканца выражало холодное, почти уничтожающее презрение.

Взгляд негра словно ужалил Рудольфа. Его сочли недостойным! Что бы ни означали таинственные слова на листке, чернокожий дважды избрал его среди толпы. А теперь, казалось, осудил как слишком ничтожного умом и духом, чтобы его можно было привлечь загадкой. Встав в стороне от толпы, молодой человек быстрым взглядом окинул здание, в котором, как он решил, скрывалась разгадка тайны. Дом поднимался на высоту пяти этажей. Его полуподвальный этаж занимал небольшой ресторан.

На первом этаже, где все было на запоре, по-видимому, продавались шляпки или меха. На втором, судя по мигающим электрическим буквам, расположился дантист. На следующем этаже царило вавилонское многоязычие вывесок: гадалки, портнихи, музыканты и врачи. Еще выше задернутые занавески на окнах и белевшие на подоконниках молочные бутылки заверяли, что здесь область домашних очагов.

Завершив обзор, Рудольф взлетел по крутым каменным ступеням, ведущим в дом. Быстро поднявшись по крытым ковром лестницам до третьего этажа, он остановился. Здесь площад-

ка еле освещалась двумя бледными газовыми рожками. Один мерцал где-то далеко в коридоре направо; другой, поближе, — налево. Рудольф глянул влево и в слабом свете рожка увидел зеленую дверь. Мгновение он колебался. Но тут же вспомнил оскорбительную насмешку на лице африканского жонглера карточками и, не раздумывая более, шагнул прямо к зеленой двери и постучал.

Секунды, подобные тем, что последовали за его стуком, соразмерны быстрому дыханию истинного приключения. Только подумать, что может ожидать его по ту сторону! Игроки за карточным столом; хитрые пройдохи, с тонким расчетом раскладывающие приманки в свои западни; красавица, превыше всего ценящая отвагу и решившая покориться только смельчаку. Опасность, смерть, любовь, разочарование, насмешки — все может быть ответом на этот безрассудный стук.

Изнутри послышался слабый шорох, и дверь медленно приоткрылась. На пороге стояла девушка, еще не достигшая и двадцати лет, — она была бледна, еле держалась на ногах. И вдруг выпустила дверную ручку, покачнулась, попыталась найти опору, шаря рукой в воздухе, — Рудольф

успел подхватить ее и уложил на кушетку с полинялой обивкой, стоявшую у стены. Дверь он закрыл и при еле мерцающем свете газового рожка быстро оглядел комнату. Чисто, опрятно, но все говорило о самой крайней нужде.

Девушка лежала неподвижно, очевидно, в обмороке. Рудольф озабоченно оглядел комнату в поисках бочки, на которой он мог бы… нет-нет, не то, это если кто утонет… Он принялся обмахивать девушку своей шляпой. Это дало желанный эффект — он задел ее по носу полями своего котелка, и она открыла глаза. И тут наш молодой человек увидел, что ее лицо, несомненно, и есть недостающий портрет из его сердечной галереи самых близких. Честные серые глаза, задорный, вздернутый носик, каштановые волосы, вьющиеся, как усики душистого горошка, — все это было правильным заключительным аккордом и венцом всех его удивительных приключений. Но какое же это было худое и бледное личико!

Она взглянула на него спокойно, потом улыбнулась.

— У меня был обморок, да? — проговорила она слабым голосом. — Хоть с кем могло случиться, будь он на моем месте. Попробуйте не есть три дня, сами убедитесь.

— Himmel![86] — воскликнул Рудольф, вскакивая с места. — Ждите меня, я вернусь мигом!

Он бросился к двери и вниз по лестнице. Через двадцать минут он уже снова стоял у зеленой двери, стуча в нее ногой: в руках у него была охапка снеди из бакалейной лавки и ресторана. Все это он выложил на стол — хлеб, масло, холодное вареное мясо, пирожные, паштет, маслины, устрицы, жареного цыпленка, одну бутылку с молоком и одну с чаем, горячим, как огонь.

— Смешно, нелепо устраивать голодовки, — заговорил Рудольф громко, с нарочитой строгостью. — Раз и навсегда прекратите такого рода пари. Ужин готов.

Он помог ей сесть за стол и спросил:

— Чашка для чая имеется?

— На полке у окна.

Когда Рудольф вернулся с чашкой, девушка, блестя глазами, уже принялась за крупную маслину, которую успела извлечь из пакета, с безошибочным женским инстинктом угадав его содержимое.

Рудольф, смеясь, отобрал маслину и налил полную чашку молока.

---

[86] Примечания: 86
О небо! *(нем.)*.

— Сперва выпейте это, — распорядился он, — потом чай и крылышко цыпленка. Маслину получите завтра, если будете умницей. А теперь, если разрешите быть вашим гостем, приступим к ужину.

Он пододвинул к столу второй стул. От чая глаза у девушки оживились, лицо чуть порозовело. Она ела с изысканной жадностью, как изголодавшийся дикий зверек. Присутствие в комнате постороннего молодого человека и предложенную им помощь она, казалось, рассматривала как нечто само собой разумеющееся. Не потому, что мало придавала значения условностям, а потому, что естественное, заложенное в человеке природой чувство голода дало ей право на время забыть об искусственном и условном. Однако постепенно, по мере того как восстанавливались ее силы и самочувствие, с ними вместе вернулись и все привычные маленькие условности.

Она рассказала ему свою нехитрую историю — одну из тысячи таких, над которыми ежедневно зевает город, — историю продавщицы в магазине. Жалкая оплата, еще урезаемая «штрафами», которые повышают доходы хозяина; болезнь, зря потерянное время. А потом потеря места, потеря надежд и — и в зеленую дверь стучит искатель

приключений.

Но в ушах Рудольфа этот рассказ прозвучал как «Илиада» — или как кульминационная сцена в романе «Испытания любви Джуни».

— Боже мой, только подумать, что вам пришлось пережить! — воскликнул он.

— Да, просто ужас, — сказала девушка с величайшей серьезностью.

— И у вас здесь нет ни родственников, ни друзей?

— Ни души.

— У меня тоже, — проговорил Рудольф, помолчав.

— Я очень этому рада, — ответила девушка без запинки. И молодому человеку почему-то было очень приятно услышать, что ее радует его одинокое существование.

Вдруг как-то сразу веки у нее стали слипаться, и она глубоко вздохнула.

— Ужасно хочется спать… Мне так хорошо…

Рудольф встал, взял шляпу.

— В таком случае пожелаю вам спокойной ночи. Крепкий длительный сон именно то, что вам нужно.

Он протянул руку, девушка приняла ее и сказала «спокойной ночи». Но в глазах у нее был

такой красноречивый, такой откровенный, такой взывающий вопрос, что Рудольф ответил на него словами:

— Да, конечно, завтра я зайду проверить, как у вас дела. Вам от меня так легко не отделаться.

Только когда он уже стоял у порога, она спросила, как он попал к ней, словно по сравнению с самим фактом его появления это обстоятельство было столь маловажно!

— Почему вы постучали ко мне?

Он взглянул на нее, вспомнил листки, которые раздавал негр, и сердце у него сжалось от ревности и боли. Что, если бы они попали в другие руки — в руки таких же искателей приключений, как он сам? Рудольф мгновенно решил, что она никогда не должна узнать правду. Он никогда не скажет, что ему известна та странная мера, на которую ее толкнула безвыходность положения.

— Один из наших настройщиков живет в этом доме, — сказал он. — Я ошибся дверью.

Последнее, что видел Рудольф перед тем, как за ним закрылась зеленая дверь, была улыбка девушки.

На лестничной площадке он с любопытством огляделся. Потом прошелся во всю длину коридора сперва в один его конец, потом в другой.

Затем поднялся выше, продолжая проверять ошеломляющее открытие: все двери в доме были выкрашены в зеленый цвет.

Все еще недоумевая, он спустился вниз, вышел на улицу. Африканец в фантастическом наряде стоял на прежнем месте. Рудольф протянул ему оба свои листка.

— Объясните, почему вы дали мне эти листки и что они значат? — спросил он.

Широкая, добродушная улыбка на лице негра послужила отличной рекламой его работодателю.

— Вон там, — проговорил он, указывая вдоль улицы. — Только к первому акту вы уже опоздали!

Проследовав взглядом туда, куда указывал негр, Рудольф увидел ослепительные электрические буквы над театральным подъездом, возвещавшие название новой постановки:

«ЗЕЛЁНАЯ ДВЕРЬ»

— Я слышал, босс, пьеса первый сорт, — сказал негр. — Их агент дал мне доллар, сказал, чтоб я раздал немного их бумажек, вместе с докторскими. Могу я предложить вам и докторскую карточку, сэр?

На углу квартала, где он жил, Рудольф зашел выпить кружку пива и взять сигару. Закурив, он вышел на улицу, застегнул пальто на все пуговицы, сдвинул шляпу на затылок и заявил решительно, обращаясь к ближайшему уличному фонарю:

— Все равно, я верю, что сам перст Судьбы указал мне дорогу к той, кто мне нужен.

И этот вывод, учитывая вышеописанные обстоятельства, безусловно, позволяет причислить Рудольфа Штейнера к истинным последователям Романтики и Приключения.

С высоты козел

Перевод Н. Дехтеревой.

У кебмена свой особый взгляд на вещи, и, возможно, более цельный и вместе с тем односторонний, нежели у кого-либо, избравшего иную профессию. Покачиваясь на высоком сиденье, он взирает на ближних своих как на некие кочующие частицы, не имеющие ни малейшего значения, пока их не охватит стремление к миграции. Он — возница, а вы — транспортируемый товар. Президент вы или бродяга — кебмену безразлично, вы для него всего лишь седок. Он вас забирает, щелкает хлыстом, вытрясает из вас душу и высаживает вас на месте назначения.

Если в момент оплаты вы обнаружите знакомство с узаконенной таксой, вы узнаете, что такое презрение; если же выяснится, что ваш бумажник забыт дома, вам станет очевидна скудость воображения Данте.

Не следует отвергать теорию, утверждающую, что ограниченная целенаправленность кебмена и его суженная точка зрения на жизнь есть результат конструкции самого экипажа. Подобно

Юпитеру, кебмен возвышается над вами, безраздельно занимая свое высокое место, и держит вашу судьбу меж двух неустойчивых кожаных ремней. А вы — беспомощный, нелепый узник, болтая головой, словно китайский болванчик, — вы, перед кем на твердой земле пресмыкаются лакеи, — вы должны, как мышь в мышеловке, пищать в узкую щель вашего странствующего саркофага, чтобы ваши робкие пожелания были услышаны.

При этом вы даже не седок в экипаже, вы его содержимое. Вы груз корабельного трюма, и «херувим, на небесах сидящий»[87], отлично знает, где именно идут ко дну корабли.

Как-то вечером из большого кирпичного жилого дома — всего через дом от «Семейного кафе» Мак-Гэри — доносились звуки шумного веселья. Они исходили, по-видимому, из квартиры семейства Уолш. Весь тротуар был забит пестрой толпой любопытных соседей, время от времени теснившихся, чтобы дать проход посланцу из кафе Мак-Гэри, несущему всевозможные предметы, предназначенные для пиршества и увеселений. Зеваки на тротуаре были заняты пересудами

[87] Примечания: 87

Строка из стихотворения «Бедный Джек» английского поэта Чарлза Дибдина (1745–1814), известного своими морскими песнями.

и обменом мнений, из которых нетрудно было понять основную тему: Нора Уолш справляет свадьбу.

В положенное время на тротуар высыпали и гости. Неприглашенные столпились вокруг них, проникли в их гущу, и ночной воздух наполнился веселыми возгласами, поздравлениями, смехом и тем трудноописуемым шумом, который явился, не без помощи Мак-Гэри, результатом возлияний в честь Гименея.

У обочины тротуара стоял кеб Джерри О'Донована. «Ночной ястреб» — вот какое прозвище получил этот возница. Но из всех кебов, чьи дверцы когда-либо захлопывались за пеной кружев и ноябрьскими фиалками, он был самый чистенький и блестящий. А конь? Нимало не преувеличивая, могу сказать, что он был набит овсом до такой степени, что даже одна из тех престарелых леди, которые оставляют дома посуду невымытой и бегут требовать, чтобы арестовали ломового извозчика, улыбнулась бы — да-да, улыбнулась бы, увидев лошадь Джерри О'Донована.

В этой не стоящей на месте, громкозвучной, вибрирующей толпе мелькала высокая шляпа Джерри, за долгие годы пострадавшая от дождей

и ветров; его нос морковкой, пострадавший от столкновений с игривыми, полными сил отпрысками миллионеров и с несговорчивыми седоками; его зеленое с медными пуговицами одеяние, так восхищавшее население кварталов, окружавших кафе Мак-Гэри. Было очевидно, что Джерри взял на себя функции своего экипажа и «нагрузился» сам. Эту метафору можно развернуть далее и уподобить его особому виду перевозочного средства типа цистерны, если принять показания юного свидетеля, утверждавшего, что «Джерри налился до краев».

Откуда-то из толпы подле дома или из тонкого ручейка прохожих отделилась молодая женщина, быстрым, легким шагом направилась к экипажу и остановилась возле него. Профессиональный ястребиный глаз Джерри уловил это движение. Он ринулся к своему кебу, на пути сбив с ног трех или четырех зевак, и сам… нет, он успел ухватиться за водопроводный кран и удержался на ногах. Подобно моряку, который во время шквала карабкается по вантам, Джерри взобрался на свое законное место. И едва он оказался там, как флюиды из кафе Мак-Гэри утратили свою силу. Взлетая то вверх, то вниз на бизань-мачте своего сухопутного судна, он был

там в такой же безопасности, как привязанный к флагштоку верхолаз на небоскребе.

— Входите, леди, — проговорил Джерри, берясь за вожжи.

Молодая женщина вошла в кеб. С шумом захлопнулись дверцы, в воздухе щелкнул хлыст Джерри, толпа возле дома растаяла, и щегольской экипаж помчался по улице.

Когда бодрый потребитель овса несколько сбавил первоначальную прыть, Джерри приоткрыл створку на верху кеба и, стараясь быть любезным, спросил через узкую щель голосом, напоминающим треснувший мегафон:

— И куда же мы теперь двинем?

— Куда угодно, — ответили ему приятным и довольным тоном.

«Катается, значит, просто для удовольствия», — подумал Джерри. И затем предложил как нечто само собой разумеющееся:

— Прокатимся по парку, леди. И прохладно будет, и по-благородному.

— Пожалуйста, как угодно, — приветливо согласилась пассажирка.

Кеб двинулся в направлении к Пятой авеню и быстро помчался по этой превосходной улице. Джерри покачивался и подпрыгивал на своем

сиденье. Притихшие было мощные флюиды Мак-Гэри ожили и посылали новые пары в голову возницы. Он запел старинную песню деревни Киллиснук, размахивая хлыстом, как дирижерской палочкой.

Пассажирка в кебе сидела на подушках выпрямившись, глядя то налево, то направо, разглядывая дома и огни города. Даже в полутемном кебе глаза ее сияли, как звезды в сумерках.

Когда они подъезжали к Пятьдесят девятой улице, голова Джерри болталась и вожжи в его руках ослабли. Но лошадка по собственному почину завернула в ворота парка и начала свой всегдашний ночной маршрут. Пассажирка блаженно откинулась на спинку сиденья и глубоко вдохнула чистые, здоровые запахи травы, листьев и цветущих деревьев. А мудрое животное в оглоблях, зная свое дело, держалось правой стороны и бежало той рысцой, которая полагается при оплате «по часам».

Привычка взяла свое и успешно одолела все растущее отупение Джерри. Он приоткрыл верхний люк своего раскачиваемого бурей судна и задал вопрос, стереотипный для кебменов, заехавших в парк:

— Как насчет «Казино», леди, не желаете там

остановиться? Подкрепиться, музыку послушать и прочее. Все туда заглядывают.

— Я думаю, это было бы очень приятно, — последовал ответ.

Они подкатили к «Казино», и кеб, дав сильный крен, остановился. Дверцы распахнулись. Пассажирка вышла и мгновенно оказалась в плену восхитительной музыки и целого моря огней и красок. Кто-то сунул ей в руку квадратный кусочек картона, на котором стояло число «34». Она оглянулась, увидела, что ее кеб отъехал от подъезда шагов на тридцать и уже занимает место среди множества других карет, кебов и автомобилей. Затем кто-то, у кого, казалось, самым приметным в костюме была манишка, изящно попятился перед ней, приглашая войти. В следующую минуту она уже сидела за столиком возле перил, над которыми склонились ветви жасмина.

Почувствовав молчаливое приглашение заказать что-нибудь, она проверила в тощем кошельке наличие мелких монет, и они дали ей право на кружку пива. Она сидела, вбирая в себя жизнь в новом ее цвете и форме, — жизнь в сказочном дворце среди заколдованного леса.

За пятьюдесятью столиками сидели принцы и королевы в невиданных шелках и драгоцен-

ностях. Время от времени кто-нибудь кидал любопытный взгляд на пассажирку Джерри. Они видели простенькую фигурку в розовом платье из шелка, облагороженного наименованием «фуляр», и простенькое личико, выражавшее такую жизнерадостность, что королевам становилось завидно.

Уже дважды длинные стрелки часов совершили свой круг. Королевские особы покинули троны al fresco[88], и великолепные колесницы унесли их под шум моторов или стук копыт. Музыка скрылась в деревянные футляры или кожаные и фланелевые чехлы. Официанты снимали скатерти со столиков рядом с тем, за которым сидела, теперь уже почти в одиночестве, простенькая фигурка, и выразительно на нее поглядывали.

Пассажирка Джерри встала и протянула одному из них свой кусочек картона.

— Что-нибудь полагается по этому билетику?

Официант объяснил, что это номер ее кеба и что она должна вручить его человеку у подъезда. Человек у подъезда выкрикнул номер. У «Казино» теперь дожидалось всего три экипажа. Один из возниц слез с козел и выволок Джерри, уснувшего

---

[88] Примечания: 88
Под открытым небом *(исп.)*.

в своем кебе. Крепко выругавшись, Джерри взобрался на капитанский мостик и двинул судно к причалу. Пассажирка села, и кеб тут же помчался в прохладу парка, по возможности сокращая обратный путь.

Уже у ворот проблеск разума в форме внезапного подозрения закрался в затуманенный мозг Джерри. Что-то он сообразил. Он остановил коня, приоткрыл люк и, как свинцовый лот, кинул вниз свой хриплый голос:

— Сперва я хочу получить мои четыре доллара, дальше с места не двинусь. Деньги-то у вас есть?

— Четыре доллара? — мягко рассмеялась пассажирка. — Бог ты мой, конечно нет. У меня всего несколько центов и две-три десятицентовых монетки.

Джерри захлопнул люк и хлестнул свою откормленную лошадку. Стук копыт приглушил, но не заглушил голос, изрыгающий страшные проклятия: задыхаясь, хрипя, Джерри посылал в звездные небеса бессвязную ругань. Он яростно хлестал бичом встречные экипажи, оглашая улицу все новыми и новыми отборными ругательствами. Запоздавший возчик фургона, медленно ползший домой, услышал их и был ошарашен. Но Джерри знал, где его ждет спасе-

ние, и мчался туда галопом.

Он остановился у подъезда с зелеными фонарями. Рванув дверцу кеба, он тяжело спрыгнул с козел.

— Вылезайте, — сказал он грубо.

Пассажирка вышла — на ее простеньком личике еще блуждала счастливая улыбка, зародившаяся в «Казино». Джерри взял ее за руку повыше локтя и повел в полицейский участок. Сидевший за столом седоусый сержант кинул на вошедших зоркий взгляд. Сержант и кебмен встречались не впервые.

— Сержант, — начал было Джерри своим обычным тоном жалобщика — хриплым, оскорбленным и грозным. — Сержант, вот у меня пассажирка, так она…

Он умолк. Он провел красной узловатой рукой по лбу. Туман, осевший там стараниями Мак-Гэри, начинал рассеиваться.

— Да, пассажирка, сержант, — продолжал он, ухмыляясь, — которую желаю вам представить. Это моя жена, женился на ней нынче вечером — гуляли у ее отца, старика Уолша. Уж так гуляли, только держись, право слово. Ну, поздоровайся с сержантом, Нора, и поехали домой.

Прежде чем снова сесть в кеб, Нора испустила

глубокий вздох.

— Я так чудесно провела время, Джерри, — сказала она.

Неоконченный рассказ

Перевод под ред. М. Лорие.

Мы теперь не стонем и не посыпаем главу пеплом при упоминании о геенне огненной. Ведь даже проповедники начинают внушать нам, что Бог — это радий, эфир или какая-то смесь с научным названием и что самое худшее, чему мы, грешные, можем подвергнуться на том свете, — это некая химическая реакция. Такая гипотеза приятна, но в нас еще осталось кое-что и от старого религиозного страха.

Существуют только две темы, на которые можно говорить, дав волю своей фантазии и не боясь опровержений. Вы можете рассказывать о том, что видели во сне, и передавать то, что слышали от попугая. Ни Морфея, ни попугая суд не допустил бы к даче свидетельских показаний, а слушатели не рискнут придраться к вашему рассказу. Итак, сюжетом моего рассказа будет сновидение, за что приношу свои искренние извинения попугаям, кругозор которых уж очень ограничен.

Я видел сон, столь далекий от скептических

настроений наших дней, что в нем фигурировала старинная, почтенная, безвременно погибшая теория Страшного суда.

Гавриил протрубил в трубу, и те из нас, кто не сразу откликнулся на его призыв, были притянуты к допросу. В стороне я заметил группу профессиональных поручителей в черных одеяниях с воротничками, застегивающимися сзади[89], но, по-видимому, что-то с их имущественным цензом оказалось неладно, и непохоже было, чтобы нас выдали им на поруки.

Крылатый ангел-полисмен подлетел ко мне и взял меня за левое крыло. Совсем близко стояло несколько очень состоятельного вида духов, вызванных в суд.

— Вы из этой шайки? — спросил меня полисмен.

— А кто они? — ответил я вопросом.

— Ну, как же, — сказал он, — это люди, которые…

Но все это не относится к делу и только занимает место, предназначенное для рассказа.

Дэлси служила в универсальном магазине. Она продавала ленты, а может быть, фаршированный

---

[89] Примечания: 89
Одежда протестантских священников.

перец, или автомобили, или еще какие-нибудь безделушки, которыми торгуют в универсальных магазинах. Из своего заработка она получала на руки шесть долларов в неделю. Остальное записывалось ей в кредит и кому-то в дебет в главной книге, которую ведет Господь Бог… то есть, виноват, ваше преподобие, Первичная Энергия, так, кажется? Ну, значит, в главной книге Первичной Энергии.

Весь первый год, что Дэлси работала в магазине, ей платили пять долларов в неделю. Поучительно было бы узнать, как она жила на эту сумму. Вам это не интересно? Очень хорошо, вас, вероятно, интересуют более крупные суммы. Шесть долларов более крупная сумма. Я расскажу вам, как она жила на шесть долларов в неделю.

Однажды, в шесть часов вечера, прикалывая шляпку так, что булавка прошла в одной восьмой дюйма от мозжечка, Дэлси сказала своей сослуживице Сэди — той, что всегда поворачивается к покупателю левым профилем:

— Знаешь, Сэди, я сегодня сговорилась пойти обедать со Свинкой.

— Не может быть! — воскликнула Сэди с восхищением. — Вот счастливица-то! Свинка страшно шикарный, он всегда водит девушек в самые

шикарные места. Один раз он водил Бланш к Гофману, а там всегда такая шикарная музыка и пропасть шикарной публики. Ты шикарно проведешь время, Дэлси.

Дэлси спешила домой. Глаза ее блестели. На щеках горел румянец, возвещавший близкий расцвет жизни, настоящей жизни. Была пятница; из недельной получки у Дэлси оставалось пятьдесят центов.

Улицы, как всегда в этот час, были залиты потоками людей. Электрические огни на Бродвее сияли, привлекая из темноты ночных бабочек; они прилетали сюда за десятки, за сотни миль, чтобы научиться обжигать себе крылья. Хорошо одетые мужчины — лица их напоминали те, что старые матросы так искусно вырезывают из вишневых косточек, — оборачивались и глядели на Дэлси, которая спешила вперед, не удостаивая их вниманием. Манхэттен, ночной кактус, начинал раскрывать свои мертвенно белые, с тяжелым запахом лепестки.

Дэлси вошла в дешевый магазин и купила на свои пятьдесят центов воротничок из машинных кружев. Эти деньги были, собственно говоря, предназначены на другое: пятнадцать центов на ужин, десять — на завтрак и десять — на обед.

Еще десять центов Дэлси хотела добавить к своим скромным сбережениям, а пять — промотать на лакричные леденцы, от которых, когда засунешь их за щеку, кажется, что у тебя флюс, и которые тянутся, когда их сосешь, так же долго, как флюс. Леденцы были, конечно, роскошью, почти оргией, но стоит ли жить, если жизнь лишена удовольствий!

Дэлси жила в меблированных комнатах. Между меблированными комнатами и пансионом есть разница: в меблированных комнатах ваши соседи не знают, когда вы голодаете.

Дэлси поднялась в свою комнату — третий этаж, окна во двор, в мрачном каменном доме. Она зажгла газ. Ученые говорят нам, что самое твердое из всех тел — алмаз. Они ошибаются. Квартирные хозяйки знают такой состав, перед которым алмаз покажется глиной. Они смазывают им крышки газовых горелок, и вы можете залезть на стул и раскапывать этот состав, пока не обломаете себе ногти, и все напрасно. Даже шпилькой его не всегда удается проковырять, так что условимся называть его стойким.

Итак, Дэлси зажгла газ. При его свете силою в четверть свечи мы осмотрим комнату.

Кровать, стол, комод, умывальник, стул — в

этом была повинна хозяйка. Остальное принадлежало Дэлси. На комоде помещались ее сокровища: фарфоровая с золотом вазочка, подаренная ей Сэди, календарь — реклама консервного завода, сонник, рисовая пудра в стеклянном блюдечке и пучок искусственных вишен, перевязанный розовой ленточкой.

Прислоненные к кривому зеркалу стояли портреты генерала Китченера, Уильяма Мэлдуна, герцогини Мальборо и Бенвенуто Челлини. На стене висел гипсовый барельеф какого-то ирландца в римском шлеме, а рядом с ним — ярчайшая олеография, на которой мальчик лимонного цвета гонялся за огненно-красной бабочкой. Дальше этого художественный вкус Дэлси не шел; впрочем, он никогда и не был поколеблен. Никогда шушуканья о плагиатах не нарушали ее покоя; ни один критик не щурился презрительно на ее малолетнего энтомолога.

Свинка должен был зайти за нею в семь. Пока она быстро приводит себя в порядок, мы скромно отвернемся и немного посплетничаем.

За комнату Дэлси платит два доллара в неделю. В будни завтрак стоит ей десять центов; она делает себе кофе и варит яйцо на газовой горелке, пока одевается. По воскресеньям она пирует

— ест телячьи котлеты и оладьи с ананасами в ресторане Билли; это стоит двадцать пять центов, и десять она дает на чай. Нью-Йорк так располагает к расточительности. Днем Дэлси завтракает на работе за шестьдесят центов в неделю и обедает за один доллар и пять центов. Вечерняя газета — покажите мне жителя Нью-Йорка, который обходился бы без газеты! — стоит шесть центов в неделю и две воскресных газеты — одна ради брачных объявлений, другая для чтения — десять центов. Итого — четыре доллара семьдесят шесть центов. А ведь нужно еще одеваться, и…

Нет, я отказываюсь. Я слышал об удивительно дешевых распродажах мануфактуры и о чудесах, совершаемых при помощи нитки и иголки; но я что-то сомневаюсь. Мое перо повисает в воздухе при мысли о том, что в жизнь Дэлси следовало бы еще включить радости, какие полагаются женщине в силу всех неписаных, священных, естественных, бездействующих законов высшей справедливости. Два раза она была на Кони-Айленде и каталась на карусели. Скучно, когда удовольствия отпускаются вам не чаще раза в год.

О Свинке нужно сказать всего несколько слов. Когда девушки дали ему это прозвище, на по-

чтенное семейство свиней легло незаслуженное клеймо позора. Можно и дальше использовать для его описания животный мир: у Свинки была душа крысы, повадки летучей мыши и великодушие кошки. Он одевался щеголем и был знатоком по части недоедания. Взглянув на продавщицу из магазина, он мог сказать вам с точностью до одного часа, сколько времени прошло с тех пор, как она ела что-нибудь более питательное, чем чай с пастилой. Он вечно рыскал по большим магазинам и приглашал девушек обедать. Мужчины, выводящие на прогулку собак, и те смотрят на него с презрением. Это — определенный тип: хватит о нем; мое перо не годится для описания ему подобных: я не плотник.

Без десяти семь Дэлси была готова. Она посмотрелась в кривое зеркало и осталась довольна. Темно-синее платье, сидевшее на ней без единой морщинки, шляпа с кокетливым черным пером, почти совсем свежие перчатки — все эти свидетельства отречения (даже от обеда) были ей очень к лицу.

На минуту Дэлси забыла все, кроме того, что она красива и что жизнь готова приподнять для нее краешек таинственной завесы и показать ей свои чудеса. Никогда еще ни один мужчина не

приглашал ее в ресторан. Сегодня ей предстояло на краткий миг заглянуть в новый, сверкающий красками мир.

Девушки говорили, что Свинка — «мот». Значит, предстоит роскошный обед и музыка, и можно будет поглядеть на разодетых женщин и отведать таких блюд, от которых у девушек скулы сводит, когда они пытаются описать их подругам. Без сомнения, он и еще когда-нибудь пригласит ее.

В окне одного магазина она видела голубое платье из китайского шелка. Если откладывать каждую неделю не по десять, а по двадцать центов… постойте, постойте… нет, на это уйдет несколько лет. Но на Седьмой авеню есть магазин подержанных вещей, и там…

Кто-то постучал в дверь. Дэлси открыла. В дверях стояла квартирная хозяйка с притворной улыбкой на губах и старалась уловить носом, не пахнет ли стряпней на украденном газе.

— Вас там внизу спрашивает какой-то джентльмен, — сказала она. — Фамилия Уиггинс.

Под таким названием Свинка был известен тем несчастным, которые принимали его всерьез.

Дэлси повернулась к комоду, чтобы достать носовой платок, и вдруг замерла на месте и креп-

ко закусила нижнюю губу. Пока она смотрела в зеркало, она видела сказочную страну и себя — принцессу, только что проснувшуюся от долгого сна. Она забыла того, кто не спускал с нее печальных, красивых, строгих глаз, единственного, кто мог одобрить или осудить ее поведение. Прямой, высокий и стройный, с выражением грустного упрека на прекрасном меланхолическом лице, генерал Китченер глядел на нее из золоченой рамки своими удивительными глазами.

Как заводная кукла, Дэлси повернулась к хозяйке.

— Скажите ему, что я не пойду, — проговорила она тупо. — Скажите, что я больна или еще что-нибудь. Скажите, что я не выхожу.

Проводив хозяйку и заперев дверь, Дэлси бросилась ничком на постель, так что черное перо совсем смялось, и проплакала десять минут. Генерал Китченер был ее единственный друг. В ее глазах он был идеалом рыцаря. На лице его читалось какое-то тайное горе, а усы его были как мечта, и она немного боялась его строгого, но нежного взгляда. Она привыкла тешить себя невинной фантазией, что когда-нибудь он придет в этот дом и спросит ее, и его шпага будет постукивать о ботфорты. Однажды, когда какой-то

мальчик стучал цепочкой по фонарному столбу, она открыла окно и выглянула на улицу. Но нет! Она знала, что генерал Китченер далеко, в Японии, ведет свою армию против диких турок. Никогда он не выйдет к ней из своей золоченой рамки. А между тем в этот вечер один взгляд его победил Свинку. Да, на этот вечер.

Поплакав, Дэлси встала, сняла свое нарядное платье и надела старенький голубой халатик Обедать ей не хотелось. Она пропела два куплета из «Самми». Потом серьезно занялась красным пятнышком на своем носу. А потом придвинула стул к расшатанному столу и стала гадать на картах.

— Вот гадость, вот наглость! — сказала она вслух. — Я никогда ни словом, ни взглядом не давала ему повода так думать.

В девять часов Дэлси достала из сундучка жестянку с сухарями и горшочек с малиновым вареньем и устроила пир. Она предложила сухарик с вареньем генералу Китченеру, но он только посмотрел на нее так, как посмотрел бы сфинкс на бабочку, если только в пустыне есть бабочки.

— Ну и не ешьте, если не хотите, — сказала Дэлси, — и не важничайте так, и не укоряйте глазами. Навряд ли вы были бы такой гордый,

если бы вам пришлось жить на шесть долларов в неделю.

Дэлси нагрубила генералу Китченеру, это не предвещало ничего хорошего. А потом она сердито повернула Бенвенуто Челлини лицом к стене. Впрочем, это было простительно, потому что она всегда принимала его за Генриха VIII, поведения которого не одобряла.

В половине десятого Дэлси бросила последний взгляд на портреты, погасила свет и юркнула в постель. Это очень страшно — ложиться спать, обменявшись на прощание взглядом с генералом Китченером, Уильямом Мэлдуном, герцогиней Мальборо и Бенвенуто Челлини.

Рассказ, собственно, так и остался без конца. Дописан он будет когда-нибудь позже, когда Свинка опять пригласит Дэлси в ресторан, и она будет чувствовать себя особенно одинокой, и генералу Китченеру случится отвернуться: и тогда…

Как я уже сказал, мне снилось, что я стою недалеко от кучки ангелов зажиточного вида, и полисмен взял меня за крыло и спросил, не из их ли я компании.

— А кто они? — спросил я.

— Ну, как же, — сказал он, — это люди, которые нанимали на работу девушек и платили им пять

или шесть долларов в неделю. Вы из их шайки?

— Нет, ваше бессмертство, — ответил я. — Я всего-навсего поджег приют для сирот и убил слепого, чтобы воспользоваться его медяками.

Калиф, Купидон и часы

Перевод З. Львовского.

Принц Михаил, курфюрст Валлелунский, сидел на своей любимой скамье в парке. Острый холодок сентябрьского вечера, точно редкостное подкрепляющее вино, заставлял кровь сильнее обращаться в его жилах. Большинство скамеек в парке было не занято, потому что парковые аборигены, с их стоячей кровью, боялись осенней сырости и предпочитали проводить холодные ночи под каким-нибудь кровом. Луна только что поднялась над крышами домов, которые окаймляли всю восточную часть парка. Дети играли, прыгали и смеялись вокруг весело журчащего фонтана. В наиболее затененных местах фавны энергично ухаживали за дриадами и почти не обращали никакого внимания на любопытные взгляды смертных. Где-то на боковой улице визжала и стонала шарманка. Вокруг парка шумели и гремели трамваи, а огромные автобусы рычали, словно львы или тигры, и требовали, чтобы все и вся расступалось на их пути. А высоко над деревьями сиял большой круглый циферблат

изнутри освещенных часов на башне старинного общественного строения.

Сапоги принца Михаила были растерзаны так, что самый ловкий и искусный башмачник ровно ничего не мог бы сделать с ними. Старьевщик отклонил бы всякие переговоры касательно его костюма. Двухнедельное жниво на его лице было серое, коричневое, красное и зеленовато-желтое: во всяком случае, хористки музыкальной комедии могли бы заимствовать из его бороды всевозможные цветовые оттенки для своих нарядов. Не было еще такого богача на свете, который из прихоти разрешил бы себе носить такую потрепанную шляпу, как принц Михаил.

Принц Михаил сидел на своей любимой скамье в парке и улыбался. Ему было очень забавно думать и сознавать, что он достаточно богат для того, чтобы купить любой из этих огромных, вплотную примыкающих друг к дружке многооконных домов, которые возвышались против него. Стоило ему только захотеть! Стоило ему только взять малую часть своих несметных богатств, и он мог бы с любым Крезом Мангаттанским помериться во всем том, что касается золота, экипажей, драгоценностей, произведений искусства, недвижимого имущества, земель

и так далее.

Если бы он захотел, то мог бы сидеть за одним столом с величайшими господами и правителями мира сего. Весь правящий мир, все представители искусства, все те, кто может подражать, льстить и преклоняться, были в его власти. Внимание красивейших, уважение выдающихся, признание мудрейших, доверие, лесть, почет, все радости жизни, слава — все это было в его распоряжении. Стоило только принцу Михаилу, курфюрсту Валеллунскому, нагнуться, и он мог собрать весь мед из лучших сотов мира. Но ему всего более нравилось сидеть так, в лохмотьях и отрепьях, на скамье парка. Ибо он вкусил уже от плодов древа жизни, и во рту у него остался такой горький привкус, что он предпочел раз навсегда уйти из Рая и поискать развлечения и отдохновения в чем-нибудь поближе к крепкому и мерно бьющемуся сердцу Мира.

Эти мысли лениво проносились в его мозгу в то время, как он мягко улыбался в свою многоцветную бороду. Устраиваясь здесь по своему вкусу и желанию, одеваясь, как самый нищий из бродяг, он очень любил изучать человеческий род. В альтруизме он всегда находил гораздо больше прелести и радости, чем то могли ему дать все его

общественное положение и условная, мишурная власть. Наибольшая радость, наивысшее удовлетворение его заключались в том, чтобы облегчать личное горе, оказывать милость тем достойным людям, которые действительно нуждались в ней, и ослеплять несчастных совершенно неожиданными, необыкновенными дарами, раздаваемыми с чисто царской роскошью, но в то же время весьма мудро и осторожно.

Вдруг взоры принца Михаила остановились на светящихся башенных часах, и его улыбка, все еще сохраняя все следы альтруизма, слегка окрасилась презрением. Принц всегда мыслил глубоко и возвышенно, и он неизменно покачивал головой при виде того, как весь Мир постыдно покоряется деспотической власти Времени. Зрелище людей, в страхе и трепете мчащихся во все стороны, всегда навевало на него грусть.

Через некоторое время в парк вошел какой-то молодой человек во фраке и уселся на третьей от принца Михаила скамье. В продолжение доброго получаса он нервно и торопливо курил папиросы, а затем начал пристально следить за циферблатом светящихся часов поверх деревьев. Его волнение слишком бросалось в глаза, и принц с печалью в душе отметил про себя,

что возбужденное состояние молодого человека находится в некоторой зависимости от медленно подвигающихся стрелок башенных часов.

Тогда его высочество встал и направился к скамье незнакомца.

— Покорно прошу прощения в том, что я обращаюсь к вам, — величаво начал он, — но я заметил, что вы находитесь в состоянии большого сердечного волнения. Если вам угодно будет простить меня, что я вмешиваюсь в чужие дела, то я смогу прибавить, что я — принц Михаил, престолонаследник курфюршества Валлелунского. Как вы сами можете судить по моей внешности, я явился сюда инкогнито. В этом заключается моя фантазия: оказывать помощь тем людям, которых нахожу достойными моего внимания. Весьма возможно, что печаль, которая сейчас снедает вас, уступит нашим соединенным усилиям и стараниям.

Молодой человек с просветленным лицом взглянул на принца. Но, несмотря на просветленное лицо, перпендикулярная линия волнения, залегшая между его бровями, нисколько не смягчилась. Он рассмеялся, но и тогда линия не исчезла. Но тем не менее он очень охотно принял это временное развлечение.

— Я очень рад видеть вас, принц, — сказал он весьма приветливо. — Несомненно, что вы здесь инкогнито, это сразу бросается в глаза. Очень и очень благодарен вам за желание оказать мне помощь, но, признаться, не знаю и не представляю себе, каким образом вы можете помочь мне. Видите ли, это такое интимное, личное дело, что… Но все же я от души благодарю вас.

Принц Михаил сел рядом с молодым человеком. Случалось так, что его отталкивали, но никогда не делали этого слишком обидно: изысканные манеры и полная достоинства речь принца не разрешали этого.

— Часы всегда были и останутся тяжелыми оковами на ногах человечества, — сказал принц. — Я обратил внимание на то, как пристально вы следили только что за часами. Но разве же вам не известно, что у часов — лицо тирана и что числа их фальшивы, как числа и номера в любой лотерее? Умоляю вас: сбросьте с себя унизительные часовые оковы и прекратите это наглое издевательство и вмешательство в ваши личные дела этой бездушной медной штуки со стальным сердцем.

— О, я не всегда даю часам властвовать надо мной, — ответил юноша.

— Человеческую натуру я знаю так же хорошо, как природу деревьев и травы, — с тем же величавым достоинством продолжал принц. — Я большой философ, великий знаток искусства, и деньги даны мне для того, чтобы я достойно использовал все их возможности. Разрешите уверить вас, что мало имеется на свете таких горестей и осложнений, которых я не мог бы разрешить или же облегчить. Я изучил ваше лицо и увидел, что оно столь же честно и благородно, как и печально. Вот почему я убедительно прошу вас принять мой совет или же помощь. О, не отрицайте, в вашем лице мелькнуло выражение сомнения в моей мощи только потому, что на мне такой наряд. Пусть вас это нисколько не смущает.

Молодой человек снова взглянул на часы и нахмурился. А затем его напряженный взор перебежал с блестящего горолога и впился в четырехэтажный, красный кирпичный дом, стоявший в ряде строений против того места, где он сидел. На землю упали уже густые сумерки, и сквозь них во многих домах слабо светились огни.

— Без десяти минут девять! — воскликнул молодой человек с нетерпеливым жестом отчаяния.

Он повернулся спиной к дому и сделал два-три поспешных шага в противоположном направлении.

— Остановитесь, — приказал ему принц Михаил, и в голосе его зазвучала такая сила, что юноша мигом остановился и издал какой-то горький смешок.

— Я подожду здесь еще десять минут, а затем уйду, — пробормотал он и прибавил громко, обращаясь к принцу: — Я вполне, милый друг мой, согласен с вами, что надо проклясть все часы на свете, содрать их и швырнуть в женщин.

— Присядьте, — спокойно предложил ему принц. — Ваше дополнение я никоим образом не могу принять. Женщины по самой природе своей — враги часов, а, вследствие этого, друзья всех тех людей, которые желают освободиться от ненавистной власти чудовищ, измеряющих наши прихоти и ограничивающих наши радости. Если я настолько внушаю вам доверие, то покорнейше прошу вас изложить мне историю вашей тревоги.

Молодой человек тяжело опустился на скамью и почти беспечно рассмеялся.

— Ваше королевское высочество, — начал он с насмешливой почтительностью. — Изволите ли

вы видеть тот дом, с тремя освещенными окнами в верхнем этаже? Так вот, ровно в шесть часов вечера, сегодня, я стоял в этом доме под руку с одной молодой леди, которую… ну, с которой я помолвлен. Дорогой мой принц, я должен признаться, что поступил по отношению к ней нехорошо, неблагородно, возмутительно. Я сделал то, чего никоим образом не должен был делать, и она узнала про это. Конечно, я всячески добивался того, чтобы получить ее прощение… Ведь вы сами, принц, прекрасно знаете, как мы всегда добиваемся того, чтобы женщины простили нас. Но она вот что сказала мне: «Я должна подумать обо всем этом. Так, сразу, я не могу дать вам определенного ответа, но несомненно одно: либо я совершенно забуду про случившееся, либо я никогда больше не увижу вашего лица. На полурешение я ни за что не соглашусь. В половине девятого, ровно в половине девятого вечера следите за средним окном в верхнем этаже. Если я решу простить вас, то вывешу за окно белый шелковый шарф. По этому знаку вы поймете, что все идет по-прежнему и что вы снова можете прийти ко мне. Если же шарфа за окном не будет, то это будет значить, что все между нами кончено, и навсегда».

— Вот почему, — с большой горечью закон-

чил молодой человек свой рассказ, — я с таким волнением слежу за этими часами. Уже прошло целых двадцать три минуты с тех пор, как должен был показаться шарф, а его до сих пор нет. Так можно ли, милый, обдерганный, оборванный и небритый принц мой, удивляться тому, что я так взволнован?

— Разрешите мне в таком случае повторить вам, что женщины по природе своей враги часов, — своим спокойным, прекрасно модулирующим голосом произнес принц Михаил. — Часы — исчадие дьявола, а женщины — благословение Божье. Несмотря на то что срок прошел, сигнал может еще появиться.

— О, клянусь вашим высочеством, что этого не будет! — воскликнул молодой человек. — Вы говорите это только потому, что совершенно не знаете Мэриан, что вполне естественно. Она на редкость пунктуальный человек, который всегда точен до минуты.

Он добавил:

— Эта ее особенность вначале и привлекла меня к ней. Теперь все для меня кончено. И я понял это еще в восемь часов тридцать одну минуту. Мне остается одно: сегодня, в одиннадцать часов сорок пять минут вечера я уеду с Джеком Мил-

берном на Запад. Ничего другого я не придумаю. Попытаюсь устроиться на ранчо Джека, а если ничего из этого не выйдет, то я двину в Клондайк, где виски заставят меня позабыть обо всем на свете. Спокойной ночи, принц мой…

Принц Михаил улыбнулся своей загадочной, очаровательной и сочувствующей улыбкой и схватил юношу за рукав. Его блестящие глаза затянулись мечтательной, прозрачной пеленой.

— Подождите, — торжественно произнес он, — подождите, пока пробьют часы. Я обладаю большой властью, неограниченным могуществом и прекрасно изучил человеческую душу, но неизменно пугаюсь, когда бьют часы. Останьтесь подле меня до этой минуты. Говорю вам: эта женщина будет ваша. Вам ручается в этом наследный принц Валлелуны. В день вашей свадьбы вы получите от меня сто тысяч долларов и дворец на Гудзоне. Но я ставлю вам одно обязательное условие: в этом дворце не должно быть часов, ибо они измеряют наши прихоти и ограничивают наши радости. Вы принимаете это условие?

— Ну, конечно, принимаю, — весело отозвался молодой человек. — Да и вообще я нахожу, что это — беспокойная и никому не нужная штука. Вечно тикают, вечно бьют, и из-за них тебя вечно

упрекают в том, что ты опоздал к обеду.

Он снова взглянул на башенные часы. Стрелки показывали без трех минут девять.

— А знаете что, — сказал принц Михаил, — я хотел бы немного поспать. У меня сегодня выдался чрезвычайно утомительный день. Я адски устал.

Он вытянулся на скамье с видом человека, привыкшего к такого рода отдыху.

— В любой вечер, если только погода не помешает, вы можете найти меня в этом парке, — сонно произнес он. — Придите ко мне в тот день, когда должна будет состояться ваша свадьба, и я немедленно выдам вам чек на обещанную сумму.

— Премного благодарен вам, ваше высочество, — серьезно промолвил юноша. — Это будет исполнено, и не потому, что я так нуждаюсь в дворце на Гудзоне. Нет, мне просто приятно принять из ваших рук такой прекрасный подарок.

Принц Михаил тяжело задремал, Его помятая шляпа скатилась со скамьи на песок. Молодой человек поднял ее, прикрыл лицо принца и поправил одну из его ног, которая приняла удивительно забавное положение.

— Несчастный человек, — пробормотал он и приподнял полы свесившегося пиджака будущего владетеля Валлелуны.

Резко и четко часы пробили девять. Молодой человек опять вздохнул, повернул свое лицо для того, чтобы бросить последний взгляд на дом, где были сосредоточены и похоронены все его надежды, и — вдруг произнес вслух какие-то глупые и вместе восторженные слова.

В среднем окне верхнего этажа, в глубоких сумерках, внезапно расцвела, зыбкая, белоснежная, качающаяся, чудесная, божественная эмблема прощения и близкого блаженства.

Вскоре после того мимо прошел кругленький, толстенький, торопливый гражданин, не имевший ни малейшего представления о всех замечательных возможностях, которые таятся в шелковых шарфах, развевающихся иногда за границами полутемного парка.

— Не будете ли вы любезны сказать мне, который час, сэр? — спросил молодой человек.

И маленький, кругленький, толстенький гражданин немедленно вытащил часы из кармашка и ответил:

— Двадцать девять с половиной минут девятого, сэр.

С этими словами он чисто механически и по привычке глянул на башенные часы и продолжал:

— Клянусь всеми святыми, что эти часы спешат ровно на полчаса. Впервые за последние десять лет я наблюдаю такой случай. Мои часы никогда не разнятся…

Но оказалось, что словоохотливый гражданин разговаривал сам с собой или же обращался к пустоте. Он повернулся и увидел, что какая-то темная тень сломя голову неслась по направлению дома с тремя освещенными окнами в верхнем этаже.

На следующее утро двое полицейских вошли в парк, с тем, чтобы совершить свой обычный обход. Парк был совершенно пуст. В нем не было никого, за исключением одного жалкого человека, который спал, вытянувшись на скамье.

Полицейские остановились и воззрились на спящего.

— А, да ведь это Майк, — сказал один из них. — Он проводит здесь все ночи. Вот уже двадцать лет, как он обитает здесь. Мне только кажется, что он недолго еще протянет.

Другой полисмен подошел ближе, заинтересованный чем-то скомканным и торчавшим в сжатой руке бродяги.

— Вот так так, — заметил он. — Он выудил где-то пятьдесят долларов. Интересно знать, каким

образом он раздобыл их.

И тогда послышались три резких удара.

— Рэп. Рэп. Рэп.

Это дубинка действительности три раза стукнула об изношенные подошвы принца Михаила, наследника курфюрста Валлелунского.

Сёстры золотого кольца

Перевод В. Маянц.

Экскурсионный автобус вот-вот отправится в путь. Учтивый кондуктор уже рассадил по местам веселых пассажиров империала. Тротуар запружен зеваками, которые собрались сюда поглазеть на других зевак, тем самым подтверждая закон природы, гласящий, что всякому существу на земле суждено стать добычей другого существа.

Человек с рупором поднял свое орудие пытки, внутренности огромного автобуса начали бухать и биться, словно сердце у любителя кофе. Пассажиры империала нервно уцепились за сиденья, пожилая дама из Вальпараисо, штат Индиана, завизжала, что хочет высадиться на сушу. Однако, прежде чем завертятся колеса автобуса, послушайте краткое предисловие к нашему рассказу, которое откроет вам глаза на нечто, достойное внимания в той экскурсии по жизни, которую совершаем мы с вами.

Быстро и легко белый узнает белого в дебрях Африки, мгновенно и безошибочно возникает духовная близость у матери и ребенка, без труда

общается хозяин со своей собакой через едва заметную пропасть, которая отделяет человека от животного, с поразительной скоростью обмениваются короткими мудрыми весточками двое влюбленных. Однако во всех этих случаях взаимное понимание устанавливается медленно и как бы на ощупь по сравнению с тем, что вам доведется наблюдать на нашем автобусе с туристами. Вы узнаете (если не узнали еще до сих пор), какие именно два существа из тех, что населяют землю, при встрече быстрее всего проникают в сердце и душу друг друга.

Зазвенел гонг, и автобус, битком набитый Желающими Просветиться, торжественно отправился в свое поучительное турне.

Заднюю, самую высокую скамью империала занимал Джеймс Уильямс из Кловердейла, штат Миссури, со своей Новобрачной.

Наборщик, друг, с заглавной буквы набери это слово — лучшее из слов в великом празднике жизни и любви. Аромат цветов, нектар, собранный пчелой, первая весенняя капель, ранняя песнь жаворонка, лимонная корочка в коктейле мироздания — вот что такое Новобрачная. Мы свято чтим жену, уважаем мать, не прочь пройтись летним вечерком с девушкой, но Но-

вобрачная — это банковский чек, который среди других свадебных подарков боги посылают на землю, когда Человек венчается с Жизнью.

Автобус катился по Золотому пути. На мостике громадного крейсера стоял капитан, через рупор вещая о достопримечательностях большого города. Широко раскрыв глаза и развесив уши, пассажиры слушали громовую команду — любоваться разными знаменитыми видами. Все вызывало интерес у млевших от восторга провинциалов, и они терялись, не зная, куда смотреть, когда труба призывала их к новым зрелищам. Широко раскинувшиеся соборы с торжественными шпилями они принимали за дворец Вандербильтов; они удивились, но решили, что кишащее людьми здание Центрального вокзала и есть смиренная хижина Рассела Сейджа[90]. Когда им предложили взглянуть на холмистые берега Гудзона, они замерли от восхищения перед горами земли, навороченными при прокладке новой канализации.

Многим подземная железная дорога казалась торговыми рядами Риальто: на станциях сидят люди в форме и делают отбивную из ваших би-

[90] Примечания: 90

Вандербильт, Рассел Сейдж — американские миллионеры, чьи особняки расположены на Пятой авеню в Нью-Йорке.

летов. Провинциалы по сей день уверены, что Чак Коннорс, прижав руку к сердцу, проводит в жизнь реформы и что, не будь некоего окружного прокурора Паркхерста и его самоотверженной деятельности на благо города, знаменитая банда «Епископа» Поттера перевернула бы вверх дном закон и порядок от Бауэри до реки Гарлем.

Однако вас я прошу взглянуть на миссис Джеймс Уильямс — совсем недавно она была Хэтти Чалмерс, первая красавица в Кловердейле. Новобрачная должна носить нежно-голубой цвет, если только это будет угодно, и именно этот цвет почтила наша Новобрачная. Розовый бутон с удовольствием уступил ее щекам часть своего румянца, а что касается фиалок! — ее глаза прекрасно обойдутся и без них, спасибо. Бесполезное облако белого газа… — ах, нет! облако газа стлалось за автобусом, — белого шифона — или, может, то была кисея или тюль — подвязано у нее под подбородком якобы для того, чтобы удержать шляпу на месте, Но вы не хуже меня знаете, что на самом деле шляпа держалась на булавках.

На лице миссис Джеймс Уильямс была изложена маленькая библиотечка избранных мыслей человечества в трех томах. Том I содержал в себе мнение, что Джеймс Уильямс — лучше всех в

мире. Том II был трактатом о вселенной, из коего явствовало, что это есть восхитительнейшее место. Том III выдвигал тезис, что они с мужем заняли самые высокие места в автобусе для туристов и путешествуют со скоростью, превышающей всякое понимание…

Джеймсу Уильямсу вы бывали года двадцать четыре. Вам будет приятно узнать, насколько эта оценка оказалась точной. Ему было ровно двадцать три года, одиннадцать месяцев и двадцать девять дней. Он был стройный, энергичный, живой, добродушный, имел надежды на будущее. Он совершал свадебное путешествие.

Милая добрая фея, тебе присылают заказы на деньги, на шикарные лимузины в сорок лошадиных сил, на громкую славу, на новые волосы для лысины, на президентство в яхт-клубе, — отложи эти дела в сторону и оглянись вместе с нами, ах, оглянись назад и дай нам пережить вновь хоть малюсенький кусочек нашего свадебного путешествия! Хоть на часок, душечка фея, чтобы вспомнить, какими были лужайки, и тополя, и облако лент, подвязанное под ее подбородком, даже если на самом деле шляпа держалась на булавках. Не можешь? Жаль. Ну что ж, тогда поторопись с лимузином и с нефтяными акциями.

Впереди миссис Уильямс сидела девушка в свободном оранжевом жакете и в соломенной шляпке, украшенной виноградом и розами. Виноград и розы на одной ветке. — Увы! это можно увидеть только во сне да в лавке шляпницы Большими доверчивыми голубыми глазами девушка глядела на человека с рупором, когда он убежденно трубил о том, что миллионеры достойны занимать наше воображение. В перерывах между его отчаянными воплями она прибегала к философии Эпиктета, воплощенной в жевательной резинке.

Справа от этой девушки сидел молодой человек лет двадцати четырех. Он был стройный, энергичный, живой и добродушный. Если вам кажется, что по нашему описанию получился вылитый Джеймс Уильямс, то отнимите у него все кловердейлское, что так характерно для Джеймса. Наш герой э 2 вырос среди жестких улиц и острых углов Он зорко поглядывал по сторонам, и, казалось, завидовал асфальту под ногами тех, на кого он взирал сверху вниз со своего насеста.

Пока рупор тявкает у какой-то знаменитой гостиницы, я тихонько попрошу вас усесться покрепче, потому что сейчас произойдет кое-что новенькое, а потом огромный город опять со-

мкнется над нашими героями, как над обрывком телеграфной ленты, выброшенной из окна конторы биржевого спекулянта.

Девушка в оранжевом жакете обернулась, чтобы рассмотреть паломников на задней скамье. Всех прочих пассажиров она уже обозрела, а места позади все еще оставались для нее комнатой Синей Бороды.

Она встретилась взглядом с миссис Джеймс Уильямс. Не успели часы тикнуть, как они обменялись жизненным опытом, биографиями, надеждами и мечтами. И все это, заметьте, при помощи одного взгляда, быстрее, чем двое мужчин решили бы, схватиться ли им за оружие, или попросить прикурить.

Новобрачная низко наклонилась вперед. Между ней и девушкой в жакете завязалась оживленная беседа, языки их работали быстро, точно змеиные — сравнение, в котором не следует идти дальше сказанного. Две улыбки, десяток кивков — и конференция закрылась.

И вдруг посредине широкой спокойной улицы перед самым автобусом встал человек в темном пальто и поднял руку. С тротуара спешил к нему другой.

Девушка в плодородной шляпке быстро схвати-

ла своего спутника за руку и шепнула ему что-то на ухо.

Оказалось, что сей молодой человек умеет действовать проворно. Низко пригнувшись, он скользнул через борт империала, на секунду повис в воздухе и затем исчез. Несколько верхних пассажиров с удивлением наблюдали за столь ловким трюком, но от замечаний воздержались, полагая, что в этом поразительном городе благоразумней всего ничему не удивляться вслух, тем более что ловкий прыжок может оказаться обычным способом высаживаться из автобуса. Нерадивый экскурсант увернулся от экипажа и, точно листок в потоке, проплыл куда-то мимо между мебельным фургоном и повозкой с цветами.

Девушка в оранжевом жакете опять обернулась и посмотрела в глаза миссис Джеймс Уильямс. Потом она стала спокойно глядеть вперед, — в этот момент под темным пальто сверкнул полицейский значок, и автобус с туристами остановился.

— Что у вас, мозги заело? — осведомился человек с трубой, прервав свою профессиональную речь и переходя на чистый английский язык.

— Бросьте-ка якорь на минуту, — распорядился полицейский. — У вас на борту человек, которо-

го мы ищем, — взломщик из Филадельфии, по прозвищу Мак-Гайр — «Гвоздика». Вон он сидит на заднем сиденье. Ну-ка, зайди с той стороны, Донован.

Донован подошел к заднему колесу и взглянул вверх на Джеймса Уильямса.

— Слезай, дружок, — сказал он задушевно. — Поймали мы тебя. Теперь опять отдохнешь за решеткой. А здорово ты придумал спрятаться на Глазелке. Надо будет запомнить.

Через рупор кондуктор негромко посоветовал:

— Лучше слезьте, сэр, выясните, в чем там дело. Нельзя задерживать автобус.

Джеймс Уильямс принадлежал к людям уравновешенным. Как ни в чем не бывало, он не спеша пробрался вперед между пассажирами и спустился по лесенке вниз. За ним последовала его жена, однако, прежде чем спуститься, она поискала глазами исчезнувшего туриста и увидела, как он вынырнул из-за мебельного фургона и спрятался за одним из деревьев сквера, в пятидесяти футах от автобуса.

Оказавшись на земле, Джеймс Уильямс с улыбкой посмотрел на блюстителей закона. Он уже предвкушал какую веселенькую историю можно будет рассказать в Кловердейле о том, как его

было приняли за грабителя. Автобус задержался из почтения к своим клиентам. Ну что может быть интересней такого зрелища?

— Меня зовут Джеймс Уильямс из Кловердейла, штат Миссури, — сказал он мягко, стараясь не слишком огорчить полицейских. — Вот здесь у меня письма, из которых видно…

— Следуй за нами, — объявил сыщик. — Описание Мак-Гайра — «Гвоздики» подходит тебе точь-в-точь, как фланелевое белье после горячей стирки. Один из наших заметил тебя на верху Глазелки около Центрального парка. Он позвонил, мы тебя и сцапали. Объясняться будешь в участке.

Жена Джеймса Уильямса — а она была его женой всего две недели — посмотрела ему в лицо странным, мягким, лучистым взглядом; порозовев, посмотрела ему в лицо и сказала:

— Пойди с ними, не буянь, «Гвоздика», может быть, все к лучшему.

И потом, когда автобус, набитый Желающими Просветиться, отправился дальше, она обернулась и послала воздушный поцелуй — его жена послала воздушный поцелуй! — кому-то из пассажиров, сидевших на империале.

— Твоя девчонка дала тебе хороший совет, —

сказал Донован. — Пошли.

Тут на Джеймса Уильямса нашло умопомрачение. Он сдвинул шляпу на затылок.

— Моя жена, кажется, думает, что я взломщик, — сказал он беззаботно. — Я никогда раньше не слыхал, чтобы она была помешана, следовательно, помешан я. А раз я помешан, то мне ничего не сделают, если я в состоянии помешательства убью вас, двух дураков.

После чего он стал сопротивляться аресту так весело и ловко, что потребовалось свистнуть полицейским, а потом вызвать еще резервы, чтобы разогнать тысячную толпу восхищенных зрителей.

В участке дежурный сержант спросил, как его зовут.

— Не то Мак-Дудл — «Гвоздика», не то «Гвоздика» — Скотина, не помню точно, — отвечал Джеймс Уильямс. — Можете не сомневаться, я взломщик, смотрите, не забудьте это записать. Добавьте, что сорвать «Гвоздику» удалось только впятером. Я настаиваю, чтобы эта особо отметили в акте.

Через час миссис Джеймс Уильямс привезла с Мэдисон-авеню дядю Томаса и доказательства невиновности нашего героя; привезла во внуша-

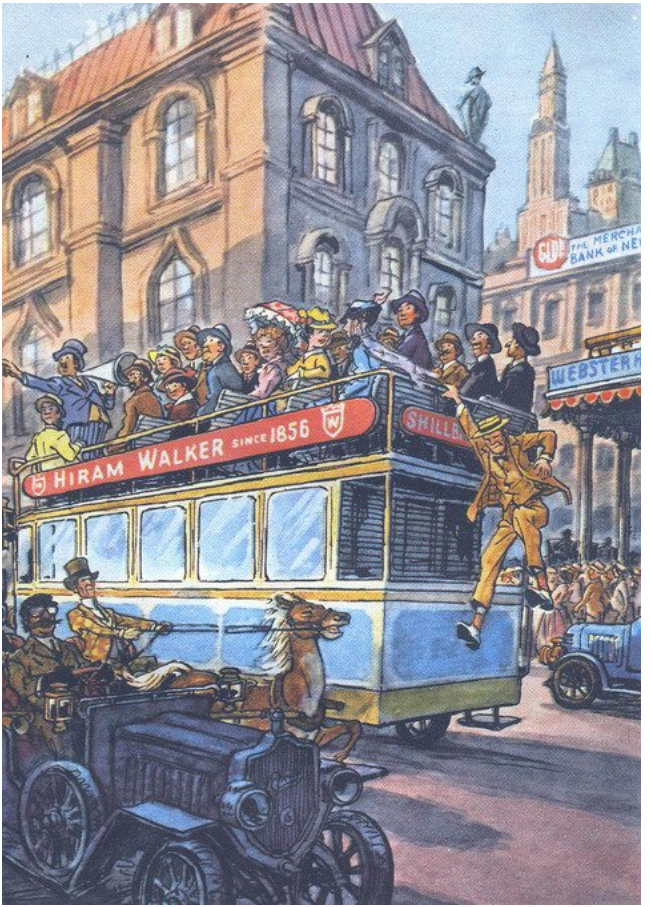
ющем уважение автомобиле, точь-в-точь как в третьем акте драмы, постановку которой финансирует автомобильная компания.

После того как полиция сделала Джеймсу Уильямсу строгое внушение за плагиат и отпустила его со всем почетом, на какой была способна, миссис Джеймс Уильямс вновь наложила на него арест и загнала в уголок полицейского участка. Джеймс Уильяме взглянул на нее одним глазом. Он потом рассказывал, что второй глаз ему закрыл Донован, пока кто-то удерживал его за правую руку. До этой минуты он ни разу не упрекнул и не укорил жену.

— Может быть, вы потрудитесь объяснить, — начал он довольно сухо, — почему вы…

— Милый, — прервала она его, — послушай. Тебе пришлось пострадать всего час. Я сделала это для нее… Для этой девушки, которая заговорила со мной в автобусе. Я была так счастлива, Джим… так счастлива с тобой, ну разве я могла кому-нибудь отказать в таком же счастье? Джим, они поженились только сегодня утром… И мне хотелось, чтобы он успел скрыться. Пока вы дрались, я видела, как он вышел из-за дерева и побежал через парк. Вот как было дело, милый… Я не могла Иначе.

Так одна сестра незамысловатого золотого колечка узнает другую, стоящую в волшебном луче, который светит каждому всего один раз в жизни, да и то недолго. Мужчина догадывается о свадьбе по рису да по атласным бантам. Новобрачная узнает новобрачную по одному лишь взгляду. И они быстро находят общий язык, неведомый мужчинам и вдовам.


HIRAM WALKER SINCE 1856
THE MERCHA
BANK OF NE
WEBSTER

Роман биржевого маклера

Перевод под редакцией М. Лорие.

Питчер, доверенный клерк в конторе биржевого маклера Гарви Максуэла, позволил своему обычно непроницаемому лицу на секунду выразить некоторый интерес и удивление, когда в половине десятого утра Максуэл быстрыми шагами вошел в контору в сопровождении молодой стенографистки. Отрывисто бросив «здравствуйте, Питчер», он устремился к своему столу, словно собирался перепрыгнуть через него, и немедленно окунулся в море ожидавших его писем и телеграмм.

Молодая стенографистка служила у Максуэла уже год. В ее красоте не было решительно ничего от стенографии. Она презрела пышность прически «помпадур». Она не носила ни цепочек, ни браслетов, ни медальонов. У нее не было такого вида, словно она в любую минуту готова принять приглашение в ресторан. Платье на ней было простое, серое, изящно и скромно облегавшее ее фигуру. Ее строгую черную шляпку-тюрбан украшало зеленое перо попугая. В это утро она

вся светилась каким-то мягким, застенчивым светом. Глаза ее мечтательно поблескивали, щеки напоминали персик в цвету, по счастливому лицу скользили воспоминания.

Питчер, наблюдавший за нею все с тем же сдержанным интересом, заметил, что в это утро она вела себя не совсем обычно. Вместо того чтобы прямо пройти в соседнюю комнату, где стоял ее стол, она, словно ожидая чего-то, замешкалась в конторе. Раз она даже подошла к столу Максуэла — достаточно близко, чтобы он мог ее заметить.

Человек, сидевший за столом, уже перестал быть человеком. Это был занятый по горло нью-йоркский маклер — машина, приводимая в движение колесиками и пружинами.

— Да. Ну? В чем дело? — резко спросил Максуэл. Вскрытая почта лежала на его столе, как сугроб бутафорского снега. Его острые серые глаза, безличные и грубые, сверкнули на нее почти что раздраженно.

— Ничего, — ответила стенографистка и отошла с легкой улыбкой.

— Мистер Питчер, — сказала она доверенному клерку, — мистер Максуэл говорил вам вчера о приглашении новой стенографистки?

— Говорил, — ответил Питчер, — он велел мне

найти новую стенографистку. Я вчера дал знать в бюро, чтобы они нам прислали несколько образчиков на пробу. Сейчас десять сорок пять, но еще ни одна модная шляпка и ни одна палочка жевательной резинки не явилась.

— Тогда я буду работать, как всегда, — сказала молодая женщина, — пока кто-нибудь не заменит меня.

И она сейчас же прошла к своему столу и повесила черный тюрбан с золотисто-зеленым пером попугая на обычное место.

Кто не видел занятого нью-йоркского маклера в часы биржевой лихорадки, тот не может считать себя знатоком в антропологии. Поэт говорит о «полном часе славной жизни». У биржевого маклера час не только полон, но минуты и секунды в нем держатся за ремни и висят на буферах и подножках.

А сегодня у Гарви Максуэла был горячий день. Телеграфный аппарат стал рывками разматывать свою ленту, телефон на столе страдал хроническим жужжанием. Люди толпами валили в контору и заговаривали с ним через барьер — кто весело, кто сердито, кто резко, кто возбужденно. Вбегали и выбегали посыльные с телеграммами. Клерки носились и прыгали, как матросы во

время шторма. Даже физиономия Питчера изобразила нечто вроде оживления.

На бирже в этот день были ураганы, обвалы и метели, землетрясения и извержения вулканов, и все эти стихийные неурядицы отражались в миниатюре в конторе маклера. Максуэл отставил свой стул к стене и заключал сделки, танцуя на пуантах. Он прыгал от телеграфа к телефону и от стола к двери с профессиональной ловкостью арлекина.

Среди этого нарастающего напряжения маклер вдруг заметил перед собой золотистую челку под кивающим балдахином из бархата и страусовых перьев, сак из кошки «под котик» и ожерелье из крупных, как орехи, бус, кончающееся где-то у самого пола серебряным сердечком. С этими аксессуарами была связана самоуверенного вида молодая особа. Тут же стоял Питчер, готовый истолковать это явление.

— Из стенографического бюро, насчет места, — сказал Питчер.

Максуэл сделал полуоборот; руки его были полны бумаг и телеграфной ленты.

— Какого места? — спросил он нахмурившись.

— Места стенографистки, — сказал Питчер. — Вы мне сказали вчера, чтобы я вызвал на сегодня

новую стенографистку.

— Вы сходите с ума, Питчер, — сказал Максуэл. — Как я мог дать вам такое распоряжение? Мисс Лесли весь год отлично справлялась со своими обязанностями. Место за ней, пока она сама не захочет уйти. У нас нет никаких вакансий, сударыня. Дайте знать в бюро, Питчер, чтобы больше не. присылали, и никого больше ко мне не водите.

Серебряное сердечко в негодовании покинуло контору, раскачиваясь и небрежно задевая за конторскую мебель. Питчер, улучив момент, сообщил бухгалтеру, что «старик» с каждым днем делается рассеяннее и забывчивее.

Рабочий день бушевал все яростнее. На бирже топтали и раздирали на части с полдюжины акций разных наименований, в которые клиенты Максуэла вложили крупные деньги. Приказы на продажу и покупку летали взад и вперед, как ласточки. Опасности подвергалась часть собственного портфеля Максуэла, и он работал полным ходом, как некая сложная, тонкая и мощная машина; слова, решения, поступки следовали друг за дружкой с быстротой и четкостью часового механизма. Акции и обязательства, займы и фонды, закладные и ссуды — это был

мир финансов, и в нем не было места ни для мира человека, ни для мира природы.

Когда приблизился час завтрака, в работе наступило небольшое затишье.

Максуэл стоял возле своего стола с полными руками записей и телеграмм; за правым ухом у него торчала вечная ручка, растрепанные волосы прядями падали ему на лоб. Окно было открыто, потому что милая швейцариха-весна повернула радиатор, и по трубам центрального отопления земли разлилось немножко тепла.

И через окно в комнату забрел, может быть по ошибке, тонкий, сладкий аромат сирени и на секунду приковал маклера к месту. Ибо этот аромат принадлежал мисс Лесли. Это был ее аромат, и только её.

Этот аромат принес ее и поставил перед ним — видимую, почти осязаемую. Мир финансов мгновенно съежился в крошечное пятнышко. А она была в соседней комнате, в двадцати шагах.

— Клянусь честью, я это сделаю, — сказал маклер вполголоса. — Спрошу ее сейчас же. Удивляюсь, как я давно этого не сделал.

Он бросился в комнату стенографистки с поспешностью биржевого игрока, который хочет «донести», пока его не экзекутировали. Он ринул-

ся к ее столу.

Стенографистка посмотрела на него и улыбнулась. Легкий румянец залил ее щеки, и взгляд у нее был ласковый и открытый. Максуэл облокотился на ее стол. Он все еще держал обеими руками пачку бумаг, и за ухом у него торчало перо.

— Мисс Лесли, — начал он торопливо, — у меня ровно минута времени. Я должен вам кое-что сказать. Будьте моей женой. Мне некогда было ухаживать за вами как полагается, но я, право же, люблю вас. Отвечайте скорее, пожалуйста, — эти негодяи вышибают последний дух из «Тихоокеанских».

— Что вы говорите! — воскликнула стенографистка. Она встала и смотрела на него широко раскрытыми глазами.

— Вы меня не поняли? — досадливо спросил Максуэл. — Я хочу, чтобы вы стали моей женой. Я люблю вас, мисс Лесли. Я давно хотел вам сказать и вот улучил минутку, когда там, в конторе, маленькая передышка. Ну вот, меня опять зовут к телефону… Скажите, чтобы подождали, Питчер… Так как же, мисс Лесли?

Стенографистка повела себя очень странно. Сначала она как будто изумилась, потом из ее

удивленных глаз хлынули слезы, а потом она солнечно улыбнулась сквозь слезы и одной рукой нежно обняла маклера за шею.

— Я поняла, — сказала она мягко. — Это биржа вытеснила у тебя из головы все остальное. А сначала я испугалась. Неужели ты забыл, Гарви? Мы ведь обвенчались вчера в восемь часов вечера в Маленькой церкви за углом[91].

[91] Примечания: 91

Маленькая церковь за углом — церковь Преображения близ Пятой авеню в деловой части Нью-Йорка.

Через двадцать лет

Перевод Н. Дехтеревой.

По улице с внушительным видом двигался постовой полисмен. Внушительность была привычной, не ради зрителей, которые попадались редко. Не было еще и десяти часов вечера, но в резких порывах сырого ветра уже чувствовался дождь, и улицы почти опустели.

Проверяя на ходу двери, ловким и замысловатым движением помахивая дубинкой и время от времени бросая зоркие взгляды во все концы своих мирных владений, полисмен, рослый, крепкого сложения, с чуть развалистой походкой, являл собой прекрасный образец блюстителя общественного спокойствия. Жители его участка ложились спать рано. Лишь кое-где еще мелькали огни — в табачном магазине или в ночном баре. Но большинство зданий были заняты под конторы, а те уже давно закрылись.

Не дойдя до половины одного из кварталов, полисмен вдруг замедлил шаги. В темноте, возле входа в магазин скобяных изделий, стоял человек с незажженной сигарой во рту. Как только по-

лисмен направился к нему, незнакомец быстро заговорил.

— Все в порядке, сержант, — сказал он успокаивающим тоном. — Поджидаю приятеля, только и всего. Насчет этой встречи у нас с ним было условлено двадцать лет тому назад. Вам это кажется несколько странным, не так ли? Ну что ж, если хотите, могу разъяснить, чтобы окончательно вас успокоить. На том самом месте, где теперь этот магазин, стоял раньше ресторан «Большого Джо Брэди».

— Пять лет тому назад, — сказал полисмен, — тот дом снесли.

Человек чиркнул спичкой и зажег сигару. Пламя спички осветило бледное лицо с квадратной челюстью, острым взглядом и маленьким белым шрамом возле правой брови. В кашне сверкнула булавка с крупным брильянтом.

— Сегодня, — продолжал незнакомец, — ровно двадцать лет с того дня, как я ужинал у «Большого Брэди» с Джимом Уэлсом, лучшим моим товарищем и самым замечательным парнем на свете. Мы оба росли с ним здесь, в Нью-Йорке, вместе, как родные братья. Мне сравнялось восемнадцать, а Джиму двадцать лет. Наутро я отправлялся на Запад, искать счастья. Джимми

вытащить из Нью-Йорка было делом безнадежным — он считал, что это единственное стоящее место на всем земном шаре. Ну, в тот вечер мы и договорились встретиться ровно через двадцать лет — день в день, час в час — как бы ни сложилась наша жизнь и как бы далеко ни забросила нас судьба. Мы полагали, что за столько лет положение наше определится и мы успеем выковать свое счастье.

— Это все очень интересно, — заговорил полисмен, — хотя, на мой взгляд, промежуток между встречами несколько великоват. И что ж, вы так ничего и не слышали о вашем приятеле с тех пор, как расстались?

— Нет, первое время мы переписывались. Но спустя год или два потеряли друг друга из виду. Запад, знаете ли, пространство не очень маленькое, а я двигался по нему довольно проворно. Но я знаю наверняка: Джимми, если только он жив, придет к условленному месту. На всем свете нет товарища вернее и надежнее. Он не забудет. Я отмахал не одну тысячу миль, чтобы попасть сюда вовремя, и дело стоит того, если только и Джим сдержит слово.

Он вынул великолепные часы — их крышка была усыпана мелкими брильянтами.

— Без трех минут десять, — заметил он. — Было ровно десять, когда мы расстались тогда у дверей ресторана.

— Дела на Западе, полагаю, шли не плохо? — осведомился полисмен.

— О, еще бы! Буду рад, если Джиму повезло хотя бы вполовину так, как мне. Он был немного рохля, хоть и отличный малый. Мне пришлось немало поизворачиваться, чтобы постоять за себя. А в Нью-Йорке человек сидит, как чурбан. Только Запад умеет обтесывать людей.

Полисмен повертел дубинкой и сделал шаг вперед.

— Мне пора идти. Надеюсь, ваш друг придет вовремя. Вы ведь не требуете от него уж очень большой точности?

— Ну, конечно. Я подожду его еще, по крайней мере, с полчаса. Если только он жив, к этому времени он уж непременно должен прийти. Всего лучшего, сержант.

— Спокойной ночи, сэр. — Полисмен возобновил свой обход, продолжая по дороге проверять двери.

Стал накрапывать мелкий холодный дождь, и редкие порывы перешли в непрерывный пронзительный ветер. Немногочисленные пешеходы

молча, с мрачным видом, торопливо шагали по улице, подняв воротники и засунув руки в карманы. А человек, приехавший за тысячи миль, чтобы сдержать почти нелепое обещание, данное другу юности, курил сигару и ждал.

Прошло еще минут двадцать, и вот высокая фигура в длинном пальто с воротником, поднятым до ушей, торопливо пересекла улицу и направилась прямо к человеку, поджидавшему у входа в магазин.

— Это ты, Боб? — спросил подошедший неуверенно.

— А это ты, Джимми Уэлс? — быстро откликнулся тот.

— Ах, бог ты мой! — воскликнул высокий человек, хватая в свои руки обе руки человека с сигарой. — Ну, ясно как день, это Боб. Я не сомневался, что найду тебя здесь, если только ты еще существуешь на свете. Ну, ну! Двадцать лет — время немалое. Видишь, Боб, наш ресторан уже снесли. А жаль, мы бы с тобой поужинали в нем, как тогда. Ну, рассказывай, дружище, как жилось тебе на Западе?

— Здорово. Получил от него все, чего добивался. А ты сильно переменился, Джим. Мне помнилось, ты был дюйма на два, на три ниже.

— Да, я еще подрос немного после того, как мне исполнилось двадцать.

— А как твои дела, Джимми?

— Сносно. Служу в одном из городских учреждений. Ну, Боб, пойдем. Я знаю один уголок, мы там с тобой вдоволь наговоримся, вспомним старые времена.

Они пошли, взявшись под руку. Приехавший с Запада с эгоизмом человека, избалованного успехом, принялся рассказывать историю своей карьеры. Другой, почти с головой уйдя в воротник, с интересом слушал.

На углу квартала сиял огнями аптекарский магазин. Подойдя к свету, оба спутника одновременно обернулись и глянули друг другу в лицо.

Человек с Запада вдруг остановился и высвободил руку.

— Вы не Джим Уэлс, — сказал он отрывисто. — Двадцать лет — долгий срок, но не настолько уж долгий, чтобы у человека римский нос превратился в кнопку.

— За такой срок иногда и порядочный человек может стать мошенником, — ответил высокий. — Вот что, «Шелковый» Боб, уже десять минут как вы находитесь под арестом. В Чикаго так и предполагали, что вы не преминете заглянуть в наши

края, и телеграфировали, что не прочь бы побеседовать с вами. Вы будете вести себя спокойно? Ну, очень благоразумно с вашей стороны. А теперь, прежде чем сдать вас в полицию, я еще должен выполнить поручение. Вот вам записка. Можете прочесть ее здесь, у окна. Это от постового полисмена Уэлса.

Человек с Запада развернул поданный ему клочок бумаги. Рука его, твердая вначале, слегка дрожала, когда он дочитал записку. Она была коротенькая:

«Боб! Я пришел вовремя к назначенному месту. Когда ты зажег спичку, я узнал лицо человека, которого ищет Чикаго. Я как-то не мог сделать этого сам и поручил арестовать тебя нашему агенту в штатском.

Джимми».

Мишурный блеск

Перевод М. Урнова.

Мистер Тауэрс Чендлер гладил у себя в комнатушке свой выходной костюм. Один утюг грелся на газовой плитке, а другим он энергично водил взад и вперед, добиваясь желаемой складки, которой предстояло вскоре протянуться безупречно прямой линией от его лакированных ботинок до края жилета с низким вырезом. Вот и все о туалете нашего героя, что можно довести до всеобщего сведения. Об остальном пусть догадываются те, кого благородная нищета толкает на жалкие уловки. Мы снова увидим мистера Чендлера, когда он будет спускаться по лестнице дешевых меблированных комнат; безупречно одетый, самоуверенный, элегантный, по внешности — типичный нью-йоркский клубмен, прожигатель жизни, отправляющийся с несколько скучающим видом в погоню за вечерними удовольствиями.

Чендлер получал восемнадцать долларов в неделю. Он служил в конторе у одного архитектора. Ему было двадцать два года. Он считал архитектуру настоящим искусством и был ис-

кренне убежден, — хотя не рискнул бы заявить об этом в Нью-Йорке, — что небоскреб «Утюг» по своим архитектурным формам уступает Миланскому собору.

Каждую неделю Чендлер откладывал из своей получки один доллар. В конце каждой десятой недели на добытый таким способом сверхкапитал он покупал в лавочке скаредного Папаши Времени один-единственный вечер, который мог провести как джентльмен. Украсив себя регалиями миллионеров и президентов, он отправлялся в ту часть города, что ярче всего сверкает огнями реклам и витрин, и обедал со вкусом и шиком. Имея в кармане десять долларов, можно в течение нескольких часов мастерски разыгрывать богатого бездельника. Этой суммы хватает на хорошую еду, бутылку вина с приличной этикеткой, соответствующие чаевые; сигару, извозчика и обычные и т. п.

Этот один усладительный вечер, выкроенный из семидесяти нудных вечеров, был для него источником периодически возрождающегося блаженства. У девушки первый выезд в свет бывает только раз в жизни; и когда волосы ее поседеют, он по-прежнему будет всплывать в ее памяти как нечто радостное и неповторимое.

Чендлер же каждые десять недель испытывал удовольствие столь же острое и сильное, как в первый раз. Сидеть под пальмами в кругу бонвиванов, внимать звукам невидимого оркестра, смотреть на завсегдатаев этого рая и чувствовать на себе их взгляды — что в сравнении с этим первый вальс и газовое платьице юной дебютантки?

Чендлер шел по Бродвею, как полноправный участник его передвижной выставки вечерних нарядов. В этот вечер он был не только зрителем, но и экспонатом. Последующие шестьдесят девять дней он будет ходить в плохоньком костюме и питаться за сомнительными табльдотами, у стойки случайного бара, бутербродами и пивом у себя в комнатушке. Но это его не смущало, ибо он был подлинным сыном великого города мишурного блеска, и один вечер, освещенный огнями Бродвея, возмещал ему множество вечеров, проведенных во мраке.

Он все шел и шел, и вот уже сороковые улицы начали пересекать сверкающий огнями путь наслаждений; было еще рано, а когда человек приобщается к избранному обществу всего раз в семьдесят дней, ему хочется продлить это удовольствие. Взгляды — сияющие, угрюмые,

любопытные, восхищенные, вызывающие, манящие — были обращены на него, ибо его наряд и вид выдавали в нем поклонника часа веселья и удовольствий.

На одном углу он остановился, подумывая о том, не пора ли ему повернуть обратно и направиться в роскошный модный ресторан, где он обычно обедал в дни своего расточительства. Как раз в эту минуту какая-то девушка, стремительно огибая угол, поскользнулась на обледеневшем бугорке и шлепнулась на тротуар.

Чендлер помог ей подняться с отменной и безотлагательной вежливостью. Прихрамывая, девушка отошла к стене, прислонилась к ней и застенчиво поблагодарила его.

— Кажется, я растянула ногу, — сказала она. — Я почувствовала, как она подвернулась.

— Очень больно? — спросил Чендлер.

— Только когда наступаю. Думаю, что через несколько минут я уже буду в состоянии двигаться.

— Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен? — предложил молодой человек — Хотите, я приведу кеб или…

— Благодарю вас, — негромко, но с чувством сказала девушка. — Право, не стоит беспокоить-

ся. Как это меня угораздило? И каблуки у меня самые банальные. Их винить не приходится.

Чендлер посмотрел на девушку и убедился, что его интерес к ней быстро возрастает. Она была хорошенькая и изящная, глядела весело и приветливо. На ней было простенькое черное платьице, похожее на те, в какие одевают продавщиц. Из-под дешевой соломенной шляпки, единственным украшением которой была бархатная лента с бантом, выбивались колечки блестящих темно-каштановых волос. С нее можно было писать портрет хорошей, полной собственного достоинства трудящейся девушки.

Вдруг молодого архитектора осенило. Он пригласит эту девушку пообедать с ним. Вот чего недоставало его роскошным, но одиноким пиршествам. Краткий час его изысканных наслаждений был бы приятнее вдвойне, если бы он мог провести его в женском обществе. Он не сомневался, что перед ним вполне порядочная девушка, — ее речь и манеры подтверждали это. И, несмотря на ее простенький наряд, он почувствовал, что ему будет приятно сидеть с ней за столом.

Эти мысли быстро пронеслись в его голове, и он решился. Разумеется, он нарушал правила приличия, но девушки, живущие на собственный

заработок, нередко в таких делах пренебрегают формальностями. Как правило, они отлично разбираются в мужчинах и скорее будут полагаться на свое личное суждение, чем соблюдать никчемные условности. Если его десять долларов истратить с толком, они вдвоем смогут отлично пообедать. Можно себе представить, каким ярким событием явится этот обед в бесцветной жизни девушки; а от ее искреннего восхищения его триумф и удовольствие станут еще сладостней.

— По-моему, — сказал он серьезно, — вашей ноге требуется более длительный отдых, чем вы полагаете. И я хочу подсказать вам, как можно помочь ей и вместе с тем сделать мне одолжение. Когда вы появились из-за угла, я как раз собирался пообедать в печальном одиночестве. Пойдемте со мной, посидим в уютной обстановке, пообедаем, поболтаем, а за это время боль в ноге утихнет, и вы, я уверен, легко дойдете до дому.

Девушка бросила быстрый взгляд на открытое и приятное лицо Чендлера. В глазах у нее сверкнул огонек, затем она мило улыбнулась.

— Но мы не знакомы… а так ведь, кажется, не полагается, — в нерешительности проговорила она.

— В этом нет ничего плохого, — сказал он

простодушно. — Я сам вам представлюсь… разрешите… Мистер Тауэрс Чендлер. После обеда, который я постараюсь сделать для вас как можно приятнее, я распрощаюсь с вами или провожу вас до вашего дома, — как вам будет угодно.

— Да, но в таком платье и в этой шляпке! — проговорила девушка, взглянув на безупречный костюм Чендлера.

— Это не важно, — радостно сказал Чендлер. — Право, вы более очаровательны в вашем наряде, чем любая из дам, которые там будут в самых изысканных вечерних туалетах.

— Нога еще побаливает, — призналась девушка, сделав неуверенный шаг. — По-видимому, мне придется принять ваше приглашение. Вы можете называть меня… мисс Мэриан.

— Идемте же, мисс Мэриан, — весело, но с изысканной вежливостью сказал молодой архитектор. — Вам не придется идти далеко. Тут поблизости есть вполне приличный ресторан. Обопритесь на мою руку… вот так… и пошли не торопясь. Скучно обедать одному. Я даже немножко рад, что вы поскользнулись.

Когда их усадили за хорошо сервированный столик и услужливый официант склонился к ним в вопросительной позе, Чендлер почувствовал

блаженное состояние, какое испытывал всякий раз во время своих вылазок в светскую жизнь.

Ресторан этот был не так роскошен, как тот, дальше по Бродвею, который он облюбовал себе, но мало в чем уступал ему. За столиками сидели состоятельного вида посетители, оркестр играл хорошо и не мешал приятной беседе, а кухня и обслуживание были вне всякой критики. Его спутница, несмотря на простенькое платье и дешевую шляпку, держалась с достоинством, что придавало особую прелесть природной красоте ее лица и фигуры. И по ее очаровательному личику видно было, что она смотрит на Чендлера, который был оживлен, но сдержан, смотрит в его веселые и честные синие глаза почти с восхищением.

И вот тут в Тауэрса Чендлера вселилось безумие Манхэттена, бешенство суеты и тщеславия, бацилла хвастовства, чума дешевенького позерства. Он — на Бродвее, всюду блеск и шик, и зрителей полным-полно. Он почувствовал себя на сцене и решил в комедии-однодневке сыграть роль богатого светского повесы и гурмана. Его костюм соответствовал роли, и никакие ангелы-хранители не могли помешать ему исполнить ее.

И он пошел врать мисс Мэриан о клубах и

банкетах, гольфе и верховой езде, псарнях и котильонах и поездках за границу и даже намекнул на яхту, которая стоит будто бы у него в Ларчмонте. Заметив, что его болтовня производит на девушку впечатление, он поддал жару, наплел ей что-то о миллионах и упомянул запросто несколько фамилий, которые обыватель произносит с почтительным вздохом. Этот час принадлежал ему, и он выжимал из него все, что, по его мнению, было самым лучшим. И все же раз или два сквозь туман самомнения, застлавший ему глаза, перед ним засияло чистое золото ее сердца.

— Образ жизни, о котором вы говорите, — сказала она, — кажется мне таким пустым и бесцельным. Неужели в целом свете вы не можете найти для себя работы, которая заинтересовала бы вас?

— Работа?! — воскликнул он. — Дорогая моя мисс Мэриан! Попытайтесь представить себе, что вам каждый день надо переодеваться к обеду, делать в день по десяти визитов, а на каждом углу полицейские только и ждут, чтобы прыгнуть к вам в машину и потащить вас в участок, если вы чуточку превысите скорость ослиного шага! Мы, бездельники, и есть самые работящие люди на земле.

Обед был окончен, официант щедро вознаграж-

ден, они вышли из ресторана и дошли до того угла, где состоялось их знакомство. Мисс Мэриан шла теперь совсем хорошо, только самую малость прихрамывая.

— Благодарю вас за приятно проведенный вечер, — искренне проговорила она. — Ну, мне надо бежать домой. Обед мне очень понравился, мистер Чендлер.

Сердечно улыбаясь, он пожал ей руку и сказал что-то насчет своего клуба и партии в бридж. С минуту он смотрел, как она быстро шла в восточном направлении, затем кликнул кеб и не спеша покатил домой.

У себя, в сырой комнатушке, он сложил свой выходной костюм, предоставив ему отлеживаться шестьдесят девять дней. Потом сел и задумался.

— Вот это девушка! — проговорил он вслух. — А что она порядочная, головой ручаюсь, хоть ей и приходится работать из-за куска хлеба. Как знать, не нагороди я всей этой идиотской чепухи, а скажи ей правду, мы могли бы… А, черт бы все побрал! Костюм обязывал.

Так рассуждал дикарь наших дней, рожденный и воспитанный в вигвамах племени манхэттенцев.

Расставшись со своим кавалером, девушка

быстро пошла прямо на восток и, пройдя два квартала, поравнялась с красивым большим особняком, выходящим на авеню, которая является главной магистралью Маммоны и вспомогательного отряда богов. Она поспешно вошла в дом и поднялась в комнату, где красивая молодая девушка в изящном домашнем платье беспокойно смотрела в окно.

— Ах ты, сорвиголова! — воскликнула она, увидев младшую сестру. — Когда ты перестанешь пугать нас своими выходками? Вот уже два часа, как ты убежала в этих лохмотьях и в шляпке Мари. Мама страшно встревожена. Она послала Луи искать тебя на машине по всему городу. Скверная ты, глупая девчонка!

Она нажала кнопку, и в ту же минуту вошла горничная.

— Мари, скажите маме, что мисс Мэриан вернулась.

— Не ворчи, сестричка. Я бегала к мадам Тео, надо было сказать, чтобы она вместо розовой прошивки поставила лиловую. А это платье и шляпка Мари очень мне пригодились. Все меня принимали за продавщицу из магазина.

— Обед уже кончился, милая, ты опоздала.

— Я знаю. Понимаешь, я поскользнулась на

тротуаре и подвернула ногу. Нельзя было ступить на нее. Больно было ужасно, я доковыляла до какого-то ресторана и сидела там, пока мне не стало лучше. Потому я и задержалась.

Девушки, сидели у окна и смотрели на яркие фонари и поток мелькающих экипажей. Младшая сестра прикорнула возле старшей, положив голову ей на колени.

— Когда-нибудь мы выйдем замуж, — мечтательно проговорила она, — и ты выйдешь и я. Денег у нас так много, что нам не позволят обмануть ожидания публики. Хочешь, сестрица, я скажу тебе, какого человека я могла бы полюбить?

— Ну, говори, болтушка, — улыбнулась старшая сестра.

— Я хочу, чтобы у моего любимого были ласковые синие глаза, чтобы он честно и почтительно относился к бедным девушкам, чтобы он был красив и добр и не превращал любовь в забаву. Но я смогу полюбить его, только если у него будет ясное стремление, цель в жизни, полезная работа. Пусть он будет самым последним бедняком, я не посмотрю на это, я все сделаю, чтобы помочь ему добиться своего. Но, сестрица, милая, нас окружают люди праздные, бездельники, вся жизнь

которых проходит между гостиной и клубом, — а такого человека я не смогу полюбить, даже если у него синие глаза и он почтительно относится к бедным девушкам, с которыми знакомится на улице.

Курьер

Перевод Л. Каневского.

Был не сезон, да и время такое, когда в парке обычно не бывает много народа, и, скорее всего, девушка, сидевшая на одной из скамеек у дорожки, повиновалась внезапному желанию присесть, чтобы отдохнуть и насладиться запахом наступающей весны. Она сидела в задумчивости, не шевелясь, словно замерла. Печаль на ее лице, вероятно, появилась совсем недавно, ибо она еще не успела испортить прекрасных юных очертаний ее щечек, расслабить пока еще твердый изгиб ее свежих губ.

По дорожке, где она сидела, энергично шагал какой-то высокий молодой человек. За ним тащился мальчик с чемоданом в руках. Когда он увидел молодую леди, его бледное лицо густо покраснело, а потом вернуло себе прежний цвет. Он подходил все ближе, не отрывая взгляда от ее лица, и надежда его смешивалась с тревогой. Он прошел мимо всего в нескольких ярдах от нее, но она ничем не показала, что с ним знакома или ей известно о его существовании.

Пройдя еще ярдов пятьдесят, он вдруг остановился и сел на край скамьи. Мальчишка, бросив на землю чемодан, уставился на него удивленными проницательными глазами.

Молодой человек вытащил из кармана носовой платок, вытер пот со лба. У него в руках был красивый платок, у него был красивый лоб, да и вообще он был человеком пригожим, любо-дорого посмотреть. Он сказал мальчику:

— Сейчас передашь кое-что от меня вон той девушке на скамейке. Скажешь ей, что я иду на железнодорожный вокзал, чтобы выехать в Сан-Франциско, там я присоединюсь к экспедиции, которая отправляется на Аляску охотиться на американских лосей. Еще скажи ей, что, так как она запретила мне говорить с ней и писать ей, я прибегаю к этому последнему способу воззвать к ее совести, к чувству справедливости, ради того, что было между нами. Передай ей, что отказываться от человека, осуждать того, кто отнюдь не заслужил подобного обращения, не указывая на побудившие ее к этому причины, не давая ему возможности вместе с ней выяснить, — противоречит самой ее природе, а она-то мне хорошо известна. Скажи ей, что я в определенной мере на самом деле не подчинился ее распоряжениям,

надеясь на ее снисходительность, на ее желание установить справедливость. Ну, ступай и выложи ей все, что я тебе сказал.

Молодой человек вложил в ладошку мальчика монету в полдоллара. Тот посмотрел на него, его хитрые глазки вспыхнули на замызганном умном лице, и он, сорвавшись с места, быстро побежал к скамейке.

Он подходил к молодой леди, явно испытывая какие-то сомнения, но совершенно не был смущен. Он дотронулся до полей своей старой велосипедной шапочки из шотландки, съехавшей ему на затылок.

Девушка холодно посмотрела на него, — без всякого предубеждения, но и без особого расположения.

— Леди, — сказал он, — тот парень на другой скамье послал меня к вам с приветом и с песнью. Если вы не знаете этого парня и он таким образом пытается к вам приставать, то через три минуты я приведу сюда копа. Если же вы его знаете и он ничего непристойного не замышляет, то я передаю вам от него пучок теплого весеннего аромата.

Молодая леди проявила к гонцу слабый интерес.

— С приветом и песнью! — сказала она на-

рочито сладким голоском, который придавал ее словам мелодическую, почти неощутимую иронию. — Что-то новенькое из репертуара трубадуров, как мне кажется. Я в самом деле когда-то знала того джентльмена, который послал тебя ко мне, и думаю, что нет никакой необходимости вызывать полицию. Если ты действительно намерен передать мне стихотворный привет и станцевать вдобавок, то прошу тебя, начинай, только потише! Еще слишком рано для водевиля на открытом воздухе, и мы с тобой можем привлечь к себе внимание прохожих.

— Да что вы, — сказал мальчик, содрогнувшись всем своим маленьким телом. — Вы же прекрасно понимаете, что я имею в виду, леди. Все это так, для образа. Он просил меня передать вам, что отложные воротнички и манжеты уложены вон в тот чемодан, и он собирается слинять в Сан-Франциско. После этого он намерен пострелять зимних юнко на Клондайке. Он сказал, что вы приказали ему больше не слать вам его розовых записочек и не слоняться у входа в парк, и он надеется, что вы проявите мудрость и передумаете. Он сказал, что вы его списали, так и не дав ему никакой возможности опровергнуть принятое вами решение. Он говорит, что вы дали ему пин-

ка, но он так и не знает почему.

Пробудившийся в молодой леди интерес к словам мальчика не угасал. Может, он поддерживался либо оригинальностью, либо отвагой охотника на зимних юнко и его ловким обходом ее категорических приказов, для чего он отказался от обычных способов связи. Она уставилась на статую, с безутешным видом стоявшую в этом заброшенном неухоженном парке, и заговорила, словно через громкоговоритель:

— Передайте этому джентльмену, что я не собираюсь вновь и вновь рассказывать ему о моих идеалах. Он отлично знает, каковы они были, и они таковыми неизменно остаются. В том, что касается нынешнего случая, то важнейшее значение имеют верность и истина. Скажи ему, что я хорошо изучила собственное сердце, лучше никто не сумеет, и теперь знаю как его слабости, так и его нужды. Вот почему я отказываюсь внимать его мольбам, какими бы они ни были. Я ведь осуждаю его не на основании сплетен или весьма сомнительных доказательств, — поэтому я и не выдвигаю никакого обвинения. Но если ему угодно настаивать и слышать то, что он уже не раз прежде слышал, то пусть послушает от тебя еще раз.

Скажи ему, что я вошла в тот вечер в консерваторию с черного хода и там в цветнике срезала розу для матери. Скажи ему, что я видела его с мисс Эшбертон под розовым олеандровым кустом. Такая прекрасная картина! Их позы и положение были слишком красноречивыми и очевидными и не требовали никаких догадок. Я покинула консерваторию, бросив там розу и оставив за спиной свой идеал. А теперь можешь передать стихотворный привет своему импресарио и, если охота, поплясать перед ним.

— Что-то не пойму одного слова, леди. Поло… положение, не растолкуете ли мне, что это означает?

— Соприкосновение или, если тебе угодно, близость — это нахождение кого-то от кого-то слишком близко, чтоб сохранить позицию идеала.

Гравий заскрипел под быстрыми ногами мальчишки. Теперь он стоял возле другой скамьи. Взгляд мужчины жадно устремился к нему. А в глазах мальчишки загорелся огонек усердия из-за его новой роли — роли переводчика.

— Леди сказала, что, может, есть девушки, которые принимают всерьез мужчину, который рассказывает им истории о привидениях, что-

бы оправдать себя, но она из тех, кто не желает выслушивать все это «мыло». Она говорит, что застала вас на месте преступления, когда вы собирали цветочки с цветастого ситцевого женского платья, и когда она вошла, чтобы срезать для себя несколько цветков, вы уже в довершение всего зажимали девушку. Она говорит, что со стороны это смотрелось здорово, честь честью, но от этой картины ее стошнило. Она говорит, что вам лучше заняться своими делами и поспешить на поезд.

Молодой человек присвистнул, а глаза его вспыхнули, в голове пронеслась какая-то мысль. Из внутреннего кармана сюртука он вытащил пачку писем. Выбрав из них одно, он передал его мальчику, сопровождая свой жест еще одной полудолларовой монетой, извлеченной из своего жилета.

— Передай-ка вот это письмишко молодой леди, — сказал он, — пусть прочитает. Скажи ей, что я хотел бы ей объяснить сложившуюся ситуацию. Скажи ей, что если бы она свое представление об идеале сдобрила бы определенным доверием, то можно было бы избежать многих сердечных мук. Передай ей, что верность, которую она так высоко ценит, осталась неколебимой. Скажи ей,

что я жду ответа.

Гонец вновь стоял перед леди.

— Парень говорит, что вы напрасно вешаете на него собак, он этого не заслужил, что он совсем не никчемный мужик, и если вы прочитаете вот это письмо, то поймете, что он парень что надо!

С весьма сомневающимся видом молодая леди развернула письмо и стала читать:

> «Дорогой доктор Арнольд, я хочу поблагодарить вас за вашу добрую и очень своевременную помощь, которую вы оказали моей дочери в пятницу вечером, когда у нее произошел острый приступ ее старой болезни сердца в консерватории, на приеме у миссис Уолдрон. Если бы вы не оказались рядом с ней и не подхватили ее на руки, то мы бы ее наверняка потеряли. Буду очень рада, если вы посетите нас и возьмете на себя ее лечение.
>
> С благодарностью
>
> ***Роберт Эшбертон».***

Молодая леди, свернув письмо, вернула его мальчику.

— Но парень ждет ответа, — сказал гонец. — Ну, что передать?

Ее ясные, повлажневшие глаза вспыхнули, и она, улыбнувшись, сказала:

— Передай этому парню, что девушка на другой скамейке хочет с ним поговорить…

Меблированная комната

Перевод М. Лорие.

Беспокойны, непоседливы, преходящи, как само время, люди, населяющие краснокирпичные кварталы нижнего Вест-Сайда. Они бездомны, но у них сотни домов. Они перепархивают из одной меблированной комнаты в другую, не заживаясь нигде, не привязываясь ни к одному из своих убежищ, непостоянные в мыслях и чувствах. Они поют «Родина, милая родина» в ритме рэгтайма, своих ларов и пенатов они носят с собой в шляпных картонках, их лоза обвивается вокруг соломенной шляпки; смоковницей им служит фикус.

Дома этого района, перевидавшие тысячи постояльцев, могли бы, вероятно, рассказать тысячи историй, по большей части скучных, конечно; но было бы странно, если бы после всех этих бродячих жильцов в домах не осталось ни одного привидения.

Однажды вечером, когда уже стемнело, среди этих красных домов-развалин блуждал какой-то молодой человек и звонил у каждой двери.

У двенадцатой двери он поставил свой тощий чемоданчик на ступеньку и вытер пыль со лба и шляпы. Звонок прозвучал еле слышно, где-то далеко, в недрах дома.

В дверях этого двенадцатого по счету дома появилась хозяйка, похожая на противного жирного червя, который уже выгрыз всю сердцевину ореха и теперь заманивает в пустую скорлупу съедобных постояльцев.

Он спросил, есть ли свободные комнаты.

— Войдите, — сказала хозяйка. Голос шел у нее из горла, словно подбитого мехом. — Есть комната на третьем этаже, окнами во двор, уже неделю стоит пустая. Хотите посмотреть?

Молодой человек стал подниматься следом за ней по лестнице. Тусклый свет из какого-то невидимого источника скрадывал тени в коридорах. Хозяйка и гость бесшумно шли по устилавшему лестницу ковру, такому древнему, что от него отрекся бы даже станок, на котором его ткали. Он теперь принадлежал, скорее, к растительному царству; выродился в этом затхлом, лишенном солнца воздухе в буйный лишайник или пышный мох, который пучками прирос к ступенькам и прилипал к подошвам, как органическое вещество. На каждом повороте лестницы в стене

была пустая ниша. Здесь, возможно, стояли когда-то цветы. Если так, цветы, должно быть, погибли в этом нечистом, зловонном воздухе. Возможно также, что когда-нибудь в этих нишах помешались статуи святых, но легко было представить себе, что черти с чертенятами, выбрав ночь потемнее, выволокли их оттуда и ввергли в нечестивую глубь какой-нибудь меблированной преисподней.

— Вот комната, — раздалось из мехового горла хозяйки. — Хорошая комната. Она редко пустует. Прошлое лето у меня в ней жили прекрасные постояльцы — никаких неприятностей, и платили вперед, точно в срок. Кран в конце коридора. Три месяца ее снимали Спраулз и Муни. Актеры, играли скетчи. Мисс Брэтта Спраулз, может, слышали… Нет, нет, она только выступала под этой фамилией, брачное свидетельство висело вон там, над комодом, в рамке. Газ вот тут, стенные шкафы, как видите, есть. Такая комната кому не понравится. Она никогда не пустует подолгу.

— И часто актеры снимают у вас комнаты? — спросил молодой человек.

— Всяко бывает. Многие из моих постояльцев работают в театре. Да, сэр, в этом районе много театров. Актеры, они, знаете, нигде подолгу не

живут. Бывает, что и у меня поселятся, всяко бывает.

Он сказал, что комната ему подходит и что он устал и никуда сегодня не пойдет. Он отдал деньги вперед за неделю. Комната прибрана, сказала хозяйка, даже вода и полотенце приготовлены. Когда она собралась уходить, он в тысячный раз задал вопрос, который вертелся у него на языке:

— Вы не помните среди ваших жильцов молодую девушку — мисс Вешнер, мисс Элоизу Вешнер? Скорее всего, она поет на сцене. Красивая девушка, среднего роста, стройная, волосы рыжевато-золотистые и на левом виске темная родинка.

— Нет, такой фамилии не помню. Эти актеры меняют имена так же часто, как комнаты. Нынче они здесь, завтра уехали, всяко бывает. Нет, такой что-то не припомню.

Нет. Вечное нет. Пять месяцев беспрестанных поисков, и все напрасно. Сколько времени потрачено, днем — на расспрашивание антрепренеров, агентов, театральных школ и эстрадных хоров; по вечерам — в театрах, от самых серьезных до мюзик-холлов такого низкого пошиба, что он боялся найти там то, на что больше всего надеялся. Он любил ее сильнее всех и давно искал ее. Он

был уверен, что после ее исчезновения из дому этот большой, опоясанный водою город прячет её где-то, но город — как необъятное пространство зыбучего песка, те песчинки, что вчера еще были на виду, завтра затянет илом и тиной.

Меблированная комната встретила своего нового постояльца слабой вспышкой притворного гостеприимства, лихорадочным, вымученным, безучастным приветствием, похожим на лживую улыбку продажной красотки. Отраженный свет сомнительного комфорта исходил от ветхой мебели, от оборванной парчовой обивки дивана и двух стульев, от узкого дешевого зеркала в простенке между окнами, от золоченых рам на стенах и никелированной кровати в углу.

Новый жилец неподвижно сидел на стуле, а комната, путаясь в наречиях, словно она была одним из этажей Вавилонской башни, пыталась поведать ему о своих разношерстных обитателях.

Пестрый коврик, словно ярко расцвеченный прямоугольный тропический островок, окружало бурное море истоптанных циновок. На оклеенных серыми обоями стенах висели картины, которые по пятам преследуют всех бездомных, — «Любовь гугенота», «Первая ссо-

ра», «Свадебный завтрак», «Психея у фонтана». Целомудренно-строгая линия каминной доски стыдливо пряталась за наглой драпировкой, лихо натянутой наискось, как шарф у балерины в танце амазонок. На камине скопились жалкие обломки крушения, оставленные робинзонами в этой комнате, когда парус удачи унес их в новый порт, — грошовые вазочки, портреты актрис, пузырек от лекарства, разрозненная колода карт.

Один за другим, как знаки шифрованного письма, становились понятными еле заметные следы, оставленные постояльцами меблированной комнаты. Вытертый кусок ковра перед комодом рассказал, что среди них были красивые женщины. Крошечные отпечатки пальцев на обоях говорили о маленьких пленниках, пытавшихся найти дорогу к солнцу и воздуху. Неправильной формы пятно на стене, окруженное лучами, словно тень взорвавшейся бомбы, отмечало место, где разлетелся вдребезги полный стакан или бутылка. На зеркале кто-то криво нацарапал алмазом имя «Мари». Казалось, жильцы один за другим приходили в ярость, — может быть, выведенные из себя вопиющим равнодушием комнаты, — и срывали на ней свою злость. Мебель была изрезанная, обшарпанная; диван с торчащими

пружинами казался отвратительным чудовищем, застывшим в уродливой предсмертной судороге. Во время каких-то серьезных беспорядков от каминной доски откололся большой кусок мрамора. Каждая половица бормотала и скрипела по-своему, словно жалуясь на личное, ей одной известное горе. Не верилось, что все эти увечья были умышленно нанесены комнате людьми, которые хотя бы временно называли ее своей, а впрочем, возможно, что ярость их распалил обманутый, подавленный, но еще не умерший инстинкт родного угла, мстительное озлобление против вероломных домашних богов. Самую убогую хижину, если только она наша, мы будем держать в чистоте, украшать и беречь.

Молодой человек, сидевший на стуле, дал этим мыслям прошагать на бесшумных подошвах по его сознанию, в то время как в комнату незаметно стекались меблированные звуки и запахи. Из одной комнаты донесся негромкий, прерывистый смех; из других — монолог разъяренной мегеры, стук игральных костей, колыбельная песня, приглушенный плач, над головой упоенно заливалось банджо. Где-то хлопали двери; то и дело громыхали мимо поезда надземки; во дворе на заборе жалобно мяукала кошка. И он вдыхал

дыхание дома — скорее, даже не запах, а промозглый вкус — холодные влажные испарения, словно из погреба, смешанные с зловонием линолеума и трухлявого, гниющего дерева.

И вдруг, пока он сидел все так же неподвижно, комнату наполнил сильный, сладкий запах резеды. Он вошел, словно принесенный порывом ветра, такой уверенный, проникновенный и яркий, что почти казался живым. И молодой человек крикнул: «Что, милая?» — словно его позвали, вскочил со стула и огляделся. Густой запах льнул к нему, обволакивал его. Он протянул руки, чтобы схватить его, все его чувства мгновенно смешались и спутались. Как может запах так настойчиво звать человека? Нет, это, конечно, был звук. Но тогда, значит, звук дотронулся до него, погладил по руке?

— Она была здесь! — крикнул он и заметался по комнате, надеясь вырвать у нее признание, так как был убежден, что узнает каждую мелочь, которая принадлежала ей или которой она касалась. Этот всепроникающий запах резеды, аромат, который она любила, ее аромат, откуда он?

Комната была прибрана не очень тщательно. На смятой салфетке комода валялось несколь-

ко шпилек — этих молчаливых, безличных спутников всякой женщины: женского рода, неопределенного вида, неизвестно какого времени. Их он не стал разглядывать, понимая, что от них ничего не добиться. Роясь в ящиках комода, он нашел маленький разорванный носовой платок. Он прижал его к лицу. От платка нагло и назойливо пахло гелиотропом; он швырнул его на пол. В другом ящике ему попалось несколько пуговиц, театральная программа, ломбардная квитанция, две конфеты, сонник. В последнем ящике он увидел черный шелковый бант и на минуту затаил дыхание. Но черный шелковый бант — тоже сдержанное, безличное украшение любой женщины и ничего не может рассказать.

И тут он, как ищейка, пошел по следу: оглядывал стены, становился на четвереньки, чтобы ощупать утлы бугристой циновки, обшарил столы и камин, портьеры и занавески и пьяный шкафчик в углу, в поисках видимого знака, еще не веря, что она здесь, рядом, вокруг, в нем, над ним, льнет к нему, ластится, так мучительно взывает к его сознанию, что даже его чувства восприняли этот зов. Раз он опять ответил вслух: «Да, милая!» — и обернулся, но его широко раскрытые глаза увидели пустоту, потому что он не мог еще

различить в запахе резеды очертаний, и красок, и любви, и протянутых рук. О боже! Откуда этот запах, и давно ли у запахов есть голос? И он продолжал искать.

Он копался в углах и щелях и находил пробки и папиросы. Их он пренебрежительно отшвыривал. Но под циновкой ему попался окурок сигары, и он, выругавшись злобно и грубо, раздавил его каблуком. Он просеял всю комнату как сквозь сито. Он прочел печальные и позорные строки о многих бродячих жильцах, но не нашел ни следа той, которую искал, которая, может быть, жила здесь, чей дух, казалось, витал в этой комнате.

Тогда он вспомнил о хозяйке.

Из населенной призраками комнаты он сбежал по лестнице вниз к двери, из-под которой виднелась полоска света. Хозяйка вышла на его стук.

Он, насколько мог, подавил свое возбуждение.

— Скажите мне, пожалуйста, — умолял он ее, — кто жил в моей комнате до меня?

— Хорошо, сэр. Могу рассказать еще раз. Спраулз и Муни, как я вам и говорила. Мисс Брэгга Спраулз, это по сцене, а на самом деле миссис Муни. У меня живут только порядочные люди, это всем известно. Брачное свидетельство висело в рамке, на гвозде, над…

— А что за женщина была эта мисс Спраулз, какая она была с виду?

— Да как вам сказать, сэр, брюнетка, маленького роста, полная, лицо веселое. Они съехали в прошлый вторник.

— А до них?

— А до них был одинокий джентльмен, работал по извозной части. Уехал и задолжал мне за неделю. До него была миссис Краудер с двумя детьми, жила четыре месяца, еще до них был старый мистер Дойл, за того платили сыновья. Он занимал комнату шесть месяцев. Вот вам целый год, сэр, а раньше я и не припомню.

Он поблагодарил ее и поплелся назад в свою комнату. Комната умерла. Того, что вдохнуло в нее жизнь, больше не было. Аромат резеды исчез. Как прежде, пахло погребом и отсыревшей мебелью.

Взлет надежды отнял у него последние силы. Он сидел, тупо уставившись на желтый, шипящий газовый рожок. Потом подошел к кровати и стал раздирать простыни на полосы. Перочинным ножом он крепко законопатил ими дверь и окна. Когда все было готово, он потушил свет, открыл газ и благодарно растянулся на постели.

В этот вечер была очередь миссис Мак-Куль

идти за пивом. Она и сходила за ним и теперь сидела с миссис Пурди в одном из тех подземелий, где собираются квартирные хозяйки и где червь если и умирает, то редко[92].

— Сдала я сегодня мою комнату на третьем этаже, ту, что окнами во двор, — сказала миссис Пурди поверх целой шапки пены. — Снял какой-то молодой человек. Он уже два часа как лег спать.

— Да что вы, миссис Пурди, неужто сдали? — сказала миссис Мак-Куль, сопя от восхищения. — Прямо чудо, как вы умеете сдавать такие комнаты. И как же вы, сказали ему или нет? — закончила она хриплым, таинственным шепотом.

— Меблированные комнаты, — сказала миссис Пурди на самых своих меховых нотах, — для того и существуют, чтобы их сдавать. Я ему ничего не сказала, миссис Мак-Куль.

— И правильно сделали, миссис Пурди: чем же нам и жить, как не сдачей комнат. Вы, прямо скажу, деловая женщина. Ведь есть которые нипочем не снимут комнату, скажи им только, что в ней человек покончил с собой, да еще на кровати.

---

[92] Примечания: 92

Намёк на евангельское: «Где червь их не умирает и огонь не погасает», то есть в аду, в «геенне огненной».

— Ваша правда, жить всем нужно, — заметила миссис Пурди.

— Нужно, миссис Пурди, ох как нужно! Сегодня как раз неделя, что я вам помогала обмывать покойницу. А хорошенькая была какая, и чего ей понадобилось травить себя газом, — личико такое милое у нее было, миссис Пурди.

— Пожалуй, что и хорошенькая, — сказала миссис Пурди, соглашаясь, но не без критики, — только вот родинка эта на левом виске ее портила. Наливайте себе еще, миссис Мак-Куль.

Недолгий триумф Тильди

Перевод под ред. М. Лорие.

Если Вы не знаете «Закусочной и семейного ресторана» Богля, вы много потеряли. Потому что если вы — один из тех счастливцев, которым по карману дорогие обеды, вам должно быть интересно узнать, как уничтожает съестные припасы другая половина человечества. Если же вы принадлежите к той половине, для которой счет, поданный лакеем, — событие, вы должны узнать Богля, ибо там вы получите за свои деньги то, что вам причитается (по крайней мере, по количеству).

Ресторан Богля расположен на проспекте Средней буржуазии — на бульваре Брауна-Джонса-Робинсона — на Восьмой авеню. В зале два ряда столиков, по шести в каждом ряду. На каждом столике стоит судок с приправами. Из перечницы вы можете вытрясти облачко чего-то меланхоличного и безвкусного, как вулканическая пыль. Из солонки не сыплется ничего. Даже человек, способный выдавить красный сок из белой репы, потерпел бы поражение, вздумай он добыть хоть

крошку соли из боглевской солонки. Кроме того, на каждом столе имеется баночка подделки под сверхострый соус, изготовляемый «по рецепту одного индийского раджи».

За кассой сидит Богль, холодный, суровый, медлительный, грозный, и принимает от вас деньги. Выглядывая из-за горы зубочисток, он дает вам сдачу, накалывает ваш счет, отрывисто, как жаба, бросает вам замечание насчет погоды. Но мой вам совет — ограничьтесь подтверждением его метеорологических пророчеств. Ведь вы — не знакомый Богля; вы случайный, кормящийся у него посетитель; вы можете больше не встретиться с ним до того дня, когда труба Гавриила призовет вас на последний обед. Поэтому берите вашу сдачу и катитесь куда хотите, хоть к черту. Такова теория Богля.

Посетителей Богля обслуживали две официантки и Голос. Одну из девушек звали Эйлин. Она была высокого роста, красивая, живая, приветливая и мастерица позубоскалить. Ее фамилия? Фамилии у Богля считались такой же излишней роскошью, как полоскательницы для рук.

Вторую официантку звали Тильди. Почему обязательно Матильда? Слушайте внимательно: Тильди, Тильди. Тильди была маленькая,

толстенькая, некрасивая и прилагала слишком много усилий, чтобы всем угодить, чтобы всем угодить. Перечитайте последнюю фразу раза три, и вы увидите, что в ней есть смысл.

Голос был невидимкой. Он исходил из кухни и не блистал оригинальностью. Это был непросвещенный Голос, который довольствовался простым повторением кулинарных восклицаний, издаваемых официантками.

Вы позволите мне еще раз повторить, что Эйлин была красива? Если бы она надела двухсотдолларовое платье, и прошлась бы в нем на пасхальной выставке нарядов, и вы увидели бы ее, вы сами поторопились бы сказать это.

Клиенты Богля были ее рабами. Она умела обслуживать сразу шесть столов. Торопившиеся сдерживали свое нетерпение, радуясь случаю полюбоваться ее быстрой походкой и грациозной фигурой. Насытившиеся заказывали еще что-нибудь, чтобы подольше побыть в сиянии ее улыбки. Каждый мужчина — а женщины заглядывали к Боглю редко — старался произвести на нее впечатление.

Эйлин умела перебрасываться шутками с десятью клиентами одновременно. Каждая ее улыбка, как дробинки из дробовика, попадала сразу в

несколько сердец. И в это же самое время она умудрялась проявлять чудеса ловкости и проворства, доставляя на столы свинину с фасолью, рагу, яичницы, колбасу с пшеничным соусом и всякие прочие яства в сотейниках и на сковородках, в стоячем и лежачем положении. Все эти пиршества, флирт и блеск остроумия превращали ресторан Богля в своего рода салон, в котором Эйлин играла роль мадам Рекамье.

Если даже случайные посетители бывали очарованы восхитительной Эйлин, то что же делалось с завсегдатаями Богля? Они обожали ее. Они соперничали между собою. Эйлин могла бы весело проводить время хоть каждый вечер. По крайней мере, два раза в неделю кто-нибудь водил ее в театр или на танцы. Один толстый джентльмен, которого они с Тильди прозвали между собой «Боровом», подарил ей колечко с бирюзой. Другой, получивший кличку «Нахал» и служивший в ремонтной мастерской, хотел подарить ей пуделя, как только его брат-возчик получит подряд на Девятой улице. А тот, который всегда заказывал свиную грудинку со шпинатом и говорил, что он биржевой маклер, пригласил ее на «Парсифаля».

— Я не знаю, где это «Парсифаль» и сколько

туда езды, — заметила Эйлин, рассказывая об этом Тильди, — но я не сделаю ни стежка на моем дорожном костюме до тех пор, пока обручальное кольцо не будет у меня на пальце. Права я или нет?

А Тильди…

В пропитанном парами, болтовней и запахом капусты заведении Богля разыгрывалась настоящая трагедия. За кубышкой Тильди, с ее носом-пуговкой, волосами цвета соломы и веснушчатым лицом, никогда никто не ухаживал. Ни один мужчина не провожал ее глазами, когда она бегала по ресторану, — разве что голод заставит их жадно высматривать заказанное блюдо. Никто не заигрывал с нею, не вызывал ее на веселый турнир остроумия. Никто не подтрунивал над ней по утрам, как над Эйлин, не говорил ей, скрывая под насмешкой зависть к неведомому счастливцу, что она, видно, поздненько пришла вчера домой, что так медленно подает сегодня. Никто никогда не дарил ей колец с бирюзой и не приглашал ее на таинственный, далекий «Парсифаль».

Тильди была хорошей работницей, и мужчины терпели ее. Те, что сидели за ее столиками, изъяснялись с ней короткими цитатами из меню, а

затем уже другим, медовым голосом заговаривали с красавицей Эйлин. Они ерзали на стульях и старались из-за приближающейся фигуры Тильди увидеть Эйлин, чтобы красота ее превратила их яичницу с ветчиной в амброзию.

И Тильди довольствовалась своей ролью серенькой труженицы, лишь бы на долю Эйлин доставались поклонение и комплименты. Нос пуговкой питал верноподданнические чувства к короткому греческому носику. Она была другом Эйлин, и она радовалась, видя, как Эйлин властвует над сердцами и отвлекает внимание мужчин от дымящегося пирога и лимонных пирожных. Но глубоко под веснушчатой кожей и соломенными волосами у самых некрасивых из нас таится мечта о принце или принцессе, которые придут только для нас одних.

Однажды утром Эйлин пришла на работу с подбитым глазом, и Тильди излила на нее потоки сочувствия, способные вылечить даже трахому.

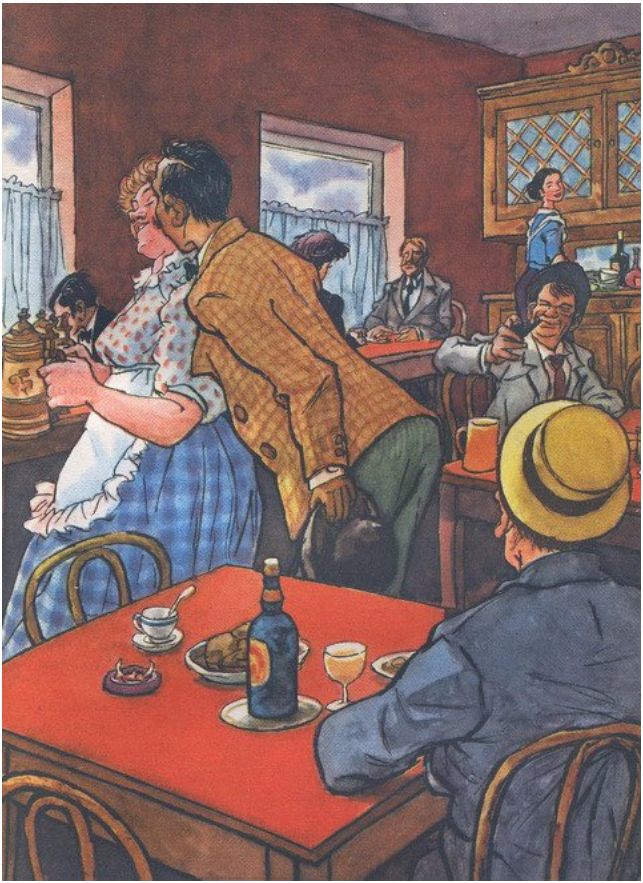
— Нахал какой-то, — объяснила Эйлин. — Вчера вечером, когда я возвращалась домой. Пристал ко мне на Двадцать третьей. Лезет, да и только. Ну, я его отшила, и он отстал. Но оказалось, что он все время шел за мной. На Восемнадцатой он опять начал приставать. Я как размахнулась да как

ахну его по щеке! Тут он мне этот фонарь и наставил. Правда, Тиль, у меня ужасный вид? Мне так неприятно, что мистер Никольсон увидит, когда придет в десять часов пить чай с гренками.

Тильди слушала, и сердце у нее замирало от восторга. Ни один мужчина никогда не пытался приставать к ней. Она была в безопасности на улице в любой час дня и ночи. Какое это, должно быть, блаженство, когда мужчина преследует тебя и из любви ставит тебе фонарь под глазом!

Среди посетителей Богля был молодой человек по имени Сидерс, работавший в прачечной. Мистер Сидерс был худ и белобрыс, и казалось, что его только что подсушили и накрахмалили. Он был слишком застенчив, чтобы добиваться внимания Эйлин; поэтому он обычно садился за один из столиков Тильди и обрекал себя на молчание и вареную рыбу.

Однажды, когда мистер Сидерс пришел обедать, от него пахло пивом. В ресторане было только два-три посетителя. Покончив с вареной рыбой, мистер Сидерс встал, обнял Тильди за талию, громко и бесцеремонно поцеловал ее, вышел на улицу, показал кукиш своей прачечной и отправился в пассаж опускать монетки в щели автоматов.



Несколько секунд Тильди стояла окаменев. Потом до сознания ее дошло, что Эйлин грозит ей пальцем и говорит:

— Ай да Тиль, ай да хитрюга! На что это похоже! Этак ты отобьешь у меня всех моих поклонников. Придется мне следить за тобой, моя милая.

И еще одна мысль забрезжила в сознании Тильди. В мгновение ока из безнадежной, смиренной поклонницы она превратилась в такую же дочь Евы, сестру всемогущей Эйлин. Она сама стала теперь Цирцеей, целью для стрел Купидона, сабинянкой, которая должна остерегаться, когда римляне пируют. Мужчина нашел ее талию привлекательной и ее губы желанными. Этот стремительный, опаленный любовью Сидерс, казалось, совершил над ней то чудо, которое совершается в прачечной за особую плату. Сняв грубую дерюгу ее непривлекательности, он в один миг выстирал ее, просушил, накрахмалил, выгладил и вернул ей в виде тончайшего батиста — облачения, достойного самой Венеры.

Веснушки Тильди потонули в огне румянца. Цирцея и Психея вместе выглянули из ее загоревшихся глаз. Ведь даже Эйлин никто не обнимал и не целовал в ресторане у всех на глазах.

Тильди была не в силах хранить эту восхити-

тельную тайну. Воспользовавшись коротким затишьем, она как бы случайно остановилась возле конторки Богля. Глаза ее сияли; она очень старалась, чтобы в словах ее не прозвучала гордость и похвальба.

— Один джентльмен оскорбил меня сегодня, — сказала она. — Он обхватил меня за талию и поцеловал.

— Вот как, — сказал Богль, приподняв забрало своей деловитости. — С будущей недели будете получать на доллар больше.

Во время обеда Тильди, подавая знакомым посетителям, Объявляла каждому из них со скромностью человека, достоинства которого не нуждаются в преувеличении:

— Один джентльмен оскорбил меня сегодня в ресторане. Он обнял меня за талию и поцеловал.

Обедающие принимали эту новость по-разному — одни выражали недоверие; другие поздравляли ее; третьи забросали ее шуточками, которые до сих пор предназначались только для Эйлин. И сердце Тильди ширилось от счастья — наконец-то на краю однообразной серой равнины, по которой она так долго блуждала, показались башни романтики.

Два дня мистер Сидерс не появлялся. За это

время Тильди прочно укрепилась на позиции интересной женщины. Она накупила лент, сделала себе такую же прическу, как у Эйлин, и затянула талию на два дюйма туже. Ей становилось и страшно и сладко от мысли, что мистер Сидерс может ворваться в ресторан и застрелить ее из пистолета. Вероятно, он любит ее безумно, а эти страстные влюбленные всегда бешено ревнивы. Даже в Эйлин не стреляли из пистолета. И Тильди решила, что лучше ему не стрелять; она ведь всегда была верным другом Эйлин и не хотела затмить ее славу.

На третий день в четыре часа мистер Сидерс пришел. За столиками не было ни души. В глубине ресторана Тильди накладывала в баночки горчицу, а Эйлин резала пирог. Мистер Сидерс подошел к девушкам.

Тильди подняла глаза и увидела его. У нее захватило дыхание, и она прижала к груди ложку, которой накладывала горчицу. В волосах у нее был красный бант; на шее — эмблема Венеры с Восьмой авеню — ожерелье из голубых бус с символическим серебряным сердечком.

Мистер Сидерс был красен и смущен. Он опустил одну руку в карман брюк, а другую — в свежий пирог с тыквой.

— Мисс Тильди, — сказал он, — я должен извиниться за то, что позволил себе в тот вечер. Правду сказать, я тогда здорово выпил, а то никогда не сделал бы этого. Я бы никогда ни с одной женщиной не поступил так, если бы был трезвый. Я надеюсь, мисс Тильди, что вы примете мое извинение и поверите, что я не сделал бы этого, если бы понимал, что делаю, и не был бы пьян.

Выразив столь деликатно свое раскаяние, мистер Сидерс дал задний ход и вышел из ресторана, чувствуя, что вина его заглажена.

Но за спасительной ширмой Тильди упала головой на стол, среди кусочков масла и кофейных чашек, и плакала навзрыд — плакала и возвращалась на однообразную серую равнину, по которой блуждают такие, как она, — с носом-пуговкой и волосами цвета соломы. Она сорвала свой красный бант и бросила его на пол. Сидерса она глубоко презирала; она приняла его поцелуй за поцелуй принца, который нашел дорогу в заколдованное царство сна и привел в движение уснувшие часы и заставил суетиться сонных пажей. Но поцелуй был пьяный и неумышленный; сонное царство не шелохнулось, услышав ложную тревогу; ей суждено навеки остаться спящей красавицей.

Однако не все было потеряно. Рука Эйлин обняла ее, и красная рука Тильди шарила по столу среди объедков, пока не почувствовала теплого пожатия друга.

— Не огорчайся, Тиль, — сказала Эйлин, не вполне понявшая, в чем дело. — Не стоит того этот Сидерс. Не джентльмен, а белобрысая защипка для белья, вот он что такое. Будь он джентльменом, разве он стал бы просить извинения?

Примечания к сборнику

В первом издании сборника было краткое предисловие О. Генри: «Не так давно один выдумщик заявил, что в Нью-Йорке имеется не более четырехсот человек, достойных внимания. Но отыскался другой человек — он занимается переписью населения в Нью-Йорке, — и его более мудрый подсчет помог нам найти название для этого сборника: „Четыре миллиона“».

Четыреста человек, против исключительного внимания к которым протестует О. Генри, — это нью-йоркские миллионеры; американская пресса в 1900-х годах так и именовала их: «Четыреста».

Линии судьбы (Tobin’s Palm), 1903. На русском языке под названием «Ладонь Тобина» в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Дары волхвов(The Gift of the Magi), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы Пг.-М., 1923. Название рассказа связано с евангельским сказанием о дарах, принесенных волхвами новорожденному младенцу — Христу.

Космополит в кафе(A Cosmopolite in a Cafe),

1905. На русском языке публикуется впервые.

В антракте (Between Rounds), 1905. На русском языке под названием «Между кругами» в книге: О. Генри. Шуми-городок над подземкой. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

На чердаке(A Skylight Room), 1905. На русском языке под названием «Комната с фонарем» в книге: О. Генри. Таинственный маскарад. Л.-М., 1924, пер. З. Львовского.

Из любви к искусству (A Service of Love), 1905. На русском языке под названием «Если любишь» в книге: О. Генри. Таинственный маскарад. Л.-М., 1924, пер. З. Львовского.

Дебют Мэгги (The Coming-Out of Maggie), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Прожигатель жизни(Man About Town), 1905. На русском языке публикуется впервые.

Фараон и хорал(The Cop and the Anthem), 1904. На русском языке под названием «Полицейский и антифон» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. О. Поддячей.

Гармония в природе (An Adjustment of Nature), 1905. На русском языке под названием «Приспособляемость природы» в книге: О. Генри.

Игрушечка-пастушечка. М.—Л., 1924, пер. В. Александрова.

Воспоминания желтого пса (Memoirs of a Yellow Dog), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Приворотное зелье Айки Шонштейна(The Love-Philtre of Ikey Schoenstein), 1904. На русском языке под названием «Любовный напиток Айки Шонштейна» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. О. Поддячей.

Золото и любовь (Mammon and the Archer), 1905. На русском языке под названием «Амур и Маммона» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. О. Поддячей.

Весна порционно (Springtime a la Carte), 1905. На русском языке под названием «Одуванчики» в книге: О. Генри. Рассказы. П.-М., 1923, пер. Л. Гаусман. С этим рассказом связана одна из многочисленных литературных легенд об О. Генри. Ирвин Кобб, американский писатель, вспоминает, как, сидя однажды с О. Генри в нью-йоркском кафе, спросил у него, где он находит свои сюжеты. «Да всюду, — ответил О. Генри, — желаете, вот вам сюжет». И, взяв в руки меню, импровизируя, он рассказал Коббу будущую «Весну порционно».

Зеленая дверь(The Green Door), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. О. Поддячей.

С высоты козел (From the Cabby's Seat), 1904. На русском языке под названием «С точки зрения козел» в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Неоконченный рассказ (An Unfinished Story), 1905. На русском языке под названием «Рождественский рассказ» в книге: О. Генри. Марионетки. Л., (1924), пер. Э. Бродерсон. Дэлси из этого рассказа О. Генри — известнейшая из его нью-йоркских продавщиц. Она — действующее лицо в советском фильме о жизни и творчестве О. Генри «Великий утешитель».

Калиф, купидон и часы(The Caliph, Cupid and the Clock), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Тысяча долларов. Л.-М., 1925, пер. З. Львовского.

Орден золотого колечка (Sisters of the Golden Circle), 1905. На русском языке под названием «Сестры золотого круга» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. О. Поддячей.

Роман биржевого маклера (The Romance of a Busy Broker), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. Л. Гаусман.

Через двадцать лет (After Twenty Years), 1904. На русском языке под названием «Спустя двадцать лет» в журнале «Огонек». 1924, № 27, пер. З. Львовского.

Мишурный блеск (Lost on Dress Parade), 1905. На русском языке под названием «Жертва тщеславия» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. С. Маршака.

Курьер (By Courier), 1906. На русском языке публикуется впервые.

Меблированная комната (The Furnished Room), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. Л. Гаусман. Один из немногих безысходно-сумрачных рассказов О. Генри.

Недолгий триумф Тильди(The Brief Debut of Tildy), 1904. На русском языке под названием «Улыбка счастья» в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

О. Генри
СЕРДЦЕ ЗАПАДА
(Сборник)

Сердце и крест

Перевод М. Урнова

Бэлди Вудс потянулся за бутылкой и достал ее. За чем бы ни тянулся Бэлди, он обычно… но здесь речь не о Бэлди. Он налил себе в третий раз, на палец выше, чем в первый и во второй. Бэлди выступал консультантом, а консультанта стоит оплатить.

— На твоем месте я был бы королем, — сказал Бэлди так уверенно, что кобура его скрипнула и шпоры зазвенели.

Уэб Игер сдвинул на затылок свой широкополый стетсон и растрепал светлые волосы. Но парикмахерский прием ему не помог, и он последовал примеру более изобретательного Бэлди.

— Когда человек женится на королеве, это не значит, что он должен стать двойкой, — объявил Уэб, подытоживая свои горести.

— Ну разумеется, — сказал Бэлди, полный сочувствия, все еще томимый жаждой и искренне увлеченный проблемой сравнительного достоинства игральных карт. — По праву ты король. На твоем месте я потребовал бы пересдачи. Тебе

всучили не те карты… Я скажу тебе, кто ты такой, Уэб Игер.

— Кто? — спросил Уэб, и в его голубых глазах блеснула надежда.

— Ты принц-консорт.

— Полегче, — сказал Уэб, — я тебя никогда не ругал.

— Это титул, — объяснил Бэлди, — который в ходу среди карточных чинов; но он не берет взяток. Пойми, Уэб, это клеймо, которым в Европе метят некоторых животных. Представь, что ты, или я, или какой-нибудь голландский герцог женится на персоне королевской фамилии. Ну, со временем наши жены становятся королевами. А мы — королями? Черта с два! На коронации наше место где-то между первым конюхом малых королевских конюшен и девятым великим хранителем королевской опочивальни. От нас только и пользы, что мы снимаемся на фотографиях и несем ответственность за появление наследника. Это игра с подвохом. Да, Уэб, ты принц-консорт. И будь я на твоем месте, я бы устроил междуцарствие, или habeas corpus, или что-нибудь в этом роде. Я стал бы королем, если бы даже мне пришлось смешать к черту все карты.

И Бэлди опорожнил стакан в подтверждение

своих слов, достойных Варвика, делателя королей[93].

— Бэлди, — сказал Уэб торжественно, — мы много лет пасли коров в одном лагере. Еще мальчишками мы бегали по одному и тому же пастбищу и топтали одни и те же тропинки. Только тебя я посвящаю в свои семейные дела. Ты был просто объездчиком на ранчо Нопалито, когда я женился на Санте Мак-Аллистер. Тогда я был старшим; а что я теперь? Я значу меньше, чем пряжка на уздечке.

— Когда старик Мак-Аллистер был королем скота в Западном Техасе, — подхватил Бэлди с сатанинской вкрадчивостью, — и ты был козырем. Ты был на ранчо таким же хозяином.

— Так было, — согласился Уэб, — пока он не догадался, что я пытаюсь заарканить Санту. Тогда он отправил меня на пастбище, как можно дальше от дома. Когда старик умер, Санту стали звать «королевой скота». А я только заведую скотом. Она присматривает за всем делом; она распоряжается всеми деньгами. А я не могу продать даже бычка на обед туристам. Санта — «королева», а я

---

[93] Примечания: 93

«Делатель королей» — прозвище английского графа Варвика (1428–1471), государственного деятеля, чьими усилиями на английский престол был возведен в 1461 г. Эдуард IV.

— мистер Никто.

— На твоем месте я был бы королем, — повторил закоренелый монархист Бэлди Вудс. — Когда человек женится на королеве, он должен идти с ней по одной цене в любом виде — соленом и вяленом, и повсюду — от пастбища до прилавка. Многие, Уэб, считают странным, что не тебе принадлежит решающее слово на Нопалито. Я не хочу сказать ничего худого про миссис Игер — она самая замечательная дамочка между Рио Гранде и будущим Рождеством, — но мужчина должен быть хозяином в своем доме.

Бритое смуглое лицо Игера вытянулось в маску уязвленной меланхолии. Выражение его лица, растрепанные желтые волосы и простодушные голубые глаза — все это напоминало школьника, у которого место коновода перехватил кто-то посильнее. Но его энергичная мускулистая семидесятидвухдюймовая фигура и револьверы у пояса не допускали такого сравнения.

— Как это ты меня обозвал, Бэлди? — спросил он. — Что это за концерт такой?

— Консорт, — поправил Бэлди, — принц-консорт. Это псевдоним для неважной карты. Ты по достоинству где-то между козырным валетом и тройкой.

Уэб Игер вздохнул и поднял с пола ремень от чехла своего винчестера.

— Я возвращаюсь сегодня на ранчо, — сказал он безучастно. — Утром мне надо отправить гурт быков в Сан-Антонио.

— До Сухого озера я тебе попутчик, — сообщил Бэлди. — В моем лагере в Сан-Маркос согнали скот и отбирают двухлеток.

Оба companeros[94] сели на лошадей и зарысили прочь от маленького железнодорожного поселка, где в это утро утоляли жажду.

У Сухого озера, где их пути расходились, они остановили лошадей, чтобы выкурить по прощальной папиросе. Много миль они проехали молча, и тишину нарушали лишь дробь копыт о примятую мескитовую траву и потрескивание кустарника, задевавшего за деревянные стремена. Но в Техасе разговоры редко бывают связными. Между двумя фразами можно проехать милю, пообедать, совершить убийство, и все это без ущерба для развиваемого тезиса. Поэтому Уэб без всяких предисловий добавил кое-что к разговору, который завязался десять миль назад.

— Ты сам помнишь, Бэлди, что Санта не всегда

---

[94] Примечания: 94
Приятели *(исп.)*.

была такая самостоятельная. Ты помнишь дни, когда старик Мак-Аллистер держал нас на расстоянии и как она давала мне знать, что хочет видеть меня. Старик Мак-Аллистер обещал сделать из меня дуршлаг, если я подойду к ферме на ружейный выстрел. Ты помнишь знак, который, бывало, она посылала мне… сердце и в нем крест.

— Я-то? — вскричал Бэлди с хмельной обидчивостью. — Ах ты, старый койот! Помню ли? Да знаешь ли ты, проклятая длиннорогая горлица, что все ребята в лагере знали эти ваши иероглифы? «Желудок с костями крест-накрест» — вот как мы называли их. Мы всегда примечали их на поклаже, которую нам привозили с ранчо. Они были выведены углем на мешках с мукой и карандашом на газетах. А как-то я видел такую штуку, нарисованную мелом на спине нового повара, которого прислал с ранчо старик Мак-Аллистер. Честное слово!

— Отец Санты, — кротко объяснил Уэб, — взял с нее обещание, что она не будет писать мне и передавать поручений. Вот она и придумала этот знак, «сердце, и крест». Когда ей не терпелось меня увидеть, она ухитрялась отмечать этим знаком что придется, лишь бы попалось мне на

глаза. И не было случая, чтобы, приметив этот знак, я не мчался в ту же ночь на ранчо. Я встречался с нею в той рощице, что позади маленького конского корраля.

— Мы знали это, — протянул Бэлди, — только виду не подавали. Все мы были за вас. Мы знали, почему ты в лагере всегда держишь коня наготове. И когда мы видели «желудок с костями», расписанные на повозке, мы знали, что старику Пинто придется в эту ночь глотать мили вместо травы. Ты помнишь Скэрри… этого ученого объездчика? Ну, парня из колледжа, который приехал на пастбище лечиться от пьянства. Как завидит Скэрри на чем-нибудь это клеймо «приезжай к своей милке», махнет, бывало, рукой вот таким манером и скажет: «Ну, нынче ночью наш приятель Леандр опять поплывет через Геллиспункт»[95].

— В последний раз, — сказал Уэб, — Санта послала мне знак, когда была больна. Я заметил его сразу, как только вернулся в лагерь, и в ту ночь сорок миль прогнал Пинто галопом. В рощице ее не было. Я пошел к дому, и в дверях меня встретил

---

[95] Примечания: 95

В древнегреческом сказании юноша Леандр, полюбив жрицу богини Афродиты Геро, каждую ночь переплывал Геллеспонт (Босфор), чтобы встретиться с нею.

старик Мак-Аллистер.

— Ты приехал, чтобы быть убитым? — говорил он. — Сегодня не выйдет. Я только что послал за тобой мексиканца. Санта хочет тебя видеть. Ступай в эту комнату и поговори с ней. А потом выходи и поговоришь со мной.

Санта лежала в постели сильно больная. Но она вроде как улыбнулась, и наши руки сцепились, и я сел возле кровати как был — грязный, при шпорах, в кожаных штанах и тому подобном.

— Несколько часов мне чудился топот копыт твоей лошади, Уэб, — говорит она. — Я была уверена, что ты прискачешь. Ты увидел знак? — шепчет она.

— Как только вернулся в лагерь, — говорю я. — Он был нарисован на мешке с картошкой и луком.

— Они всегда вместе, — говорит она нежно, — всегда вместе в жизни.

— Вместе они замечательны, — говорю я, — с тушеным мясом.

— Я имею в виду сердце и крест, — говорит она. — Наш знак. Любовь и страдание — вот что он обозначает.

Тут же был старый Док Мэсгров, забавлявшийся виски и веером из пальмового листа. Ну, вскоре

Санта засыпает. Док трогает лоб и говорит мне: «Вы неплохое жаропонижающее. Но сейчас вам лучше уйти, потому что, согласно диагнозу, вы не требуетесь в больших дозах. Девица будет в полном порядке, когда проснется».

Я вышел и встретил старика Мак-Аллистера.

— Она спит, — сказал я. — Теперь вы можете делать из меня дуршлаг. Пользуйтесь случаем: я оставил свое ружье на седле.

Старик смеется и говорит мне:

— Какой мне расчет накачать свинцом лучшего управляющего в Западном Техасе? Где я найду такого? Я почему говорю, что ты хорошая мишень? Потому что ты хочешь стать моим зятем. В члены семейства ты, Уэб, мне не годишься. Но использовать тебя на Нопалито я могу, если ты не будешь совать нос в усадьбу. Отправляйся-ка наверх и ложись на койку, а когда выспишься, мы с тобой это обсудим.

Бэлди Вудс надвинул шляпу и скинул ногу с седельной луки. Уэб натянул поводья, и его застоявшаяся лошадь заплясала. Церемонно, как принято на Западе, мужчины пожали друг другу руки.

— Adios, Бэлди, — сказал Уэб, — очень рад, что повидал тебя и побеседовал.

Лошади рванули с таким шумом, будто вспорхнула стая перепелов, и всадники понеслись к разным точкам горизонта. Отъехав ярдов сто, Бэлди остановил лошадь на вершине голого холмика и испустил вопль. Он качался в седле. Иди он пешком, земля бы завертелась под ним и свалила его. Но в седле он всегда сохранял равновесие, смеялся над виски и презирал центр тяжести.

Услышав сигнал, Уэб повернулся в седле.

— На твоем месте, — донесся с пронзительной издевкой голос Бэлди, — я был бы королем.

На следующее утро, в восемь часов, Бэд Тернер скатился с седла перед домом в Нопалито и зашагал, звякая шпорами, к галерее. Бэд должен был в это утро гнать гурт рогатого скота в Сан-Антонио. Миссис Игер была на галерее и поливала цветок гиацинта в красном глиняном горшке.

«Король» Мак-Аллистер завещал своей дочери много положительных качеств: свою решительность, свое веселое мужество, свою упрямую самоуверенность, свою гордость царствующего монарха копыт и рогов. Темпом Мак-Аллистера всегда было allegro, а манерой — fortissimo. Санта унаследовала их, но в женском ключе. Во многом она напоминала свою мать, которую призвали на иные, беспредельные зеленые пастбища за-

долго до того, как растущие стада коров придали дому королевское величие. У нее была стройная крепкая фигура матери и ее степенная нежная красота, смягчавшая суровость властных глаз и королевски независимый вид Мак-Аллистера.

Уэб стоял в конце галереи с несколькими управляющими, которые приехали из различных лагерей за распоряжениями.

— Привет! — сказал Бэд кратко. — Кому в городе сдать скот? Барберу, как всегда?

Отвечать на такие вопросы было прерогативой королевы. Все бразды хозяйства — покупку, продажу и расчеты — она держала в своих ловких пальчиках. Управление скотом было целиком доверено ее мужу. В дни «короля» Мак-Аллистера Санта была его секретарем и помощником. И она продолжала свою работу разумно и с выгодой. Но до того, как она успела ответить, принц-консорт заговорил со спокойной решимостью:

— Сдай этот гурт в загоны Циммермана и Несбита. Я говорил об этом недавно с Циммерманом.

Бэд повернулся на своих высоких каблуках.

— Подождите, — поспешно позвала его Санта. Она взглянула на мужа, удивление было в ее упрямых серых глазах.

— Что это значит, Уэб? — спросила она, и

небольшая морщинка появилась у нее между бровей. — Я не торгую с Циммерманом и Несбитом. Вот уже пять лет Барбер забирает весь скот, который идет от нас на продажу. Я не собираюсь отказываться от его услуг. — Она повернулась к Бэду Тэрнеру. — Сдайте этот скот Барберу — заключила она решительно.

Бэд безучастно посмотрел на кувшин с водой, висевший на галерее, переступил с ноги на ногу и пожевал лист мескита.

— Я хочу, чтобы этот гурт был отправлен Циммерману и Несбиту, — сказал Уэб, и в его голубых глазах сверкнул холодный огонек.

— Глупости! — сказала нетерпеливо Санта. — Вам лучше отправляться сейчас, Бэд, чтобы отполдничать на водопое «Маленького вяза». Скажите Барберу, что через месяц у нас будет новая партия бракованных телят.

Бэд посмотрел украдкой на Уэба, и взгляды их встретились. Уэб заметил в глазах Бэда просьбу извинить его, но вообразил, что видит соболезнование.

— Сдай скот, — сказал он сурово, — фирме…

— Барбера, — резко докончила Санта. — И поставим точку. Вы ждете еще чего-нибудь, Бэд?

— Нет, мэм, — сказал Бэд. Но прежде чем уйти,

он замешкался ровно на столько времени, сколько нужно корове, чтобы трижды махнуть хвостом, ведь мужчина — всегда союзник мужчине; и даже филистимляне, должно быть, покраснели, овладев Самсоном так, как они это сделали.

— Слушайся своего хозяина! — издевательски крикнул Уэб. Он снял шляпу и так низко поклонился жене, что шляпа коснулась пола.

— Уэб, — сказала Санта с упреком, — ты сегодня ведешь себя страшно глупо.

— Придворный шут, ваше величество, — сказал Уэб медленно, изменившимся голосом. — Чего же еще и ждать? Позвольте высказаться. Я был мужчиной до того, как женился на королеве скота. А что я теперь? Посмешище для всех лагерей. Но я стану снова мужчиной.

Санта пристально взглянула на него.

— Брось глупости, Уэб, — сказала она спокойно. — Я тебя ничем не обидела. Разве я вмешиваюсь в твое управление скотом? А коммерческую сторону дела я знаю лучше тебя. Я научилась у папы. Будь благоразумен.

— Короли и королевы, — сказал Уэб, — не по вкусу мне, если я сам не фигура. Я пасу скот, а ты носишь корону. Прекрасно! Я лучше буду лорд-канцлером коровьего лагеря, чем восьмеркой

в чужой игре. Это твое ранчо, и скот получает Барбер.

Лошадь Уэба была привязана к коновязи. Он вошел в дом и вынес сверток одеял, которые брал только в дальние поездки, и свой плащ, и свое самое длинное лассо, плетенное из сыромятной кожи. Все это он не спеша приторочил к седлу. Санта, слегка побледнев, пошла за ним.

Уэб вскочил в седло. Его серьезное бритое лицо было спокойно, лишь в глазах тлел упрямый огонек.

— Вблизи водопоя Хондо, в долине Фрио, — сказал он, — пасется стадо коров и телят. Его надо отогнать подальше от леса. Волки задрали трех телят. Я забыл распорядиться. Скажи, пожалуйста, Симмсу, чтобы он позаботился.

Санта взялась за уздечку и посмотрела мужу в глаза.

— Ты хочешь бросить меня, Уэб? — спросила она спокойно.

— Я хочу снова стать мужчиной, — ответил он.

— Желаю успеха в похвальном начинании, — сказала она с неожиданной холодностью. Потом повернулась и ушла в дом.

Уэб Игер поехал на юго-восток по прямой, насколько это позволяла топография Западного

Техаса. А достигнув горизонта, он, видно, растворился в голубой дали, так как на ранчо Нопалито о нем с тех пор не было ни слуху ни духу. Дни с воскресеньями во главе строились в недельные эскадроны, и недели под командою полнолуний вступали рядами в месячные полки, несущие на своих знаменах «Tempus fugit»[96], и месяцы маршировали в необъятный лагерь годов. Но Уэб Игер не являлся больше во владения своей королевы.

Однажды некий Бартоломью с низовьев Рио-Гранде, овчар, а посему человек незначительный, показался в виду ранчо Нопалито и почувствовал приступ голода. Ex consuetudine[97] его вскоре усадили за обеденный стол в этом гостеприимном королевстве. И он заговорил, будто из него извергалась вода, словно его стукнули аароновым жезлом…[98] Таков бывает тихий овчар, когда слушатели, чьи уши не заросли шерстью, удостоят его внимания.

---

[96] Примечания: 96
Время бежит *(лат.)*.

[97] Примечания: 97
По установленному обычаю *(исп.)*.

[98] Примечания: 98
Тут спутаны две библейские легенды: про жезл Аарона, который расцвел и дал плоды в знак особой милости Бога к Аарону, и про жезл, которым Моисей ударил в скалу, после чего из неё полилась вода.

— Миссис Игер, — тараторил он, — на днях я видел человека на ранчо Сэко, в округе Гидальго, так его тоже звали Игер, Уэб Игер. Его как раз наняли туда в управляющие. Высокий такой, белобрысый и все молчит. Может, кто из вашей родни?

— Муж, — приветливо сказала Санта. — На Сэко хорошо сделали, что наняли его. Мистер Игер один из лучших скотоводов на Западе.

Исчезновение принца-консорта редко дезорганизует монархию. Королева Санта назначила старшим объездчиком надежного подданного по имени Рэмси, одного из верных вассалов ее отца. И на ранчо Нопалито все шло гладко и без волнений, только трава на обширных лугах волновалась от бриза, налетавшего с Мексиканского залива.

Уже несколько лет в Нопалито производились опыты с английской породой скота, который с аристократическим презрением смотрел на техасских длиннорогих. Опыты были признаны удовлетворительными, и для голубокровок отведено отдельное пастбище. Слава о них разнеслась по прерии, по всем оврагам и зарослям, куда только мог проникнуть верховой. На других ранчо проснулись, протерли глаза и с неудовольствием

поглядели на длиннорогих.

И в результате однажды загорелый, ловкий, франтоватый юноша с шелковым платком на шее, украшенный револьверами и сопровождаемый тремя мексиканскими vaqueros[99], спешился на ранчо Нопалито и вручил «королеве» следующее деловое письмо:

> «*Миссис Игер. — Ранчо Нопалито.*
>
> Милостивая государыня!
>
> Мне поручено владельцами ранчо Сэко закупить 100 голов телок — двух- и трехлеток сэссекской породы, имеющейся у Вас. Если Вы можете выполнить заказ, не откажите передать скот подателю сего. Чек будет выслан Вам немедленно.
>
> ***С почтением Уэбстер Игер, управляющий ранчо Сэко».***

Дело всегда дело, даже — я чуть-чуть не написал: «особенно» — в королевстве.

В этот вечер сто голов скота пригнали с пастбища и заперли в корраль возле дома, чтобы сдать его утром.

Когда спустилась ночь и дом затих, бросилась

---

[99] Примечания: 99
Ковбой *(исп.)*.

ли Санта Игер лицом в подушку, прижимая это деловое письмо к груди, рыдая и произнося то имя, которому гордость (ее или его) не позволяла сорваться с ее губ многие дни? Или же, со свойственной ей деловитостью, она подколола его к другим бумагам, сохраняя спокойствие и выдержку, достойные королевы скота? Догадывайтесь, если хотите, но королевское достоинство священно. И все сокрыто завесой. Однако кое-что вы все-таки узнаете.

В полночь Санта, накинув темное, простое платье, тихо выскользнула из дома. Она задержалась на минуту под дубами. Прерия была словно в тумане, и лунный свет, мерцающий сквозь неосязаемые частицы дрожащей дымки, казался бледно-оранжевым. Но дрозды-пересмешники свистели на каждом удобном суку, мили цветов насыщали ароматом воздух, а на полянке резвился целый детский сад — маленькие призрачные кролики. Санта повернулась лицом на юго-восток и послала в ту сторону три воздушных поцелуя. Все равно подглядывать было некому.

Затем она бесшумно направилась к кузнице, находившейся в пятидесяти ярдах. О том, что она там делала, можно только догадываться. Но горн накалился, и раздавалось легкое постукивание

молотка, какое, верно, можно услышать, когда Купидон оттачивает свои стрелы.

Вскоре она вышла, держа в одной руке какой-то странной формы предмет с рукояткой, а в другой — переносную жаровню, какие можно видеть в лагерях у клеймовщиков. Освещенная лунным светом, она быстро побежала к корралю, куда был загнан сэссекский скот. Она отворила ворота и проскользнула в корраль. Сэссекский скот был большей частью темно-рыжий. Но в этом гурте была одна молочно-белая телка, заметная среди других.

И вот Санта стряхнула с плеч нечто, чего мы раньше не приметили, — лассо. Она взяла петлю в правую руку, а смотанный конец в левую и протиснулась в гущу скота. Ее мишенью была белая телка. Она метнула лассо, оно задело за один рог и соскользнуло. Санта метнула еще раз — лассо обвило передние ноги телки, и она грузно упала. Санта кинулась к ней, как пантера, но телка поднялась, толкнула ее и свалила, как былинку. Санта сделала новую попытку. Встревоженный скот плотной массой толкался у стен корраля. Бросок был удачен; белая телка снова припала к земле, и, прежде чем она смогла подняться, Санта быстро закрутила лассо вокруг столба, завязала

его простым, но крепким узлом и кинулась к телке с путами из сыромятной кожи. В минуту (не такое уж рекордное время) ноги животного были спутаны, и Санта, усталая и запыхавшаяся, на такой же срок прислонилась к стене корраля.

Потом она быстро побежала к жаровне, оставленной у ворот, и притащила странной формы клеймо, раскаленное добела.

Рев оскорбленной белой телки, когда клеймо коснулось ее, должен был бы разбудить слуховые нервы и совесть находившихся поблизости подданных Нопалито, но этого не случилось. И среди глубочайшей ночной тишины Санта, как птица, полетела домой, упала на кровать и зарыдала… Зарыдала так, будто у королев такие же сердца, как и у жен обыкновенных ранчменов, и будто королевы охотно сделают принцев-консортов королями, если они прискачут из-за холмов, из голубой дали.

Поутру ловкий, украшенный револьверами юноша и его vaqueros погнали гурт сэссекского скота через прерии к ранчо Сэко. Впереди девяносто миль пути. Шесть дней с остановками для пастьбы и водопоя.

Скот прибыл на ранчо Сэко в сумерки и был принят и пересчитан старшим по ранчо.

На следующее утро, в восемь часов, какой-то всадник вынырнул из кустарника на усадьбе Нопалито. Он с трудом спешился и зашагал, звеня шпорами, к дому. Его взмыленная лошадь испустила тяжелый вздох и закачалась, понуря голову и закрыв глаза.

Но не расточайте своего сострадания на гнедого, в мелких пежинах, Бельсхазара. Сейчас на конских пастбищах Нопалито он процветает в любви и в холе, неседлаемый, лелеемый держатель рекорда на дальние дистанции.

Всадник, пошатываясь, вошел в дом. Две руки обвились вокруг его шеи, и кто-то крикнул голосом женщины и королевы: «Уэб… О Уэб!»

— Я был мерзавцем, — сказал Уэб Игер.

— Тс-с, — сказала Санта, — ты видел?

— Видел, — сказал Уэб.

Один Бог знает, что они имели в виду. Впрочем, и вы узнаете, если внимательно прочли о предшествующих событиях.

— Будь королевой скота, — сказал Уэб, — и забудь обо всем, если можешь. Я был паршивым койотом.

— Тс-с! — снова сказала Санта, положив пальчик на его губы. — Здесь больше нет королевы. Ты знаешь, кто я? Я — Санта Игер, первая леди

королевской опочивальни. Иди сюда.

Она потащила его с галереи в комнату направо. Здесь стояла колыбель, и в ней лежал инфант — красный, буйный, лепечущий, замечательный инфант, нахально плюющий на весь мир.

— На этом ранчо нет королевы, — повторила Санта. — Взгляни на короля. У него твои глаза, Уэб. На колени и смотри на его высочество.

Но на галерее послышалось звяканье шпор, и опять появился Бэд Тернер с тем же самым вопросом, с каким приходил он без малого год назад.

— Привет! Скот уже на дороге. Гнать его к Барберу или…

Он увидел Уэба и замолк с открытым ртом.

— Ба-ба-ба-ба-ба-ба, — закричал король в своей люльке, колотя кулачками воздух.

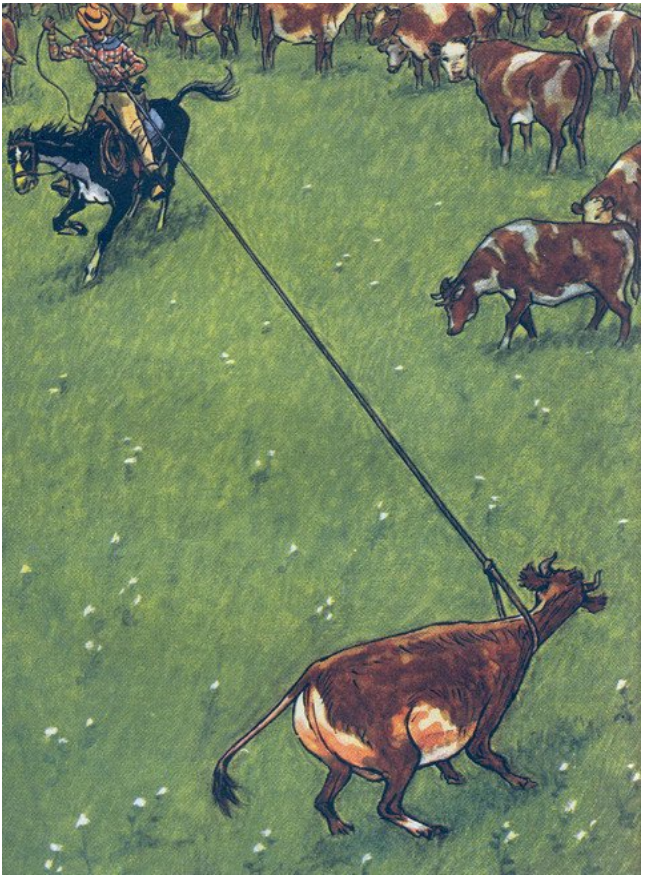
— Слушайся своего хозяина, Бэд, — сказал Уэб Игер с широкой усмешкой, как сказал это год назад.

Вот и все. Остается упомянуть, что когда старик Куин, владелец ранчо Сэко, вышел осмотреть стадо сэссекского скота, который он купил на ранчо Нопалито, он спросил своего нового управляющего:

— Какое клеймо на ранчо Нопалито, Уилсон?

— Х-черта-У, — сказал Уилсон.

— И мне так казалось, — заметил Куин. — Но взгляни на эту белую телку. У ней другое клеймо: сердце и в нем — крест. Что это за клеймо?



Выкуп

Перевод М. Урнова

Я и старикашка Мак Лонсбери, мы вышли из этой игры в прятки с маленькой золотоносной жилой, заработав по сорок тысяч долларов на брата. Я говорю: «старикашка» Мак, но он не был старым. Сорок один, не больше. Однако он всегда казался стариком.

— Энди, — говорит мне Мак, — я устал от суеты. Мы с тобой здорово поработали эти три года. Давай отдохнем малость и спустим лишние деньжонки.

— Предложение мне по вкусу, — говорю я. — Давай станем на время набобами и попробуем, что это за штука. Но что мы будем делать: проедемся к Ниагарскому водопаду или будем резаться в «фараон»?

— Много лет, — говорит Мак, — я мечтал, что, если у меня будут лишние деньги, я сниму где-нибудь хибарку из двух комнат, найму повара-китайца и буду себе сидеть в одних носках и читать «Историю цивилизации» Бокля.

— Ну что ж, — говорю я, — приятно, полезно

и без вульгарной помпы. Пожалуй, лучшего помещения денег не придумаешь. Дай мне часы с кукушкой и «Самоучитель для игры на банджо» Сэпа Уиннера, и я тебе компаньон.

Через неделю мы с Маком попадаем в городок Пинья, милях в тридцати от Денвера, и находим элегантный домишко из двух комнат, как раз то, что нам нужно. Мы вложили в городской банк вагон денег и перезнакомились со всеми тремястами сорока жителями города. Китайца, часы с кукушкой, Бокля и «Самоучитель» мы привезли с собой из Денвера, и в нашей хибарке сразу стало уютно, как дома.

Не верьте, когда говорят, будто богатство не приносит счастья. Посмотрели бы вы, как старикашка Мак сидит в своей качалке, задрав ноги в голубых нитяных носках на подоконник, и сквозь очки поглощает снадобье Бокля, — это была картина довольства, которой позавидовал бы сам Рокфеллер. А я учился наигрывать на банджо «Старичина-молодчина Зип», и кукушка вовремя вставляла свои замечания, и А-Син насыщал атмосферу прекраснейшим ароматом яичницы с ветчиной, перед которым спасовал бы даже запах жимолости. Когда становилось слишком темно, чтобы разбирать чепуху Бокля и закорючки

«Самоучителя», мы с Маком закуривали трубки и толковали о науке, о добывании жемчуга, об ишиасе, о Египте, об орфографии, о рыбах, о пассатах, о выделке кожи, о благодарности, об орлах и о всяких других предметах, относительно которых у нас прежде никогда не хватало времени высказывать свое мнение.

Как-то вечером Мак возьми да спроси меня, хорошо ли я разбираюсь в нравах и политике женского сословия.

— Кого ты спрашиваешь! — говорю я самонадеянным тоном. — Я знаю их от Арфы до Омахи[100]. Женскую природу и тому подобное, — говорю я, — я распознаю так же быстро, как зоркий осел — Скалистые горы. Я собаку съел на их увертках и вывертах…

— Понимаешь, Энди, — говорит Мак, вроде как вздохнув, — мне совсем не пришлось иметь дело с их предрасположением. Возможно, и во мне взыграла бы склонность обыграть их соседство, да времени не было. С четырнадцати лет я зарабатывал себе на жизнь, и мои размышления не были обогащены теми чувствами, какие, судя по описаниям, обычно вызывают создания этого

---

[100] Примечания: 100
От альфы до омеги (Омаха — город, в штате Небраска).

пола. Иногда я жалею об этом, — говорит Мак.

— Женщины — неблагоприятный предмет для изучения, — говорю я, — и все это зависит от точки зрения. И хотя они отличаются друг от друга в существенном, но я часто замечал, что они как нельзя более несходны в мелочах.

— Кажется мне, — продолжает Мак, — что гораздо лучше проявлять к ним интерес и вдохновляться ими, когда молод и к этому предназначен. Я прозевал свой случай. И, пожалуй, я слишком стар, чтобы включить их в свою программу.

— Ну, не знаю, — говорю я ему, — может, ты отдаешь предпочтение бочонку с деньгами и полному освобождению от всяких забот и хлопот. Но я не жалею, что изучил их, — говорю я. — Тот не даст себя в обиду в этом мире, кто умеет разбираться в женских фокусах и увертках.

Мы продолжали жить в Пинье, нам нравилось это местечко. Некоторые люди предпочитают тратить свои деньги с шумом, треском и всякими передвижениями, но мне и Маку надоели суматоха и гостиничные полотенца. Народ в Пинье относился к нам хорошо. А-Син стряпал кормежку по нашему вкусу. Мак и Бокль были неразлучны, как два кладбищенских вора, а я почти в точности извлекал на банджо сердцещипательное

«Девочки из Буффало, выходите вечерком».

Однажды мне вручили телеграмму от Спейта, из Нью-Мексико, где этот парень разрабатывал жилу, с которой я получал проценты. Пришлось туда выехать, и я проторчал там два месяца. Мне не терпелось вернуться в Пинью и опять зажить в свое удовольствие.

Подойдя к хибарке, я чуть не упал в обморок. Мак стоял в дверях, и если ангелы плачут, то, клянусь, в эту минуту они не стали бы улыбаться.

Это был не человек — зрелище! Честное слово! На него стоило посмотреть в лорнет, в бинокль, да что там, в подзорную трубу, в большой телескоп Ликской обсерватории!

На нем был сюртук, шикарные ботинки, и белый жилет, и цилиндр, и герань величиной с пучок шпината была приклепана на фасаде. И он ухмылялся и коробился, как торгаш в преисподней или мальчишка, у которого схватило живот.

— Алло, Энди, — говорит Мак, цедя сквозь зубы, — рад, что ты вернулся. Тут без тебя произошли кое-какие перемены.

— Вижу, — говорю я, — и, сознаюсь, это кощунственное явление. Не таким тебя создал Всевышний, Мак Лонсбери. Зачем же ты надругался над Его творением, явив собой столь

дерзкое непотребство!

— Понимаешь, Энди, — говорит он, — меня выбрали мировым судьей.

Я внимательно посмотрел на Мака. Он был беспокоен и возбужден. Мировой судья должен быть скорбящим и кротким.

Как раз в этот момент по тротуару проходила какая-то девушка, и я заметил, что Мак словно бы захихикал и покраснел, а потом снял цилиндр, улыбнулся и поклонился, и она улыбнулась, поклонилась и пошла дальше.

— Ты пропал, — говорю я, — если в твои годы заболеваешь любовной корью. А я-то думал, что она к тебе не пристанет. И лакированные ботинки! И все это за какие-нибудь два месяца!

— Вечером у меня свадьба… вот эта самая юная девица, — говорит Мак явно с подъемом.

— Я забыл кое-что на почте, — сказал я и быстро зашагал прочь.

Я нагнал эту девушку ярдов через сто. Я снял шляпу и представился. Ей было этак лет девятнадцать, а выглядела она моложе своих лет. Она вспыхнула и посмотрела на меня холодно, словно я был метелью из «Двух сироток».

— Я слышал, что сегодня вечером у вас свадьба? — сказал я.

— Правильно, — говорит она, — вам это почему-нибудь не нравится?

— Послушай, сестренка, — начинаю я.

— Меня зовут мисс Ребоза Рид, — говорит она обиженно.

— Знаю, — говорю я, — так вот, Ребоза, я уже немолод, гожусь в должники твоему папаше, а эта старая, расфранченная, подремонтированная, страдающая морской болезнью развалина, которая носится, распустив хвост и кулдыкая, в своих лакированных ботинках, как наскипидаренный индюк, приходится мне лучшим другом. Ну на кой черт ты связалась с ним и втянула его в это брачное предприятие?

— Да ведь другого-то нету, — ответила мисс Ребоза.

— Глупости! — говорю я, бросив тошнотворный взгляд восхищения на цвет ее лица и общую композицию. — С твоей красотой ты подцепишь кого угодно. Послушай, Ребоза, старикашка Мак тебе не пара. Ему было двадцать два, когда ты стала урожденная Рид, как пишут в газетах. Этот расцвет у него долго не протянется. Он весь пропитан старостью, целомудрием и трухой. У него приступ бабьего лета — только и всего. Он прозевал свою получку, когда был молод, а теперь

вымаливает у природы проценты по векселю, который ему достался от амура вместо наличных… Ребоза, тебе непременно нужно, чтобы этот брак состоялся?

— Ну ясно, — говорит она, покачивая анютины глазки на своей шляпе. — И думаю, что не мне одной.

— В котором часу должно это свершиться? — спрашиваю я.

— В шесть, — говорит она.

Я сразу решил, как поступить. Я должен сделать все, чтобы спасти Мака. Позволить такому хорошему, пожилому, не подходящему для супружества человеку погибнуть из-за девчонки, которая не отвыкла еще грызть карандаш и застегивать платьице на спине, — нет, это превышало меру моего равнодушия.

— Ребоза, — сказал я серьезно, пустив в ход весь свой запас знаний первопричин женских резонов, — неужели нет в Пинье молодого человека… приличного молодого человека, который бы тебе нравился?

— Есть, — говорит Ребоза, кивая своими анютиными глазками, — конечно, есть. Спрашивает тоже!

— Ты ему нравишься? — спрашиваю я. — Как

он к тебе относится?

— С ума сходит, — отвечает Ребоза. — Маме приходится поливать крыльцо водою, чтобы он не сидел на нем целый день. Но завтра, думается мне, с этим будет покончено, — заключила она со вздохом.

— Ребоза, — говорю я, — ты ведь не питаешь к старичку Маку этого сильного обожания, которое называют любовью, не правда ли?

— Еще недоставало! — говорит девушка, покачивая головой. — По-моему, он весь иссох, как дырявый бочонок. Вот тоже выдумали!

— Кто этот молодой человек, Ребоза, который тебе нравится? — осведомился я.

— Эдди Бэйлз, — говорит она. — Он служит в колониальной лавочке у Кросби. Но он зарабатывает только тридцать пять долларов в месяц. Элла Ноукс была раньше от него без ума.

— Старикашка Мак сообщил мне, — говорю я, — что сегодня в шесть у вас свадьба.

— Совершенно верно, — говорит она, — в шесть часов, у нас в доме.

— Ребоза, — говорю я. — Выслушай меня! Если бы Эдди Бэйлз имел тысячу долларов наличными… На тысячу долларов, имей в виду, он может приобрести собственную лавочку… Так вот, если

бы вам с Эдди попалась такая разрешающая сомнения сумма, согласилась бы ты повенчаться с ним сегодня в пять вечера?

Девушка смотрит на меня с минуту, и я чувствую, как ее организм охватывают непередаваемые размышления, обычные для женщин при таких обстоятельствах.

— Тысячу долларов? — говорит она. — Конечно, согласилась бы.

— Пойдем, — говорю я. — Пойдем к Эдди!

Мы пошли в лавочку Кросби и вызвали Эдди на улицу. Вид у него был почтенный и веснушчатый, и его бросило в жар и в холод, когда я изложил ему свое предложение.

— В пять часов? — говорит он. — За тысячу долларов? Ой, не будите меня. Понял! Вы богатый дядюшка, наживший состояние на торговле пряностями в Индии. А я покупаю лавочку старика Кросби — и сам себе хозяин.

Мы вошли в лавочку, отозвали Кросби в сторону и объяснили все дело. Я выписал чек на тысячу долларов и отдал его старику. Он должен был передать его Эдди и Ребозе, если они повенчаются в пять.

А потом я благословил их и пошел побродить по лесу. Я уселся на пень и размышлял о жиз-

ни, о старости, о зодиаке, о женской логике и о том, сколько треволнений выпадает на долю человека.

Я поздравил себя с тем, что я, очевидно, спас моего старого приятеля Мака от приступа второй молодости. Я знал, что, когда он очнется и бросит свое сумасбродство и свои лакированные ботинки, он будет мне благодарен. «Удержать Мака от подобных рецидивов, — думал я, — на это не жалко и больше тысячи долларов».

Но особенно я был рад тому, что я изучил женщин и что ни одна меня не обманет своими причудами и подвохами. Когда я вернулся домой, было, наверно, половина шестого. Я вошел и вижу — старикашка Мак сидит, развалившись, в качалке, в старом своем костюме, ноги в голубых носках задраны на подоконник, а на коленях — «История цивилизации».

— Не очень-то похоже, что ты к шести отправляешься на свадьбу, — говорю я с невинным видом.

— А-а, — говорит Мак и тянется за табаком, — ее передвинули на пять часов. Известили запиской, что переменили час. Все уже кончено. А ты чего пропадал так долго, Энди?

— Ты слышал о свадьбе? — спрашиваю я.

— Сам венчал, — отвечает он. — Я же говорил тебе, что меня избрали мировым судьей. Священник где-то на Востоке гостит у родных, а я единственный в городе, кто имеет право совершать брачные церемонии. Месяц назад я пообещал Эдди и Ребозе, что обвенчаю их. Он парень толковый и со временем обзаведется собственной лавочкой.

— Обзаведется, — говорю.

— Уйма женщин была на свадьбе, — говорит Мак, — но ничего нового я в них как-то не приметил. А хотелось бы знать структуру их вывертов так же хорошо, как ты… Ведь ты говорил…

— Говорил два месяца назад, — сказал я и потянулся за банджо.

Друг Телемак

Перевод М. Урнова

Вернувшись с охоты, я поджидал в городишке Лос-Пиньос, в Нью-Мексико, поезд, идущий на юг. Поезд запаздывал на час. Я сидел на крыльце ресторанчика «Вершина» и беседовал о смысле жизни с Телемаком Хиксом, его владельцем.

Заметив, что вопросы личного характера не исключаются, я спросил его, какое животное, очевидно давным-давно, скрутило и обезобразило его левое ухо. Как охотника меня интересовали злоключения, которые могут постигнуть человека, преследующего дичь.

— Это ухо, — сказал Хикс, — реликвия верной дружбы.

— Несчастный случай? — не унимался я.

— Никакая дружба не может быть несчастным случаем, — сказал Телемак, и я умолк.

— Я знаю один-единственный случай истинной дружбы, — продолжал мой хозяин, — это случай полюбовного соглашения между человеком из Коннектикута и обезьяной. Обезьяна взбиралась на пальмы в Барранквилле и сбрасывала

человеку кокосовые орехи. Человек распиливал их пополам, делал из них чашки, продавал их по два реала за штуку и покупал ром. Обезьяна выпивала кокосовое молоко. Поскольку каждый был доволен своей долей в добыче, они жили как братья. Но у человеческих существ дружба — занятие преходящее: побалуются ею и забросят.

Был у меня как-то друг, по имени Пейсли Фиш, и я воображал, что он привязан ко мне на веки вечные. Семь лет мы бок о бок добывали руду, разводили скот, продавали патентованные маслобойки, пасли овец, щелкали фотографии и все, что попадалось под руку, ставили проволочные изгороди и собирали сливы. И думалось мне, что ни человекоубийство, ни лесть, ни богатство, ни пьянство, никакие ухищрения не посеют раздора между мной и Пейсли Фишем. Вы и представить себе не можете, как мы были дружны. Мы были друзьями в деле, но наши дружеские чувства не оставляли нас в часы досуга и забав. Поистине у нас были дни Дамона и ночи Пифия[101].

Как-то летом мы с Пейсли, нарядившись как полагается, скачем в эти самые горы Сан-Андрес, чтобы на месяц окунуться в безделье и легкомыс-

[101] Примечания: 101

Дамон и Пифий — легендарные жители древних Сиракуз, прославившиеся своею дружбой.

лие. Мы попадаем сюда, в Лос-Пиньос, этот сад на крыше мира, где текут реки сгущенного молока и меда. В нем несколько улиц, и воздух, и куры, и ресторан. Чего еще человеку надо!

Приезжаем мы вечером, после ужина, и решаем обследовать, какие съестные припасы имеются в ресторане у железной дороги. Только мы уселись и отодрали ножами тарелки от красной клеенки, как вдруг влетает вдова Джессап с горячими пирожками и жареной печенкой.

Это была такая женщина, что даже пескаря ввела бы в грех. Она была не столько маленькая, сколько крупная, и, казалось, дух гостеприимства пронизывал все ее существо. Румянец ее лица говорил о кулинарных склонностях и пылком темпераменте, а от ее улыбки чертополох мог бы зацвести в декабре месяце. Вдова Джессап наболтала нам всякую всячину: о климате, об истории, о Теннисоне, о черносливе, о нехватке баранины и в конце концов пожелала узнать, откуда мы явились.

— Спринг-Вэлли, — говорю я.

— Биг-Спринг-Вэлли, — прожевывает Пейсли вместе с картошкой и ветчиной.

Это был первый замеченный мною признак того, что старая дружба между мною и Пейсли

окончилась навсегда. Он знал, что я терпеть не могу болтунов, и все-таки влез в разговор со своими вставками и синтаксическими добавлениями. На карте значилось Биг-Спринг-Вэлли, но я сам слышал, как Пейсли тысячу раз говорил просто Спринг-Вэлли.

Больше мы не сказали ни слова и, поужинав, вышли и уселись на рельсах. Мы слишком долго были знакомы, чтобы не знать, какие мысли бродили в голове у соседа.

— Надеюсь, ты понимаешь, — говорит Пейсли, — что я решил присовокупить эту вдову, как органическую часть, к моему наследству в его домашней, социальной, юридической и других формах отныне и навеки, пока смерть не разлучит нас.

— Все ясно, понятно, — отвечаю я. — Я прочел это между строк, хотя ты обмолвился только одной. Надеюсь, тебе также известно, — говорю я, — что я предпринял шаг к перемене фамилии вдовы на фамилию Хикс и советую тебе написать в газету, в отдел светской хроники, и запросить точную информацию, полагается ли шаферу камелия в петлицу и носки без шва.

— В твоей программе пройдут не все номера, — говорит Пейсли, пожевывая кусок железнодорож-

ной шпалы. — Будь это дело мирское, я уступил бы тебе в чем хочешь, но здесь — шалишь! Улыбки женщин, — продолжает Пейсли, — это водоворот Сциллы и Харибды, в пучину которого часто попадает, разбиваясь в щепки, крепкий корабль «Дружба». Как и прежде, я готов отбить тебя у медведя, — говорит Пейсли, — поручиться по твоему векселю или растирать тебе лопатки оподельдоком. Но на этом мое чувство этикета иссякает. В азартной игре на миссис Джессап мы играем порознь. Я честно предупредил тебя.

Тогда я совещаюсь сам с собой и предлагаю следующую резолюцию и поправки.

— Дружба между мужчинами, — говорю я, — есть древняя историческая добродетель, рожденная в те дни, когда люди должны были защищать друг друга от летающих черепах и ящериц с восьмидесятифутовыми хвостами. Люди сохраняют эту привычку по сей день и стоят друг за друга до тех пор, пока не приходит коридорный и не говорит, что все эти звери им только померещились. Я часто слышал, — говорю я, — что с появлением женщины исчезает дружба между мужчинами. Разве это необходимо? Видишь ли, Пейсли, первый взгляд и горячий пирожок миссис Джессап, очевидно, вызвали в наших сердцах

вибрацию. Пусть она достанется лучшему из нас. С тобой я буду играть в открытую, без всяких закулисных проделок. Я буду за ней ухаживать в твоем присутствии, так что у тебя будут равные возможности. При таком условии я не вижу оснований, почему наш пароход «Дружба» должен перевернуться в указанном тобой водовороте, кто бы из нас ни вышел победителем.

— Вот это друг! — говорит Пейсли, пожимая мне руку. — Я сделаю то же самое, — говорит он. — Мы будем за ней ухаживать, как близнецы, без всяких церемоний и кровопролитий, обычных в таких случаях. И победа или поражение — все равно мы будем друзьями.

У ресторана миссис Джессап стояла под деревьями скамейка, где вдова имела обыкновение посиживать в холодке, накормив и отправив поезд, идущий на юг. Там мы с Пейсли обычно и собирались после ужина и производили частичные выплаты дани уважения даме нашего сердца. И мы были так честны и щепетильны, что если кто-нибудь приходил первым, он поджидал другого, не предпринимая никаких действий.

В первый вечер, когда миссис Джессап узнала о нашем условии, я пришел к скамейке раньше Пейсли. Ужин только что окончился, и миссис

Джессап сидела там в свежем розовом платье, остывшая после кухни уже настолько, что ее можно было держать в руках.

Я сел с ней рядом и сделал несколько замечаний относительно одухотворенной внешности природы, расположенной в виде ландшафта и примыкающей к нему перспективы. Вечер, как говорят, настраивал. Луна занималась своим делом в отведенном ей участке небосвода, деревья расстилали по земле свои тени, согласуясь с наукой и природой, а в кустах шла громкая перекличка между козодоями, иволгами, кроликами и другими пернатыми насекомыми. А горный ветер распевал, как губная гармошка, в куче жестянок из-под томата, сложенной у железнодорожного полотна.

Я почувствовал в левом боку какое-то странное ощущение, будто тесто подымалось в квашне. Это миссис Джессап придвинулась ко мне поближе.

— Ах, мистер Хикс, — говорит она, — когда человек одинок, разве он не чувствует себя еще более одиноким в такой замечательный вечер?

Я моментально поднялся со скамейки.

— Извините меня, сударыня, — говорю я, — но пока не придет Пейсли, я не могу вам дать вразумительный ответ на подобный наводящий

вопрос.

И тут я объяснил ей, что мы — друзья, спаянные годами лишений, скитаний и соучастия, и что, попав в цветник жизни, мы условились не пользоваться друг перед другом никаким преимуществом, какое может возникнуть от пылких чувств и приятного соседства. На минуту миссис Джессап серьезно задумалась, а потом разразилась таким смехом, что даже лес засмеялся ей в ответ.

Через несколько минут подходит Пейсли, волосы его облиты бергамотовым маслом, и он садится по другую сторону миссис Джессап и начинает печальную историю о том, как в девяносто пятом году в долине Санта-Рита, во время девятимесячной засухи, он и Ламли Мякинное Рыло заключили пари на седло с серебряной отделкой, кто больше обдерет издохших коров.



Итак, с самого начала ухаживания я стреножил Пейсли Фиша и привязал к столбу. У каждого из нас была своя система, как коснуться слабых мест женского сердца. Пейсли, тот стремился парализовать их рассказами о необыкновенных событиях, пережитых им лично или известных ему из газет.

Мне кажется, что он заимствовал этот метод покорения сердец из одной шекспировской пьесы под названием «Отелло», которую я как-то видел. Там один чернокожий пичкает герцогскую дочку разговорным винегретом из Райдера Хаггарда, Лью Докстейдера и доктора Паркхерста и таким образом получает то, что надо. Но подобный способ ухаживания хорош только на сцене.

А вот вам мой собственный рецепт, как довести женщину до такого состояния, когда про нее можно сказать: «урожденная такая-то». Научитесь брать и держать ее руку — и она ваша. Это не так легко. Некоторые мужчины хватают женскую руку таким образом, словно собираются отодрать ее от плеча, так что чуешь запах арники и слышишь, как разрывают рубашки на бинты. Некоторые берут руку, как раскаленную подкову, и держат ее далеко перед собой, как аптекарь, когда наливает в пузырек серную кислоту. А

большинство хватает руку и сует ее прямо под нос даме, как мальчишка бейсбольный мяч, найденный в траве, все время напоминая ей, что рука у нее торчит из плеча. Все эти приемы никуда не годятся.

Я укажу вам верный способ.

Видали вы когда-нибудь, как человек крадется на задний двор и поднимает камень, чтобы запустить им в кота, который сидит на заборе и смотрит на него? Человек делает вид, что в руках у него ничего нет, и что он не видит кота, и что кот не видит его. В этом вся суть. Следите, чтобы эта самая рука не попадалась женщине на глаза. Не давайте ей понять, что вы думаете, что она знает, будто вы имеете хоть малейшее представление о том, что ей известно, что вы держите ее за руку. Таково было правило моей тактики. А что касается пейслевских серенад насчет военных действий и несчастных случаев, так он с таким же успехом мог читать ей расписание поездов, останавливающихся в Оушен-Гроув, штат Нью-Джерси.

Однажды вечером, когда я появился у скамейки раньше Пейсли на целую перекурку, дружба моя на минуту ослабла, и я спрашиваю миссис Джессап, не думает ли она, что букву Х легче

писать, чем букву Д. Через секунду ее голова раздробила цветок олеандра у меня в петлице, и я наклонился и… и ничего.

— Если вы не против, — говорю я, вставая, — то мы подождем Пейсли и закончим при нем. Я не сделал еще ничего бесчестного по отношению к нашей дружбе, а это было бы не совсем добросовестно.

— Мистер Хикс, — говорит миссис Джессап, както странно поглядывая на меня в темноте. — Если бы не одно обстоятельство, я попросила бы вас отчалить и не делать больше визитов в мой дом.

— А что это за обстоятельство, сударыня?

— Вы слишком хороший друг, чтобы стать плохим мужем, — говорит она.

Через пять минут Пейсли уже сидел с положенной ему стороны от миссис Джессап.

— В Силвер-Сити летом девяносто восьмого года, — начинает он, — мне привелось видеть в кабаке «Голубой свет», как Джим Бартоломью откусил китайцу ухо по той причине, что клетчатая сатиновая рубаха, которая… Что это за шум?

Я возобновил свои занятия с миссис Джессап как раз с того, на чем мы остановились.

— Миссис Джессап, — говорю я, — обещала стать миссис Хикс. Вот еще одно тому подтвер-

ждение.

Пейсли обвил свои ноги вокруг ножки скамейки и вроде как застонал.

— Лем, — говорит он, — семь лет мы были друзьями. Не можешь ли ты целовать миссис Джессап потише? Я бы сделал это для тебя.

— Ладно, — говорю я, — можно и потише.

— Этот китаец, — продолжает Пейсли, — был тем самым, что убил человека по фамилии Маллинз весной девяносто седьмого года, и это был…

Пейсли снова прервал себя.

— Лем, — говорит он, — если бы ты был настоящим другом, ты бы не обнимал миссис Джессап так крепко. Ведь прямо скамья дрожит. Помнишь, ты говорил, что предоставишь мне равные шансы, пока у меня останется хоть один.

— Послушайте, мистер, — говорит миссис Джессап, повертываясь к Пейсли, — если бы вы через двадцать пять лет попали на нашу с мистером Хиксом серебряную свадьбу, как вы думаете, сварили бы вы в своем котелке, который вы называете головой, что вы в этом деле с боку припека? Я вас долго терпела, потому что вы друг мистера Хикса, но, по-моему, пора бы вам надеть траур и убраться подальше.

— Миссис Джессап, — говорю я, не ослабляя

своей жениховской хватки, — мистер Пейсли — мой друг, и я предложил ему играть в открытую и на равных основаниях, пока останется хоть один шанс.

— Шанс! — говорит она. — Неужели он думает, что у него есть шанс? Надеюсь, после того, что он видел сегодня, он поймет, что у него есть шиш, а не шанс.

Короче говоря, через месяц мы с миссис Джессап сочетались законным браком в методистской церкви в Лос-Пиньос, и весь город сбежался поглядеть на это зрелище.

Когда мы стали плечом к плечу перед проповедником и он начал было гнусавить свои ритуалы и пожелания, я оглядываюсь и не нахожу Пейсли.

— Стой! — говорю я проповеднику. — Пейсли нет. Надо подождать Пейсли. Раз дружба, так дружба навсегда, таков Телемак Хикс, — говорю я.

Миссис Джессап так и стрельнула глазами, но проповедник, согласно инструкции, прекратил свои заклинания.

Через несколько минут галопом влетает Пейсли, на ходу пристегивая манжету. Он объясняет, что единственная в городе галантерейная лавочка была закрыта по случаю свадьбы, и он не мог

достать крахмальную сорочку себе по вкусу, пока не выставил заднее окно лавочки и не обслужил себя сам. Затем он становится по другую сторону невесты, и венчание продолжается. Мне кажется, что Пейсли рассчитывал, как на последний шанс, на проповедника — возьмет да и обвенчает его по ошибке с вдовой.

Окончив все процедуры, мы принялись за чай, вяленую антилопу и абрикосовые консервы, а затем народишко убрался с миром. Пейсли пожал мне руку последним и сказал, что я действовал честно и благородно и он гордится, что может называть меня своим другом.

У проповедника был небольшой домишко фасадом на улицу, оборудованный для сдачи внаем, и он разрешил нам занять его до утреннего поезда в десять сорок, с которым мы отбывали в наше свадебное путешествие в Эль-Пасо. Жена проповедника украсила комнаты мальвами и плющом, и дом стал похож на беседку и выглядел празднично.

Часов около десяти в тот вечер я сажусь на крыльцо и стаскиваю на сквознячке сапоги; миссис Хикс прибирает в комнате. Скоро свет в доме погас, а я все сижу и вспоминаю былые времена и события. И вдруг я слышу, миссис Хикс кричит:

— Лем, ты скоро?

— Иду, иду, — говорю я, очнувшись. — Ей-же-ей, я дожидался старикашку Пейсли, чтобы…

— Но не успел я договорить, — заключил Телемак Хикс, — как мне показалось, что кто-то отстрелил мое левое ухо из сорокапятикалиберного. Выяснилось, что по уху меня съездила половая щетка, а за нее держалась миссис Хикс.

Справочник Гименея

Перевод М. Урнова

Я, Сандерсон Пратт, пишущий эти строки, полагаю, что системе образования в Соединенных Штатах следовало бы находиться в ведении бюро погоды. В пользу этого я могу привести веские доводы. Ну, скажите, почему бы наших профессоров не передать метеорологическому департаменту? Их учили читать, и они легко могли бы пробегать утренние газеты и потом телеграфировать в главную контору, какой ожидать погоды. Но этот вопрос интересен и с другой стороны. Сейчас я собираюсь вам рассказать, как погода снабдила меня и Айдахо Грина светским образованием.

Мы находились в горах Биттер-Рут, за хребтом Монтана, искали золото. В местечке Уолла-Уолла один бородатый малый, надеясь неизвестно на что, выдал нам аванс. И вот мы торчали в горах, ковыряя их понемножку и располагая запасом еды, которого хватило бы на прокорм целой армии на все время обычной мирной конференции.

В один прекрасный день приезжает из Карлоса

почтальон, делает у нас привал, съедает три банки сливовых консервов и оставляет нам свежую газету. Эта газета печатала сводки предчувствий погоды, и карта, которую она сдала горам Биттер-Рут с самого низа колоды, означала: «Тепло и ясно, ветер западный, слабый».

В тот же день вечером пошел снег и подул сильный восточный ветер. Мы с Айдахо перенесли свою стоянку повыше, в старую заброшенную хижину, думая, что это всего-навсего налетела ноябрьская метелица. Но когда на ровных местах снегу выпало на три фута, непогода разыгралась всерьез, и мы поняли, что нас занесло. Груду топлива мы натаскали еще до того, как его засыпало, кормежки у нас должно было хватить на два месяца, так что мы предоставили стихиям бушевать и злиться, как им заблагорассудится.

Если вы хотите поощрять ремесло человекоубийства, заприте на месяц двух человек в хижине восемнадцать на двадцать футов. Человеческая натура этого не выдержит.

Когда упали первые снежные хлопья, мы хохотали над своими остротами да похваливали месиво, которое извлекали из котелка и называли хлебом. К концу третьей недели Айдахо опубликовывает такого рода эдикт:

— Я не знаю, какой звук издавало бы кислое молоко, падая с воздушного шара на дно жестяной кастрюльки, но мне кажется, это было бы небесной музыкой по сравнению с бульканьем жиденькой струйки дохлых мыслишек, истекающих из ваших разговорных органов. Полупрожеванные звуки, которые вы ежедневно издаете, напоминают мне коровью жвачку, с той только разницей, что корова — особа воспитанная и оставляет свое при себе, а вы нет.

— Мистер Грин, — говорю я, — вы когда-то были моим приятелем, и это мешает мне сказать вам со всей откровенностью, что если бы мне пришлось выбирать между вашим обществом и обществом обыкновенной кудлатой, колченогой дворняжки, то один из обитателей этой хибарки вилял бы сейчас хвостом.

В таком духе мы беседуем несколько дней, а потом и вовсе перестаем разговаривать. Мы делим кухонные принадлежности, и Айдахо стряпает на одном конце очага, а я — на другом. Снега навалило по самые окна, и огонь приходилось поддерживать целый день.

Мы с Айдахо, надо вам доложить, не имели никакого образования, разве что умели читать да вычислять на грифельной доске: «Если у Джо-

на три яблока, а у Джеймса пять...» Мы никогда не ощущали особой необходимости в университетском дипломе, так как, болтаясь по свету, приобрели кое-какие истинные познания и могли ими пользоваться в критических обстоятельствах. Но загнанные снегом в хижину на Биттер-Рут, мы впервые почувствовали, что если бы изучали Гомера или греческий язык, дроби и высшие отрасли знания, у нас были бы кое-какие запасы для размышлений и дум в одиночестве. Я видел, как молодчики из восточных колледжей работают в ковбойских лагерях по всему Западу, и у меня создалось впечатление, что образование было для них меньшей помехой, чем могло показаться с первого взгляда. Вот, к примеру, на Снейк-Ривер у Эндрю Мак-Уильямса верховая лошадь подцепила чесотку, так он за десять миль погнал тележку за одним из этих чудаков, который величал себя ботаником. Но лошадь все-таки околела.

Однажды утром Айдахо шарил поленом на небольшой полке, — до нее нельзя было дотянуться рукой. На пол упали две книги. Я шагнул к ним, но встретился взглядом с Айдахо. Он заговорил в первый раз за неделю.

— Не обожгите ваших пальчиков, — говорит

он. — Вы годитесь в товарищи только спящей черепахе, но, невзирая на это я поступлю с вами по-честному. И это больше того, что сделали ваши родители, пустив вас по свету с общительностью гремучей змеи и отзывчивостью мороженой репы. Мы сыграем с вами до туза, и выигравший выберет себе книгу, а проигравший возьмет оставшуюся.

Мы сыграли, и Айдахо выиграл. Он взял свою книгу, а я свою. Потом мы разошлись по разным углам хижины и занялись чтением.

Никогда я так не радовался самородку в десять унций, как обрадовался этой книге. И Айдахо смотрел на свою, как ребенок на леденец.

Моя книжонка была небольшая, размером пять на шесть дюймов, с заглавием: «Херкимеров справочник необходимых познаний». Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, — это величайшая из всех написанных книг. Она сохранилась у меня до сих пор, и, пользуясь ее сведениями, я кого хочешь могу обыграть пятьдесят раз в пять минут. Куда до нее Соломону или «Нью-Йорк трибюн»! Херкимер обоих заткнет за пояс. Этот малый, должно быть, потратил пятьдесят лет и пропутешествовал миллион миль, чтобы набраться такой премудрости. Тут тебе и ста-

тистика населения всех городов, и способ, как узнать возраст девушки, и сведения о количестве зубов у верблюда. Тут можно узнать, какой самый длинный в мире туннель, сколько звезд на небе, через сколько дней высыпает ветряная оспа, каких размеров должна быть женская шея, какие права «вето» у губернаторов, даты постройки римских акведуков, сколько фунтов риса можно купить, если не выпивать три кружки пива в день, среднюю ежегодную температуру города Огасты, штат Мэн, сколько нужно семян моркови, чтобы засеять один акр рядовой сеялкой, какие бывают противоядия, количество волос на голове блондинки, как сохранять яйца, высоту всех гор в мире, даты всех войн и сражений, и как приводить в чувство утопленников и очумевших от солнечного удара, и сколько гвоздей идет на фунт, и как делать динамит, поливать цветы и стлать постель, и что предпринять до прихода доктора — и еще пропасть всяких сведений. Может, Херкимер и не знает чего-нибудь, но по книжке я этого не заметил.

Я сидел и читал эту книгу четыре часа. В ней были спрессованы все чудеса просвещения. Я забыл про снег и про наш разлад с Айдахо. Он тихо сидел на табуретке, и какое-то нежное и

загадочное выражение просвечивало сквозь его рыже-бурую бороду.

— Айдахо, — говорю я, — тебе какая книга досталась?

Айдахо, очевидно, тоже забыл старые счеты, потому что ответил умеренным тоном, без всякой брани и злости.

— Мне-то? — говорит он. — По всей видимости, это Омар Ха-Эм[102].

— Омар Х. М., а дальше? — спросил я.

— Дальше ничего, Омар Ха-Эм, и точка, — говорит он.

— Врешь, — говорю я, немного задетый тем, что Айдахо хочет втереть мне очки. — Какой дурак станет подписывать книжку инициалами? Если это Омар Х. М. Спупендайк, или Омар Х. М. Мак-Суини, или Омар Х. М. Джонс, так и скажи по-человечески, а не жуй конец фразы, как теленок подол рубахи, вывешенной на просушку.

— Я сказал тебе все как есть, Санди, — говорит Айдахо спокойно. — Это стихотворная книга, автор — Омар Ха-Эм. Сначала я не мог понять, в чем тут соль, но покопался и вижу, что жила

---

[102] Примечания: 102

Речь идёт о стихотворениях старинного персидского поэта XI в. Омара Хайама.

есть. Я не променял бы эту книгу даже на пару красных одеял.

— Ну и читай ее себе на здоровье, — говорю я. — Лично я предпочитаю беспристрастное изложение фактов, чтобы было над чем поработать мозгам, и, кажется, такого сорта книжонка мне и досталась.

— Тебе, — говорит Айдахо, — досталась статистика — самая низкопробная из всех существующих наук. Она отравит твой мозг. Нет, мне приятней система намеков старикашки Ха-Эм. Он, похоже, что-то вроде агента по продаже вин. Его дежурный тост: «Все трын-трава». По-видимому, он страдает избытком желчи, но в таких дозах разбавляет ее спиртом, что самая беспардонная его брань звучит как приглашение раздавить бутылочку. Да, это поэзия, — говорит Айдахо, — и я презираю твою кредитную лавочку, где мудрость меряют на футы и дюймы. А если понадобится объяснить философическую первопричину тайн естества, то старикашка Ха-Эм забьет твоего парня по всем статьям — вплоть до объема груди и средней годовой нормы дождевых осадков.

Вот так и шло у нас с Айдахо. Днем и ночью мы только тем и развлекались, что изучали наши книги. И, несомненно, снежная буря снабдила

каждого из нас уймой всяких познаний. Если бы в то время, когда снег начал таять, вы вдруг подошли ко мне и спросили: «Сандерсон Пратт, сколько стоит покрыть квадратный фут крыши железом двадцать на двадцать восемь, ценою девять долларов пятьдесят центов за ящик», — я ответил бы вам с такой же быстротой, с какой свет пробегает по ручке лопаты со скоростью в сто девяносто две тысячи миль в секунду. Многие могут это сделать? Разбудите-ка в полночь любого из ваших знакомых и попросите его сразу ответить, сколько костей в человеческом скелете, не считая зубов, или какой процент голосов требуется в парламенте штата Небраска, чтобы отменить «вето». Ответит он вам? Попробуйте и убедитесь.

Какую пользу извлекал Айдахо из своей стихотворной книги, я точно не знаю. Стоило ему открыть рот, и он уже прославлял своего винного агента, но меня это мало в чем убеждало.

Этот Омар Х. М., судя по тому, что просачивалось из его книжонки через посредство Айдахо, представлялся мне чем-то вроде собаки, которая смотрит на жизнь, как на консервную банку, привязанную к ее хвосту. Набегается до полусмерти, усядется, высунет язык, посмотрит на банку и

скажет: «Ну, раз мы не можем от нее освободиться, пойдем в кабачок на углу и наполним ее за мой счет».

К тому же он, кажется, был персом. А я ни разу не слышал, чтобы Персия производила что-нибудь достойное упоминания, кроме турецких ковров и мальтийских кошек.

В ту весну мы с Айдахо наткнулись на богатую жилу. У нас было правило распродавать все в два счета и двигаться дальше. Мы сдали нашему подрядчику золота на восемь тысяч долларов каждый, а потом направились в этот маленький городок Розу, на реке Салмон, чтобы отдохнуть, поесть по-человечески и соскоблить наши бороды.

Роза не была приисковым поселком. Она расположилась в долине и отсутствием шума и распутства напоминала любой городок сельской местности. В Розе была трехмильная трамвайная линия, и мы с Айдахо целую неделю катались в одном вагончике, вылезая только на ночь у отеля «Вечерняя заря». Так как мы и много поездили, и были теперь здорово начитаны, мы вскоре стали вхожи в лучшее общество Розы, и нас приглашали на самые шикарные и бонтонные вечера. Вот на одном таком благотворительном

вечере-конкурсе на лучшую мелодекламацию и на большее количество съеденных перепелов, устроенном в здании муниципалитета в пользу пожарной команды, мы с Айдахо и встретились впервые с миссис Д. Ормонд Сэмпсон, королевой общества Розы.

Миссис Сэмпсон была вдовой и владетельницей единственного в городе двухэтажного дома. Он был выкрашен в желтую краску, и, откуда бы на него ни смотреть, он был виден так же ясно, как остатки желтка в постный день в бороде ирландца. Двадцать два человека, кроме меня и Айдахо, заявляли претензии на этот желтый домишко.

Когда ноты и перепелиные кости были выметены из залы, начались танцы. Двадцать три поклонника галопом подлетели к миссис Сэмпсон и пригласили ее танцевать. Я отступился от тустепа и попросил разрешения сопровождать ее домой. Вот здесь-то я и показал себя.

По дороге она говорит:

— Ах, какие сегодня прелестные и яркие звезды, мистер Пратт!

— При их возможностях, — говорю я, — они выглядят довольно симпатично. Вот эта, большая, находится от нас на расстоянии шестидесяти

шести миллиардов миль. Потребовалось тридцать шесть лет, чтобы ее свет достиг до нас. В восемнадцатифутовый телескоп можно увидеть сорок три миллиона звезд, включая и звезды тринадцатой величины, а если какая-нибудь из этих последних сейчас закатилась бы, вы продолжали бы видеть ее две тысячи семьсот лет.

— Ой! — говорит миссис Сэмпсон. — А я ничего об этом не знала. Как жарко… Я вся вспотела от этих танцев.

— Неудивительно, — говорю я, — если принять во внимание, что у вас два миллиона потовых желез и все они действуют одновременно. Если бы все ваши потопроводные трубки, длиной в четверть дюйма каждая, присоединить друг к другу концами, они вытянулись бы на семь миль.

— Царица небесная! — говорит миссис Сэмпсон. — Можно подумать, что вы описываете оросительную канаву, мистер Пратт. Откуда у вас все эти ученые познания?

— Из наблюдений, — говорю я ей. — Странствуя по свету, я не закрываю глаз.

— Мистер Пратт, — говорит она, — я всегда обожала культуру. Среди тупоголовых идиотов нашего города так мало образованных людей, что истинное наслаждение побеседовать с куль-

турным джентльменом. Пожалуйста, заходите ко мне в гости, когда только вздумается.

Вот каким образом я завоевал расположение хозяйки двухэтажного дома. Каждый вторник и каждую пятницу, по вечерам, я навещал ее и рассказывал ей о чудесах вселенной, открытых, классифицированных и воспроизведенных с натуры Херкимером. Айдахо и другие донжуаны города пользовались каждой минутой остальных дней недели, предоставленных в их распоряжение.

Мне было невдомек, что Айдахо пытается воздействовать на миссис Сэмпсон приемами ухаживания старикашки Х. М., пока я не узнал об этом как-то вечером, когда шел обычным своим путем, неся ей корзиночку дикой сливы. Я встретил миссис Сэмпсон в переулке, ведущем к ее дому. Она сверкала глазами, а ее шляпа угрожающе накрыла одну бровь.

— Мистер Пратт, — начинает она, — этот мистер Грин, кажется, ваш приятель?

— Вот уже девять лет, — говорю я.

— Порвите с ним, — говорит она, — он не джентльмен.

— Поймите, сударыня, — говорю я, — он обыкновенный житель гор, которому присуще хам-

ство и обычные недостатки расточителя и лгуна, но никогда, даже в самых критических обстоятельствах, у меня не хватало духа отрицать его джентльменство. Вполне возможно, что своим мануфактурным снаряжением, наглостью и всей своей экспозицией он противен глазу, но по своему нутру, сударыня, он так же не склонен к низкопробному преступлению, как и к тучности. После девяти лет, проведенных в обществе Айдахо, — говорю я, — мне было бы неприятно порицать его и слышать, как его порицают другие.

— Очень похвально, мистер Пратт, что вы вступаетесь за своего друга, — говорит миссис Сэмпсон, — но это не меняет того обстоятельства, что он сделал мне предложение, достаточно оскорбительное, чтобы возмутить скромность всякой женщины!

— Да не может быть! — говорю я. — Старикашка Айдахо выкинул такую штуку? Скорее, этого можно было ожидать от меня. За ним водится лишь один грех, и в нем повинна метель. Однажды, когда снег задержал нас в горах, мой друг стал жертвой фальшивых и непристойных стихов, и, возможно, они развратили его манеры.

— Вот именно, — говорит миссис Сэмпсон. — С тех пор как я его знаю, он не переставая декла-

мирует мне безбожные стихи какой-то особы, которую он называет Рубай Атт, и, если судить по ее стихам, это негодница, каких свет не видал.

— Значит, Айдахо наткнулся на новую книгу, — говорю я, — автор той, что у него была, пишет под nom de plume[103].

— Уж лучше бы он и держался за нее, — говорит миссис Сэмпсон, — какой бы она ни была. А сегодня он перешел все границы. Сегодня я получаю от него букет цветов, и к ним приколота записка. Вы, мистер Пратт, вы знаете, что такое порядочная женщина, и вы знаете, какое я занимаю положение в обществе Розы. Допускаете вы на минуту, чтобы я побежала в лес с мужчиной, прихватив кувшин вина и каравай хлеба, и стала бы петь и скакать с ним под деревьями? Я выпиваю немного красного за обедом, но не имею привычки таскать его кувшинами в кусты и тешить там дьявола на такой манер. И уж, конечно, он принес бы с собой эту книгу стихов, он так и написал. Нет, пусть уж он один ходит на свои скандальные пикники. Или пусть берет с собой свою Рубай Атт. Уж она-то не будет брыкаться, разве что ей не понравится, что он захватит больше хлеба, чем

---

[103] Примечания: 103
Псевдоним *(франц.)*.

вина. Ну, мистер Пратт, что вы теперь скажете про вашего приятеля-джентльмена?

— Видите ли, сударыня, — говорю я, — весьма вероятно, что приглашение Айдахо было своего рода поэзией и не имело в виду обидеть вас. Возможно, что оно принадлежало к разряду стихов, называемых фигуральными. Подобные стихи оскорбляют закон и порядок, но почта их пропускает на том основании, что в них пишут не то, что думают. Я был бы рад за Айдахо, если бы вы посмотрели на это сквозь пальцы, — говорю я. — И пусть наши мысли взлетят с низменных областей поэзии в высшие сферы расчета и факта. Наши мысли, — говорю я, — должны быть созвучны такому чудесному дню. Не правда ли, здесь тепло, но мы не должны забывать, что на экваторе линия вечного холода находится на высоте пятнадцати тысяч футов. А между сороковым и сорок девятым градусом широты она находится на высоте от четырех до девяти тысяч футов.

— Ах, мистер Пратт, — говорит миссис Сэмпсон, — какое утешение слышать от вас чудесные факты после того, как вся изнервничаешься из-за стихов этой негодной Рубай.

— Сядем на это бревно у дороги, — говорю я, — и забудем о бесчеловечности и развращенности

поэтов. В длинных столбцах удостоверенных фактов и общепринятых мер и весов — вот где надо искать красоту. Вот мы сидим на бревне, и в нем, миссис Сэмпсон, — говорю я, — заключена статистика более изумительная, чем любая поэма. Кольца на срезе показывают, что дерево прожило шестьдесят лет. На глубине двух тысяч футов, через три тысячи лет оно превратилось бы в уголь. Самая глубокая угольная шахта в мире находится в Киллингворте, близ Ньюкасла. Ящик в четыре фута длиной, три фута шириной и два фута восемь дюймов вышиной вмещает тонну угля. Если порезана артерия, стяните ее выше раны. В ноге человека тридцать костей. Лондонский Тауэр сгорел в тысяча восемьсот сорок первом году.

— Продолжайте, мистер Пратт, продолжайте, — говорит миссис Сэмпсон, — ваши идеи так оригинальны и успокоительны. По-моему, нет ничего прелестнее статистики.

Но только две недели спустя я до конца оценил Херкимера.

Однажды ночью я проснулся от криков: «Пожар!» Я вскочил, оделся и вышел из отеля полюбоваться зрелищем. Увидев, что горит дом миссис Сэмпсон, я испустил оглушительный вопль и

через две минуты был на месте.

Весь нижний этаж был объят пламенем, и тут же столпилось все мужское, женское и собачье население Розы и орало, и лаяло, и мешало пожарным. Айдахо держали шестеро пожарных, а он пытался вырваться из их рук. Они говорили ему, что весь низ пылает и кто туда войдет, обратно живым не выйдет.

— Где миссис Сэмпсон? — спрашиваю я.

— Ее никто не видел, — говорит один из пожарных. — Она спит наверху. Мы пытались туда пробраться, но не могли, а лестниц у нашей команды еще нет.

Я выбегаю на место, освещенное пламенем пожара, и вытаскиваю из внутреннего кармана справочник. Я засмеялся, почувствовав его в своих руках, — мне кажется, что я немного обалдел от возбуждения.

— Херки, друг, — говорю я ему, перелистывая страницы, — ты никогда не лгал мне и никогда не оставлял меня в беде. Выручай, дружище, выручай! — говорю я.

Я сунулся на страницу 117: «Что делать при несчастном случае», — пробежал пальцем вниз по листу и попал в точку. Молодчина Херкимер, он ничего не забыл!

На странице 117 было написано:

«Удушение от вдыхания дыма или газа. — Нет ничего лучше льняного семени. Вложите несколько семян в наружный угол глаза».

Я сунул справочник обратно в карман и схватил пробегавшего мимо мальчишку.

— Вот, — говорю я, давая ему деньги, — беги в аптеку и принеси на доллар льняного семени. Живо, и получишь доллар за работу. Теперь, — кричу я, — мы добудем миссис Сэмпсон! — И сбрасываю пиджак и шляпу.

Четверо пожарных и граждан хватают меня.

— Идти в дом — идти на верную смерть, — говорят они. — Пол уже начал проваливаться.

— Да как же, черт побери! — кричу я и все еще смеюсь, хотя мне не до смеха. — Как же я вложу льняное семя в глаз, не имея глаза?

Я двинул локтями пожарников по лицу, лягнул одного гражданина и свалил боковым ударом другого. А затем я ворвался в дом. Если я умру раньше вас, я напишу вам письмо и сообщу, на много ли хуже в чертовом пекле, чем было в стенах этого дома; но пока не делайте выводов. Я прожарился куда больше тех цыплят, что подают в ресторане по срочным заказам. От дыма и огня я дважды кидался на пол и чуть-чуть не

посрамил Херкимера, но пожарные помогли мне, пустив небольшую струйку воды, и я добрался до комнаты миссис Сэмпсон. Она от дыма лишилась чувств, так что я завернул ее в одеяло и взвалил на плечо. Ну ясно, пол не был так уж поврежден, как мне говорили, а то разве бы он выдержал? И думать нечего!

Я оттащил ее на пятьдесят ярдов от дома и уложил на траву. Тогда, конечно, все остальные двадцать два претендента на руку миссис Сэмпсон столпились вокруг с ковшиками воды, готовые спасать ее. Тут прибежал и мальчишка с льняным семенем.

Я раскутал голову миссис Сэмпсон. Она открыла глаза и говорит:

— Это вы, мистер Пратт?

— Тс-с, — говорю я. — Не говорите, пока не примете лекарство.

Я обвиваю ее шею рукой и тихонько поднимаю ей голову, а другой рукой разрываю пакет с льняным семенем; потом со всей возможной осторожностью я склоняюсь над ней и пускаю несколько семян в наружный уголок ее глаза.

В этот момент галопом прилетает деревенский доктор, фыркает во все стороны, хватает миссис Сэмпсон за пульс и интересуется, что, собственно,

значат мои идиотские выходки.

— Видите ли, клистирная трубка, — говорю я, — я не занимаюсь постоянной врачебной практикой, но тем не менее могу сослаться на авторитет.

Принесли мой пиджак, и я вытащил справочник.

— Посмотрите страницу сто семнадцать, — говорю я. — Удушение от вдыхания дыма или газа. Льняное семя в наружный угол глаза, не так ли? Я не сумею сказать, действует ли оно как поглотитель дыма, или побуждает к действию сложный гастро-гиппопотамический нерв, но Херкимер его рекомендует, а он был первым приглашен к пациентке. Если хотите устроить консилиум, я ничего не имею против.

Старый доктор берет книгу и рассматривает ее с помощью очков и пожарного фонаря.

— Послушайте, мистер Пратт, — говорит он, — вы, очевидно, попали не на ту строчку, когда ставили свой диагноз. Рецепт от удушья гласит: «Вынесите больного как можно скорее на свежий воздух и положите его на спину, приподняв голову», льняное семя — это средство против «пыли и золы, попавших в глаз», строчкой выше. Но в конце концов…

— Послушайте, — перебивает миссис Сэмпсон, — мне кажется, я могу высказать свое мнение на этом консилиуме. Так знайте, это льняное семя принесло мне больше пользы, чем все лекарства в моей жизни.

А потом она поднимает голову, снова опускает ее мне на плечо и говорит: «Положите мне немножко и в другой глаз, Санди, дорогой».

Так вот, если вам придется завтра или когда-нибудь в другой раз остановиться в Розе, то вы увидите замечательный новенький ярко-желтый дом, который украшает собою миссис Пратт, бывшая миссис Сэмпсон. И если вам придется ступить за его порог, вы увидите на мраморном столе посреди гостиной «Херкимеров справочник необходимых познаний», заново переплетенный в красный сафьян и готовый дать совет по любому вопросу, касающемуся человеческого счастья и мудрости.

Пимиентские блинчики

Перевод М. Урнова

Когда мы сгоняли гурт скота с тавром «Треугольник-О» в долине Фрио, торчащий сук сухого мескита зацепился за мое деревянное стремя, я вывихнул себе ногу и неделю провалялся в лагере.

На третий день моего вынужденного безделья я выполз к фургону с провизией и беспомощно растянулся под разговорным обстрелом Джедсона Одома, лагерного повара. Джед был рожден для монологов, но судьба, как всегда, ошиблась, навязав ему профессию, в которой он большую часть времени был лишен аудитории.

Таким образом, я был манной небесной в пустыне вынужденного молчания Джеда.

Своевременно во мне заговорило естественное для больного желание поесть чего-нибудь такого, что не входило в опись нашего пайка. Меня посетили видения матушкиного буфета, «что сладостны, как первая любовь, источник горьких сожалений», и я спросил:

— Джед, ты умеешь печь блинчики?

Джед отложил свой шестизарядный револьвер, которым собирался постукать антилопью отбивную, и встал надо мною, как мне показалось, в угрожающей позе. Впечатление его враждебности еще более усилилось, когда он устремил на меня холодный и подозрительный взгляд своих блестящих голубых глаз.

— Слушай, ты, — сказал он с явным, хотя и сдержанным гневом. — Ты издеваешься или серьезно? Кто-нибудь из ребят рассказывал тебе про этот подвох с блинчиками?

— Что ты, Джед, я серьезно, я бы, кажется, променял свою лошадь и седло на горку масленых, поджаристых блинчиков с горшочком свежей новоорлеанской патоки. А разве была какая-нибудь история с блинчиками?

Джед сразу смягчился, увидев, что я говорю без намеков. Он притащил из фургона какие-то таинственные мешочки и жестяные баночки и сложил их в тени куста, под которым я примостился. Я следил, как он начал не спеша расставлять их и развязывать многочисленные веревочки.

— Нет, не история, — сказал Джед, продолжая свое дело, — просто логическое несоответствие между мной, красноглазым овчаром из лощины Шелудивого Осла и мисс Уиллелой Лирайт. Что

ж, я, пожалуй, расскажу тебе.

Я пас тогда скот у старика Билла Туми на Сан-Мигуэле. Однажды мне страсть как захотелось пожевать какой-нибудь такой консервированной кормежки, которая никогда не мычала, не блеяла, не хрюкала и не отмеривалась гарнцами. Ну, я вскакиваю на свою малышку и лечу в лавку дядюшки Эмсли Телфера у Пимиентской переправы через Нуэсес.

Около трех пополудни я накинул поводья на сук мескита и пешком прошел последние двадцать шагов до лавки дядюшки Эмсли. Я вскочил на прилавок и объявил ему, что, по всем приметам, мировому урожаю фруктов грозит гибель. Через минуту я имел мешок сухарей, ложку с длинной ручкой и по открытой банке абрикосов, ананасов, вишен и сливы, а рядом трудился дядюшка Эмсли, вырубая топориком желтые крышки. Я чувствовал себя как Адам до скандала с яблоком, вонзал шпоры в прилавок и орудовал своей двадцатичетырехдюймовой ложкой, как вдруг посмотрел случайно в окно на двор дома дядюшки Эмсли, находившегося рядом с лавкой.

Там стояла девушка, неизвестная девушка в полном снаряжении; она вертела в руках крокетный молоток и изучала мой способ поощрения

фруктово-консервной промышленности.

Я скатился с прилавка и сунул лопату дядюшке Эмсли.

— Это моя племянница, — сказал он. — Мисс Уиллела Лирайт, приехала погостить из Палестины[104]. Хочешь, я тебя познакомлю?

«Из Святой земли», — сказал я себе, и мои мысли сбились в кучу, как овцы, когда их загоняешь в корраль. А почему нет? Ведь были же ангелы в Палес… — Конечно, дядюшка Эмсли, — сказал я вслух, — мне было бы страшно приятно познакомиться с мисс Лирайт.

Тогда дядюшка Эмсли вывел меня во двор и представил нас друг другу.

Я никогда не был робок с женщинами. Я никогда не мог понять, почему это некоторые мужчины, способные в два счета укротить мустанга и побриться в темноте, становятся вдруг паралитиками и черт знает как потеют и заикаются, завидев кусок миткаля, обернутый вокруг того, вокруг чего ему полагается быть обернутым. Через восемь минут мы с мисс Уиллелой дружно гоняли крокетные шары, будто двоюродные брат и сестра. Она съязвила насчет количества уни-

---

[104] Примечания: 104
Палестина (Палестайн) — городок в Техасе.

чтоженных мною фруктовых консервов, а я, не очень смущаясь, дал сдачи, напомнив, как некая особа, по имени Ева, устроила сцену из-за фруктов на первом свободном пастбище… «кажется, в Палестине, не правда ли?» — говорю я этак легко и спокойно, словно заарканиваю однолетку.

Таким вот манером я сразу расположил к себе мисс Уиллелу Лирайт, и чем дальше, тем наша дружба становилась крепче. Она проживала на Пимиентской переправе ради поправления здоровья, очень хорошего, и ради климата, который был здесь жарче на сорок процентов, чем в Палестине.

Сначала я наезжал повидать ее раз в неделю, а потом рассчитал, что если я удвою число поездок, то буду видеться с ней вдвое чаще.

Как-то на одной неделе я выкроил время для третьей поездки. Вот тут-то и втесались в игру блинчики и красноглазый овчар.

Сидя в тот вечер на прилавке, с персиком и двумя сливами во рту, я спросил дядюшку Эмсли, что поделывает мисс Уиллела.

— А она, — говорит дядюшка Эмсли, — поехала покататься с Джексоном Птицей, овцеводом из лощины Шелудивого Осла.

Я проглотил персиковую косточку и две сли-

вовых. Наверное, кто-нибудь держал прилавок под уздцы, когда я слезал. А потом я вышел и направился по прямой, пока не уперся в мескит, где был привязан мой чалый.

— Она поехала кататься, — прошептал я в ухо своей малышке, — с Птицсоном Джеком, Шелудивым Ослом из Овцеводной лощины, понимаешь ты это, друг с копытами?

Мой чалый заплакал на свой манер. Это был ковбойский конь, и он не любил овцеводов.

Я вернулся и спросил дядюшку Эмсли: «Так ты сказал — с овцеводом?»

— Я сказал — с овцеводом, — повторил дядюшка Эмсли. — Ты, верно, слышал о Джексоне Птице. У него восемь участков пастбища и четыре тысячи голов лучших мериносов к югу от Северного полюса.

Я вышел, сел на землю в тени лавки и прислонился к кактусу. Безрассудными руками я сыпал за голенища песок и произносил монологи по поводу птицы из породы Джексонов.

За свою жизнь я не изувечил ни одного овцевода и не считал это необходимым. Как-то я повстречал одного, он ехал верхом и читал латинскую грамматику, — так я его пальцем не тронул. Овцеводы никогда особенно не раздражали ме-

ня, не то что других ковбоев. Очень мне нужно уродовать и калечить плюгавцев, которые едят за столом, носят штиблеты и говорят с тобою на всякие темы. Пройдешь, бывало, мимо и поглядишь, как на кролика, еще скажешь что-нибудь приятное и потолкуешь насчет погоды, но, конечно, никаких распивочных и навынос не было. Вообще я не считал нужным с ними связываться. Так вот потому, что по доброте своей я давал им дышать, один такой разъезжает теперь с мисс Уиллелой Лирайт.

За час до заката они прискакали обратно и остановились у ворот дядюшки Эмсли. Овечья особа помогла Уиллеле слезть, и некоторое время они постояли, перебрасываясь игривыми и хитроумными фразами. А потом окрыленный Джексон взлетает в седло, приподнимает шляпу-кастрюльку и трусит в направлении своего бараньего ранчо. К тому времени я вытряхнул песок из сапог и отцепился от кактуса. Птица не отъехал и полмили от Пимиенты, когда я поравнялся с ним на моем чалом.

Я назвал этого овчара красноглазым, но это неверно. Его зрительное приспособление было довольно серым, но ресницы были красные, а волосы рыжие, оттого он и казался красногла-

зым. Овцевод?.. Куда к черту, в лучшем случае ягнятник, козявка какая-то, с желтым шелковым платком вокруг шеи и в башмаках с бантиками.

— Привет! — сказал я ему. — Вы сейчас едете с всадником, которого называют Джедсон Верная Смерть за приемы его стрельбы. Когда я хочу представиться незнакомому человеку, я всегда представляюсь ему до выстрела, потому что терпеть не могу пожимать руку покойнику.

— Вот как! — говорит он совершенно спокойно. — Рад познакомиться с вами, мистер Джедсон. Я Джексон Птица с ранчо Шелудивого Осла.

Как раз в эту минуту один мой глаз увидел куропатку, скачущую по холму с молодым тарантулом в клюве, а другой глаз заметил ястреба, сидевшего на сухом суку вяза. Я хлопнул их для пущей важности одну за другим из своего сорокапятикалиберного.

— Две из трех, — говорю я. — Птицы, должен вам заявить, так и садятся на мои пули.

— Чистая стрельба, — говорит овцевод, не моргнув глазом. — Скажите, а вам не случалось промахнуться на третьем выстреле? Хороший дождик выпал на прошлой неделе, мистер Джедсон, теперь трава так и пойдет.

— Чижик, — говорю я, подъезжая вплотную

к его фасонной лошади, — ваши ослепленные родители наделили вас именем Джексон, но вы определенно выродились в чирикающую птицу. Давайте бросим эти самые анализы дождичка и стихий и поговорим о том, что не входит в словарь попугаев. Вы завели дурную привычку кататься с молодыми девицами из Пимиенты. Я знавал пташек, — говорю я, — которых поджаривали за меньшие проступки. Мисс Уиллела, — говорю я, — совсем не нуждается в гнезде, свитом из овечьей шерсти пичужкой из породы Джексонов. Так вот, намерены ли вы прекратить эти штучки, или желаете галопом наскочить на мою кличку «Верная Смерть», в которой два слова и указание по меньшей мере на одну похоронную процессию?

Джексон Птица слегка покраснел, а потом засмеялся.

— Ах, мистер Джедсон, — говорит он, — вы заблуждаетесь. Я заезжал несколько раз к мисс Лирайт, но не с той целью, как вы думаете. Мой объект чисто гастрономического свойства.

Я потянулся за револьвером.

— Всякий койот, — говорю я, — который осмелится непочтительно…

— Подождите минутку, — говорит эта пташ-

ка, — дайте объяснить. К чему мне жена? Посмотрели бы вы на мое ранчо. Я сам себе стряпаю и штопаю. Еда — вот единственное удовольствие, извлекаемое мной из разведения овец. Мистер Джедсон, вы пробовали когда-нибудь блинчики, которые печет мисс Лирайт?

— Я? Нет, — говорю, — я и не знал, что она занимается кулинарными манипуляциями.

— Это же золотые созвездия, — говорит он, — подрумяненные на амброзийном огне Эпикура. Я бы отдал два года жизни за рецепт приготовления этих блинчиков. Вот зачем я ездил к мисс Лирайт, — говорит Джексон Птица, — но мне не удалось узнать его. Это старинный рецепт, он сохраняется в семье уже семьдесят пять лет. Он передается из поколения в поколение, и посторонним его не сообщают. Если бы я мог достать этот рецепт, я пек бы сам себе блинчики на ранчо и был бы счастливым человеком, — говорит Птица.

— Вы уверены, — говорю я ему, — что вы гоняетесь не за ручкой, которая месит блинчики?

— Уверен, — говорит Джексон. — Мисс Лирайт совершенно очаровательная девушка, но, повторяю, мои намерения не выходят за пределы гастро… — Тут он увидел, что моя рука скользну-

ла к кобуре, и изменил выражение. — За пределы желания достать этот рецепт, — заключил он.

— Не такой уж вы плохой человечишко, — говорю я, стараясь быть вежливым. — Я задумал было сделать ваших овец сиротами, но на этот раз позволю вам улететь. Но помните: приставайте к блинчикам, да покрепче, как средний блин к горке, и не вздумайте смешать подливку с сантиментами, не то у вас на ранчо будет пение, а вы его не услышите.

— Чтобы убедить вас в своей искренности, — говорит овцевод, — я прошу вас помочь мне. Мисс Лирайт и вы большие друзья, и, может быть, она сделает для вас то, чего не сделала для меня. Если вы достанете мне этот рецепт, то даю вам слово, я никогда к ней больше не поеду.

— Вот это по-честному, — сказал я и пожал руку Джексона Птицы. — Я рад услужить и сделаю все, что смогу.

Он повернул к большой заросли кактусов на Пьедре, в направлении Шелудивого Осла, а я взял курс на северо-запад, к ранчо старика Билла Туми.

Только пять дней спустя мне удалось снова заехать на Пимиенту. Мы с мисс Уиллелой очень мило провели вечерок у дядюшки Эмсли. Она

спела кое-что и порядочно потерзала пианино цитатами из опер. А я изображал гремучую змею и рассказал ей о новом способе обдирать коров, придуманном Снэки Мак-Фи, и о том, как я однажды ездил в Сент-Луис. Наше взаимное расположение крепло вовсю. И вот, я думаю, если теперь мне удастся убедить Джексона Птицу совершить перелет, дело в шляпе. Тут я вспоминаю его обещание насчет рецепта блинчиков и решаю выведать его у мисс Уиллелы и сообщить ему. И уж тогда, если я снова поймаю здесь птичку из Шелудивого Осла, я ей подрежу крылышки.

И вот часов около десяти я набрасываю на лицо льстивую улыбку и говорю мисс Уиллеле: «Знаете, если мне что-нибудь и нравится больше вида рыжего быка на зеленой траве, так это вкус хорошего горячего блинчика с паточной смазкой».

Мисс Уиллела слегка подпрыгнула на фортепианной табуретке и странно на меня посмотрела.

— Да, — говорит она, — это действительно вкусно. Как, вы сказали, называется эта улица в Сент-Луисе, мистер Одом, где вы потеряли шляпу?

— Блинчиковая улица, — говорю я, подмигнув, чтобы показать, что мне, мол, известно о фамильном рецепте и меня не проведешь. — Чего уж там,

мисс Уиллела, — говорю я, — рассказывайте, как вы их делаете. Блинчики так и вертятся у меня в голове, как фургонные колеса. Да ну же… фунт крупчатки, восемь дюжин яиц и так далее. Что там значится в каталоге ингредиентов?

— Извините меня, я на минуточку, — говорит мисс Уиллела, окидывает меня боковым взглядом и соскальзывает с табуретки. Она рысью выбежала в другую комнату, и вслед за тем оттуда выходит ко мне дядюшка Эмсли в своей жилетке и с кувшином воды. Он поворачивается к столу за стаканом, и я вижу в его заднем кармане многозарядку.

«Ну и ну! — думаю я. — Эта семейка, видно, здорово дорожит своими кулинарными рецептами, коли защищает их с оружием. Я знавал семьи, так они не стали бы к нему прибегать даже при кровной вражде».

— Выпей-ка вот это, — говорит дядюшка Эмсли, протягивая мне стакан воды. — Ты слишком много ездил сегодня верхом, Джед, и все по солнцу. Попытайся думать о чем-нибудь другом.

— Ты знаешь, как печь блинчики, дядя Эмсли? — спросил я.

— Ну, я не ахти как осведомлен в их анатомии, — говорит дядюшка Эмсли, — но мне ка-

жется, надо взять побольше сковородок, немного теста, соды и кукурузной муки и смешать все это, как водится, с яйцами и сывороткой. А что, Джед, старик Билл опять собирается по весне гнать скот в Канзас-Сити?

Только эту блинчиковую спецификацию мне и удалось получить в тот вечер. Неудивительно, что Джексон Птица осекся на этом деле. Одним словом, я бросил эту тему и немного поговорил с дядюшкой Эмсли о скоте и циклонах. А потом вошла мисс Уиллела и сказала: «Спокойной ночи», и я помчался к себе на ранчо.

Неделю спустя я встретил Джексона Птицу, когда он уезжал от дядюшки Эмсли, а я направлялся к нему. Мы остановились на дороге и перекинулись пустяковыми замечаниями.

— Что, еще не достали список деталей для ваших румянчиков? — спросил я его.

— Представьте, нет, — говорит Джексон, — и, по всей видимости, у меня ничего не выйдет. А вы пытались?

— Пытался, — говорю я, — да это все равно, что выманивать из норы луговую собачку ореховой скорлупой. Этот блинчиковый рецепт — талисман какой-то, судя по тому, как они за него держатся.

— Я почти готов отступиться, — говорит Джексон с таким отчаянием в голосе, что я почувствовал к нему жалость. — Но мне страшно хочется знать, как печь эти блинчики, чтобы лакомиться ими на моем одиноком ранчо. Я не сплю по ночам, все думаю, какие они замечательные.

— Продолжайте добиваться, — говорю я ему, — и я тоже буду. В конце концов кто-нибудь из нас да накинет аркан ему на рога. Ну, до свидания, Джекси.

Сам видишь, что в это время мы были в наимирнейших отношениях. Когда я убедился, что он не гоняется за мисс Уиллелой, я с большим терпением созерцал этого рыжего заморыша. Желая удовлетворить запросы его аппетита, я по-прежнему пытался выманить у мисс Уиллелы заветный рецепт. Но стоило мне сказать слово «блинчики», как в ее глазах появлялся оттенок туманности и беспокойства и она старалась переменить тему. Если же я на нее наседал, она выскальзывала из комнаты и высылала ко мне дядюшку Эмсли с кувшином воды и карманной гаубицей.

Однажды я прискакал к лавочке с большущим букетом голубой вербены, — я набрал его в стаде диких цветов, которое паслось на лугу Отравлен-

ной Собаки. Дядюшка Эмсли посмотрел на букет прищурясь и говорит:

— Не слыхал новость?

— Скот вздорожал?

— Уиллела и Джексон Птица повенчались вчера в Палестине, — говорит он. — Сегодня утром получил письмо.

Я уронил цветы в бочонок с сухарями и выждал, пока новость, отзвенев в моих ушах и скользнув к верхнему левому карману рубашки, не ударила мне, наконец, в ноги.

— Не можешь ли ты повторить еще раз, дядюшка Эмсли, — говорю я, — может быть, слух изменил мне и ты лишь сказал, что первоклассные телки идут по четыре восемьдесят за голову или что-нибудь в этом роде?

— Повенчались вчера, — говорит дядюшка Эмсли, — и отправились в свадебное путешествие в Вако и на Ниагарский водопад. Неужели ты все время ничего не замечал? Джексон Птица ухаживал за Уиллелой с того самого дня, как он пригласил ее покататься.

— С того самого дня! — завопил я. — Какого же черта он болтал мне про блинчики? Объясни ты мне…

Когда я сказал «блинчики», дядюшка Эмсли

подскочил и попятился.

— Кто-то меня разыграл с этими блинчиками, — говорю я, — и я дознаюсь. Тебе-то уж, наверное, все известно. Выкладывай, или я, не сходя с места, замешу из тебя оладьи.

Я перемахнул через прилавок к дядюшке Эмсли. Он схватился за кобуру, но его пулемет был в ящике, и он не дотянулся до него на два дюйма. Я ухватил его за ворот рубахи и толкнул в угол.

— Рассказывай про блинчики, — говорю я, — или сам превратишься в блинчик. Мисс Уиллела печет их?

— В жизни ни одного не испекла, а я так их вовсе не видел, — убедительно говорит дядюшка Эмсли. — Ну, успокойся, Джед, успокойся. Ты разволновался, и рана в голове затемняет твой рассудок. Старайся не думать о блинчиках.

— Дядюшка Эмсли, — говорю я, — я не ранен в голову, но я, видно, растерял свои природные мыслительные способности. Джексон Птица сказал мне, что он навещает мисс Уиллелу, чтобы выведать ее способ приготовления блинчиков, и просил меня помочь ему достать список ингредиентов. Я помог, и результат налицо. Что он сделал, этот красноглазый овчар, накормил меня беленой, что ли?

— Отпусти-ка мой воротник, — говорит дядюшка Эмсли, — и я расскажу тебе. Да, похоже на то, что Джексон Птица малость тебя одурачил. На следующий день после катания с Уиллелой он снова приехал и сказал нам, чтобы мы остерегались тебя, если ты вдруг заговоришь о блинчиках. Он сказал, что однажды у вас в лагере пекли блинчики и кто-то из ребят треснул тебя по башке сковородкой. И после этого, мол, стоит тебе разгорячиться или взволноваться, рана начинает тебя беспокоить и ты становишься вроде как сумасшедшим и бредишь блинчиками. Он сказал, что нужно только отвлечь твои мысли и успокоить тебя, и ты не опасен. Ну вот, мы с Уиллелой и старались как могли. Н-да, — говорит дядюшка Эмсли, — таких овцеводов, как этот Джексон Птица, не часто встретишь.

Рассказывая свою историю, Джед не спеша, но ловко смешивал соответствующие порции из своих мешочков и баночек. К концу рассказа он поставил передо мной готовый продукт — пару румяных и пышных блинчиков на оловянной тарелке. Из какого-то секретного хранилища он извлек в придачу кусок превосходного масла и бутылку золотистого сиропа.

— А давно это было? — спросил я его.

— Три года прошло, — сказал Джед. — Они живут теперь на ранчо Шелудивого Осла. Но я ни его, ни ее с тех пор не видал. Говорят, что Джексон Птица украшал свою ферму качалками и гардинами все время, пока морочил мне голову этими блинчиками. Ну, я погоревал да и бросил. Но ребята до сих пор надо мной смеются.

— А эти блинчики ты делал по знаменитому рецепту? — спросил я.

— Я же тебе говорю, что никакого рецепта не было, — сказал Джед. — Ребята все кричали о блинчиках, пока сами на них не помешались, и я вырезал этот рецепт из газеты. Как на вкус?

— Чудесно, — ответил я. — Отчего ты сам не попробуешь, Джед?

Мне послышался вздох.

— Я? — спросил Джед. — Я их в рот не беру.

Поставщик седел

Перевод Э. Бродерсон

Через Индийский океан пролегает к нам теперь новый путь — золотистый днем и серебристый по ночам. Смуглые короли и принцы выискали наш западный Бомбей, и почти все их пути ведут к Бродвею, где есть что посмотреть и чем восхищаться.

Если случай приведет вас к отелю, где временно находит себе приют один из этих высокопоставленных туристов, то я советую вам поискать среди республиканских прихвостней, осаждающих входные двери, Лукулла Полька. Вы, наверное, его там найдете. Вы его узнаете по его красному, живому лицу с веллингтонским носом, по его осторожным, но решительным манерам, по его деловому маклерскому виду и по его ярко-красному галстуку, галантно скрашивающему его потрепанный синий костюм, наподобие боевого знамени, все еще развевающегося над полем проигранного сражения. Он оказался мне очень полезным человеком; может быть, он пригодится и вам. Если вы будете его искать, то ищите его сре-

ди толпы бедуинов, осаждающих передовую цепь стражи и секретарей путешествующего государя — среди гениев арабских дней с дико горящими глазами, которые предъявляют непомерные и поразительные требования на денежные сундуки принца.

Первый раз я увидел мистера Полька, когда он спускался по ступенькам отеля, в котором имел пребывание его высочество Гайквар Бароды[105], самый просвещенный из всех индусских принцев, которые за последнее время пользовались гостеприимством нашей западной метрополии.

Лукулл быстро двигался, как бы приводимый в действие какой-то могущественной моральной силой, которая неминуемо грозила превратиться в физическую. За ним по пятам следовал сыщик отеля, которого можно было безошибочно узнать по его белой шляпе, ястребиному носу и нарочито утонченным манерам. Арьергард замыкали два ливрейных привратника, которые своим непринужденным видом отклоняли всякое подозрение, что они составляли резервный эскадрон вышибал.

Очутившись в безопасности на тротуаре, Лу-

---

[105] Примечания: 105

Барода — большой город Индии, к северу от Бомбея, в провинции Гуфкерат.

кулл Польк повернулся и погрозил веснушчатым кулаком в сторону караван-сарая. И, к моей радости, он начал выкрикивать непонятные для меня ругательства.

— Ездит в хаудах[106], не так ли? — громко и насмешливо закричал он. — Ездит на слонах в хаудах и называет себя принцем! Хороши принцы — ха-ха! Приезжают сюда и говорят про лошадей так, что вы можете принять их за президентов. А потом возвращаются домой и ездят верхом на слонах. Ладно, знаем мы их!

Вышибательный комитет спокойно ретировался. Поноситель принцев повернулся ко мне и щелкнул пальцами.

— Ну, как вам нравится такое обращение? — с возмущением крикнул он мне. — Гайквар Бароды ездит на слоне в хауде. А старый Бикрам-Шамшер-янг жарит по тропинкам Катманду[107] на мотоциклетке. Ну, не магараджество ли это? А шах персидский, у того, видите ли, привычка разъезжать в паланкинах. А тот, с такой забавной шапкой, принц из Кореи — вы подумали бы, что он может себе позволить прокатиться

---

[106] Примечания: 106

Хауда — сиденье, покрытое балдахином, укрепляемое на спине слона.

[107] Примечания: 107

Катманду — столица королевства Непал в Индии.

на белоснежном коне хоть раз во время своего царствования. Ничего подобного! Он находит самым приличным подоткнуть под себя юбки и ехать по Сеулу в телеге, запряженной быками, со скоростью одной мили в шесть дней. Вот какой сорт правителей приезжает к нам теперь в гости. Да, плохие времена теперь, дружище!

Я пробормотал несколько сочувственных слов. Свое сочувствие я мог выразить только общими фразами, потому что я не знал, чем его обидели правители, которые, подобно метеорам, время от времени появляются на нашем небосклоне.

— Последний раз мне удалось продать седло, — продолжал обиженный, — тому турецкому паше, который приехал сюда год тому назад. Он с легкостью заплатил мне за него пятьсот долларов. Я спросил его палача или секретаря — он походил не то на румына, не то на китайца — «его турецкое величество любит, значит, лошадей?»

— Он? — сказал секретарь. — И не думает. У него в гареме толстая, жирная жена, которую зовут Бад-Дора и которую он не любит. Я думаю, он намеревается ее оседлать и ездить на ней каждый день взад и вперед по дорожкам Бульбульского леса. Нет ли у вас парочки особенно длинных шпор, которые вы могли бы приложить

нам к покупке? — Так вот, сэр. В наше время среди королей очень мало отважных всадников.

Как только Лукулл Польк немного успокоился, я его подхватил и соблазнил его пойти со мною в прохладный уголок кафе. Для этого мне потребовалось не больше усилий, чем для того, чтобы убедить утопающего схватиться за соломинку.

И когда после долгого ожидания официанты поставили перед нами пиво, Лукулл Польк вдохновился и приступил к изложению причин, почему он осаждает приемные кабинеты иностранных владык.

— Слышали ли вы когда-нибудь о железнодорожной компании в Техасе? Ну, про нее нельзя сказать, что она благотворительное общество для оказания помощи актерам. Я одно время разъезжал по западным деревушкам с летней труппой актеров из того сорта, которые жуют слова, как табак Конечно, наше предприятие лопнуло, когда субретка убежала с имевшим шумный успех бивильским[108] цирюльником. Я не знаю, что сталось с остальной труппой. Я их видел в последний раз, когда я им заявил, что в кассе нашего предприятия было сорок три цента. Правда, я их

---

[108] Примечания: 108
Севильским.

никогда после этого не видел, но я слышал их еще целых двадцать минут из леса, куда я бежал от их преследований. После наступления темноты я вышел из засады и обратился к агенту железнодорожной компании с просьбой переправить меня бесплатно в ближайший город. Он, от лица всей железнодорожной компании, рассыпался передо мною в любезностях, но посоветовал мне, однако, не садиться в вагон без билета.

Около десяти часов следующего утра я по шпалам дошел до станции Атаскоза-Сити. Я купил себе завтрак на тридцать центов и десятицентовую ситару и стоял на главной улице, побрякивая в кармане оставшимися тремя пенни. Я вконец обанкротился. Положение человека в Техасе, у которого в кармане только три цента, нисколько не лучше положения человека, у которого три цента долга.

Один из любимейших трюков судьбы — лишить человека последнего доллара так быстро, чтобы тот не имел даже возможности хорошенько посмотреть на него. И вот я стоял в шикарном костюме из Сан-Луи, в синюю и зеленую клетку, с восемнадцатикаратовым фальшивым брильянтом в булавке, а в перспективе — ничего.

Внезапно в то время, как я стоял на краю дере-

вянного тротуара, с неба упала вниз на середину улицы пара чудных золотых часов. Одни часы попали в кучу грязи и завязли в ней. Другие упали на твердую землю, раскрылись, и из них посыпались пружины, колеса и винтики. Я взглянул наверх, ища аэроплана или тому подобное. Но я ничего не увидел, а потому сошел с тротуара, чтобы произвести расследование.

Но тут я услышал крики и увидел двух бегущих мужчин в кожаных куртках, в сапогах на высоких каблуках и в шляпах величиной с колесо телеги. Один из них был ростом в шесть или восемь футов, неуклюжий, и на лице его было выражение безысходной скуки. Он поднял часы, которые упали в грязь. Другой — маленького роста, с рыжими волосами и светлыми глазами — подошел к пустому футляру и заявил: «Я выиграл».

Тогда высокий человек засунул руку в кожаные голенища и подал своему другу горсть двадцатидолларовых золотых монет. Я не знаю, сколько там было денег, но мне показалось, что там было не меньше, чем в фонде для оказания помощи от землетрясения.

— Я наполню этот футляр механизмом, — сказал Коротыш, — и снова кину его на пари в пятьсот долларов.

— Идет, — сказал пессимист. — Мы встретимся с вами через час в кафе «Копченая Собака».

Маленький человечек поспешил, подпрыгивая, к ювелирному магазину. Меланхоличный же субъект оглянулся и внимательно, как в телескоп, посмотрел на меня.

— Здорово ловкая на вас экипировка, мистер, — сказал он. — Держу пари на лошадь, что вы не приобрели ее в Атаскоза-Сити.

— Конечно нет, — ответил я с полной готовностью познакомиться с этим денежным воплощением меланхолии. — Я заказал этот костюм в Сен-Луи у специалиста по части пиджаков, жилеток и невыразимых. Не будете ли вы добры просветить меня, — продолжал я, — относительно этого состязания в бросании часов? Я привык видеть, что с часами обращаются с большой вежливостью и уважением — конечно, за исключением дамских часов, которые служат для того, чтобы ими раскалывали грецкие орехи и показывали их на фотографиях.

— Я и Джордж, — объяснил он, — живем на ранчо, и с нами произошла забавная вещь. До последнего месяца мы владели четырьмя участками пастбища на Сен-Мигуэле. Но вот однажды к нам явился какой-то нефтепромышленник и

стал бурить почву! Он попал на фонтан, который выбивает двадцать тысяч — а может быть, и двадцать миллионов — бочек нефти в сутки. И я и Джордж получили за землю сто пятьдесят тысяч долларов — по семьдесят пять тысяч на брата. И вот мы время от времени седлаем лошадей и приезжаем на несколько дней в Атаскоза-Сити, чтобы немного встряхнуть себя. Вот малая толика монет, которые я вынул сегодня утром из банка, — сказал он и показал пачку двадцаток и пятидесяток такой величины, как подушка в спальном вагоне. Желтые кредитки блестели, как солнечный закат на крыше рокфеллеровской риги. Я почувствовал слабость в ногах и уселся на краю дощатого тротуара.

— Вы, должно быть, здорово пошатались по белу свету, — продолжал нефтяной крез. — Я не удивляюсь, если вы видели города, оживленнее Атаскозы-Сити. Иногда мне кажется, что должны быть еще другие способы развлекаться, в особенности если у вас есть достаточно денег и вы не жалеете их тратить.

Затем этот «наивный цыпленок» садится около меня, и мы вступаем в беседу. Оказывается, он был всегда бедняком. Он жил всю жизнь в лагерях при ранчо, и он признался мне, что самой

большой роскошью для него казалось прискакать в лагерь усталым после загона скота, съесть гарнец мексиканских бобов, одурманить свои мозги пинтой крепкого виски и улечься спать, подложив под голову сапоги вместо подушки. Вы можете себе представить, что с ним случилось, когда эта куча неожиданных денег свалилась ему с неба.

Он поспешил с товарищем в эту деревушку, громко именуемую Атаскоза-Сити. У них было достаточно денег, чтобы купить все, что бы они ни пожелали, но они не знали, чего они желают. Их представление о мотовстве ограничивалось тремя предметами — виски, седлами и золотыми часами. Они даже никогда не слышали, что на свете существовало что-нибудь другое, на что можно было потратить целое состояние. Поэтому, когда им хотелось поразвлечься, они приезжали в город, брали адресную книгу, становились перед главной пивной и вызывали население в алфавитном порядке для угощения даровой выпивкой. Затем они заказывали три или четыре новых калифорнийских седла у шорного мастера и играли на тротуаре в орлянку двадцатидолларовыми золотыми монетами. Состязание на пари, кто дальше бросит золотые часы, придумал

Джордж; но даже и это становилось им скучным.

Вы, конечно, сейчас же подумали, какой благоприятный случай подвернулся мне. Но слушайте дальше.

В полчаса я набросал картину столичных увеселений, в сравнении с которыми жизнь в Атаскоза-Сити должна была показаться такой же унылой, как поездка на остров Коней с вашей собственной женой. Еще через десять минут мы ударили по рукам в знак согласия, что я буду его проводником, помощником и другом при вышеупомянутых кутежах и развлечениях. Соломон Миллс — так звали его — должен был платить за все издержки в течение месяца. К концу этого срока, если я окажусь хорошим директором-распорядителем веселой жизни, он должен был мне выплатить тысячу долларов. Затем, чтобы подкрепить сделку, мы вызвали всех граждан Атаскоза-Сити и угощали их до тех пор, пока они не свалились под стол, за исключением женщин и несовершеннолетних и одного мужчины, по имени Гораций Уэстервельт Сен-Клер. За то, что он не хотел принимать участия в попойке, мы закидали его тухлыми яйцами и принудили скрыться из Атаскоза-Сити. Затем мы вытащили из постели шорника и сделали ему спешный

заказ на три новых седла. После всего этого мы улеглись спать поперек железнодорожного пути у вокзала, только чтобы досадить железнодорожной компании. Подумайте, какое приподнятое настроение должно быть у человека, имеющего семьдесят пять тысяч долларов и старающегося избежать позора умереть богачом в таком городе, как Атаскоза-Сити.

На следующий день Джордж, который был женат или что-то в этом роде, отправился обратно на ранчо. Мы же с Солли, как я теперь его называл, приготовились отряхнуть прах от наших ног и полететь к ярким огонькам веселого шумного Востока.

— Никаких остановок на пути, — сказал я Солли, — за исключением того, сколько потребуется, чтобы вас выбрить. Это вам не Техас, — сказал я, — где вы едите бобы и орете на всю площадь. Теперь вы увидите настоящий хай-лайф. Мы будем жить среди людей, которые держат шпицев, носят гетры и ведут жизнь на широкую ногу.

Солли засунул шесть тысяч долларов сотенными билетами в один карман своих коричневых шаровар и на десять тысяч долларов чеков на восточные банки в другой карман. Затем я возобновил дипломатические переговоры с же-

лезнодорожной компанией, и мы отправились в северо-западном направлении кружным путем к волшебным садам Востока.

Мы остановились в Сан-Антонио, только чтобы купить Солли подходящую одежду, угостить восемью кружками пива постояльцев и служащих отеля «Менджер» и заказать четыре мексиканских седла с серебряной отделкой, который должны были быть отправлены на пароходе на ранчо. Из Сан-Антонио мы сделали большой прыжок в Сан-Луи. Мы приехали туда к обеденному времени, и я выбрал из списка городских отелей самый дорогой.

— Ну, — сказал я Солли шутливым тоном, — это первый ресторан, где мы можем получить действительно хорошее блюдо бобов.

Пока он прошел в свою комнату и старался накачать себе воду из газового рожка, я отвел в сторону метрдотеля и сунул ему двадцатидолларовый билет.

— Любезнейший, — сказал я, — со мной здесь товарищ, который несколько лет сидел только на кормовом хлебе и грубой пище. Пройдите к главному повару и закажите для нас такой обед, какой вы подаете главному представителю железных рудников, когда он у вас останавливается.

Цена не играет для нас роли. Ну, покажите нам, что вы умеете.

В шесть часов Солли и я уселись за обед. Ничего подобного никогда не было видано! Это был настоящий лукулловский обед. Все подавалось сразу. Метрдотель назвал это dinnay a la poker. Это излюбленный способ среди гурманов Запада. Обед подается по три блюда одного сорта. Нам подали гвинейскую курицу, гвинейскую свинину и гвинейский портер; жареную телятину, черепаший суп из голубя и паштет из цыплят; икру, горошек и тапиоку; фрикасе из утки, фрикасе из ветчины и фрикасе из цыплят; филадельфийский каплун, жареные улитки и джин — и так далее. Вы едите все, что хотите, а потом официант уносит остатки и подает в антрактах груши.

Я был уверен, что Солли будет до крайности восхищен этим сногсшибательным обедом после той мерзости, которую он ел на ранчо. И я даже ждал, что он выразит как-нибудь свой восторг, потому что с тех пор, как мы уехали из Атаскозы-Сити, я не помнил, чтобы он почтил мои старания его развлечь хотя бы улыбкой.

Мы сидели в главном обеденном зале, битком набитом нарядной публикой. Все громко и оживленно болтали, а в углу залы весело играл

шикарный оркестр. Ну, подумал я, теперь мой Солли увидит прелести жизни и развеселится. Не тут-то было!

Стол, за которым мы сидели, был в четыре квадратных ярда, и было похоже, будто циклон прошелся по скотному двору, курятнику и огороду. Солли встал и, обойдя вокруг стола, подошел ко мне.

— Лукки, — сказал он, — я здорово голоден после нашей поездки. Мне показалось, что вы сказали, будто здесь можно получить фасоль. Я выйду и достану что-нибудь поесть. Вы можете остаться и, если желаете, можете забавляться этой едой.

— Подождите минутку, — сказал я.

Я подозвал официанта, и он расписался на задней стороне счета в тринадцать долларов и пятьдесят центов.

— Что вы думаете, — сказал я ему, — подавать нам всякую дрянь, пригодную только для матросов на миссисипских пароходах? Мы пойдем искать какую-нибудь приличную еду.

Я вышел на улицу с несчастным сыном прерии. Он увидел открытую седельную лавку, и глаза его немного повеселели. Мы вошли в магазин, и он заказал еще два седла и заплатил за них

всю сумму вперед. Одно седло было с массивной серебряной отделкой, серебряными гвоздями и бордюром из разноцветных камней. Второе седло было с позолоченной отделкой, позолоченными стременами, а кожа была отделана, где только можно, серебряными бусами. Оба седла обошлись ему в тысячу сто долларов.

Выйдя из магазина, Солли направился прямо к реке, следуя своему чутью. В небольшой боковой улице, где не было ни тротуаров, ни домов, он нашел то, что искал. Мы вошли в харчевню, сели на высокие табуреты среди лодочников и начали есть фасоль оловянными ложками. Да, сэр, фасоль, сваренную с соленой свининой.

— Я так и думал, что эта дорога нас приведет к фасоли, — сказал Солли.

— Восхитительно, — сказал я. — Этот стильный ресторан, может быть, и приходится кому-нибудь по вкусу, но я стою за табльдот.

Когда мы одолели фасоль, я вывел его из пропитанной матросскими испарениями харчевни на улицу под фонарь и протянул ему газету, раскрытую на отделе «Зрелища».

— Ну, — сказал я, — веселых развлечений хоть отбавляй. Можно пойти или на пьесу Холла Кэна, или в скейтингринг, или на Сару Бернар, или на

хор прелестных сирен. Я думаю пойти на хор…

Но этот здоровый, богатый и мудрый человек протянул только руки и громко зевнул.

— А я думаю пойти спать, — сказал он. — Я всегда после обеда отдыхаю. Сен-Луи, кажется, очень тихий город, не правда ли?

— О да, — сказал я, — с тех пор как проведена сюда железная дорога, город фактически разорен. А строительные общества и ярмарка чуть не убили его. Думаю, что вы правы — нам лучше пойти спать. Вот когда мы будем в Чикаго… не взять ли нам завтра билеты и поехать в этот прелестный и оживленный город?

— Можно, — сказал Солли. — Но я полагаю, что все эти города приблизительно похожи друг на друга.

Опытному чичероне не так трудно исполнять свои обязанности в Чикаго. Там имеется одно или два злачных места, рассчитанных на то, чтобы не дать заснуть посетителю после закрытия ресторанов. Но для человека, проведшего всю жизнь на ранчо, они оказались непригодны. Я все испробовал — театры, поездки в автомобиле, катанье на парусной лодке по озеру, ужины с шампанским и все прочие аттракционы, разгоняющие скуку. Но все было напрасно. Солли день

ото дня делался все печальнее и мрачнее. И я испугался за свое жалованье и понял, что должен пойти козырной картой. Поэтому я упомянул о Нью-Йорке и сообщил ему, что все эти западные города были только преддверием к великому городу пляшущих дервишей.

После того как я купил билеты, я хватился Солли. Солли исчез. Я уже знал его привычки, а потому начал искать его в шорных магазинах. Тамошние шорники ввели какие-то изменения в подпругах и арчаках, перенятые от канадской конной полиции, и Солли так заинтересовался ими, что почти примирился с жизнью и оставил в магазине около девятисот долларов.

С вокзала я телеграфировал владельцу сигарного магазина в Нью-Йорке, которого я знал, и просил встретить меня у парома на Двадцать третьей улице со списком всех седельных магазинов в городе. Я хотел знать, где мне искать Солли, на случай, если он опять пропадет.

Теперь я вам расскажу, что случилось с нами в Нью-Йорке. Я подумал про себя: «Ну, дружище Шехерезада, теперь тебе нужно постараться, чтобы новый Багдад понравился твоему скучающему султану, или же тебе наступит конец».

Но я ни на минуту не сомневался, что мне это

удастся.

Я начал занимать его по такой же системе, как откармливают умирающего от голода человека. Сперва я показал ему запряженные лошадьми экипажи на Бродвее и паромные лодки. А затем я все повышал ощущения, оставляя про запас все более сильные.

К концу третьего дня у него был вид, как у пяти тысяч сирот, опоздавших на экскурсионный пароход, а я менял каждые два часа свой крахмальный воротник от усиленных мыслей, как его развеселить и получу ли я обещанную тысчонку. Он заснул, глядя на Бруклинский мост, он оставался равнодушным при виде небоскребов; потребовалось вмешательство трех капельдинеров, чтобы разбудить его на самом веселом водевиле.

Однажды вечером я пристегнул ему манжеты перед тем, как он проснулся после обеда, и потащил его в один из самых фешенебельных ресторанов Нью-Йорка, чтобы показать ему разных франтов и франтих. Их было там большое количество, и богатство страны отражалось на их нарядах. В то время как мы их осматривали, Солли разразился громким смехом. Он первый раз смеялся за все эти две недели и во мне пробу-

дилась надежда.

— Ты прав, — сказал я. — Они выглядят как на открытках…

— О, я совсем не думал об этих франтах, — сказал он. — Я вспомнил, как Джордж и я всыпали однажды порошок для мытья овец Джонсону в виски. Как мне хотелось бы поехать обратно в Атаскоза-Сити, — прибавил он.

Я почувствовал, как холодная струйка пробежала у меня по спине.

— Нужно мне одним ходом сделать мат, — сказал я самому себе.

Я взял с Солли обещанье подождать меня в ресторане с полчаса, а сам помчался в кебе на квартиру Лолабель Делятур на Сорок третью улицу. Я хорошо знал Лолабель. Она была хористкой в музыкальной комедии на Бродвее.

— Джен, — сказал я, придя к ней. — Я привез сюда друга из Техаса. Он очень приличный, и… во всяком случае, он человек с весом. Я хотел бы его немного встряхнуть сегодня вечерком после театра — знаете, с веселым ужином в казино. Согласны вы помочь мне в этом?

— А как его финансы? — спросила Лолабель.

— Вы знаете, — сказал я, — что я не привез бы его сюда, если бы его финансы не были бы

в порядке. У него целые мешки денег — мешки из-под фасоли.

— Приведите его ко мне после второго акта, — сказала Лолабель. — Я рассмотрю его доверительные грамоты.

Итак, около десяти часов вечера я повел Солли к уборной мисс Лолабель, и ее горничная впустила нас. Через десять минут явилась Лолабель, прямо со сцены. Она выглядела умопомрачительно. Она была в том самом костюме, в котором она выходит из рядов дамских гренадер и говорит королю: «Добро пожаловать к нашему майскому пиршеству». И можно держать пари, что она получила эту роль только благодаря своей красивой фигуре.

Как только Солли увидел ее, он встал и вышел прямо на улицу. Я последовал за ним. Лолабель не оправдала моих надежд…

— Люк, — сказал Солли на улице, — произошла ужасная ошибка. Мы, должно быть, попали в дамскую спальню, потому что леди не была одета. Я настолько джентльмен, что сделаю все, что в моих силах, чтобы принести извинение. Как ты думаешь, простит ли она нам когда-нибудь?

— Она может забыть этот казус, — сказал я. — Конечно, это была ошибка. Пойдем поищем

где-нибудь фасоли.

Таким-то образом шли наши дела. Но очень скоро после этого Солли не появлялся к обеденному времени в течение нескольких дней. Я прижал его к стене. Он признался, что он нашел ресторан на Третьей Авеню, где приготовляют фасоль по-техасски. Я заставил его повести меня туда. В тот момент, как я шагнул через порог, я воздел руки к небесам.

За конторкой сидела молодая женщина, и Солли меня представил ей. А затем мы сели за столик, и нам подали фасоль.

— Да, сэр, за конторкой сидела молодая женщина того сорта, которая может поймать любого мужчину с такой же легкостью, как поднять палец. Есть для этого особый способ. Она знала его. Я видел, как она его применяла. Она была здоровая на вид и скромно одета. Волосы были причесаны назад — без всяких кудряшек. А теперь я вам расскажу, какой способ она применяла, чтобы понравиться ему. Это крайне просто. Когда женщина желает понравиться мужчине, она должна устроить так, чтобы всякий раз, как он на нее посмотрит — встретиться с его взглядом. Вот и все.

В следующий вечер Солли должен был отправиться со мною на остров Коней в семь часов.

Пробило восемь, а он все не появлялся. Я вышел и нанял кеб. Я чувствовал, что тут что-то неладно.

— Поезжайте сначала в ресторан «Уют» на Третьей Авеню, — сказал я. — А если я не найду его там, то заезжайте в следующие шорные лавки. — И я передал извозчику список.

Как только я подъехал к ресторану, я вспомнил хиромантию и почувствовал по линиям моей ладони, что мне нужно остерегаться высокого, рыжего, коварного человека и что меня ожидает потеря денег.

Солли не было в ресторане, а также и не было гладко причесанной леди.

Я остался ждать. Через час они подъехали в кебе и вышли из него под ручку. Я попросил Солли на пару слов. Он ухмылялся во все лицо, но, очевидно, не я вызвал эту улыбку.

— Она самая удивительная женщина на всем свете, — сказал он.

— Поздравляю, — сказал я. — Но я хотел бы получить теперь мою тысчонку.

— Ну, Люк, — сказал он, — я считаю, что я под твоей опекой не наслаждался райской жизнью. Но я сделаю для тебя все, что только могу, я сделаю все, что могу, — повторил он. — Мисс Скиннер и я повенчались час тому назад. Завтра утром мы

уезжаем в Техас.

— Великолепно! — сказал я. — Но к нашим деловым отношениям это не относится. Как насчет моего гонорара?

— Миссис Милльс, — сказал он, — завладела моими деньгами и чеками, за исключением шести серебряных монет. Я ей рассказал, какое у меня с тобою соглашение. Но она заявила, что это нелегальный контракт и что она не заплатит ни одного цента. Но я хочу поступить с тобою честно. У меня на ранчо восемьдесят семь седел, которые я купил во время этой поездки. Когда я вернусь, я выберу шесть самых лучших седел из всей кучи и пошлю их тебе.

— И он прислал вам? — спросил я Лукулла Полька, когда он кончил свой рассказ.

— Прислал. И они такие шикарные, что только королям впору на них ездить. Те шесть седел, которые он мне прислал, должно быть, стоили ему три тысячи долларов. Но где же найти для них покупателя? Кто может их купить, кроме этих азиатских или африканских раджей и князей? Я составил список их всех. Я знаю каждого смуглолицего царька и самого мелкого князька от Миндонао до Каспийского моря.

— Вам приходится очень долго ждать ваших

покупателей, — заметил я.

— Теперь они приезжают чаще, — сказал Лукулл. — В наше время как только один из этих дикарей становится настолько цивилизованным, что отменяет закон о сожжении на кострах вдов и не употребляет свою бороду вместо салфетки, он провозглашает себя восточным Рузвельтом и приезжает сюда, чтобы ознакомиться с нашими коктейлями. Я пристрою еще все свои седла. Вот посмотрите.

Он вытащил из внутреннего кармана сложенную газету с обтрепанными краями и указал мне на одну заметку.

— Прочтите это, — сказал царский поставщик седел.

Заметка гласила:

«Его величество Сеид Фейзаль, имам Муската, один из самых прогрессивных и просвещенных правителей Старого Света. Его конюшни содержат более тысячи лошадей чистокровной персидской породы. Передают, что этот могущественный князь предполагает в скором времени посетить Соединенные Штаты».

— Вот! — торжествующе воскликнул мистер Польк — Я могу считать свое лучшее седло уже проданным — то, которое отделано по краям

бирюзой… Нет ли у вас трех долларов, которые вы могли бы мне одолжить на короткое время?

Случайно у меня были три доллара, и я их дал ему.

Если эти строки попадутся на глаза имаму Муската, то пусть они послужат к ускорению его посещения «страны Свободы». Иначе я опасаюсь, что буду навсегда разлучен с моими тремя долларами.

Санаторий на ранчо

Перевод Т. Озерской

Если вы следите за хроникой ринга, вы легко припомните этот случай. В начале девяностых годов по ту сторону одной пограничной реки состоялась встреча чемпиона с претендентом на это звание, длившаяся всего минуту и несколько секунд.

Столь короткая схватка — большая редкость и форменное надувательство, так как она обманывает ожидания ценителей настоящего спорта. Репортеры постарались выжать из нее все возможное, но если отбросить то, что они присочинили, схватка выглядела до грусти неинтересной. Чемпион просто швырнул на пол свою жертву, повернулся к ней спиной и, проворчав: «Я знаю, что этот труп уже не встанет», протянул секунданту длинную, как мачта, руку, чтобы он снял с нее перчатку.

Этим и объясняется то обстоятельство, что на следующее утро, едва забрезжил рассвет, полный пассажирский комплект донельзя раздосадованных джентльменов в модных жилетах и буйно

пестрых галстуках высыпал из пульмановского вагона на вокзале в Сан-Антонио. Этим же объясняется отчасти и то плачевное положение, в котором оказался «Сверчок» Мак-Гайр, когда он выскочил из вагона и повалился на платформу, раздираемый на части сухим, лающим кашлем, столь привычным для слуха обитателей Сан-Антонио. Случилось, что в это же самое время Кертис Рейдлер, скотовод из округа Нуэсес — да будет над ним благословение Божие! — проходил по платформе в бледных лучах утренней зари.

Скотовод поднялся спозаранку, так как спешил домой и хотел захватить поезд, отходивший на юг. Остановившись возле незадачливого покровителя спорта, он произнес участливо, характерным для техасца тягучим говором:

— Что, худо тебе, бедняжка?

«Сверчок» Мак-Гайр — бывший боксер веса пера, жокей, жучок, специалист в три листика и завсегдатай баров и спортивных клубов — воинственно вскинул глаза на человека, обозвавшего его «бедняжкой».

— Катись, Телеграфный Столб, — прохрипел он. — Я не звонил.

Новый приступ кашля начал выворачивать его наизнанку, и, обессиленный, он привалился к ба-

гажной тележке. Рейдлер терпеливо ждал, пока пройдет кашель, поглядывая на белые шляпы, короткие пальто и толстые сигары, загромоздившие платформу.

— Ты, верно, с севера, сынок? — спросил он, когда кашель стал утихать. — Ездил поглядеть на бокс?

— Бокс! — фыркнул Мак-Гайр. — Игра в пятнашки! Дал ему раза и уложил на пол быстрей, чем врач укладывает больного в могилу. Бокс! — Он поперхнулся, закашлялся и продолжал, не столько адресуясь к скотоводу, сколько стремясь отвести душу: — Верный выигрыш! Нет уж, больше меня на эту удочку не поймаешь. А ведь на такую приманку клюнул бы и сам Рокфеллер. Пять против одного, что этот парень из Корка, не продержится трех раундов — вот же я на что ставил! Все вложил, до последнего цента, и уже чуял запах опилок в этом ночном кабаке на Тридцать седьмой улице, который я сторговал у Джима Дилэни. И вдруг… Ну, скажите хоть вы, Телеграфный Столб, каким нужно быть обормотом, чтобы всадить свое последнее достояние в одну встречу двух остолопов?

— Что верно, то верно, — сказал могучий скотовод. — Особенно если денежки-то ухнули. А

тебе, сынок, лучше бы пойти в гостиницу. Это скверный кашель. Легкие?

— Да, нелегкая их возьми! — последовал исчерпывающий ответ. — Заполучил удовольствие. Старый филин сказал, что я протяну еще с полгода, а может, и с год, если переменю аллюр и буду держать себя в узде. Вот я и хотел осесть где-нибудь и взяться за ум. Может, я потому и рискнул на пять против одного. У меня была припасена железная тысяча долларов. В случае выигрыша кафе Дилэни перешло бы ко мне. Ну, кто мог думать, что эту дубину уложат в первом же раунде?

— Да, не повезло тебе, — сказал Рейдлер, глядя на миниатюрную фигурку Мак-Гайра, прислонившуюся к тележке. — А сейчас, сынок, пойди-ка ты в гостиницу и отдохни. Здесь есть «Менджер», и «Маверик», и…

— И «Пятая авеню», и «Уолдорф-Астория», — передразнил его Мак-Гайр. — Вы что, не слышали? Я прогорел. У меня нет ничего, кроме этих штанов и одной монеты в десять центов. Может, мне было бы полезно отправиться в Европу или совершить путешествие на собственной яхте?.. Эй, газету!

Он бросил десять центов мальчишке-газетчику, схватил «Экспресс» и, примостившись поудобнее

к тележке, погрузился в отчет о своем Ватерлоо, раздутом по мере сил изобретательной прессой.

Кертис Рейдлер поглядел на свои огромные золотые часы и тронул Мак-Гайра за плечо.

— Пойдем, сынок, — сказал он. — Осталось три минуты до поезда.

Сарказм, по-видимому, был у Мак-Гайра в крови.

— Вы что — видели, как я сорвал банк в железку или выиграл пари, после того как минуту назад я сказал вам, что у меня нет ни гроша? Ступайте своей дорогой, приятель.

— Ты поедешь со мной на мое ранчо и будешь жить там, пока не поправишься, — сказал скотовод. — Через полгода ты забудешь про свою хворь, малыш. — Одной рукой он приподнял Мак-Гайра и повлек его к поезду.

— А чем я буду платить? — спросил Мак-Гайр, делая слабые попытки освободиться.

— Платить? За что? — удивился Рейдлер. Они озадаченно уставились друг на друга. Мысли их вертелись, как шестеренки конической зубчатой передачи, — у каждого вокруг своей оси и в противоположных направлениях.

Пассажиры поезда, идущего на юг, с любопытством поглядывали на эту пару, дивясь столь

редкостному сочетанию противоположностей. Мак-Гайр был ростом пять футов один дюйм. По внешности он мог оказаться уроженцем Дублина, а быть может, и Иокогамы. Острый взгляд, острые скулы и подбородок, шрамы на костлявом дерзком лице, сухое жилистое тело, побывавшее во многих переделках, — этот парень, задиристый с виду, как шершень, не был явлением новым или необычным в этих краях. Рейдлер вырос на другой почве. Шести футов двух дюймов росту и необъятной ширины в плечах, он был, что называется, душа нараспашку. Запад и Юг соединились в нем. Представители этого типа еще мало воспроизводились на полотне, ибо наши картинные галереи миниатюрны, а кинематограф пока не получил распространения в Техасе. Достойно запечатлеть образ такого детины, как Рейдлер, могла бы, пожалуй, только фреска — нечто огромное, спокойное, простое и не заключенное в раму.

Экспресс мчал их на юг. Зеленые просторы прерий наступали на леса, дробя их, превращая в разбросанные на широком пространстве темные купы деревьев. Это была страна ранчо, владения коровьих королей.

Мак-Гайр сидел, забившись в угол, и с острым

недоверием прислушивался к словам скотовода. Какую штуку задумал сыграть с ним этот здоровенный старичина, который тащит его неизвестно куда? То, что им руководит бескорыстное участие, меньше всего могло прийти Мак-Гайру на ум. «Он не фермер, — рассуждал пленник, — да и на жулика не похож Что ж это за птица? Ну, гляди в оба, „Сверчок“, — не крапленая ли у него колода? Теперь уж хочешь не хочешь, а деваться некуда. У тебя скоротечная чахотка и пять центов в кармане, так что сиди тихо. Сиди тихо и гляди, что он там замышляет».

В Ринконе, в ста милях от Сан-Антонио, они сошли с поезда и пересели в таратайку, которая ждала Рейдлера на станции, после чего покрыли еще тридцать миль, прежде чем добрались до места своего назначения. Именно эта часть путешествия могла бы, казалось, открыть подозрительному Мак-Гайру глаза на подлинный смысл его пленения. Они катили на бархатных колесах по ликующему раздолью саванны. Пара резвых испанских лошадок бежала ровной, неутомимой рысцой, порой по собственному почину пускаясь вскачь. Воздух пьянил, как вино, и освежал, как сельтерская, и с каждым глотком его путешественники вдыхали нежное благоухание

полевых цветов. Дорога понемногу затерялась в траве, а таратайка поплыла по зеленым степным бурунам, направляемая опытной рукой Рейдлера, которому каждая едва приметная рощица, мелькнувшая вдали, служила знакомой вехой, каждый мягкий изгиб холмов на горизонте указывал направление и отмечал расстояние. Но Мак-Гайр, откинувшись на сиденье, с угрюмым недоверием внимал скотоводу и не видел вокруг себя ничего, кроме безлюдной пустыни.

«Что он замышляет? — тяготила его неотвязная мысль. — Какую аферу обмозговал этот верзила?» Среди необозримых просторов, ограниченных только линией горизонта да четвертым измерением, Мак-Гайр подходил к людям с меркой жителя тесных городских кварталов.

Неделей раньше, проезжая верхом по прерии, Рейдлер наткнулся на больного теленка, который жалобно мычал, отбившись от стада. Не спешиваясь, Рейдлер нагнулся, перебросил этого горемыку через седло и передал на попечение своих ковбоев на ранчо. Откуда было Мак-Гайру знать, — да и как бы вместилось это в его сознание, — что он в глазах Рейдлера был примерно то же, что этот теленок, — больное, беспомощное создание, нуждавшееся в чьей-то заботе. Рейдлер

увидел, что он может помочь, и этого было для него достаточно. С его точки зрения все это было вполне логично, а значит, и правильно. Мак-Гайр был седьмым по счету недужным, которого Рейдлер случайно подобрал в Сан-Антонио, куда в погоне за озоном, застревающим якобы в его узких уличках, тысячами стекаются больные чахоткой. Пятеро из его гостей жили на ранчо Солито, пока не выздоровели или не окрепли, и со слезами благодарности на глазах распростились с гостеприимным хозяином. Шестой попал сюда слишком поздно, но, отмучившись, обрел в конце концов вечный покой в тихом углу сада под раскидистым деревом.

Поэтому никто на ранчо не был удивлен, когда таратайка подкатила к крыльцу и Рейдлер извлек оттуда своего больного протеже, поднял его, словно узел тряпья, и водворил на веранду.

Мак-Гайр окинул взглядом непривычную для него картину. Дом на ранчо Солито считался лучшим в округе. Он был сложен из кирпича, привезенного сюда на лошадях за сотню миль, но имел всего один этаж, в котором размещались четыре комнаты, окруженные верандой с земляным полом, носившей название «галерейки». Пестрый ассортимент лошадей, собак, седел, по-

возок, ружей и всевозможных принадлежностей ковбойского обихода поразил столичное око прогоревшего спортсмена.

— Вот мы и дома, — весело сказал Рейдлер.

— Ну и чертова же дыра! — выпалил Мак-Гайр и покатился на пол веранды в судорожном приступе кашля.

— Мы постараемся устроить тебя поудобнее, сынок, — мягко сказал хозяин. — В доме-то у нас, конечно, не шикарно, но зато на воле хорошо, а для тебя ведь это самое главное. Вот твоя комната. Что понадобится — спрашивай, не стесняйся.

Рейдлер ввел Мак-Гайра в комнату, расположенную на восточной стороне дома. Незастеленный пол был чисто вымыт. Свежий ветерок колыхал белые занавески на окнах. Большое плетеное кресло-качалка, два простых стула и длинный стол, заваленный газетами, трубками, табаком, шпорами и ружейными патронами, стояли в центре комнаты. Несколько хорошо выделанных оленьих голов и одна огромная, черная, кабанья смотрели со стен. В углу помещалась широкая парусиновая складная кровать. В глазах всех окрестных жителей комната для гостей на ранчо Солито была резиденцией, достойной принца. Мак-Гайр при виде ее широко

осклабился. Он вытащил из кармана свои пять центов и подбросил их в потолок.

— Вы думали, я вру насчет денег? Вот, можете теперь меня обыскать, если вам угодно. Это было последнее из моих сокровищ. Ну, кто будет платить?

Ясные серые глаза Рейдлера твердо взглянули из-под седеющих бровей прямо в черные бусинки глаз Мак-Гайра. Немного помолчав, он сказал просто, без гнева:

— Ты меня очень обяжешь, сынок, если не будешь больше поминать о деньгах. Раз сказал, и хватит. Я не беру со своих гостей платы, да они обычно и не предлагают мне ее. Ужин будет готов через полчаса. Вот тут вода в кувшине, а в том, красном, что висит на галерейке, — похолоднее, для питья.

— А где звонок? — озираясь по сторонам, спросил Мак-Гайр.

— Звонок? А для чего?

— Звонить. Когда что-нибудь понадобится. Я же не могу... Послушайте, вы! — закричал он вдруг, охваченный бессильной злобой. — Я не просил вас тащить меня сюда! Я не клянчил у вас денег! Я не старался разжалобить вас — вы сами ко мне пристали! Я болен! Я не могу двигаться!

А тут за пятьдесят миль кругом ни коридорного, ни коктейля! О черт! Как я влип! — И Мак-Гайр повалился на койку и судорожно разрыдался.

Рейдлер подошел к двери и позвал слугу. Стройный краснощекий мексиканец лет двадцати быстро вошел в комнату. Рейдлер заговорил с ним по-испански.

— Иларио, помнится, я обещал тебе с осени место vaquero в лагере Сан-Карлос?

— Si, Senor, такая была ваша милость.

— Ну, слушай. Этот Senorito — мой друг. Он очень болен. Будешь ему прислуживать. Находись неотлучно при нем, исполняй все его распоряжения. Тут нужна забота, Иларио, и терпение. А когда он поправится или... а когда он поправится, я сделаю тебя не vaquero, а mayordomo[109] на ранчо де ля Пьедрас. Esta bueno?[110]

— Si, si, mil gracias, Senor![111] — Иларио в знак благодарности хотел было опуститься на одно колено, но Рейдлер шутливо пнул его ногой, проворчав:

---

[109] Примечания: 109
Старший объездчик *(исп.)*.

[110] Примечания: 110
Хорошо? *(исп.)*

[111] Примечания: 111
Да, да, спасибо, сеньор *(исп.)*.

— Ну, ну, без балетных номеров…

Десять минут спустя Иларио, покинув комнату Мак-Гайра, предстал перед Рейдлером.

— Маленький Senor, — заявил он, — шлет вам поклон (Рейдлер отнес это вступление за счет любезности Иларио) и просит передать, что ему нужен колотый лед, горячая ванна, гренки, одна порция джина с сельтерской, закрыть все окна, позвать парикмахера, одна пачка папирос, «Нью-Йорк геральд» и отправить телеграмму.

Рейдлер достал из своего аптечного шкафчика бутылку виски.

— Вот, отнеси ему, — сказал он.

Так на ранчо Солито установился режим террора. Первые недели Мак-Гайр хвастал напропалую и страшно заносился перед ковбоями, которые съезжались с самых отдаленных пастбищ поглядеть на последнее приобретение Рейдлера. Мак-Гайр был совершенно новым для них явлением. Он посвящал их в различные тонкости боксерского искусства, щеголяя хитроумными приемами защиты и нападения. Он раскрывал их изумленному взору всю изнанку жизни профессиональных спортсменов. Они без конца дивились его речи, пересыпанной жаргонными словечками, и забавлялись ею от души. Его же-

сты, его странные позы, откровенная дерзость его языка и принципов завораживали их. Он был для них существом из другого мира.

Как это ни странно, но тот новый мир, в который он сам попал, словно не существовал для него. Он был законченным эгоистом из мира кирпича и известки. Ему казалось, что судьба зашвырнула его куда-то в пустое пространство, где он не обнаружил ничего, кроме нескольких слушателей, готовых внимать его хвастливым реминисценциям. Ни безграничные просторы залитых солнцем прерий, ни величавая тишина звездных ночей не тронули его души. Все самые яркие краски Авроры не могли оторвать его от розовых страниц спортивного журнала. Прожить на шармака — было его девизом, кабак на Тридцать седьмой — венцом его стремлений.

Месяца через два он начал жаловаться, что здоровье его ухудшилось. С этого момента он стал бичом, чумой, кошмаром ранчо Солито. Словно какой-то злой гном или капризная женщина, сидел он в своем углу, хныча, скуля, обвиняя и проклиная. Все его жалобы звучали на один лад: его против воли ввергли в эту геенну огненную, где он гибнет от отсутствия ухода и комфорта. Однако вопреки его отчаянным воплям, что ему

якобы день ото дня становится хуже, с виду он нисколько не изменился. Все тот же дьявольский огонек горел в черных бусинках его глаз, голос его звучал все так же резко, тощее лицо — кости, обтянутые кожей, — достигнув предела худобы, уже не могло отощать еще больше. Лихорадочный румянец, вспыхивавший по вечерам на его торчащих скулах, наводил на мысль о том, что термометр мог бы, вероятно, зафиксировать болезненное состояние, а выслушивание — установить, что Мак-Гайр дышит только одним легким, но внешний облик его не изменился ни на иоту.

Иларио бессменно прислуживал ему. Обещанное повышение в чине, как видно, было для юноши большой приманкой, ибо горше горького стало его существование при Мак-Гайре. По распоряжению больного все окна в комнате были наглухо закрыты, шторы спущены и всякий доступ свежего воздуха прекращен. Так Мак-Гайр лишал себя своей единственной надежды на спасение. В комнате нельзя было продохнуть от едкого табачного дыма. Кто бы ни зашел к Мак-Гайру, должен был сидеть, задыхаясь в дыму, и слушать, как этот бесенок хвастает напропалую своей скандальной карьерой.

Но всего удивительнее были отношения, установившиеся у Мак-Гайра с хозяином дома. Больной третировал своего благодетеля, как своенравный, избалованный ребенок третирует не в меру снисходительного отца. Когда Рейдлер отлучался из дома, на Мак-Гайра нападала хандра и он замыкался в угрюмом молчании. Но стоило Рейдлеру переступить порог, и Мак-Гайр набрасывался на него с самыми колкими, язвительными упреками. Поведение Рейдлера по отношению к своему подопечному было в такой же мере непостижимо. Рейдлер, казалось, и сам поверил во все те страшные обвинения, которыми осыпал его Мак-Гайр, и чувствовал себя жестоким угнетателем и тираном. Он, очевидно, считал себя целиком ответственным за состояние здоровья своего гостя и с покаянным видом терпеливо и смиренно выслушивал все его нападки.

Как-то раз Рейдлер сказал Мак-Гайру:

— Попробуй больше бывать на воздухе, сынок. Бери мою таратайку и катайся хоть каждый день. А то поживи недельку-другую с ребятами на выгоне. Я бы тебя там неплохо устроил. На свежем воздухе, да к земле поближе — это бы живо поставило тебя на ноги. Я знал одного парня из

Филадельфии — еще хуже болел, чем ты, а как случилось ему заблудиться на Гвадалупе и две недели прожить на овечьем пастбище да поспать на голой земле, так сразу пошел на поправку. Воздух да земля — целебная штука. А то покатайся верхом. У меня есть смирная лошадка…

— Что я вам сделал? — взвизгнул Мак-Гайр. — Разве я вам втирал очки? Заставлял вас привозить меня сюда? Просил об этом? А теперь — катись на выгон? Да уж пырнули бы просто ножом, чего там канитель разводить! Скачи верхом! А я ног не таскаю! Понятно? Пятилетний ребенок надает мне тумаков — я и то не смогу увернуться. А все ваше проклятое ранчо — это оно меня доконало. Здесь нечего есть, не на что глядеть, не с кем говорить, кроме орды троглодитов, которые не отличат боксерской груши от салата из омаров!

— У нас тут, правда, скучновато, — смущенно оправдывался Рейдлер. — Всего вдоволь — но все простое. Ну, да если что нужно, пошлем ребят, они привезут из города.

Чэд Мерчисон, ковбой из лагеря Серкл Бар, первый высказал предположение, что Мак-Гайр — притворщик и симулянт. Чэд привез для него корзину винограда за тридцать миль, привязав ее к луке седла и дав четыре мили крюку. Побыв

немного в накуренной комнате, он вышел оттуда и без обиняков выложил свои подозрения хозяину.

— Рука у него — тверже алмаза, — сказал Чэд. — Когда он познакомил меня с «прямым коротким в солнечное заплетение», так я думал, что меня мустанг лягнул. Малый бессовестно надувает вас, Керт. Он такой же хворый, как я. Стыдно сказать, но этот недоносок просто водит вас за нос, чтоб пожить здесь на дармовщинку.

Однако прямодушный скотовод пропустил мимо ушей разоблачения Чэда, и если несколько дней спустя он подверг Мак-Гайра медицинскому осмотру, это было сделано без всякой задней мысли.

Как-то в полдень двое людей подъехали к ранчо, вылезли из повозки, привязали лошадей, зашли в дом и остались отобедать: всякий считает себя раз и навсегда приглашенным к столу — таков обычай этого края. Один из приезжих оказался медицинским светилом из Сан-Антонио, чьи дорогостоящие советы потребовались какому-то коровьему магнату, угодившему под шальную пулю. Теперь доктора везли на станцию, где он должен был сесть на поезд. После обеда Рейдлер отозвал его в сторонку и, тыча два-

дцатидолларовую бумажку ему в руку, сказал:

— Доктор, не откажитесь посмотреть одного паренька — он тут, в соседней комнате. Боюсь, что у него чахотка в последней стадии. Мне бы хотелось узнать, очень ли он плох и что мы можем для него сделать.

— Сколько я вам должен за обед, которым вы меня угостили? — проворчал доктор, взглядывая поверх очков на хозяина. Рейдлер сунул свои двадцать долларов обратно в карман. Доктор без замедления проследовал в комнату к Мак-Гайру, а скотовод опустился на кучу седел, наваленную в углу галерейки, и приготовился проклясть себя, если медицинское заключение окажется неблагоприятным.

Через несколько минут доктор бодрым шагом вышел из комнаты Мак-Гайра.

— Ваш малый, — сказал он Рейдлеру, — здоровее меня. Легкие у него чисты, как только что отпечатанный доллар. Пульс нормальный, температура и дыхание — тоже. Выдох — четыре дюйма. Ни малейших признаков заболевания. Конечно, я не делал бактериологического анализа, но ручаюсь, что туберкулезных бацилл у него нет. Можете поставить мое имя под диагнозом. Даже табак и спертый воздух ему не

повредили. Он кашляет? Так скажите ему, что это не обязательно. Вас интересует, что можно для него сделать? Мой совет — пошлите его ставить телеграфные столбы или объезжать мустангов. Ну, наши лошади готовы. Счастливо оставаться, сэр. — И, как порыв живительного освежающего ветра, доктор помчался дальше.

Рейдлер сорвал листок с мескитового куста у перил и принялся задумчиво жевать его.

Приближался сезон клеймения скота, и на следующее утро Росс Харгис, старший загонщик, собрал во дворе ранчо два с половиной десятка своих ребят, чтобы отбыть с ними в лагерь Сан-Карлос, где должны были начаться работы. В шесть часов лошади были оседланы, провизия погружена в фургон, и ковбои один за другим уже вскакивали в седла, когда Рейдлер попросил их немного обождать. Мальчик-конюх подвел к воротам еще одну взнузданную и оседланную лошадь. Рейдлер направился к комнате Мак-Гайра и широко распахнул дверь. Мак-Гайр, неодетый, лежал на койке и курил.

— Подымайся! — сказал скотовод, и голос его прозвучал отчетливо и резко, как медь охотничьего рога.

— Что такое? — оторопело спросил Мак-Гайр.

— Вставай и одевайся. Я бы мог терпеть в своем доме гремучую змею, но обманщику здесь не место. Ну! Сколько раз повторять! — Схватив Мак-Гайра за шиворот, он стащил его с постели.

— Послушайте, приятель! — в бешенстве вскричал Мак-Гайр. — Вы что — белены объелись? Я же болен — не видите, что ли? Я подохну, если сдвинусь с места! Что я вам сделал? Разве я просил?.. — захныкал он было на привычный лад.

— Одевайся! — сказал Рейдлер, повысив голос.

Путаясь в одежде, бормоча ругательства и не сводя изумленного взора с грозной фигуры разъяренного скотовода, Мак-Гайр кое-как, дрожащими руками, натянул на себя штаны и рубаху. Рейдлер снова схватил его за шиворот и поволок через двор к привязанной у ворот лошади. Ковбои покачнулись в седлах, разинув рты.

— Возьми с собой этого малого, — сказал Рейдлер Россу Харгису, — и приставь его к работе. Пусть работает, как надо, спит, где придется, и ест, что дадут. Вы знаете, ребята, — я делал для него все, что мог, и делал от души. Вчера лучший доктор из Сан-Антонио осмотрел его и сказал, что легкие у него как у мула, и вообще он здоров как бык. Словом, поручаю его тебе, Росс.

Росс Харгис только хмуро улыбнулся в ответ.

— Вот оно что! — протянул Мак-Гайр, с какой-то странной усмешкой глядя на Рейдлера. — Так старый филин сказал, что я здоров? Он сказал, что я симулянт, так, что ли? А вы, значит, подослали его ко мне? Вы думали, что я прикидываюсь? Я, по-вашему, обманщик. Послушайте, приятель, я часто был груб, я знаю, но ведь это только так… Если бы вы побывали хоть раз в моей шкуре… Да, я позабыл… Я же здоров… Так сказал старый филин. Ладно, дружище, я отработаю вам. Вот когда вы со мной посчитались!

Легко, как птица, он взлетел в седло, схватил хлыст, положенный на луку, и стегнул коня. «Сверчок», который на скачках в Хоторне привел когда-то Мальчика первым к финишу, повысив выдачу до десяти к одному, снова вдел ногу в стремя.

Мак-Гайр был впереди, когда кавалькада, вылетев за ворота, взяла направление на Сан-Карлос, и вдогонку ему неслось одобрительное гиканье ковбоев, скакавших в поднятых им клубах пыли.

Но, не покрыв и мили, он стал отставать и уже плелся в хвосте, когда всадники, миновав выгоны, продолжали путь среди высоких зарослей чапарраля. Заехав в чащу, он натянул поводья и, вытащив платок, прижал его к губам. Платок

окрасился алой кровью. Он забросил его в колючие кусты и, прохрипев своему удивленному коню «катись!» — поскакал следом за ковбоями.

Вечером Рейдлер получил письмо из своего родного городка в Алабаме. Умер один из его родственников, и Рейдлера просили приехать, чтобы принять участие в дележе наследства. На рассвете он уже катил в своей таратайке по прерии, спеша на станцию.

Домой он возвратился только через два месяца. Усадьба опустела — он застал там одного Иларио, который в его отсутствие присматривал за домом. Юноша стал рассказывать ему, как шли дела, пока хозяин был в отлучке. С клеймением скота еще не управились, сказал он. Было много ураганов, скот разбегался, и клеймение подвигается туго. Лагерь сейчас в долине Гвадалупы — в двадцати милях от усадьбы.

— Да, между прочим, — сказал Рейдлер, внезапно припомнив что-то. — Как этот парень, которого я отправил с ребятами в лагерь, МакГайр? Работает он?

— Не знаю, — отвечал Иларио. — Ковбои редко заглядывают теперь на ранчо. Очень много хлопот с молодыми телятами. Нет, ничего про него не слыхал. Верно, его уже давно нет в живых.

— Что ты мелешь! — сказал Рейдлер. — Как это — нет в живых?

— Очень, очень он был плох, этот Мак-Гайр, — сказал Иларио, пожимая плечами. — Я знал, что ему не прожить и месяца, когда он уезжал отсюда.

— Вздор! — проворчал Рейдлер. — Я вижу, он и тебя одурачил. Доктор осмотрел его и сказал, что он здоров, как мескитовая коряга.

— Это он так сказал? — спросил Иларио, ухмыляясь. — Этот доктор даже не видел его.

— Говори толком! — приказал Рейдлер. — Какого черта ты меня морочишь?

— Мак-Гайр, — спокойно сказал Иларио, — пил воду на галерейке, когда этот доктор прибежал в комнату. Он сразу схватил меня и давай стучать по мне пальцами — вот тут стучал и тут. — Иларио показал на грудь. — Я так и не понял зачем. Потом он стал прикладываться ухом и все что-то слушал. Вот тут слушал и тут. А зачем? Потом достал какую-то стеклянную палочку и сунул мне в рот. Потом схватил меня за руку и начал ее щупать — вот так. И еще велел мне считать тихим голосом двадцать, treinta, cuarenta[112].

---

[112] Примечания: 112
Тридцать, сорок *(исп.)*.

Кто его знает, — закончил Иларио, в недоумении разводя руками, — зачем он все это делал? Может, хотел пошутить?

— Какие лошади дома? — только и спросил Рейдлер.

— Пайсано пасется за маленьким корралем, Senor.

— Оседлай его, живо!

Через несколько минут Рейдлер вскочил в седло и скрылся из виду. Пайсано, недаром названный в честь этой невзрачной с виду, но быстроногой птицы, мчал во весь опор, пожирая ленты дорог, как макароны. Через два часа с небольшим Рейдлер с невысокого холма увидел лагерь, раскинувшийся у излучины Гвадалупы. С замиранием сердца, страшась услышать самое худшее, он подъехал к лагерю, спешился и бросил поводья. В простоте душевной он уже считал себя в эту минуту убийцей Мак-Гайра.

В лагере не было ни души, кроме повара, который, поджидая ковбоев к ужину, раскладывал по тарелкам огромные куски жареной говядины и расставлял на столе железные кружки для кофе. Рейдлер не решился сразу задать терзавший его вопрос.

— Все благополучно в лагере, Пит? — неуверен-

но спросил он.

— Да так себе, — сдержанно отвечал Пит. — Два раза сидели без провизии. Ураган наделал бед — облазили все заросли на сорок миль вокруг, пока собрали скот. Мне нужен новый кофейник. Москиты в этом году совсем осатанели.

— А ребята как… все здоровы?

Пит не отличался оптимизмом. К тому же справляться о здоровье ковбоев было не только явно излишне, но граничило со слюнтяйством. Странно было слышать такой вопрос из уст хозяина.

— Тех, что остались, не приходится по два раза звать к столу, — проронил он наконец.

— Тех, что остались? — хрипло повторил Рейдлер. Он невольно оглянулся, ища глазами могилу Мак-Гайра. Ему уже мерещилась каменная белая плита, вроде той, что он видел недавно на кладбище в Алабаме. Но он тут же опомнился, сообразив, что это нелепо.

— Ну да, — сказал Пит. — Тех, что остались. В ковбойском лагере бывают перемены — за два-то месяца. Кой-кого уже нет.

Рейдлер собрался с духом.

— А этот парень, которого я прислал сюда, — Мак-Гайр… Он не…

— Слушайте, — перебил его Пит, подымаясь во весь рост с толстым ломтем кукурузного хлеба в каждой руке. — Как это у вас хватило совести прислать такого больного парнишку в ковбойский лагерь? Этому вашему доктору, который не мог распознать, что малый уже одной ногой в могиле, надо бы спустить всю шкуру хорошей подпругой с медными пряжками. А уж и боевой же парень! Вы знаете, что он выкинул — скандал, да и только! В первый же вечер ребята решили посвятить его в «ковбойские рыцари». Росс Харгис вытянул его разок кожаными гетрами, и как вы думаете, что сделал этот несчастный ребенок? Вскочил, чертенок эдакий, и вздул Росса Харгиса. Ну да, вздул Росса Харгиса. Всыпал ему, как надо. Выдал ему крепко, хорошую порцию. Росс встал и тут же поплелся искать местечко, где бы снова прилечь. А этот Мак-Гайр отошел в сторонку, повалился лицом в траву и стал харкать кровью. Кровохарканье — так это и называется, передайте вашему коновалу. Восемнадцать часов по часам пролежал он так, и никто не мог сдвинуть его с места. А потом Росс Харгис, который очень любит тех, кому удалось его вздуть, взялся за дело и проклял всех докторов от Гренландии до Китайландии. Вдвоем с Джонсоном Зеленой Веткой они пере-

тащили Мак-Гайра в палатку и стали наперебой пичкать его сырым мясом и отпаивать виски.

Но у малого, как видно, не было охоты идти на поправку. Ночью он удрал из палатки и опять зарылся в траву — а тут еще дождь моросил. «Катитесь! — говорит он им. — Дайте мне спокойно помереть. Он сказал, что я обманщик и симулянт. Ну и отвяжитесь от меня!»

— Две недели провалялся он так, — продолжал повар, — словечка ни с кем не сказал, а потом…

Топот, подобный удару грома, сотряс воздух, и два десятка молодых кентавров, вылетев из зарослей, ворвались в лагерь.

— Пресвятые драконы и гремучие змеи! — возопил повар и заметался из стороны в сторону. — Ребята оторвут мне голову, если я не подам им ужин через три минуты.

Но глаза Рейдлера были прикованы к маленькому загорелому пареньку, который, весело блестя зубами, соскочил с лошади у ярко горевшего костра. Он не был похож на Мак-Гайра, но все же…

Секунду спустя Рейдлер тряс ему руку, схватив другой рукой за плечо.

— Сынок, сынок, ну, как ты? — с трудом выговорил он.

— Поближе к земле, вы говорили? — заорал

Мак-Гайр, стиснув руку Рейдлера в стальном пожатии. — Я так и сделал — и вот видите, здоров и силы прибавилось. И понял, признаться, какого шута горохового я из себя разыгрывал. Спасибо, старина, что прогнали меня сюда! А здорово вышло со старым-то филином? Я видел в окно, как он выбивал зорю на груди у этого мексиканского парня.

— Что же ты молчал, собачья душа! — загремел скотовод. — Почему не сказал, что доктор тебя не осматривал?

— А, катитесь! Не морочьте мне голову, — проворчал Мак-Гайр, сразу ощетинившись, как бывало. — Вы меня разве спрашивали? Вы произнесли свою речь и вышвырнули меня вон, и я решил, что так тому и быть. Но знаете, приятель, эти скачки с коровами — здорово занятная штука. И ребята тут первый сорт — лучшая команда, с какой мне доводилось ездить. Вы мне разрешите остаться здесь, старина?

Рейдлер вопросительно посмотрел на Росса Харгиса.

— Этот паршивец, — нежно сказал Росс, — самый лихой загонщик на все ковбойские лагеря. А уж дерется так, что только держись.

Королева змей

Перевод Э. Бродерсон

На берегу пограничной реки, на конце моста, принадлежащего Соединенным Штатам, в маленькой сторожке сидели четыре вооруженных стражника. Изнемогая от жары, они все же довольно внимательно следили за пешеходами, которые переходили мост с мексиканского берега.

Бед Даусон, хозяин пивной «Горное ущелье», вышвырнул накануне из своих владений некоего Леандро Гарсиа за нарушение правил приличия, принятых в «Горном ущелье». Гарсиа заявил, что через двадцать четыре часа он явится и потребует удовлетворения.

Этот мексиканец, невероятный хвастун, был в то же время и поразительно храбр, и на обоих берегах реки его уважали за это качество. Он и его друзья — такие же бандиты, как и он, — служили для того, чтобы время от времени встряхивать городских жителей и не давать им умереть от скуки.

В день, назначенный Гарсиа для получения

удовлетворения, должен был состояться на американском берегу съезд скотоводов, бой быков и пикник старых переселенцев. Зная Гарсиа за человека слова и желая сохранить мир во время этих общественных развлечений, начальник пограничной стражи капитан Мак-Нелти отрядил офицера и трех солдат на дежурство в конце моста. Им было вменено в обязанность предупредить вторжение Гарсиа — все равно, одного или в сопровождении шайки.

В этот душный день пешеходов было немного, и стражники проклинали судьбу и невероятно скучали. На протяжении одного часа никто не перешел моста, кроме старухи, одетой в коричневое платье и черную шаль. Она погоняла перед собою осла, нагруженного небольшими связками дров для продажи. Вскоре после этого в тихом воздухе ясно раздались три коротких громких выстрела со стороны улицы.

Немедленно все четыре стражника встрепенулись и перешли от лежачего положения в сидячее, но только один поднялся на ноги. Остальные трое умоляюще, но безнадежно взглянули на четвертого, который молча встал и стал пристегивать свой пояс с патронами. Они знали, что их начальник, лейтенант Боб Бекли, никому

не уступит привилегии пойти первым на место побоища.

Ловкий широкогрудый лейтенант, не меняя меланхоличного выражения на своем гладко выбритом желтовато-коричневом лице, просунул ремешок пояса через перекладину пряжки, оправил пистолеты в кобурах так, как красавица оправляет свой туалет, схватил ружье и направился к двери. Здесь он на минутку остановился, чтобы предупредить товарищей не прекращать слежки за мостом, и затем вышел на раскаленную солнцем дорогу.

Остальные трое должны были примириться с вынужденным бездействием, обмениваясь мнениями о лейтенанте Бекли.

— Я слышал о парнях, — сказал Брончо Лесзерс, — которые навеки обвенчались с опасностью. Умри я на этом месте, если Боб Бекли неповинен в многоженстве, обвенчавшись со всеми опасностями.

— Особенность Боба та, — вставил Ньюсес Кид, — что у него нет настоящей тренировки. Он никогда не знал, что такое страх. А человек, который хочет прочесть свое имя в списке оставшихся в живых, должен знать чувство страха.

— Бекли, — пояснил третий стражник, уроже-

нец Востока, получивший некоторое образование, — дерется всегда с таким торжественным видом, что я даже стал сомневаться в его нормальности. Я не совсем понимаю его системы, но он дерется с каким-то математическим расчетом.

— Я никак не могу понять, — заявил Брончо, — какие могут быть тут математические расчеты.

— Может быть, это тригернометрия? — высказал свое предположение Кид.

— Я не ожидал от вас таких знаний, — одобрительно кивнул головой уроженец Востока. — Вторая особенность Бекли та, что он всегда вступает в бой налегке. Кажется, будто он боится воспользоваться малейшим преимуществом. Это уже граничит с безумием, если иметь дело с конокрадами и ворами, которые готовы устроить вам засаду каждую ночь и выстрелить вам в спину при первой возможности. Бекли слишком неосторожен. Когда-нибудь он поплатится за это.

— Я тоже нахожу, — протянул Кид. — Я больше стою за то, чтобы хорошенько подраться и вовремя улизнуть, чтобы иметь возможность невзначай еще раз напасть.

— Во всяком случае, — резюмировал Брончо, — такого смельчака, как Боб, я никогда не

встречал на Рио-Браво...[113] Ах, негодяй! Шипит от злости! — И Брончо ударил скорпиона своей четырехфунтовой фетровой шляпой, после чего все трое снова погрузились в унылое молчание...

Так отзывались о Бекли люди, бывшие в течение многих лет близкими его товарищами в бесчисленных пограничных набегах и разделявшие с ним опасность. И как странно — никто из них не подозревал, что Бекли был самым отъявленным трусом! Друзья и враги всегда считали его самым отважным храбрецом. Никто и не предполагал, что только большим усилием воли он заставлял свое малодушное тело свершать самые смелые подвиги. Как монахи бичуют свое грешное тело, так и Бекли вечно бичевал себя и бросался с видимой беспечностью во всякую опасность, надеясь когда-нибудь излечиться от врожденной трусости. В то время как вся пограничная полоса восхищалась его подвигами и его храбрость воспевалась в печати и устно у многих лагерных костров в долине Браво, у Бекли болела душа. Никто не знал, как страшно сжималось у него сердце, как пересыхало у него во рту, какая дрожь пробегала по спине, как мучительно были

---

[113] Примечания: 113
Рио-Браво — в переводе Разбойничья река.

натянуты его нервы, — все это были безошибочные симптомы его врожденной трусости.

Один юноша из его отряда обыкновенно вступал в бой, небрежно перекинув ногу через луку седла, не выпуская папироски изо рта и испуская оригинальные воинственные крики. Бекли отдал бы все свое жалованье, чтобы достигнуть такой чертовской беспечности. Однажды этот юноша добродушно заметил ему:

— Бек, вы вступаете в бой с таким видом, как будто бы это похороны.

Бекли был страшно самолюбив, и поэтому он продолжал подвергать свое трусливое тело самым трудным испытаниям, какие он мог только придумать. В сегодняшний жаркий душный день он решил взять себя в руки и заставить себя не испытывать ни малейшей тревоги…

Через два квартала от моста находилась пивная «Горное ущелье». Здесь Бекли увидел следы недавнего происшествия. Несколько любопытных зрителей столпились у входных дверей, давя под ногами осколки оконного стекла. Внутри, в пивной, Бекли нашел Бед Даусона, который, не обращая внимания на свою рану в плече, никак не мог успокоиться, что он упустил проклятого «маскарадчика», который стрелял в него. При

входе стражника Бед обернулся к нему.

— Вы знаете, Бек, — сказал он, — я с ним справился бы в два счета, если бы мне пришло только в голову, кто это. Пришел сюда наряженный бабой, выстрелил и удрал. Я и не потянулся за ружьем, думая, что это и впрямь старуха. Я и не подумал о проклятом Гарсиа, пока…

— Гарсиа! — воскликнул Бекли. — Как он пробрался сюда?

Буфетчик Беда взял стражника за руку и провел его к боковой двери. На улице терпеливо стоял осел, нагруженный связками дров, и пощипывал траву вдоль водосточной канавки. На земле валялась черная шаль и коричневое платье огромных размеров.

— Нарядился в эти тряпки, — крикнул из пивной Бед, все еще не дававший перевязать себе рану. — Я так и думал, что это женщина, пока он не крикнул и не подстрелил меня.

— Он побежал по этой боковой улице, — сказал буфетчик. — Он был один и будет скрываться до темноты, когда его шайка переберется на этот берег. Вы его, наверное, найдете в мексиканском квартале, за железнодорожной станцией. У него там девка есть знакомая — Панча Сэльс.

— Как он вооружен? — спросил Бекли.

— У него два револьвера и нож.

— Возьмите мое ружье, Билли, — сказал Бекли, — мне достаточно будет двух револьверов.

Это доказывало его благородство, но вместе с тем это было неосмотрительно с его стороны. Другой на его месте этого бы не сделал, а вызвал бы еще вооруженных помощников, чтобы сопровождать его, но Бекли держался правила отказываться от всяких преимуществ.

После нападения Гарсиа народ попрятался по домам. Улица опустела, все двери были закрыты. Но понемногу народ стал выползать из своих убежищ, делая вид, будто ничего не случилось. Многие из граждан знали стражника Бекли и с большой готовностью указали ему путь, по которому бежал Гарсиа.

Когда Бекли пошел по указанному следу, он почувствовал знакомое ему нервное сжимание горла, холодный пот выступил на его лбу, и сердце замирало от страха…

* * *

Утренний поезд из Центральной Мексики опоздал в этот день на три часа, и таким образом, его приход не совпал с отходом поезда на другой стороне реки. Пассажиры, направлявшиеся

в Соединенные Штаты, должны были искать ночлега в маленьком пограничном городишке, потому что до следующего утра не было ни одного поезда.

Они ворчали, потому что через два дня должно было состояться открытие большой ярмарки и скачек в Сан-Антонио, а известно, что в это время Сан-Антонио представляет собою колесо Фортуны, спицы которого были: скот, шерсть, фаро[114], скачки и озон. В это время скотоводы играли на тротуарах улиц в орлянку золотыми монетами и ставили на карту такие высокие столбики монет, которые ежеминутно грозили падением. Поэтому на это время съезжались сюда сеятели и жнецы, другими словами, люди, которые тратили доллары, и люди, которые выуживали их. В особенности спешили в Сан-Антонио устроители народных развлечений. Две известные театральные труппы были уже там, а дюжина более мелких находилась в пути.

Вблизи мизерной маленькой железнодорожной станции, на запасном пути, стоял вагон, оставленный здесь утром мексиканским поездом и обреченный на скучное ожидание, среди жал-

---

[114] Примечания: 114
Фаро, или Фараон, род карточной игры.

кой грязной обстановки, следующего дневного поезда.

Вагон был когда-то обыкновенным пассажирским вагоном, но те, которые когда-то в нем ездили и раболепствовали перед важными кондукторами, никогда не узнали бы его в теперешнем виде. Свежая окраска и некоторые детали домашнего уюта снимали с него всякое подозрение в том, что он служил для передвижения публики. Кружевные занавески закрывали окна от любопытных взглядов. На переднем конце вагона висел мексиканский флаг, а позади развевался американский — со звездами и полосками. Из полуоткрытого окна торчала дымящая печная труба, которая усиливала впечатление домашнего уюта и комфорта. Зритель, любуясь странным видом вагона, наверно, заинтересовался бы и золотыми и синими надписями, тянущимися почти по всей длине его. Интерес его еще бы больше увеличился, когда бы он подошел ближе и прочитал: «Альварита, королева змей». Это был ее вагон, вернувшийся из триумфального турне по главным мексиканским городам и направляющийся теперь в Сан-Антонио, где, согласно широковещательным рекламам:

АЛЬВАРИТА, КОРОЛЕВА ЗМЕЙ

покажет поразительное искусство

и бесстрашную власть над смертоносными великанами-змеями,

которых ОНА бесстрашно держит в руках в то время,

как они извиваются и шипят, к ужасу тысячи онемевших

и дрожащих зрителей.

Сто градусов жары[115] в тени разогнало от вагона всех зевак. Это была захолустная часть города; ее обитатели представляли собою накипь пяти наций; ее постройки состояли из палаток, деревянных халуп и известняковых домов; ее развлечением служила шарманка. За этой жалкой окраиной возвышалась густая масса деревьев, наполняющих собою небольшую ложбину. По этой ложбине журча протекал небольшой ручеек, который затем низвергался по отвесному склону большого ущелья Рио-Браво-дель-Норте.

В этом жалком местечке должен был оставаться несколько часов вагон Королевы змей.

Дверь вагона была открыта. Передняя часть вагона была отделена драпировкой и представляла собою приемную. Здесь обыкновенно

---

[115] Примечания: 115
По Фаренгейту.

сидели восхищенные репортеры и переклады-вали музыкальную речь синьориты Альвариты на менее музыкальный язык печати. На стене висели портрет Авраама Линкольна, фотография группы школьниц, расположившихся на сту-пеньках каменной лестницы, и белые лилии в кроваво-красной рамке. Пол был устлан ковром. На небольшом столике стоял кувшин с водой и стакан. В плетеной качалке сидела Альварита и читала газету.

С первого взгляда на нее вы бы сказали, что она испанка из Андалузии или из Бискайи. Волосы ее имели оттенок синего винограда, если смотреть на него в полночь. Продолговатые темные глаза смущали зрителя своим пристальным гипно-тизирующим взглядом. Высокомерное и смелое лицо оживлялось очаровательным выражением задора. Чтобы скорее убедиться в ее прелестях, взгляните на кипу афиш в углу — зеленых, жел-тых и белых. На них вы увидите изображение синьориты в ее профессиональном наряде и профессиональной позе. Она была неотразимо хороша в черном кружевном платье с желтыми лентами. Вокруг каждой голой руки обвивался

голубой пайлот[116]; свернувшись дважды вокруг ее талии и один раз вокруг шеи, тесно прижался к ней своей страшной головой Куку, огромный одиннадцатифутовый азиатский пифон.

Чья-то рука раздвинула драпировку, разделявшую вагон, и увядающая женщина средних лет, с ножом и полуочищенной картошкой в руках, заглянула в приемную и сказала:

— Альвири, ты занята?

— Я читаю газету, мама… Подумай… Эта бледная неинтересная Матильда Прайс, у которой волосы как пакля… получила наибольшее число голосов на конкурсе красоты в Галлиполисе.

— Неужели! Ей бы этого не удалось, если бы ты была там, Альвири. Надеюсь, что мы вернемся домой раньше, чем пройдет осень. Мне так надоело разъезжать вокруг света и разыгрывать из себя испанцев. Но я не это хотела тебе сказать. А то, что самый большой удав опять уполз куда-то. Я обыскала весь вагон и не могла его найти. Он, должно быть, скрылся уже час тому назад. Мне помнится, что я слышала шорох по полу, но я думала, что это ты.

— Ах, старый негодник! — воскликнула коро-

---

[116] Примечания: 116
Пайлот — род безвредного ужа.

лева, отбрасывая газету. — Это уже третий раз он удирает. Джордж никогда как следует не закроет крышку ящика. Я думаю, он боится Куку. А теперь мне нужно пойти его поискать.

— Поторопись, а то кто-нибудь может причинить ему вред.

Королева презрительно улыбнулась, обнажив свои блестящие зубы.

— Этого не надо опасаться. Когда люди видят Куку на свободе, они просто без оглядки бегут в аптеку покупать себе бром. Между нами и рекой есть ручеек. Этот негодяй готов пожертвовать своей шкурой за глоток воды. Я уверена, что я найду его там.

Несколько минут спустя Альварита вышла на переднюю площадку вагона, готовая отправиться на поиски. Ее красивая черная юбка была скроена по самой последней моде. Ее безупречно чистая блузка ласкала глаз и казалась оазисом в этой пустыне ослепительного солнечного света. Соломенная шляпа мужского фасона плотно сидела на ее вьющихся густых волосах. Вокруг высокого накрахмаленного воротничка изящным узлом был завязан мужской галстук. В руке она держала белый шелковый зонтик с кружевным воланом.

По костюму она могла принадлежать к Гал-

липолису, но по глазам ее, безусловно, нужно было отнести или к Севилье или к Вальядолиду. Как-то невольно вспоминались кастаньеты, балконы, мантильи, серенады, тайные свиданья и похищения.

— Ты не боишься идти одна, Альвири? — тревожно спросила королева-мать. — Здесь столько грубого народа. Может быть, лучше, если ты…

— Я никогда еще не видела чего-нибудь, чего бы я боялась, мама. В особенности людей, а в частности мужчин. Не тревожься, пожалуйста. Я вернусь, как только найду своего беглеца.

Пыль густым слоем лежала около железнодорожного пути. Альварита очень скоро обнаружила зигзагообразный след удравшего пифона. След вел через железнодорожное полотно вниз по небольшой улице по направлению к ручейку, как она и предполагала. Царившая кругом тишина поддерживала в ней надежду, что жители еще не узнали, какой страшный гость гуляет по их дорогам. Жара загнала их в дома, откуда доносился иногда резкий смех или унылое завыванье концертино. В тени играли несколько мексиканских ребятишек, которые при проходе Альвариты молча застывали в изумлении. Иногда какая-нибудь женщина выглядывала из-за

двери и молча стояла, пораженная видом белого шелкового зонтика.

Пройдя приблизительно сто ярдов, Альварита вышла за пределы города, где начались редкие заросли, а затем она вошла в красивую рощу, окаймлявшую живописный овраг. По нему извивался маленький светлый ручеек. Место это походило на парк и, несмотря на свою сельскую живописность, имело городской вид; это впечатление еще усиливалось бумажками и пустыми жестянками, брошенными здесь гуляющими. Вдоль этого ручейка, через просеки рощи, и пошла Альварита. На мелком песке ручейка она ясно увидела следы недавно проползавшего здесь пифона. Проточная вода должна была привлекать его к себе; он не мог быть далеко.

Альварита была так уверена в его непосредственной близости, что решила немного отдохнуть, и уселась на ветвь большого ползучего растения, свешивающегося с гигантского вяза. Чтобы добраться до него, ей пришлось вскарабкаться немного вверх от тропинки по отвесному и неровному откосу. Вокруг нее рос густой высокий кустарник. Желтые лепестки цветов ратамы распространяли сладкий сильный аромат. По оврагу пронесся тихий ветерок и меланхолично

зашелестел в опавших сухих листьях.

Альварита сняла шляпу и, распустив стесняющую ее прическу, стала медленно заплетать волосы в две длинные темные косы.

Из темной глубины зарослей вечнозеленых кустов, в пяти футах от нее, два маленьких блестящих глаза пристально смотрели на нее. Там лежал, свернувшись, огромный пифон Куку со своей чешуйчатой головой и одиннадцатифутовым блестящим пятнистым туловищем. Огромный пифон смотрел на свою госпожу, ни одним звуком или движением не выдавая своего присутствия. Может быть, беглец предчувствовал свое предстоящее пленение, но, скрытый густой листвой, решил продлить наслаждение своей временной свободой. Какое это было удовольствие после душного и пыльного вагона лежать здесь, вдыхая запах проточной воды и ощущая телом приятное прикосновение земли и камней! Скоро, очень скоро найдет его госпожа, и он, бессильный в ее смелых руках, будет опять водворен в темный и тесный ящик.

Альварита услышала внезапно под собою скрип песка. Повернув голову, она увидела большого, смуглого мексиканца, который смотрел на нее с дерзким, недобрым выражением.

— Что вам нужно? — резко спросила она, продолжая заплетать волосы и глядя на него с холодным презрением. Мексиканец продолжал на нее глазеть и улыбнулся, обнажив белые, неровные зубы.

— Я ничего вам не сделаю дурного, синьорита, — сказал он.

— Я и не сомневаюсь, — ответила королева, откидывая назад заплетенную тяжелую косу. — Но не думаете ли вы, что вам лучше идти своей дорогой?

— У меня нет никаких дурных намерений, разве только сорвать один beso — один маленький поцелуйчик.

Мексиканец снова улыбнулся и шагнул, чтобы взобраться на откос. Альварита быстро наклонилась и схватила камень величиной с кокосовый орех.

— Убирайся вон! — властно приказала она. — Черномазый дьявол!

На смуглом лице мексиканца вспыхнул румянец от нанесенного оскорбления.

— Я гидальго! — прошипел он сквозь стиснутые зубы. — Я не позволю обращаться со мною, как с негром. Diabla bonita, за это ты мне заплатишь.

На этот раз он сделал быстро два шага наверх,

но камень, брошенный сильной рукой, попал ему прямо в грудь. Пошатнувшись, он отступил на тропинку, сделал полуоборот и тут увидел нечто, что выбило у него из головы всякую мысль о девушке. Альварита повернула голову, чтобы посмотреть, что отвлекло его внимание. В двадцати ярдах по направлению к ним шел по тропинке мужчина с рыжевато-коричневыми вьющимися волосами и с загорелым, гладко выбритым лицом. На мексиканце был револьверный пояс с двумя пустыми кобурами. Он вынул и где-то оставил свои шестизарядные револьверы — у своей красавицы Панчи — и забыл о них, когда проходившая мимо Альварита увлекла его по своим следам. Инстинктивно он схватился теперь за кобуры, но, увидя, что оружия нет, протянул вперед руки с красноречивым, просящим жестом и застыл, как скала. Видя его беспомощное положение, незнакомец расстегнул свой собственный пояс с двумя револьверами и, бросив его на землю, приблизился к мексиканцу.

— Какой рыцарь! — прошептала Альварита с горящими глазами.

* * *

Когда Боб Бекли бросил свое оружие и ближе подошел к своему противнику, обычный приступ страха овладел им. Его дыхание с трудом вырывалось из стесненной груди. Его ноги, казалось, были налиты свинцом. Во рту совершенно пересохло. Сердце так усиленно билось, что причиняло ему физическую боль. И все-таки он приближался, подстрекаемый гордостью и напрягая все усилия, чтобы победить позорное чувство.

Расстояние между обоими мужчинами постепенно уменьшалось. Мексиканец стоял не шевелясь и ждал.

Когда их разделяло каких-нибудь пять ярдов, с обрыва к ногам стражника посыпался песок и камни. Инстинктивно он взглянул наверх. Его взор встретился с парой темных глаз, полных мягкого блеска и страстной нежности. Самое трусливое и самое храброе сердце во всем округе Рио-Браво вошли в молчаливый и таинственный контакт. Альварита, все еще сидя на ветке ползучих растений, наклонилась вперед над кустами. Пышная, черная коса спадала через плечо. Губы были полуоткрыты; лицо выражало изумление

— великое изумление. Глаза ее встретились со взором Бекли. Не спрашивайте и не старайтесь объяснить, каким таинственным образом свершилось чудо. Как при вспышке молнии две тучи сталкиваются и обмениваются избытком электричества, так и здесь, при обмене взглядами, мужчина обрел необходимое ему мужество, а девушка утратила самоуверенность, что увеличило ее прелесть.

Мексиканец внезапно встрепенулся, изменив свою позу бесстрашного ожидания, и быстро вытащил из-за голенища длинный нож. Бекли отбросил свою шляпу и громко гаркнул, как школьник, радующийся веселой игре. Затем с голыми руками он бросился на Гарсию.

Поединок кончился так быстро, что находившийся в воинственном экстазе стражник почувствовал даже разочарование. Вместо того чтобы нанести традиционный удар сверху вниз, мексиканец прыгнул прямо вперед с ножом в руке. Бекли воспользовался этой случайностью и ловко захватил его кисть. Затем он нанес ему сокрушительный удар в челюсть — и Гарсиа повалился без чувств под куст кактуса. Стражник победоносно взглянул наверх на Королеву змей. Альварита побежала ему навстречу.

— Я очень рад, что случайно оказался поблизости, — сказал Бекли.

— Он… он меня так напугал, — пожаловалась Альварита.

Они не слышали протяжного, глухого шипенья пифона из-за кустов. Самое хитрое из животных, он, без сомнения, выражал свое презрение, что так долго жил в подчинении у этой дрожащей от страха повелительницы, которую он считал всегда сильной и могущественной.

Затем к месту происшествия прискакали гражданские власти, и стражник передал им поверженного нарушителя общественной тишины, которого они и увезли, перебросив через седло одной из своих лошадей. Но Бекли и Альварита не спешили уходить.

Они шли медленно, медленно. Стражник поднял свой пояс с револьверами. С нежной застенчивостью она попросила показать ей сорокапятикалиберные револьверы и с непривычной для нее робостью взяла их в руки, издавая охи да ахи.

Сумерки спускались на овраг. За ним виднелся внешний мир — высокий берег реки, залитый еще последними лучами заходящего солнца.

Внезапно с уст Альвариты сорвался крик

— пронзительный, испуганный крик. Она отшатнулась назад, и сильная рука Бекли с готовностью приняла ее в свои объятия. Что навело такой зловещий ужас на неустрашимую доселе королеву?

По тропинке ползла гусеница — противная, слизистая, двухдюймовая гусеница! Поистине, Куку, ты был отомщен! Так отреклась от своего престола Королева змей и viva la regina!

Кудряш

Перевод Э. Бродерсон

Бродяга Кудряш бочком пробирался к буфетной стойке, чтобы стянуть даровую закуску. Он поймал на себе мимолетный взгляд буфетчика и остановился, стараясь придать себе вид делового человека, только что пообедавшего в ресторане и поджидающего друга, который обещал заехать за ним в автомобиле. У Кудряша было достаточно артистических способностей, чтобы разыграть эту роль, но костюм и внешность не подходили к данному случаю.

Буфетчик как бы случайно вышел из-за стойки, глядя на потолок, словно решая вопрос — нужно ли его побелить или нет, — а потом неожиданно взглянул на подозрительного посетителя, так что тот растерялся и попался на месте преступления. С непоколебимым спокойствием буфетчик подошел к нему, выставил бродягу за дверь и пнул его с такой силой ногой, что Кудряш упал в канаву. Такой прием нередко практикуется на Юго-Западе.

Кудряш, однако, не почувствовал обиды или

злобы против вышибалы, так как пятнадцать лет бродяжнической жизни закалили его дух. Удары жестокой судьбы, как стрелы, отскакивали от щита, прикрывавшего его самолюбие. С особенной покорностью он сносил оскорбления и обиды от буфетчиков. Он считал даже в порядке вещей, что они были его врагами, и необходимость заставляла его примириться с этим. Но он еще не был знаком с типом юго-западных буфетчиков, которые со спокойным и важным видом какого-нибудь графа молча и быстро выпроваживали гостя, как пешку, если он им почему-либо казался подозрительным.

Кудряш несколько минут простоял на узкой, заросшей травой улице. Третий день он уже находился в Сан-Антонио и все еще не мог освоиться с этим городом. Он прибыл сюда в товарном вагоне по совету одного из своих товарищей, который уверил его, что этот город был манной небесной, собранной, сваренной и поданной со сливками и сахаром. И действительно, Кудряш нашел, что этот город не так уже плох. Здесь он встретил и сочувствие и гостеприимство, но оно было какое-то безалаберное.

После шумных, деловых городов Севера и Востока этот город показался ему странным. Здесь

ему нередко удавалось выманить доллар, но за ним обязательно следовал добродушный пинок. Однажды компания веселых ковбоев поймала его при помощи лассо на военном плацу и протащила по земле до тех пор, пока одежда его не приняла такого вида, что всякий уважающий себя тряпичник отказался бы от нее. Извилистые улицы и тупики немало смущали его. Но больше всего приводило его в недоумение бесконечное количество совершенно одинаковых по форме мостиков, перекинутых через маленькую, извилистую речку, протекавшую через город.

Пивная, из которой его вышибли, находилась на углу. Было восемь часов. Экипажи оттеснили Кудряша к узкому каменному тротуару. Налево, между строениями, он увидел проход, который оказался переулком. За исключением одной полоски света, там было совершенно темно. Где свет, подумал он, там, несомненно, должны были быть и люди. А где были люди, там, должно быть, была и еда и, может быть, даже и выпивка. Поэтому Кудряш направил свои шаги по направлению к свету.

Свет исходил из кафе Швегеля. Перед входом в него на тротуаре Кудряш поднял оброненный конверт. Может быть, в нем находится чек на

миллион долларов, подумал Кудряш. Конверт оказался пустым; но бродяга прочел: «Мистеру Отто Швегелю» и название города и штата. На почтовом штемпеле стояло «Детройт».

Кудряш вошел в кафе. Теперь при свете огней можно было заметить, что на нем лежал отпечаток многих лет бродяжничества. В нем не было опрятности, присущей пронырливым бродягам-профессионалам. Его костюм представлял собою смесь различных фасонов и эпох. Сапоги на ногах были изделием двух различных сапожных фабрик. При взгляде на него у вас невольно появлялись воспоминания о мумиях, вороньих пугалах, русских эмигрантах и людях, живущих на необитаемых островах. Его лицо почти до глаз заросло кудрявой бородой, которая и дала повод для его прозвища. Светло-голубые глаза, полные угрюмости, страха, хитрости, наглости и раболепства, свидетельствовали о тех тисках, в которых находилась его душа.

Помещение кафе было небольшое, и воздух был насыщен кухонным чадом и запахом пива. Запах свинины и капусты, казалось, вытеснил весь водород и кислород. За буфетной стойкой работал сам Швегель с одним подручным, потовые железы которого, по-видимому, действовали

очень исправно. Посетителям подавались к пиву горячие сосиски с кислой капустой. Кудряш пробрался к концу стойки, кашлянул и заявил Швегелю, что он безработный столяр, прибывший из Детройта.

Как ночь следует за днем, так и за его заявлением последовало угощение кружкой пива и ужином.

— Может быть, вы были знакомы в Детройте с Генрихом Штраусом? — спросил Швегель.

— Знавал ли я Генриха Штрауса? — переспросил Кудряш с чувством. — Хотел бы я иметь по доллару за каждую игру в бильярд, которую я сыграл с Гейни по воскресным вечерам.

Вторая кружка пива и второе блюдо с горячими сосисками появились перед находчивым дипломатом. А затем Кудряш, зная, что такая игра в «доверие» долго продолжаться не может, незаметно вышел на улицу.

Но вскоре он стал замечать и неудобства этого южного города. Здесь не было уличного оживления, веселья и музыки, которые доставляют развлечение даже беднейшим жителям северных городов. Даже в такой ранний час мрачные каменные дома были уже плотно закрыты ставнями, чтобы не впустить неприятной ночной

сырости. Улицы казались расщелинами между скал, и по ним расстилался густой туман. Идя по улицам, Кудряш слышал за закрытыми ставнями смех и звон денег, а музыка доносилась из каждой щели ставен. Но эти развлечения были эгоистичны; день народных увеселений еще не настал для Сан-Антонио.

Но, завернув за угол какой-то пустынной улицы, Кудряш наткнулся на шумную компанию скотоводов с далеких ранчо, веселящуюся на открытом воздухе перед старинной гостиницей. Один из весельчаков, крупный овцевод, как раз уговаривавший своих товарищей отправиться в пивную, захватил с собою заодно и Кудряша. Короли скота и шерсти шумно приветствовали его как новое зоологическое открытие и спьяна осыпали его любезностями.

Но час спустя Кудряш шатаясь уже выходил из пивной, отпущенный своими изменчивыми друзьями, так как интерес к нему так же скоро исчез, как и возник. Кудряш был по горло насыщен едой и напоен пивом, и единственный, смущавший его теперь вопрос был вопрос о ночлеге.

Начал моросить холодный техасский дождь, который поднимает клубы пара от теплых камней мостовых и домов и удручающе действует

на настроение.

Кудряш побрел по первой извилистой улице, в которую завели его не повиновавшиеся ему ноги. В конце улицы на берегу речки он заметил в каменной стене открытые ворота. Внутри он увидел костры лагеря и ряд низких деревянных навесов, пристроенных к трем сторонам каменной стены. Он вошел в огороженное место. Под навесами стояло много лошадей, жевавших овес и рожь. На дворе стояло много фургонов и телег с упряжью, небрежно брошенной на оглобли. Кудряш догадался, что это был один из тех постоялых дворов, которые держат торговцы для своих приезжих клиентов. На дворе никого не было видно. Вероятно, возницы этих фургонов разбрелись по городу полюбоваться его достопримечательностями и приобщиться к городскому веселью. Должно быть, они так спешили, что последние оставили деревянные большие ворота настежь открытыми.

Количество съеденного и выпитого Кудряшом удовлетворило бы голод удава и жажду верблюда. Поэтому он не был ни в настроении, ни в состоянии что-либо исследовать. Шатаясь из стороны в сторону, он добрел до первого фургона, который он различил в полутьме под навесом.

Фургон был с брезентовым кузовом и наполовину наполнен грудой мешков из-под шерсти, двумя или тремя узлами серых одеял, разными тюками и ящиками. Трезвый глаз сразу увидел бы, что эта кладь была предназначена к отправке на следующий день на какую-нибудь далекую ферму. Но сонному, пьяному мозгу Кудряша этот фургон сулил только тепло и защиту от холодной ночной сырости. После нескольких неудачных попыток он наконец настолько овладел равновесием, что вскарабкался на колесо и упал на такую мягкую и теплую постель, на какой ему уже давно не приходилось спать. Затем он начал прочищать себе дорогу между мешками и одеялами, инстинктивно желая спрятаться от холодного воздуха, и зарылся так глубоко, как медведь в берлоге.

В течение последних трех ночей Кудряш почти вовсе не спал. Поэтому теперь, когда Морфей удостоил его своим посещением, Кудряш так крепко ухватился за старого мифологического джентльмена, что было бы чудом, если бы кому-нибудь другому на свете удалось заснуть в эту ночь.

* * *

Шесть загонщиков скота с ранчо Сибело сидели у дверей потребительской лавки. Их пони разгу-

ливали тут же и мирно щипали траву. Поводья были брошены на землю, и этого было достаточно, чтобы удержать их (такова сила привычки и воображения), не привязывая к дереву.

Загонщики скота сидели и, держа в руках папиросную бумагу, добродушно ругали лавочника Сэма Ривелля. Сэм невозмутимо стоял в дверях, пощелкивая своими подтяжками, надетыми на красную шелковую рубаху, и с любовью поглядывая на свои желтые сапоги.

Вина Сэма была немаловажная — он допустил истощение запаса курева, не возобновив его вовремя.

— Я думал, ребята, что есть еще ящик под прилавком, — объяснил он. — Но это оказались патроны.

— Наверное, ты схватил гапендицит, — сказал Дубина Роджерс, наездник из Ларго Верде. — Кто-нибудь ударил тебя по голове рукояткой хлыста. Я за девять миль приехал, чтобы купить немного табаку. И это будет неприлично с нашей стороны, если мы не дадим тебе за это вздрючку.

— Ребята наши курили нюхательный табак, смешанный с сушеными мескитовыми листьями, когда я уехал, — со вздохом оказал Мустанг Тейлор, объездчик лошадей из лагеря «Три вя-

за». — Они ждут меня обратно к девяти часам. Они будут сидеть с папиросной бумагой в руках, чтобы сразу же скрутить папироску из настоящего табака. И мне придется сказать им, что этот красноглазый, тупоголовый Сэм Ривелль в желтых сапогах не приготовил нам табака.

Грегорио Сокол, мексиканский вакеро, который был первым по части метания лассо, отодвинул назад на своих черных густых кудрях большую, расшитую серебром шляпу и стал скрести в карманах жалкие остатки драгоценного табака.

— Ах, дон Самуэль, — сказал он с упреком, но со свойственной ему кастильской вежливостью, — простите меня. Говорят, что кролики и бараны имеют самые маленькие sesos, как это по-вашему, — мозги, что ли? Я не верю этому, дон Самуэль… простите меня. Я думаю, что люди, которые не держат курительный табак… но вы простите меня, дон Самуэль…

— К чему пережевывать одно и то же, ребята, — сказал невозмутимый Сэм, нагнувшись, чтобы протереть свои новые сапоги цветным платком. — Ренси было дано во вторник поручение привезти из Сан-Антонио новую партию табака. С часу на час я жду его; он должен скоро приехать со своим фургоном. Там товару не

так много — несколько мешков табака, гвозди, консервы и еще несколько предметов, которые вышли у нас в лавке. Ренси всегда рано выезжает и мчится сломя голову, так что он должен быть здесь, по-моему, к закату солнца.

— А на каких лошадях он поехал? — спросил Мустанг Тейлор, и в голосе его слышалась надежда.

— На серых, что ходят в тележке, — ответил Сэм.

— В таком случае я маленько обожду, — сказал объездчик. — Эти жеребцы глотают мили с такой скоростью, с какой птица проглатывает червяка. А пока, в ожидании лучшего, открой-ка мне, Сэм, жестянку ренклодов.

— Открой и мне тоже каких-нибудь консервов, — сказал Дубина Роджерс. — Я тоже обожду.

В ожидании табака погонщики уселись поудобнее на ступеньках лавки. Внутри Сэм маленьким топором открывал крышки на жестянках с консервами.

Лавка представляла собой большое белое деревянное строение, похожее на ригу, и стояла в пятидесяти ярдах от усадебного дома. За ним находились коралли для лошадей, а еще дальше навесы для хранения шерсти и покрытые хворо-

стом загоны для стрижки овец (на ранчо Сиболо разводили не только крупный скот, но и овец). За лавкой, на небольшом расстоянии, были расположены крытые соломой хижины мексиканцев, служивших на ранчо.

Усадебный дом состоял из четырех больших комнат с оштукатуренными стенами и небольшой деревянной надстройки из двух комнат. Вокруг всего здания шла веранда в двадцать футов шириной. Дом находился в роще из огромных дубов и вязов вблизи озера — длинного, не очень широкого, но очень глубокого озера, в котором, при наступлении темноты, огромные щуки выпрыгивали на поверхность и снова погружались с таким же шумом, как плескающиеся в воде гиппопотамы. С деревьев свешивались большие гирлянды лиан и тяжелые сережки серого мха, растущего только на юге. Действительно, усадебный дом Сиболо больше напоминал южные постройки, чем западные. Казалось, будто старый «Киова» Трюсделль принес его с собой из равнин Миссисипи, когда в пятьдесят пятом году он прибыл в Техас с ружьем через плечо.

Но хотя Трюсделль и не принес с собой родового дома, он все же прихватил кое-что, что оказалось прочнее камня и кирпича. Он принес

семейную вражду между Трюсделлями и Куртисами. И когда один из Куртисов купил ранчо Лос-Ольмос, в шестнадцати милях от Сиболо, то поросшие грушевыми деревьями и кактусами равнины сделались ареной многих интересных происшествий. В эти дни от карабина Трюсделля пало не только много волков, тигров и мексиканских львов, но и двое представителей семьи Куртиса. В свою очередь, и Трюсделлю пришлось похоронить своего родного брата с куртисовской пулей в груди на берегу озера в Сиболо. Вскоре после этого племя индейцев киова совершило свой последний набег на усадьбы между реками Фрио и Рио-Гранде, и Трюсделль во главе своих всадников смёл их до последнего человека с лица земли, чем и заслужил свое прозвище «Киова». После этого наступило его благоденствие в виде растущих стад и увеличивающихся земель, а потом пришла старость — и семейное горе. С огромной гривой волос, белый, как лунь, и с свирепыми голубыми глазами, сидел он под навесом веранды своего дома и рычал от ярости, как те пумы, которых он когда-то убивал. Старость его не страшила, и не это было причиной его горя. Печаль его состояла в том, что его единственный сын, Ренси, хотел жениться на девушке из семьи

Куртисов, единственного уцелевшего отпрыска враждебной семьи.

* * *

В течение некоторого времени около лавки слышен был только стук оловянных ложек о жестянки консервов, поедаемых погонщиками, да топот пасущихся пони и заунывное пение Сэма, который с довольным видом в двадцатый раз причесывал свои жесткие каштановые волосы перед кривым зеркалам.

Со ступенек лавки можно было видеть неровную, отлогую полосу прерии, тянувшуюся к югу. Низкие места были покрыты ярко-зеленой, волнующейся на ветру, мескитовой травой, а небольшие холмы увенчаны почти черными массами низких кактусов. По мескитовому лугу вилась дорога, которая в пяти милях от ранчо соединялась с большой дорогой, ведущей в Сан-Антонио. Солнце стояло так низко, что самые небольшие возвышения бросали длинные синие тени в зеленовато-золотистое море солнечного света.

В этот вечер слух был острее зрения.

Мексиканец поднял палец, призывая к тишине. Стук ложек о жестянки прекратился.

— Вдали слышен фургон, — сказал он. — Вот он пересекает ручей Гондо… Я слышу уже шум колес… Очень каменистое дно у этого ручья…

— У вас, однако, тонкий слух, Грегорио, — сказал Мустанг Тейлор. — Я ничего не слышу, кроме чириканья птиц в кустах и дуновенья ветерка в долине.

Через десять минут Тейлор заметил:

— Я вижу облако пыли, подымающееся прямо над краем луга.

— У вас очень тонкое зрение, синьор, — сказал улыбаясь Грегорио.

На расстоянии двух миль видно было небольшое облачко, затемнявшее зеленую рябь мескитовой травы. Через двадцать минут послышался топот копыт, а еще через пять минут из-за чащи кустарника показалась пара серых лошадей. Они весело ржали, чуя овес, и быстро неслись, таща за собой фургон с такой легкостью, как будто он был игрушечный.

Из хижин послышались крики: «El Amo! El Amo!» Четверо мексиканских мальчишек стремглав побежали распрягать лошадей. Погонщики приветствовали прибытие фургона радостными криками.

Ренси Трюсделль, сидевший на козлах, бросил

поводья на землю и засмеялся.

— Он находится под брезентом, ребята, — сказал он. — Я знаю, чего вы ждете. Там два ящика. Вытащите их и откройте. Я знаю, вы все хотите покурить.

Шесть пар рук стали рыться под мешками и одеялами, стараясь достать ящики с табаком.

Верзила Коллинз, посланный за табаком лагерем Сан-Габриэль и славившийся самыми длинными шпорами во всем западном крае, шарил длинной, как дышло, рукой. Он захватил что-то, что было тверже одеял, и вытащил какую-то странную вещь — бесформенный грязный кожаный предмет, связанный проволокой и веревкой. Из обтрепанного его конца, подобно голове и когтям встревоженной черепахи, высовывались пальцы человеческой ноги.

— У-у-у! — заорал Верзила Коллинз. — Что это, Ренси, ты возишь с собою человеческие трупы? Откуда это у тебя?

Пробудившись от своего долгого сна, Кудряш прорыл себе путь наружу и уселся, мигая, как безобразная сова. Лицо его было синевато-красное, одутловатое; опухшие глаза казались щелками, нос — маринованной свеклой, волосы — как у дикобраза. Что же касается всей фигуры, то можно

было принять его за воронье пугало.

Ренси спрыгнул с козел и широко раскрытыми глазами уставился на странный привезенный им груз.

— Ах ты, чучело поганое! — воскликнул Ренси. — Как ты сюда попал?

Погонщики в восторге обступили фургон. Они даже на время забыли про табак.

Кудряш медленно огляделся по сторонам. Затем он проворчал что-то себе под нос, как шотландский терьер.

— Где я? — прохрипел он сдавленным голосом. — Это какая-то проклятая ферма в поле! Зачем вы меня сюда привезли, скажите-ка? Разве я вас об этом просил? Что вы меня обступили? Убирайтесь прочь, или я разобью ваши рожи.

— Вытащи-ка его оттуда, Коллинз, — сказал Ренси.

Кудряш соскользнул вниз и упал на спину. Он встал и сел на ступеньки лавки, обхватив колени и дрожа от злости. Тейлор вытащил ящик табака и отбил от него крышку. И вскоре шесть папирос задымили, знаменуя мир и прощение Сэму.

— Как ты попал в мой фургон? — повторил Ренси, на этот раз таким голосом, который требовал ответа.

Кудряш знал этот тон. Таким тоном говорили проводники товарных вагонов и важные особы в синих мундирах с дубинками в руках.

— Я? — проворчал он. — Вы это со мной говорите? Очень просто, я собирался в ресторан Менджера, но мой лакей забыл упаковать мою пижаму. Поэтому я забрался в этот фургон на постоялом дворе, поняли? Я никогда не просил вас привезти меня на эту ферму, поняли?

— Что это за животное? — спросил Дубина Роджерс, захлебываясь от восторга и забыв даже о курении. — Где оно водится и чем питается?

— Это канюк, — сказал Мустанг, — который завывает по ночам на вязах у болот. Только вот не знаю, кусается ли он или нет?

— Нет, не то, Мустанг, — с серьезным видом вмешался Верзила. — У канюков плавники на спине и восемнадцать пальцев на ногах. Это — чапура. Он живет под землей и питается вишнями. Не подходи к нему близко. Одним ударом хвоста он снесет всю усадьбу.

Космополит Сэм, знавший по имени всех буфетчиков в Сан-Антонио, стоял в дверях. Он оказался сильнее всех в зоологии.

— Врите, врите, да знайте меру, — сказал он, а затем обратился к Ренси: — Где вы выкопали это

сокровище, Ренси? Не собираетесь ли вы из ранчо устроить музей редкостей?

— Слушайте, — сказал Кудряш, от бронированной груди которого отскакивали все стрелы остроумия. — Нет ли у кого-либо из молодцов что-нибудь выпить с похмелья? Можете забавляться сколько угодно — мне все равно!..

Он обернулся к Ренси:

— Слушайте, вы завезли меня в вашу проклятую степь — разве я просил вас об этом? Дайте мне хоть что-нибудь выпить, а то я разнесу все на мелкие куски!

Ренси видел, что нервы бродяги были напряжены до крайности. Он послал одного из мальчишек в усадебный дом за стаканом виски. Кудряш залпом выпил его, и глаза его выразили благодарность, напоминавшую преданность собаки.

— Спасибо, хозяин, — сказал он спокойно.

— Вы находитесь в тридцати милях от железной дороги и в сорока милях от ближайшего трактира, — сказал Ренси.

Кудряш беспомощно повалился на ступеньки лестницы.

— Идемте со мной, раз вы уж попали сюда — продолжал Ренси. — Не можем же мы вас вышвырнуть в степь. Кролик и тот бы вас разорвал

на куски.

Он повел Кудряша под большой навес, где хранились усадебные повозки. Там он раздвинул парусиновую походную кровать и принес одеяло.

— Не думаю, чтобы вы могли заснуть, — сказал Ренси, — раз вы проспали целые сутки. Но вы можете здесь остаться до утра. Я пошлю к вам Педро с едой.

— Не могу уснуть! — сказал Кудряш. — Я могу спать хоть целую неделю подряд.

* * *

Ренсон Трюсделль проехал в этот день больше пятидесяти миль. И однако вот что он сделал после этого.

Старый Киова Трюсделль сидел в большом плетеном кресле и читал при свете керосиновой лампы. Ренси подошел к нему и положил ему на стол пачку только что привезенных из города газет.

— Ты уже вернулся, Ренси? — сказал старик, подняв голову. — Сын мой, — продолжал «Киова», — я весь день думал о том, о чем мы с тобой говорили. Я хочу, чтобы ты мне сказал это еще раз. Я жил для тебя. Я сражался с волками, с ин-

дейцами и с еще большими злодеями — белыми людьми, чтобы защитить тебя. Ты не помнишь своей матери. Я воспитал тебя, я научил тебя метко стрелять, мастерски ездить верхом и жить честно. Я много работал, чтобы накопить для тебя побольше долларов. Ты будешь богатым человеком, Ренси, когда меня не будет. Я тебя сделал таким, какой ты есть. Ты не принадлежишь себе — ты прежде всего должен сделаться настоящим Трюсделлем. А теперь скажи мне, выкинул ли ты из своей головы любовь к дочери Куртиса?

— Я еще раз повторяю вам, — медленно сказал Ренси. — Так же верно, как я — Трюсделль и что вы — мой отец, так же верно и то, что я никогда не женюсь на дочери Куртиса.

— Ты хороший мальчик, — сказал старик Киова. — Пойди теперь и поужинай.

Ренси прошел в кухню, находившуюся в задней половине дома. Педро, мексиканский повар, поднялся с места, чтобы принести кушанье, которое было поставлено в духовой шкаф.

— Только чашку кофе, Педро, — сказал Ренси и выпил ее стоя.

— Под большим навесом на койке лежит бродяга, — сказал он потом. — Отнеси ему чего-нибудь поесть. На всякий случай захвати двойную пор-

цию, он, наверно, очень проголодался.

Отсюда Ренси направился к мексиканским хижинам. Ему навстречу выбежал мальчик.

— Мануэль, — сказал Ренси, — можешь ли ты поймать для меня в маленьком загоне Вами-носа?

— Почему нет, синьор? Я видел его два часа тому назад. У него на шее веревка.

— Поймай его и оседлай как можно скорее.

— Сию минуту, синьор.

Вскоре Ренси вскочил на оседланного Ваминоса и помчался к востоку мимо лавки, где сидел Сэм и наигрывал на гитаре при лунном свете.

Но следует сказать несколько слов о Ваминосе — о славном караковом пони. Мексиканцы, у которых имеется сотня названий для лошадиных мастей, называли его gruyo. Он был мышиного цвета, пего-саврасо-караковой масти, если вы можете представить себе такую комбинацию. Вдоль спины, от гривы до хвоста, шла черная полоса. Он был неутомим, и землемеры за всю свою жизнь не проходили столько миль, сколько он мог проскакать в один день.

В восьми милях к востоку от ранчо Сиболо Ренси перестал сдавливать бока лошади, и Ваминос остановился под большим ратамовым

деревом. Желтые его цветы испускали аромат, превосходивший запах роз. Земля казалась при свете луны большой вогнутой чашей, крышкой которой служил хрустальный небесный свод. На прогалине прыгали и играли, как котята, пять степных зайцев. В восьми милях дальше на восток слабо сияла звезда, которая, казалось, упала на горизонт. Ночные всадники, часто проезжавшие этой дорогой, знали, что это был свет в ранчо Лос-Ольмос.

Через десять минут к дереву прискакала Иенна Куртис на своем гнедом пони, Плясуне. Оба всадника наклонились и сердечно пожали друг другу руки.

— Мне нужно было бы подъехать ближе к твоему дому, — сказал Ренси. — Но ты никогда мне этого не позволяешь.

Иенна засмеялась. И при мягком свете луны можно было увидеть ее белые зубы и бесстрашные глаза. В ней не было никакой сентиментальности, несмотря на лунный свет, на одуряющий запах цветов и на красивую фигуру Ренси Трюсделля. И все же она приехала сюда, за восемь миль от дома, чтобы повидаться с ним.

— Я всегда тебе говорила, Ренси, что я твоя только до полдороги. Всегда только до полдороги!

— Ну а что сказал отец? — спросил Ренси.

— С своей стороны, я сделала все, — сказала Иенна со вздохом. — Я с ним поговорила после обеда, предполагая, что он в хорошем настроении. Приходилось ли тебе когда-нибудь разбудить льва, ошибочно приняв его за котенка? Он чуть не разнес все ранчо на куски. Все кончено. Я люблю своего отца, Ренси, — и я боюсь… да, я боюсь его. Он заставил меня дать ему обещание, что я никогда не выйду замуж за Трюсделля. Я должна была это сделать! Ну а чем кончились переговоры с твоим отцом?

— Тем же самым, — тихо сказал Ренси. — Я обещал ему, что его сын никогда не женится на девушке из семьи Куртис. Я тоже не мог идти против него. Он очень уж стар. Мне очень жаль, Иенна.

Девушка наклонилась к нему и положила свою руку на руку Ренси, лежавшую на луке.

— Я никогда не думала, что полюблю тебя еще больше за то, что ты отказался от меня, — горячо сказала она, — но между тем это так. Я должна теперь вернуться домой, Ренси. Я тайком ушла из дома и сама оседлала своего Плясуна. Доброй ночи, Ренси.

— Доброй ночи, — сказал Ренси. — Будь осто-

рожна, когда будешь проезжать мимо барсучьих нор.

Они повернули лошадей и поехали в разные стороны. Иенна обернулась и звонко крикнула:

— Не забудь, Ренси, я твоя до полдороги.

— Будь они прокляты, все эти семейные распри и наследственные ссоры, — злобно пробормотал Ренси, возвращаясь обратно в Сиболо.

Ренси отвел лошадь в маленький загон и прошел в свою комнату. Он открыл нижний ящик старинного бюро, чтобы вынуть пачку писем, которые писала ему Иенна однажды летом, когда она уехала на Миссисипи погостить к знакомым. Ящик застрял, и он с силой рванул его — по обычаю всех мужчин. Ящик выдвинулся из бюро, но оба его бока треснули — по обычаю всех ящиков. При этом выпало из верхнего ящика пожелтевшее письмо без конверта. Ренси поднес его к лампе и с любопытством прочел…

Затем он взял свою шляпу и направился в одну из мексиканских хижин.

— Тиа Хуана, — сказал он, — я хотел бы переговорить с тобой относительно одного дела.

Старая-престарая мексиканка, с белыми волосами и вся в морщинах, поднялась со стула.

— Сиди, сиди, — сказал Ренси, снимая шляпу

и садясь на стул. — Скажи мне, Тиа Хуана, кто я? — спросил он по-испански.

— Дон Ренсом, наш добрый друг и хозяин. Почему вы это спрашиваете? — спросила удивленно старуха.

— Тиа Хуана, кто я? — повторил он, глядя в упор на нее.

На лице старухи показался испуг. Дрожащими руками стала она перебирать свою черную шаль.

— Тридцать два года прожила я на ранчо Сиболо, — сказала Тиа Хуана. — Я думала, что меня схоронят под большими деревьями за садом раньше, чем это узнается. Закройте дверь, дон Ренсом, и я все расскажу вам. Я вижу по вашему лицу, что вы все знаете.

Целый час провел Ренси наедине с Тиа Хуаной. Когда он возвращался домой, Кудряш окликнул его из-под навеса.

Бродяга сидел на койке, болтая ногами, и курил.

— Послушайте, товарищ, — проворчал он, — так не полагается обращаться с человеком, которого похитили. Я прошел в лавку, попросил бритву у того дерзкого франта и выбрился. Но это не все, что требуется человеку. Скажите, не

можете ли вы отпустить мне еще маленько того зелья? Я не просил вас привезти меня на вашу проклятую ферму.

— Встаньте сюда к свету, — сказал Ренси, пристально вглядываясь в него.

Кудряш угрюмо встал и вышел из-под навеса.

Его гладко выбритое лицо, казалось, преобразилось. Волосы были расчесаны и откинуты назад красивой волной. Лунный свет смягчал следы пьянства, а его орлиный нос и небольшой раздвоенный подбородок придавали ему благородный вид.

Ренси с любопытством посмотрел на него.

— Откуда вы родом?.. и есть ли у вас где-нибудь родные?

— Я? Ну, как же, я — лорд, — сказал Кудряш. — Я — сэр Реджинальд… Нет, к чему врать! Я ничего не знаю о своих предках. Я был бродягой с тех пор, как помню себя. Скажите, товарищ, вы меня угостите сегодня вечером или нет?

— Отвечайте на мои вопросы, тогда я вас угощу. Как вы сделались бродягой?

— Я? — ответил Кудряш. — Я выбрал себе эту профессию, когда был еще грудным младенцем. Должен был выбрать. Из своего детства я помню только, что принадлежал какому-то долговя-

зому и ленивому олуху, которого звали Чарли Бифштекс. Он посылал меня по домам просить милостыню. Я был в то время таким маленьким, что не доставал до ручки дверей.

— Он когда-нибудь вам рассказывал, как вы к нему попали? — спросил Ренси.

— Однажды, в трезвом виде, он рассказал мне, что купил меня у пьяной компании мексиканцев, занимавшихся стрижкой овец. Да не все ли вам равно?.. Вот и все, что я знаю о себе…

— Отлично, — сказал Ренси. — Вы мне напоминаете скот, у которого еще нет клейма. Я заберу вас к себе и поставлю вам клеймо ранчо Сиболо. С завтрашнего дня вы начнете работать в одном из лагерей.

— Работать! — презрительно фыркнул Кудряш. — Да за кого вы меня принимаете? Вы думаете, что я буду гоняться за коровами и скакать за дурацкими овцами, как это делают ваши пастухи? И не воображайте, пожалуйста!

— О, вам понравится эта работа, когда вы привыкнете к ней, — сказал Ренси. — Я вам пришлю сейчас с Педро еще стаканчик виски. Я думаю, из вас выйдет через короткое время прекрасный ковбой.

— Из меня? — удивленно спросил Кудряш. —

Мне жаль тех коров, к которым вы меня приставите. Пусть лучше они сами за собой смотрят. Так не забудьте, хозяин, прислать мне на ночь чарочку.

Ренси по дороге домой зашел в лавку. Сэм Ривелль снимал свои желтые сапоги и собирался идти спать.

— Не знаешь ли, — спросил Ренси, — возвращается ли кто-нибудь из парней завтра в лагерь Сан-Габриэль?

— Верзила Коллинс, — коротко ответил Сэм. — Он поедет за почтой.

— Скажи ему, — сказал Ренси, — чтобы он захватил с собой в лагерь этого бродягу и держал его там до моего приезда.

На следующий день, рано утром, Кудряш был отправлен в лагерь Сан-Габриэль, а к вечеру приехал туда Ренси.

Кудряш ругался на чем свет стоит, когда подъехал Ренси. Ковбои не обращали на бродягу никакого внимания. Он был покрыт густым слоем пыли и грязи. Костюм был в самом неприличном виде.

Ренси подошел к управляющему лагерем «Козлу» Рэббу и переговорил с ним.

— Он отъявленный лентяй, — сказал Козел. —

Он не хочет работать! Да стоит ли вообще возиться с такими отбросами. Я не знал, что вы хотите с ним делать, Ренси, а потому не приставил его пока ни к какой работе. По-видимому, он против этого ничего не имеет. Ребята уже хотели его повесить, но я сказал им, что вы намереваетесь что-то с ним сделать.

Ренси скинул свой пиджак.

— Мне думается, что я взялся за трудное дело, но оно должно быть сделано. Мне нужно из этой твари сделать человека. Из-за этого-то я и приехал сюда.

Он подошел к Кудряшу.

— Слушайте, любезный, — сказал он, — мне кажется, вам первым делом следовало бы хорошенько помыться, чтобы занять подобающее место среди ваших новых товарищей.

— Проходите себе мимо, господин фермер, — насмешливо сказал Кудряш. — Если я почувствую потребность помыться, то пошлю за своей нянюшкой.

В двенадцати ярдах от них находился пруд. Ренси схватил Кудряша за ногу и поволок его к берегу, как мешок с картофелем. Затем с силой и ловкостью он швырнул позорного члена общества далеко в пруд.

Кудряш выполз на берег, отплевываясь, как дельфин.

Ренси встретил его с куском мыла и грубым полотенцем в руках.

— Ступайте на другой конец пруда и вымойтесь, — сказал он. — Козел даст вам в лагере сухую одежду.

Бродяга повиновался не протестуя. Ужин был готов к тому времени, как он вернулся в лагерь. Его трудно было узнать в чистой синей рубахе и в коричневых парусиновых шароварах. Ренси наблюдал за ним украдкой.

«Черт возьми, хоть бы не был он трусом, — подумал он. — Надеюсь, что нет».

Его сомнения вскоре рассеялись. Кудряш направился прямо к нему. Его светло-голубые глаза блестели.

— Теперь, когда я чистый, вы, может быть, соблаговолите поговорить со мною, — сказал он многозначительно. — Или вы думаете, что я вам здесь для забавы? — прибавил он, повышая голос. — Вы, мужичье, думаете, что можете набрасываться на человека, пользуясь его беспомощным состоянием? Это большое свинство! И я не желаю оставаться в долгу! — сказал Кудряш, закатив оглушительную пощечину Ренси. На за-

горелой коже остался темно-красный отпечаток его руки.

Ковбои до сих пор вспоминают о последовавшей затем свалке.

Где-то, во время своего бродяжничества по городам, Кудряш научился искусству самозащиты. Ренси обладал только силой и выдержкой. Поэтому боевые силы были почти равны. Кругов, как при настоящей борьбе, конечно, не было. Под конец победила сила и выдержка. Когда Кудряш в последний раз упал от неуклюжего, но могучего удара фермера, он остался лежать на траве, но в глазах все еще светилась неутоленная жажда боя.

Ренси пошел к бочке с водой и смыл кровь с подбородка.

На лице его сияла довольная улыбка.

Очень много пользы могли бы извлечь воспитатели и моралисты, если бы они могли знать подробности метода воспитания, который применил Ренси к своему питомцу в течение месяца, проведенного им в лагере Сан-Габриэль. У Ренси не было разработанных теорий — весь его запас педагогики состоял в уменье объезжать лошадей, да в вере в наследственность.

Ковбои видели, что их хозяин старался сде-

лать человека из странного животного, и они, по молчаливому соглашению, приняли на себя обязанности его помощников. Но у каждого из них была своя собственная система.

Первый урок Кудряша не пропал даром. Он остался в дружеских, а потом и в близких отношениях с мылом и водой. Ренси больше всего нравилось в его питомце то, что он твердо стоял на каждой достигнутой им ступени. Но расстояние между ступенями было иногда очень большое.

Однажды он раздобыл четверть виски, тщательно сберегавшейся в палатке для хранения провианта на случай укуса гремучей змеи, и шестнадцать часов провалялся на траве мертвецки пьяным. Но когда после этого он шатаясь поднялся на ноги, первым его побуждением было найти мыло и полотенце и отправиться к пруду. Другой раз, когда с ранчо был прислан подарок в виде корзины свежих помидоров и молодого лука, Кудряш сожрал всю провизию прежде, чем ковбои явились к ужину.

Тогда ковбои наказали его по-своему. В течение трех дней они не разговаривали с ним и только отвечали на его вопросы с изысканной вежливостью. Они шутили друг с другом; они больно,

но по-приятельски тузили друг друга; они осыпали друг друга дружескими ругательствами и насмешками, но с Кудряшом они были утрированно вежливы. Он замечал это, и это сильно задевало его.

Однажды ночью подул холодный, сырой северный ветер. Самый младший из ковбоев, Вильсон, схватил лихорадку и слег. Когда повар Джо встал на рассвете, чтобы приготовить завтрак, он увидел Кудряша, спавшего в сидячем положении. Кудряш прислонился к колесу фургона и был завернут только в попону, а своими одеялами он прикрыл Вильсона, чтобы защитить его от дождя и ветра.

В таком положении Кудряш провел три ночи и только на четвертую завернулся в свое одеяло и улегся спать как следует. Тогда другие ковбои тихонько встали и стали делать какие-то приготовления. Ренси увидел, как Верзила Коллинз привязывал веревку к луке седла. Остальные доставали свои револьверы.

— Ребята, я вам очень благодарен, — сказал Ренси. — Я надеялся, что вы это сделаете, но мне не хотелось вас просить об этом.

Раздались выстрелы из полудюжины револьверов, странные крики прорезали воздух, и Верзила

Коллинз дико помчался к спавшему Кудряшу, таща за собою седло. Это был просто их способ нежно разбудить жертву. Затем в течение целого часа они донимали его разными шутками согласно кодексу коровьих лагерей. Всякий раз, когда он выражал протест, они его растягивали на одеяле и с грустными лицами секли кожаными ремнями. Все это означало, что Кудряша считали достойным посвятить в ковбои. Отныне ковбои не будут больше никогда с ним обращаться «вежливо», и он будет их полноправным товарищем и собратом по ремеслу.

Когда дурачества кончились, все руки протянулись к огромному кофейнику над костром, чтобы выпить чашку кофе. Ренси с интересом наблюдал за вновь посвященным рыцарем, желая узнать, понял ли он оказанную ему честь и достоин ли он ее. Кудряш, хромая, направился со своей чашкой кофе к бревну и сел на него. Верзила Коллинз последовал за ним и сел рядом с ним. Козел Рэбб тоже пошел и сел по другую сторону. Кудряш весело усмехнулся…

После этого Ренси снабдил Кудряша лошадью, седлом, полной экипировкой и сдал его Козлу Рэббу для окончательной обработки.

Три недели спустя Ренси приехал с ранчо в ла-

герь Рэбба, находившийся в то время в Змеиной долине. Ковбои седлали лошадей для дневного объезда. Ренси отыскал среди них Верзилу Коллинза.

— Ну, как дела с «диким жеребцом»? — спросил он.

Верзила Коллинз усмехнулся.

— А вот он, — сказал Верзила, указывая на Кудряша, — неужто не узнали?.. Вы можете пожать ему руку, если хотите, потому что он честный малый, и лучше его не найти ни в одном лагере.

Ренси взглянул на красивого, загорелого ковбоя, который, улыбаясь, стоял рядом с Коллинзом. Неужели это был Кудряш? Он протянул руку, и Кудряш сжал ее своей крепкой мускулистой рукой.

— Вы мне нужны на ранчо, — сказал Ренси.

— Ладно, товарищ, — весело ответил Кудряш. — Но я хочу снова вернуться сюда. Право, это шикарная ферма. И мне не нужно лучшего занятия, как гнаться за коровами с этой теплой компанией. Все они веселее веселого.

У усадебного дома в Сиболо они соскочили с лошадей. Ренси попросил Кудряша обождать у дверей жилой комнаты, а сам вошел в нее. Старик Киова Трюсделль читал за столом.

— С добрым утром, мистер Трюсделль, — сказал Ренси.

Старик быстро повернул к нему седую, как лунь, голову.

— Что такое? — начал он. — Почему ты меня называешь мистер…

Но, взглянув в лицо Ренси, он остановился, и рука, державшая газету, слегка задрожала.

— Мальчуган, — тихо сказал он, — откуда ты это узнал?

— Ничего, — сказал, улыбаясь, Ренси. — Я заставил Тиа Хуану мне все рассказать. Я это случайно узнал, но все это к лучшему.

— Ты был мне как родной сын, — сказал старик Киова с дрожью в голосе.

— Да, Тиа Хуана мне все рассказала, — сказал Ренси. — Она рассказала мне, как вы усыновили меня, когда я был от горшка два вершка, взяв меня от переселенцев, направлявшихся на запад. И она рассказала мне, как ваш мальчик — ваш родной сын пропал или был украден. Она Сказала мне, что это было в тот самый день, когда мексиканские работники, которые нанялись стричь овец, взбунтовались и ушли с ранчо.

— Наш мальчик исчез из дома, когда ему было два года, — сказал старик. — А вскоре после

этого прибыл обоз с эмигрантами, и с ними был ребенок, который им был в тягость. Таким-то образом мы тебя и взяли. Я не хотел, чтобы ты когда-нибудь узнал об этом, Ренси. Мы никогда не слышали больше о нашем мальчике.

— Если я не ошибаюсь, то он здесь, — сказал Ренси, открыв дверь и позвав Кудряша.

Кудряш вошел.

Не могло быть никаких сомнений. У старика и у молодого человека были такие же волнистые волосы, тот же орлиный нос, тот же овал лица и те же выпуклые голубые глаза.

Старик Киова порывисто встал.

Кудряш с любопытством оглядывал комнату. Удивленное выражение появилось на его лице. Он указал пальцем на противоположную стену.

— Где тик-так? — спросил он странным голосом.

— Часы, — закричал громко Киова. — Здесь действительно всегда раньше стояли большие часы.

Он повернулся к Ренси, но Ренси не было в комнате.

В ста ярдах от дома Ваминос, его добрый конь, мчал его с быстротой скаковой лошади через пыль и колючий кустарник, на восток, к ранчо Лос-Ольмос.

Купидон порционно

Перевод под ред. М. Лорие

— Женские наклонности, — сказал Джефф Питерс, после того, как по этому вопросу высказано было уже несколько мнений, — направлены обыкновенно в сторону противоречий. Женщина хочет того, чего у вас нет. Чем меньше чего-нибудь есть, тем больше она этого хочет. Она любит хранить сувениры о событиях, которых вовсе не было в ее жизни. Односторонний взгляд на вещи несовместим с женским естеством.

— У меня есть несчастная черта, рожденная природой и развитая путешествиями, — продолжал Джефф, задумчиво поглядывая на печку между своими высоко задранными кверху ногами. — Я глубже смотрю на некоторые вещи, чем большинство людей. Я надышался парами бензина, ораторствуя перед уличной толпой почти во всех городах Соединенных Штатов. Я зачаровывал людей музыкой, красноречием, проворством рук и хитрыми комбинациями, в то же время продавая им ювелирные изделия, лекарства, мыло, средство для ращения волос и всякую

другую дрянь. И во время моих путешествий я, для развлечения, а отчасти во искупление грехов, изучал женщин. Чтобы раскусить одну женщину, человеку нужна целая жизнь; но начатки знания о женском поле вообще он может приобрести, если посвятит этому, скажем, десять лет усердных и пристальных занятий. Очень много полезного по этой части я узнал, когда распространял на Западе бразильские брильянты и патентованные растопки, — это после моей поездки из Саванны, через хлопковый пояс, с дельбиевским невзрывающимся порошком для ламп. То было время первого расцвета Оклахомы. Гатри рос в центре этого штата, как кусок теста на дрожжах. Это был типичный городок, рожденный бумом: чтобы умыться, становись в очередь; если засидишься в ресторане за обедом дольше десяти минут, к твоему счету прибавляют за постой; если ночевал на полу в гостинице, утром тебе ставят в счет полный пансион.

По убеждениям моим и по природе я склонен везде разыскивать наилучшие места для кормежки. Я огляделся и нашел заведение, которое меня устраивало как нельзя лучше. Это был ресторан-палатка, только что открытый семьей, которая прибыла в город по следу бума. Они наскоро

построили домик, в котором жили и готовили, и приткнули к нему палатку, где и помешался собственно ресторан. Палатка эта была разукрашена плакатами, рассчитанными на то, чтобы вырвать усталого пилигрима из греховных объятий пансионов и гостиниц для приезжающих. «Попробуйте наше домашнее печенье», «Горячие пирожки с кленовым сиропом, какие вы ели в детстве», «Наши жареные цыплята при жизни не кукарекали» — такова была эта литература, долженствовавшая способствовать пищеварению гостей. Я сказал себе, что надо будет бродячему сынку своей мамы пожевать чего-нибудь вечером в этом заведении. Так оно и случилось. И здесь-то я познакомился с Мэйми Дьюган.

Старик Дьюган — шесть футов индианского бездельника — проводил время лежа в качалке и вспоминая недород восемьдесят шестого года. Мамаша Дьюган готовила, а Мэйми подавала.

Как только я увидел Мэйми, я понял, что во всеобщей переписи допустили ошибку. В Соединенных Штатах была, конечно, только одна девушка! Подробно описать ее довольно трудно. Ростом она была примерно с ангела, и у нее были глаза, и этакая повадка. Если вы хотите знать, какая это была девушка, вы их можете

найти целую цепочку, — она протянулась от Бруклинского моста на запад до самого здания суда в Каунсил-Блафс, штат Индиана. Они зарабатывают себе на жизнь, работая в магазинах, ресторанах, на фабриках и в конторах. Они происходят по прямой линии от Евы, и они-то и завоевали права женщины, а если вы вздумаете эти права оспаривать, то имеете шанс получить хорошую затрещину. Они хорошие товарищи, они честны и свободны, они нежны и дерзки и смотрят жизни прямо в глаза. Они встречались с мужчиной лицом к лицу и пришли к выводу, что существо это довольно жалкое. Они убедились, что описания мужчины, имеющиеся в романах для железнодорожного чтения и рисующие его сказочным принцем, не находят себе подтверждения в действительности.

Вот такой девушкой и была Мэйми. Она вся переливалась жизнью, весельем и бойкостью; с гостями за словом в карман не лазила; помереть можно было со смеху, как она им отвечала. Я не люблю производить раскопки в недрах личных симпатий. Я придерживаюсь теории, что противоречия и несуразности заболевания, известного под названием любви, — дело такое же частное и персональное, как зубная щетка. По-моему, био-

графии сердец должны находить себе место рядом с историческими романами из жизни печени только на журнальных страницах, отведенных для объявлений. Поэтому вы мне простите, если я не представлю вам полного прейскуранта тех чувств, которые я питал к Мэйми.

Скоро я обзавелся привычкой регулярно являться в палатку в нерегулярное время, когда там поменьше народа. Мэйми подходила ко мне, улыбаясь, в черном платьице и белом переднике, и говорила: «Алло, Джефф, почему не пришли в положенное время? Нарочно опаздываете, чтобы всех беспокоить? Жареные-цыплята-бифштекс-свиные-отбивные-яичница-с-ветчиной» — и так далее. Она называла меня Джефф, но из этого ровно ничего не следовало. Надо же ей было как-нибудь отличать нас друг от друга. А так было быстрее и удобнее. Я съедал обыкновенно два обеда и старался растянуть их, как на банкете в высшем обществе, где меняют тарелки и жен и перекидываются шуточками между глотками. Мэйми все это сносила. Не могла же она устраивать скандалы и упускать лишний доллар только потому, что он прибыл не по расписанию.

Через некоторое время еще один парень, — его звали Эд Коллиер, — возымел страсть к принятию

пищи в неурочное время, и благодаря мне и ему между завтраком и обедом и обедом и ужином были перекинуты постоянные мосты. Палатка превратилась в цирк с тремя аренами, и у Мэйми совсем не оставалось времени, чтобы отдохнуть за кулисами. Этот Коллиер был напичкан разными намерениями и ухищрениями. Он работал по части бурения колодцев, или по страхованию, или по заявкам, или черт его знает — не помню уж по какой части. Он был довольно густо смазан хорошими манерами и в разговоре умел расположить к себе. Мы с Коллиером развели в палатке атмосферу ухаживания и соревнования. Мэйми держала себя на высоте беспристрастности и распределяла между нами свои любезности, словно сдавала карты в клубе: одну мне, одну Коллиеру и одну банку. И ни одной карты в рукаве.

Мы с Коллиером, конечно, познакомились и иногда даже проводили вместе время за стенами палатки. Без своих военных хитростей он производил впечатление славного малого, и его враждебность была забавного свойства.

— Я заметил, что вы любите засиживаться в банкетных залах после того, как гости все разошлись, — сказал я ему как-то, чтобы посмотреть, что он ответит.

— Да, — сказал Коллиер подумав. — Шум и толкотня раздражают мои чувствительные нервы.

— И мои тоже, — сказал я. — Славная девочка, а?

— Вот оно что, — сказал Коллиер и засмеялся. — Раз уж вы сказали это, я могу вам сообщить, что она не производит дурного впечатления на мой зрительный нерв.

— Мой взор она прямо-таки радует, — сказал я. — И я за ней ухаживаю. Сим ставлю вас в известность.

— Я буду столь же честен, — сказал Коллиер. — И если только в аптекарских магазинах здесь хватит пепсина, я вам задам такую гонку, что вы придете к финишу с несварением желудка.

Так началась наша скачка. Ресторан неустанно пополняет запасы. Мэйми нам прислуживает, веселая, милая и любезная, и мы идем голова в голову, а Купидон и повар работают в ресторане Дьюгана сверхурочно.

Как-то в сентябре я уговорил Мэйми выйти погулять со мной после ужина, когда она кончит уборку. Мы прошлись немножко и уселись на бревнах в конце города. Такой случай мог не скоро еще представиться, и я высказал все, что имел сказать. Что бразильские брильянты

и патентованные растопки дают мне доход, который вполне может обеспечить благополучие двоих, что ни те ни другие не могут выдержать конкуренцию в блеске с глазами одной особы и что фамилию Дьюган необходимо переменить на Питерс, — а если нет, то потрудитесь объяснить почему.

Мэйми сначала ничего не ответила. Потом она вдруг как-то вся передернулась, и тут я услышал кое-что поучительное.

— Джефф, — сказала она, — мне очень жаль, что вы заговорили. Вы мне нравитесь, вы мне все нравитесь, но на свете нет человека, за которого бы я вышла замуж, и никогда не будет. Вы знаете, что такое в моих глазах мужчина? Это могила. Это саркофаг для погребения в нем бифштексов, свиных отбивных, печенки и яичницы с ветчиной. Вот что он такое, и больше ничего. Два года я вижу перед собой мужчин, которые едят, едят и едят, так что они превратились для меня в жвачных двуногих. Мужчина — это нечто сидящее за столом с ножом и вилкой в руках. Такими они запечатлелись у меня в сознании. Я пробовала побороть в себе это, но не могла. Я слышала, как девушки расхваливают своих женихов, но мне это непонятно. Мужчина, мясорубка и шкаф для

провизии вызывают во мне одинаковые чувства. Я пошла как-то на утренник, посмотреть на актера, по которому все девушки сходили с ума. Я сидела и думала, какой он любит бифштекс — с кровью, средний или хорошо прожаренный и яйца — в мешочек или вкрутую? И больше ничего. Нет, Джефф. Я никогда не выйду замуж. Смотреть, как он приходит завтракать и ест, возвращается к обеду и ест, является, наконец, к ужину и ест, ест, ест…

— Но, Мэйми, — сказал я, — это обойдется. Вы слишком много имели с этим дела. Конечно, вы когда-нибудь выйдете замуж. Мужчины не всегда едят.

— Поскольку я их наблюдала — всегда. Нет, я вам скажу, что я хочу сделать. — Мэйми вдруг воодушевилась, и глаза ее заблестели.

— В Терри-Хот живет одна девушка, ее зовут Сюзи Фостер, она моя подруга. Она служит там в буфете на вокзале. Я работала там два года в ресторане. Сюзи мужчины еще больше опротивели, потому что мужчины, которые едят на вокзале, едят и давятся от спешки. Они пытаются флиртовать и жевать одновременно. Фу! У нас с Сюзи это уже решено. Мы копим деньги и, когда накопим достаточно, купим маленький домик и

пять акров земли. Мы уже присмотрели участок. Будем жить вместе и разводить фиалки. И не советую никакому мужчине подходить со своим аппетитом ближе чем на милю к нашему ранчо.

— Ну, а разве девушки никогда… — начал я.

Но Мэйми решительно остановила меня.

— Нет, никогда. Они погрызут иногда что-нибудь, вот и все.

— Я думал, конфе…

— Ради бога, перемените тему, — сказала Мэйми.

Как я уже говорил, этот опыт доказал мне, что женское естество вечно стремится к миражам и иллюзиям. Возьмите Англию — ее создал бифштекс; Германию родили сосиски, дядя Сэм обязан своим могуществом пирогам и жареным цыплятам. Но молодые девицы не верят этому. Они считают, что все сделали Шекспир, Рубинштейн и легкая кавалерия Теодора Рузвельта.

Этакое положеньице хоть кого могло расстроить. О разрыве с Мэйми не могло быть и речи. А между тем при мысли, что придется отказаться от привычки есть, мне становилось грустно. Я приобрел эту привычку слишком давно. Двадцать семь лет я слепо несся навстречу катастрофе и поддавался вкрадчивым зовам ужасного чудови-

ща — пищи. Меняться мне было поздно. Я был безнадежно жвачным двуногим. Можно было держать пари на салат из омаров против пончика, что моя жизнь будет из-за этого разбита.

Я продолжал столоваться в палатке Дьюгана, надеясь, что Мэйми смилостивится. Я верил в истинную любовь и думал, что если она так часто превозмогала отсутствие приличной еды, то сумеет авось превозмочь и наличие оной. Я продолжал предаваться моему фатальному пороку, но всякий раз, когда я в присутствии Мэйми засовывал себе в рот картофелину, я чувствовал, что, может быть, хороню мои сладчайшие надежды.

Коллиер, по-видимому, тоже открылся Мэйми и получил тот же ответ. По крайней мере, в один прекрасный день он заказывает себе чашку кофе и сухарик, сидит и грызет кончик сухаря, как барышня в гостиной, которая предварительно напичкалась на кухне ростбифом с капустой. Я клюнул на эту удочку и тоже заказал кофе и сухарь. Вот хитрецы-то нашлись, а? На следующий день мы сделали то же самое. Из кухни выходит старина Дьюган и несет наш роскошный заказ.

— Страдаете отсутствием аппетита? — спросил он отечески, но не без сарказма. — Я решил сменить Мэйми, пускай отдохнет. Столик нетрудный,

его и с моим ревматизмом можно обслужить.

Так нам с Коллиером пришлось опять вернуться к тяжелой пище. Я заметил в это время, что у меня появился совершенно необыкновенный, разрушительный аппетит. Я так ел, что Мэйми должна была проникаться ненавистью ко мне, как только я переступал порог. Потом уже я узнал, что я стал жертвою первого гнусного и безбожного подвоха, который устроил мне Эд Коллиер. Мы с ним каждый день вместе выпивали в городе, стараясь утопить наш голод. Этот негодяй подкупил около десяти барменов, и они подливали мне в каждый стаканчик виски хорошую дозу анакондовской яблочной аппетитной горькой. Но последний подвох, который он мне устроил, было еще труднее забыть.

В один прекрасный день Коллиер не появился в палатке. Один общий знакомый сказал, что он утром уехал из города. Таким образом, моим единственным соперником осталась обеденная карточка. За несколько дней до своего исчезновения Коллиер подарил мне два галлона чудесного виски, которое ему будто бы прислал двоюродный брат из Кентукки. Я имею теперь основания думать, что это виски состояло почти исключительно из анакондовской яблочной аппетитной

горькой. Я продолжал поглощать тонны пищи. В глазах Мэйми я по-прежнему был просто двуногим, более жвачным, чем когда-либо.

Приблизительно через неделю после того, как Коллиер испарился, в город прибыла какая-то выставка вроде паноптикума и расположилась в палатке около железной дороги. Я зашел как-то вечером к Мэйми, и мамаша Дьюган сказала мне, что Мэйми со своим младшим братом Томасом отправилась в паноптикум. Это повторилось на одной неделе три раза. В субботу вечером я поймал ее, когда она возвращалась оттуда, и уговорил присесть на минуточку на пороге. Я заметил, что она изменилась. Глаза у нее стали как-то нежнее и блестели. Вместо Мэйми Дьюган, обреченной на бегство от мужской прожорливости и на разведение фиалок, передо мной сидела Мэйми, более отвечающая плану, в котором она задумана была Богом, и чрезвычайно подходящая для того, чтобы греться в лучах бразильских брильянтов и патентованных растолок.

— Вы, по-видимому, очень увлечены этой доселе непревзойденной выставкой живых чудес и достопримечательностей? — спросил я.

— Все-таки развлечение, — говорит Мэйми.

— Вам придется искать развлечения от этого

развлечения, если вы будете ходить туда каждый день.

— Не раздражайтесь, Джефф! — сказала она. — Это отвлекает мои мысли от кухни.

— Эти чудеса не едят?

— Не все. Некоторые из них восковые.

— Смотрите не прилипните, — сострил я без всякой задней мысли, просто каламбуря.

Мэйми покраснела. Я не знал, как это понять. Во мне вспыхнула надежда, что, может быть, я своим постоянством смягчил ужасное преступление мужчины, заключающееся в публичном введении в свой организм пищи. Мэйми сказала что-то о звездах, в почтительных и вежливых выражениях, а я нагородил чего-то о союзе сердец и о домашних очагах, согретых истинной любовью и патентованными растопками. Мэйми слушала меня без гримас, и я сказал себе: «Джефф, старина, ты ослабил заклятие, которое висит над едоками! Ты наступил каблуком на голову змеи, которая прячется в соуснике!»

В понедельник вечером я опять захожу к Мэйми, Мэйми с Томасом опять пошли на непревзойденную выставку чудес.

«Чтоб ее побрали сорок пять морских чертей, эту самую выставку! — сказал я себе. — Будь она

проклята отныне и вовеки! Аминь! Завтра пойду туда сам и узнаю, в чем заключается ее гнусное очарование. Неужели человек, который сотворен, чтобы унаследовать землю, может лишиться своей милой сначала из-за ножа и вилки, а потом из-за паноптикума, куда и вход-то стоит всего десять центов?»

На следующий вечер, прежде чем отправиться в паноптикум, я захожу в палатку и узнаю, что Мэйми нет дома. На сей раз она не с Томасом, потому что Томас подстерегает меня на траве, перед палаткой, и делает мне предложение.

— Что вы мне дадите, Джефф, — говорит он, — если я вам что-то скажу?

— То, что это будет стоить, сынок.

— Мэйми втюрилась в чудо, — говорит Томас, — в чудо из паноптикума. Мне он не нравится. А ей нравится. Я подслушал, как они разговаривали. Я думал — может быть, вам будет интересно. Слушайте, Джефф, два доллара — это для вас не дорого? Там, в городе, продается одно ружье, и я хотел…

Я обшарил карманы и вылил Томасу в шляпу поток серебра. Известие, сообщенное мне Томасом, подействовало на меня так, словно в меня заколотили сваю, и на некоторое время мысли

мои стали спотыкаться. Проливая мелкую монету и глупо улыбаясь, в то время как внутри меня разрывало на части, я сказал идиотски-шутливым тоном:

— Спасибо, Томас… спасибо… того… чудо, говоришь, Томас? Ну а в чем его особенности, этого урода, а, Томас?

— Вот он, — говорит Томас, вытаскивает из кармана программу на желтой бумаге и сует мне ее под нос. — Он чемпион мира — постник. Поэтому, наверно, Мэйми и врезалась в него. Он ничего не ест. Он будет голодать сорок девять дней. Сегодня шестой… Вот он.

Я посмотрел на строчку, на которой лежал палец Томаса: «Профессор Эдуардо Коллиери».

— А! — сказал я в восхищении. — Это не худо придумано, Эд Коллиер! Отдаю вам должное за изобретательность. Но девушки я вам не отдам, пока она еще не миссис Чудо!

Я поспешил к паноптикуму. Когда я подходил к нему с задней стороны, какой-то человек вынырнул, как змея, из-под палатки, встал на ноги и полез прямо на меня, как бешеный мустанг. Я схватил его за шиворот и исследовал при свете звезд. Это был профессор Эдуардо Коллиери, в человеческом одеянии, со злобой в одном глазу и

нетерпением в другом.

— Алло, Достопримечательность! — говорю я. — Подожди минутку, дай на тебя полюбоваться. Ну что, хорошо быть чудом нашего века, или бимбомом с острова Борнео, или как там тебя величают в программе?

— Джефф Питерс, — говорит Коллиер слабым голосом. — Пусти меня, или я тебя тресну. Я самым невероятным образом спешу. Руки прочь!

— Легче, легче, Эди, — отвечаю я, крепко держа его за ворот. — Позволь старому другу насмотреться на тебя всласть. Ты затеял колоссальное жульничество, сын мой, но о мордобое толковать брось: на это ты не годишься. Максимум того, чем ты располагаешь, — это довольно много наглости и гениально пустой желудок.

Я не ошибался: он был слаб, как вегетарианская кошка.

— Джефф, — сказал он, — я согласен был бы спорить с тобой на эту тему неограниченное количество раундов, если бы у меня было полчаса на тренировку и плитка бифштекса в два квадратных фута — для тренировки. Черт бы побрал того, кто изобрел искусство голодать! Пусть его на том свете прикуют навеки в двух шагах от бездонного колодца, полного горячих

котлет. Я бросаю борьбу, Джефф. Я дезертирую к неприятелю. Ты найдешь мисс Дьюган в палатке: она там созерцает живую мумию и ученую свинью. Она чудная девушка, Джефф. Я бы победил в нашей игре, если бы мог выдержать беспищевое состояние еще некоторое время. Ты должен признать, что мой ход с голодовкой был задуман со всеми шансами на успех. Я так и рассчитывал. Но слушай, Джефф, говорят — любовь двигает горами. Поверь мне, это ложный слух… Не любовь, а звонок к обеду заставляет содрогаться горы. Я люблю Мэйми Дьюган. Я прожил шесть дней без пищи, чтобы потрафить ей. За это время я только один раз проглотил кусок съестного; это когда я двинул татуированного человека его же палицей и вырвал у него сэндвич, который он начал есть. Хозяин оштрафовал меня на все мое жалованье. Но я пошел сюда не ради жалованья, а ради этой девушки. Я бы отдал за нее жизнь, но за говяжье рагу я отдам мою бессмертную душу. Голод — ужасная вещь, Джефф. И любовь, и дела, и семья, и религия, и искусство, и патриотизм — пустые тени слов, когда человек голодает.

Так говорил мне Эд Коллиер патетическим тоном. Диагноз установить было легко: требования его сердца и требования желудка вступили

в драку, и победило интендантство. Эд Коллиер мне, в сущности, всегда нравился. Я поискал у себя внутри какого-нибудь утешительного слова, но не нашел ничего подходящего.

— Теперь сделай мне удовольствие, — сказал Эд, — отпусти меня. Судьба крепко меня ударила, но я ударю сейчас по жратве еще крепче. Я очищу все рестораны в городе. Я зароюсь до пояса в филе и буду купаться в яичнице с ветчиной. Это ужасно, Джефф Питерс, когда мужчина доходит до такого: отказывается от девушки ради еды. Это хуже, чем с этим, как его? Исавом, который спустил свое авторское право за куропатку. Но голод — жестокая штука. Прости меня, Джефф, но я чую, что где-то вдалеке жарится ветчина, и мои ноги молят меня погнать их в этом направлении.

— Приятного аппетита, Эд Коллиер, — сказал я, — и не сердись на меня. Я сам создан незаурядным едоком и сочувствую твоему горю.

В эту минуту до нас вдруг донесся на крыльях ветерка сильный запах жареной ветчины. Чемпион-постник фыркнул и галопом поскакал в темноту к кормушке.

Жаль, что этого не видели культурные господа, которые вечно рекламируют смягчающее влияние любви и романтики! Вот вам Эд Коллиер,

тонкий человек, полный всяких ухищрений и выдумок. И он бросил девушку, владычицу своего сердца, и перекочевал на смежную территорию желудка в погоне за гнусной жратвой. Это была пощечина поэтам, издевка над самым прибыльным сюжетом беллетристики. Пустой желудок — вернейшее противоядие от переполненного сердца.

Мне было, разумеется, чрезвычайно интересно узнать, насколько Мэйми ослеплена Коллиером и его военными хитростями. Я вошел внутрь палатки, в которой помещался непревзойденный паноптикум, и нашел ее там. Она как будто удивилась, но не выразила смущения.

— Элегантный вечерок сегодня на улице, — сказал я. — Такая приятная прохлада, и звезды все выстроились в первоклассном порядке, где им полагается быть. Не хотите ли вы плюнуть на эти побочные продукты животного царства и пройтись погулять с обыкновенным человеком, чье имя еще никогда не фигурировало на программе?

Мэйми робко покосилась в сторону, и я понял, что это значит.

— О, — сказал я. — Мне неприятно говорить вам это, но достопримечательность, которая

питается одним воздухом, удрала. Он только что выполз из палатки с черного хода. Сейчас он уже объединился в одно целое с половиною всего съестного в городе.

— Вы имеете в виду Эда Коллиера? — спросила Мэйми.

— Именно, — ответил я. — И самое печальное то, что он опять ступил на путь преступления. Я встретил его за палаткой, и он объявил мне о своем намерении уничтожить мировые запасы пищи. Это невыразимо печальное явление, когда твой кумир сходит с пьедестала, чтобы превратиться в саранчу.

Мэйми посмотрела мне прямо в глаза и не отводила их до тех пор, пока не откупорила всех моих мыслей.

— Джефф, — сказала она, — это не похоже на вас — говорить такие вещи. Не смейте выставлять Эда Коллиера в смешном виде. Человек может делать смешные вещи, но от этого он не становится смешным в глазах девушки, ради которой он их делает. Такие люди, как Эд, встречаются редко. Он перестал есть исключительно в угоду мне. Я была бы жестокой и неблагодарной девушкой, если бы после этого плохо к нему относилась. Вот вы, разве вы способны на такую жертву?

— Я знаю, — сказал я, увидев, к чему она клонит, — я осужден. Я ничего не могу поделать. Клеймо едока горит у меня на лбу. Миссис Ева предопределила это, когда вступила в сделку со змием. Я попал из огня в полымя. Очевидно, я чемпион мира — едок.

Я говорил со смирением, и Мэйми немного смягчилась.

— У меня с Эдом Коллиером очень хорошие отношения, — сказала она, — так же, как и с вами. Я дала ему такой же ответ, как и вам: брак — это не для меня. Я любила проводить время с Эдом и болтать с ним. Мне было так приятно думать, что вот есть человек, который никогда не употребляет ножа и вилки и бросил их ради меня.

— А вы не были влюблены в него? — спросил я совершенно неуместно. — У вас не было уговора, что вы станете миссис Достопримечательность?

Это случается со всеми. Все мы иногда выскакиваем за линию благоразумного разговора. Мэйми надела на себя прохладительную улыбочку, в которой было столько же сахара, сколько и льда, и сказала чересчур любезным тоном:

— У вас нет никакого права задавать мне такие вопросы, мистер Питерс. Сначала выдержите сорокадевятидневную голодовку, чтобы приобре-

сти это право, а потом я вам, может быть, отвечу.

Таким образом, даже когда Коллиер был устранен с моего пути своим собственным аппетитом, мои личные перспективы в отношении Мэйми не улучшились. А затем и дела в Гатри стали сходить на нет.

Я пробыл там слишком долго. Бразильские брильянты, которые я продал, начали понемногу снашиваться, а растопки упорно отказывались загораться в сырую погоду. В моей работе всегда наступает момент, когда звезда успеха говорит мне: «Переезжай в соседний город». Я путешествовал в то время в фургоне, чтобы не пропускать маленьких городков, и вот несколько дней спустя я запряг лошадей и отправился к Мэйми попрощаться. Я еще не вышел из игры. Я собирался проехать в Оклахома-Сити и обработать его в течение недели или двух. А потом вернуться и возобновить свои атаки на Мэйми.

И можете себе представить, — прихожу я к Дьюганам, а там Мэйми, прямо-таки очаровательная, в синем дорожном платье, и у двери стоит ее сундучок. Оказывается, что ее подруга Лотти Белл, которая служит машинисткой в Терри-Хот, в следующий четверг выходит замуж и Мэйми уезжает на неделю, чтоб стать соучастницей

этой церемонии. Мэйми дожидается товарного фургона, который должен довезти ее до Оклахомы. Я обливаю товарный фургон презрением и грязью и предлагаю свои услуги по доставке товара. Мамаша Дьюган не видит оснований к отказу, — ведь за проезд в товарном фургоне надо платить, — и через полчаса мы выезжаем с Мэйми в моем легком рессорном экипаже с белым полотняным верхом и берем направление на юг.

Утро заслуживало всяческих похвал. Дул легкий ветерок, пахло цветами и зеленью, кролики забавы ради скакали, задрав хвостики, через дорогу. Моя пара кентуккийских гнедых так лупила к горизонту, что он начал рябить в глазах, и временами хотелось увернуться от него, как от веревки, натянутой для просушки белья. Мэйми была в отличном настроении и болтала, как ребенок, — о старом их доме, и о своих школьных проказах, и о том, что она любит, и об этих противных девицах Джонсон, что жили напротив, на старой родине, в Индиане. Ни слова не было сказано ни об Эде Коллиере, ни о съестном и тому подобных неприятных материях.

Около полудня Мэйми обнаруживает, что корзинка с завтраком, которую она хотела взять с собой, осталась дома. Я и сам был не прочь

закусить, но Мэйми не выказала никакого неудовольствия по поводу того, что ей нечего есть, и я промолчал. Это было больное место, и я избегал в разговоре касаться какого бы то ни было фуража в каком бы то ни было виде.

Я хочу пролить некоторый свет на то, при каких обстоятельствах я сбился с дороги. Дорога была неясная и сильно заросла травой, и рядом со мной сидела Мэйми, конфисковавшая все мое внимание и весь мой интеллект. Годятся эти извинения или не годятся, это как вы посмотрите. Факт тот, что с дороги я сбился, и в сумерках, когда мы должны были быть уже в Оклахоме, мы путались на границе чего-то с чем-то, в высохшем русле какой-то не открытой еще реки, а дождь хлестал толстыми прутьями. В стороне, среди болота, мы увидели бревенчатый домик, стоявший на твердом бугре. Крутом него росла трава, чапарраль и редкие деревья. Это был меланхолического вида домишко, вызывавший в душе сострадание. По моим соображениям, мы должны были укрыться в нем на ночь. Я объяснил это Мэйми, и она предоставила решить этот вопрос мне. Она не стала нервничать и не корчила из себя жертвы, как сделало бы на ее месте большинство женщин, а просто сказала: «Хорошо». Она знала, что вышло

это не нарочно.

Дом оказался необитаемым. В нем были две пустых комнаты. Во дворе стоял небольшой сарай, в котором в былое время держали скот. На чердаке над ним оставалось порядочно прошлогоднего сена. Я завел лошадей в сарай и дал им немного сена. Они посмотрели на меня грустными глазами, ожидая, очевидно, извинений. Остальное сено я сволок охапками в дом, чтобы там устроиться. Я внес также в дом бразильские брильянты и растопки, ибо ни те ни другие не гарантированы от разрушительного действия воды.

Мы с Мэйми уселись на фургонных подушках на полу, и я зажег в камине кучу растопок, потому что ночь была холодная. Если только я могу судить, вся эта история девушку забавляла. Это было для нее что-то новое, новая позиция, с которой она могла смотреть на жизнь. Она смеялась и болтала, а растопки горели куда менее ярким светом, чем ее глаза. У меня была с собой пачка сигар, и, поскольку дело касалось меня, я чувствовал себя как Адам до грехопадения. Мы были в добром старом саду Эдема. Где-то неподалеку в темноте протекала под дождем река Сион, и ангел с огненным мечом еще не вывесил дощечку «По траве ходить воспрещается». Я открыл гросс или

два бразильских брильянтов и заставил Мэйми надеть их — кольца, брошки, ожерелья, серьги, браслеты, пояски и медальоны. Она искрилась и сверкала, как принцесса-миллионерша, пока у нее не выступили на щеках красные пятна и она стала чуть не плача требовать зеркала.

Когда наступила ночь, я устроил для Мэйми на полу отличную постель — сено, мой плащ и одеяла из фургона — и уговорил ее лечь. Сам я сидел в другой комнате, курил, слушал шум дождя и думал о том, сколько треволнений выпадает на долю человека за семьдесят примерно лет, непосредственно предшествующих его погребению.

Я, должно быть, задремал немного под утро, потому что глаза мои были закрыты, а когда я открыл их, было светло и передо мной стояла Мэйми, причесанная, чистенькая, в полном порядке, и глаза ее сверкали радостью жизни.

— Алло, Джефф, — воскликнула она. — И проголодалась же я! Я съела бы, кажется…

Я посмотрел на нее пристально. Улыбка сползла с ее лица, и она бросила на меня взгляд, полный холодного подозрения. Тогда я засмеялся и лег на пол, чтобы было удобнее. Мне было ужасно весело. По натуре и по наследственности я страшный хохотун, но тут я дошел до предела. Когда я вы-

смеялся до конца, Мэйми сидела, повернувшись ко мне спиной и вся заряженная достоинством.

— Не сердитесь, Мэйми, — сказал я. — Я никак не мог удержаться. Вы так смешно причесались. Если бы вы только могли видеть…

— Не рассказывайте мне басни, сэр, — сказала Мэйми холодно и внушительно. — Мои волосы в полном порядке. Я знаю, над чем вы смеялись. Посмотрите, Джефф, — прибавила она, глядя сквозь щель между бревнами на улицу.

Я открыл маленькое деревянное окошко и выглянул. Все русло реки было затоплено, и бугор, на котором стоял домик, превратился в остров, окруженный бушующим потоком желтой воды ярдов в сто шириною. А дождь все лил. Нам оставалось только сидеть здесь и ждать, когда голубь принесет нам оливковую ветвь. Я вынужден признаться, что разговоры и развлечения в этот день отличались некоторой вялостью. Я сознавал, что Мэйми опять усвоила себе слишком односторонний взгляд на вещи, но не в моих силах было изменить это. Сам я был пропитан желанием поесть. Меня посещали котлетные галлюцинации и ветчинные видения, и я все время говорил себе: «Ну, что ты теперь скушаешь, Джефф? Что ты закажешь, старина, когда придет официант?»

Я выбирал из меню самые любимые блюда и представлял себе, как их ставят передо мною на стол. Вероятно, так бывает со всеми очень голодными людьми. Они не могут сосредоточить свои мысли ни на чем, кроме еды. Выходит, что самое главное — это вовсе не бессмертие души и не международный мир, а маленький столик с кривоногим судком, фальсифицированным вустерским соусом и салфеткой, прикрывающей кофейные пятна на скатерти.

Я сидел так, пережевывая, увы, только свои мысли и горячо споря сам с собой, какой я буду есть бифштекс — с шампиньонами или по-креольски. Мэйми сидела напротив, задумчивая, склонив голову на руку. «Картошку пусть изжарят по-деревенски, — говорил я сам себе, — а рулет пусть жарится на сковородке. И на ту же сковородку выпустите девять яиц». Я тщательно обыскал свои карманы, не найдется ли там случайно земляной орех или несколько зерен кукурузы.

Наступил второй вечер, а река все поднималась и дождь все лил. Я посмотрел на Мэйми и прочел на ее лице тоску, которая появляется на физиономии девушки, когда она проходит мимо будки с мороженым. Я знал, что бедняжка голодна, может

быть, в первый раз в жизни. У нее был тот озабоченный взгляд, который бывает у женщины, когда она опоздает на обед или чувствует, что у нее сзади расстегнулась юбка.

Было что-то вроде одиннадцати часов. Мы сидели в нашей потерпевшей крушение каюте, молчаливые и угрюмые. Я откидывал мои мозги от съестных тем, но они шлепались обратно на то же место, прежде чем я успевал укрепить их в другой позиции. Я думал обо всех вкусных вещах, о которых когда-либо слышал. Я углубился в мои детские годы и с пристрастием и почтением вспоминал горячий бисквит, смоченный в патоке, и ветчину под соусом. Потом я поехал вдоль годов, останавливаясь на свежих и моченых яблоках, оладьях и кленовом сиропе, на маисовой каше, на жаренных по-виргински цыплятах, на вареной кукурузе, свиных котлетах и на пирогах с бататами, и кончил брунсвикским рагу, которое есть высшая точка всех вкусных вещей, потому что заключает в себе все вкусные вещи.

Говорят, перед глазами утопающего проходит вся его жизнь. Может быть. Но когда человек голодает, перед ним встают призраки всех съеденных им в течение жизни блюд. И он изобретает новые блюда, которые создали бы карьеру повару. Если

бы кто-нибудь потрудился собрать предсмертные слова людей, умерших от голода, он, вероятно, обнаружил бы в них мало чувства, но зато достаточно материала для поваренной книги, которая разошлась бы миллионным тиражом.

По всей вероятности, эти кулинарные размышления совсем усыпили мой мозг. Без всякого на то намерения я вдруг обратился вслух к воображаемому официанту:

— Нарежьте потолще и прожарьте чуть-чуть, а потом залейте яйцами — шесть штук, и с гренками.

Мэйми быстро повернула голову. Глаза ее сверкали, и она улыбнулась.

— Мне среднеподжаренный, — затараторила она, — и с картошкой и три яйца. Ах, Джефф, вот было бы замечательно, правда? И еще я взяла бы цыпленка с рисом, крем с мороженым и…

— Легче! — перебил я ее. — А где пирог с куриной печенкой, и почки сотэ на крутонах, и жареный молодой барашек, и…

— О, — перебила меня Мэйми, вся дрожа, — с мятным соусом… И салат с индейкой, и маслины, и тарталетки с клубникой, и…

— Ну, ну, давайте дальше, — говорю я. — Не забудьте жареную тыкву, и сдобные маисовые

булочки, и яблочные пончики под соусом, и круглый пирог с ежевикой…


MENU

Да, в течение десяти минут мы поддерживали этот ресторанный диалог. Мы катались взад и вперед по магистрали и по всем подъездным путям съестных тем, и Мэйми заводила, потому что она была очень образованна насчет всяческой съестной номенклатуры, а блюда, которые она называла, все усиливали мое тяготение к столу. Чувствовалось, что Мэйми будет впредь на дружеской ноге с продуктами питания и что она смотрит на предосудительную способность поглощать пищу с меньшим презрением, чем прежде.

Утром мы увидели, что вода спала. Я запряг лошадей, и мы двинулись в путь, шлепая по грязи, пока не наткнулись на потерянную нами дорогу. Мы ошиблись всего на несколько миль, и через два часа уже были в Оклахоме. Первое, что мы увидели в городе, была большая вывеска ресторана, и мы бегом бросились туда. Я сижу с Мэйми за столом, между нами ножи, вилки, тарелки, а на лице у нее не презрение, а улыбка — голодная и милая.

Ресторан был новый и хорошо поставленный. Я процитировал официанту так много строк из карточки, что он оглянулся на мой фургон, недоумевая, сколько же еще человек вылезут оттуда.

Так мы и сидели, а потом нам стали подавать. Это был банкет на двенадцать персон, но мы и чувствовали себя, как двенадцать персон. Я посмотрел через стол на Мэйми и улыбнулся, потому что вспомнил кое-что. Мэйми смотрела на стол, как мальчик смотрит на свои первые часы с ключиком. Потом она посмотрела мне прямо в лицо, и две крупных слезы показались у нее на глазах. Официант пошел на кухню за пополнением.

— Джефф, — говорит она нежно, — я была глупой девочкой. Я неправильно смотрела на вещи. Я никогда раньше этого не испытывала. Мужчины чувствуют такой голод каждый день, правда? Они большие и сильные, и они делают всю тяжелую работу, и они едят вовсе не для того, чтобы дразнить глупых девушек-официанток, правда? Вы раз сказали… то есть… вы спросили меня… вы хотели… Вот что, Джефф, если вы еще хотите… я буду рада… я хотела бы, чтобы вы всегда сидели напротив меня за столом. Теперь дайте мне еще что-нибудь поесть, и скорее, пожалуйста.

— Как я вам и докладывал, — закончил Джефф Питерс, — женщине нужно время от времени менять свою точку зрения. Им надоедает один и тот же вид — тот же обеденный стол, умывальник

и швейная машина. Дайте им хоть какое-то разнообразие — немножко путешествий, немножко отдыха, немножко дурачества вперемежку с трагедиями домашнего хозяйства, немножко ласки после семейной сцены, немножко волнения и тормошни — и, уверяю вас, обе стороны останутся в выигрыше.

Как истый кабальеро

Перевод И. Гуровой

Козленок Франсиско убил шесть человек в более или менее честных поединках, двенадцать (преимущественно мексиканцев) хладнокровно пристрелил без соблюдения каких-либо формальностей, а ранил столько, что из скромности их даже не подсчитывал. Все это покорило девичье сердце.

Козленку было двадцать пять лет, хотя по виду вы не дали бы ему и двадцати, и дотошное страховое общество, несомненно, пришло бы к выводу, что скончаться ему предстоит году на двадцать шестом — двадцать седьмом. Обитал он между рекой Фрио и Рио-Гранде и более точным адресом не располагал. Он убивал из любви к искусству, и потому что был вспыльчив, и чтобы избежать ареста, и просто забавы ради — короче говоря, в причинах у него недостатка не случалось. На свободе же он оставался потому, что всегда успевал выстрелить на пять шестых секунды раньше любого шерифа или иного блюстителя закона, и еще потому, что его караковый жеребчик знал все

тропки в мескитовых зарослях и чащах опунции от Сан-Антонио до Матамороса.

Тонья Перес — девушка, любившая Козленка Франсиско, — была наполовину Кармен, а наполовину Мадонна, в остальном же (да-да, если женщина наполовину Кармен, а наполовину Мадонна, этим обычно исчерпывается далеко не все), в остальном же, скажем так, она была колибри. Жила она в крытой камышом хижине неподалеку от маленького мексиканского поселка на реке Фрио у Волчьего Брода. С ней там жил не то отец, не то дед, прямой потомок ацтеков, старик лет эдак под тысячу, который пас стадо из сотни коз, пил мескаль и круглые сутки пребывал в пьяной одури. Сразу же за хижиной начинался дремучий лес гигантских опунций — шипастых чудовищ, достигавших в высоту двадцати футов. Через этот-то колючий лабиринт и привозил своего хозяина караковый жеребчик на свидание с его девушкой. И однажды, повиснув, словно ящерица, на жерди под островерхой камышовой крышей, Козленок слушал, как Тонья, девушка с лицом Мадонны, красотой Кармен и душой колибри, на обворожительной смеси испанского и английского убеждала шерифа и его помощников, что и слыхом не слыхала о своем

возлюбленном.

В один прекрасный день генерал-адъютант штата Техас, по должности своей также и начальник конных стрелков, написал капитану Дювалю, чья рота квартировала в Ларедо, весьма саркастическое письмо касательно безмятежного существования, которое ведут убийцы и бандиты на территории, подведомственной указанному капитану.

Лицо капитана обрело под загаром оттенок кирпичной пыли, и, добавив к письму несколько замечаний от себя, он препроводил его через посредство конного стрелка Билла Адамсона лейтенанту Сэндриджу в его лагерь у водопоя на берегу реки Нуэсес, куда тот был откомандирован с отрядом из пяти человек для поддержания закона и порядка.

Лейтенант Сэндридж, по лицу которого взамен обычного здорового румянца разлился прелестный couleur de rose[117], засунул письмо в карман и отгрыз кончик золотистого уса.

Наутро он оседлал коня и, оставив своих солдат в лагере, сам отправился за двадцать миль к реке Фрио, в мексиканский поселок у Волчьего Брода.

---

[117] Примечания: 117
Цвет розовых лепестков *(франц.)*.

Ростом в шесть футов два дюйма, белокурый, как викинг, тихий, как баптист, опасный, как пулемет, Сэндридж заходил в одну хижину за другой, терпеливо расспрашивая о Козленке Франсиско.

Но представителей закона мексиканцы страшились куда меньше, чем беспощадной и неотвратимой мести одинокого всадника, которого разыскивал лейтенант конных стрелков. Козленок нередко развлекался, стреляя в мексиканцев, «чтоб поглядеть, как они дрыгают ногами»; и раз уж он обрекал их на предсмертные антраша лишь потехи ради, то каким же невыразимо ужасным будет воздаяние, если его прогневать? А потому они все как один разводили руками, пожимали плечами, бормотали «quien sabe»[118] и всячески отрицали какое бы то ни было знакомство с Козленком Франсиско.

Однако в поселке держал лавочку некий Финк — не человек, а смесь самых разных национальностей, языков, интересов и замыслов.

— Да чего расспрашивать мексикашек! — сказал он Сэндриджу. — Они ж его боятся. Этот

---

[118] Примечания: 118
Кто знает *(исп.)*.

hombre[119], которого они называют Козленок — его фамилия Гудолл, верно? — раза два заходил ко мне в лавку. И думается, вам надо бы поискать его в… Нет, мне, пожалуй, лучше в это дело не встревать. Я теперь вытаскиваю револьвер на две секунды медленнее, чем бывало, а при такой разнице призадумаешься. Но тут есть одна девочка-полукровка, и этот ваш Козленок к ней заглядывает. Она живет в сотне ярдов дальше по реке, там, где начинаются заросли. Так, может, она… Да нет, от нее вы навряд ли чего-нибудь добьетесь, а вот за ее лачугой понаблюдать стоит.

Сэндридж поехал к жилищу Переса. Солнце заходило, и на крытой камышом крыше лежала широкая тень колючей кактусовой чащи. Козы были уже заперты в загоне из жердей, и по его верху, пережевывая листья чапарраля, бродило несколько козлят. Неподалеку на траве в обычном пьяном забытьи лежал, завернувшись в одеяло, старик мексиканец и, быть может, грезил о тех давних вечерах, когда они с Пизарро сдвигали кубки и пили за удачу, поджидающую их в Новом Свете, — такой глубокой старостью веяло от его морщинистого лица. А на пороге хижины

---

[119] Примечания: 119
Человек *(исп.)*.

стояла Тонья. А лейтенант Сэндридж сидел, застыв в седле, и смотрел на нее завороженным взглядом, точно гагара на моряка.

Козленок Франсиско был тщеславен, как все выдающиеся убийцы, которым сопутствует успех, и, несомненно, его самолюбие было бы сильно уязвлено, узнай он, что стоило двум людям, чьи мысли он только что занимал, всего лишь обменяться взглядами, и они сразу же забыли о самом его существовании — пусть даже на время.

Тонье еще не приходилось видеть подобных мужчин… Он, казалось, был сотворен из солнечного сияния, багряной ткани и ясного неба. Его улыбка озарила сумеречную тень чащи, словно вновь взошло солнце. Все знакомые ей мужчины были невысоки ростом и смуглы. Даже Козленок при всей своей славе был тщедушен и одного с ней роста, а его черные прямые волосы еще больше подчеркивали холодную мраморность лица, способного остудить полуденный жар.

Ну а Тонья… Язык слишком беден для ее описания, но возместите его нищету богатством своего воображения. Сходство с Мадонной ей придавали разделенные на прямой пробор, туго стянутые на затылке иссиня-черные волосы и огромные, полные латинской грусти глаза, а во

всех ее движениях сквозили скрытый огонь и жажда чаровать, которые она унаследовала от гитан Басконии. То же, что было в ней от колибри, то, что обитало в ее сердце, оставалось для вас тайной, если только алая юбка и синяя кофта не подсказывали вам символический образ этой шаловливой пичужки.

Новоявленный солнечный бог попросил напиться. Тонья налила ему воды из глиняного кувшина, висевшего под жердяным навесом. И Сэндридж поспешил спрыгнуть с коня, чтобы избавить ее от лишних хлопот.

Я не люблю подглядывать и не претендую на умение проникать в глубь человеческих сердец, однако по праву летописца я утверждаю, что не прошло и четверти часа, как Сэндридж уже учил Тонью плести сыромятный ремень из шести полос, а она рассказывала ему про английскую книжечку, которую ей подарил странствующий падре, и про хроменького chivo[120], которого она выкармливает из бутылочки, — без них она совсем, совсем загрустила бы.

Из чего как будто следует, что бастионы Козленка нуждались в ремонте и что сарказмы

---

[120] Примечания: 120
Козлёнок *(исп.)*.

генерал-адъютанта пали на бесплодную почву.

Вернувшись в лагерь у водопоя, лейтенант Сэндридж торжественно объявил о своем намерении либо уложить Козленка Франсиско в черноземную почву долины Фрио, либо представить его пред лицо судьи и присяжных. Все это звучало очень по-деловому. И с этих пор он дважды в неделю отправлялся верхом к Волчьему Броду, чтобы вести тоненькие, с легким лимонным отливом пальчики Тоньи по хитросплетениям медленно удлиняющегося ремня. Научиться вязке из шести полос не так-то просто, но учить этому очень легко.

Лейтенант знал, что может в любую минуту повстречаться здесь с Козленком. Он держал свое оружие наготове и то и дело косился на чашу опунций за хижиной. Так он рассчитывал одним камнем сразить коршуна и колибри.

Пока солнечновласый орнитолог вел эти исследования, Козленок Франсиско также занимался своим профессиональным делом. Он хмуро учинил стрельбу в питейном заведении крохотного скотоводческого поселка на Кинтана-Крик, убил наповал местного шерифа (аккуратно всадив пулю в самый центр его бляхи) и угрюмо ускакал, недовольный собой. Какое удовлетворение

может ощутить истинный художник, сразив пожилого человека со старомодным «бульдогом» тридцать восьмого калибра?

И вот на пути от Кинтана-Крик Козленок внезапно впал в тоску, которая охватывает всех мужчин, когда попирание закона перестает дарить им прежнее острое наслаждение. Он жаждал услышать от любимой женщины, что она принадлежит ему, несмотря ни на что. Ему хотелось, чтобы она назвала его кровожадность мужеством, а его жестокость — рыцарственностью. Ему хотелось, чтобы Тонья напоила его водой из глиняного кувшина под жердяным навесом и рассказала, усердно ли chivo сосет из бутылочки.

Козленок повернул каракового жеребчика к чаще опунций, которая протянулась на десять миль по долине Хондо до Волчьего Брода на Фрио. Караковый жеребчик испустил радостное ржание, ибо чувством направления и местности мог бы потягаться с лошадью, влекущей конку, и прекрасно знал, что вскоре будет щипать густую траву, нисколько не стесненный сорокафутовым ремнем, как бывало всегда, когда Улисс преклонял голову в крытой камышом хижине Цирцеи.

Жутко и одиноко путешественнику в глухих

дебрях Амазонки, но еще более жутко и одиноко всаднику в кактусовых зарослях Техаса. Повсюду в прихотливом и унылом разнообразии, точно неведомые чудища, изгибаются стволы кактусов, их мясистые усаженные шипами отростки загораживают путь. Эти дьявольские растения, которые словно не нуждаются ни в почве, ни в дожде, дразнят истомленного жаждой путника своей тусклой, но сочной зеленью. Их бесформенные нагромождения вдруг расступаются, и всадника манит открытая дорога, но стоит ей довериться, как он оказывается «в мешке» — перед непроницаемой, ощетинившейся иглами стеной — и вынужден кое-как выбираться оттуда, теряя последнее представление о том, в какой стороне север, а в какой юг.

Того, кто заблудится в чаще опунций, почти наверное ожидает смерть распятого разбойника — колючки гвоздями впиваются в тело, а меркнущий взор не видит вокруг ничего, кроме образов ада.

Но Козленку это не угрожало. Караковый жеребчик уверенно кружил, петлял, выписывал немыслимые узоры, и с каждым поворотом и зигзагом расстояние, отделявшее их от Волчьего Брода, уменьшалось.

А Козленок тем временем пел. В его репертуаре была только одна песня, и он пел только ее, так же, как жил только по одному правилу и любил только одну девушку. Он мыслил однозначно и придерживался общепринятых понятий. Его голосу не позавидовал бы и осипший койот, но когда ему приходила охота спеть свою песню, он ее пел. Это была одна из тех песен, которые принято петь на привалах и в седле, и начиналась она примерно следующими словами:

Эй, не приставай к моей милашке,

А не то узнаешь, что к чему…

Ну, и так далее. Караковый жеребчик давно утратил к ней восприимчивость и пропускал ее мимо ушей.

Но рано или поздно даже самый скверный певец с собственного согласия перестает вносить свою лепту в мировой шум, и когда до хижины Тоньи оставалось мили полторы, Козленок, наконец, скрепя сердце умолк — не потому, что производимые им звуки перестали чаровать его слух, но потому лишь, что утомились его голосовые связки.

Караковый жеребчик продолжал вытанцовывать сложные фигуры среди опунций, словно на

цирковой арене, и вскоре по некоторым приметам его хозяин убедился, что до Волчьего Брода уже недалеко. Чаща начала редеть, и он увидел за кактусами камышовую крышу хижины и каменное дерево над обрывом. Еще через несколько шагов Козленок остановил коня и внимательно всмотрелся в просветы между колючими стволами. Потом спешился, бросил поводья и пошел дальше пешком, пригнувшись и ступая бесшумно, как индеец. Караковый жеребчик, отлично зная, что от него требуется, стоял как вкопанный.

Козленок неслышно подкрался к самой опушке и продолжал вести наблюдение из-за двух тесно растущих опунций.

В десяти шагах от этого укрытия его Тонья, сидя в тени хижины, безмятежно плела сыромятный ремень. Это ей еще можно было бы простить — ведь женщины, как известно, находят порой и менее безобидные занятия. Но если уж договаривать до конца, необходимо будет прибавить, что головка ее удобно прислонялась к широкой груди желто-красного великана и что его рука обвивала ее талию, направляя движения гибких пальчиков, которые никак не могли выучиться хитрой вязке из шести полос.

Сэндридж быстро оглянулся на темную стену кактусов, откуда донесся слабый пискливый звук, в котором ему почудилось что-то знакомое. Так может скрипнуть кобура, когда человек внезапно хватается за рукоятку шестизарядного револьвера. Но звук не повторился, а пальчики Тоньи требовали неусыпного внимания.

И в эту минуту, когда на них лежала тень смерти, они заговорили о своей любви. В тишине безмятежного июльского дня каждое их слово отчетливо доносилось до ушей Козленка.

— Так помни, — настаивала Тонья, — ты не должен больше приезжать, пока я не пришлю за тобой. Он скоро приедет сюда. Один вакеро говорил сегодня в tienda[121], что видел его на Гваделупе три дня назад. Когда он так близко, он всегда приезжает. А если он приедет и увидит тебя здесь, он тебя убьет. Так что ради меня ты не должен больше приезжать, пока я не пришлю тебе весточку.

— Ну хорошо, — сказал лейтенант. — И что тогда?

— А тогда, — ответила девушка, — ты приведешь сюда своих солдат и убьешь его. Не то он

---

[121] Примечания: 121
Лавочка *(исп.)*.

убьет тебя.

— Да, он не из тех, кто сдается, — согласился Сэндридж. — У того, кто хочет сладить с сеньором Козленком, выбор невелик: убить или быть убитым.

— Надо, чтобы он умер, — сказала девушка. — Иначе ни тебе, ни мне не знать в жизни покоя. Он убил много людей. Так пусть и его убьют. Приведи своих солдат, чтобы он не мог спастись.

— А ведь раньше он тебе нравился, — сказал Сэндридж.

Тонья бросила ремень, повернулась и обняла плечи лейтенанта бледно-лимонной рукой.

— Но ведь тогда, — прожурчала она по-испански, — я еще не видела тебя, высокого и могучего, как красная скала! И ты ведь не просто сильный, ты добрый и хороший. Как же можно выбрать его, если знаешь тебя? Пусть он умрет, и тогда я не буду днем и ночью бояться, что он причинит зло тебе или мне.

— А как я узнаю, что он приехал? — спросил Сэндридж.

— Когда он приезжает, — сказала Тонья, — то гостит тут не меньше двух, а то и трех дней. У мальчика Грегорио, сына прачки Луизы, есть лошадка, очень быстрая. Я напишу тебе письмо

и пошлю с ним, а в письме расскажу, как лучше всего будет его подстеречь. Письмо привезет тебе Грегорио. И приведи с собой побольше солдат, а сам будь очень-очень осторожен, милый мой, красный мой, потому что даже гремучая змея жалит не так быстро, как этот El Chivato посылает пулю из своего pistola.

— Да, Козленок стрелять умеет, ничего не скажешь, — признал Сэндридж. — Но когда я приеду переведаться с ним, я приеду один. Я разделаюсь с ним либо так, либо вовсе никак. Капитан понаписал мне такого, что я должен теперь все сделать сам, без всякой помощи. Только сообщи мне, когда сеньор Козленок явится сюда, а уж об остальном я позабочусь.

— Я пошлю тебе весточку с мальчиком Грегорио, — сказала Тонья. — Я знаю, ты храбрее этого маленького убийцы, который никогда не улыбается. И как только я могла думать, будто он мне нравится?

Лейтенанту было пора возвращаться в лагерь у водопоя. Но прежде чем вспрыгнуть в седло, он обвил одной рукой тонкий стан девушки и приподнял ее с земли для прощального поцелуя. Сонная тишина знойного летнего дня по-прежнему окутывала все вокруг душным покрывалом.

Дым от очага в хижине, на котором в чугунке варились frijoles[122], поднимался из обмазанной глиной трубы прямо в небо. Ни единый звук, ни единое движение не нарушили безмятежного спокойствия густой чащи кактусов в десяти шагах от хижины.

Когда рослый соловый конь Сэндриджа размашистой рысью спустился с крутого берега Фрио и исчез под обрывом, Козленок бесшумно прокрался к своему жеребчику, вскочил на него и поехал обратно тем же извилистым путем, каким приехал.

Но вскоре он остановился и терпеливо выждал полчаса в безмолвной чаще опунций. А затем Тонья услышала пронзительные фальшивые ноты, вырывавшиеся из его немузыкального горла. Пение все приближалось, и она побежала на опушку навстречу певцу.

Козленок улыбался редко. Но тут, увидев ее, он улыбнулся и замахал шляпой. Едва он спешился, как Тонья бросилась к нему на шею. Козленок посмотрел на нее с нежностью. Густые черные волосы облегали его голову, как измятая суконная шапочка. В первое мгновение их встречи на

---

[122] Примечания: 122
Бобы *(исп.)*.

его гладком смуглом лице, обычно недвижном, как глиняная маска, мелькнула тень какого-то чувства.

— Как поживает моя девушка? — спросил он, прижимая ее к груди.

— Я совсем больна от того, что тебя так долго не было, милый, — ответила она. — У меня глаза ослепли, высматривая тебя среди этих дьяволовых иголок. Там ведь в двух шагах ничего не видно. Но ты приехал, возлюбленный, и я не стану браниться. Que mal muchacho![123] Так редко навещаешь свою alma[124]. Иди отдохни в хижине, а я напою твою лошадь и привяжу ее на длинную веревку. В кувшине тебя ждет холодная вода.

Козленок ласково поцеловал ее.

— Нет, ни под каким видом не могу я допустить, чтобы дама привязывала мою лошадь, — сказал он. — Но я буду весьма благодарен, chica[125], если ты поставишь вариться кофе, пока я займусь

---

[123] Примечания: 123
Нехороший мальчик! *(исп.)*

[124] Примечания: 124
Душечка *(исп.)*.

[125] Примечания: 125
Девочка *(исп.)*.

caballo[126].

Козленок гордился не только своим умением стрелять без промаха, но и галантностью. Он всегда держался с представительницами прекрасного пола как истый кабальеро — muy caballero, по выражению мексиканцев. С ними он неизменно бывал учтив и заботлив. Он ни за что не сказал бы женщине резкого слова. Беспощадно убивая их мужей и братьев, он был не способен поднять руку на женщину даже в гневе. И потому многие из тех, кто принадлежит к этой интересной половине человеческого рода, испытав на себе обаяние его изысканной вежливости, наотрез отказывались верить ходившим о нем историям. Все это только пустые слухи, заявляли они. А когда отцы, мужья и братья в негодовании представляли им неопровержимые доказательства жестоких и гнусных деяний их кабальеро, они отвечали, что ему, вероятно, не оставили иного выхода и что он, во всяком случае, знает, как следует обходиться с дамой.

Памятуя об этой маниакальной учтивости Козленка и о том, как он любил ею щеголять, легко понять, с какими трудностями было сопряжено

---

[126] Примечания: 126
Лошадь *(исп.)*.

для него решение задачи, поставленной перед ним тем, что он увидел и услышал из своего укромного убежища среди опунций, — по крайней мере, в отношении одного из участников драмы. С другой стороны, поверить, будто Козленок способен оставить это незначительное дельце без последствий, было и вовсе невозможно.

Когда короткие сумерки сменились ночным мраком, они при свете фонаря уселись в хижине ужинать вареными бобами, жареной козлятиной, консервированными персиками и кофе. После еды дряхлый пращур, чье стадо уже было заперто в загоне, выкурил папиросу, завернулся в серое одеяло и превратился в мумию. Тонья мыла щербатые чашки и миски, а Козленок вытирал их полотенцем из мешковины. Ее глаза сияли, и она подробно описывала события, приключившиеся в ее крохотном мирке с того времени, когда Козленок был у нее в последний раз. Все происходило точно так же, как в любой другой его приезд.

Потом они вышли на воздух, и Тонья, опустившись с гитарой в сплетенный из камыша гамак, начала петь печальные canciones de amor[127].

---

[127] Примечания: 127
Песни о любви *(исп.)*.

— Ты меня любишь по-прежнему, старушка? — спросил Козленок, шаря по карманам в поисках бумаги для папиросы.

— По-прежнему, мой маленький, — ответила Тонья, не опуская устремленных на него темных глаз.

— Надо сходить к Финку, — сказал Козленок, поднимаясь. — За табаком. Я думал, что прихватил с собой еще один кисет. Я вернусь через четверть часа.

— Возвращайся быстрее, — попросила Тонья. — И скажи, долго ли на этот раз я смогу называть тебя моим? Уедешь ли ты завтра, оставив меня тосковать, или побудешь со своей Тоньей подольше?

— Да нет, денька два-три я тут побуду, — ответил Козленок, зевая. — Я уже месяц кружу, пора и отдохнуть.

Он вернулся с табаком только через полчаса. Тонья все так же покачивалась в гамаке.

— Странное у меня чувство, — сказал Козленок. — Мерещится и мерещится, что за каждым кустом кто-то залег и вот-вот меня подстрелят. Прежде со мной такого не бывало. Вроде как вещее знамение. Пожалуй, уеду-ка я завтра с рассветом. По всей Гваделупе черт-те что делается

оттого, что я прикончил этого немчуру.

— Ты ведь не боишься? Моего маленького храбреца никто не испугает!

— Ну, когда доходило до дела, заячьей душой меня вроде еще ни разу не называли. Только я не хочу, чтобы погоня накрыла меня в твоем доме. А то, глядишь, шальная пуля угодит в кого не следует.

— Останься со своей Тоньей, тут тебя никто не разыщет.

Козленок окинул острым взглядом темную речную долину и уставился на тусклые огоньки мексиканского поселка.

— Ладно, посмотрим, как все дальше пойдет, — решил он.

Незадолго до полуночи в лагерь конных стрелков прискакал неизвестный всадник, возвещая о своем приближении громкими криками в доказательство мирных намерений. Сэндридж и два-три солдата выбежали на шум из палаток Всадник сказал, что он приехал с Волчьего Брода, а зовут его Доминго Салес. У него письмо для сеньора Сэндриджа. Старуха Луиза, прачка, упросила его поехать вместо ее сынишки Грегорио, потому что мальчик слег в лихорадке, объяснил он.

Сэндридж зажег фонарь и прочел письмо. Вот

что в нем говорилось:

«Мой милый! Он приехал. Чуть ты ускакал, как он выехал из чащи. Сначала он сказал, что пробудет три дня, а может, и дольше. Но когда стемнело, он стал точно лиса или волк и начал ходить взад и вперед, и все смотрел и слушал. И скоро сказал, что уедет до зари в самое темное и глухое время. И еще он как будто заподозрил, что я ему неверна. И глядел на меня так странно, что я очень испугалась. И я клялась ему, что я люблю его, что я — только его Тонья. Под конец он сказал, что я должна доказать, что я ему верна. Он думает, что вокруг моего дома спрятались люди и его убьют, как только он сядет на лошадь. И он говорит, что перехитрит их, а для этого оденется в мою одежду, в мою красную юбку и синюю кофту, а голову покроет коричневой мантильей, и так ускачет. Но он говорит, что сначала я должна буду надеть его одежду,

его pantalones[128], его camisa[129] и шляпу и проскакать на его лошади от дома до большой дороги у брода и назад. Это нужно, чтобы он увидел, верна ли я ему и не ждет ли его засада. Мне очень страшно. Это будет за час до зари. Приезжай, мой любимый, и убей этого человека, чтобы я стала твоя Тонья. Не пробуй захватить его живым, а сразу убей. Теперь ведь ты знаешь, что по-другому нельзя. Ты должен приехать поскорее и спрятаться в сарае, где повозки и седла. Там темно. На нем будет моя красная юбка, синяя кофта и коричневая мантилья. Посылаю тебе сто поцелуев. Приезжай обязательно и стреляй сразу и без промаха.

Только твоя Тонья».

Сэндридж тут же сообщил солдатам деловую часть послания. Они начали было возражать против того, чтобы он ехал один.

— Мне не нужна помощь, — сказал лейтенант. — Девушка поймала его в западню. И

---

[128] Примечания: 128
Брюки *(исп.)*.

[129] Примечания: 129
Рубашка *(исп.)*.

можете быть спокойны, меня он не опередит.

Сэндридж оседлал коня и поскакал к Волчьему Броду. Он привязал солового среди густых зарослей над рекой, вынул винчестер из чехла и осторожно подкрался к хижине Переса. Луна была на ущербе, и ее висящий высоко в небе серп то и дело застилали рваные молочно-белые облака, которые ветер гнал с Мексиканского залива.

Сарай был словно нарочно построен для засады, и Сэндридж благополучно забрался в него. В черной тени навеса перед хижиной он различал силуэт привязанной лошади и слышал, как она нетерпеливо бьет копытом по утоптанной земле.

Прошло около часа, но вот, наконец, в дверях хижины показались две фигуры. Первая, в мужском костюме, быстро вскочила на лошадь и пронеслась мимо сарая в сторону брода и поселка. Вторая фигура, одетая в юбку и кофту и с мантильей на голове, вышла на слабый лунный свет, глядя вслед удаляющейся лошади. Сэндридж решил не дожидаться возвращения Тоньи — вряд ли ей будет приятно присутствовать при том, что сейчас произойдет.

— Руки вверх! — крикнул он, выскакивая из сарая и вскидывая винчестер.

Тот, кого он окликнул, быстро повернулся, но

рук не поднял, и лейтенант всадил в синюю кофту одну за другой три пули. А потом еще три: когда имеешь дело с Козленком Франсиско, лишняя предосторожность не помешает. Но с десяти шагов промахнуться трудно даже в неверном свете ущербной луны.

Выстрелы разбудили старого пращура, спавшего в хижине на своем одеяле. Он приподнял голову, и тут снаружи раздался вопль невыносимой боли или душевной муки. Ворча на неугомонность нынешних людей, старик поднялся с пола.

В хижину ворвался бледный как смерть высокий человек в красном. Рукой, дрожащей, точно камышинка на ветру, он снял с гвоздя фонарь, а другой рукой развернул на столе какую-то бумагу.

— Посмотри на это письмо, Перес! — закричал он. — Кто его писал?

— Ah dios![130] Да это сеньор Сэндридж! — прошамкал старик, подходя к столу. — Pues[131], сеньор, это письмо написал El Chivato, как его называют, дружок Тоньи. Говорят, он плохой

---

[130] Примечания: 130
Господи! *(исп.)*

[131] Примечания: 131
Ну *(исп.)*.

человек. Но откуда мне знать. Он написал, когда Тонья заснула, и вот эта моя старая рука отдала письмо Доминго Салесу, чтобы он отвез его вам. А в письме написано что-нибудь плохое? Я ведь совсем старый, и я ничего не знал. Valgame dios![132] Наш мир — сумасшедший мир, а выпить в доме нечего, ни капли нет.

Но Сэндридж не ответил. Что ему оставалось? Только выбежать из хижины и броситься ничком на землю рядом со своей колибри, чьи перышки замерли в вечном покое. Он не был кабальеро и не разбирался в тонких нюансах мести.

А в миле оттуда всадник, совсем недавно проскакавший мимо сарая, хрипло и фальшиво затянул песню, которая начиналась словами:

Эй, не приставай к моей милашке,
А не то узнаешь, что к чему…

---

[132] Примечания: 132
Господи помилуй! *(исп.)*

Яблоко сфинкса

Перевод М. Урнова

Отъехав двадцать миль от Парадайза и не доезжая пятнадцати миль до Санрайз-Сити, Билдед Роз, кучер дилижанса, остановил свою упряжку. Снег валил весь день. Сейчас на ровных местах он достигал восьми дюймов. Остаток дороги, ползущей по выступам рваной цепи зубчатых гор, был небезопасен и днем. Теперь же, когда снег и ночь скрыли все ловушки, ехать дальше и думать было нечего, — так заявил Билдед Роз. Он остановил четверку здоровенных лошадей и высказал пятерке пассажиров выводы своей мудрости.

Судья Менефи, которому мужчины, как на подносе, преподнесли руководство и инициативу, выпрыгнул из кареты первым. Трое его попутчиков, вдохновленные его примером, последовали за ним, готовые разведывать, ругаться, сопротивляться, подчиняться, вести наступление — в зависимости от того, что вздумается их предводителю. Пятый пассажир — молодая женщина — осталась в дилижансе.

Билдед остановил лошадей на плече перво-

го горного выступа. Две поломанные изгороди окаймляли дорогу. В пятидесяти шагах от верхней изгороди, как черное пятно в белом сугробе, виднелся небольшой домик. К этому домику судья Менефи и его когорта устремились с детским гиканьем, порожденным возбуждением и снегом. Они звали, они барабанили в дверь и окно. Встретив негостеприимное молчание, они вошли в раж, — атаковали и взяли штурмом преодолимые преграды и вторглись в чужое владение.

До наблюдателей в дилижансе доносились из захваченного дома топот и крики. Вскоре там замерцал огонь, заблестел, разгорелся ярко и весело. Потом ликующие исследователи бегом вернулись к дилижансу, пробившись сквозь крутящиеся хлопья. Голос Менефи, настроенный ниже, чем рожок, — даже оркестровый по диапазону, — возвестил о победах, достигнутых их тяжкими трудами. Единственная комната дома необитаема, сказал он, и мебели никакой нет; но имеется большой камин, а в сарайчике за домом они обнаружили солидный запас сухих дров. Кров и тепло на всю ночь были, таким образом, обеспечены. Билдеда Роза ублажили известием о конюшне с сеном на чердаке, не настолько развалившейся, чтобы ею нельзя было пользоваться.

— Джентльмены, — заорал с козел Билдед Роз, укутанный до бровей, — отдерите мне два пролета в загородке, чтобы можно было проехать. Ведь это ж хибарка старика Редрута. Так и знал, что мы где-нибудь поблизости. Самого-то в августе упрятали в желтый дом.

Четыре пассажира бодро набросились на покрытые снегом перекладины. Понукаемые кони втащили дилижанс на гору, к двери дома, откуда в летнюю пору безумие похитило его владельца. Кучер и двое пассажиров начали распрягать. Судья Менефи открыл дверцу кареты и снял шляпу.

— Я вынужден объявить, мисс Гарленд, — сказал он, — что силою обстоятельств наше путешествие прервано. Кучер утверждает, что ехать ночью по горной дороге настолько рискованно, что об этом не приходится и мечтать. Придется пробыть до утра под кровлей этого дома. Я заверяю вас, что вы вне всякой опасности и испытаете лишь временное неудобство. Я самолично обследовал дом и убедился, что имеется полная возможность хотя бы охранить вас от суровости непогоды. Вы будете устроены со всем комфортом, какой позволят обстоятельства. Разрешите помочь вам выйти.

К судье подошел пассажир, жизненным призванием которого было размещение ветряных мельниц фирмы «Маленький Голиаф». Его фамилия была Денвуди, но это не имеет большого значения. На перегоне от Парадайза до Санрайз-Сити можно почти или совсем обойтись без фамилии. И все же тому, кто захотел бы разделить почет с судьей Мэдисоном Л. Менефи, требуется фамилия, как некая зацепка, на которую слава могла бы повесить свой венок. Громко и непринужденно ветреный мельник заговорил:

— Вам, видно, придется вытряхнуться из ковчега, миссис Макфарленд. Наш вигвам не совсем «Пальмер-хаус»[133], но снегу там нет и при отъезде не будут шарить в вашем чемодане, сколько ложек вы взяли на память. Огонек мы уже развели и усадим вас на сухие шляпы, и будем отгонять мышей, и все будет очень, очень мило.

Один из двух пассажиров, которые суетились в мешанине из лошадей, упряжи, снега и саркастических наставлений Билдеда Роза, крикнул в перерыве между своими добровольческими обязанностями:

— Эй, молодцы! А ну, кто-нибудь, доставьте

---

[133] Примечания: 133
Фешенебельная гостиница в Нью-Йорке.

мисс Соломон в дом! Слышите? Тпрру, дьявол! Стой, скотина проклятая.

Снова приходится вежливо объяснить, что на перегоне от Парадайза до Санрайз-Сити точная фамилия — излишняя роскошь. Когда судья Менефи, пользуясь правом, которое давали ему его седины и широко известная репутация, представился пассажирке, она в ответ нежно выдохнула свою фамилию, которую уши пассажиров мужского пола восприняли по-разному. В возникшей атмосфере соперничества, не лишенной примеси ревности, каждый упорно держался своей версии. Со стороны пассажирки уточнение или поправки могли бы показаться недопустимым нравоучением или, еще того хуже, непозволительным желанием завязать интимное знакомство. Поэтому она откликалась на мисс Гарленд, миссис Макфарленд и мисс Соломон с одинаковой скромной снисходительностью. От Парадайза до Санрайз-Сити тридцать пять миль. Клянусь котомкой Агасфера, для такого краткого путешествия достаточно называться compagnon de voyage![134]

Вскоре маленькая компания путников рассе-

---

[134] Примечания: 134
Попутчик *(франц.)*.

лась веселым полукругом перед полыхающим огнем. Пледы, подушки и отделимые части кареты втащили в дом и употребили в дело. Пассажирка выбрала себе место вблизи камина на одном конце полукруга. Там она украшала собою своего рода трон, воздвигнутый ее подданными. Она восседала на принесенных из кареты подушках, прислонившись к пустому ящику и бочонку, устланным пледами и защищавшим ее от порывов сквозного ветра. Она протянула прелестно обутые ножки к ласковому огню. Она сняла перчатки, но оставила на шее длинное меховое боа. Колеблющееся пламя слабо освещало ее лицо, полускрытое защитным боа, — юное лицо, очень женственное, ясно очерченное и спокойное, в непоколебимой уверенности своей красоты. Рыцарство и мужественность соперничали здесь, угождая ей и утешая ее. Она принимала их преклонение не игриво, как женщина, за которой ухаживают; не кокетливо, как многие представительницы ее пола, недостойные этих почестей; не с тупым равнодушием, как бык, получающий охапку сена, но согласно указаниям самой природы: как лилия впитывает капельку росы, предназначенную для того, чтобы освежить ее.

Вокруг дома яростно завывал ветер, мелкий

снег со свистом врывался в щели, холод пронизывал спины принесших себя в жертву мужчин, но в ту ночь стихия не была лишена защитника. Менефи взялся быть адвокатом снежной бури. Погода являлась его клиентом, и в односторонне аргументированной речи он старался убедить своих компаньонов по холодной скамье присяжных, что они восседают в беседке из роз, овеваемые лишь нежными зефирами. Он обнаружил запас веселости, остроумия и анекдотов, не совсем приличных, но встреченных с одобрением. Невозможно было противостоять его заразительной бодрости, и каждый поспешил внести свою лепту в общий фонд оптимизма. Даже пассажирка решилась заговорить.

— Все это, по-моему, очаровательно, — сказала она тихим, кристально чистым голосом.

Время от времени кто-нибудь вставал и шутки ради обследовал комнату. Мало осталось следов от ее прежнего обитателя, старика Редрута.

К Билдеду Розу настойчиво пристали, чтобы он рассказал историю экс-отшельника. Поскольку лошади были устроены с комфортом и пассажиры, по-видимому, тоже, к вознице вернулись спокойствие и любезность.

— Старый хрыч, — начал Билдед Роз не совсем

почтительно, — торчал в этой хибарке лет двадцать. Он никого не подпускал к себе на близкую дистанцию. Как, бывало, почует карету, шмыгнет в дом и дверь на крючок. У него, ясно, винтика в голове не хватало. Он закупал бакалею и табак в лавке Сэма Тилли на Литтл-Мадди. В августе он явился туда, завернутый в красное одеяло, и сказал Сэму, что он царь Соломон и что царица Савская едет к нему в гости. Он приволок с собой весь свой капитал — небольшой мешочек, полный серебра, — и бросил его в колодец Сэма. «Она не приедет, — говорит старик Редрут Сэму, — если узнает, что у меня есть деньги».

Как только люди услыхали такие рассуждения насчет женщин и денег, им сразу стало ясно, что старик спятил. Его забрали и упрятали в сумасшедший дом.

— Может, в его жизни был какой-нибудь неудачный роман, который заставил его искать отшельничества? — спросил один из пассажиров, молодой человек, имевший агентство.

— Нет, — сказал Билдед, — на этот счет ничего не слыхал. Просто обыкновенные неприятности. Говорят, что в молодости ему не повезло в любовном предприятии с одной девицей; это задолго до того, как он закутался в красное одеяло и произ-

вел свои финансовые расчеты. А о романе ничего не слышал.

— Ах! — воскликнул судья Менефи с важностью. — Это, несомненно, случай любви без взаимности.

— Нет, сэр, — заявил Билдед, — ничего подобного. Она за него не пошла. Мармадюк Маллиген встретил как-то в Парадайзе человека из родного городка старика Редрута. Он говорил, что Редрут был парень что надо, но вот, когда хлопали его по карману, звякали только запонки да связка ключей. Он был помолвлен с этой молодой особой, мисс Алиса ее звали, а фамилию забыл. Этот человек рассказывал, что она была такого сорта девочка, для которой приятно купить трамвайный билет. Но вот в городишко прикатил молодчик, богатый и с доходами. У него свои экипажи, пай в рудниках и сколько хочешь свободного времени. И мисс Алиса, хоть на нее уже была заявка, видно, столковалась с этим приезжим. Начались у них совпадения, и случайные встречи по дороге на почту, и такие штучки, которые иногда заставляют девушку вернуть обручальное кольцо и прочие подарки. Одним словом, появилась «трещинка в лютне», как выражаются в стихах.

Как-то люди видели: стоит у калитки Редрут с мисс Алисой и разговаривает. Потом он снимает шляпу — и ходу. И с тех пор никто его в городе больше не видел. Во всяком случае, так передавал этот человек.

— А что стало с девушкой? — спросил молодой человек, имевший агентство.

— Не слыхал, — ответил Билдед. — Вот здесь то место на дороге, где экипаж сломал колесо и багаж моих сведений упал в канаву. Все выкачал, до дна.

— Очень печаль… — начал судья Менефи, но его реплика была оборвана более высоким авторитетом.

— Какая очаровательная история, — сказала пассажирка голосом нежным, как флейта.

Воцарилась тишина, нарушаемая только завыванием ветра и потрескиванием горящих дров.

Мужчины сидели на полу, слегка смягчив его негостеприимную поверхность пледами и стружками. Человек, который размещал ветряные мельницы «Маленький Голиаф», поднялся и начал ходить, чтобы поразмять онемевшие ноги.

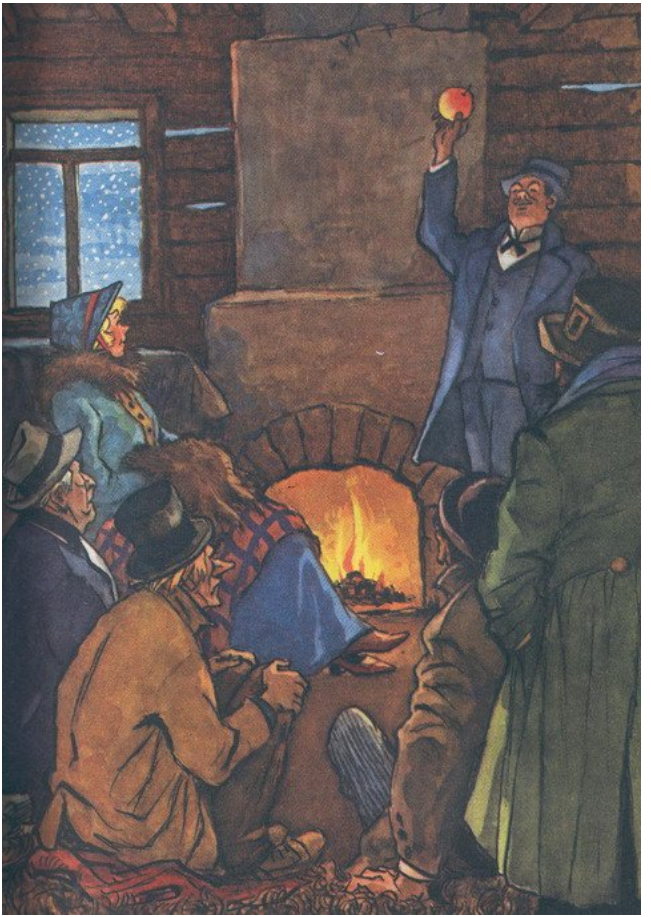
Вдруг послышался его торжествующий возглас. Он поспешил назад из темного угла комнаты, неся что-то в высоко поднятой руке. Это было

яблоко, большое, румяное, свежее: приятно было смотреть на него. Он нашел его в бумажном пакете на полке, в темном углу. Оно не могло принадлежать сраженному любовью Редруту его великолепный вид доказывал, что не с августа лежало оно на затхлой полке. Очевидно, какие-то путешественники завтракали недавно в этом необитаемом доме и забыли его.

Денвуди — его подвиги опять требуют почтить его наименованием — победоносно подбрасывал яблоко перед носом своих попутчиков.

— Поглядите-ка, что я нашел, миссис Макфарленд! — закричал он хвастливо. Он высоко поднял яблоко, и, освещенное огнем, оно стало еще румянее. Пассажирка улыбнулась спокойно… неизменно спокойно.

— Какое очаровательное яблоко, — тихо, но отчетливо сказала она.



Некоторое время судья Менефи чувствовал себя раздавленным, униженным, разжалованным. Его отбросили на второе место, и это злило его. Почему не ему, а вот этому горлану, деревенщине, назойливому мельнику, вручила судьба это произведшее сенсацию яблоко? Попади оно к нему, и он разыграл бы с ним целое действо, оно послужило бы темой для какого-нибудь экспромта, для речи, полной блестящей выдумки, для комедийной сцены — и он остался бы в центре внимания. Пассажирка уже смотрела на этого нелепого Денбодди или Вудбенди с восхищенной улыбкой, словно парень совершил подвиг! А мельник шумел и вертелся, как образчик своего товара — от ветра, который всегда дует из страны хористов в область звезды подмостков.

Пока восторженный Денвуди со своим аладдиновым яблоком был окружен вниманием капризной толпы, изобретательный судья обдумал план, как вернуть свои лавры.

С любезнейшей улыбкой на обрюзгшем, но классически правильном лице судья Менефи встал и взял из рук Денвуди яблоко, как бы собираясь его исследовать.

В его руках оно превратилось в вещественное доказательство № 1.

— Превосходное яблоко, — сказал он одобрительно. — Должен признаться, дорогой мой мистер Денвинди, что вы затмили всех нас своими способностями фуражира. Но у меня возникла идея. Пусть это яблоко станет эмблемой, символом, призом, который разум и сердце красавицы вручат достойнейшему.

Все присутствующие, за исключением одного человека, зааплодировали.

— Здорово загнул! — пояснил пассажир, который не был ничем особенным, молодому человеку, имевшему агентство.

Воздержавшимся от аплодисментов был мельник. Он почувствовал себя разжалованным в рядовые. Ему бы и в голову никогда не пришло объявить яблоко эмблемой. Он собирался, после того как яблоко разделят и съедят, приклеить его семечки ко лбу и назвать их именами знакомых дам. Одно семечко он хотел назвать миссис Макфарленд. Семечко, упавшее первым, было бы… но теперь уже поздно.

— Яблоко, — продолжал судья Менефи, атакуя присяжных, — занимает в нашу эпоху — надо сказать, совершенно незаслуженно — ничтожное место в диапазоне нашего внимания. В самом деле, оно так часто ассоциируется с кулинарией и

коммерцией, что едва ли его можно причислить к разряду благородных фруктов. Но в древние времена это было не так. Библейские, исторические и мифологические предания изобилуют доказательствами того, что яблоко было королем в государстве фруктов. Мы и сейчас говорим «зеница ока», когда хотим определить что-нибудь чрезвычайно ценное. А что такое зеница ока, как не составная часть яблока, глазного яблока? В Притчах Соломоновых мы находим сравнение с «серебряными яблоками». Никакой иной плод дерева или лозы не упоминается так часто в фигуральной речи. Кто не слышал и не мечтал о «яблоках Гесперид»? Мне нет необходимости привлекать ваше внимание к величайшему по значению и трагизму примеру, подтверждающему престиж яблока в прошлом, когда потребление его нашими прародителями повлекло за собой падение человека с его пьедестала добродетели и совершенства.

— Такие яблоки, — сказал мельник, затрагивая материальную сторону вопроса, — стоят на чикагском рынке три доллара пятьдесят центов бочонок.

— Так вот, — сказал судья Менефи, удостоив мельника снисходительной улыбки, — то, что я

хочу предложить, сводится к следующему: в силу обстоятельств мы должны оставаться здесь до утра. Топлива у нас достаточно, мы не замерзнем. Наша следующая задача — развлечь себя наилучшим образом, чтобы время не тянулось слишком медленно. Я предлагаю вложить это яблоко в ручки мисс Гарленд. Оно больше не фрукт, но, как я уже сказал, приз, награда, символизирующая великую человеческую идею. Сама мисс Гарленд перестает быть индивидуумом… только на время, я счастлив добавить (низкий поклон, полный старомодной грации), — она будет представлять свой пол, она будет квинтэссенцией женского племени, сердцем и разумом, я бы сказал, венца творения. И в этом качестве она будет судить и решать по следующему вопросу.

Всего несколько минут назад наш друг, мистер Роз, почтил нас увлекательным, но фрагментарным очерком романтической истории из жизни бывшего владельца этого обиталища. Скудные факты, сообщенные нам, открывают, мне кажется, необъятное поле для всевозможных догадок, для анализа человеческих сердец, для упражнения нашей фантазии, словом — для импровизации. Не упустим же эту возможность. Пусть каждый из нас расскажет свою версию

истории отшельника Редрута и его дамы сердца, начиная с того, на чем обрывается рассказ мистера Роза, — с того, как влюбленные расстались у калитки. Прежде всего условимся: вовсе не обязательно предполагать, будто Редрут сошел с ума, возненавидел мир и стал отшельником исключительно по вине юной леди. Когда мы кончим, мисс Гарленд вынесет приговор женщины. Являясь духовным символом своего пола, она должна будет решить, какая версия наиболее правдиво отражает коллизию сердца и разума и вернее других оценивает характер и поступки невесты Редрута с точки зрения женщины. Яблоко будет вручено тому, кто удостоится этой награды. Если все вы согласны, то мы будем иметь удовольствие услышать первой историю мистера Динвиди.

Последняя фраза пленила мельника. Он был не из тех, кто способен долго унывать.

— Проект первый сорт, судья, — сказал он искренно. — Сочинить, значит, рассказик посмешней? Что же, я как-то работал репортером в одной спрингфилдской газете, и когда новостей не было, я их выдумывал. Надеюсь, что не ударю лицом в грязь.

— По-моему, идея очаровательная, — сказала пассажирка просияв. — Это будет совсем как

игра.

Судья Менефи выступил вперед и торжественно вложил яблоко в ее ручку.

— В древности, — сказал он с подъемом, — Парис присудил золотое яблоко прекраснейшей.

— Я был в Париже на выставке, — заметил снова развеселившийся мельник, — но ничего об этом не слышал. А я все время болтался на площадке аттракционов, если не торчал в машинном павильоне.

— А теперь, — продолжал судья, — этот плод должен истолковать нам тайну и мудрость женского сердца. Возьмите яблоко, мисс Гарленд. Выслушайте наши нехитрые романтические истории и присудите приз по справедливости.

Пассажирка мило улыбнулась. Яблоко лежало у нее на коленях под плащами и пледами. Она приткнулась к своему защитному укреплению, и ей было тепло и уютно. Если бы не шум голосов и ветра, наверное, можно было бы услышать ее мурлыканье.

Кто-то подбросил в огонь дров. Судья Менефи учтиво кивнул головой мельнику.

— Вы почтите нас первым рассказом? — сказал он.

Мельник уселся по-турецки, сдвинул шляпу

на самый затылок, чтобы предохранить его от сквозняка.

— Ну, — начал он без всякого смущения, — я разрешаю это затруднение примерно таким манером. Конечно, Редрута здорово поддел этот гусь, у которого хватало денег на всякие игрушки и который пытался отбить у него девушку. Ну, ясно, он идет прямо к ней и спрашивает, фальшивит она или нет. Кому охота, чтобы какой-то хлюст подъезжал с экипажами и золотыми приисками к девушке, на которую вы нацелились? Ну, значит, он идет к ней. Ну, возможно, что он горячится и разговаривает с ней, как с собственной женой, забыв, что чек еще не наличные. Ну, надо думать, что Алисе становится жарко под кофточкой… Ну, она кроет ему в ответ. Ну, он…

— Слушайте, — перебил его пассажир, который не был ничем особенным. — Если бы вы столько размещали ветряных мельниц, сколько раз повторяете «ну», вы бы нажили себе капиталец, верно?

Мельник добродушно усмехнулся.

— Ну, я вам не Гюй де Мопассам, — сказал он весело. — Я выражаюсь просто, по-американски. Ну, она говорит что-нибудь вроде этого: «Мистер Прииск мне только друг, — говорит она, — но он

катает меня и покупает билеты в театр, а от тебя этого не дождешься. Что же мне и удовольствия в жизни иметь нельзя? Так ты думаешь?» «Брось эти штучки, — говорит Редрут. — Дай этому щеголю отставку, а то не ставить тебе комнатных туфель под мою тумбочку».

Ну, такое расписание не годится девушке, которая развела пары; если девушка была с характером, такие слова, конечно, пришлись ей не по вкусу. А бьюсь об заклад, что она только его и любила. Может, ей просто хотелось, как это бывает с девушками, повертихвостить немножко, прежде чем засесть штопать Джорджу носки и стать хорошей женой. Но ему попала вожжа под хвост, и он ни тпру ни ну. А она, ясно, понятно, возвращает ему кольцо. Джордж, значит, смывается и начинает закладывать. Да-с! Вот она штука-то какая. А держу пари, что девочка выставила этот рог изобилия в модной жилетке за порог ровно через два дня, как исчез ее суженый. Джордж погружается на товарный поезд и направляет мешок со своими пожитками в края неизвестные. Несколько лет он пьет горькую. А потом анилин и водка подсказывают решение. «Мне остается келья отшельника, — говорит Джордж, — да борода по пояс, да зарытая кубыш-

ка с деньгами, которых нет».

Но Алиса, по моему мнению, вела себя вполне порядочно. Она не вышла замуж и, как только начали показываться морщинки, взялась за пишущую машинку и завела себе кошку, которая бежала со всех ног, когда ее звали: «Кис, кис, кис!» Я слишком верю в хороших женщин и не могу допустить, что они бросают парней, с которыми хороводятся, всякий раз как им подвернется мешок с деньгами. — Мельник умолк.

— По-моему, — сказала пассажирка, слегка потянувшись на своем низком троне, — это очаро…

— О мисс Гарленд! — вмешался судья Менефи, подняв руку. — Прошу вас, не надо комментариев! Это было бы несправедливо по отношению к другим соревнующимся. Мистер… э-э… ваша очередь, — обратился судья Менефи к молодому человеку, имевшему агентство.

— Моя версия этой романтической истории такова, — начал молодой человек, робко потирая руки. — Они не ссорились, расставаясь. Мистер Редрут простился с нею и пошел по свету искать счастья. Он знал, что его любимая останется верна ему. Он не допускал мысли, что его соперник может тронуть сердце, такое любящее и верное. Я бы сказал, что мистер Редрут направился в

Скалистые горы в Вайоминг, в поисках золота. Однажды шайка пиратов высадилась там и захватила его за работой и…

— Эй! Что за черт? — резко крикнул пассажир, который не был ничем особенным. — Шайка пиратов высадилась в Скалистых горах? Может, вы скажете, как они плыли…

— Высадились с поезда, — сказал рассказчик спокойно и не без находчивости. — Они долго держали его пленником в пещере, а потом отвезли за сотни миль в леса Аляски. Там красивая индианка влюбилась в него, но он остался верен Алисе. Проблуждав еще год в лесах, он отправился с брильянтами…

— С какими брильянтами? — спросил незначительный пассажир почти что грубо.

— С теми, которые шорник показал ему в Перуанском храме, — ответил рассказчик несколько туманно. — Когда он вернулся домой, мать Алисы, вся в слезах, повела его к зеленому могильному холмику под ивой. «Ее сердце разбилось, когда вы уехали», — сказала мать. «А что стало с моим соперником Честером Макинтош?» — спросил мистер Редрут, печально склонив колени у могилы Алисы. «Когда он узнал, — ответила она, — что ее сердце принадлежало вам, он чахнул и чахнул,

пока наконец не открыл мебельный магазин в Гранд-Рапидз. Позже мы слышали, что его до смерти искусал бешеный лось около Саут-Бенд, штат Индиана, куда он отправился, чтобы забыть цивилизованный мир». Выслушав это, мистер Редрут отвернулся от людей и, как мы уже знаем, стал отшельником.

— Мой рассказ, — заключил молодой человек, имевший агентство, — может быть, лишен литературных достоинств, но я хочу в нем показать, что девушка осталась верной. В сравнении с истинной любовью она ни во что не ставила богатство. Я так восхищаюсь прекрасным полом и верю ему, что иначе думать не могу.

Рассказчик умолк, искоса взглянув в угол, где сидела пассажирка.

Затем судья Менефи попросил Билдеда Роза выступить со своим рассказом в соревновании на символическое яблоко. Сообщение кучера было кратким.

— Я не из тех живодеров, — сказал он, — которые все несчастья сваливают на баб. Мое показание, судья, насчет рассказа, который вы спрашиваете, будет примерно такое: Редрута сгубила лень. Если бы он сгреб за холку этого Пегаса, который пытался его объехать, и дал бы ему по

морде, да держал бы Алису в стойле и надел бы ей узду с наглазниками, все было бы в порядке. Раз тебе приглянулась бабенка, так ради нее стоит постараться. «Пошли за мной, когда опять понадоблюсь», — говорит Редрут, надевает свой стетсон и сматывается. Он, может быть, думал, что это гордость, а по-нашему — лень. Какая женщина станет бегать за мужчиной? «Пускай сам придет», — говорит себе девочка; и я ручаюсь, что она велит парню с мошной попятиться, а потом с утра до ночи выглядывает из окошка, не идет ли ее разлюбезный с пустым бумажником и пушистыми усами.

Редрут ждет, наверно, лет девять, не пришлет ли она негра с записочкой, с просьбой простить ее. Но она не шлет. «Дело не выгорело, — говорит Редрут, — а я прогорел». И он берется за работенку отшельника и отращивает бороду. Да, лень и борода — вот в чем зарыта собака. Лень и борода друг без друга никуда. Слышали вы когда-нибудь, чтобы человек с длинными волосами и бородой наткнулся на золотые россыпи? Нет. Возьмите хоть герцога Молборо или этого жулика из «Стандард Ойл». Есть у них что-нибудь подобное?

Ну а эта Алиса так и не вышла замуж, клянусь дохлым мерином. Женись Редрут на другой —

может, и она вышла бы. Но он так и не вернулся. У ней хранятся как сокровища все эти штучки, которые они называют любовными памятками. Может быть, клок волос и стальная пластинка от корсета, которую он сломал. Такого сорта товарец для некоторых женщин все равно что муж. Верно, она так и засиделась в девках. И ни одну женщину я не виню в том, что Редрут расстался с чистыми рубахами и с парикмахерскими.

Следующим по порядку выступил пассажир, который не был ничем особенным. Безымянный для нас, он совершает путь от Парадайза до Санрайз-Сити.

Но вы его увидите, если только огонь в камине не погаснет, когда он откликнется на призыв судьи.

Худой, в рыжеватом костюме, сидит, как лягушка, обхватил руками ноги, а подбородком уперся в колени. Гладкие, пенькового цвета волосы, длинный нос, рот, как у сатира, с вздернутыми, запачканными табаком углами губ. Глаза как у рыбы; красный галстук с булавкой в форме подковы. Он начал дребезжащим хихиканьем, которое постепенно оформилось в слова.

— Все заврались. Что? Роман без флердоранжа? Го, го! Ставлю кошелек на парня с галстуком

бабочкой и с чековой книжкой в кармане.

С расставанья у калитки? Ладно! «Ты никогда меня не любила, — говорит Редрут яростно, — иначе ты бы не стала разговаривать с человеком, который угощает тебя мороженым». «Я ненавижу его, — говорит она, — я проклинаю его таратайку. Меня тошнит от его первосортных конфет, которые он присылает мне в золоченых коробках, обернутых в настоящие кружева; я чувствую, что могу пронзить его копьем, если он поднесет мне массивный медальон, украшенный бирюзой и жемчугом. Пропади он пропадом! Одного тебя люблю я». «Полегче на поворотах! — говорит Редрут. — Что я, какой-нибудь распутник из восточных штатов? Не лезь ко мне, пожалуйста. Делить тебя я ни с кем не собираюсь. Ступай и продолжай ненавидеть твоего приятеля. Я обойдусь девочкой Никерсон с авеню Б., жевательной резиной и поездкой в трамвае».

В тот же вечер заявляется Джон Уильям Крез. «Что? Слезы?» — говорит он, поправляя свою жемчужную булавку. «Вы отпугнули моего возлюбленного, — говорит Алиса рыдая. — Мне противен ваш вид». «Тогда выходите за меня замуж», — говорит Джон Уильям, зажигая сигару «Генри Клей». «Что! — кричит она, негодуя. —

Выйти за вас? Ни за что на свете, — говорит, — пока я не успокоюсь и не смогу кое-что закупить, а вы не выправите разрешения на брак. Тут рядом есть телефон: можно позвонить в канцелярию мэра». Рассказчик сделал паузу, и опять раздался его циничный смешок.

— Поженились они? — продолжал он. — Проглотила утка жука? А теперь поговорим о старике Редруте. Вот здесь, я считаю, вы тоже все ошиблись. Что превратило его в отшельника? Один говорит: лень, другой говорит: угрызения совести, третий говорит: пьянство. А я говорю: женщины. Сколько сейчас лет старику? — спросил рассказчик, обращаясь к Билдеду Розу.

— Лет шестьдесят пять.

— Очень хорошо. Он хозяйничал здесь, в своей отшельнической лавочке, двадцать лет. Допустим, что ему было двадцать пять, когда он раскланялся у калитки. Таким образом, от него требуется отчет за двадцать лет его жизни, иначе ему крышка. На что же он потратил эту десятку и две пятерки? Я сообщу вам свою мысль. Сидел в тюрьме за двоеженство. Допустим, что у него была толстая блондинка в Сен-Джо и худощавая брюнетка в Скиллет-Ридж и еще одна, с золотым зубом, в долине Ко. Редрут запутался и угодил в

тюрьму. Отсидел свое, вышел и говорит: «Будь что будет, но юбок с меня хватит. В отшельнической отрасли нет перепроизводства, и стенографистки не обращаются к отшельникам за работой. Веселая жизнь отшельника — вот это мне по душе. Хватит с меня длинных волос в гребенке и шпилек в сигарном ящике». Вы говорите, что старика Редрута упрятали в желтый дом потому, что он назвал себя царем Соломоном? Дудки. Он и был Соломоном. Я кончил. Полагаю, яблок это не стоит. Марки на ответ приложены. Что-то не похоже, что я победил.

Уважая предписание судьи Менефи — воздерживаться от комментариев к рассказам, никто ничего не сказал, когда пассажир, который не был ничем особенным, умолк. И тогда изобретательный зачинщик конкурса прочистил горло, чтобы начать последний рассказ на приз. Хотя судья Менефи восседал на полу без особого комфорта, это отнюдь не умалило его достоинства. Отблески угасавшего пламени освещали его лицо, чеканное, как лицо римского императора на какой-нибудь старой монете, и густые пряди его почтенных седых волос.

— Женское сердце! — начал он ровным, но взволнованным голосом. — Кто разгадает его?

Пути и желания мужчин разнообразны. Но сердца всех женщин, думается мне, бьются в одном ритме и настроены на старую мелодию любви. Любовь для женщины означает жертву. Если она достойна этого имени, то ни деньги, ни положение не перевесят для нее истинного чувства.

Господа присяж… я хочу сказать: друзья мои! Здесь разбирается дело Редрута против любви и привязанности. Но кто же подсудимый? Не Редрут, ибо он уже понес наказание. И не эти бессмертные страсти, которые украшают нашу жизнь радостью ангелов. Так кто же? Сегодня каждый из нас сидит на скамье подсудимых и должен ответить, благородные или темные силы обитают в его душе. И судит нас изящная половина человечества в образе одного из ее прекраснейших цветков. В руке она держит приз, сам по себе незначительный, но достойный наших благородных усилий как символ признания одной из достойнейших представительниц женского суждения и вкуса.

Переходя к воображаемой истории Редрута и прелестного создания, которому он отдал свое сердце, я должен прежде всего возвысить свой голос против недостойной инсинуации, что к отречению от мира его якобы привел женский

эгоизм, или вероломство, или любовь к роскоши. Я не встречал женщины столь бездушной или столь продажной. Мы должны искать причину в другом — в более низменной природе и недостойных намерениях мужчины.

По всей вероятности, в тот достопамятный день, когда влюбленные стояли у калитки, между ними произошла ссора. Терзаемый ревностью, юный Редрут покинул родные края. Но имел ли он достаточно оснований поступить таким образом? Нет доказательств ни за, ни против. Но есть нечто высшее, чем доказательство; есть великая, вечная вера в доброту женщины, в ее стойкость перед соблазном, в ее верность даже при наличии предлагаемых сокровищ.

Я рисую себе безрассудного юношу, который, терзаясь, блуждает по свету. Я вижу его постепенное падение и, наконец, его совершенное отчаяние, когда он осознает, что потерял самый драгоценный дар из тех, что жизнь могла ему предложить. При таких обстоятельствах становится понятным и почему он бежал от мира печали, и последующее расстройство его умственной деятельности.

Перейдем ко второй части разбираемого дела. Что мы здесь видим? Одинокую женщину, увя-

дающую с течением времени, все еще ждущую с тайной надеждой, что вот он появится, вот раздадутся его шаги. Но они никогда не раздадутся. Теперь она уже старушка. Ее волосы поседели и гладко причесаны. Каждый день она сидит у калитки и тоскливо смотрит на пыльную дорогу. Ей мнится, что она ждет его не здесь, в бренном мире, а там, у райских врат, и она — его навеки. Да, моя вера в женщину рисует эту картину перед моим внутренним взором. Разлученные навек на земле, но ожидающие: она — предвкушая встречу в Элизиуме, он — в геенне огненной.

— А я думал, что он в желтом доме, — сказал пассажир, который не был ничем особенным.

Судья Менефи раздраженно поежился. Мужчины сидели, опустив головы, в причудливых позах. Ветер умерил свою ярость и налетал теперь редкими, злобными порывами. Дрова в камине превратились в груду красных углей, которые отбрасывали в комнату тусклый свет. Пассажирка в своем уютном уголке казалась бесформенным свертком, увенчанным короной блестящих кудрявых волос. Кусочек ее белоснежного лба виднелся над мягким мехом боа.

Судья Менефи с усилием поднялся.

— Итак, мисс Гарленд, — объявил он, — мы

кончили. Вам надлежит присудить приз тому из нас, чей взгляд — особенно, я подчеркиваю, это касается оценки непорочной женственности — ближе всего подходит к вашим собственным убеждениям.

Пассажирка не отвечала. Судья Менефи озабоченно склонился над нею. Пассажир, который не был ничем особенным, хрипло и противно засмеялся. Пассажирка сладко спала. Судья Менефи попробовал взять ее за руку, чтобы разбудить. При этом он коснулся чего-то маленького, холодного, влажного, лежавшего у нее на коленях.

— Она съела яблоко! — возвестил судья Менефи с благоговейным ужасом и, подняв огрызок, показал его всем.

Пианино

Перевод М. Урнова

Я заночевал на овечьей ферме Раша Кинни у Песчаной излучины реки Нуэсес. Мистер Кинни и я в глаза не видали друг друга до той минуты, когда я крикнул «алло» у его коновязи; но с этого момента и до моего отъезда на следующее утро мы, согласно кодексу Техаса, были закадычными друзьями.

После ужина мы с хозяином фермы вытащили наши стулья из двухкомнатного дома на галерею с земляным полом, крытую чапарралем и саквистой. Задние ножки стульев глубоко ушли в утрамбованную глину, и мы, прислонившись к вязовым подпоркам галереи, покуривали эльторовский табачок и дружелюбно обсуждали дела остальной вселенной.

Передать словами чарующую прелесть вечера в прерии — безнадежная затея. Дерзок будет тот повествователь, который попытается описать техасскую ночь ранней весной. Ограничимся простым перечнем.

Ферма расположилась на вершине отлогого

косогора. Безбрежная прерия, оживляемая оврагами и темными пятнами кустарника и кактусов, окружала нас, словно стенки чаши, на дне которой мы покоились, как осадок Небо прихлопнуло нас бирюзовой крышкой. Чудный воздух, насыщенный озоном и сладкий от аромата диких цветов, оставлял приятный вкус во рту. В небе светил большой, круглый ласковый луч прожектора, и мы знали, что это не луна, а тусклый фонарь лета, которое явилось, чтобы прогнать на север присмиревшую весну. В ближайшем коррале смирно лежало стадо овец, — лишь изредка они с шумом подымались в беспричинной панике и сбивались в кучу. Слышались и другие звуки: визгливая семейка койотов заливалась за загонами для стрижки овец, и козодои кричали в высокой траве. Но даже эти диссонансы не заглушали звонкого потока нот дроздов-пересмешников, стекавшего с десятка соседних кустов и деревьев. Хотелось подняться на цыпочки и потрогать рукою звезды, такие они висели яркие и ощутимые.

Жену мистера Кинни, молодую и расторопную женщину, мы оставили в доме. Ее задержали домашние обязанности, которые, как я заметил, она исполняла с веселой и спокойной гордостью.

В одной комнате мы ужинали. Вскоре из другой к нам на галерею ворвалась волна неожиданной и блестящей музыки. Насколько я могу судить об искусстве игры на пианино, толкователь этой шумной фантазии с честью владел всеми тайнами клавиатуры. Пианино и тем более такая замечательная игра не вязались в моем представлении с этой маленькой и невзрачной фермой. Должно быть, недоумение было написано у меня на лице, потому что Раш Кинни тихо рассмеялся, как смеются южане, и кивнул мне сквозь освещенный луною дым от наших папирос.

— Не часто приходится слышать такой приятный шум на овечьей ферме, — заметил он. — Но я не вижу причин, почему бы не заниматься искусством и подобными фиоритурами, если вдруг очутился в глуши. Здесь скучная жизнь для женщины, и если немного музыки может ее приукрасить, почему не иметь ее? Я так смотрю на дело.

— Мудрая и благородная теория, — согласился я. — А миссис Кинни хорошо играет. Я не обучен музыкальной науке, но все же могу сказать, что она прекрасный исполнитель. У нее есть техника и незаурядная сила.

Луна, понимаете ли, светила очень ярко, и я

увидел на лице Кинни какое-то довольное и сосредоточенное выражение, словно его что-то волновало, чем он хотел поделиться.

— Вы проезжали перекресток «Два Вяза», — сказал он многообещающе. — Там вы, должно быть, заметили по левую руку заброшенный дом под деревом.

— Заметил, — сказал я. — Вокруг копалось стадо кабанов. По сломанным изгородям было видно, что там никто не живет.

— Вот там-то и началась эта музыкальная история, — сказал Кинни. — Что ж, пока мы курим, я не прочь рассказать вам ее. Как раз там жил старый Кэл Адамс. У него было около восьмисот мериносов улучшенной породы и дочка — чистый шелк и красива, как новая уздечка на тридцатидолларовой лошади. И само собой разумеется, я был виновен, хотя и заслуживал снисхождения, в том, что торчал у ранчо старого Кэла все время, какое удавалось урвать от стрижки овец и ухода за ягнятами. Звали ее мисс Марилла. И я высчитал по двойному правилу арифметики, что ей суждено стать хозяйкой и владычицей ранчо Ломито, принадлежащего Р. Кинни, эсквайру, где вы сейчас находитесь как желанный и почетный гость.

Надо вам сказать, что старый Кэл ничем не выделялся как овцевод. Это был маленький, сутуловатый hombre[135], ростом с ружейный футляр, с жидкой седой бороденкой и страшно болтливый.

Старый Кэл был до того незначителен в выбранной им профессии, что даже скотопромышленники не питали к нему ненависти. А уж если овцевод не способен выдвинуться настолько, чтобы заслужить враждебность скотоводов, он имеет все шансы умереть неоплаканным и почти что неотпетым.

Но его Марилла была сущей отрадой для глаз, и хозяйка она была хоть куда. Я был их ближайшим соседом и наезжал, бывало, в «Два Вяза» от девяти до шестнадцати раз в неделю то со свежим маслом, то с оленьим окороком, то с новым раствором для мытья овец, лишь бы был хоть пустяковый предлог повидать Мариллу. Мы с ней крепко увлеклись друг другом, и я был совершенно уверен, что заарканю ее и приведу в Ломито. Только она была так пропитана дочерними чувствами к старому Кэлу, что мне никак не удавалось заставить ее поговорить о серьезных

---

[135] Примечания: 135
Человек *(исп.)*.

вещах.

Вы в жизни не встречали человека, у которого было бы столько познаний и так мало мозгов, как у старого Кэла. Он был осведомлен во всех отраслях знаний, составляющих ученость, и владел основами всех доктрин и теорий. Его нельзя было удивить никакими идеями насчет частей речи или направлений мысли. Можно было подумать, что он профессор погоды, и политики, и химии, и естественной истории, и происхождения видов. О чем бы вы с ним ни заговорили, старый Кэл мог дать вам детальное описание любого предмета, от греческого его корня и до момента его упаковки и продажи на рынке.

Однажды, как раз после осенней стрижки, я заезжаю в «Два Вяза» с журналом дамских мод для Мариллы и научной газетой для старого Кэла.

Привязываю я коня к мескитовому кусту, вдруг вылетает Марилла, до смерти обрадованная какими-то новостями, которые ей не терпится рассказать.

— Ах, Раш! — говорит она, так и пылая от уважения и благодарности. — Подумай только! Папа собирается купить мне пианино. Ну не чудесно ли! Я и не мечтала никогда, что буду иметь пианино.

— Определенно замечательно, — говорю я. — Меня всегда восхищал приятный рев пианино. А тебе оно будет вместо компании. Молодчина дядюшка Кэл, здорово придумал.

— Я не знаю, что выбрать, — говорит Марилла, — пианино или орган. Комнатный орган тоже неплохо.

— И то и другое, — говорю я, — первоклассная штука для смягчения тишины на овечьем ранчо. Что до меня, — говорю я, — так я не желал бы ничего лучшего, как приехать вечером домой и послушать немного вальсов и джиг, и чтобы на табуретке у пианино сидел кто-нибудь твоей комплекции и обрабатывал ноты.

— Ах, помолчи об этом, — говорит Марилла, — и иди в дом. Папа не выезжал сегодня. Ему нездоровится.

Старый Кэл был в своей комнате, лежал на койке. Он сильно простудился и кашлял. Я остался ужинать.

— Я слышал, что вы собираетесь купить Марилле пианино, — говорю я ему.

— Да, Раш, что-нибудь в этом роде, — говорит он. — Она давно изнывает по музыке, а сейчас я как раз могу устроить для нее что-нибудь по этой части. Нынче осенью овцы дали по шесть фунтов

шерсти с головы на круг, и я решил добыть Марилле инструмент, если даже на него уйдет вся выручка от стрижки.

— Правильно, — говорю я. — Девочка этого заслуживает.

— Я собираюсь в Сан-Антонио с последней подводой шерсти, — говорит дядюшка Кэл, — и сам выберу для нее инструмент.

— А не лучше ли, — предлагаю я, — взять с собой Мариллу, и пусть бы она выбрала по своему вкусу?

Мне следовало бы знать, что после подобного предложения дядюшку Кэла не остановишь. Такой человек, как он, знавший все обо всем, воспринял это как умаление своих познаний.

— Нет, сэр, это не пойдет, — говорит он, теребя свою седую бороденку. — Во всем мире нет лучшего знатока музыкальных инструментов, чем я. У меня был дядя, — говорит он, — который состоял компаньоном фабрики роялей, и я видел, как их собирали тысячами. Я знаю все музыкальные инструменты от органа до свистульки. На свете нет такого человека, сэр, который мог бы сообщить мне что-нибудь новое по части любого инструмента, дуют ли в него, колотят ли, царапают, вертят, щиплют или заводят ключом…

— Купи, что хочешь, па, — говорит Марилла, а сама так и юлит от радости. — Уж ты-то сумеешь выбрать. Пусть будет пианино, или орган, или еще что-нибудь.

— Я как-то видел в Сент-Луисе так называемый оркестрион, — говорит дядюшка Кэл, — самое, по-моему, замечательное изобретение в области музыки. Но для него в доме нет места. Да и стоит он, надо думать, тысячу долларов. Я полагаю, что Марилле лучше всего подойдет что-нибудь по части пианино. Она два года брала уроки в Бэрдстейле. Нет, только себе я могу доверить покупку инструмента и никому больше. Я так полагаю, что не возьмись я за разведение овец, я был бы одним из лучших в мире композиторов или фабрикантов роялей и органов.

Таков был дядюшка Кэл. Но я терпел его, потому что он очень уж заботился о Марилле. И она заботилась о нем не меньше. Он посылал ее на два года в пансион в Бэрдстейл, хотя на покрытие расходов уходил чуть ли не последний фунт шерсти.

Помнится, во вторник дядюшка Кэл отправился в Сан-Антонио с последней подводой шерсти. Пока он был в отъезде, из Бэрдстейла приехал дядя Мариллы, Бен, и поселился на ранчо. До

Сан-Антонио было девяносто миль, а до ближайшей железнодорожной станции сорок, так что дядюшка Кэл отсутствовал дня четыре. Я был в «Двух Вязах», когда он прикатил домой как-то вечером, перед закатом. На возу определенно что-то торчало — пианино или орган, мы не могли разобрать, — все было укутано в мешки из-под шерсти и поверх натянут брезент на случай дождя. Марилла выскакивает и кричит: «Ах, ах!» Глаза у нее блестят и волосы развеваются. «Папочка… Папочка, — поет она, — ты привез его… Привез?» А оно у нее прямо перед глазами. Но женщины иначе не могут.

— Лучшее пианино во всем Сан-Антонио, — говорит дядюшка Кэл, гордо помахивая рукой. — Настоящее розовое дерево, и самый лучший, самый громкий тон, какой только может быть. Я слышал, как на нем играл хозяин магазина; забрал его, не торгуясь, и расплатился наличными.

Мы с Беном, дядя Кэл да еще один мексиканец сняли его с подводы, втащили в дом и поставили в угол. Это был такой стоячий инструмент — не очень тяжелый и не очень большой.

А потом ни с того ни с сего дядюшка Кэл шлепается на пол и говорит, что захворал. У него сильный жар, и он жалуется на легкие. Он укла-

дывается в постель, мы с Беном тем временем распрягаем и отводим на пастбище лошадей, а Марилла суетится, готовя горячее питье дядюшке Кэлу. Но прежде всего она кладет обе руки на пианино и обнимает его с нежной улыбкой, ну, знаете, совсем как ребенок с рождественскими игрушками.

Когда я вернулся с пастбища, Марилла была в комнате, где стояло пианино. По веревкам и мешкам на полу было видно, что она его распаковала. Но теперь она снова натягивала на него брезент, и на ее побледневшем лице было какое-то торжественное выражение.

— Что это ты, Марилла, никак снова завертываешь музыку? — спрашиваю я. — А ну-ка парочку мелодий, чтобы поглядеть, как оно ходит под седлом.

— Не сегодня, Раш, — говорит она, — я не могу сегодня играть. Папа очень болен. Только подумай, Раш, он заплатил за него триста долларов — почти треть того, что выручил за шерсть.

— Что ж такого, ты стоишь больше любой трети чего бы то ни было, — сказал я. — А потом, я думаю, дядюшка Кэл уж не настолько болен, что не может послушать легкое сотрясение клавишей. Надо же окрестить машину.

— Не сегодня, Раш, — говорит Марилла таким тоном, что сразу видно — спорить с ней бесполезно.

Но что ни говори, а дядюшку Кэла, видно, крепко скрутило. Ему стало так плохо, что Бен оседлал лошадь и поехал в Бэрдстейл за доктором Симпсоном. Я остался на ферме на случай, если что понадобится.

Когда дядюшке Кэлу немного полегчало, он позвал Мариллу и говорит ей:

— Ты видела инструмент, милая? Ну, как тебе нравится?

— Он чудесный, папочка, — говорит она, склоняясь к его подушке. — Я никогда не видала такого замечательного инструмента. Ты такой милый и заботливый, что купил мне его!

— Я не слышал, чтобы ты на нем играла, — говорит дядюшка Кэл. — А я прислушивался. Бок сейчас меня не очень тревожит. Может, сыграешь какую-нибудь вещицу, Марилла?

Но нет, она заговаривает зубы дядюшке Кэлу и успокаивает его, как ребенка. По-видимому, она твердо решила не прикасаться пока к пианино.

Приезжает доктор Симпсон и говорит, что у дядюшки Кэла воспаление легких в самой тяжелой форме; старику было за шестьдесят, и он давно

уж начал сдавать, так что шансы были за то, что ему не придется больше гулять по травке.

На четвертый день болезни он снова зовет Мариллу и заводит речь о пианино. Тут же находятся и доктор Симпсон, и Бен, и миссис Бен, и все ухаживают за ним, кто как может.

— У меня бы здорово пошло по части музыки, — говорит дядюшка Кэл. — Я выбрал лучший инструмент, какой можно достать за деньги в Сан-Антонио. Ведь верно, Марилла, что пианино хорошее во всех отношениях?

— Оно просто совершенство, папочка, — говорит она. — Я в жизни не слышала такого прекрасного тона. А не лучше ли тебе соснуть, папочка?

— Нет, нет, — говорит дядюшка Кэл. — Я хочу послушать пианино. Мне кажется, что ты даже не прикасалась к клавишам. Я сам поехал в Сан-Антонио и сам выбрал его для тебя. На него ушла треть всей выручки от осенней стрижки. Но мне не жаль денег, лишь бы было удовольствие для моей милой девочки. Поиграй мне немножко, Марилла.

Доктор Симпсон поманил Мариллу в сторону и посоветовал ей исполнить желание дядюшки Кэла, чтобы он успокоился. И дядя Бен и его жена

просили ее о том же.

— Почему бы тебе не отстукать одну-две песенки с глухой педалью? — спрашиваю я Мариллу. — Дядюшка Кэл столько раз тебя просил. Ему будет здорово приятно послушать, как ты пересчитываешь клавиши на пианино, которое он купил для тебя. Почему бы не сыграть, в самом деле?

Но Марилла стоит и молчит, только слезы из глаз катятся. Потом она подсовывает руки под шею дядюшки Кэла и крепко его обнимает.

— Ну как же, папочка, — услышали мы ее голос, — вчера вечером я очень много играла. Честное слово… я играла. Такой это замечательный инструмент, что ты даже представить не можешь, как он мне нравится. Вчера вечером я играла «Бойни Дэнди», польку «Наковальня», «Голубой Дунай» и еще массу всяких вещиц. Хоть немножко, но ты, наверное, слышал, как я играла, ведь слышал, папочка? Мне не хотелось играть громко, пока ты болен.

— Возможно, возможно, — говорит дядюшка Кэл, — может быть, я и слышал. Может быть, слышал и забыл. Голова у меня какая-то дурная стала. Я слышал, хозяин магазина прекрасно играл на нем. Я очень рад, что тебе оно нравится, Марилла. Да, пожалуй, я сосну немного, если ты

побудешь со мною.

Ну и задала же мне Марилла загадку. Так носилась она со своим стариком и вдруг не хочет выстукать ни одной нотки на пианино, которое он ей купил. Я не мог понять, зачем она сказала отцу, что играла, когда даже брезент не стаскивала с пианино с тех самых пор, как накрыла его в первый день. Я знал, что она хоть немножко да умеет играть, потому что слышал однажды, как она откалывала какую-то довольно приятную танцевальную музыку на старом пианино на ранчо Чарко Ларго.

Ну-с, примерно в неделю воспаление легких уходило дядюшку Кэла. Хоронили его в Бэрдстейле, и все мы отправились туда. Я привез Мариллу домой в своей тележке. Ее дядя Бен и его жена собирались побыть с ней несколько дней.

В тот вечер, когда все были на галерее, Марилла отвела меня в комнату, где стояло пианино.

— Поди сюда, Раш, — говорит она. — Я хочу тебе что-то показать.

Она развязывает веревку и сбрасывает брезент.

Если вы когда-нибудь ездили на седле без лошади, или стреляли из незаряженного ружья, или напивались из пустой бутылки, тогда, возможно,

вам удалось бы извлечь оперу из инструмента, купленного дядюшкой Кэлом. Это было не пианино, а одна из тех машин, которые изобрели, чтобы при помощи их играть на пианино. Сама по себе она была так же музыкальна, как дырки флейты без флейты.

Вот какое пианино выбрал дядюшка Кэл. И возле него стояла добрая, чистая, как первосортная шерсть, девушка, которая так и не сказала ему об этом.

— А то, что вы сейчас слушали, — заключил мистер Кинни, — было исполнено этой самой подставной музыкальной машиной; только теперь она приткнута к пианино в шестьсот долларов, которое я купил Марилле, как только мы поженились.

По первому требованию

Перевод О. Холмской

В те дни скотоводы были помазанниками. Они были самодержцами стад, повелителями пастбищ, лордами лугов, грандами говядины. Они могли бы разъезжать в золотых каретах, если бы имели к этому склонность. Доллары сыпались на них дождем. Им даже казалось, что денег у них гораздо больше, чем прилично иметь человеку. Ибо после того, как скотовод покупал себе золотые часы с вделанными в крышку драгоценными камнями такой величины, что они натирали ему мозоли на ребрах, обзаводился калифорнийским седлом с серебряными гвоздиками и стременами из ангорской кожи и ставил даровую выпивку в неограниченном количестве всем встречным и поперечным, — на что ему еще было тратить деньги?

Те герцоги лассо, у которых имелись жены, были не столь ограничены в своих возможностях по части освобождения от излишков капитала. Созданный из адамова ребра пол на этот счет более изобретателен, и в груди его представи-

тельниц гений облегчения кошельков может дремать годами, не проявляясь за отсутствием случая, но никогда, о мои братья, никогда он не угасает совсем!

Вот как случилось, что Длинный Билл Лонгли, гонимый женой человек, покинул заросли чапарраля возле Бар-Серкл-Бранч на Фрио и прибыл в город, дабы вкусить от более утонченных радостей успеха. У него имелся капитал этак в полмиллиона долларов, и доходы его непрерывно возрастали.

Все свои ученые степени Длинный Билл получил в скотоводческом лагере и на степной тропе. Удача и бережливость, ясная голова и зоркий глаз на таящиеся в телке достоинства помогли ему подняться от простого ковбоя до хозяина стад. Потом начался бум в скотопромышленности, и Фортуна, осторожно пробираясь среди колючих кактусов, опорожнила рог изобилия на пороге его ранчо.

Лонгли построил себе роскошную виллу в маленьком западном городке Чаппарозе. И здесь он обратился в пленника, прикованного к колеснице светских обязанностей. Он обречен был стать столпом общества. Вначале он брыкался, как мустанг, впервые загнанный в корраль, потом

со вздохом повесил на стену шпоры и арапник. Праздность тяготила его, время девать было некуда. Он организовал в Чаппарозе Первый Национальный банк и был избран его президентом.

Однажды в банке появился невзрачный человечек с геморроидальным цветом лица, в очках с толстыми стеклами, и просунул в окошечко главного бухгалтера служебного вида карточку. Через пять минут весь штат банка бегал и суетился, выполняя распоряжения ревизора, прибывшего для очередной ревизии.

Этот ревизор, мистер Дж. Эдгар Тодд, оказался весьма дотошным.

Закончив свои труды, ревизор надел шляпу и зашел в личный кабинет президента банка, мистера Уильяма Р. Лонгли.

— Ну, как делишки? — лениво протянул Билл, умеряя свой низкий, раскатистый голос. — Высмотрели какое-нибудь тавро, которое вам не по вкусу?

— Отчетность банка в полном порядке, мистер Лонгли, — ответил ревизор. — И ссуды все оформлены согласно правилам, за одним исключением. Тут есть одна очень неприятная бумажка — настолько неприятная, что я думаю, вы просто не

представляли себе, в какое тяжелое положение она вас ставит. Я имею в виду ссуду в десять тысяч долларов с уплатой по первому требованию, выданную вами некоему Томасу Мервину она не только превышает ту максимальную сумму, какую вы по закону имеете право выдавать частным лицам, но при ней нет ни поручительства, ни обеспечения. Таким образом, вы вдвойне нарушили правила о национальных банках и подлежите уголовной ответственности. Если я доложу об этом Главному контролеру, что я обязан сделать, он, без сомнения, передаст дело в департамент юстиции, и вас привлекут к суду. Положение, как видите, весьма серьезное.

Билл Лонгли сидел, откинувшись в своем вращающемся кресле, вытянув длинные ноги и сцепив руки на затылке. Не меняя позы, он слегка повернул кресло и поглядел ревизору в лицо. Тот с изумлением увидел, что жесткий рот банкира сложился в добродушную улыбку и в его голубых глазах блеснула насмешливая искорка. Если он и сознавал серьезность своего положения, по его виду это не было заметно.

— Ну да, конечно, — промолвил он с несколько даже снисходительным выражением, — вы ведь не знаете Томаса Мервина. Про эту ссуду мне все

известно. Обеспечения при ней нет, только слово Тома Мервина. Но я уже давно приметил, что если на слово человека можно положиться, так это и есть самое верное обеспечение. Ну да, я знаю, правительство думает иначе. Придется мне, значит, повидать Тома Мервина насчет этой ссуды.

У ревизора стал такой вид, как будто его геморрой внезапно разыгрался. Он с изумлением воззрился на степного банкира сквозь свои толстые стекла.

— Видите ли, — благодушно продолжал Лонгли, не испытывая, видимо, и тени сомнения в убедительности своих аргументов, — Том прослышал, что на Рио-Гранде у Каменного брода продается стадо двухлеток, две тысячи голов по восемь долларов за каждую. Я так думаю, что это старый Леандро Гарсиа перегнал их контрабандой через границу, ну и торопился сбыть с рук. А в Канзас-Сити этих коровок можно продать самое меньшее по пятнадцать долларов. Том это знал, и я тоже. У него наличных было шесть тысяч, ну я и дал ему еще десять, чтобы он мог обстряпать это дельце. Его брат Эд погнал все стадо на рынок еще три недели тому назад. Теперь уж вот-вот должен вернуться. Привезет деньги, и Том сейчас же заплатит.

Ревизор с трудом мог поверить своим ушам. По-настоящему, он должен был бы, услышав все это, немедленно пойти на почту и телеграфировать Главному контролеру. Но он этого не сделал. Вместо того он произнес прочувствованную и язвительную речь. Он говорил целых три минуты, и ему удалось довести банкира до сознания, что он стоит на краю гибели. А затем ревизор открыл перед ним узкую спасительную лазейку.

— Сегодня вечером я отправляюсь в Хиллдэл, — сказал он Биллу, — ревизовать тамошний банк. На обратном пути заеду в Чаппарозу. Завтра, ровно в двенадцать, буду у вас в банке. Если ссуда к тому времени будет уплачена, я не упомяну о ней в отчете. Если нет, я вынужден буду исполнить свой долг.

Засим ревизор раскланялся и удалился.

Президент Первого Национального банка еще с полчаса посидел развалясь в своем кресле, потом закурил легкую сигару и направился в контору Томаса Мервина.

Мервин, по внешности скотовод в парусиновых штанах, а по выражению глаз склонный к созерцательности философ, сидел, положив ноги на стол, и плел кнут из сыромятных ремней.

— Том, — сказал Лонгли, наваливаясь на стол, —

есть какие-нибудь вести об Эде?

— Пока нету, — ответил Мервин, продолжая переплетать ремешки. — Денька через два-три, наверно, сам приедет.

— Сегодня у нас в банке был ревизор, — продолжал Билл. — Лазил по всем углам, как увидал твою расписку, так и встал на дыбы. Мы-то с тобой знаем, что тут все в порядке, но, черт его дери, все-таки это против банковских правил. Я рассчитывал, что ты успеешь заплатить до очередной ревизии, но этот сукин сын нагрянул, когда его никто не ждал. У меня-то сейчас наличных, как на грех, ни цента, а то бы я сам за тебя заплатил. Он мне дал сроку до завтра; завтра, ровно в полдень, я должен либо выложить на стол деньги вместо этой расписки, либо…

— Либо что? — спросил Мервин, так как Билл запнулся.

— Да похоже, что тогда дядя Сэм лягнет меня обоими каблуками.

— Я постараюсь вовремя доставить тебе деньги, — ответил Мервин, не поднимая глаз от своих ремешков.

— Спасибо, Том, — сказал Лонгли, поворачиваясь к двери. — Я знал, что ты сделаешь все, что возможно.

Мервин швырнул на пол свой кнут и пошел в другой банк, имевшийся в городе. Это был частный банк Купера и Крэга.

— Купер, — сказал Мервин тому из компаньонов, который носил это имя, — мне нужно десять тысяч долларов. Сегодня или, самое позднее, завтра утром. У меня здесь есть дом и участок земли стоимостью в шесть тысяч долларов. Вот пока что все мои обеспечения. Но у меня на мази одно дельце, которое через несколько дней принесет вдвое больше.

Купер начал покашливать.

— Только, ради бога, не отказывайте, — сказал Мервин. — Я, понимаете ли, взял ссуду на десять тысяч. С уплатой по первому требованию. Ну и вот ее потребовали. А с этим человеком, что ее потребовал, я десять лет спал под одним одеялом у костра в лагерях и на степных дорогах. Он может потребовать все, что у меня есть, и я отдам. Скажет — дай всю кровь, что есть у тебя в жилах, и ему не будет отказа. Ему до зарезу нужны эти деньги. Он попал в чертовский… Ну, одним словом, ему нужны деньги, и я должен их достать. Вы же знаете, Купер, что на мое слово можно положиться.

— Безусловно, — с изысканной любезностью

ответил Купер. — Но у меня есть компаньон. Я не волен сам распоряжаться ссудами. А кроме того, будь у вас даже самые верные обеспечения, мы все равно не могли бы предоставить вам ссуду раньше чем через неделю. Как раз сегодня мы отправляем пятнадцать тысяч долларов братьям Майерс в Рокделл для закупки хлопка. Посыльный с деньгами выезжает сегодня вечером по узкоколейке. Так что временно наша касса пуста. Очень сожалею, что ничем не можем вам служить.

Мервин вернулся к себе, в маленькую, спартански обставленную контору, и снова принялся плести свой кнут. В четыре часа дня он зашел в Первый Национальный банк и оперся о барьер перед столом Билла Лонгли.

— Постараюсь, Билл, достать тебе эти деньги сегодня вечером, то есть я хочу сказать, завтра утром.

— Хорошо, Том, — спокойно ответил Лонгли.

В девять часов вечера Том Мервин крадучись вышел из своего бревенчатого домика. Дом стоял на окраине города, и в такой час здесь редко кого можно было встретить. На голове у Мервина была шляпа с опущенными полями, за поясом два шестизарядных револьвера. Он быстро про-

шел по пустынной улице и двинулся дальше по песчаной дороге, тянувшейся вдоль полотна узкоколейки. В двух милях от города, у большой цистерны, где поезда брали воду, он остановился, обвязал нижнюю часть лица черным шелковым платком и надвинул шляпу на лоб.

Через десять минут вечерний поезд из Чаппарозы на Рокделл замедлил ход возле цистерны.

Держа в каждой руке по револьверу, Мервин выбежал из-за кустов и устремился к паровозу. Но в ту же минуту две длинных, могучих руки обхватили его сзади, приподняли над землей и кинули ничком в траву. В спину ему уперлось тяжелое колено, железные пальцы стиснули его запястья. Так его держали, словно малого ребенка, пока машинист не набрал воду и поезд, все убыстряя ход, не исчез вдали. Тогда его отпустили, и, поднявшись на ноги, он увидел перед собой Билла Лонгли.

— Это уж, Том, больше, чем требуется, — сказал Лонгли. — Я вечером встретил Купера, и он рассказал мне, о чем вы с ним говорили. Тогда я пошел к тебе и вдруг вижу, ты куда-то катишь, с пистолетами. Ну, я тебя и выследил. Идем-ка домой.

Они повернулись и рядышком пошли к городу.

— Я ничего другого не мог придумать, — помолчав, сказал Том. — Ты потребовал свою ссуду — и я старался выполнить обязательство. Но как же теперь, Билл? Что ты станешь делать, если тебя завтра цапнут?

— А что бы ты стал делать, если бы тебя сегодня цапнули? — осведомился Лонгли.

— Вот уж не думал, что буду когда-нибудь лежать в кустах и подкарауливать поезд, — задумчиво промолвил Мервин. — Но ссуда с возвратом по первому требованию — это дело совсем особое. Дал слово — значит, свято. Слушай, Билл, у нас еще двенадцать часов впереди, пока этот шпик на тебя насядет. Надо во что бы то ни стало раздобыть деньги. Не попробовать ли… Батюшки! Голубчики! Том! Слышишь?..

Мервин пустился бежать со всех ног, и Лонгли за ним, хотя ничего как будто не произошло — только откуда-то из темноты доносился не лишенный приятности свист: кто-то старательно насвистывал меланхолическую песенку «Жалоба ковбоя».

— Он только ее одну и знает, — крикнул на бегу Мервин. — Держу пари…

Они уже были у крыльца. Том ударом ноги распахнул дверь и споткнулся о старый чемодан,

валявшийся посреди комнаты. На кровати лежал загорелый молодой человек с квадратным подбородком, весь в дорожной пыли, и попыхивал коричневой самокруткой.

— Ну как, Эд? — задыхаясь, воскликнул Мервин.

— Да так, ничего себе, — лениво ответствовал этот деловитый юноша. — Только сейчас приехал, в девять тридцать. Сбыл всех подчистую. По пятнадцать долларов. Э, да перестаньте же пинать ногами мой чемодан! В нем зелененьких на двадцать девять тысяч, можно бы, кажется, обращаться с ним поделикатнее!

Принцесса и пума

Перевод М. Урнова

Разумеется, не обошлось без короля и королевы. Король был страшным стариком; он носил шестизарядные револьверы и шпоры и орал таким зычным голосом, что гремучие змеи прерий спешили спрятаться в свои норы под кактусами. До коронации его звали Бен Шептун. Когда же он обзавелся пятьюдесятью тысячами акров земли и таким количеством скота, что сам потерял ему счет, его стали звать О'Доннел, король скота.

Королева была мексиканка из Ларедо. Из нее вышла хорошая, кроткая жена, и ей даже удалось научить Бена настолько умерять голос в стенах своего дома, что от звука его не разбивалась посуда. Когда Бен стал королем, она полюбила сидеть на галерее ранчо Эспиноза и плести тростниковые циновки. А когда богатство стало настолько непреодолимым и угнетающим, что из Сан-Антонио в фургонах привезли мягкие кресла и круглый стол, она склонила темноволосую

голову и разделила судьбу Данаи[136].

Во избежание lese majeste[137] вас сначала представили королю и королеве. Но они не играют никакой роли в этом рассказе, который можно назвать «Повестью о том, как принцесса не растерялась и как лев свалял дурака».

Принцессой была здравствующая королевская дочь Жозефа О'Доннел. От матери она унаследовала доброе сердце и смуглую субтропическую красоту. От его величества Бена О'Доннела она получила запас бесстрашия, здравый смысл и способность управлять людьми. Стоило приехать издалека, чтобы посмотреть на такое сочетание. На всем скаку Жозефа могла всадить пять пуль из шести в жестянку из-под томатов, вертящуюся на конце веревки. Она могла часами играть со своим белым котенком, наряжая его в самые нелепые костюмы. Презирая карандаш, она могла высчитать в уме, сколько барыша принесут тысяча пятьсот сорок пять двухлеток, если продать их по восемь долларов пятьдесят центов за голову. Ранчо Эспиноза имеет около сорока миль в длину

---

[136] Примечания: 136

Даная *(греч. мифология)* — возлюбленная бога Зевса, который явился к ней в образе золотого дождя.

[137] Примечания: 137

Оскорбление величества *(франц.)*.

и тридцати в ширину — правда, большей частью арендованной земли. Жозефа обследовала каждую ее милю верхом на своей лошади. Все ковбои на этом пространстве знали ее в лицо и были ее верными вассалами. Рипли Гивнс, старший одной из ковбойских партий Эспинозы, увидел ее однажды и тут же решил породниться с королевской фамилией. Самонадеянность? О нет. В те времена на землях Нуэсес мужчина был мужчиной. И в конце концов титул «короля скота» вовсе не предполагает королевской крови. Часто он означает только, что его обладатель носит корону в знак своих блестящих способностей по части кражи скота.

Однажды Рипли Гивнс поехал верхом на ранчо «Два Вяза» справиться о пропавших однолетках. В обратный путь он тронулся поздно, и солнце уже садилось, когда он достиг переправы Белой Лошади на реке Нуэсес. От переправы до его лагеря было шестнадцать миль. До усадьбы ранчо Эспиноза — двенадцать. Гивнс утомился. Он решил заночевать у переправы.

Река в этом месте образовала красивую заводь. Берега густо поросли большими деревьями и кустарником. В пятидесяти ярдах от заводи поляну покрывала курчавая мескитовая трава — ужин

для коня и постель для всадника. Гивнс привязал лошадь и разложил потники для просушки. Он сел, прислонившись к дереву, и свернул папиросу. Из зарослей, окаймлявших реку, вдруг донесся яростный, раскатистый рев. Лошадь заплясала на привязи и зафыркала, почуяв опасность. Гивнс, продолжая попыхивать папироской, не спеша поднял с земли свой пояс и на всякий случай повернул барабан револьвера. Большая щука громко плеснула в заводи. Маленький бурый кролик обскакал куст «кошачьей лапки» и сел, поводя усами и насмешливо поглядывая на Гивнса. Лошадь снова принялась щипать траву.

Когда на закате солнца мексиканский лев поет сопрано у реки, меры предосторожности нелишни. Может быть, его песня говорит о том, что молодые телята и жирные барашки попадаются редко и что он горит плотоядным желанием познакомиться с вами.

В траве валялась пустая жестянка из-под фруктовых консервов, брошенная здесь каким-нибудь путником. Увидев ее, Гивнс крякнул от удовольствия. В кармане его куртки, привязанной к седлу, было немного молотого кофе. Черный кофе и папиросы! Чего еще надо ковбою?

В две минуты Гивнс развел небольшой веселый

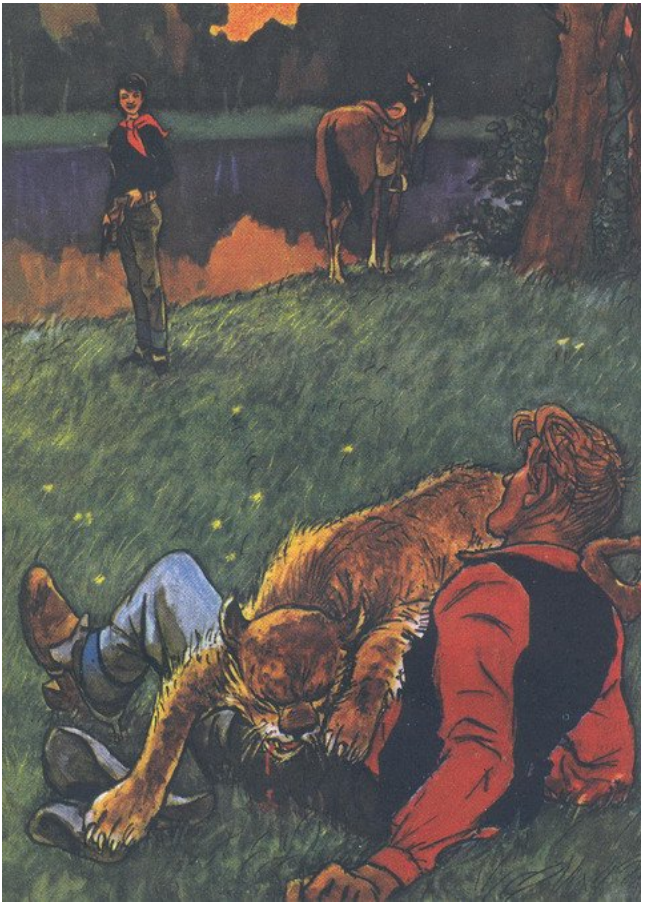
костер. Он взял жестянку и пошел к заводи. Не доходя пятнадцати шагов до берега, он увидел слева от себя лошадь под дамским седлом, щипавшую траву. А у самой воды поднималась с колен Жозефа О'Доннел. Она только что напилась и теперь отряхивала с ладоней песок. В десяти ярдах справа от нее Гивнс увидел мексиканского льва, полускрытого ветвями саквисты. Его янтарные глаза сверкали голодным огнем; в шести футах от них виднелся кончик хвоста, вытянутого прямо, как у пойнтера. Зверь чуть раскачивался на задних лапах, как все представители кошачьей породы перед прыжком.

Гивнс сделал, что мог. Его револьвер валялся в траве, до него было тридцать пять ярдов. С громким воплем Гивнс кинулся между львом и принцессой.

Схватка, как впоследствии рассказывал Гивнс, вышла короткая и несколько беспорядочная. Прибыв на место атаки, Гивнс увидел в воздухе дымную полосу и услышал два негромких выстрела. Затем сто фунтов мексиканского льва шлепнулись ему на голову и тяжелым ударом придавили его к земле. Он помнит, как закричал: «Отпусти, это не по правилам!», потом выполз из-под пумы, как червяк, на затылке в том месте,

которым он стукнулся о корень вяза. Лев лежал неподвижно. Раздосадованный Гивнс, заподозрив подвох, погрозил ему кулаком и крикнул: «Подожди, я с тобой еще...» — и тут пришел в себя.

Жозефа стояла на прежнем месте, спокойно перезаряжая тридцативосьмикалиберный револьвер, украшенный серебром. Особенной меткости ей на этот раз не потребовалось: голова зверя представляла собою куда более легкую мишень, чем жестянка из-под томатов, вертящаяся на конце веревки. На губах девушки и в темных глазах играла вызывающая улыбка. Незадачливый рыцарь-избавитель почувствовал, как фиаско огнем жжет его сердце. Вот где ему представился случай, о котором он так мечтал, но все произошло под знаком Момуса, а не Купидона. Сатиры в лесу уж, наверно, держались за бока, заливаясь озорным беззвучным смехом. Разыгралось нечто вроде водевиля «Сеньор Гивнс и его забавный поединок с чучелом льва».



— Это вы, мистер Гивнс? — сказала Жозефа своим медлительным томным контральто. — Вы чуть не испортили мне выстрела своим криком. Вы не ушибли себе голову, когда упали?

— О нет, — спокойно ответил Гивнс. — Это-то было совсем не больно.

Он нагнулся, придавленный стыдом, и вытащил из-под зверя свою прекрасную шляпу. Она была так смята и истерзана, словно ее специально готовили для комического номера. Потом он стал на колени и нежно погладил свирепую, с открытой пастью голову мертвого льва.

— Бедный старый Билл! — горестно воскликнул он.

— Что такое? — резко спросила Жозефа.

— Вы, конечно, не знали, мисс Жозефа, — сказал Гивнс с видом человека, в сердце которого великодушие берет верх над горем. — Вы не виноваты. Я пытался спасти его, но не успел предупредить вас.

— Кого спасти?

— Да Билла. Я весь день искал его. Ведь он два года был общим любимцем у нас в лагере. Бедный старик! Он бы и кролика не обидел. Ребята просто с ума сойдут, когда услышат. Но вы-то не знали, что он хотел просто поиграть с вами.

Черные глаза Жозефы упорно жгли его. Рипли Гивнс выдержал испытание. Он стоял и задумчиво ерошил свои темно-русые кудри. В глазах его была скорбь с примесью нежного укора. Приятные черты его лица явно выражали печаль. Жозефа дрогнула.

— Что же делал здесь ваш любимец? — спросила она, пуская в ход последний довод. — У переправы Белой Лошади нет никакого лагеря.

— Этот разбойник еще вчера удрал из лагеря, — без запинки ответил Гивнс. — Удивляться приходится, как его до смерти не напугали койоты. Понимаете, на прошлой неделе Джим Уэбстер, наш конюх, привез в лагерь маленького щенка терьера. Этот щенок буквально отравил Биллу жизнь: он гонял его по всему лагерю, часами жевал его задние лапы. Каждую ночь, когда ложились спать, Билл забирался под одеяло к кому-нибудь из ребят и спал там, скрываясь от щенка. Видно, его довели до отчаяния, а то бы он не сбежал. Он всегда боялся отходить далеко от лагеря.

Жозефа посмотрела на труп свирепого зверя. Гивнс ласково похлопал его по страшной лапе, одного удара которой хватило бы, чтобы убить годовалого теленка. По оливковому лицу девуш-

ки разлился яркий румянец. Был ли то признак стыда, какой испытывает настоящий охотник, убив недостойную дичь? Взгляд ее смягчился, опущенные ресницы смахнули с глаз веселую насмешку.

— Мне очень жаль, — сказала она, — но он был такой большой и прыгнул так высоко, что…

— Бедняга Билл проголодался, — перебил ее Гивнс, спеша заступиться за покойника. — Мы в лагере всегда заставляли его прыгать, когда кормили. Чтобы получить кусок мяса, он ложился и катался по земле. Увидев вас, он подумал, что вы ему дадите поесть.

Вдруг глаза Жозефы широко раскрылись.

— Ведь я могла застрелить вас! — воскликнула она. — Вы бросились как раз между нами. Вы рисковали жизнью, чтобы спасти своего любимца! Это замечательно, мистер Гивнс. Мне нравятся люди, которые любят животных.

Да, сейчас в ее взгляде было даже восхищение. В конце концов из руин позорной развязки рождался герой. Выражение лица Гивнса обеспечило бы ему высокое положение в Обществе покровительства животным.

— Я их всегда любил, — сказал он, — лошадей, собак, мексиканских львов, коров, аллигаторов…

— Ненавижу аллигаторов! — быстро возразила Жозефа. — Ползучие, грязные твари!

— Разве я сказал «аллигаторов»? — поправился Гивнс. — Я, конечно, имел в виду антилоп.

Совесть Жозефы заставила ее пойти еще дальше. Она с видом раскаяния протянула руку. В глазах ее блестели непролитые слезинки.

— Пожалуйста, простите меня, мистер Гивнс. Ведь я женщина и сначала, естественно, испугалась. Мне очень, очень жаль, что я застрелила Билла. Вы представить себе не можете, как мне стыдно. Я ни за что не сделала бы этого, если бы знала.

Гивнс взял протянутую руку. Он держал ее до тех пор, пока его великодушие не победило скорбь об утраченном Билле. Наконец стало ясно, что он простил ее.

— Прошу вас, не говорите больше об этом, мисс Жозефа. Билл своим видом мог напугать любую девушку. Я уж как-нибудь объясню всем ребятам.

— Правда? И вы не будете меня ненавидеть? — Жозефа доверчиво придвинулась ближе к нему. Глаза ее глядели ласково, очень ласково, и в них была пленительная мольба. — Я возненавидела бы всякого, кто убил бы моего котенка. И как

смело и благородно с вашей стороны, что вы пытались спасти его с риском для жизни! Очень, очень немногие поступили бы так!

Победа, вырванная из поражения! Водевиль, обернувшийся драмой! Браво, Рипли Гивнс!

Спустились сумерки. Конечно, нельзя было допустить, чтобы мисс Жозефа ехала в усадьбу одна. Гивнс опять оседлал своего коня, несмотря на его укоризненные взгляды, и поехал с нею. Они скакали рядом по мягкой траве — принцесса и человек, который любил животных. Запахи прерии — запахи плодородной земли и прекрасных цветов — окутывали их сладкими волнами. Вдали на холме затявкали койоты. Бояться нечего! И все же...

Жозефа подъехала ближе. Маленькая ручка словно что-то искала. Гивнс накрыл ее своей. Лошади шли нога в ногу. Руки медленно сомкнулись, и обладательница одной из них заговорила.

— Я никогда раньше не пугалась, — сказала Жозефа, — но вы подумайте, как страшно было бы встретиться с настоящим диким львом! Бедный Билл! Я так рада, что вы поехали со мной!..

О'Доннел сидел на галерее.

— Алло, Рип! — гаркнул он. — Это ты?

— Он провожал меня, — сказала Жозефа. — Я сбилась с дороги и запоздала.

— Премного обязан, — возгласил король скота. — Заночуй, Рип, а в лагерь поедешь завтра.

Но Гивнс не захотел остаться. Он решил ехать дальше, в лагерь. На рассвете нужно было отправить гурт быков. Он простился и поскакал.

Час спустя, когда погасли огни, Жозефа в ночной сорочке подошла к своей двери и крикнула королю через выложенный кирпичом коридор:

— Слушай, пап, ты помнишь этого мексиканского льва, которого прозвали «Корноухий дьявол»? Того, что задрал Гонсалеса, овечьего пастуха мистера Мартина, и с полсотни телят на ранчо Салада? Так вот, я разделалась с ним сегодня у переправы Белой Лошади. Он прыгнул, а я всадила ему две пули из моего тридцативосьмикалиберного. Я узнала его по левому уху, которое старик Гонсалес изуродовал ему своим мачете. Ты сам не сделал бы лучшего выстрела, папа.

— Ты у меня молодчина! — прогремел Бен Шептун из мрака королевской опочивальни.

Бабье лето Джонсона Сухого Лога

Перевод О. Холмской

Джонсон Сухой Лог встряхнул бутылку. Полагалось перед употреблением взбалтывать, так как сера не растворяется. Затем Сухой Лог смочил маленькую губку и принялся втирать жидкость в кожу на голове у корней волос. Кроме серы, в состав входил еще уксуснокислый свинец, настойка стрихнина и лавровишневая вода. Сухой Лог вычитал этот рецепт из воскресной газеты. А теперь надо объяснить, как случилось, что сильный мужчина пал жертвой косметики.

В недавнем прошлом Сухой Лог был овцеводом. При рождении он получил имя Гектор, но впоследствии его переименовали по его ранчо, в отличие от другого Джонсона, который разводил овец ниже по течению Фрио и назывался Джонсон Ильмовый Ручей.

Жизнь в обществе овец и по их обычаям под конец прискучила Джонсону Сухому Логу. Тогда он продал свое ранчо за восемнадцать тысяч долларов, перебрался в Санта-Розу и стал вести праздный образ жизни, как подобает человеку

со средствами. Ему было лет тридцать пять или тридцать восемь, он был молчалив и склонен к меланхолии, и очень скоро из него выработался законченный тип самой скучной и удручающей человеческой породы — пожилой холостяк с любимым коньком. Кто-то угостил его клубникой, которой он до тех пор никогда не пробовал, — и Сухой Лог погиб.

Он купил в Санта-Розе домишко из четырех комнат и набил шкафы руководствами по выращиванию клубники. Позади дома был сад; Сухой Лог пустил его весь под клубничные грядки. Там он и проводил свои дни; одетый в старую, серую шерстяную рубашку, штаны из коричневой парусины и сапоги с высокими каблуками, он с утра до ночи валялся на раскладной койке под виргинским дубом возле кухонного крыльца и штудировал историю полонившей его сердце пурпуровой ягоды.

Учительница в тамошней школе, мисс Де Витт, находила, что Джонсон «хотя и не молод, однако еще весьма представительный мужчина». Но женщины не привлекали взоров Сухого Лога. Для него они были существа в юбках — не больше; и, завидев развевающийся подол, он неуклюже приподнимал над головой тяжелую, широкопо-

лую поярковую шляпу и проходил мимо, спеша вернуться к своей возлюбленной клубнике.

Все это вступление, подобно хорам в древнегреческих трагедиях, имеет единственной целью подвести вас к тому моменту, когда уже можно будет сказать, почему Сухой Лог встряхивал бутылку с нерастворяющейся серой. Такое уж неторопливое и непрямое дело — история; изломанная тень от верстового столба, ложащаяся на дорогу, по которой мы стремимся к закату.

Когда клубника начала поспевать, Сухой Лог купил самый тяжелый кучерской кнут, какой нашелся в деревенской лавке. Не один час провел он под виргинским дубом, сплетая в жгут тонкие ремешки и приращивая к своему кнуту конец, пока в руках у него не оказался бич такой длины, что им можно было сбить листок с дерева на расстоянии двадцати футов. Ибо сверкающие глаза юных обитателей Санта-Розы давно уже следили за созреванием клубники, и Сухой Лог вооружался против ожидаемых набегов. Не так он лелеял новорожденных ягнят в свои овцеводческие дни, как теперь свои драгоценные ягоды, охраняя их от голодных волков, которые свистали, орали, играли в шарики и запускали хищные взгляды сквозь изгородь, окружавшую владения

Сухого Лога.

В соседнем доме проживала вдова с многочисленным потомством — его-то главным образом и опасался наш садовод. В жилах вдовы текла испанская кровь, а замуж она вышла за человека по фамилии О'Брайан. Сухой Лог был знатоком по части скрещивания пород и предвидел большие неприятности от отпрысков этого союза.

Сады разделяла шаткая изгородь, увитая вьюнком и плетями дикой тыквы. И часто Сухой Лог видел, как в просветы между кольями просовывалась то одна, то другая маленькая голова с копной черных волос и горящими черными глазами, ведя счет краснеющим ягодам. Однажды под вечер Сухой Лог отправился на почту. Вернувшись, он увидел, что сбылись худшие его опасения. Потомки испанских бандитов и ирландских угонщиков скота всей шайкой учинили налет на клубничные плантации. Оскорбленному взору Сухого Лога представилось, что их там полным-полно, как овец в загоне; на самом деле их было пятеро или шестеро. Они сидели на корточках между грядками, перепрыгивали с места на место, как жабы, и молча и торопливо пожирали отборные ягоды.

Сухой Лог неслышно отступил в дом, захватил

свой кнут и ринулся в атаку на мародеров. Они и оглянуться не успели, как ременный бич обвился вокруг ног десятилетнего грабителя, орудовавшего ближе всех к дому. Его пронзительный визг послужил сигналом тревоги — все кинулись к изгороди, как вспугнутый в чапаррале выводок кабанов. Бич Сухого Лога исторг у них на пути еще несколько демонских воплей, а затем они нырнули под обвитые зеленью жерди и исчезли.

Сухой Лог, не столь легкий на ногу, преследовал их до самой изгороди, но где же их поймать! Прекратив бесцельную погоню, он вышел из-за кустов — и вдруг выронил кнут и застыл на месте, утратив дар слова и движения, ибо все наличные силы его организма ушли в этот миг на то, чтобы кое-как дышать и сохранять равновесие.

За кустом стояла Панчита О'Брайан, старшая из грабителей, не удостоившая обратиться в бегство. Ей было девятнадцать лет; черные как ночь кудри спутанным ворохом спадали ей на спину, перехваченные алой лентой. Она ступила уже на грань, отделяющую ребенка от женщины, но медлила ее перешагнуть; детство еще обнимало ее и не хотело выпустить из своих объятий. Секунду она с невозмутимой дерзостью смотрела на Сухого Лога, затем у него на глазах прикусила белыми

зубами сочную ягоду и не спеша разжевала. Затем повернулась и медленной, плавной походкой величественно направилась к изгороди, словно вышедшая на прогулку герцогиня. Тут она опять повернулась, обожгла еще раз Сухого Лога темным пламенем своих нахальных глаз, хихикнула, как школьница, и гибким движением, словно пантера, проскользнула между кольями на ту сторону цветущей изгороди.

Сухой Лог поднял с земли свой кнут и побрел к дому. На кухонном крыльце он споткнулся, хотя ступенек было всего две. Старуха мексиканка, приходившая убирать и стряпать, позвала его ужинать. Не отвечая, он прошел через кухню потом через комнаты, споткнулся на ступеньках парадного крыльца, вышел на улицу и побрел к мескитовой рощице на краю деревни. Там он сел на землю и принялся аккуратно ощипывать колючки с куста опунции. Так он всегда делал в минуты раздумья, усвоив эту привычку еще в те дни, когда единственным предметом его размышлений был ветер, вода и шерсть.

С Сухим Логом стряслась беда — такая беда, что я советую вам, если вы хоть сколько-нибудь годитесь еще в женихи, помолиться Богу, чтобы она вас миновала. На него накатило бабье лето.

Сухой Лог не знал молодости. Даже в детстве он был на редкость серьезным и степенным. Шести лет он с молчаливым неодобрением взирал на легкомысленные прыжки ягнят, резвившихся на лугах отцовского ранчо. Годы юности он потратил зря. Божественное пламя, сжигающее сердце, ликующая радость и бездонное отчаяние, все порывы, восторги, муки и блаженства юности прошли мимо него. Страсти Ромео никогда не волновали его грудь; он был меланхолическим Жаком — но с более суровой философией, ибо ее не смягчала горькая сладость воспоминаний, скрашивавших одинокие дни арденнского отшельника[138]. А теперь, когда на Сухого Лога уже дышала осень, один-единственный презрительный взгляд черных очей Панчиты О'Брайан овеял его вдруг запоздалым и обманчивым летним теплом.

Но овцевод — упрямое животное. Сухой Лог столько перенес зимних бурь, что не согласен был теперь отвернуться от погожего летнего дня, мнимого или настоящего. Слишком стар? Ну, это еще посмотрим.

Со следующей почтой в Сан-Антонио был по-

---

[138] Примечания: 138

Речь идёт о персонаже комедии Шекспира «Как это вам понравится».

слан заказ на мужской костюм по последней моде со всеми принадлежностями: цвет и покрой по усмотрению фирмы, цена безразлична. На другой день туда же отправился рецепт восстановителя для волос, вырезанный из воскресной газеты, ибо выгоревшая на солнце рыжевато-каштановая шевелюра Сухого Лога начинала уже серебриться на висках.

Целую неделю Сухой Лог просидел дома, не считая частых вылазок против юных расхитителей клубники. А затем, по прошествии еще нескольких дней, он внезапно предстал изумленным взглядам обитателей Санта-Розы во всем горячечном блеске своего осеннего безумия.

Ярко-синий фланелевый костюм облегал его с головы до пят. Из-под него выглядывала рубашка цвета бычьей крови и высокий воротничок с отворотами; пестрый галстук развевался как знамя. Ядовито-желтые ботинки с острыми носами сжимали, как в тисках, его ноги. Крошечное канотье с полосатой лентой оскверняло закаленную в бурях голову. Лимонного цвета лайковые перчатки защищали жесткие, как древесина, руки от кротких лучей майского солнца. Эта поражающая взор и возмущающая разум фигура, прихрамывая и разглаживая перчатки, выползла

из своего логова и остановилась посреди улицы с идиотической улыбкой на устах, пугая людей и заставляя ангелов отвращать лицо свое. Вот до чего довел Сухого Лога Купидон, который, когда случается ему стрелять свою дичь вне сезона, всегда заимствует для этого стрелу из колчана Момуса. Выворачивая мифологию наизнанку, он восстал, как отливающий всеми цветами радуги попугай, из пепла серо-коричневого феникса, сложившего усталые крылья на своем насесте под деревьями Санта-Розы.

Сухой Лог постоял на улице, давая время соседям вдоволь на себя налюбоваться, затем, бережно ступая, как того требовали его ботинки, торжественно прошествовал в калитку миссис О'Брайан.

Об ухаживании Сухого Лога за Панчитой О'Брайан в Санта-Розе судачили, не покладая языков, до тех пор, пока одиннадцатимесячная засуха не вытеснила эту тему. Да и как было о нем не говорить: это было никем дотоле не виданное и не поддающееся никакой классификации явление — нечто среднее между кек-уоком, красноречием глухонемых, флиртом с помощью почтовых марок и живыми картинами. Оно продолжалось две недели, затем неожиданно кончилось.

Миссис О'Брайан, само собой разумеется, благосклонно отнеслась к сватовству Сухого Лога, когда он открыл ей свои намерения. Будучи матерью ребенка женского пола, а стало быть, одним из членов-учредителей Древнего Ордена Мышеловки, она с восторгом принялась убирать Панчиту для жертвоприношения. Ей удлинили платья, а непокорные кудри уложили в прическу — Панчите даже стало казаться, что она и в самом деле взрослая. К тому же приятно было думать, что вот за ней ухаживает настоящий мужчина, человек с положением и завидный жених, и чувствовать, что, когда они вместе идут по улице, все остальные девушки провожают их взглядом, прячась за занавесками.

Сухой Лог купил в Сан-Антонио кабриолет с желтыми колесами и отличного рысака. Каждый день он возил Панчиту кататься, но ни разу никто не видал, чтобы Сухой Лог при этом разговаривал со своей спутницей. Столь же молчалив бывал он и во время пешеходных прогулок. Мысль о своем костюме повергала его в смущение; уверенность, что он не может сказать ничего интересного, замыкала ему уста; близость Панчиты наполняла его немым блаженством.

Он водил ее на вечеринки, на танцы и в цер-

ковь. Он старался быть молодым — от сотворения мира никто, наверно, не тратил на это столько усилий. Танцевать он не умел, но он сочинил себе улыбку и надевал ее на лицо во всех случаях, когда полагалось веселиться, — и это было для него таким проявлением резвости, как для другого — пройтись колесом. Он стал искать общества молодых людей, даже мальчиков — и действовал на них как ушат холодной воды; от его потуг на игривость им становилось не по себе, как будто им предлагали играть в чехарду в соборе. Насколько он преуспел в своих стараниях завоевать сердце Панчиты, этого ни он сам и никто другой не мог бы сказать.

Конец наступил внезапно — как разом меркнет призрачный отблеск вечерней зари, когда дохнет ноябрьский ветер, несущий дождь и холод.

В шесть часов вечера Сухой Лог должен был зайти за Панчитой и повести ее на прогулку. Вечерняя прогулка в Санта-Розе — это такое событие, что являться на нее надо в полном параде. И Сухой Лог загодя начал облачаться в свой ослепительный костюм. Начав рано, он рано и кончил и не спеша направился в дом О'Брайанов. Дорожка шла к крыльцу не прямо, а делала поворот, и, пока Сухой Лог огибал куст жимолости, до его

ушей донеслись звуки буйного веселья. Он остановился и заглянул сквозь листву в распахнутую дверь дома.

Панчита потешала своих младших братьев и сестер. На ней был пиджак и брюки, должно быть, некогда принадлежавшие покойному мистеру О'Брайану. На голове торчком сидела соломенная шляпа самого маленького из братьев, с бумажной лентой в чернильных полосках. На руках болтались желтые коленкоровые перчатки, специально скроенные и сшитые для этого случая. Туфли были обернуты той же материей, так что могли, пожалуй, сойти за ботинки из желтой кожи. Высокий воротничок и развевающийся галстук тоже не были забыты.

Панчита была прирожденной актрисой. Сухой Лог узнал свою нарочито юношескую походку с прихрамыванием на правую ногу, натертую тесным башмаком, свою принужденную улыбку, свои неуклюжие попытки играть роль галантного кавалера — все было передано с поразительной верностью. Впервые Сухой Лог увидел себя со стороны, словно ему поднесли вдруг зеркало. И совсем не нужно было подтверждение, которое не замедлило последовать. «Мама, иди посмотри, как Панчита представляет мистера Джонсона!»

— закричал один из малышей.

Так тихо, как только позволяли осмеянные желтые ботинки, Сухой Лог повернулся и на цыпочках пошел обратно к калитке, а затем к себе домой.

Через двадцать минут после назначенного для прогулки часа Панчита в батистовом белом платье и плоской соломенной шляпе чинно вышла из своей калитки и проследовала далее по тротуару. У соседнего дома она замедлила шаги, всем своим видом выражая удивление по поводу столь необычной неаккуратности своего кавалера.

Тогда дверь в доме Сухого Лога распахнулась, и он сам сошел с крыльца — не раскрашенный во все цвета спектра охотник за улетевшим летом, а восстановленный в правах овцевод. На нем была серая шерстяная рубашка, раскрытая у ворота, штаны из коричневой парусины, заправленные в высокие сапоги, и сдвинутое на затылок белое сомбреро. Двадцать лет ему можно было дать или пятьдесят — это уже не заботило Сухого Лога. Когда его бледно-голубые глаза встретились с темным взором Панчиты, в них появился ледяной блеск. Он подошел к калитке — и остановился. Длинной своей рукой он показал на дом О'Брайанов.

— Ступай домой, — сказал он. — Домой, к маме. Надо же быть таким дураком! Как еще меня земля терпит! Иди себе, играй в песочек. Нечего тебе вертеться около взрослых мужчин. Где был мой рассудок, когда я строил из себя попугая на потеху такой девчонке! Ступай домой и чтобы я больше тебя не видел. Зачем я все это проделывал, хоть бы кто-нибудь мне объяснил! Ступай домой, а я постараюсь про все это забыть.

Панчита повиновалась и, не говоря ни слова, медленно пошла к своему дому. Но идя, она все время оборачивалась назад, и ее большие бесстрашные глаза не отрывались от Сухого Лога. У калитки она постояла с минуту, все так же глядя на него, потом вдруг повернулась и быстро вбежала в дом.

Старуха Антония растапливала плиту в кухне. Сухой Лог остановился в дверях и жестко рассмеялся.

— Ну разве не смешно? — сказал он. — А, Тония? Этакий старый носорог и втюрился в девчонку.

Антония кивнула.

— Нехорошо, — глубокомысленно заметила она, — когда чересчур старый любит muchacha.

— Что уж хорошего, — мрачно отозвался Сухой Лог. — Дурость и больше ничего. И вдобавок от

этого очень больно.

Он сгреб в охапку все атрибуты своего безумия — синий костюм, ботинки, перчатки, шляпу — и свалил их на пол у ног Антонии.

— Отдай своему старику, — сказал он. — Пусть в них охотится на антилопу.

Когда первая звезда слабо затеплилась на вечернем небе, Сухой Лог достал свое самое толстое руководство по выращиванию клубники и уселся на крылечке почитать, пока еще светло. Тут ему показалось, что на клубничных грядках маячит какая-то фигура. Он отложил книгу, взял кнут и отправился на разведку.

Это была Панчита. Она незаметно проскользнула сквозь изгородь и успела уже дойти до середины сада. Увидев Сухого Лога, она остановилась и обратила к нему бестрепетный взгляд.

Слепая ярость овладела Сухим Логом. Сознание своего позора переродилось в неудержимый гнев. Ради этого ребенка он выставил себя на посмешище. Он пытался подкупить время, чтобы оно, ради его прихоти, обратилось вспять — и над ним надсмеялись. Но теперь он понял свое безумие. Между ним и юностью лежала пропасть, через которую нельзя было построить мост — даже если надеть для этого желтые перчатки. И при виде

этой мучительницы, явившейся донимать его новыми проказами, словно озорной мальчишка, злоба наполнила душу Сухого Лога.

— Сказано тебе, не смей сюда ходить! — крикнул он. — Ступай домой!

Панчита подошла ближе. Сухой Лог щелкнул бичом.

— Ступай домой! — грозно повторил он. — Можешь там разыгрывать свои комедии. Из тебя вышел бы недурной мужчина. Из меня ты сделала такого, что лучше не придумать!

Она подвинулась еще ближе — молча, с тем странным, дразнящим, таинственным блеском в глазах, который всегда так смущал Сухого Лога. Теперь он пробудил в нем бешенство.

Бич свистнул в воздухе. На белом платье Панчиты повыше колена проступила алая полоска.

Не дрогнув, все с тем же загадочным темным огнем в глазах, Панчита продолжала идти прямо к нему, ступая по клубничным грядкам. Бич выпал из его дрожащих пальцев. Когда до Сухого Лога оставался один шаг, Панчита протянула к нему руки.

— Господи! Девочка!.. — заикаясь, пробормотал Сухой Лог. — Неужели ты…

Времена года могут иной раз и сдвинуться. И

кто знает, быть может, для Сухого Лога настало в конце концов не бабье лето, а самая настоящая весна.

Ёлка с сюрпризом

Перевод Т. Озерской

Чероки называли отцом Желтой Кирки. А Желтая Кирка была новым золотоискательским поселком, возведенным преимущественно из неоструганных сосновых бревен и парусины. Чероки был старателем. Как-то раз, пока его ослик утолял голод кварцем и сосновыми шишками, Чероки вывоpотил киркой самородок в тридцать унций весом. Чероки застолбил участок и тут же — как радушный хозяин и человек с размахом — разослал всем своим друзьям в трех штатах приглашение приехать, разделить с ним его удачу.

Никто из приглашенных не ответил вежливым отказом. Они прикатили с реки Хилы, с Рио-Пекос и с Соленой реки, из Альбукерка и Феникса, из Санта-Фе и изо всех окрестных старательских лагерей.

Когда около тысячи золотоискателей застолбили участки и обосновались на них, они назвали свое поселение Желтой Киркой, избрали комитет охраны общественного порядка и преподнесли

Чероки часовую цепочку из небольших самородков.

Через три часа после окончания церемонии с цепочкой золото на участке Чероки иссякло. Он застолбил не жилу, а карман. Чероки бросил участок и принялся столбить новые — один за другим. Но счастье повернулось к нему спиной. Золотого песка, который он намывал за день, ни разу не хватило, чтобы оплатить его счет в баре. Зато почти у всех приглашенных им старателей дела шли на лад, и Чероки радостно улыбался и поздравлял их с успехом.

В Желтой Кирке подобрался народ, уважавший тех, кто не падает духом от неудачи. Старатели спросили Чероки, что они могут для него сделать.

— Для меня? — сказал Чероки. — Да что ж, небольшая ссуда пришлась бы сейчас в самую пору. Надо, пожалуй, попытать счастья в Марипозе. Если нападу там на хорошую залежь, тут же пришлю вам весточку. Вы же знаете — я не из тех, кто скрывает свою удачу от друзей.

В мае Чероки навьючил свое снаряжение на ослика и повернул его задумчивой мышасто-серой мордой на север. Толпа новоселов проводила его до воображаемой городской заставы, и он

зашагал дальше, напутствуемый прощальными криками и пожеланиями успеха. Пять фляжек без единого пузырька воздуха между пробкой и содержимым были силком рассованы по его карманам. Чероки просили не забывать, что в Желтой Кирке его всегда будут ждать постель, яичница с салом и горячая вода для бритья, если Фортуна не надумает заглянуть к нему на стоянку в Марипозе, чтобы погреть руки у его костра.

Чероки получил это свое прозвище в соответствии с существовавшей среди старателей номенклатурной системой. Предъявления свидетельства о крещении не требовалось — каждый получал свою кличку и без этого. Имя и фамилия человека считались его личной собственностью, а чтобы его удобнее было кликнуть к стойке и как-то отличить от других облаченных в синие рубахи двуногих, общество присваивало ему какое-нибудь временное звание, титул или прозвище. Повод для этих не предусмотренных законом крестин чаще всего усматривался в личных особенностях каждого. Ко многим без труда приставало название той местности, из которой они, по их словам, прибыли. Некоторые громко и нахально именовали себя «Адамсами», или «Томпсонами», или еще как-нибудь в том же ро-

де, бросая этим тень на свою репутацию. Кое-кто хвастливо и бесстыдно раскрывал свое бесспорно подлинное имя, но это воспринималось как пустое зазнайство и не имело успеха среди старателей. Одному типу, заявившему, что его зовут Честертон Л. К. Белмонт, и предъявившему в доказательство бумаги, категорически предложили покинуть город до захода солнца. Особенно в ходу были клички вроде: «Коротыш», «Криволапый», «Техасец», «Лежебока Билл», «Роджер-Выпивоха», «Хромой Райли», «Судья» и «Эд-Калифорния». Чероки получил свое прозвище потому, что он прожил будто бы некоторое время среди этого индейского племени.

Двадцатого декабря Болди, почтальон, прискакал в Желтую Кирку с потрясающей новостью.

— Как вы думаете, кого я видел в Альбукерке? — спросил Болди, заняв свое место у стойки бара. — Чероки. Разряжен в пух и прах, словно какой-нибудь султан турецкий, и швыряет деньгами направо и налево. Мы с ним погуляли на славу и отпробовали слабительной шипучки, и Чероки оплачивал все счета наложенным платежом. Карманы у него раздулись от денег, как бильярдные лузы, набитые шарами.

— Чероки, должно быть, напал на хорошую жи-

лу, — сказал Эд-Калифорния. — Вот порядочный малый! Я глубоко признателен Чероки за то, что ему, наконец, повезло.

— Не мешало бы Чероки притопать теперь в Желтую Кирку, проведать старых друзей, — заметил кто-то с ноткой огорчения в голосе. — Ну, да так оно всегда бывает. Деньги — лучшее средство, чтоб отшибло память.

— Постойте, — возразил Болди, — я еще не все рассказал. Чероки застолбил трехфутовую жилу там, в Марипозе, и с каждой тонны руды добывал столько золота, что хоть всякий раз кати в Европу. Эту свою жилу он продал одному синдикату и получил сто тысяч долларов чистоганом. После этого он купил себе шубу из новорожденных котиков, и красные сани, и... ну, угадайте, что еще он надумал?

— В карты режется, — высказал предположение Техасец, который не мыслил себе развлечений вне азарта.

— Ах, поцелуй меня скорей, моя красотка! — пропел Коротыш, носивший в кармане чью-то фотографию и не снимавший пунцового галстука даже во время работы на участке.

— Купил пивную, — решил Роджер-Выпивоха.

— Чероки повел меня к себе в комнату, — про-

должал Болди, — и кое-что мне показал. У него там целый склад кукол, барабанов, попрыгунчиков, коньков, мешочков с леденцами, хлопушек, заводных барашков и прочей дребедени. И как вы думаете, что он собирается делать со всеми этими бесполезными побрякушками? Нипочем не угадаете.

Ну так вот, Чероки мне сказал. Он задумал погрузить все это в свои красные сани и... стойте, стойте, подождите заказывать виски!.. прискакать сюда, в Желтую Кирку, и закатить здешней детворе — ну да, да, здешней детворе! — такую большую рождественскую елку и такой великий кутеж с раздачей Говорящих Кукол и Больших Столярных Наборов для Маленьких Умных Мальчиков, какие не снились еще ни одному сосунку к западу от мыса Гаттераса!

После этих слов минуты на две воцарилось гробовое молчание. Оно было нарушено барменом. Решив, что удобный момент для проявления радушия настал, он двинул по стойке свою батарею стаканов; следом за ними и не столь стремительно поплыла бутылка виски.

— А ты сказал ему? — спросил старатель по кличке Тринидад.

— Да нет, — с запинкой отвечал Болди, — не

сказал. Как-то к слову не пришлось. Ведь Чероки уже закупил всю эту муру и уплатил за нее сполна, и уж так-то был доволен собой и своей затеей… И мы с ним успели порядком нагрузиться этой самой шипучкой. Нет, я ничего ему не сказал.

— Признаться, я несколько изумлен, — молвил Судья, вешая свою тросточку с ручкой из слоновой кости на стойку бара. — Как мог наш друг Чероки составить себе столь превратное представление о своем, так сказать, родном городе?

— Ну, то ли еще бывает на свете, — возразил Болди. — Чероки уехал отсюда семь месяцев назад. Мало ли что могло случиться за это время. Откуда ему знать, что в городе совсем нет ребятишек и пока не ожидается.

— Да ведь если рассудить, — заметил Эд-Калифорния, — так это даже странно, что никаким ветром их к нам еще не занесло. Может, это потому, что в городе покуда не налажено снабжение сосками и пеленками?

— А для пущего эффекта, — сказал Болди, — Чероки решил сам нарядиться Дедом Морозом. Он раздобыл себе белый парик и бороду, в которых он как две капли воды похож на этого парня Лонгфелло, если судить по портрету в книжке. И потом еще красный, обшитый мехом, исподний

балахон, чтобы надевать поверх всего, пару красных рукавиц и круглый красный стоячий колпак с отложным кончиком. Позор да и только, как подумаешь, что все это обмундирование пропадет зазря, когда столько разных Энн и Вилли мечтают об эдаком чуде!

— А когда Чероки думает прибыть сюда со своим товаром? — спросил Тринидад.

— В сочельник утром, — сказал Болди. — И он хочет, чтобы вы, ребята, приготовили помещение, и поставили елку, и пригласили дам помочь наряжать ее. Но только таких, которые умеют держать язык за зубами, — чтоб полный был сюрприз для ребят.

Отмеченное собеседниками прискорбное состояние Желтой Кирки соответствовало действительности. Ни разу ребячий голосок не порадовал обитателей этого на скорую руку возведенного поселка. Ни разу топот резвых детских ножек не прозвучал на его единственной немощеной улице между двумя рядами палаток и бревенчатых хижин. Все это пришло потом. Но в те дни Желтая Кирка была просто затерянным в горах старательским лагерем, и никто еще не видел там горящих ожиданием плутовских глаз, нетерпеливо встречающих зарю праздничного

дня, или рук, жадно протянутых к таинственным дарам Деда Мороза, не слышал восторженных кликов по поводу великой зимней радости — елки. Словом, не было в Желтой Кирке ничего, что могло бы послужить наградой добросердечному Чероки за тот ворох добра, который он туда вез.

Женщин в Желтой Кирке было всего пять. Из них три — жена пробирщика, хозяйка гостиницы «Счастливая находка» и прачка, намывавшая в своем корыте на унцию золотого песка в день, — составляли оседлую часть женского населения поселка. Остальные две были сестры Спэнглер — мисс Фаншон и мисс Ирма — из «Передвижного драматического», который играл сейчас в импровизированном театре «Ампир». Но детей в поселке не было. Иной раз мисс Фаншон исполняла не без огонька роль какого-нибудь бойкого подростка, но создаваемый ею образ был плачевно далек от того детского облика, который рисовался воображению как достойный объект праздничных щедрот Чероки.

Рождество приходилось на четверг. Во вторник утром Тринидад не пошел работать на участок, а направился к Судье в гостиницу «Счастливая находка».

— Желтая Кирка опозорит себя навеки, — за-

явил Тринидад, — если мы не поддержим Чероки в этом его елочном загуле. Чероки, можно сказать, создал наш город. Я лично решил кое-что предпринять, чтобы Дед Мороз не оказался в дураках.

— Это начинание, — сказал Судья, — встретит всемерную поддержку с моей стороны. Я многим обязан Чероки. Однако я не вижу путей и средств… собственно говоря, отсутствие детей в нашем городе я до этой минуты склонен был рассматривать скорее как благодеяние… хотя, при сложившихся обстоятельствах… тем не менее я все-таки не вижу путей и средств…

— Взгляните на меня, — сказал Тринидад, — и вы увидите. Пути и средства стоят перед вами и уже собрались в путь-дорогу. Я сейчас раздобуду упряжку и пригоню на представление нашего Деда Мороза целый фургон детворы… хотя бы пришлось совершить налет на сиротский приют.

— Эврика! — воскликнул Судья.

— Нет, врете! — решительно возразил Тринидад. — Это я нашел. Я когда-то тоже учил латынь в школе.

— Я буду вас сопровождать, — заявил Судья, размахивая тросточкой. — Тот небольшой дар речи и ораторские способности, которыми я обладаю, могут пригодиться нам, когда нужно будет

убедить наших юных друзей предоставить себя на некоторое время напрокат для осуществления наших планов.

Через час Желтая Кирка была оповещена о плане Тринидада и Судьи и единодушно его одобрила. Каждый, кому было известно, что где-нибудь в радиусе сорока миль от Желтой Кирки проживает семья с малолетними отпрысками, поспешил поделиться своими сведениями. Тринидад тщательно все записал и, не теряя времени, отправился на розыски лошадей и возка.

Первую остановку намечено было сделать у пятистенной бревенчатой хижины в двадцати милях от Желтой Кирки. Тринидад покричал у ворот, из хижины вышел хозяин и стал, облокотившись о расшатанную калитку. На порог высыпала орава ребятишек, порядком оборванных, но пышащих здоровьем и снедаемых любопытством.

— Вот какое дело, — начал Тринидад. — Мы из Желтой Кирки. Приехали похитить у вас детишек на добровольных, так сказать, началах. Один из наших видных горожан одержим елочной манией и пожелал стать Дедом Морозом. Завтра он прикатит в город с целым возом разной чепухи, выкрашенной в красную краску и изго-

товленной в Германии. А у нас в Желтой Кирке самый младший из сорванцов обзавелся уже сорокапятикалиберным револьвером и безопасной бритвой. Так кто же будет кричать «Ох!» и «Ах!», когда на елке зажгутся свечки? Словом, друг, если вы одолжите нам парочку ребят, мы обещаем возвратить их в полной сохранности. В первый день Рождества они будут доставлены обратно в лучшем виде и притащат с собой Робинзонов в красивых переплетах, рога изобилия, красные барабаны и прочие вещественные доказательства. Ну, как?

— Другими словами, — вмешался Судья, — мы, впервые со дня основания нашего небольшого, но процветающего города, обнаружили его несовершенство в смысле совершенного отсутствия в нем несовершеннолетних. И ввиду приближения того календарного срока, когда обычаем предусмотрено награждать, так сказать, нежных и юных различными бесполезными, но ходкими предметами…

— Понятно, — сказал хозяин, уминая большим пальцем табак в трубке. — Не стану задерживать вас, джентльмены. У нас со старухой, скажем прямо, семеро ребятишек. Так вот, я перебрал в уме всю кучу и что-то не вижу, кого из них

мы могли бы уступить вам для вашей гулянки. Старуха уже нажарила кукурузных зерен, а в комоде у нее спрятаны тряпичные куклы, и мы сами думаем кутнуть на праздничках, хотя и по-домашнему, без затей. Словом, мне эта ваша выдумка не очень-то по душе, и я ни одного из своих ребят не уступлю. Премного вам благодарен, джентльмены.

Они покатили под гору, взобрались на другой холм и остановили возок у ранчо Уайли Уилсона. Тринидад изложил свою просьбу. Судья торжественно прогудел партию для второго голоса. Миссис Уайли спрятала двух розовощеких пострелят в складках своей юбки и не улыбнулась до тех пор, пока не увидела, что мистер Уайли смеется и отрицательно качает головой. Опять отказ!

Когда в низине меж холмами начали сгущаться сумерки, Тринидад и Судья уже исчерпали больше половины своего списка — и все впустую. Они заночевали в придорожной гостинице и на заре снова пустились в путь. В возке не прибавилось ни одного седока.

— Я, кажется, начинаю понимать, — сказал Тринидад, — что получить ребенка напрокат на праздники так же трудно, как украсть масло у

человека, который собрался есть блины.

— Не подлежит никакому сомнению, — отозвался Судья, — что семейные узы приобретают в этот период года исключительную, так сказать, прочность.

В канун праздника они покрыли тридцать миль, сделали четыре бесплодных остановки и произнесли четыре не имевших успеха воззвания. Детвора везде была на вес золота.

Солнце уже клонилось к закату, когда жена старшего обходчика на какой-то глухой железнодорожной ветке, загородив собой еще одно не подлежащее изъятию сокровище, сказала:

— На Гранитной Стрелке работает сейчас новая буфетчица. У нее, кажется, есть сынишка. Может, она и отпустит его с вами.

В пять часов вечера Тринидад пригнал своих мулов к станции Гранитная Стрелка. Поезд только что отошел, забрав с собой утоливших голод и умиротворенных пассажиров.

На ступеньках железнодорожного буфета они увидели тощего угрюмого мальчонку лет десяти, с папиросой в зубах. В буфете, где пассажиры с налету удовлетворяли свой кочевой аппетит, царил хаос. Молодая, но иссушенная заботами женщина в полном изнеможении сидела, отки-

нувшись на спинку стула. Лицо ее хранило следы своеобразной красоты — той, что никогда не исчезает бесследно, но которую нельзя и вернуть. Тринидад разъяснил ей цель их приезда.

— Да я буду рада, если вы хоть ненадолго заберете с собой Бобби, — устало сказала женщина. — Крутишься тут, как заведенная, с утра до ночи — некогда за ним присмотреть. А он набирается дурных примеров от взрослых. Какие уж тут елки — вот разве что у вас…

Мужчины вышли на крыльцо для переговоров с Бобби. Тринидад в живых красках описал ему роскошную елку с подарками.

— А потом, мой юный друг, — добавил Судья, — сам Дед Мороз явится к вам с дарами, как бы в ознаменование того, как некогда волхвы…

— А, бросьте заливать! Я не ребенок, — насмешливо прищурившись, прервал его Бобби. — Нет никаких дедморозов. Это вы, дяди, сами покупаете в лавке всякую дрянь и суете ребятам ночью под подушки. И пачкаете каминными щипцами пол — будто Дед Мороз приехал на санях.

— Ну, может, и так, — примирительно сказал Тринидад. — Но елки-то ведь всамделишные. А у нас будет знаешь какая! Как универсальный магазин в Альбукерке — все игрушки не дешевле

десяти центов. И барабаны будут, и волчки, и ноев ковчег, и…

— К черту! — холодно сказал Бобби. — Я с этим давно покончил. Хочу ружье. Не игрушечное, а настоящее, чтоб стрелять диких котов. Так у вас небось не найдется ружья на вашей дурацкой елке?

— Поручиться не могу, — сказал Тринидад дипломатично, — но кто его знает… Поедем с нами, а там видно будет.

Заронив этот слабый луч надежды в душу Бобби, вербовщики вынудили у него согласие пойти навстречу филантропическому порыву Чероки и пустились со своим единственным трофеем в обратный путь.

В Желтой Кирке тем временем помещение пустовавшего склада было превращено в праздничный зал, разукрашенный, как чертоги доброй аризонской феи. Дамы потрудились не зря. Елка, вся в свечках, серебряной мишуре и игрушках, которых хватило бы на добрых два десятка ребят, высилась в центре зала. Когда свечерело, все, сжигаемые нетерпением, стали выглядывать на улицу — не покажется ли возок с похитителями детей. Еще в полдень Чероки влетел в поселок на красных санях, заваленных свертками, кульками

и коробками самой различной формы и размера. И так был он увлечен выполнением своего бескорыстного замысла, что даже не заметил отсутствия ребят в поселке, а открыть ему глаза на позорное состояние Желтой Кирки ни у кого не хватило духу; к тому же все твердо верили, что Тринидад и Судья сумеют восполнить этот ужасающий пробел.

Когда солнце село, Чероки хитро подмигнул собравшимся и с лукавой улыбкой на обветренном морщинистом лице удалился из зала, прихватив узелок со всем реквизитом Деда Мороза и еще один таинственный пакет с игрушками.

— Как только ребята соберутся, — наказывал он членам добровольного елочного комитета, — зажгите елку и поиграйте с ними в кошки-мышки. А когда у них пойдет дым коромыслом, вот тогда… тогда Дед Мороз потихоньку проскользнет в дверь. Подарков, думается мне, должно хватить.

Дамы порхали вокруг елки, в последний раз перевешивая какие-то украшения, чтобы тут же перевесить их заново. Сестры Спэнглер тоже были здесь: одна в костюме леди Вайолет де Вир, другая — служанки Мари, персонажей из новой пьесы «Невеста рудокопа». Спектакли в театре начинались только в девять часов, и актрисы с

благосклонного разрешения комитета помогали наряжать елку. Кто-нибудь то и дело выскакивал на крыльцо и прислушивался — не возвращается ли упряжка Тринидада. Тревога росла, ибо надвигалась ночь и пора было зажигать елку, да и Чероки в любую минуту мог, не спросясь, появиться на пороге в полном облачении рождественского Деда.

Но вот на улице заскрипел возок, и «похитители» подъехали к складу. Дамы всполошились и с восторженными восклицаниями бросились зажигать свечки. Мужчины беспокойно прохаживались из угла в угол или стояли небольшими группами, смущенно переминаясь с ноги на ногу.

Тринидад и Судья, истомленные долгими странствиями, вступили в зал, ведя за руку тщедушного, озорного с виду мальчишку. Мальчишка презрительным взглядом исподлобья окинул пестро разряженную елку.

— А где же остальные дети? — вопросила жена пробирщика, игравшая первую скрипку во всех светских начинаниях города.

— Сударыня, — со вздохом отвечал Тринидад, — отправляться на разведку за детьми перед праздником — все равно что искать серебро в

известняках. Так называемые родительские чувства — сплошная для меня загадка. Похоже, что папашам и мамашам совершенно безразлично, если их потомство все триста шестьдесят четыре дня в году будет тонуть, объедаться ядовитыми дубовыми орешками, попадать в лапы диких котов или похитителей детей. Но в сочельник оно, вынь да положь, должно отравлять своим присутствием семейные сборища. Этот вот экземпляр, сударыня, — единственное, что нам удалось откопать в результате двухдневных разведок на местности.

— Ах, прелестное дитя! — проворковала мисс Ирма, волоча свой театральный шлейф к середине сцены.

— Отвяжитесь! — хмуро буркнул Бобби. — Кто это — «дитя»? Уж не вы ли?

— Дерзкий мальчишка! — ахнула мисс Ирма, не успев погасить эмалевой улыбки.

— Старались, как могли, — сказал Тринидад. — Обидно за Чероки, да что ж поделаешь.

Тут распахнулась дверь, и появился Чероки в традиционном костюме Деда Мороза. Белые космы парика и пышная белая борода закрывали почти все его лицо — видны были только темные, искрившиеся весельем глаза. За спиной он нес

мешок.

Все замерли при его появлении. Даже сестры Спэнглер, забыв принять кокетливые позы, с любопытством уставились на высокую фигуру рождественского Деда. Бобби, насупившись, засунув руки в карманы, угрюмо рассматривал нелепое, обвешанное побрякушками дерево. Чероки опустил на пол свой мешок и с удивлением огляделся по сторонам. Быть может, у него мелькнула мысль, что нетерпеливую ватагу ребятишек загнали куда-нибудь в угол, чтобы выпустить оттуда, как только он войдет. Чероки направился к Бобби и протянул ему руку в красной рукавице.

— Поздравляю тебя с праздником, мальчуган, — сказал он. — Можешь брать с елки все, что тебе нравится, — мы сейчас достанем. Ну, давай руку, поздоровайся с Дедом Морозом.

— Нет никаких дедморозов, — шмыгнув носом, проворчал Бобби. — У тебя фальшивая борода. Из старых козлиных оческов. Я не ребенок. На черта мне эти куклы и оловянные лошадки? Кучер сказал, что дадут ружье. А у тебя его нет. Я хочу домой.

Тринидад пришел на помощь. Он схватил руку Чероки и горячо ее потряс.

— Ты уж прости, Чероки, — сказал он. — Нет у

нас в Желтой Кирке никаких ребят, да и сроду не было. Мы надеялись пригнать их целый косяк на твое суарэ, да вот, кроме этой сардинки, ничего не удалось выловить. А он, понимаешь ли, атеист и не верит в рождественских дедов. Нам очень совестно, что ты зря потратился. Да ведь мы с Судьей думали, что притащим сюда целую ораву мелюзги и все твои свистульки пойдут в ход.

— Ну и ладно, — спокойно сказал Чероки. — Подумаешь, какие траты, есть о чем говорить! Свалим все это барахло в старую шахту да и дело с концом. Но надо же быть таким ослом — прямо из головы вон, что в Желтой Кирке нету ребятишек!

Гости меж тем с похвальным усердием, хотя и без особого успеха, делали вид, что веселятся вовсю.

Бобби отошел в угол и уселся на стул. Холодная скука была отчетливо написана на его лице. Чероки, еще не вполне отвыкнув от своей роли, подошел и сел рядом.

— Где ты живешь, мальчик? — вежливо осведомился он.

— На Гранитной Стрелке, — нехотя процедил Бобби.

В зале было жарко. Чероки снял свой колпак,

парик и бороду.

— Эй! — несколько оживившись, произнес Бобби. — А ведь я тебя знаю.

— Разве мы с тобой встречались, малыш?

— Не помню. А вот карточку твою я видел. Сто раз.

— Где?

Бобби колебался.

— Дома. На комоде.

— Скажи, пожалуйста, мальчик, а как тебя зовут?

— Роберт Лэмсден. Это материна карточка. Она прячет ее ночью под подушку. Я раз видел даже, как она ее целовала. Вот уж нипочем бы не стал. Но женщины все на один лад.

Чероки встал и поманил к себе Тринидада.

— Посиди с мальчиком, я сейчас вернусь. Пойду сниму этот балахон и заложу сани. Надо отвезти мальчишку домой.

— Ну, безбожник, — сказал Тринидад, занимая место Чероки. — Ты, брат, значит, настолько одряхлел и всем пресытился, что тебя уже не интересует разная ерунда вроде сластей и игрушек?

— Ты неприятный тип, — язвительно сказал Бобби. — Ты обещал, что будет ружье. А здесь

человеку даже покурить нельзя. Я хочу домой.

Чероки пригнал сани к крыльцу, и Бобби водрузили на сиденье. Резвые лошадки бойко рванулись вперед по укатанной снежной дороге. На Чероки была его пятисотдолларовая шуба из новорожденных котиков. Меховая полость приятно грела.

Бобби вытащил из кармана папиросу и принялся чиркать спичкой.

— Брось папиросу! — сказал Чероки спокойно, но каким-то новым голосом.

После некоторого колебания Бобби швырнул папиросу в снег.

— Брось всю коробку, — приказал новый голос.

Мальчик повиновался не сразу, но все же исполнил и этот приказ.

— Эй! — сказал вдруг Бобби. — А ты мне нравишься. Не пойму даже почему. Попробовал бы кто-нибудь так надо мной командовать!

— Послушай, малыш, — сказал Чероки обыкновенным голосом. — А ты не врешь, что твоя мать целовала эту карточку? Ту, что на меня похожа?

— Не вру. Сам видел.

— Ты, кажется, что-то говорил насчет ружья?

— Ну да. А что? Есть у тебя?

— Завтра получишь. С серебряными нашлеп-

ками.

Чероки поглядел на часы.

— Половина десятого. Что ж, мы с тобой доберемся до Гранитной Стрелки как раз к празднику, минута в минуту. Тебе не холодно? Садись поближе, сынок.

Сказочный принц

Перевод Э. Бродерсон

Наконец-то пробило девять часов, и тяжелая утомительная дневная работа закончена. Лена вскарабкалась в свою каморку на третий этаж гостиницы «Каменоломня». С самого рассвета она работала, как взрослая женщина, — мыла полы, делала постели, перемывала тяжелые металлические кружки и тарелки и таскала воду и дрова для этой шумной, противной гостиницы.

Кончилась дневная работа и на каменоломне — прекратился шум от сверления и разбивания камней, треск и скрип огромных подъемных кранов, крики надсмотрщиков, шум возов, перевозящих огромные глыбы известняка. Внизу, в конторе гостиницы, сидели трое или четверо рабочих, которые перебранивались за игрой в шашки. Удушливый запах тушеного мяса, горячего жира и дешевого кофе наполнял весь дом.

Лена зажгла огарок свечи и, усталая, села на деревянный стул. Ей было всего одиннадцать лет. Она была худенькая и малокровная девочка. Спина и ноги у нее болели и ныли. Но еще боль-

шую боль испытывала она в сердце. Последнюю каплю прибавили к ее чаше страданий: у нее отняли книгу — сказки Гримма. Как бы она ни уставала за день, она с увлечением садилась за эту книжку и переносилась в царство грез. И всякий раз Гримм нашептывал ей, что сказочный принц или волшебная фея придут и освободят ее от злых чар. Каждый вечер она почерпала из книги Гримма новый запас мужества и сил.

Какую бы сказку она ни читала, она находила всегда аналогию со своим положением. Заблудившийся ребенок дровосека, несчастная пастушка гусей, преследуемая падчерица, девочка, заключенная в хижине ведьмы, — все они казались намеками на бедную переутомленную судомойку в гостинице «Каменоломня». И всегда во всех сказках, когда положение становилось наиболее тяжелым, на помощь являлись добрая фея или прекрасный принц.

Итак, здесь, в этом замке людоеда, порабощенная злыми чарами, Лена находила опору только в Гримме и ждала, когда добрые силы одержат верх. Но накануне хозяйка гостиницы, миссис Мэлони, нашла книгу в ее каморке и отобрала ее, резко заявив, что служанкам не полагается читать по вечерам: они от этого теряют сон и

плохо работают на следующий день. Но разве может одиннадцатилетняя девочка, вдали от своей матери, не имеющая ни одной свободной минуты для детских игр, прожить без сказок Гримма? Испытайте это сами на себе и вы увидите, как это трудно.

Родительский дом Лены находился в Техасе, среди невысоких гор на реке Педернэлес, в небольшом городке Фредериксбург. В Фредериксбурге живут только немцы. По вечерам они сидят за маленькими столиками, вдоль тротуара, пьют пиво и играют в карты. Все они очень бережливы.

Но бережливее всех среди них Петер Хильдесмюллер, отец Лены. И вот почему Лену послали работать за тридцать миль, в гостиницу при каменоломне. Она зарабатывала там три доллара в неделю, и Петер прибавлял ее жалованье к своим сбережениям. У Петера была честолюбивая мечта сделаться таким же богатым, как его сосед, Гуго Геффельбауер, который курил трубку из морской пенки, в три фута длиной, и который каждый день ел к обеду «винер-шницель». И он считал, что Лена была теперь уже достаточно велика, чтобы заработать деньги и помогать семье в накоплении богатства. Но представьте себе, что

это значит в одиннадцать лет покинуть родной дом и быть осужденной на тяжелую работу в замке людоеда. Что это значит служить людоедам, которые пожирают овец и быков, свирепо ворчат и стряхивают со своих огромных сапог белую известковую пыль для того, чтобы ей приходилось своими слабыми, больными руками мести и мыть пол. И в довершение всего — отнять у нее сказки Гримма!

Лена подняла крышку старого пустого ящика, в котором когда-то были жестянки консервов, и достала лист бумаги и огрызок карандаша. Она хотела написать письмо своей маме, Томми Райан обещал отнести письмо на почту к Бэллингеру, Томми было семнадцать лет, он работал в каменоломне и каждый вечер отправлялся к Бэллингеру. Теперь он поджидал под окном Лены, пока она напишет письмо и бросит его в окно. Только таким способом могла она переслать письмо в Фредериксбург, потому что миссис Мэлони не любила, чтобы она писала письма.

Огарок свечи был очень маленький, поэтому Лена поспешно откусила дерево вокруг графита карандаша и начала писать. Вот ее письмо:

«Дорогая мама!

Я так хочу тебя видеть. И Гретель, и Клауса, и Генриха, и маленького Адольфа. Я так устала. Я хочу тебя видеть. Сегодня миссис Мэлони меня ударила и оставила без ужина. Я не могла принести столько дров, сколько нужно было, потому что у меня болит рука. Вчера она отобрала у меня книгу. Знаешь, сказки Гримма, которую мне подарил дядя Лео. Я никому не мешала, когда читала книгу. Я стараюсь работать изо всех сил, но здесь так много работы, что я не успеваю всего сделать. Я читала только по вечерам. Дорогая мама. Если ты не пошлешь за мной завтра, чтобы взять меня домой, я пойду к глубокому месту на реке и утоплюсь. Я знаю, что это нехорошо с моей стороны, но мне так тяжело, так скучно. Я так часто желаю вас видеть, и никого у меня здесь нет. Я очень устала, и Томми ждет письмо…

Твоя любящая тебя дочь Лена».

Томми пришлось долго ждать внизу, и, когда письмо было закончено и Лена бросила его в окно, она увидала, как Томми поднял его и начал взбираться по отвесному склону холма. Не разде-

ваясь, она задула свечу и свернулась в клубочек на матраце, разостланном на полу.

В половине одиннадцатого старик Бэллингер вышел из дома в носках, с трубкою в зубах, и облокотился о калитку. Он смотрел на большую дорогу, казавшуюся белой при лунном свете, и потирал лодыжку одной ноги ступней другой. Он ждал фредериксбургскую почту.

Старик Бэллингер простоял не дольше нескольких минут, как он услышал быстрый топот мулов почтальона Фрица, а вскоре затем почтовый фургон остановился у калитки.

Большие очки Фрица заблестели при лунном свете, и он громовым голосом поздоровался с почтмейстером Бэллингером. Почтальон Фриц спрыгнул с козел и разнуздал мулов, потому что он всегда кормил их овсом у Бэллингера.

Пока мулы ели овес, старик Бэллингер вынес мешок с почтой и бросил его в фургон.

У почтальона Фрица Бергмана было три привязанности — или, чтобы быть вполне точным, четыре, потому что пару мулов нужно рассматривать как две отдельные личности. Эти мулы составляли главный интерес и радость его существования. За ними следовал германский император, а потом — Лена Хильдесмюллер.

— Скажите мне, — сказал Фриц, готовясь к отъезду, — нет ли в почтовом мешке письма к фрау Хильдесмюллер от маленькой Лены из каменоломни? В последней почте было одно письмо, в котором она писала, что она больна. Ее мать очень тревожится и хочет знать, как она поживает.

— Да, — сказал старик Бэллингер, — там есть письмо для миссис Хельтерскельтер или что-то в том роде. Томми Райан принес его вечером. Вы говорите, ее девчурка работает в каменоломне?

— В гостинице «Каменоломне», — заорал Фриц, подбирая вожжи. — Ей одиннадцать лет, и ростом она не больше мизинца. Старый скряга этот Петер Хильдесмюллер! Когда-нибудь я тресну его дубиной по его глупой башке!.. Может быть, в этом письме Лена пишет, что она чувствует себя лучше. Вот-то обрадуется ее мать! Auf Wiedersehen, херр Бэллингер — смотрите, не застудите себе ноги на холоду.

— Всего доброго, Фрици, — сказал старик Бэллингер. — А холодная ночь будет сегодня, наверно!

Маленькие черные мулы ровной рысцой понеслись по дороге, а Фриц время от времени громовым голосом понукал их, давая им самые

нежные эпитеты.

Заботами о мулах и мыслями о Лене был занят ум почтальона, пока он не достиг большого дубового леса, в восьми милях от Бэллингера. Здесь мысли его были прерваны внезапной вспышкой огня, револьверными выстрелами и диким гиканьем, как будто исходящим от целого племени индейцев. Шайка галопирующих центавров окружила почтовый фургон. Один из них направил в почтальона револьвер и приказал ему остановиться. Другие схватили за уздцы обоих мулов — Грома и Молнию.

— Donnerwetter! — заорал Фриц своим громовым голосом. — Was ist das? Руки прочь с этих мулов! Это почта Соединенных Штатов!

— Поторапливайся, немчура! — протянул меланхоличный голос. — Разве ты не понимаешь, что попался? Осади мулов и вылезай из фургона.

К чести Гондо Билля следует сказать, что задержание фредериксбургской почты отнюдь не представлялось подвигом в его глазах. Как лев, преследуя большого зверя, может раздавить случайно попавшегося ему на дороге кролика, так и Гондо Билль и его шайка случайно напали на мирный транспорт Фрица.

С главной работой, предстоявшей им в эту ночь,

они уже покончили. Фриц со своим почтовым фургоном явился приятным развлечением и отдыхом после тяжелых обязанностей их профессии. В двадцати милях к юго-востоку стоял поезд с опрокинутым паровозом, насмерть перепуганными пассажирами и ограбленным почтовым вагоном. Это было программой сегодняшнего дня у Гондо Билля и его шайки. С сказочно богатой добычей грабители двинулись через менее населенную местность на запад, надеясь пробраться через Рио-Гранде и скрыться в Мексике. Удачное ограбление поезда превратило угрюмых разбойников в веселых шутников.

Дрожа от злости и страха, Фриц вылез из фургона, оправляя свои сползшие очки. Разбойники спешились и пели, прыгали и кричали, выражая таким образом свое удовлетворение веселой привольной жизнью. Роджерс Гремучая Змея, стоявший перед мулами, слишком сильно дернул за повод Грома, который осадил назад и протестующе фыркнул. С яростным криком Фриц набросился на огромного Роджерса и стал тузить кулаками удивленного разбойника.

— Негодяй! — орал Фриц. — Собака, обормот! У этого мула болит морда. Я оторву голову с твоих плеч, разбойник!

— И-и-и! — завопил Роджерс, покатываясь со смеха. — Уберите-ка эту «кислую капусту»!

Один из разбойников оттащил Фрица за фалды, и лес огласился отборными ругательствами.

— Собачья ты колбаса! — добродушно закричал Гремучая Змея. — Он не такой уж скверный, этот немчура. Как он заступился за свою скотину! Мне нравится, когда человек любит животных, даже если это мулы. Проклятый лимбургский сыр, как он наскочил на меня! Ну, ну, мулик, не бойся, — я больше не сделаю тебе больно.

Может быть, почту и не тронули бы, если бы помощник атамана, Бен Муди, не выступил бы со своим предложением.

— Слушай, капитан, — сказал он, обращаясь к Гондо Биллю, — очень возможно, что в этих почтовых мешках найдется, чем можно поживиться. Я торговал раньше лошадьми около Фредериксбурга и имел дело с тамошними немцами, так что знаю их повадки. Крупные деньги посылаются почтой в этот город. Эти немцы лучше рискнут послать в письме тысячу долларов, чем заплатить банку за перевод.

Гондо Билль, здоровенный детина шести футов росту и быстрый в своих поступках, стал выбрасывать мешки из фургона раньше, чем

Муди кончил свою речь. В руке его блеснул нож и послышался треск разрезаемой парусины. Разбойники столпились вокруг мешков и стали открывать письма и пакеты, сопровождая свою работу проклятиями по адресу корреспондентов, точно сговорившихся опровергнуть предположения Бена Муди. Ни одного доллара не было найдено в фредериксбургской почте.

— Постыдился бы ты, — сказал Гондо Билль почтальону начальническим тоном, — что возишь с собою такую кучу старой, негодной бумаги. Ты что думаешь, а? И где вы, немцы, храните ваши деньги?

Почтовый мешок Бэллингера открылся, как кокон, под ножом Гондо. В нем была небольшая пачка писем. Фриц все время кипел негодованием и волновался, пока добрались до этого мешка. Тут он вспомнил о письме Лены. Он обратился к вожаку шайки с просьбой пощадить это письмо.

— Очень благодарен тебе, немчура, — сказал Гондо взволнованному почтальону. — Вероятно, это-то письмо и содержит в себе деньги? Вот оно. Дайте свету, ребята.

Гондо нашел и открыл письмо к миссис Хильдесмюллер. Остальные стояли вокруг, зажигая одно письмо за другим, чтобы поддерживать свет.

Гондо уставился на листок бумаги, заполненный угловатыми немецкими буквами.

— Ты что это нас морочишь, немчура? И ты назвал это ценным письмом? Как тебе не стыдно разыгрывать такие штуки с друзьями, которые потрудились помочь тебе разобрать почту.

— Это написано по-китайски, — сказал Сэнди Гренди, заглядывая через плечо Гондо.

— Ошибся, брат, — объявил другой член шайки. — Это стенография. Я видел раз на суде, как это выглядит.

— Ах, нет, нет, это по-немецки, — сказал Фриц. — Это просто письмо маленькой девочки к ее матери. Бедная, маленькая девочка, которая больна и должна работать вдали от родительского дома, у чужих людей. Ах! это прямо ужасно! Добрый господин разбойник, пожалуйста, отдайте мне это письмо.

— За кого ты нас принимаешь, черт бы тебя побрал? — сказал Гондо с внезапной и удивившей всех строгостью. — Ты осмеливаешься оскорблять нас подозрением, что мы не обладаем достаточной вежливостью, чтобы интересоваться здоровьем молодой девушки? Ну а теперь прочти-ка этим образованным джентльменам письмо и переведи его на американский язык, —

что здесь такое нацарапано.

Гондо угрожающе повертел своим револьвером и встал во весь рост перед маленьким немцем, который сразу принялся читать письмо, переводя его на английский язык. Шайка разбойников внимательно слушала, храня полнейшее молчание.

— Сколько лет этому ребенку? — сказал Гондо, когда письмо было прочитано.

— Одиннадцать, — сказал Фриц.

— И где она находится?

— Она работает в каменоломне, в гостинице. Ah, mein Gott!! Маленькая Лена хочет утопиться. Я не знаю, решится ли она на это, но если она утопится, клянусь, то я убью из ружья этого Петера Хильдесмюллера.

— Вы, немцы, — сказал Гондо Билль тоном, полным презрения, — мне опротивели. Заставляете ваших детей работать, когда им надо бы еще играть в куклы. Что вы за черти! Я думаю, не мешает дать тебе небольшой урок, чтобы показать, что мы думаем о твоей колбасной нации. Ребята, сюда!

Гондо Билль отозвал в сторону своих товарищей и о чем-то стал совещаться с ними. Затем бандиты схватили Фрица и отвели его в сторону. Здесь они крепко привязали его двумя ремнями к

дереву, а мулов привязали неподалеку к другому дереву.

— Мы тебе ничего плохого не сделаем, — успокоительно сказал Гондо. — Тебе ведь не повредит, если ты посидишь немного у дерева. А теперь мы пожелаем тебе спокойной ночи, потому что нам пора уезжать. Ausgespielt, как говорят немцы.

Фриц услышал только скрип стремян, когда разбойники садились на лошадей, затем громкое гиканье и топот копыт, когда они помчались по фредериксбургской дороге.

Более двух часов просидел Фриц у дерева. Затем, утомленный необыкновенным приключением, он задремал. Сколько времени он проспал, он не знал, но проснулся от грубого толчка. Чьи-то руки развязали ремни и поставили его на ноги. Члены его онемели, в голове все путалось, и он не соображал, где он. Протерев глаза, он посмотрел и увидел, что находится опять среди той же шайки разбойников, Они посадили его на козлы его фургона и дали в руки вожжи.

— Поезжай домой, немчура, — приказал Гондо Билль. — Ты нам наделал столько хлопот, что мы рады будем от тебя отвязаться. Spiel! Zwei Bier! Famos!

Гондо стегнул кнутом Молнию, и оба мула

быстро тронулись вперед, довольные снова поразмять ноги.

Фриц, ошеломленный своим страшным приключением, подгонял их, чтобы скорее добраться домой.

Согласно расписанию, он должен был прибыть в Фредериксбург на рассвете. На самом же деле он въехал в город в одиннадцать часов. По дороге в почтовую контору ему нужно было проехать мимо дома Петера Хильдесмюллера. Он остановил мулов у калитки и окликнул хозяйку. Фрау Хильдесмюллер его уже поджидала, и вся семья выбежала на улицу.

Толстая и краснощекая фрау Хильдесмюллер спросила, нет ли письма от Лены, и тогда Фриц рассказал все, что с ним случилось. Он рассказал содержание письма, которое разбойник заставил его прочесть, и тогда фрау Хильдесмюллер разразилась громкими рыданиями. Ее маленькая Лена утопилась! Почему они отослали ее из дома? Что теперь делать? Может быть, теперь уже слишком поздно послать за ней! Петер Хильдесмюллер выронил свою трубку из морской пены, и она разбилась вдребезги.

— Жена! — заорал он. — Почему ты отпустила ребенка? Это твоя вина, если мы Лену больше

не увидим.

Все знали, что это была вина Петера Хильдесмюллера, и поэтому никто не обратил внимания на его слова.

Минуту спустя, какой-то странный слабый голосок крикнул: «Мама!» Фрау Хильдесмюллер сперва подумала, что это зовет ее дух Лены, а затем она бросилась к заднему концу фургона и с громким радостным криком схватила в свои объятия живую Лену, покрывая ее бледное личико поцелуями и нежно лаская ее. Заспанные глаза Лены были утомлены от дороги, но она улыбнулась и крепко прижалась к той, которую она так хотела видеть. Там, в фургоне, между почтовыми мешками, укутанная в чужие одеяла, она лежала, как в гнездышке, и спала, пока шум голосов не разбудил ее.

Фриц уставился на нее, и глаза его от изумления чуть не выскочили из орбит.

— Gott im Himmel! — заорал он. — Как ты попала сюда, в фургон? Мало того, что разбойники меня чуть не убили, мне придется, видимо, еще сойти с ума сегодня.

— Вы нам ее вернули, Фриц, — закричала фрау Хильдесмюллер. — Как мы сможем вас за это отблагодарить?

— Скажи маме, как ты попала в фургон Фрица, — сказала фрау Хильдесмюллер.

— Не знаю как, — сказала Лена. — Знаю только, что меня освободил от людоедов сказочный принц.

— Клянусь короной императора! — прогремел Фриц. — Мы все сошли с ума.

— Я все время ждала, что вот он придет и освободит меня, — сказала Лена, садясь на узел одеял на тротуар. — Вчера он, наконец, пришел со своими вооруженными рыцарями и завладел замком людоеда. Они выломали двери и разбили все тарелки и пивные кружки. Они засунули мистера Мэлони в бочку с водой и засыпали мукой миссис Мэлони. Прислуга в гостинице выпрыгнула из окон и побежала в лес, когда рыцари начали стрелять из ружей. Я проснулась от шума и заглянула с лестницы вниз. И тогда принц поднялся по лестнице, завернул меня в одеяла и вынес меня. Он был такой высокий, сильный и красивый. Его лицо было жесткое, как щетка, но он говорил нежным добрым голосом, и от него пахло водкой. Он посадил меня на свою лошадь перед собой, и мы уехали, окруженные рыцарями. Принц крепко держал меня, и я заснула и проснулась только, когда приехала домой.

— Глупости! — закричал Фриц Бергман. — Сказки! Как ты попала из каменоломни в мой фургон?

— Принц привез меня, — уверенно сказала Лена.

И до настоящего дня фредериксбургские жители не были в состояния заставить ее дать им другое объяснение.

Возрождение Каллиопы

Перевод И. Гуровой

Каллиопа Кэтсби снова впал в черную меланхолию. Его томила беспричинная тоска. Величавая сфера Земли, и особенно та ее точка, которая зовется Зыбучие Пески, была в его глазах всего лишь сгустком вредоносных испарений. Философ обретает спасение от хандры в красноречивом монологе, нервическая дама находит утешение в слезах, а обрюзглый обитатель восточных штатов читает нотации женской половине своего семейства по поводу счетов от модистки. Но все эти средства не очень-то пригодны для жителя Зыбучих Песков. А уж Каллиопа в особенности был склонен изливать тоску на собственный манер.

Штормовые сигналы Каллиопа вывесил еще с вечера. Он дал пинка своему верному псу на крыльце «Западного отеля» и отказался принести извинения. Он начал обижаться на собеседников и придираться к ним. Прогуливаясь на свежем воздухе, он то и дело отламывал веточки с мескитовых кустов и свирепо жевал их листья. Это было зловещим предзнаменованием. А те, кто

хорошо знал все фазы его ипохондрии, замечали и еще один тревожный признак: он вдруг сделался утонченно любезен и все чаще прибегал к изысканно вежливым фразам. Его обычно пронзительный голос стал хрипловато-вкрадчивым. В его манерах появилась грозная учтивость. Ближе к ночи он уже улыбался кривой улыбкой, вздергивая левый уголок рта, и Зыбучие Пески приготовились занять оборонительные позиции.

Вступив в эту фазу, Каллиопа обычно начинал пить. В конце концов около полуночи было замечено, что он направился в сторону своего жилища, кланяясь встречным с преувеличенной, но не оскорбительной любезностью. Ибо хандра Каллиопы еще не достигла роковой стадии. Теперь он сядет у окна в комнате, которую снимает над парикмахерским салоном Сильвестра, и под нестройные стенания замученной гитары будет до самого утра фальшиво распевать мрачные романсы. Куда более великодушный, чем Нерон, он таким музыкальным вступлением предупреждал Зыбучие Пески о неотвратимом бедствии, которое этому поселку предстояло испытать в самом ближайшем будущем.

До тех пор пока на Каллиопу Кэтсби не находил

очередной стих, он оставался нетребовательным, добродушным человеком — настолько, что нетребовательность оборачивалась ленью, а добродушие никчемностью. То есть в лучшие свои минуты он был присяжным бездельником и только мозолил всем глаза, а в худшие — преображался в Грозу Зыбучих Песков. Его официальное занятие было косвенным образом связано с торговлей недвижимостью — он усаживал соблазненных обитателей восточных штатов в тележку и возил их осматривать земельные участки и хозяйственные постройки. Родиной его явно был один из штатов, примыкающих к Мексиканскому заливу, о чем неопровержимо свидетельствовали его долговязая худоба, манера растягивать слова и соответствующие обороты речи.

Однако, приобщившись к Западу, этот томный любитель строгать сосновые дощечки в лавке, куда сходятся потолковать местные мудрецы и философы, этот праздный и безвестный сын хлопковых полей и заросших сумахом холмов Юга сумел прослыть опасным человеком даже среди людей, которые с малых лет трудолюбиво приобщались ко всем тонкостям бесшабашного буйства.

К девяти часам утра Каллиопа полностью созрел. Вдохновленный собственными варварскими завываниями и содержимым кувшина, он приготовился срывать свежие лавры с робкого чела Зыбучих Песков. Опоясанный и обмотанный крест-накрест патронными лентами, обильно изукрашенный револьверами, окутанный винными парами, он выплеснулся на Главную улицу. Рыцарское благородство не позволило ему захватить город врасплох, и, остановившись на первом же углу, он испустил боевой клич — тот жуткий трубный вопль, благодаря которому он утратил крестное имя и стал тезкой домашнего органа, нареченного в честь предводительницы муз, хотя его звуки в немалой степени напоминают паровозный гудок. Вслед за кличем раздались три выстрела из кольта сорок пятого калибра — Каллиопа решил снять орудия с передков, а заодно проверить свою меткость. Рыжая дворняжка, личная собственность полковника Суози, владельца «Западного отеля», издав прощальный визг, упала наземь лапами кверху. Мексиканец, который, выйдя из лавки с бутылью керосина, неторопливо переходил улицу, завершил свой путь с резвостью призового скакуна, но так и не выпустил из рук горлышка разлетевшейся вдре-

безги бутыли. Свежепозолоченный флюгерный петух на двухэтажном лимонно-лазоревом особняке судьи Рили задрожал, хлопнул крыльями и беспомощно повис вверх ногами — игрушка шаловливых зефиров.

Артиллерия была в образцовом порядке. Рука Каллиопы не утратила твердости. Теперь им владел привычный воинственный экстаз, правда, не без легкой горечи, знакомой еще Александру Македонскому — зачем его подвиги ограничены крохотным мирком Зыбучих Песков.

Каллиопа шествовал по улице, стреляя направо и налево. Окна рассыпались стеклянным градом, собаки мгновенно испарялись, куры бросались врассыпную с отчаянным кудахтаньем, женские голоса тревожно созывали детей. В этот хаос звуков через правильные промежутки врывалось отрывистое стаккато револьверов Грозы Зыбучих Песков, а время от времени все вокруг заглушал зычный вопль, так хорошо знакомый поселку. Припадки сплина у Каллиопы приравнивались в Зыбучих Песках к воскресным дням: по всей длине Главной улицы приказчики, предвосхищая его приближение, торопливо запирали ставни и двери. Всякая деятельность замирала. Никто не становился Каллиопе поперек дороги,

и полное отсутствие сопротивления и разнообразия усугубляло его хандру.

Однако в четырех кварталах дальше по улице шли бойкие приготовления, дабы мистер Кэтсби мог, наконец, удовлетворить свою любовь к обмену комплиментами и хлесткими репликами. Накануне вечером многочисленные вестники не преминули известить Бака Паттерсона, местного шерифа, о близящемся извержении Каллиопы. Терпение этого блюстителя порядка, не раз уже подвергавшееся серьезным испытаниям, наконец, истощилось. В Зыбучих Песках было принято смотреть сквозь пальцы на излишне бурные проявления человеческой натуры: если жизни наиболее полезных граждан не расточались слишком уж щедро, а ущерб, наносимый недвижимости, оставался в разумных пределах, общественное мнение не требовало педантичного соблюдения законов. Однако Каллиопа перегнул палку. Его вспышки были настолько частыми и буйными, что не укладывались в рамки нормальной гигиены духа.

Бак Паттерсон сидел в своем тесном дощатом кабинете, ожидая вступительного вопля, возвещающего, что Каллиопа загрустил. Услышав этот сигнал, шериф встал и надел пояс с револьверами.

Два его помощника и трое местных обывателей, не раз с честью доказывавшие свои высокие огнестрельные качества, тоже поднялись, готовые обменяться с Каллиопой свинцовыми шуточками.

— Его надо окружить, — сказал Бак Паттерсон, излагая план кампании. — Времени на разговоры не тратьте, а стреляйте сразу, как будет можно. Но только из укрытия. С таким церемониться нечего. Пора Каллиопе откинуть копыта, я так полагаю. Заходите с разных сторон, ребята. Да будьте поосторожней! Во что Каллиопа стреляет, в то он и попадает.

Сдвинув брови, Бак Паттерсон, высокий, мускулистый, с начищенной форменной бляхой на груди синей фланелевой рубахи, давал своим помощникам последние наставления перед атакой на Каллиопу. Он считал, что низвержение Грозы Зыбучих Песков следует произвести по возможности без потерь среди атакующих.

Меланхолический Каллиопа двигался под всеми парами вниз по течению, паля во все стороны и не подозревая о готовящемся возмездии, как вдруг обнаружил прямо по носу зловещие буруны. В полуквартале впереди над ящиками из-под галантереи возникли шериф и его помощник.

Они тотчас открыли огонь. И в тот же миг остальные участники облавы, удачно осуществившие обходный маневр, начали бить по Каллиопе из боковых улочек, осторожно подбираясь все ближе к углу.

Первый залп повредил барабан одного из револьверов Каллиопы, аккуратно выщипнул кусочек его правого уха и, взорвав патрон в ленте, пересекавшей его грудь, опалил ему ребра. Это нежданное тонизирующее средство взбодрило Каллиопу, и, забыв о томлении духа, он издал фортиссимо самую высокую ноту в верхнем регистре. Его ответные выстрелы грянули точно эхо. Столпы закона и порядка нырнули за укрытия, но недостаточно быстро: один из помощников шерифа получил пулю чуть повыше локтя, а самому шерифу впилась в подбородок щепка, вырванная пулей из ящика, за который он спрятался.

Затем Каллиопа применил против врагов их же тактику. Он покинул позицию на открытой мостовой и, мгновенно определив, из какой улицы огонь ведется наиболее слабо и неуверенно, вторгся в нее ускоренным маршем. Засевший там противник (один помощник шерифа и два доблестных добровольца) с незаурядной хитростью выждал под сенью пивных бочек, пока Каллиопа

не пробежал мимо, а тогда обстрелял его с тыла. Мгновение спустя с ними соединился шериф и остальные его люди, после чего Каллиопе стало ясно, что успешно продлить восторги поединка он сумеет, только если найдет способ нейтрализовать подавляющее численное преимущество противника. Взгляд его упал на строение, которое, казалось, отвечало этой цели, — оставалось только добраться до него.

Это было небольшое здание железнодорожной станции, длиной в двадцать футов и шириной в десять. Высота платформы была четыре фута. Окна имелись во всех стенах. Отличный форт для человека, теснимого превосходящими силами врага.

Каллиопа дерзко бросился туда под градом пуль. Он благополучно достиг облюбованного убежища и занял его — начальник станции покинул помещение через окно, точно белка-летяга, едва гарнизон показался в дверях.

Паттерсон и его помощники устроили военный совет под защитой сложенных штабелем досок. В станционном здании засел неустрашимый нарушитель закона, на редкость меткий стрелок с большим запасом патронов. Осаждаемая крепость находилась посреди пустыря, и в радиусе

пятидесяти шагов от нее не было ни единого укрытия. Того, кто рискнул бы появиться на этом голом пространстве, тотчас уложила бы пуля Каллиопы.

Шериф был твердо намерен довести дело до конца. Он решил, что клич Каллиопы больше никогда не будет нарушать покой Зыбучих Песков. Он объявил об этом во всеуслышание. И как официальное лицо, и как человек он считал себя обязанным приглушить музыку лихого инструмента. Слишком уж скверными были мелодии. И тут шериф увидел ручную дрезину для перевозки небольших грузов. Она стояла на рельсах возле навеса, где были сложены мешки с шерстью, которую отправлял в город кто-то из окрестных овцеводов. Осаждающие взвалили на дрезину три плотно набитых мешка, а затем Бак Паттерсон двинулся к форту Каллиопы, толкая перед собой импровизированный парапет и низко пригибаясь. Его отряд рассредоточился и приготовился поразить осажденного, если тот, пытаясь остановить надвигающийся джаггернаут правосудия, рискнет показаться в окне. Однако Каллиопа ограничился всего лишь одной демонстрацией. Он выстрелил, и над надежным бруствером шерифа взлетели клочки шерсти. В

стену вокруг окна впились ответные пули осаждающих. Потерь ни та ни другая сторона не понесла.

Управление броненосцем всецело поглощало внимание шерифа, и только почти поравнявшись с платформой, он заметил, что с другой стороны к ней подходит утренний поезд. В Зыбучих Песках поезда стояли ровно минуту. Какая отличная возможность отступления для Каллиопы! Он выскочит в противоположную дверь, прыгнет в вагон, и только они его и видели!

Бак покинул спасительные мешки, взлетел с поднятым револьвером по ступенькам и ворвался в станционное здание, выбив дверь ударом могучего плеча. Его отряд услышал один-единственный выстрел, а потом наступила тишина.

Раненый очнулся и открыл глаза. К нему вернулась способность видеть, слышать, чувствовать и думать. Поглядев по сторонам, он обнаружил, что лежит на деревянной скамье. Над ним растерянно наклонялся высокий человек с большой бляхой, на которой было выгравировано слово «шериф». Щуплая старушка с морщинистым лицом и живыми черными глазами прижимала к его виску мокрый носовой платок. Он вглядывался в эти лица, пытаясь найти связь между

ними и всем происшедшим, но тут старушка затараторила:

— Ну вот, ну вот и молодец! Пуля-то вас и не задела вовсе! Пролетела возле самого уха, вот вы вроде как и обмерли. Так бывает, я знаю. Называется кон-фузия. Эйб Уодкинс на белок эдаким манером охотился — глушил их, как он говаривал. Ну, вас немножко и приглушило, сэр, а сейчас все пройдет. Вам ведь уже полегчало, верно? Полежите еще тихонько, а я вам новую примочку на лоб сделаю. Вы меня, конечно, не знаете, да откуда и знать-то? Я на этом самом поезде приехала из Алабамы повидать сыночка. Вон он у меня какой большой вымахал. И не поверишь, что я его на руках носила, ведь верно? Вот он какой, мой сыночек, сэр.

Старушка оглянулась через плечо на высокого мужчину, и ее лицо просияло гордой радостью. Мозолистая рука со вздутыми венами ласково погладила руку сына. Потом старушка снова обмакнула платок в жестяной тазик, взятый с умывальника в зале ожидания, ободряюще улыбнулась и приложила примочку к виску своего пациента. Она повторила это несколько раз, ни на секунду не прерывая добродушной старческой болтовни.

— Я моего сыночка уже восемь лет как не видела, — продолжала она. — Один мой племянник, Эл Прайс — он кондуктором служит на железной дороге — раздобыл мне бумагу на бесплатный проезд сюда и обратно. Она семь дней годится, так я тут целую неделю погощу. Только подумать, малыш-то мой стал шерифом и наводит порядок в целом городе! Это ведь вроде как начальник полиции, верно? А я-то знать не знала! И письма мне писал, а хоть бы словечком обмолвился. Боялся небось, что старуха мать напугается, как бы с ним чего дурного не приключилось. Да господи боже ты мой, я ведь не из пугливых. От страху толку мало. Выхожу я, из вагона-то, и слышу — стреляют. Потом гляжу, из окна станции дым валит, а я знай себе иду потихонечку. Тут, смотрю, в окошке-то — мой сыночек. Я его сразу узнала. Встретил он меня в дверях и чуть что не задушил, обнимая-то. А вы лежите, сэр, прямо что твой покойник. Вот я и взялась за дело, чтоб вас в чувство привести.

— Пожалуй, я сяду, — сказал контуженный. — Все уже прошло.

Он сел, но тут же от слабости прислонился к стене. Он был крепко сложен и широкоплеч. Его глаза, зоркие и внимательные, были устремлены

на человека, который неподвижно стоял перед ним. Он то всматривался в его лицо, то переводил взгляд на бляху со словом «шериф».

— Да-да, все у вас будет хорошо, — сказала старушка, похлопывая его по руке. — Только вы уж теперь постарайтесь не доводить людей до того, чтоб они в вас стреляли. Сынок мой рассказал мне про вас, пока вы тут на полу без чувств лежали. Вы на меня, старуху, не обижайтесь, что я так с вами разговариваю, вы ведь мне тоже в сыновья годитесь. И на сынка моего сердца не держите, что он в вас стрелял. Шериф, он ведь должен стоять за порядок и закон, уж такая его обязанность. А если кто ведет скверную жизнь и поступает по-нехорошему, так пусть за это расплачивается. И вы, сэр, на моего сына не пеняйте, он тут не виноват. Он всегда был хорошим мальчиком — добрым, послушным, благонравным. Таким вот он и вырос. Послушайте моего совета, сэр, не делайте вы больше так. Будьте хорошим человеком, не пейте, живите себе мирно, по-божьи. Держитесь подальше от дурных друзей, работайте честно и спите сладко.

И старушка просительно прикоснулась рукой в черной митенке к груди человека, которого старалась убедить. Морщинистое изможденное

лицо дышало искренностью и добротой. Эта женщина в порыжелом черном платье и допотопной шляпке, чья долгая жизнь приближалась к концу, словно олицетворяла собой опыт всего человечества. Но тот, к кому она обращалась, по-прежнему не сводил глаз с безмолвного сына старой матери.

— А что скажет шериф? — спросил он. — Как он думает, хорош ли такой совет? Может, шериф все-таки скажет, согласен ли он с ним?

Высокий неловко передернул плечами. Он покрутил бляху на груди, а потом обнял старушку и притянул ее к себе. Она улыбнулась улыбкой, которая и на седьмом десятке лет оставалась все той же, извечно материнской, и все время, пока ее сын говорил, гладила его крупную загорелую руку скрюченными пальцами в черной митенке.

— Я вот что скажу, — начал он, глядя прямо в глаза сидящему на скамье. — На твоем месте я бы этот совет принял. Будь я пропащим пьяницей без стыда и чести, я бы его принял. Будь я на твоем месте, а ты на моем, я бы сказал: «Шериф, коли ты мне поверишь, я клятву дам со всем этим покончить. И пить не буду, и буянить, и стрельбу устраивать. Я стану порядочным человеком, возьмусь за работу, а глупости свои брошу. Бог

мне свидетель!» Вот что я бы тебе сказал, будь ты шериф и окажись я на твоем месте.

— Послушайте моего сынка, — ласково сказала старушка. — Послушайте его, сэр. Обещайте жить по-хорошему, и он вам ничего не сделает. Ведь он каким честным родился сорок лет назад, таким и до сих пор остался.

Сидящий встал со скамьи и потянулся, разминая мышцы.

— Ну, если бы ты был на моем месте и сказал бы вот так, — произнес он решительно, — то я, будь я шерифом, ответил бы: «Иди и постарайся сдержать слово».

— Ах ты господи! — внезапно засуетилась старушка. — Да как же это я забыла про мой сундучок-то! Только его кондуктор поставил на платформу, как я увидела сыночка в окне, ну и прямо из головы вон. А в сундучке ведь восемь банок айвового варенья! Я сама его варила, и так мне жалко будет, если банки побьются!

И она бодро засеменила к двери. Когда она вышла, Каллиопа Кэтсби сказал Баку Паттерсону:

— Ты уж извини, Бак. Я увидел в окошко, как она идет по платформе. А она ведь ничего не слыхала про мои художества. Ну, у меня прямо дух перехватило. Вот, думаю, сейчас она узнает, что

я последняя тварь и на меня облавы устраивают. Ну а ты лежишь тут замертво от моей пули. И меня прямо как стукнуло. Взял я твою бляху и приспособил ее себе на грудь, а тебе приспособил мою славу. Я ей сказал, Бак, что я — шериф, а ты — здешняя язва. Бляху я сейчас тебе отдам.

И он трясущимися пальцами стал отстегивать бляху.

— Да погоди ты! — сказал Бак Паттерсон. — И думать не смей ее снимать, Каллиопа Кэтсби. Так и ходи с ней, пока твоя мать отсюда не уедет. До тех пор будешь шерифом Зыбучих Песков, понял? Я обойду город, потолкую с людьми, и никто ей не проболтается, можешь быть спокоен. И вот что, дубовая твоя башка, оголтелый ты сын взбесившегося торнадо, смотри, выполняй совет, который она дала мне. Я и сам кое-что себе на ус намотал.

— Бак, — с чувством произнес Каллиопа, — да будь я трижды…

— Прикуси язык, — сказал Бак. — Вон она возвращается.

Примечания к сборнику

Сердце и крест (Hearts and Crosses), 1904. На русском языке под названием «Принц-супруг» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Выкуп (The ransom of Mack), 1904. На русском языке под названием «Как я выкупил Мака» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Друг Телемак (Telemachus Friend), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Справочник Гименея (The Handbook of Hymen), 1906. На русском языке под названием «Настольное руководство Гименея» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Пимиентские блинчики (The Pimienla Pancakes), 1903. На русском языке под названием «Блинчики» в книге: О. Генри. Американские рассказы. М. — Пг., 1923, пер. В. Азова.

Поставщик седел (Seats of the haughty), 1906. На русском языке под названием «Около сильных мира сего» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Санаторий на ранчо (Hygeia at the Solito), 1903. На русском языке под названием «Пленник фер-

мы Солито» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915. Этот рассказ О. Генри написан в тюремные годы.

Королева змей (An afternoon miracle), 1902. На русском языке под названием «Чудо» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Кудряш (The higher abdiction), 1906. На русском языке под названием «Высшее отречение» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Купидон порционно (Cupid a la Carte), 1902. На русском языке под названием «Любовь и желудок» в книге: О. Генри. Американские рассказы. М. — Пг., 1923, пер. В. Азова.

Как истый кабальеро (The Caballero's Way), 1907. На русском языке под названием «По-кавалерски» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Яблоко сфинкса (The Sphinx Apple), 1903. На русском языке в книге: О. Генри. Американские рассказы. М. — Пг., 1923, пер. В. Азова.

Пианино (The missing chord), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

По первому требованию (A Call Loan), 1903. На русском языке под названием «Краткосрочный заем» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Принцесса и пума (The Princess and the Puma),

1903. На русском языке в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Бабье лето Джонсона Сухого Лога (The Indian Summer of Dry Valley, Johnson), 1907. На русском языке в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Елка с сюрпризом (Christmas by injunction), 1904. На русском языке под названием «Рождество по заказу» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Сказочный принц (A chapparal prince), 1903. На русском языке под названием «Степной принц» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Возрождение Каллиопы (The Reformation of Calliope), 1904. На русском языке под названием «Укрощение строптивого» в книге: О. Генри. Душа Техаса. Пг., 1923, пер. К Жигаревой. Этот рассказ О. Генри был «откуплен» у него газетным синдикатом и опубликован в один и тот же день в воскресных выпусках многотиражных газет в Нью-Йорке, Бостоне, Вашингтоне, Чикаго и еще в пяти крупнейших городах США.

О. Генри
ГОЛОС БОЛЬШОГО ГОРОДА
(Сборник)

Голос большого города

Перевод И. Гуровой

Четверть века тому назад школьники имели обыкновение учить уроки нараспев. Их декламационная манера представляла собой нечто среднее между звучным речитативом епископального священника и зудением утомленной лесопильни. Я говорю это со всем уважением. Ведь доски и опилки — вещь весьма полезная и нужная.

Мне вспоминается прелестный и поучительный куплет, оглашавший наш класс на уроках анатомии. Особенно незабываемой была строка: «Берцо-овая кость есть длинне-ейшая кость в челове-е-ческом те-еле».

Как было бы чудесно, если бы вот так же мелодично и логично внедрялись в наши юные умы все относящиеся к человеку телесные и духовные факты! Но скуден был урожай, который мы собрали на ниве анатомии, музыки и философии.

На днях я зашел в тупик. И мне нужен был путеводный луч. В поисках его я обратился к своим школьным дням. Но среди всех хранящихся в

моей памяти гнусавых песнопений, которые мы некогда возносили со своих жестких скамей, ни одно не трактовало о совокупном голосе человечества.

Иными словами — об объединенных устных излияниях людских конгломератов.

Иными словами — о Голосе Большого Города.

В индивидуальных голосах недостатка не наблюдается. Мы понимаем песнь поэта, лепет ручейка, побуждение человека, который просит у нас пятерку до понедельника, надписи в гробницах фараонов, язык цветов, «поживей-поживей» кондуктора и увертюру молочных бидонов в четыре часа утра. А кое-какие большеухие утверждают даже, будто им внятны вибрации барабанных перепонок, возникающие под напором воздушных волн, которые производит мистер Г. Джеймс[139]. Но кто способен постигнуть Голос Большого Города? И я отправился искать ответа на этот вопрос. Начал я с Аврелии. На ней было легкое платье из белого муслина, все в трепетании лент, и шляпа с васильками.

— Как по-вашему, — спросил я, запинаясь, ибо

---

[139] Примечания: 139

Генри Джеймс (1843–1916) — американский писатель, долго живший в Европе. В 1905 г. совершил поездку по США, где выступал с публичными лекциями.

собственного голоса у меня нет, — что говорит этот наш большой… э… огромный… э-э… ошеломительный город? Ведь должен же у него быть голос! Говорит ли он с вами? Как вы толкуете смысл его речей? Он колоссален, но и к нему должен быть ключ.

— Как у дорожного сундука? — осведомилась Аврелия.

— Нет, — сказал я. — Сундуки тут ни при чем. Мне пришло в голову, что у каждого города должен быть свой голос. Каждый из них что-то говорит тем, кто способен услышать. Так что же говорит вам Нью-Йорк?

— Все города, — вынесла свой приговор Аврелия, — говорят одно и то же. А когда они умолкают, доносится эхо из Филадельфии. И значит, они единодушны.

— Мы имеем тут, — сказал я наставительно, — четыре миллиона человек, втиснутых на островок, состоящий главным образом из простаков, омываемых волнами Уоллстрита. Скопление столь огромного числа простых элементов на столь малом пространстве не может не привести к возникновению некоей личности, а вернее — некоего однородного единства, устное самовыражение которого происходит через некий же

общий рупор. Проводится, так сказать, непрерывный референдум, и его результаты фиксируются во всеобъемлющей идее, которая открывается нам через посредство того, что можно назвать Голосом Большого Города. Так не могли бы вы сказать мне, что это, собственно, такое?

Аврелия улыбнулась своей неизъяснимой улыбкой. Она сидела на маленькой веранде. Веточка нахального плюща поглаживала ее правое ушко. Бесцеремонный лунный луч играл на ее носу. Но я был тверд, я был покрыт броней долга.

— Придется мне пойти и выяснить раз и навсегда, что же такое Голос нашего города, — заявил я. — Ведь у других городов голоса есть! Я должен выяснить, что тут и как. Поручение редактора. И пусть Нью-Йорк, — продолжал я воинственно, — не пробует совать мне сигару со словами: «Извините, старина, но я не даю интервью». Другие города так не поступают. Чикаго говорит без колебаний: «Добьюсь!» Филадельфия говорит: «Надо бы». Новый Орлеан говорит: «В мое время». Луисвилл говорит: «Почему бы и нет». Сент-Луис говорит: «Прошу прощения». Питтсбург говорит: «Подымим?» А вот Нью-Йорк…

Аврелия улыбнулась.

— Ну хорошо, — сказал я. — В таком случае мне

придется пойти куда-нибудь еще.

Я зашел в питейный дворец — полы выложены мрамором, потолки сплошь в амурчиках, и с полицией полный ажур. Поставив ногу на латунный барьер, я сказал Биллу Магнусу, лучшему бармену епархии:

— Билли, ты живешь в Нью-Йорке много лет, так какой же музыкой ублажает тебя старик? То есть я вот о чем: не замечаешь ли ты, что его гомон вроде как собирается в один комок, катится к тебе по стойке, словно объединенные чаевые, и попадает в цель, точно эпиграмма, крепленная горькой настойкой, и с ломтиком…

— Я сейчас, — сказал Билли. — Кто-то жмет на звонок у черного хода.

Он вышел, затем вернулся с пустым жестяным бидончиком, наполнил его, вновь скрылся, опять вернулся и сказал мне:

— Это Мэйми приходила. Она всегда звонит два раза. Любит хлебнуть за ужином пивка. И малыш тоже. Видели бы вы, как этот паршивец выпрямится на своем стульчике, возьмет кружечку с пивом и… Да, а вы-то чего спрашивали? Как услышу эти два звонка, так все начисто из головы вылетает. Вы бейсбольным счетом интересовались или вам джина с сельтерской?

— Лимонада, — уточнил я.

Я вышел на Бродвей. На углу стоял полицейский. Полицейские берут детей на руки, старушек под локоть, а мужчин на цугундер.

— Если я не слишком нарушаю тишину и порядок, — сказал я, — то мне хотелось бы задать вам вопрос. Вы наблюдаете Нью-Йорк в самые звучные его часы. Вы и ваши собратья по мундиру существуете, в частности, для того, чтобы оберегать его акустику. И значит, имеется некий внятный вам городской глас. Вы, конечно, слышали его во время ночных обходов по пустым улицам. Какова же субстанция его шумного бурления и гвалта? Что говорит вам город?

— Друг, — сказал полицейский, поигрывая дубинкой, — стану я его слушать! Я ему не подчинен, у меня свое начальство есть. Знаете что, вы как будто человек надежный. Постойте тут минутку и последите, а то, не дай бог, сержант нагрянет.

Полицейский растворился во мраке переулка. Через десять минут он вернулся.

— Только во вторник поженились, — сказал он отрывисто. — Вы же знаете, какие они. Приходит туда на угол каждый вечер в девять часов поце… перекинуться словечком. А я уж как-нибудь да

исхитряюсь быть там вовремя. Погодите-ка, о чем это вы меня спрашивали? Что нового в городе? Ну, вот только что в двенадцати кварталах отсюда открылись два сада на крышах.

Я пересек веер трамвайных путей и пошел вдоль тенистого парка. Позолоченная Диана на башенке[140], гордая, легкая, покорная лишь ветру, сверкала в ярких лучах своей небесной тезки. И вдруг откуда ни возьмись передо мной возник знакомый поэт в новой шляпе на тщательно расчесанных волосах и устремился дальше, благоухая дактилями, спондеями и духами. Я вцепился в него.

— Билл! — сказал я (под стихами он подписывается «Клеон»). — Подбрось мыслишку! Мне поручено установить, что такое Голос Большого Города. Личное поручение редактора. При обычных обстоятельствах можно было бы обойтись компотом из взглядов Генри Клуса, Джона Л. Салливана, Эдвина Маркхема, Мей Ирвин и Чарлза Суоба[141]. Но тут случай особый. Нам требуется

---

[140] Примечания: 140

Здание Мэдисон-сквер-гарден увенчано башенкой, на которой возвышается огромная статуя Дианы.

[141] Примечания: 141

Здесь О. Генри даёт имена финансиста, боксёра, поэта, актрисы и стального магната.

широчайшая, поэтическая, мистическая вокализация души города, его сути. Уж тебе-то здесь и книги в руки. Года три-четыре назад один человек побывал на Ниагарском водопаде и сообщил нам, какую ноту он выводит. Так она на два фута ниже самого нижнего «соль» у рояля. Ну а у Нью-Йорка, сам знаешь, не столько ноты, сколько банкноты. Но как тебе кажется, что бы он сказал, если бы вдруг заговорил? Это, конечно, будет нечто колоссальное, оглушающее. Нам нужно взять грохочущие аккорды дневного уличного движения, смех и музыку ночи, торжественные модуляции преподобного доктора Паркхерста[142], рэгтайм, рыдания, вкрадчивый шорох колес, крики газетчиков, журчание фонтанов в садах на крышах, зазывные вопли лоточников, а также обложек «Журнала для всех» и еще шепот влюбленных в парках — вот какие звуки требуются для искомого голоса, но их не надо сбивать, а только смешать, из смеси сделать эссенцию, а из эссенции экстракт — воспринимаемый на слух экстракт, капля которого и будет тем, что нам требуется.

— Помнишь ту девочку из Калифорнии, с ко-

[142] Примечания: 142

Чарлз Паркхерст, священник, много лет служил в фешенебельной церкви на Мэдисон-сквере.

торой мы познакомились в студии Стайвера на прошлой неделе? — спросил поэт с блаженным смешком. — Я как раз иду к ней. Она читает наизусть мои стихи «Дань весны» без единой ошибки. Второй такой во всем городе не найдется. Как этот чертов галстук выглядит — ничего? Я четыре штуки измочалил, пока удалось завязать приличный узел.

— Ну а что ты все-таки скажешь насчет Голоса? — настаивал я.

— Петь она не поет, — ответил Клеон. — Но слышал бы ты, как она декламирует моего «Ангела утреннего бриза».

Я пошел дальше. И ухватил мальчишку-газетчика, а он взмахнул передо мной пророческими розовыми листами, которые обгоняют самые свежие новости на два оборота самой длинной часовой стрелки.

— Сынок, — сказал я, делая вид, будто нащупываю в кармане мелкую монету, — а тебе порой не кажется, что Нью-Йорк умеет говорить? Знаешь, все эти ежедневные происшествия и загадочные события, удачи и крахи — что, по-твоему, он сказал бы, если бы был наделен даром речи?

— Хватит языком трепать, — буркнул мальчишка. — Какую газету берете? Мне с вами

растабарывать некогда. У Мэгги день рождения, и мне нужно тридцать центов ей на подарок.

Нет, и этот не годился в толмачи! Я купил газету и отправил ее незаключенные международные договоры, задуманные убийства и еще не состоявшиеся битвы в мусорную урну.

И вновь я удалился в парк под лунную сень. Я сидел там и думал, думал и ломал голову над тем, почему никто так мне ничего дельного и не сказал.

И вдруг со скоростью света далекой звезды меня осенил ответ. Я вскочил и бросился бегом назад — назад по тому же кругу, подобно многим и многим любителям рассуждать. Я нашел отгадку, и бережно скрыл ее в сердце, и бежал во всю прыть, опасаясь, что меня остановят и отнимут мою тайну.

Аврелия все еще сидела на веранде. Луна поднялась выше, и тень плюща стала чернее. Я сел рядом с Аврелией, и мы вместе смотрели, как легкое облачко нацелилось в плывущую луну и распалось надвое, совсем бледное и обескураженное.

И тут — о чудо из чудес, о блаженство из блаженств! — наши руки неведомо как соприкоснулись, наши пальцы сплелись и остались

сплетенными.

Полчаса спустя Аврелия произнесла, улыбнувшись своей неизъяснимой улыбкой:

— А знаете, ведь вы с той минуты, как вернулись, еще ни одного слова не сказали.

— Это и есть, — сказал я, умудренно кивнув, — Голос Большого Города.

Один час полной жизни

Перевод Н. Дарузес

Существует поговорка, что тот еще не жил полной жизнью, кто не знал бедности, любви и войны. Справедливость такого суждения должна прельстить всякого любителя сокращенной философии. В этих трех условиях заключается все, что стоит знать о жизни. Поверхностный мыслитель, возможно, счел бы, что к этому списку следует прибавить еще и богатство. Но это не так. Когда бедняк находит за подкладкой жилета давным-давно провалившуюся в прореху четверть доллара, он забрасывает лот в такие глубины жизненной радости, до каких не добраться ни одному миллионеру.

По-видимому, так распорядилась мудрая исполнительная власть, которая управляет жизнью, что человек неизбежно проходит через все эти три условия; и никто не может быть избавлен от всех трех.

В сельских местностях эти условия не имеют такого значения. Бедность гнетет меньше, любовь не так горяча, война сводится к дракам из-за

соседской курицы или границы участка. Зато в больших городах наш афоризм приобретает особую правдивость и силу, и некоему Джону Гопкинсу досталось в удел испытать все это на себе в сравнительно короткое время.

Квартира Гопкинса была такая же, как тысячи других. На одном окне стоял фикус, на другом сидел блохастый терьер, изнывая от скуки.

Джон Гопкинс был такой же, как тысячи других. За двадцать долларов в неделю он служил в девятиэтажном кирпичном доме, занимаясь не то страхованием жизни, не то подъемниками Бокля, а может быть, педикюром, ссудами, блоками, переделкой горжеток, изготовлением искусственных рук и ног или же обучением вальсу в пять уроков с гарантией. Не наше дело догадываться о призвании мистера Гопкинса, судя по этим внешним признакам.

Миссис Гопкинс была такая же, как тысячи других. Золотой зуб, наклонность к сидячей жизни, охота к перемене мест по воскресеньям, тяга в гастрономический магазин за домашними лакомствами, погоня за дешевкой на распродажах, чувство превосходства по отношению к жилице третьего этажа с настоящими страусовыми перьями на шляпке и двумя фамилиями на двери,

тягучие часы, в течение которых она липла к подоконнику, бдительное уклонение от визитов сборщика взносов за мебель, неутомимое внимание к акустическим эффектам мусоропровода — все эти свойства обитательницы нью-йоркского захолустья были ей не чужды.

Еще один миг, посвященный рассуждениям, — и рассказ двинется с места.

В большом городе происходят важные и неожиданные события. Заворачиваешь за угол и попадаешь острием зонта в глаз старому знакомому из Кутни-Фоллс.

Гуляешь в парке, хочешь сорвать гвоздику — и вдруг на тебя нападают бандиты, «скорая помощь» везет тебя в больницу, ты женишься на сиделке; разводишься, перебиваешься кое-как с хлеба на квас, стоишь в очереди в ночлежку, женишься на богатой наследнице, отдаешь белье в стирку, платишь членские взносы в клуб — и все это в мгновение ока. Бродишь по улицам, кто-то манит тебя пальцем, роняет к твоим ногам платок, на тебя роняют кирпич, лопается трос в лифте или твой банк, ты не ладишь с женой или твой желудок не ладит с готовыми обедами — судьба швыряет тебя из стороны в сторону, как кусок пробки в вине, откупоренном официантом,

которому ты не дал на чай. Город — жизнерадостный малыш, а ты — красная краска, которую он слизывает со своей игрушки.

После уплотненного обеда Джон Гопкинс сидел в своей квартире строгого фасона, тесной, как перчатка. Он сидел на каменном диване и сытыми глазами разглядывал «Искусство на дом» в виде картинки «Буря», прикрепленной кнопками к стене. Миссис Гопкинс вялым голосом жаловалась на кухонный чад из соседней квартиры. Блохастый терьер человеконенавистнически покосился на Гопкинса и презрительно обнажил клыки.

Тут не было ни бедности, ни войны, ни любви; но и к такому бесплодному стволу можно привить эти три основы полной жизни.

Джон Гопкинс попытался вклеить изюминку разговора в пресное тесто существования.

— В конторе ставят новый лифт, — сказал он, отбрасывая личное местоимение, — а шеф начал отпускать бакенбарды.

— Да что ты говоришь! — отозвалась миссис Гопкинс.

— Мистер Уиплз пришел нынче в новом весеннем костюме. Мне очень даже нравится. Такой серый, в... — Он замолчал, вдруг почувство-

вав, что ему захотелось курить. — Я, пожалуй, пройдусь до угла, куплю себе сигару за пять центов, — заключил он.

Джон Гопкинс взял шляпу и направился к выходу по затхлым коридорам и лестницам доходного дома.

Вечерний воздух был мягок, на улице звонко распевали дети, беззаботно прыгая в такт непонятным словам напева. Их родители сидели на порогах и крылечках, покуривая и болтая на досуге. Как это ни странно, пожарные лестницы давали приют влюбленным парочкам, которые раздували начинающийся пожар, вместо того чтобы потушить его в самом начале.

Табачную лавочку на углу, куда направлялся Джон Гопкинс, содержал некий торговец по фамилии Фрешмейер, который не ждал от жизни ничего хорошего и всю землю рассматривал как бесплодную пустыню. Гопкинс, не знакомый с хозяином, вошел и добродушно спросил «пучок шпината, не дороже трамвайного билета». Этот неуместный намек только усугубил пессимизм Фрешмейера; однако он предложил покупателю товар, довольно близко отвечавший требованию. Гопкинс откусил кончик сигары и закурил ее от газового рожка. Сунув руку в карман, чтобы

заплатить за покупку, он не нашел там ни цента.

— Послушайте, дружище, — откровенно объяснил он. — Я вышел из дому без мелочи. Я вам заплачу в первый же раз, как буду проходить мимо.

Сердце Фрешмейера дрогнуло от радости. Этим подтверждалось его убеждение, что весь мир — сплошная мерзость, а человек есть ходячее зло. Не говоря худого слова, он обошел вокруг прилавка и с кулаками набросился на покупателя. Гопкинс был не такой человек, чтобы капитулировать перед впавшим в пессимизм лавочником. Он моментально подставил Фрешмейеру золотисто-лиловый синяк под глазом в уплату за удар, нанесенный сгоряча любителем наличных.

Стремительная атака неприятеля отбросила Гопкинса на тротуар. Там и разыгралось сражение: мирный индеец со своей деревянной улыбкой[143] был повержен в прах, и уличные любители побоищ столпились вокруг, созерцая этот рыцарский поединок.

Но тут появился неизбежный полисмен, что предвещало неприятности и обидчику и его жертве. Джон Гопкинс был мирный обыватель и

---

[143] Примечания: 143

У дверей табачных лавок в США было принято ставить деревянную раскрашенную фигуру индейца.

по вечерам сидел дома, решая ребусы, однако он был не лишен того духа сопротивления, который разгорается в пылу битвы. Он повалил полисмена прямо на выставленные бакалейщиком товары, а Фрешмейеру дал такую затрещину, что тот пожалел было, зачем он не завел обыкновения предоставлять хотя бы некоторым покупателям кредит до пяти центов. После чего Гопкинс бросился бегом по тротуару, а в погоню за ним — табачный торговец и полисмен, мундир которого наглядно доказывал, почему на вывеске бакалейщика было написано: «Яйца дешевле, чем где-либо в городе».

На бегу Гопкинс заметил, что по мостовой, держась наравне с ним, едет большой низкий гоночный автомобиль красного цвета. Автомобиль подъехал к тротуару, и человек за рулем сделал Гопкинсу знак садиться. Он вскочил на ходу и повалился на мягкое оранжевое сиденье рядом с шофером. Большая машина, фыркая все глуше, летела, как альбатрос, уже свернув с улицы на широкую авеню.

Шофер вел машину, не говоря ни слова. Автомобильные очки и дьявольский наряд водителя маскировали его как нельзя лучше.

— Спасибо, друг, — благодарно обратился к

нему Гопкинс. — Ты, должно быть, и сам честный малый, тебе противно глядеть, когда двое нападают на одного. Еще немножко, и мне пришлось бы плохо.

Шофер и ухом не повел — будто не слышал. Гопкинс передернул плечами и стал жевать сигару, которую так и не выпускал из зубов в продолжение всей свалки.

Через десять минут автомобиль влетел в распахнутые настежь ворота изящного особняка и остановился. Шофер выскочил из машины и сказал:

— Идите скорей. Мадам объяснит все сама. Вам оказывают большую честь, мсье. Ах, если бы мадам поручила это Арману! Но нет, я всего-навсего шофер.

Оживленно жестикулируя, шофер провел Гопкинса в дом. Его впустили в небольшую, но роскошно убранную гостиную. Навстречу им поднялась дама, молодая и прелестная, как видение. Ее глаза горели гневом, что было ей весьма к лицу. Тоненькие, как ниточки, сильно изогнутые брови красиво хмурились.

— Мадам, — сказал шофер, низко кланяясь, — имею честь докладывать, что я был у мсье Лонга и не застал его дома. На обратном пути я увидел,

что вот этот джентльмен, как это сказать, бьется с неравными силами — на него напали пять… десять… тридцать человек, и жандармы тоже. Да, мадам, он, как это сказать, побил одного… три… восемь полисменов. Если мсье Лонга нет дома, сказал я себе, то этот джентльмен так же сможет оказать услугу мадам, и я привез его сюда.

— Очень хорошо, Арман, — сказала дама, — можете идти. — Она повернулась к Гопкинсу. — Я посылала шофера за моим кузеном, Уолтером Лонгом. В этом доме находится человек, который обращался со мной дурно и оскорбил меня. Я пожаловалась тёте, а она смеется надо мной. Арман говорит, что вы храбры. В наше прозаическое время мало таких людей, которые были бы и храбры и рыцарски благородны. Могу ли я рассчитывать на вашу помощь?

Джон Гопкинс сунул окурок сигары в карман пиджака и, взглянув на это очаровательное существо, впервые в жизни ощутил романтическое волнение. Это была рыцарская любовь, вовсе не означавшая, что Джон Гопкинс изменил квартирке с блохастым терьером и своей подруге жизни. Он женился на ней после пикника, устроенного вторым отделением союза этикетчиц, поспорив со своим приятелем Билли Макманусом на новую

шляпу и порцию рыбной солянки. А с этим неземным созданием, которое молило его о помощи, не могло быть и речи о солянке; что же касается шляп, то лишь золотая корона с брильянтами была ее достойна!



— Слушайте, — сказал Джон Гопкинс, — вы мне только покажите этого парня, который действует вам на нервы. До сих пор я, правда, не интересовался драться, но нынче вечером никому не спущу.

— Он там, — сказала дама, указывая на закрытую дверь. — Идите. Вы уверены, что не боитесь?

— Я? — сказал Джон Гопкинс. — Дайте мне только розу из вашего букета, ладно?

Она дала ему красную-красную розу. Джон Гопкинс поцеловал ее, воткнул в жилетный карман, открыл дверь и вошел в комнату. Это была богатая библиотека, освещенная мягким, но сильным светом. В кресле сидел молодой человек, погруженный в чтение.

— Книжки о хорошем тоне — вот что вам нужно читать, — резко сказал Джон Гопкинс. — Подитека сюда, я вас проучу. Да как вы смеете грубить даме?

Молодой человек слегка изумился, после чего он томно поднялся с места, ловко схватил Гопкинса за руки и, невзирая на сопротивление, повел его к выходу на улицу.

— Осторожнее, Ральф Бранскомб! — воскликнула дама, которая последовала за ними. — Обращайтесь осторожней с человеком, который

доблестно пытался защитить меня.

Молодой человек тихонько вытолкнул Джона Гопкинса на улицу и запер за ним дверь.

— Бесс, — сказал он спокойно, — напрасно ты читаешь исторические романы. Каким образом попал сюда этот субъект?

— Его привез Арман, — сказала молодая дама. — По-моему, это такая низость с твоей стороны, что ты не позволил мне взять сенбернара. Вот потому я и послала Армана за Уолтером. Я так рассердилась на тебя.

— Будь благоразумна, Бесс, — сказал молодой человек, беря ее за руку. — Эта собака опасна. Она перекусала уже нескольких человек на псарне. Пойдем лучше скажем тете, что мы теперь в хорошем настроении.

И они ушли рука об руку.

Джон Гопкинс подошел к своему дому. На крыльце играла пятилетняя дочка истопника. Гопкинс дал ей красивую красную розу и поднялся к себе.

Миссис Гопкинс лениво завертывала волосы в папильотки.

— Купил себе сигару? — спросила она равнодушно.

— Конечно, — сказал Гопкинс, — и еще прошел-

ся немножко по улице. Вечер хороший.

Он уселся на каменный диван, достал из кармана окурок сигары, закурил его и стал рассматривать грациозные фигуры на картине «Буря», висевшей против него на стене.

— Я тебе говорил про костюм мистера Уиплза, — сказал он. — Такой серый, в мелкую, совсем незаметную клеточку, и сидит отлично.

Грошовый поклонник

Перевод Р. Гальпериной

В этом гигантском магазине, Магазине с большой буквы, служили три тысячи девушек, в том числе и Мэйзи. Ей было восемнадцать лет, и она работала в отделе мужских перчаток. Здесь она хорошо изучила две разновидности человеческого рода — мужчин, которые вольны пойти в магазин и купить себе перчатки, и женщин, которые покупают перчатки для подневольных мужчин. Знание человеческой души восполнялось у Мэйзи и другими полезными сведениями. К ее услугам был житейский опыт остальных двух тысяч девятисот девяноста девяти продавщиц, которые не делали из него тайны, и Мэйзи копила этот опыт в недрах своей души, непроницаемой и осторожной, как душа мальтийской кошки. Быть может, природа, зная, что Мэйзи не у кого будет спросить разумного совета, наделила ее, вместе с красотой, некоторой спасительной долей лукавства, как черно-бурой лисе с ее ценной шкуркой она отпустила дополнительную, по сравнению с другими животными, дозу хитрости.

Ибо Мэйзи была красавица. Блондинка, с пышными волосами теплого, золотистого оттенка, она обладала царственной осанкой стройной богини, которая на глазах у публики печет в витрине оладьи. Когда Мэйзи, стоя за прилавком, обмеряла вам руку, вы мысленно называли ее Гебой, а когда вам снова можно было поднять глаза, вы спрашивали себя, откуда у нее взор Минервы.

Пока заведующий отделом не замечал Мэйзи, она сосала леденцы, но стоило ему взглянуть в ее сторону, как она с мечтательной улыбкой закатывала глаза к небу.

О, эта улыбка продавщицы! Бегите от нее, если только охладевшая кровь, коробка конфет и многолетний опыт не охраняют вас от стрел Купидона. Эта улыбка — не для магазина, и Мэйзи откладывала ее на свои свободные часы. Но для заведующего отделом никакие законы не писаны. Это — Щейлок в мире магазинов. На хорошеньких девушек он глядит, как глядит на пассажиров таможенный досмотрщик, напоминая: «Не подмажешь — не поедешь». Разумеется, есть и приятные исключения. На днях газеты сообщали о заведующем, которому перевалило за восемьдесят.

Однажды Ирвинг Картер, художник, милли-

онер, поэт и автомобилист, случайно попал в Магазин: пострадал, надо сказать, совсем невинно. Сыновний долг схватил его за шиворот и повлек на поиски мамаши, которая, разнежившись в обществе бронзовых амуров и фаянсовых пастушек, увлеклась беседой с приказчиком.

Чтобы как-нибудь убить время, Картер отправился покупать перчатки. Ему и в самом деле нужны были перчатки, свои он забыл дома. Впрочем, нам нет нужды оправдывать нашего героя, ведь он понятия не имел, что покупка перчаток — это предлог для флирта.

Но, едва вступив в роковой предел, Картер внутренне содрогнулся, впервые увидев воочию одно из тех злачных мест, где Купидон одерживает свои более чем сомнительные победы.

Трое или четверо молодцов бесшабашного вида, разодетые в пух и прах, наклонившись над прилавком, возились с перчатками, этими коварными сводницами, между тем как продавщицы возбужденно хихикали, с готовностью подыгрывая своим партнерам на дребезжащей струне кокетства. Картер приготовился бежать — но какое там… Мэйзи, стоя у прилавка, устремила на него вопрошающий взор своих прекрасных холодных глаз, чья лучезарная синева напомнила

ему сверкание айсберга, дрейфующего под ярким летним солнцем где-нибудь в Океании.

И тогда Ирвинг Картер, художник, миллионер и т. д., почувствовал, что его благородная бледность сменяется густым румянцем. Но не скромность зажгла эту краску — скорее рассудок! Он вдруг увидел, что оказался поставленным на одну доску с этими заурядными молодцами, которые, склонившись над соседними прилавками, добивались благосклонности смешливых девиц. Разве и сам он не стоит здесь, у прилавка, как данник плебейского Купидона, разве и он не жаждет благосклонности какой-то продавщицы? Так чем же отличается он от любого из этих Биллов, Джеков или Микки? И в Картере вдруг проснулось сочувствие к этим его младшим братьям — вместе с презрением к предрассудкам, в которых он был взращен, и твердой решимостью назвать этого ангела своим.

Итак, перчатки были завернуты и оплачены, а Картер все еще не решался уйти. В уголках прелестного ротика Мэйзи яснее обозначились ямочки. Ни один мужчина, купивший у нее перчатки, не уходил сразу. Опершись на витрину своей ручкой Психеи, соблазнительно просвечивающей сквозь рукав блузки, Мэйзи

приготовилась к разговору.

У Картера не было случая, чтобы он полностью не владел собой. Но сейчас он оказался в худшем положении, чем Билл, Джек или Микки. Ведь он не мог рассчитывать на встречу с этой красавицей в том обществе, где постоянно вращался. Всеми силами старался он вспомнить, что знал о нравах и повадках продавщиц, — все, что ему когда-нибудь приходилось читать или слышать. Почему-то у него создалось впечатление, что при знакомстве они иной раз готовы отступить от некоторых формальностей, продиктованных правилами этикета. Мысль о том, чтобы предложить этому прелестному невинному существу нескромное свидание, заставляла его сердце отчаянно биться. Однако душевное смятение придало ему смелости.

После нескольких дружеских и благосклонно принятых замечаний на общие темы он положил на прилавок свою визитную карточку, поближе к ручке небожительницы.

— Ради бога, простите, — сказал он, — и не сочтите за дерзость, но я был бы рад снова встретиться с вами. Здесь вы найдете мое имя. Поверьте, только величайшее уважение дает мне смелость просить вас осчастливить меня своей

дружбой, вернее знакомством. Скажите, могу ли я надеяться?

Мэйзи знала мужчин, а особенно тех, что покупают перчатки. С безмятежной улыбкой посмотрела она в лицо Картеру и сказала без колебаний:

— Отчего же? Вы, видать, человек приличный. Вообще-то я избегаю встреч с незнакомыми мужчинами. Ни одна порядочная девушка себе этого не позволит… Так когда бы вы желали?

— Как можно скорее, — сказал Картер. — Разрешите мне навестить вас, и я почту за…

Но Мэйзи залилась звонким смехом.

— О господи, выдумали тоже! Видели бы вы, как мы живем! Впятером в трех комнатах! Представляю мамино лицо, если бы я привела домой знакомого мужчину.

— Пожалуйста, где вам угодно! — самозабвенно воскликнул Картер. — Назначьте место сами. Я к вашим услугам…

— Знаете что, — сказала Мэйзи, и ее нежно-розовое лицо просияло, точно ее осенила замечательная идея. — Четверг вечером, кажется, меня устроит. Приходите в семь тридцать на угол Восьмой авеню и Сорок девятой улицы, я, кстати, там и живу. Но предупреждаю — в одиннадцать

я должна быть дома. У меня мама строгая.

Картер поблагодарил и обещал прийти точно в назначенное время. Пора было возвращаться к мамаше, которая уже ждала сына, чтобы он одобрил ее новое приобретение — бронзовую Диану.

Курносенькая продавщица с круглыми глазками, будто невзначай проходя мимо, ласково подмигнула Мэйзи.

— Тебя, кажется, можно поздравить? — спросила она бесцеремонно.

— Джентльмен просил разрешения навестить меня, — надменно отрезала Мэйзи, пряча на груди визитную карточку.

— Навестить? — эхом отозвались Круглые Глазки. — А не обещал он повезти тебя обедать к Уолдорфу и покатать на своей машине?

— Ах, брось, — устало отмахнулась Мэйзи. — Ты просто помешана на шикарной жизни. Это не с тех ли пор, как твой пожарный возил тебя кутить в китайскую кухмистерскую? Нет, о Уолдорфе разговора не было. Но, судя по карточке, он живет на Пятой авеню. Уж если он захочет угостить меня, будь уверена, что прислуживать нам будет не китаец с длинной косой.

Когда Картер, подсадив мамашу в свой электрический лимузин, отъехал от Магазина, он

невольно стиснул зубы, так защемило у него сердце. Он знал, что впервые за двадцать девять лет своей жизни полюбил по-настоящему. И то, что его возлюбленная, не чинясь, назначила ему свидание на каком-то перекрестке, хоть и приближало его к желанной цели, но вместе с тем рождало мучительные сомнения в его груди.

Картер не знал, что такое продавщица. Он не знал, что ей приходится жить в неуютной конуре либо в тесной квартире, где полным-полно всяких домочадцев и родственников. Ближайший перекресток служит ей будуаром, сквер — гостиной, людная улица — аллеей для прогулок. Однако это обычно не мешает ей быть себе госпожой, такой же независимой и гордой, как любая знатная леди, обитающая среди гобеленов.

Однажды, в тихий сумеречный час, спустя две недели после их первого знакомства, Картер и Мэйзи рука об руку вошли в маленький, скупо освещенный скверик. Найдя уединенную скамейку под деревом, они уселись рядом.

Впервые он робко обнял ее за талию, и ее златокудрая головка блаженно приникла к его плечу.

— Господи! — благодарно вздохнула Мэйзи. — Долго же вы раскачивались!

— Мэйзи! — взволнованно произнес Картер. —

Вы, конечно, догадываетесь, что я люблю вас. Я самым серьезным образом прошу вашей руки. Вы достаточно знаете меня теперь, чтобы мне довериться. Вы мне нужны, Мэйзи! Я мечтаю назвать вас своей. Разница положений меня не останавливает…

— Какая разница? — полюбопытствовала Мэйзи.

— Да никакой разницы и нет, — поправился Картер. — Все это выдумки глупцов. Со мной вы будете жить в роскоши. Я принадлежу к избранному кругу, у меня значительные средства.

— Все это говорят, — равнодушно протянула Мэйзи. — Врут и не краснеют. Вы, конечно, служите в гастрономическом магазине или в конторе букмекера. Зря вы меня дурой считаете.

— Я готов представить любые доказательства, — мягко настаивал Картер. — Я не могу жить без вас, Мэйзи! Я полюбил вас с первого взгляда…

— Все так говорят, — рассмеялась Мэйзи. — Попадись мне человек, которому я понравилась бы с третьего взгляда, я, кажется, бросилась бы ему на шею.

— Перестаньте, Мэйзи, — взмолился Картер. — Выслушайте меня, дорогая! С той минуты, как я

впервые взглянул в ваши глаза, я почувствовал, что вы для меня единственная на свете.

— И все-то вы врете, — усмехнулась Мэйзи. — Скольким девушкам вы уже говорили это?

Но Картер не сдавался. В конце концов ему удалось устеречь пугливую, неуловимую душу продавщицы, прячущуюся где-то в глубине этого мраморного тела. Слова его нашли дорогу к ее сердцу, самая пустота которого служила ему надежной броней. Впервые Мэйзи смотрела на него зрячими глазами. И жаркий румянец залил ее холодные щеки. Замирая от страха, сложила Психея свои трепетные крылышки, готовясь опуститься на цветок любви. Впервые забрезжила для нее где-то там, за пределами ее прилавка, какая-то новая жизнь и ее неведомые возможности. Картер почувствовал перемену и устремился на штурм.

— Выходите за меня замуж, — шептал он ей, — и мы покинем этот ужасный город и уедем в другие, прекрасные края. Мы забудем о всяких делах и работе, и жизнь станет для нас нескончаемым праздником. Я знаю, куда увезу вас. Я уже не раз там бывал. Представьте себе чудесную страну, где царит вечное лето, где волны рокочут, разбиваясь о живописные берега, и люди свободны и счастливы, как дети. Мы уплывем к

этим далеким берегам и будем там жить, сколько вам захочется. Я увезу вас в город, где множество великолепных старинных дворцов и башен и повсюду изумительные картины и статуи. Там вместо улиц каналы, и люди разъезжают…

— Знаю! — сказала Мэйзи, резко поднимая голову. — В гондолах.

— Верно! — улыбнулся Картер.

— Так я и думала!.. — сказала Мэйзи.

— А потом, — продолжал Картер, — мы станем переезжать с места на место и увидим, что только душа захочет. Из Европы мы уедем в Индию и познакомимся с ее древними городами. Мы будем путешествовать на слонах, побываем в сказочных храмах индусов и браминов. Увидим карликовые сады японцев, караваны верблюдов и состязания колесниц в Персии — все, все, что стоит повидать в чужих странах. Разве это не восхитительно, Мэйзи?

Но Мэйзи решительно поднялась со скамьи.

— Пора домой, — сказала она холодно. — Время позднее.

Картер не стал с ней спорить. Ему было уже знакомо непостоянство настроений этой причудницы, этой мимозы, — никакие возражения тут не помогут. И все же он торжествовал победу. Се-

годня он держал — пусть всего лишь мгновение, пусть на тонкой шелковинке — душу своей Психеи, и в нем ожила надежда. На миг она сложила крылышки, и ее прохладные пальчики сжали его руку.

Наутро в Магазине подружка Мэйзи, Лулу подкараулила ее за прилавком.

— Ну, как у тебя дела с твоим шикарным другом? — спросила она.

— С этим типом? — небрежно проронила Мэйзи, поправляя пышные локоны. — Я дала ему отставку. Представь, Лулу что этот субъект забрал себе в голову…

— Устроить тебя на сцену? — задыхаясь, спросила Лулу.

— Как же, держи карман, от такого дождешься. Он предложил мне выйти за него замуж и, вместо свадебного путешествия, прокатиться с ним на Кони-Айленд.

Как прозрел Доггерти

Перевод И. Гуровой

«Большой Джим» Доггерти был, что называется, свойский парень. То есть он принадлежал к племени свойских парней. На Манхэттене имеется и такое племя. Это карибы Севера — сильные, хитрые, самоуверенные, сплоченные, они честно блюдут законы своего клана и питают снисходительное презрение к соседним племенам, которые танцуют под дудку Общества. Разумеется, я говорю о титулованной аристократии мира свойских парней, а не о тех, к кому приложим эпитет, почерпнутый из того отделения кошелька, где хранится мелочь. Ведь ни один монетный двор еще не чеканил разменной монеты, которая подошла бы для определения «Большого Джима» Доггерти.

Обитают свойские парни в вестибюлях и у наружных углов отелей определенного типа, а также по соответствующим ресторанам и кафе. Среди них есть мужчины различного роста и телосложения — от самых щуплых до самых дюжих, но всем им присущи следующие характерные

признаки: чисто выбритые щеки и подбородок, отливающие синевой, а кроме того (в холодное время года), — темное пальто с воротником из черного бархата.

Семейная жизнь свойских парней покрыта мраком неизвестности. По слухам, Амур и Гименей порой вмешиваются в игру, и дама червей бывает бита. Смелые теоретики утверждают (а не просто предполагают), что свойский парень не так уж редко осложняет свое существование супругой и даже обременяется потомством. Иногда он делает ставку на политику, и тогда на пикнике с печеной рыбой вдруг обнаруживается спутница его жизни и отпрыски — мал мала меньше, в глянцевых шляпах и с песочными ведерками.

Чаще же всего свойский парень исповедует в таких вопросах восточную философию и считает, что женщины его дома не должны слишком бросаться в глаза. Пусть себе дожидаются его за гаремной решеткой или за пожарной лестницей с полочками для цветочных горшков. Там эти дамы, без сомнения, ступают по персидским коврам, услаждают свой слух трелями бюль-бюля, развлекаются игрой на цитре и питаются халвой и шербетом. Но вдали от домашнего очага свойский парень существует сам по себе. В отличие

от мужчин прочих манхэттенских племен он в свободные часы не превращается в эскорт при пышных кружевах и высоких каблучках, которые с таким упоением отстукивают счастливые секунды вечернего парада. Он торчит на углах в обществе себе подобных и на своем карибском наречии отпускает замечания по адресу движущейся мимо процессии.

У «Большого Джима» Доггерти была жена, но он не носил на лацкане пиджака пуговичку с ее портретом. Дом, где он проживал, втиснутый между другими домами из бурого камня и с железными решетками, находился на одной из тех улочек западной части Нью-Йорка, которые удивительно напоминают кегельбан, недавно раскопанный в Помпее.

В этом жилище мистер Доггерти отбывал каждый вечер, когда слишком поздний час уже не оставлял свойским парням надежды на новые развлечения. К этому времени пленница моногамного гарема успевала унестись в край сновидений, ибо бюль-бюль умолкал и пора суток благоприятствовала отходу ко сну.

«Большой Джим» неизменно поднимался с постели точно в двенадцать часов (дня), завтракал и отправлялся на место встреч с «ребятами».

У него в мозгу постоянно тлело смутное сознание, что где-то рядом существует некая миссис Доггерти. Если бы ему заявили, что тихая, аккуратно одетая миловидная женщина, сидящая напротив него за семейным столом, — его жена, он не стал бы спорить. Более того: он даже помнил, что они состоят в браке уже почти четыре года. Она нередко рассказывала ему о ловких проделках Крошки (канарейки) и о блондинке, которая обитала в окне через улицу.

«Большой Джим» Доггерти иной раз даже слушал ее. Он знал, что к семи часам она приготовит ему вкусный обед. Время от времени она ходила на утренние спектакли, и к тому же у нее был граммофон с шестью дюжинами пластинок. А как-то раз, когда шальной ветер занес ее дядю Эймоса из деревенской глуши в Нью-Йорк, она сходила с ним в оперетку. Какие еще развлечения нужны женщине?

В один прекрасный день мистер Доггерти доел завтрак, надел шляпу и успел дойти почти до самой двери. Но когда он взялся за ручку, до него донесся голос жены.

— Джим, — сказала она твердо, — своди меня сегодня вечером пообедать где-нибудь в ресторане. Ты уже три года со мной никуда не ходил.

«Большой Джим» даже растерялся. Прежде она ни о чем подобном не просила. Это попахивало чем-то совсем новым. Однако он был не только свойским парнем, но и широкой душой.

— Ладно, — сказал он. — К семи будь готова. И вот что, Дел: чтоб без этих ваших «погоди две минутки, пока я два часа буду пудриться».

— Я буду готова, — спокойно ответила его жена.

И в семь часов она сошла по каменным ступенькам в помпейский кегельбан бок о бок с «Большим Джимом» Доггерти. На ней было платье из материи, сотканной самыми искусными пауками, а цвет его был позаимствован у вечернего неба. Ее плечи окутывала легкая накидка со множеством восхитительно бесполезных капюшончиков и очаровательно ненужных лент. Как гласит поговорка, птицу красят перья, и да будет стыдно тем мужчинам, которые скупятся жертвовать свой заработок на поощрение шляпной промышленности.

«Большой Джим» Доггерти испытывал неловкость и смущение. Рядом с ним шла незнакомка. Он вспоминал серенькое оперение, которое эта райская птица носила в своей клетке, и не узнавал ее. Чем-то она напоминала Делию Каллен, на

которой он женился четыре года назад. Он шагал справа от нее стеснительно и неуклюже.

— После обеда я провожу тебя домой, Дел, — объявил мистер Доггерти, — а сам еще успею к Зельцеру посидеть с ребятами. Заказывать можешь что хочешь. Анаконда вчера не подвела, ну и ты себя не ограничивай.

Свой непривычный выход в свет с женой мистер Доггерти думал сделать как можно незаметнее. В кодексе карибов женолюбие числилось среди неизвинительных слабостей. Если у кого-нибудь из его друзей по ипподрому, бильярдному сукну и рингу имелись жены, жаловаться на это в обществе они себе не позволяли. На улицах, пересекающих блистательный Бродвей, хватало скромных ресторанчиков с табльдотом, и в одно из таких мест он намеревался препроводить Делию, дабы светоч его домашней жизни и впредь оставался под спудом.

Однако по дороге мистер Доггерти изменил это решение. Искоса поглядывая на свою прелестную спутницу, он пришел к выводу, что она нигде за флагом не останется, и замыслил провести свою супругу мимо кафе Зельцера, где в этот час собирались его соплеменники, дабы взыскательным взглядом созерцать вечернюю процессию. А обе-

дать он поведет ее к Хугли — в самый шикарный ресторан, какой только есть в городе.

Чисто выбритый цвет племени уже занял наблюдательные посты в заведении Зельцера. Они уставились на мистера Доггерти и его обновленную Делию, словно громом пораженные, а затем каждый поспешно сдернул шляпу с головы — движение, столь же для них непривычное, как и зрелище, которое явил их взорам «Большой Джим». На невозмутимом лице этого джентльмена чуть забрезжила торжествующая улыбка и сразу исчезла, оставив его столь же непроницаемым, каким оно бывало, когда он прикупал к трем тузам четвертого.

У Хугли царило оживление. Сияли электрические огни — как, впрочем, им и положено сиять. А скатерти, салфетки, хрусталь и цветы столь же добросовестно исполняли возложенную на них миссию чаровать взгляд. Посетители были многочисленны, элегантны и веселы.

Официант — отнюдь не обязательно угодливый — подвел «Большого Джима» Доггерти и его жену к свободному столику.

— Ставь в меню, Дел, хоть на все номера подряд, — заявил «Большой Джим». — Нынче ты пасешься на воле. Сдается мне, слишком уж долго

мы жевали одно домашнее сено.

Жена «Большого Джима» заказала обед. Муж поглядел на нее не без уважения — она упомянула трюфели, а он даже не подозревал, что ей известно такое слово. Вино она выбрала именно той марки, какой следовало, и муж поглядел на нее с восхищением.

Она вся светилась той невинной радостью, которая охватывает женщину, когда ей представляется возможность блеснуть светскими талантами. Она весело и оживленно болтала с ним о сотнях самых разных вещей, и ее щеки, обесцвеченные жизнью в четырех стенах, вскоре покрылись нежным румянцем. «Большой Джим» обвел взглядом зал и убедился, что из всех сидящих здесь дам она самая обворожительная. Он подумал о том, как она три года жила, словно замурованная, и ни разу даже не пожаловалась. И его обжег стыд, ибо в его кредо входило и понятие о честной игре.

Но когда достопочтенный Патрик Корриген, первый человек в округе Доггерти и его приятель, увидел их и сразу направился к их столику, события пошли карьером. Достопочтенный Патрик был весьма галантным человеком и на словах и

на деле. А что до Бларнейской скалы[144], то сразу становилось ясно, что он в свое время не обошел ее вниманием. И вздумай Бларнейская скала подать на него в суд, с достопочтенного Патрика, несомненно, взыскали бы немалую сумму за нарушение брачного обязательства.

— Джимми, старина! — воскликнул он, похлопал Доггерти по спине и засиял на Делию, как полуденное солнце.

— Достопочтенный мистер Корриген — миссис Доггерти, — познакомил их «Большой Джим».

Достопочтенный Патрик преобразился в фонтан забавных историй и цветистых комплиментов. Официанту пришлось приставить к их столику третий стул, и рюмки были вновь наполнены.

— Ну, плут, ну, эгоист! — восклицал достопочтенный Патрик, лукаво грозя пальцем «Большому Джиму». — Прятать от нас миссис Доггерти!

А потом «Большой Джим» Доггерти, человек не слишком говорливый, сидел молча и наблюдал, как его жена, три года изо дня в день обедавшая дома, расцветает, словно волшебный цветок.

---

[144] Примечания: 144

Кусок скалы, вмурованный в стену замка Бларней в графстве Корк (Ирландия). По преданию, человек, поцеловавший её, приобретал дар вкрадчивого красноречия.

Находчивая, остроумная, очаровательная, она изящно и легко парировала на ристалище светской беседы умелые выпады достопочтенного Патрика, захватывая его врасплох, повергая в прах и восхищая. Она раскрыла все свои давно уже сложенные лепестки, и зал вокруг нее стал садом. Оба они старались втянуть в разговор и «Большого Джима», но его словарь был слишком скуден.

Затем в ресторан ввалилась компания местных политических воротил и свойских парней. Увидев «Большого Джима» в обществе достопочтенного Патрика, они направились к ним и были представлены миссис Доггерти. Пять минут спустя она уже превратилась в хозяйку светского салона. Вокруг нее, рассыпаясь в любезностях, толпилось полдюжины мужчин, и шестеро стали ее рабами. «Большой Джим» сидел насупившись и твердил про себя: «Три года! Три года!»

Обед подошел к концу, и достопочтенный Патрик протянул руку за накидкой миссис Доггерти. Но тут требовались не слова, а действия, и накидку схватила могучая рука Доггерти, на две секунды обойдя соперницу.

У дверей, когда они начали прощаться, достопочтенный Патрик изо всех сил хлопнул Доггерти

между лопаток.

— Джимми, дружочек! — сообщил он оглушительным шепотом. — Супруга у тебя — брильянт чистейшей воды. Везет же некоторым!

«Большой Джим» и его жена возвращались домой. Казалось, яркие огни и сверкающие витрины доставляют ей не меньше удовольствия, чем ухаживания мужчин в ресторане. Проходя мимо кафе Зельцера, они услышали внутри гул многих голосов. «Ребята» угощали друг друга и со смаком вспоминали прошлые подвиги.

У дверей их дома Делия остановилась. В ее глазах сияла тихая радость. Конечно, ей и дальше придется коротать вечера одной, без Джима, но память об этом празднике будет озарять их еще очень долго.

— Спасибо, Джим. Мне было очень весело, — благодарно сказала она. — А теперь ты, конечно, пойдешь к Зельцеру?

— А ну его, Зельцера, к чертовой бабушке! — с чувством произнес «Большой Джим». — И Пат Корриген пусть проваливает туда же! Он что, думает, у меня своих глаз нет?

И дверь затворилась за ними обоими.

Персики

Перевод Е. Калашниковой

Медовый месяц был в разгаре. Квартирку украшал новый ковер самого яркого красного цвета, портьеры с фестонами и полдюжины глиняных пивных кружек с оловянными крышками, расставленные в столовой на выступе деревянной панели. Молодым все еще казалось, что они парят в небесах. Ни он, ни она никогда не видали, «как примула желтеет в траве у ручейка»; но если бы подобное зрелище представилось их глазам в указанный период времени, они, бесспорно, усмотрели бы в нем — ну, все то, что, по мнению поэта, полагается усмотреть в цветущей примуле настоящему человеку.

Новобрачная сидела в качалке, а ее ноги опирались на земной шар. Она утопала в розовых мечтах и в шелку того же оттенка. Ее занимала мысль о том, что говорят по поводу ее свадьбы с Малышом Мак-Гарри в Гренландии, Белуджистане и на острове Тасмания. Впрочем, особого значения это не имело. От Лондона до созвездия Южного Креста не нашлось бы боксера полу-

среднего веса, способного продержаться четыре часа — да что часа! четыре раунда — против Малыша Мак-Гарри. И вот уже три недели, как он принадлежит ей; и достаточно прикосновения ее мизинца, чтобы заставить покачнуться того, против кого бессильны кулаки прославленных чемпионов ринга.

Когда любим мы сами, слово «любовь» — синоним самопожертвования и отречения. Когда любят соседи, живущие за стеной, это слово означает самомнение и нахальство.

Новобрачная скрестила свои ножки в туфельках и задумчиво поглядела на потолок, расписанный купидонами.

— Милый, — произнесла она с видом Клеопатры, высказывающей Антонию пожелание, чтобы Рим был доставлен ей на дом в оригинальной упаковке. — Милый, я, пожалуй, съела бы персик.

Малыш Мак-Гарри встал и надел пальто и шляпу. Он был серьезен, строен, сентиментален и сметлив.

— Ну что ж, — сказал он так хладнокровно, как будто речь шла всего лишь о подписании условий матча с чемпионом Англии. — Сейчас пойду принесу.

— Только ты недолго, — сказала новобрач-

ная. — А то я соскучусь без своего гадкого мальчика. И смотри, выбери хороший, спелый.

После длительного прощанья, не менее бурного, чем если бы Малышу предстояло чреватое опасностями путешествие в дальние страны, он вышел на улицу.

Тут он призадумался, и не без оснований, так как дело происходило ранней весной и казалось маловероятным, чтобы где-нибудь в промозглой сырости улиц и в холоде лавок удалось обрести вожделенный сладостный дар золотистой зрелости лета.

Дойдя до угла, где помещалась палатка итальянца, торгующего фруктами, он остановился и окинул презрительным взглядом горы завернутых в папиросную бумагу апельсинов, глянцевитых, румяных яблок и бледных, истосковавшихся по солнцу бананов.

— Персики есть? — обратился он к соотечественнику Данте, влюбленнейшего из влюбленных.

— Нет персиков, синьор, — вздохнул торговец. — Будут разве только через месяц. Сейчас не сезон. Вот апельсины есть хорошие. Возьмете апельсины?

Малыш не удостоил его ответом и продолжал

поиски. Он направился к своему давнишнему другу и поклоннику, Джастесу О'Кэллэхэну, содержателю предприятия, которое соединяло в себе дешевый ресторанчик, ночное кафе и кегельбан. О'Кэллэхэн оказался на месте. Он расхаживал по ресторану и наводил порядок.

— Срочное дело, Кэл, — сказал ему Малыш. — Моей старушке взбрело на ум полакомиться персиком. Так что если у тебя есть хоть один персик, давай его скорей сюда. А если они у тебя водятся во множественном числе, давай несколько — пригодятся.

— Весь мой дом к твоим услугам, — отвечал О'Кэллэхэн. — Но только персиков ты в нем не найдешь. Сейчас не сезон. Даже на Бродвее и то, пожалуй, не достать персиков в эту пору года. Жаль мне тебя. Ведь если у женщины на что-нибудь разгорелся аппетит, так ей подавай именно это, а не другое. Да и час поздний, все лучшие фруктовые магазины уже закрыты. Но, может быть, твоя хозяйка помирится на апельсине? Я как раз получил ящик отборных апельсинов, так что если…

— Нет, Кэл, спасибо. По условиям матча требуются персики, и замена не допускается. Пойду искать дальше.

Время близилось к полуночи, когда Малыш вышел на одну из западных авеню. Большинство магазинов уже закрылось, а в тех, которые еще были открыты, его чуть ли не на смех поднимали, как только он заговаривал о персиках.

Но где-то там, за высокими стенами, сидела новобрачная и доверчиво дожидалась заморского гостинца. Так неужели же чемпион в полусреднем весе не раздобудет ей персика? Неужели он не сумеет перешагнуть через преграды сезонов, климатов и календарей, чтобы порадовать свою любимую сочным желтым или розовым плодом?

Впереди показалась освещенная витрина, переливавшаяся всеми красками земного изобилия. Но не успел Малыш заприметить ее, как свет погас. Он помчался во весь дух и настиг фруктовщика в ту минуту, когда тот запирал дверь лавки.

— Персики есть? — спросил он решительно.

— Что вы, сэр! Недели через две-три, не раньше. Сейчас вы их во всем городе не найдете. Если где-нибудь и есть несколько штук, так только тепличные, и то не берусь сказать, где именно. Разве что в одном из самых дорогих отелей, где люди не знают, куда девать деньги. А вот, если угодно, могу предложить превосходные апельсины, только

сегодня пароходом доставлена партия.

Дойдя до ближайшего угла, Малыш с минуту постоял в раздумье, потом решительно свернул в темный переулок и направился к дому с зелеными фонарями у крыльца.

— Что, капитан здесь? — спросил он у дежурного полицейского сержанта.

Но в это время сам капитан вынырнул из-за спины дежурного. Он был в штатском и имел вид чрезвычайно занятого человека.

— Здорово, Малыш! — приветствовал он боксера. — А я думал, вы совершаете свадебное путешествие.

— Вчера вернулся. Теперь я вполне оседлый гражданин города Нью-Йорка. Пожалуй, даже займусь муниципальной деятельностью. Скажите-ка мне, капитан, хотели бы вы сегодня ночью накрыть заведение Денвера Дика?

— Хватились! — сказал капитан, покручивая ус. — Денвера прихлопнули еще два месяца назад.

— Правильно, — согласился Малыш. — Два месяца назад Рафферти выкурил его с Сорок третьей улицы. А теперь он обосновался в вашем околотке, и игра у него идет крупней, чем когда-либо. У меня с Денвером свои счеты. Хотите, проведу

вас к нему?

— В моем околотке? — зарычал капитан. — Вы в в этом уверены, Малыш? Если так, сочту за большую услугу с вашей стороны. А вам что, известен пароль? Как мы попадем туда?

— Взломав дверь, — сказал Малыш. — Ее еще не успели оковать железом. Возьмите с собой человек десять. Нет, мне туда вход закрыт. Денвер пытался меня прикончить. Он думает, что это я выдал его в прошлый раз. Но, между прочим, он ошибается. Однако поторопитесь, капитан. Мне нужно пораньше вернуться домой.

И десяти минут не прошло, как капитан и двенадцать его подчиненных, следуя за своим проводником, уже входили в подъезд темного и вполне благопристойного с виду здания, где в дневное время вершили свои дела с десяток солидных фирм.

— Третий этаж, в конце коридора, — негромко сказал Малыш. — Я пойду вперед.

Двое дюжих молодцов, вооруженных топорами, встали у двери, которую он им указал.

— Там как будто все тихо, — с сомнением в голосе произнес капитан. — Вы уверены, что не ошиблись, Малыш?

— Ломайте дверь, — вместо ответа скомандо-

вал Малыш. — Если я ошибся, я отвечаю.

Топоры с треском врезались в незащищенную дверь. Через проломы хлынул яркий свет. Дверь рухнула, и участники облавы, с револьверами наготове, ворвались в помещение.

Просторная зала была обставлена с крикливой роскошью, отвечавшей вкусам хозяина, уроженца Запада. За несколькими столами шла игра. С полсотни завсегдатаев, находившихся в зале, бросились к выходу, желая любой ценой ускользнуть из рук полиции. Заработали полицейские дубинки. Однако большинству игроков удалось уйти.

Случилось так, что в эту ночь Денвер Дик удостоил притон своим личным присутствием. Он и кинулся первым на непрошеных гостей, рассчитывая, что численный перевес позволит сразу смять участников облавы. Но с той минуты, как он увидел среди них Малыша, он уже не думал больше ни о ком и ни о чем. Большой и грузный, как настоящий тяжеловес, он с восторгом навалился на своего более хрупкого врага, и оба, сцепившись, покатились по лестнице вниз. Только на площадке второго этажа, когда они, наконец, расцепились и встали на ноги, Малыш смог пустить в ход свое профессиональное мастерство, остававшееся без применения, пока

его стискивал в яростном объятии любитель сильных ощущений весом в двести фунтов, которому грозила потеря имущества стоимостью в двадцать тысяч долларов.

Уложив своего противника, Малыш бросился наверх и, пробежав через игорную залу, очутился в комнате поменьше, отделенной от залы аркой.

Здесь стоял длинный стол, уставленный ценным фарфором и серебром и ломившийся от дорогих и изысканных яств, к которым, как принято считать, питают пристрастие рыцари удачи. В убранстве стола тоже сказывался широкий размах и экзотические вкусы джентльмена, приходившегося тезкой столице одного из наших штатов[145].

Из-под свисающей до полу белоснежной скатерти торчал лакированный штиблет сорок пятого размера. Малыш ухватился за него и извлек на свет Божий негра-официанта во фраке и белом галстуке.

— Встань! — скомандовал Малыш. — Ты состоишь при этой кормушке?

— Да, сэр, я состоял. Неужели нас опять сцапали, сэр?

---

[145] Примечания: 145
Денвер — столица штата Колорадо.

— Похоже на то. Теперь отвечай: есть у тебя тут персики? Если нет, то, значит, я получил нокаут.

— У меня было три дюжины персиков, сэр, когда началась игра, но боюсь, что джентльмены съели все до одного. Может быть, вам угодно скушать хороший, сочный апельсин, сэр?

— Переверни все вверх дном, — строго приказал Малыш, — но чтобы у меня были персики. И пошевеливайся, не то дело кончится плохо. Если еще кто-нибудь сегодня заговорит со мной об апельсинах, я из него дух вышибу.

Тщательный обыск на столе, отягощенном дорогостоящими щедротами Денвера Дика, помог обнаружить один-единственный персик, случайно пощаженный эпикурейскими челюстями любителей азарта. Он тут же был водворен в карман Малыша, и наш неутомимый фуражир пустился со своей добычей в обратный путь. Выйдя на улицу, он даже не взглянул в ту сторону, где люди капитана вталкивали своих пленников в полицейский фургон, и быстро зашагал по направлению к дому.

Легко было теперь у него на душе. Так рыцари Круглого Стола возвращались в Камелот, испытав много опасностей и совершив немало подвигов во славу своих прекрасных дам. Подобно им, Ма-

лыш получил приказание от своей дамы и сумел его выполнить. Правда, дело касалось всего только персика, но разве не подвигом было раздобыть среди ночи этот персик в городе, еще скованном февральскими снегами? Она попросила персик; она была его женой; и вот персик лежит у него в кармане, согретый ладонью, которою он придерживал его из страха, как бы не выронить и не потерять.

По дороге Малыш зашел в ночную аптеку и сказал хозяину, вопросительно уставившемуся на него сквозь очки:

— Послушайте, любезнейший, я хочу, чтобы вы проверили мои ребра, все ли они целы. У меня вышла маленькая размолвка с приятелем, и мне пришлось сосчитать ступени на одном или двух этажах.

Аптекарь внимательно осмотрел его.

— Ребра все целы, — гласило вынесенное им заключение. — Но вот здесь имеется кровоподтек, судя по которому можно предположить, что вы свалились с небоскреба «Утюг», и не один раз, а по меньшей мере дважды.

— Не имеет значения, — сказал Малыш. — Я только попрошу у вас платяную щетку.

В уютном свете лампы под розовым абажуром

сидела новобрачная и ждала. Нет, не перевелись еще чудеса на белом свете. Ведь вот одно лишь словечко о том, что ей чего-то хочется — пусть это будет самый пустяк: цветочек, гранат или — ах да, персик, — и ее супруг отважно пускается в ночь, в широкий мир, который не в силах против него устоять, и ее желание исполняется.

И в самом деле — вот он склонился над ее креслом и вкладывает ей в руку персик.

— Гадкий мальчик! — влюбленно проворковала она. — Разве я просила персик? Я бы гораздо охотнее съела апельсин.

Благословенна будь, новобрачная!

Предвестник весны

Перевод М. Лорие

Задолго до того, как тупой деревенский житель почувствует приближение весны, горожанин уже знает, что зеленая богиня вернулась в свое царство. Окруженный каменными стенами, он садится завтракать, развертывает утреннюю газету и видит, что пресса обогнала календарь. Ибо раньше вестниками весны были наши чувства, теперь же их заменило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Пение первого реполова в Хакенсаке; движение сока в беннингтонских кленах; пушистые барашки на ивах, окаймляющих Главную улицу в Сиракузах; первый ураган в Сент-Луисе, лебединая песня лонг-айлендской устрицы; пессимистический прогноз насчет урожая персиков в Помптоне (штат Нью-Джерси); очередной визит ручного дикого гуся со сломанной лапкой к пруду близ станции Билджуотер; разоблачение депутатом конгресса Джинксом коварной попытки Аптечного треста вздуть цены на хинин; первый разбитый молнией тополь, под которым, разуме-

ется, укрывались экскурсанты, чудом оставшиеся в живых; первая подвижка льда на реке Аллегейни; фиалка среди мха, обнаруженная нашим корреспондентом в Раунд-Корнере, — вот признаки пробуждения природы, которые телеграф доставляет в умудренный познанием город, когда фермер еще не видит на своих унылых полях ничего, кроме снега.

Но все это признаки внешние. Настоящий предвестник весны — наше сердце. Лишь когда Дафнис начинает искать свою Хлою, а Майк — свою Мэгги, — лишь тогда можно считать, что весна наступила и что газетное сообщение о гремучей змее в пять футов длиною, убитой на выгоне фермера Петтигрю, не является вымыслом.

Первая фиалка еще не распустилась, когда мистер Питерс, мистер Рэгздейл и мистер Кид, сидя на скамейке в Юнион-сквере, вступили в заговор. Мистер Питерс был д'Артаньяном в этом трио бездельников. Он являл собою самое грязное, самое ленивое, самое неприглядное серое пятно на фоне зеленых садовых скамеек. Но в ту минуту он играл первую роль.

У мистера Питерса была жена. До сих пор это обстоятельство не влияло на его отношения с

Рэгзи и Кидом. Но в этот день оно придавало ему особый вес. Друзья мистера Питерса, избежавшие брачных уз, не раз подсмеивались над тем, что он пустился в это опасное плавание. Но сейчас они были, наконец, вынуждены признать, что либо он был наделен даром предвидения, либо ему исключительно повезло.

Дело в том, что у миссис Питерс был доллар. Целый доллар, настоящий, имеющий законное хождение, годный для уплаты пошлин, налогов и страховых и прочих взносов. Как завладеть этим долларом — вот в чем состояла задача, которую обсуждали сейчас три тертых мушкетера.

— А откуда ты знаешь, что именно доллар? — спросил Рэгзи, в котором колоссальность этой суммы породила скептические настроения.

— Угольщик видел, — сказал мистер Питерс. — Она вчера ходила куда-то стирать. А на завтрак что мне дала — горбушку хлеба да чашку кофе, а у самой доллар в кармане.

— Подлость какая! — сказал Рэгзи.

— Схватить ее да заткнуть ей рот полотенцем, а монету забрать, — мрачно предложил Кид. — Вы что, бабы испугались, а?

— Она, чего доброго, заорет, так нас всех сцапают, — возразил Рэгзи. — Это последнее дело

— колотить женщину, когда кругом полон дом народу.

— Джентльмены, — строго заметил мистер Питерс сквозь рыжую щетину, покрывавшую его губы и подбородок, — не забывайте, что вы говорите о моей жене. Всякий, кто хоть пальцем тронет женщину, если только не…

— Магайр вывесил плакат, что есть пиво, — ехидно сказал Рэгзи. — Будь у нас доллар, мы бы могли…

— Ладно, — сказал мистер Питерс, облизываясь. — Так или иначе, а достать этот доллар нужно. Я как муж имею на него законное право. Предоставьте это мне. Я схожу домой и добуду его. А вы подождите меня здесь.

— Я-то знаю, им только дай разок под микитки, живо скажут, где у них деньги спрятаны, — сказал Кид.

— Порядочный человек не станет бить женщину, — сентенциозно произнес Питерс. — Так, придушить легонечко — это можно, и следов не остается. Ну, ребята, ждите меня. Доллар я сейчас принесу.

В верхнем этаже большого дома между Второй авеню и рекой Питерсы занимали комнату, выходившую во двор, и такую темную, что хозяин

краснел, взимая за нее плату. Миссис Питерс иногда работала — ходила по людям стирать и мыть полы. Мистер Питерс презирал такие низменные занятия — за последние пять лет он не заработал ни цента. И все-таки они держались друг за друга, крепко связанные ненавистью и нуждой. Они были рабами привычки — той силы, что не дает земле разлететься на куски, хотя, впрочем, существует еще какая-то дурацкая теория притяжения.

Миссис Питерс пристроила свое двухсотфунтовое тело на том из двух стульев, что покрепче, и, не мигая, смотрела через единственное окно на кирпичную стену соседнего дома. Глаза у нее были красные и мокрые. Всю обстановку можно было с легкостью увезти на ручной тележке, но ни один тележечник не польстился бы на нее.

Дверь отворилась, и вошел мистер Питерс. Его фокстерьерьи глазки алчно поблескивали. Миссис Питерс сразу увидела это, но ошибочно истолковала жажду как голод.

— Никакой еды раньше вечера не получишь, — сказала она, снова поворачиваясь к окну. — И убери отсюда свою несытую морду.

Мистер Питерс прикинул на глаз разделявшее их расстояние. Если не дать ей опомниться,

можно, пожалуй, наскочить на нее, повалить наземь и применить к ней ту самую душительную тактику, которую он только что излагал своим приятелям. Положим, это было чистое хвастовство: он еще ни разу не отважился прибегнуть к насилию; но мысль о вкусном холодном пиве придала ему храбрости, и он готов был опровергнуть свою собственную теорию о том, как подобает джентльмену обращаться с дамой. Однако он, как все бездельники, предпочитал более художественные и менее утомительные методы и пустил в ход дипломатию, выбрав для начала крупный козырь — позицию человека, не сомневающегося в успехе.

— У тебя есть доллар, — сказал он надменно и внушительно, как говорят, закуривая дорогую сигару (если таковая имеется).

— Есть, — сказала миссис Питерс и, достав из-за пазухи хрустящую бумажку, вызывающе помахала ею.

— Мне предложили работу в… чайном магазине, — сказал мистер Питерс. — Завтра начинать. Но мне придется купить пару…

— Врешь, — сказала миссис Питерс, водворяя доллар обратно, — ни в чайный магазин, ни в столовую, ни в лавку старого платья тебя не возьмут.

Я себе всю кожу на руках содрала, пока стирала фуфайки да комбинезоны, чтобы заработать этот доллар. Думаешь, для того я мучилась, чтобы ты его пропил? Дудки. Ты про эти деньги и думать забудь.

Было совершенно очевидно, что талейрановская поза цели не достигла. Но дипломатия изобретательна. Артистический темперамент мистера Питерса приподнял его за ушки башмаков и перенес на новую позицию. В глазах его появилось выражение безнадежной тоски.

— Клара, — сказал он глухим голосом, — продолжать борьбу бесполезно. Ты никогда меня не понимала. Видит Бог, я всеми силами старался удержаться на поверхности, но волны бедствий…

— Насчет радуги надежд и островов блаженства можешь не разоряться, — сказала миссис Питерс со вздохом. — Слышала я все это, довольно. Вон там, на полке, за жестянкой от кофе, стоит пузырек с карболкой. Пей на здоровье.

Мистер Питерс задумался. Как же быть дальше? Испытанные приемы не помогли. Два тертых мушкетера ждут его у развалин замка, то бишь на садовой скамейке с кривыми чугунными ножками. На карту поставлена его честь. Он взял-

ся один пойти на штурм и добыть сокровище, которое даст им отраду и забвение печалей. И между ним и желанным долларом стоит только его жена, та самая девочка, которую он когда-то… Ага! не попытаться ли и сейчас? Когда-то он умел ласковыми словами добиться от нее чего угодно. Попытаться? Столько лет прошло с тех пор! Жестокая нужда и взаимная ненависть убили все это. Но Рэгзи и Кид ждут обещанного доллара!

Мистер Питерс окинул жену внимательным взглядом. Ее расползшаяся фигура не умещалась на стуле. Она, не отрываясь, как завороженная, смотрела в окно. По глазам ее было видно, что она недавно плакала.

— Не знаю, — сказал мистер Питерс вполголоса, — может, ничего и не выйдет.

В открытое окно были видны кирпичные стены и серые, голые задние дворы. Если бы не теплый воздух, входивший с улицы, можно было бы предположить, что город еще скован зимой, так неприветливо он встречал осаждавшую его весну. Но весна приходит не под гром орудий. Весна — сапер и подрывник, и капитуляция неизбежна.

«Попытаюсь», — сказал себе мистер Питерс и скорчил гримасу.

Он подошел к жене и обнял ее за плечи.

— Клара, милая, — сказал он тоном, который не обманул бы даже тюленя, — зачем мы все ссоримся? Ведь ты же моя душечка-пампушечка.

Стыдно, мистер Питерс! Черным крестом отметит вас Купидон в своей главной книге. Вам предъявляется тяжкое обвинение: шантаж и подделка священнейших слов любви.

Но чудо весны совершилось. В голую комнату над голым двором между черных стен проник Предвестник. Это было нелепо, но… Да, это ловушка, и вы, сударыня, и вы, сударь, и все мы в нее попадаемся.

Красная, толстая, плачущая, как Ниобея или Ниагара, миссис Питерс бросилась на шею своему повелителю и залила его слезами. Мистер Питерс был бы рад извлечь доллар из семейного сейфа, но его руки были плотно прижаты к бокам.

— Ты меня любишь, Джеймс? — спросила миссис Питерс.

— Безумно, — сказал Джеймс, — но…

— Ты болен! — воскликнула миссис Питерс. — Почему у тебя такой усталый вид?

— Я немного ослабел, — сказал мистер Питерс. — Я…

— Подожди, я знаю, что тебе нужно. Подожди,

Джеймс, я сейчас вернусь.

Обняв его на прощанье так крепко, что он вспомнил «Непобедимого турка», она выбежала из комнаты и загромыхала вниз по лестнице.

Мистер Питерс засунул большие пальцы за подтяжки.

— Отлично, — сообщил он потолку. — Дело на мази. Я и не знал, что мою старуху еще можно поддеть на всякие эти амуры. Да-с, чем я не Клод Мельнот[146] из Ист-Сайда? А? Пари держу, что доллар мой. Интересно, куда это она пошла. Небось на второй этаж, рассказать миссис Мэлдун, что мы помирились. Это надо запомнить. Лаской действовать! А Рэгзи говорил — под микитки!

Миссис Питерс вернулась с бутылкой настойки сарсапариллы.

— Вот хорошо, что у меня был этот доллар, — сказала она. — Ты совсем исхудал, мой голубчик.

Мистер Питерс дал влить себе в рот столовую ложку настойки. Потом миссис Питерс села к нему на колени и прошептала:

— Назови меня еще раз душечкой-пампушечкой, Джеймс.

Он сидел неподвижно, придавленный к стулу

---

[146] Примечания: 146

Клод Мельнот — романтический персонаж пьесы Бульвера-Литтона «Дама из Лиона».

новым воплощением богини весны.

Весна наступила.

В Юнион-сквере мистер Рэгздейл и мистер Кид, изнывая от жажды, ерзали на скамейке в ожидании д'Артаньяна с долларом.

«Лучше бы я сразу схватил ее за горло», — думал мистер Питерс.

Пока ждёт автомобиль

Перевод Н. Дехтеревой

Как только начало смеркаться, в этот тихий уголок тихого маленького парка опять пришла девушка в сером платье. Она села на скамью и открыла книгу, так как еще с полчаса можно было читать при дневном свете.

Повторяем: она была в простом сером платье — простом ровно настолько, чтобы не бросалась в глаза безупречность его покроя и стиля. Негустая вуаль спускалась с шляпки в виде тюрбана на лицо, сиявшее спокойной, строгой красотой. Девушка приходила сюда в это же самое время и вчера и позавчера, и был некто, кто знал об этом.

Молодой человек, знавший об этом, бродил неподалеку, возлагая жертвы на алтарь Случая, в надежде на милость этого великого идола. Его благочестие было вознаграждено, — девушка перевернула страницу, книга выскользнула у нее из рук и упала, отлетев от скамьи на целых два шага.

Не теряя ни секунды, молодой человек алчно ринулся к яркому томику и подал его девушке,

строго придерживаясь того стиля, который укоренился в наших парках и других общественных местах и представляет собою смесь галантности с надеждой, умеряемых почтением к постовому полисмену на углу. Приятным голосом он рискнул отпустить незначительное замечание относительно погоды — обычная вступительная тема, ответственная за многие несчастья на земле, — и замер на месте, ожидая своей участи.

Девушка не спеша окинула взглядом его скромный аккуратный костюм и лицо, не отличавшееся особой выразительностью.

— Можете сесть, если хотите, — сказала она глубоким, неторопливым контральто. — Право, мне даже хочется, чтобы вы сели. Все равно уже темно и читать трудно. Я предпочитаю поболтать.

Раб Случая с готовностью опустился на скамью.

— Известно ли вам, — начал он, изрекая формулу, которой обычно открывают митинг ораторы в парке, — что вы самая что ни на есть потрясающая девушка, какую я когда-либо видел? Я вчера не спускал с вас глаз. Или вы, деточка, даже не заметили, что кое-кто совсем одурел от ваших прелестных глазенок?

— Кто бы ни были вы, — произнесла девушка

ледяным тоном, — прошу не забывать, что я — леди. Я прощаю вам слова, с которыми вы только что обратились ко мне, — заблуждение ваше, несомненно, вполне естественно для человека вашего круга. Я предложила вам сесть; если мое приглашение позволяет вам называть меня «деточкой», я беру его назад.

— Ради бога, простите, — взмолился молодой человек. Самодовольство, написанное на его лице, сменилось выражением смирения и раскаяния. — Я ошибся; понимаете, я хочу сказать, что обычно девушки в парке… вы этого, конечно, не знаете, но…

— Оставим эту тему. Я, конечно, это знаю. Лучше расскажите мне обо всех этих людях, которые проходят мимо нас, каждый своим путем. Куда идут они? Почему так спешат? Счастливы ли они?

Молодой человек мгновенно утратил игривый вид. Он ответил не сразу, — трудно было понять, какая, собственно, роль ему предназначена.

— Да, очень интересно наблюдать за ними, — промямлил он, решив, наконец, что постиг настроение своей собеседницы. — Чудесная загадка жизни. Одни идут ужинать, другие… гм… в другие места. Хотелось бы узнать, как они живут.

— Мне — нет, — сказала девушка. — Я не настолько любознательна. Я прихожу сюда посидеть только затем, чтобы хоть ненадолго стать ближе к великому, трепещущему сердцу человечества. Моя жизнь проходит так далеко от него, что я никогда не слышу его биения. Скажите, догадываетесь ли вы, почему я так говорю с вами, мистер…

— Паркенстэкер, — подсказал молодой человек и взглянул вопросительно и с надеждой.

— Нет, — сказала девушка, подняв тонкий пальчик и слегка улыбнувшись. — Она слишком хорошо известна. Нет никакой возможности помешать газетам печатать некоторые фамилии. И даже портреты. Эта вуалетка и шляпа моей горничной делают меня «инкогнито». Если бы вы знали, как смотрит на меня шофер всякий раз, как думает, что я не замечаю его взглядов. Скажу откровенно: существует всего пять или шесть фамилий, принадлежащих к святая святых; и моя, по случайности рождения, входит в их число. Я говорю все это вам, мистер Стекенпот…

— Паркенстэкер, — скромно поправил молодой человек.

— …мистер Паркенстэкер, потому что мне хотелось хоть раз в жизни поговорить с естественным

человеком — с человеком, не испорченным презренным блеском богатства и так называемым «высоким общественным положением». Ах, вы не поверите, как я устала от денег — вечно деньги, деньги! И от всех, кто окружает меня, — все пляшут, как марионетки, и все на один лад. Я просто больна от развлечений, брильянтов, выездов, общества, от роскоши всякого рода.

— А я всегда был склонен думать, — осмелился нерешительно заметить молодой человек, — что деньги, должно быть, все-таки недурная вещь.

— Достаток в средствах, конечно, желателен. Но когда у вас столько миллионов, что… — Она заключила фразу жестом отчаяния. — Однообразие, рутина, — продолжала она, — вот что нагоняет тоску. Выезды, обеды, театры, балы, ужины — и на всем позолота бьющего через край богатства. Порою даже хруст льдинки в моем бокале с шампанским способен свести меня с ума.

Мистер Паркенстэкер, казалось, слушал ее с неподдельным интересом.

— Мне всегда нравилось, — проговорил он, — читать и слушать о жизни богачей и великосветского общества. Должно быть, я немножко сноб. Но я люблю обо всем иметь точные сведения. У меня составилось представление, что шампан-

ское замораживают в бутылках, а не кладут лед прямо в бокалы.

Девушка рассмеялась мелодичным смехом, — его замечание, видно, позабавило ее от души.

— Да будет вам известно, — объяснила она снисходительным тоном, — что мы, люди праздного сословия, часто развлекаемся именно тем, что нарушаем установленные традиции. Как раз последнее время модно класть лед в шампанское. Эта причуда вошла в обычай с обеда в Уолдорфе, который давали в честь приезда татарского князя. Но скоро эта прихоть сменится другой. Неделю тому назад на званом обеде на Мэдисон-авеню возле каждого прибора была положена зеленая лайковая перчатка, которую полагалось надеть, кушая маслины.

— Да, — признался молодой человек смиренно, — все эти тонкости, все эти забавы интимных кругов высшего света остаются неизвестными широкой публике.

— Иногда, — продолжала девушка, принимая его признание в невежестве легким кивком головы, — иногда я думаю, что если б я могла полюбить, то только человека из низшего класса. Какого-нибудь труженика, а не трутня. Но, безусловно, требования богатства и знатности

окажутся сильней моих склонностей. Сейчас, например, меня осаждают двое. Один из них герцог немецкого княжества. Я подозреваю, что у него есть или была жена, которую он довел до сумасшествия своей необузданностью и жестокостью. Другой претендент — английский маркиз, такой чопорный и расчетливый, что я, пожалуй, предпочту свирепость герцога. Но что побуждает меня говорить все это вам, мистер Покенстэкер?

— Паркенстэкер, — едва слышно поправил молодой человек. — Честное слово, вы не можете себе представить, как я ценю ваше доверие.

Девушка окинула его спокойным, безразличным взглядом, подчеркнувшим разницу их общественного положения.

— Какая у вас профессия, мистер Паркенстэкер? — спросила она.

— Очень скромная. Но я рассчитываю кое-чего добиться в жизни. Вы это серьезно сказали, что можете полюбить человека из низшего класса?

— Да, конечно. Но я сказала: «могла бы». Не забудьте про герцога и маркиза. Да, ни одна профессия не показалась бы мне слишком низкой, лишь бы сам человек мне нравился.

— Я работаю, — объявил мистер Паркенстэкер, — в одном ресторане.

Девушка слегка вздрогнула.

— Но не в качестве официанта? — спросила она почти умоляюще. — Всякий труд благороден, но… личное обслуживание, вы понимаете, лакеи и…

— Нет, я не официант. Я кассир в… — Напротив, на улице, идущей вдоль парка, сияли электрические буквы вывески «Ресторан». — Я служу кассиром вон в том ресторане.

Девушка взглянула на крохотные часики на браслетке тонкой работы и поспешно встала. Она сунула книгу в изящную сумочку, висевшую у пояса, в которой книга едва помещалась.

— Почему вы не на работе? — спросила девушка.

— Я сегодня в ночной смене, — сказал молодой человек. — В моем распоряжении еще целый час. Но ведь это не последняя наша встреча? Могу я надеяться?..

— Не знаю. Возможно. А впрочем, может, мой каприз больше не повторится. Я должна спешить. Меня ждет званый обед, а потом ложа в театре — опять, увы, все тот же неразрывный круг. Вы, вероятно, когда шли сюда, заметили автомобиль на углу возле парка? Весь белый.

— И с красными колесами? — спросил молодой человек, задумчиво сдвинув брови.

— Да. Я всегда приезжаю сюда в этом авто. Пьер ждет меня у входа. Он уверен, что я провожу время в магазине на площади, по ту сторону парка. Представляете вы себе путы жизни, в которой мы вынуждены обманывать даже собственных шоферов? До свидания.

— Но уже совсем стемнело, — сказал мистер Паркенстэкер, — а в парке столько всяких грубиянов. Разрешите мне проводить…

— Если вы хоть сколько-нибудь считаетесь с моими желаниями, — решительно ответила девушка, — вы останетесь на этой скамье еще десять минут после того, как я уйду. Я вовсе не ставлю вам это в вину, но вы, по всей вероятности, осведомлены о том, что обычно на автомобилях стоят монограммы их владельцев. Еще раз до свидания.

Быстро и с достоинством удалилась она в темноту аллеи. Молодой человек глядел вслед ее стройной фигуре, пока она не вышла из парка, направляясь к углу, где стоял автомобиль. Затем, не колеблясь, он стал предательски красться следом за ней, прячась за деревьями и кустами, все время идя параллельно пути, по которому шла девушка, ни на секунду не теряя ее из виду.

Дойдя до угла, девушка повернула голову в

сторону белого автомобиля, мельком взглянула на него, прошла мимо и стала переходить улицу. Под прикрытием стоявшего возле парка кеба молодой человек следил взглядом за каждым ее движением. Ступив на противоположный тротуар, девушка толкнула дверь ресторана с сияющей вывеской. Ресторан был из числа тех, где все сверкает, все выкрашено в белую краску, всюду стекло и где можно пообедать дешево и шикарно. Девушка прошла через весь ресторан, скрылась куда-то в глубине его и тут же вынырнула вновь, но уже без шляпы и вуалетки.

Сразу за входной стеклянной дверью помещалась касса. Рыжеволосая девушка, сидевшая за ней, решительно взглянула на часы и стала слезать с табурета. Девушка в сером платье заняла ее место.

Молодой человек сунул руки в карманы и медленно пошел назад. На углу он споткнулся о маленький томик в бумажной обертке, валявшийся на земле. По яркой обложке он узнал книгу, которую читала девушка. Он небрежно поднял ее и прочел заголовок «Новые сказки Шехерезады»; имя автора было Стивенсон. Молодой человек уронил книгу в траву и с минуту стоял в нерешительности. Потом открыл дверцу белого

автомобиля, сел, откинувшись на подушки, и сказал шоферу три слова:

— В клуб, Анри.

Комедия любопытства

Перевод Н. Дарузес

Можно избежать смертоносного дыхания анчара, что бы ни говорили любители метафор; можно, если очень повезет, подбить глаз василиску; можно даже увернуться от Цербера и Аргуса; но ни одному человеку, будь он живой или мертвый, невозможно уйти от любопытного взгляда зеваки.

Нью-Йорк — город зевак. Много в нем, конечно, и таких людей, которые идут своей дорогой, сколачивая капитал и не глядя ни направо, ни налево, но есть и целое племя, очень своеобразное, состоящее, наподобие марсиан, единственно из глаз и средств передвижения.

Эти фанатики любопытства, словно мухи, целым роем слетаются на место всякого необычайного происшествия и, затаив дыхание, проталкиваются как можно ближе. Открывает ли рабочий люк, попадает ли под трамвай житель северной окраины, роняет ли мальчишка яйцо на тротуар, возвращаясь домой из лавочки, теряет ли дама мелкую монету, выпавшую из дыры в

перчатке, увозит ли полиция телефон и записи скаковых ставок из читальни Ибсеновского общества, провалятся ли в подземку один-два дома или сенатор Депью выйдет на прогулку — при всяком счастливом или несчастном случае племя зевак, теряя разум, неудержимо стремится к месту происшествия.

Важность события не играет роли. С одинаковым интересом и увлечением они глазеют и на опереточную певичку и на человека, малюющего рекламу печеночных пилюль. Они готовы обступить тесным кругом и колченогого инвалида, и буксующий автомобиль. Они страдают манией любопытства. Это зрительные обжоры, которые наслаждаются несчастьем ближнего, захлебываются им. Они смотрят, глядят, пялятся, таращатся мутными рыбьими глазами на приманку несчастья, словно пучеглазый окунь.

Казалось бы, эти одержимые любопытством являют собой совсем неподходящую дичь для пламенных стрел Купидона, однако даже среди простейших трудно найти совершенно невосприимчивую особь. Да, прекрасная богиня романтики осенила своим крылом двух представителей племени зевак, и любовь проникла в их сердца, когда они стояли над распростертым телом чело-

века, которого переехал фургон с пивом.

Уильям Прай первым прибыл на место. Он был знатоком по части таких зрелищ. Весь сияя от радости, он стоял над жертвой несчастного случая и внимал ее стонам, словно нежнейшей музыке. Толпа зевак плотно сгрудилась вокруг жертвы, и Уильям Прай заметил сильное движение в этой толпе как раз против того места, где он стоял. Какое-то стремительно несущееся тело рассекало толпу, словно смерч, отшвыривая людей в стороны. Орудуя локтями, зонтиком, шляпной булавкой, языком и ногтями, Вайолет Сеймур прокладывала себе дорогу в первый ряд зрителей. Силачи, которые без труда садились на гарлемский поезд в 5.30, отлетали, как слабые дети, столкнувшись с ней на пути к центру. Две солидные дамы, своими глазами видевшие свадьбу герцога Роксборо и не раз останавливавшие все движение на Двадцать третьей улице, после встречи с Вайолет отступили во второй ряд, оправляя порванные блузки. Уильям Прай полюбил её с первого взгляда.



Карета скорой помощи увезла бессознательного пособника Купидона. Уильям и Вайолет остались и после того, как толпа разошлась. Это были настоящие зеваки. Люди, которые покидают место происшествия вместе с каретой скорой помощи, лишены тех необходимых элементов, из которых состоит истинное любопытство. Тонкий букет события, его настоящий вкус можно распознать только напоследок — пожирая глазами место происшествия, разглядывая пристально дома напротив, замирая в мечтах, с которыми не сравнится бред курильщика опиума. Вайолет Сеймур и Уильям Прай знали толк в несчастных случаях и умели извлекать из каждого события весь сок до последней капли.

Потом они посмотрели друг на друга. У Вайолет была коричневая родинка на шее, величиной с серебряные полдоллара. Уильям так и впился в нее глазами. У Прая были необыкновенно кривые ноги. Вайолет дала себе волю и смотрела на них, не отрывая взгляда. Они долго стояли лицом к лицу, глазея друг на друга. Этикет не позволял им заговорить; зато в Городе Зевак разрешается сколько угодно глядеть на деревья в парке и на физические недостатки ближних.

Наконец, они расстались со вздохом. Но пив-

ным фургоном правил Купидон, и колесо, переехавшее чью-то ногу, соединило два любящих сердца.

Во второй раз герой и героиня встретились перед дощатым забором поблизости от Бродвея. День выдался крайне неудачный. Не было драк на улицах, дети не попадали под трамвай, калеки и толстяки в неглиже встречались очень редко; никто не выказывал склонности поскользнуться на банановой корке или упасть в обморок. Не видно было даже чудака из Кокомо, штат Индиана, который выдает себя за родственника бывшего мэра Лоу и швыряет мелочь из окошечка кеба. Глядеть было не на что, и Уильям Прай уже начинал томиться от скуки.

И вдруг он увидел, что перед щитом для объявлений, усиленно толкаясь и пихаясь, стоит целая толпа. Бросившись туда опрометью, он сшиб с ног старуху и мальчишку с бутылкой молока и с нечеловеческой энергией проложил себе дорогу в центр круга. Вайолет Сеймур уже стояла в первом ряду без одного рукава и двух золотых пломб, с вывихнутой рукой и сломанной планшеткой корсета, не помня себя от счастья. Она смотрела на то, что было перед нею. Маляр выписывал на заборе: «Ешьте галеты, от них ваше лицо округ-

лится».

Увидев Уильяма Прая, Вайолет покраснела. Уильям саданул под ребро даму в черном шелковом реглане, лягнул мальчишку, съездил по уху старого джентльмена и сумел протолкаться поближе к Вайолет. Они стояли рядом целый час, глядя, как маляр выписывает буквы. Потом Уильям не смог дольше скрывать свои чувства. Он дотронулся до ее плеча.

— Пойдемте со мной, — сказал он. — Я знаю, где сидит чистильщик сапог без кадыка.

Она бросила на него застенчивый взгляд, но этот взгляд светился несомненной любовью, преобразившей ее лицо.

— И вы приберегли это для меня? — спросила она, вся объятая смутным трепетом первого объяснения в любви.

Они вместе побежали к ларьку чистильщика и простояли больше часа, глазея на юного урода.

На тротуар перед ними упал с пятого этажа мойщик окон. Когда подъехала под звон колокола «скорая помощь», Уильям радостно пожал руку Вайолет.

— Четыре ребра по меньшей мере и сложный перелом, — быстро шепнул он. — Ты не жалеешь, что встретила меня, дорогая?

— Я? — сказала Вайолет, отвечая на его пожатие. — Конечно, не жалею. Я могла бы целый день стоять и глазеть рядом с тобой.

Спустя несколько дней их роман достиг высшей точки. Быть может, читатель помнит, какое волнение переживал весь город, когда негритянке Элизе Джейн надо было вручить судебную повестку. Все племя зевак глазело, не сходя с места. Уильям Прай своими руками положил доску на два пивных бочонка напротив того дома, где жила Элиза Джейн. Они с Вайолет просидели там три дня и три ночи. Потом одному сыщику пришло в голову, что можно открыть двери и вручить повестку. Он послал за кинетоскопом и так и сделал.

Две души с такими сродными стремлениями неминуемо должны были соединиться. Уильям Прай и Вайолет Сеймур обручились в тот же вечер, после того как полисмен прогнал их резиновой дубинкой. Семена любви пали на добрую почву, дружно взошли и расцвели пышным цветом.

Свадьба была назначена на десятое июня. Большая церковь была вся завалена цветами. Многочисленное племя зевак, рассеянное по всему свету, просто помешано на свадьбах. Это

пессимисты на церковных скамьях. Они высмеивают жениха и издеваются над невестой. Они приходят потешаться над вашим браком, а если вам удается сбежать от Гименея на бледном коне смерти, они являются на похороны, садятся на ту же скамью и оплакивают ваше счастливое избавление. Любопытство — растяжимое понятие.

Церковь была ярко освещена. На асфальтовом тротуаре был разложен бархатный ковер, доходивший до самой мостовой. Подружки невесты расправляли друг другу ленты на поясе и перешептывались насчет невестиных веснушек. Кучера украшали свои кнуты белыми бантами и жалели, что время от выпивки до выпивки тянется так долго. Пастор размышлял о том, сколько ему заплатят, и соображал, хватит ли этих денег на новый костюм для него самого и на портрет Лоры Джин Либби[147] для его жены. Да, в воздухе реял Купидон.

А перед церковью, братья мои, волновались и колыхались тесные ряды племени зевак. Они стояли двумя сплошными массами, разделенные ковром и дубинками полицейских. Они толпились, как стадо, дрались, толкались, отступали и

[147] Примечания: 147

Лора Джин Либби (1862–1924) — американская писательница, плодовитый автор сентиментальных романов.

наступали и давили друг друга, чтобы увидеть, как девчонка в белой вуали приобретет законное право обыскивать карманы мужа, пока он спит.

Однако час, назначенный для свадьбы, наступил и прошел, а жениха с невестой все не было. Нетерпение сменилось тревогой, тревога привела к поискам, но героев дня нигде не могли найти. Тут вмешались в дело два дюжих полисмена и вытащили из разъяренной толпы зевак помятого и полузадохшегося субъекта с обручальным кольцом в жилетном кармане и громко рыдающую растрепанную женщину, всю оборванную и в синяках.

Уильям Прай и Вайолет Сеймур, верные привычке, смешались с буйной толпой зрителей, не устояв перед обуревавшим их желанием видеть самих себя, в роли жениха и невесты, входящими в убранную розами церковь.

Любопытство — то же шило в мешке.

Тысяча долларов

Перевод Зин. Львовского

— Тысяча долларов! — строго и торжественно повторил нотариус Тольмен. — А вот и деньги!

Молодой Джилльян весело рассмеялся, когда прикоснулся к тоненькой пачке новеньких пятидесятидолларовых бумажек.

— На редкость несуразная сумма! — так же весело объяснил он нотариусу. — Будь еще хоть десять тысяч долларов, такой парень, как я, мог бы здорово кутнуть и даже заставить о себе говорить. Даже пятьдесят долларов причинили бы мне менее хлопот, чем эта несчастная тысяча.

— Вы внимательно выслушали пункты дядиного завещания? — сухим, официальным тоном спросил нотариус. — Я не уверен в том, что вы должным образом усвоили некоторые детали. Об одной я должен вам напомнить. Вы обязуетесь дать нам полный отчет в том, как вы израсходовали эту тысячу долларов, причем должны сделать это тотчас же по израсходовании. Завещание особенно подчеркивает это. Я не сомневаюсь, что вы в точности выполните волю завещателя.

— Можете вполне рассчитывать на это! — весьма вежливо ответил молодой человек. — Обещаю вам это, если даже мне придется израсходовать личные средства. Ввиду того, что я всегда был очень слаб в расчетах и подсчетах, мне придется пригласить специального секретаря.

Джилльян вернулся в свой клуб, где выудил одного знакомого, которого фамильярно величал «Старичина Брайзон».

«Старичина Брайзон» был человек лет сорока, очень спокойный и довольно нелюдимый. В данную минуту он сидел в углу и читал книгу. При виде Джилльяна он тяжело вздохнул, опустил книгу на колени и сбросил с носа очки.

— Ну, старичина Брайзон, проснитесь! — окликнул его Джилльян. — Я должен рассказать вам презабавную историю.

— Правду сказать, я предпочел бы, чтобы вы рассказали ее кому-нибудь в бильярдной! — ответил Брайзон. — Ведь вы отлично знаете, как я ненавижу все ваши забавные и незабавные истории.

— Но эта история совсем особенная и гораздо лучше и интереснее всех предыдущих! — произнес Джилльян, свертывая папиросу. — Нет, правда, я страшно рад, что могу вам, первому

рассказать ее. Она такая печальная и вместе с тем такая смешная, что рассказывать ее под шум бильярдных шаров не представляется ни малейшей возможности. Я только что из конторы легальных корсаров, приставленных к наследству моего покойного дядюшки. Он оставил мне ни больше и ни меньше, как тысячу долларов. Ну, скажите по совести, что такой субъект, как я, может сделать с этакой ерундовской суммой? Ну, что за деньги — тысяча долларов!

— А я думал, — сказал Брайзон, проявляя столько же интереса к этому делу, сколько пчела — к уксусу, — я думал, что покойный Септимус Джилльян обладал капиталом по меньшей мере в пятьсот тысяч.

— И это верно! — весело подтвердил Джилльян. — Но в том-то и вся штука. Все свои тонны дублонов он завещал микробу. Это надо понимать в том смысле, что часть наследства поступает в пользу человека, который найдет какую-то там бациллу, а остальная часть ассигнуется больнице, которая будет бороться с этой бациллой. Кое-какая мелочь оставлена посторонним. Так, например, дворецкому оставлены перстень с печаткой и десять долларов. То же самое получает экономка. Его племяннику досталась одна

тысяча долларов.

— А ведь вы всегда до сих пор тратили очень много денег! — заметил Брайзон.

— Очень много! — согласился Джилльян. — Что касается ежемесячных выдач, то покойный дядюшка вел себя по отношению ко мне лучше всякой матери.

— А других наследников нет? — спросил Брайзон.

— Ни одного!

Джилльян хмуро посмотрел на свою папиросу и затем почему-то в сердцах лягнул ни в чем не повинный кожаный диван.

— Правда, там еще есть мисс Хайден, воспитанница моего дядюшки, жившая в его доме и живущая там теперь. Она — очень милый и спокойный человек, очень музыкальна и приходится дочкой одному человеку, который во времена оны имел несчастье быть другом покойного. Да, я забыл сказать, что она тоже получила перстень с печаткой и десять долларов. Ужасно жаль, что я не получил такого наследства. Тогда бы я купил две бутылки вина, подарил бы перстень лакею и окончательно разделался бы с этим грязным делом. Послушайте, старичина Брайзон, ради бога, не важничайте так, опустите-ка нос и скажите

мне по-дружески: что может такой тип, как я, сделать с тысячью долларов?

Брайзон протер стекла очков и улыбнулся. А когда он улыбался, то Джилльян заранее знал, что «старичина» будет более едок, чем обыкновенно.

— Тысяча долларов, — начал Брайзон, — представляет и очень большую, и очень малую сумму. На эти деньги иной человек может устроить себе такой чудесный семейный очаг, что сам Рокфеллер будет ему завидовать. Другой человек может послать свою больную жену на Юг и тем спасти ее от верной смерти. На тысячу долларов можно в продолжение июня, июля и августа кормить цельнейшим молоком целую сотню ребятишек и пятьдесят из них спасти. На тысячу долларов можно в продолжение получаса побаловаться в «фаро» в одной из многочисленных «художественных» студий, которые чрезвычайно ловко замаскировали свои истинные намерения. Этой суммы вполне достаточно для того, чтобы дать чудеснейшее воспитание любознательному юноше. Мне вот на днях рассказывали, что за такую именно сумму на одном аукционе продали настоящего «Коро». Имея тысячу долларов в кармане, вы можете двинуть в один из нью-гэмпширских городков и чудеснейшим образом преспокойно

прожить там два года. А если хотите, то можете снять на один вечер Мэдисон-сквер и прочесть назидательную лекцию на тему о том, как неприятно при больших надеждах получать малое наследство.

— Вы были бы страшно симпатичным парнем, если бы только не любили так морализировать! — шутливо сказал Джилльян. — Отвечайте мне прямо на вопрос: что мне делать с тысячью долларов?

— Вам что делать? — с мягким смешком ответил Брайзон. — Ну, конечно, вам остается только одно: подарить на эти деньги бриллиантовый кулон мисс Лотте Лаурьер, а затем поселиться на каком-нибудь ранчо. Я лично рекомендую вам овечье ранчо, так как я ненавижу овец.

— Сердечно благодарю вас! — сказал Джилльян, подымаясь с места. — Я так и знал, что могу всецело рассчитывать на вас. Вы посоветовали мне именно то, что нужно. Самое лучшее будет — сразу потратить деньги. Так гораздо легче будет дать отчет, потому что разбираться в бухгалтерских деталях я не в состоянии. Это противно мне.

Джилльян вызвал по телефону кеб и приказал кучеру:

— Коламбиан-театр! К артистическому подъ-

езду!

Мисс Лотта Каурьер помогала Природе, разгуливая пуховкой по своему лицу. В театре было множество народу, и артистка уже готова была к выходу на сцену, когда ей доложили о приходе мистера Джилльяна.

— Попросите его сюда! — сказала мисс Лотта. — В чем дело, Бобби? Мне через две минуты выходить!

— Не мешает пройтись лапкой по правому уху! — с видом знатока посоветовал Джилльян. — Вот теперь лучше. Двух минут для меня вполне достаточно. Какого мнения вы держитесь о безделушке, вроде бриллиантовой подвески? Я располагаю сейчас капиталом, который выражается тремя нулями с одной единицей в авангарде!

— О, об этом предмете я держусь наилучшего мнения! — пропела мисс Лотта. — Адамс, дайте мне мою правую перчатку. Скажите, Бобби, не заметили ли вы случайно, вчера кулона на Делле Стейси? Он куплен у Тиффани и стоит всего-навсего две тысячи двести долларов. Конечно, если... Адамс, поправьте мне, пожалуйста, пояс слева.

— Мисс Лаурьер, ваш выход! — раздался где-то сбоку голос помощника режиссера.

Джилльян побрел к тому месту, где его ждал кеб.

— Что бы вы сделали, будь у вас тысяча долларов? — с таким вопросом он обратился к кучеру.

— Открыл бы трактир! — быстро и хрипло ответил тот. — Я знаю такое местечко, где я мог бы обеими руками загребать денежки. Это — четырехэтажный кирпичный угловой дом. В голове у меня все готово. Во втором этаже я устроил бы закусочную, в третьем — маникюр и разные другие заграничные штучки, а в четвертом — бильярдную. Если вам угодно втесаться в это дело, то…

— О нет, нет! — быстро ответил Джилльян. — Я просто из любопытства спросил об этом. Я беру вас по часам. Гоните, пока я не прикажу вам остановиться.

Проехав восемь кварталов по Бродвею, Джилльян с помощью тросточки откинул подножку и вышел. Сбоку, на тротуаре, на стуле, сидел слепой и продавал карандаши. Джилльян направился прямо к нему.

— Извините меня за беспокойство, — сказал он, — но я очень хотел бы услышать из ваших уст, что вы сделали бы, будь у вас тысяча долларов?

— Это вы только что приехали в кебе? — осведомился слепой. — Я сразу понял, что вы человек со

средствами! — сказал торговец карандашами. — Днем в кебе могут разъезжать только богатые люди. Если угодно, взгляните вот на это!

С этими словами он вынул из бокового кармана записную книжку и протянул ее молодому человеку. Джилльян открыл ее и увидел, что это банковская книжка на имя слепого, капитал которого равнялся 1785 долларам.

Джилльян вернул ему книжку и снова сел в кэб.

— Я забыл кое-что, — сказал он кучеру. — Поезжайте, пожалуйста, в контору нотариусов Тольмен и Шарп, Бродвей, номер…

Нотариус Тольмен довольно недружелюбно вопросительно глянул на него поверх золотых очков.

— Простите великодушно, — весело заявил молодой человек, — но разрешите мне задать вам один вопрос. Надеюсь, что вы не сочтете меня назойливым. Разрешите узнать, оставлено ли что-нибудь мисс Хайден помимо перстня с печаткой и десять долларов?

— Ровно ничего! — отрезал нотариус.

— Премного благодарен вам! — сказал Джилльян. — Имею честь!

Он снова сел в кеб и дал кучеру адрес покой-

ного дяди.

Мисс Хайден писала письмо в библиотеке. Она была невысокого роста, но очень стройна и одета во все черное. Мимо ее глаз никто не мог равнодушно пройти. Джилльян направился к ней со своим обычным видом полнейшей беззаботности.

— Я только что от старого Тольмена, — пояснил он. — Они все время разбирались в бумагах и вот нашли… — Джилльян попытался было найти в своей памяти специальный юридический термин. — Ну… нашли… Добавление… постскриптум… в этом… самом… в завещании. Оказывается, что наш старик в последнюю минуту передумал и решил дать вам еще тысячу долларов. Я специально поехал к вам для того, чтобы сообщить эту новость, а Тольмен просил меня передать вам деньги. Вот они! Вам бы лучше сосчитать их: все ли правильно?

Он положил деньги рядом с девушкой, на столе.

Мисс Хайден побледнела.

— О! — сказала она и повторила: — О!

Джилльян повернулся и взглянул в окно.

— Я позволяю себе думать, — тихо произнес он, — что вы знаете, до чего я люблю вас!

— Мне очень жаль! — ответила девушка, взяв со стола деньги.

— И никакой надежды для меня? — с почти легким сердцем спросил молодой человек.

— Мне очень жаль! — снова повторила она.

— В таком случае вы разрешите мне написать пару слов? — с улыбкой спросил он и сел за большой библиотечный стол. Она подала ему бумагу и перо и вернулась к своему столу.

Джилльян написал следующий отчет о том, как он потратил выданные ему деньги: «Полученная блудной овцой Робертом Джилльяном 1000 долларов во имя вечного счастья передана лучшей и самой дорогой женщине на свете».

Написанное Джилльян положил в конверт, затем конверт в карман и отправился своей дорогой. Через некоторое время его кеб снова остановился у нотариальной конторы Тольмена и Шарпа.

— Имею честь довести до вашего сведения, что полученная мной тысяча долларов истрачена! — доложил он Тольмену. — И вот, согласно нашему условию, я явился к вам для того, чтобы дать полный отчет. Вы не находите, мистер Тольмен, что в воздухе уже определенно пахнет летом?

С этими словами он положил на стол нотариуса

белый конверт и прибавил:

— Здесь, сэр, вы найдете меморандум, касающийся modus'a operandi в деле исчезновения полученных мною долларов.

Не притрагиваясь к конверту, мистер Тольмен подошел к двери и позвал своего компаньона, мистера Шарпа, после чего оба нотариуса с головой ушли в непроглядные глубины огромного сейфа. Через некоторое время они извлекли оттуда трофей в виде большого конверта с сургучной печатью.

Проделав над этим конвертом все, что в сих случаях полагается, они одновременно склонили свои почтенные головы над извлеченным листом бумаги. Через некоторое время мистер Тольмен снова обрел дар речи.

— Мистер Джилльян! — начал он официальным тоном. — Мы только что нашли добавление к завещанию вашего почтенного дядюшки. Этот конверт был поручен нам с тем, что мы вправе открыть его лишь тогда, как вы отдадите нам полный отчет в израсходовании полученной тысячи долларов. Ввиду того, что этот пункт завещании вами выполнен согласно требованиям, мы с мистером Шарпом решили ознакомиться с дополнением. Я не позволю себе досаждать вам

нашей профессиональной фразеологией и в двух словах изложу содержание означенного добавления: в том случае, если способ израсходования вами тысячи долларов докажет наличие у вас чувств, заслуживающих вознаграждения, вы получите добавление к той сумме, которую уже получили. Мы с мистером Шарпом назначены душеприказчиками вашего дядюшки, и разрешите уверить вас, сэр, что мы в точности выполним волю покойного, причем постараемся проявить при этом максимум лояльности. Ради бога, мистер Джилльян, не подумайте, что мы хоть сколько-нибудь настроены против вас. Но разрешите нам вернуться к содержанию дополнения. Если способ израсходования вами тысячи долларов обнаружит осторожность, мудрость и полное отсутствие эгоистических импульсов, то нам надлежит вручить вам пятьдесят тысяч долларов в государственных ценных бумагах, каковые бумаги в настоящее время находятся в наших руках. Но в том случае, если — как это предвидел и точно указал наш покойный клиент! — вы потратили деньги обычным для вас способом — простите, но я только цитирую покойного! — потратили деньги в кругу недостойных товарищей и самым недостойным образом! — то означенные в допол-

нении пятьдесят тысяч долларов должны быть незамедлительно вручены мисс Мириам Хайден, воспитаннице покойного мистера Джилльяна. А теперь, с вашего разрешения, мы с мистером Шарпом рассмотрим ваш отчет об израсходовании тысячи долларов. Если не ошибаюсь, вы представили ваш отчет в письменной форме. Разрешите надеяться на то, что вы отнесетесь с полным доверием к нашему решению.

С этими словами мистер Тольмен потянулся к конверту, но Джилльян успел опередить его. Он схватил конверт с отчетом, совершенно спокойно порвал его на мельчайшие клочки и положил их в карман.

— Все обстоит совершенно благополучно! — с неизменной улыбкой на устах произнес он. — По-моему, не стоит беспокоить вас рассмотрением моего отчета, тем более что я не уверен, разберетесь ли вы во всех тонкостях, которые там имеются. Я вам скажу всю правду: я проиграл эти деньги на бегах. А теперь, джентльмены, имею честь откланяться!

Тольмен и Шарп мрачно поглядели друг на друга, так же мрачно покачали головами и посмотрели вслед молодому Джилльяну, который вышел и, весело насвистывая, стал дожидаться

лифта.

Город побеждён

Перевод Л. Гаусман

Появление Роберта Уолмсли на горизонте Нью-Йорка было результатом упорной борьбы. Он вышел из нее победителем — с именем и состоянием. Но, с другой стороны, столица проглотила его целиком. Она дала ему то, что он требовал, и потом наложила свое клеймо на него. Город перекроил, перешил, вырядил, отштамповал его по одобренному образцу. Город широко распахнул перед ним свои социальные ворота — и запер его на низко скошенной, ровной лужайке, в избранном стаде жвачных. В одежде, повадке, манерах, провинциализме, косности, ограниченности Уолмсли достиг той чарующей дерзости, раздражающей законченности, изощренной грубости, уравновешенной важности, которые делают нью-йоркского джентльмена таким восхитительно ничтожным в его величии.

Деревенька одного из верхних Штатов с гордостью признавала преуспевшего, блестящего молодого столичного адвоката продуктом своей почвы. Правда, шесть лет назад эта же самая

деревня, вынув соломинку из испачканных черникой зубов, разразилась простодушным и презрительным смехом: «Ну уж этот веснушчатый Боб старика Уолмсли! Дома, на ферме, кормежка трижды в день обеспечена, а он предпочел закуску на ходу по ресторанам скрученной тройным кольцом столицы!» Через шесть лет ни один громкий процесс, загородная прогулка, столкновение автомобилей, шикарный бал не производили вполне законченного впечатления, если там не красовалось имя Роберта Уолмсли. Портные выслеживали его на улице, чтобы перенять новую складку в покрое его безукоризненных брюк. Аристократы в клубах и члены самых старинных, безупречных семей были рады похлопать его по спине и назвать фамильярно Боб.

И все же Роберт Уолмсли достиг Юнгфрау своей карьеры только с женитьбой на Алисе ван дер Пул. Именно Юнгфрау, ибо так же высока, холодна, бела и недоступна была эта дочь старинных бюргеров. Социальные Альпы, окружавшие ее (сколько тысяч путников напряженно карабкались вверх по их мрачным ущельям!), поднимались только до ее колен. Она башней высилась в своей собственной атмосфере, ясная,

непорочная, гордая. Она не бродила вдоль ручьев, не кормила обезьян, не воспитывала собак для выставки. Она была ван дер Пул. Ручьи были созданы услаждать ее слух, обезьяны — служить предками прочих людей, собаки — по ее понятию — быть спутниками слепцов и предосудительных типов, курящих трубку.

И вот этой Юнгфрау достиг Роберт Уолмсли. Если он и убедился — заодно с милым, легконогим, кудрявым поэтом, — что путник, взобравшись на горные вершины, находит самые высокие пики окутанными густым покровом из облаков и снега, то он все же храбро скрыл свой озноб под улыбкой. Он был счастливчик и знал это, хотя ему и приходилось, подражая спартанскому юноше, ходить с мороженицей под жилетом против самого сердца.

После краткого свадебного путешествия за границу молодые вернулись в Нью-Йорк — всколыхнуть крупной рябью спокойный бассейн (такой невозмутимый, холодный и тусклый) высшего общества. Они задавали приемы в усыпальнице былой славы — в каменном мавзолее старинного величия, посреди векового парка. И Роберт Уолмсли гордился своей женой, но когда он правую руку протягивал своим гостям, в ле-

вой он крепко держал свою альпийскую палку и градусник.

Однажды Алиса нашла письмо к Роберту от его матери. Это было немудреное послание, полное аромата полей, материнской любви и деревенских новостей. Оно подробно уведомляло о здоровье свиньи и новой рыжей телки и справлялось, в свою очередь, о здоровье Роберта. Письмо — прямо из родного дома, с биографиями пчел, рассказами о репе, гимнами только что снесенным яйцам, подробностями о забытых родных и кучей сушеных яблок.

— Отчего вы не показывали мне писем матери? — спросила Алиса.

В ее голосе всегда было нечто такое, что заставляло вас вспоминать лорнетку, судебный отчет, скрип саней на пути от Даусона к Форт-Майль, дребезжание подвесок на канделябрах вашей бабушки, снег на крыше монастыря, полицейского пристава, явившегося с приказом задержать вас.

— Ваша мать, — продолжала Алиса, — приглашает нас на свою ферму. Я никогда не видела фермы. Мы поедем туда на неделю или две, Роберт?

— Поедем, — сказал Роберт с важным видом члена верховного судилища, одобряющего

приговор. — Я не показывал вам до сих пор приглашения, полагая, что вам не захочется ехать. Мне очень приятно ваше решение.

— Я сама напишу вашей матери, — ответила Алиса с легким оттенком энтузиазма. — Фелиси сейчас же уложит мои сундуки. Пожалуй, хватит семи. Вряд ли ваша мать устраивает большие приемы. А домашние вечера у нее часто бывают?

Роберт встал и, в качестве защитника сельских местностей, предъявил отвод против шести сундуков из семи. Он старался определить, объяснить, растолковать, нарисовать, описать, что это такое — ферма. Но собственные слова странно звучали в его ушах. Он просто не замечал, до какой степени он стал городским человеком.

Прошла неделя — и она застала супругов уже на маленькой деревенской станции в пяти часах езды от столицы. Ухмыляющийся, язвительный, голосистый юноша, правивший мулом, запряженным в повозку, резко окликнул Роберта:

— Алло, мистер Уолмсли! Наконец нашли дорогу домой? Жаль, что я не приготовил для вас автомобиля, но отец как раз сегодня работает на нем на десятиакровом клеверном выгоне. Надеюсь, вы извините, что не накинул смокинг для вашей встречи, но ведь еще нет шести часов,

не правда ли?

— Том, я рад видеть тебя, — сказал Роберт, схватив руку брата. — Да, я нашел наконец дорогу домой. Ты имеешь право сказать «наконец». Ведь больше двух лет я не был здесь. Но теперь это будет чаще, мой мальчик.

Алиса — и в летний зной холодная, как полярная гирлянда, белая, как норвежская снегурочка, в своем прозрачном муслине и кружевном, с воланами зонтике — показалась из-за угла станции, и Том потерял весь свой апломб. Он не проронил больше ни слова и на обратном пути поведал свои тайные мысли только мулу.

Они ехали к ферме. Заходящее солнце щедро затопляло золотом богатые поля пшеницы. Города остались далеко позади. Дорога вилась вокруг леса, долин и холмов, подобно ленте, оброненной с наряда беспечного лета. Ветер мчался за ними следом, точно ржущий конь за колесницей Аполлона.

Скоро показался и серый домик фермы под тенью верной рощи. Они увидели длинную тропинку со свитой из орешников, бежавших от дороги вплоть до самого дома; они вдыхали аромат шиповника и влажных, прохладных ив у речки.

И сразу все голоса земли запели хором душе Роберта Уолмсли. Они глухо гудели из-под навеса хмурого леса, чирикали и жужжали в знойной траве, заливались трелями в журчащем потоке, звучали звонкой свирелью Пана в туманных лугах, им вторили птицы в погоне за комарами и мошками, ласково аккомпанировали степенные колокольчики коров — и в могучем хоре каждый по-своему вопрошал:

— Ты наконец нашел дорогу домой?

Голоса земли говорили с ним по-старому. Листья, бутоны и цветы болтали с ним на прежнем языке его беззаботной юности: неодушевленные предметы, родные камни, заборы и изгороди, ворота и крыши, межи и перекрестки — все было полно красноречия, все изменило свой облик. Деревня улыбалась, и, обвеянный ее дыханием, Уолмсли почувствовал на миг, как сердце переполнилось старой любовью. Город исчез.

Да, деревенская наследственность проснулась, захватила, заполонила Роберта Уолмсли. Но странно: он тут же отметил про себя, как сидевшая рядом с ним Алиса вдруг показалась ему чужой. Ей не было места в этом возврате к прошлому. Никогда раньше она не казалась такой далекой, бесцветной и недоступной, — неосяза-

емой и нереальной. И все же никогда еще он не находил ее такой восхитительной, как теперь, сидя рядом с ней в тряской деревенской повозке, где она гармонировала с его настроением и средой не больше, чем Юнгфрау — и огород мужика.

В этот вечер, после приветствий и ужина, вся семья, включая Бэфа, желтого пса, высыпала на крыльцо. Алиса, в очаровательном бледно-сером туалете, не высокомерная, но все же молчаливая, выбрала тенистый уголок. Мать Роберта, сияющая, беседовала с ней о варенье и о болях в пояснице. Том уселся на верхней ступеньке, сестры — Милли и Пэм — на самой нижней — ловить светящихся жуков. Мать — в плетеной качалке. Отец — в своем большом мягком кресле, где уже недоставало одной ручки. Бэф растянулся посредине, мешая всем и каждому. Сумеречные духи и домовые прокрались незримо, ожили в памяти и снова болезненно тронули сердце Роберта. Деревенское помешательство овладевало его душой. Город исчез.

Отец сидел без трубки, ежась в своих тяжелых сапогах, — жертва неумолимой вежливости.

— Нет, не надо! — крикнул Роберт, принес трубку, зажег ее, схватил старика за сапоги и стащил их с его ног. Но один сапог внезапно соскользнул

— и мистер Роберт Уолмсли, из Вашингтон-сквера, скатился с крыльца, а Бэф с неистовым лаем очутился на нем. Том саркастически рассмеялся.

Роберт сорвал с себя пиджак и жилет и бросил их в куст сирени.

— Эй ты, деревенщина, — крикнул он Тому, — выходи-ка сюда, я натру тебе спину травой. Мне показалось, ты меня назвал «фитюлькой». Подика сюда, поди! Вот ты у меня попрыгаешь!

Том понял приглашение и с удовольствием принял его. Трижды они боролись на траве «боковым захватом», точно какие-нибудь светила арены. И дважды Том вынужден был отдаться на милость изящного адвоката.

Растрепанные, задыхаясь и не переставая хвастаться своей доблестью, они подошли к крыльцу. Милли обронила дерзкое замечание насчет достоинств столичного братца. Вмиг Роберт зажал между пальцев исполинскую стрекозу и направился прямо к сестре. С диким криком та во весь дух пустилась по тропинке, преследуемая мстительным призраком. Четверть мили — и оба вернулись; сестра — чистосердечно извиняясь перед победителем — фитюлькой: деревенская мания завладела им окончательно.

— Эх вы, сеноеды! Растяпы! Да я вас всех, как

коров, в закуту могу загнать! — тщеславно кричал он. — Ну-ка, волоките сюда всех своих псов, всех лохмачей — всех!

Он так вертелся колесом в траве, что пронзил сердце Тома язвительной завистью. Потом с гиканьем затопал на задворки, вернулся с дядей Айком, одряхлевшим мулатом-работником с банджо[148] в руках; посыпал песком крыльцо, проплясал «Цыплят на подносе» и еще с полчаса показывал разные фокусы-покусы. Просто невероятно дико и шумно вел он себя. Пел, наводил на всех жуть страшными сказками, разыгрывал деревенского простофилю, паясничал, фиглярничал. Он обезумел, обезумел от воскресшей в его крови старой жизни.

Он так разошелся, что однажды мать попыталась даже — очень вежливо — остановить его. Тут Алиса задвигалась, точно собиралась что-то сказать, но не проронила ни звука. Она сидела все время неподвижно, — стройное, белое видение во мраке, видение, к которому никто не решался обратиться с вопросом, видение, тайну которого никто не решался прочесть.

Скоро, ссылаясь на усталость, она попросила

---

[148] Примечания: 148

Банджо — музыкальный инструмент вроде гитары.

позволения удалиться в свою комнату. Ей пришлось пройти мимо Роберта. Он стоял в дверях — фигура из вульгарной комедии, всклокоченный, с разгоревшимся лицом, в непростительно растрепанном костюме — ни малейшего следа безукоризненного Роберта Уолмсли, избалованного клубмена, украшения избранных кругов. В эту самую минуту он был поглощен каким-то замысловатым трюком с кастрюлей, и вся семья, вся без исключения, вновь плененная им, смотрела на него с нескрываемым обожанием.

При проходе Алисы Роберт вдруг осекся. На мгновение он забыл о ее присутствии. Даже не взглянув на него, она поднялась по лестнице.

После того веселье утихло. Побеседовали еще около часа, и Роберт тоже удалился к себе.

Когда он вошел в их комнату, Алиса стояла у окна, все в том же наряде, как и раньше на крыльце. За окном была исполинская яблоня, вся в цвету, ветви ее лезли прямо в окно.

Роберт вздохнул и подошел ближе к окну: он готов был выслушать свой приговор. Отпетый плебей, он читал вердикт правосудия уже в самой позе этого тихого, в белой одежде видения. Он знал строгие, прямые линии, которые сейчас вычертит урожденная ван дер Пул. Он, деревен-

щина, аляповато прыгающий внизу, в долине — и чистая, холодно-белая, застывшая вершина Юнгфрау не может даже хмуриться, глядя на него. Он сам, своими собственными поступками сбросил с себя маску. Весь лоск, вся важность, весь вид, привитые ему столицей, свалились, как небрежно наброшенный плащ, при первом дуновении свежего деревенского ветра. Он сумрачно ждал неминуемого приговора.

— Роберт, — прозвучал спокойный, холодный голос его судьи, — я полагала, что выходила замуж за джентльмена.

Вот оно, начинается! И все же, даже в этот момент, перед лицом судьбы — Роберт с увлечением рассматривал ветку яблони; как часто он карабкался на нее вот из этого самого окна. Думается, и теперь он мог бы проделать то же. А интересно, сколько цветов на яблоне — миллионов десять наберется?

Но тут снова раздался чей-то голос:

— Я думала, мой муж — джентльмен… — голос громче. — Но…

Отчего она подошла и стала так близко?

— Но я сделала открытие… — Полно, разве это говорит Алиса? — …что мой муж лучше: он — мужчина. Боб, милый, поцелуй меня.

Город исчез.

Прихоти Фортуны

Перевод Н. Дехтеревой

Есть свои аристократы и среди городских общественных парков, и даже среди бродяг, избравших их своей резиденцией. Вэленс не столько знал, сколько чуял это инстинктом, и когда ему пришлось спуститься из своего мира в неведомый хаос, ноги сами понесли его на Мэдисон-сквер.

Порывистый и колючий, как школьницы былых времен, юный май выстуживал своим дыханием деревья с набухшими почками. Вэленс застегнул пальто, закурил последнюю папиросу и уселся на скамью. Минуты три он предавался легким сожалениям о последней сотне из последней тысячи долларов — ее отобрал полисмен на велосипеде, когда положил конец его последней поездке на автомобиле. Затем он порылся во всех карманах и ни в одном не нашел ни единого цента. Сегодня утром он съехал с квартиры. Обстановка пошла на покрытие кое-каких долгов. Костюмы — все, кроме того, что был на нем, — перешли лакею в счет задержанного жалованья. И теперь во всем городе не было для него ни посте-

ли, ни жареного омара, ни денег на трамвайный билет, ни гвоздики в бутоньерку — оставалось или выпрашивать все это у друзей, или же раздобывать неблаговидными способами. Вот он и предпочел парк.

И все потому, что некий дядя лишил его наследства и свел к нулю свои щедрые даяния. А это все потому, что племянник выказал непослушание относительно некой молодой особы, которая в данном рассказе не фигурирует: читатели, диктующие авторам свои собственные литературные законы, могут на этом дальнейшее чтение прекратить.

Имелся еще и второй племянник — другой фамильной ветви и когда-то дядин любимец и предполагаемый наследник. Не оправдав, однако, надежд и впав в немилость, он давным-давно исчез, погрязши где-то в темной жизненной трясине. Но теперь принимались меры, чтобы извлечь его оттуда — ему предстояло вновь обрести и благосклонность и наследство. А Вэленс величественно, как падший Люцифер, низвергся в бездонную пропасть, примкнув к обтрепанным привидениям маленького парка.

Он откинулся на жесткую спинку скамьи и засмеялся, выдохнув легкое облачко дыма в ниж-

ние ветви деревьев. Все нити его жизни внезапно оказались обрезаны, и это вызвало в нем чувство свободы, душевный подъем, почти ликование. У него было ощущение воздухоплавателя, который перерезал ремни своего воздушного шара и дал ему уплыть вдаль.

Было уже около десяти часов вечера. Скамьи начинали пустеть. Обитатель парка, стойкий борец с осенней прохладой, обычно не спешит броситься в атаку на авангард холодной когорты весны.

Но вот со скамьи возле плещущего фонтана поднялся некто, подошел к Вэленсу и присел с ним рядом. Не то еще молодой, не то уже в годах; дешевые «меблирашки» оставили ему свой налет замшелости; бритвы и гребешки обошли его стороной; спиртное в нем было прочно закупорено и скреплено дьяволовой печатью. Он попросил «огонька» — принятая среди завсегдатаев парковых скамей формула, имеющая целью завязать разговор.

— Вы не здешний, не из постоянных, — обратился он к Вэленсу. — Костюм от портного я всегда распознаю. Вы шли через парк и сели отдохнуть. Можно мне поговорить с вами? Мне сейчас нельзя быть одному. Я боюсь… боюсь…

Пробовал рассказать кое-кому тут в парке. Все думают, что я спятил. Послушайте — ну дайте мне объяснить вам. Пара сушек и яблоко — вот все, что я ел сегодня. А завтра я займу очередь на получение наследства в три миллиона. Тот ресторан, который вы видите отсюда и перед которым скопилось столько машин, будет для меня слишком дешев. Вы мне верите? Верите, что я говорю правду?

— Не сомневаюсь ни одной минуты, — ответил Вэленс, рассмеявшись. — Вчера я там обедал, а сегодня не мог бы заказать себе чашку кофе за пять центов.

— Но вид у вас не такой, будто вы один из нашей братии. Что ж, бывает. Я сам когда-то жил шикарно — несколько лет тому назад. А что с вами стряслось?

— Я… меня уволили с работы.

— Нью-Йорк — это ад кромешный, вот что это такое, — продолжал новый знакомец Вэленса. — Сегодня вы едите на китайском фарфоре, а на следующий день — в китайской обжорке, где вас кормят паршивым рагу. Мне в жизни так не повезло, что дальше некуда. Пять лет я только что руку за подаянием не протягивал. А растили меня для роскоши и безделья. Послушайте… мне не

совестно сказать вам — надо же мне поговорить с кем-то. Я боюсь… Понимаете? Боюсь… Меня зовут Айди. Вам небось и в голову не могло прийти, что старик Полдинг — один из миллионеров с Ривер-сайд-драйв — приходится мне родней. Так вот, он мой дядя. Я когда-то жил у него в доме, и денег у меня было сколько душе угодно. Послушайте, у вас не наберется на пару стаканчиков, мы бы с вами… Как вас зовут?

— Доусон, — ответил Вэленс. — Нет, к сожалению, в финансовом смысле я полный банкрот.

— Я вот уже неделю ночую в угольном погребе на Дивижн-стрит, — продолжал Айди. — И со мной там еще этот мошенник, его называют Морис Пройдоха. Больше деваться было некуда. А нынче, когда я выбрался на улицу, в погреб явился какой-то тип с бумагами, спрашивал меня. Кто его знает, может, это какой-нибудь хитрюга фараон. На всякий случай я весь день держался подальше, вернулся, только когда стемнело. Оказывается, он оставил мне письмо. Знаете, Доусон, от кого оно? От мистера Мида, известного адвоката. Солидная фирма. Я видел их вывеску на Энн-стрит. Старик Полдинг хочет, чтобы я разыграл роль блудного племянника, вернулся к родным пенатам и вновь стал его наследником

и, как бывало, продувал его денежки. Завтра в десять утра мне надо явиться в адвокатскую контору и влезть в прежнюю свою шкуру — стать наследником трех миллионов и получать десять тысяч в год на карманные расходы. И я боюсь… Я боюсь…

Айди вскочил на ноги и вскинул трясущиеся руки. Он задыхался, издавал истерические стоны.

Вэленс схватил его за руку и силой усадил на скамью.

— Успокойтесь! — скомандовал он с ноткой легкого отвращения в голосе. — Можно подумать, что вы не разбогатеть собираетесь, а только что лишились последнего. Чего вы боитесь?

Айди сидел присмиревший, но весь дрожал. Он вцепился в рукав Вэленса, и даже в неясном свете огней с Бродвея разжалованный наследник видел, что от непонятного страха у будущего миллионера выступили на лбу капли пота.

— Я боюсь, потому что все время думаю, вдруг до завтрашнего дня со мной что-нибудь случится. Не знаю, что именно, но что-нибудь такое… и денежки мои пролетят мимо. Боюсь, что на меня упадет дерево, боюсь, что меня задавит кеб, или с крыши свалится на голову камень, или еще что-нибудь… Я прежде никогда не трусил. Сотни

ночей провел в этом парке, спал спокойно, как бревно, хоть и не знал, где наутро раздобуду себе завтрак. Но теперь дело другое. Доусон, я люблю деньги — я испытываю блаженство, когда они текут у меня меж пальцев, — и все-то гнут перед тобой спину, и все-то к твоим услугам — музыка, цветы, великолепный костюм. Пока я знал, что это уже не для меня, мне было наплевать. Я даже бывал доволен — голодный, в отрепьях, сидел здесь на скамье, слушал, как журчит фонтан, поглядывал на проезжающие экипажи. Но сейчас богатство опять у меня в руках… почти что… И я просто не в силах ждать еще целых двенадцать часов. Со мной может стрястись любая беда — могу ослепнуть, умереть от разрыва сердца… Или наступит конец света, прежде чем я…

Пронзительно вскрикнув, Айди снова вскочил. Люди на ближайших скамьях зашевелились, стали оглядываться. Вэленс взял его под руку.

— Давайте походим, — сказал он успокаивающе. — Приведите нервы в порядок. Нет никаких причин для тревоги и опасений. Сегодняшняя ночь такая же, как и всякая другая.

— Вот, вот, — сказал Айди. — Не оставляйте меня одного, прошу вас, Доусон. Пройдемся немного вместе. Никогда прежде я так не раскисал, хоть

жизнь мне то и дело ставила подножки. Скажите, вы не могли бы сообразить что-нибудь насчет ужина, а? Боюсь, нервы у меня так разошлись, что я просто не в состоянии идти клянчить.

Вэленс провел своего собеседника по теперь почти безлюдной Пятой авеню и затем повернул к Бродвею.

— Подождите здесь, — сказал он Айди, оставив его стоять в укромном темном месте неподалеку от знакомого Вэленсу отеля. Войдя в бар своей обычной, уверенной — прежней — походкой, он направился к стойке.

— Джимми, — обратился он к бармену, — там за дверью стоит какой-то бедняга. Говорит, голоден, и похоже на правду. Вы знаете, что они делают, если им дать деньги на руки? Приготовьте один или два сэндвича. Я прослежу, чтобы он их не выбросил.

— Да, конечно, мистер Вэленс, — сказал бармен. — Не все же они проходимцы. Я и сам не люблю видеть голодных.

Он завернул в салфетку щедрую бесплатную закуску, и Вэленс вынес сверток своему подопечному. Айди жадно накинулся на еду.

— Уж и не помню, когда мне доставался такой первоклассный даровой ужин, — сказал он. — А

вы, Доусон, разве не будете есть?

— Благодарю, я не голоден, — ответил Вэленс.

— Вернемся в парк, — предложил Айди. — Фараоны нас там не потревожат. А ветчину и все остальное припрячу нам на утро. Сейчас больше есть не стану, еще, чего доброго, захвораю. Вдруг умру ночью от желудочных колик и так и не получу своих денег. Остается еще одиннадцать часов до того времени, как мне надо быть у адвоката! Вы не оставите меня, Доусон? Я боюсь, вдруг все-таки что-нибудь случится... У вас есть где ночевать?

— Нет, — ответил Вэленс. — Сегодня нет. Я проведу ночь на скамье вместе с вами.

— Хладнокровный вы тип, — заметил Айди, — если только не втираете мне очки. Другой на вашем месте стал бы волосы на голове рвать, что потерял хорошее место и очутился на улице.

— Помнится, я уже говорил, что, на мой взгляд, человек, рассчитывающий на следующий день получить большое состояние, должен был бы находиться в спокойном и приятном расположении духа, — ответил Вэленс, посмеиваясь.

— Да, чудно, — продолжал разглагольствовать Айди. — Чудно, как люди относятся к таким вещам. Вот ваша скамья, Доусон, как раз рядом с

моей. Здесь свет не будет бить вам в глаза. Послушайте, Доусон: как только вернусь домой, заставлю моего старика дать вам рекомендательное письмо, устроить на работу. Вы нынче оказали мне огромную услугу. Не встреть я вас, не знаю, как бы я пережил эту ночь.

— Спасибо, — сказал Вэленс. — Скажите, вы укладываетесь на скамью или спите сидя?

Шли часы, а Вэленс все смотрел, почти не мигая, на звезды, мерцавшие сквозь ветви, и прислушивался к резкому стуку лошадиных копыт, затихающих где-то в южной части города. Ум его деятельно работал, но чувства будто уснули. Не было ни сожалений, ни страха, ни боли, ни ощущения физического неудобства. Даже когда мысли его обратились к уже упомянутой молодой особе, она показалась ему лишь обитательницей одной из тех далеких звезд, от которых он не отрывал взгляда. Ему вспомнились нелепые выходки его нового товарища, и он тихонько засмеялся, но веселее ему не стало. Вскоре каждодневная армия молочных фургонов двинулась на город, обратив его в грохочущий барабан. Вэленс уснул на своем неудобном ложе.

В десять часов утра оба они уже стояли у двери в контору Мида на Энн-стрит.

С приближением ответственного момента нервы у Айди совсем сдали, и Вэленс не решался оставить его одного как возможную жертву опасных случайностей, которых тот так страшился.

Они вошли в контору, и мистер Мид поглядел на них удивленно. Мистер Мид и Вэленс были давнишними друзьями. Поздоровавшись с ним, адвокат повернулся к Айди — тот стоял бледный как полотно и дрожал всем телом.

— Я вчера же послал вам второе письмо, мистер Айди, — сказал он. — Сегодня утром я узнал, что вы отсутствовали и это второе письмо не получили. Оно уведомляло вас, что мистер Полдинг пересмотрел свое предложение по поводу вашего возвращения домой. Он решил отказаться от этой мысли и дает вам понять, что вы не должны рассчитывать на перемену отношений между вами.

Дрожь Айди мгновенно улеглась. На лицо вернулась краска. Он выпрямил спину, выдвинул челюсть вперед на полдюйма, в глазах его появился блеск. Одной рукой он сдвинул на затылок свою видавшую виды шляпу, другую энергичным, вызывающим жестом выбросил вперед. Набрав в легкие воздуха, он насмешливо расхохотался.

— Передайте старику Полдингу, чтобы он от-

правлялся ко всем чертям, — проговорил он громко и отчетливо, повернулся и вышел из конторы твердым, уверенным шагом.

Адвокат Мид с улыбкой повернулся к Вэленсу.

— Я рад, что вы заглянули ко мне, — сказал он приветливо. — Ваш дядя желает, чтобы вы немедленно вернулись домой. Он примирился с теми обстоятельствами, которые послужили причиной его необдуманного шага, и желает заверить вас, что все будет так, как было, и… Адамс! — позвал он клерка. — Принесите стакан воды — быстрее! Мистеру Вэленсу дурно.

Адское пламя

Перевод А. Старцева

Есть у меня два-три знакомых редактора, к которым я, если вздумаю, могу хоть сейчас зайти поболтать на литературные темы. Раньше бывало, что они вызывали меня для беседы на литературные темы. Это не то же самое. Так вот, они мне рассказывали, что немалая часть рукописей, приходящих в редакцию, имеет приписку от автора, где он клянется, что его сочинение «взято из жизни». Дальнейшая судьба такой рукописи зависит лишь от того, приложена к ней или нет почтовая марка. Если приложена, рукопись уходит назад к сочинителю. Нет — она летит в угол, где ее уже ждет пара старых калош, опрокинутая статуэтка крылатой Победы или груда старых журналов, на обложке одного из которых изображен сам редактор, увлеченно читающий в подлиннике «Le Petit Journal»[149] (держа его вверх ногами — это видно по иллюстрациям). Легендарная редакционная корзина для отверг-

[149] Примечания: 149
«Маленький журнал» *(франц.)*.

нутых рукописей на самом деле не существует.

Итак, факты жизни — в презрении. Пройдет время, наука, природа, истина вотрутся в доверие к искусству. С фактами станут считаться. Злодеев потянут к ответу вместо того, чтобы выбирать их в правление акционерного общества. Но пока что вымысел живет в разводе с действительностью, платит ей алименты и выступает опекуном репортерских отчетов.

Вся эта преамбула здесь к тому, что я хочу рассказать вам историю «из жизни». Как таковая, она будет предельно простой. Все прилагательные я постараюсь заменить на предлоги и, если вы уловите в ней хоть какое-либо изящество слога, знайте, это вина наборщика. Я предложу вам рассказ из литературного быта большого города, и он будет полезен каждому в Госпорте, штат Индиана (и на двадцать пять миль в окружности), у кого на столе лежит готовая рукопись, начинающаяся примерно такими словами: «В старой ратуше еще слышались клики восторженных избирателей, но Гарвуд, тепло пожав руки своим верным друзьям и помощникам, уже пробивал путь в толпе, поспешая к судье Кресвеллу, где его ждала Айда».

Петтит прибыл из Алабамы, чтобы посвятить

жизнь изящной словесности. В южных газетах уже появились восемь его рассказов с примечанием редакции, разъяснявшим, что автор — «сын нашего доблестного майора Петтингила Петтита, героя сражения при Лукаут-Маунтен и бывшего окружного судьи».

Петтит был молодым человеком несколько сурового вида, из застенчивости скрывавшим свою большую начитанность. Мы с ним были друзьями. Отец его держал лавку в городке, называвшемся Хосиа. Петтит вырос в хосийских сосновых лесах и ракитниках. Он привез в саквояже два рукописных романа о похождениях в Пикардии в 1329 году некоего Гастона Лабуле, виконта де Монрепо. Не станем его осуждать, это может случиться с каждым. А потом мы вдруг пишем сногсшибательный очерк о малютке-газетчике и его колченогой собаке, и наш очерк печатают; ну, а потом… покупаем большой чемодан и ходим от дома к дому, предлагая усовершенствованные газовые горелки по доллару и двадцать пять центов за штуку: «Необходимо каждой хозяйке!»

Я привел Петтита в красный кирпичный дом, который в дальнейшем, когда мы со всем этим покончили, был увековечен в статье «Литератур-

ные реликвии старого Нью-Йорка». Петтит снял комнату, — лавка в Хосии пока что брала на себя его содержание. Я повел его по Нью-Йорку, и он не сказал мне ни разу, что авеню Генерала Ли у них в Хосии значительно шире Бродвея. Это меня обнадежило, и я решился на последний экзамен.

— А что, если тебе написать о Нью-Йорке, — сказал я ему. — Скажем, «Вид с Бруклинского моста». Знаешь, взглянуть свежим глазом…

— Постарайся не быть идиотом, — ответил мне Петтит, — пойдем выпьем пива. Город мне в общем понравился.

Мы с ним обнаружили подлинное царство богемы и были в большом восторге. Ежедневно, утром и вечером, мы направлялись в один из этих дворцов из кафеля и стекла, где протекал грандиозный, грохочущий эпос жизни. Даже Валгалла, я думаю, не была столь шумной и славной. Классический мрамор столов, снежно-белые свитки салфеток в облитой светом витрине, безошибочно вагнеровские созвучия в перестуке тарелок и чашек, стаккато ножей и вилок, пронзительный речитатив облаченных в белые фартуки дев-официанток у стоек, напоминавших анатомический стол, и лейтмотив неумолчных кассовых аппаратов — все сливалось в гигант-

ский ликующий, возвышающий душу синтез искусств, парад героической, исполненной символов жизни. И порция бобов стоила всего десять центов. Мы изумлялись, что наши собратья, служители муз, продолжают вкушать свои трапезы за унылыми столиками в почитающихся артистическими жалких кухмистерских. И содрогались при мысли, что они могут узнать про наш храм и осквернить его своим посещением.

Петтит писал рассказ за рассказом, но редакторы их браковали. Он писал про любовь, чего избегаю я, ибо твердо уверен, что это давно нам известное и популярное чувство должно обсуждаться лишь в узком кругу (на приеме у психиатра или в беседе с цветочницей), но отнюдь не на страницах общедоступных журналов. А редакторы утверждают, что женская часть их подписчиков хочет читать про любовь.

Позволю себе заметить, что это неверно. Женщины не читают в журналах любовных историй. Они ищут рассказы, где герои режутся в покер, и еще изучают рецепты примочек из огуречного сока. Рассказы с любовным сюжетом читают толстяки коммивояжеры и десятилетние девочки. Я не хулю здесь редакторов. В большинстве своем это прекрасные люди, но все же не более чем

люди — каждый из них ограничен собственным вкусом и навыками. Я знавал двух сотрудников в журнальной редакции, схожих, как два близнеца. Но один был привержен к романам Флобера, другой — любил джин.

Когда Петтит возвращался домой с отвергнутыми рукописями, мы садились читать их вдвоем, чтобы лучше понять, чем недоволен редактор Это были совсем недурные рассказы, гладко написанные и кончавшиеся, как полагается, на последней странице. События в них развивались логично и в должной последовательности. Чего не хватало в них, это живой жизни. Представьте на миг, что вы заказали устрицы и вам подали блюдо симметрично разложенных раковин, но — пустых, без их сочных, соблазнительных обитателей. Не колеблясь я дал понять автору, что надо солиднее знать предмет, о котором пишешь.

— На прошлой неделе ты продал рассказ, — сказал Петтит, — где описана стычка на приисках в Аризоне. Твой герой достает из кармана сорокапятикалиберный кольт и убивает одного за другим семь бандитов. Но кольты такого калибра — шестизарядные.

— Ты путаешь разные вещи, — сказал я. — Аризона далеко от Нью-Йорка. Я могу застрелить

человека при помощи лассо и ускакать от погони на паре ковбойских штанов, и никто ничего не заметит — разве какой крохобор настрочит на меня кляузу. Ты в иной ситуации. Про любовь здесь, в Нью-Йорке, знают ничуть не меньше, чем где-нибудь в Миннесоте в пору ранней посадки картофеля. Допускаю, что у ньюйоркцев нет той непосредственности — читают не только Байрона, но и биржевой бюллетень (раз уж книжки пошли на Б!). В общем, так или иначе, но этот недуг широко здесь известен. Ты можешь уверить редактора, что ковбой садится в седло, ухватившись за правое стремя, но с любовью, хочешь не хочешь, а должен быть аккуратен. Советую — лично влюбиться, познакомиться с делом практически.

Петтит влюбился. Я так и не знаю, принял он к сведению мой совет или пал жертвой случая.

Он повстречал эту девушку где-то на вечеринке: дерзкую, яркую, золотоволосую, озирающую вас с добродушным презрением нью-йоркскую девушку.

Так вот (зрелый повествовательный стиль разрешает нам время от времени так начинать нашу фразу), Петтит мгновенно рухнул. Познал на собственной шкуре все сомнения, сердечные муки,

тоску ожидания, о которых столь бледно писал.

Шейлока клянут за фунт мяса! Амур взыскал с Петтита не менее двадцати пяти фунтов. Так кто же из них ростовщик?

Как-то вечером Петтит явился ко мне сам не свой от восторга. Тощий, измученный, но сам не свой от восторга. Она подарила ему на память цветок.

— Старина, — заявил он с какой-то странной улыбкой, — кажется, я напишу этот рассказ о любви. Тот самый, ты знаешь, за который они ухватятся. Я чувствую, он во мне. Не ручаюсь за то, что получится, но чувствую — он во мне.

Я выгнал его из комнаты.

— За стол и пиши, — приказал я. — Пока не поставишь точку. Я сказал тебе, надо влюбиться. Кончишь, сунешь сюда, под дверь. Не будем ждать до утра.

В два часа ночи послышался шорох под дверью. Прервав беседу с Монтенем, я взялся за Петтита.

Я листал его рукопись, и в ушах у меня не смолкало шипение гусей, легкомысленный щебет воробушков, воркование горлинок, протяжные крики ослов.

— О великая Сафо! — возроптал я в душе. — И это — священное пламя, которое, как утверждают,

дает пищу гению и творит из него гражданина с обеспеченным заработком?

Рассказ Петтита был сентиментальной трухой с приправой из хныканья, сю-сю-сю-сю и беспримерного ячества. Все, что ему удалось накопить из литературного опыта, было утрачено. Слюнявость рассказа способна была пробудить цинический смех у самой чувствительной горничной.

Наутро я беспощадно сообщил ему мой приговор. Он идиотски осклабился.

— И преотлично, — сказал он. — Сожги его, старина. Какая мне, собственно, разница? Сегодня мы завтракаем с ней у Клермона.

Счастье длилось примерно месяц. После чего Петтит явился ко мне в беспросветном отчаянии: он получил отставку. Нес какую-то чушь об отъезде в южноамериканские страны, о цианистом калии, о безвременно ранней могиле. Добрых полдня я приводил его в чувство. Потом напитал его целительной порцией алкоголя. Как я говорил уже, это история из жизни и, значит, не может быть выдержана в одних голубых тонах. Две недели подряд я держал его на Омаре Хайаме и виски. Кроме того, каждый вечер я читал ему вслух ту колонку в вечерней газете, где говорится

о хитростях женской косметики. Рекомендую всем этот способ лечения.

Исцелившись, мой Петтит снова принялся за рассказы. Он вернул себе легкость слога, стал писать почти хорошо. Тут взвивается занавес, начинается третье действие.

Его полюбила без памяти миниатюрная, кареглазая, молчаливая девушка из Нью-Гэмпшира, приехавшая в Нью-Йорк изучать прикладные искусства. Как это бывает с уроженками Новой Англии, под ледяной оболочкой она таила пылкую душу. Петтит не был чрезмерно влюблен, но проводил с ней свободное время. Она его обожала, порой докучала ему.

Дело дошло до кризиса, она чуть не выбросилась из окна, и Петтиту пришлось утешать ее ценой не очень-то искренней нежности. Даже я был смущен ее безоглядной привязанностью. Родная семья, традиции, верования — все пошло прахом, когда заговорила любовь. Положение было тревожное.

Как-то к вечеру Петтит заявился ко мне позевывая. Как и тогда, он сообщил, что у него в голове превосходный рассказ. Как и тогда, я не мешкая усадил его за письменный стол. Был час ночи, когда у меня под дверью зашуршала бумага.

Прочитав рассказ Петтита, я подскочил и, хоть в доме все спали, издал ликующий вопль. Петтит создал свой шедевр. Между строк этой рукописи истекало горячей кровью живое женское сердце. Тайну трудно было постигнуть, но искусство, святое искусство и пульс живой жизни слились здесь в рассказ о любви, который хватал вас за глотку не хуже ангины. Я кинулся к Петтиту, хлопал его по спине, заклинал именами бессмертных, на которых мы с ним молились. Петтит в ответ лишь зевал и твердил, что его клонит ко сну.

Назавтра я потащил его прямо к редактору. Познакомившись с рукописью, великий человек привстал с кресла и пожал Петтиту руку. Это было лавровым венком, представлением к почетному ордену, верным доходом.

И тогда старичина Петтит как-то нехотя улыбнулся. Петтит — истинный джентльмен, так зову я его с той поры. Не бог знает, конечно, какой комплимент, но на слух он вроде получше, чем на бумаге.

— Да, я понял, — сказал мой друг Петтит и, взяв свой рассказ, стал рвать его в мелкие клочья, — я понял теперь правила этой игры. Настоящий рассказ не напишешь чернилами. И кровью сердца тоже рассказ не напишешь. Его можно написать

только кровью чужого сердца. Прежде чем стать художником, нужно стать подлецом. Нет, назад в Алабаму! В лавку, к отцу, за прилавок. Закурим, старик.

На вокзале, прощаясь с Петтитом, я попытался оспорить его позицию.

— А сонеты Шекспира? — взмолился я, делая последнюю ставку.

— Та же подлость, — ответил Петтит, — они дарят тебе любовь, а ты ею торгуешь. Не лучше ли торговать лемехами у отца за прилавком?

— Выходит, — сказал я, — что ты не считаешься с мировыми…

— До свидания, старик! — сказал Петтит.

— …авторитетами, — завершил я свое возражение. — Послушай, старик, если там, у отца, вам понадобится еще продавец или толковый бухгалтер, обещай, что напишешь, ладно?

Немезида и разносчик

Перевод под ред. В. Азова

— Мы отплываем на «Сельтике» утром в восемь часов, — сказала Онорайя, срывая вылезшую нитку на своем кружевном рукаве.

— Я услыхал об этом, — сказал молодой Айвз, уронив шляпу. — И я пришел пожелать вам приятного путешествия.

— Разумеется, вы могли только услыхать об этом, — с холодной любезностью сказала Онорайя, — потому что нам не представилось случая самим уведомить вас.

Айвз взглянул на нее вопросительно и безнадежно.

Звонкий голос на улице пропел довольно музыкально лейтмотив уличного торговца сластями: «Леде-е-е-нцы, хорошие, свежие ле-де-е-е-нцы».

— Это наш старик разносчик, — сказала Онорайя, высовываясь в окно. — Я хочу купить конфеты с билетиками. В лавках на Бродвее и в помине нет таких вкусных конфет.

Разносчик остановил свою ручную тележку против дома. У него был совершенно необычный

для уличного торговца праздничный вид. На нем был ярко-красный галстук, из складок которого выглядывала булавка с подковой, чуть что не в натуральную величину. Глуповатая улыбка морщила его худое, смуглое лицо. Полосатые манжеты с запонками в виде собачьих голов прикрывали загар его кистей.

— Мне кажется, он собирается жениться, — с соболезнованием сказала Онорайя. — Я никогда прежде не видала его таким. И сегодня он, право, в первый раз так выкрикивает свой товар.

Айвз бросил на тротуар монету. Разносчик знал своих покупателей. Он наполнил бумажный пакет, влез на крыльцо и подал пакет в окно.

— Я вспоминаю… — сказал Айвз.

— Подождите, — сказала Онорайя.

Она вынула из ящика письменного стола маленький портфель, а из портфеля — маленькую, тонкую бумажку в четверть дюйма.

— В эту, — сурово сказала Онорайя, — была завернута первая, которую мы развернули.

— Это было год назад, — как бы оправдываясь, сказал Айвз и протянул руку, чтобы взять бумажку.

«Клянусь тебе, мой друг, сердечно: тебя любить я буду вечно» — вот что прочитал он на тонкой,

узкой бумажке.

— Нам надо было бы уехать две недели назад, — скороговоркой заговорила Онорайя. — Лето такое жаркое. Город совершенно опустел. Некуда пойти. Впрочем, говорят, что в некоторых садах на крышах интересно. Пение или танцы в каких-то из них привлекают публику.

Айвз не дрогнул. Когда находишься на арене, нечего удивляться, что противник наносит тебе удары под ребра.

— Я пошел тогда за разносчиком, — некстати заговорил Айвз, — и дал ему пять долларов. Я догнал его на углу Бродвея.

Он потянулся к пакету, лежавшему на коленях у Онорайи, взял одну завернутую четырехугольную конфетку и медленно развернул ее.

— Отец Сары Чилингворт, — сказала Онорайя, — подарил ей автомобиль.

— Прочтите это, — сказал Айвз, протягивая ей полоску бумаги, в которую был завернут леденец.

«Нас жизнь учит обращенью, любовь же учит нас прощенью».

Щеки Онорайи запылали.

— Онорайя! — воскликнул Айвз, вскакивая со стула.

— Меня зовут мисс Клинтон, — поправила его Онорайя, выпрямляясь, как Венера, выходящая после купанья на пляж. — Я запретила вам называть меня этим именем.

— Онорайя, — продолжал Айвз, — вы должны выслушать меня. Я знаю, что я не заслуживаю прощения, но я должен получить его. У человека бывают иногда минуты безумия, за которые не ответственна его настоящая природа. Я готов все пустить по ветру, кроме вас. Я разбиваю цепи, сковавшие меня. Я отрекаюсь от сирены, которая оторвала меня от вас. Пусть купленные у этого уличного торговца вирши ходатайствуют за меня. Любить я могу только вас одну. Да научит вас любовь прощенью, а я… «тебя любить я буду вечно…».

* * *

На Западной стороне квартал между Шестой и Седьмой авеню пересекается в центре переулком, который оканчивается на маленьком дворе. Это театральный квартал, жители его — кипящая пена полудюжины наций. Атмосфера здесь — богемная, говор — многоязычный, существование — случайное.

На дворе, в конце переулка, жил продавец

леденцов. В семь часов он заворачивал свою тележку в узкий проезд, опирал ее концом на каменный выступ и садился, чтобы освежиться, на одну из оглобель. Вдоль переулка всегда гулял свежий ветер.

Над тем местом, где он всегда останавливал свою тележку, находилось окно. В час вечерней прохлады у этого окна садилась, чтобы подышать воздухом, мадемуазель Адель, притягательная сила увеселительного сада на крыше. Ее густые, темные каштановые волосы были обыкновенно распущены, чтобы ветерок мог доставить себе удовольствие помочь горничной Сидони в просушке и проветривании их. На ее плечи — пункт, на который фотографы обращали наибольшее внимание — был небрежно накинут гелиотроповый шарф. Руки были обнажены до локтей — здесь не было скульпторов, которые, конечно, пришли бы, увидев их, в раж — но даже степенные камни стен не были настолько бесчувственны, чтобы не одобрить их. Пока она сидела так у окна, другая горничная, Фелиси, мыла и полировала маленькие ножки, которые так блистали и очаровывали ночную публику.

Мало-помалу мадемуазель начала замечать торговца леденцами, который останавливал-

ся под ее окном, чтобы вытереть себе лоб и освежиться. Пока она была в руках своих горничных, она временно лишена была возможности исполнять свое призвание — очаровывать и привязывать к своей колеснице мужчин. Мадмуазель была недовольна такой потерей времени. И вот, вдруг, является этот разносчик — правда, не подобающая, казалось бы, цель для ее стрел — но как-никак, принадлежащий к тому полу, с которым она рождена была вести войну.

Однажды вечером, бросив на него дюжину холодных, будто не замечающих взглядов, она вдруг оттаяла и подарила его такой улыбкой, что все сласти на его тележке исказились от зависти.

— Разносчик, — проворковала она, в то время как Сидони расчесывала ее тяжелые каштановые волосы, — вы не находите, что я очень красива?

Разносчик грубо засмеялся и посмотрел наверх, поджимая тонкий рот и обтирая лоб полосатым, красным с синим, платком.

— Н-да, из вас вышла бы чудная обложка для журнала, — нехотя ответил он. — Это там разбираются, кто красив, да кто некрасив. Не по моей это части. Если вам нужны цветочные подношения, обратитесь в другое место, между девятью и двенадцатью. Кажется, дождь будет.

По правде сказать, очаровывать уличного разносчика то же, что убивать кроликов в глубоком снегу. Но в ней взыграла кровь охотника.

Мадемуазель вырвала из руки Сидони длинный локон и бросила его вниз.

— Разносчик, есть у вас возлюбленная с такими волосами, такими длинными и мягкими? И с такими красивыми руками?

Она протянула руку, как Галатея после совершившегося чуда.

Разносчик резко загоготал и начал приводить в порядок развалившуюся пирамиду печенья.

— Играйте назад! — сказал он вульгарно. — Никаких комплиментов вы от меня не получите. Этим товаром не торгую. Я слишком навидался видов, чтоб меня можно было одурачить пучком волос и свежеотмассированной рукой. Я уверен, что вы будете очень хороши при свете огня, под пудрой, намазавшись, и с оркестром, играющим «Под старой яблоней». Но ежели вы думаете меня скрутить — музыка, играй разлуку! Я против перекиси водорода и гримировальных ящиков. Кроме шуток, скажите, вы не думаете, что будет дождь?

— Разносчик, — нервно сказала мадемуазель, и губы ее раскрылись и на подбородке ее появилась

ямочка, — вы не находите, что я красива?

Разносчик осклабился.

— В чем дело? — сказал он. — Надоело платить агентам за рекламу? Сами стали себя рекламировать? Кстати, я еще не видал вашей физиономии на сигарных коробках. Как бы то ни было, такая женщина еще не сфабрикована, которой удалось бы скрутить меня. Я знаю вашего брата от гребешков до шнурков на ботинках. Дайте мне хорошую торговлю и кусок говядины с луком в семь часов, да трубку и вечернюю газету, — так пусть сама Лилиан Рассел не трудится делать мне глазки. Ни черта не выйдет!

Мадемуазель надулась.

— Разносчик, — сказала она нежным и глубоким голосом. — Вы все-таки скажете, что я красива. Все мужчины это говорят — и вы скажете.

Разносчик засмеялся и достал свою трубку.

— Ладно, — сказал он, — мне ко двору пора. В вечерней газете есть рассказ, который я читаю; люди ныряют, ищут затопленное сокровище на дне, а пираты следят за ними из-за скалы. И ни на земле, ни на воде, ни в воздухе нет там ни одной женщины. Добрый вечер.

И он покатил свою тележку вниз по переулку,

к заплесневелому двору, на котором он жил.

Не поверил бы он, не изучавший женщин, что мадемуазель каждый день садилась у окна и раскидывала свои сети, чтобы довести до конца затеянную ею бесчестную игру. Раз как-то она заставила важного гостя прождать полчаса в ее приемной, пока она старалась — и тщетно — разбить упрямую философию разносчика. Его грубый смех задевал за живое ее тщеславие. Ежедневно сидел он в переулке, прохлаждаясь на своей тележке, пока Сидони убирала ее волосы, и ежедневно стрелы ее красоты отскакивали, притупленные и бесполезные, от его окаменелой груди. Неизменным возбуждением сверкали ее глаза. Уязвленная в своей гордости, она обжигала его такими взглядами, от которых более высокие ее обожатели почувствовали бы себя на седьмом небе. Строгие глаза разносчика смотрели на нее с плохо скрытой насмешкой и побуждали ее выбирать самые острые стрелы из колчана ее красоты.

Однажды она высунулась далеко за подоконник, но она не вызывала его на бой и не мучила его, как делала это обыкновенно.

— Разносчик, — сказала она, — встаньте и посмотрите мне в глаза.

Он встал и посмотрел в ее глаза с неприятным смехом, точно водил пилой по дереву. Он вынул из кармана трубку, повертел ее и задрожавшей рукой положил обратно в карман.

— Довольно, — с тихой улыбкой сказала мадемуазель, — мне надо идти к моей массажистке. Добрый вечер.

На следующий день продавец леденцов явился и остановил свою тележку под окном. Но он ли это был? На нем был новенький, с иголочки, костюм из светлой клетчатой материи. Галстук у него был ярко-красный, и в него была воткнута блестящая булавка в виде подковы, почти натуральной величины. Башмаки его были вычищены, загар на щеках немного побелел, руки были вымыты. Окно было открыто, но в окне не было никого, и он ждал, стоя под ним и подняв свой нос кверху, как собака, надеющаяся получить кость.

Мадемуазель пришла с Сидони, которая несла за ней ее тяжелые волосы. Она взглянула на продавца леденцов и улыбнулась ему ленивой улыбкой, тотчас заменившейся выражением скуки. Она сразу увидела, что выиграла игру, и ей надоела охота. Она стала разговаривать с Сидони.

— Хороший был денек сегодня, — заговорил

разносчик — Первый раз за весь месяц сторговал по первому разряду. Заработал на Мэдисон-сквере. А похоже, что завтра будет дождь? А?

Мадемуазель положила на подушку, на подоконнике, две кругленькие ручки, а на них подбородок с ямочкой.

— Разносчик, — нежно сказала она, — вы меня не любите?

Разносчик встал и облокотился о каменную стену.

— Леди, — прерывающимся голосом заговорил он, — у меня есть восемьсот долларов на книжке. Разве я сказал, что вы не прекрасны? Возьмите у меня все деньги и купите на них ошейник для вашей собаки.

В комнате мадемуазель раздался звук, словно зазвенели сто серебряных колокольчиков. Смех наполнил переулок и ворвался во двор, что было так же необычайно, как если бы туда проник луч солнца. Мадемуазель стало весело. Сидони, как верное эхо, присоединила свое замогильное, но преданное контральто. Разносчик, по-видимому, начал понимать их смех. Он в смущении хватался за свою булавку с подковой. Наконец, мадемуазель утомилась и повернула к окну свое красивое, раскрасневшееся лицо.

— Разносчик, — сказала она, — уходите. Когда я смеюсь, Сидони дергает мне волосы. А я не могу не смеяться, пока вы здесь стоите.

— Письмо для мадемуазель, — сказала Фелиси, входя в комнату.

— Справедливости нет, — сказал продавец леденцов, поднимая оглобли своей тележки и трогаясь.

Он отошел на три шага и остановился. Громкие крики, один за другим, неслись из окна мадемуазель. Он быстро побежал назад. Он услыхал тяжелое падение тела и затем такой звук, как будто стучали каблуками по полу.

— Что случилось? — крикнул он.

В окне показалось суровое лицо Сидони.

— Мадемуазель убита дурными известиями, — сказала она. — Человек, которого она любила всей душой, покинул ее… Вы, может быть, слышали о нем? Это месье Айвз. Он уезжает завтра в Европу… Эх, вы, мужчины!..

Квадратура круга

Перевод Н. Дарузес

Рискуя надоесть вам, автор считает своим долгом предпослать этому рассказу о сильных страстях вступление геометрического характера.

Природа движется по кругу. Искусство — по прямой линии. Все натуральное округлено, все искусственное угловато. Человек, заблудившийся в метель, сам того не сознавая, описывает круги; ноги горожанина, приученные к прямоугольным комнатам и площадям, уводят его по прямой линии прочь от него самого.

Круглые глаза ребенка служат типичным примером невинности; прищуренные, суженные до прямой линии глаза кокетки свидетельствуют о вторжении Искусства. Прямая линия рта говорит о хитрости и лукавстве; и кто же не читал самых вдохновенных лирических излияний Природы на губах, округлившихся для невинного поцелуя?

Красота — это Природа, достигшая совершенства, округленность — это ее главный атрибут. Возьмите, например, полную луну, золотой шар

над входом в ссудную кассу, купола храмов, круглый пирог с черникой, обручальное кольцо, арену цирка, круговую чашу, монету, которую вы даете на чай официанту. С другой стороны, прямая линия свидетельствует об отклонении от Природы. Сравните только пояс Венеры с прямыми складочками английской блузки.

Когда мы начинаем двигаться по прямой линии и огибать острые углы, наша натура терпит изменения. Таким образом, Природа, более гибкая, чем Искусство, приспособляется к его более жестким канонам. В результате нередко получается весьма курьезное явление, например: голубая роза, древесный спирт, штат Миссури, голосующий за республиканцев, цветная капуста в сухарях и житель Нью-Йорка.

Природные свойства быстрее всего утрачиваются в большом городе. Причину этого надо искать не в этике, а в геометрии. Прямые линии улиц и зданий, прямолинейность законов и обычаев, тротуары, никогда не отклоняющиеся от прямой линии, строгие, жесткие правила, не допускающие компромисса ни в чем, даже в отдыхе и развлечениях, — все это бросает холодный вызов кривой линии Природы.

Поэтому можно сказать, что большой город

разрешил задачу о квадратуре круга. И можно прибавить, что это математическое введение предшествует рассказу об одной кентуккийской вендетте, которую судьба привела в город, имеющий обыкновение обламывать и обминать все, что в него входит, и придавать ему форму своих углов.

Эта вендетта началась в Кэмберлендских горах между семействами Фолуэл и Гаркнесс. Первой жертвой кровной вражды пала охотничья собака Билла Гаркнесса, тренированная на опоссума. Гаркнессы возместили эту тяжелую утрату, укокошив главу рода Фолуэлов. Фолуэлы не задержались с ответом. Они смазали дробовики и отправили Билла Гаркнесса вслед за его собакой в ту страну, где опоссум сам слезает к охотнику с дерева, не дожидаясь, чтобы дерево срубили.

Вендетта процветала в течение сорока лет. Гаркнессов пристреливали через освещенные окна их домов, за плугом, во сне, по дороге с молитвенных собраний, на дуэли, в трезвом виде и наоборот, поодиночке и семейными группами, подготовленными к переходу в лучший мир и в нераскаянном состоянии. Ветви родословного древа Фолуэлов отсекались точно таким же образом, в полном согласии с традициями

и обычаями их страны. В конце концов после такой усиленной стрижки родословного древа в живых осталось по одному человеку с каждой стороны. И тут Кол Гаркнесс, рассудив, вероятно, что продолжение фамильной распри приняло бы уж чересчур личный характер, неожиданно скрылся из Кэмберленда, игнорируя все права Сэма, последнего мстителя из рода Фолуэлов.

Через год после этого Сэм Фолуэл узнал, что его наследственный враг, здравый и невредимый, живет в Нью-Йорке. Сэм вышел во двор, перевернул кверху дном большой котел для стирки белья, наскреб со дна сажи, смешал ее со свиным салом и начистил этой смесью сапоги. Потом надел дешевый костюм когда-то орехового цвета, а теперь перекрашенный в черный, белую рубашку и воротничок и уложил в ковровый саквояж белье, достойное спартанца. Он снял с гвоздя дробовик, но тут же со вздохом повесил его обратно. Какой бы похвальной и высоконравственной ни считалась эта привычка в Кэмберленде, неизвестно еще, что скажут в Нью-Йорке, если он начнет охотиться на белок среди небоскребов Бродвея. Старенький, но надежный кольт, покоившийся много лет в ящике комода, показался ему самым подходящим оружием для того, чтобы перенести

вендетту в столичные сферы. Этот револьвер вместе с охотничьим ножом в кожаных ножнах Сэм уложил в ковровый саквояж. И, проезжая верхом на муле мимо кедровой рощи к станции железной дороги, он обернулся и окинул мрачным взглядом кучку белых сосновых надгробий — родовое кладбище Фолуэлов.

Сэм Фолуэл прибыл в Нью-Йорк поздно вечером. Все еще следуя свободным законам природы, движущейся по кругу, он сначала не заметил грозных, безжалостных, острых и жестких углов большого города, затаившегося во мраке и готового сомкнуться вокруг его сердца и мозга и отштамповать его наподобие остальных своих жертв. Кебмен выхватил Сэма из гущи пассажиров, как он сам, бывало, выхватывал орех из вороха опавших листьев, и умчал в гостиницу, соответствующую его сапогам и ковровому саквояжу.

На следующее утро последний из Фолуэлов сделал вылазку в город, где скрывался последний из Гаркнессов. Кольт он засунул под пиджак и укрепил на узком ремешке; охотничий нож висел у него между лопаток, на полдюйма от воротника. Ему было известно одно — что Кол Гаркнесс ездит с фургоном где-то в этом городе и что он,

Сэм Фолуэл, должен его убить, — и как только он ступил на тротуар, глаза его налились кровью и сердце загорелось жаждою мести.

Шум и грохот центральных авеню завлекали его все дальше и дальше. Ему показалось, что вот-вот он встретит на улице Кола с кувшином для пива в одной руке, с хлыстом в другой и без пиджака, точь-в-точь как где-нибудь во Франкфурте или Лорел-Сити. Но прошел почти час, а Кол все еще не попадался ему навстречу.

Может быть, он поджидал Сэма в засаде, готовясь застрелить его из окна или из-за двери. Некоторое время Сэм зорко следил за всеми дверьми и окнами.

К полудню городу надоело играть с ним, как кошка с мышью, и он вдруг прижал Сэма своими прямыми линиями.

Сэм Фолуэл стоял на месте скрещения двух больших прямых артерий города. Он посмотрел на все четыре стороны и увидел нашу планету, вырванную из своей орбиты и превращенную с помощью рулетки и уровня в прямоугольную плоскость, нарезанную на участки. Все живое двигалось по дорогам, по колеям, по рельсам, уложенное в систему, введенное в границы. Корнем жизни был кубический корень, мерой жизни бы-

ла квадратная мера. Люди вереницей проходили мимо, ужасный шум и грохот оглушили его.

Сэм прислонился к острому углу каменного здания. Чужие лица мелькали мимо него тысячами, и ни одно из них не обратилось к нему. Ему казалось, что он уже умер, что он призрак и его никто не видит. И город поразил его сердце тоской одиночества.

Какой-то толстяк, отделившись от потока прохожих, остановился в нескольких шагах от него, дожидаясь трамвая. Сэм незаметно подобрался к нему поближе и заорал ему в ухо, стараясь перекричать уличный шум:

— У Ранкинсов свиньи весили куда больше наших, да ведь в ихних местах желуди совсем другие, много лучше, чем у нас…

Толстяк отодвинулся подальше и стал покупать жареные каштаны, чтобы скрыть свой испуг.

Сэм почувствовал, что необходимо выпить. На той стороне улицы мужчины входили и выходили через вращающуюся дверь. Сквозь нее мелькала блестящая стойка, уставленная бутылками. Мститель перешел дорогу и попытался войти. И здесь опять Искусство преобразило знакомый круг представлений. Рука Сэма не находила дверной ручки — она тщетно скользила

по прямоугольной дубовой панели, окованной медью, без единого выступа, хотя бы с булавочную головку величиной, за который можно было бы ухватиться.

Смущенный, красный, растерянный, он отошел от бесполезной двери и сел на ступеньки. Дубинка из акации ткнула его в ребро.

— Проходи! — сказал полисмен. — Ты здесь давненько околачиваешься.

На следующем перекрестке резкий свисток оглушил Сэма. Он обернулся и увидел какого-то злодея, посылающего ему мрачные взгляды из-за дымящейся на жаровне горки земляных орехов. Он хотел перейти улицу. Какая-то громадная машина, без лошадей, с голосом быка и запахом коптящей лампы, промчалась мимо, ободрав ему колени. Кеб задел его ступицей, а извозчик дал ему понять, что любезности выдуманы не для таких случаев. Шофер, яростно названивая в звонок, впервые в жизни оказался солидарен с извозчиком. Крупная дама в шелковой жакетке «шанжан» толкнула его локтем в спину, а мальчишка газетчик не торопясь швырял в него банановыми корками и приговаривал: «И не хочется, да нельзя упускать такой случай».

Кол Гаркнесс, кончив работу и поставив фургон

под навес, завернул за острый угол того самого здания, которому смелый замысел архитектора придал форму безопасной бритвы[150]. В толпе спешащих прохожих, всего в трех шагах впереди себя, он увидел кровного врага всех своих родных и близких.

Он остановился как вкопанный и в первое мгновение растерялся, застигнутый врасплох без оружия. Но Сэм Фолуэл уже заметил его своими зоркими глазами горца.

Последовал прыжок, поток прохожих на мгновение заколебался и покрылся рябью, и голос Сэма крикнул:

— Здорово, Кол! До чего же я рад тебя видеть!

И на углу Бродвея, Пятой авеню и Двадцать третьей улицы кровные враги из Кемберленда пожали друг другу руки.

---

[150] Примечания: 150

Так называемый «Утюг» — один из первых небоскребов Нью-Йорка, высотой в 20 этажей, имеющий в плане форму вытянутого треугольника.

Розы, резеда и романтика

Перевод И. Гуровой

Рэвнел (Рэвнел — путешественник, художник и поэт) швырнул журнал на пол. Сэмми Браун, секретарь биржевого маклера, сидевший у окна, подскочил от неожиданности.

— В чем дело, Рэвви? — спросил он. — Критика пустила твои акции под откос?

— Романтика скончалась, — ответил Рэвнел шутливо. Когда Рэвнел говорил шутливо, он, как правило, бывал глубоко серьезен. Подобрав журнал, он небрежно его пролистал.

— Даже филистер вроде тебя, Сэмми, — сказал Рэвнел серьезно (тон, неизменно означавший, что он шутит), — наверное, способен это понять. Вот журнал, в котором некогда печатались Эдгар По и Лоуэлл, Уитмен и Брет Гарт, Дюморье и Лэньир, и… но хватит и этого. А вот литературное пиршество, которое предлагает тебе его последний номер: статья о кочегарах и угольных ямах на военных кораблях; разоблачение методов, применяемых при изготовлении ливерной колбасы; продолжение повести о международной опера-

ции с сухими дрожжами, успешно завершенной Уоллстритом; сонет, посвященный медведю, по которому промазал наш президент[151]; очерк некой девицы, которая неделю занималась тайным сбором сведений, строча комбинезоны где-то на Ист-Сайде; «художественный» рассказ, от которого разит гаражом и автомобилями некой марки — разумеется, в заголовке фигурируют слова «Амур» и «шофер». Далее следуют: статья о военно-морской стратегии, снабженная иллюстрациями — Непобедимая Армада[152] и новые паромы, курсирующие между Манхэттеном и Статен-Айлендом; повестушка про политикана из низов, который покорил сердце красавицы с Пятой авеню, поставив ей фонарь под глазом и отказавшись голосовать за позорное постановление (неясно только, где, собственно, то ли в отделе муниципалитета, ведающем уборкой уличного мусора, то ли в конгрессе), и, наконец, девятнадцать страниц редакционной похвальбы на тему о растущих тиражах журнала. А все это вместе,

[151] Примечания: 151

В годы президентства Теодора Рузвельта американская печать широко рекламировала его охотничьи подвиги.

[152] Примечания: 152

Непобедимая Армада — название флота, посланного для завоевания Англии испанским королем Филиппом II в 1588 г.

Сэмми, — извещение о кончине Романтики.

Сэмми Браун уютно сидел в большом кожаном кресле у окна. Костюм на нем был пронзительно рыжий в весьма заметную клетку, и цвет этот отлично гармонировал с кончиками четырех сигар, выглядывавших из жилетного кармана. Башмаки были светло-коричневыми, носки — серыми, открытое взору белье — небесно-голубым, а на белоснежном, высоком, жестком, как жесть, воротничке раскинула крылья черная бабочка. Лицо Сэмми (наименее значительный его атрибут) было круглым, симпатичным и бело-розовым, а его глаза не обещали приюта гонимой Романтике.

Это окно квартиры Рэвнела выходило в старый сад с тенистыми деревьями и густыми кустами. С одной стороны его теснил многоквартирный дом, высокая кирпичная стена ограждала его от улицы, а прямо напротив окна под завесой летней листвы прятался старинный особняк — поистине осажденный замок. Вокруг ревел, завывал, визжал город, ломился в его дубовые двери и потрясал над кирпичной стеной белыми трепещущими чеками, предлагая условия капитуляции. Серая пыль ложилась на деревья, осада становилась все ожесточеннее, но подъемный

мост оставался поднятым. Для дальнейшего же язык рыцарских времен не годится. В особняке проживал пожилой джентльмен, который любил свой старый дом и не желал его продавать. Этим и исчерпывалась романтика осажденного замка.

Сэмми Браун являлся в квартиру Рэвнела три, а то и четыре раза в неделю. Он состоял членом того же клуба, что и поэт, ибо былые Брауны знавали известность, хотя Сэмми и был опошлен соприкосновением с деловым миром. Он не тратил слез на опочившую Романтику. Сердце его чаровала песнь биржевого телеграфа, а конские и иные ристания он мерил по меркам розовых спортивных листков. Ему нравилось сидеть в кожаном кресле у окна поэта. И поэт ничего не имел против. Сэмми, казалось, слушал его с удовольствием, а к тому же секретарь биржевого маклера был таким идеальным воплощением новых времен и их низкопробной практичности, что Рэвнелу нравилось превращать его в козла отпущения.

— А я знаю, какая муха тебя укусила, — сказал Сэмми, которого биржа научила проницательности. — Журнал не взял твоих стишков. Вот ты на него и злишься.

— Твоя догадка не была бы лишена остроумия,

если бы речь шла об Уолл-стрите или о выборах президента в дамском клубе, — ответил Рэвнел невозмутимо. — Но представь себе, в этом номере напечатано одно мое стихотворение — если ты позволишь мне называть его так.

— Ну-ка, прочти, а я послушаю, — сказал Сэмми, провожая глазами облачко табачного дыма, которое он выпустил в окно.

Стойкостью Рэвнел не превосходил Ахиллеса. А кто его превосходит? Слабое местечко обязательно да отыщется. Эта, как ее, ну эта… должна же ведь как-то ухватить нас, чтобы макнуть в это… ну, в это, которое сделает нас неуязвимыми. И Рэвнел, открыв журнал, прочел вслух такие строки:

ЧЕТЫРЕ РОЗЫ

Я розу вплел в волну твоих кудрей
(То белая была, в ней дань благоговенья),
Другую приколола ты на грудь
(То красная была, огня любви мгновенье),
Еще одну ты сорвала с куста
(То чайная была, подруга расставаний),

Четвертую ты протянула мне —
И подарила с ней шипы воспоминаний.

— Штучка что надо, — сказал Сэмми с восхищением.

— Осталось еще пять строф, — заметил Рэвнел со страдальческой иронией. — Естественно, конец строфы требует паузы. Но, конечно…

— Дочитывай, дочитывай, старина! — виновато воскликнул Сэмми. — Я вовсе не хотел тебя перебивать. Ты же знаешь, я в поэзии не очень разбираюсь. Для меня ведь что конец стиха, что конец строфы — все одно. Давай, читай остальное.

Рэвнел вздохнул и отложил журнал.

— Ну, ничего, — весело сказал Сэмми. — Подождем до следующего раза. А я пошел. У меня в пять свидание.

Он последний раз взглянул на тенистый сад и удалился, фальшиво насвистывая немелодичный мотивчик из скетча, подхваченный в каком-то увеселительном саду.

На следующий день Рэвнел отделывал корявую строку нового сонета, расположившись у окна, которое выходило в осажденный сад барона-бессребреника. Внезапно он подскочил,

расплескивая слоги и рифмы.

Деревья, заслонявшие особняк, в одном месте расступались. В просвете виднелось окно. И в эту минуту над подоконником склонился ангел в белоснежном одеянии, воплощение самых заветных его поэтических и романтических грез. Юная, свежая, точно капля росы, изящная, точно кисть сирени, она преображала затерявшийся среди уличного рева сад в приют сказочной принцессы, и ни один воспетый поэтами цветок не мог сравниться с нею красотой. Такой увидел ее Рэвнел в первый раз. Она помедлила у окна, а потом скрылась в глубине комнаты, но сквозь грохот колес и лязг трамваев его завороженного слуха достиг обрывок звонкой трели.

Вот так, словно в отместку за насмешливый укор, который поэт бросил Романтике, словно кара за то, что он отрекся от неумирающего духа юности и красоты, это видение властно предстало перед ним, чаруя и обвиняя. И столь преображающей была его сила, что в единое мгновение весь мир Рэвнела стал иным до последней своей частички. Грохотанье груженых подвод, проезжающих мимо ее дома, было теперь басовым аккомпанементом к мелодии любви. Вопли газетчиков превратились в птичий щебет, деревья

за его окном — в сад Капулетти, привратник стал великаном-людоедом, а сам он — рыцарем с копьем, мечом и лютней.

Вот так является Романтика своим избранникам в чащобах кирпича и камня, когда, полагая, что она заблудилась в дебрях большого города, ее разыскивают с полицией.

В четыре часа в тот же день Рэвнел вновь созерцал особняк напротив. В окне его надежд стояли четыре маленьких вазы, и в каждой была пышная роза — белая или красная. И пока он смотрел, над ними, затмив их прелесть, склонилась она и — может ли быть? — устремила задумчивый взор на его собственное окно. Затем, словно встретив его почтительный, но пылкий взгляд, она исчезла, и лишь благоухающие эмблемы остались на подоконнике.

О да! Эмблемы! Он был бы недостоин, когда б не понял. Она прочла его стихотворение «Четыре розы», оно тронуло ее сердце, и это — ее романтическое послание! Конечно, она знает, что автор этих стихов, поэт Рэвнел, живет напротив, по ту сторону ее сада. И конечно, она видела в журналах его портрет. Столь деликатную, нежную, стыдливую, лестную весточку нельзя оставить без ответа!

В эту минуту Рэвнел заметил рядом с розами горшочек с каким-то растением. Ничтоже сумняшеся он достал бинокль и, укрывшись за занавеской, навел его на неведомый цветок. Резеда!

С истинно поэтическим прозрением он снял с полки книгу бесполезных знаний и торопливо открыл ее на «языке цветов».

«Резеда, цвет зеленый — жду встречи».

Вот так. Романтика никогда не останавливается на полдороге. Уж если она возвращается к вам, то приносит дары и готова сесть с вязаньем у вашего камина, лишь бы вы ей разрешили.

И тут Рэвнел улыбнулся. Влюбленный улыбается, когда он уверен в победе. Женщина, когда ее любовь торжествует, перестает улыбаться. Для него битва завершена, для нее — только начинается. Какая очаровательная мысль — поставить на подоконнике четыре розы так, чтобы он их увидел! Тонкой и поэтичной должна быть ее душа. Ну а теперь остается только найти способ устроить встречу.

Веселый свист и шум захлопнувшейся двери возвестили приход Сэмми Брауна.

Рэвнел снова улыбнулся. Всеобъемлющие лучи духовного возрождения осияли даже Сэмми,

включая его ультрамодный костюм, галстучную булавку в виде подковки, румяное лицо, вульгарный жаргон и безотчетное преклонение перед Рэвнелом. Можно ли вообразить более эффектный контраст со светлой невидимой гостьей, почтившей своим присутствием мрачную обитель поэта, чем этот секретарь биржевого маклера!

Сэмми опустился в свое излюбленное кресло у окна и поглядел на запыленную листву сада. Затем он вытащил часы и вскочил как ужаленный.

— Ого! — воскликнул он. — Двадцать минут пятого! Мне надо бежать, старина. У меня в половине пятого свидание.

— Так чего же ты приходил? — осведомился Рэвнел с язвительной шутливостью — Раз у тебя на это время назначено свидание? Я привык думать, что вы, деловые люди, больше бережете свои минуты и секунды.

Сэмми смущенно задержался в дверях и стал еще румянее.

— Честно сказать, Рэвви, — объяснил он, словно обращаясь к клиенту, исчерпавшему свой счет, — честно сказать, я только сейчас про него узнал. Вот послушай, старина… вон в том особняке живет одна девушка — девушка первый сорт, и

я в нее врезался по уши. Ну, попросту говоря, мы помолвлены. Ее старик ни в какую, только у него руки коротки. Правда, следит он за ней строго. А из этого твоего окна видно окно Эдит. И она мне сигналит, в каком часу пойдет за покупками, чтоб мы могли встретиться. Вот сегодня она выйдет из дома в половине пятого. Наверно, надо было сразу тебе сказать, но я знаю, ты же мне друг. Ну, пока.

— Как так «сигналит»? — спросил Рэвнел, чья улыбка слегка утратила непосредственность.

— Розами, — лаконично ответил Сэмми. — Сегодня их четыре. Это значит: в четыре часа на углу Бродвея и Двадцать третьей улицы.

— А резеда? — не отступал Рэвнел, судорожно хватая шлейф ускользающей Романтики.

— Резеда — это полчаса, то есть в половине пятого, — крикнул Сэмми из передней. — До завтра, старина.

Весна души

Перевод В. Александрова, под ред. В. Азова

Маловероятно, чтобы богиня могла умереть. Значит, Истра, древняя саксонская богиня весны, должно быть, смеется в свой кисейный рукав над людьми, которые считают, что Пасха, весенний праздник, существует только в определенном районе Пятой авеню, после церковной службы.

Нет, весенний праздник принадлежит всему миру. Птармиган на Аляске меняет свои белые перья на коричневые, патагонский красавец мужчина смазывает жиром свои волосы и тащит новую возлюбленную в свою покрытую шкурами хижину. А на улице Кристи…

Мистер «Тигр» Мак-Кирк встал с чувством непонятного беспокойства. Он привычной ногой оттолкнул прочь с дороги, как щенят, трех младших братьев, спавших на полу. Потом он подошел к четырехугольному зеркалу, висевшему у окна, и побрился. Если это кажется вам слишком незначительным делом, не достойным быть отмеченным, я извиняю вас. Вы не знаете, сколько бритве надо преодолеть препятствий, чтоб прой-

ти по щекам и подбородку мистера Мак-Кирка.

Мистер Мак-Кирк-старший уже давно ушел на работу. Взрослый сын сидел без дела. Он был мраморщиком, а мраморщики бастовали.

— Что у тебя болит? — спросила его мать, испытующе взглянув на него. — Может быть, тебе нездоровится?

— Он все думает об Анне-Марии Доул, — нагло объяснил младший брат «Тигра» Тим, десяти лет.

«Тигр» протянул свою руку чемпиона и сбросил маленького Мак-Кирка со стула.

— Я прекрасно себя чувствую, — сказал он. — За исключением какого-то непонятного ощущения. Я чувствую, словно мне предстоит землетрясение, или музыка, или легкая лихорадка с жаром, а может быть, пикник. Сам не знаю, что я чувствую. Я чувствую, что мне хочется дать полисмену по уху или, может быть, обойти весь Луна-парк со всеми аттракционами.

— У тебя весна в жилах, — сказала миссис Мак-Кирк. — Сок поднимается. Было время, когда у меня ноги ходуном ходили и кровь приливала к голове, лишь только земляные черви начинали выползать при утренней росе. Тебе полезно выпить чашку чая из чертополоха и генцианы.

— Брось! — нетерпеливо сказал Мак-Кирк. —

Никакой весны не видать. Снег еще лежит на крыше сарая на заднем дворе у Донована. А вчера на Шестой авеню показались открытые вагоны трамвая, и швейцар перестал заказывать уголь. Все это означает еще шесть недель зимы, по всем признакам.

После завтрака мистер Мак-Кирк провел пятнадцать минут перед исцарапанным зеркалом, подчиняя себе непокорные волосы и поправляя галстук, зеленый с малиновым, украшенный лиловой булавкой из надгробного камня, красноречиво свидетельствовавшей о его профессии.

С тех пор как объявили забастовку, его главной привычкой стало отправляться каждое утро к салуну Флаэрти; он устраивался там на тротуаре, опираясь одной ногой на ящик чистильщика сапог, и рассматривал длинную панораму; таким образом он убивал время до двенадцати часов — обеденного времени. Сам мистер «Тигр» Мак-Кирк, с его атлетическим ростом в семьдесят дюймов, с его отличной тренировкой для спорта и драки, с гладким, бледным, приветливым лицом, с его изящным костюмом и деловым видом, представлял из себя зрелище, не отталкивающее для глаз.

Но в это утро мистер Мак-Кирк не поспешил

сразу к месту своего досуга и наблюдения. Что-то необычное, чего он не умел охватить, дрожало в воздухе. Что-то путало его мысли, возбуждало чувства, делало его одновременно томным, раздражительным, восторженным, недовольным и веселым. Он не умел поставить диагноза и не знал, что весна физиологически распускается в его организме.

Миссис Мак-Кирк говорила о весне. «Тигр» скептически оглянулся, ища ее признаки. Их было мало. Правда, шарманщики вышли на работу, но они всегда были скороспелыми предвестниками; они считали, что весна достаточно близка, и открывали уже свою охоту за медяками, как только в парке прекращалось катанье на коньках. В окнах модных магазинов расцветали пасхальные шляпы, пестрые, веселые и ликующие. В киосках на тротуарах выделялись зеленые пятна. На подоконнике в третьем этаже первая в сезоне подушка для локтей — полоска старого золота на алом фоне, — поддерживала руки задумчивой брюнетки в капоре. Ветер приносил холод с Восточной реки, но воробьи летели с соломинками к карнизам. Старьевщик, соединивший дальновидность с верой, выставил в витрине ледник и принадлежности для игры в бейсбол.

Затем взгляд «Тигра», раскритиковавший эти признаки, упал на нечто, таящее в себе зародыш обещания. С яркой новой литографии на него смотрела голова Козерога, предвещавшая свежий и крепкий напиток.

Мистер Мак-Кирк вошел в салун и заказал стакан мартовского пива.

Он бросил на стойку никелевую монету, поднял стакан к губам, пригубил, поставил стакан обратно и направился к дверям.

— В чем дело, лорд Болингброк? — насмешливо спросил буфетчик. — Вам нужна фарфоровая посуда или баккара с золотой каемкой?

— Послушайте, — сказал мистер Мак-Кирк, обернувшись и выбросив вперед горизонтально руку и подбородок под углом в сорок пять градусов. — Вы на своем месте, только когда можете подлизываться. Я раздумал пить. Что? Вы получили деньги? Так и молчите.

Таким образом, к странному настроению, овладевшему мистером Мак-Кирком, присоединилось еще непостоянство в желаниях. Покинув салун, он прошел двадцать шагов и прислонился к открытым дверям Лутца, парикмахера. Они с Лутцом были друзьями и маскировали свои чувства взаимными обидами и дубоватыми остротами.

— Эй ты, ирландский бездельник! — заревел Лутц. — Как живешь? Видно, полисмены и ловцы бродячих собак плохо исполняют свои обязанности.

— Алло, немчура! — сказал мистер Мак-Кирк. — Все скучаешь по сосискам?

— Наплевать! — воскликнул немец. — У меня душа сегодня витает выше сосисок. Весна в воздухе. Я чувствую, как она идет по лужам на мостовой, по льду на реке. Скоро начнутся пикники на островах с бочонками пива под деревьями.

— Послушай, — сказал мистер Мак-Кирк, надвигая шляпу на лоб. — Что это все дразнят меня весной? В воздухе не больше весны, чем конского волоса в диванах в меблирашках на Второй авеню. Я за теплые фуфайки и горячие оладьи.

— В тебе нет поэзии, — сказал Лутц. — Правда, еще сыро и холодно и в городе мало предвестников весны. Но есть три сорта людей, которые должны всегда прежде всех чувствовать приближение весны: это поэты, влюбленные и бедные вдовы.

Мистер Мак-Кирк пошел своей дорогой, все еще во власти непонятного ему странного волнения. Чего-то недоставало для его покоя, и он злился, потому что не знал, в чем дело. Пройдя два

квартала, он наткнулся на врага, которого честь обязывала его вызвать на бой.

Мистер Мак-Кирк пошел в атаку с характерной быстротой и яростью, заслужившими ему ласкательную кличку «Тигра». Защита мистера Кановера оказалась настолько быстрой и ловкой, что битва затянулась до тех пор, пока зрители не издали бескорыстный предостерегающий крик «Бросьте! Фараоны!»

Бойцы легко спаслись, пробежав через ближайший открытый подъезд в задний двор дома.

Мистер Мак-Кирк выплыл на другой улице. Он некоторое время постоял у фонаря, глубоко задумавшись, потом обернулся и вошел в маленький книжный магазин.

Молодая рыжеволосая женщина, со жвачкой во рту, посмотрела на него замораживающим взглядом через ледяное пространство прилавка.

— Скажите, барышня, — спросил он, — не найдется ли у вас песенник, где имеется это? Сейчас вспомню, как это начинается:

Весной пойдем мы в рощу, дорогая,
И будем вспоминать о днях былых…

— У меня есть приятель, — объяснил мистер Мак-Кирк. — Он лежит со сломанной ногой и

прислал меня за книгой. Он бредит стихами и поэзией, когда не может выйти, чтоб выпить.

— У нас этого нет, — ответила молодая женщина с нескрываемым презрением. — Но вышла новая песенка, начинающаяся словами:

Усядемся в старое кресло вдвоем,

Нам будет уютно при свете огня.

Нам нет смысла следовать за мистером «Тигром» Мак-Кирком в его дальнейших блужданиях в течение этого дня, до той минуты, когда он постучал в дверь Анны-Марии Доул.

По-видимому, богиня Истра наконец-то направила его шаги на верный путь.

— Это ты, Джимми? — закричала она с улыбкой, открывая дверь. (Анна-Мария не признавала «Тигра»). — Что это значит?

— Выйди в коридор, — сказал мистер Мак-Кирк. — Я хочу узнать твое мнение о погоде… честное слово…

— Ты рехнулся, что ли? — спросила Анна-Мария.

— Да, — сказал «Тигр». — Они весь день твердят мне, что в воздухе весна. Они врут? Или я?

— Боже мой! — сказала Анна-Мария. — Разве ты не заметил? Я почти что чувствую запах фиалок

и зеленой травы. Понятно, их еще нет, это только такое чувство.

— К этому я и веду, — сказал Мак-Кирк. — У меня было это чувство. Я сначала его не распознал. Я думал, что это, может быть, зависть меня гложет: я недавно забрел выше Четырнадцатой улицы. Но мой Katzenjammer не говорит мне о фиалках. Он твердит мне твое имя, Анна-Мария. Только ты мне нужна. Мы станем на работу в будущий понедельник, и я буду зарабатывать четыре доллара в день. Ну, решайся, детка! Хочешь, чтобы мы были парой?

— Джимми! — вздохнула Анна-Мария и вдруг исчезла в складках его пальто. — Разве ты не видишь, что сейчас весь мир охвачен весной?

Но вы сами понимаете, чем окончился этот день. Он начался таким блестящим обещанием весенних прелестей, но к концу дня в воздухе появился холодок, и выпало на дюйм снегу, — так поздно в марте! Дамы на Пятой авеню плотно закутались в свои меха. Только в окнах цветочных магазинов можно было видеть предвестников утренней улыбки приближавшейся богини Истры.

В шесть часов герр Лутц начал закрывать магазин. Он услыхал хорошо знакомый клич:

— Алло, немчура!

«Тигр» Мак-Кирк, без пиджака, со шляпой набекрень, стоял на улице, среди снежного вихря, и дымил черной сигарой.

— Donnervetter! — воскликнул Лутц. — Зима опять вернулась.

— Врешь, немчура! — дружески возразил мистер Мак-Кирк. — Теперь весна — минута в минуту.

Кошмарная ночь на лоне столичной природы

Перевод Н. Жуковской

— Вот когда можно было узнать человека насквозь, так это во время последней страшной жары, — сказал мне мой приятель, вагоновожатый трамвая № 8606. — Надо вам сказать, что Комиссар Парков и Садов, совместно с Комиссаром Лесного Департамента и Комиссаром Полиции, взяли да и сочинили такое постановление, чтобы впредь до того, как ведающее погодой Бюро не понизит до нормальной температуры воздух, публике разрешалось проводить ночь в Общественных Парках и Садах. Ну и это самое их постановление утвердил еще им Секретарь Государственных Имуществ и Общества Борьбы с Москитами в Южном Оранжуэце, а также Комиссии По Улучшению Быта Деревни. И вот, как только постановление было объявлено, началось настоящее переселение народов из собственных квартир в Общественные Парки. Через десять минут после захода солнца можно было подумать, что в этих парках происходит репетиция

комедии с раздеванием. Люди шли семьями, толпами, целыми обществами, кланами, племенами, клубами, и все это шло «наслаждаться ночной прохладой, лежа на траве под открытым небом». Те, у кого не было переносных печей для того, чтобы оградить себя от холода ночью, тащили с собой груды теплых одеял. Они устраивали очаги в сени деревьев, теснились на узеньких дорожках, зарывались в траву там, где грунт был помягче, и, таким образом, в одном только Центральном парке довольно успешно вело борьбу с ночной прохладой до пяти тысяч человеческих особей. Вы знаете, что я живу в доме элегантно-комфортабельно отделанных и устроенных квартир «Биршеба», в том, что стоит над самой высокой частью Центральной нью-йоркской дороги. Когда, значит, пришел к нам в дом этот самый приказ о ночевке в парке, такое поднялось, что можно было подумать, что сразу в двух местах у нас пожар сделался и всем жильцам грозит полная потеря имущества. Все принялись увязывать свои перины, галоши, чайники, целые вязки чесноку, ящики с углем, чтобы хоть как-нибудь в этом самом парке переночевать. Тротуар перед нашим домом, скажу я вам, был что русский лагерь во время генерального на-

ступления Оямы. Стоном стон у нас в доме стоял, начиная с самого верхнего этажа, где жил Дани Геозхизэн, до апартаментов в первом этаже, которые занимает миссис Гольдштейнуйски. «На кой прах, — бешено кричал швейцару Дани, стоя в своих синих нитяных носках, — на кой прах меня выпроваживают из моей уютной квартиры и я должен валяться в траве, как какой-нибудь кролик?! Только черт знает кто мог выдумать что-нибудь подобное!» — «Ну, вы там, потише, — остановил его полисмен, сжимая в руке свою резиновую дубинку. — Это выдумал не черт знает кто! А вы должны подчиняться предписанию полицейского комиссара. Живей собирайтесь! Все, все выбирайтесь и извольте отправляться в парк».

А как же нам хорошо жилось в наших квартирках в доме «Биршеба». О'Доуди и Штейновицы, и Каллаханы и Коганы, и Спиццинелли, и Мак-Мьюзы, и Шпигельмейеры, и Уонэсы, люди всех национальностей жили как одна большая семья. С наступлением душных жарких ночей мы организовали живую цепь из детей, которые передавали нам из пивной Келли, что на углу, кружки, так что даже и за пивом бегать не приходилось. Сидишь себе одетый ровно настолько,

насколько полагается по статусу, ветерком тебя на сквознячке обдувает, вентилятор жужжит, ноги в окошко выставишь; в шестом этаже Розенштейна дочки, сидя на пожарной лестнице, песни распевают, с восьмого доносятся звуки флейты Патси Рурка, изо всех окон дамочки наши перекликаются, уменьшительными именами друг дружку называют; одним словом, летнее пребывание в наших квартирках в доме «Бирше-ба» — это, я вам скажу, лучше всякого курорта. Самое, так сказать, модное летнее местопребывание рядом с ним показалось бы скверной дырой. Пива вдоволь, ноги в окно высунуты, старуха тебе на жаровне котлеты свиные жарит, дети в легких платьишках на тротуаре вокруг шарманщика топчутся, за квартиру у тебя за неделю уплачено, чего еще может лучшего пожелать в летнюю душную ночь человек? И вдруг нате вам! Приходит это самое полицейское предписание и вас из вашей собственной квартиры гонят ночевать в какой-то парк. Честное слово, словно мы не в свободной Америке, а в империи Российской живем! Мы все это еще им при новых выборах припомним! Ну так вот, этот самый полисмен загнал весь наш табор в ближайшие ворота парка. Там-то среди деревьев темно совсем, ну и дети, конечно,

сейчас же вой подняли, домой проситься стали. А полисмен говорит нам:

«Вы проведете ночь, лежа здесь, среди зелени, в живописной местности. Уклонение от исполнения этого предписания будет рассматриваться как оскорбление комитета Парков и заведующего Метеорологической станцией и повлечет за собой тюремное заключение. В моем ведении находятся эти тридцать акров, от этого места до Египетского памятника, и я рекомендую вам вести себя смирно и полицию не беспокоить. Проводить ночь на траве вы приговорены властями. Утром вы можете вернуться домой, но к ночи вы снова должны быть здесь».

Освещения, кроме как на аллеях, где ездят автомобили, у нас, ста семидесяти девяти квартирантов дома «Биршеба», не было никакого; приходилось устраиваться в этом проклятом лесу, кто как может. Тем, что захватили одеяла и дрова, было еще сносно; развели костры, укутались с головой в одеяла и с проклятиями кое-как улеглись на траве. Все равно и делать нечего, и смотреть нечего, и пить нечего. Тьма такая, что друга от недруга не отличишь, только носом с кем-то тычешься. Я захватил из дома новое свое зимнее пальто, красное стеганое одеяло с постели

и несколько пилюль хинина. Три раза в течение этой ночи кто-то валился на меня и коленом давил мне на горло. И три раза я принужден был вскакивать, давать сдачи по физиономии и кого-то сбрасывать вниз на посыпанную гравием дорожку. И вдруг чувствую, что ко мне жмется кто-то, от кого так и веет ароматом пивной Келли, прямо нос с носом столкнулись.

«Так это вы, Патси?» — спрашиваю, а он в ответ:

«Так это вы, Карни? Как вы думаете, долго это будет продолжаться?»

«Я погоды предсказывать не умею, — говорю я. — А только, ежели они желают удачи на ближайших выборах, они разок-другой должны нам дать поспать у себя дома, прежде чем распространять свои списки».

«Хотя бы разок поиграть на флейте у себя дома. Посидеть на ветерке у своего окошечка; в аромате жареного лука и колбасы, под грохот пробегающих внизу поездов, почитать о последних убийствах.

Чего ради пасут они нас здесь? Одни эти заползающие на своих ножках к вам в штаны всякие штучки чего стоят! А целым роем кружащиеся около вас эти, что называются москитами! Кому

это все нужно, Карни?! Если б еще за это время за квартиру не приходилось платить».

«Это ежегодная великая неделя „на траве“, которую полиция и Аптечный Трест устраивают в целях использования той части населения, которая не ездит на пикники к морю».

«Да я ни за какие деньги не могу спать на земле! У меня от этого сенная лихорадка делается и ревматизм, а в ушах у меня настоящий муравейник».

Ну вот, так проходит ночь, бывшие квартиранты дома «Биршеба» стонут и спотыкаются в темноте, не находя себе места в этом лесу. Дети хнычут от холода, наш швейцар кипятит им воду для чая и поддерживает костры дощечками с указанием дороги в казино и в таверну. Квартиранты стараются расположиться семьями, но надо иметь особое счастье для того, чтобы очутиться рядом хоть с человеком с одного с вами этажа или хотя бы одного с вами вероисповедания. То и дело кто-нибудь из Мерфи скатывается к Розенштейнам, а то Коган пытается забраться под кусты к О’Треди; происходят столкновения, и кто-нибудь вылетает на проезжую дорогу, где и остается. Кое-кто из женщин таскает друг друга за волосы, ближайшего плачущего ребенка, в

силу непосредственного чувства, — не считаясь ни с какими родственными отношениями и не разбираясь в том, чей он, свой или чужой, — награждают шлепком. В этой темноте трудно соблюдать те социальные различия, которые так строго соблюдаются в светлых квартирах дома «Биршеба». Миссис Рафферти, которая готова презирать даже асфальт, на который ступала нога Антонио Спиццинелли, просыпается с ногами на его груди; Майк О'Доуди, спускающий с лестницы всех разносчиков, появляющихся у него на пороге, поутру вынужден выпутывать свою шею из обвившихся вокруг него бакенбард Исаакштейна и тем самым на рассвете перебудить всех лежащих на дорожке. Но кое-кто, однако, за эту ночь, презирая все неудобства своего положения, успел завести приятное знакомство, так что наутро среди квартирантов дома «Биршеба» оказалось пять помолвленных парочек… В полночь я встал, стряхнув росу с волос, вышел на аллею и сел там. С одной стороны парка светились огни улиц и домов. Глядел я на эти огоньки в окнах и думал о том, что есть же счастливые люди, которые могут жить, как им нравится, и курить трубку у своего окна, в приятном холодке. Вдруг подкатывает ко мне автомобиль, из которого выходит элегант-

ный, прекрасно одетый господин.

«Милый мой, — говорит он мне, — можете вы мне объяснить, почему все эти люди лежат здесь на траве? Ведь это, кажется, не разрешается?»

«Приказ такой вышел, — говорю я, — от местной полиции, по предписанию какого-то Торфяного Общества, что, значит, все, кто не имеет за плечами особой протекции, впредь до нового распоряжения должны содержаться в парке. Еще хорошо, что приказ вышел в такое теплое время, и потому смертность, кроме как на дорожке вдоль озера и на аллеях, где ездят автомобили, не превышает нормы».

«А что же это за люди, которые лежат на этом склоне холма?» — спрашивает у меня все тот же господин.

«А это, — говорю я, — все квартиранты дома „Биршеба“. Прекрасный дом, это вам всякий скажет; в душную летнюю ночь у нас там особенно хорошо. Хоть бы скорей рассвело!»

«Значит… — говорит господин, — они все перебираются сюда на ночь и имеют возможность дышать чистым, напоенным ароматом цветов и зелени воздухом. Тем самым они избавлены от душной атмосферы камня и кирпича…»

«Дерева, мрамора, штукатурки и железа», —

добавил я.

«На это надо обратить внимание», — сказал он и что-то записал в книжку.

«Вы что ж, будете комиссар полиции, что ли?» — спросил я.

«Я владелец дома „Биршеба“, — ответил он. — И я благословляю эти деревья и траву, так как они дают мне возможность увеличить доходность моего дома. С завтрашнего дня за все эти удобства квартирная плата будет повышена на пятнадцать процентов. Покойной ночи».

Смерть дуракам

Перевод под ред. М. Лорие

У нас на Юге, когда кто-нибудь выкинет или скажет особенно монументальную глупость, люди говорят: «Пошлите за Джесси Хомзом».

Джесси Хомз — это Смерть Дуракам. Конечно, он — миф, так же как Санта-Клаус, или Дед Мороз, или Всеобщее Процветание, словом — как все эти конкретные представления, олицетворяющие идею, которую природа не удосужилась воплотить в жизнь. Даже мудрейшие из мудрецов Юга не скажут вам, откуда пошла эта поговорка, но немного найдется домов — и счастливы эти дома, — где никогда не произносили имени Джесси Хомза или не взывали к нему. Всегда с улыбкой, а порой и со слезами его призывают к исполнению его официальных обязанностей на всем пространстве от Роанока до Рио-Гранде. Очень занятой человек, этот Джесси Хомз. Я отлично помню его портрет, висевший на стене моего воображения в дни моего босоногого детства, когда встреча с ним частенько мне угрожала. Он представлялся мне страшным стариком в сером,

с длинной косматой седой бородой и красными злющими глазами. Я опасался, что он вот-вот появится на дороге в облаке пыли, с белой дубовой палкой в руке, в башмаках, подвязанных ремешками. Возможно, что когда-нибудь я еще…

Но я пишу не эпилог, а рассказ.

Я не раз с сожалением отмечал, что почти во всех рассказах, которые вообще стоит читать, люди пьют. Напитки льются рекой — то это три наперстка виски, которым балуется Дик Аризона, то никчемный китайский чай, которым пытается придать себе храбрости Лайонель Монтрезор в «Дефективных диалогах». В такую компанию не стыдно ввести и абсент — один стаканчик абсента, втянутого через серебряную трубочку, холодного, мутноватого, зеленоглазого, обманчивого.

Кернер был дураком. Кроме того, он был художником и моим добрым другом. Если есть на свете презренное существо, так это художник в глазах автора, которого он иллюстрирует. Вы попробуйте сами. Напишите рассказ из жизни золотоискателей в Айдахо. Продайте его. Истратьте полученный гонорар, а затем, через полгода, займите двадцать пять (или десять) центов и купите номер журнала, в котором этот рассказ напеча-

тан. Перед вами иллюстрация на целую страницу — ваш герой, ковбой Черный Билл. Где-то в вашем рассказе встретилось слово «лошадь». Художник сразу все понял. На Черном Билле штаны как на лорде, выехавшем травить лисицу. Через плечо у него монтекристо, в глазу монокль. На заднем плане изображен кусок Сорок второй улицы во время ремонта газовых труб и Тадж-Махал, знаменитый мавзолей в Индии.

Довольно! Я ненавидел Кернера, но как-то мы познакомились и стали друзьями. Он был молод и великолепно меланхоличен, потому что пребывал в постоянном подъеме и столь многого ждал от жизни. Да, он был, можно сказать, печален до буйства. Это все молодость. Когда человек начинает грустно веселиться, можно пари держать, что он красит волосы. У Кернера было много волос, притом старательно взлохмаченных, как и полагается гриве художника. Он курил папиросы и пил за обедом красное вино. Но главное — он был дураком. И я мудро завидовал ему и терпеливо выслушивал, как он поносит Веласкеса и Тинторетто. Однажды он сказал мне, что ему понравился мой рассказ, который попался ему в каком-то сборнике. Он пересказал мне содержание рассказа, и я пожалел, что мистер Фицджеймс

О’Брайан[153] умер и не может услышать похвалу своему произведению. Но такие озарения редко посещали Кернера, он был дураком упорным и постоянным.

Постараюсь выразиться яснее. Тут была девушка. Я лично считаю, что девушкам место либо в пансионе, либо в альбоме, но, чтобы не лишиться дружбы Кернера, я допускал существование этого вида и в природе. Он показал мне ее портрет в медальоне, она была не то блондинка, не то брюнетка, уж не помню. Она работала на фабрике за восемь долларов в неделю. Дабы фабрики не возгордились и не вздумали меня цитировать, добавлю, что девушка одолевала путь к этой роскошной плате пять лет, а начала с полутора долларов в неделю.

Отец Кернера стоил два миллиона. Поддерживать искусство он был согласен, но про фабричную работницу заявил, что это уж слишком. Тогда Кернер лишил отца наследства, переехал в дешевую мастерскую и стал питаться на завтрак колбасой, а на обед Фаррони. Фаррони, наделенный артистической душой, кормил в кредит многих художников и поэтов. Иногда Кернеру

[153] Примечания: 153

Фицджеймс О’Брайан (1828–1862) — американский писатель, автор фантастических рассказов.

удавалось продать картину. Тогда он покупал новый ковер, кольцо и дюжину галстуков, а также уплачивал Фаррони два доллара в счет долга.

Как-то вечером Кернер пригласил меня отобедать с ним и с его девушкой. Они решили пожениться, как только он научится извлекать из живописи доход. Что касается двух миллионов экс-отца — очень они ему нужны!

Девушка была прелесть. Миниатюрная, почти красивая, она держалась в этом дешевом кафе так же свободно, как если бы сидела в ресторане отеля «Палмер-Хаус» в Чикаго и уже успела засунуть за корсаж на память серебряную ложку. Она была естественна. Особенно я оценил в ней две черточки: пряжка от пояса приходилась как раз посередине ее спины, и она не рассказывала нам, что высокий мужчина с рубиновой булавкой в галстуке шел за ней по пятам от самой Четырнадцатой улицы. Я подумал: а может быть, Кернер не такой уж дурак? А потом прикинул, сколько полосатых манжет и голубых стеклянных бус для язычников можно купить на два миллиона, и решил — нет, все-таки дурак. И тут Элиз — вот, даже имя ее вспомнил — весело рассказала нам, что коричневое пятно на ее блузке произошло оттого, что хозяйка постучала к ней как раз, когда

она (Элиз, а не хозяйка) грела утюг на газовой горелке, и ей пришлось спрятать утюг под одеяло, а там оказался кусочек жевательной резинки, он пристал к утюгу, и когда она начала снова гладить блузку… Я только подивился, каким образом жевательная резинка попала под одеяло — неужели они никогда не перестают ее жевать?

Вскоре после этого — потерпите, сейчас будет и про абсент — мы с Кернером обедали вдвоем у Фаррони. Страдали гитара и мандолина; дым стелился по комнате красивыми, длинными, кудрявыми клубами, точь-в-точь как художники изображают на рождественских открытках пар от плумпудинга; дама в голубом шелковом платье и вымытых бензином перчатках запела мелодию кэтскилской горянки.

— Кернер, — сказал я, — ты дурак.

— Разумеется, — сказал Кернер, — работать она больше не будет. Этого я не допущу. Какой смысл ждать? Она согласна. Вчера я продал ту акварель — вид на Палисады. Стряпать будем на газовой плите в две конфорки. Ты еще не знаешь, какое я умею готовить рагу. Да, поженимся на будущей неделе.

— Кернер, — сказал я, — ты дурак.

— Хочешь абсенту? — великодушно предложил

Кернер. — Сегодня ты в гостях у искусства, которое при деньгах. Думаю, мы снимем квартиру с ванной.

— Я никогда не пробовал… я имею в виду абсент, — сказал я.

Официант отмерил нам по порции в стаканы со льдом и медленно долил стаканы водой.

— На вид совсем как вода в Миссисипи в большой излучине ниже Натчеса, — сказал я, с интересом разглядывая мутную жидкость.

— Можно найти такую квартиру за восемь долларов в неделю, — сказал Кернер.

— Ты дурак, — сказал я и стал потягивать абсент. — Знаешь, что тебе нужно? Тебе нужно официальное вмешательство некоего Джесси Хомза.

Кернер, не будучи южанином, не понял. Он сидел размякший, мечтая о своей квартире как истый деляга-художник, а я глядел в зеленые глаза всезнающего духа полыни.

Случайно я заметил, что процессия вакханок на длинном панно под потолком сдвинулась с места и весело понеслась куда-то слева направо. Я не сообщил о своем открытии Кернеру. Художники парят слишком высоко, чтобы замечать такие отклонения от естественных законов искусства

стенной живописи. Я потягивал абсент и насыщал свою душу полынью.

Один стакан абсента это не бог весть что, но я опять сказал Кернеру, очень ласково:

— Ты дурак. — И прибавил наше южное: — Нет на тебя Джесси Хомза.

А потом я оглянулся и увидел Смерть Дуракам, каким он всегда мне представлялся, — он сидел за соседним столиком и смотрел на нас своими грозными красными безжалостными глазами. Это был Джесси Хомз с головы до ног: длинная косматая седая борода, старомодный серый сюртук, взгляд палача и пыльные башмаки призрака, явившегося на зов откуда-то издалека. Взгляд его так и сверлил Кернера. Мне стало жутко при мысли, что это я оторвал его от неустанного исполнения его обязанностей на Юге. Я подумал о бегстве, но вспомнил, что многие все же избегли его кары, когда уже казалось, что ничто не может их спасти, разве что назначение послом в Испанию. Я назвал брата своего Кернера дураком, и мне угрожала геенна огненная. Это бы еще ничего, но Кернера я постараюсь спасти от Джесси Хомза.

Смерть Дуракам встал и подошел к нашему столику. Он оперся на него рукой и, игнорируя

меня, впился в Кернера своими горящими, мстительными глазами.

— Ты безнадежный дурак, — сказал он. — Не надоело еще тебе голодать? Предлагаю тебе еще раз: откажись от этой девушки и возвращайся к отцу. Не хочешь — пеняй на себя.

Лицо Смерти Дуракам было на расстоянии фута от лица его жертвы, но, к моему ужасу, Кернер ни словом, ни жестом не показал, что заметил его.

— Мы поженимся на будущей неделе, — пробормотал он рассеянно. — Кой-какая мебель у меня есть, прикупим несколько подержанных стульев и справимся.

— Ты сам решил свою судьбу, — сказал Смерть Дуракам тихим, но грозным голосом. — Считай себя все равно что мертвым. Больше предложений не жди.

— При лунном свете, — продолжал Кернер мечтательно, — мы будем сидеть на нашем чердаке с гитарой, будем петь и смеяться над ложными радостями гордости и богатства.

— Проклятье на твою голову! — прошипел Смерть Дуракам, и у меня волосы зашевелились на голове, когда я увидел, что Кернер по-прежнему не замечает присутствия Джесси Хомза. И я понял, что по каким-то неведомым причинам

завеса поднялась только для меня одного и что мне суждено спасти моего друга от руки Смерти Дуракам. Объявший меня ужас, смешанный с восторгом, видимо, отразился на моем лице.

— Прости меня, — сказал Кернер со своей бледной, тихой усмешкой. — Я разговаривал сам с собой? Кажется, это у меня входит в привычку.

Смерть Дуракам повернулся и вышел из ресторана.

— Подожди меня здесь, — сказал я, вставая. — Я должен поговорить с этим человеком. Почему ты ничего ему не ответил? Неужели оттого, что ты дурак, ты должен издохнуть, как мышь под его сапогом? Ты что, даже пискнуть не мог в свою защиту?

— Ты пьян, — отрезал Кернер. — Никто ко мне не обращался.

— Тот, кто лишил тебя разума, — сказал я, — только что стоял рядом с тобой и обрек тебя на гибель. Ты не слепой и не глухой.

— Ничего такого я не заметил, — сказал Кернер. — Я не видел за этим столом никого, кроме тебя. Сядь. Больше ты никогда не получишь абсента.

— Жди меня здесь, — сказал я, взбешенный. — Раз тебе не дорога твоя жизнь, я сам тебя спасу.

Я выскочил на улицу и догнал старика в сером через несколько домов. Он был таким, каким я тысячу раз видел его в воображении, — свирепый, седой, грозный. Он опирался на белую дубовую палку, и, если бы улиц не поливали, пыль так и летела бы у него из-под ног.

Я схватил его за рукав и потащил в темный угол. Я знал, что он — миф, и не хотел, чтобы полисмен застал меня разговаривающим с пустотой — не хватало еще очутиться в больнице Бельвю, разлученным со своей серебряной спичечницей и брильянтовым кольцом!

— Джесси Хомз, — сказал я, глядя ему в лицо и симулируя храбрость. — Я вас знаю. Я слышал о вас всю жизнь. Теперь я понял, каким наказанием Божьим вы были для Юга. Вместо того чтобы истреблять дураков, вы убивали талант и молодость, столь необходимые для жизни народа и его величия. Вы сами дурак, Хомз. Вы начали убивать самых лучших, самых блестящих своих соотечественников три поколения назад, когда старые, обветшалые мерки общественных отношений, приличий и чести были узкими и лицемерными. Вы это доказали, наложив печать смерти на моего друга Кернера, умнейшего парня, какого я когда-либо встречал.

Смерть Дуракам посмотрел на меня пристально и угрюмо.

— Странно на вас действует вино, — сказал он задумчиво. — Да-да, я вспомнил, кто вы такой. Вы сидели с ним за столиком. Если я не ослышался, его вы тоже называли дураком.

— Называл, — сказал я. — И очень часто. Это от зависти. По всем общепризнанным меркам он — самый отъявленный, самый болтливый, самый грандиозный дурак на всем свете. Поэтому вы и хотите его убить.

— Не откажите в любезности, — сказал старик, — объясните, за кого или за что вы меня принимаете.

Я громко расхохотался, но тотчас умолк, сообразив, что мне несдобровать, если кто увидит, как я предаюсь шумному веселью в обществе кирпичной стены.

— Вы — Джесси Хомз, Смерть Дуракам, — сказал я очень серьезно, — и вы хотите убить моего друга Кернера. Не знаю, кто вас сюда позвал, но если вы его убьете, я добьюсь, чтобы вас арестовали. То есть, — добавил я, теряя апломб, — если мне удастся сделать так, чтобы полисмен вас увидел. Они и смертных-то неважно ловят, а уж для того, чтобы изловить убийцу, который миф, понадо-

бится вся полиция Нью-Йорка.

— Ну, мне пора, — отрывисто произнес Смерть Дуракам. — Ступайте-ка лучше домой да проспитесь. Спокойной ночи.

Я опять испугался за Кернера и перешел на другой тон, более мягкий и смиренный. Припав к плечу старика, я стал его молить:

— Добрый мистер Смерть Дуракам, пожалуйста, не убивайте маленького Кернера! Возвращайтесь лучше к себе на Юг, убивайте там на здоровье конгрессменов и всякую голытьбу, а нас оставьте в покое! Или почему бы вам не пойти на Пятую авеню убивать миллионеров, которые держат свои деньги под замком и не позволяют молодым дуракам жениться, потому что невеста не из того квартала? Пойдем выпьем, Джесси, а потом уж займетесь своим делом.

— Вы знаете эту девушку, из-за которой ваш друг валяет дурака? — спросил Джесси Хомз.

— Я был ей представлен, — отвечал я, — потому и назвал его дураком. Он дурак потому, что давно на ней не женился. Он дурак потому, что все ждал и надеялся на согласие какого-то нелепого дурака с двумя миллионами — не то отца, не то дяди.

— Возможно, — сказал Смерть Дуракам, — возможно, мне следовало посмотреть на это иначе.

Вы можете сходить в тот ресторан и привести сюда вашего друга Кернера?

— Что толку, Джесси? — зевнул я. — Он ведь вас не видит. Он даже не знает, что вы говорили с ним за столиком. Вы же вымышленное лицо, сами знаете.

— Может быть, теперь увидит. Приведите его, пожалуйста.

— Хорошо, — сказал я. — Но вы, мне кажется, не совсем трезвы, Джесси. Вы как-то расплываетесь, теряете очертания. Смотрите, не исчезните, пока я хожу.

Я вернулся в ресторан и сказал Кернеру:

— Там на улице дожидается один старик с невидимой манией человекоубийства. Он хочет тебя видеть. Кажется, он хочет также тебя убить. Пошли. Ты его все равно не увидишь, так что бояться нечего.

Кернер словно бы обеспокоился.

— Черт возьми, — сказал он, — вот не думал, что один стакан абсента может оказать такое действие. В дальнейшем ты лучше держись пива. Я провожу тебя домой.

Я привел его к Джесси Хомзу.

— Рудольф, — сказал Смерть Дуракам, — я сдаюсь. Приведи ее ко мне. Руку, мальчик.

— Спасибо, папа, — сказал Кернер, пожимая руку старику. — Вы об этом не пожалеете, когда узнаете ее поближе.

— Так ты его видел, когда он говорил с тобой за столом? — спросил я Кернера.

— Мы уже год как не разговаривали, — сказал Кернер. — Теперь-то все в порядке.

Я пошел прочь.

— Ты куда? — крикнул мне вдогонку Кернер.

— Иду отдаться в руки Джесси Хомзу, — ответил я сдержанно и с достоинством.

В Аркадии проездом

Перевод И. Гуровой

На Бродвее есть отель, которого еще не успели обнаружить любители летних курортов. Он обширен и прохладен. Номера его отделаны темным дубом, холодным даже в полуденный зной. Ветерки домашнего изготовления и темно-зеленые живые изгороди дарят ему все прелести Адирондакских гор без присущих им неудобств. Ни одному альпинисту не дано изведать той безмятежной радости, какую испытывает человек, когда он взбирается по его широким лестницам или под бдительным оком опытного проводника с грудью, усаженной медными пуговицами, мечтательно уносится ввысь в одном из лифтов, точно в кабинке фуникулера. Здешний повар готовит такую форель, какой вам не попробовать даже в Белых горах Невады, его омары и другие дары моря заставят позеленеть от зависти Олд-Пойнт-Комфорт («Да будь я проклят, сэр!»), а оленина из штата Мэн могла бы смягчить и чиновничье сердце старшего лесничего.

Этот оазис в пустыне июльского Манхэттена

известен лишь избранным. И в течение июля немногочисленные гости отеля блаженствуют в прохладном сумраке величественного обеденного зала и созерцают друг друга через белоснежные пространства незанятых столиков, безмолвно радуясь своему уединению.

Избыточный рой внимательных официантов на резиновом ходу спешит исполнить их малейшее желание еще до того, как оно будет высказано. Температура воздуха остается неизменно апрельской. На потолке в нежных акварельных тонах изображено летнее небо, и по нему плывут прелестные облачка, которые в отличие от настоящих не огорчают нас своим безвозвратным исчезновением.

Приятный отдаленный рев Бродвея в воображении счастливых гостей преображается в баюкающий рокот водопада под сенью леса. Они тревожно прислушиваются к незнакомым шагам, томясь опасением, что их приют обнаружен и сейчас в него вторгнутся те беспокойные искатели удовольствий, что без устали выслеживают нетронутую природу в самых сокровенных ее убежищах.

Вот так каждый жаркий сезон горстка истинных знатоков ревниво прячется от посторонних

глаз в опустевшем караван-сарае, сполна наслаждаясь прелестями гор и морского побережья, которые сервируют им здесь искусство и усердие.

В июле нынешнего года отель одарила своим присутствием «мадам Элоиза д'Арси Бомон», как значилось на карточке, которую она послала портье для регистрации.

Мадам Бомон отвечала самым строгим требованиям отеля «Лотос». Ей был присущ тонкий аристократизм, смягченный и оттененный истинной любезностью, которая тотчас превратила всех служащих отеля в ее рабов. Когда она звонила, коридорные дрались за честь явиться к ней в номер. Только законы, охраняющие частную собственность, мешали портье признать ее единовластной владелицей отеля и всего, что в нем находилось. Для гостей же в ней воплотился тот завершающий штрих женственности, избранности и красоты, которого только и не хватало отелю для полного совершенства.

Эта сверхидеальная гостья редко покидала отель. Ее привычки удивительно гармонировали с традициями взыскательных клиентов «Лотоса». Чтобы вполне насладиться благами этой изумительной гостиницы, необходимо игнорировать

город, словно он находится от нее в десятках и десятках миль. Хороший тон разрешает краткое посещение соседнего увеселительного сада под покровом вечерней мглы. Но в дневную жару принято оставаться в тенистых пределах «Лотоса» — так форель неподвижно повисает под хрустальными сводами своей излюбленной заводи.

Мадам Бомон держалась в отеле «Лотос» особняком, но ее одиночество было одиночеством королевы — всего лишь прерогативой высокого сана. Она завтракала в десять — грациозное, томное, хрупкое создание, казалось излучавшее в полутьме столового зала прохладный серебристый свет, словно цветок жасмина в сумерках.

Но особенно великолепна была мадам Бомон за обедом. Ее платье было чарующим и эфирным, как перламутровая дымка над горным ущельем, где низвергается невидимый водопад. Из чего было сшито это платье, автор сказать не берется. К его отделанному кружевом корсажу неизменно бывали приколоты бледно-красные розы. Такие платья метрдотель почтительно встречает у самых дверей. При взгляде на него вашему воображению невольно рисовался Париж, а может быть, таинственные графини, и уж во всяком

случае — Версаль, шпаги, миссис Фиск и рулетка. В отеле «Лотос» неведомо как возник слух, что мадам Бомон принадлежит к космополитическим кругам и что ее тонкие белые пальцы дергают некие международные нити в пользу России. Так надо ли удивляться, что, привыкнув к самым ровным и гладким путям мира, эта его гражданка сумела по достоинству оценить утонченную элегантность отеля «Лотос», лучшего места во всей Америке для спокойного отдыха в летнюю жару.

На третий день пребывания мадам Бомон в отеле туда явился и снял номер некий молодой человек. Его костюм (если перечислять достоинства вновь прибывшего в положенном порядке) был неброско модным, черты лица — красивыми и правильными, а их выражение — как раз таким, какое подобает человеку, привыкшему вращаться в высшем свете. Он сообщил портье, что намерен пробыть тут дня три-четыре, спросил расписание пароходов, отплывающих в Европу, и погрузился в сладостную нирвану несравненного отеля с удовлетворенным видом путешественника, который добрался до любимой придорожной харчевни.

Звали молодого человека — если не подвергать сомнению правдивость регистрационной

книги — Гарольд Фаррингтон. Он вступил в медлительное струение жизни отеля «Лотос» столь тактично и бесшумно, что ни единый всплеск не потревожил слуха тех, кто, подобно ему, искал там тихого отдохновения. Он вкусил от творений шеф-повара и от цветка, который дал отелю его название, и, подобно остальным счастливым мореходам, предался баюкающей власти мирного покоя. Всего за день он обзавелся собственным столиком, собственным официантом и опасениями, что пыхтящие орды любителей отдыха, от которых обливается потом Бродвей, ринутся в этот географически столь близкий, хотя и укромный приют, неся ему погибель.

Мистер Фаррингтон жил в отеле второй день, когда мадам Бомон, выходя из зала после обеда, уронила носовой платок. Мистер Фаррингтон поднял платок и вручил его мадам Бомон без тех экспансивных излияний, которые сопровождают попытку завязать знакомство.

Быть может, избранников, собравшихся под кровом отеля «Лотос», связывало некое мистическое сродство душ. А может быть, ощущение общности возникло из сознания, что фортуна равно улыбнулась им, приведя их в этот бродвейский курорт курортов. Мадам Бомон и мистер Фар-

рингтон обменялись словами, исполненными изысканной любезности и чуть заметного намека на возможность пренебречь сухими требованиями этикета. И как бы овеянное непринужденной атмосферой настоящего летнего курорта, знакомство это дало ростки, расцвело и принесло плоды в единый миг, точно апельсинное деревце при взмахе волшебной палочки в руках фокусника. Они вышли на балкон, которым завершался коридор, и несколько минут перебрасывались воланом светской беседы.

— Все эти старые курорты так надоедают, — сказала мадам Бомон со слабой, но прелестной улыбкой. — Какой смысл бежать в горы или на берег моря от шума и пыли, если люди, которые их поднимают, следуют за нами и туда?

— Даже океан уже больше не служит убежищем от плебеев, — печально изрек Фаррингтон. — Теперь даже самый фешенебельный пароход трудно отличить от парома. Да смилуется над нами небо, когда гиены летнего отдыха обнаружат, что «Лотос» находится куда дальше от Бродвея, чем Тысяча островов или Макинак[154].

— Надеюсь, наша тайна останется неприкос-

[154] Примечания: 154

Тысяча островов — острова на реке Св. Лаврентия, где находятся известные курорты. Макинак — курорт в штате Мичиган.

новенной еще неделю, — заметила мадам Бомон со вздохом и улыбкой. — Право, не представляю, где я могла бы укрыться, если бы они наводнили милый «Лотос». Мне известно лишь одно место, столь же восхитительное летом, — замок графа Палинского среди Уральских гор.

— Говорят, Баден-Баден и Канн в этом сезоне совсем обезлюдели, — сказал Фаррингтон. — Из года в год старые курорты все больше приходят в запустение. Быть может, не мы одни ищем тихие приюты, неизвестные толпе.

— Я могу предаваться этому восхитительному отдыху еще три дня, — сказала мадам Бомон. — «Седрик» отплывает в понедельник.

Глаза Гарольда Фаррингтона выразили всю глубину его сожаления.

— Я также должен отбыть в понедельник, — сказал он. — Но не за границу.

Мадам Бомон повела округлым плечом на иностранный манер.

— Скрываться здесь вечно, увы, нельзя, хоть это и восхитительно! Уже более месяца, как château[155] заново отделан и ждет меня. Устраивать загородные приемы — как это скучно! Но я

---

[155] Примечания: 155
Замок *(франц.)*

никогда не забуду этой недели в отеле «Лотос».

— И я никогда не забуду, — оказал Фаррингтон вполголоса, — как никогда не прощу «Седрику».

Вечером в воскресенье, три дня спустя, они сидели за маленьким столиком на том же балконе. Вышколенный официант, поставив перед ними мороженое и два бокала с крюшоном, тактично удалился.

На мадам Бомон было то же чудесное вечернее платье, которое она ежедневно надевала к обеду. Лицо ее было задумчиво. На столике рядом с ней лежал изящный кошелек с цепочкой. Доев мороженое, она открыла кошелек и вынула бумажный доллар.

— Мистер Фаррингтон, — оказала она с той самой улыбкой, которая покорила отель «Лотос», — мне надо вам кое-что рассказать. Утром я уйду еще до завтрака, потому что мне пора возвращаться на работу. Я работаю в универсальном магазине Кейси, в чулочном отделе, и мой отпуск кончается завтра в восемь. Этот доллар — все, что у меня осталось до следующей субботы. А получу я тогда восемь долларов. Вы — настоящий джентльмен и были со мной таким хорошим, что я решила на прощанье рассказать вам правду. Я целый год во всем себя урезывала, чтобы скопить

деньги на этот отпуск. Мне хотелось хоть один раз недельку пожить как знатная леди. Чтоб вставать, когда я пожелаю, а не вскакивать с постели каждый божий день в семь утра. И чтоб все было самым лучшим, и чтоб меня обслуживали, а я бы только звонила в звонок, как богатые дамы. Ну, вот я и пожила так, и, наверное, такой счастливой недели у меня больше в жизни не будет. Теперь я вернусь на работу и в свою комнатушку, но этой радости мне на год хватит. А вам я решила все сказать потому, мистер Фаррингтон, что я… что мне показалось, будто я вам нравлюсь, а вы… вы мне тоже нравитесь. Наверное, надо сразу было сказать вам все начистоту, только я ведь жила точно в сказке. Ну, вот я и разговаривала про Европу и о том, о чем читала в книжках про разные страны, и делала перед вами вид, будто я графиня какая-нибудь. А это платье — другого приличного у меня и нет — я купила у О'Доуда и Левинского в рассрочку. Стоит оно семьдесят пять долларов и сшито по мерке. Я внесла наличными десять, а теперь буду отдавать им по доллару в неделю, пока не расплачусь. Вот и все, мистер Фаррингтон, кроме того только, что зовут меня не мадам Бомон, а Мэйми Сайвитер, и позвольте поблагодарить вас за ваше внимание. Этот доллар

пойдет завтра в первый взнос за платье. А теперь я, пожалуй, вернусь к себе в номер.

Гарольд Фаррингтон слушал исповедь лучшего украшения отеля «Лотос», но лицо его оставалось непроницаемым. Когда девушка умолкла, он вытащил из кармана небольшую книжку, похожую на чековую. Огрызком карандаша он что-то нацарапал на бланке, оторвал листок, придвинул его к своей собеседнице и взял доллар.

— Мне тоже с утра на работу, — сказал он, — так можно начать и сейчас. Вот квитанция за взнос в один доллар. Я четвертый год работаю у О'Доуда и Левинского сборщиком платежей. А интересно, что мы с вами одинаково придумали, как провести отпуск, верно? Я давно прицеливался пожить в шикарном отеле, ну и откладывал из своих двадцати процентов комиссионных. Послушайте, Мэйми, а не прокатиться ли нам вечерком в субботу на Кони-Айленд? На пароходе?

Лицо лжемадам Элоизы д'Арси Бомон просияло.

— Ну конечно, мистер Фаррингтон! По субботам магазин закрывается в двенадцать. Кони-Айленд — это тоже ничего, хоть мы и прожили неделю со всякой знатью.

Под балконом в духоте июльского вечера ры-

чал и гремел изнывающий город. Внутри отеля «Лотос» царил приятный прохладный сумрак, и услужливый официант неспешно прогуливался за стеклянной дверью, готовый по кивку выполнить любой заказ мадам Бомон и ее кавалера.

Фаррингтон распрощался с мадам Бомон у лифта, и она последний раз вознеслась в свой номер. Но еще раньше, когда они подходили к бесшумной кабине, он сказал:

— А про «Гарольда Фаррингтона» забудьте, ладно? Моя фамилия Мак-Манус, Джеймс Мак-Манус. Некоторые называют меня Джимми.

— Спокойной ночи, Джимми, — сказала мадам Бомон.

Погребок и Роза

Перевод Н. Дехтеревой

Мисс Пози Кэрингтон заслуженно пользовалась славой. Жизнь ее началась под малообещающей фамилией Богс, в деревушке Кранбери-Корнерс. В восемнадцать лет она приобрела фамилию Кэрингтон и положение хористки в столичном театре варьете. После этого она легко одолела положенные ступени от «фигурантки», участницы знаменитого октета «Пташка» в нашумевшей музыкальной комедии «Вздор и врали», к сольному номеру в танце букашек в «Фоль де Роль» и, наконец, к роли Тойнет в оперетке «Купальный халат короля» — роли, завоевавшей расположение критиков и создавшей ей успех. К моменту нашего рассказа мисс Кэрингтон купалась в славе, лести и шампанском, и дальновидный герр Тимоти Гольдштейн, антрепренер, заручился ее подписью на солидном документе, гласившем, что мисс Пози согласна блистать весь наступающий сезон в новой пьесе Дайд Рича «При свете газа».

Незамедлительно к герру Тимоти явился молодой талантливый сын века, актер на характерные

роли, мистер Хайсмит, рассчитывавший получить ангажемент на роль Сола Хэйтосера, главного мужского комического персонажа в пьесе «При свете газа».

— Милый мой, — сказал ему Гольдштейн, — берите роль, если только вам удастся ее получить. Мисс Кэрингтон меня все равно не послушает. Она уже отвергла с полдюжины лучших актеров на амплуа «деревенских простаков». И говорит, что ноги ее не будет на сцене, пока не раздобудут настоящего Хэйтосера. Она, видите ли, выросла в провинции, и когда этакое оранжерейное растеньице с Бродвея, понатыкав в волосы соломинок, пытается изображать полевую травку, мисс Пози просто из себя выходит. Я спросил ее, шутки ради, не подойдет ли для этой роли Ленман Томпсон. «Нет, — заявила она. — Не желаю ни его, ни Джона Дрю, ни Джима Корбета, — никого из этих щеголей, которые путают турнепс с турникетом. Мне чтобы было без подделок». Так вот, мой милый, хотите играть Сола Хэйтосера — сумейте убедить мисс Кэрингтон. Желаю удачи.

На следующий день Хайсмит уже ехал поездом в Кранбери-Корнерс. Он пробыл в этом глухом и скучном местечке три дня. Он разыскал Богсов и вызубрил назубок всю историю их рода до тре-

тьего и четвертого поколений включительно. Он тщательно изучил события и местный колорит Кранбери-Корнерс. Деревня не поспевала за мисс Кэрингтон. На взгляд Хайсмита, там, со времени отбытия единственной жрицы Терпсихоры, произошло так же мало существенных перемен, как бывает на сцене, когда предполагается, что «с тех пор прошло четыре года». Приняв, подобно хамелеону, окраску Кранбери-Корнерс, Хайсмит вернулся в город хамелеоновских превращений.

Все произошло в маленьком погребке, — именно здесь пришлось Хайсмиту блеснуть своим актерским искусством. Уточнять место действия излишне: есть только один погребок, где вы можете рассчитывать встретить мисс Пози Кэрингтон по окончании спектакля «Купальный халат короля».

За одним из столиков сидела небольшая оживленная компания, к которой тянулись взгляды всех присутствующих. Миниатюрная, пикантная, задорная, очаровательная, упоенная славой, мисс Кэрингтон по праву должна быть названа первой. За ней герр Гольдштейн, громкоголосый, курчавый, неуклюжий, чуточку встревоженный, как медведь, каким-то чудом поймавший в лапы бабочку. Следующий — некий служитель прессы,

грустный, вечно настороженный, расценивающий каждую обращенную к нему фразу как возможный материал для корреспонденции и поглощающий свои омары а-ля Ньюбург в величественном молчании. И, наконец, молодой человек с пробором и с именем, которое сверкало золотом на оборотной стороне ресторанных счетов. Они сидели за столиком, а музыканты играли, лакеи сновали взад и вперед, выполняя свои сложные обязанности, неизменно повернувшись спиной ко всем нуждающимся в их услугах, и все это было очень мило и весело, потому что происходило на девять футов ниже тротуара.

В одиннадцать сорок пять в погребок вошло некое существо. Первая скрипка вместо ля взяла ля бемоль; кларнет пустил петуха в середине фиоритуры; мисс Кэрингтон фыркнула, а юноша с пробором проглотил косточку от маслины.

Вид у вновь вошедшего был восхитительно и безупречно деревенский. Тощий, нескладный, неповоротливый парень с льняными волосами, с разинутым ртом, неуклюжий, одуревший от обилия света и публики. На нем был костюм цвета орехового масла и ярко-голубой галстук, из рукавов на четыре дюйма торчали костлявые руки, а из-под брюк на такую же длину высовы-

вались лодыжки в белых носках. Он опрокинул стул, уселся на другой, закрутил винтом ногу вокруг ножки столика и заискивающе улыбнулся подошедшему к нему лакею.

— Мне бы стаканчик имбирного пива, — сказал он в ответ на вежливый вопрос официанта.

Взоры всего погребка устремились на пришельца. Он был свеж, как молодой редис, и незатейлив, как грабли. Вытаращив глаза, он сразу же принялся блуждать взглядом по сторонам, словно высматривая, не забрели ли свиньи на грядки с картофелем. Наконец его взгляд остановился на мисс Кэрингтон. Он встал и пошел к ее столику с широкой сияющей улыбкой, краснея от приятного смущения.

— Как поживаете, мисс Пози? — спросил он с акцентом, не оставляющим сомнения в его происхождении. — Или вы не узнаете меня? Я ведь Билл Самерс, — помните Самерсов, которые жили как раз за кузницей? Ну ясно, я малость подрос с тех пор, как вы уехали из Кранбери-Корнерс. А знаете, Лиза Перри так и полагала, что я, очень даже возможно, могу встретиться с вами в городе. Лиза ведь, знаете, вышла замуж за Бена Стэнфилда, и она говорит…

— Да что вы? — перебила его мисс Пози с живо-

стью. — Чтобы Лиза Перри вышла замуж? С ее-то веснушками?!

— Вышла замуж в июне, — ухмыльнулся сплетник. — Теперь она переехала в Татам-Плейс. А Хэм Райли, тот стал святошей. Старая мисс Близерс продала свой домишко капитану Спунеру; у Уотерсов младшая дочка сбежала с учителем музыки; в марте сгорело здание суда; вашего дядюшку Уайли выбрали констеблем; Матильда Хоскинс загнала себе иглу в руку и умерла. А Том Билл приударяет за Салли Лазрап, — говорят, ни одного вечера не пропускает, все торчит у них на крылечке.

— За этой лупоглазой? — воскликнула мисс Кэрингтон несколько резко. — Но ведь Том Билл когда-то… Простите, друзья, я сейчас. Знакомьтесь. Это мой старый приятель, мистер… как вас? Да, мистер Самерс. Мистер Гольдштейн, мистер Рикетс, мистер… о, а как же ваша фамилия? Ну, все равно: Джонни. А теперь пойдемте вон туда, расскажите мне еще что-нибудь.

Она повлекла его за собой к пустому столику, стоявшему в углу. Герр Гольдштейн пожал жирными плечами и подозвал официанта. Репортер слегка оживился и заказал абсент. Юноша с пробором погрузился в меланхолию. Посетители

погребка смеялись, звенели стаканами и наслаждались спектаклем, который Пози давала им сверх своей обычной программы. Некоторые скептики перешептывались насчет «рекламы» и улыбались с понимающим видом.

Пози Кэрингтон оперлась на руки своим очаровательным подбородком с ямочкой и забыла про публику — способность, принесшая ей лавры.

— Я что-то не припоминаю никакого Билла Самерса, — сказала она задумчиво, глядя прямо в невинные голубые глаза сельского жителя. — Но вообще-то Самерсов я помню. У нас там, наверное, не много произошло перемен. Вы моих давно видали?

И тут Хайсмит пустил в ход свой козырь. Роль Сола Хэйтосера требовала не только комизма, но и пафоса. Пусть мисс Кэрингтон убедится, что и с этим он справляется не хуже.

— Мисс Пози, — начал «Билл Самерс». — Я заходил в ваш родительский дом всего дня три тому назад. Да, правду сказать, особо больших перемен там нет. Вот только сиреневый куст под окном кухни вырос на целый фут, а вяз во дворе засох, пришлось его срубить. И все-таки все словно бы не то, что было раньше.

— Как мама? — спросила мисс Кэрингтон.

— Когда я в последний раз видел ее, она сидела на крылечке, вязала дорожку на стол, — сказал «Билл». — Она постарела, мисс Пози. Но в доме все по-прежнему. Ваша матушка предложила мне присесть. «Только, Уильям, не троньте ту плетеную качалку, — сказала она. — Ее не касались с тех пор, как уехала Пози. И этот фартук, который она начала подрубать, — он тоже так вот и лежит с того дня, как она сама бросила его на ручку качалки. Я все надеюсь, — говорит она, — что когда-нибудь Пози еще дошьет этот рубец».

Мисс Кэрингтон властным жестом подозвала лакея.

— Шампанского — пинту, сухого, — приказала она коротко. — Счет Гольдштейну.

— Солнце светило прямо на крыльцо, — продолжал кранберийский летописец, — и ваша матушка сидела как раз против света. Я, значит, и говорю, что, может, ей лучше пересесть немножко в сторону. «Нет, Уильям, — говорит она, — стоит мне только сесть вот так да начать посматривать на дорогу, и я уж не могу сдвинуться с места. Всякий день, как только выберется свободная минутка, я гляжу через изгородь, высматриваю, не идет ли моя Пози. Она ушла от нас ночью, а наутро мы видели в пыли на дороге

следы ее маленьких башмачков. И до сих пор я все думаю, что когда-нибудь она вернется назад по этой же самой дороге, когда устанет от шумной жизни и вспомнит о своей старой матери».

— Когда я уходил, — закончил «Билл», — я сорвал вот это с куста перед вашим домом. Мне подумалось, может, я и впрямь увижу вас в городе, ну, и вам приятно будет получить что-нибудь из родного дома.

Он вытащил из кармана пиджака розу — блекнущую, желтую, бархатистую розу, поникшую головкой в душной атмосфере этого вульгарного погребка, как девственница на римской арене перед горячим дыханием львов.

Громкий, но мелодичный смех мисс Пози заглушил звуки оркестра, исполнявшего «Колокольчики».

— Ах, бог ты мой, — воскликнула она весело. — Ну есть ли что на свете скучнее нашего Кранбери? Право, теперь, кажется, я не могла бы пробыть там и двух часов — просто умерла бы со скуки. Ну, я очень рада, мистер Самерс, что повидалась с вами. А сейчас, пожалуй, мне пора отправляться домой да хорошенько выспаться.

Она приколола желтую розу к своему чудесному элегантному шелковому платью, встала и

повелительно кивнула в сторону герра Гольдштейна.

Все трое ее спутников и «Билл Самерс» проводили мисс Пози к поджидавшему ее кебу. Когда ее бесчисленные оборки и ленты были благополучно размещены, мисс Кэрингтон на прощанье одарила всех ослепительным блеском зубок и глаз.

— Зайдите навестить меня, Билл, прежде чем поедете домой, — крикнула она, и блестящий экипаж тронулся.

Хайсмит, как был, в своем маскарадном костюме, отправился с герром Гольдштейном в маленькое кафе.

— Ну, каково, а? — спросил актер, улыбаясь. — Придется ей дать мне Сола Хэйтосера, как по-вашему? Прелестная мисс ни на секунду не усомнилась.

— Я не слышал, о чем вы там разговаривали, — сказал Гольдштейн, — но костюм у вас и манеры — что надо. Пью за ваш успех. Советую завтра же, с утра, заглянуть к мисс Кэрингтон и атаковать ее насчет роли. Не может быть, чтобы она осталась равнодушна к вашим способностям.

В одиннадцать сорок пять утра на следующий день Хайсмит, элегантный, одетый по последней

моде, с уверенным видом, с цветком фуксии в петлице, явился к мисс Кэрингтон в ее роскошные апартаменты в отеле.

К нему вышла горничная актрисы, француженка.

— Мне очень жаль, — сказала мадемуазель Гортенз, — но она поручиль передать это всем. Ах, как жаль! Мисс Кэрингтон разорваль все контракт с театром и уехаль жить в этот, как это? Да, в Кранбери-Корнэр.

Трубный глас

Перевод под ред. В. Азова

Одну часть этого рассказа можно найти в архиве полицейского управления, другая же извлечена из конторы одной газеты.

Как-то раз, недели через две после того, как миллионер Нордкрасс был найден мертвым у себя дома, убитый грабителями, — убийца, безмятежно прогуливавшийся по Бродвею, вдруг встретился лицом к лицу с сыщиком Барни Вудсом.

— Ты ли это, Джонни Кернан? — спросил Вудс, уже пять лет страдавший на людях близорукостью.

— Я самый! — сердечно воскликнул Кернан. — Да ведь это Барни Вудс, старый Барни Вудс из Сент-Джо! Ну, брат, покажись-ка! Что ты поделываешь здесь, на Востоке? Неужели можно было доехать зайцем до самого Нью-Йорка?

— Я уже несколько лет как живу в Нью-Йорке, — сказал Вудс. — Я служу сыщиком в городской полиции.

— Ну, ну! — сказал, улыбаясь и весь сияя от удо-

вольствия, Кернан и похлопал сыщика по плечу.

— Зайдем к Мюллеру, — сказал Вудс, — и отыщем там спокойный уголок. Я с удовольствием поболтаю с тобой.

Было без нескольких минут четыре. Отлив из контор еще не начался, и они нашли в кафе укромное местечко.

Кернан, хорошо одетый, с несколько хвастливым и самоуверенным видом, сел напротив маленького сыщика, обладавшего светлыми, выцветшими льняными усиками и косыми глазами и одетого в шевиотовый костюм из магазина готового платья.

— Чем ты теперь занимаешься? — спросил Вудс. — Ты уехал из Сент-Джо за год до меня.

— Продаю акции моего медного рудника, — сказал Кернан. — Я, может быть, открою здесь контору. Ну-ну! Итак, старина Барни теперь нью-йоркский сыщик? Тебя всегда тянуло к этому. Ты ведь и в Сент-Джо служил в полиции после того, как я уехал. Не правда ли?

— Шесть месяцев, — сказал Вудс. — А теперь еще один вопрос, Джонни. Я довольно внимательно следил за твоими похождениями с тех пор, как ты обработал это дело в гостинице в Саратоге, и я не помню, чтобы ты когда-нибудь пускал в ход

револьвер. Почему ты убил Нордкрасса?

Кернан несколько минут пристально и сосредоточенно глядел на кусочек лимона в стакане виски с содовой; затем он взглянул на сыщика с неожиданной, несколько кривой, но радостной улыбкой.

— Как ты догадался, Барни? — спросил он с восхищением. — Честное слово, я думал, что я обделал это дело так чисто и гладко, что комар носу не подточит. Неужели я оставил там где-нибудь свою визитную карточку?

Вудс положил на стол небольшой золотой карандаш в виде брелока.

— Я тебе подарил его на Рождество, в последний год, когда мы проводили праздники вместе в Сент-Джо. У меня до сих пор твой прибор для бритья. Эту штучку я нашел под ковром Нордкрасса в комнате. Предупреждаю тебя, чтобы ты был осторожен в своих словах. Мы когда-то были друзьями, но теперь я должен исполнить свой долг. Тебе придется сесть на стул за Нордкрасса[156].

Кернан рассмеялся.

— Счастье мне не изменило, — сказал он. — Кто бы подумал, что именно старина Барни следит

---

[156] Примечания: 156

На электрический стул — орудие смертной казни в Америке.

за мной!

Он сунул руку под пальто, но Вудс в ту же минуту приставил ему к боку револьвер.

— Убери эту штуку, — сказал Кернан, морща нос. — Я только произвожу одно исследование. Ага! Говорят, нужно девять портных, чтобы создать человека, но достаточно одного портного, чтобы его погубить. В кармане этого пиджака есть дырка. Я снял этот карандаш с цепочки на случай какой-нибудь схватки. Спрячь револьвер, Барни, и я тебе скажу, почему мне пришлось застрелить Нордкрасса. Этот старый болван погнался за мной в холл, стреляя в пуговицы на моей спине из поганого маленького револьверишки двадцать второго калибра, и мне пришлось остановить его. Старуха, та была прямо дуся. Она просто лежала себе в кровати и, не пикнув, глядела, как исчезало ее двенадцатитысячное ожерелье, и только когда я взял тоненькое золотое колечко с гранатом, доллара на три, она стала ныть, как нищая, умоляя меня оставить ей его. Я уверен, что она вышла за старика Нордкрасса по расчету. Все они трясутся вот так над какой-нибудь пустяковиной — сувениром от человека, которого любили в молодости. Всего нашлось шесть колец, две брошки и часы с цепочкой. Тысяч на тридцать.

— Я предупредил тебя, чтобы ты не говорил лишнего, — сказал Вудс.

— О, это ничего! — сказал Кернан. — Все барахло у меня в чемодане, в гостинице. А теперь я скажу тебе, почему я так откровенно говорю тебе обо всем. Да потому, что это совершенно для меня неопасно. Ты мне должен тысячу долларов, Борни Вудс, и даже если бы ты хотел меня арестовать, у тебя рука не поднялась бы.

— Я не забыл, — сказал Вудс. — Ты отсчитал мне тогда двадцать пятидесяток, не поморщившись. Я когда-нибудь тебе заплачу. Эта тысяча спасла меня… когда я тогда вернулся домой, они уже начали выносить мою мебель на тротуар.

— И потому, — продолжал Кернан, — ты, будучи Барни Вудсом, благородным как золото, человеком, должен играть честно, и ты не смеешь пальцем пошевельнуть, чтобы арестовать человека, которому ты должен. О, в нашем деле приходится изучать не только системы замков и задвижек на окнах, а также и людей. Ну, теперь сиди смирно, пока я позвоню лакея. Вот уже год или два, как меня постоянно мучит жажда; это меня прямо беспокоит. Если меня когда-нибудь поймают, счастливой ищейке придется делить славу со стариной Виски. Но я никогда не пью на

работе. А теперь, покончив с делами, я могу со свободной совестью раздавить стаканчик-другой с моим старым другом Барни. Что выпьешь?

Лакей принес графинчик и сифон и опять оставил их вдвоем.

— Значит, ты требуешь услуги за услугу, — сказал Вудс, задумчиво катая указательным пальцем маленький золотой карандаш по столу. — Придется отпустить тебя. На тебя у меня рука не поднимется. Если бы я отдал тебе эти деньги… но я не отдал их, и этим все сказано. Здорово я теперь должен сдрейфить, Джонни, да ничего не поделаешь. Ты меня однажды выручил, и я обязан отплатить тебе тем же.

— Я так и знал, — сказал Кернан, поднимая стакан и самодовольно улыбаясь. — У меня верный глаз на людей. За твое здоровье, Барни…

— Я думаю, — спокойно продолжал Вудс, точно думая вслух, — что, если бы наши денежные счеты были сведены, все деньги во всех банках Нью-Йорка не могли бы заставить меня выпустить тебя из рук.

— Я это знаю, — сказал Кернан. — Поэтому-то я и уверен, что от тебя-то опасность мне не угрожает.

— Большинство людей, — продолжал сыщик, —

косо смотрят на мое ремесло. Его не причисляют к искусствам или благородным профессиям. Но я всегда как-то глупо гордился им. И вот тут-то я и сел в лужу. Оказалось, что я прежде всего человек, а потом уже сыщик. Придется мне отпустить тебя, а потом подать в отставку. Ну что же! Я думаю, я сумею получить место фургонщика. Твоя тысяча долларов теперь еще дальше от тебя, чем раньше, Джонни.

— Сделай милость, держи ее у себя, — с видом щедрого благодетеля сказал Кернан. — Я с удовольствием совсем забыл бы этот долг, но я знаю, что ты сам этого не захочешь. Счастливый это был для меня день, когда ты занял у меня деньги. А теперь довольно об этом. Завтра с утренним поездом я уезжаю на Запад. Я знаю там одно место, где мне удастся сбыть нордкрассовские сверкачи. Выпей-ка, Барни, забудь горе! Мы с тобой повеселимся, пока полиция будет ломать себе голову над этим делом. Я сегодня жажду влаги, как Сахара. Но я в руках, в неофициальных руках моего старого друга Барни, и мне даже не приснится фараон.

Под пальцем Кернана заработали сначала звонок а потом и лакей. Чем дальше, тем больше проявлялись его дурные стороны — неимоверное

тщеславие и наглый эгоизм. Он раскрывал историю за историей про все свои удачные грабежи, хитроумные планы и гнусные преступления, пока, наконец, Вудс, несмотря на все свое близкое знакомство со злодеями, почувствовал, как в душе его растет сильное отвращение к этому вконец развращенному человеку, когда-то оказавшему ему благодеяние.

— Я, разумеется, для тебя обезврежен, — сказал наконец Вудс. — Но я все же советую тебе некоторое время сидеть смирно. Нордкрассовское дело могут подхватить газеты. Этим летом в городе была настоящая эпидемия ограблений и убийств.

Эти слова вызвали у Кернана вспышку мрачной, мстительной злобы.

— К черту все эти газеты! — проворчал он. — Ни черта в них нет, кроме хвастовства и сапогов всмятку. А если они даже и займутся каким-нибудь делом, к чему это приводит? Полицию провести за нос нетрудно, но что же делают газеты? Посылают на место преступления кучу репортеришек, а те отправляются в ближайший бар и пьют там пиво, и снимают старшую дочь хозяина в вечернем платье, а потом помещают этот снимок под видом фотографии невесты молодого человека с девятого этажа, которому

показалось, что он услышал внизу какой-то шум в ночь убийства. Дальше этого газеты не идут в деле расследования преступлений.

— Ну, не скажи, — задумчиво проговорил Вудс. — Некоторые газеты совсем недурно работают в этом направлении. Вот, например, «Утренний Марс». Он раза два-три верно указал на преступника, и его ловили, когда полиция уже давно дала остыть его следам.

— Я сейчас докажу тебе, — сказал Кернан, вставая с места и выпячивая грудь, — я докажу тебе мое мнение о газетах вообще и о твоем «Утреннем Марсе» в частности.

Шагах в трех от их столика находилась телефонная будка. Кернан вошел внутрь и присел у телефона, оставив дверь открытой. Он нашел номер в книжке, снял трубку и вызвал центральную. Вудс сидел безмолвно, глядя на насмешливое, холодное лицо, выжидательно склоненное над трубкой, и прислушиваясь к словам, произносимым тонкими, жесткими губами, сложившимися в презрительную улыбку.

— «Утренний Марс»? Мне нужно поговорить с редактором… Ах, так?.. Так скажите ему, что это насчет убийства Нордкрасса… Редактор?.. Ладно!.. Я — убийца старика Нордкрасса… Стойте! Не

разъединяйте! Это вовсе не обычная мистификация. О нет, опасности нет ни малейшей! Я сейчас все обсудил с одним моим приятелем, сыщиком. Я убил старика в два часа тридцать минут утра; завтра этому будет две недели… Что? Приглашаете выпить с вами стаканчик? Ну, знаете, эти шуточки лучше предоставьте вашему юмористу. Неужели вы не можете разобраться в том, смеется ли над вами человек или предлагает вам самую крупную сенсацию, которая когда-либо появлялась в вашем бездарнейшем листке, годном лишь на то, чтобы в него селедки заворачивать?.. Ну, да, именно так… это колоссальная сенсация… но не можете же вы ожидать, чтобы я вам назвал свою фамилию и адрес… Почему? Да потому, что вы, как я слышал, специализировались на разгадывании преступлений, от которых полиция становится в тупик… Нет, это еще не все. Я хочу вам сказать, что ваш ерундовый, лживый, грошовый листок может проследить умного убийцу или разбойника не лучше, чем слепой пудель… Что?.. Нет, это не редакция соперничающей с вами газеты; вы имеете эту информацию из первых рук. Убийство Нордкрасса — мое дело, и драгоценности лежат у меня в чемодане, в «гостинице, название которой не удалось установить». Вы

знаете это выражение, не правда ли? Совсем газетное. А ведь небось жутко вам стало, что таинственный злодей звонит к вам — великому, могучему органу права и справедливости, — и объявляет вам, что ваша газета — старая тряпка… Бросьте это, вы не так глупы, — вы вовсе не считаете меня самозванцем. Я по вашему голосу слышу… Ну, слушайте, я вам скажу одну вещь, которая вам это докажет. Разумеется, весь ваш штат юных остолопов уже обследовал это дело во всех подробностях. У миссис Нордкрасс на халате вторая пуговица наполовину обломана. Я это заметил, когда снимал гранатовое кольцо у ней с пальца. Я принял его за рубин… Бросьте эти штуки. Этот номер не пройдет.

Кернан с дьявольской улыбкой повернулся к Вудсу.

— Я его подвинтил. Теперь он мне поверил. Он даже не прикрыл плотно рукой трубку, когда велел кому-то вызвать по другому телефону центральную и узнать наш номер. Я ему еще раз наддам жару, а потом мы улепетнем.

— Алло… Да, я все еще у телефона. Неужели вы думали, что я стану удирать от какой-то вонючей, паршивой газетки?.. Не пройдет двух дней, как вы меня изловите? Бросьте, вы меня уморите!

Вот что: оставьте-ка вы взрослых людей в покое и занимайтесь своим делом — вынюхивайте про всякие разводы, да про несчастные случаи в трамвае и печатайте себе спокойно грязь и сплетни, которые дают вам ваш хлеб насущный. До свиданья, дружище, сожалею, что у меня нет времени заглянуть к вам. Я чувствовал бы себя в вашем дурацком заведении в полной безопасности.

— Он взбесился, как кошка, упустившая мышь, — сказал Кернан, вешая трубку и выходя из будки. — А теперь, Барни, сынок, мы с тобой отправимся в театр и повеселимся, пока не настанет подходящее время, чтобы лечь спать. Мне нужно вздремнуть часика четыре, а потом на западный поезд.

Приятели пообедали в ресторане на Бродвее. Кернан был доволен собой. Он сорил деньгами, как сказочный принц. Затем они всецело погрузились в созерцание фантастической, роскошно поставленной оперетки. После этого они ужинали с шампанским, и Кернан был наверху самодовольного блаженства.

В половине четвертого утра они очутились в уголке одного ночного кафе. Кернан продолжал хвастаться, но уже несколько туманно и бессвязно. Вудс мрачно размышлял о том, что настал

конец его полезной деятельности в качестве блюстителя закона.

Но вдруг, посреди этих размышлений, он поднял голову, и в глазах его мелькнул луч идеи.

— Хотел бы я знать, возможна ли такая штука? — сказал он про себя. — Хотел бы я знать…

Вдруг относительная тишина раннего утра на улице была нарушена раздавшимися там слабыми, неясными звуками, которые прорезали тишину, как светлячки прорезают мрак; одни становились громче, другие — тише; они росли или замирали посреди грохота телег молочников и редких трамваев; когда они приближались, они становились пронзительными. Это были хорошо знакомые выкрикивания, имевшие множество разных значений для тех из погруженных в сон миллионов жителей большого города, которые, проснувшись, слышали их. В этих многозначительных криках, несмотря на их малый объем, таилась вся тяжесть мировой скорби, и смеха, и восторга, и напряжения всего мира. Одним, скрывавшимся под защитой эфемерного покрова ночи, они приносили известия о грозном рассвете дня; другим, погруженным в счастливый сон, они возвещали о наступлении утра, более мрачного, чем самая темная ночь. Для многих богачей они

оказались той метлой, которая смела все, что принадлежало им, пока горели звезды; беднякам они приносили — еще один день.

По всему городу раздавались эти крики, резкие, звонкие, возвещая о новых возможностях, возникших при новом повороте колеса в механизме времени, и распределяя между спящими и еще беззащитными против судьбы людьми прибыль, мщение, горе, награды или роковой приговор, — смотря по тому, что предназначал для них новый листок календаря. Пронзительны и вместе с тем жалобны были эти крики, как будто юные голоса скорбели о том, что в безответственных руках их владельцев сосредоточено столько зла и так мало блага. И по улицам беспомощного города раздавались возвещающие миру новейшие постановления богов выкрикивания газетчиков — Трубный Глас Прессы.

Вудс швырнул лакею десять центов и сказал:

— Достаньте мне «Утренний Марс».

Когда принесли газету, он взглянул на первую страницу, затем вырвал листок из записной книжки и начал писать на нем золотым карандашиком.

— Какие новости? — зевая, спросил Кернан.

Вудс перебросил ему через стол записку. На ней

было написано:

«В Контору газеты „Утренний Марс“.

Прошу уплатить за поимку Джона Кернана одну тысячу долларов, т. е. сумму награды, причитающейся мне за его арест и изобличение.

Бернард Вудс».

— Я так и думал, что они это сделают, объявят награду, — сказал Вудс, — когда ты там разносил их по телефону. Ну, Джонни, а теперь ты отправишься со мной в полицию.

Похищение Медоры

Перевод Н. Дарузес

Мисс Медора Мартин прибыла с ящиком красок и мольбертом в Нью-Йорк из поселка Гармония, что лежит у подножия Зеленых гор.

Мисс Медора походила на осеннюю розу, которую пощадили первые заморозки, не пощадившие других ее сестер. В поселке Гармония, когда мисс Медора уехала в развратный Вавилон учиться живописи, про нее говорили, что она сумасбродная, отчаянная, своевольная девушка. В Нью-Йорке, когда она впервые появилась за столом дешевого пансиона в Вест-Сайде, жильцы спрашивали друг друга:

— Кто эта симпатичная старая дева?

Собравшись с духом и сообразуясь со средствами, Медора сняла дешевую комнату и стала брать два урока живописи в неделю у профессора Анджелини, бывшего парикмахера, изучившего свою профессию в одном из гарлемских танцклассов. Некому было сказать ей, что она делает глупости, ибо всех нас в этом большом городе постигает та же участь. Скольких из нас плохо

бреют и неправильно обучают тустепу бывшие ученики Бастьена Лепажа и Жерома! Самое грустное зрелище в Нью-Йорке — если не считать поведения толпы в часы пик — это унылое шествие бездарных рабов Посредственности. Им искусство является не благосклонной богиней, а Цирцеей, которая обращает своих поклонников в уличных котов, мяукающих у нее под дверьми, невзирая на летящие в них камни и сапожные колодки критиков. Некоторые ползком добираются до родного захолустья, где их угощают снятым молоком изречения: «Говорили мы вам», — большинство же остается мерзнуть во дворе храма нашей богини, питаясь крошками с ее божественного табльдота. Но кой-кому под конец надоедает это бесплодное служение. И тогда перед нами открываются два пути. Мы можем либо наняться к какому-нибудь лавочнику и развозить в фургоне бакалею, либо окунуться в водоворот богемы. Последнее звучит красивее, зато первое гораздо выгоднее. Ибо, когда бакалейщик заплатит нам за работу, мы можем взять напрокат фрак и — штампованный юмор тут больше к месту — показать богеме, где раки зимуют.

Мисс Медора избрала водоворот и тем самым дала нам сюжет для этого маленького рассказа.

Профессор Анджелини очень хвалил ее этюды. Однажды, когда она показала ему эскиз каштана в парке, он объявил, что из нее выйдет вторая Роза Бонер. Но иногда (всем великим художникам свойственны капризы) он резко и беспощадно критиковал ее работы. Например, в один прекрасный день Медора тщательно скопировала статую на площади Колумба и ее архитектурное окружение. Профессор, иронически улыбаясь, отшвырнул набросок и сообщил ей, что Джотто однажды начертил идеальную окружность одним движением руки.

Как-то раз шел дождик, денежный перевод из Гармонии запоздал, у Медоры болела голова, профессор попросил у нее взаймы два доллара, из художественного магазина вернули непроданными все ее акварели, и… мистер Бинкли пригласил ее поужинать.

Мистер Бинкли был присяжный весельчак пансиона. Ему уже стукнуло сорок девять, и весь день он сидел в своей рыбной лавке на одном из центральных рынков города. Но после шести часов вечера он надевал фрак и разглагольствовал об Искусстве. Молодые люди звали его пролазой. Считалось, что в самом избранном кругу богемы он свой человек. Ни для кого не было тайной, что

он как-то дал десять долларов взаймы одному юноше, подававшему надежды и даже поместившему какой-то рисунок в «Пэке». Вот таким-то образом некоторые получают доступ в заколдованный круг, а другие — сытный ужин.

Остальные жильцы с завистью смотрели на Медору, когда она в девять часов вечера выходила из пансиона под руку с мистером Бинкли. Она была прелестна, как букет осенних листьев, в своей бледно-голубой блузке из… э-э… ну, знаете, такая воздушная ткань, и плиссированной вуалевой юбке, с румянцем на худых щеках, чуть тронутых розовой пудрой, с платочком и ключом от комнаты в шагреневой коричневой сумке.

И мистер Бинкли, краснолицый и седоусый, выглядел очень внушительно и эффектно в узком фраке, с жирной складкой на шее, точно у знаменитого романиста.

Свернув за угол с ярко освещенного Бродвея, они подъехали к кафе Теренс, самому популярному среди богемы кабачку, куда доступ открыт только избранным.

Медора с Зеленых гор шла за своим спутником между рядами маленьких столиков.

Три раза в жизни женщина ступает словно по облакам и ног под собой не чувствует от радости:

первый раз, когда она идет под венец, второй раз, когда она входит в святилище богемы, и третий раз, когда она выходит из своего огорода с убитой соседской курицей в руках.

За накрытым столом сидели трое или четверо посетителей. Официант летал вокруг, как пчела, на скатерти сверкали хрусталь и серебро. Как прелюдия к ужину, подобный доисторическим гранитным пластам, предшествующим появлению простейших организмов, зубам многострадальных горожан был предложен французский хлеб, изготовленный по тем же рецептам, что и вековые гранитные глыбы, — и боги улыбались, вкушая нектар с домашними булочками, а зубные врачи плясали от радости под сенью своих блистающих золотом вывесок.

Взор Бинкли, устремленный на одного из молодых людей, блеснул особым блеском, свойственным представителю богемы, — в этом взоре сочетались взгляд василиска, сверкание пузырьков в бокалах с пивом, вдохновение художника и назойливость попрошайки. Молодой человек вскочил с места.

— Здорово, старина Бинкли! — крикнул он. — И не думайте проходить мимо нашего стола. Садитесь с нами, если вы не ужинаете в другой

компании.

— Ну что ж, дружище, — сказал Бинкли, владелец рыбной лавки. — Вы же знаете, я люблю толкаться среди богемы. Мистер Вандейк, мистер Маддер… э-э… мисс Мартин, тоже любимица муз… э-э…

Присутствующие быстро перезнакомились. Тут были еще мисс Элиза и мисс Туанетта — скорее всего, натурщицы, — они болтали о Генри Джеймсе и Сен-Режи, и это получалось у них неплохо.

Медора была в упоении. Голова у нее кружилась от музыки, исступленной, опьяняющей музыки трубадуров, восседавших где-то в задних комнатах Элизиума. Это был мир, доселе недоступный ни ее буйному воображению, ни железным дорогам, контролируемым Гарриманом. Она сидела, спокойная по внешности, как и подобает уроженке Зеленых гор, но ее душа была охвачена знойным пламенем Андалузии. За столиками сидела богема. В воздухе веяло ароматом цветов и цветной капусты. Звенели смех и серебро, дамам предлагали руку и сердце, вино и фрукты; в бокалах искрилось шампанское, в беседах — остроумие.

Вандейк взъерошил свои длинные черные кудри, сдернул на сторону небрежно повязанный

галстук и наклонился к Маддеру.

— Послушай, Мадди, — прошептал он с чувством, — иногда мне хочется вернуть этому филистеру десять долларов и послать его к черту.

Маддер взъерошил мочального цвета гриву и сдернул на сторону небрежно повязанный галстук.

— И думать не смей, Ванди, — ответил он. — Деньги уходят, а Искусство остается.

Медора ела необыкновенные кушанья и пила вино, которое стояло перед ней в стакане. Оно было того же цвета, что и дома в Вермонте. Официант налил в другой бокал чего-то кипящего, что оказалось холодным на вкус. Никогда еще у нее не было так легко на сердце.

Оркестр играл грустный вальс, знакомый Медоре по шарманкам. Она кивала в такт головой, напевая мотив слабеньким сопрано. Маддер посмотрел на нее через стол, удивляясь, в каких морях выудил ее Бинкли. Она улыбнулась ему, и оба они подняли бокалы с вином, которое кипело в холодном состоянии.

Бинкли оставил в покое искусство и болтал теперь о небывалом ходе сельди. Мисс Элиза поправляла булавку в виде палитры в галстуке

мистера Вандейка. Какой-то филистер за дальним столиком плел что-то такое, не то о Жероме, не то о Джероме. Знаменитая актриса взволнованно говорила о модных чулках с монограммами. Продавец из чулочного отделения универсального магазина во всеуслышание разглагольствовал о драме. Писатель ругал Диккенса. За особым столиком редактор журнала и фотограф пили сухое вино. Пышная молодая особа говорила известному скульптору:

— Подите вы с вашими греками! Пускай ваша Венера Милицейская поступит в манекены к Когену, через месяц на нее только плащи и можно будет примерять! Всех этих ваших греков и римов надо опять закопать в раскопки!

Так развлекалась богема.

В одиннадцать часов мистер Бинкли отвез Медору в пансион и, галантно раскланявшись, покинул ее у подножия парадной лестницы. Она поднялась к себе в комнату и зажгла газ.

И тут, так же внезапно, как страшный джин из медного кувшина, в комнате возник грозный призрак пуританской совести. Ужасный поступок Медоры встал перед нею во весь свой гигантский рост. Она воистину «была с нечестивыми и смотрела на вино, как оно краснеет, как оно искрится

в чаше».

Ровно в полночь она написала следующее письмо:

«М-ру Бирия Хоскинсу,
Гармония, Вермонт.

Милостивый государь!

Отныне я умерла для вас навеки. Я слишком сильно любила вас, чтобы загубить вашу жизнь, соединив ее с моей, запятнанной грехом и преступлением. Я не устояла против соблазнов этого греховного мира и погрязла в водовороте Богемы. Нет той бездны вопиющего порока, которую я не изведала бы до дна. Бороться против моего решения бесполезно. Я пала так глубоко, что подняться уже невозможно. Постарайтесь забыть меня. Я затерялась навсегда в дебрях прекрасной, но греховной Богемы. Прощайте.

Когда-то ваша

Медора».

Наутро Медора обдумала свое решение. Люцифер, низринутый с небес, чувствовал себя не

более отверженным. Между нею и цветущими яблонями Гармонии зияла пропасть. Огненный херувим отгонял ее от врат потерянного рая. В один вечер, с помощью Бинкли и Мумма[157], ее поглотила пучина богемы.

Оставалось только одно: вести блестящую, но порочную жизнь. К священным рощам Вермонта она никогда больше не посмеет приблизиться. Но она не погрузится в безвестность — есть в истории громкие, влекущие к себе имена, их-то она и изберет в образцы для себя. Камилла, Лола Монтес, Мария Стюарт, Заза[158] — таким же громким именем станет для грядущих поколений имя Медоры Мартин.

Два дня Медора не выходила из комнаты. На третий день она развернула какой-то журнал и, увидев портрет бельгийского короля, презрительно захохотала. Если этот знаменитый покоритель женских сердец встретится на ее пути, он должен будет склониться перед ее холодной и гордой красотой. Она не станет щадить ни стариков, ни

---

[157] Примечания: 157

Марка шампанского.

[158] Примечания: 158

Камилла — героиня английского варианта «Дамы с камелиями»; // Лола Монтес — фаворитка баварского короля Людовика I; // Заза — героиня одноименной пьесы Бертона, актриса и куртизанка.

молодых. Вся Америка, вся Европа окажется во власти ее мрачных, но неотразимых чар.

Пока еще ей тяжело было думать о той жизни, к которой она когда-то стремилась, — о мирной жизни под сенью Зеленых гор, рука об руку с Хоскинсом, о тысячных заказах на картины, приходящих с каждой почтой из Нью-Йорка.

Ее роковая ошибка разбила эту мечту.

На четвертый день Медора напудрилась и подкрасила губы. Один раз она видела знаменитую Картер в роли Заза. Она стала перед зеркалом в небрежную позу и воскликнула: «Zut! zut!» У нее это слово рифмовало с «зуд», но как только она произнесла его, Гармония отлетела от нее навсегда. Водоворот богемы поглотил ее. Теперь ей нет возврата. И никогда Хоскинс…

Дверь открылась, и Хоскинс вошел в комнату.

— Дори, — сказал он, — для чего это ты испачкала лицо мелом и красной краской?

Медора протянула вперед руку.

— Слишком поздно, — торжественно произнесла она. — Жребий брошен. Отныне я принадлежу иному миру. Проклинайте меня, если угодно, это ваше право. Оставьте меня, дайте мне идти той дорогой, которую я избрала. Пускай родные не произносят более моего имени. Молитесь за меня

иногда, пока я буду кружиться в вихре веселья и жить блестящей, но пустой жизнью богемы.

— Возьми полотенце, Дори, — сказал Хоскинс, — и вытри лицо. Я выехал, как только получил твое письмо. Эта твоя живопись ни к чему хорошему не ведет. Я купил нам с тобой обратные билеты на вечерний поезд. Скорей укладывай свои вещи в чемодан.

— Мне не под силу бороться с судьбой, Бирия. Уходи, пока я не изнемогла в борьбе с нею.

— Как складывается этот мольберт, Дори? Да собирай же вещи, надо еще успеть пообедать до поезда. Листья на кленах уже совсем распустились, Дори, вот посмотришь.

— Неужели распустились, Бирия?

— Сама увидишь, Дори! Утром, при солнце, это прямо зеленое море.

— Ах, Бирия!

В вагоне она вдруг сказала ему:

— Удивляюсь, почему ты все-таки приехал, если получил мое письмо?

— Ну, это-то пустяки! — сказал Бирия. — Где тебе меня провести. Как ты могла уехать в эту самую Богемию, когда на письме стоял штемпель «Нью-Йорк»?

Повар

Перевод В. Азова

Джордж Вашингтон с поднятой правой рукой сидит на своем железном коне на площади Юнион-сквер и все время сигнализирует трамваям с Бродвея, огибающим угол Четырнадцатой улицы, — остановиться. Но трамваи проезжают мимо, обращая на вытянутую руку генерала столь же мало внимания, как на знаки, делаемые им частными гражданами. Если нервы у него не железные, великий полководец должен болезненно ощущать, как быстро transit мимо него gloria mundi.

Если бы Вашингтон поднял свою левую руку так же, как он поднял правую, он указывал бы ею на квартал Нью-Йорка, в котором находят себе приют и пищу униженные и оскорбленные выходцы из чужих стран. Эти люди добивались национальной или личной свободы, и здесь они нашли убежище. А великий патриот, который создал для них это убежище, сидит на своем коне и обозревает приютивший их квартал, прислушиваясь левым ухом к опереткам, в которых

потомство его протеже предается осмеянию. Италия, Польша, бывшие испанские владения и многоязычные племена Австро-Венгрии выплеснули сюда толстый слой своих мятущихся сынов. В эксцентрических кафе и меблированных домах в этом квартале они сидят над своими родными винами и обсуждают свои политические тайны. В колонии часто происходят перемены. Одни люди исчезают и заменяются другими. Куда улетают эти беспокойные птицы?

Половину ответа вы извлечете из наблюдения над официантом-иностранцем, с чужеземным сладким видом и с чужеземной вежливостью прислуживающим вам за табльдотом. Вторую половину ответа вам могли бы сообщить парикмахерские, если бы у них были языки. А разве у них нет? Титулы встречаются у этих непоседливых изгнанников так же часто, как кольца. Из-за плохой постановки дела партия титулов, достаточная для того, чтобы удовлетворить потребностям всей Пятой авеню, вынуждена продаваться здесь с уличных лотков. Квартирные хозяйки Нового Света, у которых находят себе приют эти отпрыски аристократии, не очень-то ослепляются коронами и гербами. Они не торгуют дочерьми.

Этих прелиминариев достаточно, пожалуй, для введения в рассказ, действующие лица которого — определенные плебеи, без малейшего налета аристократизма.

Мать Кэти Дэмпси содержала в этом оазисе для чужестранцев меблированные комнаты. Дело это было невыгодное. Если им удавалось не ударить в грязь лицом перед домовладельцем — это испытание повторялось каждую неделю — и обеспечить себе каждый день ингредиенты, необходимые для изготовления рагу по-ирландски, мать и дочь почитали себя счастливыми. Но очень часто в рагу не хватало мяса и картофеля. Иногда оно было нисколько не лучше бульона с музыкой в ресторане.

В этом старом доме Кэти выросла — толстая, пышная, здоровая и такая красивая и веснушчатая, как тигровая лилия. Это она была той доброй феей, которая развешивала по комнатам жильцов еще сырые от стирки чистые полотенца и расставляла треснувшие кувшины с водой.

Звездою меблированных комнат миссис Дэмпси был мистер Брунелли. Он носил желтый галстук и аккуратно платил за комнату, что отличало его от прочих жильцов. Одевался он великолепно, цвет лица у него был оливковый,

усы у него были свирепые, манеры у него были актерские, а кольца и булавки для галстука умопомрачительнее, чем у зубного врача.

Он кушал утренний завтрак у себя в комнате и надевал для этого красный халат с зелеными кисточками. Он выходил из дому в полдень и возвращался в полночь. Это были таинственные часы, но в жильцах миссис Дэмпси не было ничего таинственного, кроме того, что не было таинственно.

Мистер Брунелли, будучи человеком чувствительным и притом латинской расы, скоро начал спрягать с Кэти глагол «amare», прибегая преимущественно к настоящему времени и к действительному залогу. Кэти решила поговорить по этому поводу с матерью.

— Конечно, он мне нравится, — сказала Кэти. — В нем одном больше деликатности, чем в двадцати кандидатах в городские гласные, и я чувствую себя королевой, когда иду рядом с ним. Но кто он — я не знаю. У меня есть подозрение. В один прекрасный день он окажется бароном — и прощай квартирная плата.

— Это верно, — соглашалась миссис Дэмпси, — что он какой-то подозрительный аристократ; уж больно он образованно говорит для настоящего

джентльмена. Но, может быть, ты ошибаешься на его счет? Ты никогда не должна подозревать в благородном происхождении человека, который платит наличными.

— У него такие же повадки и в разговоре, и во всей жестикуляции, — вздохнула Кэти, — как у того французского аристократа, который снимал комнату у миссис Тул. Помнишь, он сбежал с праздничными штанами мистера Тула и оставил в обеспечение не уплаченной им за два с половиной месяца квартирной платы только фотографию Бастилии, родового замка своего дедушки?

Мистер Брунелли продолжал ухаживать за Кэти и расточать калории своей влюбленности. Кэти продолжала колебаться. В один прекрасный день он пригласил ее отобедать с ним в ресторане, и она почувствовала, что развязка приближается. Пока они едут в ресторан — Кэти в своем лучшем муслиновом платье — вы должны воспользоваться антрактом и кинуть взгляд на нью-йоркскую богему.

Ресторан Тонио в Богемии. Точный адрес его — секрет. Если вы хотите знать, где он помещается, спросите первого встречного. Он вам скажет — шепотом. Тонио идет вразрез с модой; фасад его

темный и неприветливый; обед у него довольно скверный; он закрывается как раз в обеденные часы. Но он готовит макароны с таким мастерством, с каким в пансионе готовят холодную телятину, и он положил немало долларов на свой текущий счет в Banco di… di что-то такое с множеством гласных, выведенных золотом по стеклу.

В этот ресторан мистер Брунелли повел Кэти. В окнах было темно, и шторы были опущены; но мистер Брунелли нажал кнопку электрического звонка — и их впустили.

Они прошли через длинный, узкий коридор в светлую и безупречно чистую кухню, прошли ее насквозь и очутились на заднем дворе.

Стены соседних домов ограничивали три стороны двора, а высокий дощатый забор с усевшимся на нем котом — четвертую.

На высоко подвешенных веревках сушилось белье. Это было бутафорское белье.

Десятка полтора маленьких столиков, стоявших на голой земле, были заняты меценатами богемы. Они стремились сюда потому, что Тонио делал вид, что не интересуется ими, и прикидывался, будто даст им хороший обед. Было здесь и несколько представителей настоящей богемы, явившихся сюда, чтобы освежиться, потому что

им надоела настоящая богема.

Мистер Брунелли усадил Кэти за маленький столик, отгороженный растениями в кадках, и попросил Кэти извинить его: ему нужно на минуту удалиться.

Кэти сидела, очарованная зрелищем, которое показалось ей пленительным. Светские дамы в великолепных платьях, в шляпах с перьями и сверкающими кольцами на пальцах; изящные джентльмены, которые так громко смеялись; крики: «Гарсон» и «Вуй, монсью»; оживленная болтовня, дым от папирос, обмен улыбками и взглядами — все это оживление и великолепие ошеломили дочь миссис Дэмпси и лишили ее способности двигаться.

Мистер Брунелли вышел на середину двора и покрыл всю компанию своими улыбками и поклонами. За всеми столиками хлопали в ладоши. Некоторые кричали: «браво», другие: «Тонио, Тонио!» Дамы махали ему салфетками, мужчины выворачивали себе шеи, чтобы поймать его поклон.

Когда овации кончились, мистер Брунелли, сделав заключительный поклон, проворно вошел в кухню и скинул с себя пиджак и жилет.

Флагерти, проворнейший «гарсон» среди ла-

кеев, был специально приставлен к столику, который занимала Кэти. Ей было немножко не по себе от голода, ибо рагу по-ирландски в этот день вышло у них дома особенно жидким. Пленительность неведомых блюд чаровала ее. И Флагерти начал приносить ей блюдо за блюдом, божественнейшие из амброзий.

Но даже посреди этого лукулловского пиршества Кэти отложила ножик и вилку. Сердце ее словно налилось свинцом, и слеза упала на ее филе. Неотвязные подозрения насчет их лучшего жильца возникли у нее опять, учетверенные. Кто же мог быть этот Брунелли, кумир этого фешенебельного и шикарного общества, за которым все так ухаживали, которым все восхищались, которому все посылали улыбки? Только один из этих блестящих титулованных патрициев, славных родом, но не любящих платить за квартиру. С сознанием, что он не годится ей в мужья, у нее сочеталось теперь сознание, что его личность становится ей день ото дня милее. И зачем он оставил ее обедать одну?

Но вот он подошел опять, без пиджака теперь, с белоснежными рукавчиками сорочки, закатанными выше локтей, в белой шапочке на своих курчавых волосах.

— Тонио! Тонио! — закричало несколько голосов. — Макароны, макароны! — закричали остальные.

С одними Тонио выпивал стакан вина, с другими обменивался улыбками. Шутки и веселые реплики так и сыпались. Право, не всякий монарх сумел бы быть таким приятным хозяином! А какой художник мог бы пожелать себе большего признания? Но Кэти не знала, что для светского ньюйоркца нет большей чести, как обменяться рукопожатиями с хозяином итальянского ресторанчика или уловить снисходительный кивок со стороны метрдотеля большого ресторана на Бродвее.

Мало-помалу публика разошлась. Осталось несколько парочек и одна компания, засидевшаяся за молодым вином и старыми анекдотами. Брунелли подошел к уединенному столику, за которым сидела Кэти, и придвинул себе стул.

Кэти мечтательно улыбнулась ему. Она только что проглотила последнюю корочку малинового торта с красным бургундским соусом.

— Вы видели! — сказал мистер Брунелли, положив руку на грудь. — Я Антонио Брунелли! Да! Я — великий «Тонио»! Вы не подозревали этого? Я люблю вас, Кэти, и вы должны выйти за меня

замуж. Правда? Скажите мне: «Антонио мио, да!»

Голова Кэти опустилась на плечо повара. О, с этого плеча были сняты теперь все подозрения: посвящающий в рыцарство меч не коснулся его!

— О, Анди, — вздохнула она. — Это так чудесно! Конечно, я выйду за вас. Но почему вы не сказали мне, что вы повар? Я чуть было не подумала, что вы один из этих заграничных графов или баронов!

Кто чем может

Перевод Н. Жуковской

Вьюинг вышел из клуба с проклятиями, не очень, впрочем, жестокими. Он там отчаянно проскучал с девяти до одиннадцати утра. Кид надоел ему своими рыболовными историями, Брук хвастал своими сигарами из Порто-Рико, Морриссон изводил своими анекдотами про вдовушку, Хинберн был нестерпим со своими рассказами о том, как он всех обыгрывает на бильярде, и при этом вся эта нудная, непрерывная болтовня шла в одном и том же помещении, без какой-либо перемены декораций. К довершению же всех этих сегодняшних неприятных впечатлений, вчера вечером мисс Эллисон опять отказала ему. Последняя неприятность, впрочем, носила уже хронический характер. Вот уже пятый раз, как она, в ответ на его предложение сделать ее миссис Вьюинг, разражается громким хохотом.

В среду вечером он будет снова просить ее руки.

Вьюинг прошел по Сорок четвертой улице на Бродвей, а затем поплыл вниз по течению, ко-

торое смывает пыль золотых залежей Готхэма. На нем был светло-серый утренний костюм, низенькие, со срезанными носками, кожаные ботинки, простая, но из тонкоплетеной соломки шляпа, а все видимое белье на нем было нежно-гелиотропового цвета; галстук у него был цвета ноябрьского неба, серо-голубой, и завязан он был и с аристократической небрежностью, и по самому последнему крику моды.

В это утро даже шум и грохот Бродвея был Вьюингу неприятен и на несколько нудных минут, как во сне, перенес его на одну из шумных, знойных, кипучих, вонючих улиц Марокко. Ему чудились своры грызущихся собак, нищие, факиры, рабы с колясками, женщины с закрытыми лицами в колясочках без лошади, палящие яркие лучи солнца, тут и там освещающие базары, груды мусора на улице от разрушенных храмов, — тут проходившая мимо дама задела его спицей своего зонтика и вернула его на Бродвей.

Он прошел еще минут пять и очутился на углу, где стояли несколько молчаливых мрачных фигур. Эти фигуры привыкли стоять на этом углу часами; они стоят и вертят в руках лезвие своего ножа или оправляют спущенные до ресниц поля своей шляпы. Спекулянты с Уолл-стрит,

возвращаясь домой в своих экипажах, любят указывать на них какому-нибудь непосвященному гостю и объяснять, что это известное место для так называемых «темных людей». Спекулянты с Уолл-стрит услугами их острого ножа, впрочем, не пользуются никогда.

То, что одна из этих «темных» фигур, когда он проходил мимо, выступила вперед и заговорила с ним, привело Вьюинга в восторг. Он так жаждал чего-нибудь необыкновенного, быть же аккостированным[159] одним из этих гладколицых, остроглазых представителей подонков общества, быть аккостированным, правда, с довольно жуткой, но все же любезной улыбкой, для Вьюинга, утомленного скучной условностью жизни своего круга, представлялось уже чем-то вроде приключения.

— Простите, мистер, — сказал ему этот человек, — можете вы мне сейчас уделить несколько минут? Мне надо поговорить с вами.

— Конечно, — улыбаясь сказал Вьюинг, — только не лучше ли нам избрать для этого другое, более спокойное место? Тут поблизости есть кафе. Шрумм даст нам столик в уединенном уголке.

---

[159] Примечания: 159

Французское слово, означающее то, что человек подошел и заговорил.

Шрумм усадил их под пальмой и поставил им на стол две кружки пива.

Чтобы завязать разговор, Вьюинг сказал несколько слов о погоде.

— Прежде всего, — сказал новый приятель Вьюинга с видом посла, вручающего свои верительные грамоты[160], — я хочу, чтобы вы знали, что имеете дело с уголовным преступником. У нас на Западе я известен под кличкой «Роуди Тряпичник», карманный вор, боксер, шулер, какие угодно кражи со взломом, одним словом, на все руки. Я рассказываю вам все это, потому что с вами я веду дело начистоту. Моя фамилия Эмерсон.

«К черту Кида с его рыболовными историями! Вот это будет куда поинтереснее», — с торжеством подумал Вьюинг, отыскивая в кармане визитную карточку.

— Произносится «Вьюинг», — сказал он, передавая карточку Эмерсону. — Я тоже своего рода мошенник, так как живу не на свои, а на чужие, на папашины капиталы. В клубе мне дали прозвище «До востребования». За всю свою жизнь я не проработал ни одного дня, и у меня не хватает духу переехать на автомобиле курицу. Как види-

---

[160] Примечания: 160

По приезде в иностранное государство, куда он назначен послом, посол вручает верительные грамоты правительству.

те, формуляр довольно жалкий.

— Но есть одна вещь, которую вы делаете в совершенстве, — вы прекрасно носите платье. Я вас много раз наблюдал на Бродвей. Человека, который носил бы платье так, как вы, я не видал! — восторженно сказал Эмерсон. — Вот на мне, пари держу хоть на золотые прииски, долларов на пятьдесят больше всякой всячины надето, чем на вас. Вот по этому-то поводу я и хотел бы с вами поговорить. Не могу добиться, в чем тут дело. Взгляните на меня. Что тут на мне неладно?

— Встаньте, — сказал Вьюинг.

Эмерсон вскочил и стал медленно поворачиваться.

— Вас, что называется, «одели», — изрек Вьюинг. — Вероятно, один из тех портных, что выставляют свои модели в витринах на Бродвей воспользовался вашим в этом деле невежеством, и с выгодой для себя. Во всяком случае, это костюм дорогой, Эмерсон.

— Сто долларов, — сказал Эмерсон.

— Ну, с вас взяли двадцать лишних, — сказал Вьюинг. — Потому что в смысле моды он отстал на шесть месяцев, он на дюйм длиннее, чем полагается, и на полдюйма шире. Шляпа у вас прошлогоднего фасона, но выдает это только то,

что ее поля на одну шестнадцатую дюйма уже, чем носят в этом сезоне. Отворот вашего английского воротничка недопустимо узок. Простые, золотые с цепочкой запонки с успехом бы заменили слишком богатые жемчуга в бриллиантах на ваших манжетах. Ваши желтые ботинки могли бы прельстить только отдыхающую на лоне природы учительницу-провинциалку. Мне показалось, что, когда вы неподобающим образом вздернули вашу штанину, из-под нее выглянул голубой шелковый, вышитый кирпично-красными ландышами носок? Во всех магазинах можно получить носки более простого образца. Я надеюсь, что не обижаю вас своими замечаниями, Эмерсон?

— Пожалуйста, удвойте порцию! — жадно выкрикнул объект критики Вьюинга. — Продолжайте в том же духе! Ясно, что имеется особый прием таскать на себе всю эту галиматью, и я должен себе этот прием усвоить. Я уж вижу, что вы для меня в этом смысле самый подходящий человек. Ну-с, что еще на мне тут не в порядке?

— Ваш галстук, — сказал Вьюинг. — Он завязан невероятно аккуратно.

— Очень признателен за похвалу, но это неудивительно, потому что я потратил добрый час на

то, чтобы…

— Стать похожим на куклу в витрине готового платья, — закончил его фразу Вьюинг.

— Ваш до гроба, — садясь на свое место, сказал Эмерсон. — С вашей стороны прямо шикарно то, что вы взялись обучать меня всей этой премудрости! Я чувствовал, что у меня что-то по этой части неладно, а в чем дело, никак не мог додуматься. Знаете, мне кажется, что уменье носить платье дается от рождения.

— Возможно, — засмеялся Вьюинг. — Мои предки, вероятно, обрели этот дар еще тогда, двести лет назад, когда ходили из дома в дом и торговали старым платьем. Мне рассказывали, что они занимались именно этим делом.

— А мои, верно, оттого не могли усвоить себе красивую манеру носить платье, что в богатые дома попадали только ночью, — сказал Эмерсон.

— Вот что, — сказал Вьюинг, от скуки которого не осталось и следа. — Я вас сейчас отведу к моему портному, и он, если, конечно, вы согласны понести еще кое-какие расходы, сотрет с вас эту определенную печать.

— Идет! — расплываясь в улыбке, с ребячливой восторженностью сказал Эмерсон. — У меня достаточный запас текучей монеты. Вам-то я могу

сказать, что не проводил время с чуждым мне элементом, когда был взломан в одну безлунную ночь сейф Фермерского Национального банка в Беттервиле и оттуда было выужено шестнадцать тысяч долларов.

— А вы не боитесь, что я сейчас позову полисмена и сдам ему вас?

— А если вы меня спросите, почему я не берегу деньги? — спокойно сказал Эмерсон и, вместо ответа на этот вопрос, положил на стол записную книжку и фамильные золотые часы Вьюинга.

— Вот человек! — восторженно воскликнул Вьюинг. — Послушайте, слышали вы, когда-нибудь, как Кид рассказывает историю о шестифунтовой форели и старом рыбаке?

— Как будто нет, — сказал Эмерсон и из вежливости прибавил: — Очень интересно было бы послушать.

— Неинтересно и не услышите, потому что я эту историю слышал тысячу раз и потому еще вам ее рассказывать не стану. Я только к тому это сказал, что подумал, что насколько с вами интереснее, чем там у нас в клубе. Ну-с, а теперь идем к портному?

* * *

— Ну-с, дети мои, — говорил Вьюинг дней пять спустя окружавшей его компании приятелей, стоя у окна в своем клубе. Он передохнул и заявил: — Сегодня вечером с нами будет обедать один мой приехавший с Запада друг.

— Будет он приставать с расспросами о политических делах? — заерзав в кресле, спросил один из членов клуба из компании Вьюинга.

— Будет вести разговор о новой масонской ложе? — скинув пенсне, спросил другой.

— Будет рассказывать небылицы о том, как на Миссисипи ловят рыбу, нацепив на крючок годовалого теленка в виде приманки? — задорно спросил Кид.

— Успокойтесь, никакими такими пороками он не страдает. Он грабитель, вор, взламывающий сейфы, и мой большой приятель.

— Что это за человек, этот Вьюинг! — закричали все. — Он не может не острить даже по самому пустячному поводу!

В тот же день вечером, в восемь часов, по правую руку Вьюинга за столом в клубе сидел спокойный, гладколицый, элегантный, любезный молодой человек. Когда кто-нибудь из присут-

ствующих, ничего, кроме городских улиц, не видавших молодых людей говорил о небоскребах и о маленьком царе на ледяном троне, или о каких-то рыбешках, которые они выуживают из речонок, даже на карте не отмеченных, этот безукоризненно одетый, большой человек с осанкой императора принимал участие в этой болтовне лилипутов одним движением своих ресниц.

Потом он заговорил сам. Сильными, яркими штрихами нарисовал он чудесную панораму Запада.

Он водружал на стол снеговые вершины, от которых стыли забытые горячие кушанья. Одним движением руки он превратил зал клуба в заросшее соснами дикое ущелье, в котором лакеи сновали в качестве милиции, обедающие же чувствовали себя преследуемыми и скрывающимися от этой милиции злоумышленниками; им казалось, что и в самом деле они карабкаются, раздирая в кровь руки, по окровавленным скалам и кровь у них стынет в жилах от ужаса. Чуть касаясь стола, он указывал на потоки текущей лавы, и все смотрели, затаив дыхание; у всех пересыхало во рту, когда он рассказывал о безводных пустынях, где нет ни пищи, ни питья. Машинально сверля зубцом своей вилки скатерть, он так

же просто, как Гомер в своих песнях, в рассказе своем раскрывал этим людям целый новый для них мир так, как детям он раскрывается в «Сказке о Волшебном Зеркале».

Он рассказывал об опустошениях, которые производили «краснокожие» в городах на окраинах, и работающих арканами «Сорока пяти» так же просто, как слушатели его привыкли рассказывать о том, что на одном из «afternoon tea»[161] где-нибудь на Медисон-сквере подали слишком крепкий чай.

Одним взмахом своей белой, без колец, руки он сбросил с пьедестала Мельпомену и поставил на ее место перед глазами слушателей других богинь — Диану и Амарилис.

Перед ними расстилались саванны. Ветер завывал в зарослях, заглушая отрывистые звуки шумящего под окнами города. Он говорил им о биваках, о фермах, утопающих в цветах душистых прерий, о том, как можно там, тихой ночью, носиться на таком коне, за которого сам Аполлон отдал бы своих бессмертных коней; он дал эпическую картину жизни скота и холмов, которых еще не коснулась рука человека, девственной

[161] Примечания: 161

Точный перевод — «чай после полудня»; обычно около 5 ч вечера принято в Англии и в Америке пить чай, к которому собираются гости.

природы, которую не изуродовал еще этот царь земли. Словами своими он показал слушателям, как в телескопе, Иенгстаун, который на их языке называется «Запад».

Фактически весь интерес в этот вечер сосредоточен был на Эмерсоне, под чарами рассказов которого остались все.

* * *

На другое утро, в десять, Эмерсон с Вьюингом, как это было у них условлено, встретились в кафе на Сорок второй улице.

Эмерсон должен был в этот же день уехать на Запад.

На нем был темный шевиотовый костюм, который, казалось, был задрапирован древнегреческим, опередившим моду своего времени на несколько тысяч лет портным.

— Мистер Вьюинг, — сказал он, улыбаясь ясной улыбкой человека, довольного своим профессиональным успехом, — я ваш неоплатный должник, и потому в любое время готов сделать для вас все, что только могу. Вы настоящий человек, и поэтому, если я когда-либо буду иметь случай отплатить вам за то, что вы для меня сделали, можете собственной своей головой поклясться,

что я для вас это сделаю.

— Как звали этого, который ловил дикую лошадь за морду и гриву, опрокидывал и потом уж надевал уздечку? — спросил Вьюинг.

— Бэтс, — сказал Эмерсон.

— Благодарю вас, мне казалось, Иэтс. Да, а как насчет костюмов?.. Я уж и забыл.

— Давно, много лет искал я себе в этом деле лидера, — сказал Эмерсон, — и вот в вас наконец, нашел самый настоящий товар, и без пошлины и на полдороге от торгового дома.

— Перед поджаренной на угольях, подвешенной к ветке зеленой вербы грудинкой бледнеет вареный омар, — сказал Вьюинг. — Так вы говорите, что лошадь не может вытащить из мокрых прерий, на веревке в тридцать футов, десятидюймовый столбик? Ну-с, что ж делать, раз уж вам надо ехать, дружище, то до свиданья.

В час дня Вьюинг, как это было у них условлено, завтракал с мисс Элисон.

По крайней мере, с полчаса он непрерывно, как полоумный, тараторил, рассказывая ей о фермах, лошадях, циклонах, Скалистых горах, о ветчине с горохом, о патрулях и ружьях особого образца. Она с удивлением смотрела на него полными ужаса глазами.

— Я хотел сегодня еще раз просить вашей руки, — весело сказал он, наконец, — но не буду. Я вам с этим достаточно надоедал. Знаете что? У папеньки моего есть ферма в Колорадо. Что мне, собственно, здесь делать? Срывать цветы удовольствий? Вот там — там настоящая жизнь! Я думаю ехать в ближайший вторник.

— Нет, вы не уедете, — сказала мисс Элисон.

— Что? — сказал Вьюинг.

— Не уедете один, я хочу сказать, — и мисс Эллисон уронила слезу в салат. — Что вы об этом думаете?

— Бетти! — воскликнул Вьюинг. — Что вы хотите этим сказать?

— Что я поеду с вами, — делая над собой усилие, проговорила мисс Эллисон.

Вьюинг наполнил стакан аполинарисом.

— За здоровье Роуди Тряпичника! — произнес он таинственный тост.

— Я с ним не знакома, — сказала мисс Элисон, — но, если он ваш друг, Джимми, да здравствует он!

Святыня

Перевод М. Богословской

Мисс Линетт д'Арманд повернулась спиной к Бродвею. Это было то, что называется мера за меру, поскольку Бродвей частенько поступал так же с мисс д'Арманд. Но Бродвей от этого не оставался в убытке, потому что бывшая звезда труппы «Пожинающий бурю» не могла обойтись без Бродвея, тогда как он без нее отлично мог обойтись.

Итак, мисс Линетт д'Арманд повернула свой стул спинкой к окну, выходившему на Бродвей, и уселась заштопать, пока не поздно, фильдекосовую пятку черного шелкового чулка. Шум и блеск Бродвея, грохочущего под окном, мало привлекал ее. Ей больше всего хотелось бы сейчас вдохнуть полной грудью спертый воздух артистической уборной на этой волшебной улице и насладиться восторженным гулом зрительного зала, где собралась капризнейшая публика. Но пока что не мешало заняться чулками. Шелковые чулки так быстро изнашиваются, но — в конце концов — это же самое главное, то, без чего нельзя обойтись.

Гостиница «Талия» глядит на Бродвей, как

Марафон на море. Словно мрачный утес возвышается она над пучиной, где сталкиваются потоки двух мощных артерий города. Сюда, закончив свои скитания, собираются труппы актеров снять котурны и отряхнуть пыль с сандалий. Кругом, на прилегающих улицах, на каждом шагу театральные конторы, театры, студии и артистические кабачки, где кормят омарами и куда в конце концов приводят все эти тернистые пути.

Когда вы попадаете в запутанные коридоры сумрачной, обветшалой «Талии», вам кажется, словно вы очутились в каком-то громадном ковчеге или шатре, который вот-вот снимется с места, отплывет, улетит или укатится на колесах. Все здесь словно пронизано чувством какого-то беспокойства, ожидания, мимолетности и даже томления и предчувствия. Коридоры представляют собой настоящий лабиринт. Без провожатого вы обречены блуждать в них, как потерянная душа в головоломке Сэма Ллойда.

За каждым углом вы рискуете уткнуться в артистическую уборную, отгороженную занавеской, или просто в тупик. Вам встречаются всклокоченные трагики в купальных халатах, тщетно разыскивающие ванные комнаты, которые то ли действуют, то ли нет. Из сотен помещений

доносится гул голосов, отрывки старых и новых арий и дружные взрывы смеха веселой актерской братии.

Лето уже наступило; сезонные труппы распущены, актеры отдыхают в своем излюбленном караван-сарае и усердно изо дня в день осаждают антрепренеров, добиваясь ангажемента на следующий сезон.

В этот предвечерний час очередной день обивания порогов театральных контор закончен. Мимо вас, когда вы растерянно плутаете по обомшелым лабиринтам, проносятся громозвучные видения гурий, со сверкающими из-под вуалетки очами, с шелковым шелестом развевающихся одежд, оставляющие за собой в унылых коридорах аромат веселья и легкий запах жасмина. Угрюмые молодые комедианты с подвижными адамовыми яблоками, столпившись в дверях, разговаривают о знаменитом Бутсе. Откуда-то издали долетает запах свинины и маринованной капусты и грохот посуды дешевого табльдота. Невнятный, однообразный шум в жизни «Талии» прерывается — время от времени, с предусмотрительно выдержанными, целительными паузами — легким хлопаньем пробок, вылетающих из пивных бутылок. При такой пунктуации жизнь в радуш-

ной гостинице течет плавно; излюбленный знак препинания здесь запятая, точка с запятой нежелательны, а точки вообще исключаются.

Комнатка мисс д'Арманд была очень невелика. Качалка умещалась в ней только между туалетным столиком и умывальником, да и то, если поставить ее боком. На столике были разложены обычные туалетные принадлежности и плюс к этому разные сувениры, собранные бывшей звездой в театральных турне, а кроме того, стояли фотографии ее лучших друзей и подруг, товарищей по ремеслу.

На одну из этих фотографий она не раз взглянула, штопая чулок, и нежно улыбнулась.

— Хотела бы я знать, где сейчас Ли, — сказала она задумчиво.

Если бы вам посчастливилось увидеть эту фотографию, удостоенную столь лестного внимания, вам бы с первого взгляда показалось, что это какой-то белый, пушистый, многолепестковый цветок, подхваченный вихрем. Но растительное царство не имело ни малейшего отношения к этому стремительному полету махровой белизны.

Вы видели перед собой прозрачную, коротенькую юбочку мисс Розали Рэй в тот момент, когда Розали, перевернувшись в воздухе, высоко над

головами зрителей, летела головой вниз на своих обвитых глицинией качелях. Вы видели жалкую попытку фотографического аппарата запечатлеть грациозное, упругое движение ее ножки, с которой она в этот захватывающий момент сбрасывала желтую шелковую подвязку и та, взвившись высоко вверх, летела через весь зал и падала на восхищенных зрителей.

Вы видели возбужденную толпу, состоящую главным образом из представителей сильного пола, рьяных почитателей водевиля, и сотни рук, вскинутых вверх в надежде остановить полет блестящего воздушного дара.

В течение двух лет, сорок недель подряд, этот номер приносил мисс Розали Рэй полный сбор и неизменный успех в каждом турне. Ее выступление длилось двенадцать минут — песенка, танец, имитация двух-трех актеров, которые искусно имитируют сами себя, и эквилибристическая шутка с лестницей и метелкой; но когда сверху на авансцену спускались увитые цветами качели и мисс Розали, улыбаясь, вскакивала на сиденье и золотой ободок ярко выступал на ее ножке, откуда он вот-вот должен был слететь и превратиться в парящий в воздухе желанный приз, тогда вся публика в зале срывалась с мест как один человек

и дружные аплодисменты, приветствовавшие этот изумительный полет, прочно обеспечивали мисс Рэй репутацию любимицы публики.

В конце второго года мисс Рэй неожиданно заявила своей близкой подруге мисс д'Арманд, что она уезжает на лето в какую-то первобытную деревушку на северном берегу Лонг-Айленда и что она больше не вернется на сцену.

Спустя семнадцать минут после того, как мисс Линетт д'Арманд изъявила желание узнать, где обретается ее милая подружка, в дверь громко постучали. Можете не сомневаться, это была Розали Рэй. После того как мисс д'Арманд громко крикнула «войдите», она ворвалась в комнату, возбужденная и вместе с тем обессиленная, и бросила на пол тяжелый саквояж. Да, в самом деле, это была Розали, в широком дорожном плаще, явно носившем следы путешествия, и при этом не в автомобиле, — в плотно повязанной коричневой вуали с разлетающимися концами в полтора фута длиной, в сером костюме, коричневых ботинках и сиреневых гетрах.

Когда она откинула вуаль и сняла шляпу, появилось очень недурненькое личико, которое в эту минуту пылало от какого-то необычного волнения, и большие глаза, полные тревоги,

затуманенные какой-то тайной обидой. Из тяжелой копны темно-каштановых волос, заколотых кое-как, наспех, выбивались волнистые пряди, а короткие непослушные завитки, выскользнувшие из-под гребенок и шпилек, торчали во все стороны.

Встреча двух подруг не сопровождалась никакими вокальными, гимнастическими, осязательными и вопросительно-восклицательными излияниями, которыми отличаются приветствия их светских сестер, не имеющих профессии. Обменявшись коротким рукопожатием и бегло чмокнув друг друга в губы, они сразу почувствовали себя так, как если бы они виделись только вчера. Приветствия бродячих актеров, чьи пути то скрещиваются, то снова расходятся, похожи на краткие приветствия солдат или путешественников, столкнувшихся в чужой стороне, в дикой, безлюдной местности.

— Я получила большой номер двумя этажами выше тебя, — сказала Розали, — но я еще там не была, а пришла прямо к тебе. Я и понятия не имела, что ты здесь, пока мне не сказали.

— Я здесь уже с конца апреля, — сказала Линетт, — и отправляюсь в турне с «Роковым наследством». Мы открываем сезон на будущей

неделе в Элизабет. А ведь я думала, ты бросила сцену, Ли. Ну, расскажи же мне о себе.

Розали ловко устроилась на крышке высокого дорожного сундука мисс д'Арманд и прислонилась головой к оклеенной обоями стене. Благодаря давнишней привычке эти вечно блуждающие театральные звезды чувствуют себя в любом положении так же удобно, как в самом глубоком, покойном кресле.

— Сейчас я тебе все расскажу, Линн, — отвечала она с каким-то необыкновенно язвительным и вместе с тем бесшабашным выражением на своем юном личике, — а с завтрашнего дня я снова пойду обивать пороги на Бродвее да просиживать стулья в приемных антрепренеров. Если бы кто-нибудь за эти три месяца и даже еще сегодня до четырех часов дня сказал мне, что я снова буду выслушивать эту неизменную фразу: «Оставьте-вашу-фамилию-и-адрес», — я бы расхохоталась в лицо этому человеку не хуже мисс Фиск в финальной сцене. Дай-ка мне носовой платок, Линн. Вот ужас эти лонг-айлендские поезда! У меня все лицо в копоти, вполне можно было бы играть Топси, не нужно никакой жженой пробки. Да, кстати о пробках, нет ли у тебя чего-нибудь выпить, Линн?

Мисс д'Арманд открыла шкафчик умывальника.

— Вот здесь, кажется, с пинту манхэттенской осталось. Там в стакане гвоздика, но ее…

— Давай бутылку, стакан оставь для гостей. Вот спасибо, как раз то, чего мне недоставало. За твое здоровье. Это мой первый глоток за три месяца!.. Да, Линн, я бросила сцену в конце прошлого сезона, бросила потому, что устала от этой жизни, а главное, потому, что мне до смерти опротивели мужчины, те мужчины, с которыми приходится сталкиваться нам, актрисам. Ты сама знаешь, что это за жизнь, — борешься за каждый шаг, отбиваешься ото всех, начиная с антрепренера, который желает тебя покатать в своем новом автомобиле, и кончая расклейщиком афиш, который считает себя вправе называть тебя запросто, по имени. А хуже всего это мужчины, с которыми приходится встречаться после спектакля! Все эти театралы, завсегдатаи, которые толкутся у нас за кулисами, приятели директора, которые тащат нас ужинать, показывают свои брильянты, предлагают поговорить насчет нас с «Дэном, Дэвом и Чарли», ах, как я ненавижу этих скотов! Нет, правда, Линн, когда такие девушки, как мы, попадают на сцену, их можно только жалеть. По-

думай, девушка из хорошей семьи, она старается, трудится, надеется чего-то достигнуть своим искусством — и никогда ничего не достигает. У нас принято сочувствовать хористкам — бедняжки, они получают пятнадцать долларов в неделю! Чепуха, какие огорчения у хористок! Любую из них можно утешить омаром.

Уж если над кем проливать слезы, так это над судьбой актрисы, которой платят от тридцати до сорока пяти долларов в неделю за то, что она исполняет главную роль в каком-нибудь дурацком обозрении. Она знает, что большего она не добьется, и так она тянет годами, надеется на какой-то «случай», и надежда эта никогда не сбывается.

А эти бездарные пьесы, в которых нам приходится играть! Когда тебя волокут по всей сцене за ноги, как в «Хоре тачек», так эта музыкальная комедия кажется роскошной драмой по сравнению с теми идиотскими вещами, которые мне приходилось проделывать в наших тридцатицентовых номерах.

Но самое отвратительное во всем этом — мужчины, мужчины, которые пялят на тебя глаза, пристают с разговорами, стараются купить тебя пивом или шампанским, в зависимости от того,

во сколько они тебя расценивают. А мужчины в зрительном зале, которые ревут, хлопают, топают, рычат, толпятся в проходах, пожирают тебя глазами и, кажется, вот-вот проглотят, — настоящее стадо диких зверей, готовых разорвать тебя на части, только попадись им в лапы. Ах, как я ненавижу их всех! Но ты ждешь, чтоб я тебе рассказала о себе.

Так вот. У меня было накоплено двести долларов, и, как только наступило лето, я бросила сцену. Я поехала на Лонг-Айленд и нашла там прелестнейшее местечко, маленькую деревушку Саундпорт на самом берегу залива. Я решила провести там лето, заняться дикцией, а осенью попытаться найти учеников. Мне показали коттедж на берегу, где жила старушка вдова, которая иногда сдавала одну-две комнаты, чтобы кто-нибудь в доме был. Она пустила меня к себе. У нее был еще один жилец, преподобный Артур Ляйл.

Да, в нем-то все и дело. Ты угадала, Линн. Я тебе сейчас все выложу в одну минуту. Это одноактная пьеса.

В первый же раз, когда он прошел мимо меня, я вся так и замерла. Он покорил меня с первого же слова. Он был совсем непохож на тех мужчин, которых мы видим в зрительном зале. Такой

высокий, стройный, и, знаешь, я никогда не слышала, когда он входил в комнату, я просто чувствовала его. А лицом он точь-в-точь рыцарь с картины — ну вот эти рыцари Круглого Стола, а голос у него — настоящая виолончель! А какие манеры!

Помнишь Джона Дрю в лучшей его сцене в гостиной? Так вот, если сравнить их обоих, Джона следовало бы просто отправить в полицию за нарушение приличий.

Ну, я тебя избавлю от всяких подробностей; словом, не прошло и месяца, как мы с Артуром были помолвлены. Он был проповедником в маленькой методистской церквушке, просто такая часовенка, вроде будки. После свадьбы мы с ним должны были поселиться в маленьком пасторском домике, величиной с закусочный фургон, и у нас были бы свои куры и садик, весь заросший жимолостью. Артур очень любил проповедовать мне о небесах, но мои мысли невольно устремлялись к этой жимолости и курам, и он ничего не мог с этим поделать.

Нет, я, конечно, не говорила ему, что была на сцене, я ненавидела это ремесло и все, что с ним было связано. Я навсегда покончила с театром и не видела никакого смысла ворошить старое.

Я была честная, порядочная девушка, и мне не в чем было каяться, разве только в том, что я занималась дикцией. Вот и все, что у меня было на совести.

Ах, Линн, ты представить себе не можешь, как я была счастлива! Я пела в церковном хоре, посещала собрания рукодельного общества, декламировала «Анни Лори», знаешь, эти стихи со свистом. В местной газетке писали, что я декламирую «с чуть ли не артистическим мастерством». Мы с Артуром катались на лодке, бродили по лесам, собирали ракушки, и эта бедная, маленькая деревушка казалась мне самым чудесным уголком в мире. Я с радостью осталась бы там на всю жизнь, если бы…

Но вот как-то раз утром, когда я помогала старухе миссис Герли чистить бобы на заднем крыльце, она разболталась и, как это обычно водится среди хозяек, которые держат жильцов, начала выкладывать мне разные сплетни. Мистер Лайл в ее представлении, да, признаться, и в моем также, был настоящий святой, сошедший на землю. Она без конца расписывала мне все его добродетели и совершенства и рассказала мне по секрету, что у Артура не так давно была какая-то чрезвычайно романтическая любовная история,

окончившаяся несчастливо. Она, по-видимому, не была посвящена в подробности, но видела, что он очень страдал. «Бедняжка так побледнел, осунулся, — рассказывала она. — И он до сих пор хранит память об этой леди; в одном из ящиков его письменного стола, который он всегда запирает на ключ, есть маленькая шкатулка из розового дерева и в ней какой-то сувенир, который он бережет, как святыню. Я несколько раз видела, как он сидит вечером и грустит над этой шкатулкой, но стоит только кому-нибудь войти в комнату, он сейчас же прячет ее в стол».

Ну, ты, конечно, можешь себе представить, что я не стала долго раздумывать, а при первом же удобном случае вызвала Артура на объяснение и прижала его к стене.

В этот же самый день мы катались с ним на лодке по заливу, среди водяных лилий.

— Артур, — говорю я, — вы никогда не рассказывали мне, что у вас до меня было какое-то увлечение, но мне рассказала миссис Герли. — Я нарочно выложила ему все сразу, чтобы он знал, что мне все известно. Терпеть не могу, когда мужчина лжет.

— Прежде, чем появились вы, — отвечал он, честно глядя мне в глаза, — у меня было одно

увлечение, очень сильное. Я не буду от вас ничего скрывать, если уж вы об этом узнали.

— Я слушаю, — сказала я.

— Дорогая Ида, — продолжал Артур (ты, конечно, понимаешь, я жила в Саундпорте под своим настоящим именем), — сказать вам по правде, это прежнее мое увлечение было исключительно духовного свойства. Хотя эта леди и пробудила во мне глубокое чувство и я считал ее идеалом женщины, я никогда не встречался с ней, никогда не говорил с ней. Это была идеальная любовь. Моя любовь к вам, хоть и не менее идеальная, нечто совсем другое. Неужели это может оттолкнуть вас от меня?

— Она была красивая? — спрашиваю я.

— Она была прекрасна.

— Вы часто ее видели?

— Может быть, раз двенадцать.

— И всегда на расстоянии?

— Всегда на значительном расстоянии.

— И вы любили ее?

— Она казалась мне идеалом красоты, грации и… души.

— А этот сувенир, который вы храните как святыню и потихоньку вздыхаете над ним, это что, память о ней?

— Дар, который я сохранил.

— Она вам его прислала?

— Он попал ко мне от нее.

— Но не из ее рук?

— Не совсем из ее рук, но, вообще говоря, прямо ко мне в руки.

— Но почему же вы никогда не встречались? Или между вами была слишком большая разница в положении?

— Она вращалась на недоступной для меня высоте, — грустно сказал Артур. — Но, послушайте, Ида, все это уже в прошлом, неужели вы способны ревновать к прошлому?

— Ревновать? — воскликнула я. — Как это вам могло прийти в голову? Никогда я еще так высоко не ставила вас, как теперь, когда я все это узнала.

И так оно и было, Линн, если ты только можешь это понять. Такая идеальная любовь — это было что-то совершенно новое для меня. Я была потрясена. Мне казалось, ничто в мире не может сравниться с этим прекрасным, высоким чувством. Ты подумай: человек любит женщину, с которой он никогда не сказал ни слова. Он создал ее образ в своем воображении и свято хранит его в своем сердце. Ах, до чего же это замечательно!

Мужчины, с которыми мне приходилось встречаться, пытались купить нас брильянтами, или подпоить нас, или соблазнить прибавкой жалованья, а их идеалы! Ну, что говорить!..

Да, после того, что я узнала, Артур еще больше возвысился в моих глазах. Я не могла ревновать его к этому недосягаемому божеству, которому он когда-то поклонялся, — ведь он скоро должен был стать моим. Нет, я тоже, как старушка Герли, стала считать его святым, сошедшим на землю.

Сегодня, часов около четырех, за Артуром пришли из деревни: заболел кто-то из его прихожан. Старушка Герли завалилась спать после обеда и похрапывала на диване, так что я была предоставлена самой себе.

Проходя мимо кабинета Артура, я заглянула в дверь, и мне бросилась в глаза связка ключей, торчавшая в ящике его письменного стола: он, по-видимому, забыл их. Ну, я думаю, что все мы немножко сродни жене Синей Бороды, ведь правда, Линн? Мне захотелось взглянуть на этот сувенир, который он так тщательно прятал. Не то чтобы я придавала этому какое-то значение, а так просто, из любопытства.

Выдвигая ящик, я невольно пыталась представить себе, что бы это могло быть. Я думала, может

быть, это засушенная роза, которую она бросила ему с балкона, а может быть, портрет этой леди, вырезанный им из какого-нибудь светского журнала, — ведь она вращалась в самом высшем обществе.

Открыв ящик, я сразу увидела шкатулку из розового дерева, величиной с коробку для мужских воротничков. Я выбрала в связке ключей самый маленький. Он как раз подошел — замок щелкнул, крышка откинулась.

Едва только я взглянула на эту святыню, я тут же бросилась к себе в комнату и стала укладываться. Запихала платья в чемодан, сунула всякую мелочь в саквояж, кое-как наспех пригладила волосы, надела шляпу, а потом вошла в комнату к старухе и дернула ее за ногу. Все время, пока я там жила, я ужасно старалась из-за Артура выражаться как можно более прилично и благопристойно, и это уже вошло у меня в привычку. Но тут с меня сразу все соскочило.

— Хватит вам разводить рулады, — сказала я, — сядьте и слушайте, да не пяльтесь на меня, как на привидение. Я сейчас уезжаю, вот вам мой долг, восемь долларов; за чемоданом я пришлю. — Я протянула ей деньги.

— Господи боже, мисс Кросби! — закричала

старуха. — Да что же это такое случилось? А я-то думала, что вам здесь так нравится. Вот поди-ка раскуси нынешних молодых женщин. Поначалу кажется одно, а оказывается совсем другое.

— Что правда, то правда, — говорю я, — кое-кто из них оказывается не тем, чем кажется, но вот о мужчинах этого никак нельзя сказать. Достаточно знать одного, и они все у вас как на ладони. Вот вам и вся загадка человеческого рода.

Ну а потом мне посчастливилось попасть на поезд четыре тридцать восемь, который коптел безостановочно, и вот, как видишь, я здесь.

— Но ты же мне не сказала, что было в этой шкатулке, Ли? — нетерпеливо воскликнула мисс д'Арманд.

— Одна из моих желтых шелковых подвязок, которые я швыряла с ноги в зрительный зал во время моего номера на качелях. А что, там больше ничего не осталось в бутылке, Линн?

Примечания к сборнику

Голос большого города (The Voice of the City), 1905. На русском языке под названием «Голос города» в книге: О. Генри. Тысяча долларов. Л.-М., 1925, пер. З. Львовского.

Один час полной жизни (The Complete Life of John Hopkins), 1904. На русском языке под названием «Полное описание жизни Джона Гопкинса» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. О. Поддячей.

Грошовый поклонник (A Lickpenny Lover), 1904. На русском языке под названием «Грошовый» в книге: О. Генри. Нью-йоркские рассказы. М.-Пг., 1923, пер. В. Додонова.

Как прозрел Доггерти (Dougherty's Eye-Opene), 1904. На русском языке под названием «Как он увидел» в книге: О. Генри. Тысяча долларов. Л.-М., 1925, пер. З. Львовского.

Персики («Little Speck in Garnered Fruit»), 1905. На русском языке под названием «Персик» в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Предвестник весны (The Harbinger), 1906. На русском языке под названием «Предвестник»

в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. О. Поддячей.

Пока ждет автомобиль (While the Auto Waits), 1903. На русском языке под названием «Пока автомобиль ждет» в книге: О. Генри. Тысяча долларов. Л.-М., 1925, пер. З. Львовского. Сюжет, многократно варьируемый в рассказах О. Генри. См. также «Мишурный блеск» в сб. «Четыре миллиона».

Комедия любопытства (A Comedy in Rubber), 1904. На русском языке под названием «Комедия зевак» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. Л. Гаусман.

Тысяча долларов (One thousand dollars), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. Н. Брянского.

Город побежден (The defeat of the city), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. Л. Гаусман.

Прихоти фортуны (The Shocks of Doom), 1905. На русском языке под названием «Гримасы судьбы» в книге: О. Генри. Тысяча долларов. Л.-М., 1925, пер. З. Львовского.

Адское пламя (The Plutonian Fire), 1905. На русском языке под названием «Любовь и беллетристика» в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Немезида и разносчик (Nemesis and the candy man), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Квадратура круга (Squaring the Circle), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. Л. Гаусман.

Розы, резеда и романтика (Roses, Ruses and Romance), 1905. На русском языке под названием «Романтизм и хитрость» в книге: О. Генри. Тысяча долларов. Л.-М., 1925, пер. З. Львовского.

Весна души (The Easter of the soul), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Игрушечка-пастушечка. Л.-М., 1924, пер. В. Александрова.

Кошмарная ночь на лоне столичной природы (The city of dramful night), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Что говорит город. Л., 1925, пер. Н. Жуковской.

Смерть дуракам (The Fool-Killer), 1906. На русском языке в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

В Аркадии проездом (Transients in Arcadia), 1904. На русском языке под названием «Случайные гости Аркадии» в книге: О. Генри. Что говорит город. Л., 1925, пер. Н. Жуковской.

Погребок и роза (The Rathskeller and the Rose), 1904. На русском языке под названием «Кабачок и роза» в журнале «Красная панорама», № 12, 1923, пер. Л. Гаусман.

Трубный глас (The clarion call), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Похищение Медоры (Extradited from Bohemia), 1905. На русском языке под названием «Извлеченная из Богемы» в книге: О. Генри. Что говорит город. Л., 1925, пер. Н. Жуковской.

Повар (A philiste in Bohemia), 1904. На русском языке под названием «Аристократ» в книге: О. Генри. Рассказы. Пг.-М., 1923, пер. О. Поддячей.

Кто чем может (From each according to his ability), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Что говорит город. Л., 1925, пер. Н. Жуковской.

Святыня (The memento), 1908. На русском языке в журнале «Всемирная новь», 1916, № 1.

О. Генри
ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ
(Сборник)

Деловые люди

Перевод И. Бернштейн.

Вы, конечно, сами все знаете про театры и про актеров. Вы задевали живых актеров локтями на улицах, а они задевали вас за живое на сцене. Вы читали критику на них в газетах и видели в журналах остроумные шутки насчет хористок и длинногривых трагиков. Если свести воедино ваши представления о таинственной закулисной стране, то получится примерно следующее:

Премьерши имеют по пять мужей и массу драгоценностей, фальшивых, конечно. А сложение у них ничуть не хуже вашего, мадам, просто они пользуются накладками. Хористки — это сплошь пергидроль, поклонники и «паккарды». С гастролей все актеры возвращаются по шпалам на своих двоих. Добродетельные актрисы в Нью-Йорке требуют, чтобы на роли комических старух брали их мамаш, а на гастролях — хотя бы двоюродных тетушек. Настоящее имя Кэрл Беллью — Бойл О'Келли. Джон Мак-Куллок свои разоблачения, вот что записаны на фонограф, попросту украл у Эллен Терри, перекупив по дешевке ее мемуары.

Джо Уэббер куда смешнее, чем И. Г. Содери; а Генри Миллер явно стареет и уже не тот, что был раньше. Ночью после спектакля все, кто работает в театре, пьют шампанское и заедают омарами, и так до утра или даже до полудня. Да чего там, все равно кинематограф сделал из них всех котлету.

Но в действительности мало кто из нас знает истинную жизнь служителей Мельпомены. Знали бы, так, наверно, валили бы в актеры еще гуще, чем валят сейчас. Мы поглядываем на них скептически и свысока, хотя потом приходим домой и у себя перед зеркалом пробуем разные жесты и позы.

В последнее время появилась новая точка зрения на актеров. Что будто бы в театрах работают не гастролирующие вакханки и охотники за брильянтами, а самые что ни на есть обычные деловые люди, ученые и аскеты, обремененные семьями и собственными библиотеками, что они владеют недвижимостью и ведут дела так же здраво и осмотрительно, как любой из нас, благонамеренных граждан, пожизненно привязанных к колесу квартирной платы, растущих цен на уголь, газ и лед и муниципальных сборов.

Которая из этих двух теорий верна, здесь не место гадать. Я просто предлагаю вашему внима-

нию небольшой рассказ о двух членах эстрадной труппы; а в подтверждение его правдивости могу провести вас через актерский подъезд в старый театр Китора и показать на двери темное пятно от бессчетных толчков ладонью, когда недосуг поворачивать чугунную витую ручку, — у той двери я последний раз видел Черри, она ласточкой впорхнула к себе в уборную, как всегда рассчитав время до минуты.

Эстрадный дуэт «Харт и Черри» был счастливой находкой. До этого Боб Харт четыре года разъезжал по восточным и западным штатам со своей смешанной программой — в нее входил монолог, три жанровых песенки с молниеносным переодеванием, две пародии на знаменитых пародистов и один характерный танец, не раз удостоенный одобрительного взгляда контрабасиста в оркестре — для настоящего актера нет выше похвалы.

Дело в том, что актеру приятнее всего на свете видеть, как кто-нибудь из его собратьев позорит жалкими ужимками актерское звание. Чтобы доставить себе такое удовольствие, он может покинуть теплое местечко на Бродвее и отправиться за тридевять земель — присутствовать при заклании какого-нибудь своего менее даровитого коллеги. Но случается — хотя и очень

редко, — что тот, кто приходит, чтобы поглумиться, остается смотреть и даже потрудит свои руки звучным соприкосновением ладоней.

Однажды вечером Боб Харт всунул свое серьезное и всем в театральном мире известное лицо в окошечко кассы конкурирующей труппы и получил контрамарку в партер.

Вспыхивали и гасли названия номеров программы, одно за другим погружаясь в небытие и все глубже погружая Харта в мрачное уныние. Другие зрители сипли и корчились от смеха, свистели и хлопали — Боб Харт, «Бездна Обаяния и На Все Руки Мастер», сидел с постной физиономией и далеко держал ладонь от ладони, словно мальчик, помогающий бабушке смотать шерсть в клубок.

Но вот начался восьмой номер программы, и «Бездна Обаяния» встрепенулся. Счастливая восьмерка возвещала появление Виноны Черри, «Исполнительницы Характерных Песенок с Перевоплощениями». Вся-то Черри была — дунь и нет ее, но свой номер она умела подать честь по чести. Сначала перед вами появлялась восхитительно юная деревенская простушечка в ситцевом передничке и с корзинкой бутафорских ромашек и пела о том, что у них в старой

бревенчатой школе можно научиться не одним только столбикам и глаголам, но и кое-чему другому, особенно «когда учитель в наказание на вечер в классе оставлял». Потом, взмахнув ситцевыми оборками, она исчезала и быстрее, чем в мгновение ока, появлялась снова — уже задорной парижанкой. Ибо Искусству ничего не стоит сблизить нашу добрую красную мельницу и парижскую Moulin Rouge[162]. И тогда…

Но дальше вы все сами знаете. И Боб Харт знал. Просто он увидел и нечто другое. В лице Черри он увидел единственную актрису, в точности подходящую, по его мнению, для роли Эллен Граймс в скетче, который он написал и хранил под крышкой своего чемодана. У Боба Харта, как у всякого нормального актера, бакалейщика, газетчика, профессора, маклера или фермера, была припрятана пьеса собственного сочинения. Их хранят под крышкой чемодана или в дупле дерева, в письменном столе или в стоге сена, на книжной полке или во внутреннем кармане, в сейфах, шкатулках и ящиках для угля, пока не по-

[162] Примечания: 162
«Красная мельница» (*франц.*) — знаменитое кабаре.

явится какой-нибудь новый мистер Фроман[163].

Но скетч Боба Харта был не из тех, которым суждено заплесневеть без применения. Назывался он «Кот издох — мышам раздолье». Боб написал его и спрятал до того времени, когда ему подвернется партнерша на роль Эллен Граймс, полностью отвечающая его авторскому замыслу. И вот теперь он увидел живую Эллен: у нее была и юность, и бойкость, и наивность, и огонек, и самая безупречная актерская техника — даже на его придирчивый вкус.

После ее выступления Харт разыскал в кассе директора и получил у него адрес Черри. Назавтра в пять часов вечера он вошел в старый дом в западном конце одной из Сороковых улиц и послал на верхний этаж свою карточку.

При дневном освещении, в мирской блузке с длинным рукавом и простой шерстяной юбке, с подобранными волосами и скромным выражением лица, она хоть сейчас могла бы выступить на сцене в роли Пруденс Уайз, дочки проповедника и героини великой еще не написанной и не озаглавленной драмы из истории Новой Англии.

— Я знакома с вашей работой, мистер Харт, —

---

[163] Примечания: 163

Чарлз и Дэниел Фроманы — известные в конце XIX в. американские антрепренёры и режиссёры.

сказала мисс Черри Вишенка, внимательно изучив его карточку. — По какому поводу вы хотели меня видеть?

— Я смотрел вас вчера на сцене, — ответил Харт. — У меня есть один скетч, я его написал и пока придерживаю. Там две роли; и мне кажется, вторая вам в самый раз подходит. Вот я и решил потолковать с вами об этом деле.

— Заходите в гостиную, — сказала мисс Черри. — Это меня интересует. Хотелось бы попробовать играть, а не выступать с номерами.

Боб Харт вытащил из кармана своих «Мышей» и прочитал ей.

— Пожалуйста, прочтите еще раз, — попросила мисс Черри.

Потом она предложила несколько поправок: ввести в пьесу вестника взамен разговора по телефону, оборвать диалог перед развязкой, когда герои борются за револьвер, и совершенно изменить все реплики Эллен в том месте, где ее одолевает ревность. Харт без возражений все принял. Она сразу увидела слабые места в его скетче. Ничего не скажешь, женская интуиция, именно этого ему и не хватало. К концу разговора Харт готов уже был ручаться всеми своими навыками, знаниями и накоплениями за четыре

эстрадных года, что «Мыши» расцветут пышным круглогодичным цветом в саду гастрольных возможностей. Мисс Черри была не столь поспешна в выводах. Поморщив свой гладкий юный лоб, постучав карандашиком по своим ровным белым зубкам, она, наконец, изрекла последнее слово.

— Мистер Харт, — сказала она. — По-моему, ваш скетч должен иметь успех. Роль этой Граймс подходит мне, будто специально для меня писана. У меня бы она заиграла, как духовой оркестр Сорок четвертого кавалерийского полка на смотру. И вас я видела, знаю, как вы прекрасно управитесь со второй ролью. Но дело есть дело. Сколько вы получаете в неделю за ваше теперешнее выступление?

— Двести, — ответил Харт.

— А я сто, — сказала Черри. — Обычная скидка для женщины. Но я на эту сумму живу и еще каждую неделю откладываю по нескольку зелененьких про черный день. Работа в театре мне нравится; я ее люблю; но еще больше я люблю другое — деревенский домик, который я куплю себе когда-нибудь, а во дворе чтобы бегали рябые курочки-несушки и шесть уток. И позвольте вам сказать, мистер Харт, что у меня сугубо деловой подход. Если вы хотите, чтобы я сыграла роль в

вашем скетче, я сыграю. И, по-моему, дело у нас пойдет. Но только я должна вас предупредить: никакой дури я не допущу. Ни о чем таком не может быть и речи. Я работаю в театре ради заработка, как другие девушки работают в конторах и магазинах. Хочу накопить денег на то время, когда мне уже не под силу окажутся теперешние трюки. В «Доме Старых Дам» или в «Убежище Для Непредусмотрительных Актрис» я жизнь кончать не намерена. Хотите, чтобы мы с вами стали компаньонами, мистер Харт, и при этом совершенно безо всяких глупостей — я согласна. Какие в театре бывают компаньоны, мне известно, но только мы с вами должны во всем от них отличаться. Помните, я выхожу на сцену для того, чтобы побольше принести домой в конверте с желтым табачным пятном на том месте, где лизнул кассир. Считайте, что у меня такое хобби — накопить, пока лето, побольше теплых вещей на зиму. Вы должны знать, что я за человек. Ночных ресторанов я в глаза не видела; пью только некрепкий чай; в жизни не разговаривала с мужчиной у актерского подъезда и имею вклады в пяти сберегательных кассах.

— Мисс Черри, — проговорил Боб Харт своим красивым, серьезным голосом, — ваши условия

мне подходят. Я и сам человек сугубо деловой. Во сне я всегда вижу домик из пяти комнат на северном берегу Лонг-Айленда, на кухне повар-японец стряпает устричный суп и утку по-токийски, а я на веранде качаюсь в гамаке и читаю «В дебрях Африки» Стэнли. И ни живой души вокруг. Вы никогда не интересовались Африкой, мисс Черри?

— Я — нет, — ответила Черри. — Свои деньги я намерена класть в банки. Там начисляют до четырех процентов на вклад. Я рассчитала, что даже при теперешнем жалованье смогу через десять лет получать пятьдесят долларов в месяц одних процентов. А может, вложу часть капитала в какое-нибудь дело — дамскую парикмахерскую или шляпную мастерскую, — и тогда мой доход увеличится.

— Ну что ж, — сказал Харт. — Во всяком случае, взгляд у вас верный. Если бы все у нас откладывали деньги вместо того, чтобы пускать по ветру, каждый мало-мальски стоящий актер мог бы без опаски смотреть в будущее. Я рад, что у вас такой правильный подход, мисс Черри. Я его разделяю; и мне кажется, что этот скетч, когда мы его как следует отделаем, увеличит и ваши и мои доходы вдвое против теперешнего.

Дальнейшая судьба скетча «Кот издох — мышам

раздолье» ничем не отличалась от судьбы всякого удачного драматургического произведения. Его сокращали, разбивали на сцены, переделывали, урезывали, переставляли реплики, снова делали как было, дописывали, вычеркивали, меняли название, восстанавливали прежнее, заменяли револьвер кинжалом, а потом опять кинжал револьвером — словом, подвергали всем существующим видам ужатия и доработки.

Репетировали в пустой гостиной пансиона, где жила Черри, отрабатывая действие строго по минутам, пока не добились, чтобы шипение старинных часов перед боем всегда раздавалось ровно на полсекунды раньше, чем щелчок незаряженного револьвера, который Эллен Граймс держала в руке, прогоняя захватывающую кульминационную сцену.

Да, это была захватывающая пьеса, и поставлена она была замечательно.

На сцене звучал настоящий выстрел из настоящего заряженного тридцатидвухкалиберного револьвера. Эллен Граймс, девушка с Дальнего Запада, в ловкости и отваге не уступающая Буффало Биллу, пламенно любит Фрэнка Десмонда, личного секретаря и будущего доверенного зятя своего отца. «Арапахо» Граймс, полумиллионер

и король скотоводов, — живет на собственном ранчо, которое расположено, судя по деталям пейзажа, где-то не то в штате Невада, не то на Лонг-Айленде. Десмонд (в частной жизни мистер Боб Харт) носит краги и охотничье галифе и местом своего жительства называет город Нью-Йорк, так что непонятно, что же он делает в Неваде или там на Лонг-Айленде, и остается только догадываться, зачем королю скотоводов понадобились на ранчо кожаные краги, да в них еще и секретарь.

Словом, вы сами знаете не хуже меня, что такие пьесы, как ни прикидывайся, всем нам по душе — этакая смесь «Сына Синей Бороды» с «Цимбелином» в русской постановке.

В «Мышах» было всего две с половиной роли. Харт и Черри, разумеется, исполняли первую и вторую; а половинка всегда доставалась рабочему сцены, который вбегал в смокинге и в панике и кричал, что дом окружили индейцы, а заодно, по приказанию директора, незаметно прикручивал газ в бутафорском камине.

Еще была в этом скетче вторая женская роль — столичной светской красавицы, которая приезжала погостить на ранчо, успев околдовать Джека Валентайна, еще когда он не разорился

и был состоятельным клубменом в Нью-Йорке. Эта девица фигурировала на сцене только в виде фотографии — Джек держал ее портрет на каминной полке в их лонг-айлендской… то бишь невадской гостиной. И Эллен, понятно, мучилась ревностью.

А дальше начинались захватывающие события. Старый «Арапахо» Граймс в одночасье умирает от грудной жабы — об этом нам театральным шепотом, так, что слышно в последнем ряду, сообщает осиротевшая Эллен, — и при его кончине присутствует только один человек: его секретарь. А известно, что в день смерти у него в библиотеке (это на ранчо!) оставалось 647 тысяч долларов, вырученных от продажи на Восток партии рогатого скота (вот откуда у нас такие цены на бифштексы!). Деньги исчезли. Джек Валентайн был единственным человеком, который находился при старом скотоводе, когда тот предположительно отдал концы.

— «Видит бог, я его люблю, но если это его рук дело…» — ну, вы понимаете. И дальше в достаточно нелестных тонах говорится о нью-йоркской красавице, которая, кстати сказать, так и не появляется на сцене — и можно ее понять, когда Театральное объединение замораживает цены

на билеты и дело дошло уже до того, что платье вам на спине застегивает помощник режиссера, на костюмершу просто не хватает средств.

Однако погодите. Приближается развязка. Эллен Граймс, не в силах дольше владеть своим ковбойским темпераментом, совершенно теряет голову от ревности. Она убедилась, что ее Джек Валентайн не только коварен, но еще и расчетлив. Одним махом лишиться 647 тысяч долларов и возлюбленного в охотничьих галифе с галунами зигзагом, как температурная кривая у тифозного больного, — это какую хочешь благородную леди выведет из себя. Трепещите же.

Он и она стоят в библиотеке (на ранчо), где над книжными шкафами висят лосиные рога (ведь когда-то, если не ошибаюсь, на Лонг-Айленде в первобытных лесах водились лоси?). Это — начало конца. Я не знаю более интересного места в спектакле, разве что конец начала.

Эллен думает, что деньги взял Джек. Больше-то ведь некому было: директор все представление просидел у окошечка кассы; оркестранты со своих мест не вставали; а через актерский подъезд старый Джимми не пропустит ни живой души — до тех пор пока ему не предъявят в качестве гарантий благонадежности скайтерьера или

автомобиль.

Окончательно, как мы сказали, потеряв голову, Эллен говорит Джеку Валентайну: «Грабитель и вор — и хуже того, похититель доверчивых сердец! Ты заслужил смерть!»

При этом она, сами понимаете, выхватывает свой верный револьвер.

— «Но я буду милосердна, — продолжает Эллен. — Ты останешься в живых, и это послужит тебе наказанием. Сейчас ты увидишь, с какой легкостью я могла бы обречь тебя смерти, которой ты заслуживаешь. Вот на камине ее портрет. Пулю, что должна была пробить твое подлое сердце, я всажу в ее прекрасное лицо».

Сказано — сделано. И никаких там холостых патронов, никаких погремушек за сценой. Эллен стреляет. Пуля — настоящая пуля — пробивает фотографию — попадает в скрытую пружину, и панель тайника в стене отодвигается, а там, взгляните-ка! те самые 647 тысяч, лежат как миленькие, ассигнации пачками, золото в мешках. С ума сойти. Ну, вы понимаете. Черри два месяца практиковалась с мишенью на крыше своего пансиона. Тут нужна большая меткость. В спектакле ей надо было попадать в медный кружочек диаметром всего три дюйма, да еще

заклеенный обоями; надо было каждый раз остановиться точно на том же месте, и фотография должна была стоять точно в том же положении, и стрелять надо было каждый раз недрогнувшей, твердой рукой.

Конечно же, старый «Арапахо» просто припрятал денежки в укромном месте, и, конечно, Джек не взял себе ничего, кроме собственного жалованья (за что ему, конечно, можно было бы пришить «присвоение денег при отягчающих обстоятельствах»; но это уже другой вопрос); и, конечно же, нью-йоркская красавица на самом деле обручена с владельцем строительной конторы в Бронксе; так что, естественно, Джек и Эллен оказываются под занавес в двойном нельсоне — и все кончается ко всеобщему счастью.

Доведя скетч до совершенства, Харт и Черри дали пробный спектакль. Успех был сногсшибательный. Они одержали одну из тех редких побед в искусстве, которые буквально затопляют зрительный зал сверху донизу. Галерка рыдала; оголенный партер плавал в волнах слез.

Театральные агенты ходили по пятам за Хартом и Черри и совали им на подпись бланки контрактов с непроставленными суммами. И вылилось это все в пятьсот долларов еженедельно.

После спектакля, проводив Черри до порога ее пансиона, Харт снял шляпу и пожелал ей спокойной ночи.

— Мистер Харт, — сказала она серьезно, — не зайдете ли на минутку в гостиную? Перед нами открылась возможность заработать приличные деньги. И наша задача теперь — как можно больше сократить расходы, чтобы не тратить сверх нужды ни цента.

— Согласен, — ответил Боб. — Дело есть дело. Вы свои деньги распихиваете по банкам; а мне каждую ночь снится мой домик с поваром-японцем, и чтоб там больше ни живой души. Всякое соображение насчет того, как увеличить чистый доход, представляет для меня интерес.

— Зайдите же на минуту в гостиную, — еще серьезнее повторила Черри. — У меня к вам есть деловое предложение, как сократить расходы и помочь вам в осуществлении вашей мечты, а мне — моей. Сугубо деловое предложение.

Скетч «Кот издох — мышам раздолье» шел в Нью-Йорке с огромным успехом целых десять недель — для эстрадных театров срок немалый, — а потом уехал в провинцию. Не вдаваясь в детали, можно сказать, что он служил нашему дуэту верным и неисчерпаемым источником дохода,

за два года нисколько не утратив своей шумной популярности.

Сэм Паккард, директор одного из нью-йоркских эстрадных театров, так говорил о Харте и Черри:

— Самая лучшая и самая порядочная эстрадная пара. Одно удовольствие — читать их имена в афишке. Спокойные, трудолюбивые, никаких истерик и сердечных страданий, на работу являются минута в минуту, после выступления — сразу домой, и оба такие джентльмены, ну прямо настоящие леди. Никогда еще актеры не причиняли мне меньше неприятностей и не внушали мне больше уважения к своей профессии.

И здесь, ободрав, наконец, всю шелуху, мы подобрались к зерну нашего рассказа.

В конце второго сезона «Мыши» вернулись в Нью-Йорк для второго прогона в летних театрах и на открытых эстрадах. Их с готовностью и на самых выгодных условиях включали в любую эстрадную программу. У Боба Харта домик его мечты был уже, можно сказать, в кармане, а Черри накопила столько банковских книжек, что пришлось ей покупать для них в рассрочку книжные полки.

Говоря это, я просто хочу убедить вас в том, что и среди актеров очень часто встречаются люди,

которые живут во имя избранной цели — как, скажем, человек, мечтающий стать президентом, или бакалейщик, задумавший обзавестись собственным загородным домом, или благородная дама, собравшаяся сменить графский хрен на княжескую редьку. И при этом да будет мне позволено заметить, не для печати, что, идя к своей цели, они поистине способны порой свершать чудеса.

Слушайте же.

Во время представления «Мышей» в новом здании театра «Вестфалия» в Нью-Йорке Винона Черри почему-то нервничала. И, стреляя в фотографию на камине, она, вместо того чтобы попасть в лицо красотке и в медный кружочек, пустила пулю в шею Бобу Харту над левой ключицей. От неожиданности Харт упал замертво, а Черри картинно грохнулась в обморок.

Публика, полагая, что ей показали комедию, а не трагедию с женитьбой и примирением, радостно аплодировала. Единственный человек, не потерявший присутствия духа (один такой всегда найдется на месте подобных происшествий), дал знак опустить занавес, и две бригады рабочих сцены уволокли в разные стороны два распростертых тела. Объявили следующий номер

программы, и веселье продолжалось.

У актерского подъезда был выловлен молодой медик, дожидавшийся своей пациентки с букетом алых роз наготове. Он внимательно осмотрел Харта и посмеялся от души.

— В газетах о вас не напишут, старина! — таков был его диагноз. — На два дюйма левее — и была бы повреждена сонная артерия. А так пусть бутафор оторвет у какой-нибудь хористочки от подола полоску валансьенских кружев и наложит вам повязку, потом поезжайте домой, там вас перевяжет районный доктор, и все пройдет. А теперь прошу меня простить, меня ждет тяжелобольная.

Боб Харт воспрянул духом и почувствовал себя гораздо лучше. Тут в помещение, где он лежал, пришел Винченте — Великий Фокусник, подлинный артист своего дела. Винченте, он же в быту Сэм Григгз из Брэтлборо, штат Вермонт, был серьезный человек, из каждого города посылавший игрушки и сласти двум маленьким дочкам. Он вместе с Хартом и Черри ездил по провинции и состоял с ними в дружбе.

— Боб, — озабоченно сказал Великий Фокусник, — слава богу, что рана не опасна. Девочка вне себя.

— Кто? — не понял Харт.

— Да Черри. Мы не знали, в каком ты состоянии, и не пускали ее к тебе. Директор и три девушки держат ее там из последних сил.

— Но я же понимаю, это несчастный случай, — сказал Харт. — Я на Черри не в обиде. Просто она не совсем хорошо себя чувствовала. Пусть не угрызается. Она человек деловой. Через три дня, доктор говорит, я снова смогу выступать. Так что незачем ей беспокоиться.

— Парень, — свирепо проговорил Сэм Григгз, нахмуря свой старый, обветренный, складчатый лоб. — Ты что, автомат или мужчина? Черри все глаза по тебе выплакала, все кричит: «Боб! Боб!» — и к тебе рвется, а ее держат за руки, за ноги, сюда не пускают.

— Чего это она? — недоуменно спросил Харт. — Через три дня возобновим выступления. Доктор говорит, рана не опасная. Она не потеряет на этом и половины недельного заработка. Несчастный случай, я понимаю. Чего это она?

— Да ты-то чего, слепой или дурак? — ответил ему Винченте. — Она тебя любит и чуть с ума не сошла оттого, что ты ранен. Что с тобой? Или она для тебя ничего не значит? Слышал бы ты, как она тебя зовет!

— Она… меня… любит? — повторил Боб Харт, приподнимаясь на груде размалеванных задников. — Черри меня любит? Да этого быть не может.

— Ты бы на нее посмотрел да сам послушал.

— Но говорю тебе, — сказал Боб садясь, — этого быть не может. Мне никогда ничего подобного и в голову не приходило.

— Тут двух мнений быть не может, — произнес Великий Фокусник. — Она голову потеряла от любви к тебе. Как ты мог быть таким слепцом?

— Но господи ты боже мой! — Боб вскочил на ноги. — Ведь теперь уже поздно. Поздно, говорю тебе, Сэм. Понимаешь? Поздно! Не может этого быть. Ты, наверно, ошибся. Не может быть. Тут что-то не так.

— Она плачет по тебе, — сказал Великий Фокусник. — Из любви к тебе она одна борется против троих и так громко зовет тебя, что дирекция не решается поднять занавес. Проснись и протри глаза.

— Из любви ко мне? — растерянно повторил Боб Харт. — Да говорю я тебе: поздно! Слышишь? Поздно. Мы же с ней уже два года женаты.

Золото, которое блеснуло

Перевод В. Азова.

Рассказ с моралью подобен москиту с его жалом. Он вам сначала надоедает, а после себя оставляет яд, который надолго отравляет нашу совесть. Поэтому лучше всего начать с нравоучения, чтобы сразу же с ним и покончить. Не все то золото, что блестит, — но иногда бывает благоразумнее подальше убрать пузырек с кислотой и воздержаться от испытания подлинности металла.

Вблизи того места, где Бродвей подходит к площади, над которой царит Правдивый Джордж[164], находится Литл-Риальто. Здесь можно встретить всех актеров района; это их штаб-квартира. «Никаких мягких, — говорю я Фроману, — два с половиной доллара за выход; ни центом меньше не возьму» — и ухожу.

К западу и к югу от царства Мельпомены лежат одна или две улицы, где тесно жмутся другу к другу представители испано-американской колонии в надежде создать себе хоть некоторую

[164] Примечания: 164
Памятник Джорджу Вашингтону.

иллюзию тропической жары на беспощадном севере. Центром, вокруг которого сосредоточивается вся жизнь этой местности, является «Эль-Рефугио», кафе-ресторан, обслуживающий легкомысленных эмигрантов с юга. Из Чили, Боливии, Колумбии, из вечно шумящих республик Центральной Америки, с кипящих страстями Вест-Индских островов залетают сюда одетые в плащ и сомбреро сеньоры, выбрасываемые, подобно горячей лаве, из своих государств политическими извержениями. Сюда они являются, чтобы составлять заговоры, ожидать благоприятной минуты, добывать средства, вербовать флибустьеров, вывозить контрабандой оружие и военные припасы — одним словом, заниматься различными авантюрами. Здесь, в «Эль-Рефугио», господствует атмосфера, необходимая для их процветания.

В ресторане «Эль-Рефугио» подаются кушанья, наиболее ценимые жителями стран, лежащих между Козерогом и Раком. Из человеколюбия мы должны здесь на время прервать наш рассказ. О ты, едок, которому надоели кулинарные ухищрения галлов! Отправляйся в «Эль-Рефугио»! Только там найдешь ты рыбу из Мексиканского залива, поджаренную по-испански. Томаты придают

ей цвет, индивидуальность и дух; чилийская капуста сообщает ей вкус, оригинальность и прелесть; неведомые травы добавляют пикантность, экзотичность и… впрочем, заключительное совершенство ее заслуживает отдельного предложения. Вокруг нее, над ней, под ней, поблизости, — но отнюдь не в ней самой, — витает эфирная аура, эманация столь тонкая и нежная, что только Общество Психических Изысканий могло бы открыть ее происхождение. Не позволяйте себе утверждать, что в «Эль-Рефугио» кладут в рыбу чеснок. Можно только сказать, что дух чеснока, пролетая, мимоходом коснулся устами обложенного петрушкой блюда; но поцелуй этот неизгладим, как воспоминание о тех поцелуях, которые «в мечтаниях ты срываешь с уст, уж отданных другому». А потом, когда Кончито, слуга, подает вам порцию румяных frijoles и графин вина, которое прямым сообщением приехало без остановок в «Эль-Рефугио» из Опорто — ah, Dios!..

Однажды с пассажирского парохода Гамбургско-Американской линии сошел на пристань № 55 генерал Перрико Хименес Виллабланка Фалькон, прибывший из Картахены. Мастью генерал был не то рыжий, не то гнедой, объем его талии равнялся сорока двум дюймам, а рост

его, вместе с каблуками времен Людовика XV, не превышал пяти футов четырех дюймов. По усам его можно было принять за содержателя тира; одет он был как член конгресса из Техаса и держался с важным видом делегата, получившего неограниченные полномочия.

Генерал Фалькон был достаточно знаком с английским языком, чтобы спросить, как пройти на улицу, где помещается «Эль-Рефугио». Дойдя до тех краев, он увидел приличного вида красный кирпичный дом, на котором была вывеска «Hotel Espanol». В окне была выставлена карточка, на которой было написано по-испански: «Aqui se habla Espanol»[165]. Генерал вошел, уверенный в том, что он найдет здесь тихую пристань у соотечественников.

В уютно обставленной конторе сидела владелица, миссис О'Брайен. Это была блондинка — несомненная, безупречная блондинка. Что касается прочего, то она была воплощенная любезность и отличалась довольно внушительными размерами. Генерал Фалькон почтительно ее приветствовал, отвесив ей низкий поклон, причем его широкополая шляпа даже слегка кос-

---

[165] Примечания: 165
Здесь говорят по-испански.

нулась земли, и разразился по-испански речью, извергая слова, как пулемет.

— Испанец или даго[166]? — любезно спросила миссис О'Брайен.

— Я из Колумбии, сеньора, — гордо ответил генерал. — Я говорю испанский. На вашем окно написано: здесь говорят по-испански. Как же это?

— Да ведь вы же сейчас и говорили по-испански, — возразила дама. — А я-то вот и не умею.

Генерал Фалькон снял в гостинице номер и устроился в нем. Когда начало смеркаться, он вышел на улицу, чтобы полюбоваться диковинами оглушительно шумной северной столицы. По дороге он вспомнил необыкновенно золотистые волосы миссис О'Брайен. «Вот где, — сказал себе генерал (без сомнения, на родном языке), — можно найти самых красивых сеньор в мире. Родная Колумбия не имеет подобных красавиц среди своих дочерей. Но что я! Не мне, не генералу Фалькону, думать о красоте! Все мои помыслы должны принадлежать моей родине!»

На углу Бродвея и Литл-Риальто генерал растерялся. Трамваи ошеломляли его, а под конец

---

[166] Примечания: 166

Dago — кличка итальянцев, португальцев, южноамериканцев латинской расы и т. д.

предохранительная решетка одного из них бросила его на ручную тележку, наполненную апельсинами. Извозчик чуть не наехал на него, даже слегка задел беднягу и излил на его голову поток отборной ругани. Генерал кое-как добрался до тротуара, но сейчас же привскочил в ужасе, услыхав над ухом резкий свисток и почувствовав, что его обдало горячим паром: на этот раз его испугала переносная жаровня для орехов… «Yalgame Dios![167] Что за дьявольский город!»

Как подстреленная птица, генерал отпрыгнул в сторону от бесконечного потока прохожих, и тут его одновременно увидели и наметили, как подходящую дичь, два охотника. Один был «Забияка» Мак-Гайр, охотничья система которого была основана на употреблении кулаков и злоупотреблении металлической трубкой дюймов в восемь длины. Второй Нимврод мостовой был некто Келли, по прозвищу «Паук», спортсмен, признававший лишь более утонченные методы.

Оба сразу бросились на столь явную добычу, как генерал; но при этом мистер Келли на секунду опередил своего соперника. Он только-только успел отстранить локтем наскочившего мистера

---

[167] Примечания: 167
Клянусь Богом! (*исп.*).

Мак-Гайра.

— Пшел вон! — резко объявил он. — Я первый увидал его.

И Мак-Гайр скрылся, склонив оружие перед высшим интеллектом.

— Виноват, — обратился к генералу мистер Келли. — Но вы, кажется, пострадали в давке? Разрешите прийти вам на помощь.

Он поднял шляпу генерала и смахнул с нее пыль.

Образ действий мистера Келли не мог не иметь успеха. Генерал, растерянный и смущенный невиданным уличным движением, приветствовал своего спасителя, как истого кабаллеро с бескорыстной душой.

— У меня есть желание, — сказал генерал, — вернуться в гостиницу О'Брайен, где я остановил себя. Карамба, сеньор, какая у вас шумность и быстротность движения в вашем Новом Йорке!

Но вежливость не позволяла мистеру Келли покинуть знатного колумбийца одного среди опасностей, ожидавших его на обратном пути. У входа в «Hotel Espanol» оба остановились. Немного дальше, по другую сторону улицы, сияла скромно освещенная вывеска «Эль-Рефугио». Мистеру Келли, знавшему город как свои пять

пальцев, было известно по виду и это заведение, как сборный пункт всех даго. Мистер Келли делил иностранцев на две категории: на даго и на французов. Он предложил генералу отправиться в кафе и подвести под их случайное знакомство жидкий фундамент.

Час спустя генерал Фалькон и мистер Келли все еще сидели за столиком в «Эль-Рефугио», в углу заговорщиков. Перед ними стояли бутылки и стаканы. В десятый раз генерал поверял тайну своей миссии в Соединенные Штаты. По его словам, ему было поручено приобрести оружие — две тысячи винчестеров — для революционеров в Колумбии. В кармане его лежали чеки на сумму в двадцать пять тысяч долларов, выданные Картахенским банком на Нью-Йоркский банк. За соседними столами другие революционеры громким криком передавали политические тайны своим сообщникам; но никто не орал так, как генерал. Он стучал кулаком по столу; он требовал еще вина; он вопил, что данное ему поручение — совершенно секретное и что о нем нельзя даже намекнуть ни одному живому человеку. В душе мистера Келли проснулся ответный, полный сочувствия восторг. Он схватил через стол руку генерала и крепко пожал ее.

— Мусью, — проникновенно сказал он, — я не знаю, где лежит эта ваша страна, но я всей душой за нее. Впрочем, она, вероятно, входит в состав Соединенных Штатов, потому что все стихоплеты и школьные учительницы называют нас Колумбией. Ну и подвезло же вам, что вы сегодня на меня натолкнулись. Я единственный человек во всем Нью-Йорке, через которого вы можете провести ваше дело с оружием. Военный министр Соединенных Штатов — мой лучший друг Он сейчас здесь, и я повидаюсь с ним завтра и поговорю насчет вас. А пока что, мусью, запрячьте чеки подальше во внутренний карман. Я завтра зайду за вами и поведу вас к нему. Да, послушайте, вот что: ведь у вас речь идет не об округе Колумбия, не правда ли? — заключил мистер Келли, внезапно почувствовав угрызения совести. — Вам все равно не удастся захватить его с двумя тысячами винтовок. Уже пробовали с большим числом, да и то не вышло.

— Нет, нет, нет! — воскликнул генерал. — Это республика Колумбия, ве-ли-ка-я республика на самой верхушке у Южной Америки. Так, так!

— Ладно, — сказал успокоенный мистер Колли. — Ну а теперь давайте-ка понемногу домой собираться. Я сегодня напишу министру, чтоб

он мне назначил день для переговоров. Вывезти оружие из Нью-Йорка — дело хитрое.

Они расстались у входа в «Hotel Espanol». Генерал, закатив глаза, взглянул на луну и вздохнул.

— Великий это город, этот ваш Новый Йорк, — сказал он. — Правда, что трамваи могут погубить человека, а машина, которая жарит орехи, ужасно кричит в ухо. Но зато, сеньор Келли, здешние сеньоры! Сеньоры с волосами из золота, восхитительно полные, они — magnificas! Muy magnificas![168]

Келли отправился в ближайшую телефонную будку и позвонил в кафе Мак-Крэри на Верхнем Бродвее. Он велел вызвать Джимми Денна.

— Кто у телефона? Джимми Денн? — спросил Келли.

— Да, — был ответ.

— Вот ты и соврал! — радостно объявил Келли. — Ты — военный министр. Жди меня — я сейчас приеду. Я, брат, закинул удочку и поймал такую рыбку, которая тебе и во сне не снилась. Она из породы колорадо-мадура, с золотым поясом вокруг, и так начинена купонами, что ты можешь хоть сейчас идти покупать себе все, что

---

[168] Примечания: 168
Великолепны! Прямо великолепны! (*исп.*).

хочешь, хоть стоячую красную лампу и статуэтку Психеи у ручья. Я сейчас сажусь в вагон.

Джимми Денн был великим мастером жульнической ложи. Он был настоящим артистом и делал только самую тонкую работу. Он в жизни своей не брал в руки дубины и вообще презирал физические меры воздействия. Можно поручиться, что он всегда угощал бы намеченных им жертв лишь чистыми, нефальсифицированными напитками, если бы их можно было вообще достать в Нью-Йорке. «Паук» Келли лелеял честолюбивую мечту — когда-нибудь подняться до уровня Джимми.

Между приятелями произошло в тот же вечер совещание у Мак-Крэри. Келли объяснил дело.

— Это детская игра. Он приехал с острова Колумбии, где происходит какая-то потасовка, или гражданская война, или что-то в этом роде, и его прислали сюда, чтобы закупить две тысячи винчестеров, чтобы решить это дело. Он показал мне два чека, на десять тысяч долларов каждый, и один на пять тысяч. Понимаешь, Джимми, меня даже разозлило, что он не превратил их в тысячные билеты и не подал мне их на серебряном подносе. Теперь надо подождать, пока он сходит в банк и достанет для нас эти деньги.

Совещание длилось часа два, после чего Денн объявил:

— Приведи его туда, на Бродвей, завтра в четыре.

Келли пунктуально заехал в «Hotel Espanol» за генералом. Он застал мудрого воина за приятной беседой с миссис О'Брайен.

— Военный министр ждет нас, — сказал Келли.

Генерал с грустью оторвался от своего занятия.

— Да, сеньор, — со вздохом сказал он. — Долг призывает меня. Но, сеньор, в ваших Соединенных Штатах сеньоры — какие красавицы! Для примирения возьмите la madame О'Брайен. Она есть богиня Юнона, с глазами как у бычка, как говорится.

На свою беду, мистер Келли считал себя в высшей степени остроумным человеком; не его первого погубила эта черта, и не он первый сгорел от фейерверка своего остроумия.

— Без сомнения, — с усмешкой сказал он, — но заметили ли вы, что эта Юнона прибегает к перекиси водорода?

Миссис О'Брайен услыхала эти слова, подняла свою золотую головку и посмотрела на удалявшуюся фигуру Келли с обычным деловым видом. Никогда не следует говорить бесцельных грубо-

стей дамам — это допустимо только в трамвае.

Когда лихой колумбиец и его провожатый приехали в назначенное место на Бродвее, их продержали полчаса в передней и затем ввели в канцелярию, где за письменным столом сидел и что-то писал изящный господин с гладко выбритым лицом. Генерал Фалькон был представлен военному министру Соединенных Штатов, и его дело было изложено его старинным другом, мистером Келли.

— А, Колумбия! — многозначительно проговорил министр, когда его посвятили во все подробности. — Я боюсь, что, в таком случае, представятся некоторые затруднения. Президент и я — мы расходимся в своих симпатиях. Его сочувствие на стороне существующего строя, а мое… — Министр таинственно, но ласково улыбнулся генералу. — Вам, генерал, без сомнения, известно, что со времени политической борьбы между тамманистами и республиканцами конгресс издал постановление, согласно которому всякие оружейные изделия и военные припасы, вывозимые из страны, должны быть взяты на учет военным министерством. Тем не менее я с удовольствием сделаю для вас все, что могу, ради моего старинного приятеля мистера Келли. Но

все должно храниться в строжайшей тайне, так как президент, как я уже говорил, не сочувствует стремлениям революционной партии в Колумбии. Я сейчас прикажу ординарцу принести мне список оружия, имеющегося в данное время на складе.

Министр позвонил, и в комнате тотчас же появился ординарец в фуражке с буквами.

— Принесите мне опись «Б» легкого оружия, — сказал министр.

Ординарец быстро вернулся с печатным списком. Министр погрузился в его рассмотрение.

— Оказывается, — сказал он, — в государственном складе номер девять есть партия в две тысячи винчестерских винтовок, заказанная марокканским султаном, который, однако, не выслал денег своим приемщикам. А по нашим правилам, сумма уплачивается полностью при сдаче заказа. Келли, ваш приятель, генерал Фалькон, может, если хочет, приобрести эту партию винтовок по фабричной цене. А затем, прошу меня извинить, но я вынужден проститься с вами. Я ожидаю сейчас японского посла и Чарлза Мерфи[169]; они могут появиться в любую минуту.

---

[169] Примечания: 169
Лидер демократической партии.

Этот разговор имел различного рода последствия. Во-первых, генерал Фалькон почувствовал глубокую признательность к своему уважаемому другу, мистеру Келли. Во-вторых, военный министр был чрезвычайно занят в течение двух ближайших дней: он усиленно закупал пустые ящики из-под винтовок, наполнял их кирпичом и затем устанавливал на складе, нанятом для этой цели. В-третьих, когда генерал вернулся в «Hotel Espanol», миссис О'Брайен подошла к нему, смахнула пушинку с отворота его пальто и сказала:

— Слушайте, сеньор, я не хочу совать свой нос в чужие дела, но скажите мне все-таки, что нужно от вас этому похожему на обезьяну, желтоглазому, длинношеему, визгливому хулигану?

— Sangre de mi vida![170] — воскликнул генерал. — Невозможно есть, что вы говорите это про моего доброго друга, сеньора Келли?

— Пойдемте-ка в сад, — сказала миссис О'Брайен. — Мне нужно кое о чем поговорить с вами.

Теперь вообразим, что прошел целый час.

— И вы говорите, — сказал генерал, — что за восемнадцать тысяч долларов можно купить всю обстановку дома и снять его на один год вместе

---

[170] Примечания: 170
«Кровь моего сердца!» (*исп.*)

с этим садом, так прекрасным и так похожим на patio[171] моей дорогой Колумбии?

— И это будет даром, — вздохнула дама.

— Ah, Dios! — воскликнул генерал. — Что для меня война и политика? Это место есть рай. Моя страна — она имеет других храбрых героев, чтобы продолжали сражаться. Что для меня слава и убивание людей? Не нужно ничего. Это здесь я нашел ангела. Купим «Hotel Espanol», и вы будете моей, и деньги не будут выброшены на оружие!

Миссис О'Брайен положила свою золотистую головку, причесанную a la Pompadour, на плечо колумбийского патриота.

— О, синьор, — сказала она со вздохом счастья, — вы ужасны!

Через два дня наступил срок передачи винтовок генералу. Ящики, якобы наполненные оружием, были сложены на складе, нанятом для этой цели, и военный министр сидел на них в ожидании своего друга Келли, отправившегося за жертвой.

В назначенный час мистер Келли торопливо приближался к «Hotel Espanol». Он застал генерала за конторкой, погруженного в какие-то вычисления.

---

[171] Примечания: 171
Внутренний двор-сад в испанских постройках.

— Я решил, — объявил генерал, — покупать не оружие. Я сегодня уже купил внутренности этой гостиницы, и скоро будет свадебная женитьба генерала Перрико Хименес Виллабланка Фалькона на la madame О'Брайен.

У мистера Келли от негодования захватило дух.

— Ах ты, лысая старая жестянка из-под ваксы! — крикнул он, заикаясь и брызгая слюной. — Мошенник ты и больше ничего! Ты купил гостиницу на деньги, которые принадлежат твоей проклятой стране, черт знает как ее там зовут!

— Ах, — сказал генерал, подытоживая столбец, — это есть то, что называется политикой. Война и революция неприятны. Да. Зачем всегда следовать за Минервой? Не нужно. Гораздо более лучше держать гостиницу и быть с этой Юноной. Ах! Какие она имеет волосы из золота на своей голове!

Мистер Келли опять чуть не задохся.

— Ах, сеньор Келли! — проникновенно сказал генерал в заключение. — Вы никогда, очень видно, не ели рагу из солонины, которое приготовляла мадама О'Брайен.

Младенцы в джунглях

Перевод Е. Калашниковой.

Как-то раз в Литл-Роке говорит мне Монтегью Силвер, первый на всем Западе ловкач и пройдоха:

— Если ты когда-нибудь выживешь из ума, Билли, или почувствуешь, что ты уже слишком стар, чтобы по-честному заниматься надувательством взрослых людей, поезжай в Нью-Йорк. На Западе каждую минуту рождается на свет один простак: но в Нью-Йорке их просто мечут, как икру, так что и не сосчитать.

Прошло два года, и вот замечаю я, что имена русских адмиралов стали выскакивать у меня из памяти, а над левым ухом появилось несколько седых волосков; тут я понял, что пришло время воспользоваться советом Силвера.

Я вкатился в Нью-Йорк в один прекрасный день около полудня и сразу же пошел прогуляться по Бродвею. Вдруг вижу — Силвер собственной персоной: наверчено на нем разной шикарной галантереи, и он стоит, прислонясь к стене какого-то отеля, и полирует себе лунки на ногтях

шелковым платочком.

— Склероз мозга или преждевременная старость? — спрашиваю я его.

— А, Билли! — говорит Силвер. — Рад тебя видеть. Да, у нас на Западе, знаешь ли, все что-то очень поумнели. А Нью-Йорк я себе давно уже приберегал на сладкое. Конечно, не очень это красиво обирать таких людей, как нью-йоркские жители. Ведь они считать умеют только до трех, танцевать только от печки, а думают раз в год по обещанию. Не хотел бы я, чтобы моя мать знала, что я обчищаю таких несмышленышей. Она меня не для того воспитывала.

— А что, у дверей, где написано: «Принимают в чистку», уже толпится очередь? — спрашиваю я.

— Да нет, — говорит Силвер. — В наши дни и без рекламы можно обойтись. Я ведь здесь только месяц. Но я готов приступить; и все учащиеся воскресной школы Вилли Манхэттена, изъявившие желание сделать свой вклад в это благородное предприятие, благоволят послать свои фотографии для помещения в «Ивнинг дэйли».

— Я тут знакомился с городом, — говорит дальше Силвер, — читал каждый день газеты и, могу сказать, изучил его так, как кошка в ратуше изучила повадки полисменов-ирландцев. Люди

здесь такие, что, если ты не торопишься вынуть у них деньги из кармана, они просто кидаются на пол, визжат и дрыгают ногами. Пойдем ко мне, Билли, я тебе порасскажу, как и что. По старой дружбе я готов заняться этим городом с тобой на пару.

Повел меня Силвер в свой номер в отеле. Там у него валяется масса всякой всячины.

— Есть много способов выкачивать деньги из этих столичных олухов, — говорит Силвер, — больше даже, чем способов варить рис в Чарлстоне, Южная Каролина. Они клюют на любую приманку. У большинства из них мозги устроены с переключателем. Чем они умнее и ученее, тем меньше у них здравого смысла. Вот только недавно один человек продал Дж. П. Моргану писанный маслом портрет Рокфеллера-младшего, выдав его за знаменитую картину Андреа дель Сарто «Иоанн Креститель в молодости».

Видишь там, в уголке, кипу печатных брошюрок? Так вот, имей в виду, что это золотые россыпи. Я тут на днях стал было распродавать их, но через два часа должен был прекратить торговлю. Почему? Меня арестовали за то, что я застопорил уличное движение. Люди дрались

из-за каждого экземпляра. По дороге в участок я успел продать десяток полисмену, который меня вел. Но после этого я их изъял из обращения. Не могу, понимаешь, просто так брать у людей деньги. Хочу, чтобы они хоть немножко подумали, прежде чем отдавать их мне, иначе это ранит мое самолюбие. Пусть хотя бы попробуют угадать, какой буквы не хватает в слове «Чик-го», или прикупить к паре девяток, прежде чем доставать кошелек из кармана.

А то вот еще было одно дело, которое далось мне так легко, что пришлось от него отказаться. Видишь на столе бутылку синих чернил? Я изобразил у себя на руке татуировку в виде якоря, пошел в один банк и представился там как племянник адмирала Дьюи. Мне тут же предложили выдать тысячу долларов под вексель с переводом на дядю, да, на беду, я не знал его инициалов. Но по этому примеру ты можешь судить, до чего легко работать в этом городе. Грабители, например, так те просто не войдут в дом, если там не приготовлен горячий ужин и нет достаточного штата прислуги с высшим образованием. В любом районе бандиты дырявят граждан без всякого затруднения, и это рассматривается как простой случай оскорбления действием.

— Монти, — говорю я, как только Силвер затормозил, — может, ты и правильно разделал Манхэттен в своем резюме, но что-то мне не верится. Я здесь всего два часа, но у меня нет такого впечатления, что этот городишко уже выложен для нас на тарелочку и даже ложка рядом. На мой вкус, ему не хватает rus in urbe[172]. Меня бы, прямо скажу, больше устроило, если бы у здешних граждан порой торчали соломинки в волосах и они питали пристрастие к бархатным жилетам и брелокам с гирю величиной. Боюсь, что не так уж они просты.

— Все понятно, Билли, — говорит Силвер. — Ты заболел эмигрантской болезнью. Само собой, Нью-Йорк чуть побольше, чем Литл-Рок или Европа, и приезжему человеку с непривычки страшновато. Но ничего, это у тебя пройдет. Я же тебе говорю, мне иной раз хочется отшлепать здешних жителей за то, что они не присылают мне все свои деньги уложенными в корзины для белья и обрызганными жидкостью от насекомых. А то еще тащись за ними на улицу! Знаешь, кто в этом городе ходит в брильянтах? Жены мазуриков и невесты шулеров. Облапошить ньюйоркца

---

[172] Примечания: 172
Сельский элемент в городе (*лат.*).

легче, чем вышить голубую розу на салфеточке. Меня только одна вещь беспокоит — как бы мои сигары не поломались, когда у меня все карманы будут набиты двадцатками.

— Что ж, дай бог, чтоб ты оказался прав, Монти, — говорю я, — только лучше бы мне все-таки сидеть в Литл-Роке и не гнаться за большими доходами. Даже в неурожайный год там всегда наберется десяток-другой фермеров, готовых поставить свое имя на подписном листе в пользу постройки нового здания для почты, который можно учесть в местном банке сотни за две долларов. А у здешних людей, сдается мне, чересчур развит инстинкт самосохранения и сохранения своего кошелька. Боюсь, что у нас с тобой для такой игры тренировки маловато.

— Напрасные опасения, — говорит Силвер. — Я знаю настоящую цену этому Кретинтауну близ Разиньвилля, и это так же верно, как то, что Северная река — это Гудзон, а Восточная река — вообще не река[173]. Да тут в четырех кварталах от Бродвея живут люди, которые в жизни не видели никаких домов, кроме небоскребов. Живой, деятельный, энергичный житель Запада за

[173] Примечания: 173

Северной рекой называется Гудзон в его нижнем течении. Восточная река — пролив между островами Манхэттен и Лонг-Айленд.

каких-нибудь три месяца должен сделаться здесь достаточно заметной фигурой, чтобы заслужить либо снисхождение Джерома, либо осуждение Лоусона.

— Оставим гиперболы, — говорю я, — и скажи, можешь ли ты предложить конкретный способ облегчить здешнее общество на доллар-другой, не обращаясь к Армии Спасения и не падая в обморок на крыльце особняка мисс Эллен Гулд?

— Могу предложить хоть двадцать способов, — говорит Силвер. — Сколько у тебя капиталу, Билли?

— Тысяча, — отвечаю.

— А у меня тысяча двести, — говорит он. — Составим компанию и будем делать большие дела. Есть столько возможностей нажить миллион, что я просто не знаю, с какой начать.

На следующее утро Силвер встречает меня в вестибюле отеля, и я вижу, что он так и пыжится от удовольствия.

— Сегодня мы познакомимся с Дж. П. Морганом, — говорит он. — Тут у меня есть один знакомый в отеле, который хочет нас ему представить. Он его близкий приятель. Говорит, что тот очень любит приезжих с Запада.

— Вот это уже похоже на дело! — говорю я. —

Очень буду рад познакомиться с мистером Морганом.

— Да, — говорит Силвер, — нам, пожалуй, не помешает завести знакомства среди финансовых воротил. Мне нравится, что в Нью-Йорке так радушно встречают приезжих.

Фамилия знакомого Силвера была Клейн. В три часа Клейн явился к Силверу в номер вместе со своим приятелем с Уолл-стрита. Мистер Морган был немного похож на свои портреты; левая нога у него была обернута мохнатым полотенцем, и он ходил, опираясь на палку.

— Это мистер Силвер, а это мистер Пескад, — говорит Клейн. — Я думаю, нет нужды, — говорит он, — называть имя великого финансового…

— Ну, ну, ладно, Клейн, — говорит мистер Морган. — Рад познакомиться с вами, джентльмены; меня очень интересует Запад. Клейн сказал мне, что вы из Литл-Рока. У меня как будто имеется парочка железных дорог в тех краях. Может, кому из вас, ребята, охота перекинуться в покер, так я…

— Пирпонт, Пирпонт, — перебивает Клейн. — Вы что, забыли?

— Ах, извините, джентльмены! — говорит Морган. — С тех пор как у меня сделалась подагра, я иногда играю в картишки со знакомыми, кото-

рые навещают меня в моем особняке. Скажите, никому из вас не приходилось там, на Западе, встречать Одноглазого Питера? Он жил в Сиэтле, Нью-Мексико.

Не дожидаясь нашего ответа, мистер Морган вдруг сердито застучал палкой об пол и принялся расхаживать по комнате взад и вперед, браня кого-то громким голосом.

— Что, Пирпонт, наверное, на Уолл-стрите опять стараются сбить курс ваших акций? — спрашивает Клейн с усмешкой.

— Какие там еще акции! — грозно рычит мистер Морган. — Это я расстраиваюсь из-за той картины, за которой специально посылал человека в Европу. Только сегодня получил от него телеграмму, что он ищет ее по всей Италии и не может найти. Я бы завтрашний день заплатил за эту картину пятьдесят тысяч долларов — да что пятьдесят! Семьдесят пять тысяч заплатил бы. И дал своему человеку a la carte: покупать за любую цену. Просто не понимаю, почему картинные галереи терпят, что настоящий де Винчи…

— Как, мистер Морган? — говорит Клейн. — Разве не все картины де Винчи находятся в вашей коллекции?

А что это за картина, мистер Морган? — спра-

шивает Силвер. — Наверное, она величиной с боковую стену небоскреба «Утюг»?

— Вы, я вижу, не очень разбираетесь в искусстве, мистер Силвер, — говорит Морган. — Это картинка размером двадцать семь дюймов на сорок два, и называется она «Досуг любви». Нарисовано на ней несколько барышень-манекенш, которые танцуют тустеп на берегу лиловой речки. В телеграмме говорится, что, скорей всего, эта картинка уже вывезена в Америку. А без нее моя коллекция неполна. Ну, мне пора, джентльмены. Наш брат финансист должен, знаете, соблюдать режим.

Мистер Морган уехал от нас в кебе вместе с Клейном. После их ухода мы с Силвером долго говорили о том, как простодушны и доверчивы великие люди; Силвер сказал, что обмануть такого человека, как мистер Морган, было бы просто бессовестно; а я сказал, что, на мой взгляд, это было бы неосторожно.

После обеда Клейн предложил пройтись по городу, и мы втроем, я, он и Силвер, отправились на Седьмую авеню посмотреть, какие там есть достопримечательности. В витрине у закладчика Клейн вдруг увидел запонки, которые ему ужасно понравились. Он вошел в лавку, чтобы купить

их, а мы вошли вместе с ним.

Когда мы вернулись в отель и Клейн ушел к себе, Силвер вдруг кидается ко мне и начинает размахивать руками.

— Видал? — говорит он. — Ты ее видал, Билли?

— Кого — ее? — спрашиваю.

— Да ту самую картинку, за которой охотится Морган. Она висит у закладчика, прямо над его конторкой. Я только не хотел ничего говорить при Клейне. Будь уверен, это та самая. Барышни прямо как живые, из таких, что носят платья сорок шестого размера, но там-то они обходятся без платьев. И все так меланхолично выбрыкивают ногами, и речка тут же, и берег. Сколько, мистер Морган сказал, он бы отдал за эту картину? Ну, неужели не понимаешь? Ведь хозяин лавки наверняка не знает, что у него там за сокровище.

На следующее утро лавка еще не успела открыться, а мы с Силвером уже были тут как тут, словно двое забулдыг, которым не терпится раздобыть денег на выпивку под заклад воскресного костюма. Входим мы в лавку и начинаем рассматривать цепочки для часов.

— Это что за мазня у вас там висит, над конторкой? — говорит Силвер хозяину как бы между прочим. — Вообще говоря, никудышная картин-

ка, но мне на ней приглянулась вон та рыженькая, с острыми лопатками. Я бы вам предложил за нее два доллара с четвертью, да боюсь, как бы вы не разбили какие-нибудь хрупкие предметы, когда броситесь поскорее снимать ее с гвоздя.

Хозяин усмехается и продолжает раскладывать перед нами часовые цепочки накладного золота.

— Эту картину, — говорит он, — принес мне в заклад один итальянец год тому назад. Я ему дал под нее пятьсот долларов. Это «Досуг любви» Леонардо де Винчи. Как раз два дня тому назад истек законный срок, так что сейчас она уже поступила в продажу как невыкупленный заклад. Вот, рекомендую эту цепочку, очень модный фасон.

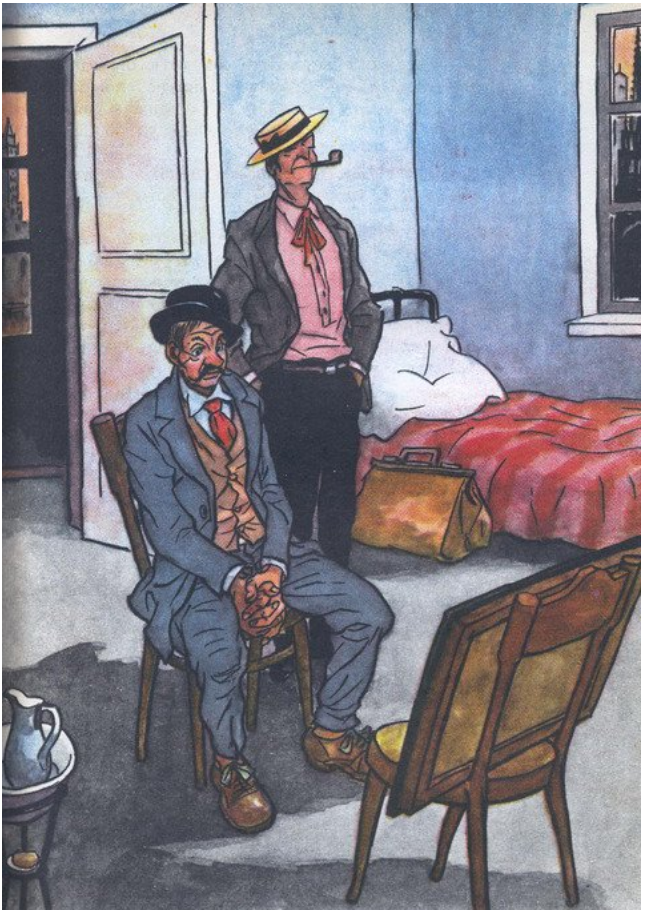
Полчаса спустя мы с Силвером вышли из лавки с картиной под мышкой, заплатив за нее ростовщику две тысячи наличными. Силвер сразу же сел в кеб и покатил к Моргану в банк. Я вернулся в отель, сижу и дожидаюсь. Через два часа является Силвер.

— Ну, как, застал мистера Моргана? — спрашиваю я. — Сколько он заплатил за картину?

Силвер садится и начинает перебирать бахрому скатерти.

— Мистера Моргана мне застать не удалось, — говорит он, — потому что мистер Морган уже

второй месяц путешествует по Европе. Но вот чего я не могу понять, Билли: эта самая картинка продается во всех универсальных магазинах и стоит вместе с рамкой три доллара сорок восемь центов. А за рамку отдельно просят три доллара пятьдесят центов — как же это получается, хотел бы я знать?



День воскресения

Перевод М. Кан.

Ясно вижу, как хмурит лоб художник и грызет карандаш, когда речь заходит о том, чтобы изобразить пасхальный сюжет, — оно и понятно, ибо его профессиональные представления о тех, кто может быть причастен к этому празднику, вполне законно сводятся всего к четырем персонажам.

Первый из них — сама Пасха, языческая богиня весны. Здесь он волен дать полный простор воображению. Для этой роли подойдет, в частности, прекрасная дева с живописно распущенными волосами и должным числом пальцев на ногах. Позировать будет известная манекенщица мисс Кларисса Сент-Вавасур, мягко выражаясь, в дезабилье.

Второй вариант — дама с томно воздетыми очами и в рамке из лилий. Смахивает на журнальную обложку, зато многократно проверен.

Третий — мисс Манхэттен в воскресной пасхальной процессии на Пятой авеню.

Четвертый — Мэгги Мэрфи в старенькой соломенной шляпке с новым красным пером,

разодетая на зависть всей Гранд-стрит[174], сияющая и смущенная.

Зайчики, понятное дело, в счет не идут. Пасхальные яйца — тоже, им слишком круто пришлось от строгих критиков.

Столь ограниченный выбор изобразительных возможностей есть свидетельство того, что из всех праздников Пасха имеет в нашем сознании наиболее расплывчатые и зыбкие очертания. Ее признают своею все религии, хотя придумали язычники. Между тем стоит обратиться к еще более седой старине, к самой первой из всех весен, и мы увидим, как Ева придирчиво выбирает для себя свежий зеленый листок с ficus carica[175].

Сия критическая и ученая преамбула имеет целью сформулировать ту теорему, что Пасха — это не дата, не время года, не праздник и не событие. А чтобы установить, что же она такое, предложим читателю отправиться следом за Данни Мак-Кри.

Розовая, ранняя, пришла в урочный срок заря пасхального воскресенья, пришла, как ей назначено по календарю — то есть после субботы

---

[174] Примечания: 174
Улица нью-йоркской бедноты.

[175] Примечания: 175
Фиговое дерево (*лат.*).

и перед понедельником. В 5.24 встало солнце; в 10.30 его примеру последовал Данни. Он прошел на кухню и стал умываться над раковиной. У плиты его мать поджаривала грудинку. Пока сын жонглировал круглым куском мыла, она поглядывала на твердое, молодое, смышленое лицо и вспоминала, каким двадцать два года назад на пустыре в Гарлеме, где теперь жилой дом «Ла Палома», впервые увидела его отца, когда он поймал между второй и третьей базой бейсбольный мяч, посланный пушечным ударом низко по земле. Сейчас отец Данни сидел с трубкой у открытого окна общей комнаты, и его взлохмаченные седые волосы трепал весенний ветерок. С трубкой он не расстался даже после того, как два года назад на взрывных работах не вовремя взорвался динамит и лишил его зрения. Вообще же очень редко встретишь слепого, который курит, — ведь ему не виден дым. Приятно вам было бы слушать, как читают новости из вечерней газеты, и не видеть, каким шрифтом набраны заголовки?

— Пасха сегодня, — сказала миссис Мак-Кри.

— Мне глазунью, — сказал Данни.

После завтрака он оделся, как подобает одеваться в праздничное утро ломовому извозчику с портовых складов на Канал-стрит, — сюртук,

брюки в полоску, лаковые штиблеты, золоченая цепочка поперек жилета, стоячий, с отвернутыми уголками воротничок, галстук-бабочка, приобретенный на субботней распродаже у Шонстайна (угол Четырнадцатой, сразу как пройдешь фруктовый ларек Тони), и котелок с загнутыми полями.

— Небось погулять собрался, Данни, — с оттенком грусти сказал старый Мак-Кри. — Говорят, нынче вроде бы праздник. Что ж, время весеннее, на улице благодать. Я по воздуху чую.

— А почему это я не могу сходить погулять? — спросил Данни сварливым басом. — Может быть, я обязан сидеть дома? Что я, хуже лошади? Лошадям и то положено отдыхать один раз в неделю. Интересно знать, на чьи деньги мы снимаем эту квартиру? Кто тебе заработал на этот завтрак, можешь ты мне сказать?

— Ладно, сынок, — сказал старый Мак-Кри. — Я ведь не жалуюсь. Погулять в воскресенье — самое милое дело, я тоже страсть как любил, пока были глаза. Ничего, посижу, покурю. Из окна тянет землей, и сухие ветки жгут где-то рядом. А ты ступай отдохни, сынок, — в добрый час. Об одном только я горюю, что твоя мать не выучилась грамоте, дочитала бы мне про гиппопотама… Ну, да что

уж теперь.

— Чего это он там мелет насчет гиппопотамов? — спросил Данни у матери, когда проходил через кухню. — Ты уж не в зоопарк ли водила его? Для чего бы, спрашивается?

— Никуда я его не водила, — сказала миссис Мак-Кри. — Так и сидит целыми днями у окошка. Какие у бедного человека развлечения, если он слепой. У них, думается, даже мысли мешаются иной раз. Вчерашний день битый час без умолку толковал про древних греков. Он-то, говорю, может, и древний, а она — совсем еще молодая. Не так ты поняла меня, отвечает. Для слепого, Данни, времечко ползет ох как медленно, хоть по праздникам, хоть и по будним дням. А уж, кажется, пока не потерял глаза, никого не было его лучше и сильней. Да. Вот утро-то выдалось какое. Иди, сынок, веселись. Ужин будет холодный, в шесть часов.

— Про гиппопотама не слыхать разговоров? — спросил Данни у дворника Майка, когда спустился и вышел на улицу.

— Пока нет, — сказал Майк и поддернул выше рукава рубахи. — На что только не жаловались за последние сутки — и в части незаконных действий, и природных явлений, и живности. Но

насчет этого тихо. Хочешь, сходи к хозяину. А то съезжай с квартиры. У тебя в договоре о найме обозначено про гиппопотамов? Нет? Тогда чего же ты?

— Да это мой старик обмолвился, — сказал Данни. — Просто так, скорее всего.

Данни дошел до угла и свернул на улицу, ведущую к Северу, в центр квартала, где Пасха — современная Пасха в ярком современном уборе — справляет свое торжество. Из темных высоких церквей лились сладкие звуки песнопений, издаваемых живыми цветами — такими представлялись взору девушки в пасхальных нарядах.

Общий фон создавали господа, расфуфыренные в строгом соответствии с обычаем: в сюртуках и цилиндрах, с гарденией в петлице. Дети несли в руках букеты лилий. Окна богатых особняков пестрели роскошнейшими созданиями Флоры, сестры той дамы в венке из лилий.

Из-за угла, в белых перчатках, дородный, застегнутый на все пуговицы, вышел полицейский Корриган, квартальный ангел-хранитель. Данни был с ним знаком.

— Слушай, Корриган, — сказал он. — Пасха, она зачем? Когда она наступает — это известно:

как наберешься первый раз семнадцатого марта, и чтобы на полный месяц равное действие. Но зачем? Что она, церковный обряд чин по чину, или же ее в интересах политики губернатор назначает?

— Праздник этот местный, — оказал Корриган с непререкаемостью, достойной третьего помощника полицейского комиссара. — Проводится ежегодно в черте города Нью-Йорка. Распространяется и на Гарлем. Бывает, что на Сто двадцать пятую улицу приходится высылать резервный наряд. К политике, я считаю, не имеет касательства.

— Ну, спасибо, — сказал Данни. — А это… не слышал ты, чтобы люди жаловались на гиппопотамов? Когда, то есть, не слишком выпивши?

— На морских черепах — случалось, — в раздумье сказал Корриган. — При содействии метилового спирта. А на что покрупнее — нет.

Данни побрел дальше. Побрел, придавленный вдвойне тяжкой повинностью — получать удовольствие одновременно и от воскресного дня, и от праздника.

Невзгоды на плечах у рабочего человека — точно будничная одежда, сшитая ему по мерке. Ее надевают столь часто, что привыкают носить с

естественным шиком, точно костюм от лучшего портного. Недаром горести бедняков служат самой выигрышной темой для сытых искусников пера и кисти. Другое дело, когда простой человек задумает поразвлечься, тут его забавам сопутствует мрачность, достойная самой Мельпомены. Вот почему Данни угрюмо стиснул зубы в ответ на то, что пришла Пасха, и предавался увеселениям без всякого веселья.

Зайти и степенно посидеть в кафе Дугана — это было еще приемлемо, и Данни пошел на уступку весне, спросив кружку пива. Он сидел в сырой задней комнате, выстланной темным линолеумом, и по-прежнему сердцем и душою тщился постигнуть таинственный смысл вешнего торжества.

— Скажи, Тим, — обратился он к официанту. — Для чего людям Пасха?

— Иди ты! — сказал Тим и подмигнул в знак того, что его не проведешь. — Что-то новенькое, да? Ясно. Тебя-то кто на это подловил? Ладно, сдаюсь. Так какой ответ — для ватрушек или для желудка?

От Дугана Данни повернул обратно к востоку. Под апрельским солнцем в нем пробуждалось некое смутное чувство, трудно поддающееся определению. Данни, во всяком случае, истолко-

вал его неверно, решив, что виной ему — Кэти Конлан.

Он встретил ее в нескольких шагах от ее дома, когда она шла в церковь. На углу авеню «А» они обменялись рукопожатием.

— Ого! Такой франт, а хмур, словно туча, — сказала Кэти. Что с тобой? Гляди веселей, пошли в церковь.

— А чего там такое? — спросил Данни.

— Пасха, чудак ты! До одиннадцати сидела ждала, когда ты за мной зайдешь.

— В чем, Кэти, ее суть, Пасхи этой? — сумрачно спросил Данни. — Похоже, что никто не знает.

— Кто не слепой, тот знает, — запальчиво сказала Кэти. — Мог бы заметить, между прочим, что на мне новая шляпка. И юбка. Тогда и понял бы, что Пасха — это когда девушки наряжаются в весенние обновки. Вот чудак! Ну, идешь ты со мной в церковь?

— Пойду. Раз эту самую Пасху проворачивают в церкви, стало быть, там обязаны ей подыскать какое-то оправдание. А шляпка, конечно, блеск. Особенно зеленые розы.

В церкви священник растолковал кое-что, и при этом не сказать, чтобы толок воду в ступе. Правда, он говорил быстро, потому что торопился

пораньше поспеть домой к праздничному обеду, но дело свое знал. Больше всего он напирал на одно слово — воскресение. Не новый акт творения, но рождение новой жизни из старой. Паства слышала об этом уже много раз. Впрочем, на шестой скамье от кафедры сидела замечательная шляпка, бесподобное сочетание лаванды с душистым горошком. Так что было чем занять внимание.

После церкви Данни задержался на углу, и Кэти обиженно подняла на него небесно-голубые глаза.

— Ты не к нам сейчас? — спросила она. — Действительно, стоит ли обо мне беспокоиться. Я прекрасно дойду одна. Видно, у тебя мысли заняты чем-то поважней. Ну и пожалуйста. Может быть, мы с вами вообще больше не встретимся, мистер Мак-Кри?

— Зайду, как обычно, в среду вечером, — сказал Дании, повернулся и пошел на ту сторону улицы.

Кэти зашагала прочь, возмущенно встряхивая на ходу зелеными розами. Данни прошел два квартала и остановился. Сунув руки в карманы, он стоял на углу у края тротуара. Лицо у него застыло, как будто высеченное из камня. На самом дне его души что-то шелохнулось, забродило, та-

кое маленькое, нежное, щемящее, такое чуждое грубому материалу, из которого был сработан Данни. Оно было ласковее, чем апрельский день, тоньше, нежели зов плоти, чище и глубже, чем любовь к женщине, — разве не отвернулся он от зеленых роз и от глаз, к которым был прикован вот уже целый год? А что это было, Дании не знал. Проповедник, который спешил к обеду, говорил ему, но ведь у Данни не было либретто, чтоб уловить смысл полусонного и певучего бормотания. И все-таки проповедник говорил правду.

Внезапно Данни хватил себя по бедру и испустил хриплый и восторженный вопль.

— Гиппопотам! — возопил он, обращаясь к опорному столбу надземки. — Нет, это надо же придумать! Ну, теперь-то я знаю, куда он клонил… Гиппопотам! С ума сойти, честное слово! Год прошел, как он это слышал, а гляди ты, почти не промахнулся. Мы кончили 469 годом до Рождества Христова, дальше идет как раз про это. Но поди догадайся, чего он хочет выразить — мозги свихнешь.

Данни вскочил в трамвай и скоро уже входил в темную квартирку, снятую на его трудовые деньги.

Старый Мак-Кри все сидел у окна. Погасшая

трубка лежала на подоконнике.

— Это ты, сынок? — спросил он.

Если сурового мужчину застать врасплох, когда он собрался сделать доброе дело, он вскипит. Данни вскипел.

— Кто здесь платит за квартиру? — злобно огрызнулся он. — На чьи деньги покупают еду в этом доме? Я что, не имею права войти?

— Ты хороший сын, — сказал со вздохом старый Мак-Кри. — Так уже вечер?

Данни протянул руку к полке и достал толстую книгу с тисненным золотом заглавием: «История Греции». Пыли на ней накопилось с палец толщиной. Он положил ее на стол и нашел место, заложенное полоской бумаги. Тогда он хохотнул коротко и зычно и сказал:

— Желаешь, значит, чтобы тебе почитали про гиппопотама?

— Я слышу, ты открыл книгу? — сказал старый Мак-Кри. Сколько же долгих месяцев прошло с тех пор, как мой сын ее читал мне. Шут его знает, сильно полюбились мне эти греки. Ты остановился на середине. Да, хорошо сегодня на улице, сынок. Ступай отдохни, ты наработался за неделю. А я уже привык к этому стулу у окна и к трубке.

— Пел… Пелопоннес, вот мы на чем остановились, — сказал Данни. — А никакой не гиппопотам. Там началась война. И тянулась ни шатко, ни валко, не соврать бы, тридцать лет. Вот тут под заголовком сказано, что в 338 году до Рождества Христова один малый из Македонии, Филипп, прибрал к рукам всю Грецию, когда выиграл в сражении при Херо… Херонее. Сейчас почитаю.

Целый час, приложив ладонь к уху, старый Мак-Кри упивался событиями Пелопоннесской войны.

Потом он встал и ощупью добрел до двери на кухню. Миссис Мак-Кри нарезала к ужину холодное мясо. Она подняла голову. Из невидящих глаз старого Мак-Кри текли слезы.

— Слышала, как наш сын мне читает? — сказал он. — Другого такого не сыскать на всем белом свете Вот я и получил назад свои глаза.

После ужина он сказал Данни:

— И правда, светлый день эта Пасха. Ну а теперь ты пойдешь провести вечер с Кэти. Все правильно.

— Кто здесь платит за квартиру и на чьи деньги покупают еду в этом доме? — сердито сказал Данни. — Я что, не имею права остаться? Нам еще после ужина надо прочесть про Коринфскую бит-

ву в 146 году, опять-таки до Рождества Христова, когда Греция, как там сказано, стала не этой… неотъемлемой частью Римской империи. Или я ничто в этом доме?

Пятое колесо

Перевод И. Бернштейн.

Люди в очереди теснее сплотили ряды; холод, холод пробирал до костей. Здесь в ожидании дарового ночлега скопились наносные отложения реки жизни, осевшие на мели в том месте, где сливаются Бродвей и Пятая авеню. Они постукивали стылыми подошвами об землю, поглядывали на свободные скамейки в сквере напротив, с которых их согнал Дед Мороз, и тихо переговаривались между собой на смеси языков и наречий. А с той стороны площади над ними в морозной дымке высился небоскреб «Утюг», святотатственно вперивший верхушку в самые небеса, точно и впрямь был Вавилонской башней, откуда этот праздный разноязыкий народ был выведен сюда личным крылатым уполномоченным Господа Бога.

Этот уполномоченный стоял на пустом ящике, головой возвышаясь над стадом своих козлищ, и проповедовал, обращаясь к редким, торопящимся мимо прохожим, каких заносило к нему холодным северным ветром. То был невольни-

чий рынок. За пятнадцать центов вы покупали человека, передавали его в объятия Морфея, а вам зачитывалось на том свете.

Проповедник был сказочно серьезен и неутомим. Он ознакомился со списком всех добрых дел, которые можно предпринять на благо ближнему, и сделал для себя выбор, взявшись обеспечивать нуждающихся ночлегом по средам и воскресеньям. Тем самым на долю остальных филантропов оставалось еще только пять дней в неделю, и если бы они отнеслись к делу с такой же ответственностью, весь этот грешный город превратился бы в одну огромную уютную спальню, где каждый мог бы коротать часы, блаженно задавая храпака и пустив побоку социальные пьесы, сборщика квартирной платы и всякое предпринимательство.

Недавно пробило восемь; под сенью памятника генералу Уорту небольшой плотной массой центоносной руды толпились зеваки. Время от времени от нее кто-нибудь отделялся и скромно или демонстративно, небрежно или деловито вручал проповеднику свою лепту мелкими ассигнациями или серебром. И сразу же вслед за этим его ассистент выраженного скандинавского окраса и такого же темперамента уводил в

направлении ночлежного дома новую партию искупленных. А проповедник знай себе взывал к прохожим, и речь его блистала отсутствием каких-либо красот и подавляла грозной монотонностью правды. Прежде чем картина очереди за ночлегом померкнет перед нашим взором, я хотел бы привести в пример одно из его положений — то хотя бы, которое он развивал сейчас. Оно достойно служить девизом всех на свете обществ по борьбе с алкоголизмом.

«Кто пьет одно дешевое виски, никогда не сопьется». Слышите, все пьяницы и забулдыги, от начинающих с маленькой рюмочки и до кончающих нищей могилой? Это про вас.

В задних рядах очереди бесприютных стоял высокий молодой человек с красивым лицом, которое он, впрочем, по-черепашьи втягивая голову в плечи, прятал в воротник своего пальто. То было хорошее драповое пальто; и брюки на нем тоже еще хранили следы портновской утюжки. Должен, однако, по совести предупредить мою читательницу — продавщицу из галантерейного магазина: если она думает, что это юный граф, временно оказавшийся без гроша в кармане, пусть сразу же закроет книгу. Ибо это был не кто иной, как Томас Мак-Квейд, кучер без места,

уволенный за пьянство месяц назад и теперь докатившийся до очереди в ночлежку.

Если вы живете в старой части Нью-Йорка, вам наверняка знаком семейный выезд Ван-Смитов: в упряжке пара могучих гнедых тяжеловозов и коляска в форме ванны. В ванне друг против дружки возлежат две старые дамы Ван-Смит, и в руках у них черные зонты, наподобие балдахинов. До своего падения Томас Мак-Квейд правил ван-смитовскими рысаками, а им самим правила ван-смитовская горничная Энни. Но так уж прискорбно устроена жизнь, что гвоздь в сапоге, или отсутствие нужного товара на прилавке, или зубная боль способны на время затмить божественный свет самому истому купидонопоклоннику. А Томас терпел сейчас значительные неудобства. И его в данную минуту не столько заботила утрата возлюбленной, сколько раздражало присутствие неких порхающих и пляшущих в воздухе, ползающих и пресмыкающихся по асфальту существ, которых больные нервы вполне правдоподобно рисовали ему вблизи холодного бивака этой армии бездомных. Четыре недели на одном виски с галетами, колбасой или соленым огурцом часто дают такой психо-зоологический эффект. И теперь, доведенный до крайности,

злой, продрогший и одолеваемый призраками, он испытывал потребность в человеческом участии и общении.

Рядом с ним в очереди стоял молодой человек примерно одного с ним возраста в поношенной, но аккуратной одежде.

— А у тебя какой диагноз, приятель? — с бесцеремонностью, естественной между братьями по несчастью, обратился к нему Томас. — Горькая? У меня — она, голубушка. Поглядеть на тебя, так на попрошайку ты не похож. И я тоже не из таковских. Еще месяц назад я охаживал вожжами двух могучих першеронов, которые катили по Пятой авеню резвее призовых скакунов. А посмотри на меня теперь! Ну а тебя каким ветром занесло на эту распродажу ночлежных мест по сниженным ценам?

Молодому человеку, как видно, пришлись по душе веселые речи отставного кучера.

— Да нет, — с улыбкой ответил он. — Нельзя сказать, что моя беда от алкоголя, если, конечно, не считать алкогольным напиток, что подносит нам Купидон. Я неразумно женился — по мнению моих неумолимых родичей. Год прожил безработным, потому что работать не научен, потом четыре месяца провел в больницах. Жене

с ребенком пришлось вернуться к ее матери, а меня только вчера выписали. Денег у меня нет ни цента. Вот и вся моя скорбная повесть.

— Н-да, невесело, — сказал Томас. — Сам-то человек всегда перебьется. А вот женщин с ребятишками жалко.

В это мгновение на Пятую авеню, гудя мотором, выехал автомобиль — такой роскошный, такой красный, такой мощный, и шел он на таком плавном ходу и так беззастенчиво превышал при этом дозволенную скорость, что даже понурые ночлежники подняли головы. На левом боку у него висела запасная шина.

В тот миг, когда великолепное авто поравнялось с очередью, зажимы на шине не выдержали, она упала на асфальт, упруго подскочила и покатилась вслед за удаляющимся автомобилем.

Сразу же оценив ситуацию, Томас Мак-Квейд поспешил отделиться от паствы проповедника и ринулся на мостовую. За тридцать секунд он настиг катящуюся шину, схватил, вскинул на плечо и лихо припустился догонять автомобиль. Люди на тротуарах кричали, свистели и размахивали тростями, чтобы привлечь внимание сидящих в машине к предприимчивому Томасу.

Самое малое — доллар, так считал Томас,

следовал ему по справедливости от этого великолепного автомобилиста в награду за услугу. Меньше у него совести не хватит.

В двух кварталах от места происшествия мотор, наконец, остановился. Внутри сидел маленький темнокожий шофер в толстом кашне, а сзади — большой важный господин в великолепной котиковой шубе и в цилиндре.

В своей лучшей кучерской манере Томас любезно протянул беглую шину владельцу и при этом выразительно посмотрел на него тем глазом, который у него меньше покраснел, в знак того, что здесь готовы принять доллар-другой в звонкой монете, а можно и ассигнациями, и даже более крупного достоинства тоже.

Но этот красноречивый взгляд не был правильно истолкован. Господин в котике взял из рук отставного кучера шину, положил ее внутрь автомобиля и, пристально взглянув ему в лицо, пробормотал что-то непонятное.

— Странно… Очень странно, — были его слова. — Иногда, в отдельных случаях, даже мне самому начинает казаться, что Халдейский Хироскоп дал верный ответ. Возможно ли это?

Затем, уже не столь загадочными словами, он обратился к Томасу, в надежде и ожидании

стоящему подле:

— Благодарю вас, сэр, за любезное спасение моей шины. Мне хотелось бы, если позволите, задать вам один вопрос. Знакомо ли вам семейство Ван-Смитов, проживающее на Вашингтон-сквер, по Северной стороне?

— Еще бы, — ответил Томас. — Я и сам там проживал. Раньше, но, увы, не теперь.

Господин в котике распахнул дверцу машины.

— Садитесь, прошу вас, — сказал он. — Вас ждут.

Томас Мак-Квейд повиновался, удивляясь, но не колеблясь. Сидеть в автомобиле, несомненно, приятнее, чем стоять в очереди за ночлегом. Укутанный пледом, он предался плавному бегу мотора и тут на досуге задумался о странном приглашении.

— Наверно, у него просто мелочи нет, — рассудил отставной кучер. — Эти важные господа из высшего света вообще не носят с собой денег. Вот довезет меня до ближайшей забегаловки, где у него открытый счет на предъявителя физиономии, — и пожалуйте вытряхиваться. Ну, во всяком случае, с гигиеническими ночевками на свежем воздухе у меня пока что покончено.

Со своей стороны, загадочный автомобилист

из глубины котиковой шубы тоже, по-видимому, дивился странностям жизни. «Непонятно! Немыслимо! Невероятно!» — явственно твердил он себе под нос.

Автомобиль углубился в район Семидесятых улиц, свернул на восток, проехал с полквартала и остановился перед шеренгой богатых домов с широкими лестницами, ведущими к подъездам.

— Окажите мне любезность и войдите в мой дом, — сказал господин в котике, когда они ступили на твердую землю.

«Видно, собрался раскошелиться как следует», — подумал Томас, переступая порог.

В холле было полутемно. Хозяин провел его в дверь налево, плотно прикрыл ее за собой, и они очутились в полнейшей темноте. Вдруг вверху зажегся большой, причудливо изукрашенный шар, бледным светом озарив всю огромную комнату, — убранства роскошнее Томас не видел ни на сцене, ни в книжках с картинками.

Стены покрывал пышный пурпурный штоф, расшитый фантастическими золотыми фигурами. В глубине висел тяжелый сборчатый занавес, тускло-золотой с серебряными звездами и полумесяцами. Мебель была вся дорогая и необыкновенная. А ноги отставного кучера

просто утопали в ковре, пушистом и мягком, как снежный сугроб. Здесь и там стояли какие-то замысловатые столики или подставки под черными бархатными покрывалами.

Томас Мак-Квейд одним глазом окинул всю эту роскошь, а другим поискал ее царственного владельца. Но тот непонятным образом исчез.

— Вот это да! — сказал себе Томас. — Колдовской притон, что ли? Кажется, начинаются приключения, как в «Тайнах Моравских братьев». Но куда девался меховой господин?

В это мгновение чучело совы на эбеновой жерди под лампой вдруг медленно подняло крылья, и одновременно глаза его зажглись ослепительным электрическим светом.

С перепугу Томас выругался, схватил со стола подвернувшуюся под руку бронзовую статуэтку Гебы и со всей силы запустил ее в ужасную сверхъестественную птицу. Сова вместе с подставкой рухнула на пол. Тотчас же раздался щелчок, и ряд электрических ламп по стенам и потолку залил комнату матовым светом. Золотой занавес раздвинулся, и появился таинственный автомобилист. Он оказался высок ростом, облачен в черный фрак безупречного покроя и в наилучшем вкусе, имел шелковистую рыжеватого

цвета бороду клином и довольно длинную волнистую шевелюру, расчесанную на прямой пробор. Большие притягивающие глаза с оккультной поволокой довершали эту впечатляющую картину. Если вы в состоянии вообразить русского великого князя в тронном зале восточного раджи, где происходит прием заезжего императора, это даст вам кое-какое представление о его величавом облике. Но Томас Мак-Квейд был слишком близок к черным видениям белой горячки, чтобы предаться таким многокрасочным ассоциациям. Ему лощеный и слегка устрашающий хозяин квартиры напомнил зубного врача.

— Понимаете, какое дело, док, — сокрушенно сказал он. — Эта ваша райская пташка на ветке… Надеюсь, я не разбил ей горлышко. Потому что я чуть не опупел, когда она вдруг засветила мне в лицо свои фонари, и со страху запузырил в нее вон той медной красоткой, что торчала тут у вас на стойке.

— Это всего лишь механическая игрушка, — сказал господин, пренебрежительно поведя рукой. — Могу ли я просить вас присесть, пока я буду объяснять, зачем привез вас к себе? Психологическое обоснование моих поступков вас едва ли может интересовать, поэтому я перейду

непосредственно к делу. Позволю себе для начала сослаться на ваше признание, что вам знакомо семейство Ван-Смитов, проживающее на Вашингтон-сквер по Северной стороне.

— А что, из серебра у них что пропало? — язвительно осведомился Томас. — Драгоценностей каких недосчитались? Ясно, знакомо. Может, старые леди зонты потеряли? Ну, знакомы они мне, что с того?

Великий князь потер свои белые руки.

— Чудесно! — вполголоса промолвил он. — Превосходно! Неужто же мне и самому придется уверовать в Халдейский Хироскоп? Позвольте мне со всей определенностью сказать вам, — продолжал он уже громче, — что вам совершенно нечего опасаться. Напротив того, я могу, мне кажется, вам обещать счастливые перемены. Посмотрим, посмотрим.

— Может, они зовут меня обратно? — спросил Томас, и отзвук былой профессиональной гордости закрался в его голос. — Обещаю, что исправлюсь и покончу с выпивкой, если меня согласятся испытать еще раз. Но вы-то как об этом прослышали, док? Ей-богу, я в жизни не видывал такого шикарного бюро по найму, фонари в виде сов и все такое прочее.

Любезный хозяин сладко улыбнулся и попросил извинить его на несколько минут. Он вышел на улицу и дал краткое указание шоферу, который ждал у подъезда. А сам, вернувшись в таинственную комнату, сел рядом с гостем и стал занимать его остроумной и приятной беседой, да так успешно, что бедный искатель дарового ночлега вскоре совсем позабыл про уличный холод, от которого он так недавно и так чудесно был избавлен. Слуга принес ему нежнейшей холодной дичи, и сладкого печенья, и стакан волшебного вина; и Томас почувствовал себя утопающим в роскоши «Тысячи и одной ночи». Полчаса пролетели как одно мгновение; и вот у дверей протрубил клаксон возвратившегося автомобиля; при этих звуках великий князь сразу вскочил и снова любезно попросил извинить его на минуту.

В парадные двери вошли две тепло укутанные дамы, хозяин дома гостеприимно встретил их, провел по коридору и ввел в комнату поменьше, которую отделял от огромной комнаты-гостиной толстый двойной занавес. Здесь обстановка была еще изысканнее и прекраснее. На столике розового дерева с золотой инкрустацией были разложены белые листы бумаги и стоял какой-то

треугольный инструмент на колесиках, похожий на игрушку, но по виду — из чистого золота.

Та из дам, что была выше ростом, откинула с лица черную вуаль и распахнула манто. Она оказалась пятидесятилетней женщиной с морщинистым, печальным лицом. Вторая, помоложе и покруглее, присела на стул поодаль и чуть позади, как полагается прислуге или компаньонке.

— Вы послали за мной, профессор Черубуско, — устало проговорила старшая. — Надеюсь, на этот раз вы сможете сообщить мне нечто более определенное, чем обычно. Я уже почти потеряла веру в ваше искусство. Я бы и сегодня не откликнулась на ваш зов, но уступила настояниям сестры.

— Мадам, — с великокняжеской усмешкой сказал профессор, — истинное искусство не обманывает. Порой, чтобы найти верную потенциальную сверхчувственную ветвь, нужно затратить много времени. Карты, магический кристалл, звезды, формула Сарацина и оракул из По оказались бессильны, это правда. Однако теперь обнаружена, наконец, верная сверхчувственная дорога. Халдейский Хироскоп увенчал наши поиски успехом!

Голос профессора зазвенел; чувствовалось, что он сам верит в то, что говорит. Пожилая дама по-

смотрела на него с пробудившимся интересом.

— Но ведь его слова, когда я наложила на него ладони, были бессмыслицей, — возразила она. — Так о чем вы говорите?

— Вот его слова, — произнес профессор Черубуско, поднимаясь во весь свой великолепный рост. — «Он явится в колеснице на пятом колесе».

— Я не много в своей жизни видела колесниц, — заметила пожилая дама, — но знаю, что колесницы о пяти колесах не видела ни разу.

— Прогресс, — объяснил профессор. — Все дело в прогрессе науки и техники. Хотя, если быть совсем точным, речь идет не столько о пятом колесе, сколько о запасной шине. Одновременно шел прогресс и в оккультных науках. Мадам, я повторяю: Халдейский Хироскоп принес нам успех. Я могу не только дать ответ на поставленный вами вопрос, но также и предъявить вам самое вещественное доказательство.

Пожилая дама утратила равнодушие неверия и покой неподвижности.

— О, профессор! — воскликнула она, всплеснув руками. — Когда?… Где?… Он нашелся? Не терзайте меня неведением.

— Прошу извинить меня на несколько коротких

мгновений, — ответил профессор Черубуско. — Думаю, что смогу наглядно доказать вам все могущество истинного Искусства.

Томас мирно дожевывал хлеб с дичью, когда перед ним внезапно возник ученый чародей.

— Готовы ли вы возвратиться под прежний кров, если вам гарантируют доброжелательный прием и былую благосклонность? — спросил он с любезной, царственной улыбкой.

— А что, я похож на чокнутого? — ответил Томас. — С меня довольно этой безлошадной жизни. Но только возьмут ли они меня назад, вот в чем вопрос. Старуха всегда стоит на своем крепче новой спицы в ступице.

— Мой дорогой юноша, — проговорил хозяин дома, — она разыскивает вас по всему свету.

— Отлично! — воскликнул Томас. — Считайте, что место за мной. Ихняя упряжка пузатых дромадеров, которых они зовут лошадьми, здорово портит руку первоклассному кучеру вроде меня; но все равно я берусь за эту работу, док. У них совсем не так уж и плохо служить.

Тут слащавую улыбку на лице Багдадского калифа как рукой сняло. Он посмотрел на отставного кучера с пронзительным подозрением. И сухо сказал: — Позвольте мне узнать ваше имя

и фамилию.

— То есть вы меня разыскиваете, а как звать не знаете? — удивился Томас. — Вот это сыщик! Не иначе как вы из центрального бюро расследований. Да я же Томас Мак-Квейд, целый год отработал шофером при ван-смитовской паре слонов, а месяц назад меня рассчитали за то, что… Ну, вы сами видели, как я разделался с вашей совой. Я в два счета пропил все, что у меня было, и когда отвалилась шина с вашего сверхскоростного драндулета, я как раз стоял с бродягами у памятника Уорту и ждал, чтобы мне подали милостыню на ночлежку. Ну как, почем нынче ценятся вразумительные ответы?

Но, к величайшему своему удивлению, Томас почувствовал, что его хватают за шиворот и, ни слова не говоря, тащат к парадной двери, каковая распахивается перед ним, и он с разгону слетает вниз по ступеням, приведенный в движение беспощадно-недвусмысленным пинком калифской туфли.

Едва обретя ясность рассудка и устойчивость тела, отставной кучер со всех ног пустился обратно к Бродвею.

— Ненормальный, — определил он на бегу таинственного автомобилиста. — Такие, видно, у

него забавы. А все-таки мог бы раскошелиться на доллар-другой. Мне вон теперь надо торопиться назад в очередь бездомных любителей дарового ночлега, не то их всех успеют распроповедовать по кроваткам.

Когда Томас завершил свою двухмильную пробежку оказалось, что из всей армии бесприютных налицо лишь взвод в восемь — десять человек. Он занял положенную новоприбывшему позицию на левом фланге задней шеренги. Впереди него стоял тот самый молодой человек, который рассказал ему о больнице и обмолвился о жене и ребенке.

— Как жаль, что я снова вижу вас в этой очереди, — обернувшись к Томасу, сказал молодой человек. — Я думал, вам подвернулось что-то получше.

— Мне-то? — отозвался Томас. — Да я просто пробежался вокруг квартала, чтобы согреться. А публика, я вижу, не очень-то сегодня спешит со своими лептами на богоугодное дело.

— В такую погоду, — вздохнул молодой человек, — благотворительность не только, по пословице, начинается дома, но там же и кончается.

В это время проповедник и его флегматичный

ассистент затянули последний псалом, взывая к Провидению и к прохожим. Те из искателей ночлега, у которых температура в горле еще не упала ниже точки замерзания, стали уныло и фальшиво им подтягивать.

И вдруг на половине второго куплета Томас увидел энергичную молодую особу в развевающейся одежде, смело шагавшую навстречу ветру и поперек мостовой с противоположного тротуара прямо к нему.

— Энни! — завопил он и бросился ей навстречу.

— Ах, глупый ты, глупый! — плача и смеясь, говорила Энни, повиснув у него на шее. — Зачем ты это сделал?

— Это все она, горькая, — кратко объяснил Томас. — Но впоследствии — ни-ни. Ни капли. — Он привел ее на тротуар. — А как ты меня заметила?

— Я приехала за тобой, — ответила Энни, крепко держась за его рукав. — Ах ты, глупый, глупый! Профессор Черубуско сказал нам, где тебя найти.

— Профессор Черубу?... Не знаю такого. Он в какой пивной работает?

— Он ясновидящий, Томас, самый великий в мире. Он говорит, что видел тебя с Халдейским

телескопом.

— Врет, — ответил Томас. — Я его не брал. Сроду у меня не было чужих телескопов.

— И еще он сказал, что ты явился в коляске о пяти колесах, или в колеснице, что ли.

— Энни, — вразумляющим тоном сказал Томас, — ну подумай сама. Была бы у меня колесница или там коляска, я давно бы завалился в ней спать. Не дожидался бы, пока меня убаюкают проповедями и псалмами.

— Послушай, ты, глупый человек. Хозяйка говорит, что возьмет тебя назад. Я ее упросила. Но только смотри! И можешь вернуться сегодня же. Твоя комната над конюшней ждет тебя.

— Вот это да! — прочувствованно воскликнул Томас. — Энни, ты лучшая из женщин. Но когда все эти чудеса произошли?

— Нынче, у профессора Черубуско. Он прислал свой автомобиль за хозяйкой, а она взяла с собой меня. Я и раньше там с ней бывала.

— А каких наук он профессор-то?

— Ясновидящий он и чародей. Хозяйка обращается к нему за советами. Он знает все на свете. Только хозяйке от него до сих пор проку нет, хотя она извела на него сотни долларов. Но зато он сказал, что звезды открыли ему, где можно

найти тебя.

— А чего старухе понадобилось от этого Чертопузко?

— Семейная тайна, — ответила Энни. — Ну, хватит вопросов. Поехали домой, глупый ты человек.

И они пошли по улице, но Томас вдруг остановился.

— У тебя есть при себе деньги, Энни? — спросил он.

Энни бросила на него подозрительный взгляд.

— Да нет, знаю я эти твои взгляды, — заверил ее Томас. — Ничего подобного. Ни в жизнь, ни капли. Просто там в очереди со мной стоял один малый, которому худо. Он парень славный, и у него есть дети или жены, что ли, и он на больничном листе. Не от выпивки. Если у тебя найдется полдоллара, чтобы ему заплатить за приличный ночлег, было бы самое милое дело.

Пальцы Энни погрузились в недра кошелька.

— Ну конечно, есть у меня деньги, — говорила она. — Полно денег. Целых двенадцать долларов. — И вдруг, с неискоренимой женской подозрительностью к доброте за чужой счет, добавила: — Только приведи его сюда, я на него сперва посмотрю.

Томас отправился исполнять ее повеление. Болезненный юноша из очереди любезно согласился пойти с ним. Но не успели они приблизиться, как Энни, рывшаяся в своем кошельке, подняла голову и сразу завизжала:

— Ой! Мистер Уолтер!

— Это вы, Энни? — слабым голосом пробормотал молодой человек.

— Ой, господи! Мистер Уолтер! А хозяйка-то где только вас не искала!

— Матушка хочет меня видеть? — спросил тот, и краска прилила к его бледным щекам.

— Да говорю вам, она где только вас не искала! Еще бы не хочет. Она хочет, чтобы вы вернулись домой. Обращалась и в полицию, и в морг, и в сыск, и к юристам, и в газеты объявления давала, и награду назначала, чего не перепробовала! Под конец к ясновидящему подалась. Вы ведь поедете домой, мистер Уолтер, прямо вот сейчас, да?

— С удовольствием, раз она меня зовет, — ответил молодой человек. — Три года — долгий срок. Но только, боюсь, мне придется добираться пешком, если, конечно, трамваи сегодня не развозят пассажиров бесплатно, Раньше я на своих ногах обгонял пару гнедых, запряженных в матушкину коляску. Живы ли еще старые коняги?

— Живехоньки, — с чувством отвечал Томас. — Еще лет десять пробегают. Продолжительность жизни королевского слонобуса битюгиссимуса — сто сорок девять лет. Я ихний кучер, вторично прикомандирован на должность пять минут назад. Давайте поедем все вместе на трамвае… если… э-э-э… Энни заплатит за проезд.

Они вошли в вагон, и Энни дала обоим блудным сынам по пятаку на билет.

— Смотри-ка, как она швыряется деньгами, — съязвил Томас.

— В этом кошельке, — торжественно ответила Энни, — ровно одиннадцать долларов и восемьдесят пять центов. Завтра же возьму все эти деньги и отнесу профессору Черубуско, потому что он — самый великий человек на свете.

— Видно, он и впрямь лихой парень, — сказал Томас, — раз умеет делать такие штуки. Я рад, что духи сообщили ему, где меня найти. Если ты дашь мне адрес, я бы как-нибудь заехал и пожал ему руку.

При этом Томас слегка пошевелился на жестком трамвайном сиденье, и ссадины в нескольких местах на его теле сразу же дали себя знать.

— Послушай, Энни, — озадаченно сказал он, — может, это, конечно, еще игра винных паров, но

я вроде бы припоминаю, что будто бы ехал в автомобиле с каким-то важным типом, и он привез меня в дом, а там были орлы и электрические фонари. Он угостил меня печеньем и какими-то небылицами; а потом дал пинка и спустил с лестницы. Ежели это мне примерещилось с перепою, откуда тогда у меня синяки?

— Ладно, помалкивай, — вздохнула Энни.

— Если бы я узнал, где он живет, этот тип, — сказал Томас в заключение, — я бы как-нибудь заехал и набил ему морду.

Поэт и поселянин

Перевод И. Бернштейн.

Недавно один мой знакомый поэт, всю жизнь проведший в тесном общении с природой, написал стихотворение и принес его редактору.

То была прелестная пастораль, полная живым дыханием полей, пением птиц и ласковым лепетом журчащих ручьев.

Когда поэт, лелея мечту о бифштексе, зашел в другой раз, узнать, как дела, ему вернули рукопись с отзывом: «Очень искусственно».

Мы, его друзья, собрались за столом, чтобы заесть свое возмущение скользкими спагетти и запить дешевым вином.

И тут-то мы вырыли редактору яму. Среди нас был Конант, известный беллетрист, который всю свою жизнь ходил по асфальту а буколические сцены наблюдал разве только из окна вагона, да и то с душевным отвращением.

Конант тоже написал стихи, он озаглавил их «Газель у родника». То было типичное сочинение человека, который считает, что амариллис не цветок, а пастушка у Феокрита, а все свои сведе-

ния о птицах почерпнул из бесед с официантами в ресторане. Конант поставил под стихотворением свою подпись, и мы отправили его тому же редактору.

Все это, конечно, имеет весьма отдаленное касательство к моему рассказу.

Назавтра утром, в то самое время, когда редактор прочел первую строчку стихотворения Конанта, с парома на Западной стороне сошел некто и медленно побрел вверх по Сорок второй улице.

Этот приезжий был молодым человеком с голубыми глазами, разинутым ртом и волосами точно такого цвета, как у бедной сиротки (впоследствии оказавшейся графской дочкой) из пьесы мистера Блейни[176]. Брюки у него были плисовые, руки торчали из коротких рукавов куртки, а хлястик приходился под лопатками. Одна штанина была заправлена в сапог, другая болталась поверх голенища. Его соломенной шляпе явно не хватало отверстий для ушей, ибо фасоном она совершенно напоминала лошадиный головной убор. В руке он сжимал саквояж, но описать этот предмет обихода мы не беремся. Даже бостонец

---

[176] Примечания: 176
Чарлз Блейни — режиссёр и автор множества мелодрам.

не согласился бы носить в таком на службу свои бутерброды и книги. А над ухом у приезжего поселянина среди пшеничных прядей торчал клок сена — деревенское рекомендательное письмо, гербовое свидетельство невинности, значок обитателя райских кущ, долженствующий оградить его от искушенных городских злодеев.

Горожане шли ему навстречу и понимающе улыбались. Но когда поселянин, стоя в сточной канаве, стал задирать голову на небоскребы, они перестали улыбаться и перестали на него поглядывать. Это уже давно надоело. Кое-кто правда еще задерживал взгляд на его саквояже, чтобы узнать, какие развлечения Кони-Айленда или новые сорта жевательной резинки он рекламирует; но по большей части на него просто не обращали внимания. Даже мальчишки-газетчики и те скучливо морщились, когда он, точно клоун в цирке, шарахался от извозчиков и трамваев.

На углу Восьмой авеню стоял Шулер Гарри, топорща крашеные усы и благодушно поглядывая вокруг. Его тонкая, артистическая натура не могла не страдать при виде такого актерского перехлеста. Он подкрался и стал рядом с поселянином, когда тот, развесив губы, любовался витриной ювелирного магазина.

— Перебор, приятель, — сказал Гарри, критически покачав головой. — Это уж ты лишку хватил. Не знаю, по какой ты части работаешь, но с бутафорией у тебя явный перебор. Клок сена, например, — это даже у Прокторской шайки теперь не в ходу.

— Я вас не понимаю, мистер, — ответил ему простак. — На что мне шайки? Я не в баню приехал из Ольстера, а просто поглядеть на город, потому как с сенокосом мы управились раньше срока. Ну и огромадный же городина! Я раньше думал, Поукипси всем городам город, но этот ваш Нью-Йорк еще раз в пять побольше будет.

— Да? Ну, как знаешь, — проговорил Шулер Гарри, подняв брови. — Я ведь не собираюсь соваться, дело хозяйское. Просто вижу, человек перестарался, надо, думаю, совет подать. Что ж, желаю удачи, хоть и не знаю, какой у тебя бизнес. Пошли, пропустим по одной.

— Я и впрямь не откажусь от светлого пивка, — сказал поселянин.

И они отправились в кафе, где у завсегдатаев были каменные лица и бегающие глаза, и сели со своими кружками за столик.

— Вот ладно, что я вас встретил, мистер, — сказал Мякинная Башка. — Сыгранем, может, в

семерку, а? У меня и картишки с собой.

И он выудил из своего допотопного саквояжа колоду карт — небывалую, бесподобную колоду, засаленную жареным беконом и перепачканную черноземом полей.

Шулер Гарри громко и коротко рассмеялся.

— Нет уж, брат, — твердо ответил он. — Меня этим твоим деревенским видом не купишь. И все-таки я скажу, что ты перебарщиваешь. После семьдесят девятого года так ни в какой глуши уже не ходят. С такой оснасткой ты в Бруклине и парой старых часов не разживешься.

— Вы думаете, у меня денег нету? — гордо сказал Мякинная Башка. Он вытащил на свет Божий плотно скатанную пачку ассигнаций толщиной с кулак и положил на стол.

— Моя доля за бабкину ферму, — пояснил он. — Девять с половиной сотен. Я и надумал — съезжу в город, может, какое дело пригляжу, деньгам применение сделаю.

Шулер Гарри взял пачку в руки и посмотрел на нее чуть ли не с уважением.

— Бывает хуже, — заключил он тоном знатока. — Но все равно в такой одежке ничего у тебя не выйдет. Заведи, брат, себе ботинки цвета беж, черный костюм, соломенную шляпу-канотье с

пестрой лентой и толкуй про Питтсбург, грузы и тарифы, да попивай херес за завтраком — тогда, может, и сбудешь эти сомнительные бумажки.

— По какой он части? — полюбопытствовал кое-кто из присутствующих, когда Мякинная Башка собрал свои оболганные ассигнации и вышел на улицу.

— Видно, фальшивая монета, — пожал плечами Гарри. — А может, он из сыскного отделения. Или это какой-то новый трюк. Слишком уж у него деревенский вид. Не может же быть… мне вдруг пришло в голову… но ведь не может же быть, что это у него настоящие деньги…

А Мякинная Башка побрел дальше. Вскоре его, наверно, опять одолела жажда, потому что он нырнул в винный погребок за углом и заказал пива. У стойки толпилось несколько крайне темных личностей. При взгляде на него глаза их загорелись; но перед лицом такой демонстративной, в нос шибающей деревенской неотесанности интерес их быстро сменился опасливой подозрительностью.

Мякинная Башка перекинул через стойку свой саквояж.

— Пусть постоит у вас часок-другой, мистер, — сказал он, жуя конец ядовитой желтой сигары. —

Я погуляю и зайду за ним. Да смотрите в оба: в нем девять с половиной сотен, а вы небось никогда бы и не подумали, на меня глядя-то.

В это время с улицы донеслись звуки фонографа, воспроизводящего игру духового оркестра, и Мякинная Башка ринулся поглазеть на это диво — только хлястик под лопатками мелькнул.

— Дели на всех, Майк, — сказали темные личности, открыто перемигиваясь.

— Да бросьте вы, — отвечал буфетчик, пинком загоняя саквояж в дальний угол. — Думаете, я так легко купился? Сразу видно, что он только прикидывается. Какой он фермер? Шестерит у Мак-Аду и все. Ну и пересолил же он, между прочим. Во всех штатах нет медвежьего угла, где бы сейчас так одевались. Девять с половиной сотен, как бы не так. Девять с половиной дырявых носовых платков — это вернее.

Вдоволь натешившись чудесным изобретением мистера Эдисона, Мякинная Башка вернулся за саквояжем. И потащился с ним вдоль по Бродвею, широко раскрытыми голубыми глазами впивая все, что попадало в поле его зрения. Но Бродвей по-прежнему не принимал его и только мерил взглядами и провожал презрительными улыбками. Из всех старых шуток эта казалась

самой знакомой и самой надоевшей. Приезжий поселянин был куда комичнее, нелепее и неотесаннее, чем все, что можно вообразить в хлеву, на пашне или в водевиле, и оттого возбуждал лишь досаду и подозрение. И сено у него за ухом было такое настоящее, такое свежее, оно так благоухало цветущим лугом и так громогласно напоминало о сельской глуши, что даже владелец игры в «скорлупки» при виде его собрал бы свои принадлежности и ушел восвояси.

Мякинная Башка уселся на каких-то ступенях и снова извлек из саквояжа свою пачку желтеньких. Верхнюю двадцатку он от нее отслоил и поманил к себе мальчишку-газетчика.

— Сынок, — сказал он, — сбегай-ка куда-нибудь да разменяй мне эту бумажку. А то я остался совсем без мелочишки. Получишь пятак, ежели скоро управишься.

На лице малолетнего газетчика сквозь грязь проступило оскорбленное выражение.

— Ишь ты какой хитрый. Сам меняй свои фальшивые деньги. И одежка на тебе тоже фальшивая. За сто шагов видать.

На углу стоял быстроглазый зазывала игорного дома. Он увидел поселянина и сразу принял холодный, добродетельный вид.

— Мистер, — обратился к нему поселянин. — Я слыхал, у вас тут в городе есть заведения, где можно перекинуться в картишки или, сказать к примеру, в лото. У меня в этом саквояже — девять с половиной сотен, я сам буду из Ольстера, приехал посмотреть, чего у вас тут есть. Не скажете, где человеку поставить на карту долларов этак девять-десять? Хочу потешиться, а потом, глядишь, откуплю себе какое-нибудь дело.

Зазывала поджал губы и стал разглядывать белое пятнышко на ногте своего левого мизинца.

— Да ладно тебе, приятель, ей-богу, — укоризненно сказал он. — Они там в Главном управлении, наверно, сбрендили, если шлют людей в этаком болванском виде. С такой рожей ты к игорному дому на пушечный выстрел не подойдешь. Был уже один, мистер Скотти из Долины Смерти, он тебя давно опередил по части деревенского реквизита. Катись-ка ты отсюда. Нет, я не знаю злачных мест, где можно поставить полицейский патруль против червонного туза.

И тогда, в который раз отвергнутый великим городом, столь чутким ко всякой искусственности, Мякинная Башка уселся на краю тротуара и созвал свои мысли на конференцию.

— Тут все дело в одёже, — вынес он заключе-

ние. — Не иначе. Они думают, что я деревенщина, и не хотят со мной знаться. У нас в Ольстере никто не смеялся над этой шляпой. Но, видать, если хочешь, чтобы ньюйоркцы от тебя носы не воротили, одевайся по-ихнему.

И Мякинная Башка отправился в большой универсальный магазин, где его встретили радостно, и потирали руки, и снимали с него всяческие мерки, любовно натягивая рулеточную ленту над выпуклостью грудного кармана, где он всего-то хранил на счастье маленький кукурузный початок с четным количеством зерен. Вскоре посыльные с коробками и пакетами уже потянулись к его гостинице на Бродвее…

А в девять часов вечера с крыльца гостиницы спустился некто, в ком Ольстер не признал бы своего. Ботинки цвета беж; канотье моднейшего фасона; светло-серые брюки свежевыутюжены; из нагрудного кармана элегантного английского пиджака торчит ярко-синий платок. Воротничок — ослепительной белизны, впору на витрину прачечного заведения; пшеничные волосы аккуратно подстрижены; и клочка сена за ухом, разумеется, нет.

Минуту он постоял во всем своем великолепии, точно праздный бульвардье, обдумывающий

маршрут вечерних развлечений. И пошел по людной, ярко освещенной улице легкой упругой походкой миллионера.

Но пока он там стоял, его успела приметить пара самых наметанных и зорких глаз в городе. Крупный брюнет со светлыми глазами одним движением бровей подозвал к себе двух сообщников, топтавшихся у подъезда гостиницы.

— Фермер с монетой, — сказал брюнет. — Зеленый, как огурчик. За мной!

В половине двенадцатого в полицейский участок на Сорок седьмой улице ворвался пострадавший со сбивчивой, скорбной повестью на устах.

— Девять с половиной сотен! — задыхаясь, твердил он. — Вся моя доля за бабкину ферму!

Дежурный сержант с трудом добился от него имени — Джейбс Буллтанг, проживающий в Долине Акаций, округ Ольстер; а затем стал записывать, как выглядели обидчики.

Когда Конант зашел к редактору справиться о судьбе своего стихотворения, его без задержек препроводили прямо в кабинет, уставленный статуэтками работы Родена и Дж. Дж. Брауна.

— Едва я прочел первую строку «Газели у родника», — сказал ему редактор, — как сразу понял,

что передо мной произведение человека, всю жизнь проведшего лицом к лицу с Природой. Меня не сбило с толку совершенство формы. Просто возникло такое чувство — прошу простить избитое сравнение, — будто живое, свободное дитя полей и лесов в модной городской одежде шагает по Бродвею. Одеянием не скроешь человека.

— Благодарю, — сказал Конант. — Чек, я надеюсь, будет, как всегда, в четверг?

Морали этого рассказа как-то спутались. Вот две на выбор: «Сиди у себя на ферме», или «Не пиши стихов».

Ряса

Перевод под ред. В. Азова.

В больших городах таинственные происшествия следуют одно за другим с такой быстротой, что читающая публика, равно как и друзья Джонни Белльчемберза, уже давно перестали выражать свое удивление по поводу его таинственного и необъяснимого исчезновения, случившегося год назад. Теперь тайна уже разгадана, но разгадка ее так необычайна и кажется столь недопустимой с обывательской точки зрения, что только немногие избранные, бывшие в близких отношениях с Джонни, вполне ей верят.

Как известно, Джонни Белльчемберз принадлежал к тесному избранному кругу общества. Не отличаясь тщеславием, свойственным многим представителям этого круга, которые стараются обратить на себя всеобщее внимание эксцентричными выходками и выставлением напоказ своего богатства, он все же всегда был au courant всего, что могло бы придать блеск его положению на высшей ступени общественной лестницы.

Он особенно славился своей манерой одевать-

ся. В этом отношении он приводил в отчаяние всех своих подражателей. Всегда безукоризненно чистый и аккуратный, одетый с иголочки, обладающий обширнейшим гардеробом, он, по общему признанию, одевался лучше всех в Нью-Йорке, а следовательно, и в целой Америке. Любой портной счел бы за счастье сшить ему костюм даром; подобный клиент явился бы бесценной рекламой. Его слабостью были брюки. Тут могло его удовлетворить только совершенство. Он также относился к малейшей складке не на месте, как другой к заплатке. Он нанял человека, который целыми днями только и делал, что утюжил эти принадлежности туалета, которых, кстати, у Белльчемберза было несметное количество. Друзья говорили, что он не мог носить одни и те же брюки дольше трех часов без смены.

Джонни исчез совершенно неожиданно. В течение трех дней его отсутствие не особенно беспокоило его друзей, но затем они начали принимать обычные меры к розыску его. Но все было тщетно. Он не оставил ни малейшего следа. Тогда начали доискиваться причин, но и причин нельзя было найти. Врагов у него не было, долгов — также. Женщины не играли роли в его жизни. На текущем счету в банке у него лежало несколь-

ко тысяч долларов. Никаких странностей за ним не замечалось: наоборот, он отличался в высшей степени спокойным и уравновешенным характером. Все меры к розыску пропавшего были приняты, но без всякого результата. Этот случай был один из тех, — участившихся за последние годы, — когда человек исчезает, подобно сгоревшей свече, не оставив после себя даже дыма.

В мае месяце двое из друзей Белльчемберза, Том Айрз и Ланселот Джиллиам, решили предпринять прогулку по ту сторону океана. Разъезжая по Италии и Швейцарии, они однажды услышали про монастырь в Швейцарских Альпах, в котором можно было найти кое-какие достопримечательности, более интересные, чем обычные приманки для туристов. Монастырь считался почти недоступным для обыкновенных путешественников, так как был построен на горе с чрезвычайно крутыми склонами, окруженной пропастями. Для американцев он представлял интерес, благодаря трем обстоятельствам, которые, впрочем, никогда этим монастырем не рекламировались. Во-первых, монахи умели приготовлять совершенно исключительный нектароподобный напиток, который, по слухам, далеко превосходил и бенедектин и шартрез.

Во-вторых, у них был огромный медный колокол, отлитый так чисто и правильно, что он не переставая звучал с тех пор, как в него позвонили в первый раз, триста лет назад. Наконец, утверждали, что ни один англичанин никогда не переступил порога монастыря. Айрз и Джиллиам решили, что эти слухи надо проверить.

Целых два дня они употребили на то, чтобы добраться, с помощью двух гидов, до монастыря Сен-Годро. Он возвышался на замерзшей, открытой ветрам скале, и снег лежал вокруг него предательскими сползающими кругами. Монахи, на обязанности которых лежало принимать гостей, встретили их очень радушно. Их угостили ликером, который показался им необычайно крепким и живительным. Они услыхали звон огромного, вечно поющего колокола и узнали, что они действительно первые иностранцы, посетившие эти серые каменные стены, внутрь которых еще не ступала нога беспокойного англичанина, успевшего заглянуть во все уголки земного шара.

В день прибытия, в три часа дня, молодые ньюйоркцы отправились вместе с добрейшим братом Христофором в длинный холодный коридор монастыря, чтобы увидеть шествие братии

в трапезную. Монахи шли медленно, парами, наклонив голову и бесшумно ступая ногами, обутыми в сандалии, по выбитым каменным плитам. Когда они поравнялись с посетителями, Айрз внезапно схватил Джиллиама за руку.

— Посмотри, — взволнованно сказал он, — вон на того, который проходит как раз мимо тебя, — сюда, ближе к нам, — он держит руку у пояса. Провались я на этом месте, если это не Джонни Белльчемберз!

Джиллиам взглянул и узнал исчезнувшего законодателя мод.

— Каким чертом, — с удивлением сказал он, — занесло сюда Белля? Не может быть, Томми, чтобы это был он. Никогда не слыхал, чтобы Белль отличался особой религиозностью. Откровенно говоря, приходилось слышать от него такие проклятия, когда он правил четверкой и у него что-нибудь не ладилось, что любая церковь предала бы его за них военно-полевому суду.

— Это Белль, вне всякого сомнения, — твердо сказал Айрз, — или же мне необходимо сейчас же отправиться к хорошему окулисту. Но кто бы мог подумать, Джонни Белльчемберз, король франтов, сливки общества, так сказать, занимается покаянием в этом холодильнике, одетый в

купальный халат табачного цвета! У меня ум за разум заходит! Давай расспросим нашего приятеля, который нас принимал.

Отправились за разъяснениями к брату Христофору.

Монахи уже успели войти в трапезную. Он не понял, о ком говорили молодые люди. Белльчемберз? Да ведь поступающие в монастырь Сен-Годро отказывались от своих мирских имен, когда произносили обет. Гости желают поговорить с одним из монахов? Пусть они дадут себе труд пройти в трапезную и указать, с кем именно: отец настоятель, несомненно, даст нужное разрешение.

Айрз и Джиллиам прошли в залу, где обедала братия, и указали брату Христофору монаха, замеченного ими в коридоре. Да, это, несомненно, был Джонни Белльчемберз. Теперь они ясно видели его лицо. Он сидел среди своих неопрятных товарищей, опустив глаза вниз, и ел суп из грубой глиняной миски.

Настоятель разрешил путешественникам свидание с монахом, и они стали ждать его в приемной. Когда он вошел, мягко ступая сандалиями, Айрз и Джиллиам оба остановились перед ним в полном недоумении и изумлении: это был

Джонни Белльчемберз, но выглядел он совершенно другим человеком. На лице его отражались неизреченное спокойствие, радость достижения, полнейшее и совершеннейшее счастье. Он держался гордо и прямо, и в глазах его было ласковое, просветленное выражение. Он был чист и аккуратен, как, бывало, в Нью-Йорке, в прежние дни. Но какая разница в его костюме! Теперь, по-видимому, на нем была только одна одежда — длинная ряса из грубого коричневого сукна, стянутая у пояса веревкой и падавшая свободными, прямыми складками до полу. Он пожал руку своим гостям со свойственными ему изяществом и непринужденностью. Если чувствовалось какое-нибудь стеснение, то, во всяком случае, не Белльчемберз выказал его. В комнате не было стульев, и разговор пришлось вести стоя.

— Рад тебя видеть, старина, — сказал немного растерявшийся Айрз. — Не ожидал встретиться здесь с тобой. В общем, ты это недурно придумал. Большой свет надоел своей неискренностью. Представляю себе, как должно быть хорошо, когда откажешься от суеты и предашься… эээ… созерцанию и… э-э-э… молитвам и песнопениям и тому подобному.

— Эй, брось это, Томми, — весело сказал Белль-

чемберз. — Не бойся, я не стану тебя угощать высокопарными речами. Я проделываю все эти штуки вместе с остальной компанией, потому что это требуется правилами. Здесь ведь я брат Амвросий, понимаете? Мне дали ровно десять минут, чтобы поболтать с вами. Что это у тебя, Джиллиам, жилет нового фасона? Такие теперь носят на Бродвее?

— Да, это наш прежний Джонни, — радостно воскликнул Джиллиам. — На кой черт… то есть, я хочу сказать — зачем… Эй, да провались оно совсем! Зачем ты это сделал, старина?

— Сбрось рясу, — стал его умолять Айрз, чуть не плача, — вернись вместе с нами. Вся старая компания с ума сойдет от восторга. Это совсем неподходящее дело для тебя, Белль. Я наверное знаю, что около полдюжины барышень носили в душе траур, когда ты нас покинул таким необъяснимым образом. Подай в отставку, или достань разрешение от обетов, или что там еще нужно, чтобы уйти с этого ледяного завода. Ты здесь схватишь воспаление легких, Джонни, и… и… батюшки! Да ты без носков!

Белльчемберз опустил глаза, посмотрел на свои ноги, обутые в одни сандалии, и улыбнулся.

— Вы, ребята, ничего не понимаете, — успокаи-

вающе сказал он. — С вашей стороны очень мило звать меня обратно, но я больше не вернусь к прежней жизни. Я здесь достиг цели всех моих стремлений. Я вполне счастлив и доволен. Здесь я проведу остаток моих дней. Вы видите эту одежду, которую я ношу?

Белльчемберз с нежностью дотронулся до рясы, ниспадавшей прямыми складками.

— Наконец-то я нашел платье, которое не морщит на коленях. Я достиг…

Но в эту минуту по всему монастырю раздался гулкий звон большого медного колокола. По-видимому, он немедленно призывал монахов к молитве, так как брат Амвросий наклонил голову, повернулся и вышел из комнаты, не сказав больше ни одного слова. Только проходя через каменную арку, он слегка махнул рукой, как бы прощаясь с друзьями. Молодые люди так и не видали его больше до своего ухода из монастыря.

Вот какой рассказ привезли с собой Томми Айрз и Ланселот Джиллиам из последнего путешествия по Европе.

Женщина и жульничество

Перевод под ред. В. Азова.

На днях я случайно встретился с моим старым приятелем Фергюсоном Поогом — убежденным мошенником высшего полета. Штаб-квартира его — Западное полушарие, а работает он во всех отраслях, начиная с распродажи городских участков среди девственных прерий и кончая импортом в лесистый Коннектикут деревянных игрушек, выделанных из скорлупок орехов, смолотых посредством гидравлического пресса.

Иногда, после удачного и прибыльного дела, Поог приезжает в Нью-Йорк, чтобы отдохнуть. Он уверяет, что пустыня — кувшин вина, каравай хлеба «и о, Ты, в пространстве Бесконечный» — дают ему столько же отдыха и развлечения, как катание с гор в Луна-парке президенту Тафту.

— Для отдыха, — говорит Поог, — мне необходим большой город. Лучше всего — Нью-Йорк. Правда, я недолюбливаю ньюйоркцев, но Манхеттен[177] почти единственное место на земном

---

[177] Примечания: 177
Центральная часть Нью-Йорка.

шаре, где их не видно.

Когда Поог находится в столице, его всегда можно отыскать в двух местах. Одно из них — небольшая лавка букиниста на Четвертой авеню, где он читает книги по двум интересующим его вопросам: магометанству и набивке чучел. Я застал его в другом — в снимаемой им на Восемнадцатой улице комнате — спальне и приемной одновременно. Он сидел в одних носках и пытался извлечь «Берега Уабаша» из маленькой цитры. Вот уже четыре года, как он старается выудить эту мелодию, но до сих пор еще так далек от цели, что не мог бы зацепить ее даже самой длинной удочкой для форели. На туалете лежали револьвер Кольта сорок пятого калибра вороненой стали и изрядное количество десяток и двадцаток, туго свернутых в внушительных размеров пачку.

Рядом, в передней, порхала горничная с убирательным выражением лица; она не могла решиться ни уйти, ни войти, смущенная носками Поога, терроризированная Кольтом и завороженная, как истая дочь столицы, волшебной пачкой.

Не было человека более прямого и простодушного, чем Поог. По сравнению с открытым выражением его лица, значение крика месячного Генри Джеймса, требовавшего груди, могло

показаться туманнее халдейской криптограммы. Он с гордостью рассказывал мне эпизоды из его профессии, на которую он смотрел как на искусство. Я полюбопытствовал узнать, знавал ли он женщин, преуспевавших в этой профессии.

— Дам? — с западным рыцарством поправил Поог. — Во всяком случае, в очень ограниченном количестве. Они не могут специализироваться на одной какой-нибудь отрасли, потому что им постоянно приходится вести работу более общего характера. Они не могут иначе. Кто на земле владеет деньгами? Мужчины! А слыхали ли вы, чтобы мужчина когда-нибудь дал женщине хоть один доллар, не требуя компенсации? Мужчине он готов отдать все свое состояние — легко, свободно и даром. Но если он опустил хоть один пенни в один из автоматов, поставленных Соединенным Обществом Дочерей Евы, и ананасная жевательная резинка не выпала тотчас же после того, как он дернул рычаг, он сейчас же начинает жаловаться так громко, что вы его услышите за четыре квартала. Мужчина — самый трудный барьер, который женщине приходится брать. Он не отличается щедростью, и для того, чтобы заставить его заплатить, ей приходится работать сверхурочно. В двух случаях из пяти ее усилия

пропадают даром. Она не может прибегнуть к техническим усовершенствованиям и дорогим приспособлениям. Он тотчас же заметил бы их, и ее карты были бы сразу раскрыты. Женщинам приходится загребать, что попадает им под руку, — а ведь ручки-то у них нежные. Есть такие, у которых хорошо работают глазные шлюзы: те другой раз вырабатывают до тысячи долларов с промытой тонны. Ну а что делать тем, у которых глаза не на мокром месте? Им приходится прибегать к письмам (с подписью), фальшивым локонам, сочувствию, трясению бедрами, умению вкусно готовить, сентиментальным присяжным, умению втирать очки, к шелковым нижним юбкам, предкам, румянам, анонимным письмам, саше из фиалок, свидетелям, револьверам, турнюрам, серной кислоте, лунному свету, кольдкрему и вечерним газетам.

— Ты меня возмущаешь, Ферг, — сказал я. — Неужели ты считаешь, что счастливые и согласные супружества тоже основаны на таком шантаже?

— Ну, — сказал Поог. — И там, разумеется, шантаж, но не такого сорта, который требует вмешательства полиции, вызова экстренного наряда или который мог бы дать благодарный сюжет для сенсационной пьесы.

Вот как происходит дело: предположим, что ты — миллионер с Пятой авеню. Ты возвращаешься домой и приносишь особе, сделавшей на тебя заявку брильянтовую брошку в девять миллионов долларов. Ты преподносишь ей драгоценность. Она восклицает: «О, Джордж!» Она подходит к тебе и целует тебя. Ты ждал поцелуя — ты получил. Вы квиты. Это шантаж.

Но я хочу тебе рассказать про Артемизию Блай. Она была сама из Канзаса и напоминала пшеницу во всех ее составных частях. Волосы у нее были светлые, как усики на колосьях; стройна она была и высока, как стебель, выросший в низине в сырое лето; глаза у нее были большие и круглые, как спорынья, и всем цветам она предпочитала зеленый.

Во время моего последнего путешествия по злачным местам вашего уединенного городка я познакомился с неким Вокрассом. Его оценивали… то есть у него действительно был миллион. Он мне сказал, что работает по уличной части. «Уличный торговец?» — иронически спрашиваю я. «Вот именно, — отвечает он. — Я главный пайщик акционерного общества бетонных мостовых».

Я как-то привязался к нему. Дело в том, что я

встретился с ним на Бродвее, однажды вечером, в такую минуту, когда я утратил бодрость духа, счастье, портсигар и деньги. На нем все блестело: цилиндр, брильянтовые запонки и белая крахмальная манишка. Особенно манишка. Я же выглядел чем-то средним между графом Толстым и июньским раком. Мне ужасно не повезло. Я только что… Да пусть мне только попадется этот мерзавец!

Вокрасс остановился и поговорил со мной несколько минут, а потом потащил меня обедать в шикарный ресторан. Там нас угостили Бетховеном, соусом а-ля бордолез, Французскими шансонетками, кремом франжипан, ликером и папиросами. Я знаком с этими заведениями: я их посещаю, когда я на коне.

Но на этот раз я был без гроша, и вид у меня был, наверное, такой же жалкий, как у художника, рисующего иллюстрации для журналов; волосы у меня были в поэтическом беспорядке, точно я собирался выступить на вечеринке бруклинской богемы и прочесть главу из «Эльзи в школе». Вокрасс носился со мной как с писаной торбой. Ему было наплевать, что лакей был скандализован. Наконец, его поведение объяснилось.

— Мистер Поог, — объявляет он, — я вас весь

вечер эксплуатирую.

— Продолжайте в том же духе, — говорю я. — Надеюсь, вам еще не скоро надоест.

Тут он мне, понимаешь, и рассказал, что он за человек Он ньюйоркец. У него было одно желание — обратить на себя внимание. Ему хотелось быть на виду. Он мечтал о том, чтобы на него указывали, кланялись ему и говорили другим: «Вот идет Вокрасс». Он сознался, что это была мечта его жизни. У него был всего миллион, и потому он не мог приобрести известность швырянием денег направо и налево. Чтобы обратить на себя внимание, он однажды засадил чесноком небольшую площадь на восточной окраине города, — для бесплатного пользования бедными людьми; но Карнеги, услыхавший про это, тотчас же переплюнул его и построил на этой площади бесплатную библиотеку на гэльском наречии. Три раза пробовал Вокрасс попасть под автомобиль, но в результате добился только того, что сломал себе пять ребер и прочел в газетах заметку о том, что автомобиль переехал неизвестного ростом пять футов десять дюймов, с четырьмя запломбированными зубами; высказывалось предположение, что это последний из знаменитой шайки хулиганов Ред-Лири.

— А вы попробовали бы репортеров, — сказал я.

— За прошлый месяц, — говорит Вокрасс, — я истратил сто двадцать четыре доллара восемьдесят центов на угощение репортеров завтраками.

— Принесло ли это какой-нибудь результат? — говорю я.

— Чуть не позабыл, — говорит он, — прибавьте восемь долларов пятьдесят центов за пепсин. Да, у меня сделалось расстройство желудка.

— Каким же образом я содействую сейчас вашим усилиям приобрести известность? — спрашиваю я. — Контрастом?

— Сегодня я действительно имел в виду нечто в этом роде, — говорит Вокрасс. — Мне очень жаль, но я вынужден прибегать к эксцентричным выходкам.

Тут он вдруг встает, роняет салфетку в тарелку с супом и отвешивает поклон какому-то господину, который сидит в дальнем углу комнаты под пальмой и ест картошку.

— Комиссар полиции, — довольным тоном объявляет мой честолюбец.

— Друг, — быстро говорю я. — Лезьте вверх сколько хотите, но не выбивайте сами ступеньку из-под ваших же ног. Если вы пользуетесь мной

как ступенькой, для того, чтобы раскланиваться с полицией, вы рискуете испортить мне аппетит; мне будет все время казаться, что меня могут арестовать. Надо быть более внимательным к другим.

Когда подали фрикасе в кастрюльке по-квакерски, мне вдруг пришла в голову мысль об Артемизии Блай.

— А что вы скажете, если я устрою так, что о вас станут писать в газетах? По одному или по два столбца в день во всех решительно — и ваш портрет во многих, и все это на целую неделю? Сколько бы вы дали за это?

— Десять тысяч долларов, — сразу повеселев, сказал Вокрасс. — Но только, чур, без убийства, — говорит он, — и затем я не согласен еще приехать на бал в розовых брюках.

— Этого я от вас и не потребую, — говорю я. — То, что я предлагаю, вполне совместимо с честью и достоинством мужчины и даже будет очень шикарно. Велите слуге подать коньяку и прочие южные фрукты, и я сам сейчас изложу мой opus moderandi.

Через час мы заключили сделку. Я послал телеграмму в Салину мисс Артемизии Блай. На следующее же утро она отправилась к старшине

четвертой пресвитерианской общины, захватив с собою две фотографии и собственноручное письмо и получила от него взбучку и 80 долларов. Во время короткой остановки в Топеке она успела выменять у вице-председателя одного акционерного общества, в обмен на молниеносную встречу и любовную записочку, — железнодорожный указатель и пачку кредиток, на обертке которой было нацарапано: «250 долларов».

Через пять дней после получения моей телеграммы она сидела вечером, вся декольте и притом разодетая, и ждала меня с Вокрассом; мы должны были повезти ее обедать в один из семейных ресторанов для дам, куда мужчины допускаются только в том случае, если они играют в безик и не курят ничего более крепкого, чем папиросы из порошка для уничтожения волос.

— Она сногсшибательна, — сказал Вокрасс, когда увидел ее. — Газеты отведут ей не менее двух столбцов. Факт!

Вот какой план мы втроем составили: это была настоящая сделка. Вокрасс должен был в течение месяца афишироваться с мисс Блай со всей откровенностью, страстностью и шиком, на которые он был способен. Этим, конечно, он еще ни на йоту не приближался к цели. Господин в белом

галстуке и лакированных ботинках, сыплющий из широкого конца рога изобилия кредитки на содержание и увеселение высокой стройной блондинки, представляет собой зрелище, весьма обыкновенное в Нью-Йорке; таких господ вы можете видеть там не менее, чем синих черепах во время припадка белой горячки. Но он, кроме того, должен был писать ей ежедневно любовные письма самого ужасного свойства, — вроде тех, которые жены издают после смерти мужей. Через месяц он должен был ее бросить, а она должна была предъявить ему иск в сто тысяч долларов за неисполнение обещания жениться.

Мисс Артемизия должна была получить десять тысяч долларов в виде вознаграждения, если она выиграет дело, если же она проиграет, то эти деньги ей все равно уплачивались. Мы составили письменный договор.

Иногда я сопровождал их во время их выездов, но не особенно часто. Я как-то не подходил под их тон. Иногда она вытаскивала его письма и начинала разбирать их, придираясь к каждому слову, точно это были коносаменты на товар.

— Эй, вы! Послушайте-ка! — начинала она. — Что это такое, скажите на милость? Письмо к торговцу железными изделиями от его пле-

мянника, узнавшего, что его тетка заболела крапивной лихорадкой? Эх вы, восточные растяпы! Понимаете вы в любовных письмах, как канзасский кузнечник в буксирных пароходах. «Дорогая мисс Блай!» — из таких выражений вы, что ли, думаете, пекутся свадебные пироги? Вы воображаете, что можете этим заинтересовать публику на суде? Если вы хотите, чтобы лучи славы коснулись ваших редеющих седин, вы должны приняться за дело всерьез и называть меня «мумуличка», «кукушечка», «тигреночек мой», а подписываться не иначе как: «Моей маленькой пупусиньке-мумуличке — собственный большой гадкий мальчишка». Вам надо поумнеть.

После этого Вокрасс начал наяривать. Я уже представлял себе, как будут заседать присяжные, а женщины в публике станут срывать друг с друга шляпки, чтобы лучше видеть и слышать. Я предвидел время, когда мистер Вокрасс станет не менее популярным, чем архиепископ Кранмер, Бруклинский мост или сэндвичи с салатом и сыром. Ему, по-видимому, очень нравилась подобная перспектива.

Наконец, они назначили день; я стоял на Пятой авеню, у шикарного ресторана, и наблюдал через окно. Вошел судебный рассыльный и вручил

Вокрассу, сидевшему за столом, повестку. Все обернулись и стали смотреть на них, и он сидел гордый, как Цицерон. Я вернулся к себе домой и закурил сигару в пять центов, так как считал, что десять тысяч долларов у нас в кармане.

Часа два спустя кто-то постучался ко мне в дверь. Оказалось, что это Вокрасс и мисс Артемизия; она держала его под руку и прижималась, — поверишь ли, прижималась! — к нему. И они мне объявляют, что они только что ходили венчаться. Потом они начали изрекать какой-то избитый вздор про любовь и тому подобное. А затем они положили на стол пакет, сказали «прощайте!» и ушли.

— Вот потому-то я и говорю, — заключил Фергюсон Поог, — что женщина никогда не достигнет больших успехов в специальных отраслях. Она слишком занята своим естественным призванием и все свои природные способности к шантажу определяет на службу инстинкту самосохранения и жажде удовольствий.

— А что было в пакете, который они оставили тебе? — с обычным любопытством спросил я.

— Эх, — сказал Фергюсон, — там был билет в телячьем вагоне до Канзас-Сити и две пары старых штанов мистера Вокрасса.

Комфорт

Перевод под ред. В. Азова.

По случаю торжеств кучка раф-райдеров сделала визит Нью-Йорку. Эти лояльные отставные вояки чрезвычайно украсили своим присутствием торжества. Газетные репортеры выкопали из своих чемоданов старые широкополые шляпы и кожаные пояса и смешались с толпой визитеров. Бравые сыны Запада без особого восторга приняли к сведению небоскребы (не выше третьего этажа), позевали на Бродвее, повалялись, свернувшись, в широких креслах в холлах гостиниц и в общем являли вид скучный и унылый, напоминая почтенного полковника, отлученного на время маневров от услуг своего камердинера.

От этой делегации ротозеев отвалился как-то один из членов ее, некто «Репейник» Най из Пайн-Фетера, Аризона.

Ежедневный циклон, проносящийся по Шестой авеню, оторвал его от общества его верных сотоварищей. Пыль, поднятая тысячью шуршащих юбок, ослепила его; мощный грохот вагонов надземной железной дороги оглушил его; осле-

пительный блеск двадцати тысяч сияющих глаз смутил его воображение.

Шторм поднялся так внезапно и был так страшен, что первым импульсом «Репейника» было броситься на землю и ухватиться за какой-нибудь корень, но вскоре он сообразил, что это была не стихийная, а человеческая буря, и он спасся от нее в подъезд какого-то дома.

Репортеры писали, что ничто, кроме широкополых шляп, не изобличало западного происхождения этих северных гаучо. Да усовершенствует небо репортерские глаза! Костюм из черного диагоналя, измятый в невероятных местах; ярко-голубой самовяз, завязанный на фабрике; низкий отложной воротничок времен Сеймура и Блэра, лоснящийся, как белые эмалевые буквы на окнах день-и-ночь-кроме-воскресных-дней-открытых-ресторанов; согнутые от вечного сидения в седле колени; своеобразный сгиб большого и других пальцев правой руки от привычного крепкого сжимания лассо; глубоко всосавшийся загар, какого не в состоянии вызвать самое горячее солнце вне Запада; редко мигающие голубые глаза, автоматически разбивающие движущуюся толпу на четверки, как будто это табун, выпускаемый из загона; выражение изолированности

и величия, достойное императора или человека, чей кругозор не распространяется дальше, чем на однодневный переезд, — все эти отпечатки Запада лежали на «Репейнике» Нае. О, да — он носил широкополую шляпу, благосклонный читатель, — совершенно такую же, какую надевают кондуктора из почтовой конторы на Мэдисон-сквере, когда они отправляются в Бронкс по воскресеньям после обеда.

Вдруг «Репейник» Най бросился в самую середину потока, ухватил какого-то человека, вытащил его из главного фарватера, по которому текло столичное стадо, и дал ему такого тумака по затылку, что тот отшатнулся к стене.

Жертва подняла свою упавшую с головы шляпу с сердитым выражением лица ньюйоркца, потерпевшего оскорбление и намеревающегося написать по этому поводу письмо в редакцию. Но, взглянув на обидчика, человек убедился, что тумак был только выражением любви и дружеского расположения, сообразно манере Запада, который приветствует друга оскорблениями, гвалтом и кулаками, а врага встречает церемонно и выдержанно, как того требует правильный прицел.

— Святая яичница! — воскликнул «Репейник»,

крепко ухватив плененную им скотину за переднюю ногу. — Неужто это длиннорогий Мерритт?

Другой был… вы ежедневно можете встретить на Бродвее этот образчик: деловой человек: шляпа — последнее слово моды; хорошие — парикмахер, дела, пищеварение и портной.

— «Репейник» Най! — воскликнул он, ухватив покаравшую его руку. — Сердечный друг! Как я рад видеть тебя! Какими чудесами? Ах, да, конечно, торжества! Помню, ты записался в рафрайдеры. Чудесно! Идем, позавтракаем вместе. Никаких! Без отказа!

«Репейник» с грустью, но решительно прижал его к стене рукой размера, очертаний и цвета хорошего седла.

— Длиннорогий, — меланхолически сказал он голосом, расстроившим моментально уличное движение, — что они сделали с тобою? Ты ведешь себя совершенно как горожанин. Они превратили тебя в строку из «Всего Нью-Йорка». «Идем позавтракаем вместе!» В наши дни ты не позволил бы себе говорить о жратве в таких оскорбительных выражениях.

— Я уже семь лет живу в Нью-Йорке, — сказал Мерритт. — Прошло восемь лет с тех пор, как мы с тобой клеймили коров у старичины Гарсия. Зай-

дем, во всяком случае, в кафе. Приятно все-таки опять услышать «жратва».

Они пробрались сквозь толпу к отелю и, как бы повинуясь какому-то естественному закону, направились прямо к стойке бара.

— Говори, — пригласил «Репейник».

— Коньяку, — сказал Мерритт.

— О боги! — воскликнул «Репейник». — И это тот самый человек, с которым мы вместе видывали зеленого змия в кабачках на Западе! Коньяку? Ах, чтоб тебе! Натурального виски! Ты платишь.

Мерритт улыбнулся и заплатил.

Они позавтракали в маленьком продолжении столовой, сообщавшемся с кафе. Мерритт искусно уклонился от выбора своего друга, который уперся на яичнице с ветчиной, — в сторону пюре из сельдерея, котлетки из форели, пирога с куропаткой и соответствующего салата.

— В тот день, — с огорчением и громоподобным гласом заявил «Репейник», — когда я не буду в состоянии выпить больше одной рюмки перед закуской с приятелем, которого я встретил после восьми лет разлуки в тридцатицентовом городе, за столом два на четыре фута, в час дня в третий день недели, — пусть девять мустангов перебрыкнут меня сорок раз через шестьсот сорок

квадратных акров пастбища. Зарубил себе на носу эту статистику?

— Правильно, старина, — засмеялся Мерритт. — Официант, принесите мне рюмку абсента фраппе. А тебе что, «Репейник»?

— Натурального, — траурным голосом ответил Най. — Эх, Длиннорогий! Ты пил его когда-то прямо из горлышка! Прямо из бутылки, в седле, на всем скаку — да настоящее виски, аризонское, не эту бурду… Э, да что! Это ты платишь!

Мерритт подсунул талон за напитки под свой бокал.

— Правильно. Ты, вероятно, полагаешь, что город испортил меня. Я такой же хороший ковбой, как и ты, «Репейник», но мне как-то не приходит даже и в голову вернуться к прежней жизни. В Нью-Йорке имеешь комфорт… комфорт! Я хорошо зарабатываю и хорошо проживаю деньги. Довольно с меня мокрых одеял, и гонки за скотом в снежную бурю, и сала с холодным кофе, и встряски раз в полгода. Я полагаю, что буду околачиваться здесь и впредь. Махнем вечером в театр, «Репейник», а потом пообедаем у…

— Я скажу тебе, кто ты такой, Мерритт, — ответил «Репейник», положив один локоть в его салат, а другой в его масло. — Ты сгущенная, бесплодная,

безусловная, короткорукая, козоухая мисс Салли Уокер. Господь сотворил тебя перепендикулярным и приспособленным для езды раскорякой и для употребления крепких слов в оригинале. Ты же осквернил творенье Его рук, перекинув себя в Нью-Йорк, надев маленькие ботиночки, завязанные шнурками, и гримасничая. Я видал, как ты арканил и связывал быка в сорок две с половиной секунды. Если бы ты теперь увидел быка, ты побежал бы сделать заявление об этом в полицию. А эти шарлатанские напитки, которые ты прививаешь своему организму, эти настойки из бурьяна с желудями пополам с киндер-бальзамом — неужели они согласуются с человеческой природой? Ненавижу тебя таким!

— Видишь ли, «Репейник», — ответил Мерритт с оттенком извинения в голосе. — До некоторой степени ты прав. Подчас я и сам чувствую, точно я был вскормлен бутылкой. Но говорю тебе, Нью-Йорк предоставляет человеку комфорт. Есть в нем что-то такое! Зрелища и толпа — и как это все меняется ежедневно — и самое дыхание всего этого. Город словно забрасывает аркан длиною в милю вокруг твоей шеи и оборачивает другой конец его где-то около Тридцать четвертой ули-

цы[178]. Я сам не знаю, что это такое…

— Бог знает, — печально ответил «Репейник». — И я тоже знаю: Восток проглотил тебя. Ты был дичью, а теперь ты телятина. Ты напоминаешь мне цветочный горшок в окне. Даже в горле у меня от тебя пересохло!

— Рюмку зеленого шартреза, — приказал Мерритт официанту.

— Натурального виски, — вздохнул «Репейник». — Ты платишь, ренегат.

— Виноват, но заслуживаю снисхождения, — сказал Мерритт, — ты не можешь этого понять, «Репейник». Здесь такой комфорт, в Нью-Йорке, что…

— Одолжи мне, пожалуйста, твою нюхательную соль, ты, мисс Салли! — воскликнул «Репейник». — Если б я не видел своими глазами, как ты однажды отшил трех вооруженных бахвалов из Мазатцай-Сити с незаряженным револьвером в руках…

Голос «Репейника» заглох в глубоком огорчении.

— Сигар! — сурово крикнул он официанту, чтобы скрыть свое волнение.

---

[178] Примечания: 178

34-я улица — центр, в котором расположены главные увеселительные места.

— Пачку турецких папирос, — сказал Мерритт.

— Ты платишь, — сказал «Репейник», с трудом скрывая свое презрение.

В семь часов они пообедали в рекламирующемся в газетах ресторане. Там собралось блестящее общество. Сливки. Оркестр играл увлекательно. Не успеет официант передать дирижеру денежный привет от какого-нибудь гостя, как вся капелла моментально загудит.

За обедом Мерритт старался уговорить приятеля. «Репейник» был старым его другом, и он любил его. Он уговорил его попробовать коктейль.

— Так и быть, ради старой дружбы выпью стакан этого отхаркивающего, — сказал «Репейник», — но предпочел бы натурального виски. Ты платишь.

— Ладно, — ответил Мерритт. — А теперь посмотри карточку кушаний. За что ты зацепишься?

— Что за чертовщина! — воскликнул «Репейник», выпучив глаза. — Неужели в этом фургоне-кухне имеются все эти харчи? Да тут их до черта! Это что? Пюре из ля… ля… из лягушек, что ли? Я пас! Господи помилуй! Да тут хватит снеди на двадцать объездов. Валяй, я посмотрю.

Блюда были заказаны, и Мерритт обратился к винной карточке.

— Мэдок здесь недурен, — предложил он.

— Ты — доктор, тебе лучше знать, — заметил «Репейник», — а я уж лучше натурального виски. Ты платишь.

«Репейник» осмотрелся кругом. Официант приносил блюда и убирал порожние тарелки. Он наблюдал. Он видел веселую нью-йоркскую толпу.

— Как там были дела со скотом, когда ты уехал из Гилы? — спросил Мерритт.

— Хороши, — ответил «Репейник». — Видишь госпожу в красном шелку с крапинками — там, за столиком? Н-ничего! Я бы позволил ей разогревать свои бобы у моего походного костра. Да, со скотом дела ничего. Она красива, как тот белый мустанг, которого я видел однажды на Черной реке.

Когда подали кофе, «Репейник» протянул одну ногу на ближайший стул.

— Ты говоришь, Длиннорогий, город комфортабельный? — раздумчиво сказал «Репейник». — Да, комфортабельный город. Это не то, что в степи при северном ветре. Как ты назвал эту механику, Длиннорогий? Соус кумберленд? Ничего!

Съедобно! И даже очень! Этот белый мустанг удивительно поворачивает голову и встряхивает гривой, погляди-ка! Я думаю, если бы мне удалось продать мое ранчо за приличную сумму, я бы…

— Гьярсонг! — неожиданно рявкнул он так, что парализовал все ножи и вилки в ресторане.

Официант подплыл к столу.

— Еще два этих — как их там — коктейля! — приказал «Репейник».

Мерритт посмотрел на него и многозначительно улыбнулся.

— Это я плачу, — сказал «Репейник», выпуская клуб дыма к потолку.

Неизвестная величина

Перевод под ред. В. Азова.

Немного раньше начала настоящего столетия некий Септимус Кайнсолвинг, старый ньюйоркец, сделал великое открытие. Он первый открыл, что хлеб печется из муки, а не из видов на урожай. Угадав, что урожай будет неудовлетворительный, и зная, что биржа не имеет ощутительного влияния на произрастание злаков, мистер Кайнсолвинг удачным маневром захватил хлебный рынок.

В результате получилось, что когда вы или моя хозяйка (до гражданской войны ей не приходилось ударить пальцем о палец: об этом заботились южане) покупали пятицентовый каравай хлеба, вы прибавляли два цента дополнительно в пользу мистера Кайнсолвинга в виде благодарности за его прозорливость.

Вторым последствием было то, что мистер Кайнсолвинг вышел из этой игры с 2 миллионами долларов припеку.

Дан, сын мистера Кайнсолвинга, был в колледже, когда проделывался этот математический

опыт с хлебом. На вакации Дан вернулся домой и нашел своего старика в красном шлафроке за чтением «Крошки Доррит» на веранде своего почтенного особняка из красного кирпича в Вашингтон-сквере.

Он удалился на покой с таким запасом добавочных двухцентовых монет, отторгнутых им от покупателей хлеба, что если бы вытянуть эти монеты в одну линию, она обмотала бы земной шар пятнадцать раз и сошлась бы концами над государственным долгом Парагвая.

Дан поздоровался с отцом и отправился в Гринвич Вилидж повидаться со своим товарищем по школе Кенвицем. Дан всегда восхищался Кенвицем. Кенвиц был бледен, курчав, интенсивен, серьезен, математичен, научен, альтруистичен, социалистичен и природно враждебен олигархии. Кенвиц отказался от университета и учился часовому делу в ювелирной мастерской своего отца. Дан был улыбающийся, веселый, добродушный юноша, одинаково терпимый к королям и тряпичникам. Они радостно встретились, как и подобает антиподам. Затем Дан вернулся в университет, а Кенвиц к своим пружинам и к своей библиотеке — в комнатке позади отцовского магазина.

Через четыре года Дан вернулся на Вашингтон-сквер, снабженный дипломом бакалавра словесных наук и отполированный двумя годами пребывания в Европе. Бросив сыновний взгляд на пышный мавзолей Септимуса Кайнсолвинга на Гринвудском кладбище и предприняв скучную экскурсию в область отпечатанных на машинке документов в обществе своего поверенного, он почувствовал себя одиноким и безнадежным миллионером и поспешил к своему другу в старый ювелирный магазин на Шестой авеню.

Кенвиц отвинтил лупу от глаза, вытащил из мрачной задней комнаты своего родителя и променял внутренность часов на внешность Нью-Йорка. Они уселись с Даном на скамейке в Вашингтон-сквере. Дан мало переменился. Он был статен и важен важностью, которая легко распускалась в улыбку. Кенвиц был больше прежнего серьезен, напорист, научен, философичен и социалистичен.

— Теперь мне все известно, — сказал наконец Дан. — С помощью юридических светил я вошел во владение кассой бедного папаши и прочим барахлом. В общем, до двух миллионов долларов, Кен. И мне говорили, что он сколотил все это из грошей, которые он выжал у бедняков,

покупающих хлеб в лавочке за углом. Ты изучил политическую экономию, Кен, и знаешь все, что касается монополий, трудящихся масс, спрутов и прав рабочего народа. Я раньше никогда не интересовался этими вопросами. Футбол и стремление быть справедливым к людям представляли собою почти весь мой университетский курикулум.

Но с тех пор, как я вернулся домой и узнал, каким путем мой папенька нажил свои деньги, я стал задумываться. Мне страшно хотелось бы вернуть этим индивидам то, что они переплатили лишнего на хлебе. Я знаю, что это окорнало бы ленту моих доходов на порядочное количество ярдов, но я хотел бы рассчитаться с ними. Есть какой-нибудь способ сделать это?

Большие черные глаза Кенвица загорелись. Его тонкие интеллигентные черты приняли почти сардоническое выражение. Он схватил Дана за руку пожатием друга и судьи.

— Это невозможно, — ответил он энергично. — Одна из жесточайших казней для вас, людей, владеющих неправедно добытым богатством, заключается в том, что, когда вы начинаете каяться, вы убеждаетесь, что потеряли силу исправить или оплатить причиненное зло. Я преклоняюсь, Дан, перед твоими благими намерениями, но ты

ничего не можешь поделать. Люди были ограблены и потеряли свои кровные гроши. Слишком поздно теперь, чтобы загладить преступление. Ты не можешь выплатить им эти деньги обратно.

— Конечно, — сказал Дан, зажигая трубку. — Мы не можем разыскать каждого из этих дурней и вручить ему надлежащую сдачу. Их такая масса — покупающих хлеб каждый день. Странный вкус у них… Я никогда особенно не интересовался хлебом, разве только в поджаренных гренках с рокфором. Но кое-кого из них мы могли бы найти и высыпать сколько-нибудь из отцовских денег обратно — туда, откуда они были взяты. Это было бы мне облегчение. Противно, должно быть, действительно человеку, когда с него снимают шкуру из-за такой дряни, как хлеб. Наверное, никто не стал бы протестовать, если бы поднялась цена на омаров и на салат из крабов. Валяй, Кен, подумай. Я хочу вернуть назад из этих денег все, что удастся.

— Есть много благотворительных учреждений, — механически заметил Кенвиц.

— Слишком просто, — возразил Дан, затянувшись трубкой. — Можно подарить городу сад или пожертвовать госпиталю грядку спаржи, но я не хочу, чтобы Пауль заработал на том, что

мы ободрали Питера. Я хочу покрыть именно хлебный перебор.

Тонкие пальцы Кенвица быстро задвигались.

— А ты знаешь, сколько денег потребовалось бы, чтобы вернуть потребителям то, что они переплатили за хлеб со времени этого биржевого маневра? — спросил он.

— Не знаю, — твердо ответил Дан. — Мой поверенный говорит, что у меня два миллиона.

— Если бы у тебя было сто миллионов, — пылко воскликнул Кенвиц, — ты не был бы в состоянии уплатить тысячной доли того, что было исторгнуто. Нет возможности постигнуть размеры зла, вызванного преступно примененным богатством. Каждый грош, вытянутый из тощего кошелька бедняка, реагировал в тысячу раз ему во вред. Ты этого не понимаешь. Ты представить себе не можешь, насколько бесполезны твои стремления к расплате. Даже одного-единственного потерпевшего мы не в состоянии удовлетворить.

— Брось, философ! — заметил Дан. — Нет такого горя у цента, которого нельзя было бы залечить долларом.

— Ни одного, — повторил Кенвиц. — Я познакомлю тебя с одним, и ты увидишь. Томас Бойн имел небольшую пекарню там, на Верик-стрит.

Его клиентура состояла из беднейшего люда. Когда поднялась цена на муку, ему пришлось поднять цены на хлеб. Его покупатели были слишком бедны, чтобы платить повышенную цену. Дела его пошатнулись, и он потерял свой капитал — тысячу долларов — все, что у него было.

Дан Кайнсолвинг мощно ударил кулаком по скамье.

— Принимаю этот случай! — воскликнул он. — Веди меня к Бойну. Я верну ему его тысячу долларов и куплю ему новую пекарню в придачу.

— Напиши чек, — сказал, не двигаясь с места, Кенвиц, — и затем продолжай выписывать чеки в возмещение за все последствия. Следующий чек напиши на пятьдесят тысяч долларов. После банкротства Бойн сошел с ума и поджег дом, из которого его хотели выселить. Убытков было на эту сумму. Бойн умер в доме умалишенных.

— Держись случая с Бойном, — сказал Дан. — Страховые общества не значатся в моем благотворительном списке.

— Пиши затем чек на сто тысяч, — продолжал Кенвиц. — Сын Бойна пошел по дурной дороге, когда закрылась пекарня, и был обвинен в убийстве. На прошлой неделе он был оправдан после трехлетнего юридического боя, и теперь штат

возлагает расходы по этому делу на плательщиков налогов.

— Вернись к пекарне! — с нетерпением воскликнул Дан. — Правительству не приходится стоять в хлебной очереди.

— Есть еще одна графа, относящаяся к этому случаю… Пойдем, я покажу тебе, — сказал Кенвиц, вставая.

Часовщик-социалист ликовал. Он был миллионероедом по природе и пессимистом по ремеслу. Одним духом Кенвиц мог уверить вас, что деньги чистое зло и разврат и что ваши новехонькие часы нуждаются в чистке и новой пружине.

Он повел Кайнсолвинга к югу от сквера, на грязную, кишащую нищетой Верик-стрит. По узкой лестнице грязного кирпичного дома следовал за ним кающийся потомок спрута. Кенвиц постучался в дверь, и ясный голос пригласил их войти.

В почти голой комнате сидела за швейной машиной молодая женщина. Она кивнула Кенвицу как старому знакомому. Слабый луч солнца, пробивавшийся сквозь тусклое окно, окрасил ее густые волосы в цвет древнего тосканского щита. Она бросила Кенвицу открытую улыбку и слегка смущенный вопрошающий взгляд.

Кайнсолвинг в молчании бьющегося сердца смотрел на ее чистую трогательную красоту. Они очутились перед последней графой счета, относящегося к случаю с Бойном.

— Сколько на этой неделе, мисс Мэри? — спросил часовщик.

Гора грубых серых рубах лежала на полу.

— Почти тридцать дюжин, — приветливо ответила молодая женщина. — Я заработала около четырех долларов. Мои дела поправляются, мистер Кенвиц. Прямо не знаю, что делать с такой кучей денег.

Глаза ее открыто и мягко посмотрели на Дана. Маленькое розовое пятнышко выступило на ее бледной щеке.

Кенвиц улыбался, как сатанинский ворон.

— Мисс Бойн, — сказал он, — позвольте представить вам мистера Кайнсолвинга, сына того человека, который поднял цены на хлеб пять лет назад. Он хотел бы помочь тем, кто был обездолен этим поступком.

Улыбка исчезла с лица девушки. Она встала и указала на дверь. На этот раз она смотрела прямо в глаза Кайнсолвингу но то не был взгляд, обещающий радость.

Мужчины вышли на Верик-стрит. Кенвиц, дав

волю пессимизму, возмущению и ненависти, которые он питал к спруту атаковал денежную сторону своего друга язвительным потоком речей. Дан, по-видимому, прислушивался к его словам. Вдруг он обернулся, горячо пожал руку Кенвица и сказал:

— Я очень тебе благодарен, старина, тысячу раз благодарю.

— Мейн готт! Ты с ума сошел! — воскликнул часовщик и впервые за много лет уронил свои очки.

Через два месяца после этого Кенвиц вошел в большую пекарню на Нижнем Бродвее; он принес хозяину золотые очки, которые были у него в починке.

Какая-то дама давала заказ приказчику.

— Эти булки по девять центов, — сказал приказчик.

— Я всегда покупаю их по восьми в верхней части города, — ответила дама. — Не заворачивайте, я проеду туда по пути домой.

Голос показался часовщику знакомым. Он прислушался.

— Мистер Кенвиц! — радостно воскликнула дама. — Как вы поживаете?

Кенвиц сосредоточил все свое социалистиче-

ское и экономическое внимание на ее удивительном боа и на дожидавшейся ее снаружи коляске.

— Как, мисс Бойн! — начал он.

— Миссис Кайнсолвинг, — поправила она. — Дан и я обвенчались месяц назад.

Театр — это мир

Перевод Л. Беспаловой.

Моему приятелю-репортеру перепала как-то пара контрамарок — так мне удалось попасть несколько дней назад в один из любимых нашей публикой эстрадных театров.

Среди прочих номеров в программе значилось и соло на скрипке, исполнял его поразительной наружности мужчина — слегка за сорок, но с совершенно седой копной волос. Не страдая пристрастием к музыке, я разглядывал скрипача, пропуская мимо ушей систему производимых им звуков.

— С этим скрипачом месяца два тому назад случилась интересная история, — сказал репортер. — Меня послали к нему. Я получил задание написать колонку, выдержанную в самом что ни на есть веселом и смешном духе. Шефу вроде нравится мой шутейный подход к местным происшествиям. Да, ты не ошибся, я сейчас пишу фарс. Ну, я съездил к скрипачу, разузнал у него все в подробностях, а задание провалил. Вернулся восвояси и развез как мог юмористический отчет

об одних похоронах в Ист-Сайде. Почему? Хоть убей, не вижу в этой истории ничего смешного. Вот разве тебе удастся сделать из нее одноактную трагедию для пролога. Факты я тебе все предоставлю.

После спектакля мой друг репортер поведал мне эту историю за кружкой пива.

— Я тебя не понимаю, — сказал я, когда он поставил точку. — Тут есть готовый сюжет для прекрасного юмористического рассказа. Эти трое не могли бы вести себя глупее и нелепее, будь они всамделишными актерами во всамделишном театре. Я сильно подозреваю, что театр — это мир, а все актеры в нем — мужчины и женщины, так я цитирую Шекспира[179].

— Возьми и напиши его сам, — сказал репортер.

— И напишу, — сказал я, и слово свое сдержал, хотя бы для того, чтобы показать моему приятелю, какой материал для фельетона он прошляпил.

Неподалеку от Абингдон-сквера стоит дом. В нижнем этаже его уже четверть века помещается лавочка, где торгуют игрушками, галантереей и

---

[179] Примечания: 179

В комедии Шекспира «Как это вам понравится» один из персонажей говорит: «Мир — это театр, а все мужчины и женщины — актёры» (акт II, сц. 7).

писчебумажными товарами.

Два десятка лет тому назад в комнатах над лавочкой играли свадьбу. Домом и лавкой владела вдова Майо. В тот вечер вдова выдавала свою дочь Элен за Фрэнка Барри. Шафером жениха был Джон Дилэни. Элен шел девятнадцатый год, и ее портрет красовался в утренней газете по соседству с заметкой, озаглавленной «Дама убивает оптом» (судебная хроника гор. Бьютт, шт. Монт.). Но отвергнув умом и глазами связь между заголовком и портретом, вы хватали лупу и разбирали подпись, в которой Элен именовалась представительницей блистательной плеяды красавиц Нижнего Вест-Сайда. Фрэнк Барри и Джон Дилэни были не менее блистательными кавалерами того же района и закадычными друзьями, из тех, что в любой пьесе так и норовят сделать друг другу пакость. Во всяком случае, те, кто покупает билеты в партер и беллетристику, только того и ждут. Пока что это было первое смешное место в рассказе. Друзья участвовали в состязании, призом в котором служило сердце Элен. Когда победу одержал Фрэнк, Джон пожал ему руку и честь по чести поздравил — ей-ей, поздравил.

После брачной церемонии Элен побежала к

себе надеть шляпку. Она выходила замуж в дорожном платье. Новобрачные собирались на неделю уехать в Олд-Пойнт-Комфорт. Внизу их поджидала обычная толпа галдящих дикарей, державших наготове охапки старых башмаков и пакеты с дробленой кукурузой.

Вдруг Элен услышала грохот — это с пожарной лестницы к ней в окно прыгнул обезумевший от страсти Джон Дилэни. Взмокший хохол прилип к его лбу, и он с ходу приступил к осаде утраченной им возлюбленной; осыпав ее бурными попреками, он молил ее скрыться или смыться с ним на Ривьеру, в Бронкс или любую другую местность, где имеются итальянские небеса и dolce far niente.

Сам Блейни содрогнулся бы, увидев, как Элен дает отпор Джону. Глаза ее пылали гневом, а своим вопросом, за кого он ее принимает, она буквально испепелила его.

Джон готов был удалиться. Мужество покинуло его. Он отвесил Элен низкий поклон и залепетал что-то насчет того, что «он над собой не властен», а также «навеки сохранит в своем сердце память о…», в ответ на что она велела ему, не теряя времени попусту, седлать пожарную лестницу и мчать вниз во весь опор.

— Я устранюсь, — сказал Джон Дилэни. — Уеду на край света. Раз ты принадлежишь другому, оставаться здесь выше моих сил. Мой путь лежит в Африку, там средь незнакомой мне природы я попытаюсь за…

— Бога ради, уходи скорее, — сказала Элен. — Сюда могут войти.

Он опустился перед ней на колено, и она протянула ему свою лилейную ручку, дабы он запечатлел на ней прощальный поцелуй.

Девицы, случалось ли вам пережить тот счастливый миг, когда ваш избранник надежно приторочен к вам узами брака, а отвергнутый вздыхатель врывается к вам с прилипшим ко лбу хохлом, падает на колени и лопочет об Африке и о любви, которая, невзирая ни на что, будет цвести в его сердце, не увядая, подобно бессмертнику? Если да, значит, великий божок Купидон преподнес вам лучший из своих даров. Разом насладиться и своим могуществом, и блаженной незыблемостью своего нового положения, услать злополучного обожателя лечить разбитое сердце в чужие края и, пока он приникает в прощальном поцелуе к вашим пальцам, ликовать, что ваш маникюр в отменном порядке, — вот это жизнь! Нет, нет, девицы, такой случай упускать нельзя.

А дальше — неужели вы догадались? — дверь, как и следовало ожидать, распахнулась, и в комнату ворвался новобрачный, возревновавший новобрачную к шляпке, которой уделялось так много внимания.

Джон Дилэни напечатлел прощальный поцелуй на руке Элен, махнул через окно и скатился по пожарной лестнице — так начался его путь в Африку.

А теперь, пожалуйста, музыку и помедленнее: всхлип скрипки, вздох кларнета, тихий стон виолончели. Вообразите себе эту сцену. Фрэнк, вне себя от бешенства, испускает душераздирающий крик. Элен кидается ему на грудь, желая внести в дело ясность. Он сбрасывает с плеч ее руки — раз, другой, третий отталкивает он ее (режиссер покажет вам, как это делать) и швыряет — рыдающую, убитую горем, наземь. Он не желает ее больше видеть и, прорвавшись сквозь толпу ошарашенных зевак, покидает брачный чертог.

А теперь, раз уж театр — это мир, зрителю не миновать выйти во взаправдашнее фойе этого мира и там сочетаться браком, умирать, седеть, богатеть, нищать, ликовать или горевать — весь тот двадцатилетний антракт, который предшествует поднятию занавеса перед следующим

действием.

Миссис Барри унаследовала лавку и дом. В тридцать восемь лет она обошла бы на любом конкурсе красоты не одну восемнадцатилетнюю девицу, как по очкам, так и по общим показателям. Лишь немногие помнили теперь, какой комедией кончилась ее свадьба, хотя она и не делала из этих событий тайны. Она не перекладывала их лавандой, не пересыпала нафталином, но и не сбывала журналам.

Однажды процветающий юрист средних лет, постоянно покупавший в ее лавке бумагу и чернила, предложил ей через прилавок руку и сердце.

— Премного вам благодарна, — сказала Элен бодро, — но вот уже двадцать лет я принадлежу другому. И хотя вел он себя как нельзя глупее, сдается мне, я его по-прежнему люблю. Последний раз я его видела через полчаса после свадьбы. Вам какие чернила требуются — копировальные или простые?

Склонясь в изысканном старомодном поклоне над прилавком, юрист почтительнейше поцеловал руку Элен. Из ее груди вырвался вздох. Прощальные поцелуи, даже самого романтического толка, могут приесться. Ей шел тридцать

девятый год. Она была хороша собой, привлекательна, а до сих пор от всех своих вздыхателей не видела ничего, кроме попреков и прощаний. Горше того, в последнем она теряла еще и покупателя.

Торговля хирела, и Элен вывесила объявление «Сдаются комнаты». На третьем этаже были приготовлены две просторные комнаты для подходящих жильцов. Жильцы въезжали и неохотно съезжали, ибо в доме миссис Барри царили уют, чистота и отменный вкус.

В один прекрасный день в дом неподалеку от Абингдон-сквера въехал скрипач Рамонти. Грохот и лязг деловых кварталов оскорблял его изысканный слух, поэтому приятель направил его в этот оазис тишины в пустыне городского шума.

Моложавый чернобровый Рамонти с его темной иноземной бородкой клинышком, необычной седой шевелюрой и артистическим темпераментом, проявлявшимся в непринужденной, веселой и общительной манере держаться, прижился в старом доме подле Абингдон-сквера.

Сама Элен жила на втором этаже весьма странной причудливой планировки. Чуть не весь этаж занимал просторный, почти квадратный холл.

Вдоль длинной его стены поднималась лестница, дойдя до ее середины, она круто поворачивала и вдоль короткой вела на третий этаж. Холл служил Элен и гостиной и кабинетом. Тут она поставила свою конторку, тут писала деловые письма, тут вечерами читала и шила у горящего камелька, освещенная красными отблесками пламени. Рамонти так тут нравилось, что он проводил в уютном холле чуть не все свое свободное время, занимая миссис Барри рассказами о достопримечательностях Парижа, где он брал уроки у исключительно прославленного и шумного скрипача.

Следом за Рамонти въехал жилец № 2, видный, печальный мужчина едва за сорок, с темной таинственной бородой и жалкими, виноватыми глазами. Он тоже любил проводить время в обществе Элен. Пуская в ход взоры Ромео и красноречие Отелло, он обольщал ее рассказами о дальних странах и завлекал тонким обхождением.

В присутствии этого человека Элен с первой же минуты почувствовала неодолимое волнение. Звук его голоса переносил ее в невозвратные дни девичьей любви. Чувство это с каждым днем становилось сильнее, и Элен не противилась

ему, напротив, из него рождалась вера, что этот человек сыграл свою роль в той любви. А потом, рассуждая чисто по-женски (да, да, женщины тоже изредка рассуждают), она, минуя пошлые силлогизмы, теории и логику, пришла к выводу, что это ее муж возвратился к ней. Ибо в глазах его она читала любовь, которую женщина всегда безошибочно угадывает, а также тяжкий груз сожалений и сокрушений, которые вызывают жалость, от которой всего один шаг до любви вознагражденной, которая и является sine qua non[180] в доме, который построил Джек.

Но она и виду не подала. Если муж выскакивает на минутку из дому, а заскакивает назад через двадцать лет, он не вправе рассчитывать, что шлепанцы будут ожидать его на привычном месте или что едва ему захочется закурить, к нему опрометью бросятся с зажженной спичкой. Ему не миновать разъяснений, раскаяния, а глядишь, и разноса. Для начала краткое пребывание в чистилище, а там, буде он проявит должное смирение, не исключено, что ему вручат-таки арфу и венец. Вот почему Элен не подала и виду, что знает его тайну или догадывается о ней.

---

[180] Примечания: 180
Необходимым условием (*лат.*).

А мой-то приятель-репортер не увидел в этой истории ничего смешного! Ему поручили написать занятную, смешную, потешную, уморительную историю… впрочем я пощажу собрата… и вернусь к нашему рассказу.

Как-то вечером Рамонти задержался в совмещенном холле-конторе-кабинете и изъяснился Элен в любви с нежностью и пылом вдохновенного художника. В речах его горел пламень божественного огня, который бушует в сердцах тех, в ком сочетается мечтатель и творец.

— Но прежде, чем вы ответите мне, — продолжал он, не дав ей сказать, что он застиг ее врасплох, — я считаю своим долгом предупредить вас, что никакого другого имени, кроме Рамонти, я не могу вам предложить. Так назвал меня мой импресарио. Мне неведомо ни кто я, ни откуда родом. Я помню себя лишь с той минуты, как я очнулся в больнице. Я был тогда молод и провел в больнице много недель. До этого дня в моей памяти полный провал. Мне рассказали, что меня подобрала на улице карета скорой помощи — у меня была разбита голова. В больнице решили, что я оступился и ударился головой о булыжник. При мне не нашлось ничего, по чему меня могли бы опознать. Я же сам так ничего и не вспомнил.

Когда меня выписали из больницы, я занялся музыкой. Успех сопутствовал мне. Миссис Барри, я не знаю вашего имени, но я люблю вас; с тех пор как я увидел вас впервые, я понял, что другие женщины для меня не существуют… — и все прочее, тому подобное.

Элен почувствовала, что к ней вернулась молодость. Ее захлестнула волна гордости, за ней мелкой рябью набежало тщеславие, но потом она посмотрела Рамонти в глаза, и сердце ее бешено забилось. Элен не ожидала, что она еще способна переживать такие чувства. Голова у нее пошла кругом. Музыкант незаметно для нее вошел в ее жизнь.

— Мистер Рамонти, — сказала она горестно (помните, что этот разговор происходил не в театре, а в старом доме подле Абингдон-сквера). — Мне очень горько, но я замужем.

И она поведала ему свою печальную историю, как и полагается — раньше ли, позже — всякой героине, а уж кому она ее поведает — антрепренёру или интервьюеру, это как повезёт.

Рамонти отвесил низкий поклон, поцеловал Элен руку и поднялся к себе.

Элен же опустилась на стул и мрачно уставилась на свою руку. Ее можно понять. Три

обожателя целовали ей руку, седлали горячих скакунов и уносились прочь.

Через час ее навестил таинственный незнакомец с виноватыми глазами. Элен сидела в плетеной качалке и вязала какую-то безделицу. Жилец направился к лестнице, но с полпути вернулся поболтать с Элен. Через разделявший их стол он тоже объяснился ей в нежной страсти. А потом сказал: «Элен, неужели ты не помнишь меня? Мне кажется, я видел по твоим глазам, что ты меня не забыла. Можешь ли ты забыть прошлое и принять любовь, которая выдержала двадцатилетнее испытание? Я бесконечно виноват перед тобой, я страшился вернуться к тебе, но любовь победила рассудок. Можешь ли ты простить, простишь ли ты меня, Элен?»

Элен встала. Таинственный незнакомец сжал ее руку в своих трясущихся руках.

Так они стояли, и мне жаль, что эта сцена и эти чувства пропали для театра.

Ибо в сердце Элен шла борьба. Чистая неувядающая любовь к жениху все еще жила в ней; бесценная, священная память о первом избраннике заполонила половину ее души. Все склоняло ее к этому чистому чувству. Честь, верность и блаженные, незабываемые дни первой любви

привязывали ее к нему. Но вторую половину ее души занимало другое, более позднее, более полнокровное, более непосредственное чувство. И старое чувство боролось с новым.

И пока она колебалась, из комнаты наверху донеслись приглушенные, томительно-щемящие звуки скрипки. Старая карга музыка подчас обезоруживает самые благородные сердца. Тут я хочу поспорить с Яго, который говорил, что он скорее «галкам даст клевать свою печенку»[181], чем откроет душу; я, напротив, считаю, что тому, у кого душа нараспашку, ничего не грозит, но горе тому, кто души не чает в музыке. Музыка и музыкант звали Элен, но честь и прежняя любовь не пускали ее.

— Прости меня, — молил он.

— Можно ли пробыть двадцать лет в разлуке, если любишь? — сказала она, голосом подавая ему надежду на прощение.

— Что мне было делать? — взывал он. — Я ничего не скрою от тебя. В тот вечер, когда он выбежал из дому, я пошел следом за ним. Я потерял голову от ревности. В темном переулке я сбил его с ног. Он не встал. Я осмотрел его. Он ударился головой

---

[181] Примечания: 181
«Отелло», акт 1, сц. 1.

о булыжник. Я не хотел его убивать. Просто я обезумел от любви и ревности. Притаившись поблизости, я видел, как его увезла скорая помощь. И хотя ты вышла за него замуж, Элен…

— КТО ВЫ ТАКОЙ? — вскричала она в ужасе и вырвала у него руку.

— Неужели ты забыла меня, Элен? Забыла того, кто любил тебя больше всех? Я — Джон Дилэни. Можешь ли ты простить…

Но она уже бежала по лестнице — спотыкаясь, задыхаясь, неслась она навстречу музыке и тому, кто забыл все, но в обеих своих жизнях любил только ее одну; она летела и на бегу рыдала, лепетала, пела: «Фрэнк! Фрэнк! Фрэнк!»

Трое смертных жонглировали годами наподобие бильярдных шаров, а мой приятель-репортер не увидел в этом ничего смешного!

Блуждания без памяти

Перевод Н. Галь.

В то утро мы с женой расстались совсем как обычно. Не допив вторую чашку чаю, она проводила меня до двери. Тут она смахнула с моего лацкана невидимую пушинку (истинно женский способ показать, что ты — ее собственность). Я попросил не забывать о моей простуде. Никакой простуды у меня не было. Засим последовал прощальный поцелуй — пресный семейный поцелуй, отдающий ее любимым мылом. Нет, тут нечего опасаться неожиданностей, ни единая крупица разнообразия не сдобрит привычный обряд. Весьма искусно, что достигается долгой преступной практикой, она перекосила в моем галстуке отлично вколотую булавку, и, закрывая наконец за собой дверь, я услышал, как она шлепает домашними туфлями в столовую допивать остывший чай.

Когда я вышел из дому, ничего такого я не предвидел и не предчувствовал. Приступ застиг меня врасплох.

Перед тем я несколько месяцев чуть ли не сутка-

ми напролет усердно трудился над знаменитым судебным делом одной железнодорожной компании и только на днях это дело с блеском выиграл. Собственно говоря, я уже много лет работал почти без отдыха. Добрейший доктор Волни, мой врач и друг, не раз предупреждал меня:

— Смотри, Белфорд, если ты не дашь себе хоть небольшую передышку, это кончится крахом. У тебя либо нервы не выдержат, либо мозг. Ты, наверно, читал, в газетах чуть не каждую неделю пишут про случаи амнезии: ушел человек из дому и пропал, бродит где-то и сам не знает, как его зовут, не помнит, кто он был и как жил… а все из-за маленькой кровяной пробки, которая образовалась в мозгу от переутомления или волнения.

— А я всегда думал, что в таких случаях пробку надо искать в мозгах у репортера, — заметил я.

Доктор Волни покачал головой.

— Нет, эта болезнь не выдумана, — сказал он. — Тебе позарез нужен отдых или перемена обстановки. Ведь сейчас ты движешься по замкнутому кругу: суд, контора, дом. А для развлечения читаешь… свод законов. Прислушайся к моему совету, пока не поздно.

— По четвергам мы с женой вечером играем в крибедж, — возразил я. — По воскресеньям она

читает мне вслух письма своей мамаши, та пишет аккуратно раз в неделю. А что свод законов — не развлечение, это еще вопрос!

В то утро, идя по улице, я раздумывал над словами доктора Волни. Чувствовал я себя ничуть не хуже, чем всегда, а настроен был, пожалуй, даже лучше обычного.

Когда я проснулся, все тело у меня одеревенело и ныло, ведь не очень-то удобно спать долгие часы в вагоне, да еще сидя. Я откинулся на спинку сиденья и попробовал собраться с мыслями. Думал, думал и наконец сказал себе: «Все-таки должно же у меня быть какое-то имя». Порылся в карманах. Ничего — ни письма, ни визитной карточки, ни документов, ни монограммы. Зато во внутреннем кармане оказалось около трех тысяч долларов в крупных купюрах. «Должен же я кем-то быть», — повторил я себе и стал размышлять.

В вагоне полно народу, и все легко, непринужденно разговаривают между собой, все веселые и отлично настроены, — значит, их связывают какие-то общие интересы. Один пассажир — солидный мужчина, которого облаком окутывал явственный запах корицы и алоэ, дружески мне кивнул, уселся рядом и развернул газету. Порой он отвлекался от чтения, и мы, как всегда бывает

в дороге, беседовали о всякой всячине. Оказалось, что я вполне могу поддерживать такой разговор, по крайней мере, память меня ничуть не подводила. Затем мой сосед сказал:

— Вы, конечно, один из наших. На этот раз Запад посылает отборных делегатов. Я рад, что конгресс соберется в Нью-Йорке, мне еще не приходилось бывать в восточных штатах. Разрешите представиться: Р. П. Болдер, фирма «Болдер и Сын» в городе Хикори-Гроув, штат Миссури.

Ни к чему такому не готовый, я все же не дрогнул, как и подобает мужчине в трудную минуту.

Необходимо тотчас совершить обряд крещения и действовать одному в трех лицах: младенец, священник и родитель. Мозг работал медленно, однако пришли на выручку чувства. Острый запах лекарств, исходивший от соседа, навел меня на удачную мысль…

— Меня зовут Эдвард Пинкхаммер, — сказал я без запинки. — Я провизор, живу в Корнополисе, штат Канзас.

— Я знал, что вы провизор, — любезно отвечал мой спутник. — Я сразу заметил у вас на указательном пальце правой руки мозоль от пестика, у всех нас натерто это место. Вы, понятно, тоже делегат на наш всеамериканский конгресс.

— А что, все эти люди — провизоры? — удивился я.

— Конечно. Этот вагон идет прямо с Запада. И все они провизоры старой закалки, не то что нынешние фармацевты, которые только и знают патентованные таблетки да ампулы и не готовят лекарства сами. Нет, мы своими руками процеживаем микстуры и изготовляем пилюли, по весне не гнушаемся торговать огородными семенами, а заодно и сластями и даже обувью. Говорю вам честно, Хампинкер, на этом конгрессе я выскажу кое-что новенькое, людям нужны свежие идеи. Вот, например, вы знаете флаконы с рвотным порошком и сегнетовой солью; в одном случае это виннокислый калий плюс сурьма, в другом — плюс натрий; одно, как вы знаете, яд, другое — совершенно безвредное снадобье. Но наклейки очень легко перепутать. Где почти все провизоры держат эти флаконы? Как можно дальше друг от друга, на разных полках. И напрасно! А я так скажу: держите их рядышком, чтобы в любую минуту сравнить и тем избежать ошибок. Вам понятна моя мысль?

— Мне кажется, это очень здравое рассуждение, — сказал я.

— Вот и хорошо! Значит, когда я преподнесу

его конгрессу, вы меня поддержите. Эти мастера кремов да косметики из восточных штатов воображают, что они умней всех, но мы их оставим в дураках с их таблетками-пипетками.

— Рад быть вам полезен, — с воодушевлением отозвался я. — Значит, два флакона с… э-э…

— С винносурьмянонатриевой солью и винно-калиенатриевой солью…

— …должны впредь стоять на полке рядом, — твердо закончил я.

— Теперь еще одно, — продолжал мистер Болдер. — Что вы предпочитаете в качестве среды, когда изготовляете массу для пилюль: магнезию и углекислую соль или глицирозу рэдикс в порошке?

— Я… э-э… магнезию, — сказал я. Все-таки это было легче выговорить.

Болдер недоверчиво глянул на меня через очки.

— А я признаю только глицирозу рэдикс, — сказал он. — Магнезия спекается.

Короткое молчание.

— Ну вот, опять так называемая амнезия, — сказал он, передавая мне газету, и указал пальцем заметку. — Не верю я в эти истории. В девяти случаях из десяти это наверняка притворство.

Опостылели человеку служба и семейство, пришла охота поразвлечься. Вот он и удирает из дому, а когда его найдут, прикидывается, будто потерял память: не помнит собственного имени и не узнает жену даже по родимому пятну на левом плече. Потеря памяти! Как бы не так! Почему же они ее не теряют сидя дома?

Я взял газету и под хлестким заголовком прочитал следующие строки:

«Денвер, 12 июня. — Элвин С. Белфорд, известный адвокат, три дня назад при загадочных обстоятельствах исчез из дому, и все попытки его разыскать остаются тщетными. Мистер Белфорд — человек известный в нашем городе и принадлежит к верхушке нашего общества: он весьма преуспевающий адвокат. Он женат, владелец прекрасного дома и самой большой частной библиотеки во всем штате. В день загадочного исчезновения мистер Белфорд снял со своего текущего счета в банке значительную сумму. С тех пор никто его не видел. Мистер Белфорд всегда был человеком на редкость уравновешенным, к тому же домоседом и, казалось, был вполне доволен своей семейной жизнью и своей деятельностью. Объяснить его странное исчезновение можно разве только тем, что несколько месяцев

подряд он слишком напряженно работал над сложной тяжбой Н-ской железнодорожной компании. Опасаются, что крайнее переутомление повлияло на его рассудок. Принимаются все меры для того, чтобы отыскать пропавшего».

— Вы, кажется, уж чересчур недоверчивы, мистер Болдер, — сказал я, прочитав заметку. — А по-моему, все это вполне правдоподобно. С какой стати человек преуспевающий, уважаемый, счастливый в семейной жизни вдруг возьмет и все бросит? Я знаю, такие провалы памяти действительно бывают, людей заносит неведомо куда, они не помнят ни своего имени, ни прошлого, ни родного дома.

— Чушь и бред! — воскликнул Болдер. — Просто они хотят поразвлечься. Уж очень все стали образованные. Мужчины прослышали про эту самую амнезию и прикрываются ею. Да и женщины туда же. Когда им уже не отвертеться, они глядят вам прямо в глаза и дают самое научное объяснение: «Он меня загипнотизировал!»

Так мистер Болдер позабавил меня своими замечаниями и философией, но это мне ничуть не помогло.

Мы прибыли в Нью-Йорк вечером, около десяти. Я взял извозчика, поехал в гостиницу и

записал в книге для приезжих свое имя: Эдвард Пинкхаммер. При этом мною овладела чудесная, неистовая, пьянящая легкость — ощущение безграничной свободы, открывшихся новых возможностей. Я словно заново родился. Каковы бы ни были цепи, что прежде сковывали меня по рукам и по ногам, теперь они разбились. Будущее лежало передо мной, точно ровная, гладкая дорога перед ребенком, едва ставшим на ноги, но я вступал на нее вооруженный знаниями и опытом взрослого.

Мне показалось, что портье чересчур долго меня разглядывает. У меня ведь не было никакого багажа.

— Я на конгресс провизоров, — пояснил я. — Мой чемодан где-то задержался.

И я вытащил из кармана пачку денег.

— Как же, как же, — сказал портье и сверкнул в улыбке золотым зубом. — У нас остановилось много делегатов с Запада. — И звонком подозвал мальчишку-рассыльного.

Я постарался еще убедительней сыграть свою роль.

— У нас на Западе сейчас возникло новое течение, — сказал я. — Мы выдвинем на конгрессе предложение хранить флаконы, содержащие

виннокислый калий с сурьмой и виннокислый калий с натрием, в непосредственном соседстве, на одной и той же полке.

— Проводи джентльмена в триста четырнадцатый, — поспешно приказал портье мальчишке. И меня мигом переправили в номер.

Назавтра я купил чемодан и кое-что из одежды и зажил жизнью Эдварда Пинкхаммера. Ломать голову над загадками моего прошлого я не стал.

Огромный город, раскинувшийся на островах, поднес к моим губам пряную, сверкающую чашу. Я с благодарностью припал к ней. Ключи от Манхэттена принадлежат тому, кто их в силах удержать. Становишься либо гостем этого города, либо его жертвой — третьего не дано.

Последующие несколько дней блистали всеми цветами радуги. Эдварду Пинкхаммеру, хоть он и появился на свет считанные часы тому назад, выпало редкое счастье прийти в этот пестрый и увлекательный мир человеком вполне сложившимся и ничем не связанным. Я сидел в театрах, в ресторанах на крыше, где тебя, околдованного, словно на сказочном ковре-самолете переносят в неведомые восхитительные края, населенные игривой музыкой, веселыми красотками и забавно-нелепыми, уморительными карикатурами на

род людской. Я шел, куда вздумается, и никто мне был не указ, ничто не помеха — ни пространство, ни время, ни правила приличия. Я обедал в диковинных кабачках, отведывал диковиннейшие яства под звуки цыганского оркестра, под буйные крики неугомонных художников и скульпторов. Бывал я и там, где ночная жизнь трепещет в электрических лучах, точно на ленте синематографа, где можно увидеть разом все банты и шляпки, все золото и драгоценности, какие есть на свете: там весело встречаются те, кого все это украшает, и те, по чьей милости это возможно, и все вместе представляет собою весьма ободряющее и красочное зрелище. И из всего этого я извлек для себя урок. Я понял, что ключ к свободе вовсе не в Распущенности, но в соблюдении Условности. У врат Обходительности надо платить пошлину, иначе не войдешь в страну Свободы. За всей пышностью и видимым беспорядком, за показным блеском и непринужденностью я разглядел, что все подчинено этому железному закону, хоть он и не бросается в глаза. А стало быть, повинуйся на Манхэттене этим неписаным законам — и ты свободнейший из свободных. Если же ослушаешься их, будешь узником в оковах.

Иногда, смотря по настроению, я ходил обедать

в величественные залы с пальмами по углам, где разговаривают вполголоса, где все пропитано аристократизмом и утонченной сдержанностью. А иной раз плавал на пароходиках, битком набитых крикливыми, развязными клерками и продавщицами в поддельных драгоценностях: без стеснения целуясь и флиртуя у всех на глазах, они спешили на побережье, к дешевым грубым развлечениям. И всегда под рукой был Бродвей — сверкающий огнями, роскошный, коварный, изменчивый, желанный Бродвей, который затягивает, как опиум.

Однажды среди дня, когда я вернулся в гостиницу, в коридоре мне загородил дорогу плотный усатый и носатый мужчина. Я хотел пройти мимо, но он с оскорбительной фамильярностью обратился ко мне.

— Привет, Белфорд! — закричал он. — Что вы делаете в Нью-Йорке, черт подери? Вот уж не думал, что вас можно оторвать от книг и вытащить из вашей берлоги! И супруга с вами? Или у вас тут свои делишки?

— Вы обознались, сэр, — холодно возразил я, высвобождая руку, которую он крепко стиснул. — Меня зовут Пинкхаммер. Извините, я спешу.

Он посторонился, и на лице его выразилось

изумление. Я пошел к портье за ключом и слышал, как усатый подозвал рассыльного и сказал что-то насчет телеграфного бланка.

— Приготовьте мой счет, — сказал я портье. — И пусть уложат и через полчаса снесут вниз мои вещи. Я не желаю оставаться там, где ко мне пристают какие-то темные личности.

В тот же день я перебрался в другую гостиницу — спокойную, старомодную, в начале Пятой авеню.

Чуть в стороне от Бродвея есть ресторан, где можно поесть почти al fresco[182], отгородясь от внешнего мира стеною тропических растений. Кругом роскошь и тишина, обслуживают превосходно, и потому здесь очень приятно позавтракать или перекусить. Однажды я пришел сюда и уже направлялся к свободному столику среди папоротников, как вдруг меня придержали за рукав.

— Мистер Белфорд! — воскликнул удивительно милый голосок.

Я обернулся — передо мною в одиночестве сидела дама лет тридцати с необыкновенно красивыми глазами и смотрела на меня так, будто я

---

[182] Примечания: 182
На открытом воздухе (*итал.*).

ее давний и нежно любимый друг.

— Вы чуть было не прошли мимо, — с упреком сказала она. — И не вздумайте уверять, что вы меня не узнали. Почему бы нам хоть раз в пятнадцать лет не пожать друг другу руки?

Я тотчас пожал ей руку. Потом сел напротив нее. Движением бровей подозвал маячившего поблизости официанта. Дама лениво ковыряла ложечкой апельсиновое мороженое. Я заказал creme de menthe[183]. Ее волосы были цвета красноватой бронзы. Но смотреть на них не удавалось, потому что невозможно было оторваться от ее глаз. И все же ни на миг не оставляло ощущение, что перед тобой бронзовеют эти волосы, — так все время ощущаешь закат, когда в сумерки смотришь в глубь леса.

— Вы уверены, что вы меня знаете? — спросил я.

— Нет, — с улыбкой ответила она. — В этом я никогда не была уверена.

— А что бы вы подумали, — с тревогой спросил я, — если вам сказать, что меня зовут Эдвард Пинкхаммер и я приехал из Корнополиса, штат Канзас?

---

[183] Примечания: 183
Мятный ликёр (*франц.*).

— Что бы я подумала? — повторила она, и глаза ее весело блеснули. — Ну, конечно, подумала бы, что вы не привезли с собой в Нью-Йорк миссис Белфорд. И это очень жаль. Я с удовольствием повидала бы Мэриан. — Она слегка понизила голос. — Вы все такой же, Элвин.

Прекрасные глаза испытующе впивались в мое лицо, ловили мой взгляд.

— Впрочем, нет, вы изменились, — поправилась она, и в ее голосе зазвучали мягкие ликующие нотки. — Теперь я вижу. Вы не забыли. Вы не забывали ни на год, ни на день, ни на час. Я ведь вам говорила, что не забудете.

Я смятенно ткнул соломинкой в ликер.

— Ради бога простите меня, — сказал я, поеживаясь под ее пристальным взглядом. — Но в том-то и дело. Я забыл. Я все забыл.

Она отмахнулась от моих слов. И очаровательно засмеялась над чем-то, что заметила в моем лице.

— До меня иногда доходили слухи о вас, — продолжала она. — Вы теперь такой видный адвокат где-то там на Западе — в Денвере, кажется? Или в Лос-Анджелесе? Должно быть, Мэриан очень вами гордится. Вы, наверно, знаете, я вышла замуж через полгода после вашей женитьбы. Об

этом писали в газетах. Одних цветов было на две тысячи долларов.

Как она раньше сказала — пятнадцать лет? Да, пятнадцать лет — это очень много.

— Не слишком ли поздно принести вам мои поздравления? — несколько робея, спросил я.

— Нет, если вы на это отважитесь, — ответила она с такой великолепной смелостью, что я умолк и принялся смущенно чертить ногтем по скатерти.

— Скажите мне только одно, — попросила она и порывисто наклонилась ко мне. — Я уже много лет хочу это знать… разумеется, просто из женского любопытства: решились ли вы после того вечера хоть раз коснуться белой розы, или понюхать ее… или только посмотреть на белую розу, влажную от росы и дождя?

Я отхлебнул из своего бокала.

— Стоит ли повторять, что я не могу ничего такого припомнить, — сказал я со вздохом. — Память моя никуда не годится. И надо ли говорить, как я об этом сожалею.

Дама облокотилась на стол, и взор ее снова пренебрег моими словами и каким-то своим таинственным путем проник мне прямо в душу. Она мягко рассмеялась, и как-то странно прозву-

чал ее смех: то был счастливый смех, да, и еще в нем слышалось довольство… но и печаль. Я попытался отвести глаза.

— Вы лжете, Элвин Белфорд, — с упоением шепнула она. — Да-да, я знаю: вы лжете.

Я тупо глядел в папоротники.

— Меня зовут Эдвард Пинкхаммер, — сказал я. — Я приехал сюда с делегатами всеамериканского конгресса провизоров. У нас на Западе сейчас возникло новое течение: мы предлагаем ставить флаконы с винносурьмянонатриевой солью и с виннокалиенатриевой солью иначе, чем ставили до сих пор, но вам это, наверно, неинтересно.

У входа в ресторан остановилась сверкающая коляска. Дама поднялась. Я взял ее протянутую руку и поклонился.

— Мне очень, очень жаль, что память мне изменила, — сказал я. — Я мог бы все вам объяснить, но, боюсь, вы не поймете. Вы не соглашаетесь на Пинкхаммера, а я, право, не могу постичь эти… эти розы и все такое.

— Прощайте, мистер Белфорд, — ответила она все с той же грустно-счастливой улыбкой и села в коляску.

В тот вечер я пошел в театр. Когда я вернулся в

гостиницу, около меня, как по волшебству, возник какой-то скромный с виду человек в темном костюме, — он полировал себе ногти шелковым носовым платком и, казалось, был всецело поглощен этим занятием.

— Мистер Пинкхаммер, — небрежно начал он, отдавая все внимание своему указательному пальцу, — не могли бы вы уделить мне несколько минут? Может быть, пройдем в ту комнату и поговорим?

— Извольте, — ответил я.

Он провел меня в маленькую отдельную гостиную. Там дожидалась какая-то пара. Дама, наверно, была бы очень хороша собой, если бы лицо ее не омрачали мучительная тревога и усталость. Изящная фигура, а черты лица, цвет волос и глаз как раз в моем вкусе. На ней был дорожный костюм; в необыкновенном волнении она впилась в меня взглядом и прижала к груди дрожащую руку. Казалось, она готова кинуться ко мне, но стоявший рядом мужчина властным движением руки остановил ее. Потом он направился ко мне. Ему было лет сорок, на висках седина, лицо мужественное, серьезное.

— Белфорд, дружище, — сердечно сказал он, — я так рад снова тебя видеть! Конечно, мы не

сомневались, что ты жив и здоров. Я же тебя предупреждал, что ты слишком переутомляешься. Теперь ты поедешь с нами и дома сразу придешь в себя.

Я насмешливо улыбнулся.

— Меня уже так часто обзывали Белфордом, что я, кажется, привык и перестал возмущаться. Но в конце концов это может и надоесть. Не угодно ли вам постараться понять, что меня зовут Эдвард Пинкхаммер и что я вас вижу первый раз в жизни?

Он не успел ответить: у женщины вырвался жалобный крик, почти рыдание. Она вскочила, и он напрасно пытался ее удержать.

— Элвин! — всхлипнула она, бросилась ко мне и крепко меня обняла. — Элвин! — снова крикнула она. — Не разбивай мне сердце! Я твоя жена, назови меня хоть раз по имени! Лучше бы ты умер, чем стал таким!

Я почтительно, но твердо отвел ее руки.

— Сударыня, — сказал я строго, — извините меня, но вы слишком опрометчиво принимаете на веру случайное сходство. Очень жаль, — продолжал я и засмеялся, так меня позабавила эта мысль, — что нас с этим Белфордом нельзя держать рядышком на одной полке, как винносурь-

мянонатриевую соль с виннокалиенатриевой, тогда было бы легче отличить одного от другого. Если вам не понятно это иносказание, последите за работой всеамериканского конгресса провизоров.

Дама повернулась к своему спутнику и схватила его за руку.

— Что же это такое, доктор Волни? — простонала она. — Ох, да что же это?

Доктор повел ее к двери.

— Пойдите пока в свою комнату, — сказал он ей. — Я останусь и поговорю с ним. Его рассудок? Нет, не думаю… разве что задет какой-то небольшой участок мозга. Да, конечно, выздоровеет. Идите к себе и оставьте нас одних.

Дама вышла. Человек в темном костюме тоже вышел, по-прежнему с задумчивым видом полируя ногти Кажется, он остался в вестибюле.

— Я хотел бы с вами поговорить, мистер Пинкхаммер, если разрешите, — сказал тот, кто остался.

— Пожалуйста, если вам так хочется, — ответил я. — Но уж извините, я устроюсь поудобней: я устал.

И я растянулся на кушетке у окна и закурил сигару. Он пододвинул стул поближе и уселся.

— Давайте без лишних слов, — начал он миролюбиво. — Вас зовут вовсе не Пинкхаммер.

— Я это знаю не хуже вас, — невозмутимо сказал я. — Но ведь нужно же человеку хоть какое-то имя. Могу вас заверить, что я совсем не в восторге от имени Пинкхаммер. Но когда надо вмиг себя как-то окрестить красивые имена почему-то не придумываются. Хотя… вдруг бы мне пришло в голову назваться Шерингхаузеном или Скроггинсом! По-моему, Пинкхаммер не так уж плохо.

— Вас зовут Элвин Белфорд, — очень спокойно продолжал доктор. — Вы один из лучших адвокатов в Денвере. Вы страдаете приступом амнезии и на время забыли, кто вы такой. Причиной было переутомление и, возможно, слишком однообразная жизнь и недостаток удовольствий. Дама, которая только что вышла отсюда, — ваша жена.

— Я бы сказал, красивая женщина, — заметил я, немного поразмыслив. — Особенно мне понравился каштановый оттенок ее волос.

— Такой женой можно гордиться. С тех пор как вы исчезли, почти две недели она, можно сказать, не смыкала глаз. О том, что вы в Нью-Йорке, мы узнали из телеграммы Айсидора Ньюмена, это наш знакомый коммивояжер из Денвера. Он сообщил, что встретил вас в гостинице и вы его

не узнали.

— Да, кажется, был такой случай, — сказал я. — Он назвал меня Белфордом, если не ошибаюсь. Но не пора ли вам представиться?

— Меня зовут Роберт Волни, доктор Волни. Я был вашим близким другом целых двадцать лет и пятнадцать из них — вашим врачом. Мы с миссис Белфорд приехали сюда искать вас, как только получили телеграмму. Постарайся, Элвин, дружище… постарайся все вспомнить!

— Что толку стараться? — возразил я и нахмурился. — Вы говорите, что вы врач. Тогда скажите: амнезия излечима? Когда человек теряет память, как она к нему возвращается — постепенно или сразу?

— Иногда постепенно и не до конца, а иногда так же внезапно, как пропала.

— Возьметесь ли вы меня лечить, доктор Волни? — спросил я.

— Старый друг, — ответил он, — я сделаю все, что только в моих силах и во власти науки, чтобы тебя излечить!

— Отлично, — сказал я. — Считайте, что я ваш больной. Но раз так, не забудьте о врачебной тайне.

— Ну, разумеется! — отвечал доктор Волни.

Я встал с кушетки. На стол посреди комнаты кто-то поставил вазу белых роз — большой букет белых роз, душистых, недавно сбрызнутых водой. Я выбросил их из окна как можно дальше и снова опустился на кушетку.

— Ну, вот что, Бобби, — сказал я, — лучше уж я вылечусь сразу. Я и сам устал от всего этого. А теперь поди приведи Мэриан. Но если б ты знал, — прибавил я со вздохом и ткнул его пальцем в бок, — если б ты знал, дружище, как это было восхитительно!

Муниципальный отчёт

Города, спеси полны,
Кичливый ведут спор:
Один — от прибрежной волны,
Другой — с отрогов гор.

Р. Киплинг

Ну, можно ли представить себе роман о Чикаго, или о Буффало, или, скажем, о Нэшвиле, штат Теннесси? В Соединённых Штатах всего три города, достойных этой чести: прежде всего, конечно, Нью-Йорк, затем Новый Орлеан и лучший из всех — Сан-Франциско.

Фрэнк Норрис

Перевод И. Кашкина.

Восток — это Восток, а Запад — это Сан-Франциско, таково мнение калифорнийцев. Калифорнийцы — не просто обитатели штата, а особая нация. Это южане Запада. Чикагцы не менее преданы своему городу; но если вы спросите чикагца, за что он любит свой город, он начнет заикаться и мямлить что-то о рыбе из озера Мичиган и новом

здании тайного ордена «Чудаков». Калифорниец же за словом в карман не полезет.

Прежде всего он будет добрых полчаса рассуждать о благодатном климате, пока вы думаете о поданных вам счетах за уголь и о шерстяных фуфайках. А когда он, ошибочно приняв ваше молчание за согласие, войдет в раж, он начнет расписывать Город Золотых Ворот каким-то Багдадом Нового Света. И, пожалуй, по этому пункту опровержений не требуется. Но, дорогие мои родственники (кузены по Адаму и Еве)! Опрометчиво поступит тот, кто, положив палец на географическую карту, скажет: «В этом городе нет ничего романтического… Что может случиться в таком городе?» Да, дерзко и опрометчиво было бы бросить в одной фразе вызов истории, романтике и издательству Рэнд и Мак-Нэлли[184].

> «Нэшвиль. Город; столица и ввозный порт штата Теннесси; расположен на реке Кэмберленд и на скрещении двух железных дорог. Считается самым значительным центром просвещения на Юге».

---

[184] Примечания: 184

Издательство, выпускавшее географические атласы, карты и путеводители.

Я вышел из поезда в восемь часов вечера. Тщетно перерыв словарь в поисках подходящих прилагательных, я вынужден обратиться к языку фармацевтов.

Возьмите лондонского тумана тридцать частей, малярии десять частей, просочившегося светильного газа двадцать частей, росы, собранной на кирпичном заводе при восходе солнца, двадцать пять частей, запаха жимолости пятнадцать частей. Смешайте.

Эта смесь даст вам некоторое представление о нэшвильском моросящем дожде. Не так пахуче, как шарики нафталина, и не так густо, как гороховый суп, а впрочем, ничего — дышать можно.

Я поехал в гостиницу в каком-то рыдване. Большого труда мне стоило воздержаться и не вскарабкаться, в подражание Сиднею Картону[185], на его верх. Повозку тащила пара ископаемых животных, а правило ими что-то темное, но уже вырванное из тьмы рабства.

Я устал, и мне хотелось спать. Поэтому, добравшись до гостиницы, я поспешил уплатить пятьдесят центов, которые потребовал возница, и, честное слово, почти столько же прибавил

---

[185] Примечания: 185
Персонаж из романа Диккенса «Повесть о двух городах».

на чай. Я знал их привычки, и у меня не было ни малейшего желания слушать его болтовню о старом хозяине и о том, что было «до войны».

Гостиница была одною из тех, которые описывают в рекламах как «заново отделанные». Это значит: на двадцать тысяч долларов новых мраморных колонн, изразцов, электрических люстр и медных плевательниц в вестибюле, а также новое расписание поездов и литография с изображением Теннессийского хребта во всех просторных номерах на втором этаже. Администрация вела себя безукоризненно, прислуга была внимательна, полна утонченной южной вежливости, медлительна, как улитка, и добродушна, как Рип ван Винкль[186]. А кормили так, что из-за одного этого стоило проехать тысячу миль. Во всем мире не найдется гостиницы, где вам подали бы такую куриную печенку «броше».

За обедом я спросил слугу-негра, что делается у них в городе. Он сосредоточенно раздумывал с минуту, потом ответил:

— Видите ли, сэр, пожалуй, что после захода солнца здесь ничего не делается.

Заход солнца уже состоялся — оно давно уто-

---

[186] Примечания: 186
Персонаж новеллы Вашингтона Ирвинга.

нуло в моросящем дожде. Значит, этого зрелища я был лишен. Но я все-таки вышел на улицу, под дождь, в надежде увидеть хоть что-нибудь интересное.

> «Он построен на неровной местности, и улицы его освещаются электричеством. Годовое потребление энергии на 32 470 долларов».

Выйдя из гостиницы, я сразу натолкнулся на международные беспорядки. На меня бросилась толпа не то бедуинов, не то арабов или зулусов, вооруженных… впрочем, я с облегчением увидел, что они вооружены не винтовками, а кнутами. И еще я заметил неясные очертания целого каравана темных и неуклюжих повозок и, слыша успокоительные выкрики: «Прикажете подать? Куда прикажете? Пятьдесят центов конец», — рассудил, что я не жертва, а всего-навсего седок.

Я проходил по длинным улицам, которые все поднимались в гору. Интересно было бы узнать, как они спускаются потом обратно. А может быть, они вовсе не спускаются в ожидании нивелировки. На некоторых «главных» улицах я видел там и сям освещенные магазины; видел трамвай, развозивший во все концы почтенных

горожан; видел пешеходов, упражнявшихся в искусстве разговора, слышал взрывы не слишком веселого смеха из заведения, в котором торговали содовой водой и мороженым. На «неглавных» улицах приютились дома, под крышами которых мирно текла семейная жизнь. Во многих из них за скромно опущенными шторами горели огни, доносились звуки рояля, ритмичные и благонравные. Да, действительно, здесь «мало что делалось». Я пожалел, что не вышел до захода солнца, и вернулся в гостиницу.

> «В ноябре 1864 года отряд южан генерала Гуда двинулся против Нэшвиля, где и окружил части северных войск под командованием генерала Томаса. Этот последний сделал вылазку и разбил конфедератов в жестоком бою».

Я всю свою жизнь был свидетелем и поклонником удивительной меткости, какой достигают в мирных боях южане, жующие табак. Но в этой гостинице меня ожидал сюрприз. В большом вестибюле имелось двенадцать новых, блестящих, вместительных, внушительного вида медных плевательниц, настолько высоких, что их можно было бы назвать урнами, и с такими широкими

отверстиями, что на расстоянии не более пяти шагов лучшая из подающих дамской бейсбольной команды, пожалуй, сумела бы закинуть мяч в любую из них. Но хотя тут свирепствовала и продолжала свирепствовать страшная битва, враги не были побеждены. Они стояли блестящие, новые, внушительные, вместительные, нетронутые. Но — боже правый! — изразцовый пол, чудный изразцовый пол! Я невольно вспомнил битву под Нэшвилем и по глупой своей привычке делать выводы заключил, что меткостью стрельбы управляют законы наследственности.

Здесь я в первый раз увидел Уэнтуорта Кэсуэла, майора Кэсуэла, если соблюсти неуместную южную учтивость. Я понял, что это за тип, лишь только сподобился увидеть его. Крысы не имеют определенного географического местожительства. Мой старый друг А. Теннисон сказал, и сказал по своему обыкновению метко:

Пророк, прокляни болтливый язык
И прокляни британскую гадину крысу.

Будем рассматривать слово «британский» как подлежащее замене ad libitum[187]. Крыса везде

[187] Примечания: 187
По желанию (*лат.*).

остается крысой.

Человек этот сновал по вестибюлю гостиницы, как голодная собака, которая не помнит, где она зарыла кость. У него было широкое лицо, мясистое, красное, своей сонной массивностью напоминавшее Будду. Он имел только одно достоинство — был очень гладко выбрит. До тех пор пока человек бреется, печать зверя не ляжет на его лицо. Я думаю, что, не воспользуйся он в этот день бритвой, я бы отверг его авансы и в уголовную летопись мира не было бы внесено еще одно убийство.

Я стоял в пяти шагах от одной из плевательниц, когда майор Кэсуэл открыл по ней огонь. У меня хватило наблюдательности, чтобы заметить, что нападающая сторона пользуется скорострельной артиллерией, а не каким-нибудь охотничьим ружьем. Поэтому я быстро сделал шаг в сторону, что дало майору повод извиниться передо мной как представителем мирного населения. Язык у него был как раз «болтливый». Через четыре минуты он стал моим приятелем и потащил меня к стойке.

Я хочу оговориться здесь, что я и сам южанин, но не по профессии или ремеслу. Я избегаю галстуков-шнурков, шляп с широкими опущенными

полями, длинных черных сюртуков «принц Альберт», разговоров о количестве тюков хлопка, уничтоженных генералом Шерманом, и жевания табака. Когда оркестр играет «Дикси»[188], я не рукоплещу. Я только усаживаюсь поудобнее в моем кожаном кресле, заказываю еще бутылку пива и жалею, что Лонгстрит[189] не… Но к чему сожаления?

Майор Кэсуэл ударил кулаком по стойке, и ему отозвалась первая пушка на форте Сэмтер. Когда он выстрелил из последней — при Аппоматоксе, у меня появилась слабая надежда. Но он перешел на родословные древа и выяснил, что Адам приходился семье Кэсуэл всего лишь троюродным братом, да и то только боковой ее ветви. Покончив с генеалогией, он, к великому моему отвращению, стал распространяться о своих семейных делах. Он упомянул о своей жене, проследил ее происхождение вплоть до Евы и яростно опроверг клеветнические слухи о том, что у нее будто бы есть какие-то родственные связи с потомками Каина.

К этому времени у меня родилось подозрение,

---

[188] Примечания: 188
Военная песня южан во время Гражданской войны в США.

[189] Примечания: 189
Лонгстрит — генерал южной армии в Гражданской войне США.

что он затеял весь этот шум с целью заставить меня забыть, что напитки заказаны им, и в надежде, что я, заговоренный им до полусмерти, заплачу за них. Но когда мы выпили, он со звоном швырнул на стойку серебряный доллар. После этого мне ничего не оставалось, как только потребовать вторую порцию. Заплатив за нее, я сухо и решительно простился с ним; довольно было с меня его общества. Но прежде чем я отделался от него, он успел громко похвастаться доходами своей жены и показать мне полную пригоршню серебряной монеты.

Когда я подошел к конторке за ключом, портье вежливо сказал мне:

— Если этот Кэсуэл надоедает вам, мы можем его выпроводить. Это несносное существо, бездельник, без каких-либо явных средств к существованию, хотя у него большей частью кое-какие деньги водятся. К сожалению, у нас нет повода вышвырнуть его отсюда на законном основании.

— Нет, зачем же, — сказал я, подумав. — Мне, собственно, не на что жаловаться. Но имейте в виду, что я действительно не ищу его общества. Ваш город, — продолжал я, — по-видимому, очень тихий город. Какого рода увеселения, приключения или развлечения можете вы предложить

путешественнику?

— В будущий четверг, сэр, сюда приезжает цирк. Там… Да вот я поищу объявление и пришлю его вам в номер, когда вам подадут воду со льдом. Покойной ночи.

Поднявшись в свою комнату, я выглянул из окна. Было всего только десять часов, но передо мной лежал уже безмолвный город. Продолжало моросить, кое-где блестели огоньки, но на таком далеком расстоянии друг от друга, как коринки в сладкой булке, продаваемой на дамском благотворительном базаре.

— Тихое место, — сказал я себе, когда мой первый башмак ударился в потолок над головой постояльца, занимавшего комнату внизу. — В здешней жизни нет того, что придает красочность и разнообразие городам Запада и Востока. Это просто хороший, обыкновенный, скучный, деловой город.

> «Нэшвиль занимает одно из первых мест среди промышленных центров страны. Он является пятым обувным рынком Соединенных Штатов, самым крупным на Юге поставщиком конфет и печенья и ведет обширную оптовую торговлю

мануфактурой, колониальными и аптекарскими товарами».

Я должен сказать вам, зачем я приехал в Нэшвиль. Могу вас уверить, что это отступление так же скучно для меня, как и для вас. Ехал я в другое место, по своим делам, но один нью-йоркский издатель поручил мне завернуть сюда для установления личной связи между ним и одним из его сотрудников — А. Эдэр.

От Эдэр (кроме почерка, редакция о нем ничего не знала) поступило всего несколько «эссе» (утраченное искусство!) и стихотворений. Просмотрев их за завтраком, редактор одобрительно чертыхнулся, а затем отрядил меня с поручением так или иначе обойти названного Эдэра и законтрактовать на корню всю его (или ее) литературную продукцию по два цента за слово, пока другой издатель не предложил ему (или ей) десять, а то и двадцать.

На следующее утро в девять часов, скушав куриную печенку «броше» (попробуйте непременно, если попадете в эту гостиницу), я вышел под дождь, которому все еще не предвиделось конца. На первом же углу я наткнулся на дядю Цезаря. Это был дюжий негр, древнее пирамид, с седыми волосами и лицом, напомнившим мне сначала

Брута, а через секунду покойного короля Сеттивайо[190]. На нем было необыкновенное пальто. Такого я еще ни на ком не видел и, должно быть, никогда не увижу. Оно доходило ему до лодыжек и было некогда серым, как военная форма южан. Но дождь, солнце и годы так испестрили его, что рядом с ним плащ Иосифа показался бы бледной гравюрой в одну краску[191]. Я останавливаюсь на описании этого пальто потому, что оно играет роль в последующих событиях, до которых мы никак не можем дойти, так как трудно ведь представить себе, что в Нэшвиле могло произойти какое-нибудь событие.

Пальто, по-видимому, некогда было офицерской шинелью. Капюшона на нем не осталось. Весь перед его был раньше богато отделан галуном и кисточками. Но галун и кисточки теперь тоже исчезли. На их месте был терпеливо пришит, вероятно какой-нибудь сохранившейся еще черной «мамми», новый галун, сделанный из мастерски скрученной обыкновенной бечев-

---

[190] Примечания: 190

Воинственный вождь зулусов, боровшийся с англичанами в 70-х гг. XIX в.

[191] Примечания: 191

По библейской легенде, Иаков любил Иосифа больше своих сыновей «и сделал ему разноцветную одежду».

ки. Бечевка была растрепана и раздергана. Это безвкусное, но потребовавшее великих трудов изделие призвано было, по-видимому, заменить исчезнувшее великолепие, так как веревка точно следовала по кривой, оставленной бывшим галуном. И в довершение смешного и жалкого вида одеяния все пуговицы на нем, кроме одной, отсутствовали. Уцелела только вторая сверху. Пальто завязывалось веревочками, продетыми в петли и в грубо проткнутые с противоположной стороны дырки. На свете еще не было одеяния, столь фантастически разукрашенного и испещренного таким количеством оттенков. Одинокая пуговица, желтая, роговая, величиной с полдоллара, была пришита толстой бечевкой.

Негр стоял около кареты, такой древней, что, должно быть, еще Хам по выходе из ковчега запрягал в нее пару чистых и занимался извозчичьим промыслом. Когда я подошел, он открыл дверцу, вытащил метелку из перьев, помахал ею для видимости и сказал глухим, рокочущим басом:

— Пожалуйте, сар. Карета чистая, ни пылинки нет. Прямо с похорон, сар.

Я вывел заключение, что ради таких торжественных оказий, как похороны, кареты здесь

подвергаются особой чистке. Оглядев улицу и ряд колымаг, стоявших у панели, я убедился, что выбирать не из чего. В своей записной книжке я нашел адрес Эдэр.

— Мне нужно на Джессамайн-стрит, номер восемьсот шестьдесят один, — сказал я, собираясь уже влезть в карету.

Но в эту минуту огромная рука старого негра загородила мне вход. На его массивном и мрачном лице промелькнуло выражение подозрительности и неприязни. Затем, быстро успокоившись, он спросил заискивающе:

— А зачем вы туда едете, сар?

— А тебе какое дело? — сказал я довольно резко.

— Никакого, сар, никакого. Только улица это тихая, по делам туда никто не ездит. Пожалуйста, садитесь. Сиденье чистое, я прямо с похорон, сар.

Пути было, вероятно, мили полторы. Я ничего не слышал, кроме страшного громыхания древней повозки по неровной каменной мостовой. Я ничего не ощущал, кроме мелкого дождя, пропитанного теперь запахом угольного дыма и чего-то вроде смеси дегтя с цветами олеандра. Сквозь струящуюся по стеклам воду я смутно различал только два длинных ряда домов.

«Город занимает площадь в 10 квадратных миль; общее протяжение улиц 181 миля, из которых 137 миль мощеных; магистрали водопровода, постройка которого стоила 2 000 000 долларов, составляют 77 миль».

Номер 861 по Джессамайн-стрит оказался полуразрушенным плантаторским домом. Он стоял отступя шагов тридцать от улицы и был заслонен великолепной купой деревьев и неподстриженным кустарником; кусты самшита, посаженные вдоль забора, почти совсем скрывали его. Калитку удерживала веревочная петля, наброшенная на ближайший столбик забора. Но тому, кто входил в самый дом, становилось понятно, что номер восемьсот шестьдесят один только остов, только тень, только призрак былого великолепия. Впрочем, в рассказе я еще туда не вошел.

Когда карета перестала громыхать и усталые четвероногие остановились, я протянул негру пятьдесят центов и прибавил еще двадцать пять с приятным сознанием своей щедрости. Он отказался взять деньги.

— Два доллара, сар, — сказал он.

— Это почему? — спросил я. — Я прекрасно слышал твои выкрики у гостиницы: «Пятьдесят

центов в любую часть города».

— Два доллара, сар, — упрямо повторил он. — Это очень далеко от гостиницы.

— Это в черте города, — доказывал я. — Не думай, что ты подцепил желторотого янки. Ты видишь эти горы, — продолжал я, указывая на восток (хотя я и сам за дождем ничего не видел), — ну, так знай, что я родился и вырос там. А ты, глупый старый негр, неужели не умеешь распознавать людей?

Мрачное лицо короля Сеттивайо смягчилось.

— Так вы с Юга, сар? Это ваши башмаки сбили меня с толку: для джентльмена с Юга у них носы слишком острые.

— Теперь, я полагаю, плата будет пятьдесят центов? — непреклонно сказал я.

Прежнее выражение жадности и неприязни вернулось на его лицо, оставалось на нем десять секунд и исчезло.

— Сар, — сказал он, — пятьдесят центов правильная плата, только мне нужно два доллара, обязательно нужно два доллара. Не то чтобы я требовал их с вас, сар, раз уж я знаю, что вы сами с Юга. А только я так говорю, что мне обязательно надо два доллара… А седоков нынче мало.

Теперь его тяжелое лицо выражало спокой-

ствие и уверенность. Ему повезло больше, чем он рассчитывал. Вместо того, чтобы подцепить желторотого новичка, не знающего таксы, он наткнулся на старожила.

— Ах ты, бесстыжий старый плут, — сказал я, опуская руку в карман. — Следовало бы тебя отправить в полицию.

В первый раз я увидел у него улыбку. Он знал. Прекрасно знал. Знал с самого начала.

Я дал ему две бумажки по доллару. Протягивая их ему, я обратил внимание, что одна из них пережила немало передряг. Правый верхний угол был у нее оторван, и, кроме того, она была разорвана посредине и склеена. Кусочек тончайшей голубой бумаги, наклеенной по надрыву, делал ее годной для дальнейшего обращения.

Но довольно пока об этом африканском бандите; я оставил его совершенно удовлетворенным, приподнял веревочную петлю и открыл скрипучую калитку.

Как я уже говорил, передо мною был только остов дома. Кисть маляра уже лет двадцать не касалась его. Я не мог понять, почему сильный ветер не смел его до сих пор, как карточный домик, пока не взглянул опять на тесно обступившие его деревья — на деревья, которые видели битву

при Нэшвиле, но все еще простирали свои ветви вокруг дома, защищая его от бурь, от холода и от врагов.

Азалия Эдэр — седая женщина лет пятидесяти, потомок кавалеров, тоненькая и хрупкая, как ее жилище, одетая в платье, дешевле и опрятней которого трудно себе представить, — приняла меня с царственной простотою.

Гостиная казалась величиной в квадратную милю, потому что в ней не было ничего, кроме книг на некрашеных белых сосновых полках, треснувшего мраморного стола, лоскутного коврика, волосяного дивана без волоса и двух или трех стульев. Да, была еще картина, нарисованная пастелью и изображавшая букет анютиных глазок. Я оглянулся, ища портрет Эндрю Джексона[192] и корзинку из сосновых шишек, но их не было.

Я побеседовал с Азалией Эдэр и кое-что расскажу вам об этом. Детище старого Юга, она была заботливо взращена среди окружавшего ее мирного уюта. Познания ее были не обширны, но глубоки и ярко оригинальны. Она воспитывалась дома, и ее знание света основывалось на

---

[192] Примечания: 192
Президент США в 1829–1837 гг.

умозаключениях и интуиции. Из таких людей и состоит малочисленная, но драгоценная и редкая порода эссеистов. Пока она говорила со мной, я бессознательно потирал пальцы, виновато стараясь смахнуть с них несуществующую пыль от кожаных корешков Лэмба, Чосера, Хэзлита, Марка Аврелия, Монтеня и Гуда. Что за прелесть эта Азалия Эдэр! Какая ценная находка! В наши дни все знают так много — слишком много! — о действительной жизни.

Мне было совершенно ясно, что Азалия Эдэр очень бедна. «У нее есть дом и есть во что одеться, но больше, вероятно, ничего», — подумалось мне. Таким образом, раздираемый между моими обязательствами по отношению к издателю и преданностью поэтам и эссеистам, сражавшимся против генерала Томаса в долине Кэмберленда, я слушал ее голос, звучавший, как клавикорды, и понял, что не в силах повести речь о договорах. В присутствии девяти муз и трех граций не так-то легко низвести уровень беседы до двух центов. «Придется приехать еще раз, — сказал я себе. — Может быть, я тогда настроюсь на коммерческий лад». Но все же я сообщил ей о цели моего приезда, и деловой разговор был назначен на три часа следующего дня.

— Ваш город, — сказал я, готовясь уходить (в это время всегда говорят банальные фразы), — по-видимому, очень тихий, спокойный, так сказать, семейный город, где редко случается что-нибудь из ряда вон выходящее.

> «Он поддерживает с Западом и Югом обширную торговлю скобяными товарами, и его мукомольные мельницы пропускают свыше 2000 баррелей в день».

Азалия Эдэр, видимо, размышляла о чем-то.

— Я никогда не думала о нем с этой точки зрения, — сказала она с какой-то свойственной ей напряженной искренностью. — Разве происшествия не случаются как раз в тихих, спокойных местах? Мне представляется, что при сотворении мира, если б кто-нибудь в первый же понедельник высунулся из окна, он услыхал бы, как скатываются комья глины с Божьей лопаты, только что нагромоздившей эти первозданные горы. А к чему свелось самое громкое начинание мировой истории? Я говорю о Вавилонской башне. К двум-трем страницам на эсперанто в «Североамериканском обозрении».

— Конечно, — глупо ответил я, — человеческая природа везде одинакова, но в некоторых горо-

дах как-то больше красочности… э-э… больше драматизма и движения и… э-э… романтики, чем в других.

— Только на первый взгляд, — сказала Азалия Эдэр. — Я много раз путешествовала вокруг света на золотом воздушном корабле, крыльями которого были книги и мечты. Я видела (во время одной из моих воображаемых поездок), как турецкий султан собственноручно удавил шнурком одну из своих жен за то, что она открыла лицо на людях. Я видела, как один человек в Нэшвиле разорвал билеты в театр, потому что жена его собиралась пойти туда, закрыв лицо… слоем пудры. В китайском квартале Сан-Франциско я видела, как девушку-рабыню Синг-И понемногу погружали в кипящее миндальное масло, заставляя ее принести клятву, что она больше никогда не увидится со своим возлюбленным-американцем. Она поклялась, когда кипящее масло поднялось на три дюйма выше колен. Я видела, как недавно на вечеринке в восточном Нэшвиле от Китти Морган отвернулись семь ее закадычных школьных подруг за то, что она вышла замуж за маляра. Кипящая олифа доходила ей до самого сердца, но посмотрели бы вы, с какой прелестной улыбкой она порхала от стола к столу. О да, это скучный

город. Только несколько миль красных кирпичных домов, грязь, лавки и лесные склады.

Кто-то осторожно постучал с черного хода. Азалия Эдэр мягко извинилась и пошла узнать, кто это. Она вернулась через три минуты, помолодевшая на десять лет, глаза ее блестели, на щеках проступил легкий румянец.

— Вы должны выпить у меня чашку чаю со сладкими булочками, — сказала она.

Она позвонила в маленький металлический колокольчик. Явилась девочка-негритянка лет двенадцати, босая, не очень опрятная, и, засунув большой палец в рот, грозно выпучила на меня глаза.

Азалия Эдэр открыла небольшой потертый кошелек и достала оттуда бумажный доллар — доллар с оторванным правым верхним углом, разорванный пополам и склеенный полоской тонкой голубой бумаги. Не могло быть сомнения — это была одна из бумажек, которые я дал разбойнику-негру.

— Сходи на угол, Импи, к мистеру Бейкеру, — сказала она, передавая девочке доллар, — и возьми четверть фунта чая — того, который мы всегда берем, — и на десять центов сладких булочек. Иди скорей. У нас как раз вышел весь

чай, — объяснила она мне.

Импи вышла через заднюю дверь. Не успел еще затихнуть топот ее босых ног по крыльцу, как дикий крик, — я был уверен, что кричала она, — огласил пустой дом. Затем глухой и хриплый голос рассерженного мужчины смешался с писком и невнятным лепетом девочки.

Азалия Эдэр встала, не выказывая ни тревоги, ни удивления, и исчезла. Еще минуты две я слышал хриплое мужское ворчание, какое-то ругательство и возню, затем она вернулась ко мне, по-прежнему спокойная.

— Это очень большой дом, — сказала она, — и я сдаю часть его жильцу. К сожалению, мне приходится отменить мое приглашение на чай. В магазине не оказалось чая того сорта, который я всегда беру. Мистер Бейкер обещал достать мне его завтра.

Я был убежден, что Импи не успела еще уйти из дома. Я справился, где тут поближе проходит трамвай, и простился. Когда я уже порядочно отошел от дома, я вспомнил, что не спросил Азалию Эдэр, как ее настоящая фамилия. Ну, да все равно, завтра узнаю.

В этот же день я ступил на стезю порока, на которую привел меня этот город без происше-

ствий. Я прожил в нем только два дня, но за это время успел бессовестно налгать по телеграфу и сделаться сообщником убийства, правда, сообщником post factum, если существует такое юридическое понятие.

Когда я заворачивал за угол, ближайший к моей гостинице, африканский возница, обладатель многоцветного, единственного в своем роде пальто, перехватил меня, распахнул тюремную дверь своего передвижного саркофага, помахал метелкой из перьев и затянул свое обычное:

— Пожалуйте, сар, карета чистая, только что с похорон. Пятьдесят центов в любой…

Тут он узнал меня и широко осклабился.

— Простите, сар… Ведь вы — тот джентльмен, которого я возил нынче утром. Благодарю вас, сар.

— Завтра, в три часа, мне опять нужно на Джессамайн-стрит, — сказал я. — Если ты будешь здесь, я поеду с тобой. Так ты знаешь мисс Эдэр? — добавил я, вспомнив свой бумажный доллар.

— Я принадлежал ее отцу, судье Эдэру сар, — ответил он.

— Похоже, что она сильно нуждается, — сказал я. — Невелик у нее доход, а?

Опять передо мной мелькнуло свирепое лицо

короля Сеттивайо и снова превратилось в лицо старого извозчика-вымогателя.

— Она не голодает, сар, — тихо сказал он, — у нее есть доходы... да, у нее есть доходы.

— Я заплачу тебе пятьдесят центов за поездку, — сказал я.

— Совершенно правильно, сар, — смиренно ответил он. — Это только сегодня мне необходимо было иметь два доллара, сар.

Я вошел в гостиницу и заставил солгать телеграфный провод. Я протелеграфировал издателю: «Эдэр настаивает восьми центах слово». Ответ пришел такого содержания: «Соглашайтесь немедленно тупица».

Перед самым обедом «майор» Уэнтуорт Кэсуэл атаковал меня так радостно, будто я был его старым другом, которого он давно не видел. Я еще не встречал человека, который вызвал бы во мне такую ненависть и от которого так трудно было бы отделаться. Он застиг меня у стойки, поэтому я никак не мог разразиться тирадой о вреде алкоголя. Я с удовольствием первым заплатил бы за выпитое, чтобы избавиться от него; но он был одним из тех презренных, кричащих, выставляющих себя напоказ пьяниц, которым нужен военный оркестр и фейерверк в виде со-

провождения к каждому центу, истраченному ими на свою блажь.

С таким видом, словно дает миллион, он вытащил из кармана два бумажных доллара и бросил один из них на стойку. И я снова увидел бумажный доллар с оторванным правым углом, разорванный пополам и склеенный полоской тонкой голубой бумаги. Это опять был мой доллар. Другого такого быть не могло.

Я поднялся в свою комнату. Моросящий дождь и скука унылого, лишенного событий южного города навеяли на меня тоску и усталость. Помню, что перед тем, как лечь, я успокоился относительно этого таинственного доллара (в Сан-Франциско он послужил бы прекрасной завязкой для детективного рассказа), сказав себе: «Здесь, как видно, существует трест извозчиков, и в нем очень много акционеров. И как быстро выдают у них дивиденды! Хотел бы я знать, что было бы, если бы…» Но тут я заснул.

На следующий день король Сеттивайо был на своем месте, и мои кости снова протряслись в его катафалке до Джессамайн-стрит. Выходя, я велел ему ждать и доставить меня обратно.

Азалия Эдэр выглядела еще более чистенькой, бледной и хрупкой, чем накануне. Подписав

договор (по восьми центов за слово), она совсем побелела и вдруг стала сползать со стула. Без особого труда я поднял ее, положил на допотопный диван, а затем выбежал на улицу и заорал кофейного цвета пирату, чтобы он привез доктора. С мудростью, которой я не подозревал в нем, он покинул своих одров и побежал пешком, очевидно понимая, что времени терять нечего. Через десять минут он вернулся с седовласым, серьезным, сведущим врачом. В нескольких словах (стоивших много меньше восьми центов каждое) я объяснил ему свое присутствие в этом пустом таинственном доме. Он величаво поклонился и повернулся к старому негру.

— Дядя Цезарь, — спокойно сказал он, — сбегай ко мне и скажи мисс Люси, чтоб она дала тебе полный кувшин свежего молока и полстакана портвейна. Живей. Только не на лошадях. Беги пешком — это дело спешное.

Видимо, доктор Мерримен тоже не доверял резвости коней моего сухопутного пирата. Когда дядя Цезарь вышел, шагая неуклюже, но быстро, доктор очень вежливо, но вместе с тем и очень внимательно оглядел меня и наконец, очевидно, решил, что говорить со мной можно.

— Это от недоедания, — сказал он. — Другими

словами — это результат бедности, гордости и голодовки. У миссис Кэсуэл много преданных друзей, которые были бы рады помочь ей, но она не желает принимать помощь ни от кого, кроме как от этого старого негра, дяди Цезаря, который когда-то принадлежал ее семье.

— Миссис Кэсуэл? — с удивлением переспросил я. А потом я взглянул на договор и увидел, что она подписалась: «Азалия Эдэр-Кэсуэл».

— Я думал, что она мисс Эдэр, — сказал я.

— …вышедшая замуж за пьяного, никуда не годного бездельника, сэр, — закончил доктор. — Говорят, он отбирает у нее даже те крохи, которыми поддерживает ее старый слуга.

Когда появилось молоко и вино, доктор быстро привел Азалию Эдэр в чувство. Она села и стала говорить о красоте осенних листьев (дело было осенью), о прелести их окраски. Мимоходом она коснулась своего обморока как следствия давнишней болезни сердца. Она лежала на диване, а Импи обмахивала ее веером. Доктор торопился в другое место, и я дошел с ним до подъезда. Я сказал ему, что имею намерение и возможность выдать Азалии Эдэр небольшой аванс в счет ее будущей работы в журнале, и это его, по-видимому, обрадовало.

— Между прочим, — сказал он, — вам, может быть, небезынтересно узнать, что вашим кучером был потомок королей. Дед старика Цезаря был королем в Конго. Вы могли заметить, что и у самого Цезаря царственная осанка.

Когда доктор уже уходил, я услыхал голос дяди Цезаря:

— Так как же это… он оба доллара отнял у вас, мисс Зали?

— Да, Цезарь, — послышался ее слабый ответ.

Тут я вошел и закончил с нашим будущим сотрудником денежные расчеты. За свой страх я выдал ей авансом пятьдесят долларов, уверив ее, что это необходимая формальность для скрепления нашего договора. Затем дядя Цезарь отвез меня назад в гостиницу.

Здесь оканчивается та часть истории, которой я сам был свидетелем. Остальное будет только голым изложением фактов.

Около шести часов я вышел прогуляться. Дядя Цезарь был на своем углу. Он открыл дверцу кареты, помахал метелкой и затянул свою унылую формулу:

— Пожалуйста, сар, пятьдесят центов в любую часть города. Карета совершенно чистая, сар, только что с похорон…

Но тут он узнал меня. По-видимому, зрение его слабело. Пальто его расцветилось еще несколькими оттенками; веревка-шнурок еще больше растрепалась, и последняя остававшаяся пуговица — желтая роговая пуговица — исчезла. Жалким потомком королей был этот дядя Цезарь!

Часа два спустя я увидел возбужденную толпу, осаждавшую вход в аптеку. В пустыне, где никогда ничего не случается, это была манна небесная, и я протолкался в середину толпы. На импровизированном ложе из пустых ящиков и стульев покоились тленные останки майора Уэнтуорта Кэсуэла. Доктор попытался обнаружить и его нетленную душу, но пришел к выводу, что таковая отсутствует.

Бывший майор был найден мертвым на глухой улице и принесен в аптеку любопытными и скучающими согражданами. Все подробности указывали на то, что это бывшее человеческое существо выдержало отчаянный бой. Какой бы ни был он негодяй и бездельник, он все же оставался воином. Но он проиграл сражение. Кулаки его были сжаты так крепко, что не было возможности разогнуть пальцы. Знавшие его добросердечные граждане старались найти в своем лексиконе какое-нибудь доброе слово о нем.

Один добродушного вида человек после долгих размышлений сказал:

— Когда Кэсу было четырнадцать лет, он был одним из лучших в школе по правописанию.

Пока я стоял тут, пальцы правой руки покойника, свесившиеся с края белого соснового ящика, разжались и выронили что-то около моей ноги. Я спокойно прикрыл это «что-то» подошвой, а через некоторое время поднял и положил в карман. Я понял, что в последней борьбе его рука бессознательно схватила этот предмет и зажала его в предсмертной судороге.

В тот вечер в гостинице главной темой разговора, за исключением политики и «сухого закона», была кончина майора Кэсуэла. Я слышал, как один человек сказал группе слушателей:

— По моему мнению, джентльмены, Кэсуэла убил один из этих хулиганов-негров, из-за денег. Сегодня днем у него было пятьдесят долларов, он их многим показывал. А когда его нашли, денег при нем не оказалось.

Я выехал из города на следующее утро в девять часов, и когда поезд шел по мосту через Кэмберленд, я вынул из кармана желтую роговую пуговицу величиной с полдоллара, с еще висевшими на ней раздерганными концами бечевки,

и выбросил ее из окна в тихую мутную воду.

Хотел бы я знать, что-то делается сейчас в Буффало?

Психея и небоскрёб

Перевод М. Кан.

Если вы философ, вы можете сделать вот что: подняться на крышу большого дома и, взирая с трехсотфутовой высоты на собратьев-людей, презирать их как ничтожных букашек. Они ползают, они толкутся и кружат, бесцельно, тупо, бестолково, точно какие-нибудь несуразные водяные клопы на пруду в летнюю пору. Не скажешь даже, что они снуют, как муравьи, ибо муравей, с присущим ему завидным здравомыслием, всегда знает, как ему быстрей попасть домой. Положение у муравья на земле невысокое, однако же как часто бывает, что он уж и домой пришел, и шлепанцы достал из-под кровати, а вы еще томитесь на высоте своего положения, застряв на станции надземки.

Итак, для философа-крышелаза человек — всего лишь презренная, ничтожная козявка. Биржевые маклеры и поэты, миллионеры, чистильщики сапог, красавицы, землекопы и политики превращаются в черные точечки, которые на улице шириной в ваш палец увертываются от других

черных точек чуть покрупней размером.

Сам город со столь возвышенной точки зрения, съежась, предстает сумбурным скопищем перекошенных строений в немыслимо искаженной перспективе, могучий океан преображается в лужу, сам земной шар — в мячик для гольфа, затерянный во вселенной. Все будничное и мелкое отступает прочь. Философ обращает свой взор к небесам, и, вдохновленный новым видением мира, воспаряет душой. Он ощущает себя потомком Вечности и преемником Времени. Он чувствует, что Пространство тоже должно достаться ему в законное и неотъемлемое наследство, и, воспламенясь, размышляет о том, как когда-нибудь существа, подобные ему, по таинственным воздушным тропам устремятся от планеты к планете. Крошечный мир у него под ногами, на котором, точно песчинка на Гималайской вершине, покоится стальная вышка небоскреба, — лишь бесконечно малая крупица в круговороте неисчислимого множества других таких же. Честолюбивые надежды черненьких суетливых букашек там внизу, их достижения, их пустяковые победы и привязанности — что они в сравнении с безмятежной и грозной беспредельностью вселенной, окружающей со всех сторон

их ничтожный город?

Что философа непременно посетят такие мысли, можно ручаться смело. Их специально отобрали из различных философских направлений, какие только есть на свете, и, снабдив в конце, как надлежит, вопросительным знаком, утвердили как непременный образец глубокомыслия на большой высоте. И когда философ садится в лифт и едет вниз, ум его обогащен, душа полна покоя, взгляды на сущность мироздания широки, как пряжка на поясе Ориона.

Однако если вас зовут Дэзи и вам девятнадцать лет, если вы работаете в кондитерской на Восьмой авеню и получаете шесть долларов в неделю, при том что встаете в шесть тридцать утра и трудитесь до девяти вечера, а живете в холодной и тесной, пять футов на восемь, меблированной каморке и тратите на завтрак всего десять центов, если к тому же вы никогда не изучали философию — тогда с высоты небоскреба вы будете, возможно, смотреть на вещи иначе.

Двое вздыхали о непричастной к философии Дэзи, двое домогались ее руки. Первым был Джо, владелец самой маленькой лавочки в Нью-Йорке. Она была примерно с ящик, в каких хранят рабочий инструмент, и лепилась, наподобие

ласточкина гнезда, к углу небоскреба в деловой части города. В ней продавались газеты, фрукты, конфеты, сборники песен, папиросы, а летом и лимонад. Когда же, тряся заиндевелыми кудрями, приходила суровая зима и загоняла Джо с его фруктами в помещение, то места в лавке оставалось в обрез на хозяина, его товар, печурку величиной с графинчик для уксуса и на одного покупателя.

Джо не принадлежал к той нации, что производит у нас фурор своими фугами и фруктами. Он был толковый молодой американец, который понемногу откладывал деньги и хотел, чтобы Дэзи помогала ему их проживать. Он уже три раза делал ей предложение. И любовная песня его звучала так:

— Ты знаешь, Дэзи, как я хочу, чтобы мы поженились, я и деньжат поднакопил. Магазин у меня, правда, не такой уж большой…

— Ну да, серьезно? — отзывалась та, что была непричастна к философии. — А говорят, тебя сам Уонамейкер[193] уламывает сдать ему излишки помещения на будущий год.

Каждый день утром и вечером Дэзи проходила

---

[193] Примечания: 193

В 1900-х гг. — владелец самого большого в Нью-Йорке универсального магазина.

мимо угла, где притулилась лавчонка Джо. И приветствие ее обычно звучало так:

— Эй, в конуре, как дела? Что-то, смотрю, у тебя стало пустовато. Не иначе, продал пачку жевательной резинки.

— Да, места здесь немного, это точно, — с широкой усмешкой отвечал ей Джо, — но на тебя, Дэз, хватит. Мы с магазином ждем не дождемся тебя в хозяйки. Ты уж нас долго не томи, хорошо?

— Магазин! — Дэзи с презрением морщила вздернутый носик. — Не магазин, а консервная банка! Ждете, говоришь? Ну-ну. Только придется тебе, Джо, выкинуть фунтов сто сластей, а то мне не уместиться.

— Что ж, с удовольствием, ведь это выйдет так на так, — галантно говорил Джо.

Жизнь Дэзи и без того протекала в узких границах. На работе нужно было двигаться бочком, чтобы протиснуться между полками и прилавком. Дома было больше уюта, чем свободного места. Стены стояли так близко друг от друга, что при малейшем движении громыхали отставшие обои. Рассматривая в зеркале свою каштановую пышную прическу, Дэзи могла зажечь одной рукой газ, а другой в это же время закрыть дверь. На комоде стояла карточка Джо в золоченой рамке,

и иногда при взгляде на нее… но тут мысль Дэзи неизменно обращалась к потешной лавочке, приткнутой, как ящик из-под мыла, к углу огромного здания, и вместо нежного вздоха слышался беззаботный смех.

Второй поклонник появился у Дэзи на несколько месяцев позже, чем Джо. Он снял комнату с пансионом в том же доме, где жила она. Звали его Дебстер, и он был философ. Достоинства этого совсем еще молодого человека бросались в глаза, как европейские наклейки на чемодане у жителя Пассейка, штат Нью-Джерси. Свои знания он почерпнул из энциклопедий и справочников, но что касается мудрости, она промчалась мимо, а он остался на обочине, отфыркиваясь и не успев заметить хотя бы номер ее автомобиля. Он мог, и не пропускал случая, рассказать вам, из чего состоит вода и почему человеку полезно есть горох и телятину, какой в Библии самый короткий стих и сколько фунтов гвоздей уйдет на то, чтобы прибить 256 дранок с зазором в четыре дюйма, каково население города Канкаки, штат Иллинойс, в чем суть теории Спинозы, как зовут младшего лакея в доме мистера Г. Маккея Тумли, какова длина туннеля сквозь гору Хусак, когда лучше всего сажать курицу на яйца, какое жало-

ванье получает почтовый курьер на железной дороге, участок Дрифтвуд — Ред-Банк-Фернес, штат Пенсильвания, и сколько насчитывается когтей в передней лапе кошки.

Столь нешуточное бремя познаний не отягощало Дебстера. Факты и цифры были для него словно бы веточки петрушки, приправа к легкой беседе, коей он потчевал вас, если усматривал, что это вам по вкусу. Кроме того, он пользовался ими как бруствером при фуражировке — за столом в пансионе. Обстреливая вас очередями цифр, связанных с тем, сколько весит один фунт пруткового железа сечением пять дюймов на два и три четверти и сколько в среднем выпадает ежегодно осадков в Форт-Снеллинге, штат Миннесота, он пронзал вилкой самый лакомый кусок курицы на блюде, пока вы только набирались духу спросить у него, отчего куры не клюют денег.

Оснащенный столь ослепительными доспехами, да и наружностью не обиженный, если вам нравится та брильянтиновая разновидность, какую в три часа дня встретишь на каждом шагу возле магазинов, он являл собою соперника, с которым Джо, содержателю микролавки, стоило бы, по-видимому, скрестить оружие. Однако Джо не носил при себе оружия. А если б и носил, то все

равно скрестить его было бы негде.

Как-то в субботу, часа в четыре, Дэзи с мистером Дебстером остановились у палатки Джо. На Дебстере был цилиндр и потому… ну, словом, Дэзи была женщина и не могла допустить, чтобы этот цилиндр вновь очутился в картонке, пока его не увидит Джо. Формальным же предлогом их визита была пачка ананасной жевательной резинки, каковую Джо и подал в распахнутые настежь двери лавочки. При виде цилиндра он не дрогнул, не переменился в лице.

— Мистер Дебстер пригласил меня подняться с ним сюда наверх для обозрения панорамы, — сказала Дэзи, когда познакомила своих обожателей. — Я никогда еще не была на крыше небоскреба. Наверное, там жутко здорово и интересно.

— Хм! — сказал Джо.

— Ландшафт, который открывается нашему взору с крыши высокого здания, — сказал Дебстер, — не только грандиозен, но и поучителен. Мисс Дэзи может быть уверена, что ее ждет большое удовольствие.

— Там, между прочим, тоже ветрено, — сказал Джо. — Ты хорошо оделась, Дэз?

— Будьте покойны! Напялила сто одежек, —

сказала Дэзи, со смущением и радостью отметив, как омрачилось его чело. — А ты тут, Джо, прямо как мумия в футляре. Уж не пополнились ли, чего доброго, твои запасы на фунт орехов или одно яблоко? По-моему, ты вконец затоварился.

Дэзи прыснула, наслаждаясь излюбленной шуткой, и Джо ничего не оставалось, как только улыбнуться тоже.

— В сравнении с масштабами этого дома, мистер, э… м-да, — заметил Дебстер, — ваше заведение, как мне представляется, несколько ограничено в размерах. Площадь бокового фасада здесь, если не ошибаюсь, приблизительно триста сорок футов на сто. Ваш магазин выглядит, соответственно, как если бы на территорию Соединенных Штатов к востоку от Скалистых гор — прибавив сюда же провинцию Онтарио и, скажем, такую страну, как Бельгия, — поместить половину Белуджистана.

— Нет, ей-богу? — простодушно сказал Джо. — Ну вы, приятель, по части цифр — прямо голова. А не скажете, сколько прессованного сена в квадратных фунтах сжует осел, если на целую минуту и пять восьмых перестанет орать «и-а, и-а»?

Через несколько минут Дэзи и мистер Дебстер уже выходили из лифта на верхнем этаже небо-

скреба. Потом крутая лесенка — и крыша. Дебстер подвел Дэзи к парапету и показал ей, как копошатся внизу на улицах черненькие точки.

— Что это такое? — дрожа, спросила она. Ей никогда не приходилось подниматься на такую высоту.

Как же тут было Дебстеру не войти в роль философа на башне и не увлечь ее душу за собою навстречу беспредельному пространству!

— Двуногие, — торжественно сказал он. — Заметьте, во что они превращаются, если подняться над ними хотя бы на триста сорок футов — сущие насекомые, ползают туда-сюда, а что толку?

— Да ничего подобного! — вдруг воскликнула Дэзи. — Это же люди! А вон автомобиль. Ой, значит, мы так высоко поднялись?

— Подойдите сюда, прошу вас, — сказал Дебстер.

Он показал ей огромный город, раскинувший далеко внизу стройные шеренги игрушечных домов, унизанные, несмотря на ранний час, первыми путеводными огоньками уличных фонарей. Потом он показал ей бухту, а за нею море, которое на юге и востоке таинственно сливалось с небом.

— Мне здесь не нравится, — объявила Дэзи,

встревоженно подняв на него свои голубые глаза. — Поехали вниз, а?

Но философ отнюдь не собирался упускать такой случай. Пусть сначала она узрит, сколь возвышен полет его мысли, на какой он короткой ноге с бесконечностью, как обильно уснащена его память статистикой. И тогда ее уже не прельстит более возможность наведываться за жевательной резинкой в самую маленькую лавочку Нью-Йорка. И мистер Дебстер принялся разглагольствовать о мизерности и тщете людских забот, о том, что, вознесясь над землей даже на столь ничтожное расстояние, сознаешь, что человеку и делам его цена не больше, чем десяток медных, трижды пересчитанных грошей. И потому нам надлежит сделать предметом наших помыслов звездные миры и выкладки Эпиктета, и в том черпать для себя утешение.

— Лично меня это как-то не манит, — сказала Дэзи. — По-моему, если хотите знать, просто ужас, когда ты так высоко, а люди под тобой словно блохи. А вдруг это мы Джо там видели внизу. Надо же, как будто смотришь из соседнего штата. Да мне тут просто страшно!

Философ глуповато улыбнулся.

— Среди пространства, — говорил он, — сама

земля — всего лишь зернышко пшеницы. Взгляните, пожалуйста, наверх.

Дэзи с опаской покосилась на небо. Короткий день угас, и уже высыпали первые звезды.

— Вон там, — говорил Дебстер, — вы видите Венеру, вечернюю звезду. Она отстоит от Солнца на шестьдесят шесть миллионов миль.

— Вот уж это враки! — сказала Дэзи, и от возмущения у нее на минуту прошел страх. — Что я, по-вашему, из Бруклина, что ли? Сьюзи Прайс из нашей кондитерской ездила в Сан-Франциско к брату, он ей присылал на билет. Так туда и то всего три тысячи миль.

Теперь философ улыбнулся снисходительно.

— Наша Земля, — сказал он, — находится на расстоянии девяноста одного миллиона миль от Солнца. А существуют восемнадцать звезд первой величины, которые от Солнца в двести одиннадцать тысяч раз дальше нас. Если одна из них погаснет, ее последний луч долетит до нас только через три года. Кроме того, есть шесть тысяч звезд шестой величины. Их свет доходит до Земли уже за тридцать шесть лет. В восемнадцатифутовый телескоп мы увидим сорок три миллиона звезд и в том числе — звезды тринадцатой величины, свет которых достигает Земли за две тысячи

семьсот лет. Каждая такая звезда…

— Неправда! — сердито вскричала Дэзи. — Вы нарочно меня пугаете. Вы и так меня уже напугали, я хочу вниз!

Она топнула ногой.

— Арктур… — начал было философ примирительно, но тут, прервав его на полуслове, ему из глубины своей безмерности предъявила наглядный аргумент та самая Природа, которую он тщился описать, напрягая память, но позабыв про сердце. Ибо тому, кто толкует Природу сердцем, известно, что звезды укреплены на небесном своде с одной целью — лить ласковый свет на влюбленных, блаженно блуждающих под ними, и если в сентябрьскую ночь вы, рука об руку с милой, встанете на цыпочки, окажется, что до них не так уж трудно дотянуться. Чтобы их свет летел к нам целых три года? Чушь какая!

Откуда-то с запада вынырнул метеор, и на крыше небоскреба сделалось вдруг светло как днем. Метеор пронесся по небу, прочертив с запада на восток огненную параболу. Он шипел на лету, и Дэзи взвизгнула.

— Везите меня вниз, ходячая вы арифметика! — крикнула она отчаянно.

Дебстер помог ей сойти с лесенки, они вошли в

лифт. Глаза у Дэзи были безумные, и когда, мгновенно вызвав у пассажиров слабость в коленках, лифт-экспресс ухнул вниз, она передернулась.

За вращающейся дверью небоскреба философ ее потерял. Она исчезла, а он озадаченно топтался на месте, и ни факты, ни цифры не поспешили ему на выручку.

У Джо наступило затишье в торговле, и он, извиваясь змеей, пробрался между ящиками с товаром, зажег папиросу и приладил одну озябшую ногу к чахлой печурке.

Дверь лавочки распахнулась, и Дэзи, смеясь и плача, спотыкаясь, рассыпая по полу фрукты и конфеты, кинулась к нему на грудь.

— Ну вот, Джо, я побывала на небоскребе! Ой, до чего тут у тебя тепло, уютно, хорошо! Я согласна за тебя выйти, Джо, когда захочешь.

Багдадская птица

Перевод В. Азова.

Без всякого сомнения, дух и гений калифа Гаруна аль-Рашида осенил маркграфа Августа-Михаила фон Паульсена Квигга.

Ресторан Квигга находится на Четвертой авеню — на улице, которую город как будто позабыл в своем росте. Четвертая авеню, рожденная и воспитанная в Бауэри, смело устремляется на север, полная благих намерений.

Там, где она пересекает Четырнадцатую улицу, она с важностью величается одно короткое мгновение в блеске музеев и дешевых театров. Она могла бы, начиная отсюда, стать равной своему высокорожденному брату бульвару, который тянется отсюда на запад, или своему шумному, многоязычному, широкогрудому кузену на востоке. Она проходит через Юнион-сквер, и здесь копыта ломовых лошадей топчут ее в унисон, вызывая в памяти топот марширующей толпы. Но вот подступают молчаливые и грозные горы — здания, широкие, как крепости, высокие до облаков, закрывающие небо, дома, в которых

тысячи рабов проводят целые дни, склонившись над своими конторками. В нижних этажах помещаются только маленькие фруктовые лавки, прачечные и лавки букинистов. А затем бедная Четвертая авеню впадает в одиночество Средневековья. С каждой стороны ее обступают лавки, посвященные «антикам».

Ночь. Люди в ржавых доспехах стоят в окнах и грозят кулаками в ржавых железных рукавицах торопливым автомобилям. Панцири и шлемы, мушкеты кромвелевских времен, нагрудники, кремневые ружья, мечи и кинжалы целой армии давно отошедших храбрецов таинственно блестят в бледном, нездешнем свете. Время от времени из ярко освещенного углового бара выходит гражданин, возбужденный возлияниями, и робко ступает на древнюю улицу, ощетинившуюся окровавленным оружием воинственных мертвецов. Какая улица может жить в окаймлении этих смертных реликвий и попираемая этими призрачными пьянчужками, в упавших сердцах которых замерла уже последняя нота кабацкого «тра-ля-ля»?..

Четвертая авеню не может. Даже после мишурного, но возбуждающего блеска Литл-Риальто, даже после оглушительных барабанов Юни-

он-сквера. Нечего тут проливать слезы, леди и джентльмены: это только самоубийство улицы. С визгом и скрежетом Четвертая авеню ныряет головою вниз в туннель у пересечения с Тридцать четвертой — и больше уже никто ее не видел…

Скромный ресторан Квигга стоял поблизости от этого печального зрелища гибнущей улицы. Он стоит там и посейчас, и если вы хотите полюбоваться его обваливающимся краснокирпичным фасадом, его витриной, набитой апельсинами, томатами, кексами, спаржей в банках, его омаром из папье-маше и двумя живыми мальтийскими кошечками, спящими на пучке латука; если вы хотите посидеть за одним из его маленьких столиков, покрытым скатертью, на которой желтейшими из кофейных пятен обозначен путь грядущего нашествия на нас японцев, — посидеть, не спуская одного вашего глаза с вашего зонтика, а другой уперев в подложную бутылку, из которой вы потом накапаете себе поддельной сои, которой нас награждает проклятый шарлатан, выдающий себя за нашего милого старого господина и друга «индийского дворянина», — идите к Квиггу.

Титул свой Квигг получил через мать. Одна из ее прабабок была маркграфиней саксонской. Его

отец был молодцом из тамманийской шайки. Квигг учел раздвоение своей наследственности и понял, что никогда не сможет стать ни владетельным герцогом, ни получить должность по городскому самоуправлению. И он решил открыть ресторан. Это был человек мыслящий и начитанный. Дело давало ему возможность жить, хотя он и мало интересовался делами. Одна часть его предков одарила его натурой поэтической и романтической, другая завещала ему беспокойный дух, толкавший его на поиски приключений. Днем он был Квигг-ресторатор. Ночью он был маркграф, калиф, цыганский барон. И ночью он бродил по городу в чаянии странного, таинственного, необъяснимого, темного.

Однажды вечером, в девять часов, когда ресторан закрылся, Квигг выступил в свой ночной поход. Когда он наглухо застегивал свое пальто, он являл с своей коротко подстриженной, темной с проседью бородой смесь чего-то иностранного, военного и артистического. Он взял курс на запад, по направлению к центральным и оживленным артериям города. В кармане у него был целый ассортимент надписанных визитных карточек, без которых он никогда не выходил на улицу. Каждая из этих карточек представляла собою

чек из его ресторана. Некоторые давали право на бесплатную тарелку супа или на кофе с бутербродом, другие давали предъявителю право на один, два, три и больше обедов, третьи на то или другое отдельное блюдо из меню. Некоторые — их было немного — являлись талонами на пансион в течение целой недели.

Богатством и могуществом маркграф Квигг не обладал, но у него было сердце калифа: быть может, некоторые золотые монеты, розданные в Багдаде на базаре, распространили среди несчастных меньше тепла и надежды, чем квиггово бычачье рагу между рыбаками и одноглазыми коробейниками Манхеттена.

Продолжая свой путь в поисках романтического приключения, которое развлекло бы его, или бедствия, в котором он мог бы оказать помощь, Квигг увидел на углу Бродвея и пересекающего его бульвара толпу. Толпа быстро росла, люди галдели и дрались. Он поспешил подойти поближе и увидел в центре молодого человека, в высшей степени меланхолической наружности, спокойно и сосредоточенно доставшего из своего кармана серебряную мелочь и посыпавшего ею мостовую. Каждое движение руки щедрого молодого человека сопровождалось радостным ревом толпы,

сейчас же устремлявшейся на добычу. Уличное движение приостановилось. Полисмен в центре толпы, ежеминутно наклоняясь к земле, убеждал толпу разойтись.

Маркграф сразу понял, что его интерес к отклонениям человеческого сердца в сторону ненормального найдет себе здесь пищу. Он быстро пробился к молодому человеку и взял его под руку.

— Идите сейчас же со мной, — сказал он тихим, но повелительным голосом, которого так боялись его лакеи.

— Испекся, — сказал молодой человек, глядя на него ничего не выражающими глазами. — Попал в руки к дантисту, вырывающему зубы без боли. Ну, ведите меня куда надо. Некоторые кладут яйца, а некоторые не кладут. Когда курица?...

Все еще глубоко подавленный каким-то внутренним потрясением, но сговорчивый, молодой человек дал себя увести. Квигг привел его в маленький сквер и усадил на скамейке.

Осененный уголком плаща великого калифа, Квигг заговорил с мягкостью и осторожностью. Он пробовал узнать, какая беда стряслась с молодым человеком, расстроила его дух и толкнула его на столь легкомысленное и разорительное

расточение его добра и имущества.

— Я изображал Монте-Кристо, правда? — спросил молодой человек.

— Вы швыряли на мостовую мелочь, — сказал калиф, — чтобы толпа ползала за ней на коленях.

— Вот именно. Сначала пьешь пиво, сколько можешь влить в себя, а потом начинаешь кормить цыплят… Прокляты они будь — цыплята, куры, перья, вертела, яйца и все, что к ним относится.

— Молодой человек, — сказал маркграф мягко, но с достоинством. — Я не говорю вам: будьте со мной откровенны, я только приглашаю вас к откровенности. Я знаю свет и знаю людей. Человек — предмет моего изучения, хотя я и не смотрю на него, подобно ученому, как на насекомое, или, подобно филантропу, — как на объект для приложения своих деяний. Между мною и человеком нет дымки теории и невежества. Я интересуюсь особыми и сложными неудачами, в которые ввергает моего брата, человека, жизнь в большом городе. Это изучение доставляет мне развлечение и радость. Вам, может быть, известна история славного и бессмертного правителя, калифа Гаруна аль-Рашида, чьи мудрые и благодетельные

экскурсии в жизнь его народа в Багдаде дали ему счастливую возможность исцелить столько ран? Я смиренно шествую по его стопам. Я ищу романтику и приключения не в руинах замков и не в развалинах дворцов, а на улицах города. Величайшие чудеса магии, с моей точки зрения, развертываются в человеческом сердце, вызываемые свирепыми и противоречивыми силами скученного в городе множества. В вашем странном сегодняшнем поведении мне чудится роман. Ваш поступок представляется мне чем-то более глубоким, чем безобразничанием обыкновенного мота. Я замечаю на вашем лице черты, свидетельствующие о снедающем вас горе и даже отчаянии. Повторяю: я приглашаю вас к откровенности. Я не лишен некоторой возможности облегчить или посоветовать. Хотите довериться мне?

— А вы здорово говорите, — воскликнул молодой человек, и туманная печаль в его глазах сменилась на мгновение блеском восхищения. — Вы прямо свели всю Асторовскую библиотеку в содержание предшествующих глав. Я знаю этого старого турка, про которого вы говорите. Я читал и «Арабские ночи», когда я был ребенком. Слушайте: вы можете взмахнуть волшебной кухонной тряпкой и вызвать из бутылки гиганта?

Только, пожалуйста, чтобы он не хватал меня за ноги. Для моего случая такое лечение не годится.

— Я хотел бы выслушать вашу историю, — сказал маркграф со своей важной, серьезной улыбкой.

— Я расскажу вам ее в девяти словах, — сказал молодой человек с глубоким вздохом. — Но я не думаю, чтоб вы хоть сколько-нибудь могли помочь мне. Разве только, что вы можете слетать за разгадкой, на вашем волшебном линолеуме, на Босфор.

С праздником!

Перевод под ред. В. Азова.

Невозможно больше писать рождественские рассказы. Фантазия вся исчерпана, а газетная хроника фабрикуется ловкими молодыми журналистами, рано женившимися и обладающими симпатичным пессимистическим взглядом на жизнь. Мы, таким образом, ограничены в наших сезонных заготовках двумя чрезвычайно сомнительными источниками — фактами и философией. Начнем с... называйте это как вам угодно.

Дети — вредные маленькие животные, с которыми нам приходится ладить при самых разнообразных условиях. В особенности, когда их постигает какое-нибудь горе, мы совершенно теряем голову. Мы исчерпываем наш скудный запас утешений и затем прогоняем их, плачущих, спать. После этого мы копаемся в пыли миллионов лет и спрашиваем у Бога почему? Детей понимают только старые девы, горбуны и овчарки.

А теперь обратимся к обстоятельствам дела о

лоскутной кукле, оборванце и двадцать пятом декабря.

Десятого числа этого месяца ребенок миллионера потерял свою лоскутную куклу. Во дворце миллионера на Гудзоне было много слуг; они обыскали весь дом и парк, но потерянного сокровища не нашли. Девочке было пять лет; это был один из тех упрямых зверенышей, которые оскорбляют чувства богатых родителей, сосредоточив свою привязанность на какой-нибудь вульгарной дешевой игрушке.

Ребенок огорчался глубоко и искренно; это необычайно удивляло миллионера, для которого лоскутно-кукольный рынок был не более интересен, чем акции какой-нибудь третьестепенной газовой компании; удивлялась также и леди, мать ребенка, которая стояла всецело за этикет, то есть почти всецело, как мы увидим ниже.

Ребенок плакал безутешно; глазки его впали, коленки дрожали, ножки тряслись, и весь он развинтился до последней степени. Миллионер улыбался и с доверием похлопывал по своему бумажнику. Отборнейшие игрушки со складов французских и немецких игрушечных фабрикантов были переброшены экстренно в особняк; но Рейчел была неутешна. Она плакала по сво-

ем погибшем тряпичном ребенке и стояла за запретительные пошлины на всякую иноземную ерунду. Затем были приглашены врачи с наилучшими возлекроватными манерами и хронометрами. Один за другим они бесплодно что-то бормотали про пептоновое марганцево-кислое железо, морской воздух и гипофосфат, пока их замечательные хронометры не напоминали им, что мистер Гонорар ждет ответа. В конце концов они, как простые смертные, советовали разыскать как можно скорее куклу и возвратить ее оплакивающей ее родительнице. Ребенок фыркал на всю эту терапевтику, сосал палец и вопил по своей Бетси. Тем временем не переставали поступать телеграммы от рождественского Деда, в которых дед извещал, что он скоро прибудет, и увещевал всех обнаружить истинный христианский дух, оставив на время игорные дома и политику, чтобы встретить его с подобающей честью. Дух Рождества носился в воздухе. Банки отклоняли учет, ломбарды удвоили штат служащих, на улице разносчики набивали вам шишки на лбу, суя вам под нос красные игрушечные санки. В окнах магазинов были выставлены гирлянды из омелы; у кого имелись шубы, те надевали их. Одним словом, время было самое неподходящее для потери

тряпичной куклы — радости своего сердца.

Если бы любознательный друг доктора Ватсона был приглашен для раскрытия этого таинственного исчезновения, он, может быть, обратил бы внимание на известную картину «Вампир» на стене миллионерского особняка. По индукции это быстро привело бы его к следующему заключению: «Тряпка, кость и клок волос». Флип, шотландский терьер, ближайшее после куклы существо к сердцу девочки, стрельнул через комнату. Клок волос! Ага! Х, — неизвестная величина, — означает тряпичную куклу. Но кость! Эврика! Когда собаки находят кость, они ее… Готово! Ничего не было бы легче, как освидетельствовать передние лапы Флипа. «Смотрите, Ватсон! Земля, сухая земля между пальцами! Ясное дело: собака…» Но там не было Шерлока, и это дело, таким образом, отпадает. Требуется интервенция топографии и архитектуры.

Дворец миллионера занимал обширное пространство. Перед фасадом была лужайка, подстриженная так коротко, что она напоминала щеки ирландца через два дня после бритья. По одной стороне ее, фасадом на другую улицу, были расположены службы и находились гаражи и конюшни. Шотландский терьер похитил куклу

из детской, потащил ее на лужайку, вырыл яму в уголке и закопал ее там по способу недобросовестных гробовщиков. Тайна, значит, раскрыта и не надо писать чек мифическому чудодею и совать пятерку полицейскому сержанту. Спустимся теперь, усталый читатель, поближе к центру всей этой истории — к рождественской ее сердцевине.

Фези был пьян, — не буйно, не беспомощно и не болтливо пьян, как можем быть пьяны вы или я, но прилично, соответственно и безобидно, как и подобает джентльмену, оказавшемуся в стесненных обстоятельствах.

Фези был рыцарем неудачи. Шоссе, стог сена, скамейка в парке, кухонная дверь, горечь благотворительной койки с приспособлением для душа, мелкие находки и унизительные щедроты большого города — таковы последовательные главы его истории.

Фези шел по направлению к реке по улице, прилегавшей к службам миллионерского особняка. Он увидел ногу Бетси, пропавшей лоскутной куклы, высунувшуюся из своей преждевременной могилы, в углу ограды, как ключ к тайне какого-то лилипутского убийства. Вытянув несчастную Бетси и сунув ее под мышку, он пошел своей до-

рогой, напевая песенку, содержание которой ни одна кукла, воспитанная для приличной жизни под кровлей, не должна была бы слышать. Хорошо, что у Бетси не было ушей, и хорошо, что у ней не было глаз, кроме слепых черных кружков; потому что физиономии Фези и шотландского терьера были схожи, как лица двух родных братьев, и ни одна лоскутная кукла не выдержала бы вторичного плена у таких страшных чудовищ.

Надо вам знать, что салун Грогана находится близ реки, в конце улицы, по которой шел Фези. У Грогана рождественское веселье было уже в полном разгаре.

Фези вошел туда с своей куклой. У него явился план — выступить в качестве мима на этих сатурналиях. Авось и ему перепадет несколько капель из чаши веселья.

Посадив Бетси на стойку, он обратился к ней с громкой и веселой речью, уснащая свою речь комплиментами и нежностями, как кавалер, занимающий свою зазнобу. Пьяницы оценили шутку и гоготали. Бармен налил Фези стаканчик. Что же? Многие из нас извлекают тоже, что могут, из лоскутных кукол.

— А для барышни? — нахально воскликнул Фези и опустил за галстук повторное воздаяние

искусству.

Он начал видеть в Бетси кое-какие возможности. Премьера прошла с несомненным успехом. Ему начало уже мерещиться турне по городским кабакам.

В группе у печки сидели «Голубь» Мак-Карти, Черный Рейли и «Одноухий» Майк, пользовавшиеся большой и очень скверной репутацией в хулиганском районе, черневшем на левом берегу реки. Истрепанный газетный лист ходил у них по рукам. Каждый из них тыкал своим заскорузлым пальцем в одно место. Это было объявление, озаглавленное: «Сто долларов вознаграждения». Чтобы заработать эту сумму, требовалось возвратить пропавшую, заблудившуюся или украденную из дома миллионера лоскутную куклу.

Очевидно, тоска продолжала еще неослабно грызть душу любвеобильного ребенка. Флип, терьер, тщетно кувыркался перед ним и тряс своей смешной лохматой мордой. Девочка оплакивала свою Бетси прямо в лицо расхаживающим, болтающим, говорящим «мама» и закрывающим глаза французским куклам. Объявление было последней попыткой.

Черный Рейли вышел из-за печки и подошел

своей обычной односторонней параболической походкой к Фези.

Рождественский лицедей, окрыленный успехом, засунул было уже Бетси под мышку и собирался отправиться собирать плоды своих импровизаций в другой салун.

— Эй, стрелок, — обратился к нему Рейли. — Где ты откопал эту куклу?

— Эту куклу? — переспросил Фези, дотронувшись до Бетси, чтобы убедиться, что речь идет именно о ней. — Эта кукла была презентована мне белуджистанским императором. У меня имеется еще семьсот других в моем загородном особняке, в Ньюпорте…

— Брось балаганить, — сказал Рейли. — Ты или свистнул ее, или подобрал ее там, в особняке, на горке… впрочем, это неважно. Хочешь получить полдоллара за эту тряпку? Чего думаешь-то? У моего брата девчурка дома. Куплю ей на праздник, пускай забавляется. Ну?

Он предъявил монету.

Фези засмеялся ему в лицо хриплым наглым алкогольным смехом. Подите к антрепренёру Сары Бернар и предложите ему освободить ее от вечернего представления для участия в семейном художественном вечере школьного литератур-

ного кружка. Вы услышите тогда дубликат этого смеха.

Черный Рейли быстро оценил Фези одним взглядом своих черничных глаз, как профессиональный борец своего противника. У него зачесались руки от желания сыграть римлянина и исторгнуть лоскутную сабинянку из объятий импровизированного балагура. Но он сдержался. Фези был жирен, крепко сбит и большого роста. Три дюйма хорошо упитанного тела, защищенного от зимних ветров грязным бельем, служили интервалом между его жилетом и брюками. Бесчисленные мелкие круглые морщинки на рукавах и коленях гарантировали качество его мускулов. Его маленькие синие глазки смотрели кротко, но без смущения. Он был волосат, пьяноват, физически грозен. Так что Черный Рейли медлил.

— Что возьмешь за нее, говори? — спросил он.

— Не продажная, — сухо и твердо ответил Фези. Он был опьянен первой сладкой чашей артистического успеха. Посадить на стойку вылинявшую, запачканную в земле лоскутную куклу изобразить с нею мимическую сцену и почувствовать, как сердце бьется от заслуженных аплодисментов, а глотку обжигает даровыми возлияниями

— может ли презренный металл заменить столь святые ощущения? Согласитесь, что Фези обладал темпераментом.

Он вышел походкой ученого моржа на соискание дальнейших кабацких триумфов.

Хотя сумерки еще не сгустились, огни начали уже выскакивать там и сям по городу, как маисовые зерна, лопающиеся в кастрюле. Канун Рождества, ожидаемый с нетерпением, выглядывал уже красными глазами из-под часовой стрелки. Миллионы готовились встретить его. Город решили превратить в сплошной карнавал. Вы сами уже слышали трубные звуки и обходили через несколько улиц кругом, чтобы не столкнуться с жрецами сатурналий.

Голубь Мак-Керти, Черный Рейли и Одноухий Майк устроили быстрое совещание на улице против грогановского салуна. Они были все трое узкогрудые, бледные юноши, не бойцы в открытую, но по своим боевым приемам они были опаснее страшнейшего из турок. В правильном бою Фези съел бы всех троих без соли, но в свалке, в так называемой борьбе «кто во что горазд», он, разумеется, был обречен.

Они нагнали его как раз в тот момент, когда он и Бетси входили в казино Костигана. Остановив

его, они сунули ему под нос газету.

— Ребята, — сказал он, — вы, я вижу, действительно дьявольски хорошие друзья. Дайте мне неделю на размышление.

Душа настоящего артиста всегда взмывает кверху в затруднительном положении.

Ребята осторожно указали ему на то, что объявления вообще бездушны и что синица в руках лучше журавля в небе.

— Сотняга чистоганом, — задумчиво произнес Фези. — Ребята, — продолжал он, — вы верные друзья. Я пойду и потребую вознаграждение. Театральные дела теперь действительно не того.

Ночь надвигалась более быстрым темпом. Тройка тащилась по его пятам и сопровождала его до начала подъема, на котором стоял особняк миллионера. Фези сердито обернулся к ним.

— Вы, свора беломордых вонючих щенков! — зарычал он. — Пошли вон!

Они отошли. Немного.

У Голубя Мак-Карти лежал в кармане кусок газовой трубы толщиной в дюйм и длиной в восемь дюймов. Один конец ее был плотно залит свинцом. Черный Рейли, как уважающий себя хулиган, имел при себе тяжелый металлический шар, прикрепленный к короткому ремню. Одно-

ухий Майк всецело полагался на пару железных кулаков — наследственное достояние в его роде.

— Зачем нам самим трудиться, подниматься в гору, — сказал Черный Рейли, — когда мы можем послать другого? Пусть он вынесет нам деньги сюда.

— Хорошо бы бросить его в воду с камнем, привязанным к ногам, — предложил Голубь Мак-Карти.

— Вы, арапы, чушь городите, уши вянут, — грустно сказал Одноухий Майк. — Видно, прогресс еще не коснулся вас. Брызнуть ему в глаза газолину и положить посреди дороги. Плохо, что ли?

Фези вошел в парадный двор дома миллионера и зигзагами направился к мягко сиявшему входу в особняк. Три гнома подошли к воротам и остановились — двое по обе стороны ворот и один против ворот на дороге. Каждый из них потихоньку ощупывал свое оружие.

Глуповато и мечтательно улыбаясь, Фези позвонил. Повинуясь атавистическому инстинкту, левая его рука потянулась было к пуговке на перчатке правой руки. Но он не носил перчаток, и левая рука смущенно опустилась.

Особенный наемник, чья специальная обязанность заключалась в открывании дверей перед

шелками и кружевами, испугался при первом взгляде на Фези. Но следующий его взгляд увидел под мышкой у Фези паспорт, входную карточку, мандат на радушный прием: пропавшую лоскутную куклу хозяйской дочери.

Фези был впущен в просторную прихожую, тускло освещенную скрытыми лампами. Наймит ушел и вернулся с горничной и ребенком. Кукла была возвращена по принадлежности. Девочка прижала к сердцу свою пропавшую любимицу и вслед за тем с невоздержанным и откровенным детским эгоизмом стукнула ножкой и выразила ненависть и страх по адресу отвратительного субъекта, исторгнувшего ее из омута скорби и отчаяния. Фези распустил свою физиономию в идиотскую улыбку и тошнотворно засюсюкал тоном, который считается обольстительным для распускающегося детского интеллекта. Девочка заплакала и была уведена с Бетси, крепко прижатой к ее груди.

Тогда на сцену явился секретарь, бледный, важный, полированный, в скользких башмаках, боготворящий помпу и церемонность. Он отсчитал в руку Фези десять бумажек по десять долларов, бросил взгляд на дверь, перебросил его потом на Джемса, ее хранителя, скользнул им

по невзрачному акцептанту и разрешил своим башмакам отнести его назад, в его секретарские пределы.

Джемс направил свой собственный повелительный взгляд сначала на Фези, а потом на входную дверь. Когда деньги коснулись грязной ладони Фези, его первым импульсом было задать стрекача; но второй импульс удержал его от такого нарушения этикета. Деньги принадлежали ему, они были ему даны. Какой рай они открывали его мысленному взору! Он скатился к самому подножью житейской лестницы; он был голодный, бесприютный, одинокий, оборванный, озябший бродяга; а в руке его лежал ключ к грязному раю, по которому он тосковал. Сказочная кукла взмахнула волшебным жезлом, который она держала в своей набитой тряпками руке. Теперь, куда бы он ни направился, чудесные храмы с полированными медными опорами для ног и магическими красными жидкостями в блестящем хрустале будут открыты для него.

Он последовал за Джемсом к двери.

Но когда ливрейный наемник распахнул перед ним тяжелую дверь красного дерева, ведущую в вестибюль, он остановился.

За узорной железной решеткой, на темной

улице, как бы случайно, прогуливались Черный Рейли и его два товарища, ощупывая под платьем орудия, гарантировавшие переход вознаграждения за найденную лоскутную куклу к ним.

Фези остановился у дверей и собрался с мыслями. Как маленькие побеги омелы на мертвом дереве, какие-то зеленые живые образы и воспоминания зашевелились в его ходуном ходившей голове. Он был пьян, и настоящее начинало бледнеть перед ним. Эти зеленые венки и гирлянды с красными бусинками ягод, так смягчавшие суровость этого большого вестибюля, где он видел их раньше? Когда-то и он знал полированные полы и запах свежих цветов зимою, и кто-то пел песнь где-то в глубине дома, и ему казалось, что и эту песнь он когда-то слышал. Кто-то пел и играл на арфе. Конечно! Рождество!

И он ушел от настоящего, и из какого-то невозможного, исчезнувшего, невозвратимого прошлого вернулось к нему маленькое, чистое, белое, прозрачное, забытое видение — дух noblesse oblige.

Джемс открыл наружную дверь. Луч света упал на укатанную дорожку к воротам. Черный Рейли, Мак-Карти и Одноухий Майк как бы невзначай перебросили свой зловещий кордон поближе к

калитке.

С жестом, более величественным, чем когда-либо употребил или мог употребить сам повелитель Джемса, Фези заставил этого наемника закрыть дверь. Некоторые обстоятельства обязывают джентльмена в Рождество.

— Ты не знаешь порядков, — сказал он взволнованному Джемсу. — Когда джентльмен приходит в дом в канун Рождества, он должен поздравить с праздником хозяйку дома. Понял?

Произошел спор. Джемс проиграл. Фези возвысил голос, и он прогремел неприятным эхом внутри дома. Я не сказал, что он был джентльменом. Он был просто бродягой, которого навестило привидение.

Зазвенел серебряный колокольчик. Джемс побежал на звонок, оставив Фези в холле. Джемс где-то кому-то что-то объяснял.

Затем он пришел и провел Фези в библиотеку.

Через минуту вошла хозяйка дома. Она была красивее и святее, чем на любой из картин, которые Фези когда-либо видел. Она улыбнулась и сказала что-то про куклу. Фези не понял ее: он ничего не помнил про куклу.

Лакей внес два маленьких бокала с пенящимся вином на чеканном серебряном подносе. Леди

взяла один бокал, другой был подан Фези.

Когда пальцы его сомкнулись вокруг стройной ножки бокала, его немощь покинула его на одно мгновенье. Он выпрямился, и время, столь мало предупредительное к большинству из нас, обратилось вспять, чтобы поддержать Фези.

Забытые рождественские видения, белее фальшивых бород самых дорогих дедушек-морозов кружились перед ним в парах гроганского виски. Что было общего между особняком миллионера и длинным залом в Вирджинии, где мужчины сгруппировались вокруг серебряной чаши с пуншем, провозглашая переходящий из рода в род тост старого дома? И какое отношение имеет стук копыт извозчичьих лошадей по мерзлой мостовой к ржанью оседланных охотничьих лошадей, нетерпеливо перебирающих ногами под сенью веранды? И что было общего у Фези со всем этим?

Леди взглянула на Фези поверх своего бокала, и снисходительная улыбка на ее лице померкла, как ложная заря. Ее глаза приняли серьезное выражение. Под лохмотьями и бородой шотландского терьера она заметила что-то другое, непонятное ей. Но в общем это не имело для нее особого значения.

Фези поднял стакан и неопределенно улыбнулся.

— Пр-ростите, мэдем, — произнес он, — но я не мог покинуть дом, не поздравив хозяйку с праздником. Было бы против принципов джентльмена…

И он затянул старинное поздравление, которое было традиционным в доме в ту пору, когда мужчины носили на манжетах кружева и пудрили себе лица.

— Благоденствие…

Память изменила Фези. Леди подсказала:

— Да снизойдет на сей очаг…

— Гостя… — заикнулся Фези…

— И на нее, которая… — продолжала леди с одобряющей улыбкой.

— Э, да ну его! — грубо оборвал Фези. — Ни черта не помню!

— Ваше здоровье!

Фези расстрелял свои патроны. Они выпили. Леди опять улыбнулась — улыбкой своей касты. Джемс обнял Фези и проводил его до дверей. Звуки арфы все еще мягко проносились по дому.

Снаружи Черный Рейли дул себе в озябшие руки и жался к калитке.

— Хотела бы я знать, — задумчиво сказала

леди… — Хотела бы я знать: воспоминания — проклятие или благодать для тех, кто так низко пал?

Фези и его провожатый приближались к двери.

Леди позвала:

— Джемс!

Джемс рабски бросился обратно, оставив Фези в нерешительном ожидании. Мимолетная вспышка божественного пламени уже выдохлась в нем.

Снаружи Черный Рейли топал окоченевшими ногами и крепче сжимал свою газовую, налитую свинцом трубку.

— Проводите этого джентльмена вниз, — приказала леди, — и скажите Луи, чтобы он вывел «мерседес» и отвез этого джентльмена, куда он укажет.

Новая сказка из «Тысячи и одной ночи»

Перевод О. Холмской.

Великий город Багдад-над-Подземкой переполнен калифами. В его дворцах, на его базарах, в чайханах и в переулках толпами скитаются аль-Рашиды во всех обличьях, ищущие развлечения и жертв для своей необузданной щедрости. Вряд ли найдется в Новом Багдаде хоть один смиренный нищий, которому они позволили бы без участия с их стороны наслаждаться своей дневной добычей, или хоть один горемычный банкрот, которого они не пожелали бы снабдить средствами для новых злоключений. Вряд ли найдется в Багдаде хоть один голодающий, которому не случалось потуже затягивать пояс в сооруженных на их пожертвования публичных библиотеках, или хоть один скромный служитель науки, которого они не вгоняли бы в краску, сваливая в праздники на его порог корзину с увенчанной сельдереем индейкой под восторженные клики газет, всегда готовых прославлять калифское великодушие.

И по кишащим Гарунами улицам с великой

опаской прокрадываются Одноглазый Дервиш, Маленький Горбун и Шестой Брат Цирюльника, тщетно стараясь ускользнуть от пиратствующей орды попечительных султанов.

Можно без скуки провести не одну ночь, слушая изумительные повествования о тех, кому удалось уклониться от благодеяний, расточаемых армией повелителей правоверных. До утра можно сидеть на волшебном коврике и внимать рассказам о могучем Джинне Рок-Эф-Эль-Эре, который подослал сорок разбойников выкачать нефтяной фонтан Али-Бабы; о добром калифе Кар-Нег-Ги, который раздавал дворцы направо и налево; о Синдбаде Гореплавателе и его Семи Путешествиях среди островов на деревянных пароходах для воскресных экскурсий; о Рыбаке и Бутылке; о пирах за табльдотом Владетеля дешевых меблированных комнат Бармекида, где пирующие таинственным образом никогда не насыщались, и о том, как Аладдин достиг богатства при помощи своего чудесного Газового Счетчика.

Но так как теперь имеется десять султанов на одну Шехерезаду, ей уже нет нужды бояться рокового шнурка. В результате искусство рассказа приходит в упадок. И чем усерднее калифы низшего ранга занимаются травлей беззабот-

ных бедняков и смирившихся со своей участью несчастливцев, стремясь выгнать их из-под укрытия и обрушить на их головы свои причудливые щедроты и фантастические милости, тем чаще приходят из арабских штабов известия, что пленник не пожелал «отвечать на вопросы согласно анкете».

Именно этим недостатком откровенности со стороны актеров, разыгрывающих печальную комедию нашего умученного филантропией мира, и объясняются некоторые несовершенства рассказанной ниже и с трудом, по зернышку и по колоску, собранной истории, которую мы предлагаем вам под названием -

ИСТОРИЯ КАЛИФА,

ПЫТАВШЕГОСЯ ОБЛЕГЧИТЬ

СВОЮ СОВЕСТЬ

Старый Джекоб Спраггинс подошел к дубовому буфету стоимостью в тысячу двести долларов, налил в стакан шотландского виски, добавил содовой воды и выпил.

Под влиянием этого напитка его, видимо, осенило вдохновение, ибо он хватил кулаком по

дубовой панели и громогласно заявил, обращаясь к своей просторной и в настоящую минуту пустой столовой:

— Побей меня бог, все дело в этих десяти тысячах! Кабы свалить это с плеч, мне бы, может, и полегчало!

А теперь, заинтриговав вас с помощью этого простейшего приема нашего ремесла, мы затормозим действие и предложим вашему вниманию миниатюрную биографию, начавшуюся пятнадцать лет тому назад.

Когда старый Джекоб был молодым Джекобом, он работал отбойщиком в Пенсильванских угольных шахтах. Мы не знаем, что такое отбойщик, но, по нашим наблюдениям, главное его занятие состоит в том, чтобы стоять со скорбным взором и с обеденными судками в руках возле угольной кучи, пока репортеры фотографируют его для воскресного фельетона. Так или иначе, Джекоб был отбойщиком. Но вместо того, чтобы умереть от изнурения в возрасте девяти лет и оставить своих престарелых родителей и великовозрастных братьев на попечение забастовочного комитета, он покрепче застегнул подтяжки, стал время от времени вкладывать доллар-другой в разные сторонние предприятия и к сорока пяти годам

оказался обладателем капитала в двадцать миллионов долларов.

Вот и все. Признайтесь, что вы даже зевнуть не успели. А я видал биографии, которые… Но не будем отвлекаться.

Наше знакомство с Джекобом Спраггинсом, эсквайром, начинается в тот момент, когда он достиг седьмой стадии своей карьеры. Прочие стадии суть следующие: первая — скромное происхождение; вторая — заслуженное повышение; третья — акционер; четвертая — капиталист; пятая — трестовский магнат; шестая — богатый злоумышленник; седьмая — калиф; восьмая — *х*. Восьмая стадия относится уже к области высшей математики.

В возрасте пятидесяти пяти лет Джекоб удалился от дел. Деньги продолжали притекать в его карманы — доходы от угольных шахт, железных рудников, нефтяных промыслов, домовладений, железных дорог, заводов, корпораций, но это уже была не просто нажива, не сырой, так сказать, продукт, а стерилизованная прибыль, отмытая, прокипяченная и дезинфицированная, поступавшая к нему из наманикюренных рук его личного секретаря в виде незапятнанных, сияющих белизной чеков. За три миллиона долларов Джекоб

приобрел в собственность дворец на углу Набобавеню в Новом Багдаде и почувствовал, что его плечи облекает порфира покойного Г. А. Рашида. Без дальних церемоний он заправил ее себе под воротник, повязал спереди в виде галстука и занял свое законное место в сонме патентованных угнетателей нашего месопотамского пролетариата.

Когда человек настолько разбогател, что из мясной лавки ему присылают именно тот сорт мяса, какой был заказан, он начинает думать о спасении своей души. Не упускайте, однако, из виду описанных выше стадий, или градаций, богатства. Если вы спросите богача о размерах его состояния, капиталист подсчитает вам все с точностью до одного доллара. Трестовский магнат даст «приблизительную оценку». Богатый злоумышленник угостит вас сигарой и прибавит, что слухи, будто он купил «Н. И. Ч. Ж. Д.», ни на чем не основаны. Калиф только улыбнется и заведет разговор о Гаммерштейне[194] и опереточных певичках. Говорят, что однажды в харчевне «Где бы хорошо покушать» произошла за завтраком ужасающая сцена между трестовским магна-

[194] Примечания: 194

Гаммерштейн Оскар — антрепренёр и владелец оперного театра в Нью-Йорке.

том и его женой из-за того, что жена оценила их состояние на три миллиона долларов выше, чем ее супруг. Дело кончилось разводом. Что ж! Бывает! Я сам был свидетелем подобной же перепалки между супругами, возникшей оттого, что муж обнаружил у себя в карманах на пятьдесят центов меньше, чем ожидал. Все мы люди, все человеки — граф Толстой, Р. Фицсиммонс, Питер Пэн и прочие.

Не огорчайтесь тем, что наш рассказ как будто превращается в морально-психологический этюд для интеллигентных читателей.

Будет вам и диалог, будет и действие, потерпите только еще минуточку.

Когда Джекоб впервые начал соотносить размеры между игольным ушком и верблюдами[195], разгуливающими в зоологическом саду, он решил вступить на путь организованной благотворительности. Он велел секретарю послать Всеобщей Благотворительной Ассоциации Земного Шара чек на один миллион долларов. Вы, возможно, с тоской заглядывали за решетку над подвальным окном какого-нибудь склада, если вам случалось

---

[195] Примечания: 195

Здесь и далее автор обыгрывает известное евангельское изречение «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие небесное».

уронить туда монетку достоинством в один цент. Но это к делу не относится. Ассоциация своевременно уведомила отправителя о получении его письма от 24-го числа сего месяца со вложением ценностей, согласно описи. А затем Джекоб Спраггинс прочитал в вечерней газете отделенное, правда, чертой от рубрики «Курьезы дня», но все же неприятно с ней соседствующее, лаконическое сообщение о том, что некто «Джаспер Спрагиус пожертвовал один миллион долларов в пользу ВБАЗШ». Говорят, что у верблюда есть отдельный желудок для каждого дня недели; а вот есть ли у него усы, я не знаю; но если есть, то даже кончик его уса не просунулся в игольное ушко в связи с данной попыткой данного богача проникнуть в ЦН. Этот старинный концерн слишком хорошо охраняется. «Дирекция оставляет за собой право отвести любую кандидатуру». Подписано: «Святой Петр, секретарь и по совместительству привратник».

Затем Джекоб выискал самый богатый колледж и пожертвовал ему двести тысяч долларов на оборудование научных кабинетов. В колледже не занимались точными науками, но деньги взяли и употребили на устройство научно оборудованных клозетов, в чем жертвователь не усмотрел

существенной разницы.

Собрался ученый совет и постановил: просить Джекоба прибыть самолично и принять от колледжа почетный диплом Быка-и-лавра — так, по крайней мере, значилось в заранее изготовленном пригласительном письме. В совете усмехнулись, исправили две-три буквы, и приглашение было отослано.

Накануне того дня, когда Джекобу предстояло облечься в ученую мантию, он прогуливался по территории колледжа. Мимо, беседуя, прошли двое профессоров, и голоса их, натренированные в аудиториях, по нечаянности долетели до его слуха.

— Вот он идет, — говорил один из профессоров, — этот новейшей формации пират индустрии, вздумавший купить у нас порошков от бессонницы. Завтра он получает свой диплом.

— In foro conscientiae[196], — ответил другой. — Эх, шарахнуть бы его как следует! Ведь кирпича просит!

Джекоб не знал латыни, но намек на кирпичи до него дошел. И чаша с ученым напитком, купленным так дорого, оставила горечь на его устах.

---

[196] Примечания: 196
Перед судом совести (*лат.*).

Эликсира забвения в ней не оказалось. Это было еще до того, как прошел закон против фальсификации пищевых и лекарственных продуктов.

Джекоб разочаровался в благотворительности широких масштабов.

— Нужно самому видеть тех, кому делаешь добро, — решил он. — Поговоришь с человеком, услышишь, как он тебя благодарит, — ну и станет легче на сердце. А жертвовать разным обществам и организациям — это все равно, что бросать монеты в испорченный автомат.

И Джекоб пошел туда, куда вел его нюх, — в самый грязный квартал, к обиталищам самых жалких бедняков.

— Как раз то, что мне нужно, — сказал он. — Зафрахтую два парохода, насажаю туда бедных детишек, погружу, скажем, десять тысяч кукол и барабанов и тысячу мороженицы и повезу малышей кататься по проливу. Пусть их ветерком обдует, авось сдует и немножко грязи с этих денег, будь они неладны, которых столько лезет ко мне в карман, что я даже не успеваю придумывать, куда их сбагрить!..

Но, вероятно, Джекоб как-нибудь проболтался о своих благотворительных планах, ибо внезапно перед ним возник здоровенный верзила с бритой

физиономией и ртом такой формы и таких размеров, что взгляд невольно искал над ним надпись: «Для писем». Верзила зацепил Джекоба согнутым пальцем за талию, затиснул его в угол между будкой цирюльника и урной для мусора, растворил свой почтово-ящичный рот и выпустил вереницу слов — гладких и вежливых, словно затянутых в белые перчатки, но чувствовалось, что из-под мягкой лайки в любую минуту может выставиться костлявый кулак.

— А вы, почтеннейший, знаете ли, где вы находитесь? Нет? Ну, я вам объясню. Этот квартал состоит в ведении Майка О'Грэди, и другим сюда нечего соваться. Здесь только Майк утирает слезы сироткам, и ежели надо устроить пикник или, там, раздачу воздушных шаров, так это делается на деньги Майка, а не на чьи-нибудь посторонние. Понятно? Не садитесь за чужой стол, а не то вам поднесут закуску, которая вам не понравится. Поналезло сюда всяких устроителей, да исправителей, да социологов, да миллионеров — места вам другого нету, во что приличный квартал превратили! Профессора ваши да студенты толпами шляются, у киосков с сельтерской свалки устраивают, от автобусов с экскурсантами податься некуда — местные жители на улицу выглянуть

боятся! Нет, уж вы предоставьте их лучше Майку. Они ему свои, он знает, как с ними обращаться. А вы безобразничайте в своей части города. Ну как, папаша, уразумели? Или еще хотите поспорить с Майком, кому тут разыгрывать Деда Мороза?

Ясно было, что этот участок благотворительной нивы уже застолбован. И калиф Спраггинс перестал тревожить народ на базарах Ист-Сайда. Силясь избавиться от излишков все растущего капитала, он удвоил свои пожертвования благотворительным обществам, подарил Союзу христианской молодежи в своем родном городке коллекцию бабочек стоимостью в десять тысяч долларов и послал голодающим в Китае столь солидный чек, что на него можно было бы вставить всем тамошним богам глаза из изумрудов и зубы с пломбами из брильянтов. Но ни одно из этих добрых дел не принесло покоя сердцу калифа. Он попытался внести личную нотку в свои благодеяния, давая на чай коридорным и официантам по десять и двадцать долларов, и эти быстроногие Ганимеды потешались над ним за его спиной, хотя почтительно принимали от других вознаграждение, более соразмерное своим услугам. Он отыскал бедную, но талантливую и честолюбивую молодую актрису и купил ей первую роль в

новой комедии. И на этот раз ему, без сомнения, удалось бы освободиться, по крайней мере, от пятидесяти тысяч обременявших его долларов, если бы он не забыл своевременно написать своей подопечной два-три компрометирующих письма. Но он этого не сделал, и судебный процесс, который затеяла против него молодая особа, провалился из-за недостатка улик. А капитал Спраггинса все рос да рос, и его фебрис игольноушкис верблюдикус — этот недуг совестливых богачей — по-прежнему не получал исцеления.

Вместе с калифом Спраггинсом в его особняке (стоимостью в три миллиона долларов) проживала его сестра Генриетта, которая некогда была стряпухой в харчевне для углекопов (обед из двух блюд за двадцать пять центов) в Коктауне, а теперь, если бы пришлось ей здороваться с Джоном Митчеллом[197], подала бы ему всего два пальца. А еще с ним проживала его дочь Селия, девица девятнадцати лет, только что вернувшаяся из пансиона, где высококвалифицированные педагоги обучали ее ресторанным языкам и наводили на нее прочий необходимый лоск.

Селия и есть героиня нашего рассказа. Опаса-

[197] Примечания: 197

Джон Митчелл в 1899–1908 гг. был председателем Американского профсоюза горняков.

ясь, что фантазия художника, иллюстрирующего эти страницы, может внести в ее облик несуществующие черты, спешим представить вам ее авторизованный портрет. Селия была очень приятная собой, несколько долговязая, голосистая и вместе с тем застенчивая девушка с каштановыми волосами, бледным цветом лица, сияющими глазами и постоянной улыбкой на губах. От Джекоба Спраггинса она унаследовала любовь к простым кушаньям, свободным платьям и обществу представителей низших классов. Молодость и несокрушимое здоровье помогали ей легко переносить тяготы богатства. Рот у нее был большой и вечно набитый мятными леденцами, стучавшими о ее зубы, как град об оконное стекло, сладкий град, высыпанный автоматом в обмен на монетку в пять центов. Добавим к этому, что Селия отлично умела насвистывать матросские танцы. Запечатлейте, пожалуйста, в своей памяти этот образ, а художник пусть себе творит, что хочет, в меру своих неспособностей.

Однажды утром Селия выглянула в окно и подарила свое сердце юному возчику из зеленной лавки. Возчик не заметил сделанного ему подарка, ибо в этот момент занят был тем, что решал в положительную сторону вопрос о бессмертии

души своей лошади, суля ей участь, уготованную на том свете нераскаянным грешникам. Как прикажете иначе разговаривать с эдакой скотиной, которая не хочет стоять смирно, пока ты достаешь из фургона ящик со свежеснесенными яйцами?

Вам, моя юная читательница, тоже понравился бы этот молодой возчик. Но вы не подарили бы ему своего сердца, потому что приберегаете его для учителя верховой езды, или для обувного фабриканта с больной печенью, или для того господина в сером твидовом костюме, с которым вы познакомились на пляже в Палм-Бич и о котором можно сказать, как о буфете из мореного дуба, — «скромно, но богато». Знаю я, знаю все ваши мысли! И поэтому я очень рад, что молодой возчик достанется Селии, а не вам.

Молодой человек из зеленной лавки был строен и широкоплеч и отличался такой же свободой и непринужденностью движений, как тот атлетический красавец, который на рекламном вкладыше в воскресный журнал примеряет новейшие не натирающие плеч подтяжки. Серая велосипедная кепка, сдвинутая на самый затылок, чудом держалась на его белокурых курчавых волосах, а с его загорелого лица не сходила

улыбка, за исключением тех минут, когда он проповедовал ломовым лошадям доктрину вечного проклятия. С драгоценными примерами овощного царства он обращался так небрежно, как будто то была вялая морковь для дешевых столовок, а когда он брал в руки кнут, вам вспоминался мистер Таккет, демонстрирующий высший класс фехтовального искусства.

Поставщики провизии проникали в дом через задние ворота, со стороны кухни. Фургон зеленщика подъезжал ровно в десять часов утра. Три дня подряд Селия наблюдала из окна за молодым возчиком, когда он сгружал свой товар, каждый раз находя новую прелесть в том, как он равнодушно и даже презрительно кидал наземь отборнейшие дары Помоны, Цереры и консервных заводов. Затем она поделилась своей тайной с Аннет.

Но Аннет Мак-Коркл, вторая горничная в доме Спраггинсов, заслуживает отдельного абзаца. Аннет в неимоверных количествах поглощала романы и мелодрамы, которые брала в бесплатной публичной библиотеке (основанной одним из самых крупных калифов, подвизавшихся в этой отрасли коммерции). Она была верной подружкой Селии и неизменной участницей всех

ее проказ, о чем тетя Генриетта, будьте покойны, ничего не знала.

— Ах вы, моя канареечка! — воскликнула Аннет. — Ах, как цинично! Ну прямо для театра! Вы, наследница миллионов, и влюбились в него с первого взгляда! Он, правда, очень милый и даже не похож на кучера. Но он совсем не такой Дон Желан, как обыкновенно бывают возчики из зеленных лавок. На меня он никогда не обращал внимания.

— А на меня обратит, — сказала Селия.

— Конечно, богатство… — начала Аннет, украдкой выпуская жало, издавна принятое на вооружение у прекрасного пола.

— Ну, ты не такая уж красавица, — прервала ее Селия, улыбаясь своей широкой, простодушной улыбкой. — Я тоже нет. Но хороша я или дурна, а влюбится он в меня, а не в мои доллары, это я тебе обещаю. Одолжи-ка мне один из твоих передников и наколку.

— Ах вы, моя кошечка! — воскликнула Аннет. — Понимаю! Ах, как прелестно! Совсем как в «Люрлине-Левше» или в «Злоключениях пуговичника». Держу пари, что он окажется графом.

Вдоль задней стены дома тянулся длинный, с одной стороны застекленный, коридор, или

галерея, как более пышно именуют такие сооружения на Юге, и по этой галерее каждый день проходил молодой возчик, относя свой товар на кухню. Однажды ему по дороге попалась девушка в переднике и крахмальной наколке. У девушки были блестящие глаза, бледные щеки и большой смеющийся рот. Но так как молодой зеленщик в эту минуту был нагружен одной корзиной с ранним латуком, а другой с томатами «Гигант», не считая трех пучков спаржи и шести банок с маслинами высшего качества, то он только мельком подумал, что вот, мол, наверно, одна из горничных.

Однако, когда он возвращался, девушка еще была тут, и, нагнав ее в конце коридора, молодой зеленщик услышал, что она насвистывает «Рыбачий танец», да так пронзительно и звонко, что все флейты-пикколо, доведись им ее услышать, сами собой развинтились бы от зависти и попрятались бы по своим футлярам.

Молодой зеленщик остановился и так далеко сдвинул на затылок свою кепку, что она повисла на задней запонке его воротничка.

— Вот это здорово, малютка! — воскликнул он.

— Меня зовут Селия, с вашего позволения, — отвечала свистунья, ослепляя его улыбкой

шириной в три дюйма.

— Очень приятно. А меня Томас Мак-Леод. Где вы тут работаете?

— Я… я младшая горничная и убираю гостиные.

— А скажите, знакомы вам «Каскады»?

— Нет, — ответила Селия. — У нас совсем нет знакомых. Мы слишком быстро разбогатели. То есть, я хочу сказать, мистер Спраггинс разбогател.

— Ну, ничего, я вас познакомлю, — сказал Томас Мак-Леод — Это шотландский танец, двоюродный брат матросскому.

Если, слушая Селию, все флейты-пикколо признали бы себя побежденными, то искусство Томаса Мак-Леода самую большую флейту в оркестре заставило бы почувствовать себя глиняной свистулькой. Когда он кончил, Селия готова была прыгнуть к нему в фургон и ехать с ним все дальше и дальше, до того последнего берега, где старый паромщик Харон держит свой бесплатный перевоз.

— Я буду здесь завтра в десять пятнадцать, — сказал Томас, — с корзиной шпината и пачкой соды для стирки.

— А я пока поупражняюсь в этих, как вы их

там зовете, — ответила Селия. — Я могу свистать втору.

Ухаживание — дело сугубо личное и не подлежит опубликованию. Подробный анализ этого процесса можно найти только в рекламах пилюль против малокровия и в секретных инструкциях женского консультативного бюро Древнего Ордена Мышеловки. Но некоторые его стадии может осветить и художественная литература, не вторгаясь в область рентгеновских лучей и полиции нравов.

Настал день, когда Селия и Томас Мак-Леод задержались в конце галереи для серьезного разговора.

— Шестнадцать в неделю — это, конечно, не бог весть что, — сказал Томас, сдвигая свой картуз на самые лопатки.

Селия обратила печальный взор на застекленную стену и стала насвистывать похоронный марш. Именно эту сумму она вчера заплатила за дюжину носовых платков, совершая покупки с тетей Генриеттой.

— Но в том месяце я, может быть, получу прибавку, — продолжал Томас. — Завтра буду здесь в обычное время с мешком муки и ящиком хозяйственного мыла.

— Хорошо, — сказала Селия. — Замужняя сестра Аннет платит всего двадцать долларов в месяц за квартирку в Бронксе.

Селия в своих планах на будущее ни минуты не рассчитывала на спраггинсовские миллионы. Она хорошо знала аристократические замашки тети Генриетты и властную натуру своего коронованного долларами отца и понимала, что, если изберет Томаса, молодому возчику из зеленной лавки и его супруге будет предоставлена полная свобода свистать в кулак.

Прошло еще некоторое время — и благолепную тишину Набоб-авеню огласили переливы «Мечты дьявола», которую Томас искусно насвистывал сквозь зубы.

— Вчера дали прибавку, — сказал он. — Буду теперь получать восемнадцать долларов в неделю. Справлялся о цене квартир на Морнингсайд. Еще одна такая прибавка — и уже можно будет тебе снимать передник и наколку.

— Ах, Томми! — воскликнула Селия. — А может быть, и этого достаточно? Бетти обещала научить меня готовить дешевое печенье. Оно делается из крошек, собранных за неделю, и называется «Бедный Питер».

— Назови его лучше «Бедный Томас», — пред-

ложил Томас Мак-Леод.

— И я умею подметать и вытирать пыль и… и чистить медные ручки; ну да, горничная ведь должна все это уметь. А по вечерам мы могли бы насвистывать дуэты.

— Хозяин сказал, что с Рождества повысит мне плату до двадцати долларов, если Брайан не придумает для республиканцев худшего названия, чем «любители откладывать в долгий ящик».

— Я умею варить варенье из айвы, — сказала Селия. — И я знаю, что, когда приходит монтер проверять газ, нужно сперва спросить, чтобы он показал свой служебный значок. И я умею поднимать петли на чулках и шторы на окнах.

— Вот здорово! Ты, Селли, просто молодчина. Да, я тоже думаю, что мы управимся на восемнадцать в неделю.

Когда он уже садился на козлы, Селия, рискуя выдать себя, подбежала к воротам.

— Томми, Томми, — нежно позвала она, — еще я могу сама шить тебе галстуки. Я только сейчас вспомнила.

— И сейчас же забудь. — решительно потребовал Томас.

— И еще, — продолжала Селия, — мелконарезанные огурцы на ночь прогоняют тараканов.

— И сон тоже, — ответствовал мистер Мак-Леод. — Если меня сегодня пошлют в Вест-Сайд, я загляну там в один знакомый магазинчик — присмотрю кое-какую мебель.

Как раз в ту минуту, когда фургон Томаса Мак-Леода отъезжал от ворот, Джекоб Спраггинс, как уже было описано выше, ударил кулаком по буфету и произнес свою загадочную фразу о десяти тысячах долларов, чем подтверждается общее наблюдение, что некоторые истории, равно как жизнь и щенята, брошенные в колодец, имеют тенденцию двигаться по кругу. Мы вынуждены поэтому дать здесь краткое разъяснение, проливающее свет на слова Джекоба.

Фундамент своего будущего богатства он заложил, когда ему было двадцать лет. Один бедный углекоп (слыхали вы когда-нибудь о богатом углекопе?) скопил десяток-другой долларов и приобрел небольшой участок земли на каменистом склоне. Он намеревался выращивать там кукурузу, но не вырастил и единого початка. А молодой Спраггинс нюхом чуял, где можно поживиться, и нюх подсказал ему, что под этим участком проходит угольная жила. Джекоб сторговал участок у владельца за сто двадцать пять долларов, а через месяц продал его за десять тысяч. К счастью для

углекопа, у него еще оставалось немного денег, так что, услыхав эту новость, он мог с помощью усиленного потребления спиртных напитков обеспечить себе удобную одежду с рукавами, завязывающимися на спине.

Вот почему спустя сорок лет Джекоба вдруг осенила идея, что если бы ему удалось возместить эти десять тысяч наследникам злополучного углекопа, то, возможно, мир и покой снизошли бы в его истерзанную душу.

А теперь нам надо побыстрее развернуть действие, ибо в нашем рассказе имеется уже четыре тысячи слов, но еще ни одной пролитой слезы или вскрытого сейфа, ни одного выстрела или разбитой о чужую голову бутылки.

Джекоб нанял десяток частных сыщиков и велел им разыскать всех, какие есть в живых, наследников старого углекопа по имени Хью Мак-Леод…

Поняли теперь? Разумеется, Томас Мак-Леод окажется его наследником. Другой автор утаил бы от вас фамилию углекопа, но почему надо приберегать раскрытие тайны до самой последней страницы? Гораздо гуманнее раскрыть ее на середине рассказа, тогда, кто не хочет, может и не дочитывать его до конца.

После того как сыщики гонялись по ложным следам на протяжении трех тысяч долларов, то есть, простите, миль, они окружили, наконец, Томаса Мак-Леода в зеленной лавке и вырвали у него признание, что Хью Мак-Леод был его родным дедушкой и что других наследников не имеется. Затем в одной из своих контор они устроили ему свидание со старым Джекобом.

Джекобу молодой человек очень понравился. Ему понравилось, как Томас, разговаривая, прямо смотрел в глаза собеседнику, ему понравилось и то, как он надел свою кепку на розовую вазу, стоявшую посередине стола.

В искупительном плане старого Джекоба было одно слабое место. Он не сообразил, что для того, чтобы искупление было полным, ему придется покаяться в былых грехах. Поэтому при свидании с Томасом он выдал себя за агента, действующего от лица того человека, который некогда купил участок, а теперь желал бы для успокоения своей совести вернуть нажитое при продаже наследникам обманутого углекопа.

— Гм! — сказал Томас — Что-то получается похоже на новогоднюю открытку с надписью: «Мы тут очень весело проводим время». Но я не знаю правил этой игры. Сразу выдают тебе

десять тысяч долларов, или надо еще набрать сколько-то фишек?

Джекоб поспешил отсчитать ему двадцать кредитных билетов по пятьсот долларов. Ему казалось, что так будет эффектнее, чем если он напишет чек. Томас задумчиво спрятал деньги в карман.

— Ну что ж, — сказал он, — большое спасибо от дедушки этому господину, что вас послал.

Но Джекобу не хотелось сразу его отпускать. Он стал расспрашивать, где Томас работает, как он проводит свой досуг, какие у него планы на будущее. И чем больше он узнавал о Томасе, тем больше тот ему нравился. Такого простого и честного юноши он еще не встречал среди багдадской молодежи.

— Заходите как-нибудь ко мне, — сказал он. — Я могу дать вам полезный совет — в какие бумаги вложить ваши деньги или как их лучше пустить в оборот. Я сам очень богатый человек. У меня есть почти что взрослая дочь — я хотел бы вас с ней познакомить. Заметьте, что я далеко не всякому позволил бы ее посещать.

— Очень признателен, — сказал Томас. — Но я как-то не привык делать визиты. До сих пор мои визиты были всё больше с черного хода. А

кроме того, я обручен с одной девушкой, и это, знаете, такая девушка, что лучше ее и на свете нет. Она работает горничной в одном доме, куда я доставляю товар. Ну, да уж теперь недолго будет там работать. Не забудьте передать вашему приятелю сердечный привет от дедушки. А теперь извините, меня фургон дожидается, надо еще кое-куда отвезти зелень. До свиданья, сэр!

В одиннадцать часов Томас сдал несколько пучков пастернака и латука на кухню в доме Спраггинсов. Томасу было всего двадцать два года, поэтому он не отказал себе в удовольствии, уходя, вытащить из кармана пачку банкнотов, каждый достоинством в пятьсот долларов, и помахать ими перед носом Аннет. Глаза у Аннет стали круглые, как луковицы, запеченные в сметане, и она поспешила на кухню, поделиться впечатлениями с кухаркой.

— Я говорила, что он граф! — воскликнула она, окончив свой рассказ. — На меня он никогда не обращал внимания.

— Граф? — переспросила кухарка. — Да ведь ты говоришь, он деньги показывал?

— Сотни тысяч! — подтвердила Аннет. — Горстями доставал из кармана! А на меня никогда даже и взглянуть не хотел!

— Это мне сегодня заплатили, — объяснял тем временем Томас Селии, стоя с ней в конце галереи. — Наследство после дедушки. Слушай, Селли, чего нам еще ждать? Я сегодня же возьму расчет в зеленной лавке. Отчего бы нам не пожениться на будущей неделе?

— Томми, — сказала Селия. — Я не горничная. Я тебя обманывала. Я — мисс Спраггинс, Селия Спраггинс. В газетах недавно писали, что со временем я буду стоить сорок миллионов.

Томас поймал свою кепку где-то на затылке и в первый раз с тех пор, как мы его знаем, аккуратно надвинул ее на лоб.

— Так, — сказал он. — Это значит… Одним словом, как я понимаю, это значит, что мы не поженимся на будущей неделе. Но свистать вы все-таки здорово умеете.

— Нет, — сказала Селия, — мы не поженимся на будущей неделе. Папа ни за что не позволит мне выйти замуж за возчика из зеленной лавки. Но если ты хочешь, Томми, мы поженимся сегодня вечером.

В девять тридцать вечера Джекоб Спраггинс подкатил к дому в своем автомобиле. О марке автомобиля и других его качествах догадывайтесь сами; мы лишены возможности это уточнить,

ибо предлагаем вам здесь чистое искусство, не запятнанное субсидиями от автомобильных компаний; вот если бы речь шла о трамвае, тогда мы могли бы со спокойной совестью описать его вольтаж, и число осей, и прочее тому подобное. Джекоб пожелал видеть дочь. Он купил ей в подарок рубиновое ожерелье и жаждал услышать из ее уст, какой он добрый, заботливый и милый папочка.

Произошла небольшая заминка, пока Селию искали по всему дому, а затем явилась Аннет, пылая чистым огнем правдолюбия и преданности, с некоторой примесью зависти и актерства.

— О сэр! — воскликнула она, мысленно примеряясь, не следует ли ей пасть на колени. — Мисс Селия только что убежала из дому через черный ход. Ее увез этот молодой человек, который хочет на ней жениться. Я не могла ее удержать. Они уехали в кебе.

— Какой еще молодой человек? — загремел Джекоб.

— Миллионер, сэр, переодетый граф! У него денег полны карманы, а красный перец и лук были только для отвода глаз. На меня он никогда не обращал внимания.

Джекоб ринулся к парадной двери и застал свой

автомобиль еще у подъезда. Шофер замешкался, пытаясь на ветру закурить папиросу.

— Эй, Гастон, или Майк, или как вас там! Живо гоните вон за тот угол, а увидите кеб, остановите его!

За углом, на квартал впереди, маячил кеб. Гастон или Майк, скосив глаза на нераскуривающуюся папиросу, пустился за ним следом, догнал и аккуратно притиснул к обочине.

— Ты в своем уме? — заорал кебмен.

— Папа! — взвизгнула Селия.

— Давешний агент! — удивился Томас. — Опять, что ли, дедушкиного приятеля угрызает совесть? Интересно, теперь за что?

— Ах, чтоб тебя! Потухла!.. — сказал Гастон или Майк. — А спички все!

— Молодой человек, — строго вопросил Джекоб, — а как же с этой горничной, с которой вы обручены?

Два года спустя старый Джекоб однажды утром вошел в кабинет своего личного секретаря.

— Объединенное общество миссионеров просит вас пожертвовать тридцать тысяч долларов на обращение корейцев в христианство, — сказал секретарь.

— Отказать, — ответил Джекоб.

— Пламвильский университет напоминает, что ежегодная субсидия в пятьдесят тысяч долларов, которую вы им даете, просрочена.

— Напишите, что я ее отменил.

— Вот письмо от Научного общества по исследованию моллюсков Лонг-Айленда с просьбой дать им десять тысяч долларов на спирт для препаратов.

— Бросьте его в корзину.

— Общество по организации здоровых развлечений для фабричных работниц просит десять тысяч долларов на устройство поля для гольфа.

— Пусть обратятся в похоронное бюро. Прекратить всякие пожертвования, — продолжал Джекоб. — Хватит с меня добрых дел. Теперь мне дорог каждый доллар. Напишите директорам всех компаний, которые я контролирую, и скажите, что я предлагаю им снизить заработную плату рабочим и служащим на десять процентов. Кстати, сейчас, проходя через холл, я заметил, что в углу валяется обмылок. Скажите уборщице, что нельзя так расшвыривать добро. Я не могу сорить деньгами. Да, вот что: монополия на уксус в наших руках?

— Всеамериканская компания пряностей и приправ в настоящую минуту контролирует ры-

нок, — ответил секретарь.

— Повысить цену на уксус на два цента за галлон. Сообщите по всем отделениям.

Внезапно красное, пухлое лицо Джекоба Спрагинса расплылось в улыбке. Он подошел к столу секретаря и показал ему крохотное розовое пятнышко на своем толстом указательном пальце.

— Укусил! — сказал он. — И как еще укусил-то, даром что и трех недель нет, как зубки прорезались! Джеки Мак-Леод, сынишка моей Селии. Этот мальчик к двадцати одному году будет стоить сто миллионов — уж я постараюсь их для него наскрести.

В дверях Джекоб приостановился и добавил:

— А цену на уксус, пожалуй, лучше повысить не на два, а на три цента. Заготовьте письма, через час приду и подпишу.

Летописец подлинного калифа Гаруна аль-Рашида сообщает, что в конце своего царствования этот монарх потерял вкус к благотворительности и велел отрубить головы всем своим прежним любимцам и спутникам в ночных прогулках. Счастливы мы, что в наш просвещенный век смертные приговоры калифов принимают более мягкую форму счета из лавки.

Сила привычки

Привычка — склонность или способность, приобретённая частым повторением.

Перевод Н. Дарузес.

Нападкам критики подвергались все источники вдохновения, кроме одного. К этому единственному источнику мы и обращаемся в поисках высокопоучительной темы. Когда мы обращались к классикам, зоилы с радостью изобличали нас в плагиате. Когда мы пытались изобразить действительность, они упрекали нас в подражании Генри Джорджу, Джорджу Вашингтону, Вашингтону Ирвингу и Ирвингу Бачеллеру. Мы писали о Востоке и Западе, а они обвиняли нас в увлечении Джесси Джеймсом и Генри Джеймсом. Мы писали кровью сердца, а они бормотали что-то насчет больной печени. Мы брали текст от Матфея или — гм! — из Второзакония, но проповедники были против того, чтобы мы вдохновлялись Священным Писанием. Так что, прижатые к стене, мы обращаемся за темой к испытанному, проверенному, поучитель-

ному, неопровержимому источнику — полному толковому словарю.

Мисс Мэррием была кассиршей у Гинкла, Гинкл — это один из больших ресторанов в деловом квартале, или, как пишут в газетах, в «финансовом районе». Каждый день с десяти до двух ресторан бывает полон; туда сходятся проголодавшиеся клиенты — рассыльные, стенографистки, маклеры, акционеры, прожектеры, изобретатели, выправляющие патент, и просто люди при деньгах.

Должность кассирши у Гинкла далеко не синекура. Гинкл кормит завтраком — блинчиками, кофе с гренками и яичницей — много народа; а ленчем (хорошее слово, ничуть не хуже, чем «обед») — еще того больше. Можно сказать, что к завтраку у Гинкла собирается целая армия, а к ленчу — несметное войско.

Мисс Мэррием сидела на табурете за конторкой, огороженной с трех сторон крепкой, высокой решеткой из медной проволоки. Клиент просовывал в полукруглое окошечко чек и деньги, и сердце его трепетало. Ибо мисс Мэррием была прелестна и деловита. Она могла вычесть сорок пять центов из двух долларов и отклонить предложение руки и сердца, прежде чем вы… —

Следующий!.. Упустили случай — не толкайтесь, пожалуйста! — Она умела, не теряя головы и не торопясь, делать все разом: получить с вас деньги, правильно отсчитать сдачу, покорить ваше сердце, указать на вазочку с зубочистками и оценить вас с точностью до одного цента гораздо вернее, чем кассовый аппарат новейшей марки, и на все это у нее уходило меньше времени, чем нужно на то, чтобы поперчить яйцо из перечницы, какие подаются у Гинкла.

Давно известна поэтическая строка про «страшный свет, что озаряет трон»[198]. Клетку молоденькой кассирши тоже озаряет страшное дело какой свет. За вульгарность выражения отвечает автор цитаты, а не я.

Все посетители мужского пола, от мальчишек-рассыльных до биржевых зайцев, были влюблены в мисс Мэррием. Платя по счету, они ухаживали за ней, пуская в ход все уловки, известные в ремесле Купидона. Сквозь проволочную сетку сыпались улыбки, комплименты, нежные клятвы, приглашения на обед, вздохи, томные взгляды и веселые шуточки, которые бойко парировала бойкая мисс Мэррием.

---

[198] Примечания: 198
Из «Королевских идиллий» Теннисона.

Нет позиции выгоднее, чем позиция молоденькой кассирши. Она восседает на своем табурете, как королева коммерции и комплиментов, принцесса прейскуранта, графиня графинов и Диана долларов. Вы получаете от нее улыбку и десять центов сдачи канадской монетой и уходите не жалуясь. Вы пересчитываете каждое слово, которое она бросила вам мимоходом, как скряга пересчитывает свои сокровища, и, не считая, кладете в карман сдачу с пяти долларов. Быть может, из-за медной решетки мисс Мэррием кажется особенно неприступной и очаровательной, — как бы там ни было, она ангел в английской блузке, — непорочный, нарядный, наманикюренный, обольстительный, ясноглазый и проворный — Психея, Цирцея и Ате в одном лице, лишающая вас и денежных знаков, и душевного покоя.

Рассчитываясь с кассиршей, молодые люди, преломляющие хлеб у Гинкла, никогда не упускали случая перекинуться с ней словечком и сказать комплимент. Многие из них шли дальше этого и выдавали ей векселя в виде театральных билетов и шоколада. Солидные люди прямо заговаривали о браке и флердоранже, но весь аромат этих цветов пропадал, как только они намекали на квартиру в Гарлеме. Один маклер,

прогоревший на медных акциях, гораздо чаще делал предложение мисс Мэррием, чем обедал.

В часы наплыва посетителей речь мисс Мэррием, непрерывно получавшей деньги, звучала приблизительно так:

— Доброе утро, мистер Хескинс, — да, сэр, благодарю вас, я не крашусь, — вы себе слишком много позволяете… Здравствуй, Джонни, десять, пятнадцать, двадцать, теперь беги скорей, а то снимут буквы с шапки… Извините, пожалуйста, сосчитайте еще раз. — Не стоит благодарности… В оперетку? Нет, спасибо, — в среду я смотрела Картер в «Гедде Габлер», мы были с мистером Симпсеном. Простите, я думала, это четверть доллара… Двадцать пять и семьдесят пять будет доллар — никак не отвыкнете от свинины с капустой? Я вижу, Билли… Не забывайтесь, пожалуйста, — сейчас получите все, что вам следует… Ах, какие глупости! Мистер Бассет, вы всегда шутите — нет? Ну что ж, может, я когда-нибудь и выйду за вас замуж — три, четыре да шестьдесят пять — это будет пять… Будьте любезны оставить ваши замечания при себе… Десять центов? Извините, на чеке у вас семьдесят — а может быть, это единица вместо семерки?… Ах, вам нравится моя прическа, мистер Сондерс? Некоторым

больше нравится шиньон, но, говорят, к тонким чертам больше идет «Клео де Мерод»… да десять пятьдесят… Проходите, приятель, не задерживайтесь, тут вам не балаган на Кони-Айленд… Что? Конечно, у Мэси, правда хорошо сидит? Вовсе не холодно, легкие ткани в этом сезоне самые модные, только их и носят. Что такое? Вы уже третий раз ее подсовываете, да будет вам, эта фальшивая монета — моя старая знакомая… Шестьдесят пять? Должно быть, получили прибавку, мистер Уилсон?… Я вас видела на Шестой авеню во вторник вечером, мистер де Форест, — шикарная штучка? Ну еще бы! Кто такая?… Почему не годится? Потому, что это не деньги. Что? Колумбийский доллар? Ну, у нас тут не Южная Америка… Да, я больше люблю шоколад смесь… В пятницу? Очень жаль, по пятницам я беру уроки джиу-джитсу — тогда в четверг… Спасибо, я это шестнадцатый раз сегодня слышу — должно быть, я таки недурна… Бросьте, пожалуйста, за кого вы меня принимаете? Неужели, мистер Вестбрук, вы в самом деле так думаете? Вот фантазия!.. Восемьдесят и двадцать будет доллар — благодарю вас, я не катаюсь на автомобилях с мужчинами — ах, ваша тетя — ну, это дело другое, может быть… Пожалуйста, без дерзостей — ваш

чек был на пятнадцать центов — будьте любезны, отойдите в сторону, не мешайте… Здравствуйте, Бен, — придете в четверг? — один знакомый хотел принести коробку шоколада… сорок да шестьдесят будет доллар, да один — будет два…

Как-то в середине дня головокружительная богиня Фортуна, которую зовут еще Головокружение, сразила богатого и эксцентричного старика банкира в то время, как он проходил мимо ресторана Гинкла к трамвайной остановке. Богатый чудак-банкир, который ездит на трамвае, — это… Не задерживайтесь, пожалуйста, вы тут не один.

Самаритянин и фарисей, прохожий и полисмен, подоспевшие первыми, подняли банкира Мак-Рэмси и внесли его в ресторан Гинкла. Когда престарелый, но несокрушимый банкир открыл глаза, ему представилось прекрасное видение: склонившись над ним с нежной, сострадательной улыбкой, оно омывало бульоном его лоб и растирало ему руки чем-то замороженным из холодильника. Мистер Мак-Рэмси вздохнул, потеряв при этом пуговицу от жилета, с глубокой благодарностью посмотрел на свою прекрасную спасительницу и пришел в сознание.

Отсылаем к «Библиотеке романов» всех тех, кто предвкушает любовное приключение! У банкира

Мак-Рэмси была почтенная старушка-жена, и к мисс Мэррием он питал чисто отеческие чувства. Он поговорил с ней около получаса не без пользы, — правда, другого рода пользы, чем та, которую он получал от деловых разговоров в своем кабинете. На следующий день он привез к ней миссис Мак-Рэмси. Старики были одиноки — их единственная замужняя дочь жила в Бруклине.

Короче говоря, прекрасная кассирша покорила сердца добродушных стариков. Они частенько заезжали к Гинклу и приглашали мисс Мэррием к себе, в старомодный, но роскошный особняк на одной из Семидесятых улиц. Неотразимая прелесть мисс Мэррием, ее милая искренность и сердечность взяли их приступом. Они сотни раз повторяли, что мисс Мэррием очень напоминает ушедшую от них дочь. Бруклинская матрона, урожденная Мак-Рэмси, фигурой напоминала Будду, а лицом — идеал уличного фотографа. Мисс Мэррием была сочетанием улыбок, ямочек, розовых лепестков, атласа, жемчугов и плакатов, рекламирующих средства для ращения волос. Но довольно о родительском тщеславии.

Через месяц после того, как достойные супруги познакомились с мисс Мэррием, она стояла перед Гинклом, сообщая ему, что отказывается

от места.

— Они хотят удочерить меня, — говорила она безутешному ресторатору. — Они, конечно, чудаки, но такие милые. А какой у них шикарный дом! Нет, мистер Гинкл, даже и говорить не стоит — у меня теперь другое меню: надену автомобильные очки и буду раскатывать на машине, а не то выйду замуж за герцога. А все-таки как-то жаль вылетать из старой клетки. Я столько времени просидела за кассой, что мне даже как-то чудно браться за что-нибудь другое. Ужасно буду скучать без толкотни и шуток у кассы, когда все стоят в очереди и платят за гречневые блинчики. Но не упускать же такой случай. А старики страшно добрые. Вы мне должны девять шестьдесят два с половиной за неделю. Так и быть, мистер Гинкл, скиньте полцента, коли жалко.

Сказано — сделано. Мисс Мэррием стала мисс Розой Мак-Рэмси. Она с достоинством совершила этот переход. Красота поверхностна, однако нервы лежат под кожей очень близко к поверхности. Нервы… но не потрудитесь ли вы перечесть еще раз цитату, с которой начинается рассказ?

Супруги Мак-Рэмси не жалели средств на воспитание приемной дочки. Их денежки загребали модистки, портнихи, учителя танцев и прочих

предметов. Мисс… гм… Мак-Рэмси оказалась любящей, благодарной натурой и добросовестно старалась забыть Гинкла. Надо отдать честь гибкости американских девушек — ресторан Гинкла довольно скоро изгладился из ее памяти и из ее речи.

Не все помнят прибытие графа Хайтсберн в Америку на одну из Семидесятых улиц. Это был среднего качества граф, без больших долгов, и его приезд не вызвал особого оживления. Но вы, конечно, помните благотворительный базар, устроенный «Дочерьми милосердия» в отеле «Уолдорф Астория». Вы сами были там и даже написали своей Фанни записку на бумаге со штампом отеля, чтобы показать ей… ах, вы не писали? Да, да, это было, конечно, как раз в тот вечер, когда у вас захворал ребенок.

На благотворительном базаре семейство Мак-Рэмси играло выдающуюся роль. Мисс Мэррием… гм… Мак-Рэмси блистала красотой. Граф Хайтсберн выказывал ей усиленное внимание с тех самых пор, как заехал в наши края поглядеть на Америку. Предполагалось, что в этот вечер их роман придет к благоприятной развязке. Граф, пожалуй, ничем не хуже герцога. Даже лучше. Ранг у него ниже, зато долгов меньше.

Нашу бывшую кассиршу посадили в киоск. Предполагалось, что она будет продавать аристократам и плутократам ничего не стоящие предметы по неслыханной цене. Прибыль с базара должна была пойти на рождественский обед для детей бедняков… Скажите, кстати, вы не задумывались над тем, откуда они берут остальные триста шестьдесят четыре обеда?

Мисс Мак-Рэмси, прелестная, взволнованная, очаровательная, сияющая, порхала за прилавком. Бутафорская медная сетка с маленьким полукруглым окошечком отгораживала ее от публики.

Появился граф, изящный, самоуверенный, элегантный, влюбленный — сильно влюбленный, — и подошел к окошечку.

— Вы очаговательны, догогая, клянусь честью, очаговательны, — сказал он обольстительным голосом.

Мисс Мак-Рэмси стремительно обернулась.

— Бросьте эти ваши штучки, — быстро и хладнокровно отпарировала она. — За кого вы меня принимаете? Ваш чек, пожалуйста. О господи!

Распорядители, заметив, что у одного из киосков происходит что-то необычное, сбежались туда. Граф Хайтсберн стоял рядом с киоском, пощипывая светлые бакенбарды, вставшие дыбом

от изумления.

— Мисс Мак-Рэмси упала в обморок, — объяснил кто-то.

Теория и практика

Перевод М. Богословской.

Весна подмигнула редактору журнала «Минерва» прозрачным стеклянным глазком и совратила его с пути. Он только что позавтракал в своем излюбленном ресторанчике, в гостинице на Бродвее, и возвращался к себе в редакцию, но вот тут и увяз в путах проказницы весны. Это значит, если сказать попросту, что он свернул направо по Двадцать шестой улице, благополучно перебрался через весенний поток экипажей на Пятой авеню и углубился в аллею распускающегося Мэдисон-сквера.

В мягком воздухе и нежном убранстве маленького парка чувствовалось нечто идиллическое; всюду преобладал зеленый цвет, основной цвет первозданных времен — дней сотворения человека и растительности. Тоненькая травка, пробивающаяся между дорожками, отливала медянкой, ядовитой зеленью, пронизанной дыханием множества бездомных человеческих существ, которым земля давала приют летом и осенью. Лопающиеся древесные почки напоми-

нали что-то смутно знакомое тем, кто изучал ботанику по гарниру к рыбным блюдам сорокапятицентового обеда. Небо над головой было того бледно-аквамаринового оттенка, который салонные поэты рифмуют со словами «тобой», «судьбой» и «родной». Среди всей этой гаммы зелени был только один натуральный, беспримесный зеленый цвет — свежая краска садовых скамеек, нечто среднее между маринованным огурчиком и прошлогодним дождевым плащом, который пленял покупателей своей иссиня-черной блестящей поверхностью и маркой «нелиняющий».

Однако на городской взгляд редактора Уэстбрука пейзаж представлял собою истинный шедевр.

А теперь, принадлежите ли вы к категории опрометчивых безумцев или нерешительных ангельских натур, вам придется последовать за мной и заглянуть на минутку в редакторскую душу.

Душа редактора Уэстбрука пребывала в счастливом, безмятежном покое. Апрельский выпуск «Минервы» разошелся весь целиком до десятого числа — торговый агент из Кеокука сообщил, что он мог бы сбыть еще пятьдесят экземпляров, если бы они у него были. Издатели — хозяева

журнала — повысили ему (редактору) жалованье. Он только что обзавелся превосходной, недавно вывезенной из провинции кухаркой, до смерти боявшейся полисменов. Утренние газеты полностью напечатали его речь, произнесенную на банкете издателей. Вдобавок ко всему в ушах его еще звучала задорная мелодия чудесной песенки, которую его прелестная молодая жена спела ему сегодня утром, перед тем как он ушел из дому. Она последнее время страшно увлекалась пением и занималась им очень прилежно, с раннего утра. Когда он поздравил ее, сказав, что она сделала большие успехи, она бросилась ему на шею и чуть не задушила его в объятиях от радости, что он ее похвалил. Но, помимо всего прочего, он ощущал также и благотворное действие живительного лекарства опытной сиделки Весны, которое она дала ему, тихонько проходя по палатам выздоравливающего города.

Шествуя не торопясь между рядами скамеек (на которых уже расположились бродяги и блюстительницы буйной детворы), редактор Уэстбрук почувствовал вдруг, как кто-то схватил его за рукав. Полагая, что к нему пристал какой-нибудь попрошайка, он повернул к нему холодное, ничего не обещающее лицо и увидел, что его

держит за рукав Доу — Шеклфорд Доу, грязный, обтрепанный, в котором уже почти не осталось и следа от человека из приличного общества.

Пока редактор приходит в себя от изумления, позволим читателю бегло познакомиться с биографией Доу.

Доу был литератор, беллетрист и давнишний знакомый Уэстбрука. Когда-то они были приятелями. Доу в то время был человек обеспеченный, жил в приличной квартире, по соседству с Уэстбруками. Обе супружеские четы часто ходили вместе в театр, устраивали семейные обеды. Миссис Доу и миссис Уэстбрук были закадычными подругами.

Но вот однажды некий спрут протянул свои щупальца и, разыгравшись, проглотил невзначай скромный капитал Доу, после чего Доу пришлось перебраться в район Грэмерси-парка, где за несколько центов в неделю можно сидеть на собственном сундуке перед камином из каррарского мрамора, любоваться на восьмисвечные канделябры да смотреть, как мыши возятся на полу. Доу рассчитывал жить при помощи своего пера. Время от времени ему удавалось пристроить какой-нибудь рассказик. Немало своих произведений он посылал Уэстбруку. «Минерва»

напечатала одно-два, все остальные вернули автору. К каждой отвергнутой рукописи Уэстбрук прилагал длинное, тщательно обдуманное письмо, подробно излагая все причины, по которым он считал данное произведение не пригодным к печати. У редактора Уэстбрука было свое, совершенно твердое представление о том, из каких составных элементов получается хорошая художественная проза. Так же как и у Доу. Что касается миссис Доу, ее больше интересовали составные элементы скромных обеденных блюд, которые ей с трудом приходилось сочинять. Как-то раз Доу угощал ее пространными рассуждениями о достоинствах некоторых французских писателей. За обедом миссис Доу положила ему на тарелку такую скромную порцию, какую проголодавшийся школьник проглотил бы, не поперхнувшись, одним глотком. Доу выразил на этот счет свое мнение.

— Это паштет Мопассан, — сказала миссис Доу. — Я, конечно, предпочла бы, пусть это даже и не настоящее искусство, чтобы ты сочинил что-нибудь вроде романа в сериях Мариона Кроуфорда, по меньшей мере, из пяти блюд и с сонетом Эллы Уилер Уилкокс на сладкое. Ты знаешь, мне ужасно есть хочется.

Так процветал Шеклфорд Доу, когда он столкнулся в Мэдисон-сквере с редактором Уэстбруком и схватил его за рукав. Это была их первая встреча за несколько месяцев.

— Как, Шек, это вы? — воскликнул Уэстбрук и тут же запнулся, ибо восклицание, вырвавшееся у него, явно подразумевало разительную перемену во внешности его друга.

— Присядьте-ка на минутку, — сказал Доу, дергая его за обшлаг. — Это моя приемная. В вашу я не могу явиться в таком виде. Да сядьте же, прошу вас, не бойтесь уронить свой престиж. Эти общипанные пичуги на скамейках примут вас за какого-нибудь роскошного громилу. Им и в голову не придет, что вы всего-навсего редактор.

— Покурим, Шек? — предложил редактор Уэстбрук, осторожно опускаясь на ядовито-зеленую скамью. Он всегда сдавался не без изящества, если уж сдавался.

Доу схватил сигару, как зимородок пескаря или как юная девица шоколадную конфетку.

— У меня, видите ли, только… — начал было редактор.

— Да, знаю, можете не договаривать. У вас всего только десять минут в вашем распоряжении. Как это вы ухитрились обмануть бдительность

моего клерка и ворваться в мое святилище? Вон он идет, помахивая своей дубинкой и готовясь обрушить ее на бедного пса, который не может прочесть надписи на дощечке «По траве ходить воспрещается».

— Как ваша работа, пишете? — спросил редактор.

— Поглядите на меня, — сказал Доу — Вот вам ответ. Только не стройте, пожалуйста, этакой искренно соболезнующей, озабоченной мины и не спрашивайте меня, почему я не поступлю торговым агентом в какую-нибудь винодельческую фирму или не сделаюсь извозчиком. Я решил вести борьбу до победного конца. Я знаю, что я могу писать хорошие рассказы, и я заставлю вас, голубчиков, признать это. Прежде чем я окончательно расплююсь с вами, я отучу вас подписываться под сожалениями и научу выписывать чеки.

Редактор Уэстбрук молча смотрел через стекла своего пенсне кротким, скорбным, проникновенно-сочувствующе-скептическим взором редактора, одолеваемого бездарным автором.

— Вы прочли последний рассказ, что я послал вам, «Пробуждение души»? — спросил Доу.

Очень внимательно. Я долго колебался насчет этого рассказа, Шек, можете мне поверить. В

нем есть несомненные достоинства. Я все это написал вам и собирался приложить к рукописи, когда мы будем посылать ее вам обратно. Я очень сожалею…

— Хватит с меня сожалений, — яростно оборвал Доу. — Мне от них ни тепло, ни холодно. Мне важно знать, чем они вызваны. Ну, выкладывайте, в чем дело, начинайте с достоинств.

Редактор Уэстбрук подавил невольный вздох.

— Ваш рассказ, — невозмутимо начал он, — построен на довольно оригинальном сюжете. Характеры удались вам как нельзя лучше. Композиция тоже очень недурна, за исключением нескольких слабых деталей, которые легко можно заменить или исправить кой-какими штрихами. Это был бы очень хороший рассказ, но…

— Значит, я могу писать английскую прозу? — перебил Доу.

— Я всегда говорил вам, что у вас есть стиль, — отвечал редактор.

— Так, значит, все дело в том…

— Все в том же самом, — подхватил Уэстбрук. — Вы разрабатываете ваш сюжет и подводите к развязке, как настоящий художник. А затем вдруг вы превращаетесь в фотографа. Я не знаю, что

это у вас — мания или какая-то форма помешательства, но вы неизменно впадаете в это всякий раз, что бы вы ни писали. Нет, я даже беру обратно свое сравнение с фотографом. Фотографии, несмотря на немыслимую перспективу, все же удается кой-когда запечатлеть хоть какой-то проблеск истины. Вы же всякий раз, как доводите до развязки, портите все какой-то грязной, плоской, уничтожающей мазней; я уже столько раз указывал вам на это. Если бы вы в ваших драматических сценах держались на соответственной литературной высоте и изображали бы их в тех возвышенных тонах, которых требует настоящее искусство, почтальону не приходилось бы вручать вам так часто толстые пакеты, возвращающиеся по адресу отправителя.

— Экая ходульная чепуха! — насмешливо фыркнул Доу. — Вы все еще никак не можете расстаться со всеми этими дурацкими выверта-ми отжившей провинциальной драмы. Ну ясно, когда черноусый герой похищает златокудрую Бесси, мамаша выходит на авансцену, падает на колени и, воздев руки к небу, восклицает: «Да будет Всевышний свидетелем, что я не успокоюсь до тех пор, пока бессердечный злодей, похитивший мое дитя, не испытает на себе всей силы

материнского отмщения!»

Редактор Уэстбрук невозмутимо улыбнулся спокойной, снисходительной улыбкой.

— Я думаю, что в жизни, — сказал он, — женщина, мать выразилась бы вот именно так или примерно в этом роде.

— Да ни в каком случае, ни в одной настоящей человеческой трагедии, — только на подмостках. Я вам скажу, как она реагировала бы в жизни. Вот что она сказала бы: «Как! Бесси увел какой-то незнакомый мужчина? Боже мой, что за несчастье! Одно за другим! Дайте мне скорей шляпу, мне надо немедленно ехать в полицию. И почему никто не смотрел за ней, хотела бы я знать? Ради бога, не мешайтесь, уйдите с дороги, или я никогда не соберусь. Да не эту шляпу, коричневую с бархатной лентой. Бесси, наверно, с ума сошла! Она всегда так стеснялась чужих! Я не слишком напудрилась? Ах, боже мой! Я прямо сама не своя!»

— Вот как она реагировала бы, — продолжал Доу. — Люди в жизни, в минуту душевных потрясений, не впадают в героику и мелодекламацию. Они просто не способны на это. Если они вообще в состоянии говорить в такие минуты, они говорят самым обыкновенным, будничным языком,

разве что немножко бессвязней, потому что у них путаются мысли и слова.

— Шек, — внушительно произнес редактор Уэстбрук, — случалось ли вам когда-нибудь вытащить из-под трамвая безжизненное, изуродованное тело ребенка, взять его на руки, принести и положить на колени обезумевшей от горя матери? Случалось ли вам слышать при этом слова отчаянья и скорби, которые в эту минуту сами собой срывались с ее губ?

— Нет, не случалось, — отвечал Доу. — А вам случалось?

— Да нет, — слегка поморщившись, промолвил редактор Уэстбрук. — Но я прекрасно представляю себе, что она сказала бы.

— И я тоже, — буркнул Доу.

И тут для редактора Уэстбрука настал самый подходящий момент выступить в качестве оракула и заставить умолкнуть несговорчивого автора. Мыслимо ли позволить неудавшемуся прозаику вкладывать в уста героев и героинь журнала «Минерва» слова, не совместимые с теориями главного редактора?

— Дорогой мой Шек, — сказал он, — если я хоть что-нибудь смыслю в жизни, я знаю, что всякое неожиданное, глубокое, трагическое душевное

потрясение вызывает у человека соответственное, сообразное и подобающее его переживанию выражение чувств. В какой мере это неизбежное соотношение выражения и чувства является врожденным, в какой мере оно обусловливается влиянием искусства, это трудно сказать. Величественное, гневное рычанье львицы, у которой отнимают детенышей, настолько же выше по своей драматической силе ее обычного воя и мурлыканья, насколько вдохновенная, царственная речь Лира выше его старческих причитаний. Но наряду с этим всем людям, мужчинам и женщинам, присуще какое-то, я бы сказал, подсознательное драматическое чувство, которое пробуждается в них под действием более или менее глубокого и сильного переживания; это чувство, инстинктивно усвоенное ими из литературы или из сценического искусства, побуждает их выражать свои переживания подобающим образом, словами соответствующими силе и глубине чувства.

— Но откуда же, во имя всех небесных туманностей, черпает свой язык литература и сцена? — вскричал Доу.

— Из жизни, — победоносно изрек редактор.

Автор сорвался с места, красноречиво разма-

хивая руками, но явно не находя слов для того, чтобы подобающим образом выразить свое негодование.

На соседней скамье какой-то оборванный малый, приоткрыв осоловелые красные глаза, обнаружил, что его угнетенный собрат нуждается в моральной поддержке.

— Двинь его хорошенько, Джек, — прохрипел он. — Этакий шаромыжник, пришел в сквер и бузит. Не дает порядочным людям спокойно посидеть и подумать.

Редактор Уэстбрук с подчеркнутой невозмутимостью посмотрел на часы.

— Но объясните мне, — в яростном отчаянии накинулся на него Доу, — в чем, собственно, заключаются недостатки «Пробуждения души», которые не позволяют вам напечатать мой рассказ.

— Когда Габриэль Мэррей подходит к телефону, — начал Уэстбрук, — и ему сообщают, что его невеста погибла от руки бандита, он говорит, я точно не помню слов, но…

— Я помню, — перебил Доу. — Он говорит: «Проклятая Центральная, вечно разъединяет. (И потом своему другу.) Скажите, Томми, пуля тридцать второго калибра это что, большая дыра?

Надо же, везет как утопленнику! Дайте мне чего-нибудь хлебнуть, Томми, посмотрите в буфете, да нет, чистого, не разбавляйте».

— И дальше, — продолжал редактор, уклоняясь от объяснений, — когда Беренис получает письмо от мужа и узнает, что он бросил ее и уехал с маникюршей, она, я сейчас припомню…

— Она восклицает, — с готовностью подсказал автор: — «Нет, вы только подумайте!»

— Бессмысленные, абсолютно неподходящие слова, — отозвался Уэстбрук. — Они уничтожают все, рассказ превращается в какой-то жалкий, смехотворный анекдот. И хуже всего то, что эти слова являются искажением действительности. Ни один человек, внезапно настигнутый бедствием, не способен выражаться таким будничным, обиходным языком.

— Вранье! — рявкнул Доу, упрямо сжимая свои небритые челюсти. — А я говорю — ни один мужчина, ни одна женщина в минуту душевного потрясения не способны ни на какие высокопарные разглагольствования. Они разговаривают, как всегда, только немножко бессвязней.

Редактор поднялся со скамьи с снисходительным видом человека, располагающего негласными сведениями.

— Скажите, Уэстбрук, — спросил Доу, удерживая его за обшлаг, — а вы приняли бы «Пробуждение души», если бы вы считали, что поступки и слова моих персонажей в тех ситуациях рассказа, о которых мы говорили, не расходятся с действительностью?

— Весьма вероятно, что принял бы, если бы я действительно так считал, — ответил редактор. — Но я уже вам сказал, что я думаю иначе.

— А если бы я мог доказать вам, что я прав?

— Мне очень жаль, Шек, но боюсь, что у меня больше нет времени продолжать этот спор.

— А я и не собираюсь спорить, — отвечал Доу. — Я хочу доказать вам самой жизнью, что я рассуждаю правильно.

— Как же вы можете это сделать? — удивленно спросил Уэстбрук.

— А вот послушайте, — серьезно заговорил автор. — Я придумал способ. Мне важно, чтобы моя теория прозы, правдиво отображающей жизнь, была признана журналами. Я борюсь за это три года и за это время прожил все до последнего доллара, задолжал за два месяца за квартиру.

— А я, выбирая материал для «Минервы», руководился теорией, совершенно противоположной вашей, — сказал редактор. — И за это время тираж

нашего журнала с девяноста тысяч поднялся…

— До четырехсот тысяч, — перебил Доу, — а его можно было бы поднять до миллиона.

— Вы, кажется, собирались привести какие-то доказательства в пользу вашей излюбленной теории?

— И приведу. Если вы пожертвуете мне полчаса вашего драгоценного времени, я докажу вам, что я прав. Я докажу это с помощью Луизы.

— Вашей жены! Каким же образом? — воскликнул Уэстбрук.

— Ну, не совсем с ее помощью, а, вернее сказать, на опыте с ней. Вы знаете, какая любящая жена Луиза и как она привязана ко мне. Она считает, что вся наша ходкая литературная продукция — это грубая подделка, и только я один умею писать по-настоящему. А с тех пор как я хожу в непризнанных гениях, она стала мне еще более преданным и верным другом.

— Да, поистине ваша жена изумительная, несравненная подруга жизни, — подтвердил редактор. — Я помню, она когда-то очень дружила с миссис Уэстбрук, они прямо-таки не расставались друг с другом. Нам с вами очень повезло, Шек, что у нас такие жены. Вы должны непременно прийти к нам как-нибудь на днях с миссис Доу;

поболтаем, посидим вечерок, соорудим какой-нибудь ужин, как, помните, мы, бывало, устраивали в прежнее время.

— Хорошо, когда-нибудь, — сказал Доу, — когда я обзаведусь новой сорочкой. А пока что вот какой у меня план. Когда я сегодня собрался уходить после завтрака — если только можно назвать завтраком чай и овсянку, — Луиза сказала мне, что она пойдет к своей тетке на Восемьдесят девятую улицу и вернется домой в три часа. Луиза всегда приходит минута в минуту. Сейчас…

Доу покосился на карман редакторской жилетки.

— Без двадцати семи три, — сказал Уэстбрук, взглянув на часы.

— Только-только успеть… Мы сейчас же идем с вами ко мне. Я пишу записку и оставляю ее на столе, на самом виду, так что Луиза сразу увидит ее, как только войдет. А мы с вами спрячемся в столовой, за портьерами. В этой записке будет написано, что я расстаюсь с ней навсегда, что я нашел родственную душу, которая понимает высокие порывы моей артистической натуры, на что она, Луиза, никогда не была способна. И вот, когда она прочтет это, мы посмотрим, как она будет себя вести и что она скажет.

— Ни за что, — воскликнул редактор, энергично тряся головой. — Это же немыслимая жестокость. Шутить чувствами миссис Доу, — нет, я ни за что на это не соглашусь.

— Успокойтесь, — сказал автор. — Мне кажется, что ее интересы дороги мне, во всяком случае, не меньше, чем вам. И я в данном случае забочусь столько же о ней, сколько о себе. Так или иначе, я должен добиться, чтобы мои рассказы печатались. А с Луизой от этого ничего не случится. Она женщина здоровая, трезвая. Сердце у нее работает исправно, как девяностовосьмицентовые часы. И потом, сколько это продлится — минуту… я тут же выйду и объясню ей все. Вы должны согласиться, Уэстбрук. Вы не вправе лишать меня этого шанса.

В конце концов редактор Уэстбрук, хоть и неохотно и, так сказать, наполовину, дал свое согласие. И эту половину следует отнести за счет вивисектора, который, безусловно, скрывается в каждом из нас. Пусть тот, кто никогда не брал в руки скальпеля, осмелится подать голос. Все горе в том, что у нас не всегда бывают под рукой кролики и морские свинки.

Оба искусствоиспытателя вышли из сквера и взяли курс на восток, потом повернули на юг

и через некоторое время очутились в районе Грэмерси. Маленький парк за высокой чугунной оградой красовался в новом зеленом весеннем наряде, любуясь своим отражением в зеркальной глади бассейна. По ту сторону ограды выстроившиеся прямоугольником потрескавшиеся дома — покинутый приют отошедших в вечность владельцев — жались друг к другу, словно шушукающиеся призраки, вспоминая давние дела исчезнувшей знати. Sic transit gloria urbis.[199]

Пройдя примерно два квартала к северу от парка, Доу с редактором опять взяли курс на восток и вскоре очутились перед высоким узким домом с безвкусно разукрашенным фасадом. Они взобрались на пятый этаж, и Доу, едва переводя дух, достал ключ и открыл одну из дверей, выходивших на площадку. Когда они вошли в квартиру, редактор Уэстбрук с чувством невольной жалости окинул взглядом убогую и скудную обстановку.

— Берите стул, если найдете, — сказал Доу, — а я пока поищу перо и чернила. Э, что это такое? Записка от Луизы, по-видимому, она оставила мне, когда уходила.

Он взял конверт со стола, стоявшего посреди

---

[199] Примечания: 199
Так проходит слава городов (*лат.*).

комнаты, и, вскрыв его, стал читать письмо. Он начал читать вслух и так и читал до конца. И вот что услышал редактор Уэстбрук:

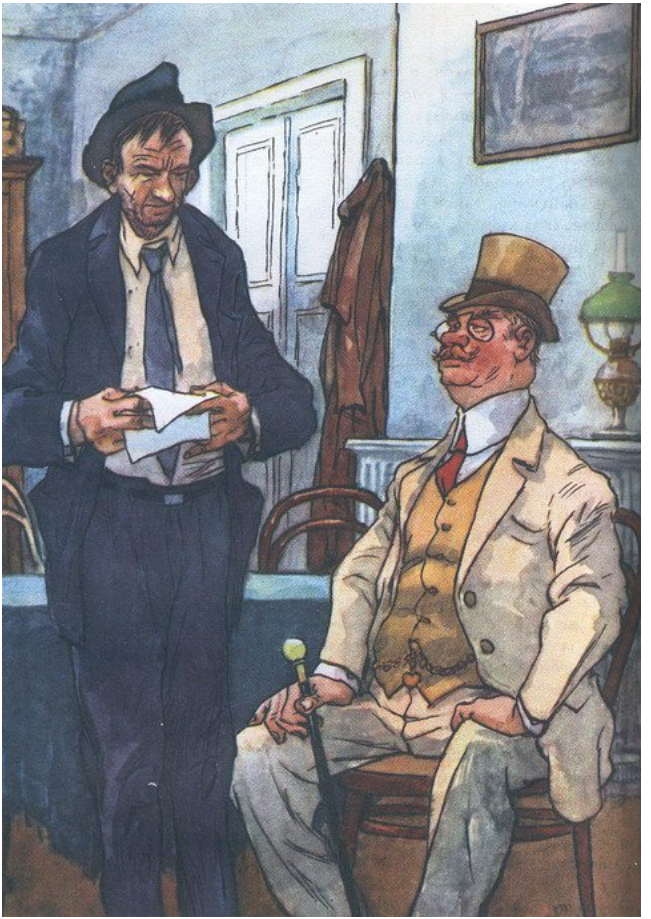
«Дорогой Шеклфорд!

Когда ты получишь это письмо, я буду уже за сотню миль от тебя и все еще буду ехать. Я поступила в хор Западной оперной труппы, и сегодня в двенадцать часов мы отправляемся в турне. Я не хочу умирать с голоду и поэтому решила сама зарабатывать себе на жизнь. Я не вернусь к тебе больше. Мы едем вместе с миссис Уэстбрук.

Она говорит, что ей надоело жить с агрегатом из фонографа, льдины и словаря и что она также не вернется. Мы с ней два месяца практиковались потихоньку в пении и танцах. Я надеюсь, что ты добьешься успеха и все будет хорошо.

Прощай.

Луиза».



Доу уронил письмо и, закрыв лицо дрожащими руками, воскликнул потрясенным, прерывающимся голосом:

— Господи Боже, за что Ты заставил меня испить чашу сию? Уж если она оказалась вероломной, тогда пусть самые прекрасные из всех Твоих небесных даров — вера, любовь — станут пустой прибауткой в устах предателей и злодеев!

Пенсне редактора Уэстбрука свалилось на пол. Растерянно теребя пуговицу пиджака, он бормотал посиневшими губами:

— Послушайте, Шек, ведь это черт знает что за письмо! Ведь этак можно человека с ног сбить. Да ведь это же черт знает что такое! А? Шек?

Во втором часу у Руни

Перевод Л. Беспаловой.

Лишь в нью-йоркском Ист-Сайде живы еще традиции Капулетти и Монтекки. И борьба там ведется не по правилам арифметики. Попробуйте показать кукиш стороннику враждебного дома — и вы обречены на кровопролитную войну. На Бродвее вы можете тащить своего недруга за нос хоть десять кварталов кряду, он будет только призывать стражников; но во владениях ист-сайдских Тибальтов и Меркуцио нельзя ни глазом моргнуть против этикета, ни локтем двинуть в баре, где постоянными клиентами числятся враги вашего дома и рода.

Вот почему, когда Эдди Мак-Манус, известный среди Капулетти как Хват Мак-Манус, забрел к Немчуре Майку промочить горло и наткнулся там на местных Монтекки, которые тешились пивом, он с ходу повел себя наикорректнейшим образом. Воспитание не позволило ему уйти из салуна, не утолив жажду; осмотрительность направила его стопы к стойке, где зеркало оповещало о всех перебросках противника, следить за которыми его

равнодушный взгляд, казалось, считал ниже своего достоинства; опыт нашептывал, что сегодня перст раздора на славу поорудует среди пивных кружек Немчуры Майка. За Хватом, ни на шаг от него не отставая, следовал Шут Клири, его Меркуцио, неизменный спутник всех его похождений. Так они стояли друг против друга — четверо представителей шайки Малберри-Хилз, двое — шайки Ремонтных доков; обе стороны держались с такой обходительностью, что Немчура Майк одним лишь глазом присматривал за клиентами, другим же то и дело поглядывал под стойку бара, куда он имел привычку спасаться, когда грозная вежливость соперничающих организаций материализовалась в пули и хладные клинки.

Но не о битвах Малберри-Хилз и Ремонтных доков поведем мы рассказ. А о заведении Руни, где на самой что ни на есть прогнившей, мертвой ветке древа жизни распустилась невзрачная бледная орхидея.

На таком высоком уровне обходительности стороны не могли продержаться долго. Неизвестно, кто первый совершил погрешность против ритуала, только возмездие последовало незамедлительно. Бык Малони, представитель Малберри-Хилз, стремительным маневром,

достойным самого Дьюи[200], развернул на штормовом мостике свою восьмидюймовую пушку. С кем мне сравнить Мак-Мануса? Лишь торпеде решусь я уподобить его. Поднырнув под орудийным огнем, он всего на каких-то три дюйма вонзил свой клинок в ребра лучшего крейсера Малберри-Хилз. Тем временем отменный стратег Шут Клири, перелетев через буфетную стойку, выключил свет, так что отныне лишь огонь орудийных залпов освещал сражение. Немчура Майк ползком покинул свое убежище и выскочил на улицу, призывая стражников, а отнюдь не Шекспира, который мог бы увековечить эту покрытую мраком потасовку.

Явился полисмен и увидел бледного, истекающего кровью Монтекки, а с ним — трех удрученных и скрытных сторонников его дома. Верные бандитской этике, они, все как один, показали, что не знают, чья рука сразила Малони. Ни одного Капулетти на поле брани не оказалось.

— Кончай свои допросы-мопросы, — сказал Бык Малони блюстителю закона. — Еще бы мне не знать, кто меня пырнул. Я с завязанными глазами всегда угляжу такого парня, который

---

[200] Примечания: 200
Джордж Дьюи — американский адмирал.

превратит меня в витрину скобяной лавки. Нет, и не подумаю сказать тебе, как его зовут. Сам с ним сквитаюсь. Ой-ай! Полегче, ребята! Мы с ним сами разберемся. Считай, что жалобу я не подавал.

В полночь Мак-Манус обогнул штабель теса в одном из ист-сайдских доков и задержался неподалеку от некоего пожарного крана. Через десять минут к условленному месту как бы невзначай подошел Шут Клири.

— Малони, может, и не отдаст концы, — сказал Шут, — и стукнуть он, ясное дело, не стукнет. А вот Немчура Майк уже стукнул. Заявил в полиции: ему, видишь ли, надоело, что в его салуне без продыху идет пальба. А нам это сейчас страсть как несподручно, потому что Тим Корригэн отбыл в Европу, прохлаждается там с коронованными особами. Он вернется на «Кайзере Вильгельме» только в следующую пятницу. До тех пор тебе придется сидеть тихо и не высовывать никуда носу. А вернется Тим, он твое дело уладит в два счета.

Все вышеизложенное должно вам объяснить, почему Хват Мак-Манус в один прекрасный вечер забрел к Руни и там в первый раз за всю свою рисковую биографию заглянул в осиянное нездешним светом лицо Романтики.

Пока Тим Корригэн вращался в высшем свете и не мог пригрозить своим длинным белым перстом в кое-каких кабинетах, Хвату были заказаны все излюбленные притоны его шайки. Посему он засел в комнате некоего Капулетти, окнами во двор на самой верхотуре, и коротал время, читая розовые листки спортивного приложения и понося тихоходность «Кайзера Вильгельма».

Но к вечеру четверга Хвату опостылела жизнь затворника. Ни одна лань так не желала припасть к водоразборной колонке, как желал Хват Мак-Манус припасть к холодной пенящейся кружке, упереться ногой в прочную медную подножку и не спеша перебрасываться шутками и подначками через сверкающую стойку. Однако район, где его знала каждая собака, был закрыт для Мак-Мануса. Полиция искала его повсюду, потому что сезон был скуден новостями и, за неимением лучшего, газеты опять подняли крик, что полиция не может найти управу на гангстеров. Если его зацапают прежде, чем «Кайзер Вильгельм» вернется, никакой Корригэн ему не поможет: будет уже слишком поздно грозить длинным белым пальцем. Но Корригэн ожидался на следующий день, и Хват решил, что может смело позволить себе небольшой выход в сферу

тех нехитрых удовольствий, без которых для него жизнь не в жизнь.

В половине первого Мак-Манус стоял на тускло освещенной улице и вглядывался в фамилию РУНИ, начертанную пылающими буквами на вывеске над окном второго этажа. Он слышал про этот притон, но не знал ни кто сюда ходит, ни где он помещается.

Руководствуясь неизменными приметами, общими для всех подобного рода заведений, он поднялся по лестнице и вошел в просторную комнату, расположенную прямо над кафе.

Там стояло штук двадцать-тридцать столиков, сейчас наполовину пустых. Официанты разносили напитки. В одном конце комнаты человекообразная пианола, одурело поглядывая на посетителей, с остервенелым автоматизмом невпопад молотила по клавишам. Время от времени — к счастью, не слишком часто — кто-то из официантов, чередуя рев с визгом, исполнял песню — одну из песен, пестреющих «мистерами Джонсонами», «детками» и «черномазыми», словесными гарантиями исторической достоверности африканских мелодий, слагаемых юнцами в красных жилетах, взращенными средь хлопковых плантаций и рисовых болот Западной

Тридцать восьмой.

А теперь — это у вас займет всего минуту — отдайте вместе со мной дань восхищения Руни, полюбуйтесь, как он принимает гостей, как рассаживает их, как управляется с ними, как над ними подтрунивает. Руни нет и тридцати. У него нос Веллингтона, подбородок Данте, скулы ирокеза, улыбка Талейрана, быстрота и натиск Корбетта[201] и осанка одиннадцатилетней ист-сайдской Королевы Мая. У него есть помощник, известный всем как Фрэнк, компанейский, франтоватый крепыш, который снует между столами и присматривает, чтобы уныние забыло дорогу к Руни. Как вы думаете, чем объясняется популярность Руни? Днем там как нельзя более респектабельно: почтенные дамы в митенках, увешанные свертками, в сопровождении детей и беспородных собак, заглядывают к Руни выпить кружку пива и перекинуться словечком. Даже вечером, при газовом свете, развлечения у Руни довольно унылого свойства — выпивка, рэгтайм, ничего неожиданного, вот разве что официант ошарашит вас, подтерев натекшую лужицу пива под вашей липкой кружкой. И все же ответ на

---

[201] Примечания: 201
Корбетт, Джеймс Джон — знаменитый американский боксёр.

ваш вопрос существует. Вот он — переселение душ! Душа сэра Уолтера Рэли[202], удрав из-под его роскошного камзола, обрела родной дом под броским клетчатым жилетом Руни. Руни на два десятилетия опередил свое время. Руни снял эмбарго! Руни прикрыл своим плащом мокрый перекресток общественного мнения, и любая Елизавета, которая ступит на него, может утереть нос королеве. А теперь внимайте, ибо вам откроется тайна: у Руни дамам разрешено курить.

Мак-Манус опустился на свободный стул. Оплатил свое пиво, сбил котелок на кирпично-рыжий затылок, оплел ноги вокруг перекладин стула, и сокровенные глубины его легких исторгли вздох облегчения: ибо грязные соблазны эти были слаще меда устам его.

Это фальшивое веселье, этот лихорадочный блеск поддельного гостеприимства, неуместный безрадостный смех, сердечность, вызванная к жизни винными парами, жуткая гнетущая тишина, временами перемежающаяся бравурной музыкой, присутствие нарядных, беззастенчи-

---

[202] Примечания: 202

Уолтер Рэли (1552–1618) — английский мореплаватель и государственный деятель, фаворит королевы Елизаветы. Ввёз в Англию табак. Существует предание, что Рэли прикрыл своим плащом лужу, чтобы Елизавета могла пройти, не замочив ноги.

вых дам, этих вечных данниц Руни, благодетеля Руни, снявшего запрет на табак, привычные смешанные запахи подмокшей лимонной кожуры, выдохшегося пива и «Peau d'Espagne»[203] — Хвату Мак-Манусу, напостившемуся за неделю в той пустыне, которую являла собой комната некоего Капулетти, все это казалось манной небесной.

Девушка без провожатых вошла к Руни, быстрым, но неторопливым взглядом окинула комнату и села напротив Мак-Мануса. Лишь две секунды задержала она на нем взгляд — тот взгляд, которым женщина прощупывает каждого встреченного ею мужчину. За это время она решает, как ей поступить — визгом натравить на него полицейского или впоследствии выйти за него замуж.

Закончив недолгий осмотр, девушка положила на стол потертую красную сафьяновую сумочку с торчащим из нее обтрепанным уголком кружевного платка, полощущимся подобно парусу. Отправив ближайшего официанта за легким пивом, она вынула из сумочки коробку папирос и закурила с чуть-чуть преувеличенной небрежностью. Снова заглянула в глаза Хвату Мак-Манусу

---

[203] Примечания: 203
«Испанская кожа» (*франц.*) — сорт духов.

и улыбнулась.

Этот миг решил судьбу обоих.

Непостижимое желание мужчины, едва он окинет первым взглядом женщину, до конца жизни покупать для нее наряды и разжигать костры, отнюдь не редкость среди той скромной части человечества, которая не интересуется ни финансами, ни гербами, ни пьесами Шоу. Любовь с первого взгляда знакома и светскому обществу, но там таких случаев раз-два и обчелся; как правило, это внезапное помешательство встречается среди таких простодушных созданий, как голубь, сизокрылая галочка и клерк, живущий на десять долларов в неделю. Поэты, подписчики литературных журналов и сваты, возьмите это соображение на заметку!

Обменявшись таинственными магнетическими токами, оба тут же ощутили в себе желание лгать, втирать очки, ослеплять и морочить, то есть самые низменные из тех побуждений, что порождает странное умопомрачение, именуемое любовью.

— Еще пива? — обратился Хват к девушке.

В его кругу такое предложение расценивалось как визитная карточка, сопровожденная рекомендательными письмами и поручительствами.

— Спасибо, нет, — сказала девушка, наморщив лоб и старательно подыскивая приличествующие случаю слова. — Я зашла сюда на минутку… промочить горло. — Видимо, она сочла, что папироса требует объяснения. — Моя тетя — русская знатная дама. И дома мы после обеда, случается, выкуриваем по папироске.

— Бросьте заливать! — сказал Хват, на которого светский тон действовал удручающе. — У вас пальцы едва не желтее моих.

— Послушайте! — сказала девушка, и голос ее от негодования перешел в шип. — Да за кого вы меня принимаете? Да что это вы себе позволяете? А?

Девушка была прехорошенькая, ее большие карие глаза дерзко блестели. Из-под лихо сдвинутого берета виднелись разделенные прямым пробором вьющиеся рыжеватые волосы, собранные низко на затылке. Подбородок и шея ее еще по-девичьи круглились, но щеки и пальцы уже начали худеть. Она взирала на мир с вызовом, недоверием и угрюмым удивлением. Ее нарядный коричневый жакет, забрызганный грязью, стоил явно недешево. Из-под черного платья была на два дюйма выпущена спускавшаяся до полу оборка лиловой шелковой нижней юбки.

— Извиняюсь, — сказал Хват, во все глаза глядя на девушку. — Я ничего такого и не думал. Сдается мне, что в куренье особого вреда нет, Моди.

— Я не знаю другого такого места, где дамам разрешено курить, — сказала девушка, которую быстро умилостивили его извинения. — Видно, в привычке этой хорошего мало, но дома тетя нам позволяет курить. И запомните, меня зовут вовсе не Моди, а Руби Деламир.

— Вот это да! — сказал восхищенно Хват. — А меня зовут Мак-Манус. Хват… э… Эдди Мак-Манус.

— Очень даже подходяще, — засмеялась Руби. — Так что не извиняйтесь.

Хват задумчиво посмотрел на большие настенные часы. Быстрые глаза девушки перехватили его взгляд.

— Я знаю, что уже поздно, — сказала она и потянулась за сумочкой. — Да вы небось сами знаете, как приспичивает, когда приспичит закурить. А что, разве к Руни ходить неприлично? Сколько я сюда ни захаживала, все было чинно-благородно. То есть я и была-то здесь всего два раза. Я работаю в переплетной мастерской на Третьей авеню. Три раза в неделю нам приходится допоздна работать сверхурочно. В мастерской нам, ясное дело,

курить не разрешают. Вот я и заскочила сюда курнуть по дороге домой. А что, правда, сюда ходить неприлично? Если такое ваше мнение, я больше сюда ни ногой.

— Сейчас, пожалуй, всюду поздновато ходить одной, — сказал Хват. — Об этой забегаловке мне мало что известно; но одно скажу: если тебя тут заснимут, вряд ли эту карточку захочешь послать в подарок своему учителю воскресной школы. Опрокиньте еще кружечку и как насчет того, чтобы я вас проводил домой?

— Но я с вами не знакома, — сказала девушка с похвальной щепетильностью. — И не в моих привычках водить компанию с джентльменами, которых я не знаю. Тетя б меня не одобрила.

— И зря, — сказал Хват Мак-Манус, подергав себя за ухо. — Уж что-что, а даму я проводить умею, можно сказать, по последнему слову науки и техники. Вы увидите, Руби, я парень что надо. Мой родитель главная опорка всего уолл-стритовского заведения. Стоит ему высунуться из окна, как моргановская кляча от радости подбрасывает в воздух свой соломенный чепчик. Господи! Да и сейчас тренировку прохожу при Уолл-стрите. Провалиться мне на этом месте, если к следующему дню рождения старик не отвалит мне

места на бирже. Только меня все это не больно интересует. Мне больше по душе гольф, яхты ну и, скажем, матч раундов этак на десять между боксерами полусреднего веса, в бойцовских перчатках, ясное дело.

— Так и быть, можете проводить меня до дверей, — сказала девушка неуверенно, но явно польщенно. — Хоть я ничего хорошего не слышала ни о маклерах с Уолл-стрита, ни о гуляках, которые только и знают, что шляться по кулачным боям. Вы что, ничего получше о себе рассказать не можете?

— Сдается мне, — сказал внушительно Хват, — что я не видывал в этом городишке девушки красивее вас.

— Да ладно! Все бы вам насмешничать! — Укор она смягчила глубоким, сияющим, украшенным улыбкой взглядом. — А пиво мы все-таки допьем, верно?

Официант исполнил песню. Табачный дым сгустился, поплыл, пополз вверх завитками, волнами, зыбкими слоями, кучевыми облаками, воздухопадами, туманными сгустками; казалось, у вас на глазах из ребер четырех предыдущих стихий рождается некая пятая. Гости смеялись и болтали оживленнее, воодушевленные напит-

ками, в изобилии разносимыми официантами, и тем любезным приемом, который Руни оказал курящей части прекрасного пола.

Пробило час. Снизу донеслись звуки запираемых дверей. Фрэнк аккуратно задернул шторы на окнах, выходящих на улицу. Руни спустился вниз и встал на пороге, прикрыв рукой огонек папиросы. Отныне проникнуть к Руни мог лишь тот, кто предъявит вместо пропуска лицо, которое признает ястребиный взгляд самого Руни, — лицо свойского парня.

Хват Мак-Манус и переплетчица самозабвенно беседовали, облокотясь о стол. Едва пригубленные кружки пива были сдвинуты на край, пена на них опала, оборотясь тонкой белой пленкой. После часу приевшиеся увеселения Руни обретали несвойственную им дотоле пикантность, и не потому, что с этого времени программа развлечений расширялась, а потому, что теперь в них ощущался вкус запретного плода. Выдохшийся стакан пива отдавал незаконностью, слабейший крюшон наносил сокрушительный удар по закону и порядку, безобидная компания гуляк оборачивалась шайкой правонарушителей, бросающих вызов властям и правителям. Ибо в таком заведении, как у Руни, где не живут

и не столуются, после часу владелец не вправе напоить ни одного мучимого жаждой жителя четырехмиллионного города. Таков закон.

— Послушайте, — сказал Мак-Манус и налег внушительной грудью и локтями на стол. — А вы, правда, работаете в переплетной мастерской и живете дома, а сюда только мимоходом зашли… и… словом, вы меня не разыгрываете?

— Скажете тоже, — пылко заверила его девушка. — Да что вы себе думаете? С чего бы это мне вам заливать? Пойдите в мастерскую и спросите сами. Ей-ей, я вам все как есть рассказала.

— Все как есть, ей-же-ей? — сказал Хват. — Я ведь хочу, чтоб у нас все было по-честному потому что…

— А почему?

— Сдаюсь, — сказал Хват. — Вы меня заарканили. Я давно ищу такую девушку, как вы. Хотите дружить со мной, а, Руби?

— А вы-то сами хотите, а, Эдди?

— Еще как! Только, понимаете, какая штука, я хочу, чтобы вы все мне… про себя по-честному рассказали. Когда парень дружит с девушкой… крепко дружит… ему, понимаете, какая штука, хочется, чтобы девушка была хорошая. Чтоб у них все было по-честному и чтоб она не подвела его.

— Вот увидите, Эдди, я вас не подведу.

— Знаю, что не подведете. Я верю, что вы мне все по-честному рассказали. И уж не сердитесь, что я вас так спрашиваю. Таких девушек, как вы, не часто встретишь за полночь у Руни, да еще с папиросой в зубах.

Девушка покраснела и потупилась.

— До меня только сейчас дошло, — сказала она кротко. — А то ведь мне и в голову не приходило, что обо мне могут такое подумать. Но больше я сюда ни-ни. Теперь я после работы — прямиком домой. И если хотите, Эдди, я брошу курить… вот хоть сейчас.

Хват принял вид задумчивый, собственнический, строгий и в то же время сочувственный.

— Даме курить можно, — вынес он наконец свой вердикт, — только смотря где и когда. А почему можно? Да потому, что настоящей даме, без подделки, многое позволяется.

— А я все-таки брошу. Ничего хорошего в куренье нет. — Девушка смахнула окурок на пол.

— Смотря где и когда, — повторил Хват. — Как-нибудь вечерком я зайду за вами, мы найдем скамеечку поукромнее в Стюйвезант-сквере и подымим там в свое удовольствие. Но к Руни за полночь — ни ногой, заметано?

— Эдди, а я вам, ей-ей, нравлюсь? — Девушка встревоженно вглядывалась в загрубелое, но прямодушное лицо Хвата.

— Ей-же-ей.

— А когда вы придете ко мне?

— В субботу. Послезавтра вечерком вам подходит?

— Очень даже. Я буду вас ждать. Приходите к семи. Когда вы меня сегодня проводите, я вам покажу, где я живу. Смотрите, запомните дорогу. А пока, мистер Мак-Манус, не вздумайте гулять с другими! Хотя говори не говори, разве вас удержишь.

— Ей-же-ей, — сказал Хват, — рядом с вами другие девушки все равно что пугала огородные. Правда. Нет, я такой парень, что, если мне что понравится, я того не упущу. Ей-же-ей.

Снизу донесся громкий стук: кто-то напористо дубасил в парадную дверь. Подобный грохот мог производить лишь паровой молот или нога полицейского. Руни лягушкой отпрыгнул в угол, выключил свет и кубарем скатился по лестнице.

Комната погрузилась в темноту, лишь кое-где мигали красные глазки сигар и папирос. Грохот ударов возвестил, что противник снова пошел на приступ. Среди гостей началась легкая паника,

шорох, перешептывание. В оранжевых отсветах горящих папирос было видно, как спокойный, невозмутимый, хладнокровный Фрэнк переходит от столика к столику.

— Сидеть тихо! — командовал он. — Не говорить, не шуметь. Все обойдется. Попрошу не беспокоиться. Мы никого не дадим в обиду.

Руби шарила по столу, пока ее руку не накрыла твердая ладонь Хвата.

— Эдди, а вы боитесь? — шепнула она. — Боитесь, что придется сесть на казенный кошт?

— Пока еще от страха зубами не лязгаю, — сказал Хват. — Небось Руни запоздал кое-кого подмазать. Не робейте, детка, со мной не пропадете.

Надо сказать, что Мак-Манус только напускал на себя лихость. Полиция охотилась за обидчиком Быка Малони, Корригэн плыл по волнам океана, так что попади он сейчас в облаву, ему конец! И надо же такому случиться как раз, когда он встретил Руби! И зачем только он покинул жилище верного Капулетти — хорошо бы сидеть сейчас там на верхотуре и штудировать розовые листки!

Руни, судя по всему, отпер парадную дверь и вступил в переговоры с представителями закона

в темном коридоре нижнего этажа. Фрэнк встал в дверях наверху, изображая собой беспроволочный телеграф. Вдруг он захлопнул дверь, бегом пересек комнату и зажег на другом ее конце тусклый газовый рожок.

— Все сюда! — позвал он. — Побыстрее и попрошу без шуму.

Перепуганные гости ринулись к нему. Сподвижник Руни отодвинул потайную панель в стене, выходящей на задний двор, к которой заранее приставляли лестницу, дабы в случае необходимости посетители могли улизнуть.

— А теперь все вниз и на улицу, живо! — скомандовал Фрэнк. — Дам попрошу пропустить вперед! Потише, пожалуйста! Не толпиться! Вам ничего не грозит.

Хват и Руби, одни из последних, ждали своей очереди у потайной панели. Вдруг Руби, оттолкнув Хвата в сторону, отчаянно вцепилась ему в руку.

— Пока мы отсюда не ушли, — шепнула она ему на ухо, — и пока ничего не стряслось, Эдди, скажите мне еще раз… вы меня л… я вам, ей-ей, нравлюсь?

— Ей-же-ей, — сказал Хват, свободной рукой привлекая девушку к себе. — Я в вас врезался

по уши.

Когда они опомнились, оказалось, что ловушка захлопнулась, а вокруг кромешная тьма. Последний из посетителей давным-давно спустился вниз. Сейчас они, спотыкаясь и хихикая, волочили лестницу где-то посередине двора к низенькому дому, через крышу которого лежал их единственный путь к спасению.

— Раз так, можно за те же деньги и посидеть, — угрюмо сказал Хват. — Как знать, вдруг Руни еще отобьется.

Они сели за ближайший стол, их руки снова нашли друг друга.

Но тут в дверь ввалились какие-то мужчины и стали ощупью пробираться в темноте. Один из них — а это был сам Руни — нашел выключатель и зажег свет. Другой оказался полицейским старой закалки — крупным, грузным, гневливым и грубым — словом, таким полицейским, встреча с которым не сулит ничего доброго. Он подошел к нашей парочке и улыбнулся девушке, как старой знакомой.

— Вы что тут делаете? — спросил он.

— Да вот заскочили покурить, — кротко ответил Хват.

— Пили?

— После часу не пили.

— Выматывайтесь отсюда, да поживее! — приказал полицейский. И тут же: — Сядь! — отменил он предыдущий приказ.

Сдернул с Хвата шляпу и уставился на его лицо.

— Тебя зовут Мак-Манус?

— Не угадали, — сказал Хват. — И вовсе Петерсен.

— Хват Мак-Манус или что-то вроде этого, — сказал полицейский. — Ты неделю назад пырнул одного парня в салуне Немчуры Майка.

— Да бросьте, — сказал Хват, уловив нотку сомнения в голосе полицейского. — Вы обознались, спутали меня с кем-то другим.

— Обознался? А ну, пошли со мной, пусть на тебя еще в участке поглядят. Описание подходит к тебе точь-в-точь. — Полицейский запустил руку за воротник Хвата.

— Вставай! — заорал он.

Хват глянул на Руби. Она побледнела, ее тонкие ноздри трепетали. Пока мужчины разговаривали, ее быстрый взгляд то и дело перебегал с одного на другого. Надо же такое невезенье, думал Хват, чтоб Корригэн прохлаждался на морях, а он в одночасье и свел знакомство с Руби, и потерял

ее! В участке его как пить дать опознают. Вот невезенье так невезенье!

Но тут девушка вскочила и что было сил толкнула полицейского обеими руками. Тот выпустил воротник Хвата и попятился.

— Полегче на поворотах, Мэгуайр! — злобно завизжала она. — Убери свои грязные лапы от моего парня! Ты меня знаешь и знаешь, что я тебе плохого совета не дам. Не смей его трогать! Тебе не он нужен — за него я ручаюсь!

— Слушай, Фанни, — сказал полицейский, багровый от злости. — Ты потише, не то мне недолго и тебя замести. Тебе-то откуда известно, что мне другой нужен? И чего, кстати, ты с ним тут делаешь?

— Откуда мне известно? — сказала девушка, то вспыхивая, то бледнея. — Да я с ним, почитай, год, как путаюсь. Это ж мой сожитель. Кому и знать его, как не мне. Что, по-твоему, я с ним тут делаю? Мог бы догадаться.

Она наклонилась и, взметнув юбками, сунула руку под черно-лиловый ворох оборок. Щелкнула подвязка, и на стол перед Хватом шлепнулась мятая пачка денег. Купюры лениво, как бы нехотя, распрямлялись одна за другой.

— Прячь монету, Джимми, и пошли, — сказала

девушка. — Сдаю выручку, Мэгуайр, — объявила она полицейскому. — А ты получил свои всегдашние пять долларов на всегдашнем углу в десять.

— Врешь! — взревел полицейский, наливаясь кровью. — Теперь попадись мне только на моем участке, враз загремишь в кутузку.

— Кишка у тебя тонка, — сказала девушка. — И знаешь, почему? Когда я тебе давала на лапу и сегодня и на прошлой неделе, тому были свидетели. Так что лучше заткнись.

Хват бережно спрятал деньги в карман.

— Пошли, Фанни, — сказал он, — надо еще перекусить перед тем, как идти домой.

— Выметайтесь-ка отсюда оба, да поживее, не то я... — Угрозы завершились невнятным бормотаньем.

На углу улицы они остановились. Хват молча отдал девушке деньги. Девушка не спеша опустила их в сумочку. На лицо ее вернулось то же выражение, с каким она входила сегодня к Руни, — она вновь взирала на мир с вызовом, недоверием и угрюмым удивлением.

— Похоже, я могу попрощаться с тобой прямо здесь, — сказала она уныло. — Ты уж, конечно, не захочешь больше встречаться со мной. Ну как, давай пожмем руки, мистер Мак-Манус?

— Я б ни в жизнь не смекнул, если б ты не раскололась, — сказал Хват. — Зачем ты это сделала?

— Иначе б тебя как пить дать замели. Вот зачем. Это тебе не причина? — Из глаз девушки покатились слезы. — Ей-ей, Эдди, я хотела стать такой хорошей, что лучше не бывает. Мне опостылела моя жизнь, опостылели мужчины, мне хотелось умереть, и тут я встретила тебя. Мне показалось, что ты не такой, как все. А когда я увидела, что я тебе тоже понравилась, я подумала: вотру-ка я ему очки, прикинусь хорошей, а потом и впрямь стану хорошей. А когда ты сказал, что придешь ко мне домой, да после такого я б скорей умерла, чем пошла бы на плохое. Но что толку говорить? Так что, если хочешь проститься, давай простимся, мистер Мак-Манус.

Хват подергал себя за ухо.

— Это я порезал Малони, — сказал он. — И полиция искала не кого другого, а аккурат меня.

— Да ладно, — сказала девушка безучастно. — Это мне без разницы,

— И потом насчет Уолл-стрита тоже все вранье. Я ошиваюсь с одной шайкой в Ист-Сайде, и других занятий у меня не имеется.

— Да ладно, — повторила девушка. — Это мне тоже без разницы.

Хват приосанился, сбил котелок на лоб.

— Я б, пожалуй, мог устроиться к О'Брайену, — сказал он вслух, но как бы для себя.

— Прощай, — сказала девушка.

— Пошли, — сказал Хват. — Я знаю одно местечко тут поблизости.

Через два квартала они остановились у красного кирпичного особняка, выходящего в небольшой парк.

— Это что за дом? — спросила девушка, пятясь. — Чего тебе там понадобилось?

С одной стороны парадной двери в ярком свете фонаря блестела медная табличка. Хват решительно потащил девушку вверх по ступенькам.

— Читай! — сказал он.

Девушка прочла надпись на табличке и испустила нечто среднее между стоном и воплем.

— Нет, нет, Эдди! Боже мой, только не это! Я не хочу, я не пойду, нет, нет! Отпусти меня! Нет, ты этого не сделаешь! Ты не можешь… Тебе нельзя!.. Теперь, когда ты все знаешь! Нет, ни за что! Уйдем отсюда скорее! О господи, да идем же, Эдди, прошу тебя, идем!

У нее закружилась голова, она пошатнулась, но Хват успел ее поддержать. Он нашарил правой рукой кнопку звонка и с силой нажал на нее.

Другой полицейский — прямо диву даешься, какой у них нюх на беспорядки! — проходя мимо, увидал нашу парочку и взбежал по ступенькам.

— Эй! Ты что это себе позволяешь с девушкой? — сердито окликнул он Мак-Мануса.

— Да она через минуту придет в себя, — сказал Хват. — Ей-ей, у нас тут все честь по чести.

— «Преподобный Иеремия Джонс», — прочел полицейский надпись на табличке: чутье сыщика направило его по верному следу.

— Так точно, — сказал Хват. — Он нас сейчас обвенчает, ей-же-ей.

Искатели приключений

Перевод под ред. В. Азова.

Omne mundus in duas partes divisum est — на людей, которые носят галоши и платят налоги, и на людей, которые открывают новые страны. Теперь нет больше неоткрытых стран; но к тому времени, когда галоши выйдут из моды и налоги превратятся в подоходные, вторая часть рода человеческого будет уже на Марсе и начнет прокладывать параллельно его каналам радиотрамваи.

В словарях счастье, случай и приключение выдаются за синонимы. Но для знающих людей каждое из этих слов имеет различное значение. Счастье — это приз, которого нужно добиваться. Приключение — дорога, ведущая к нему. Случай — это то что подчас маячит из тени по краям дороги. У Счастья лицо лучезарное и манящее; у Приключения — раскрасневшееся и дышащее героизмом. Лицо Случая — прекрасный лик, прекрасный потому, что он смутное порождение мечты; мы видим его у себя в чашке чаю, когда мы сидим за завтраком и ворчим, поедая котлет-

ки и поджаренный хлеб.

Искатель приключений — это тот, который все время поглядывает на заборы и пригородные рощи и луга, пока он идет по пути к счастью. В этом и заключается разница между ним и авантюристом. Вкусить от запретного плода значило побить все рекорды в области искания приключений. Пытаться доказать, что это действительно произошло, — величайший авантюризм. Но быть тем или другим — значит вносить беспорядок в космогонию творения. Мы-то с вами ведь добропорядочные и солидные граждане, и наши имена имеются даже во «Всем Нью-Йорке». Так закурим трубки, побраним детей и кота, устроимся в плетеной качалке на самом прохладном месте у окна под мерцающим газовым рожком и пробежим этот маленький рассказ про двух наших современников, которые погнались за Случаем.

— Слыхали ли вы этот анекдот про одного приезжего с Запада? — спросил Биллингер.

Дело происходило в маленькой, выложенной темным дубом комнатке налево, у самого входа в Похатан-клуб.

— Наверное, слыхал, — сказал Джон Реджинальд Форстер, встал и вышел из комнаты.

Форстер взял из рук мальчика в гардеробной

свою соломенную шляпу и вышел на воздух. Биллингер привык к пренебрежительному отношению к своим анекдотам и не обидится. Форстер находился в своем излюбленном настроении, и ему хотелось уйти отовсюду. Чтобы быть довольным собой, человеку необходимо услышать подтверждение своих мнений и видеть подходящее настроение у кого-нибудь другого.

Излюбленное настроение Форстера состояло в том, что на него находило страстное желание стать в ряды охотников за Случаем.

Он был по природе искателем приключений, но приличия, происхождение, традиции и суживающее горизонт влияние манхеттенского племени лишали его возможности развернуться вовсю. Он исследовал все избитые тропы и даже большинство боковых тропинок, которые, по всеобщему убеждению, скрашивают скуку жизни. Но ему все было мало. Причина этого крылась в том, что он знал, что он найдет в конце каждой улицы. Опыт и логика предсказывали ему с почти абсолютной точностью, чем должно окончиться всякое отступление от рутины. Он находил удручающую монотонность во всех вариациях, которые музыка сфер разыгрывала на мелодию жизни. Он еще не знал той истины, что хотя наш мир и круглый,

однако произведена квадратура этого круга, и настоящий интерес кроется в том, «что находится за ближайшим углом».

Форстер вышел из Похатана и пошел бесцельно вперед, стараясь не утруждать свой ум или желания мыслью о тех улицах, по которым он шел. Он был бы рад заблудиться, будь это возможно; но на это не было никакой надежды. В великой столице приключения и счастье готовы спуститься вам на ладонь, если вы только поманите их пальцем. Случай — восточная женщина. Это закутанная в чадру особа, разъезжающая в паланкине и охраняемая эскадроном драгоманов. Мы можем пересечь весь город, отправиться в центр, бродить по окраинам и все-таки не встретиться с ней.

Побродив около часу, Форстер очутился на углу широкого, гладко вымощенного проспекта и начал с сокрушением глядеть на живописную старинную гостиницу, всю залитую каким-то мягким светом. Он глядел с сокрушением, ибо знал, что ему нужно пообедать, а обед в этой гостинице не был приключением. Это был один из его любимых караван-сараев; блюда подавались там так быстро и бесшумно, еда была так изысканна и хорошо приготовлена, что он жалел

о своем голоде, который ему предстояло утолить «абсолютно совершенной» кухней этого ресторана. Даже музыка, казалось, всегда играла там «da capo».

Ему пришла фантазия пообедать в каком-нибудь дешевом, даже подозрительном ресторане подальше от центра, где заезжие из всех стран мира повара предлагают свои национальные блюда всеядному американцу. Быть может, там произойдет что-нибудь выходящее из ряда повседневной рутины: он найдет подлежащее без сказуемого, дорогу без конца, вопрос без ответа, причину без следствия, какой-нибудь Гольфстрим в горько-соленом море жизни. Он не успел переодеться во фрак; на нем был темный утренний костюм, который не вызовет удивления даже там, где лакеи подают макароны в одних рубашках и жилетах.

И Джон Реджинальд Форстер начал искать у себя в кармане деньги: известно, что, чем дешевле обед, тем необходимее за него заплатить. Он тщательно обыскал все тринадцать — больших и малых — карманов своего костюма и не нашел ни гроша. Книжка его текущего счета указывала, что в его распоряжении имеется сумма в пять цифр, но…

Форстер заметил вдруг какого-то человека, который стоял слева от него и, несомненно, смотрел на него с веселым интересом. У него была наружность обыкновенного делового человека; он был аккуратно одет и стоял точно в ожидании трамвая. Но по этому проспекту трамваи не ходили и потому его близость и явное любопытство показались Форстеру несколько нескромными. Но так как он упорно искал того, «что находится за углом», он не выказал раздражения, а только ответил на веселую усмешку незнакомца полусконфуженной улыбкой.

— Ни черта? — спросил нескромный господин, подходя ближе.

— Похоже на то, — сказал Форстер. — А ведь мне казалось, что у меня был доллар в…

— Знаю, знаю, — смеясь, ответил тот. — Но его не было. Я сам только что проделал эту же самую процедуру, когда заворачивал за угол. Я нашел в боковом кармане пиджака, — не знаю, как они туда попали, — ровно два медяка. Вы не знаете, какого сорта обед можно получить ровно за два медяка?

— Так вы не обедали? — спросил Форстер.

— Нет, но мне хотелось бы пообедать. Вот что, я хочу вам предложить одну вещь. По вашему

виду мне кажется, что вы согласитесь. Вы одеты чисто и аккуратно. Простите за это касающееся вашей личности замечание. Я думаю, что и мое платье выдержит цензуру метрдотеля. Давайте пойдемте вон в ту гостиницу и пообедаем вместе. Выберем лучшие блюда из меню, точно мы миллионеры или, если вам больше нравится, как небогатые люди, решившие хоть раз в жизни роскошно пообедать. Когда мы кончим, мы разыграем в орла или решку, кому остаться и принять на себя гнев и месть официанта. Моя фамилия — Айвз. Мне кажется, что покуда наши деньги не улетели в трубу, мы с вами занимали одинаковое положение в обществе.

— Идет! — с радостью сказал Форстер.

Наконец-то ему предстоит приключение на границе таинственной страны, где царит Случай! Во всяком случае, это сулило нечто более интересное, чем приевшаяся тоска табльдота. Вскоре оба сидели за столом в углу ресторана. Айвз кинул Форстеру через стол один из своих медяков.

— Подкиньте. Разыграем, кому заказывать, — сказал он.

Проиграл Форстер.

Айвз рассмеялся и начал называть лакею разные напитки и кушанья с задумчивой, но

уверенной сосредоточенностью человека, привыкшего чуть не с рождения разбираться в меню. Форстер слушал и с восторгом одобрял его выбор.

— Я — один из тех, — сказал Айвз за устрицами, — которые всю жизнь ищут романа с «продолжением в следующем номере». Я не обыкновенный авантюрист, кидающийся за определенной добычей. Я также и не игрок, знающий, что он или проиграет, или выиграет определенную ставку. Мне хочется другого — наткнуться на приключение, конца которого я не в состоянии предвидеть. Бросать вызов Судьбе в самых слепых ее проявлениях — вот что мне необходимо, как воздух. Наш мир вертится, всецело подчиняясь рутине и притяжению, и теперь трудно найти неведомую тропинку, на которой не нашлось бы столба с надписью о том, что вы найдете в конце ее. Я не хочу знать, не хочу рассуждать, не хочу угадывать; я хочу играть втемную.

— Понимаю, — с восторгом сказал Форстер. — Мне часто хотелось, чтобы кто-нибудь выразил мое собственное чувство словами. Вы именно это сделали. Я иду на риск — пусть будет что будет. А не потребовать ли нам бутылку мозельвейна?

— Согласен, — сказал Айвз. — Я рад, что вы

уловили мою мысль. Это усилит враждебное отношение ресторана к проигравшему. Если вам не надоело, давайте продолжать нашу тему. Настоящих искателей приключений я встречал очень редко, я говорю — настоящих, которые, отправляясь в путь, не требуют от судьбы предварительной сметы и карты местности. Но чем мудрее и цивилизованнее становится мир, тем труднее встретиться с приключением, конца которого нельзя было бы предвидеть. В век Елизаветы можно было нападать на патрули, отрывать молотки от чужих дверей, драться на рапирах в любом укромном уголке за выступом стены. В наши дни, если вы обругаете полицейского, вам остается угадать лишь одно: в какой именно участок он вас отведет.

— Знаю, знаю, — сказал Форстер, одобрительно кивая головой.

— Сегодня я вернулся в Нью-Йорк, — продолжал Айвз, — после трехлетнего путешествия по всей земле. И за границей дело обстоит не лучше, чем у нас дома. Весь мир, по-видимому, во власти логического умозаключения. А меня сильно интересует лишь одно: совершенно новая предпосылка. Я пробовал охотиться в Африке за крупною дичью. Я знаю, что может сделать

автоматическая винтовка на известном расстоянии; а когда слон или носорог падает от пули, мне это доставляет приблизительно такое же удовольствие, как в детстве, когда меня оставляли в школе после уроков и заставляли решать задачи на доске.

— Знаю, знаю, — сказал Форстер.

— Аэропланы, пожалуй, могут что-нибудь дать, — задумчиво продолжал Айвз. — Я пробовал подниматься на воздушном шаре, но, кажется, все дело в правильном расчете ветра и балласта.

— А женщины? — с улыбкой подсказал Форстер.

— Три месяца назад, — сказал Айвз, — я таскался по базару в Константинополе. Я обратил внимание на одну особу, которая разглядывала какие-то украшения из янтаря и жемчуга у одного из ларьков. Она, разумеется, была под чадрой, но из-под нее виднелись необычайно красивые глаза. Ее сопровождал слуга, рослый, черный как смоль нубиец. Вскоре негр начал незаметно ко мне приближаться и сунул мне в руку бумажку. Как только мне удалось это сделать, я развернул ее. Там было написано карандашом, торопливым почерком: «Сегодня вечером в девять — Соловьиный сад — ворота с аркой». Не кажется ли это

вам интересной новой предпосылкой, мистер Форстер?

— Продолжайте, — с увлечением сказал Форстер.

— Я навел справки и узнал, что Соловьиный сад принадлежит какому-то старому турку — великому визирю или что-то в этом роде. Нечего и говорить, что я направился к воротам с аркой и прибыл туда к девяти. В назначенное время тот же слуга-нубиец быстро открыл ворота; я вошел в сад и уселся на скамье близ благоухающего фонтана рядом с дамой в чадре. Проболтали мы довольно долго. Она оказалась журналисткой Мэртль Томпсон и изучала гаремы по поручению чикагской газеты. Она сказала, что там, на базаре, заметила чисто нью-йоркский покрой моего платья.

— Понимаю, — сказал Форстер, — понимаю.

— Я изъездил всю Канаду на лодке, — сказал Айвз, — переплывал через пороги и водопады, но опять-таки это меня не удовлетворяло, потому что я знал, что есть два возможных исхода: или я утону, или же выплыву на поверхность. Я играл в карты во все азартные игры, но математики испортили это развлечение: они вычислили процент вероятности выигрыша и проигры-

ша. Я завязывал знакомства в поездах, я ходил по объявлениям, я звонил в незнакомые дома. Я пользовался всякой случайностью, которая только мне представлялась, но всегда наступал трафаретный конец — логическое заключение, вытекающее из предпосылок.

— Знаю, — повторил Форстер. — Я все это испытал. Но у меня мало было «случайно случившихся» случаев. Есть ли другой город в мире, в котором бы так отсутствовал элемент невозможного? Кажется, будто есть мириады случаев окунуться в неопределенное, но ни один из тысячи не приведет вас туда, куда вы совсем не ожидали попасть. Желал бы я, чтобы и с подземными поездами и трамваями так же редко происходили недоразумения.

— Солнце уже взошло, — сказал Айвз, — и разогнало мрак тысячи и одной ночи. Нет больше калифов. Бутылка рыбака превратилась в термос с гарантией, что любой дух может сохраниться в нем в течение двух суток горячим или холодным. Жизнь движется рутиной. Наука убила приключение. Нет больше тех случайностей, которые испытывали Колумб или человек, первым начавший есть устриц. Верно лишь одно, что нет ничего неверного.

— Видите ли, — сказал Форстер, — я испытал лишь те переживания, которые доступны жителю столицы, а круг их весьма ограничен. Я не видал света, как вы, но, по-моему, мы смотрим на него с одинаковой точки зрения. Говорю вам, что я благодарен даже за это наше маленькое приключение, граничащее со случайностью. Быть может, будет хоть один момент, когда я затаю дыхание: когда представят счет за обед. Пожалуй, пилигримы, путешествовавшие без документов и без кошелька, в конце концов более остро наслаждались жизнью, чем рыцари Круглого Стола, разъезжавшие со свитой и с заверенными чеками короля Артура в подкладке шлемов. А теперь, если вы кончили пить кофе, давайте разыграем, на кого должен обрушиться предстоящий нам удар Судьбы. Ну, что вы загадали?

— Решка, — объявил Айвз.

— Верно, — сказал Форстер, поднимая руку. — Я проиграл. Мы забыли выработать план, чтобы выигравший мог скрыться. Предлагаю вам, когда подойдет лакей, вскользь заметить, что вам нужно кому-нибудь позвонить. Я буду удерживать позицию и задержу счет некоторое время, чтобы вы успели взять пальто и шляпу и уйти. Благодарю вас за вечер, выходящий из ряда обык-

новенных, мистер Айвз. Я желал бы, чтобы он повторился.

— Если память мне не изменяет, — сказал, смеясь, Айвз, — ближайший полицейский участок находится на Мандель-стрит. Поверьте, что и мне наш обед доставил большое удовольствие.

Форстер нажал кнопку. Лакей приблизился к столу, словно подтянутый невидимой резинкой, и положил счет, лицом вниз, рядом с чашкой проигравшего. Форстер взял счет и начал тщательно проверять итог. Айвз удобно откинулся на спинку стула.

— Простите, — сказал Форстер, — но вы, кажется, собирались позвонить Граймзу насчет театра в четверг? Вы разве забыли?

— Ну, — сказал Айвз, усаживаясь еще удобнее, — это я могу и потом сделать. Человек, принесите мне стакан воды.

— Хотите видеть травлю зверя, а? — спросил Форстер.

— Надеюсь, что вы ничего не имеете против, — сказал Айвз умоляющим голосом. — Я никогда в жизни не видал, как арестовывают в ресторане джентльмена, пообедавшего на шармачка.

— Ну, что же, — спокойно сказал Форстер. — Вы имеете право вместо рюмки коньяку угоститься

зрелищем христианина, умирающего на арене.

Официант принес воду и остался у стола с непринужденным видом неумолимого сборщика податей.

Секунд пятнадцать Форстер колебался, затем он вынул из кармана карандаш и нацарапал на счете свою фамилию. Лакей поклонился и унес его.

— Дело в том, — сказал Форстер, улыбаясь несколько сконфуженно, — я, очевидно, не «настоящий спортсмен», что равносильно «искателю приключений». Мне придется сделать вам признание: я уже больше года обедаю в этой гостинице раза два-три в неделю и всегда подписываю счета.

И затем он добавил с оттенком благодарности:

— Очень мило все-таки с вашей стороны, что вы остались при мне до конца, хотя вы знали, что у меня нет денег и что вас могли бы забрать в полицию заодно со мной.

— Видимо, и мне придется признаться, — сказал Айвз, широко улыбаясь. — Я владелец этой гостиницы. Разумеется, я не управляю ею лично, но всегда держу для себя номер в третьем этаже на случай, когда я ночую в городе.

Он подозвал лакея и сказал:

— Что, мистер Гильмор еще в конторе? От-

лично. Передайте ему, что мистер Айвз здесь, и попросите его распорядиться, чтобы мои комнаты были убраны и проветрены.

— Еще одно рискованное приключение, прерванное неизбежностью, — сказал Форстер. — Нет ли в следующем номере загадки без ответа? Но вернемся, если вы ничего не имеете против, к нашей прежней теме минуты на две. Мне не так уж часто приходится встречаться с человеком, которому было бы понятно, какой недостаток я нахожу в жизни. Через месяц будет моя свадьба.

— Воздерживаюсь от комментариев, — сказал Айвз.

— Правильно. Я кое-что добавлю к моему заявлению. Я всей душой люблю «ее», но я все-таки никак не могу решить, ехать ли мне с нею в церковь или же дернуть без нее на Аляску? Это то же самое, о чем мы с вами только что рассуждали: брак — конец всяких приключений. Всем нам известна ежедневная рутина; после утреннего завтрака вы получаете поцелуй, пахнущий цейлонским чаем; затем вы отправляетесь в контору, возвращаетесь домой и переодеваетесь к обеду; два раза в неделю театр… счета… по вечерам большей частью тоска и попытки поддержать разговор… иногда легкая ссора, может быть, даже

как-нибудь и крупная, с разводом, или же успокоение в мирном довольстве среднего возраста, что, пожалуй, хуже всего.

— Понимаю, — с знающим видом кивнул Айвз.

— Меня заставляет колебаться, — продолжал Форстер, — именно эта убийственная уверенность во всем. После этого уже ничего не найдешь «за ближайшим углом».

— После церкви ничего, — сказал Айвз. — Знаю.

— Поймите, — сказал Форстер, — что у меня нет ни малейшего сомнения относительно моего чувства к «ней». Могу сказать, что я искренно, глубоко люблю ее. Но в крови, которая течет по моим жилам, есть что-то, громко протестующее против заранее вычисленных формул всякого рода. Я не знаю, чего именно мне хочется. Я знаю только, что мне этого хочется. Я, наверное, говорю невероятные глупости, но сам я понимаю, что хочу сказать.

— Я вас понимаю, — сказал Айвз, медленно улыбаясь. — Ну-с, я теперь, кажется, пройду к себе в номер. Был бы очень рад, мистер Форстер, если бы вы согласились как-нибудь пообедать со мной здесь в один из ближайших дней.

— В четверг? — предложил Форстер.

— В семь, если вам удобно, — ответил Айвз.

— Идет, — согласился Форстер.

В половине девятого Айвз взял извозчика и подъехал к дому на одной из чопорных Семидесятых улиц в западной части города. По предъявлении карточки он был введен в приемную старинного дома, куда ни разу не осмеливался проникнуть дух Риска, Случайности и Приключения. На стенах висели картины — nature morte, Уистлер, грёзовская головка. Это был настоящий домашний очаг. На столе лежал альбом из сафьяна с украшениями из оксидированного серебра по углам. Часы на камине громко тикали и издавали предупреждение, когда стрелка показывала без пяти девять. Айвз с любопытством посмотрел на них и вспомнил, что у его бабушки тоже были часы с таким предупредителем.

И затем по лестнице сошла Мэри Марсден и вошла в комнату. Ей было двадцать четыре года; наружность ее я предоставляю вашему воображению. Но я должен сказать одно: молодость, здоровье, красота, мужество и зеленовато-фиалковые глаза, все это очень красиво, а она обладала всем этим. Она протянула Айвзу руку с милым сердечным выражением, говорившим о давнишней дружбе.

— Вы не можете себе представить, — сказала она, — как мне приятно, когда вы заходите — хотя бы раз в три года.

Беседа длилась полчаса. Признаюсь, что передать их разговор я не могу. Возьмите любой роман из ближайшей библиотеки, и вы найдете его там. Когда все такое было сказано, Мэри сказала:

— Ну, что же, нашли вы за границей то, что искали?

— Что я искал? — сказал Айвз.

— Ну, да. Ведь у вас всегда были какие-то странности. Еще мальчиком вы никогда не хотели играть в шарики или в бейсбол или вообще в игры, где есть правила. Вы любили нырять в воду, когда вы не знали, какая там глубина — десять дюймов, или десять футов. И потом, став взрослым, вы не изменились. Мы часто удивлялись вашим странностям.

— Я, вероятно, неисправим, — сказал Айвз. — Я противник учения о предопределении, тронного правила, закона притяжения и всяких тому подобных вещей. Жизнь всегда казалась мне романом с продолжением, который печатается в журнале, но только в каждом номере печатают краткое содержание не предыдущих, а последующих глав.

Мэри весело расхохоталась.

— Боб Эмз как-то рассказал нам, — объявила она, — про один забавный ваш поступок. Это было на юге. Вы ехали в поезде и вылезли в каком-то городе, где вовсе не намеревались останавливаться, и все потому, что кондуктор вывесил в вагоне название следующей станции.

— Помню, — сказал Айвз. — Вот эта самая «следующая станция» именно то, от чего я всю жизнь старался уйти.

— Знаю, — сказала Мэри. — И вы много глупостей наделали. Надеюсь, что вы не нашли того, чего не хотели найти, и что вы не пробовали вылезать на остановке, когда и остановки-то никакой не было, и что с вами за ваше трехлетнее отсутствие не случилось всего, чего вы ожидали.

— До моего отъезда у меня было одно желание, — сказал Айвз.

Ясные глаза Мэри смотрели прямо в его глаза; она слегка улыбнулась нежной улыбкой.

— Да, было, — сказала она. — Вы хотели, чтобы я была вашей. И вы могли добиться своего, вы сами это знаете.

Айвз, не отвечая, медленно оглядел комнату. В ней не произошло никаких перемен с тех пор, как он был здесь в последний раз, — три года

тому назад. Он ясно припомнил, о чем он тогда думал. Обстановка этой комнаты, казалось, была так же вечна, как вечны горы. Здесь не могло произойти никаких перемен, кроме тех, которые производит разрушительное время. Этот оправленный в серебро альбом всегда будет лежать на определенном месте на столе, эти картины всегда будут висеть там же на стенах, эти стулья всегда окажутся на своих местах — и утром, и днем, и ночью, пока дом будет существовать. Медный каминный прибор — это памятник, воздвигнутый в честь порядка и неизменности. Кое-где лежали столетние реликвии, которые все еще были дороги и долго еще будут дороги кому-то по воспоминаниям. Тот, кто шел в этот дом, мог не сомневаться и не строить предположений. Он найдет там лишь то, что оставил, и оставит лишь то, что нашел. Случайность — эта женщина под покрывалом — никогда не поднимет руку, чтобы постучаться в двери этого дома.

Перед ним сидела девушка, составлявшая часть этой комнаты, уравновешенная, милая, постоянная. Она не сулила ничего неожиданного. Можно было прожить с ней целую жизнь и не заметить перемены в ней, хотя бы она поседела и покрылась морщинами. Три года Айвз провел вдали

от нее, и она все-таки ждала его, постоянная и неизменная, как самый дом. Он был убежден в том, что она когда-то любила его. Именно уверенность, что это всегда так будет, и заставила его уехать. Вот какие мысли бродили у него в голове.

— Я на днях выхожу замуж, — сказала Мэри.

* * *

В следующий четверг Форстер второпях заехал днем в гостиницу к Айвзу.

— Послушайте, старина, нам придется отложить наш обед на год или больше; я еду за границу. Пароход отправляется в четыре. Наш разговор на днях произвел на меня большое впечатление и заставил меня решиться. Я хочу потолкаться по миру и отделаться от этого гнета, который давит и меня и вас, — от этого ужаса заранее знать, что должно произойти. Я сделал одну вещь, за которую меня слегка мучает совесть; но я знаю, что так будет лучше для нас обоих. Я написал моей невесте и все ей объяснил, — откровенно сказал, почему я уезжаю, — сказал, что я не сумею примириться с однообразием семейной жизни. Как по-вашему, правильно ли я поступил?

— Не мне судить об этом, — сказал Айвз. — Валяйте, поезжайте охотиться на слонов, если вы

думаете, что это внесет элемент случайности в вашу жизнь. В таких случаях каждый должен решать за себя. Но я хочу вам сказать лишь одно, Форстер: я нашел свой путь, я открыл самую азартную в мире игру — игру рискованную, которой нет конца, приключение, которое может окончиться седьмым небом или темнейшей пропастью ада. Человек, отдавшийся ей, должен быть начеку всю жизнь, пока не захлопнется над ним крышка гроба, ибо он никогда не будет «знать» — до последнего дня своего, — и даже тогда ничего не узнает. Это плавание без руля и компаса, где приходится самому быть и капитаном и экипажем, и одному день и ночь бессменно стоять на вахте. Я нашел приключение. Не беспокойтесь о том, что вы покинули Мэри Марсден, Форстер. Я обвенчался с нею вчера в полдень.

Поединок

Перевод под ред. М. Лорие.

Боги-олимпийцы, подкрепляясь нектаром и выглядывая из-за гребня своей горы, видят разницу между городами. Казалось бы, все города должны представляться им только большими или меньшими муравейниками, без каких бы то ни было индивидуальных различий. Но это не так. Изучать привычки муравьев с такой высоты вряд ли очень интересно, особенно когда можно наслаждаться напитком, который, если верить мифологии, составляет единственную отраду обитателей Олимпа. Но им, очевидно, нравится сравнивать между собой города и деревни, и для них (как, может быть, и для многих смертных) не будет новостью, что в одном отношении Нью-Йорк стоит особняком среди всех городов мира. Это и будет темой маленького рассказа, посвященного мужчине, который сидит и курит, положив ноги в домашних туфлях на другой стул, и женщине, которая хватает журнал, улучив минуту, когда кипящие на плите овощи или усыпленный наркотиками младенец не требуют

ее внимания. С такими, как они, я люблю сидеть на земле, печальные рассказывая были о том, как умирают короли[204].

Нью-Йорк населяют четыре миллиона таинственных чужестранцев. Они попали сюда разными путями и по разным причинам: Гендрик Гудзон[205], школы живописи, овощные рынки, аист, ежегодный съезд портных, Пенсильванская железная дорога, жажда наживы, сцена, дешевый экскурсионный тариф, мозги, брачная газета, тяжелые ботинки, честолюбие, товарные поезда — все это принимало участие в создании населения Нью-Йорка.

Но всякий, кто впервые ступает на улицы Манхэттена, должен дать бой. Он должен дать бой немедленно и драться до тех пор, пока либо он, либо его противник не одержит победы. Тут нет отдыха между раундами, потому что никаких раундов нет. Тут сразу пускаются в ход кулаки. Это бой на результат.

Ваш противник — город. Вы должны биться

---

[204] Примечания: 204

Вошедшая в поговорку фраза из «Ричарда II» Шекспира.

[205] Примечания: 205

Гендрик Гудзон (1576–1611) — английский мореплаватель, открывший реку, впоследствии названную его именем, в устье которой был построен Нью-Йорк.

с ним с той минуты, как паром спустил вас на берег, и либо завоевать его, либо стать его рабом. И совершенно все равно, миллион ли у вас в кармане, или только сумма, достаточная для оплаты недельного счета в гостинице.

Бой должен решить, сделались ли вы ньюйоркцем или превратились в последнейшего из чужеземцев и провинциалов. Другого выбора нет. Остаться нейтральным нельзя. Нужно быть за или против, влюбленным или врагом, закадычным другом или отверженным. И город умеет бороться. Он старается сокрушить вас не только ударами. Он притягивает вас к своему сердцу с коварством сирены. Этот город — комбинация из Далилы, зеленого шартреза, Бетховена, хлоралгидрата и Джона Л.[206] в лучшую его пору.

В других городах вы можете странствовать или жить чужаком сколько вам угодно. Вы можете прожить в Чикаго до глубокой старости и числиться в списках его граждан и все-таки воспевать бобы, если вас вскормил Бостон, и никто вам ничего не скажет. Вы можете стать столпом общества в любом другом городе и издеваться над его зданиями, сравнивая их со старинным домом

---

[206] Примечания: 206
Джон Л. Салливен, известный боксёр.

полковника Телфэра в Джексоне, штат Миссури, где вы родились, и никто вас не тронет. Но в Нью-Йорке вы должны быть или ньюйоркцем, или варваром, вторгшимся в эту современную Трою и прячущимся в деревянном коне своего надутого провинциализма. И все это унылое предисловие было нужно лишь для того, чтобы представить вам двух скромных молодых людей — Уильяма и Джека.

Они вместе приехали с Запада, где были друзьями. Они приехали, чтобы отыскать в этом большом городе свое счастье.

Папаша Никербокер[207] встретил их на пристани и двинул одного правой рукой в переносицу, а другого левой по скуле, дав им таким образом понять, что бой начался.

Уильяма влекла деловая карьера; Джека — искусство. Оба были молоды и честолюбивы. Они ответили ударом на удар и сжали кулаки. Кажется, они были из Небраски, а может быть, из Миссури или Миннесоты. Во всяком случае, они жаждали успеха, и борьбы, и денег, и они сцепились с городом, как два Локинвара, вооруженных кастетами и протекцией в городском

---

[207] Примечания: 207

Папаша Никербокер — Нью-Йорк, по одной из наиболее известных фамилий первых жителей Нью-Йорка — голландцев.

управлении.

Через четыре года Уильям и Джек встретились за завтраком. Деловой человек ворвался в ресторан, как мартовский ветер, бросил свой цилиндр лакею, упал в пододвинутое ему кресло, схватил меню и заказал все, кроме сыра, прежде чем художник успел кивнуть головой. Глаза художника засветились насмешливой улыбкой.

— Билли, — сказал он, — ты погиб. Город поглотил тебя. Он перекроил тебя на свой образец и поставил на тебе свою печать. Ты так похож на десять тысяч человек, которых я встретил сегодня, что отличить тебя можно только по меткам, которые делают в прачечной на твоем белье.

— …и камамбер, — закончил Уильям. — В чем дело? А-а, ты все еще громишь Нью-Йорк? Ничего, мне этот старый Шуми-Городок-над-Подземкой очень подходит. Он мне дает то, что мне нужно. Я сам раньше думал, что Запад — это весь мир. Я орал до хрипоты о наших необозримых просторах и издевался над мелкими коммивояжерами с Востока. Но тогда я еще не знал Нью-Йорка, Джек. Я за Нью-Йорк — от подземки до крыш небоскребов. Теперь Запад для меня — Шестая авеню. Ты

слышал, кстати, этого малого — Крузо[208]? Я бы его сослал, подлеца, на необитаемый остров, да жена заставила меня пойти. Нет, мне подавай Мэри Ирвин и Уилларда[209].

— Бедный Билли, — сказал художник, закуривая папироску. — Помнишь, как ты, по дороге сюда, говорил об этом великом волшебном городе и как мы собирались покорить его и даже мысли не допускали, чтобы он когда-нибудь взял верх над нами? Мы клялись, что навсегда останемся такими, какие мы есть, и не позволим городу одолеть нас. Город победил тебя, приятель. Ты превратился из мустанга в ломовую лошадь.

— Я не вижу, собственно, в чем дело, — сказал Уильям. — Да, я не ношу теперь в парадных случаях жизни куртку из альпака с голубыми штанами и полосатой жилеткой. Ты говоришь, что город перекроил меня на свой образец. Что ж, образец разве плох? По-моему, все другие так называемые большие города — жалкие полустанки по сравнению с Нью-Йорком. Чикаго, Сент-Джо и Париж (Франция) — просто остановки, помеченные звездочкой. Поезд на них останавливается в неделю

---

[208] Примечания: 208
Певец Карузо.

[209] Примечания: 209
Комедийные актёры.

раз, и то только если помахать ему флажком. Я полюбил этот городишко, эту Стоп-Машину-на-Гудзоне. Тут ничего никогда не стоит на месте. Я зарабатываю восемь тысяч долларов продажей автоматических насосов и живу, как принц. Вчера, например, меня познакомили с Джоном Гейтсом[210]. Я катался на автомобиле с сестрой одного комиссионера по винной части. Я видел, как трамвай переехал двух человек, а вечером смотрел в театре Эдну Мэй. Толкуй о Западе. Я тут недавно ночью разбудил криком весь дом. Мне приснилось, что я иду по деревянному тротуару в Ошкоше. Что ты имеешь против этого города, Джек? Мне в нем только одна вещь не нравится — это паром.

Художник мечтательно смотрел на обои.

— Этот город — вампир, — сказал он. — Вампир, сосущий кровь страны. Если хочешь, это даже не вампир, а кровожадный идол, Молох, чудовище, которому красота, невинность и гений страны платят дань. Приезжая сюда, все мы принимаем вызов на поединок. Каждого новичка ждет схватка с этим Левиафаном. Ты погиб, Билли, а меня он не победит никогда. Я ненавижу его, как можно

---

[210] Примечания: 210
Джон Гейтс — биржевой спекулянт, богач.

ненавидеть только грех, или заразу, или… работу иллюстратора в десятицентовых журналах. Я презираю самое его величие и могущество. Ни в каком другом городе я не видел таких бедных миллионеров, таких мелких великих людей, таких надменных нищих, таких пошлых красавиц, таких низких небоскребов, таких скучных развлечений. Тебя он поймал, старина, я же никогда не побегу за его колесницей. Он покрыт глянцем, как воротничок из китайской прачечной. Я мог бы примириться с городом, которым правит богатство, с городом, которым правит аристократия, но здесь у власти стоят самые темные, гнусные элементы. Эта грубость, претендующая на высокую культурность; эта низость, утверждающая свое могущество; эта узость, отрицающая все чужие ценности и добродетели! Дай мне чистый воздух и открытое сердце Запада: если бы я мог, я бы завтра же туда уехал.

— Тебе не нравится этот филе-миньон? — сказал Уильям, — Брось, что толку в том, что ты ругаешь город? Город отличный. От Гаррисбурга до салуна Томми О'Кифа в Сакраменто я нигде не мог бы продать ни одного автоматического насоса, а здесь я их продаю по двадцать штук в

день. Ты видел Сару Бернар в «Андрю Маке»[211]?

— Город погубил тебя, Билли, — сказал Джек.

— Ладно, — сказал Уильям. — В будущем году я покупаю себе домик на озере Ронконкома.

В полночь Джек открыл в своей комнате окно и подсел к нему. От того, что он увидел, у него захватило дыхание, хотя он видел все это уже много раз.

Далеко внизу лежал город — фантастический пурпурный сон. Неравной высоты и формы дома были, как изломанные очертания скал, окаймляющих глубокие и капризные потоки. Одни напоминали горы, другие выстроились длинными, ровными рядами, как базальтовые стены пустынных каньонов. Таков был фон чудесного, жестокого, ошеломляющего, волшебного, рокового, великого города. Но в этот фон были врезаны мириады блестящих параллелограммов, и кругов, и квадратов, через которые струился свет разных цветов. И из этой пурпурной и фиолетовой глубины возникали, как душа города, звуки, и запахи, и трепеты, из которых слагается его жизнь. Поднималось дыхание необузданного веселья, любви, ненависти и всех страстей, какие

---

[211] Примечания: 211
В роли Андромахи.

ведомы человеку. Там, внизу, лежало все доброе и все злое, что можно собрать с четырех концов земли, чтобы просветить, обрадовать, увлечь, обогатить, отнять последнее, возвысить, бросить в грязь, насытить или убить. Так аромат и вкус города поднялся к Джеку и проник в его кровь.

Раздался стук в дверь. Джеку принесли телеграмму. Она пришла с Запада, и текст ее гласил: «Возвращайся домой, я согласна. Долли».

Он заставил мальчика подождать десять минут, а потом написал ответ: «Сейчас приехать не могу». Потом он опять сел у окна, и город снова поднес к его устам чашу мандрагоры.

В общем, это даже не рассказ; но мне захотелось узнать, который из моих героев победил в борьбе с городом. А поэтому я пошел к одному очень ученому своему другу и изложил ему обстоятельства этого дела. Вот что он сказал: «Не надоедайте мне, пожалуйста. Мне надо идти покупать рождественские подарки».

Тем дело и кончилось; и вам уж придется решать самим.

«Кому что нужно»

Перевод Т. Озерской.

Ночь опустилась на большой, красивый город, что зовется Багдад-над-Подземкой, и на крыльях ночи слетели на него колдовские чары, которые не составляют монополии одной только Аравии. Улицы, базары и обнесенные стенами дома этого западного аванпоста романтики населял — хотя и в другом обличье — не менее занятный люд, чем тот, что весьма занимал когда-то нашего старинного приятеля Г. А. Рашида. Одежды носили уже не те, какие видел покойный Г. А. на улицах Багдада, а ровно на одиннадцать столетий ближе к последнему крику моды, но люди-то под одеждой почти не изменились. Поглядите вокруг оком веры, и на каждом углу вам может встретиться и Маленький Горбун, и Синдбад-Мореход, и Мешковат Портной, и Прекрасный Персианин, и Одноглазые Дервиши, и Али-Баба с Сорока Разбойниками, не говоря уже о Цирюльнике и его Шести Братьях, — словом, вся как есть старая арапская шайка.

Но вернемся к нашим бараньим котлетам.

Старый Том Кроули был калиф. Он владел сорока двумя миллионами долларов в самых солидных, привилегированных акциях. В наши дни, чтобы называться калифом, нужно иметь деньги. Калифствовать по старинке, как мистер Рашид, теперь небезопасно. Попробуйте-ка пристать к какому-нибудь обывателю на базаре, или в турецкой бане, или просто в переулке и начать дознаваться о состоянии его личных дел! И охнуть не успеете, как уже будете стоять перед полицейским судом.

Старому Тому осточертели театры, клубы, обеды, приятели, музыка, деньги и вообще все на свете. Так и создаются калифы: вы должны почувствовать отвращение ко всему, что можно купить за деньги, выйти на улицу и постараться пожелать чего-нибудь такого, что не продается и не покупается.

«Пойду-ка я прогуляюсь один по городу, — подумал старина Том. — Погляжу, не удастся ли откопать что-нибудь новенькое. Стоп! Я, кажется, читал, что в стародавние времена какой-то король, или великан Кардифф, или еще кто-то в этом роде имел привычку расхаживать по улицам, нацепив фальшивую бороду, и заговаривать на восточный манер с людьми, которым он не был

представлен. Тоже неплохая идея. Знакомые-то все надоели до смерти, хандра от них заела. Старый Кардифф, помнится, норовил выбирать тех, кто попал в беду. Как нарвется на таких, сейчас даст им золота — цехины, что ли, — и заставит пожениться или сунет на тепленькое местечко в каком-нибудь департаменте. Вот бы и мне надо что-нибудь такое отмочить. Мои деньги ничуть не хуже, чем его, хотя журналы и допытываются из месяца в месяц, как да откуда я их добываю. Да, надо будет сегодня же вечером провести эту кардиффскую операцию. Посмотрим, что получится».

Одевшись попроще, старый Том Кроули покинул свой дворец на Мэдисон-авеню и взял курс на запад, а потом свернул к югу. В ту минуту, когда его нога ступила на тротуар, Судьба, которая держит в руках все нити и управляет из своей главной конторы жизнью очарованных городов, потянула за какой-то кончик, и в двадцати кварталах от старого Тома некий молодой человек глянул на стенные часы и надел пиджак.

Джеймс Тэрнер работал в одном из тех маленьких предприятий на Шестой авеню, где колокольчик поднимает отчаянный трезвон, когда вы отворяете дверь, и где чистят шляпы

«в присутствии заказчика»... двое суток. Джеймс целый день стоял у электрической машины, которая кружила головные уборы быстрей, чем лучшее шампанское кружит головы. Снисходя к проявленному вами неуместному любопытству в отношении наружности незнакомого вам человека, мы позволим себе описать его в общих чертах: вес — сто восемнадцать фунтов; цвет лица и волос — светлый; рост — пять футов шесть дюймов; возраст — около двадцати трех лет; одет в десятидолларовый костюм из зеленовато-голубой саржи; содержимое карманов — два ключа и шестьдесят три цента мелкой монетой.

Воздержитесь от поспешных выводов, если описание это смахивает на полицейский протокол, — Джеймс Тэрнер жив и не пропал без вести.

Allons!

Джеймс Тэрнер целый день работал стоя. У него были чрезвычайно чувствительные ноги — болезненно чувствительные ко всякому давлению на них извне. День-деньской они ныли и горели, причиняя ему великие страдания и неудобства. Но работа приносила Джеймсу двенадцать долларов в неделю, которые были ему необходимы, чтобы держаться на ногах, даже если ноги отка-

зывались его держать.

У Джеймса Тэрнера было свое представление о счастье — совершенно так же, как у вас или у меня. По-вашему, нет ничего лучше, как носиться по свету на яхте или в автомобиле и швыряться дукатами в разные заморские диковинки. А я люблю посидеть в сумерках с трубочкой и поглядеть, как засыпают прерии и всякая нечисть отправляется помаленьку на покой.

Для Джеймса Тэрнера высшее блаженство заключалось в другом, и он был в этом совершенно самобытен. По окончании работы он шел домой — в меблированные комнаты с табльдотом. Поужинав скромным бифштексом, обугленным картофелем, печеным яблоком и цикорным кофе, он поднимался в свою угловую комнату на пятом этаже окнами во двор. Там, стащив с ног башмаки и носки, Джеймс Тэрнер растягивался на кровати, прижимал свои горящие ступни к ее холодным железным прутьям и уходил с головой в морские небылицы Кларка Рассела. В блаженном прикосновении прохладного металла к многострадальным ступням Джеймс Тэрнер находил свою ежевечернюю отраду. Любимые морские истории, фантастические приключения отважных мореходов никогда не приедались ему.

Они были его единственной духовной страстью. Ни один миллионер никогда не чувствовал себя таким счастливым, как Джеймс Тэрнер, расположившийся отдохнуть.

Выйдя из мастерской, Джеймс Тэрнер не пошел на этот раз прямо домой, а уклонился в сторону на три квартала, чтобы порыться в старых книгах, которыми торгуют на тротуарах с лотков. Ему не раз удавалось раздобыть там за полцены какой-нибудь роман Кларка Рассела в бумажной обложке.

Когда он стоял, склонившись с ученым видом над пестрой грудой макулатуры, старый Том Кроули, калиф, как раз проходил мимо. Его зоркий взгляд, обогащенный двадцатилетним опытом производства стирального мыла (сохраняйте обертки!), сразу распознал в этом бедном, но взыскательном ученом достойный объект для своего калифского эксперимента. Спустившись по двум плоским каменным ступеням тротуара, он не мешкая обратился к намеченной им жертве своих будущих благодеяний. Начал он, как водится, с приветствия — просто чтобы нащупать почву.

Джеймс Тэрнер, зажав в одной руке «Sartor

Resartus»[212], а в другой «Безумный брак», холодно поглядел на незнакомца.

— Проваливай, — сказал он. — Я не покупаю пиджачных вешалок и земельных участков в городе Хэнкипу штат Нью-Джерси. Беги, старичок, поиграй со своим плюшевым медведем.

— Молодой человек, — сказал калиф, пропустив мимо ушей дерзкий ответ чистильщика шляп. — Я замечаю в вас склонность к кабинетным занятиям. Ученость — превосходная штука. Мне самому не пришлось ее набраться — я родом с Запада, там у нас одни голые факты, — но в других я образованность ценю. И хоть не очень-то я разбираюсь в поэзии и разных там иносказаниях, на которые вы тут нацелились, но мне нравится, когда кто-то думает, что он в состоянии понять, что все это значит. Короче, я хочу сделать вам предложение. Я стою сейчас около сорока миллионов долларов и с каждым днем становлюсь богаче. Я сколотил эту кучу денег на Серебристом Мыле Тетушки Пэгги. Это мое собственное изобретение. Три года пробовал так и этак, а потом взял как раз хорошую пропорцию хлористого натрия, каустика и поташа, сварил и получил то,

[212] Примечания: 212

«Перекроенный портной» (*лат.*) — философско-публицистическое сочинение Томаса Карлейля.

что надо. На этом мыле я набрал миллионов девять, а остальное добрал на видах на урожай. Вы, я вижу, тяготеете к литературе и наукам. Так вот слушайте, что я надумал. Я оплачу ваше обучение в каком-нибудь самом первоклассном колледже. Потом вы поедете шататься по Европе и картинным галереям, и это я тоже оплачу. После чего я дам вам в руки какое-нибудь доходное дело. Не обязательно варить мыло, если вам это не по душе. Ваш костюм и эти махры, заменяющие галстук, говорят о том, что вы порядком нуждаетесь и не в ваших возможностях отклонить такое предложение. Итак, когда мы начнем?

Чистильщик шляп посмотрел на старого Тома, и тот увидел взгляд Большого Города: холодное и обоснованное подозрение читалось в этом взгляде, вызов, самозащита, любопытство, приговор (еще не окончательный, но суровый), цинизм, издевка и — как ни странно — детская тоска по теплому участию, которую нужно скрывать, когда живешь среди «чужих банд». Ибо в Новом Багдаде, чтобы спасти свою шкуру, нужно остерегаться каждого, кто находится на соседней скамейке, рядом за стойкой, в комнате за стеной, в доме напротив, на ближайшем перекрестке или вон в том кебе — словом, всех, кто сидит, пьет,

спит, живет, гуляет или проезжает мимо.

— Послушайте, приятель, — сказал Джеймс Тэрнер, — вы по какой части работаете, что-то я не пойму? Шнурки для ботинок? Мне не нужен этот товар. Ну-ка берите ноги в руки да катитесь отсюда, пока целы. Если вам надо сбыть партию автоматических ручек или очки в золотой оправе, которые вы подобрали на улице, или, может, пачку сертификатов — так не на того напали. Разве я, по-вашему, похож на человека, который сбежал из сумасшедшего дома по воображаемой пожарной лестнице? С чего это вас так разобрало?

— Сын мой, — произнес калиф на самых гарун-аль-рашидских нотах, — у меня, как я уже сказал, сорок миллионов долларов. Мне не интересно тащить их с собой в могилу. Мне хочется сделать какое-нибудь доброе дело. Я видел, как вы рылись в этих литературных писаниях, и решил вас поддержать. Я пожертвовал миссионерским обществам два миллиона долларов, а что я от этого имею? Расписку секретаря? Вы, молодой человек, как раз то, что мне надо. Я хочу заняться вами и поглядеть, что можно из вас сделать с помощью денег.

Кларк Рассел в тот вечер что-то не попадался,

и ноги Джеймса Тэрнера горели, как в огне, а от этого, прямо скажем, не подобреешь. Джеймс Тэрнер был простым чистильщиком шляп, но независимостью характера мог поспорить с любым калифом.

— Ну ты, старый пройдоха, — сказал он в сердцах, — топай отсюда! Я не знаю, чего ты добиваешься — разменять свою фальшивую кредитку в сорок миллионов? Так я не ношу с собой таких денег. А вот короткий левый в правую скулу у меня всегда при себе, и ты его заработаешь в два счета, если не разведешь пары.

— Ах ты, нахальный, паршивый уличный щенок! — сказал калиф.

Джеймс Тэрнер отвесил свой короткий левый. Старина Том ухватил его за шиворот и трижды лягнул в зад; чистильщик шляп извернулся и вошел в клинч; два лотка опрокинулись, и книги разлетелись по мостовой. Появился фараон и поволок обоих в участок.

— Драка и бесчинство, — доложил он сержанту полиции.

— На поруки — залог триста долларов, — мгновенно изрек сержант в утвердительно-вопросительной форме.

— Шестьдесят три цента, — сердито фыркнул

Джеймс Тэрнер.

Калиф порылся в карманах и наскреб доллара на четыре бумажек и мелочи.

— Я стою, — сказал он, — сорок миллионов долларов, но…

— Запри их обоих, — распорядился сержант.

В камере Джеймс Тэрнер прилег на койку и задумался.

«Может, у него и вправду столько денег, а может, и врет. Да все одно — есть ли они у него, нет ли, — чего он сует свой нос в чужие дела? Когда человек знает, что ему нужно, и умеет своего добиться, так чем, спрашивается, это хуже сорока миллионов?»

Тут Джеймса Тэрнера осенила счастливая мысль, и лицо его просветлело.

Он разулся, пододвинул койку поближе к двери, растянулся со всем комфортом и прижал ноющие ступни к холодным железным прутьям решетки. Что-то твердое впилось ему в лопатку, причиняя неудобство. Он сунул руку под одеяло и вытащил оттуда роман Кларка Рассела «Возлюбленная моряка» в бумажной обложке. Джеймс Тэрнер удовлетворенно вздохнул.

К решетке подошел сторож и сказал:

— Слышь, парнишка, а ведь старый-то осел,

которого забрали вместе с тобой за потасовку, и впрямь, оказывается, миллионер. Он позвонил своим друзьям и сидит сейчас в канцелярии с целой пачкой кредиток толщиной в подушку спального вагона. Ждет тебя — хочет взять на поруки.

— Скажите ему, что меня нет дома, — ответил Джеймс Тэрнер.

Примечания к сборнику

Деловые люди (Strictly Business), 1908. На русском языке под названием «Люди дела» в книге: О. Генри. Игрушечка-пастушечка. М.-Л., 1924, пер. В. Александрова.

Золото, которое блеснуло (The Gold That Glittered), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Младенцы в джунглях (Babes in the Jungle), 1903. На русском языке под названием «Дети в джунглях» в книге: О. Генри. Американские рассказы. М.-Пг., 1923, пер. В. Азова.

День воскресения (The Day Resurgent), 1906. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Пятое колесо (The Fifth Wheel), 1907. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Поэт и поселянин (The Poet and the Peasant), 1905. На русском языке под названием «Поэт и крестьянин» в книге: О. Генри. Американские рассказы. М.-Пг., 1923, пер. В. Азова.

Ряса (The Robe of Peace), 1903. На русском языке

в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Женщина и жульничество (The Girl and the Graft), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Комфорт (The Call of the Tame), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Неизвестная величина (The Unknown Quantity), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Театр — это мир (The Thing's the Play), 1906. На русском языке под названием «Жизнь — игра» в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Блуждания без памяти (A Ramble in Aphasia), 1905. На русском языке под названием «Афазия» в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Муниципальный отчет (A Municipal Report), 1909. На русском языке под названием «Провинция» в книге: О. Генри. Игрушечка-пастушечка. М.-Л., 1924, пер. В. Александрова.

Помещая в эпиграфе слова известного рома-

ниста, своего современника, Фрэнка Норриса о безнадежной заурядности жизни в американской провинции, О. Генри берется оспорить их. Сообщая план будущего рассказа в письме к приятелю-журналисту Уильяму Гриффиту, он дает такой комментарий: «Я хочу показать, что раз речь идет о жизни живых людей, ни один самый будничный, прозаичнейший город ни в чем не уступит Сан-Франциско, Парижу или Багдаду».

Психея и небоскреб (Psyche and Psky-scraper), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Американские рассказы. М.-Пг., 1923, пер. В. Азова.

Багдадская птица (A Bird of Bagdad), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Американские рассказы. М.-Пг., 1923, пер. В. Азова.

С праздником! (Compliments of the Season), 1906. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Новая сказка из «Тысячи и одной ночи» (A Night in New Arabia), 1908. На русском языке под названием «Ночь в Новой Аравии» в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Сила привычки (The Girl and the Habit), 1905. На русском языке под названием «Барышня и привычка» в книге: О. Генри. Шуми-городок над

Подземкой. Л.-М., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Во вступлении к рассказу — характерное для О. Генри скопление юмористических ассоциаций, намеков и проч., которые он предлагает читателю ловить и расшифровывать «на лету». Материал для его игры — имена. Сперва он составляет «четверку» из радикального американского экономиста Генри Джорджа, первого президента США Джорджа Вашингтона, писателя-классика Вашингтона Ирвинга и популярного современного беллетриста Ирвинга Бачеллера, связав их единственно по тому признаку, что фамилия каждого предыдущего служит именем последующего. Далее, заведя речь о Западе и Востоке, он формирует комическую по несхожести пару из двух Джеймсов: Джесси Джеймса, известного бандита из западных штатов, и представляющего несколько чопорную традицию восточных штатов писателя Генри Джеймса, над изысканной прозой которого О. Генри любил подтрунивать. И под конец, объявив о своем намерении обратиться за темой рассказа «к полному толковому словарю», О. Генри попутно делает героиню рассказа тезкой книгоиздательской фирмы Мэррием, выпускающей известный толковый словарь Вебстера.

Теория и практика (Proof of the Pudding), 1907. На русском языке в книге: О. Генри. Игрушечка-пастушечка. М.-Л., 1924, пер. В. Александрова. О. Генри усложнил и развил здесь сюжет напечатанного двумя годами ранее рассказа «Ценитель и пьеска» (см. сб. «Остатки»).

Во втором часу у Руни (Past One at Rooney's), 1907. На русском языке под названием «После часа у Руни» в книге: О. Генри. Игрушечка-пастушечка. М.-Л., 1924, пер. В. Александрова.

Искатели приключений (The Venturers), 1909. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Поединок (The Duel), 1906. На русском языке в книге: О. Генри. Американские рассказы. М.-Пг., 1923, пер. В. Азова.

«Кому что нужно» («What You Want»), 1908. На русском языке под названием «Чего вы хотите» в книге: О. Генри. Американские рассказы. М.-Пг., 1923, пер. В. Азова.

О. Генри
КОЛОВРАЩЕНИЕ
(Сборник)

Дверь и мир

Перевод И. Гуровой.

У авторов, желающих привлечь внимание публики, имеется излюбленный прием: сначала читателя уверяют, что все в рассказе — истинная правда, а затем прибавляют, что истина неправдоподобнее всякой выдумки. Я не знаю, истинна ли история, которую мне хочется вам рассказать, хотя суперкарго-испанец с фруктового парохода «Эль Карреро» клялся мощами святой Гваделупы, что все факты были сообщены ему вице-консулом Соединенных Штатов в Ла-Пасе — человеком, которому вряд ли могла быть известна и половина их.

А теперь я не без удовольствия опровергну вышеприведенный афоризм, клятвенно заверив вас, что совсем недавно мне довелось прочесть в заведомо выдуманном рассказе следующую фразу «Да будет так, — сказал полисмен». Истина еще не породила ничего, столь невероятного.

Когда Х. Фергюсон Хеджес, миллионер, предприниматель, биржевик и нью-йоркский бездельник, решал повеселиться и весть об этом

разносилась «по линии», вышибалы подбирали дубинки потяжелее, официанты ставили на его любимые столики небьющийся фарфор, кебмены скоплялись перед ночными кафе, а предусмотрительные кассиры злачных мест, завсегдатаем которых он был, спешили занести на его счет несколько бутылок в качестве предисловия и введения.

В городе, где буфетчик, отпускающий вам «бесплатную закуску», ездит на работу в собственном автомобиле, обладатель одного миллиона не числится среди финансовых воротил. Но Хеджес тратил свои деньги так щедро, с таким размахом и блеском, как будто он был клерком, проматывающим недельное жалованье. В конце концов, какое дело трактирщику до ваших капиталов? Его интересует ваш счет в баре, а не в банке.

В тот вечер, с которого начинается констатация фактов, Хеджес развлекался в теплой компании пяти-шести друзей и знакомых, собравшихся в его кильватере.

Самыми молодыми в этой компании были маклер Ральф Мэррием и его друг Уэйд.

Зафрахтовали два кеба дальнего плавания; на площади Колумба легли в дрейф и долго поносили великого мореплавателя, непатриотично

упрекая его за то, что он открывал континенты, а не пивные. К полуночи ошвартовались где-то в трущобах, в задней комнате дешевого кафе.

Пьяный Хеджес вел себя надменно, грубо и придирчиво. Плотный и крепкий, седой, но еще полный сил, он готов был дебоширить хоть до утра. Поспорили — по пустякам, — обменялись пятипалыми словами, словами, заменяющими перчатку перед поединком. Мэррием играл роль Готспура[213].

Хеджес вскочил, схватил стул, размахнулся и яростно швырнул его в голову Мэрриема. Мэррием увернулся, выхватил маленький револьвер и выстрелил Хеджесу в грудь. Главный кутила пошатнулся, упал и бесформенной кучей застыл на полу.

Уэйд, ежедневно ездивший на пригородных поездах в Нью-Йорк и обратно домой, умел действовать быстро. Он вытолкнул Мэрриема в боковую дверь, завел его за угол, протащил бегом через квартал и нанял кеб. Они ехали минут пять, потом сошли на темном углу и расплатились. Напротив лихорадочным гостеприимством блестели огни кабачка.

---

[213] Примечания: 213

Прозвище сэра Генриха Перси, забияки и задиры, в драме Шекспира «Генрих IV».

— Иди туда, в заднюю комнату, — сказал Уэйд, — и жди. Я схожу узнать, как дела. До моего возвращения можешь выпить, но не больше двух стаканов.

Без десяти час Уэйд вернулся.

— Крепись, старина, — сказал он. — Как раз, когда я подошел, подъехала карета скорой помощи. Доктор говорит — умер. Пожалуй, выпей еще стакан. Предоставь все дело мне. Тебе надо исчезнуть. По-моему, стул юридически не считается оружием, опасным для жизни. Придется навострить лыжи, другого выхода нет.

Мэррием раздраженно пожаловался на холод и заказал еще стакан.

— Ты замечал, как у него на руках жилы вздуваются? Не выношу… Не…

— Выпей еще, и пошли, — оказал Уэйд. — Я все устрою, можешь на меня положиться.

Уэйд сдержал слово: уже в одиннадцать часов следующего утра Мэррием с новым чемоданом, набитым новым бельем и щетками для волос, не привлекая ничьего внимания, прошел по одной из пристаней Восточной реки и поднялся на борт пятисоттонного фруктового пароходика, который только что доставил первый в сезоне груз апельсинов из порта Лимон и теперь возвращал-

ся обратно. В кармане у Мэрриема лежали его сбережения — две тысячи восемьсот долларов крупными банкнотами, а в ушах звучало наставление Уэйда — оставить как можно больше воды между собой и Нью-Йорком. Больше ни на что времени не хватило.

Из порта Лимон Мэррием, направляясь вдоль побережья к югу сначала на шхуне, а затем на шлюпе, добрался до Колона. Оттуда он переправился через перешеек в Панаму, где устроился пассажиром на грузовое судно, шедшее курсом в Кальяо с остановками во всех портах, какие могли привлечь внимание шкипера.

Мэррием решил высадиться в Ла-Пасе, в Ла-Пасе Прекрасном, маленьком городке без порта, полузадушенном буйной зеленой лентой, окаймляющей подножие уходящей в облака горы. Там пароходик застопорил машины, и капитан в шлюпке отправился на берег пощупать пульс кокосового рынка. Захватив чемодан, Мэррием поехал с ним и остался в Ла-Пасе.

Кальб, вице-консул, гражданин Соединенных Штатов греко-армянского происхождения, родившийся в Гессен-Дармштадте и вскормленный в избирательных участках Цинциннати, считал всех американцев своими кровными братьями и

личными банкирами. Он вцепился в Мэрриема, перезнакомил его со всеми обутыми обитателями Ла-Паса, занял десять долларов и вернулся в свой гамак.

На опушке банановой рощи расположилась деревянная гостиница с видом на море, приспособленная к вкусам тех немногих иностранцев, которые ушли из мира в этот перуанский городишко. Под выкрики Кальба «Познакомьтесь с...» Мэррием покорно обменялся рукопожатиями с доктором-немцем, торговцем-французом, двумя торговцами-итальянцами и тремя или четырьмя янки, которых здесь называли «каучуковыми» людьми, «золотыми», «кокосовыми» — только не людьми из плоти и крови.

После обеда Мэррием, устроившись в углу широкой веранды, курил и пил шотландское виски с Биббом, вермонтцем, поставлявшим гидравлическое оборудование на рудники. Залитое лунным светом море уходило в бесконечность, и Мэррием казалось, что оно навсегда легло между ним и его прошлым. Впервые с того момента, как он, несчастный беглец, прокрался на пароход, он мог без мучительной боли подумать об отвратительной трагедии, в которой сыграл столь роковую роль. Расстояние послужило ему целительным

бальзамом. А Бибб тем временем открыл шлюзы давно сдерживаемого красноречия. Возможность изложить свежему слушателю свои всем давно надоевшие взгляды и теории приводила его в восторг.

— Еще год, — заявил Бибб, — и я отправлюсь домой, в Штаты. Здесь, конечно, очень мило, и dolce far niente[214] в неограниченном количестве, но белому человеку в этом краю долго не прожить. Нашему брату нужно и в снегу иногда застрять, и на бейсбол посмотреть, и крахмальный воротничок надеть, и ругань полисмена послушать. Хотя и Ла-Пас — неплохое местечко для послеобеденного отдыха. Кроме того, тут есть миссис Конант. Чуть только кто-нибудь из нас всерьез захочет утопиться, он мчится к ней в гости и делает предложение. Получить отказ от миссис Конант приятнее, чем утонуть, а говорят, что человек, когда тонет, испытывает восхитительное ощущение.

— И много здесь таких, как она? — осведомился Мэррием.

— Ни одной, — блаженно вздохнул Бибб. — Это единственная белая женщина в Ла-Пасе. Масть

---

[214] Примечания: 214
Приятное безделье (*итал.*).

остальных колеблется от серой в яблоках до клавиши си бемоль. Она здесь год. Приехала из… ну знаете эту женскую манеру. Просишь их сказать «бечевка», а в ответ слышишь «силки» или «прыгалки». Сегодня думаешь, что она из Ошкоша, или из Джексонвилля, штат Флорида, а завтра — что с мыса Код.

— Тайна? — рискнул Мэррием.

— Мм… возможно, хотя говорит она достаточно ясно. Но таковы женщины. По-моему, если сфинкс заговорит, то звучать это будет примерно так: «Боже мой, к обеду опять гости, а на стол подать нечего, кроме песка». Но вы забудете об этом, Мэррием, когда познакомитесь с ней. Вы ей тоже сделаете предложение.

И действительно, Мэррием познакомился с ней и сделал ей предложение. Он увидел женщину в черном, чьи волосы отливали бронзой, как крыло индейки, а загадочные помнящие глаза могли принадлежать… ну, хотя бы акушерке, наблюдавшей за сотворением Евы. Однако ее слова и манеры были ясны, как выразился Бибб. Она говорила — несколько неопределенно — о друзьях в Калифорнии, а также в южных округах Луизианы. Ей нравится здешний тропический климат и неторопливая жизнь; она подумывает о

покупке апельсиновой рощи; короче говоря, она очарована Ла-Пасом.

Мэррием ухаживал за Сфинксом три месяца, хотя ему и в голову не приходило, что он ухаживает. Миссис Конант служила ему лекарством от угрызений совести, и он слишком поздно заметил, что без этого лекарства не может жить. Все это время Мэррием не получал из Нью-Йорка никаких известий. Уэйд не знал, что он в Ла-Пасе, а он не помнил точного адреса Уэйда и боялся писать. Он пришел к заключению, что пока ничего предпринимать не следует.

Однажды они с миссис Конант наняли лошадей и отправились на прогулку в горы. У ледяной речки, стремглав несущейся с гор, они остановились напиться, и тут Мэррием заговорил: как и предсказал Бибб, он сделал предложение.

Миссис Конант поглядела на него с пылкой нежностью, но затем ее лицо выразило такую муку, что Мэррием мгновенно отрезвел.

— Простите меня, Флоренс, — сказал он, выпуская ее руку, — но я должен взять назад часть того, что сказал. Само собой, я не могу просить вас выйти за меня замуж. Я убил человека в Нью-Йорке — моего друга; в беспамятстве застрелил его, как трус. Я был пьян, но это, безусловно, не

оправдание. Я не мог больше молчать и никогда не откажусь от своих слов. Я скрываюсь здесь от правосудия — и, полагаю, на этом наше знакомство кончается.

Миссис Конант старательно обрывала листья с нависшей ветки лимонного дерева.

— Полагаю, что так, — произнесла она тихим, странно прерывистым голосом, — но это зависит от вас. Я буду так же честна, как и вы. Я отравила моего мужа. Я сама сделала себя вдовой. Нельзя любить отравительницу Так что, полагаю, на этом наше знакомство кончается.

Она медленно подняла глаза. Мэррием был бледен и тупо глядел на нее, как глухонемой, который не понимает, что происходит вокруг.

Вспыхнув, она быстро шагнула к нему.

— Не смотрите на меня так! — вскрикнула она, словно от невыносимой боли. — Прокляните меня, отвернитесь от меня, только не смотрите так! Он бил меня — меня! Если бы я могла показать вам рубцы — на плечах, на спине, а с тех пор прошло уже больше года, — следы его зверской ярости. Святая и та убила бы его. Да, я его отравила. Каждую ночь в ушах у меня звучит та грязная, гнусная ругань, которой он осыпал меня в последний день. А потом — побои, и мое терпе-

ние кончилось. В тот день я купила яд. Каждый вечер перед сном он пил в библиотеке горячий ромовый пунш. Только из моих прекрасных рук соглашался он принять стакан — потому что знал, что я не выношу запаха спиртного. В этот вечер, когда горничная принесла мне пунш, я отослала ее вниз с каким-то поручением. Перед тем как идти к мужу, я подошла к моей личной аптечке и влила в стакан чайную ложку настойки аконита. Этого, как я узнала, было бы достаточно, чтобы убить троих. Еще утром я забрала из банка свои шесть тысяч долларов. Я взяла эти деньги и саквояж и незаметно ушла из дому. Проходя мимо библиотеки, я услышала, как он с трудом поднялся и тяжело упал на диван. Ночным поездом я уехала в Новый Орлеан, а оттуда отплыла на Бермуды. В конце концов я бросила якорь в Ла-Пасе. Ну, что вы теперь скажете? Или вам нечего сказать?

Мэррием очнулся.

— Флоренс, — произнес он торжественно, — вы нужны мне. Мне все равно, что вы сделали. Если мир…

— Ральф, — прервала она рыдающим голосом, — будь моим миром!

Лед в глазах ее растаял, она вся чудесно преобра-

зилась и качнулась к Мэрриему так неожиданно, что ему пришлось прыгнуть, чтобы подхватить ее.

Боже мой! Почему в подобных ситуациях всегда выражаются так высокопарно? Но что поделаешь! Всех нас подсознательно влечет свет рампы. Всколыхните душевные глубины вашей кухарки, и она разразится тирадой во вкусе Бульвер-Литтона.

Мэррием и миссис Конант были очень счастливы. Он объявил о своей помолвке в отеле «Orilla del Mar»[215]. Восемь иностранцев и четверо туземных Асторов похлопали его по спине и прокричали неискренние поздравления. Педрито, бармен с манерами кастильского гранда, настолько оживился под градом заказов, что его подвижность заставила бы бостонского продавца фруктовых вод полиловеть от зависти.

Они оба были очень счастливы. Тени, омрачавшие их прошлое, при сложении не только не стали гуще, но, наоборот, согласно странной арифметике бога родственных душ, наполовину рассеялись. Они заперли дверь на засов, оставив мир снаружи. Каждый стал миром другого.

---

[215] Примечания: 215
Берег моря (*исп.*).

Миссис Конант снова начала жить. «Помнящее» выражение исчезло из ее глаз. Мэррием старался проводить с ней как можно больше времени. На маленькой лужайке, под сенью пальм и тыквенных деревьев, они собирались построить волшебное бунгало. Они должны были пожениться через два месяца. Много часов они проводили вместе, склонившись над планами дома. Их объединенные капиталы, вложенные в экспорт фруктов или леса, обеспечат приличный доход. «Покойной ночи, мир мой», — каждый вечер говорила миссис Конант, когда Мэрриему пора было возвращаться в отель. Они были очень счастливы. Волей судеб их любовь приобрела тот оттенок грусти, который, по-видимому, необходим, чтобы сделать чувство поистине возвышенным. И казалось, что их общее великое несчастье — или грех — связало их нерушимо.

Однажды на горизонте замаячил пароход. Весь босоногий, полуголый Ла-Пас высыпал на берег: прибытие парохода заменяло здесь Кони-Айленд, цирк, день Свободы и светский прием.

Когда пароход приблизился, люди сведущие объявили, что это «Пахаро», идущий из Кальяо на север, в Панаму.

«Пахаро» затормозил в миле от берега. Вскоре

по волнам запрыгала шлюпка. Мэррием лениво спустился к морю посмотреть на суету. На отмели матросы-карибы выскочили в воду и дружным рывком выволокли шлюпку на прибрежную гальку. Из шлюпки вылезли суперкарго, капитан и два пассажира и побрели к отелю, утопая в песке. Мэррием посмотрел на приезжих с тем легким любопытством, которое вызывало здесь всякое новое лицо. Походка одного из пассажиров показалась ему знакомой. Он поглядел снова, и кровь клубничным мороженым застыла в его жилах. Толстый, наглый, добродушный, как и прежде, к нему приближался Х. Фергюсон Хеджес, человек, которого он убил.

Когда Хеджес увидел Мэрриема, лицо его побагровело. Потом он завопил с прежней фамильярностью:

— Здорово, Мэррием! Рад тебя видеть. Вот уж не ожидал встретить тебя здесь. Куинби, это мой старый друг Мэррием из Нью-Йорка. Знакомьтесь.

Мэррием протянул Хеджесу, а затем Куинби похолодевшую руку.

— Брр! — сказал Хеджес. — И ледяная же у тебя лапа! Да ты болен! Ты желт, как китаец. Малярийное местечко? А ну-ка доставь нас в бар, если они здесь водятся, и займемся профилактикой.

Мэррием, все еще в полуобморочном состоянии, повел их к отелю «Orilla del Mar».

— Мы с Куинби, — объяснил Хеджес, пыхтя по песку, — ищем на побережье, куда бы вложить деньги. Мы побывали в Консепсьоне, в Вальпараисо и Аиме. Капитан этой посудины говорит, что здесь можно заняться серебряными рудниками. Вот мы и слезли. Так где же твое кафе, Мэррием? А, в этой портативной будочке?

Доставив Куинби в бар, Хеджес отвел Мэрриема в сторону.

— Что с тобой? — сказал он с грубоватой сердечностью. — Ты что, дуешься из-за этой дурацкой ссоры?

— Я думал, — пробормотал Мэррием, — я слышал… мне сказали, что вы… что я…

— Ну, и я — нет, и ты — нет, — сказал Хеджес. — Этот молокосос из скорой помощи объявил Уэйду, что мне крышка, потому что мне надоело дышать и я решил отдохнуть немножко. Пришлось поваляться месяц в частной больнице, и вот я здесь и на здоровье не жалуюсь. Мы с Уэйдом пытались тебя найти, но не могли. Ну-ка, Мэррием, давай лапу и забудь про это. Я сам виноват не меньше тебя, а пуля мне пошла только на пользу: из больницы я вышел крепким, как ломовая лошадь.

Пошли, нам давно налили.

— Старина, — начал Мэррием растерянно, — как мне благодарить тебя? Я… Но…

— Брось, пожалуйста! — загремел Хеджес. — Куинби помрет от жажды, пока мы тут разговариваем.

Было одиннадцать часов. Бибб сидел в тени на веранде, ожидая завтрака. Вскоре из бара вышел Мэррием. Его глаза странно блестели.

— Бибб, дружище, — сказал он, медленно обводя рукой горизонт. — Ты видишь эти горы, и море, и небо, и солнце — все мое, Бибси, все мое.

— Иди к себе, — сказал Бибб, — и прими восемь гран хинина. В здешнем климате человеку не годится воображать себя Рокфеллером или Джеймсом О'Нилом[216].

В отеле суперкарго развязывал пачку старых газет, которые «Пахаро» собрал в южных портах для раздачи на случайных стоянках. Вот так мореплаватели благодетельствуют пленников моря и гор, доставляя им новости и развлечения.

Дядюшка Панчо, хозяин гостиницы, оседлав

---

[216] Примечания: 216

Американский актёр, особенно прославившийся в роли графа Монте-Кристо.

свой нос громадными серебряными anteojos[217], раскладывал газеты на меньшие кучки. В комнату влетел muchacho, добровольный кандидат на роль рассыльного.

— Bien venido[218], — сказал дядюшка Панчо. — Это — для сеньоры Конант; это — для эль доктор С-с-шлегель. Dios! Что за фамилия! Это — сеньору Дэвису, а эта — для дона Альберта. Эти две — в Casa de Huespedes, numero 6, en la calle de las Buenas Gracias[219]. И скажи всем, muchacho, что «Пахаро» отплывает в Панаму сегодня в три. Кто хочет писать письма, пусть поторопится, чтобы они успели пройти через correo[220].

Миссис Конант получила предназначенную ей пачку в четыре часа. Доставка запоздала, ибо мальчик был совращен с пути долга встречной игуаной, за которой он немедленно погнался. Но для миссис Конант эта задержка не играла никакой роли — она не собиралась писать письма.

---

[217] Примечания: 217
Очки (*исп.*).

[218] Примечания: 218
Добрый день (*исп.*).

[219] Примечания: 219
В гостиницу, на улице Буэнос Грациас, номер шесть (*исп.*).

[220] Примечания: 220
Почта (*исп.*).

Она лениво покачивалась в гамаке в патио, сонно мечтая о рае, который ей и Мэрриему удалось создать из обломков прошлого. И пусть горизонт, замкнувший это мерцающее море, замкнет и ее жизнь. Они закрыли дверь, оставив мир снаружи.

Мэррием пообедает в отеле и придет в семь часов. Она наденет белое платье, накинет кружевную мантилью абрикосового цвета, и они будут гулять у лагуны под кокосовыми пальмами. Она удовлетворенно улыбнулась и наугад вытащила газету из пачки, принесенной мальчиком.

Сперва слова одного из заголовков воскресной газеты не произвели на нее никакого впечатления, они только показались ей смутно знакомыми. Крупным шрифтом было напечатано: «Ллойд Б. Конант добился развода». Затем более мелко — подзаголовки: «Известный фабрикант красок из Сент-Луиса выигрывает процесс, ссылаясь на отсутствие жены в течение года». «Обстоятельства ее таинственного исчезновения». «С тех пор о ней ничего не известно».

Миссис Конант мгновенно вывернулась из гамака и быстро пробежала глазами заметку в полстолбца, которая заканчивалась следующим образом: «Как помнят читатели, миссис Конант

исчезла однажды вечером, в марте прошлого года. Ходили слухи, что ее брак с Ллойдом Б. Конантом был очень несчастлив. Утверждали даже, что его жестокость по отношению к жене неоднократно приобретала формы оскорбления действием. После отъезда миссис К. в ее спальне в маленькой аптечке был обнаружен пузырек смертельного яда — настойки аконита. Это наводит на предположение, что она помышляла о самоубийстве. Считают, что, вместо того чтобы привести в исполнение это намерение, если таковое у нее было, она предпочла покинуть свой дом».

Миссис Конант уронила газету и медленно опустилась на стул, судорожно сжав руки.

— Как же это было?... боже мой!.. как же это было, — шептала она. — Я унесла пузырек... Я выбросила его из окна вагона... Я... В аптечке был другой пузырек... Они стояли рядом — аконит и валерьянка, которую я принимала от бессонницы... Если нашли пузырек с аконитом, значит... значит, он, безусловно, жив — я дала ему безобидную дозу валерьянки... Так я не убийца!.. Ральф, я... Господи, сделай, чтобы это не оказалось сном.

Она прошла в ту половину дома, которую снимала у старика перуанца и его жены, заперла дверь и в течение получаса лихорадочно мета-

лась по комнате. На столе стояла фотография Мэрриема. Она взяла ее, улыбнулась с невыразимой нежностью — и уронила на нее четыре слезы. А Мэррием находился от нее в каких-то ста шагах! Затем миссис Конант десять минут стояла неподвижно, глядя в пространство. Она глядела в пространство через медленно открывавшуюся дверь. По эту сторону были материалы для постройки романтического замка: любовь; Аркадия колышущихся пальм; колыбельная песня прибоя; приют спокойствия, отдыха, мира; страна лотоса, страна мечтательной лени; жизнь без опасностей и страха, полная поэзии и сердечного покоя. Как по-вашему, Романтик, что увидела миссис Конант по ту сторону двери? Не знаете? Ах, не хотите сказать? Очень хорошо. Тогда слушайте.

> Она увидела, как она входит в универсальный магазин и покупает пять мотков шелка и три ярда коленкора на передник кухарке. «Записать на ваш счет, мэм?» — спрашивает продавец. А выходя, она встречает знакомую даму, та сердечно здоровается с ней и восклицает: «Ах, где вы достали выкройку этих рукавов, дорогая миссис Конант?» На углу

полисмен помогает ей перейти улицу и почтительно прикасается к шлему. «Кто-нибудь заходил» — спрашивает она горничную, вернувшись домой. «Миссис Уолдрон, — отвечает горничная, — и обе мисс Дженкинсон». — «Прекрасно, — говорит она. — Принесите мне, пожалуйста, чашку чаю, Мэгги».

Миссис Конант подошла к двери и позвала Анджелу, старуху перуанку.

— Если Матео дома, пошли его ко мне.

Матео — метис, волочащий ноги от старости, но еще исполнительный и бодрый, явился на зов.

— Я хочу уехать отсюда сегодня или завтра. Не знаешь, нет ли сейчас поблизости парохода или какого-нибудь другого судна?

Матео задумался.

— В Пунта Регина, в тридцати милях южнее, сеньора, маленький пароход грузится хиной и красильным деревом. Он уходит в Сан-Франциско завтра на рассвете. Так говорит мой брат, он сегодня утром проходил на своем шлюпе мимо Пунта Регина.

— Ты должен отвезти меня на этом шлюпе к пароходу сегодня же. Согласен?

— Может быть… — Матео красноречиво повел плечом.

Миссис Конант достала из ящика несколько монет и протянула ему.

— Подведи шлюп в бухту за мысом, к югу от города, — приказала она, — собери матросов и будь готов отплыть в шесть часов. Через полчаса приготовь в патио тележку с соломой. Ты отвезешь на шлюп мой сундук. Потом получишь еще. Ну быстрее.

Матео удалился, впервые за много лет не волоча ноги.

— Анджела! — вскричала миссис Конант в лихорадочном возбуждении. — Помоги мне уложиться. Я уезжаю. Тащи сундук. Сначала платья. Пошевеливайся же! Сперва эти черные. Быстрее.

С самого начала она ни минуты не колебалась. Ее решение было твердым и окончательным. Ее дверь открылась, и через эту дверь ворвался мир. Любовь ее к Мэрриему не уменьшилась, но стала теперь чем-то нереальным и безнадежным. Видения их будущего, которое недавно казалось столь блаженным, исчезли. Она пыталась убедить себя, что отрекается только ради Мэрриема. Теперь, когда с нее снят ее крест — по крайней мере, формально, — не слишком ли тяжко будет

ему нести свой? Если она не покинет его, разница между ними будет медленно, но верно омрачать и подтачивать их счастье. Так она убеждала себя, а все это время в ее ушах едва заметно, но настойчиво, как гул отдаленных машин, звучали тихие голоса — еле слышные голоса мира, чей манящий зов, когда они сольются в хор, проникает сквозь самую толстую дверь.

Один раз за время сборов на нее пал легкий отсвет мечты о лотосе. Левой рукой она прижала к сердцу портрет Мэрриема, а правой швырнула в сундук туфли.

В шесть часов Матео вернулся и сообщил, что шлюп готов. Вдвоем с братом они поставили сундук на тележку, закутали соломой и отвезли к месту посадки, а оттуда в лодке переправили на шлюп. Затем Матео вернулся за дальнейшими распоряжениями.

Миссис Конант была готова. Она расплатилась с Анджелой и нетерпеливо ждала метиса. На ней был длинный широкий пыльник из черного шелка, который она обычно надевала, отправляясь на прогулку, если вечер был прохладен, и маленькая круглая шляпа с накинутой сверху кружевной мантильей абрикосового цвета.

Короткие сумерки быстро сменялись мраком.

Матео вел ее по темным, заросшим травой улицам к мысу, за которым стоял на якоре шлюп. Повернув за угол, они заметил в трех кварталах справа туманное сияние керосиновых ламп в отеле «Orilla del Mar». Миссис Конант остановилась, ее глаза наполнились слезами.

— Я должна, я должна увидеть его еще раз перед отъездом, — прошептала она, ломая руки.

Но она и теперь не колебалась в своем решении. Мгновенно она сочинила план, как поговорить с ним и все же уехать без его ведома. Она пройдет мимо отеля, попросит кого-нибудь вызвать Мэрриема, поболтает с ним о каких-нибудь пустяках, и, когда они расстанутся, он по-прежнему будет думать, что они встретятся в семь часов у нее.

Она отколола шляпу, дала ее Матео и приказала:

— Держи ее и жди здесь, пока я не вернусь.

Закутав голову мантильей, как она обычно делала, гуляя после захода солнца, миссис Конант направилась прямо в «Orilla del Mar».

На веранде белела толстая фигура дядюшки Панчо. Она обрадовалась, увидев, что он один.

— Дядюшка Панчо, — сказала она с очаровательной улыбкой. — Не будете ли вы так добры попросить мистера Мэрриема спуститься сюда

на минутку? Я хочу поговорить с ним.

Дядюшка Панчо поклонился с грацией циркового слона.

— Buenas tardes[221], сеньора Конант, — произнес он с учтивостью истого кабальеро и продолжал смущенно: — Но разве сеньора не знает, что сеньор Мэррием сегодня в три часа отплыл на «Пахаро» в Панаму?

[221] Примечания: 221
Добрый вечер (*исп.*)

Теория и собака

Перевод под ред. В. Азова.

Несколько дней назад мой старый друг из тропиков, Дж. Н. Бриджер, консул Соединенных Штатов на острове Ратоне, очутился у нас в городе. Мы справили юбилей на славу. Несколько дней мы бездельничали, вообще мухобойничали. Когда мы успокоились, мы как-то проходили во время отлива по улице, параллельной Бродвею и пародирующей его.

Красивая, светского вида дама прошла мимо нас, держа на сворке сопящее, злобное, переваливающееся существо в образе желтой собачонки. Собака, запутавшись между ногами Бриджера, впилась в его лодыжки рычащими, раздраженными, злобными укусами. Бриджер с радостной улыбкой вышиб из зверюги дух. Женщина окатила нас мелким душем хорошо пригнанных прилагательных (чтобы в нас не осталось никаких сомнений относительно места, занимаемого нами в ее мнении) — и мы прошли дальше. В десяти шагах дальше старуха, с растрепанными седыми волосами и чековой книжкой, хорошо

запрятанной под разодранной шалью, попросила милостыню. Бриджер остановился и выпотрошил ей в руки четверть содержимого из своего праздничного жилета.

На следующем углу стояло четверть тонны одетого по последней моде человека, с напудренными рисом жирными, белыми щеками; он держал на цепочке дьявольское отродье — бульдога, передние лапы которого, расположенные одна от другой на расстоянии одной таксы, были незнакомы друг с дружкой. Перед человеком стояла маленькая женщина в прошлогодней шляпке и плакала. Это было, очевидно, все, что она могла сделать; он же ругал ее тихим, сладким, привычным тоном.

Бриджер снова улыбнулся, — исключительно про себя, — и на этот раз он вынул маленькую записную книжечку и сделал в ней заметку. Этого он не имел права делать без должных объяснений, и я так и заявил ему.

— Это новая теория, — сказал Бриджер, — которую я подцепил там, на Ратоне. Натолкнувшись на нее, я стал искать ей подтверждений. Мир еще не созрел для нее, но, так и быть, я расскажу вам. А вы после этого мысленно обегайте всех людей, которых вы знаете, и посмотрите, не окажется ли

моя теория действенной.

Итак, я провел Бриджера в одно место, где имеются искусственные пальмы и вина, и он рассказал мне эту историю. Я передаю ее вам моими словами, но под его ответственность.

Однажды, в три часа пополудни, по острову Ратона промчался мальчик, крича: «„Pajaro“ на рейде!»

Этим он доказал остроту своего слуха и тонкое умение распознавать гудки.

Тот, кто первый на Ратоне слышал гудок и громогласно объявлял об этом согражданам, правильно определив при этом название приближающегося парохода, становился на Ратоне героем и оставался в этом звании до следующего парохода.

Вот почему среди босоногой молодежи Ратоны происходило на этой почве соперничество.

Многие пали жертвами рожков из раковин, в которые дули при входе в гавань с некоторых парусников. Они издавали звук, поразительно напоминавший отдаленные свистки пароходов. Но многие зато умудрялись назвать вам пароход, когда гудок его звучал в ваших тупых ушах не громче вздоха ветра в ветвях кокосовой пальмы.

В этот день почести выпали на долю того, кто

объявил «Pajaro». Ратона наклонила уши, чтобы прислушаться, и вскоре тихое ворчанье парохода усилилось и приблизилось. Ратона увидела, наконец, над линией пальм у низкой «стрелки» две черных трубы фруктового парохода, медленно подползавшего ко входу в гавань.

Вы должны знать, что Ратона — остров, лежащий в двадцати милях к югу от одной из южноамериканских республик. Она является портом этой республики. Город сладко дремлет на берегу смеющегося моря, не сеет и не жнет и питается изобилием тропиков, где все «созревает, останавливается и падает готовое в могилу».

Восемьсот человек жителей живут дремотной жизнью в утопающем в зелени поселке, растянувшемся по подковообразному изгибу ее игрушечной гавани. Это большей частью испанские и индейские метисы, с легкой темной примесью сан-домингских негров и светлой — чистокровных испанских чиновников; вы найдете здесь также осадок из трех или четырех пионерствующих белых рас. Никакие пароходы, кроме фруктовых, не заходят в Ратону. Последние подбирают здесь инспекторов с банановых плантаций, отправляющихся на материк, и оставляют воскресные газеты, лед, хинин, сало, арбузы и

оспенную вакцину. На этом и заканчивается приблизительно все общение Ратоны с миром.

«Pajaro» замешкался у входа в гавань, тяжело разрезая волны, от которых по гладким внутренним водам гавани разбегались барашки. Две лодки из поселка — одна с фруктовыми инспекторами, а вторая вышедшая, чтобы получить с парохода что придется, — были уже на полпути к пароходу.

Инспектора были подняты на борт вместе с своей лодкой, и «Pajaro» направился дальше, к материку, за грузом фруктов.

Вторая лодка вернулась на Ратону, нагруженная контрибуцией с ледяного погреба «Pajaro», обычным свертком газет и одним пассажиром — Тейлором Планкеттом, шерифом Чэтемского графства, Кентукки.

Бриджер, консул Соединенных Штатов на Ратоне, был занят в официальной хижине под хлебным деревом, в двадцати ярдах от гавани, чисткой ружья. Консул занимал место несколько ближе к хвосту в процессии своей политической партии. Музыка шествовавшего впереди оркестра очень слабо доносилась до него на этом расстоянии. Сливки — хорошие должности — снимали другие. Доля Бриджера в добыче — место

консула на Ратоне — была молоко, снятое молоко из департамента распределения общественного пирога. Но 900 долларов в год было богатство на Ратоне. Кроме того, Бриджер пристрастился к охоте на аллигаторов, водившихся в лагуне около консульства, и он не чувствовал себя обиженным.

Он оторвал глаза от внимательного осмотра ружейного замка и увидел перед собой широкоплечего человека, затмившего собою отверстие двери, грузного, бесшумного, неповоротливого человека, загорелого почти до коричневых тонов Ван-Дейка. Человека лет сорока пяти, прилично одетого в костюм из грубого сукна, с жидкими светлыми волосами, коротко подстриженной каштановой с проседью бородкой и бледно-голубыми глазами, выражавшими кротость и простодушие.

— Вы будете мистер Бриджер, консул? — сказал грузный человек. — Меня направили сюда. Не можете ли вы сказать мне, что это за такие вроде как тыквы, пучки растут на деревьях там, по краю воды? Чисто метелки из перьев.

— Возьмите этот стул, — сказал консул, смачивая маслом тряпку, которой он чистил ружье. — Не этот — другой. Этот, бамбуковый, не выдержит

вас... Это кокосовые орехи, зеленые кокосы. Их кожура всегда имеет зеленоватый оттенок, пока они не созреют.

— Весьма вам обязан, — сказал человек, осторожно усаживаясь. — Мне не хотелось бы рассказывать потом дома, что это оливки, не уверившись в этом как следует. Мое имя Планкетт. Я шериф Чэтемского графства, Кентукки. У меня в кармане лежат бумаги на выдачу и на право ареста одного человека тут на острове. Они подписаны президентом этой страны и вполне оформлены. Имя этого человека Уэйд Вильямс; он здесь работает по кокосовой части. Он обвиняется в убийстве своей жены, совершенном два года назад. Где я могу найти его?

Консул прищурил один глаз и заглянул в дуло своего ружья.

— Здесь, на острове, нет никакого Вильямса, — заметил он.

— Я и не предполагал, что здесь есть Вильямс, — кротко ответил Планкетт. — Он живет, наверно, под каким-нибудь другим именем.

— Кроме меня, — сказал Бриджер, — на Ратоне есть только два американца: Боб Ривз и Генри Морган.

— Человек, который мне нужен, торгует коко-

сами, — настаивал Планкетт.

— Видите вы эту кокосовую аллею, которая тянется до самой стрелки? — сказал консул, махнув рукой по направлению к двери. — Это все собственность Боба Ривза. Генри Моргану принадлежит половина деревьев в глубине острова.

— Месяц назад, — сказал шериф, — Уэйд Вильямс написал конфиденциальное письмо одному человеку в Чэтемском графстве, в котором он сообщал, где он находится и как живет. Письмо это было потеряно адресатом и передано лицом, нашедшим его, властям. Меня послали за преступником, снабдив необходимыми бумагами. Я полагаю, что это, несомненно, один из ваших кокосовых торговцев.

— У вас, наверное, есть его фото? Это может быть либо Ривз, либо Морган. Но мне неприятно даже и думать об этом. Они оба прекрасные малые. Вы не встретите таких за целый день езды на автомобиле.

— Нет, — нерешительно ответил Планкетт, — мне не удалось достать никакой фотографии Вильямса, и сам я никогда не видал его. Я шериф только год. Но у меня есть довольно точное описание его примет. Рост около пяти футов одиннадцати дюймов, глаза и волосы темные,

нос, скорее, римского образца; широк в плечах, крепкие белые зубы, все в наличности; любит посмеяться, разговорчив, любит выпить, но никогда не пьянеет; при разговоре смотрит прямо в глаза; возраст тридцать пять. К какому из ваших молодцов подходит это описание?

Консул широко улыбнулся.

— Я скажу вам, что сделать, — сказал он, положив ружье и надев поношенный черный пиджак из альпака. — Пойдемте, мистер Планкетт, и я вам покажу обоих парней. Если вы сумеете сказать, к кому из них больше подходит это описание, вы будете иметь надо мной преимущество.

Бриджер вышел с шерифом и повел его по крутому берегу, на котором раскинулись крошечные домики поселка. Сейчас же за домами неожиданно поднимались небольшие, густо поросшие лесом холмы. На один из них, по ступенькам, высеченным в твердой глине, консул повел Планкетта. На самой вершине холма, у обрыва лепился деревянный коттедж в две комнаты, крытый тростниковой крышей. Карибка снаружи стирала белье. Консул подвел шерифа к дверям комнаты, выходившей окнами на гавань. В ней находились два человека без пиджаков, собиравшиеся как раз усесться за стол, накрытый

для обеда. Между ними было мало сходства в деталях, но общее описание, данное Планкеттом, могло бы одинаково подойти к обоим. По росту, цвету волос, форме носа, сложению и манерам каждый из них подходил к описанию. Это были два прекрасных образчика жизнерадостных, сметливых, душа нараспашку, американцев, подружившихся на чужой стороне.

— Алло, Бриджер! — воскликнули они в один голос, увидев консула. — Заходите! Пообедаем!

Тут они заметили за спиной консула Планкетта и тотчас же вышли навстречу пришедшим с гостеприимным любопытством.

— Джентльмены, — сказал консул, причем голос его принял необычную официальность, — это мистер Планкетт. Мистер Планкетт — мистер Ривз и мистер Морган!

Кокосовые короли радостно приветствовали нового знакомого. Ривз казался, пожалуй, на дюйм повыше Моргана, но смех у него был не такой громкий. Глаза у Моргана были темно-карие, а у Ривза черные. Ривз был хозяином и начал хлопотать насчет стульев и велел карибке поставить еще два прибора.

Выяснилось, что Морган живет в бамбуковой хижине подальше от берега, но что оба друга

ежедневно обедают вместе.

Пока шли хозяйственные приготовления, Планкетт стоял спокойно, кротко рассматривая все кругом своими бледно-голубыми глазами. Бриджер как бы извинялся и чувствовал себя стесненно.

Наконец, два других прибора были поставлены, и гостям были указаны их места. Ривз и Морган стояли рядом, по ту сторону стола, против гостей. Ривз, весело кивнул, приглашая этим всех сесть. Тогда вдруг Планкетт поднял руку повелительным жестом. Глаза его были направлены прямо в промежуток между Ривзом и Морганом.

— Уэйд Вильямс, — сказал он спокойно, — вы арестованы по обвинению в убийстве.

Ривз и Морган обменялись быстрым, открытым взглядом, выражавшим недоумение, с долей из удивления. Затем они одновременно повернулись к говорившему с изумлением и искренним укором в глазах.

— Мы не можем сказать, чтобы мы вас поняли, мистер Планкетт, — сказал Морган веселым тоном. — Вы, кажется, сказали: «Вильямс»?

— Что это за шутка, Бриджи? — с улыбкой спросил Ривс, повернувшись к консулу.

Прежде чем Бриджер успел ответить, Планкетт

заговорил снова.

— Я объясню, — сказал он спокойно. — Один из вас не нуждается в объяснении, но я делаю это для другого. Один из вас — Уэйд Вильямс из Чэтемского графства, Кентукки. Два года назад, пятого мая, вы убили вашу жену. Это произошло после того, как вы беспрерывно в течение пяти лет дурно обращались с ней и оскорбляли ее. У меня в кармане все нужные документы, чтобы увезти вас с собой, и вы поедете. Мы поедем на фруктовом пароходе, который придет завтра, чтобы высадить на берег инспекторов. Я признаюсь, господа, что я не совсем уверен в том, кто именно из вас Вильямс. Но Уэйд Вильямс поедет завтра обратно в Чэтемское графство, Кентукки. Я хочу, чтобы вы это поняли.

Громкий взрыв веселого хохота прокатился над тихой гаванью. Это смеялись Морган и Ривз. Несколько рыбаков из флотилии шлюпок, стоявших на причале, в недоумении посмотрели наверх, где стоял дом этих чертей americanos.

— Дорогой мой мистер Планкетт, — воскликнул Морган, подавляя свое веселье, — обед стынет. Позвольте нам усесться за стол и поесть. Я горю нетерпением опустить ложку в этот суп из плавников акулы. Дело после.

— Садитесь, пожалуйста, джентльмены, — любезно прибавил Ривз. — Я уверен, что мистер Планкетт не будет иметь ничего против. Может быть, некоторый срок поможет ему получше опознать джентльмена, которого он хочет арестовать.

— Конечно, я ничего не имею против, — сказал Планкетт, тяжело опускаясь на стул. — Я и сам голоден. Я только не хотел воспользоваться вашим гостеприимством, не предупредив вас. Только и всего.

Ривз поставил на стол бутылки и стаканы.

— Тут коньяк, — сказал он, — анисовка, шотландское виски и хлебная водка. Прошу! Что кому по вкусу.

Бриджер выбрал водку, Ривз налил себе на три пальца шотландского виски, Морган то же самое. Шериф, несмотря на все протесты, наполнил свой стакан из бутылки с водой.

— За аппетит мистера Вильямса! — сказал Ривз, поднимая свой стакан.

Смех и виски, столкнувшись в горле у Моргана, вызвали у него приступ удушья. Все принялись за обед — очень хорошо приготовленный и вкусный.

— Вильяме! — неожиданно позвал Планкетт.

Все с удивлением оглянулись. Ривз заметил, что кроткие глаза шерифа остановились на нем. Он слегка покраснел.

— Послушайте, — сказал он с некоторым раздражением, — мое имя Ривз, и я не хочу, чтобы вы…

Но комизм положения выручил его, и он закончил смехом.

— Я полагаю, мистер Планкетт, — сказал Морган, тщательно заправляя салат, — что вам это, наверно, известно. Вы импортируете вместе с собой в Кентукки порядочное количество неприятностей, если привезете туда не того человека. Если, разумеется, вы вообще кого-нибудь привезете с собой.

— Благодарю вас за разъяснение, — сказал шериф. — Будьте уверены: я увезу кого-нибудь с собой. И это будет один из вас двоих, джентльмены. Я знаю, что я должен буду отвечать, если сделаю ошибку. Но я попробую не сделать ошибки и захватить именно того, кого следует.

— Я вам посоветую, как быть, — сказал Морган, наклонившись вперед с веселым блеском в глазах. — Возьмите меня. Я поеду без всякого сопротивления. Кокосы в этом году обернулись не особенно прибыльно, и я не прочь был бы под-

заработать с вас за неправое лишение свободы.

— Это будет несправедливо, — вмешался Ривз. — Я заработал только по шестнадцать долларов с тысячи на последней отправке. Возьмите меня, мистер Планкетт.

— Я возьму Уэйда Вильямса, — терпеливо сказал шериф.

— Это похоже на обед с привидением, — заметил Морган, притворно вздрогнув, — да еще с призраком убийцы. Не желает ли кто-нибудь передать зубочистку мрачной тени мистер Вильямса?

Планкетт сидел совершенно невозмутимо. Можно было подумать, что он обедал за своим собственным столом в Чэтемском графстве. Он был большим гастрономом, и странные тропические кушанья приятно щекотали его нёбо. Грузный, ординарный, почти ленивый в своих движениях, он, казалось, был лишен всякой хитрости и сметки ищейки. Он даже перестал следить с какой бы то ни было зоркостью, или мало-мальской наблюдательностью за двумя мужчинами, одного из которых он намеревался с страшной самоуверенностью арестовать по тяжкому обвинению в убийстве жены. Перед ним действительно стояла задача, готовившая ему, в

случае неверного решения, серьезное поражение. И тем не менее он сидел, всецело, по-видимому, поглощенный необычным ароматом котлеты из игуаны.

Консул чувствовал себя отвратительно. Ривз и Морган были его друзьями и товарищами, но шериф из Кентукки имел определенное право на его служебное содействие и моральную поддержку. Итак, Бриджер сидел молчаливее всех, стараясь разобраться в создавшемся странном положении. Зная их сообразительность, он пришел к заключению, что оба они, и Ривз и Морган, молниеносно смекнули про себя, когда Планкетт открыл им свою миссию, что другой может быть действительно искомым Вильямсом. И они тут же решили, каждый про себя, честно защитить товарища от грозившей ему опасности. Такова была теория консула, и, если бы ему пришлось быть букмекером на этой скачке умов с призом — жизнь и свобода на финише, он поставил бы сто против одного на грузного шерифа из Чэтемского графства, Кентукки.

Когда обед закончился, пришла карибка и убрала тарелки и скатерть. Ривз высыпал на стол великолепные сигары, и Планкетт, вместе с остальными, закурил одну из них с очевидным

одобрением.

— Я, может быть, туп, — сказал Морган, подмигнув Бриджеру — но я хотел бы убедиться в этом. Я думаю, что все это шутка мистера Планкетта, задуманная, чтобы напугать двух младенцев в лесу. Вы мне растолкуйте, что это — всерьез с этим Вильямсоном или это шутка?

— Вильямс, — с ударением поправил Планкетт. — Я никогда в жизни не занимался дурачеством и думаю, я не проделал бы две тысячи миль ради такой жалкой шутки, какой явилась бы действительно эта поездка, если бы я не арестовал здесь Уэйда Вильямса. Джентльмены, — продолжал шериф, беспристрастно переводя свои кроткие глаза с одного из хозяев на другого, — посудите сами, похоже ли это на шутку? Уэйд Вильямс слышит мои слова, но из вежливости я буду говорить о нем, как о третьем лице. В течение пяти лет он обращался со своей женой как с собакой. Нет, я беру эти слова назад. Ни с одной собакой в Кентукки не обращались еще так, как с ней. Он тратил деньги, которые она приносила ему, проматывая их на скачках, в карты, на лошадей и охоту. Он был славным малым в глазах своих друзей, но жестоким и холодным демоном дома. Он закончил эти пять лет

жестокого обращения ударом сжатого кулака, — кулака жесткого, как камень, — когда она была уже больна и ослабела от страданий. Она умерла на следующий день, а он скрылся. Вот и все.

Этого достаточно. Я никогда не видел Вильямса, но знал его жену. Я не из тех людей, которые недоговаривают. Мы с ней были друзьями, когда она встретилась с Вильямсом. Она поехала гостить в Луисвилль и там познакомилась с ним. Да, он разбил мое счастье очень быстро. Я жил тогда у подножья Камберлендских гор и был избран шерифом Чэтемского графства через год после того, как Уэйд Вильямс убил свою жену. Долг службы привел меня сюда за ним, но я не отрицаю, что здесь замешано у меня и личное чувство. И он поедет теперь со мной в Чэтем. Мистер... э-э-э... Ривз, будьте добры, спичку!

— Ужасно неосторожно было со стороны Вильямса, — сказал Морган, уперев ноги в стену, — ударить кентуккскую леди. Говорят, я слыхал, что они очень экономны?

— Скверный, скверный Вильямс, — сказал Ривз, подливая себе виски.

Оба они говорили непринужденно, но консул видел и чувствовал напряжение и осторожность в их словах и движениях.

«Славные ребята, — сказал он себе. — Оба молодцы. Каждый друг за дружкой, как за кирпичной стеной».

В это время в комнату, где они сидели, вошла собака, черно-бурая собака, длинноухая, ленивая, уверенная в ласковом приеме.

Планкетт повернул голову и посмотрел на животное, доверчиво остановившееся в нескольких шагах от его стула.

Вдруг шериф с громким ругательством вскочил с места и нанес своим увесистым сапогом злобный и сильный пинок собаке. Та, обиженная, изумленная, опустила уши, поджала хвост и издала пронзительный вой боли и удивления.

Ривз и консул остались на своих местах. Пораженные таким неожиданным проявлением нетерпимости со стороны этого покладистого человека из Чэтемского графства, они не произнесли ни слова.

Но Морган с внезапно побагровевшим лицом вскочил и занес над гостем угрожающую руку.

— Вы — скотина! — запальчиво крикнул он. — Зачем вы это сделали?

Планкетт пробормотал какое-то невнятное извинение и занял опять свое место. Морган решительным усилием подавил свое негодование

и также вернулся к своему стулу.

Тогда Планкетт прыжком тигра обогнул угол стола и вмиг надел наручники на руки парализованного неожиданностью Моргана.

— Любитель собак и убийца женщин! — воскликнул он. — Приготовьтесь встретить ваш час!

Когда Бриджер кончил свой рассказ, я спросил его:

— И что же, он арестовал действительно кого следовало?

— Кого следовало, — ответил консул.

— А как он узнал его? — спросил я в некотором недоумении.

— Когда этот Планкетт на следующий день усадил Моргана в лодку, чтобы отвезти его на борт «Pajaro», он остановился попрощаться со мной, и я задал ему тот же самый вопрос.

— Мистер Бриджер, — ответил он, — я кентуккиец, и я видел на своем веку много и людей и животных. Но я никогда еще не встречал мужчины, который чрезмерно любил бы лошадей или собак и не был бы при этом жесток с женщинами.

Гипотетический казус

Перевод В. Муравьева.

Поверенный Гуч не интересовался абсолютно ничем, кроме своей мудреной и захватывающей профессии. Он давал волю воображению, лишь когда любовно сравнивал свою трехкомнатную контору с корабельным трюмом. Двери отворялись (и затворялись) из одной комнаты в другую, из другой — в третью, и каждая — в прихожую.

— Для вящей надежности, — замечал поверенный Гуч, — трюм корабля разгорожен водонепроницаемыми переборками. Пусть один отсек даст течь и наполнится водой: добрый корабль плывет себе как ни в чем не бывало. Между тем не будь этих разделительных переборок, он затонул бы от одной-единственной пробоины. Вот и я: беседую, скажем, с одной стороной, а тем временем является другая. При посредстве Арчибальда — это мой многообещающий юноша-рассыльный — я разливаю опасный приток по отсекам и погружаю в них свой юридический лот. А понадобится — так можно иного клиента откачать в прихожую и сплавить по лестнице,

которую так и назовем подветренным водостоком. И доброе деловое судно держится на плаву; если же вода, вместо того чтобы служить опорой, станет свободно растекаться по днищу, то мы можем и затонуть — ха-ха-ха!

Закон — не шутка, да и вообще жизнь шутками не балует. А такой незатейливый и неприхотливый юмор хоть как-то скрашивает тягостные тяжбы и тоскливые иски.

Практика поверенного Гуча большею частью сводилась к улаживанию супружеских неурядиц. Если супружество подрывали различия — он посредничал, утешал и примирял. Если супруги нарушали приличия — он исправлял, охранял и отстаивал. А уж если дело доходило до двуличия — он всегда ухитрялся смягчить своим подопечным приговор.

Отнюдь не всякий раз поверенный Гуч спешил во всеоружии воинской хитрости крушить обоюдоострым мечом оковы Гименея. Бывало, что он воздвигал, а не разрушал, сочетал, а не расторгал, возвращал неразумных и заблудших овец в загон, а не рассеивал стадо по долам и весям. Случалось, что под звуки его проникновенного красноречия рыдающие супруги заключали друг друга в объятия. Очень пригождались и детишки,

особенно когда в нужный момент и по условному знаку слышалось жалостно и гнусаво: «Папотька, ты азве не поедес домой со мной и с мамотькой?» — и все становилось на свои места, в том числе расшатанные семейные устои.

Беспристрастные критики признавали, что за восстановление супружеского мира поверенный Гуч получает столько же, сколько и в случае судебного процесса. Пристрастные намекали, что перепадает ему вдвое: ведь рано или поздно покаянные супруги все равно явятся разводиться.

Как-то в июне юридическое судно поверенного Гуча попало в штиль. В июне мало кто разводится. Это месяц Купидона и Гименея.

И вот поверенный Гуч сидел без дела в среднем отсеке своей порожней приемной. Маленькая прихожая связывала или отделяла его комнату от коридора. В прихожей помещался Арчибальд, который изымал у посетителей визитные карточки или исторгал устные самообозначения, надобные хозяину: он разберется, а клиент подождет.

Вдруг в наружную дверь гулко постучали.

Арчибальд отворил и отлетел в сторону, явно не понадобившись посетителю, который без лишних церемоний прямо проследовал в кабинет поверенного Гуча и с дружелюбным нахальством

плюхнулся перед этим джентльменом в удобное кресло.

— Вы — Финеас С. Гуч, поверенный в делах? — произнес посетитель тоном одновременно вопросительным, утвердительным и обвинительным.

Прежде чем связать себя ответом, поверенный окинул возможного клиента своим быстрым, трезвым и цепким взглядом.

Это был человек известной категории — размашистый, напористый и развязный, тщеславный, конечно — не без бахвальства — тертый и дошлый. Одет он был хорошо; чуть-чуть, пожалуй, перестарался. Ему нужен был юрист — видно, не слишком и нужен: глядел он весело, держался уверенно.

— Да, моя фамилия Гуч, — признал наконец поверенный. Под нажимом он согласился бы и с тем, что он — Финеас С., но сообщать о себе лишнее было не в его принципах.

— Ваша визитная карточка не была мне предъявлена, — продолжал он с укором в голосе, — и я не имею…

— Именно что не имеете, — невозмутимо отрезал посетитель. — Пока обойдетесь. Закурить желаете?

Он перекинул ногу через подлокотник и вытряхнул из кармана на стол горсть сигар с яркими бандерольками. Поверенный Гуч ценил этот сорт. Он снизошел и закурил.

— Устраиваете разводы, — сказал безымянный посетитель. Это был уже не вопрос и не утверждение. Он обвинял — или обличал; так можно заметить, например, собаке: «Ах ты, собака». Поверенный Гуч снес обвинение молча.

— Занимаетесь, словом, — продолжал посетитель, — всевозможными пропащими браками. Вы есть, скажем так, хирург: извлекаете стрелы Купидона, когда те угодили в кого не надо. Если где факел Гименея догорел до того, что и сигары не прикуришь, то вы тут как тут с фирменными электролампочками. Верно я говорю, мистер Гуч?

— В моей практике встречались дела такого рода, — осторожничал поверенный, — на которые вы как будто намекаете в своих образных выражениях. А вы желали бы со мной проконсультироваться, мистер… — и поверенный многозначительно запнулся.

— Э нет, — его собеседник лукаво помахал сигарой, — пока не надо. Ни к чему в делах такая спешка — не спешить бы в свое время, так и сей-

час бы не канителились. Тут надо расторгнуть один никудышный брак. Но раньше, чем я вам назову имена, вы мне честно — ну, в общем как специалист — скажете, стоит ли браться все это расхлебывать. Мне надо, чтобы вы так это абстрактно — понимаете? — прикинули размеры катастрофы. Пусть я буду мистер Койкто и хочу вам кое-чего рассказать. А вы мне скажете, как чего. Улавливаете?

— Вы хотите изложить гипотетический случай? — предположил поверенный Гуч.

— Вот-вот, то самое слово. Я все думаю, какой он — оптический, что ли. А он гипотетический. Сейчас я его изложу. Положим, есть одна такая женщина — глаз не оторвешь — и она сбежала из дому от мужа. Она по уши врезалась в другого, а тот приехал в город пошевелить тамошних насчет недвижимости. Положим теперь, что мужа этой женщины зовут Томас Р. Биллингс — тем более так его и зовут. Насчет имен, как видите, я вам прямо намекаю. А нашего донжуана зовут Генри К. Джессап. Биллингсы жили в таком городишке Сьюзенвилле — отсюда не близко. Две недели назад Джессап из Сьюзенвилля уехал. А миссис Биллингс за ним — прямо на другой день. В общем она в этого Джессапа влопалась вмертвую

— ставлю доллар против вашего свода законов.

Клиент поверенного Гуча произнес это с таким смачным самодовольством, что даже видавшего виды законника слегка передернуло. Из его нагловатого посетителя так и лезло дешевое тщеславие волокиты, благодушное себялюбие неотразимого сердцееда.

— А что ж, — продолжал посетитель, — раз миссис Биллингс дома никакого счастья не видела? С мужем у нее жизнь была, прямо сказать, не сахар. Одна сплошная несовместимость характеров. Что ей по душе, того Биллингсу и даром не надо. Жили — как кошка с собакой. Она женщина образованная, знает науку и культуру люди собираются, она им вслух читает. А Биллингс только ушами хлопает. Ему, дураку, что прогресс, что обелиск, а что этика. Как дойдет до тому подобного, так Биллингс лопух лопухом. Нет, ей не такой нужен. Ну и как, вот скажите вы, юрист, неужели это будет не по всей справедливости, чтоб она бросила своего Биллингса, тем более раз нашелся мужчина в силах ее оценить?

— Несовместимость характеров, — сказал поверенный Гуч, — безусловно, служит источником многих и многих супружеских раздоров и разладов. В том случае, когда она совершенно явствует,

развода, по всей видимости, не избежать. Да, но может ли упомянутая дама безбоязненно вверить вам… то есть, простите, этому Джессапу — свое будущее?

— Насчет Джессапа будьте покойны, — сказал клиент, обнадеживающе закивав. — Джессап — это вам не фрукт. Он поступит как честный человек. Да он из Сьюзенвилля уехал, только чтоб языки не болтали про миссис Биллингс. А она за ним, и теперь-то уж он, конечно, никуда не денется. Только она законным порядком разведется, Джессап сразу все сделает честь по чести.

— Итак, — сказал поверенный Гуч, — развивая, так сказать, гипотезу, предположим, что в этом деле потребуются мои услуги, и какую же…

Клиент порывисто вскочил на ноги.

— К чертям собачьим все гипотезы! — нетерпеливо воскликнул он. — Пропади они все пропадом, давайте говорить напрямик. Кто я — вам теперь ясно. Надо, чтобы этой женщине дали развод. Берусь заплатить. Как миссис Биллингс будет свободна, я в тот же день выложу вам пятьсот долларов.

И в знак своей щедрости клиент поверенного Гуча хватил кулаком по столу.

— Поскольку дело обстоит так, как вы… — на-

чал поверенный.

— К вам дама, сэр, — возгласил Арчибальд, всунувшись из прихожей. Ему велено было всегда тут же докладывать о любом клиенте, ибо промедление в делах к добру не ведет.

Поверенный Гуч взял клиента номер один под руку и мягко направил его в соседнюю комнату.

— Сделайте одолжение, подождите здесь несколько минут, сэр, — сказал он. — Я освобожусь, и мы скоро продолжим нашу беседу. Я, собственно, ожидаю одну весьма состоятельную пожилую даму по делу о завещании. Уверяю вас, долго сидеть не придется.

Бойкий господин покладисто уселся в кресло и взял со столика журнал. Поверенный возвратился в среднюю комнату, тщательно притворив за собой дверь.

— Пригласи даму, Арчибальд, — сказал он рассыльному, который дожидался его указаний.

В приемную вошла властная красавица с горделивой осанкой. Одеяние ее — отнюдь не платье — было просторное и ниспадающее. В глазах ее вспыхивал гений и светилась душа. В руках она держала зеленый ридикюль вместимостью в полцентнера и зонтик, ниспадающий и просторный. Она опустилась на предложенный стул.

— Это вы — поверенный мистер Финеас С. Гуч? — спросила она строго и непримиримо.

— Это я, — ответил поверенный Гуч без малейших обиняков. С женщинами он ими никогда не пользовался. Обиняки — женское оружие. А когда две стороны используют одну тактику, время теряется попусту.

— Вы поверенный, сэр, — начала дама, — и вам, должно быть, не чужды таинства человеческого сердца. Неужели вы полагаете, что пустые и мелкие условности, порождение искусственной жизни нашего общества, должны вставать препятствием на пути благородного и пылкого сердца, когда оно обретает подлинное сродство среди никчемного и ничтожного людского отребья — так называемых мужчин?

— Сударыня, — сказал поверенный Гуч тем самым голосом, которым привычно смирял женскую клиентуру, — вы пришли к юристу. Я — поверенный в делах, а не философ; я также не редактор газетной рубрики «Ответы мученикам любви». Меня ждут другие клиенты. Будьте, если можно, так добры — разъясните, в чем дело.

— Могли бы и не метать мой бисер во все тяжкие, — заметила дама, сверкнув глазами и яростно крутнув зонтиком. — Я как раз по делу

и пришла. Меня интересуют ваши соображения относительно бракоразводного процесса, как говорят пошляки, — на самом же деле просто об устранении фальши и бессмыслицы, которые, по близорукости человеческих законов, встали стеной между любящими…

— Прошу прощения, сударыня, — несколько нетерпеливо прервал ее поверенный Гуч, — но я опять-таки напомню вам, что вы на приеме у юриста. Тут бы скорее миссис Уилкокс…

— Миссис Уилкокс знает, что пишет, — сурово отрезала дама. — Равно как Толстой, миссис Гертруда Эзертон, Омар Хайям и мистер Эдвард Бок. Я их всех прочла. Я хотела обсудить с вами исконное право души в поединке с притеснительными ограничениями ханжеского и узколобого общества. Но я готова перейти к делу. Я предпочла бы пока не касаться личностей а только дать вам общее понятие — словом, описать все как бы в форме предположения, а не…

— Вы хотите изложить гипотетический случай? — спросил поверенный Гуч.

— Именно это я и собиралась сказать, — сухо заметила дама. — Так вот предположим, что существует некая женщина, в избытке наделенная душой и сердцем и устремленная к жизненной

полноте. Муж этой женщины ниже ее по интеллекту, по вкусам — вообще неизмеримо. Ах, да он попросту хам. Его не трогает литература. Он насмехается над возвышенными идеями великих мыслителей. На уме у него только недвижимость и тому подобные мерзости. Женщина с душой ему не подруга. Но вот эта обездоленная женщина однажды встречает свой идеал — человека с умом, сердцем и характером. Она полюбила его. Его также пронизал трепет новоизведанного сродства, но он полон благородства и достоинства — и замкнул уста. Он бежал от лица своей возлюбленной. Она устремилась за ним, горделиво и презрительно попирая оковы, наложенные на нее невежественной социальной системой. Так вот — сколько ей будет стоить развод? Поэтесса Элиза Энн Тимминс, воспевшая Долину Платанов, развелась за триста сорок долларов. Могу ли я… то есть та леди, о которой идет речь — может ли она рассчитывать, что ей это обойдется столь же недорого?

— Сударыня, — сказал поверенный Гуч, — ваши последние две-три фразы потрясли меня своей трезвостью и ясностью. Нельзя ли нам оставить гипотезы, повести дело начистоту и назвать имена?

— Пусть так, — воскликнула дама, с изумительной готовностью перестраиваясь на практический лад. — Томас Р. Биллингс — вот имя этого презренного хама, который препятствует блаженству своей законной — но чуждой ему по духу — жены и Генри К Джессапа, ее благородного суженого. А я, — заключила клиентка в тоне последнего откровения, — я — МИССИС БИЛЛИНГС!

— К вам джентльмен, сэр, — прокричал Арчибальд, чуть ли не кувырком влетев в дверь.

Поверенный Гуч поднялся со стула.

— Миссис Биллингс, — учтиво сказал он, — позвольте попросить вас удалиться на несколько минут в соседнюю комнату. Я ожидаю весьма состоятельного пожилого джентльмена по делу о завещании. В самом скором времени я освобожусь, и мы продолжим нашу беседу.

С привычной обходительностью поверенный Гуч препроводил свою пылкую клиентку в последнюю незанятую комнату и вернулся оттуда, старательно прикрыв за собой дверь.

Арчибальд впустил очередного посетителя — сухощавого, нервозного и с виду задерганного человечка средних лет, на лице которого застыло опасливое и озабоченное выражение. Свой маленький чемоданчик он поставил у ножки

стула. Его добротная одежда не обличала в нем ни особого вкуса, ни опрятности; к тому же на ней осела дорожная пыль.

— Вы занимаетесь делами о разводах, — сказал он несколько возбужденным, но уверенным тоном.

— Припоминаю, — начал поверенный Гуч, — что в моей практике иной раз…

— Знаю, знаю, — прервал его клиент номер три. — Можете не говорить. Я о вас вполне наслышан. Я хочу поговорить с вами об одном деле, не углубляясь в разъяснения своей в нем некоторой заинтересованности — то есть…

— Вам угодно, — сказал поверенный Гуч, — изложить гипотетический случай.

— Можно и так выразиться. Я простой делец. Буду по мере сил краток. Сначала об одной гипотетической женщине. Положим, брак у нее сложился неудачно. Она во многих отношениях выше своего мужа. У нее красивая внешность — все так считают. Она увлекается, по ее выражению, литературой — поэзией там, прозой и всякими такими штуками. Муж у нее простой человек, его дело — коммерция. В семейной жизни они счастливы не были, хотя он и прилагал все усилия. И вот недавно один человек, совсем

им незнакомый, приехал в их тихий городок по делам о продаже недвижимости. Эта женщина увидела его — и ни с того ни с сего потеряла голову. Она так открыто выказывала ему свое внимание, что ему пришлось ради своей безопасности покинуть те места. Она оставила мужа и дом и последовала за ним. Она бросила свой дом, где была окружена всяческой заботой и уютом, и устремилась за тем человеком, к которому воспылала столь безотчетным чувством. Что может быть прискорбнее, — дрожащим голосом воззвал клиент, — чем распад семьи из-за вздорной женской прихоти?

Поверенный Гуч осторожно согласился, что прискорбнее ничего быть не может.

— А тот человек, который ей понадобился, — добавил посетитель, — он ей не сможет дать счастья. Она думает, что сможет, но это просто пустое и вздорное самообольщение. Да, они с мужем во многом не сходятся, но только он способен ограждать ее отзывчивую и недюжинную натуру. Она лишь на время перестала это понимать.

— А вам не кажется, что логическим выходом из данного положения был бы развод? — осведомился поверенный Гуч, на взгляд которого разговор отклонился от дела.

— Развод? — вскричал клиент с дрожью, почти со слезами в голосе. — Нет, нет — только не это! Я читал, мистер Гуч, как вы неоднократно, с терпением, добротой и пониманием примиряли рассорившихся супругов и возвращали их в лоно семьи. Оставим гипотетический случай: мне больше нет нужды скрывать, что я в этой печальной истории пострадал больше всех; вот имена замешанных — Томас Р. Биллингс с супругой и Генри К. Джессап, тот, которым она безрассудно увлеклась.

Клиент номер три возложил руку на плечо мистера Гуча. В его измученном лице проступило глубокое чувство.

— Ради всего святого, — взмолился он, — помогите мне в этот трудный час. Разыщите миссис Биллингс и убедите ее прекратить эту злосчастную погоню за своей плачевной прихотью. Скажите ей, мистер Гуч, что супруг ждет ее с распростертыми объятиями у семейного очага — в общем, обещайте ей что угодно, лишь бы она вернулась. Я слышал, вам удаются такие дела. Миссис Биллингс должна быть где-нибудь неподалеку. Я уже так наездился — с ног падаю от усталости. В пути я дважды видел ее, но поговорить никак не удавалось. Может, вы сделаете

это за меня, мистер Гуч, — и наградой вам будет моя нескончаемая благодарность?

— Действительно, — сказал поверенный Гуч, слегка поморщившись от последних слов, но тут же приняв выражение благопоспешествующее, — во многих случаях мне удавалось убедить стороны, искавшие расторжения семейных уз, пересмотреть свои скороспелые намерения и сохранить семью. Но позвольте вас заверить, что такая задача зачастую неимоверно трудна. Если бы вы представляли, сколько здесь требуется уговоров, настояний и, смею сказать, красноречия, — вы бы поразились. В данном случае, правда, мои симпатии целиком на известной стороне. Я глубоко сочувствую вам, сэр, и с превеликой радостию был бы свидетелем воссоединения супругов. Но мое время, — заключил поверенный, как бы опомнившись и вытащив часы, — дорого.

— Я это прекрасно понимаю, — заверил клиент, — и если вы возьметесь за это дело и убедите миссис Биллингс вернуться домой и прервать погоню за тем, другим мужчиной, — как только это случится, я выплачу вам тысячу долларов. Я кое-что заработал на этом недавнем буме с недвижимостью в Сьюзенвилле, и за такой суммой не

постою.

— Будьте добры, посидите здесь несколько минут, — сказал поверенный Гуч, поднявшись и снова справившись с часами. — В соседней комнате меня ожидает клиент, я о нем едва не забыл. Я совершенно незамедлительно вернусь к вам.

Ситуация была очень по душе поверенному Гучу с его любовью к хитростям и каверзам. Он упивался такими деликатными и многообещающими делами. Ему нравилось чувствовать себя властителем счастья и судеб троих людей, рассаженных по его кабинетам в полном неведении друг о друге. В уме у него всплыло старое сравнение с кораблем. Сейчас оно, впрочем, не подходило, ибо затопление всех трюмных отсеков настоящего корабля кончилось бы плохо; у него же все отсеки были полны, а между тем его груженный делами корабль безмятежно плыл к уютной гавани славного, тучного гонорара. Оставалось, разумеется, выяснить, как выгоднее распорядиться своим беспокойным грузом.

Сначала он крикнул рассыльному:

— Запри входную дверь, Арчибальд, и никого больше не впускай.

Затем он неслышными и широкими шагами устремился в комнату, где ожидал клиент номер

один, который терпеливо сидел и разглядывал фотографии в иллюстрированном журнале, держа сигару в зубах и водрузив ноги на столик.

— Ну как, — весело бросил он навстречу поверенному, — что надумали? Хватит вам пятисот долларов за избавление прекрасной дамы?

— Это в виде задатка? — мягко осведомился поверенный Гуч.

— Как? Не-ет; за все, на круг. А что, мало, что ли?

— Меня устроили бы, — сказал поверенный Гуч, — тысяча пятьсот долларов. Пятьсот сейчас, а остальное после развода.

Клиент номер один громко присвистнул. Он спустил ноги на пол.

— Нет, так у нас не пойдет, — сказал он, поднимаясь. — Пятьсот долларов я отхватил, когда в Сьюзенвилле началась заваруха с недвижимостью. Я, конечно, на все пойду, чтобы освободить даму, но это мне не по карману.

— А что вы скажете насчет тысячи двухсот долларов? — вкрадчиво спросил поверенный.

— Пятьсот — это мое последнее слово. Ладно, поищем юриста подешевле.

Клиент надел шляпу.

— Сюда, пожалуйста, — сказал поверенный Гуч,

отворяя дверь в коридор.

Джентльмен выплеснулся из отсека и хлынул по лестнице, а поверенный Гуч в душе улыбнулся.

— Те же без мистера Джессапа, — процедил он, поправив завиток над ухом и приняв портретный вид миротворца — Вернемся к безутешному мужу.

Он возвратился в средний кабинет и повел дело напрямую.

— Я вас понял так, — сказал он клиенту номер три, — что вы готовы уплатить тысячу долларов, если и поскольку я изыщу средство побудить миссис Биллингс вернуться к семейному очагу и оставить слепое преследование того человека, к которому она прониклась столь неодолимым чувством. На этих условиях мне вручаются все полномочия. Так или не так?

— Именно так, — был поспешный ответ. — Деньги в любое время в течение двух часов.

Поверенный Гуч выпрямился во весь рост. Его тощая фигура раздалась, как на дрожжах. Его большие пальцы устроились в проймах жилета. Лицо его привычно выразило неподдельное душевное участие.

— В таком случае, сэр, — ласково сказал он, — я,

вероятно, могу пообещать вам скорейшее облегчение ваших невзгод. Я в достаточной мере полагаюсь на свою способность к разъяснениям и уговорам, на естественное стремление человеческого сердца к добру и на воздействие незыблемой любви супруга. Миссис Биллингс, сэр, находится здесь, за этой дверью, — и длань поверенного простерлась к соседней комнате, — я сейчас же призову ее, и наши обоюдные увещевания не могут не возыметь…

Поверенный Гуч осекся, ибо клиента номер три словно стальной пружиной выбросило из кресла вместе с подхваченным чемоданчиком.

— Что за черт! — сипло выкрикнул он. — Что вы хотите сказать? Я думал, что обогнал ее миль на сорок.

Он ринулся к открытому окну, глянул вниз и закинул ногу за подоконник.

— Остановитесь! — в изумлении воскликнул поверенный Гуч. — Что с вами? Одумайтесь, мистер Биллингс, пожалейте свою заблудшую, но невинную жену. Совместными усилиями мы непременно…

— Биллингс?! — дико завопил клиент. — Я тебе сейчас покажу Биллингса, старая ты балда!

Он с размаху запустил чемоданчик в голову

поверенному и угодил ему в самую переносицу. Ошеломленный миротворец попятился шага на два; когда в глазах у него прояснилось, клиента не было. Поверенный Гуч бросился к окну и увидел, как отступник спрыгнул со второго этажа на крышу сарая. Шляпа его откатилась, но он не стал ее поднимать, а соскочил с десятифутовой высоты в проулок, стрелой домчался до ближайшего здания и скрылся из виду.

Поверенный Гуч провел по лбу дрожащей рукой. У него было такое обыкновение: так он прояснял мысли. А может быть, он заодно решил потереть то место, где его стукнуло очень твердым чемоданчиком крокодиловой кожи.

Распахнутый чемоданчик лежал на полу, вывалив свое содержимое. Поверенный Гуч стал машинально поднимать предмет за предметом. Сначала попался воротничок, и всевидящий глаз законника с удивлением обнаружил на нем инициалы Г. К. Дж. Он подобрал гребешок, головную щетку, свернутую карту и кусок мыла.

И наконец — пачку старых деловых писем, и все они были адресованы «Генри К. Джессапу эсквайру».

Поверенный Гуч закрыл чемоданчик и поставил его на стол. Он с минуту поколебался, затем

надел шляпу и вышел в переднюю к рассыльному.

— Арчибальд, — кротко сказал он, отворяя наружную дверь, — я ушел в суд. Ты через пять минут пойди скажи даме, которая там дожидается, — и тут поверенный Гуч выразился попросту, — что дело ее не выгорит.

Шифр Кэллоуэя

Перевод Л. Каневского.

Нью-йоркская газета «Энтерпрайз» направила Г. Б. Кэллоуэя в качестве собственного специального корреспондента на русско-японско-портсмутскую войну.

Два месяца Кэллоуэй проторчал в Иокогаме и в Токио, где проводил время в игре в кости с другими корреспондентами на чаевые для местных рикш, так как прокатиться на них было одним удовольствием; в общем он не отрабатывал ту зарплату, которую ему платила газета. Но ведь не по собственной же вине. Маленькие коричневые человечки, дергающие своими пальцами веревочки Судьбы, еще не были готовы заставить читателей «Энтерпрайза» совмещать свой завтрак из бекона с яйцами с битвами потомков богов.

Но вскоре колонна корреспондентов, которой предстояло выступить с Первой армией, затянула потуже свои боевые ремни и отправилась в Ялу с генералом Куроки. В ее составе был и Кэллоуэй.

Нет, перед вашими глазами не рассказ о сра-

жении при реке Ялу. Об этом подробно было рассказано многими корреспондентами, храбро наблюдавшими за облачками разрывов шрапнели с расстояния в три мили. Однако ради справедливости заметим, что не из-за собственной трусости, нет, ближе им запретило приближаться японское командование.

Свой подвиг Кэллоуэй совершил до сражения. Он прислал в редакцию «Энтерпрайза», самое сенсационное сообщение с фронта, опередив всех своих коллег. В результате газета опубликовала эксклюзивный подробный отчет о проведенной атаке на позиции русского генерала Засулича в тот день, когда она, эта атака, и была предпринята. Ни одна другая газета не смогла напечатать ни строчки об этом сражении в течение двух дней с начала боев, кроме разве что одной лондонской, но притом, что все, что она опубликовала, оказалось абсолютной выдумкой и ни в коей мере не соответствовало действительности. Кэллоуэю удалось отличиться, несмотря на то что генерал Куроки совершал свои маневры и осуществлял свои боевые планы с величайшей секретностью, и никакая информация из его боевого лагеря во внешний мир не просачивалась.

Всем корреспондентам было строго-настрого

запрещено отправлять любые сообщения относительно его планов, а любое разрешенное для отсылки сообщение подвергалось жесточайшей цензуре.

Корреспондент лондонской газеты составил каблограмму с описанием планов Куроки, но так как в ней все было неверно с начала до конца, то цензор, ухмыльнувшись, пропустил ее.

И так вот какая существовала диспозиция — на одном берегу реки Ялу находился Куроки со своими сорока двумя тысячами пехотинцев, пятью тысячами кавалеристов и ста двадцатью четырьмя орудиями. На другом берегу встречи с ними ожидал генерал Засулич, располагавший двадцатью тремя тысячами солдат, которым предстояло оборонять довольно протяженный участок реки. Кэллоуэй раздобыл весьма важную информацию, которая, как он был уверен, заставит слететься весь штат «Энтерпрайза» на его каблограмму, как слетаются тысячи мух к стойке в Парк-роу где торгуют сладким лимонадом. Кэллоуэй сделав все как надо, зажег свою трубку и присел на орудийный лафет, чтобы обо всем как следует поразмыслить. Здесь мы оставляем его, так как остальная часть нашего повествования будет посвящена Визи, тоже репортеру «Энтерпрайза»,

получавшему за свою работу шестнадцать долларов в неделю.

Каблограмму Кэллоуэя передали дежурному редактору в четыре часа пополудни. Тот трижды прочитал ее, после чего вытащил из ящика своего письменного стола небольшое зеркальце и внимательно стал изучать в нем свое отражение. Потом он подошел к столу своего заместителя Бойда и молча положил каблограмму перед ним.

— Это от Кэллоуэя, — сказал он. — Ну, что будем с этим делать?

Сообщение, отправленное с места боевых действий, имело следующее содержание:

«Предрешенный установленный заранее погоня за ведьмами начинается приглушенные слухи минируют темную тишину несчастный ричмонд существует великий запальчивый скотина собирает спорящих страшных нищих и неоспоримых ангелов».

Бойд прочитал текст дважды.

— Либо это какой-то шифр, либо его хватил солнечный удар, — прокомментировал он.

— Вы когда-нибудь слышали в нашей редакции о каком-либо тайном шифре? — недоуменно спросил дежурный редактор, который работал на этом посту всего два года. Дежурные редакторы

подолгу не работают.

— Нет, за исключением жаргона, на котором изъясняется одна дама, присылающая нам свои материалы, — ответил Бойд.

— Может, это акростих?

— Я тоже подумал о чем-то подобном, — сказал дежурный редактор, — Скорее всего, это какой-то код, это точно.

— Может, разделим слова на группы, — предложил Бойд. — Ну-ка помозгуем. — «Предрешенный установленный заранее погоня за ведьмами начинается» — нет, это не для меня. — «Приглушенные слухи минируют» — может, речь идет о подземном ходе. — «Темную тишину несчастный ричмонд», — неясно, для чего он так набросился на этот город. — «Существует великий запальчивый…» — нет, ни черта не выходит, Позовем-ка Скотта.

Редактор городского выпуска прибежал на их зов и тоже принял участие в разгадывании непонятной депеши. Этот редактор был гораздо более хватким работником и кое-что слышал об искусстве шифрования.

— Может, это шифровка, использующая алфавит наоборот, — предположил он. — «Р» здесь встречается гораздо чаще, скажем, чем «м». Если

«р» на самом деле обозначает «е», то по частоте употребления можно транспонировать буквы и посмотреть, что у нас получится.

Скотт быстро минуты две что-то набрасывал на листке бумаги карандашом, потом продемонстрировал первое расшифрованное им слово — получилось «скейтзац».

— Замечательно! — воскликнул Бойд. — Скорее всего это шарада. А расшифрованное слово — имя какого-то русского генерала. Давай, жми дальше Скотт!

— Нет, ничего не получится, — сдался редактор городского выпуска. — Это, несомненно, какой-то особый код. Его нельзя прочитать не имея к нему ключа.

— Ну а я что говорю! — сказал дежурный редактор. — Ну-ка поищите, может, найдете того, кто хоть что-то знает. Нужно это расшифровать. Вероятно, Кэллоуэй раскопал что-то очень важное, но цензор наложил свою лапу, иначе он не отправил бы свою каблограмму со всем этим вздором.

В редакции «Энтерпрайза» был запущен бредень, который должен был отловить таких сотрудников, которым было хоть что-то известно о шифровании либо в прошлом, либо в настоящем, в силу трезвости их ума естественной сообрази-

тельности, начитанности или стажа работы. Все они собрались в одной большой комнате вокруг возглавившего расшифровку дежурного редактора. Но никто из них даже краем уха не слышал ни о каком коде. Все они наперебой стали объяснять главному дознавателю, что в газетах никогда не пользуются ни шифрами, ни кодами. Ну разве что в Ассошиэйтед пресс, но это главным образом аббревиатуры и…

Дежурный редактор и сам об этом прекрасно знал, о чем тут же и заявил. Он спросил у каждого, сколько он работает в газете. И тут выяснилось, что никто из присутствующих не проработал и шести лет, а вот Кэллоуэй — целых двенадцать!

— Ну-ка позовите старика Хеффельбауэра, — предложил дежурный редактор. — Он работал здесь, когда Парк-роу был еще огородом, на котором росла картошка.

Хеффельбауэр сам по себе был социальным институтом. Он был полупривратником, полусторожем, полумастером на все руки, главным, куда пошлют, — в общем, являлся незаменимым универсальным лекалом для тридцати одного портного. Когда он пришел, его распирало от гордости за оказанное ему внимание.

— Хеффельбауэр, — обратился к нему дежур-

ный редактор, — вы когда-нибудь слышали о шифре или коде в нашей газете?

— Да, — ответил Хеффельбауэр, — конечно, знаю, что за козл. Около двенадцати или даже пятнадцати лет назад в редакции на самом деле был свой козл. Репортеры в отделе городских новостей им очень даже занимались.

— А! — воскликнул дежурный редактор. — Кажется, мы на верном пути. Где же он хранится? Хеффельбауэр, что вам известно о нем?

— Иногда он находился в маленькой комнатке за библиотекой, — ответил он.

— Вы можете его найти? Вы знаете, где он?

— Майн готт! — воскликнул Хеффельбауэр. — Как вы думаете, сколько может жить несчастный козл? Репортеры любили наш козл, но однажды он боднул главного редактора и…

— Да он говорит о каком-то козле, — догадался наконец Бойд. — Ну-ка убирайтесь отсюда, Хеффельбауэр.

И вновь возрадовавшиеся было коллективный ум и коллективная находчивость «Энтерпрайза» были направлены на разгадывание ребуса Кэллоуэя, но, как и прежде, с тем же нулевым результатом.

И вот в комнату вошел Визи.

Визи был молодым репортером обладавшим выпуклой грудью шириной в двадцать два дюйма. Он носил воротничок четырнадцатого размера, его костюм из яркой шотландки не оставлял никаких сомнений в отношении его происхождения. Его манера носить шляпу привлекала массу любопытных, ходивших за ним по пятам только затем, чтобы посмотреть, как он ее будет снимать; все они были уверены, что она висит на колышке, вбитом ему в голову. Он всегда ходил с большой узловатой палкой из твердой породы дерева с немецким серебряным набалдашником на кривой ручке. В довершение всего Визи был самым энергичным фотографом в газете. Скотт утверждал, что любой человек на свете, который мечтал о личном триумфе, должен был только ради этого оказаться перед объективом Визи. Визи сам готовил свои новостные репортажи, за исключением чересчур больших, которые отдавал для доработки редакторам. Если судить по его скетчам, то ничто на земле — ни ее обитатели, ни храмы, ни рощи, ни города, ни села никогда не могли озадачить Визи.

Визи, ворвавшись в тесную компанию разгадывателей шифра Кэллоуэя, как «козл» Хеффельбауэра, немедленно поинтересовался, чем это

занимается столь представительное собрание. Кто-то стал ему объяснять, с налетом той снисходительности, которую сотрудники редакции проявляли к нему. Визи протянул руку и бесцеремонно взял каблограмму из рук дежурного редактора. Он, видимо, родился под счастливой звездой, ибо и в этот раз, как и много раз ранее, его дерзость осталась безнаказанной.

— Но это ведь шифр, — сказал Визи. — У кого-нибудь есть к нему ключ?

— У редакции нет никакого своего шифра, — произнес Бойд, пытаясь выхватить каблограмму назад. Но Визи ее не выпускал.

— В таком случае, старина Кэллоуэй ожидает, что мы сможем прочесть то, что он нам прислал. Он, вероятно, оказался в безвыходном положении, и, по-видимому все это придумал из-за цензуры. Но мне это по плечу. Черт подери! Мне хотелось бы, чтобы он и мне прислал что-то в этом роде. Ну, мы же не можем подвести его, верно? «Предрешенный установленный заранее погоня за ведьмами...» гм-гм.

Визи, устроившись на краешке стола, стал внимательно изучать каблограмму, что-то чуть слышно насвистывая.

— Ну-ка верните документ, — разозленно ска-

зал дежурный редактор. — Нам нужно с ним работать.

— Кажется, я ухватил суть, — сказал Визи, — дайте мне минут десять.

Он подошел к своему рабочему столу, бросил шляпу в мусорную корзину, разлегся на нем своей широкой грудью, словно довольная ящерица, и его карандаш забегал по листку бумаги. Весь коллективный ум, вся коллективная мудрость «Энтерпрайза» дружно заулыбался, многозначительно кивая головами в сторону Визи. Потом обмен теориями по поводу шифровки продолжился.

Визи понадобилось ровно пятнадцать минут. Он встал и подал выпускающему редактору свой блокнот с записанным в нем ключом.

— Я сразу ухватил суть, стоило мне только бросить первый взгляд, — сказал Визи. — Ура старику Кэллоуэю! Он объегорил японцев и любую другую газету мира, которые печатают макулатуру вместо новостей. Ну-ка посмотрите вот на это!

И Визи стал читать присутствующим ключ к коду:

— Предрешенный — заключение
Установленный — установление

Погоня — действие
Ведьмы — полночь
Начинается — бесспорно
Приглушенные — донесения
Слухи — по слухам
Минировать — хозяин
Темный — лошадь
Тишина — большинство
Несчастный — пешеходы
Ричмонд — в поле
Великий — Белый путь
Запальчивый — условия
Скотина — сила
Собирает — несколько
Спорящих — спорящие
Страшных — времена
Нищие — описание
И — корреспондент
Неоспоримых — факт
Ангел — невзначай

— Речь идет всего лишь о газетном английском, — объяснил Визи. — Я достаточно долго работал репортером в «Энтерпрайзе» и все давно выучил наизусть. Старина Кэллоуэй дает нам ключевое слово, и мы, совершенно естественно,

используем его, как используем в газете. Ну, прочтите и увидите, как все славно становится на свои места. Ну, вот вам текст того сообщения, которое он нам передал. — Визи протянул редактору другой листок.

> «Установлено, пришли к заключению действовать, несомненно, в полночь. В донесении сообщается, что крупные массы кавалерии и подавляющая по численности сила пехоты будут брошены на поле боя. Условия белые. Действия оспариваются только немногими. Проверьте сообщение в „Таймс“, ее корреспондент невзначай перепутал факты».

— Как здорово! — возбужденно воскликнул Бойд. — Сегодня ночью Куроки форсирует Ялу и атакует неприятеля. Нет, мы ничего не сообщим газетам, которые занимаются выкладками Аддисона, сделками с недвижимостью и ставками в матчах по боулингу.

— Мистер Визи, — обратился к нему дежурный редактор в своей панибратской манере, словно он оказывает ему своим вниманием невероятное одолжение, — вы заставили нас серьезно задуматься над литературными стандартами, ко-

торые использует газета, в которой вы работаете. К тому же вы помогли нам с финансовой стороны, расшифровав для нас самую большую сенсацию года. Через день-другой я сообщу вам, как мы поступим с вами, — либо уволим, либо оставим в редакции, повысив зарплату. Пришлите-ка ко мне Эймса.

Эймс был «королем», маргариткой с белоснежными лепестками, яркой звездой в среде журналистов-переписчиков. Он мог увидеть попытку убийства в коликах от съеденных незрелых яблок, циклон в легком летнем зефире, пропавших детишек в компании изнывающих от безделья уличных пацанов, восстание угнетенных народных масс в каждой брошенной с тротуара картофелине в проезжающий мимо автомобиль. Когда Эймс не занимался своим делом, то есть перелицеванием чужих статей, он обычно сидел на крыльце своего дома в Бруклине и играл в шахматы с десятилетним сыном.

Эймс с военным редактором вошли в комнату. На стене в ней висела карта, сплошь утыканная маленькими булавками с флажками, которые обозначали собой различные армии и дивизии. У всех присутствующих уже давно чесались руки, чтобы передвинуть эти булавки по изогнутой ли-

нии Ялу. Теперь наконец это можно было сделать благодаря пламенным словам Эймса, краткое сообщение Кэллоуэя превратилось в литературный шедевр на первой полосе, который завтра должен был заставить заговорить весь мир. В статье рассказывалось о тайных совещаниях японских офицеров, дословно приводились зажигательные речи генерала Куроки, был перечислен до последнего солдата, до последней лошади весь личный состав пехоты и кавалерии; подробно описано быстро возведенное замысловатое укрепление на мосту в Сиукаухене, через который устремлялись в атаку легионы микадо на позиции застигнутого врасплох генерала Засулича, войска которого были рассеяны вдоль всего берега реки. Ну а сражение! О чем тут говорить! Какое сражение может представить на бумаге Эймс, если только дать понюхать запах депеши с поля сражения! В той же статье, демонстрируя свои сверхъестественные знания, он злобно и ехидно высмеял самую глубокую и самую могущественную газету в Англии за ее ложный, вводящий в заблуждение отчет о предстоящем сражении Первой японской армии в их номере от того же числа.

Была допущена только одна-единственная ошибка, и то, по-видимому, по вине оператора,

отсылавшего каблограмму. Кэллоуэй указал на нее после своего возвращения. Слово «великий» в его тексте должно было означать «залог», а дополнительные слова означали «сражение». Но когда Эймс наткнулся на слова «условия белые», то он понял их смысл как «снег». Его описание японской армии, которая прокладывала себе путь через снежную пургу, которая слепила бойцов своими снежными хлопьями, на самом деле отличалось поразительной живостью. Художники представили очень убедительные иллюстрации, которые стали настоящей сенсацией, особенно те, на которых изображалось, как японские артиллеристы перетаскивали свои орудия по льду. Но так как атака была проведена первого мая, то «белые условия» вызвали некоторое замешательство у ряда читателей. Но для «Энтерпрайза» это уже не имело никакого значения.

Все было просто чудесно. И сам Кэллоуэй был чудо как хорош — ведь он смог убедить своей абракадаброй японского цензора, что его послание означает лишь жалобу на нехватку новостей и просьбу о высылке денег на карманные расходы. И Визи был просто прелесть. Но прекраснее всего были все эти слова, и как они завязывают тесные узы дружбы друг с дружкой и не расстаются до

тех пор, пока не заполняют собой объявление о смерти.

На второй после описанного события день редактор городского выпуска остановился перед рабочим столом Визи, за которым репортер как раз сочинял рассказ о том, как какой-то бедолага сломал себе ногу, упав в яму с углем. Эймсу потом, правда, не удалось увидеть в этом попытку убийства.

— Старик говорит, что твое жалованье будет повышено до двадцати долларов в неделю, — сказал Скотт.

— Очень хорошо, — ответил Визи. — Каждый цент — все доход. Скажите, мистер Скотт, как будет, на ваш взгляд, лучше сказать: «Мы можем утверждать это, не опасаясь за успешные противоречия», или: «В целом можно довольно безопасно предположить»?

Вопрос высоты над уровнем моря

Перевод О. Холмской.

Однажды зимой оперная труппа театра «Альказар» из Нового Орлеана, в надежде поправить свои обстоятельства, совершала турне по Мексиканскому, Центрально и Южноамериканскому побережью. Предприятие это оказалось весьма удачным. Впечатлительные испано-американцы, большие любители музыки, всюду осыпали артистов долларами и оглушали их криками «vivas!». Антрепренер раздобрел телом и умягчился духом. Только неподходящий климат помешал ему возложить на себя видимый знак своего благополучия — меховое пальто со шнурами, наружными петлями и обшитыми сутажем пуговицами. От полноты чувств он чуть было даже не повысил жалованье актерам, но вовремя опомнился и могучим усилием воли победил порыв к столь бесприбыльному выражению радости.

Самый большой успех гастролеры имели в Макуто, на побережье Венесуэлы. Представьте себе Кони-Айленд, переведенный на испанский язык, и вы поймете, что такое Макуто. Модный сезон

продолжается от ноября до марта. Из Ла-Гуайры, Каракаса, Валенсии и других городов внутри страны стекаются сюда все, кто хочет повеселиться. К их услугам разнообразные развлечения — купанье в море, фиесты, бои быков, сплетни. И все эти люди одержимы страстью к музыке, которую оркестры, играющие — один на площади, другой на взморье — могут только разбередить, но не насытить. Понятно, что прибытие оперной труппы было встречено с восторгом.

Знаменитый Гусман Бланке, президент и диктатор Венесуэлы, вместе со своим двором проводил зимний сезон в Макуто. Этот могущественный правитель, по чьему личному распоряжению оперному театру в Каракасе выдавалась ежегодная субсидия в сорок тысяч песо, приказал освободить один из правительственных складов и временно переоборудовать его под театр. Быстро воздвигли сцену, для зрителей сколотили деревянные скамьи, для президента и высших чинов армии и гражданской администрации построили несколько лож.

Труппа пробыла в Макуто две недели. На всех представлениях зал был набит битком. Даже на улице перед театром сотнями толпились обожатели музыки и дрались из-за места поближе

к растворенной двери и открытым окнам. Зрительный зал являл собой необычайно пеструю картину. Тут были представлены все возможные оттенки человеческой кожи: вперемежку сидели светло-оливковые испанцы, желтые и коричневые метисы, черные как уголь негры с берегов Карибского моря и с Ямайки. Кое-где, небольшими кучками, вкраплены были индейцы с лицами, как у каменных идолов, закутанные в яркой расцветки шерстяные одеяла — индейцы из дальних округов — Саморы, Лос-Андес и Миранды, спустившиеся с гор к морю, чтобы в прибрежных городах обменять на товары намытый в ущельях золотой песок.

На этих выходцев из неприступных горных твердынь музыка оказывала потрясающее действие. Они слушали, оцепенев от восторга, резко выделяясь среди экспансивных жителей Макуто, которые для выражения своих чувств щедро пускали в ход и язык и руки. Только однажды сумрачный экстаз этих исконных насельников страны проявился вовне. Во время представления «Фауста» Гусман Бланке, очарованный арией Маргариты, роль которой, как значилось на афише, исполняла мадемуазель Нина Жиро, бросил на сцену кошелек с червонцами. Другие

видные граждане по его примеру тоже стали кидать золотые монеты, сколько кому не жаль, и даже некоторые из прекрасных сеньор, присутствовавших в театре, решились, сняв с пальчика кольцо или отстегнув брошку, бросить их к ногам примадонны. Тогда-то в разных углах зала начали вставать суровые жители гор и швырять на сцену серые и коричневые мешочки, которые шлепались об пол с мягким, глухим отзвуком. Конечно, только радость от мысли, что ее искусство получило признание, заставила так ярко заблистать глаза мадемуазель Жиро, когда она у себя в уборной стала развязывать эти кожаные мешочки и обнаружила, что они содержат полновесный золотой песок. Если так, то что ж, радость ее была вполне законна, ибо голос мадемуазель Жиро, чистый, сильный и гибкий, безукоризненно передававший все оттенки чувств, волновавших впечатлительную душу артистки, без сомнения, заслуживал той оценки, которую ему дали слушатели.

Но не триумфы оперной труппы «Альказар» являются темой нашего рассказа: они лишь слегка соприкасаются с ней и сообщают ей колорит. Дело в том, что за эти дни в Макуто произошло трагическое событие, пригасившее на время общее

веселье и оставшееся неразрешимой загадкой.

Однажды под вечер, за короткий час между закатом солнца и тем мгновением, когда примадонне полагалось явиться на подмостках в черно-алом наряде пылкой Кармен, мадемуазель Нина Жиро бесследно исчезла. Шесть тысяч пар глаз, устремленных на сцену, шесть тысяч нетерпеливо бившихся сердец остались неудовлетворенными. Поднялась суматоха. Посланцы помчались в маленький французский отель, где жила певица. Другие устремились на пляж, где она могла замешкаться, увлекшись купанием или задремав под тентом. Но все поиски были тщетны. Мадемуазель словно сквозь землю провалилась.

Прошло еще полчаса. Диктатор, не привычный к капризам примадонн, начал проявлять нетерпение. Он послал своего адъютанта передать антрепренеру, что, если занавес не будет сию же минуту поднят, всю труппу незамедлительно отправят в тюрьму, хотя мысль о необходимости прибегнуть к таким мерам наполняет скорбью сердце президента. В Макуто умели заставить птичек петь.

Антрепренер временно отложил всякие надежды на мадемуазель Жиро. Одна из хористок,

годами мечтавшая о таком счастливом случае, срочно преобразилась в Кармен, и представление началось.

Примадонна не отыскалась, однако, и на другой день. Тогда актеры обратились за помощью к властям. Президент немедленно отрядил на розыски полицию, армию и всех граждан. Но тайну исчезновения мадемуазель Жиро не удалось раскрыть. Труппа отбыла из Макуто выполнять свои контракты в других городах на побережье.

На обратном пути, во время стоянки парохода в Макуто, антрепренер съехал на берег и еще раз навел справки. Напрасно! Следов пропавшей так и не нашли. Что было делать? Вещи мадемуазель Жиро оставили в отеле на случай ее возможного возвращения, и труппа продолжала свой путь на родину.

На camino real[222], тянувшейся вдоль берега, стояли четыре вьючных и два верховых мула дона сеньора Джонни Армстронга, терпеливо ожидая, пока щелкнет бич их arriero[223], Луиса. Это должно было послужить сигналом для

---

[222] Примечания: 222
Большая дорога, главная улица (*исп.*).

[223] Примечания: 223
Погонщик мулов (*исп.*).

выступления в долгий путь по горам. Вьючные мулы были загружены разнообразным ассортиментом скобяных товаров и ножевых изделий. Эти товары дон Джонни продавал индейцам, получая взамен золотой песок, который те намывали в сбегающих с Анд горных реках и хранили в гусиных перьях и в кожаных мешочках, пока не прибывал к ним Джонни, совершая свою очередную поездку. Коммерция эта была очень выгодной, и сеньор Армстронг рассчитывал в ближайшем будущем приобрести ту кофейную плантацию, к которой давно присматривался.

Армстронг стоял на узком тротуарчике и обменивался изысканными прощальными приветствиями на испанском языке со старым Перальто, богатым местным купцом, только что содравшим с него втридорога за полгросса кухонных ножей, и краткими английскими репликами с Руккером, маленьким немцем, исполнявшим в Макуто обязанности консула Соединенных Штатов.

— Да пребудет с вами, сеньор, — говорил Перальто, — благословение святых угодников во время долгого вашего пути. Уповайте на милость Божию.

— Пейте-ка лучше хинин, — пробурчал Руккер, не выпуская трубки изо рта. — По два грана на

ночь. И не пропадайте надолго. Вы нам нужны. Этот Мелвил омерзительно играет в вист, а заменить его некем. Auf Wiedersehen[224], и смотрите между мула ушами, когда по пропасти краю ехать будете.

Зазвенели бубенчики на сбруе переднего мула, и караван тронулся. Армстронг помахал рукой провожающим и занял свое место в хвосте процессии. Шажком поднялись они по узкой уличке мимо двухэтажного деревянного здания, пышно именуемого «Hotel Inglés»[225], где Айвз, Доусон, Ричмонд и прочая братия предавались безделью на широкой веранде, перечитывая газеты недельной давности. Все они подошли к перилам и дружески напутствовали Джонни кто умными, кто глупыми советами. Не спеша протрусили мулы по площади мимо бронзового памятника Гусману Бланке в ограде из ощетинившихся штыками трофейных винтовок, отнятых у повстанцев, и выбрались из города по кривым переулкам, где возле крытых соломою хижин, не стыдясь своей наготы, резвились юные граждане Макуто. Далее караван нырнул под влажную

[224] Примечания: 224
До свидания (*нем.*).

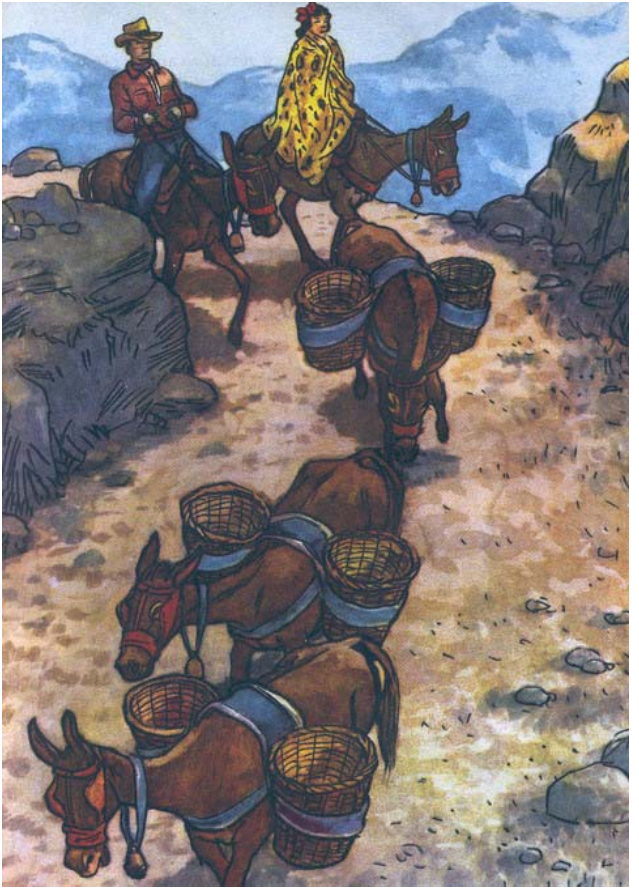
[225] Примечания: 225
Английский отель (*исп.*).

тень банановой рощи и снова вынырнул на яркий солнечный свет у искрящегося потока, где коричневые женщины в весьма скудной одежде стирали белье, безжалостно трепля его о камни. Затем путники, переправившись через речку вброд, двинулись в гору по крутой тропе и надолго распрощались даже с теми скромными элементами цивилизации, коими дано было наслаждаться жителям приморской полосы.

Не одну неделю провел Армстронг в горах, следуя, под водительством Луиса, по обычному своему маршруту. Наконец, после того как он набрал арробу[226] драгоценного песка, что составляло пять тысяч долларов чистой прибыли, и вьюки на спинах мулов значительно облегчились, караван повернул обратно. Там, где из глубокого ущелья выбегает река Гуарико, Луис остановил мулов.

---

[226] Примечания: 226
Испанская мера веса — 11,5 кг.



— Сеньор, — сказал он, — меньше чем в одном дневном переходе отсюда есть деревушка Такусама, где мы еще ни разу не бывали. Там, я думаю, найдется много унций золота. Стоит попробовать.

Армстронг согласился, и они опять двинулись в гору. Узкая тропа, карабкаясь по кручам, шла через густой лес. Надвигалась уже ночь, темная, мрачная, как вдруг Луис опять остановился. Перед путниками, преграждая тропу, разверзалась черная, бездонная пропасть.

Луис спешился.

— Тут должен быть мост, — сказал он и побежал куда-то вдоль обрыва. — Есть, нашел! — крикнул он из темноты и, вернувшись, снова сел в седло. Через несколько мгновений Армстронг услышал грохот, как будто где-то во мраке били в огромный барабан. Это гремели копыта мулов по мосту из туго натянутых бычьих кож, привязанных к поперечным шестам и перекинутых через пропасть. В полумиле оттуда была уже Такусама. Кучка сложенных из камней и обмазанных глиной лачуг ютилась в темной лесной чаще.

Когда всадники подъезжали к селению, до их ушей внезапно долетел звук, до странности неожиданный в угрюмой тишине этих диких

мест. Великолепный женский голос, чистый и сильный, пел какую-то звучную, прекрасную арию. Слова были английские, и мелодия показалась Армстронгу знакомой, хотя он и не мог вспомнить ее названия.

Пение исходило из длинной и низкой глинобитной постройки на краю деревни. Армстронг соскочил с мула и, подкравшись к узкому оконцу в задней стене дома, осторожно заглянул внутрь. В трех футах от себя он увидел женщину необыкновенной, величественной красоты, закутанную в свободное одеяние из леопардовых шкур. Дальше тесными рядами сидели на корточках индейцы, заполняя все помещение, кроме небольшого пространства, где стояла женщина.

Она кончила петь и села у самого окна, как будто ловя струю свежего воздуха, только здесь проникавшего в душную лачугу. Едва она умолкла, как несколько слушателей вскочили и принялись бросать к ее ногам маленькие мешочки, глухо шлепавшиеся о земляной пол. Остальные разразились гортанным ропотом, что у этих сумрачных меломанов было, очевидно, равносильно аплодисментам.

Армстронг привык быстро ориентироваться в обстановке. Пользуясь поднявшимся шумом, он

тихо, но внятно проговорил:

— Не оборачивайтесь. Слушайте. Я американец. Если вам нужна помощь, скажите, как вам ее оказать. Отвечайте как можно короче.

Женщина оказалась достойной его отваги. Только по внезапно вспыхнувшему на ее щеках румянцу можно было судить, что она слышала и поняла его слова. Затем она заговорила, почти не шевеля губами:

— Эти индейцы держат меня в плену. Видит бог, мне нужна помощь. Через два часа приходите к хижине в двадцати ярдах отсюда, ближе к горному склону. Там будет свет, на окне красная занавеска. У дверей всегда стоит караульный, его придется убрать. Ради всего святого, не покидайте меня.

Приключения, битвы и тайны как-то не идут к нашему рассказу. Тема, которую мы избрали, слишком деликатна для этих грубых и воинственных мотивов. И, однако, она стара как мир. Ее называли «влиянием среды», но разве такими бледными словами можно описать то неизъяснимое родство между человеком и природой, то загадочное братство между нами и морской волной, облаками, деревом и камнем, в силу которого наши чувства покоряются тому, что

нас окружает? Почему мы настраиваемся торжественно и благоговейно на горных вершинах, предаемся лирическим раздумьям под тенью пышных рощ, впадаем в легкомысленное веселье и сами готовы пуститься в пляс, когда сверкающая волна разливается по отмели? Быть может, протоплазма… Но довольно! Этим вопросом занялись химики, и скоро они всю жизнь закуют в свою таблицу элементов.

Итак, чтобы не выходить из пределов научного изложения, сообщим только, что Армстронг пришел ночью к хижине, оглушил индейского стража и увез мадемуазель Жиро. Вместе с ней уехало из Такусамы несколько фунтов золотого песка, собранного артисткой за время своего вынужденного ангажемента. Индейцы Карабабо самые страстные любители музыки на всей территории между экватором и Французским оперным театром в Новом Орлеане. Кроме того, они твердо верят, что Эмерсон преподал нам разумный совет, когда сказал: «То, чего жаждет твоя душа, о человек, возьми и заплати положенную цену». Несколько из этих индейцев присутствовали на гастролях оперного театра «Альказар» в Макуто и нашли вокальные данные мадемуазель Жиро вполне удовлетворительными. Они

ее возжаждали, и они ее взяли — увезли однажды вечером, быстро и без всякого шума. У себя они окружили ее почетом и уважением, требуя только одного коротенького концерта в вечер. Она была очень рада тому, что мистер Армстронг освободил ее из плена. На этом кончаются все тайны и приключения. Вернемся теперь к вопросу о протоплазме.

Джон Армстронг и мадемуазель Жиро ехали по тропе среди горных вершин, овеянные их торжественным покоем. На лоне природы даже тот, кто совсем забыл о своем родстве с ней, с новой силой ощущает эту живую связь. Среди гигантских массивов, воздвигнутых древними геологическими переворотами, среди грандиозных просторов и безмерных далей все ничтожное выпадает из души человека, как выпадает из раствора осадок под действием химического реагента. Путники двигались медлительно и важно, словно молящиеся во храме. Их сердца, как и горные пики, устремлялись к небу. Их души насыщались величием и миром.

Армстронгу женщина, ехавшая рядом с ним, казалась почти святыней. Ореол мученичества, еще окружавший ее, придавал ей величавое достоинство и превращал ее женскую прелесть

в иную, более возвышенную красоту. В эти первые часы совместного путешествия Армстронг испытывал к своей спутнице чувство, в котором земная любовь сочеталась с преклонением перед сошедшей с небес богиней.

Ни разу еще после освобождения не тронула ее уст улыбка. Она все еще носила мантию из леопардовых шкур, ибо в горах было прохладно. В этом одеянии она казалась принцессой, повелительницей этих диких и грозных высот. Дух ее был в согласии с духом горного края. Ее взор постоянно обращался к темным утесам, голубым ущельям, увенчанным снегами пикам и выражал такую же торжественную печаль, какую источали они. Временами она запевала Te deum или Miserere[227], которые как будто отражали самую душу гор и делали движение каравана подобным богослужебному шествию среди колонн собора. Освобожденная пленница редко роняла слово, как бы учась молчанию у окружающей природы. Армстронг смотрел на нее, как на ангела. Он счел бы святотатством ухаживать за ней, как за обыкновенной женщиной.

Спускаясь мало-помалу, на третий день они

[227] Примечания: 227

«Тебе, Бога, хвалим» и «Помилуй нас, Боже» (*лат.*) — церковные песнопения, входящие в состав мессы.

очутились в tierra templada[228] — на невысоких плато в предгорьях. Горы отступили, но еще высились вдали, вздымая в небо свои грозные головы. Тут уже видны были следы человека. На расчищенных в лесу полянах белели домики посреди кофейных плантаций. На дороге попадались встречные всадники и вьючные мулы. На склонах паслись стада. В придорожной деревушке большеглазые nicos[229] приветствовали караван пронзительными криками.

Мадемуазель Жиро сняла свою мантию из леопардовых шкур. Это одеяние, так гармонировавшее с духом высокогорья, здесь уже казалось несколько неуместным. И Армстронгу почудилось, что вместе с этой одеждой мадемуазель Жиро сбросила и частицу важности и достоинства, отличавших до сих пор ее поведение. Чем населеннее становилась местность, чем чаще встречались признаки цивилизации, говорившие о жизненных удобствах и уюте, тем ощутительнее делалась эта перемена в спутнице Армстронга. Он с радостью видел, что принцесса и священнослужительница превращается в про-

[228] Примечания: 228
Страна умеренного климата (*исп.*).

[229] Примечания: 229
Ребятишки (*исп.*).

стую женщину — обыкновенную, земную, однако не менее обаятельную. Слабый румянец заиграл на ее мраморных щеках. Под леопардовой мантией обнаружилось обычное платье, и мадемуазель Жиро принялась оправлять его с заботливостью, доказывавшей, что мужские взгляды ей не безразличны. Она пригладила свои разметавшиеся по плечам кудри. В ее глазах замерцал огонек интереса к миру и его делам, не смевший до сих пор разгореться в леденящем воздухе аскетических горных вершин.

Божество оттаивало — и сердце Армстронга забилось сильнее. Так бьется сердце у исследователя Арктики, когда он впервые видит зеленые поля и текучие воды. Очутившись на менее высоком уровне суши и жизни, путешественники поддались его таинственному, неуловимому влиянию. Их уже не обступали суровые скалы; воздух, которым они дышали, не был уже разреженным воздухом горных высот. Они ощущали на своем лице дыхание фруктовых садов, зреющих нив и теплого жилья — добрый запах дыма и влажной земли, — все, чем пытается утешить себя человек, отгораживаясь от мертвого праха, из которого он возник. В соседстве снежных вершин мадемуазель Жиро сама проникалась их замкнутостью и

молчаливостью. А теперь — ужель это была та же самая женщина? Трепещущая, полная жизни и страсти, счастливая от сознания своей прелести, женственная до кончиков пальцев! Наблюдая эту метаморфозу, Армстронг чувствовал, что в душу его закрадывается смутное опасение. Ему хотелось остаться здесь, не пускать дальше эту женщину-хамелеона. Здесь была та высота и те условия, при которых проявлялось все лучшее в ее натуре. Он боялся спускаться ниже, на те уровни, где природа окончательно покорена человеком. Какие еще изменения претерпит дух его возлюбленной в той искусственной зоне, куда они держат путь?

Наконец, с небольшого плато они увидели сверкающую полоску моря по краю зеленых низин. У мадемуазель Жиро вырвался легкий радостный вздох.

— Ах, посмотрите, мистер Армстронг! Море! Какая прелесть! Мне так надоели горы! — Она с отвращением передернула плечиком. — И эти ужасные индейцы! Подумайте, как я настрадалась! Правда, осуществилась моя мечта — быть звездой сцены, но вряд ли все-таки я возобновила бы этот ангажемент. Я так благодарна вам за то, что вы меня увезли. Скажите, мистер Арм-

стронг, — только по совести! — я наверно, бог знает на кого похожа? Я ведь целую вечность не гляделась в зеркало.

Армстронг дал ей тот ответ, который подсказывало ему изменившееся настроение. Он даже решился нежно пожать ее ручку, опиравшуюся на луку седла. Луис ехал в голове каравана и ничего не видел. Мадемуазель Жиро позволила руке Армстронга остаться там, куда он ее положил, и ответила ему улыбкой и взглядом, чуждым всякой застенчивости.

На закате солнца они совершили последнее нисхождение до уровня моря и ступили на дорогу, которая шла к Макуто под сенью пальм и лимонных деревьев, среди яркой зелени, киновари и охры tierra caliente[230]. Они въехали в город и увидели цепочки беззаботных купальщиков, резвившихся среди пенных валов прибоя. Горы остались далеко-далеко позади.

Глаза мадемуазель Жиро искрились таким весельем, которое, конечно, было немыслимо для нее в те дни, когда ее блюли дуэньи в снеговых чепцах. Но теперь к ней взывали иные духи — нимфы апельсиновых рощ, наяды бур-

---

[230] Примечания: 230
Горячей земли (*исп.*).

ливого прибоя, бесенята, рожденные музыкой, благоуханием цветов, яркими красками земли и вкрадчивым шепотом человеческих голосов. Она вдруг звонко рассмеялась — видимо, ей пришла в голову забавная мысль.

— Ну и сенсация же будет! — воскликнула она, обращаясь к Армстронгу. — Жаль, что у меня сейчас нет ангажемента! А то какую рекламу можно бы состряпать! «Знаменитая певица в плену у диких индейцев, покоренных чарами ее соловьиного голоса!» Ну да ничего, я, во всяком случае, внакладе не осталась. Тысячи две долларов, пожалуй, будет в этих мешочках с золотым песком, что я набрала во время моего высокогорного турне? А? Как вы думаете?

Армстронг оставил ее у дверей маленького отеля «De Buen Descansar»[231], где она жила раньше. Через два часа он вернулся в отель и, подойдя к растворенной двери, заглянул в небольшой зал, служивший одновременно приемной и рестораном.

На креслах и диванах расположились пять-шесть представителей светских и чиновных кругов Макуто. Сеньор Виллабланка, богач и

---

[231] Примечания: 231
«Добрый отдых» (*исп.*).

концессионер, державший в руках местную каучуковую промышленность, сидел сразу на двух стульях, ибо на одном не умещались его жирные телеса; масленая улыбка расползалась по его коричневому, как шоколад, лицу. Горный инженер, француз Жильбер, умильно поглядывал сквозь сверкающие стекла пенсне. Представитель армии, полковник Мендес, в шитом золотом мундире, с самодовольной улыбкой деловито раскупоривал шампанское. Прочие сливки общества выламывались кто как умел и принимали эффектные позы. В воздухе было синё от дыма. Из опрокинутой бутылки на пол текло вино.

Посреди комнаты, словно королева на троне, восседала на столе мадемуазель Жиро. Свой дорожный костюм она уже успела сменить на шикарный туалет из белого муслина с вишневыми лентами. Краешек кружева, две-три оборки, розовый чулочек со стрелками, как бы невзначай выставившийся из-под юбки… На коленях мадемуазель Жиро держала гитару. Лицо ее сияло счастьем — то был свет восстания из мертвых, ликование воскресшей души, которая достигла, наконец, Элизиума, пройдя сквозь огонь и муки. Бойко аккомпанируя себе на гитаре, она пела:

Вон на небо лезет красная луна,

Знать, она, голубушка, пьяным-пьяна,

Так давайте же стаканы наливать

И своих девчонок — эх! — послаще целовать!

Тут певица заметила Армстронга.

— Эй! Эй! Джонни! — закричала она. — Где ты пропадал, я тебя уже целый час дожидаюсь. Скука без тебя смертная. Ну и компания у вас тут, как я погляжу! Пить и то не умеют. Иди, иди к нам, я велю этому черномазому с золотыми эполетами откупорить для тебя свежую бутылочку!

— Благодарю вас, — сказал Армстронг. — Как-нибудь в другой раз. Сейчас мне некогда.

Он вышел из отеля и зашагал по улице. Навстречу ему попался Руккер, возвращавшийся домой из своего консульства.

— Пойдем сыграем на бильярде, — сказал Армстронг. — Мне надо развлечься, авось перестанет тошнить от угощенья, что подносят тут у вас, на уровне моря.

«Девушка»

Перевод под ред. В. Азова.

На нижнем стекле двери комнаты номер 962 золотыми буквами были выведены слова: «Роббинс и Гартли, маклеры». Клерк уже ушел. Было начало шестого, и уборщицы, с грузным топотом табуна премированных першеронов, вторглись в вонзающийся в облака двадцатиэтажный небоскреб, наполненный конторами. Дыхание докрасна раскаленного воздуха, надушенного лимонными корками, угольным дымом и ворванью, проникало сквозь полузакрытые окна.

Роббинс — пятьдесят лет, перезрелый красавец, завсегдатай всех премьер и шикарных ресторанов — притворялся, будто он завидует развлечениям своего товарища и компаньона.

— Ну, вы, конечно, намерены сегодня вечером предпринять что-нибудь по части сырости? — сказал он. — Знаю я вас, прохлаждающихся за городом молодчиков! Умеете пожить! Кузнечики у вас там разные и опять же луна к вашим услугам, не говоря уже о коктейлях и всяких там делишках на крыльце.

Гартли — двадцать девять лет, серьезный, стройный, красивый малый, нервный — вздохнул и слегка нахмурился.

— Да, — сказал он, — у нас всегда прохладные вечера в Флергерсте, особенно зимой.

Какой-то человек с таинственным видом вошел в контору и подошел к Гартли.

— Я узнал, где она живет, — объявил он тяжелым полушепотом, по которому люди-братья узнают сыщика за работой, как меченого.

Гартли движением бровей привел его в состояние сценического молчания и статуарности, но в это время Роббинс взял трость, переколол по своему вкусу булавку в галстуке и, сделав светский поклон, отправился к своим столичным развлечениям.

— Вот адрес, — сказал сыщик, теперь естественным голосом. Он ведь был лишен слушателей, которых он мог бы поразить.

Гартли взял листок, вырванный из грязной записной книжки ищейки. На нем карандашом были нацарапаны слова: «Вивьен Арлингтон, № 341, Восточная улица, на попечении миссис Мак-Комес».

— Переехала туда неделю назад, — сказал сыщик. — Если вам понадобится слежка, я могу

сделать это, как никто другой в городе. Это будет стоить вам всего семь долларов в день и расходы. Могу ежедневно представлять печатный отчет, захватывающий…

— Нет, не стоит, — перебил его маклер. — Это не такого рода дело. Я просто хотел узнать адрес. Сколько вам следует с меня?

— Один рабочий день, — сказал ищейка, — десятка его покроет.

Гартли заплатил сыщику и отпустил его. Затем он вышел на улицу и вскочил в вагон, шедший на Бродвей. На первом большом перекрестке он пересел в вагон восточного направления и высадился на пришедшем в полный упадок проспекте, некогда укрывавшем в своих старинных зданиях красу и славу города.

Пройдя несколько кварталов, он подошел к дому, который он искал. Это был новый жилой небоскреб, на портале которого из дешевого камня было вырезано звучное наименование: «Валламброза». Пожарные лестницы спускались зигзагами по его фасаду, обремененные домашним хламом, сохнущим бельем и орущими детьми, выселенными с мостовой летним зноем. То тут, то там выглядывало из этого смешения чахлое растение, как бы недоумевая, к какому

царству оно, собственно, принадлежит — к растительному, животному или искусственному?

Гартли нажал кнопку: «Мак-Комес»[232]. Дверной замок щелкнул спазматически — с гостеприимством, смешанным с нерешительностью, словно бы он сомневался, кого он впускает — друга или кредитора. Гартли вошел и начал карабкаться по лестнице обычным приемом людей, разыскивающих своих знакомых в жилом небоскребе. Это прием мальчишки, взбирающегося на яблоню. Он лезет, пока не дотянется до яблока, которое он себе наметил.

На четвертом этаже он увидел Вивьен, стоявшую у открытой двери в свою квартиру. Она пригласила его внутрь кивком и сияющей искренней улыбкой. Она поставила для него стул около окна и грациозно устроилась сама на краю одного из тех предметов обстановки, которые маскируются и таинственно закрываются днем и превращаются в инквизиционные орудия пытки ночью.

Гартли, прежде чем заговорить, окинул девушку быстрым, критическим, проницательным взглядом и поздравил самого себя с безукориз-

---

[232] Примечания: 232

В нью-йоркском жилом небоскребе каждая квартира имеет свой звонок на парадной с улицы.

ненным вкусом в выборе.

Вивьен было около двадцати одного года. Она принадлежала к чистейшему саксонскому типу. Каждая прядь ее красновато-золотистых, изящно подобранных волос сияла своим собственным блеском и имела особый нежный оттенок. В полной гармонии были ее чистый, как слоновая кость, цвет лица и глубокие, синие, как море, глаза, смотревшие на мир с мечтательностью морской сирены или феи не открытого еще горного ручья. Она была крепкого сложения, но в то же время обладала полной непринужденности грацией. Тем не менее, при всей северной чистоте и ясности ее линий и колорита, в ней, казалось, было и что-то от тропиков: какая-то томность в непринужденности ее позы, наслаждение и покой в простодушном ее довольстве собой, в самом акте дыхания — что-то, свидетельствовавшее о ней, как о совершенном творении природы, достойном поклонения наряду с редким цветком или какой-нибудь великолепной молочно-белой горлицей среди скромно окрашенных подруг.

На ней была белая блузка и черная юбка — предусмотрительный маскарад пастушки гусей, которая на самом деле герцогиня.

— Вивьен, — сказал Гартли, умоляюще глядя на

нее, — вы не ответили на мое последнее письмо. Я разыскивал вас почти целую неделю, прежде чем мне удалось узнать, куда вы переехали. Почему вы держали меня в неизвестности? Ведь вы же знали, с каким нетерпением я хотел увидеть вас, услышать о вас?

Девушка задумчиво смотрела в окно.

— Мистер Гартли, — промолвила она нерешительно, — я, право, не знаю, что вам сказать. Я понимаю все преимущества вашего предложения и иногда думаю, что могла бы быть счастлива у вас. Но затем я снова начинаю колебаться. Я родилась горожанкой, и я боюсь, что не вынесу тихой жизни за городом.

— Дорогая моя, — пылко произнес Гартли, — я ведь сказал вам, что у вас будет все, чего пожелает ваше сердце, все, что будет в моих силах дать вам. Вы будете ездить в город — в театры, за покупками, к вашим друзьям, когда только захотите. Ведь вы верите мне, не так ли?

— О, я верю вам вполне, — сказала она с улыбкой и подняла на него свои ясные глаза. — Я знаю, что вы добрейший из людей и что девушка, которую вы выберете себе, будет счастливицей. Я все узнала о вас, когда была у Монтгомери.

— Ах! — воскликнул Гартли, и в глазах его за-

теплился свет воспоминаний. — Я хорошо помню этот вечер, когда я впервые увидел вас у Монтгомери. Миссис Монтгомери целый вечер пела вам хвалы. И она едва ли отдала вам должное. Я никогда не забуду этого ужина. Ну же, Вивьен, скажите «да»! Я не могу без вас. Вы никогда не пожалеете, что приняли мое предложение. Никто другой никогда не создаст вам такой уютной семейной обстановки.

Девушка вздохнула и посмотрела вниз на свои сложенные руки.

Вдруг ревнивое подозрение охватило Гартли.

— Скажите мне, Вивьен, — спросил он, посмотрев на нее пронизывающим оком. — Нет ли здесь кого-нибудь другого? Может быть, тут замешан еще кто-нибудь?...

Розовая краска медленно поползла по ее прелестным щекам и шее.

— Вам не следовало спрашивать этого, мистер Гартли, — сказала она в смущении. — Но я сознаюсь вам. Здесь, правда, замешан другой... но он не имеет никакого права — я ничего ему не обещала.

— Его фамилия? — сурово спросил Гартли.

— Таунсенд.

— Раффорд Таунсенд! — воскликнул Гартли,

свирепо стиснув челюсти. — Как этот человек узнал вас? После всего, что я сделал для него!

— Его автомобиль как раз остановился внизу, — сказала Вивьен, высовываясь из окна. — Он приехал за ответом. О, я не знаю, что мне делать!..

В кухне зазвенел звонок.

— Останьтесь, — сказал Гартли. — Я сам встречу его в передней.

Таунсенд, похожий на испанского гранда, поднимался по лестнице в своем светлом пике и панаме, с своими завитыми черными усами, прыгая через три ступеньки. Увидев Гартли, он остановился в замешательстве.

— Ступайте обратно, — твердо сказал Гартли, направив свой указательный палец вниз.

— Алло! — сказал Таунсенд, притворяясь удивленным. — В чем дело? Что вы здесь делаете, старина?

— Ступайте обратно, — непоколебимо повторил Гартли. — Закон джунглей. Вы хотите, чтобы я растерзал вас в клочья? Добыча моя.

— Я приехал сюда, чтобы поговорить с водопроводчиком. У меня что-то водопровод в ванной комнате шалит, — мужественно возразил Таунсенд.

— Прекрасно, — сказал Гартли, — поздравляю вас: вы соврали, предательская ваша душа. Ну а теперь ступайте обратно.

Таунсенд спустился вниз и доверил внизу тяге, гуляющей по лестничной шахте, несколько крепких слов, чтобы она снесла их наверх. Гартли вернулся обратно к своему жертвеннику.

— Вивьен, — сказал он властно, — я должен иметь вас. Я слышать не хочу больше никаких отказов или отговорок.

— А когда вы хотите забрать меня?

— Сейчас. Как только вы будете готовы.

Она спокойно стала перед ним и посмотрела ему в глаза.

— Неужели вы хоть одну минуту думаете, — сказала она, — что я войду в ваш дом, пока Элоиза находится там?

Гартли покачнулся, как от неожиданного удара. Он скрестил руки и прошелся несколько раз по ковру.

— Она должна будет уйти, — объявил он мрачно. Капли пота выступили у него на лбу. — Почему, в самом деле, я должен позволять этой женщине портить мне жизнь? У меня не было ни одного спокойного дня, с тех пор как я знаю ее. Вы правы, Вивьен. Элоиза должна быть изгнана,

прежде чем я возьму вас к себе домой. Она должна уйти. Я решился. Я выставлю ее.

— Когда вы сделаете это? — спросила девушка.

Гартли стиснул зубы и нахмурил брови так, что они соединились.

— Сегодня вечером, — сказал он решительно. — Я отправлю ее сегодня вечером.

— Тогда, — сказала Вивьен, — мой ответ будет: «да». Приходите за мной, когда хотите.

Она посмотрела ему в глаза нежно и искренно. Гартли едва мог поверить, что она согласилась серьезно. Она сдалась так быстро и так безусловно.

— Дайте мне, — сказал он с чувством, — ваше честное слово.

— Честное слово, — нежно повторила Вивьен.

В дверях Гартли остановился и посмотрел на нее долгим взглядом, но это был еще взгляд человека, не смеющего верить в прочность своего счастья.

— Значит, до завтра, — сказал он, с поднятым в знак напоминания указательным пальцем.

— До завтра, — повторила она с мягкой и искренней улыбкой.

Через час сорок минут Гартли вышел из поезда в Флергерсте. Через десять минут он подошел быстрым шагом к решетке красивого двухэтаж-

ного коттеджа, расположенного на просторной ухоженной лужайке. На полдороге к дому он был встречен женщиной с черными как смоль волосами в развевающемся белом летнем платье, которая едва не задушила его без всякой видимой причины.

Когда они вошли в холл, она сказала:

— Мама здесь. Автомобиль приедет за ней через полчаса. Она приехала обедать, а обеда нет.

— Я должен кое-что сообщить тебе, — сказал Гартли. — Я хотел было сначала осторожно подготовить тебя, но раз мама здесь, мы можем покончить с этим сейчас же.

Он остановился и прошептал ей что-то на ухо.

Его жена вскрикнула. Мать ее вбежала в холл. Брюнетка вскрикнула еще раз, радостным криком любимой и избалованной женщины.

— О мама! — восторженно воскликнула она — знаете что? Вивьен будет у нас кухаркой. Та самая, которая прожила целый год у Монтгомери. А теперь, Билли, дорогой, — закончила она, — ты должен сейчас же пройти на кухню и рассчитать Элоизу. Она опять была пьяна сегодня целый день.

Костюм и шляпа в свете социологии

Перевод Т. Озерской.

Лето — сезон безответственности — уже на носу. Ну что ж, увенчаем чело ядовитым плющом (чудить так чудить!) и с социологией под ручку прогуляемся по цветущим лугам.

Вполне вероятно, что земля — плоскость. Различные умники без особого успеха пытались доказать, что она — шар. Взгляните на корабль, призывали они нас, и вы убедитесь, что рано или поздно округлость земного шара скроет от вас все, кроме верхушки мачты. Ну а мы тоже не лыком шиты, мы взяли подзорную трубу, поглядели в нее и снова увидели палубу и корпус судна. Тогда умники сказали: «Вот еще, подумаешь! Все равно отклонение пересечения эклиптики с экватором доказывает шарообразность земли». Этого мы в нашу подзорную трубу узреть не могли и вынуждены были замолчать. И все же каждому дураку ясно, что, будь земля круглой, у китайцев косы торчали бы перпендикулярно вверх, а не висели бы вдоль спины, как, по свидетельству всех путешественников, они у них висят.

В хорошее летнее пекло в голову лезут прямотаки неопровержимые доказательства правильности плоскостной гипотезы: все в жизни, как нам известно, движется по замкнутому кругу. Больше всего это похоже на игру в бейсбол. Хлоп! Ударил по мячу и мчишься вперед. Выиграл перебежку (в жизни это называется «всех обскакал») — назад в «дом» и плюх на скамейку. Не добежал — выбываешь из игры. Значит, обратно в «дом» и плюх на скамейку.

Кругосветные мореплаватели могли бы и не плавать — прочертив круг по водной глади так называемого земного шара, они возвращаются туда, откуда отплыли. А великие мира сего, достигнув вершины своих достижений, возвращаются к изначальной младенческой простоте. Миллиардер садится за стол красного дерева, чтобы откушать молока с ломтем хлеба. Вы сделали карьеру? А ну-ка, снимите дощечку с надписью «финиш» и поглядите, что там на обороте. Читайте: «старт». Где висела, там и висит, — просто ее перевернули, пока вы бегали по кругу.

Но шутки в сторону. Вернемся к серьезным проблемам — от них ведь никуда не денешься, если социология вздумает усесться за летний табльдот. Приглашаем вас туда, где будут раз-

вертываться события: грозные волны Атлантики разбиваются о скалистые и лесистые берега у подножия великого города Нью-Йорка.

Поселок Фишхэмтон на южном берегу Лонг-Айленда получил известность благодаря своим блинчикам с креветками и летней резиденции Ван Плюшвельтов.

А Ван Плюшвельты — это сто миллионов долларов, и не диво, если их имя не сходит с уст лавочников и фотографов.

Пятнадцатого июня Ван Плюшвельты заколотили досками парадный подъезд своего городского дома, бережно посадили любимую кошку на посыпанную песком дорожку в саду, строго-настрого наказали привратнику не позволять ей объедать плющ на стенах и под рев мотора и визг шин умчались на своих сорока лошадиных силах в Фишхэмтон, где им предстояло в одиночестве — не водиться же в самом деле с разными там пастушками! — прогуливаться под сенью дерев. Если вы аккуратно подписываетесь на «Голос подхалима», то уж, конечно, не раз… Как, вы не подписываетесь? Ну тогда купите его в газетном киоске — сделайте вид, будто продавец ни о чем не догадывается. Только будьте спокойны, кто-кто, а уж он-то, конечно, догадывается! Он-то уж

вас раскусил!

Итак, значит, вы уже не раз могли видеть в «Голосе подхалима» фотографии летней резиденции Ван Плюшвельтов, так что мне нет нужды описывать ее здесь. У нас речь пойдет о молодом Хейвуде Ван Плюшвельте, шестнадцати лет от роду, наследнике уже упоминавшихся выше ста миллионов, любимце бога финансов и праправнуке Петера Ван Плюшвельта, некогда владельца славного огородика с первосортной капустой, погибшей при вторжении в предместье грозного полчища небоскребов.

Как-то после полудня молодой Ван Плюшвельт вышел из гранитных ворот «Дольче Фар Ниенте», что по-нашему будет «Сладкое безделье», а на этом побережье переводится как «самое роскошное поместье».

Хейвуд зашагал в сторону поселка. Он, что ни говори, тоже принадлежал к племени людей, а будущие миллионы уже тяжким бременем давили на его плечи. Он уже испытывал на себе зловещую власть богатства. Гувернеры уже поработали над ним всласть. Даже путь его первой игрушечной лошадки был усыпан пушистыми опилками. Он, что называется, родился в сорочке, и я бы даже сказал — в крахмальной сорочке с

брильянтовыми запонками. А я вот снова вынужден привлечь ваше внимание к его одежде и прочим принадлежностям туалета, однако надеюсь, что в дальнейшем вы найдете этому оправдание.

Юный баловень фортуны был одет в изящный синий шевиотовый костюм, на голове у него была изящная белая соломенная шляпа, на ногах — изящные светло-коричневые летние ботинки, рубашка на нем была из прославленного голландского полотна с узким, изящно завязанным галстуком, и в руке он держал изящную бамбуковую тросточку.

На дороге, ведущей от поселка (тут сроду не росло ни единого дерева, и обзор хорош), появился «Чумазый» Додсон — пятнадцати с половиной лет, самый отпетый мальчишка в Фишхэмтоне. На нем был рваный красный свитер, видавшая виды кепка для гольфа, стоптанные башмаки и «расхожие» брюки. Грязь, размазанная по его потному от неустанной беготни лицу, оставила на нем широкие темные полосы. В руке у Чумазого была зажата бейсбольная бита, а вздувшийся карман штанов выдавал присутствие в нем бейсбольного мяча. Хейвуд остановился и поздоровался.

— Идете играть в бейсбол? — спросил он.

Чумазый обратил к нему свои голубые глаза и веснушки и бесцеремонно оглядел его с ног до головы.

— Я? — с убийственной кротостью переспросил он. — Ясное дело, нет. Слепой ты, что ли, не видишь — на мне водолазный костюм. Думаю взлететь на подводном воздушном шаре и ловить бабочек китобойным гарпуном.

— Прошу прощенья, — с ледяной оскорбительной вежливостью, как и подобало представителю его касты, сказал Хейвуд. — Я по ошибке принял вас за джентльмена. Следовало бы мне знать, с кем имею дело.

— Откуда ж тебе знать, когда нет у нас с тобой никаких дел, — с сокрушительной логикой умозаключил Чумазый.

— По вашей внешности, — сказал Хейвуд. — Ни один джентльмен не позволит себе ходить грязным, оборванным да еще лгать.

Чумазый запыхтел — оглушительно, как паровоз, когда он спускает пары, — поплевал на ладонь, покрепче ухватил свою биту и вдарил ею разок по близстоящей ограде.

— Слышь ты, кутеночек, — сказал он, — я ж тебя знаю. Ты из той шикарной летней отдыхалки для

городских слюнтяев. Я видал, как ты выползал из ворот. Кому ты здесь думаешь задурить мозги своим богатством? Вырядился и давай нос задирать? Кисейная барышня! Ха-ха!

— Оборванец! — сказал Хейвуд.

Чумазый выломал из ограды слегу и водрузил себе на плечо.

— А ну, попробуй отыми! — произнес он с вызовом.

— Стану я об вас руки пачкать, — отвечал аристократ.

— Струсил! — лаконично констатировал Чумазый. — У вас, городских, известно, кишка тонка. Я тебя одной левой причешу.

— Не имею ни малейшего желания с вами связываться, — сказал Хейвуд. — Я вполне вежливо задал вам вопрос, а вы ответили мне как… как нецивилизованный варвар.

— Это кто такой? — спросил Чумазый.

— Это весьма неприятный, дурно воспитанный субъект, которого следует поставить на место. Иногда ему случается играть в бейсбол.

— А я могу объяснить тебе, что такое слюнтяй, — сказал Чумазый. — Это такая ручная обезьяна, которую мамаша обряжает в штанишки и пускает на лужок собирать ромашки.

— Если вы позволяете себе касаться в разговоре членов моей семьи, будьте любезны не задевать дам, — сказал Хейвуд, смутно припоминая какую-то статью кодекса фамильной чести.

— Ха! Ха! Скажет тоже — дам! — не унимался грубиян. — Знаем мы этих дам! Всем известно, чем эти городские богачки занимаются. Пьют коктейли, похабничают и устраивают вечеринки с гориллами. В газетах писали.

Тут Хейвуд понял: чему быть — того не миновать. Он снял пиджак, аккуратно свернул его и положил на траву за обочиной дороги. Поверх пиджака он положил шляпу и принялся развязывать свой темно-голубой шелковый галстук.

— Почему же вы не кликнете свою горничную мамзель? — насмешливо спросил Чумазый. — Что это вы собираетесь делать? Ложиться бай-бай?

— Я собираюсь оставить вам кое-что на память, — отвечал наш герой. Он больше не колебался, хотя понимал, что противник стоит на много ступенек ниже его на социальной лестнице. Но он тут же припомнил, что его отец однажды избил тростью извозчика, и газеты посвятили этому событию два столбца на первой полосе. А «Голос подхалима» напечатал специальную ста-

тью под заголовком «Классный классовый урок класса — классу» и сопроводил ее фотографиями загородной резиденции Ван Плюшвельтов в Фишхэмтоне.

— Оставить мне? Эти обноски? — с подозрением спросил Чумазый. — Да на кой они мне… Э, да ты никак драться хочешь? Ой напугал! Да я такого маменькиного сыночка пальцем тронуть побоюсь. Еще в тюрягу угодишь. Ой, жалко мне тебя, накрахмаленный!

Чумазый с интересом и недоумением смотрел, как его противник готовится к поединку. Его собственные доспехи всегда были в полном боевом порядке. Смачный плевок на ладонь его грозной правой был равносилен команде: «Шпаги наголо!»

Ненавистный патриций, аккуратно засучив рукава рубашки, шагнул вперед. Чумазый ждал, стоя в непринужденной позе, уверенно полагая, что дальше дело пойдет по всем правилам фишхэмтоновского дуэльного кодекса, а он предписывал, чтобы любому поединку предшествовал обмен плевками, оскорбительными прозвищами, насмешками, издевками и бранью, сила и красочность которых должны неуклонно возрастать. После неизменного «От такого слышу!»

полагалось сбить кулаком оружие с плеча противника или ступить ногой за сакраментальную черту, прочерченную носком ботинка, с возгласом: «Посмей только!» За этим следовали легкие тумаки, которые тоже понемногу набирали силу, до тех пор пока кровь не закипала в жилах, после чего кулаки начинали уже молотить во всю мощь.

Но Хейвуду фишхэмтоновские правила ведения боя были неведомы.

С легкой горделивой улыбкой — ведь как-никак noblesse oblige[233] — он шагнул к Чумазому и произнес:

— Идете играть в бейсбол?

Чумазый сразу смекнул, что, вторично задавая этот вопрос, ему вроде как предлагают принести извинение, для чего он должен дать как можно более вразумительный и учтивый ответ.

— Ну, слушай еще раз, — сказал он. — Я иду на речку покататься на коньках. Ты что, не видишь — вон стоит мой автомобиль с китайскими фонариками на колесах, ждет меня.

Хейвуд кинулся на него и сбил с ног.

Чумазый воспринял это как незаслуженную

---

[233] Примечания: 233
Положение обязывает (*франц.*).

обиду. Так грубо лишить его обязательной прелюдии взаимных поношений и перебранки было столь же несправедливо, как бросить закованного в латы рыцаря с копьем наперевес прямо на смертоносную пику противника, не дав ему сначала погарцевать по арене под звуки труб. Чумазый поднялся с земли и ударил на врага, разом пустив в ход кулаки, ноги и голову.

Схватка проходила в один раунд продолжительностью час десять минут, постепенно приобретая характер развернутых военных действий или кровной мести. Наставники Хейвуда преподали ему в свое время кое-какие приемы бокса и борьбы, но он быстро отбросил все эти премудрости, отдав предпочтение более примитивным способам ведения боя, унаследованным от пещерных Ван Плюшвельтов.

Так, оказавшись в один из моментов схватки верхом на орущем и брыкающемся Чумазом, он не замедлил использовать свое преимущество, начав полными пригоршнями запихивать землю и песок в глаза, рот и уши противника. Чумазый же, как только ему удалось половчее ухватить Хейвуда за ногу и подмять под себя, тотчас вцепился ему в волосы и давай колотить затылком о земную твердь. Не следует, конечно, думать, что

сражение велось совсем без передышки. Были периоды, когда один из противников сидел на другом, придавив его к земле, и оба, пыхтя и сопя, как тюлени, старались выплюнуть побольше песка и наиболее неудобную крупную гальку, не переставая страшно таращить друг на друга глаза, дабы сломить дух противника и его волю к победе.

Наконец, выражаясь языком ринга, соперники выдохлись. Оторвавшись друг от друга, они на мгновение скрылись из глаз в облаках пыли, которую каждый старался вытряхнуть из своей одежды и волос. Немного отдышавшись, Хейвуд подошел к Чумазому вплотную и спросил:

— Идешь играть в бейсбол?

Чумазый задумчиво поглядел на небо, потом на свою биту, валявшуюся на земле, и на оттопыренный мячом карман.

— Понятное дело, — небрежно обронил он. — «Желтые куртки» против «Лонгайлендцев». Я же капитан «Лонгайлендцев».

— Насчет «оборванца» — это я, конечно, зря, — сказал Хейвуд. — Но все-таки ты здорово грязен, признаться.

— Понятное дело, — снова согласился Чумазый. — Как выйду пошляться — ну и все. Я, знаешь,

тоже думаю, что эти нью-йоркские газеты все врут насчет пьющих дамочек, которые обедают за одним столом с обезьянами. Такое же вранье, как все прочее, что они печатают, — будто есть такие люди, что едят с серебряных тарелочек и держат собачек по сто долларов за штуку.

— Ясно, вранье, — сказал Хейвуд. — А ты кем играешь в своей команде?

— Подающим. А сам-то ты играешь в бейсбол?

— Ни разу не пробовал, — сказал Хейвуд. — У меня совсем нет знакомых ребят — никого, кроме кузенов.

— Хочешь попробовать? У нас будут тренировочные игры перед состязанием. Приходи, ладно? Я поставлю тебя на левый угол, и ты живо научишься ловить.

— Вот было бы здорово! Мне всегда хотелось научиться играть в бейсбол, — сказал Хейвуд.

Все нью-йоркские горничные и все члены семей угольных магнатов Запада, тяготеющие к светским кругам, и по сей день помнят, какую сенсацию произвело газетное сообщение о том, что молодой мультимиллионер Хейвуд Ван Плюшвельт играет в бейсбол с деревенскими парнями Фишхэмтона. Наступает золотой век демократии, вопили газеты. Репортеры и фотографы навод-

нили остров. Портрет Хейвуда Ван Плюшвельта с мячом и битой в руках занимал половину газетной полосы. «Голос подхалима» выпустил специальный номер со статьями: «Бить битой или не бить?» и «Лучше мячом, чем мечом!», в которых вышеупомянутое событие рассматривалось с различных историко-социологических точек зрения. Номер был богато иллюстрирован фотографиями интерьеров загородной резиденции Ван Плюшвельтов. Педагоги, духовные лица и социологи единодушно заявили, что сообщение об этом событии прозвучало как трубный глас, возвещающий наступление всеобщего братства.

Как-то раз после полудня я отдыхал в тени деревьев за околицей Фишхэмтона в почтенном обществе одного молодого лысого социолога с мировым именем. Замечу, кстати, что все социологи более или менее лысы и все в возрасте тридцати двух лет. Проверьте и убедитесь.

Социолог ссылался на случай с молодым Ван Плюшвельтом, как на яркий пример «духовного роста» молодого поколения, и находил в нем оправдание своего собственного существования.

Прямо перед нашим взором расстилалось деревенское бейсбольное поле. Вскоре на него с шумом высыпала фишхэмтоновская спортивная

команда и распределилась по своим местам на ромбе.

— Вон, смотрите! — сказал социолог, указывая на поле. — Вон молодой Ван Плюшвельт!

Я приподнялся на локте (еще готовый совосторгаться вместе с какой-нибудь наивной читательницей газет) и посмотрел в указанном направлении.

Молодой Ван Плюшвельт сидел на траве. На нем был рваный красный свитер, видавшая виды кепка для гольфа, стоптанные башмаки и «расхожие» брюки. Грязь, размазанная по его потному от неустанной беготни лицу, оставила на нем широкие темные полосы.

— Вот он! — повторил социолог с таким почтительным восторгом, что разозлил меня до крайности.

А на скамейке с важным видом восседал новоиспеченный дружок молодого миллионера.

Он был одет в изящный синий шевиотовый костюм, на голове у него была изящная белая соломенная шляпа, на ногах — изящные светло-коричневые летние ботинки, рубашка на нем была из прославленного голландского полотна с узким, изящно завязанным галстуком, и в руке он держал изящную бамбуковую тросточку.

Я громко, невоспитанно расхохотался.

— Ну, теперь вам остается только открыть клинику для лечения пороков Порочного Круга, — сказал я социологу. — Может быть, я сошел с ума, но мне уже начинает казаться, что ничто больше не движется вперед, а только кружится и кружится и кружится, как карусель.

— Что вы, собственно, имеете в виду? — спросил этот сторонник прогресса.

— Как что! Да вы гляньте на Чумазого — видите, что этот пижон с ним сотворил?

— Вы как были болваном, так им и остались, — сказал мой приятель-социолог, встал и зашагал прочь.

Вождь краснокожих

Перевод Н. Дарузес.

Дельце как будто подвертывалось выгодное. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу. Мы были тогда с Биллом Дрисколлом на Юге, в штате Алабама. Там нас и осенила блестящая идея насчет похищения. Должно быть, как говаривал потом Билл, «нашло временное помрачение ума», — только мы-то об этом догадались много позже.

Есть там один городишко, плоский, как блин, и, конечно, называется «Вершины». Живет в нем самая безобидная и всем довольная деревенщина, какой впору только плясать вокруг майского шеста.

У нас с Биллом было в то время долларов шестьсот объединенного капитала, а требовалось нам еще ровно две тысячи на проведение жульнической спекуляции земельными участками в Западном Иллинойсе. Мы поговорили об этом, сидя на крыльце гостиницы. Чадолюбие, говорили мы, сильно развито в полудеревенских общинах; а поэтому, а также и по другим причинам план похищения легче будет осуществить здесь, чем

в радиусе действия газет, которые поднимают в таких случаях шум, рассылая во все стороны переодетых корреспондентов. Мы знали, что городишко не может послать за нами в погоню ничего страшнее констеблей, да каких-нибудь сентиментальных ищеек, да двух-трех обличительных заметок в «Еженедельном бюджете фермера». Как будто получалось недурно.

Мы выбрали нашей жертвой единственного сына самого видного из горожан, по имени Эбенезер Дорсет. Папаша был человек почтенный и прижимистый, любитель просроченных закладных, честный и неподкупный церковный сборщик. Сынок был мальчишка лет десяти, с выпуклыми веснушками по всему лицу и волосами приблизительно такого цвета, как обложка журнала, который покупаешь обычно в киоске, спеша на поезд. Мы с Биллом рассчитывали, что Эбенезер сразу выложит нам за сынка две тысячи долларов, никак не меньше. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу.

Милях в двух от города есть невысокая гора, поросшая густым кедровником. В заднем склоне этой горы имеется пещера. Там мы сложили провизию.

Однажды вечером, после захода солнца, мы

проехались в шарабане мимо дома старика Дорсета. Мальчишка был на улице и швырял камнями в котенка, сидевшего на заборе.

— Эй, мальчик! — говорит Билл. — Хочешь получить пакетик леденцов и прокатиться?

Мальчишка засветил Биллу в самый глаз обломком кирпича.

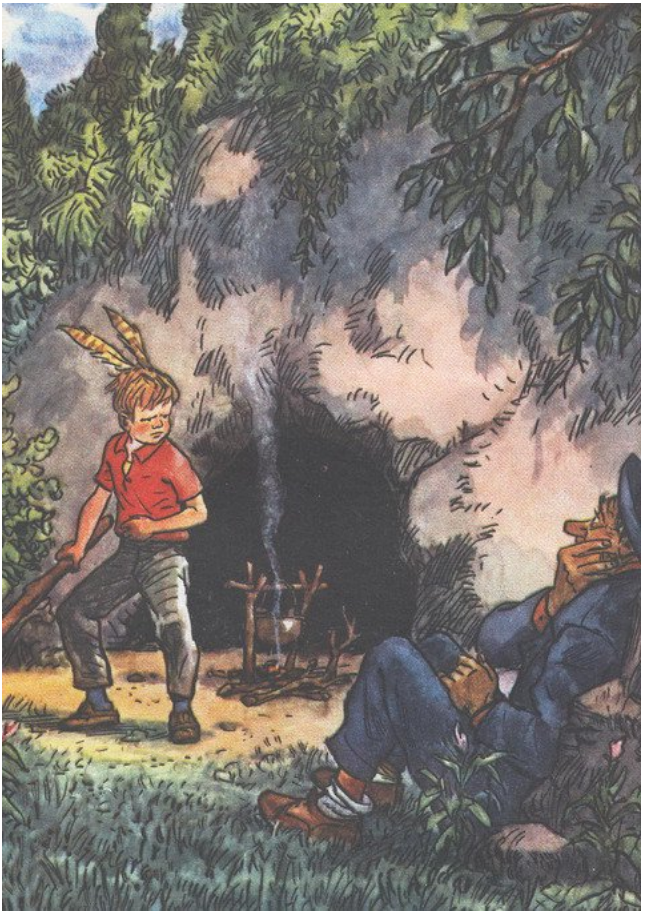
— Это обойдется старику в лишних пятьсот долларов, — сказал Билл, перелезая через колесо.

Мальчишка этот дрался, как бурый медведь среднего веса, но в конце концов мы его запихали на дно шарабана и поехали. Мы отвели мальчишку в пещеру, а лошадь я привязал в кедровнике. Когда стемнело, я отвез шарабан в деревушку, где мы его нанимали, милях в трех от нас, а оттуда прогулялся к горе пешком.

Смотрю, Билл заклеивает липким пластырем царапины и ссадины на своей физиономии. Позади большой скалы у входа в пещеру горит костер, и мальчишка с двумя ястребиными перьями в рыжих волосах следит за кипящим кофейником. Подхожу я, а он нацелился в меня палкой и говорит:

— А, проклятый бледнолицый, как ты смеешь являться в лагерь Вождя Краснокожих, грозы равнин?

— Сейчас он еще ничего, — говорит Билл, закатывая штаны, чтобы разглядеть ссадины на голенях. — Мы играем в индейцев. Цирк по сравнению с нами — просто виды Палестины в волшебном фонаре. Я старый охотник Хенк, пленник Вождя Краснокожих, и на рассвете с меня снимут скальп. Святые мученики! И здоров же лягаться этот мальчишка!



Да, сэр, мальчишка, видимо, веселился вовсю. Жить в пещере ему понравилось, он и думать забыл, что он сам пленник. Меня он тут же окрестил Змеиным Глазом и Соглядатаем и объявил, что, когда его храбрые воины вернутся из похода, я буду изжарен на костре, как только взойдет солнце.

Потом мы сели ужинать, и мальчишка, набив рот хлебом с грудинкой, начал болтать. Он произнес застольную речь в таком роде:

— Мне тут здорово нравится. Я никогда еще не жил в лесу; зато у меня был один раз ручной опоссум, а в прошлый день рождения мне исполнилось девять лет. Терпеть не могу ходить в школу. Крысы сожрали шестнадцать штук яиц из-под рябой курицы тетки Джимми Талбота. А настоящие индейцы тут в лесу есть? Я хочу еще подливки. Ветер отчего дует? Оттого, что деревья качаются? У нас было пять штук щенят. Хенк, отчего у тебя нос такой красный? У моего отца денег видимо-невидимо. А звезды горячие? В субботу я два раз отлупил Эда Уокера. Не люблю девчонок! Жабу не очень-то поймаешь, разве только на веревочку. Быки ревут или нет? Почему апельсины круглые? А кровати у вас в пещере есть? Амос Меррей — шестипалый. Попугай умеет

говорить, а обезьяна и рыба нет. Дюжина — это сколько будет?

Каждые пять минут мальчишка вспоминал, что он краснокожий, и, схватив палку, которую он называл ружьем, крался на цыпочках ко входу в пещеру выслеживать лазутчиков ненавистных бледнолицых. Время от времени он испускал военный клич, от которого бросало в дрожь старого охотника Хенка. Билла этот мальчишка запугал с самого начала.

— Вождь Краснокожих, — говорю я ему, — а домой тебе разве не хочется?

— А ну их, чего я там не видал? — говорит он. — Дома ничего нет интересного. В школу ходить я не люблю. Мне нравится жить в лесу. Ты ведь не отведешь меня домой, Змеиный Глаз?

— Пока не собираюсь, — говорю я. — Мы еще поживем тут в пещере.

— Ну ладно, — говорит он. — Вот здорово! Мне никогда в жизни не было так весело.

Мы легли спать часов в одиннадцать. Расстелили на землю шерстяные и стеганые одеяла, посередине уложили Вождя Краснокожих, а сами легли с краю. Что он сбежит, мы не боялись. Часа три он, не давая нам спать, все вскакивал, хватал свое ружье; при каждом треске сучка и шорохе

листьев его юному воображению чудилось, будто к пещере подкрадывается шайка разбойников, и он верещал на ухо то мне, то Биллу: «Тише, приятель!» Под конец я заснул тревожным сном и во сне видел, будто меня похитил и приковал к дереву свирепый пират с рыжими волосами.

На рассвете меня разбудил страшный визг Билла. Не крики, или вопли, или вой, или рев, какого можно было бы ожидать от голосовых связок мужчины, — нет, прямо-таки неприличный, ужасающий, унизительный визг, каким визжат женщины, увидев привидение или гусеницу. Ужасно слышать, как на утренней заре в пещере визжит без умолку толстый, сильный, отчаянной храбрости мужчина.

Я вскочил с постели посмотреть, что такое делается. Вождь Краснокожих сидел на груди Билла, вцепившись одной рукой ему в волосы. В другой руке он держал острый ножик, которым мы обыкновенно резали грудинку, и самым деловитым и недвусмысленным образом пытался снять с Билла скальп, выполняя приговор, который вынес ему вчера вечером.

Я отнял у мальчишки ножик и опять уложил его спать. Но с этой самой минуты дух Билла был сломлен. Он улегся на своем краю постели,

однако больше уже не сомкнул глаз за все то время, что мальчик был с нами. Я было задремал ненадолго, но к восходу солнца вдруг вспомнил, что Вождь Краснокожих обещался сжечь меня на костре, как только взойдет солнце. Не то чтобы я нервничал или боялся, а все-таки сел, закурил трубку и прислонился к скале.

— Чего ты поднялся в такую рань, Сэм? — спросил меня Билл.

— Я? — говорю. — Что-то плечо ломит. Думаю, может, легче станет, если посидеть немного.

— Врешь ты, — говорит Билл. — Ты боишься. Тебя он хотел сжечь на рассвете, и ты боишься, что он так и сделает. И сжег бы, если б нашел спички. Ведь это просто ужас, Сэм. Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет платить деньги за то, чтобы такой дьяволенок вернулся домой?

— Думаю, — говорю я. — Вот как раз таких-то хулиганов и обожают родители. А теперь вы с Вождем Краснокожих вставайте и готовьте завтрак, а я поднимусь на гору и произведу разведку.

Я взошел на вершину маленькой горы и обвел взглядом окрестности. В направлении города я ожидал увидеть дюжих фермеров, с косами и вилами рыскающих в поисках подлых похити-

телей. А вместо того я увидел мирный пейзаж, и оживлял его единственный человек, пахавший на сером муле. Никто не бродил с баграми вдоль реки; всадники не скакали взад и вперед и не сообщали безутешным родителям, что пока еще ничего не известно. Сонным спокойствием лесов веяло от той части Алабамы, которая простиралась перед моими глазами.

— Может быть, — сказал я самому себе, — еще не обнаружено, что волки унесли ягненочка из загона. Помоги, Боже, волкам! — И я спустился с горы завтракать.

Подхожу ближе к пещере и вижу, что Билл стоит, прижавшись к стенке, и едва дышит, а мальчишка собирается его трахнуть камнем чуть ли не с кокосовый орех величиной.

— Он сунул мне за шиворот с пылу горячую картошку, — объяснил Билл, — и раздавил ее ногой, а я ему надрал уши. Ружье с тобой, Сэм?

Я отнял у мальчишки камень и кое-как уладил это недоразумение.

— Я тебе покажу! — говорит мальчишка Биллу. — Еще не один человек не ударил Вождя Краснокожих, не поплатившись за это. Так что ты берегись!

После завтрака мальчишка достает из кармана

кусок кожи, обмотанный бечевкой, и идет из пещеры, разматывая бечевку на ходу.

— Что это он теперь затеял? — тревожно спрашивает Билл. — Как ты думаешь, Сэм, он не убежит домой?

— Не бойся, — говорю я. — Он, кажется, вовсе не такой уж домосед. Однако нам нужно придумать какой-то план насчет выкупа. Не видно, чтобы в городе особенно беспокоились из-за того, что он пропал, а может быть, еще не пронюхали насчет похищения. Родные, может, думают, что он остался ночевать у тети Джейн или у кого-нибудь из соседей. Во всяком случае, сегодня его должны хватиться. К вечеру мы пошлем его отцу письмо и потребуем две тысячи долларов выкупа.

И тут мы услышали что-то вроде военного клича, какой, должно быть, испустил Давид, когда нокаутировал чемпиона Голиафа. Оказывается, Вождь Краснокожих вытащил из кармана пращу и теперь крутил ее над головой.

Я увернулся и услышал глухой тяжелый стук и что-то похожее на вздох лошади, когда с нее снимают седло. Черный камень величиной с яйцо стукнул Билла по голове как раз позади левого уха. Он сразу весь обмяк и упал головою в костер, прямо на кастрюлю с кипятком для мытья

посуды. Я вытащил его из огня и целых полчаса поливал холодной водой.

Понемножку Билл пришел в себя, сел, пощупал за ухом и говорит:

— Сэм, знаешь, кто у меня любимый герой в Библии?

— Ты погоди, — говорю я. — Мало-помалу придешь в чувство.

— Царь Ирод, — говорит он. — Ты ведь не уйдешь, Сэм, не оставишь меня одного?

Я вышел из пещеры, поймал мальчишку и начал так его трясти, что веснушки застучали друг о друга.

— Если ты не будешь вести себя как следует, — говорю я, — я тебя сию минуту отправлю домой. Ну, будешь ты слушаться или нет?

— Я ведь только пошутил, — сказал он, надувшись. — Я не хотел обижать старика Хенка. А он зачем меня ударил? Я буду слушаться, Змеиный Глаз, только ты не отправляй меня домой и позволь мне сегодня играть в разведчиков.

— Я этой игры не знаю, — сказал я. — Это уж вы решайте с мистером Биллом. Сегодня он будет с тобой играть. Я сейчас ухожу ненадолго по делу. Теперь ступай помирись с ним да попроси прощения за то, что ты его ушиб, а не то сейчас же

отправишься домой.

Я заставил их пожать друг другу руки, потом отвел Билла в сторонку и сказал ему, что ухожу в деревушку Поплар-Ков, в трех милях от пещеры, и попробую узнать, как смотрят в городе на похищение младенца. Кроме того, я думаю, что будет лучше в этот же день послать угрожающее письмо старику Дорсету с требованием выкупа и наказом, как именно следует его уплатить.

— Ты знаешь, Сэм, — говорит Билл, — я всегда был готов за тебя в огонь и воду, не моргнул глазом во время землетрясения, игры в покер, динамитных взрывов, полицейских облав, нападений на поезда и циклонов. Я никогда ничего не боялся, пока мы не украли эту двуногую ракету. Он меня доконал. Ты ведь не оставишь меня с ним надолго, Сэм?

— Я вернусь к вечеру, что-нибудь около этого, — говорю я. — Твое дело занимать и успокаивать ребенка, пока я не вернусь. А сейчас мы с тобой напишем письмо старику Дорсету.

Мы с Биллом взяли бумагу и карандаш и стали сочинять письмо, а Вождь Краснокожих тем временем расхаживал взад и вперед, закутавшись в одеяло и охраняя вход в пещеру. Билл со слезами просил меня назначить выкуп в полторы тысячи

долларов вместо двух.

— Я вовсе не пытаюсь унизить прославленную, с моральной точки зрения, родительскую любовь, но ведь мы имеем дело с людьми, а какой же человек нашел бы в себе силы заплатить две тысячи долларов за эту веснушчатую дикую кошку! Я согласен рискнуть: пускай будет полторы тысячи долларов. Разницу можешь отнести на мой счет.

Чтобы утешить Билла, я согласился, и мы с ним вместе состряпали такое письмо:

«Эбенезеру Дорсету, эсквайру.

Мы спрятали вашего мальчика в надежном месте, далеко от города. Не только вы, но даже самые ловкие сыщики напрасно будут его искать. Окончательные, единственные условия, на которых вы можете получить его обратно, следующие: мы требуем за его возвращение полторы тысячи долларов; деньги должны быть оставлены сегодня в полночь на том же месте и в той же коробочке, что и ваш ответ, — где именно, будет сказано ниже. Если вы согласны на эти условия, пришлите ответ в письменном виде с

кем-нибудь одним к половине девятого. За бродом через Совиный ручей по дороге к Тополевой роще растут три больших дерева на расстоянии ста ярдов одно от другого, у самой изгороди, что идет мимо пшеничного поля, с правой стороны. Под столбом этой изгороди, напротив третьего дерева, ваш посланный найдет небольшую картонную коробку.

Он должен положить ответ в эту коробку и немедленно вернуться в город.

Если вы попытаетесь выдать нас или не выполнить наших требований, как сказано, вы никогда больше не увидите вашего сына.

Если вы уплатите деньги, как сказано, он будет вам возвращен целым и невредимым в течение трех часов. Эти условия окончательны, и, если вы на них не согласитесь, всякие дальнейшие сообщения будут прерваны.

Два злодея».

Я надписал адрес Дорсета и положил письмо в карман. Когда я уже собрался в путь, мальчишка подходит ко мне и говорит:

— Змеиный Глаз, ты сказал, что мне можно играть в разведчика, пока тебя не будет.

— Играй, конечно, — говорю я. — Вот мистер Билл с тобой поиграет. А что это за игра такая?

— Я разведчик, — говорит Вождь Краснокожих, — и должен скакать на заставу, предупредить поселенцев, что индейцы идут. Мне надоело самому быть индейцем. Я хочу быть разведчиком.

— Ну, ладно, — говорю я. — По-моему, вреда от этого не будет. Мистер Билл поможет тебе отразить нападение свирепых дикарей.

— А что мне надо делать? — спрашивает Билл, подозрительно глядя на мальчишку.

— Ты будешь конь, — говорит разведчик. — Становись на четвереньки. А то как же я доскачу до заставы без коня?

— Ты уж лучше займи его, — сказал я, — пока наш план не будет приведен в действие. Порезвись немножко.

Билл становится на четвереньки, и в глазах у него появляется такое выражение, как у кролика, попавшего в западню.

— Далеко ли до заставы, малыш? — спрашивает он довольно-таки хриплым голосом.

— Девяносто миль, — отвечает разведчик. — И

тебе придется поторопиться, чтобы попасть туда вовремя. Ну, пошел!

Разведчик вскакивает Биллу на спину и вонзает пятки ему в бока.

— Ради бога, — говорит Билл, — возвращайся, Сэм, как можно скорее! Жалко, что мы назначили такой выкуп, надо бы не больше тысячи. Слушай, ты перестань меня лягать, а не то я вскочу и огрею тебя как следует!

Я отправился в Поплар-Ков, заглянул на почту и в лавку, посидел там, поговорил с фермерами, которые приходили за покупками. Один бородач слышал, будто бы весь город переполошился из-за того, что у Эбенезера Дорсета пропал или украден мальчишка. Это-то мне и нужно было знать. Я купил табаку, справился мимоходом, почем нынче горох, незаметно опустил письмо в ящик и ушел. Почтмейстер сказал мне, что через час проедет мимо почтальон и заберет городскую почту.

Когда я вернулся в пещеру, ни Билла, ни мальчишки нигде не было видно. Я произвел разведку в окрестностях пещеры, отважился раза два аукнуть, но мне никто не ответил. Я закурил трубку и уселся на моховую кочку ожидать дальнейших событий.

Приблизительно через полчаса в кустах за-

шелестело, и Билл выкатился на полянку перед пещерой. За ним крался мальчишка, ступая бесшумно, как разведчик, и ухмыляясь во всю ширь своей физиономии. Билл остановился, снял шляпу и вытер лицо красным платком. Мальчишка остановился футах в восьми позади него.

— Сэм, — говорит Билл, — пожалуй, ты сочтешь меня предателем, но я просто не мог терпеть. Я взрослый человек, способен к самозащите, и привычки у меня мужественные, однако бывают случаи, когда все идет прахом — и самомнение и самообладание. Мальчик ушел. Я отослал его домой. Все кончено. Бывали мученики в старое время, которые скорее были готовы принять смерть, чем расстаться с любимой профессией. Но никто из них не подвергался таким сверхъестественным пыткам, как я. Мне хотелось остаться верным нашему грабительскому уставу, но сил не хватило.

— Что такое случилось, Билл? — спрашиваю я.

— Я проскакал все девяносто миль до заставы, ни дюймом меньше, — отвечает Билл. — Потом, когда поселенцы были спасены, мне дали овса. Песок — неважная замена овсу. А потом я битый час должен был объяснять, почему в дырках ничего нету, зачем дорога идет в обе стороны

и отчего трава зеленая. Говорю тебе, Сэм, есть предел человеческому терпению. Хватаю мальчишку за шиворот и тащу с горы вниз. По дороге он меня лягает, все ноги от колен книзу у меня в синяках; два-три укуса в руку и в большой палец мне придется прижечь. Зато он ушел, — продолжает Билл, — ушел домой. Я показал ему дорогу в город, да еще и подшвырнул его пинком футов на восемь вперед. Жалко, что выкуп мы теряем, ну, да ведь либо это, либо мне отправляться в сумасшедший дом.

Билл пыхтит и отдувается, но его ярко-розовая физиономия выражает неизъяснимый мир и полное довольство.

— Билл, — говорю я, — у вас в семье ведь нет сердечных болезней?

— Нет, — говорит Билл, — ничего такого хронического, кроме малярии и несчастных случаев. А что?

— Тогда можешь обернуться, — говорю я, — и поглядеть, что у тебя за спиной.

Билл оборачивается, видит мальчишку, разом бледнеет, плюхается на землю и начинает бессмысленно хвататься за траву и мелкие щепочки. Целый час я опасался за его рассудок. После этого я сказал ему, что, по-моему, надо кончать это

дело моментально и что мы успеем получить выкуп и смыться еще до полуночи, если старик Дорсет согласится на наше предложение. Так что Билл немного подбодрился, настолько даже, что через силу улыбнулся мальчишке и пообещал ему изображать русских в войне с японцами, как только ему станет чуточку полегче.

Я придумал, как получить выкуп без всякого риска быть захваченным противной стороной, и мой план одобрил бы всякий профессиональный похититель. Дерево, под которое должны были положить ответ, а потом и деньги, стояло у самой дороги; вдоль дороги была изгородь, а за ней с обеих сторон — большие голые поля. Если бы того, кто придет за письмом, подстерегала шайка констеблей, его увидели бы издалека на дороге или посреди поля. Так нет же, голубчики! В половине девятого я уже сидел на этом дереве, спрятавшись не хуже древесной лягушки, и поджидал, когда появится посланный.

Ровно в назначенный час подъезжает на велосипеде мальчишка-подросток, находит картонную коробку под столбом, засовывает в нее сложенную бумажку и укатывает обратно в город.

Я подождал еще час, пока не уверился, что

подвоха тут нет. Слез с дерева, достал записку из коробки, прокрался вдоль изгороди до самого леса и через полчаса был уже в пещере. Там я вскрыл записку, подсел поближе к фонарю и прочел ее Биллу. Она была написана чернилами, очень неразборчиво, и самая суть ее заключалась в следующем:

«Двум злодеям.

Джентльмены, с сегодняшней почтой я получил ваше письмо насчет выкупа, который вы просите за то, чтобы вернуть мне сына. Думаю, что вы запрашиваете лишнее, а потому делаю вам со своей стороны контрпредложение и полагаю, что вы его примете. Вы приводите Джонни домой и платите мне двести пятьдесят долларов наличными, а я соглашаюсь взять его у вас с рук долой. Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что он пропал без вести, и я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Джонни домой.

С совершенным почтением

Эбенезер Дорсет».

— Великие пираты! — говорю я. — Да ведь эта-

кой наглости…

Но тут я взглянул на Билла и замолчал. У него в глазах я заметил такое умоляющее выражение, какого не видел прежде ни у бессловесных, ни у говорящих животных.

— Сэм, — говорит он, — что такое двести пятьдесят долларов в конце концов? Деньги у нас есть. Еще одна ночь с этим мальчишкой, и придется меня свезти в сумасшедший дом. Кроме того, что мистер Дорсет настоящий джентльмен, он, по-моему, еще и расточитель, если делает нам такое великодушное предложение. Ведь ты не собираешься упускать такой случай, а?

— Сказать тебе по правде, Билл, — говорю я, — это сокровище что-то и мне действует на нервы! Мы отвезем его домой, заплатим выкуп и смоемся куда-нибудь подальше.

В ту же ночь мы отвезли мальчишку домой. Мы его уговорили — наплели, будто бы отец купил ему винтовку с серебряной насечкой и мокасины и будто бы завтра мы с ним поедем охотиться на медведя.

Было ровно двенадцать часов ночи, когда мы постучались в парадную дверь Эбенезера. Как раз в ту самую минуту, когда я должен был извлекать полторы тысячи долларов из коробки под дере-

вом, Билл отсчитывал двести пятьдесят долларов в руку Дорсету.

Как только мальчишка обнаружил, что мы собираемся оставить его дома, он поднял вой не хуже пароходной сирены и вцепился в ногу Билла, словно пиявка. Отец отдирал его от ноги, как липкий пластырь.

— Сколько времени вы сможете его держать? — спрашивает Билл.

— Силы у меня уже не те, что прежде, — говорит старик Дорсет, — но думаю, что за десять минут могу вам ручаться.

— Этого довольно, — говорит Билл. — В десять минут я пересеку Центральные, Южные и Среднезападные штаты и свободно успею добежать до канадской границы.

Хотя ночь была очень темная, Билл очень толст, а я умел очень быстро бегать, я нагнал его только в полутора милях от города.

Брачный месяц май

Перевод под ред. В. Азова.

Читатель, прошу вас, засмейтесь поэту в глаза, когда он примется воспевать вам месяц Май. Это — месяц, которым управляют духи зла и безумия. В этом месяце феи и кобольды появляются в зеленеющих лесах, а Пэк и его легкокрылая свита делают свое дело в городе и деревне.

В Мае природа грозит нам пальцем, чтобы напомнить, что мы не боги какие-нибудь, а всего лишь чрезмерно самонадеянные члены ее большой семьи. Она дает нам понять, что мы — братья осла и карася, обреченного сковородке, прямые потомки шимпанзе и всего лишь троюродные братья воркующих голубей, крякающих уток и служанок и полисменов в парке.

В Мае амур стреляет с завязанными глазами; миллионеры женятся на стенографистках; мудрые профессора ухаживают за девицами в белых передниках, жующими резинку за стопкой с горячими закусками; школьные надзирательницы оставляют после уроков в классе скверных больших мальчиков; пылкие отроки с лестницами

осторожно пробираются по зеленой лужайке туда, где, томясь за заросшим плющом окном, поджидает их Джульетта, вооруженная подзорной трубой; молодые парочки, вышедшие на прогулку, возвращаются домой повенчанными; старые хрычи надевают белые ботинки и фланируют возле Института для молодых девиц; даже мужья, охваченные нежностью и сентиментальностью, хлопают своих супруг по спине и ворчат: «Ну, как дела, старуха?»

Этот месяц Май — не божество, а Цирцея, наряжающаяся на бал, устраиваемый в честь первого выезда в свет Лета, и сбивает всех нас с панталыку.

Старый мистер Кульсон вздохнул и выпрямился в своем кресле. Он был обладателем злой подагры в одной ноге, дома близ Грэмерси-парка, полумиллиона долларов и дочери. Кроме того, у него была экономка, миссис Виддан.

Когда Май толкнул мистера Кульсона в бок, он стал старшим братом горлицы. Окно, у которого он сидел, было заставлено горшками с гиацинтами, геранью и анютиными глазками. Легкий ветерок гнал их аромат в комнату. Немедленно началось состязание между дыханием цветов и здоровым и энергичным запахом мази от подаг-

ры. Мазь, правда, легко одержала верх, но все же цветы успели ударить мистера Кульсона в нос. Губительная работа неумолимого, вероломного кудесника Мая была сделана.

Из парка до слизистых оболочек носа мистера Кульсона доносились и другие оригинальные, характерные, неповторимые весенние запахи, авторское право на которые приобретено исключительно Нью-Йорком: запах раскаленного асфальта, грязных подвалов, газолина, пачули, апельсинной корки, испарений канализационных колодцев, египетских папирос, извести и пересохшей газетной краски. Воздух, врывавшийся в комнату, был свеж и тепел. На улице весело чирикали воробьи.

Никогда не доверяйтесь Маю!

Мистер Кульсон закрутил кончики своих седых усов, проклял свою ногу и позвонил в звонок, стоявший у него на столе.

В комнату вошла миссис Виддан, благообразная, сорокалетняя, светловолосая, пронырливая и красная.

— Гиггинс вышел, сэр, — сказала она с вибрационно-массажной улыбкой, — он пошел отправить письмо. Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезной, сэр?

— Мне пора принять мой аконит, — сказал старый мистер Кульсон. — Накапайте мне, пожалуйста. Вот бутылка. Три капли. На воде. Черт бы побрал этого Гиггинса! Никто во всем доме и внимания не обратит, если я умру в этом кресле от недостатка присмотра.

Миссис Виддан глубоко вздохнула.

— Не говорите так, сэр, — сказала она. — В вашем доме есть такие люди, которые стали бы горевать гораздо больше, чем кто-нибудь предполагает. Тринадцать капель вы сказали, сэр?

— Три, — сказал старый Кульсон.

Он принял лекарство и принял еще в свои руки — руку миссис Виддан. Она вспыхнула. (Да, да! Это каждый может сделать. Попробуйте: задержите дыхание и надавите на диафрагму.)

— Миссис Виддан, — сказал мистер Кульсон. — Весна в полном цвету.

— Совершенно верно, — произнесла миссис Виддан. — Воздух совсем теплый. И на каждом углу объявление: «Мартовское пиво». А парк весь желтый, розовый и голубой от цветов. И у меня так стреляет в ногах и во всем теле.

— Весной, — сказал мистер Кульсон, покручивая свои усы, — ай-ай… Да! Весной человеческое воображение легко обращается в сторону любви.

— Честное слово, сэр! — воскликнула миссис Виддан. — Это верно. Кажется, будто что-то носится в воздухе.

— Весною, — продолжал мистер Кульсон, — на улицах продают ароматные, покрытые живой росой ирисы.

— Они очень вкусны с чаем, эти ирисы, — вздохнула миссис Виддан.

— Миссис Виддан, — сказал мистер Кульсон, и лицо его передернулось от боли в ноге, — без вас этот дом был бы одинок. Я ста… да… я пожилой человек, но у меня есть изрядный капитал. Если полмиллиона долларов в государственных облигациях и искреннее влечение сердца, которое, правда, уже не бьется первым пылом молодости, но все же полно неподдельного…

Громкий стук опрокинутого стула у дверей смежной комнаты прервал горячую речь почтенной и наивной жертвы Мая.

В комнату вступила мисс Ван-Микер Констанция Кульсон — костлявая, высокая, мрачная, холодная, высокомерная, благовоспитанная, тридцатипятилетняя. Она поднесла к глазам лорнет. Миссис Виддан поспешно нагнулась и стала поправлять повязки на больной ноге мистера Кульсона.

— Я думала, здесь Гиггинс, — сказала мисс Ван-Микер Констанция.

— Гиггинс вышел, — объяснил ей отец, — и миссис Виддан пришла на звонок. Теперь мне лучше, миссис Виддан. Благодарю вас. Нет, больше мне ничего не нужно.

Экономка ретировалась, пунцовая, под холодным, пытливым взглядом мисс Кульсон.

— Прекрасная, весенняя погода! Правда, дочка? — сказал старик, виляя мысленным хвостом.

— Совершенно верно, — мрачно ответила мисс Ван-Микер Констанция Кульсон. — Когда миссис Виддан уедет в отпуск?

— Кажется, она говорила, через неделю, — ответил мистер Кульсон.

Мисс Ван-Микер Констанция с минуту постояла у окна, выходившего в маленький сад, залитый ласкающим светом заходящего солнца. Холодным взором ботаника она созерцала цветы — наиболее могучее оружие коварного Мая. Своим неприступным девственным сердцем она стойко отразила атаку кроткой весны. Веселые солнечные стрелы испуганно отскакивали от нее, замороженные прикосновением холодной брони, сковывавшей ее неволнующуюся грудь. Аромат цветов не в силах был пробудить ни

проблеска чувства в неизведанных глубинах ее спящего сердца. Чириканье воробьев раздражало ее. Она смеялась над Маем.

Но, несмотря на то что мисс Кульсон была сама непроницаема для весны, она была достаточно умна, чтобы знать ее силу. Она знала, что пожилые мужчины и толстые женщины скачут, как дрессированные блохи, в потешной свите Мая, веселого пересмешника среди месяцев. Она слыхала о сумасбродных пожилых джентльменах, женившихся на своих экономках. Какое, право, это унизительное чувство — эта так называемая любовь.

На следующее утро, в восемь часов, когда пришел человек из ледяного склада с обычной порцией льда, кухарка сказала ему, что мисс Кульсон хочет поговорить с ним и ожидает его внизу.

— Можно, — сказал самодовольно поставщик льда. — Я ведь не кто-нибудь. Фирма Олькот и Депью.

Из снисхождения он опустил свои засученные рукава, положил свой крюк для льда на крышку ледника и пошел вниз. Когда мисс Ван-Микер Констанция Кульсон заговорила с ним, он снял шляпу.

— В этот подвал есть черный ход, — сказала мисс Кульсон. — До него можно добраться через калитку, ведущую на соседний участок, где производятся земляные работы для новой постройки. Я хочу, чтобы в течение двух часов вы привезли и свалили туда тысячу фунтов льда. Можете себе взять в помощь одного или двух человек. Я покажу вам, куда мы поместим лед. В течение четырех дней, начиная с сегодняшнего дня, доставляйте мне сюда ежедневно по тысяче фунтов. Ваша фирма может поставить стоимость этого льда в наш регулярный месячный счет. А это вам за труды.

Мисс Кульсон протянула ему бумажку в десять долларов.

Поставщик льда поклонился, держа свою шляпу обеими руками за спиной.

— Разрешите откланяться, леди. Я с большим удовольствием сделаю для вас все по вашему желанию.

Несчастный Май!

В полдень мистер Кульсон сбросил со стола два стакана, сломал пружину своего звонка и начал благим матом звать Гиггинса.

— Принесите топор, — приказал он ему, сардонически улыбаясь. — Или пошлите за четвертью

галлона синильной кислоты, или позовите сюда полисмена, чтобы он застрелил меня на месте. Все лучше, чем замерзнуть, сидя в этом кресле.

— Да, как будто становится все холоднее, сэр, — сказал Гиггинс. — Раньше я не замечал этого. Я закрою окно, сэр.

— Закройте, — сказал мистер Кульсон. — И это люди называют весной! Это весна? Если так будет продолжаться дальше, я возвращусь во Флориду. Весь дом напоминает какой-то морг.

Немного спустя вошла мисс Кульсон и заботливо осведомилась о состоянии больной ноги отца.

— Станци, — спросил старик, — как сегодня на улице?

— Ясно, — ответила мисс Кульсон, — но прохладно.

— По-моему, просто опять наступила зима, — сказал мистер Кульсон.

— Вот когда уместно выражение поэта: «Зима, запутавшаяся в складках одежды весны», хотя эта метафора далеко не из приличных, — проговорила Констанция, рассеянно глядя в окно.

Немного спустя она вышла в боковую калитку и пошла в западном направлении, к Бродвею, за покупками.

А через несколько минут в комнату больного

вошла миссис Виддан.

— Вы звонили, сэр? — спросила она, причем щеки ее покрылись ямочками. — Я попросила Гиггинса сходить в аптеку, и мне показалось, что я слышала звонок.

— Я не звонил, — сказал мистер Кульсон.

— Я боюсь, — сказала миссис Виддан, — что прервала вас вчера, когда вы хотели мне что-то сказать.

— Скажите, миссис Виддан, — грозно спросил старик Кульсон, — почему в доме у меня такой невероятный холод?

— Холод, сэр? — удивленно произнесла экономка. — Впрочем, совершенно верно. Теперь, когда вы сказали это, я и сама почувствовала, что здесь как будто холодно. А на дворе тепло и хорошо, как в июне. В такую погоду, сэр, сердце готово выпрыгнуть из английской кофточки. Весь плющ на доме уже распустился. Кругом играют шарманки, и дети танцуют на тротуаре. Сейчас как раз время высказать все, что у меня на сердце. Вы вчера сказали, сэр…

— Женщина! — зарычал мистер Кульсон. — Вы с ума сошли! Я плачу вам за то, чтобы вы смотрели за порядком в этом доме. В своей собственной комнате я замерзаю насмерть, а вы являетесь и

начинаете мне нести какую-то чушь про плющ и шарманки. Дайте мне сейчас же пальто! Пусть в нижнем этаже закроют все двери и окна. Старое, толстое существо, не знающее своих прямых обязанностей, посреди лютой зимы болтает о весне и цветах! Когда Гиггинс вернется, скажите ему, чтобы он принес мне горячего пуншу. А теперь убирайтесь.

Но кто в силах посрамить веселый Май?

Хотя он и большой плут, хотя он и смущает порой здравомыслящих людей, все же никакие хитрости мудрых дев и никакие холодильники не заставят его склонить свою голову в веселом хороводе месяцев.

Да, да. Наша история еще не кончена.

Ночь миновала, и утром Гиггинс усадил старого мистера Кульсона у окна. Вчерашнего холода в комнате как не бывало.

В окно врывалось небесное благоуханье и чудное весеннее тепло.

В комнату вбежала миссис Виддан и остановилась у кресла больного. Мистер Кульсон протянул свою костлявую руку и взял пухлую руку экономки.

— Миссис Виддан, — сказал он, — этот дом не будет настоящим домом без вас. У меня пол-

миллиона долларов. Если эта сумма и истинная привязанность сердца, которое, правда, принадлежит не пылкому юноше, но все же еще не знает холода, могут…

— Я знаю, откуда шел этот холод, — сказала миссис Виддан, склонившись над его креслом. — Это был лед, целые тонны льда! Он был в подвале и в кочегарке, повсюду. Я закрыла отдушины, через которые холод проникал в вашу комнату, мистер Кульсон, бедный вы мой. И теперь опять наступил Май.

— …искреннего сердца, — несколько сбивчиво продолжал мистер Кульсон, — которое вновь возродила весна, но… но… что скажет моя дочь, миссис Виддан?

— Об этом не беспокойтесь, сэр, — весело сказала миссис Виддан. — Мисс Кульсон сбежала этой ночью с нашим поставщиком льда, сэр.

Формальная ошибка

Перевод И. Гуровой.

Я всегда недолюбливал вендетты. По-моему, этот продукт нашей страны переоценивают еще более, чем грейпфрут, коктейль и свадебные путешествия. Однако, с вашего разрешения, я хотел бы рассказать об одной вендетте на индейской территории, вендетте, в которой я играл роль репортера, адъютанта и несоучастника.

Я гостил на ранчо Сэма Дорки и развлекался вовсю: падал с ненаманикюренных лошадей и грозил кулаком волкам, когда они были за две мили. Сэм, закаленный субъект лет двадцати пяти, пользовался репутацией человека, который спокойно возвращается домой в темноте, хотя нередко он проделывал это с большой неохотой.

Неподалеку, в Крик-Нейшн, проживало семейство Тэтемов. Мне сообщили, что Дорки и Тэтемы вендеттируют много лет. По нескольку человек с каждой стороны уже ткнулось носом в траву, и ожидалось, что число Навуходоносоров[234] этим

[234] Примечания: 234

По библейской легенде, вавилонский царь «отлучен был от людей, ел траву, как вол».

не ограничится. Подрастало молодое поколение, и трава росла вместе с ним. Но, насколько я понял, война велась честно и никто не залегал в кукурузном поле, целясь в скрещение подтяжек на спине врага, — отчасти, возможно, потому, что там не было кукурузных полей и никто не носил более одной подтяжки; также не полагалось причинять вреда детям и женщинам враждебного рода. В те дни, как, впрочем, и теперь, их женщинам не грозила опасность.

У Сэма Дорки была девушка (если бы я собирался продать этот рассказ в дамский журнал, я написал бы: «Мистер Дорки имел счастье быть помолвленным»). Ее звали Элла Бэйнс. Казалось, они питали друг к другу безграничную любовь и доверие; впрочем, это впечатление производят любые помолвленные, даже такие, между которыми нет ни любви, ни доверия. Мисс Бэйнс была недурна, особенно ее красили густые каштановые волосы. Сэм представил ей меня, но это никак не отразилось на ее расположении к нему, из чего я заключил, что они поистине созданы друг для друга.

Мисс Бэйнс жила в Кингфишере, в двадцати милях от ранчо. Сэм жил в седле между ранчо и Кингфишером.

Однажды в Кингфишере появился бойкий молодой человек, невысокого роста, с правильными чертами лица и гладкой кожей. Он настойчиво наводил справки о городских делах и поименно о горожанах. Он говорил, что приехал из Маскоги, и, судя по его желтым ботинкам и вязаному галстуку, это было правдой. Я познакомился с ним, когда приехал за почтой. Он назвался Беверли Трэйверзом, что прозвучало как-то неубедительно.

На ранчо в то время была горячая пора, и Сэм не мог часто ездить в город. Мне, бесполезному гостю, ничего не смыслившему в хозяйстве, выпала обязанность доставлять на ранчо всякие мелочи, как-то: открытки, бочки с мукой, дрожжи, табак и — письма от Эллы.

И вот раз, будучи послан за полугроссом пачек курительной бумаги и двумя фургонными шинами, я увидел пролетку с желтыми колесами, а в ней вышепоименованного Беверли Трэйверза, нагло катающего Эллу Бэйнс по городу со всем шиком, какой допускала черная липкая грязь на улицах. Я знал, что сообщение об этом факте не прольется целительным бальзамом в душу Сэма, и по возвращении, отчитываясь в городских новостях, воздержался от упоминания о нем. Но на следующий день на ранчо прискакал долговя-

зый экс-ковбой по имени Симмонс, старинный приятель Сэма, владелец фуражного склада в Кингфишере. Прежде чем заговорить, он свернул и выкурил немало папирос. Когда же он, наконец, раскрыл рот, слова его были таковы:

— Имей в виду, Сэм, что в Кингфишере последние две недели портил пейзаж один болван, обзывавший себя Выверни Трензель. Знаешь, кто он? Самый что ни на есть Бен Тэтем, сын старика Гофера Тэтема, которого твой дядя Ньют застрелил в феврале. Знаешь, что он сделал сегодня утром? Убил твоего брата Лестера — застрелил его во дворе суда.

Мне показалось, что Сэм не расслышал. Он отломил веточку с мескитового куста, задумчиво пожевал ее и сказал:

— Да? Убил Лестера?

— Его самого, — ответил Симмонс. — И мало того — он убежал с твоей девушкой, этой самой, так сказать, мисс Эллой Бэйнс. Я подумал, что тебе надо бы узнать об этом, вот и приехал сообщить.

— Весьма обязан, Джим, — сказал Сэм, вынимая изо рта изжеванную веточку. — Я рад, что ты приехал. Очень рад.

— Ну, я, пожалуй, поеду. У меня на складе остался только мальчишка, а этот дуралей сено с овсом

путает. Он выстрелил Лестеру в спину.

— Выстрелил в спину?

— Да, когда он привязывал лошадь.

— Весьма обязан, Джим.

— Я подумал, что ты, может быть, захочешь узнать об этом поскорее.

— Выпей кофе на дорогу, Джим?

— Да нет, пожалуй. Мне пора на склад.

— И ты говоришь…

— Да, Сэм. Все видели, как они уехали вместе, а к тележке был привязан большой узел, вроде как с одеждой. А в упряжке — пара, которую он привел из Маскоги. Их сразу не догнать.

— А по какой…

— Я как раз собирался сказать тебе. Поехали они по дороге на Гатри, а куда свернут, сам понимаешь, неизвестно.

— Ладно, Джим, весьма обязан.

— Не за что, Сэм.

Симмонс свернул папиросу и пришпорил лошадь. Отъехав ярдов на двадцать, он задержался и крикнул:

— Тебе не нужно… содействия, так сказать?

— Спасибо, обойдусь.

— Я так и думал. Ну, будь здоров.

Сэм вытащил карманный нож с костяной

ручкой, открыл его и счистил с левого сапога присохшую грязь. Я было подумал, что он собирается поклясться на лезвии в вечной мести или продекламировать «Проклятие цыганки». Те немногие вендетты, которые мне довелось видеть или о которых я читал, начинались именно так. Эта как будто велась на новый манер. В театре публика наверняка освистала бы ее и потребовала бы взамен душераздирающую мелодраму Беласко.

— Интересно, — вдумчиво сказал Сэм, — остались ли на кухне холодные бобы!

Он позвал Уоша, повара-негра, и, узнав, что бобы остались, приказал разогреть их и сварить крепкого кофе. Потом мы пошли в комнату Сэма, где он спал и держал оружие, собак и седла любимых лошадей. Он вынул из книжного шкафа три или четыре кольта и начал осматривать их, рассеянно насвистывая «Жалобу ковбоя». Затем он приказал оседлать и привязать у дома двух лучших лошадей ранчо.

Я замечал, что по всей нашей стране вендетты в одном отношении неуклонно подчиняются строгому этикету. В присутствии заинтересованного лица о вендетте не говорят и даже не произносят самого слова. Это так же предосудительно, как упоминание о бородавке на носу богатой тетуш-

ки. Позднее я обнаружил, что существует еще одно неписаное правило, но, насколько я понимаю, оно действует исключительно на Западе.

До ужина оставалось еще два часа, однако уже через двадцать минут мы с Сэмом глубоко погрузились в разогретые бобы, горячий кофе и холодную говядину.

— Перед большим перегоном надо закусить получше, — сказал Сэм. — Ешь плотнее.

У меня возникло неожиданное подозрение.

— Почему ты велел оседлать двух лошадей? — спросил я.

— Один да один — два, — сказал Сэм. — Ты что, считать не умеешь?

От его математических выкладок у меня по спине пробежала холодная дрожь, но они послужили мне уроком. Ему и в голову не пришло, что мне может прийти в голову бросить его одного на багряной дороге мести и правосудия. Это была высшая математика. Я был обречен и положил себе еще бобов.

Час спустя мы ровным галопом неслись на восток. Наши кентуккийские лошади недаром набирались сил на мескитной траве Запада. Лошади Бена Тэтема были, возможно, быстрее, и он намного опередил нас, но если бы он услы-

шал ритмический стук копыт наших скакунов, рожденных в самом сердце страны вендетт, он почувствовал бы, что возмездие приближается по следам его резвых коней.

Я знал, что Бен Тэтем делает ставку на бегство и не остановится до тех пор, пока не окажется в сравнительной безопасности среди своих друзей и приверженцев. Он, без сомнения, понимал, что его враг будет следовать за ним повсюду и до конца.

Пока мы ехали, Сэм говорил о погоде, о ценах на мясо и о пианолах. Казалось, у него никогда не было ни брата, ни возлюбленной, ни врага. Есть темы, для которых не найти слов даже в самом полном словаре. Я знал требования кодекса вендетт, но, не имея опыта, несколько перегнул палку и рассказал пару забавных анекдотов. Там, где следовало, Сэм смеялся — смеялся ртом. Увидев его рот, я пожалел, что у меня не хватило чувства юмора воздержаться от этих анекдотов.

Мы догнали их в Гатри. Измученные, голодные, пропыленные насквозь, мы ввалились в маленькую гостиницу и уселись за столик. В дальнем углу комнаты сидели беглецы. Они жадно ели и по временам боязливо оглядывались.

На девушке было коричневое шелковое платье

с кружевным воротничком и манжетами и с плиссированной — так, кажется, они называются — юбкой. Ее лицо наполовину закрывала густая коричневая вуаль, на голове была соломенная шляпа с широкими полями, украшенная перьями. Мужчина был одет в простой темный костюм, волосы его были коротко подстрижены. В толпе его внешность не привлекла бы внимания.

За одним столом сидели они — убийца и женщина, которую он похитил, за другим — мы: законный (согласно обычаю) мститель и сверхштатный свидетель, пишущий эти строки.

И тут в сердце сверхштатного проснулась жажда крови. На мгновение он присоединился к сражающимся — во всяком случае, на словах.

— Чего ты ждешь, Сэм? — прошептал я. — Стреляй!

Сэм тоскливо вздохнул.

— Ты не понимаешь, — сказал он. — А он понимает. Он-то знает. В здешних местах, Мистер из Города, у порядочных людей есть правило: в присутствии женщины в мужчину не стреляют. Я ни разу не слышал, чтобы его нарушили. Так не делают. Его надо поймать, когда он в мужской компании или один. Вот оно как. Он это тоже знает. Мы все знаем. Так вот, значит, каков этот

красавчик, мистер Бен Тэтем! Я его заарканю прежде, чем они отсюда уедут, и закрою ему счет.

После ужина парочка быстро исчезла. Хотя Сэм до рассвета бродил по лестницам, буфету и коридорам, беглецам каким-то таинственным образом удалось ускользнуть, и на следующее утро не было ни дамы под вуалью, в коричневом платье с плиссированной юбкой, ни худощавого невысокого молодого человека с коротко подстриженными волосами, ни тележки с резвыми лошадьми.

История этой погони слишком монотонна, и я буду краток. Мы снова нагнали их еще в пути. Когда мы приблизились к тележке на пятьдесят ярдов, беглецы оглянулись и даже не хлестнули лошадей. Торопиться им больше было незачем. Бен Тэтем знал. Знал, что теперь спасти его может только кодекс. Без сомнения, будь Бен один, дело быстро закончилось бы обычным путем. Но присутствие его спутницы не позволило ни тому ни другому спустить курок. Судя по всему, Бен не был трусом.

Таким образом, как вы видите, женщина иногда мешает столкновению между мужчинами, а не вызывает его. Но не сознательно и не по

доброй воле. Кодексов для нее не существует.

Через пять миль мы добрались до Чендлера, одного из грядущих городов Запада. Лошади и преследователей и преследуемых были голодны и измучены. Только одна гостиница грозила людям и манила скотину — мы все четверо встретились в столовой по зову громадного колокола, чей гудящий звон давно уже расколол небесный свод. Комната была меньше, чем в Гатри.

Когда мы принялись за яблочный пирог, — как переплетаются бурлеск и трагедия! — я заметил, что Сэм разглядывает пару в углу напротив. На девушке было то же коричневое платье с кружевным воротничком и манжетами; вуаль по-прежнему закрывала ее лицо. Мужчина низко склонил над тарелкой коротко остриженную голову.

Я услышал, как Сэм пробормотал не то мне, не то самому себе:

— Есть правило, что нельзя убивать мужчину в присутствии женщины. Но нигде, черт побери, не сказано, что нельзя убить женщину в присутствии мужчины!

И, прежде чем я успел понять, к чему ведет это рассуждение, он выхватил кольт и всадил все шесть пуль в коричневое платье с кружевным

воротничком и манжетами и с плиссированной юбкой.

За столом девушка в мужском костюме уронила на скрещенные руки голову, лишенную, как и самая ее жизнь, былой своей красы и гордости. А сбежавшиеся люди поднимали с пола труп Бена Тэтема в женском платье, которое дало возможность Сэму формально соблюсти требования кодекса.

Так живут люди

Перевод Зин. Львовского.

Редкая молодая парочка в Великом Городе Блеффа[235] начинала свою супружескую жизнь с большими данными для счастья, чем мистер и миссис Клод Терпин. Во-первых, они не чувствовали особенной враждебности друг к другу; затем, они комфортабельно устроились в красивом доме с отдельными квартирами, снабженными всеми удобствами спального вагона; они жили так же широко, как супружеская чета этажом выше, у которой доход был вдвое больше, чем у них; свадьба их состоялась на пари, на пароме, и по первому знакомству, что вызвало ряд сенсационных газетных заметок, причем имена их стояли под портретами… румынской королевы и Сантос-Дюмона.

Доход Терпина равнялся двумстам долларам в месяц. В день получки, уплатив за квартиру, частично за мебель, рояль и газ и уплатив еще цветочнице, кондитеру, модистке, портному,

---

[235] Примечания: 235
Так О. Генри нередко величает Нью-Йорк.

виноторговцу и «Компании Кебов», Терпины оставляли себе еще двести долларов на мелкие расходы. Как это делается, — одна из тайн столичной жизни.

На домашнюю жизнь Терпинов было так же приятно смотреть, как и на красивую картину. Но она не производила такого впечатления, как, например, олеография «Не разбуди бабушку» или «Бруклин при лунном свете». Всматриваясь в картину жизни Терпинов, вы всегда должны были мигать и слышать при этом жужжащий звук, точно от какой-то весьма нервной машины. Да, в картине семейной жизни Терпинов было мало покоя. Она была вроде «Багренья лососей на реке Колумбии» или же «Японской артиллерии в действии».

Все дни у них были совершенно одинаковы, как это всегда наблюдается в Нью-Йорке. Утром мистер Терпин пил бромо-сельтерскую воду, после чего забирал из-под часов и клал в карман мелкие деньги, надевал шляпу и, не завтракая, отправлялся в контору. В двенадцать часов дня миссис Терпин вылезала из постели, выходила из спальни и из себя, надевала кимоно на тело и важное выражение на лицо и ставила воду для кофе. Терпин завтракал в городе. Домой он возвра-

щался к шести часам вечера, чтобы переодеться к обеду. Они всегда обедали вне дома, — переходили из харчевни в дешевую столовку, из грумриля в табльдот, из винного погребка в вокзальный ресторан, из кафе в казино, от «Марии» к «Марте Вашингтон». Так вообще строится семейная жизнь в большом городе. Вместо винограда у горожан омела, а на смоковнице у них растут финики. Домашние боги их Меркурий и Джон Говард Пэн. Вместо свадебного марша им играют «О, приди с невестой-цыганкой». Они редко обедают два раза подряд в одном месте. Надоедает меню, а кроме того, хочется на время забыть о серебряной сахарнице, случайно взятой на память.

Итак, Терпины были счастливы. У них каждый день появлялось много горячих и очаровательных друзей, причем кое-кого из этих новых знакомых они помнили еще на следующий день. Согласно законам и правилам книги Блеффа, их семейная жизнь была идеальной.

Но вот наступил день, когда Терпину вдруг показалось, что его жена тратит слишком много денег. Если человек принадлежит к обществу, близкому к аристократическим кругам Нью-Йорка, — если доход его составляет двести долларов в месяц, — и если в конце месяца, просмотрев

счета текущих расходов, он находит, что лично он истратил сто пятьдесят долларов, то ему, естественно, захочется узнать: куда же девались остальные пятьдесят долларов? Он станет подозревать жену и, пожалуй, намекнет ей, что кое-что нуждается в разъяснении.

— Послушай, Вивьен, — сказал Терпин как-то днем, когда супруги в восторженном молчании наслаждались миром и спокойствием своей уютной квартирки, — ты сделала в моем бюджете за этот месяц такую брешь, что в нее пролезет здоровенная собака. Ты платила в этом месяце по счету портнихе?

Наступило минутное молчание. Не было слышно никакого звука, кроме дыхания фокстерьера и мягкого монотонного шипения, вызываемого прикосновением темно-золотистых локонов Вивьен к бесчувственным завивальным щипцам. Клод Терпин, сидя на подушке, которую он предусмотрительно положил на провалы дивана, внимательно следил за смеющимся, хорошеньким личиком жены.

— Клод, дорогой мой! — сказала она, прикладывая палец к рубиновому языку и затем пробуя им безответные щипцы. — Ты страшно несправедлив ко мне. Мадам Туанет не видела от меня ни

цента с тех самых пор, как ты заплатил своему портному по счету десять долларов.

Подозрения Терпина на этот раз улеглись. Но вскоре он получил анонимное письмо следующего содержания:

> «Следите за женой. Она тайно транжирит ваши деньги. Я тоже был жертвой, как вы теперь. Адрес: „№ 345 Блэнк-стрит“ может помочь вам. Имейте это в виду и т. д.
>
> ***Осведомленный».***

Терпин отнес письмо начальнику того полицейского участка, где он проживал.

— Мой участок чист, как зубы у собаки, — заявил начальник. — Крышка на нем закрыта так же плотно, как глаза девушки из Вилльямсбурга, когда на вечеринке ее целуют кавалеры. Впрочем, если вы находите что-нибудь подозрительное в этом адресе, я готов пойти туда с вами.

На следующий день, в три часа, Терпин и начальник тихо брели по лестнице дома № 345 по Блэнк-стрит. Двенадцать рослых полицейских, одетых в полную форму, чтобы не возбуждать никаких подозрений, ожидали внизу в вестибюле.

На самой верхней площадке была дверь, кото-

рая оказалась запертой, но начальник вынул из кармана ключ и отпер ее. Оба вошли.

Через минуту они оказались в большой комнате, где находилось двадцать или двадцать пять элегантно одетых женщин. На стенах этой комнаты висели расписания скачек. В одном углу тикал метроном. Приложив телефонную трубку к уху, какой-то мужчина выкрикивал позиции лошадей на происходивших в это время скачках. Находившиеся в комнате женщины взглянули на ворвавшихся, но, как бы успокоившись при виде полицейского мундира, снова перевели все внимание на человека у телефона.

— Вот видите, — сказал начальник Терпину, — чего стоит анонимное письмо! Всякий культурный и уважающий себя джентльмен не обращает теперь никакого внимания на подобную литературу. Мистер Терпин, находится ваша жена среди присутствующих?

— Ее нет здесь, — отвечал Терпин.

— А если бы она и была здесь, — продолжал полицейский, — то разве же ее могла коснуться клевета? Эти леди образуют «Общество Броунинга». Они регулярно собираются, чтобы обсуждать творения великого национального поэта. Телефон соединен с Бостоном, откуда родственное

им по духу общество зачастую передает свои толкования поэм Броунинга. Стыдитесь своих подозрений, мистер Терпин!

— Да бросьте вы защищать их! — воскликнул Терпин. — Вивьен никогда не увлекалась тотализатором и не ставит на лошадей. Здесь, должно быть, происходит что-то странное и не совсем мне понятное.

— Ничего, кроме Броунинга, — сказал начальник. — Да вот послушайте!

— Танатопсис на одну голову! — проревел человек у телефона.

— Это не из Броунинга, а из Лонгфелло! — сказал Терпин, иногда читавший книги.

— Давно сошел со сцены! — воскликнул полицейский. — Лонгфелло еще в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году побил рекорд в семь минут пятьдесят три секунды.

— А мне все-таки кажется, что в этом собрании есть что-то подозрительное, — настаивал Терпин.

— Не нахожу, — сказал начальник.

— Я понимаю, что все это действительно похоже на тотализатор, но это только ширма. Вивьен где-то много потратила денег. Мне кажется, что здесь происходит что-то скрытое.

Несколько картонных щитов с расписанием скачек, покрывая широкое пространство на стене, плотно прилегали друг к другу.

Движимый подозрением, Терпин сорвал и сбросил их на пол. Обнаружилась умело замаскированная дверь. Терпин приложил ухо к щели и стал внимательно прислушиваться. Он услышал негромкий гул многих голосов, затем тихий и осторожный смех и, наконец, резкий металлический звон, сопровождаемый царапаньем большого количества мелких, но деятельно работающих предметов.

— Боже мой! Вот чего я опасался! — прошептал Терпин. — Зовите сейчас же своих людей! — закричал он начальнику. — Она здесь, я это твердо знаю.

По звуку свистка люди в полицейской форме взбежали по лестнице наверх. Увидев такое количество женщин за тотализатором, они, удивленные и недоумевающие, остановились, не понимая, зачем их вызвали.

Но начальник указал им на запертую дверь и приказал немедленно взломать ее. В несколько минут дверь была разломана топорами, которые были при полицейских. И тотчас же в соседнюю комнату влетел Клод Терпин, за которым поспе-

шил полицейский капитан.

Сцена, которую они увидели, долго оставалась в памяти Терпина. Около двадцати богато и модно одетых женщин, среди которых было много красивых и утонченно-изящных, сидели за маленькими мраморными столиками. Когда полиция взломала двери, женщины стали кричать и метаться во все стороны, точно пестро оперенные птицы, потревоженные в какой-нибудь тропической роще.

У некоторых началась истерика; одна или две упали в обморок; некоторые, бросившись перед полицейскими на колени, молили о пощаде, ссылаясь на свое семейное и общественное положение.

Человек, сидевший за конторкой, схватил толстый, как бедра хористки из «Парадиз-Руф-Гарден», сверток ассигнаций — и выскочил в окно. Около полудюжины служителей столпились в одном конце комнаты, едва дыша от страха.

На столе стояли неопровержимые доказательства вины посетительниц этой роковой комнаты — множество блюд со сливочным мороженым, окруженных грудами других таких же блюд, но уже пустых и выскобленных дочиста.

— Леди! — обратился полицейский к своим

плачущим пленницам. — Успокойтесь, я не задержу ни одной из вас. Некоторых я узнаю: у них прекрасные дома и хорошее положение в обществе; мужья их адски работают, а дома их ждут дети. Я вас сейчас отпущу, но прежде, чем отпустить, я прочту вам маленькое наставление. В соседней комнате сейчас такие же женщины, как вы, играют на скачках и ставят свои последние деньги, но часто выигрывают и тем помогают своим мужьям. А вы, вместо того чтобы оказывать своим мужьям такую же поддержку, тратите их заработки. Ступайте домой! А это морозильное отделение при клубе имени Броунинга я закрываю, — раз и навсегда!

Жена Клода Терпина находилась среди посетительниц комнаты, в которую только что было произведено вторжение. В строгом молчании проводил он ее домой, где она расплакалась с таким раскаянием и так трогательно стала молить его о прощении, что он позабыл справедливый гнев свой, заключил раскаявшуюся золотокудрую Вивьен в свои объятия и простил ее.

— Дорогой мой, — прошептала она с едва сдерживаемым рыданьем, когда лунный свет вливался в открытое окно и окружил ореолом ее нежное, поднятое к небу личико. — Я знаю,

что поступила нехорошо. Я никогда больше не буду есть сливочное мороженое. Я позабыла, что ты не миллионер. Я ходила туда каждый день. Но сегодня у меня было такое странное, грустное предчувствие, что я ела безо всякого удовольствия и была сама не своя. Я съела всего одиннадцать порций.

— Не будем больше говорить об этом, — ответил Клод, любовно лаская ее локоны.

— А ты уверен, что совсем простил меня? — спросила Вивьен, с мольбой глядя на него влажными небесно-синими глазами.

— Почти уверен, моя крошка! — ответил Клод, наклоняясь и слегка касаясь губами ее белоснежного лба. — Видишь-ли, я буду с тобой вполне откровенен. Завтра — скачки с препятствиями для трехлеток, и я поставил на Вачиллу все мое месячное жалованье. Поэтому... поэтому... если ты так любишь мороженое, можешь его есть сколько угодно, — поняла?

Коловращение жизни

Перевод Т. Озерской.

Мировой судья Бинаджа Уиддеп сидел на крылечке суда и курил самодельную бузиновую трубку. Кэмберлендский горный кряж, голубовато-серый в вечернем мареве, тянулся к зениту, загромоздив полнеба. Рябая чванливая курица проковыляла по «главному проспекту» поселка, бессмысленно клохча.

На дороге послышался скрип колес, заклубилось облачко пыли и показалась запряженная быком двуколка, а в ней — Рэнси Билбро со своей половиной. Двуколка остановилась перед зданием суда, и супружеская чета вылезла из нее. Рэнси Билбро состоял преимущественно из дубленой коричневой кожи, увенчанной на высоте шести футов копной желтых волос. Невозмутимый покой родных молчаливых гор одевал его словно броней. В наружности его жены прежде всего бросалось в глаза большое количество ситца, много острых углов и следы нюхательного табака. Сквозь все это проглядывало беспокойство не вполне осознанных желаний и глухой протест

обманутой молодости, не замечающей, что она уже прошла.

Мировой судья сунул ноги в башмаки, из уважения к своему званию, и поднялся, чтобы пропустить супругов.

— Мы, вот, — сказала женщина, и голос ее прозвучал как гудение ветра в ветвях сосен, — хотим развестись. — Она взглянула на мужа, не усмотрел ли он какой-нибудь неясности, неточности, уклончивости, пристрастия или стремления к личной выгоде в том, как она изложила сущность дела.

— Развестись, — повторил Рэнси, подкрепляя свои слова торжественным кивком. — Мы, вот, не можем ужиться, хоть ты тресни! В горах-то у нас глушь — одиноко, стало быть, жить-то. Ну, когда муж или, к примеру, жена стараются друг для дружки — еще куда ни шло. А уж когда она шипит, как дикая кошка, или сидит нахохлившись, что твоя сова, человеку-то мочи нет жить с ней вместе.

— Да когда он бездельник и чумовой, — без особенного жара сказала женщина — Валандается с разными поганцами, с самогонщиками, а после дрыхнет день-деньской, налакавшись виски, да еще целая напасть с его собаками — корми их!

— Да когда она швыряется крышками от кастрюль, — в тон ей забубнил Рэнси, — да еще окатила кипятком лучшего охотничьего пса на весь Кэмберленд, а чтоб мужу похлебку сварить, так нет ее, а уж ночь-то всю как есть глаз сомкнуть не дает, все пилит и пилит за всякую пустяковину.

— Да когда он на податных чиновников с кулаками кидается и на все горы ославился как самый что ни на есть никудышный пропойца, — тут нешто уснешь?

Мировой судья не спеша приступил к исполнению своих обязанностей. Он предложил спорящим сторонам табурет и свой единственный стул, раскрыл свод законов и углубился в перечень статей. Потом протер очки и пододвинул к себе чернильницу.

— В законе и его уложении, — начал судья, — ничего не говорится насчет развода в смысле, так сказать, его включаемости в юрисдикцию данного суда. Но, с точки зрения справедливости, конституции и Священного Писания, всякая сделка хороша только постольку, поскольку ее можно расторгнуть. Если мировой судья может сочетать какую-либо пару узами брака, ясно, что он может, если потребуется, и развести ее. Наш суд вынесет

решение о разводе и позволит себе надеяться, что Верховный суд оставит это решение в силе.

Рэнси Билбро вытащил из кармана штанов небольшой кисет. Из кисета он вытряхнул на стол пятидолларовую бумажку.

— Продал медвежью шкуру и трех лисиц, — сказал он. — Вот все наши денежки, больше нету.

— Установленная судом плата за развод, — сказал судья, — равняется пяти долларам. — С подчеркнуто равнодушным видом он сунул бумажку в карман своего домотканого жилета. Затем с заметным физическим и умственным напряжением нацарапал на четвертушке листа постановление о разводе, переписал его на другую четвертушку и прочел вслух. Рэнси Билбро и его супруга выслушали приговор о своем полном и обоюдном раскабалении:

> «Сим доводится до всеобщего сведения, что Рэнси Билбро и его жена Эриэла Билбро, будучи в здравом уме и твердой памяти, лично предстали сегодня передо мной и дали обещание отныне и впредь не любить и не почитать друг друга и ни в чем друг другу не повиноваться, ни в радости, ни в горе, после чего и были при-

влечены к суду для расторжения брака в интересах соблюдения общественного спокойствия и достоинства Штата. От слова не отступать, и да поможет вам Бог. Бинаджа Уиддеп, мировой судья округа Пьедмонта. В округе Пьедмонте, штат Теннесси».

Судья уже протягивал одну из бумажек Рэнси, но голос Эриэлы приостановил вручение документа. Оба мужчины уставились на нее. В лице этой женщины их неповоротливый мужской ум столкнулся с чем-то непредвиденным.

— Судья, ты погоди-ка давать ему эту бумагу. Так не все ладно будет. Ты наперед защити мои права. Пусть заплатит мне пансион. Это разве дело — сам получил развод, а жена что? Живи, как знаешь? А я вот надумала отправиться к братцу Эду на Свиной хребет, так мне нужно пару башмаков купить и табаку, да еще то да се. Коли Рэнси мог заплатить разводные, так пусть и мне платит пансион.

Рэнси Билбро онемел от этого удара. Ни о каком пансионе прежде у них разговору не было. Но ведь женщины всегда преподносят мужчинам ошеломляющие сюрпризы.

Мировой судья Бинаджа Уиддеп понял, что этот вопрос может быть разрешен только в юридическом порядке. Свод законов хранил и на сей счет гробовое молчание, однако ноги женщины были босы, а тропа на Свиной хребет — крута и кремниста.

— Эриэла Билбро, — вопросил Бинаджа Уиддеп судейским голосом, — какой пенсион полагаете вы достаточным и соразмерным по делу, которое в настоящую минуту слушается в суде?

— Я полагаю, — отвечала женщина, — на башмаки и на все про все, стало быть, пять долларов. Это не бог весть какой пансион, но до братца Эда, может, и доберусь.

— Названная сумма, — сказал судья, — не представляется суду непомерной. Рэнси Билбро, по решению суда вам надлежит уплатить истице пять долларов, дабы постановление о разводе могло войти в силу.

— А где их взять-то, — с тяжелым вздохом отвечал Рэнси. — Я вам выложил все, что у меня было.

— В противном случае, — изрек судья, свирепо воззрившись на Рэнси поверх очков, — вы будете привлечены к ответственности за неуважение к суду.

— Кабы вы обождали денек, — с мольбой сказал Рэнси, — может, я бы и наскреб где. Кто ж его знал, что она потребует пансион.

— Слушание дела откладывается, — объявил судья. — Завтра вы оба должны явиться, дабы выполнить постановление суда. После чего вам будет выдано на руки свидетельство о разводе.

Бинаджа Уиддеп уселся на крыльце и начал расшнуровывать башмаки.

— Что ж, к дядюшке Зайе поедем, что ли? — сказал Рэнси. — Переночуем у него. — Он влез в двуколку, Эриэла забралась в нее с другой стороны. Маленький рыжий бычок, повинуясь удару веревочной вожжи, не торопясь описал полукруг и потащился куда следовало. Двуколка, вздымая облака пыли, затарахтела по дороге.

Судья Бинаджа Уиддеп выкурил свою бузиновую трубку. Потом достал еженедельную газету и принялся за чтение. Он читал до самых сумерек, а когда строчки стали расплываться у него перед глазами, зажег сальную свечу на столе и продолжал читать, пока не взошла луна, возвестив время ужина.

Судья жил в бревенчатой хижине на склоне холма, у сухого тополя. Направляясь домой, он перебрался через ручеек, проложивший себе путь

в лавровых зарослях. Темная фигура выступила из-за деревьев и направила ему в грудь дуло ружья. Низко надвинутая шляпа и какой-то лоскут закрывали лицо грабителя.

— Давай деньги, — сказала фигура, — да помалкивай. Я зол как черт, и палец, вишь, так и пляшет на спуске…

— П-пять долларов — все, что у меня есть, — пробормотал судья, доставая бумажку из жилетного кармана.

— Сверни ее, — последовал приказ, — и засунь в ствол ружья.

Бумажка была новенькая и хрустящая. Даже дрожащим от страха неуклюжим пальцам нетрудно было свернуть ее трубочкой и (что потребовало больших усилий!) засунуть ее в ствол ружья.

— Ну ладно, ступай теперь, — сказал грабитель.

Судья не стал мешкать.

На другой день маленький рыжий бычок приволок двуколку к крыльцу суда. Судья Бинаджа Уиддеп с утра сидел обутый, так как поджидал посетителей. В его присутствии Рэнси Билбро вручил жене пятидолларовую бумажку. Судья впился в нее взглядом. Она закручивалась с

концов, словно была не так давно свернута трубочкой и засунута в ствол ружья. Но Бинаджа Уиддеп воздержался от замечаний. Мало ли чего — никакой бумажке не заказано скручиваться. Судья вручил каждому из супругов свидетельство о расторжении брака. Они в неловком молчании стояли рядом, медленно складывая полученные ими гарантии свободы. Эриэла бросила робкий, неуверенный взгляд на мужа.

— Ты, стало быть, домой теперь, на двуколке… Хлеб в шкафу, в жестяной коробке. Сало я положила в котелок — от собак подальше. Не позабудь часы-то завести на ночь.

— А ты, значит, к братцу Эду? — с тонко разыгранным безразличием спросил Рэнси.

— Да вот до ночи надо бы добраться, Не больно-то они там обрадуются, когда меня увидят, да куда ж больше пойдешь. А путь-то туда знаешь какой. Пойду уж, стало быть… Надо бы, значит, попрощаться нам с тобой, Рэнси… да ведь ты, может, и не захочешь попрощаться-то…

— Может, я, конечно, собака, — голосом мученика проговорил Рэнси, — не захочу, видишь ты, попрощаться… Оно, конечно, когда кому невтерпеж уйти, так тому, может, и не до прощанья…

Эриэла молчала. Она тщательно сложила пяти-

долларовую бумажку и свидетельство о разводе и сунула их за пазуху. Бинаджа Уиддеп скорбным взглядом проводил исчезнувшую банкноту.

Мысли его текли своим путем, и последующие его слова показали, что он, может быть, принадлежал либо к довольно распространенной категории чутких душ, либо к значительно более редкой разновидности — к финансовым гениям.

— Одиноко тебе будет нынче в старой-то хижине, а, Рэнси? — сказала Эриэла.

Рэнси Билбро глядел в сторону, на Кэмберлендский кряж — светло-синий сейчас, в лучах солнца. Он не смотрел на Эриэлу.

— А то нет, что ли, — сказал он. — Так ведь когда кто начнет с ума сходить да кричать насчет развода, так разве ж того силком удержишь.

— Так когда ж кто другой сам хотел развода, — сказала Эриэла, адресуясь к табуретке. — Видать, кто-то не больно уж хочет, чтоб кто-то остался.

— Да когда б кто сказал, что не хочет.

— Да когда б кто сказал, что хочет. Пойду-ка я к братцу Эду. Пора уж.

— Видать, теперь никто уж не заведет наших часов.

— Может, мне поехать с тобой, Рэнси, на двуколке, завести тебе часы?

На лице горца не отразилось никаких чувств. Но он протянул огромную ручищу, и худая, коричневая от загара рука жены исчезла в ней. На мгновение жесткие черты Эриэлы просветлели, словно озаренные изнутри.

— Уж я пригляжу, чтоб собаки не донимали тебя, — сказал Рэнси. — Скотина я был, как есть скотина. Ты уж заведи часы, Эриэла.

— Сердце-то у меня там осталось, Рэнси в нашей хижине, — шепнула Эриэла. — Где ты — там и оно. И я не стану больше беситься-то. Поедем домой, Рэнси, может, еще поспеем засветло.

Забыв о присутствии судьи, они направились было к двери, но Бинаджа Уиддеп окликнул их.

— Именем штата Теннесси, — сказал он, — запрещаю вам нарушать его порядки и установления. Суду чрезвычайно отрадно и не скажу как радостно видеть, что развеялись тучи раздора и взаимонепонимания, омрачавшие союз двух любящих сердец. Тем не менее суд призван стоять на страже нравственности и моральной чистоты Штата, и он напоминает вам, что вы разведены по всем правилам и, стало быть, больше не муж и не жена и, как таковые, лишаетесь права пользоваться благами, кои составляют исключительную привилегию матримониального состояния.

Эриэла схватила мужа за руку. Что он там говорит, этот судья? Он хочет отнять у нее Рэнси теперь, когда жизнь дала им обоим хороший урок?

— Однако, — продолжал судья, — суд готов снять с вас неправомочия, налагаемые фактом бракоразвода, и может хоть сейчас приступить к совершению торжественного обряда бракосочетания, дабы все стало на свое место и тяжущиеся стороны могли повергнуть себя вновь в благородное и возвышенное матримониальное состояние. Плата за вышеозначенный обряд в вышеизложенном случае составит, короче говоря, пять долларов.

В последних словах судьи Эриэла уловила для себя проблеск надежды. Рука ее проворно скользнула за пазуху, и оттуда, выпущенной на свободу голубкой, выпорхнула пятидолларовая бумажка и, сложив крылышки, опустилась на стол судьи. Бронзовые щеки Эриэлы зарделись, когда она, стоя об руку с Рэнси, слушала слова, вновь скрепляющие их союз.

Рэнси помог ей взобраться в двуколку и сел рядом. Маленький рыжий бычок снова описал полукруг, и они — все так же рука с рукой — покатили к себе в горы.

Мировой судья Бинаджа Уиддеп уселся на крыльце и стащил с ног башмаки. Пощупал еще раз засунутую в жилетный карман пятидолларовую бумажку. Закурил свою бузиновую трубку. Рябая чванливая курица проковыляла по «главному проспекту» поселка, бессмысленно клохча.

Жертва невпопад

Перевод Н. Галь.

У редактора журнала «Домашний очаг» особая система отбора рукописей для печати. Свою теорию он не держит в секрете, напротив, охотно развивает ее перед вами, сидя за столом красного дерева, благосклонно улыбаясь и легонько постукивая себя по коленке очками в золотой оправе.

— Наш журнал не нуждается в штатных рецензентах, — говорит он. — Мы получаем отзывы о поступающих к нам рукописях непосредственно от наших читателей, принадлежащих к самым различным кругам.

Такова теория нашего редактора; а вот как он осуществляет ее на практике.

Получив очередную пачку рукописей, он рассовывает их по карманам и за день на ходу раздает. Служащие в редакции, дворник, швейцар, лифтер, мальчишки-рассыльные, официанты в кафе, где наш редактор закусывает среди дня, продавец в киоске, где он покупает вечернюю газету, бакалейщик и хозяин молочной, кондуктор надземки, которая в 5.30 утра везет его в город,

и контролер на станции Шестьдесят такой-то улицы, кухарка и горничная у него дома, — вот рецензенты, на чей суд он отдает рукописи, присланные в журнал. А если к тому времени, когда он возвращается в лоно семьи, карманы его не совсем опустели, остатки вручаются жене, чтобы прочла, когда малыш уснет. Через несколько дней редактор, совершая обычный свой путь, собирает рукописи и знакомится с приговором своих разномастных рецензентов.

Этот способ отбора материала оказался весьма успешным, и число подписчиков, судя по притоку объявлений, растет с неслыханной быстротой.

Издательство «Домашний очаг» выпускает также и книги, и его марка стоит на нескольких произведениях, пользующихся большим успехом, причем все они, по словам редактора, были одобрены армией добровольных рецензентов. Бывали, правда, случаи (если верить иным разговорчивым служащим), когда издательство, доверясь мнению этих разношерстных рецензентов, упускало рукописи, — а потом они выходили в других издательствах и имели шумный успех.

Так, например (уверяют сплетники), роман «Взлет и падение Сайласа Лэтама» не был одобрен лифтером; рассыльные единодушно отвергли

«Хозяина»; кондуктор трамвая пренебрежительно отозвался о «Карете епископа»; «Избавление» забраковал служащий отдела подписки, в доме которого на ближайшие два месяца поселилась его теща; дворник, возвращая «Причуды королевы», сказал: «Ну и учудил!»

И однако «Домашний очаг» остается верен своей теории и своей системе, и у него никогда не будет недостатка в добровольных рецензентах; ибо все они, от юной стенографистки в редакции до истопника в подвале (его неодобрительный отзыв лишил издательство «Домашний очаг» рукописи «Ада кромешного»), надеются рано или поздно занять пост главного редактора.

Порядки «Домашнего очага» были хорошо известны Аллену Слейтону, когда он писал свою повесть «Любовь превыше всего». Слейтон постоянно околачивался в редакциях всех журналов, сколько их было в Нью-Йорке, и досконально изучил их внутреннюю механику.

Он знал не только о том, что редактор «Домашнего очага» раздает рукописи на отзыв самым разным людям, — он знал также, что чувствительно-романтические истории попадают в руки стенографистки мисс Пафкин. У редактора был еще один своеобразный прием: он неизменно

скрывал от рецензентов имена авторов, чтобы какое-нибудь громкое имя не помешало беспристрастно оценить рукопись.

Повесть «Любовь превыше всего» была любимым детищем Слейтона. Полгода он трудился над нею, вложил в нее лучшие силы ума и сердца. Вся она, от первого до последнего слова, была посвящена любви — чистой, возвышенной, романтической, пылкой, поистине поэма в прозе, которая превозносила божественный дар любви (цитирую по рукописи) превыше всех земных благ и почестей и отводила ей место среди прекраснейших наград, какие могут ниспослать человеку небеса. Авторское тщеславие Слейтона не знало границ. Он готов был пожертвовать всем на свете, лишь бы прославиться на избранном поприще. Кажется, он дал бы отрубить себе правую руку или отдался бы во власть коллекционера аппендиксов, лишь бы сбылась его заветная мечта: увидеть хоть одно свое детище напечатанным на страницах «Домашнего очага».

Слейтон закончил повесть «Любовь превыше всего» и самолично отнес ее в «Домашний очаг». Редакция журнала помещалась, в числе многих других контор и учреждений, в большом доме, где высшая власть находилась в самом низу, в

руках дворника.

Едва Слейтон переступил порог и направился к лифту, через вестибюль пролетела мясорубка, сбила с писателя шляпу и угодила в стеклянную дверь, так что брызнули осколки. Вслед за этим предметом кухонной утвари вылетел дворник — нескладный и неприглядный увалень, встрепанный, без подтяжек, перепуганный и запыхавшийся. Далее за метательным снарядом последовала неряшливая толстуха с развевающимися волосами. Дворник поскользнулся на кафельном полу и с воплем отчаяния рухнул. Женщина набросилась на него и вцепилась ему в волосы. Он истошно взвыл.

Отведя немного душу, разъяренная фурия выпрямилась и, торжествуя, точно Минерва, прошествовала куда-то в таинственные недра семейного гнездышка. Дворник, пыхтя от перенесенной встряски и унижения, поднялся на ноги.

— Вот вам и женатая жизнь, — с горькой усмешкой сказал он Слейтону. — А я когда-то ночей не спал, все про нее думал. Не взыщите, сэр, шляпе вашей досталось. Вы уж не рассказывайте тут никому, ладно? Неохота мне место терять.

Слейтон прошагал к лифту и поднялся в редакцию «Домашнего очага». Он отдал рукопись

редактору, и тот обещал через неделю ответить, пригодна ли «Любовь превыше всего» к печати.

Спускаясь в лифте, Слейтон составил план военных действий. То было мгновенное озарение, и он не мог не возгордиться тем, что у него родилась такая гениальная мысль. В тот же вечер он приступил к исполнению своего грандиозного плана.

Мисс Пафкин, стенографистка журнала «Домашний очаг», жила в тех же меблированных комнатах, что и наш писатель. Это была сухопарая, замкнутая, вялая и сентиментальная стареющая дева; незадолго перед тем Слейтона с нею познакомили.

Вот в чем заключался дерзкий и самоотверженный замысел писателя: он знал, что редактор «Домашнего очага» всецело полагается на суждение мисс Пафкин о рукописях на темы чувствительно-романтические. Ее вкус в точности соответствовал вкусам великого множества самых заурядных женщин, которые жадно поглощают романы и рассказы такого сорта. Смысл и суть повести Слейтона составляла любовь с первого взгляда — упоительное, неодолимое, потрясающее чувство, которое заставляет мужчину или женщину узнать избранницу или избран-

ника мгновенно, едва сердце отзовется сердцу. Что, если он сам попробует внушить мисс Пафкин эту божественную истину? Уж наверно она, проникшись новыми для нее восхитительными ощущениями, горячо порекомендует редактору напечатать повесть «Любовь превыше всего».

Так думал Слейтон. И в тот же вечер повел мисс Пафкин в театр. На другой вечер в полутемной гостиной меблированных комнат он пылко объяснился ей в любви Он так и сыпал цитатами из своей повести, и под конец голова мисс Пафкин склонилась ему на плечо, у него же в голове носились видения писательских лавров.

Но Слейтон не ограничился объяснениями в любви. Это решающая минута в его жизни, сказал он себе; и, как истинный спортсмен, «всем пожертвовал ради победы». В четверг они с мисс Пафкин обвенчались.

Отважный Слейтон! Шатобриан кончил свои дни на чердаке, Байрон ухаживал за вдовой, Китс умер с голоду, Эдгар По слишком много пил, Де Квинси курил опиум. Эйд поселился в Чикаго, Джеймс гнул свою линию, Диккенс носил белые носки, а Мопассан смирительную рубашку, Том Уотсон стал популистом, пророк Иеремия плакал, — и всё это ради литературы, но ты пре-

взошел их всех: дабы пробиться на Олимп, ты взял себе жену!

В пятницу утром миссис Слейтон собралась в редакцию: ей надо возвратить рукописи, которые редактор дал ей на отзыв, сказала она, и отказаться от места стенографистки.

— Есть там… э-э… среди рассказов, которые ты возвращаешь… что-нибудь такое, что тебе особенно понравилось? — с бьющимся сердцем спросил Слейтон.

— Да, одна повесть… она мне очень по душе, — отвечала жена. — Я уже сколько лет ничего подобного не читала, это так мило и правдиво, просто сама жизнь.

Среди дня Слейтон помчался в редакцию «Домашнего очага». Он чувствовал, что желанная награда уже у него в руках. Если его повесть напечатают в «Домашнем очаге», назавтра его ждет слава.

У барьера в приемной его остановил рассыльный. Неудачливым авторам весьма редко доводится беседовать с самим главным редактором.

Втайне ликуя, Слейтон лелеял в душе сладостную надежду: сейчас его блестящий успех сокрушит этого мальчишку!

Он осведомился о своей повести. Рассыльный

вошел в святилище и вынес оттуда большой пухлый конверт, словно набитый тысячью чеков.

— Хозяин велел сказать, что сожалеет, а только для нашего журнала ваша рукопись неподходящая.

Слейтон был ошеломлен.

— Скажите, — заикаясь вымолвил он, — что, мисс Паф… то есть моя… мисс Пафкин… вернула сегодня повесть, которую ей давали читать?

— А как же, — отвечал всезнающий рассыльный. — Я сам слыхал, старик сказал, мисс Пафкин говорит, повесть первый сорт. Называется «Богатый жених, или Торжество скромной труженицы»… Послушайте, — доверительно продолжал рассыльный, — вас звать Слейтон, верно? Похоже, я тут вам ненароком напутал. Хозяин мне давеча велел раздать рукописи, а я спутал, которые для мисс Пафкин, а которые для дворника. Но я так думаю, это не беда.

Тут Слейтон присмотрелся и на обложке своей рукописи, под заголовком «Любовь превыше всего», увидел нацарапанный куском угля приговор дворника:

«Ври больше!»

Дороги, которые мы выбираем

Перевод Н. Дарузес.

В двадцати милях к западу от Таксона «Вечерний экспресс» остановился у водокачки набрать воды. Кроме воды, паровоз этого знаменитого экспресса захватил и еще кое-что, не столь для него полезное.

В то время как кочегар отцеплял шланг, Боб Тидбол, «Акула» Додсон и индеец-метис из племени криков, по прозвищу Джон Большая Собака, влезли на паровоз и показали машинисту три круглых отверстия своих карманных артиллерийских орудий. Это произвело на машиниста такое сильное впечатление, что он мгновенно вскинул обе руки вверх, как это делают при восклицании: «Да что вы! Быть не может!» По короткой команде Акулы Додсона, который был начальником атакующего отряда, машинист сошел на рельсы и отцепил паровоз и тендер. После этого Джон Большая Собака, забравшись на груду угля, шутки ради направил на машиниста и кочегара два револьвера и предложил им отвести паровоз на пятьдесят ярдов от состава и ожидать

дальнейших распоряжений.

Акула Додсон и Боб Тидбол не стали пропускать сквозь грохот такую бедную золотом породу, как пассажиры, а направились прямиком к богатым россыпям почтового вагона. Проводника они застали врасплох — он был в полной уверенности, что «Вечерний экспресс» не набирает ничего вреднее и опаснее чистой воды. Пока Боб Тидбол выбивал это пагубное заблуждение из его головы ручкой шестизарядного кольта, Акула Додсон, не теряя времени, закладывал динамитный патрон под сейф почтового вагона.

Сейф взорвался, дав тридцать тысяч долларов чистой прибыли золотом и кредитками. Пассажиры то там то здесь высовывались из окон поглядеть, где это гремит гром. Старший кондуктор дернул за веревку от звонка, но она, безжизненно повиснув, не оказала никакого сопротивления. Акула Додсон и Боб Тидбол, побросав добычу в крепкий брезентовый мешок, спрыгнули наземь и, спотыкаясь на высоких каблуках, побежали к паровозу.

Машинист, угрюмо, но благоразумно повинуясь их команде, погнал паровоз прочь от неподвижного состава. Но еще до этого проводник почтового вагона, очнувшись от гипноза,

выскочил на насыпь с винчестером в руках и принял активное участие в игре. Джон Большая Собака, сидевший на тендере с углем, сделал неверный ход, подставив себя под выстрел, и проводник прихлопнул его козырным тузом. Рыцарь большой дороги скатился наземь с пулей между лопаток, и таким образом доля добычи каждого из его партнеров увеличилась на одну шестую.

В двух милях от водокачки машинисту было приказано остановиться. Бандиты вызывающе помахали ему на прощанье ручкой и, скатившись вниз по крутому откосу, исчезли в густых зарослях, окаймлявших путь. Через пять минут, с треском проломившись сквозь кусты чапарраля, они очутились на поляне, где к нижним ветвям деревьев были привязаны три лошади. Одна из них дожидалась Джона Большой Собаки, которому уже не суждено было ездить на ней ни днем, ни ночью. Сняв с этой лошади седло и уздечку, бандиты отпустили ее на волю. На остальных двух они сели сами, взвалив мешок на луку седла, и поскакали быстро, но озираясь по сторонам, сначала через лес, затем по дикому, пустынному ущелью. Здесь лошадь Боба Тидбола поскользнулась на мшистом валуне и сломала переднюю ногу. Бандиты тут же пристрелили ее и уселись

держать совет. Проделав такой длинный, извилистый путь, они были пока в безопасности — время еще терпело. Много миль и часов отделяло их от самой быстрой погони. Лошадь Акулы Додсона, волоча уздечку по земле и поводя боками, благодарно щипала траву на берегу ручья. Боб Тидбол развязал мешок и, смеясь, как ребенок, выгреб из него аккуратно заклеенные пачки новеньких кредиток и единственный мешочек с золотом.

— Послушай-ка, старый разбойник, — весело обратился он к Додсону, — а ведь ты оказался прав, дело-то выгорело. Ну и голова у тебя, прямо министр финансов. Кому угодно в Аризоне можешь дать сто очков вперед.

— Как же нам быть с лошадью, Боб? Засиживаться здесь нельзя. Они еще до рассвета пустятся за нами в погоню.

— Ну, твой Боливар выдержит пока что и двоих, — ответил жизнерадостный Боб. — Заберем первую же лошадь, какая нам подвернется. Черт возьми, хорош улов, а? Тут тридцать тысяч, если верить тому, что на бумажках напечатано, — по пятнадцати тысяч на брата.

— Я думал, будет больше, — сказал Акула Додсон, слегка подталкивая пачки с деньгами носком сапога. И он окинул задумчивым взглядом мок-

рые бока своего заморенного коня.

— Старик Боливар почти выдохся, — сказал он с расстановкой. — Жалко, что твоя гнедая сломала ногу.

— Еще бы не жалко, — простодушно ответил Боб, — да ведь с этим ничего не поделаешь. Боливар у тебя двужильный — он нас довезет куда надо, а там мы сменим лошадей. А ведь, прах побери, смешно, что ты с Востока, чужак здесь, а мы на Западе, у себя дома, и все-таки тебе в подметки не годимся. Из какого ты штата?

— Из штата Нью-Йорк, — ответил Акула Додсон, садясь на валун и пожевывая веточку. — Я родился на ферме в округе Олстер. Семнадцати лет я убежал из дому. И на Запад-то я попал случайно. Шел я по дороге с узелком в руках, хотел попасть в Нью-Йорк. Думал, попаду туда и начну деньги загребать. Мне всегда казалось, что я для этого и родился. Дошел я до перекрестка и не знаю, куда мне идти. С полчаса я раздумывал, как мне быть, потом повернул налево. К вечеру я нагнал циркачей-ковбоев и с ними двинулся на Запад. Я часто думаю, что было бы со мной, если бы я выбрал другую дорогу.

— По-моему, было бы то же самое, — философски ответил Боб Тидбол. — Дело не в дороге,

которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу.

Акула Додсон встал и прислонился к дереву.

— Очень мне жалко, что твоя гнедая сломала ногу, Боб, — повторил он с чувством.

— И мне тоже, — согласился Боб, — хорошая была лошадка. Ну, да Боливар нас вывезет. Пожалуй, нам пора и двигаться, Акула. Сейчас я все это уложу обратно, и в путь; рыба ищет где глубже, а человек где лучше.

Боб Тидбол уложил добычу в мешок и крепко завязал его веревкой. Подняв глаза, он увидел дуло кольта сорок пятого калибра, из которого целился в него бестрепетной рукой Акула Додсон.

— Брось ты эти шуточки, — ухмыляясь, сказал Боб. — Пора двигаться.

— Сиди, как сидишь! — сказал Акула. — Ты отсюда не двинешься, Боб. Мне очень неприятно это говорить, но место есть только для одного. Боливар выдохся, и двоих ему не вынести.

— Мы с тобой были товарищами целых три года, Акула Додсон, — спокойно ответил Боб. — Не один раз мы вместе с тобой рисковали жизнью. Я всегда был с тобою честен, думал, что ты человек. Слышал я о тебе кое-что неладное, будто бы ты убил двоих ни за что ни про что, да не поверил.

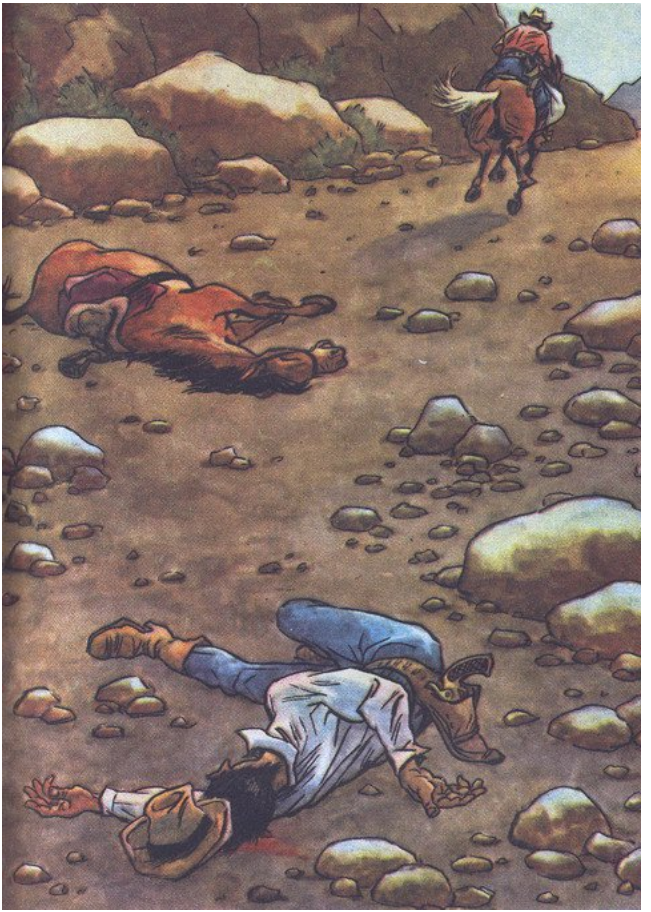
Если ты пошутил, Акула, убери кольт и бежим скорее. А если хочешь стрелять — стреляй, черная душа, стреляй, тарантул!

Лицо Акулы Додсона выразило глубокую печаль.

— Ты не поверишь, Боб, — вздохнул он, — как мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу.

И его лицо мгновенно изменилось — теперь оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность. Душа этого человека проглянула на минуту, как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома.

В самом деле. Бобу не суждено было двинуться с места. Раздался выстрел вероломного друга, и негодующим эхом ответили ему каменные стены ущелья. А невольный сообщник злодея — Боливар — быстро унес прочь последнего из шайки, ограбившей «Вечерний экспресс», — коню не пришлось нести двойной груз.



Но когда Акула Додсон скакал по лесу, деревья перед ним словно застлало туманом, револьвер в правой руке стал изогнутой ручкой дубового кресла, обивка седла была какая-то странная, и, открыв глаза, он увидел, что его ноги упираются не в стремена, а в письменный стол мореного дуба.

Так вот я и говорю, что Додсон, глава маклерской конторы Додсон и Деккер, Уолл-стрит, открыл глаза. Рядом с креслом стоял доверенный клерк Пибоди, не решаясь заговорить. Под окном глухо грохотали колеса, усыпительно жужжал электрический вентилятор.

— Кхм! Пибоди, — моргая, сказал Додсон. — Я, кажется, уснул. Видел любопытнейший сон. В чем дело, Пибоди?

— Мистер Уильямс от «Трэси и Уильямс» ждет вас, сэр. Он пришел рассчитаться за Икс, Игрек, Зет. Он попался с ними, сэр, если припомните.

— Да, помню. А какая на них расценка сегодня?

— Один восемьдесят пять, сэр.

— Ну вот и рассчитайтесь с ним по этой цене.

— Простите, сэр, — сказал Пибоди, волнуясь, — я говорил с Уильямсом. Он ваш старый друг, мистер Додсон, а ведь вы скупили все Икс, Игрек,

Зет. Мне кажется, вы могли бы, то есть... Может быть, вы не помните, что он продал их вам по девяносто восемь. Если он будет рассчитываться по теперешней цене, он должен будет лишиться всего капитала и продать свой дом.

Лицо Додсона мгновенно изменилось — теперь оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность. Душа этого человека проглянула на минуту, как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома.

— Пусть платит один восемьдесят пять, — сказал Додсон. — Боливару не вынести двоих.

Сделка

Перевод М. Лорие.

Непристойнее всего в адвокатской конторе Янси Гори был сам Гори, развалившийся в своем скрипучем старом кресле. Маленькая убогая контора, выстроенная из красного кирпича, выходила прямо на улицу, главную улицу города Бэтела.

Бэтел приютился у подножия Синего хребта. Над городом горы громоздились до самого неба. Далеко внизу мутная желтая Катоба поблескивала на дне унылой долины.

Был самый душный час июньского дня. Бэтел дремал в тени, не дающей прохлады. Торговля замерла. Было так тихо, что Гори, полулежа в кресле, отчетливо слышал стук фишек в зале суда, где «шайка судейских» играла в покер. От настежь открытой задней двери конторы утоптанная тропинка извивалась по травке к зданию суда. Прогулки по этой тропинке стоили Гори всего, что у него было за душой, — сначала наследства в несколько тысяч долларов, потом старинной родовой усадьбы и, наконец, послед-

них остатков самоуважения и человеческого достоинства. Судейские обобрали его до нитки. Незадачливый игрок стал пьяницей и паразитом; он дожил до того дня, когда люди, ограбившие его, отказали ему в месте за карточным столом. Его «слово» больше не принималось. Ежедневная партия в покер составлялась без него; ему же предоставили жалкую роль зрителя. Шериф, секретарь округа, разбитной помощник шерифа, веселый прокурор и человек с бескровным лицом, явившийся «из долины», сидели вокруг стола, а остриженной овце давался молчаливый совет — постараться снова обрасти шерстью.

Этот остракизм скоро наскучил Гори, и он отправился восвояси, нетвердо ступая по злосчастной тропинке и что-то бормоча себе под нос. Глотнув маисовой водки из полуштофа, стоявшего под столом, он бросился в кресло и в какой-то пьяной апатии стал глядеть на горы, тонувшие в летнем тумане. Маленькое белое пятно вдали, на склоне Черного Джека, была Лорел, деревня, близ которой он родился и вырос. Здесь также родилась кровная вражда между Гори и Колтренами. Теперь не осталось в живых ни одного прямого потомка рода Гори, кроме этой ощипанной и опаленной птицы печали. В роде Колтренов то-

же остался всего один представитель мужского пола: полковник Эбнер Колтрен, человек с весом и положением, член законодательного собрания штата, сверстник отца Гори. Вендетта была обычного в этой местности типа; она оставила за собой кровавый след ненависти, обид и убийств.

Но Янси Гори думал не о вендеттах. Его отуманенный мозг безнадежно бился над проблемой — как существовать дальше, не отказываясь от привычных пороков. Последнее время старые друзья его семьи заботились о том, чтобы у него было что есть и где спать, но покупать ему виски они не желали, а ему необходимо было виски. Его адвокатская практика заглохла; уже два года ему не поручали ни одного дела. Он погряз в долгах, стал нахлебником, и если не упал еще ниже, то только потому, что не подвернулся удобный случай. Сыграть бы еще один раз, говорил он себе, один только раз — и он наверняка отыграется; но ему нечего было продать, а кредит его давно истощился.

Он не мог не улыбнуться даже сейчас при воспоминании о человеке, которому он полгода назад продал старую усадьбу семьи Гори. «Оттуда», с гор, прибыли два необычайно странных существа — некто Пайк Гарви и его супруга.

Словом «там», сопровождаемым жестом руки по направлению к лесистым вершинам, горцы привыкли обозначать самые недоступные дебри, неисследованные ущелья, места, где укрываются бродяги, где волчьи норы и медвежьи берлоги. Странная пара, посетившая Янси Гори, прожила двадцать лет в самой глухой части этого безлюдного края, в одинокой хижине, высоко на склоне Черного Джека. У них не было ни детей, ни собак, которые нарушали бы тяжелое молчание гор. Пайка Гарви мало знали в поселках, но все, кто хоть когда-либо имел с ним дело, единогласно заявляли, что он «спятил».

Его единственной официальной деятельностью была охота на белок, но ему случалось, для разнообразия, заниматься и контрабандой. Однажды сборщики налогов вытащили его из его норы; он сопротивлялся молча и яростно, как терьер, и угодил на два года в тюрьму. Когда его выпустили, он снова забился в свою нору, как рассерженный хорек.

Капризная фортуна, обойдя многих трепетных искателей, вспорхнула на вершину Черного Джека, чтобы наградить своей улыбкой Пайка и его верную подругу.

Однажды компания совершенно нелепых

изыскателей в коротких брюках и очках вторглась в горы по соседству с хижиной Гарви. Пайк снял с крюка свое охотничье ружье и выстрелил издали в пришельцев — ведь они могли оказаться сборщиками налогов. К счастью, он промахнулся, и агенты фортуны приблизились и обнаружили свою полную непричастность к закону и правосудию. Впоследствии они предложили чете Гарви целую кучу зеленых хрустящих наличных долларов за его клочок расчищенной земли в тридцать акров и в оправдание такого сумасбродства привели какую-то невероятную ерунду относительно того, что под этим участком находится пласт слюды.

Когда Гарви с женой стали обладателями такого количества долларов, что они сбивались, пересчитывая их, все неудобства существования на Черном Джеке стали для них очевидны. Пайк начал поговаривать о новых башмаках, о ящике табаку, который хорошо бы поставить в угол, о новом курке для своего ружья; он повел Мартеллу в одно место на склоне горы и объяснил ей, как здесь можно было бы установить небольшую пушку, — она, несомненно, оказалась бы им по средствам, — чтобы простреливать и защищать единственную тропинку к хижине и раз навсе-

гда отвадить сборщиков налогов и назойливых незнакомцев.

Но Адам упустил из виду свою Еву. Для него табак, пушка и новый курок были достаточно полным воплощением богатства, но в его темной хижине дремало честолюбие, парившее много выше его примитивных потребностей. В груди миссис Гарви все еще жила крупица вечно женственного, не убитая двадцатилетним пребыванием на Черном Джеке. Она так привыкла слышать днем лишь звук коры, падающей с больных деревьев, а ночью завывание волков, что это как будто вытравило из нее все тщеславие. Она стала толстой, грустной, желтой и скучной. Но когда появились средства, в ней снова вспыхнуло желание воспользоваться привилегиями своего пола: сидеть за чайным столом, покупать ненужные вещи, припудрить уродливую правду жизни условностями и церемониями. Поэтому она холодно отвергла систему укреплений, предложенную Пайком, и заявила, что они теперь спустятся в мир и будут вращаться в обществе.

На этом в конце концов они порешили, и план был приведен в исполнение. Деревушка Лорел явилась компромиссом между предпочтением, которое миссис Гарви оказывала большим

городам, и тягой Пайка к первобытным пустыням. Лорел сулила кое-какой выбор светских развлечений, соответствующих честолюбивым стремлениям миссис Гарви, и не была лишена некоторых удобств для Пайка, — ее близость к горам обеспечивала ему возможность быстрого отступления, в случае если он не поладит с фешенебельным обществом.

Их переезд в Лорел совпал с лихорадочным желанием Янси Гори обратить в звонкую монету свою недвижимость, и они купили старую усадьбу Гори, отсчитав в дрожащие руки мота четыре тысячи долларов наличными.

Вот как случилось, что в то время, когда недостойный отпрыск рода Гори, опустившийся, изгнанный и отвергнутый обобравшими его друзьями, валялся в своей непристойной конторе, чужие жили в доме его предков.

Облако пыли медленно катилось по раскаленной улице и что-то двигалось внутри него. Легкий ветерок отнес пыль в сторону, и показался новый, ярко раскрашенный шарабан, который тащила ленивая серая лошадь. Приблизившись к конторе адвоката, экипаж свернул с середины улицы и остановился у канавки, прямо против двери.

На передней скамейке восседал высокий, то-

щий мужчина в черном суконном костюме; его руки были втиснуты в желтые кожаные перчатки. На задней скамейке сидела женщина, торжествовавшая над июньской жарой. Ее полная фигура была закована в облегающее шелковое платье цвета «шанжан», то есть всех цветов радуги. Она сидела прямо, обмахиваясь разукрашенным веером и устремив неподвижный взгляд на конец улицы. Как ни согрето было сердце Мартеллы Гарви радостями новой жизни, Черный Джек наложил на ее внешность свою неизгладимую печать. Он придал ее чертам пустое, бессмысленное выражение, наделил ее резкостью своих утесов и замкнутостью своих молчаливых ущелий. Что бы ее ни окружало, она, казалось, всегда слышала звук коры, падающей с больных деревьев. Она всегда слышала страшное молчание Черного Джека, звенящее среди самой беззвучной ночи.

Гори апатично наблюдал, как пышный экипаж подъехал и остановился у его двери; но когда сухопарый возница замотал вожжи вокруг кнута, неуклюже слез и вошел в контору он поднялся, шатаясь, ему навстречу: он узнал Пайка Гарви, нового, преображенного, только что причастившегося цивилизации.

Горец сел на стул, предложенный ему адвокатом. Те, кто подвергал сомнению здравый ум и твердую память Гарви, могли привести в доказательство его внешность. Лицо у него было слишком длинное, тускло-шафранного цвета и неподвижное, как у статуи. Бледно-голубые, немигающие круглые глаза без ресниц еще подчеркивали странность этого жуткого лица. Гори тщетно пытался найти объяснение его визиту.

— Все в порядке в Лореле, мистер Гарви? — спросил он.

— Все в порядке, сэр, и мы с миссис Гарви чрезвычайно довольны имением. Миссис Гарви нравится ваша усадьба, и соседи ей нравятся. Она говорила, что нуждается в обществе, а здесь его достаточно. Роджерсы, Хэпгуды, Прэтты и Тройсы — все сделали визиты миссис Гарви, и она почти у всех у них обедала. Ее в лучшие дома приглашают. Не могу сказать, мистер Гори, чтобы такие вещи были мне по душе… мне подавайте вот это, — огромная рука Пайка Гарви в желтой перчатке указала по направлению к горам. — Мое место там, среди диких пчел и медведей. Но я не для того приехал, чтоб болтать об этом. Мы с миссис Гарви хотим купить у вас одну вещь.

— Купить? — повторил Гарви. — У меня? — Он

горько засмеялся. — Полагаю, что это ошибка. Да, конечно, ошибка. Я продал вам, как вы сами выразились, все до последнего гвоздя. Шляпки от гвоздя и той не найдется для продажи.

— У вас есть что продать, и нам это нужно. «Возьми деньги, — так сказала миссис Гарви, — и купи, честно и благородно».

Гори покачал головой.

— Ничего у меня нет, — сказал он.

— Вы не думайте, у нас куча денег, — продолжал горец, не уклоняясь от своей темы, — целая куча. Были мы бедны, как крысы, верно, а теперь могли бы приглашать каждый день гостей к обеду. Нас признало лучшее общество — это миссис Гарви так говорит. Но нам нужна еще одна вещь. Миссис Гарви говорит, что это следовало бы включить в купчую крепость, когда мы покупали у вас имение. Но там этого нет. «Ну так возьми деньги, — говорит, — и купи, честно и благородно».

— Валяйте скорей, — сказал Гори; его расшатанные нервы не выдерживали ожидания.

Гарви бросил на стол свою широкополую шляпу и наклонился вперед, глядя в глаза Гори немигающими глазами.

— Есть старая распря, — сказал он отчетливо и

медленно, — между вами и Колтренами.

Гори угрожающе нахмурился: говорить о вендетте с заинтересованным лицом считается серьезным нарушением этикета родовой мести. Человек «оттуда» знал это так же хорошо, как и адвокат.

— Не в обиду вам будь сказано… — продолжал он, — я с деловой точки зрения. Миссис Гарви изучила все про эти самые распри. Почти у всех родовитых людей в горах есть кровники. Сеттли и Гофорты, Рэнкинсы и Бойды, Сайлеры и Гэллоуэи поддерживали родовую месть от двадцати до ста лет. Последний раз угробили человека, когда ваш дядя, судья Пэйсли Гори, объявил, что заседание суда откладывается, и застрелил Лена Колтрена с судейского кресла. Мы с миссис Гарви вышли из низов. Никто не затеет с нами распри, все равно как с древесными лягушками. Миссис Гарви говорит, что у всех родовитых людей есть распри. Мы-то не родовитые, но деньги есть, вот и обзаводимся чем можем. «Так возьми деньги, — сказала миссис Гарви, — и купи распрю мистера Гори, честно и благородно».

Охотник на белок вытянул одну ногу почти до середины комнаты, вытащил из кармана пачку банкнот и бросил ее на стол.

— Здесь двести долларов, мистер Гарви. Согласитесь, что за такую запущенную распрю цена хорошая. С вашей стороны только вы и остались, а убивать вы, наверно, не мастер. Вот вы и развяжетесь с этим делом; а мы с миссис Гарви войдем в родовитое общество. Берите деньги.

Свернутые бумажки медленно развернулись, корчась и подпрыгивая на столе. В молчании, наступившем за последними словами Гарви, ясно слышался стук игральных фишек в здании суда. Гори знал, что шериф только что выиграл хороший куш, — через двор на волнах знойного воздуха донеслось сдержанное гиканье, которым он всегда приветствовал победу. Капли пота выступили у Гори на лбу. Он нагнулся, вытащил из-под стола полуштоф в плетенке и наполнил из него стаканчик.

— Выпейте, мистер Гарви! Вы, конечно, изволили пошутить… по поводу того, что сейчас сказали? Вводится новый вид торговых операций. Вендетты первого сорта — от двухсот пятидесяти до трехсот долларов. Вендетты, слегка подпорченные, — двести… кажется, вы сказали двести, мистер Гарви?

Гори деланно рассмеялся. Горец взял предложенный стакан и осушил его, не моргнув

неподвижными глазами. Адвокат оценил этот подвиг завистливым и восхищенным взглядом. Он налил и себе и начал пить, как истый пьяница, медленными глотками, вздрагивая от запаха и вкуса водки.

— Двести, — повторил Гарви, — вот деньги.

Внезапная ярость вспыхнула у Гори в мозгу. Он стукнул по столу кулаком. Одна из кредиток подскочила и коснулась его руки. Он вздрогнул, как будто что-то ужалило его.

— Вы серьезно пришли ко мне, — закричал он, — с таким нелепым, оскорбительным, сумасбродным предложением?

— Я хотел честно и благородно, — сказал охотник на белок; он протянул руку, словно для того, чтобы взять деньги обратно, и тогда Гори понял, что его вспышка гнева объяснялась не гордостью и обидой, но раздражением против самого себя, так как он чувствовал себя способным опуститься еще ниже, в яму, которая перед ним открылась. В мгновение он превратился из оскорбленного джентльмена в торгаша, расхваливающего свой товар.

— Не торопитесь, Гарви, — сказал Гори; он побагровел, и язык у него заплетался. — Я принимаю ваше пре… пре… предложение, хотя двести

долларов — безобразно низкая цена. С… сделка есть сделка, если продавец и покупатель оба удо… удовлетворены… Завернуть вам покупку, мистер Гарви?

Гарви встал и отряхнулся.

— Миссис Гарви будет довольна. Вы вышли из этого дела, и теперь оно будет считаться Колтрен против Гарви. Пожалуйте расписочку, мистер Гори, — недаром вы адвокат, — чтобы закрепить сделку.

Гори схватил лист бумаги и перо. Деньги он крепко зажал во влажной руке. Все остальное вдруг стало пустячным и легким.

— Запродажную запись. Непременно. «Право на владение и проценты…» Только придется пропустить «защищаемое законами штата», — сказал Гори с громким смехом. — Вам придется самому защищать это право.

Горец взял необычайную расписку, сложил ее с величайшими предосторожностями и аккуратно спрятал в карман.

Гори стоял у окна.

— Подойдите сюда, — сказал он, поднимая палец. — Я покажу вам вашего только что купленного кровного врага. Вон он идет, по той стороне улицы.

Горец согнул свою длинную фигуру, чтобы посмотреть в окно туда, куда указывал адвокат. Полковник Эбнер Колтрен, прямой, осанистый джентльмен лет пятидесяти, в цилиндре и неизбежном двубортном сюртуке члена южного законодательного собрания, проходил по противоположному тротуару. Пока Гарви смотрел, Гори взглянул ему в лицо. Если существуют на свете желтые волки, то здесь находился один из них. Гарви зарычал, следя нечеловечьими глазами за проходящей фигурой, и оскалил длинные, янтарного цвета клыки.

— Это он… Да ведь это — человек, который упрятал меня когда-то в тюрьму.

— Он был прокурором, — сказал небрежно Гори, — и, между прочим, он первоклассный стрелок.

— Я могу прострелить белке глаз на расстоянии ста ярдов, — сказал Гарви. — Так это Колтрен? Я сделал лучшую покупку, чем ожидал. Я позабочусь об этой распре получше вашего, мистер Гори.

Он направился к дверям, но остановился на пороге в легком замешательстве.

— Еще что-нибудь угодно? — спросил Гори с сарказмом безнадежности. — Семейные традиции?

Духи предков? Позорные тайны? Пожалуйста! Цены самые доступные…

— Есть еще одна вещь, — невозмутимо протянул охотник на белок, — миссис Гарви тоже говорила. Это не совсем по моей части, но она особенно хотела, чтобы я спросил вас и, если вы согласны, купил бы, честно и благородно. Есть там ваше семейное кладбище, как вам известно, мистер Гори, за вашей старой усадьбой, под кедрами. Там похоронены ваши предки, те, что убиты Колтренами. На памятниках их имена. Миссис Гарви говорит, что у всех родовитых людей есть семейные кладбища. Она говорит, что, если мы купим распрю, к ней надо добавить и кладбище. На памятниках везде «Гори», но это можно вытравить и заменить нашей…

— Вон! вон! — закричал Гори вспыхнув. Он протянул к горцу обе руки со скрюченными, дрожащими пальцами. — Убирайтесь, негодяй. Даже ки… китаец защищает мо… могилы своих предков. Вон!

Охотник на белок побрел к своему шарабану. Пока он влезал в него, Гори с лихорадочной быстротой подбирал деньги, выпавшие у него из рук. Не успел экипаж завернуть за угол, как овца, вновь обросшая шерстью, понеслась с неприлич-

ной поспешностью по тропинке к зданию суда.

В три часа ночи судейские приволокли его обратно в контору, остриженного и в бессознательном состоянии. Шериф, разбитной помощник шерифа, секретарь и веселый прокурор несли его, а бледнолицый субъект «из долины» замыкал шествие.

— На стол, — сказал один из них, и они положили его на стол среди груды его бесполезных книг и бумаг.

— У Янси прямо пристрастие к двойкам, когда он наклюкается, — задумчиво вздохнул шериф.

— Это уж чересчур, — сказал веселый прокурор. — Человеку, который напивается, нечего играть в покер. Интересно, сколько он просадил сегодня.

— Около двухсот. Удивляюсь, где он их взял. У него уже больше месяца не было ни цента.

— Может быть, клиента подцепил. Ну, ладно, пойдемте по домам, пока не рассвело. Он отойдет, когда проспится, только в голове будет гудеть, как в улье.

«Шайка» растаяла в утренних сумерках. Следующим глазом, посмотревшим на несчастного Гори, было око утра. Оно заглянуло в незавешенное окно и сначала залило спящего потоком

бледного золота, а потом окатило его горящее лицо обжигающим белым летним зноем. Гори, не просыпаясь, зашевелился среди хлама на столе и отвернулся от окна. При этом он задел тяжелый Свод законов, и книга с грохотом упала на пол. Гори открыл глаза и увидел, что над ним склонился человек в длинном черном сюртуке. Слегка закинув голову, он обнаружил старый цилиндр, а под ним доброе, гладко выбритое лицо полковника Эбнера Колтрена.

Не уверенный в радушном приеме, полковник ждал, когда Гори его узнает. Вот уже двадцать лет, как представители мужской части этих двух семейств не встречались в мирной обстановке. Веки у Гори дрогнули, и он, напрягая помутившееся зрение, взглянул на гостя и безмятежно улыбнулся.

— А вы привели Стеллу и Люси поиграть со мной? — спросил он спокойно.

— Вы узнаете меня, Янси? — спросил Колтрен.

— Конечно. Вы подарили мне кнутик со свистком.

Так оно и было, — двадцать четыре года тому назад, когда отец Янси был его лучшим другом.

Глаза Гори забегали по комнате. Полковник понял.

— Лежите спокойно, я вам сейчас принесу, — сказал он.

Во дворе был колодец, и Гори, закрыв глаза, с восторгом прислушивался к звяканью его рычага и плеску воды. Колтрен принес кувшин холодной воды и подал его Гори. Гори вскочил — вид у него был жалкий, летний полотняный костюм запачкался и смялся, взлохмаченная голова тряслась. Он попытался помахать рукой полковнику.

— Извините… все это, пожалуйста, — сказал он. — Я, должно быть, вчера вечером выпил слишком много виски и улегся спать на столе.

Его брови сдвинулись в недоумении.

— Покутили с приятелями? — добродушно спросил полковник.

— Нет, я нигде не был. У меня уже два месяца как нет ни доллара. Просто выпил лишнего, как всегда.

Полковник Колтрен дотронулся до его плеча.

— Несколько минут назад, Янси, — начал он, — вы спросили меня, привел ли я к вам поиграть Люси и Стеллу. Вы тогда еще не совсем проснулись, и вам, верно, снилось, что вы опять маленький мальчик. Теперь вы проснулись, и я прошу вас выслушать меня. Я пришел от Стеллы и Люси к их старому товарищу и к сыну моего

старого друга. Они знают, что я хочу привезти вас с собой, и они будут так же рады вам, как в старые времена. Я хочу, чтобы вы пожили у нас, пока не придете в себя — и еще дольше… сколько захотите. Мы слышали, что вам в жизни не повезло, что вы окружены соблазнами, и мы все решили опять пригласить вас к нам поиграть. Поедете, мой мальчик? Хотите забыть все семейные ссоры и поехать со мной?

— Ссоры? — сказал Гори, широко раскрыв глаза. — Между нами не было никаких ссор, насколько я знаю. Мы всегда были лучшими друзьями. Но, боже мой, полковник, как я могу явиться к вам в дом таким, каким я стал? Жалкий пьяница, несчастный, опозоренный, мот, игрок…

Он слез со стола, забрался в кресло и заплакал пьяными слезами, мешая их с искренними каплями раскаяния и стыда. Колтрен говорил с ним настойчиво и серьезно: он напомнил простые удовольствия жизни в горах, которые Гори когда-то так любил, и подчеркивал искренность своего приглашения.

В конце концов он убедил Гори, сказав ему, что рассчитывает на его помощь для руководства переброской поваленного леса с высокого склона горы к сплаву. Он помнил, что Гори когда-то

изобрел для этой цели особую систему скатов и желобов и по праву гордился ею. В одну минуту бедняга, в восторге от мысли, что он может быть кому-нибудь полезен, развернул на столе лист бумаги и стал набрасывать на нем быстрые, но безнадежно кривые линии чертежа.

Блудному сыну сразу опротивела жизнь среди свиней; сердце его снова обратилось к горам. Голова его еще плохо работала, мысли и воспоминания возвращались в мозг одно за другим, как почтовые голуби над бурным морем. Но Колтрен был доволен достигнутым успехом.

Бэтел в этот день был поражен как никогда — весь город видел, как по улицам дружелюбно проехали рядом Колтрен и Гори. Они ехали верхом: пыльные улицы и глазеющие горожане остались позади; всадники спустились к мосту через ручей и стали подниматься в горы. Блудный сын почистился, умылся и причесался; вид у него стал более приличный, но он еще не твердо держался в седле и, казалось, был занят решением какой-то путаной задачи. Колтрен не трогал его, надеясь, что душевное равновесие восстановится у него само собой от перемены обстановки.

Один раз Гори стал трясти озноб, и он чуть не лишился сознания. Ему пришлось спешиться и

отдохнуть на краю дороги. Полковник, предугадав такую возможность, запасся на дорогу небольшой фляжкой виски, но, когда он предложил ее Гори, тот отказался чуть ли не грубо и заявил, что никогда больше не прикоснется к спиртному. Мало-помалу он оправился и спокойно проехал одну-две мили. Затем внезапно остановил свою лошадь и сказал:

— Я проиграл вчера вечером двести долларов в покер. Где же я взял эти деньги?

— Не беспокойтесь об этом, Янси. На горном воздухе все забудется. Прежде всего мы отправимся удить рыбу к Пинакл-Фоллс. Форели там прыгают, как лягушки. Мы возьмем с собой Стеллу и Люси и устроим пикник на Орлиной скале. Вы помните, Янси, какими вкусными кажутся голодному рыболову сэндвичи с ветчиной у костра?

Очевидно, полковник не поверил этой истории о пропавших деньгах, и Гори снова впал в сосредоточенное молчание.

К концу дня они проехали десять миль из двенадцати, отделявших Бэтел от Лорели. Не доезжая полмили до Лорели находилась старая усадьба Гори; в двух милях за деревней жил Колтрен. Дорога была теперь крутая и тяжелая, но зато многое вознаграждало путников. Заросшие

лесом склоны изобиловали птицами и цветами. Живительный воздух бодрил лучше всяких лекарств. Просеки хмурились мшистой тенью, мерцали робкими ручейками, бегущими среди папоротника и лавров. По левую руку, в рамке придорожных деревьев, то и дело открывались просветы — восхитительные виды далекой равнины, утопавшей в опаловой дымке.

Колтрен радовался, видя, что его спутник поддается очарованию гор и лесов. Теперь им оставалось объехать вокруг основания Скалы Художников, пересечь Элдербранч и подняться на холм, и Гори увидит ушедшее из его рук наследство предков. Каждый утес, мимо которого он проезжал, каждое дерево, каждый кусочек дороги были ему знакомы. Хотя он и забыл о лесах, они волновали его теперь, как мелодия старой колыбельной песни.

Они объехали скалу, спустились к Элдербранчу и остановились там, чтобы напоить лошадей и выкупать их в быстрой воде. Направо была железная ограда, которая образовала здесь угол и тянулась потом вдоль реки и дороги. Она окружала старый фруктовый сад усадьбы Гори; дом был еще закрыт гребнем крутого холма. За оградой высоко и густо росли бузина, сумах и лавровые

деревья. Услышав шорох в ветвях, Гори и Колтрен подняли глаза и увидели длинное, желтое волчье лицо, смотревшее на них поверх решетки светлыми, неподвижными глазами. Голова быстро исчезла; ветки кустов закачались, и неуклюжая фигура побежала, виляя между деревьями, через сад вверх, к дому.

— Это Гарви, — сказал Колтрен, — человек, которому вы продали усадьбу. Он, несомненно, помешанный. Я несколько лет назад засадил его за незаконную торговлю спиртным, хотя и считал его невменяемым… Что с вами, Янси?

Гори вытирал себе лоб, и лицо его помертвело.

— Я тоже вам кажусь странным? — спросил он, пытаясь улыбнуться. — Я только что припомнил еще кое-что. — Алкоголь почти испарился у него из головы. — Теперь я вспомнил, где достал эти двести долларов.

— Бросьте думать об этом, — весело сказал полковник — Мы потом вместе подсчитаем ваши капиталы.

Они отъехали от ручья, но когда добрались до подножия холма, Гори снова остановился.

— Вы когда-нибудь подозревали, полковник, что я, в сущности, очень тщеславный человек? — спросил он. — До глупости тщеславный во всем,

что относится к моей внешности.

Полковник нарочно отвел глаза от грязного обвисшего полотняного костюма и потертой шляпы Гори.

— Мне кажется, — ответил он, недоумевая, но стараясь говорить ему в тон, — что я действительно помню одного молодого человека, лет двадцати, в самом модном костюме, с самыми приглаженными волосами и на самой шикарной верховой лошади в округе.

— Совершенно верно, — подхватил Гори, — и это сохранилось у меня до сих пор, хотя оно и незаметно. О, я тщеславен, как индюк, и горд, как Люцифер. Я хочу попросить вас снизойти к этой моей слабости… не отказать мне в одном пустяке.

— Говорите без стеснения, Янси. Если хотите, мы объявим вас герцогом Лорели и бароном Синего хребта; и мы вырвем перо из хвоста у павлина Стеллы, чтобы украсить вашу шляпу.

— Я говорю серьезно. Через несколько минут мы проедем мимо дома на холме, где я родился и где мои предки жили почти сто лет. Теперь в нем живут чужие и… посмотрите на меня. Я должен показаться им в лохмотьях, удрученный бедностью, бродяга, нищий. Полковник Колтрен,

я стыжусь этого. Прошу вас, позвольте мне надеть ваш сюртук и шляпу и ехать в них, пока мы не минуем усадьбы. Я знаю, вы считаете это глупым тщеславием, но я хочу выглядеть прилично, когда буду проезжать мимо родового гнезда.

«Что бы это могло значить?» — сказал себе Колтрен, сопоставляя нормальный вид и спокойное поведение своего спутника с этой странной просьбой. Но он уже расстегивал сюртук, не желая показать, что видит во всем этом что-либо необычное.

Сюртук и шляпа пришлись Гори впору. Он застегнулся с довольным и гордым видом. Он был почти одного роста с Колтреном, высокий, статный, и держался прямо. Двадцать пять лет разницы было между ними, но по виду их можно было принять за братьев. Гори выглядел старше своих лет; на его отекшем лице видны были ранние морщины; у полковника лицо было гладкое, свежее — признак умеренной жизни. Он надел непристойный полотняный пиджак Гори и его потертую широкополую шляпу.

— Ну вот, — сказал Гори и взялся за поводья. — Теперь все в порядке. Я попрошу вас, полковник, держаться шагов на десять позади меня, когда мы будем проезжать мимо дома, чтобы они могли

хорошенько рассмотреть меня. Пусть видят, что я еще не вышел в тираж, далеко нет. Я уверен, что на этот раз я, во всяком случае, покажу им себя с хорошей стороны. Ну, едемте.

Он стал подниматься в гору быстрой рысью; полковник, потакая его просьбе, ехал сзади.

Гори сидел в седле выпрямившись, с высоко поднятой головой, но глаза его смотрели вправо, внимательно исследуя каждый куст и потаенный уголок на дворе старой усадьбы; он даже раз пробормотал про себя: «Неужели этот сумасшедший болван попытается… Или мне все это наполовину приснилось?»

Только поравнявшись с маленьким семейным кладбищем, он увидел, что искал: струйку белого дыма, вылетевшую из густой кедровой чащи в углу сада. Он так медленно повалился налево, что Колтрен успел подъехать и подхватить его одной рукой.

Охотник на белок не зря назвал себя метким стрелком. Он, как и предвидел Гори, всадил пулю туда, куда хотел, — в грудь длинного черного сюртука полковника Эбнера Колтрена. Гори навалился всей своей тяжестью на полковника, но не упал. Лошади шли в ногу, рядом, и рука полковника крепко поддерживала Гори. Белые домики

Лорели светились сквозь деревья на расстоянии полумили. Гори с трудом протянул руку и шарил ею по воздуху, пока она не остановилась на пальцах Колтрена, державших поводья его лошади.

— Добрый друг, — сказал он, и это было все.

Так Янси Гори, проезжая мимо своего старого дома, показал себя с самой лучшей стороны, насколько это было в его силах при данных обстоятельствах.

Оперетка и квартальный

Перевод В. Александрова.

Шесть человек, ужинавших за столиком одного из ночных ресторанов на Верхнем Бродвее, слишком много шумели. Метрдотель три раза проходил мимо них, вежливо предостерегая их взглядом, но спор у них слишком сильно разгорелся, чтоб его мог потушить взгляд метрдотеля. Была полночь, и ресторан наполнился публикой из театров этого района. Некоторые из попавших сюда зрителей, вероятно, узнали в шестерке спорщиков актеров, принадлежавших к артистической коллегии оперетки. Четверо из шести состояли в труппе. С ними был автор оперетки «Веселая кокетка», которую квартет артистов исполнял с большим успехом. Шестой за столиком был непричастен к искусству, но по его вине погибло немало омаров.

Шестерка громко поддерживала шумный спор. То есть нет: один из компании все время молчал, исключая тех случаев, когда возбужденные соседи принуждали его отвечать. Это был исполнитель главной роли в «Веселой кокетке»,

молодой человек с лицом, слишком меланхоличным даже для его профессии.

Нападки четырех несдержанных языков были направлены на мисс Клэрис Керролль, блестящую звезду этого маленького сообщества. За исключением унылого артиста, все члены компании в один голос с ожесточением взваливали на нее вину за какое-то серьезное бедствие. Они повторяли ей пятьдесят раз подряд:

— Это ваша вина Клэрис! Вы одна провалили эту сцену. Вы только за последнее время стали ее так играть. Если это будет продолжаться, придется снять пьесу с репертуара.

Мисс Керролль могла справиться с четырьмя противниками. Галльские предки завещали ей живость, легко переходящую в бешенство. Ее большие глаза метали пламенный отпор обвинителям. Ее тонкие, выразительные руки постоянно угрожали столовому сервизу. Ее высокое, чистое сопрано перешло бы в крик, если бы не обладало такой музыкальностью тембра. Она кидала врагам ответные обвинения сладкими звуками, но с чересчур большим резонансом для ресторана на Бродвее.

Они в конце концов истощили ее терпение женщины и артистки. Она сделала прыжок пан-

теры; ей удалось одним царственным взмахом руки разбить полдюжины тарелок и стаканов, после чего она вызывающе встала перед своими критиками. Она поднялась с места и заспорила еще громче. Меланхолический артист вздохнул и принял еще более грустный и безучастный вид. Метрдотель подошел к ним с проповедью о мире. Его послали ко всем чертям с такой быстротой, будто дело происходило на мирной конференции в Гааге. Это рассердило метрдотеля. Он сделал знак рукой, и один из лакеев выскользнул за дверь. Спустя двадцать минут вся компания из шести человек очутилась в полицейском участке, перед лицом седоватого квартального с видом философа.

— Беспорядочное поведение в ресторане, — сказал полисмен, который привел эту компанию.

Автор «Веселой кокетки» выступил вперед. Он был в пенсне и во фраке, но его сапоги, должно быть, до знакомства с патентованным сапожным лаком были рыжими.

— Господин сержант, — сказал он горловым звуком, как артист Ирвинг, — позвольте мне выразить протест по поводу этого ареста. Компания артистов, играющих в моей маленькой пьесе, ужинала вместе со мной и моим приятелем. Нас

глубоко затронул спор, кто из исполнителей виноват в том, что одна сцена скетча игралась последнее время так слабо, что это угрожает провалом всей пьесы. Возможно, что мы слишком много шумели и относились чересчур нетерпимо к замечаниям ресторанных служащих, но мы решали вопрос чрезвычайной важности. Вы видите, что мы трезвы и не принадлежим к тому сорту людей, которые любят устраивать скандалы. Я надеюсь, что вы не будете придирчивы и разрешите нам уйти.

— Кто представитель обвинения? — спросил сержант.

— Я, — послышался из задних рядов голос кого-то в белом переднике. — Ресторан послал меня. Эти люди подняли содом и били посуду.

— За посуду вам заплатили, — сказал драматург. — Ее разбили не нарочно. Мисс Керролль была возбуждена: ее упрекали в искажении одной сцены…

— Это неправда, сержант, — прозвучал звонкий голос мисс Клэрис Керролль, — я ее не искажала.

В длинном манто рыжего шелка и в шляпе с красными перьями, она кинулась к конторке.

— Это не моя вина! — кричала она возмущенно. — Как смеют они говорить такие вещи. Я

играла заглавную роль с самого начала постановки пьесы, и, если вы хотите знать, кто создал ей успех, спросите публику, вот и все.

— Мисс Керролль отчасти права, — сказал автор. — В течение пяти месяцев пьеса была главным козырем лучших театров. Но за последние две недели она перестала нравиться. Там есть одна сцена, в которой мисс Керролль побивала рекорды. Теперь она не может вызвать ни одного хлопка. Она портит сцену, играя ее на совершенно новый лад.

— Это не моя вина, — повторила актриса.

— Но ведь вас только двое исполнителей этой сцены, — горячо настаивал автор. — Вы и Дельмарс!

— Значит, это его вина, — заявила мисс Керролль с молниеносным презрительным взглядом своих темных глаз.

Артист поймал этот взгляд и уставился, с еще большей меланхолией, на конторку сержанта.

Ночь была очень тусклая, без всяких происшествий в этом полицейском участке. Давно притупившееся любопытство сержанта слегка пробудилось.

— Я вас выслушал, — сказал он автору. А затем обратился к даме с худым лицом и аскетическим

видом, которая играла в оперетке «тетку Редькин Хвост».

— Кто, по-вашему, портит сцену, из-за которой вы все волнуетесь? — спросил он.

— Я не фискалка, — сказала дама. — И все это знают. Поэтому, когда я говорю, что Клэрис каждый раз проваливает эту сцену, я осуждаю ее искусство, но не ее самое. Она когда-то была в ней великолепна. А теперь получается что-то ужасное. Если она будет продолжать в том же духе, пьесу снимут с репертуара.

Сержант посмотрел на артиста.

— Вы с этой дамой вместе разыгрываете сцену, насколько я понял? Я думаю, мне нечего вас спрашивать, кто ее искажает?

Артист постарался избежать прямых лучей двух неподвижных звезд — глаз мисс Керролль.

— Не знаю, — сказал он, разглядывая кончик своих лаковых сапог.

— Вы также актер? — спросил сержант карликообразного юношу с немолодым лицом.

— Послушайте, — сказал последний театральный свидетель, — вы, что же, не видели разве в моих руках бутафорского копья? Или вы, может быть, никогда не слышали, как я восклицаю: «Тише! Император идет!» Надеюсь, что я тоже

актер, а не, с вашего позволения, кошка, случайно забежавшая на сцену.

— По вашему мнению, если оно у вас имеется, — сказал сержант, — кто виноват в том, что публика охладела к данной сцене, — дама или господин, участвующие в ней?

Пожилой юноша казался огорченным.

— Должен сказать, к сожалению, — ответил он, — что мисс Керролль будто потеряла власть над этой сценой. Она хорошо проводит всю остальную пьесу. Но, уверяю вас, сержант, она еще справится с ней. Она могла в этой сцене поспорить с кем угодно и опять сумеет справиться с ней.

Мисс Керролль подбежала к нему, пылающая и трепещущая.

— Благодарю вас, Джимми, за первое доброе слово, которое я слышу за много дней! — воскликнула она. После этого она повернула к конторке свое взволнованное лицо.

— Я докажу вам, сержант, виновата ли я. Я покажу им, сумею ли я сыграть эту сцену как прежде. Идите сюда, мистер Дельмарс, начнем. Вы разрешите нам, сержант?

— Сколько времени это займет? — спросил сержант нерешительно.

— Восемь минут, — сказал драматург. — Вся пьеса идет полчаса.

— Валяйте, — сказал сержант. — Большинство из вас, по-видимому, против этой дамочки, но, может быть, она была и вправе разбить пару блюдечек в этом ресторане. Посмотрим, как она сыграет, прежде чем разбирать дело.

Уборщица полицейского участка стояла тут же, прислушиваясь к странному спору. Она подошла ближе и встала около стула сержанта. Двое или трое резервных вошли, огромные и зевающие.

— Прежде чем начать сцену, — сказал драматург, — и считая, что вы не видели представления «Веселой кокетки», я дам вам краткие, но необходимые пояснения. Это музыкальный фарс, комедия-буфф. Как видно по заглавию, мисс Керролль играет роль веселой, задорной, шаловливой, бессердечной кокетки. Характер выдержан во всей комедийной части произведения. И я так наметил основные черты буффонады, чтоб и здесь сохранился и проявлялся тот же тип кокетки. Та сцена, в которой нам не нравится игра мисс Керролль, называется «Танец гориллы». Она в костюме, изображающем лесную нимфу; происходит большая сцена с пением и танцем с гориллой, которого играет мистер Дельмарс.

Декорация — тропический лес.

Эту сцену приходилось повторять на бис от четырех до пяти раз. Гвоздем были мимика и танец — самое смешное, что видел Нью-Йорк за пять месяцев. Ария Дельмарса «Зову тебя в мой дом лесной», когда он и мисс Керролль играют в прятки среди тропических растений, была боевиком.

— А что теперь не ладится в этой сцене? — спросил сержант.

— Мисс Керролль портит ее как раз посередине, — раздраженно сказал драматург.

Широким жестом своих вечно подвижных рук артистка отстранила маленькую группу зрителей, оставив перед конторкой место для сцены своего отмщения или падения. Затем она скинула с себя длинное рыжее манто и бросила его на руку полисмена, который все еще, по обязанности, стоял между ними.

Мисс Керролль поехала ужинать, закутанная в манто, но сохранила костюм нимфы из тропического леса. Юбка из листьев доходила ей до колен; артистка напоминала колибри — зеленая, золотая, пурпуровая.

Затем она исполнила порхающий, фантастический танец, выделывая такие быстрые, легкие и замысловатые па, что остальные трое членов

артистической компании зааплодировали ее искусству.

В надлежащий момент Дельмарс очутился рядом с ней, изображая неуклюжие, безобразные прыжки гориллы так забавно, что даже седоватый сержант разразился коротким смехом, напоминающим замыкание замка. Они исполнили вместе танец гориллы и заслужили дружные аплодисменты.

Тогда началась самая фантастическая часть сцены — ухаживание гориллы за нимфой. Это также был род танца, эксцентричного и шутовского, причем нимфа кокетливо и соблазнительно отступала, а горилла следовал за ней, распевая: «Зову тебя в мой дом лесной». Слова были ерундовые, как полагалось по пьесе, но музыка была достойна лучшего текста. Дельмарс исполнил ее глубоким баритоном, пристыдившим своей красотой пустые слова. Во время исполнения первого куплета песни лесная нимфа проделывала комические эволюции, намеченные для этой сцены. Посреди второго куплета она остановилась со странным выражением лица; казалось, что она мечтательно вглядывается в глубину сценического леса. Горилла последним прыжком опустился к ее ногам и стоял на коленях, держа ее

за руку, пока не окончил мелодию, которая была вправлена в нелепую комедию, как брильянт в кусок олова.

Когда Дельмарс кончил, мисс Керролль вздрогнула и закрыла обеими руками внезапный поток слез.

— Вот оно! — закричал драматург, яростно жестикулируя. — Видите теперь, сержант? Вот уже две недели, как она при каждом представлении портит таким образом сцену. Я просил ее принять во внимание, что она играет не Офелию и не Джульетту. Теперь вас не удивляет наше раздражение? Слезы из-за песни гориллы! Пьеса погибла!

Среди своего оцепенения, неизвестно чем вызванного, артистка внезапно вспылила и с отчаянием указала пальцем на Дельмарса.

— Это вы… вы… виноваты в этом! — дико закричала она. — Вы никогда не пели эту арию таким образом до последнего времени. Это ваша вина.

— Я не берусь решать, — сказал сержант.

Тогда седая матрона полицейского участка выступила из-за стула сержанта.

— Старухе, видно, придется вас всех образумить, — сказала она, подошла к мисс Керролль и взяла ее за руку.

— Этот человек томится душой из-за вас, дорогая. Неужели вы этого не поняли, как только он пропел первую ноту? Все его обезьяньи ужимки не скрыли бы этого от меня. Что, вы так же глухи, как и слепы? Вот отчего вы не могли провести свою роль, дитя мое. Вы его любите — или он должен остаться гориллой до конца своих дней?

Мисс Керролль обернулась и метнула на Дельмарса молниеносный взгляд. Он грустно подошел к ней.

— Вы слышали, мистер Дельмарс? — спросила она, прерывисто дыша.

— Да, — сказал артист. — Это правда. Я думал, это ни к чему. Я старался дать вам понять песней.

— Очень глупо! — заявила матрона. — Почему вы ей не сказали?

— Нет! Нет! — воскликнула лесная нимфа. — Его способ был самый лучший. Я не знала, но… я именно этого и желала, Бобби.

Она подскочила, как зеленый кузнечик; артист открыл ей свои объятия и улыбнулся.

— Вон отсюда! — заревел сержант, обращаясь к ожидавшему лакею из ресторана. — Вам здесь делать нечего.

Фальшивый доллар

Перевод под ред. В. Азова.

Однажды утром, просматривая свою корреспонденцию, судья Соединенных Штатов в пограничном районе, лежащем вдоль берега Рио-Гранде, нашел письмо следующего содержания:

«Судья!

Когда вы приговорили меня на четыре года, вы много болтали. Кроме прочих дерзостей, вы назвали меня гремучей змеей. Может быть, я действительно гремучая змея. Через год после того, как вы меня засадили, умерла моя дочь от нищеты, а также и от позора. У вас, судья, тоже есть дочь, и я хочу дать вам понять, что значит потерять свою дочь. И теперь я намереваюсь ужалить прокурора, который тогда говорил против меня. Теперь я свободен, и мне кажется, я действительно превратился в настоящую гремучую змею. Во всяком случае, я чувствую себя таковой. Много говорить я не буду, но это письмо — мое шипенье. Берегитесь, когда я возьмусь за дело.

С совершенным почтением

Гремучая змея».

Судья Дервент небрежно отбросил письмо. Для него было не новостью получение подобных посланий от отъявленных преступников, которых ему приходилось судить. Он не ощутил ни малейшей тревоги.

Немного спустя он показал письмо молодому прокурору Литлфильду так как его имя было тоже упомянуто в письме, а судья был весьма точен во всем, что касалось его лично, а также и его коллег.

Пробегая глазами ту часть письма, которая касалась его самого, Литлфильд удостоил «шипенье» гремучей змеи презрительной улыбкой; но он нахмурился, читая строки, касающиеся дочери судьи, так как Нанси Дервент была его невестой.

Литлфильд направился к секретарю суда и стал просматривать с ним архив. Они решили, что письмо это могло исходить от Сэма-Мексиканца, отчаянного пограничного головореза-полукровки, который четыре года назад был приговорен к тюремному заключению за убийство. Затем дела вытеснили эту историю из головы Литлфильда, и шипенье мстительной змеи было забыто.

Суд выехал на сессию в Браунсвиль. Большинство дел, назначенных к слушанию, были по обвинению в контрабанде, фабрикации фаль-

шивой монеты, ограблении почтовых контор и нарушении федеральных законов в пограничных местностях. Одно дело касалось молодого мексиканца, Рафаэля Ортиса, которого ловкий помощник шерифа поймал на месте преступления в тот момент, когда он хотел сбыть фальшивый серебряный доллар. Его уже давно подозревали в подобного рода проделках, но на этот раз впервые вина его была доказана. Ортис ничуть не тяготился своим пребыванием в тюрьме, спокойно курил коричневые сигаретки и ожидал суда. Помощник шерифа, Кильпатрик, доставил в суд фальшивый доллар и вручил его прокурору в его кабинете, в здании суда. Помощник шерифа и один почтенный аптекарь готовы были показать под присягой, что этот доллар Ортис отдал в уплату за лекарство. Монета была самая что ни на есть фальшивая, мягкая, тусклая на вид и состояла преимущественно из свинца.

Это было за день до того, когда должно было слушаться дело Ортиса, и прокурор готовился к завтрашнему выступлению.

— Я думаю, нам не понадобится вызывать специальных экспертов, чтобы доказать, что эта монета несколько своеобразная, правда, Киль? — с улыбкой заметил Литлфильд.

Он бросил доллар на стол, и, когда он упал, он издал не больше звона, чем издал бы кусок олова.

— По-моему, этот гусь уже все равно что за решеткой, — сказал помощник шерифа. — Теперь мы окончательно застукали его. Если бы это случилось с ним один раз, так еще можно было бы сказать, что мексиканцы вообще не умеют отличать хорошие деньги от плохих; но этот мошенник, я знаю, принадлежит к целой шайке фальшивомонетчиков. В этот раз я впервые поймал его на месте преступления. У него есть возлюбленная. Она живет на берегу, в мексиканском поселке. Хороша, как рыжая телка на цветочной клумбе.

Литлфильд опустил фальшивый доллар в карман и вложил свои заметки по делу Ортиса в конверт. В этот момент в дверях показалось веселое, привлекательное личико, открытое и живое, как физиономия мальчика, и в комнату вошла Нанси Дервент.

— Боб, разве занятия в суде не прекратились сегодня в двенадцать часов до завтрашнего дня? — спросила она Литлфильда.

— Да, прекратились, — ответил прокурор, — и я очень рад этому, так как мне еще нужно про-

смотреть целый ряд уставов.

— Ну, конечно. Это совершенно похоже на вас. Право, я удивляюсь, как это вы и папа не превратились еще сами в какие-нибудь уставы или уложения. Я хочу просить вас поехать со мной после обеда поохотиться на куликов. Прерия так и кишит ими. Пожалуйста, не говорите «нет». Я хочу испробовать мою новую бескурковку двенадцатого калибра. Я уже послала сказать на конюшню, чтобы в экипаж запрягли Муху и Бэс. Они великолепно выносят стрельбу. Я была совершенно уверена, что вы поедете.

Они были обручены. Любовь была в самом разгаре. Кулики одержали верх над авторитетами в кожаных переплетах. Литлфильд принялся складывать свои бумаги.

В дверь постучали. Кильпатрик сказал:

— Войдите.

В комнату вошла красивая темноглазая девушка, с прелестным чуть-чуть подернутым лимонно-желтым оттенком лица. Черный шарф покрывал ее голову и дважды обвивал ее шею.

Она начала говорить по-испански, и из уст ее полился целый каскад меланхолической музыки. Литлфильд не понимал по-испански. Помощник шерифа понимал, и он стал частями переводить

ее речь, по временам поднимая руку, чтобы остановить поток ее слов.

— Она пришла к вам, мистер Литлфильд. Имя ее — Джоя Тревиньяс. Она хочет поговорить с вами о… словом, она имеет отношение к этому Рафаэлю Ортису. Она его… она его возлюбленная. Она уверяет, что он невиновен. Она говорит, что монету сделала она сама и дала ему, чтобы он сбыл ее. Не верьте ей, мистер Литлфильд. Это обычная история с этими мексиканскими девушками; они пойдут на ложь, кражу, убийство ради парня, в которого втюрились. Никогда не верьте влюбленной женщине.

— Мистер Кильпатрик!

Гневное восклицание Нанси Дервент заставило помощника шерифа сбивчиво пояснить, что он неправильно выразил свою мысль. Затем он продолжал перевод:

— Она говорит, что она согласна занять его место в тюрьме, если вы выпустите его. Она говорит, что была больна лихорадкой и что доктор сказал, что она умрет, если не добудет лекарства. Поэтому она и послала фальшивый доллар в аптеку. Она, по-видимому, не на шутку влюблена в этого Рафаэля. Она говорит без конца о любви и таких вещах, которые вы не захотите слушать.

Для прокурора это была старая история.

— Скажите ей, что я ничего не могу сделать, — сказал он. — Дело слушается завтра, и пусть обвиняемый сам защитит себя перед судом.

Нанси Дервент была не так черства. Полным сочувствия взглядом она смотрела на Джою Тревиньяс и по временам переводила взор на своего жениха. Помощник шерифа перевел девушке слова прокурора. Она тихо произнесла одну или две фразы, опустила свой шарф на лицо и вышла.

— Что она сказала? — спросил Литлфильд.

— Ничего особенного, — ответил помощник шерифа. — Она сказала: если жизнь девушки... дайте-ка вспомню — если жизнь девушки, которую ты любишь, когда-нибудь будет в опасности, вспомни Рафаэля Ортиса.

Кильпатрик вышел из комнаты и направился по коридору к кабинету судьи.

— Не можете ли вы чем-нибудь помочь ей, Боб? — спросила Нанси. — Это такой пустяк — всего-навсего один фальшивый доллар, и вдруг из-за него разрушится счастье двух человек. Она была в смертельной опасности, и он спас ее. Разве закон не знает чувства жалости?

— В юриспруденции этому чувству места нет, Нэн, — возразил Литлфильд, — в особенности же

оно неуместно у прокурора. Я обещаю вам, что я не буду строг — я буду мягок. Но все равно он будет признан виновным. Свидетели покажут под присягой, что он спустил фальшивый доллар, который в настоящий момент лежит у меня в кармане в качестве вещественного доказательства. Среди присяжных нет мексиканцев, и они, безусловно, вынесут обвинительный вердикт не сходя с места.

Охота на куликов прошла на редкость удачно, и в увлечении спортом было забыто и дело Рафаэля Ортиса, и горе Джои Тревиньяс. Прокурор и Нанси Дервент отъехали на три мили от города; экипаж катился по ровной, поросшей травой дороге, а затем выехал в волнистую степь, окаймленную черной полосой густого леса, который тянется по берегу Пьедры. За Пьедрой лежит Лонг-Прери, излюбленное место куликов. Подъезжая к реке, они услышали справа от себя лошадиный топот и увидели всадника с черными волосами и смуглым лицом, направлявшегося к лесу по косой линии, так что, казалось, раньше он ехал позади них.

— Я где-то видел этого молодчика, — сказал Литлфильд, обладавший хорошей зрительной памятью. — Но не могу вспомнить, где именно.

Наверное, это какой-нибудь ранчеро, возвращающийся домой коротким путем.

В Лонг-Прери они провели около часу, стреляя по куликам из экипажа. Нанси Дервент, энергичная, смелая западная девушка, была весьма довольна своей новой бескурковкой. Она на целых два выстрела обогнала своего партнера.

Тихой рысью они возвращались домой. На расстоянии ста ярдов от Пьедры из лесу прямо на них выехал всадник.

— Это, кажется, тот самый человек, которого мы встретили раньше, — заметила мисс Дервент.

Когда расстояние между ними уменьшилось, Литлфильд вдруг погнал лошадей, не спуская глаз с приближавшегося всадника. Тот вынул из футляра, висевшего на его седле, винчестер и перекинул его через плечо.

— Теперь я узнал тебя, Сэм-Мексиканец, — пробормотал Литлфильд. — Это ты пригрозил мне в своем милом послании.

Сэм-Мексиканец быстро разрешил все сомненья. У него был прекрасный глазомер. Когда он приблизился на расстояние ружейного выстрела из винтовки, оставаясь недосягаемым для выстрела из дробовика, он взял на изготовку свой винчестер и открыл огонь по сидевшим в

экипаже.

Первый выстрел расщепил заднюю часть сиденья, причем пуля попала в узкое двухдюймовое пространство между плечами Литлфильда и мисс Дервент. Следующая продырявила щит экипажа и штанину на левой ноге Литлфильда.

Прокурор столкнул Нанси с экипажа. Она была немного бледна, но не задала ни одного вопроса. Девушка обладала свойственным обитателям пограничных мест инстинктом, учащим их принимать самые критические обстоятельства без лишних разглагольствований. Они держали свои ружья в руках, и Литлфильд поспешно выбирал патроны из стоявшей перед ним на сиденье коробки и наполнял ими свои карманы.

— Встаньте позади лошадей, Нэн, — сказал он. — Этот молодчик разбойник, которого я когда-то засадил за решетку. По-видимому, он хочет поквитаться. Он знает, что на этом расстоянии наш выстрел не достигнет его.

— Хорошо, Боб, — спокойно сказала Нанси. — Я не боюсь, но вы тоже пойдите ближе сюда. Эй, Бэс, стой смирно!

Она погладила гриву лошади. Литлфильд стоял со своим ружьем наготове, мечтая лишь о том, чтобы негодяй подъехал поближе.

Но сам Мексиканец разыгрывал свою вендетту наверняка. Это была птица, совсем непохожая на кулика. Его острый взгляд провел воображаемую линию вокруг площади, на которой ему не был опасен выстрел из дробовика. По этой линии он и пустил свою лошадь.

Когда Литлфильд и Нанси переходили с одной стороны своего живого бруствера на другую, Сэм воспользовался минутой, выстрелил, и пуля продырявила шляпу прокурора. Один раз он ошибся и переступил через поставленный себе предел. Из ружья Литлфильда блеснуло пламя, и Сэм-Мексиканец только мотнул головой навстречу безобидной дроби. Несколько дробинок попало в лошадь, и она отпрыгнула назад, на безопасную линию.

Разбойник опять выстрелил. Нанси Дервент слабо вскрикнула. Литлфильд обернулся и увидел кровь, стекавшую по ее щеке.

— Я не ранена, Боб. Щепка поцарапала меня. Я думаю, его пуля расщепила одну из колесных спиц.

— Боже, — простонал Литлфильд. — Если бы у меня была хоть картечь.

Сэм остановил свою лошадь и тщательно прицелился. Муха захрапела и упала на землю,

пораженная пулей в голову. Бэс, сообразившая, что охота идет сейчас не на одних куликов, вырвалась из упряжи и бешено умчалась вдаль. Следующая пуля продырявила охотничий жакет Нанси Дервент.

— Ложись! Ложись, — зашептал Литлфильд. — Ближе к лошади, пригнитесь к земле! Вот так! — Он почти швырнул ее на траву сзади лежавшей на земле Мухи.

Странно, в этот момент в мозгу его прозвучали слова мексиканской девушки: «Если когда-нибудь жизнь любимой тобой девушки будет в опасности, вспомни про Рафаэля Ортиса».

Из груди Литлфильда вырвалось взволнованное восклицание:

— Стреляйте в него, Нэн, из-за спины лошади. Стреляйте как можно чаще. Вы не заденете его, но заставите уворачиваться от выстрелов, а я тем временем попытаюсь разработать маленький план действий.

Нанси кинула быстрый взгляд в сторону Литлфильда и увидела, что он вынул карманный нож и открывает его. Затем она отвернулась, чтобы приступить к исполнению его приказания, и открыла быстрый огонь по неприятелю.

Сэм-Мексиканец терпеливо ожидал, когда

прекратится этот невинный обстрел. У него в распоряжении было много времени, и он не хотел рисковать: зачем ему нарваться на заряд дроби в лицо, когда при небольшой осторожности он может от этого легко уберечься. Он надвинул свой тяжелый стетсон на самое лицо и сидел так, пока выстрелы не замолкли. Тогда он подъехал немножко ближе, прицелился в то, что темнелось за спиной павшей лошади, и выстрелил. Но ни один из его врагов не пошевельнулся. Тогда он заставил лошадь сделать еще несколько шагов вперед. Он увидел, что прокурор встал на одно колено и решительно поднял свое ружье. Сэм опять надвинул на лицо шляпу и стал ожидать безобидного дождя из миниатюрных дробинок.

Литлфильд выстрелил с громкой отдачей. Сэм-Мексиканец вздохнул, перегнулся в седле и медленно стал скользить с лошади — мертвая гремучая змея.

В десять часов утра на следующий день открылось заседание суда, и началось слушание дела Рафаэля Ортиса. Прокурор, с рукой на перевязи, встал и обратился к судье:

— С разрешения вашей чести я отказываюсь от обвинения. Даже в том случае, если обвиняемый виновен, в руках правительства нет достаточ-

ных данных для доказательства его виновности. Фальшивая монета, на которой было построено обвинение, не может быть предъявлена как вещественное доказательство. Поэтому я прошу прекратить это дело.

Во время обеденного перерыва Кильпатрик вошел в кабинет прокурора.

— Я только что ходил осматривать Сэма-Мексиканца, — сказал он. — Его тело выставлено напоказ. Старик был крепкий, что и говорить. Но никто не может разобрать, чем вы уложили его. Некоторые полагают, что чем-то вроде гвоздей. Я, по крайней мере, никогда не видел, чтобы ружье заряжали штукой, которая наносит такие огромные раны.

— Я выстрелил в него, — сказал прокурор, — «вещественным доказательством» по делу о фальшивой монете. Какое счастье для меня и еще для кое-кого, что этот доллар был так плохо сделан. Его очень легко было нарезать ножом на кусочки. Скажите, Киль, не можете ли вы спуститься в мексиканский поселок и разыскать ту девушку? Мисс Дервент хочет повидать ее.

Сила печатного слова

Перевод под ред. В. Азова.

В восемь часов утра она лежала в киоске у Джузеппе, еще влажная от станка. Джузеппе, с хитростью, свойственной его племени, валандался на противоположном углу, предоставив своим клиентам брать газету самим. Очевидно, он следовал теории, которая утверждает, что горшок скорее всего закипает, когда на него не смотрят.

Газета, о которой идет речь, была по своим задачам воспитателем, путеводителем, увещевателем, защитником, домашним советником и врачом для своих читателей.

Особенным ее преимуществом являлись три передовые статьи.

Одна обращалась с простыми, целомудренными, но просвещенными доводами к родителям, осуждая телесные наказания детей.

Вторая представляла угрожающее и многозначительное предостережение известному лидеру рабочей партии, который собирался подвигнуть своих товарищей на злокозненную забастовку.

Третья была красноречивым призывом к то-

му, чтобы полицейским чинам оказывались поддержка и содействие во всем, что усиливает их работоспособность, как защитников и слуг общества.

Кроме этих упражнений на поприще гражданских добродетелей, в газете был напечатан мудрый рецепт по сердечным делам. Он был составлен редактором отдела «Ответы на вопросы читателей» по поводу одного специфического случая. Молодой человек жаловался на жестокосердие дамы его сердца. Ему преподавалось, каким путем ее покорить.

В газете находился также, в отделе «Женская красота и как ее сохранить», подробный ответ молодой особе, спрашивавшей совета, как ей приобрести блестящие глаза, румяные щеки и красивое лицо.

Еще одним сообщением, требующим специальных познаний, было краткое письмо в отделе «Личное», гласящее:

«Дорогой Джек, простите меня. Вы были правы. Встретьте меня на углу Мэдисон-сквера и 42-й улицы в 8 ч 30 мин утра. Мы уезжаем в полдень.

Кающаяся».

В восемь часов молодой человек с мрачным лицом и с лихорадочно блестящими глазами

положил монетку и взял, проходя мимо киоска Джузеппе, верхнюю из стопки газет. Он поздно встал после бессонной ночи. Существовала служба, куда следовало попасть ровно в девять; времени едва хватало на то, чтобы проглотить чашку кофе и побриться.

Он был уже у парикмахера и теперь торопился. Он засунул газету в карман, намереваясь пробежать ее позже, во время завтрака. На углу газета выпала у него из кармана и увлекла с собой пару новых перчаток. Он прошел еще три квартала, хватился перчаток и вернулся назад, взбешенный. Ровно в половине девятого он дошел до угла, где валялись перчатки и газета. Но, странным образом, он не обратил никакого внимания на то, чего искал. Он сжимал в своих руках так крепко, как только мог, две маленьких ручки, заглядывал в пару виноватых карих глаз, и радость бурлила в его сердце.

— Милый Джек, — сказала она, — я знала, что вы придете вовремя.

«Что она хочет этим сказать? — недоумевал он про себя. — Но теперь все отлично, отлично».

Сильный ветер рванул с запада, подобрал газету, валявшуюся на тротуаре, развернул ее, и она помчалась кружась по боковой улице. Вверх

по этой улице ехал в кабриолете с высокими колесами, погоняя норовистого гнедого, молодой человек, просивший редактора интимного отдела дать ему рецепт, как победить ту, по которой он вздыхал.

Ветер в шаловливом порыве хлопнул летящей газетой по морде пугливого животного. Длинная гнедая полоса, смешанная с красным от распустившейся сбруи, растянулась на целых четыре квартала. Тогда выступил на сцену пожарный рукав и сыграл свою роль в космогонии. Кабриолет превратился в спичечную соломку, как ему было предопределено, а правивший им молодой человек остался спокойно лежать там, куда его выбросило, — на асфальте перед неким особняком из темного гранита.

Из особняка вышли люди и быстро взяли молодого человека в дом. И там нашлась девушка, положившая его голову к себе на колени, и она не боялась любопытных глаз и говорила, наклонившись к нему «О! Я любила вас, только вас, все время, Бобби! Неужели вы этого не видели? Ах! Если вы умрете, я умру вместе с вами…»

Но при этаком ветре мы должны поторопиться, чтобы уследить за нашей газетой.

Полисмен О’Брайен задержал ее как помеху

уличному движению. Когда он расправлял ее растерзанные листы своими крупными медлительными пальцами и был на расстоянии нескольких шагов от заднего входа в кафе «Шерден Белльз», он задумчиво прочел одну из заглавных строк: «Газеты на забастовочный фронт! Газеты должны поддержать полицию!»

Но… пстт!.. — раздался голос Данни, старшего буфетчика, через дверную щель:

— Майк, старина, иди выпей стаканчик.

Закрывшись, как ширмой, развернутыми дружественными полиции печатными страницами, полисмен О'Брайен быстро осушил чарочку доброго виски и вернулся, бодрый, освеженный, подкрепленный, к своим обязанностям. Разве редактор не вправе был бы гордиться, видя такие немедленные, и духовные и буквальные, результаты своей пропаганды?

Полисмен О'Брайен сложил газету и засунул ее под мышку маленькому мальчику, проходившему мимо. Мальчика звали Джонни, и он взял газету к себе домой. Его сестру звали Глэдис; это она писала редактору отдела «Женская красота» с просьбой указать ей порядочный талисман красоты. Это было несколько недель назад, и она уже перестала искать по утрам ответа. Глэдис

была бледная девушка с грустными глазами и недовольным выражением лица. Она одевалась, чтобы выйти на улицу купить тесьмы. Она приколола булавками себе под юбку два листа, оторванные от газеты, принесенной Джонни. От этого ее юбка из бумажного японского шелка стала шуршать, как если бы она была сшита из самого настоящего французского!

Она встретила на улице девицу Браун из нижнего этажа и остановилась поболтать с ней. Девица Браун позеленела от досады. Только шелк ценой в пять долларов за ярд мог производить шуршание, которое раздавалось, когда Глэдис двигалась. Девица Браун, снедаемая завистью, сказала какую-то колкость и ушла, поджимая губы.

Глэдис направилась к проспекту. Глаза ее теперь сверкали как капские брильянты. Розовый румянец покрыл ее щеки; торжествующая, изящная, оживляющая улыбка преобразила ее лицо. Она была прекрасна. Ах, если б редактор отдела «Женская красота» мог ее увидеть! В его ответе на столбцах газеты говорилось, кажется, о том, что, чтобы сделать некрасивые черты привлекательными, надо развивать в себе добрые чувства по отношению к ближним.

Лидер рабочих, против которого было направлено веское и угрожающее предостережение передовой статьи, приходился отцом Джонни и Глэдис. Он подобрал остатки газеты, из которой Глэдис сделала столь удачное косметически-звуковое применение. Передовая статья не попалась ему на глаза; вместо нее он наткнулся, в отделе «На досуге», на один из тех замечательных головоломных ребусов, которые одинаково завлекают простака и мудреца.

Лидер рабочих оторвал полстраницы, обеспечил себя столом, карандашом и бумагой и углубился в головоломку.

Три часа спустя, напрасно прождав его в назначенном месте, другие, более консервативные главари высказались в пользу соглашения, и забастовка, с ее опасными последствиями, была устранена. Вечерний выпуск газеты трубил кричащими заголовками победу: газете удалось разоблачить намерения лидера рабочих и положить козням его предел.

Остатки этой энергичной газеты также честно послужили доказательству ее могущества.

Джонни, по возвращении из школы, забрался в укромный уголок и извлек на свет листы, спрятанные внутри его одежды; они были искусно

распределены там, чтобы успешно защищать те области, которые обыкновенно подвергаются опасности во время школьных экзекуций. Джонни посещал частную школу, и у него вышли недоразумения с учителем. Как уже было сказано, в утреннем выпуске газеты была великолепная передовица, направленная против телесных наказаний, и она, несомненно, оказала свое действие.

После всего этого может ли кто-нибудь усомниться в могуществе печатного слова?

Громила и томми

Перевод Н. Дарузес.

В десять часов вечера горничная Фелисия ушла с черного хода вместе с полисменом покупать малиновое мороженое на углу. Она терпеть не могла полисмена и очень возражала против такого плана. Она говорила, и не без основания, что лучше бы ей позволили уснуть над романом Сент-Джорджа Ратбона в комнате третьего этажа, но с ней не согласились. Для чего-нибудь существует на свете малина и полицейские.

Громила попал в дом без особого труда: в рассказе на две тысячи слов требуется побольше действия и поменьше описаний. В столовой он приподнял щиток потайного фонаря и, достав коловорот и перку, начал сверлить замок шкафа, где лежало серебро.

Вдруг послышалось щелканье. Комнату залило электрическим светом. Темные бархатные портьеры раздвинулись, и в комнату вошел белокурый мальчик лет восьми в розовой пижаме, держа в руке бутылку с прованским маслом.



— Вы громила? — спросил он тоненьким детским голоском.

— Послушайте-ка его! — хрипло воскликнул гость. — Громила я или нет? А для чего же, по-твоему, я три дня отращивал щетину на подбородке, для чего надел кепку с наушниками? Давай живей масло, я смажу сверло, чтоб не разбудить твою мамашу, у которой заболела голова и она легла, оставив тебя на попечение Фелисии, не оправдавшей такого доверия.

— Ах ты, боже мой, — со вздохом сказал Томми. — Не думал я, что вы так отстали от времени. Это масло пойдет для салата, когда я принесу вам поесть из кладовой. А мама с папой уехали в оперу слушать де Решке. Я тут ни при чем. Это только доказывает, сколько времени рассказ провалялся в редакции. Будь автор поумней, он бы в гранках исправил фамилию на Карузо.

— Замолчи, — прошипел громила. — Попробуй только поднять тревогу, и я сверну тебе шею, как кролику.

— Как цыпленку, — поправил Томми. — Это вы ошиблись. Кроликам шею не свертывают.

— Неужели ты меня не боишься? — спросил громила.

— Сами знаете, что не боюсь, — ответил Том-

ми. — Неужели вы думаете, что я не отличу правду от вымысла? Если б это было не в рассказе, я бы завопил, как дикий индеец, а вы скатились бы по лестнице и на тротуаре вас бы зацапала полиция.

— Вижу, ты свое дело знаешь, — сказал громила. — Валяй дальше.

Томми уселся в кресло и поджал под себя ноги.

— Почему вы грабите чужих людей, господин громила? Разве у вас нет знакомых?

— Вижу, к чему ты клонишь, — злобно нахмурившись, сказал громила. — Старая штука. Твоя младенческая невинность и беззаботность должны вернуть меня к честной жизни. Каждый раз, как залезешь в дом, где имеется младенец, получается одна и та же история.

— Может быть, вы посмотрите жадными глазами на тарелку с холодной говядиной, которую буфетчик забыл на столе? — сказал Томми. — А то времени у нас мало.

Громила согласился.

— Бедненький, — сказал Томми. — Вы, должно быть, проголодались. Постойте, пожалуйста, в нерешительной позе, а я вам принесу чего-нибудь поесть.

Мальчик принес из кладовой жареную курицу,

банку с вареньем и бутылку вина. Громила недовольно взялся за нож с вилкой.

— И часу не прошло, как я ел омаров и пил пиво на Бродвее, — проворчал он. — Хоть бы эти писаки позволили человеку принять таблетку пепсина перед едой.

— Мой папа тоже пишет книжки, — заметил Томми.

Громила поспешно вскочил с места.

— А ты говорил, будто он уехал в оперу, — прошипел он хриплым голосом, подозрительно глядя на мальчика.

— Я забыл сказать, — объяснил Томми. — Билеты он получил бесплатно.

Громила снова уселся на место и стал обгладывать куриную косточку.

— Зачем вы грабите квартиры? — задумчиво спросил мальчик.

— Затем, — ответил громила, вдруг залившись слезами. — Помилуй, Господи, моего темноволосого мальчика Бесси который остался дома.

— Ах нет, — сказал Томми, сморщив нос. — Это вы не так говорите. Прежде чем пустить слезу, вы должны рассказать, отчего вам не повезло.

— Да, да, я и забыл, — сказал громила. — Ну вот, раньше я жил в Мильвоки…

— Берите серебро, — сказал Томми, слезая с кресла.

— Погоди, — сказал громила. — Но я уехал оттуда. Другой работы я найти не мог. Некоторое время я поддерживал жену и ребенка, сбывая ассигнации Южного правительства, но увы! пришлось бросить и это, потому что они не имели хождения. Я махнул на все рукой и с горя сделался громилой.

— А вы когда-нибудь попадались в руки полиции? — спросил Томми.

— Я сказал «громилой», а не нищим, — ответил грабитель.

— Как же мы кончим рассказ, когда вы доедите курицу и у вас, как полагается, начнется приступ раскаяния?

— Предположим, — задумчиво начал громила, — что Тони Пастор закроется сегодня раньше обыкновенного и твой отец приедет с «Парсифаля» в половине одиннадцатого. Я окончательно раскаялся, потому что ты напомнил мне моего сыночка Бесси…

— Послушайте, — сказал Томми, — а вы не ошиблись?

— Нет, клянусь пастелями Б. Кори Килверта, — сказал громила. — Всегда у меня дома остается

Бесси и бесхитростно болтает с бледнолицей женой громилы. Так вот я и говорю, твой отец откроет парадную дверь как раз в ту минуту, когда я буду уходить, нагруженный увещаниями и бутербродами, которые ты завернул для меня в бумажку. Узнав во мне старого товарища по Гарвардскому университету, он отшатывается…

— Не в изумлении, надеюсь? — прервал его Томми, глядя на него круглыми глазами.

— Он отшатывается назад, — продолжал громила и вдруг, поднявшись на ноги, начал выкрикивать: — Ра, ра, ра! Ура, ура, ура!

— Ну-ну, — сказал удивленно Томми. — Первый раз слышу от громилы на работе университетский клич хотя бы и в рассказе.

— Не все тебе знать, — засмеялся громила. — Это я подпустил сценичности. Если такую штуку сыграть в театре, только этот намек на университетскую жизнь и может обеспечить ей успех.

Томми взглядом выразил свое восхищение.

— Вы в этом здорово разбираетесь, — сказал он.

— И вот еще в чем ты проврался, — заметил громила. — Тебе давно надо бы пойти и принести золотой, который мама подарила тебе в день рождения, чтобы я передал его Бесси.

— Но она не для того дарила мне золотой, чтоб вы передали его Бесси, — надувшись, отвечал Томми.

— Ну, ну! — строго сказал громила. — Нехорошо пользоваться тем, что в рассказе попалась неясная по смыслу фраза. Ты понимаешь, что я хотел сказать. Что я там получу от этой литературной стряпни? Я теряю всю выручку да еще каждый раз обязан каяться; а достаются мне разные пустячки и сувениры от вас, ребят. Как же, в одном рассказе я получил в награду всего-навсего поцелуй маленькой девочки, которая застала меня врасплох, когда я вскрывал сейф. Да еще вся она была липкая от патоки. Вот возьму эту скатерть, накину тебе на голову, да и залезу в шкаф с серебром.

— Ничего подобного, — сказал Томми, обхватив колени руками. — Потому что после этого ни один журнал не примет рассказа. Вы же знаете, что вам следует соблюдать единство.

— И тебе тоже, — угрюмо возразил громила. — Вместо того чтобы сидеть здесь, болтать глупости и отнимать хлеб у бедного человека, тебе бы следовало залезть под кровать и вопить благим матом.

— Ваша правда, дружище, — согласился Томми. — Удивляюсь, к чему нас заставляют это

делать. По-моему, Совет по охране детства должен был бы вмешаться. Для ребенка моих лет и неестественно и неприятно соваться под ноги взрослому громиле, когда он занят делом, и предлагать ему красные санки и коньки, лишь бы он не разбудил больную маму. А посмотрите, что они заставляют вытворять громилу! Кажется, редактор должен бы знать… э, да что толку!

Громила вытер руки о скатерть и, зевнув, поднялся с места.

— Ну, давай кончать, — сказал он. — Благослови тебя Боже, мой мальчик, ты нынче не дал человеку совершить преступление. Бесси станет молиться за тебя, когда я попаду домой и распоряжусь на этот счет. Больше я не ограблю ни одной квартиры — по крайней, мере до тех пор, пока не выйдут июньские журналы. Тогда придет черед твоей сестренки — она застанет меня, когда я буду извлекать из чайника четырехпроцентные облигации США, и попытается подкупить меня коралловыми бусами и слюнявым поцелуем.

— Напрасно вы жалуетесь, не вам одному плохо, — вздохнул Томми, сползая с кресла. — Подумайте, ведь я никогда не высыпаюсь. Нам обоим достается, старик. Я бы хотел, чтоб вам удалось вылезти из рассказа и в самом деле ограбить

кого-нибудь. Может быть, вам повезет, если мы попадем в инсценировку.

— Вряд ли, — мрачно сказал громила. — Я, должно быть, всегда буду сидеть на мели, если юные дарования вроде тебя будут пробуждать во мне стремление к добру, а журналы — платить по выходе из печати.

— Очень жаль, — сочувственно сказал Томми. — Только я тоже ничем помочь не могу. Это уж такое правило семейной беллетристики, что громиле никогда не везет. Ему мешает или младенец вроде меня, или юная героиня, или в самую последнюю минуту его сообщник, Рыжий Майк, припоминает, что служил в этом доме кучером. Во всяком рассказе вам достается самая плохая роль.

— Ну, мне, пожалуй, пора смываться, — сказал громила, подхватывая фонарь и коловорот.

— Вы должны взять с собой остаток курицы и вино для Бесси и его мамы, — спокойно заметил Томми.

— Да провались ты, ничего им не надо! — с досадой воскликнул громила. — У меня дома пять ящиков Шато-де Бейхсвель разлива тысяча восемьсот пятьдесят третьего года. А ваш кларет пахнет пробкой. А на курицу они и глядеть не

станут, если ее не протушить в шампанском. Когда я выхожу из рассказа, мне так стесняться не приходится. Кое-что зарабатываю иной раз.

— Да, но вы все-таки возьмите, — настаивал Томми, нагружая громилу свертками.

— Спасибо, молодой хозяин, — послушно произнес громила. — Саул — гроза вторых этажей — никогда тебя не забудет. А теперь выпусти меня поживей, малец. Наши две тысячи слов подходят к концу.

Томми проводил его через холл к парадной двери. Вдруг громила остановился и тихонько окликнул мальчика:

— А это не фараон там перед домом стоит и любезничает с девушкой?

— Да, — ответил Томми, — ну и что же из этого?

— Боюсь, как бы он меня не забрал, — сказал громила. — Не забывай, что это беллетристика.

— Батюшки мои! — воскликнул Томми, поворачиваясь. — Идемте, я выпущу вас черным ходом.

Рождественский подарок

Перевод под ред. В. Азова.

Лет двадцать развивался корень зла.

К концу этого срока он был уже вполне на высоте положения.

Если бы вы жили где-нибудь в окружности ранчо Сэндаун, хотя бы на расстоянии пятидесяти миль от него, вы не могли бы не слышать о нем. Корень зла этот обладал густыми, черными как смоль волосами, необыкновенно искренними темно-карими глазами, а смех его разносился по прерии, точно журчанье где-то скрытого ручейка. Имя ему было Розита Мак-Меллэн, и это была дочь старого Мак-Меллэна, с овечьего ранчо Сэндаун.

Однажды в Сэндаун прибыли верхом на двух золотисто-рыжих конях — или, выражаясь точнее, на облезлых гнедых, — два претендента на руку Розиты. Один из них был Мэдисон Лэн, а другой «Малыш из Фрио». Но в это время его еще не звали «Малышом из Фрио»: он еще не успел тогда заслужить честь особой клички. Имя его было попросту Джонни Мак-Рой.

Не подумайте, пожалуйста, что эти двое являлись единственными обожателями прекрасной Розиты. Кони дюжины других грызли удила, стоя у длинной коновязи ранчо Сэндаун. Много глаз в окрестных саваннах выпучивались по-бараньи при виде Розиты, но не всегда эти глаза принадлежали баранам Дана Мак-Меллэна. Но Мэдисон Лэн и Джонни Мак-Рой далеко обогнали остальных участников этого гандикапа, а потому мы и заносим их имена в летопись.

Мэдисон Лэн, молодой скотовод из округа Нуэсес, остался победителем. Он и Розита были обвенчаны в день Рождества. Вооруженные, веселые, шумливые, ковбои и овчары, великодушно отложив в сторону свою наследственную ненависть, соединились вместе, чтобы общими силами отпраздновать торжество.

На ранчо Сэндаун стон стоял от залпов — шуток и из револьверов, от блеска — уздечек и сверкающих глаз, от поздравлений и приветствий.

Но, когда свадебное торжество достигло крайнего предела веселья, вдруг появился Джонни Мак-Рой, мрачный, терзаемый ревностью, похожий на одержимого.

— Я вам сейчас поднесу рождественский подарок, — завопил он громовым голосом и встал

у дверей, держа в руках револьвер сорок пятого калибра. Уже в те времена он имел репутацию необычайно меткого стрелка.

Первая его пуля срезала мочку правого уха у Мэдисона Лэна. Дуло револьвера отклонилось на один дюйм. Следующий выстрел поразил бы новобрачную, если бы у овчара Карсона винтики в голове не оказались бы хорошо смазанными и не работали бы так быстро. Садясь за стол, гости, соблюдая хороший тон, повесили свои револьверы, вместе с поясами, на гвозди, вбитые в стену. Но Карсон с необычайной быстротой швырнул в Мак-Роя свою тарелку, полную жареной дичи и картошки, и испортил ему прицел. Вторая пуля сбила только белые лепестки с цветка — «испанского кинжала», торчавшего фута на два над головой у Розиты.

Гости отпихнули стулья и бросились к оружию. Стрелять в жениха и невесту во время свадьбы показалось им поступком крайне бестактным. Через шесть секунд около двадцати пуль должны были просвистеть по направлению к Мак-Рою.

— В следующий раз я буду лучше стрелять, — прокричал Джонни, — и этот следующий раз настанет.

И он быстро скрылся.

Карсон, овчар, движимый после успешного опыта с брошенной тарелкой жаждой новых подвигов, первый добежал до дверей. Из темноты пуля Мак-Роя уложила его.

Тогда ковбои бросились за ним, взывая к мщению; вообще, убийство овчара не всегда вызывало возмущение с их стороны, но в данном случае оно определенно шло вразрез с правилами приличия. Карсон не был виноват ни в чем; он не принимал никакого участия в обряде бракосочетания; и никто даже не слыхал, чтобы он декламировал гостям рождественские гимны.

Но вылазка не удалась. Мак-Рой был уже в седле и несся вскачь, в спасительный чапарраль, осыпая своих преследователей громкими проклятиями и угрозами.

В эту-то ночь и родился «Малыш из Фрио». Он стал «вредным элементом» этих краев. Отвергнутый мисс Мак-Меллэн, он сделался опасным. Когда полицейские явились арестовать его за убийство Карсона, он убил двоих из них и затем стал вести жизнь отщепенца. Он научился удивительно хорошо стрелять обеими руками. Иногда он появлялся в городках и поселках, затевал ссоры по малейшему поводу, укладывал своего противника и смеялся над блюстителями закона.

Он был так хладнокровен, так беспощаден, так проворен, так бесчеловечно кровожаден, что к поимке его делались лишь слабые попытки. Когда он был, наконец, застрелен маленьким, одноруким мексиканцем, который сам еле жив был от страха, на душе Малыша из Фрио было уже восемнадцать убийств. Около половины жертв он уложил в честном поединке, где исход зависел от быстроты выстрела. Другую половину он умертвил просто из жестокости, ради одного удовольствия.

Много существует на границе рассказов о его дерзкой храбрости и отваге. Но он не был из породы тех головорезов, у которых все-таки бывают минуты великодушия и даже кротости. Уверяют, что он никогда не знал чувства милосердия к лицам, вызвавшим его гнев. Однако в этот и в каждый день Рождества как-то хочется отдать, по возможности, каждому должное за всякую искру добра, которая могла бы в нем оказаться. Если Малыш из Фрио совершил когда-нибудь доброе дело, если в сердце его шевельнулось когда-нибудь великодушное чувство, это случилось именно в этот день. Вот каким образом это произошло.

Человеку, потерпевшему неудачу в любви, никогда не следует вдыхать аромат цветов ратамы.

Они опасно возбуждают память.

Однажды в декабре в округе Фрио одно дерево ратамы стояло в полном цвету: зима была теплая, точно весна. Мимо этого дерева ехал Малыш из Фрио со своим клевретом и товарищем по убийствам Фрэнком-Мексиканцем. Малыш остановил своего мустанга, но остался в седле, задумчивый и нахмуренный, зловеще прищурив глаза. Слабый, сладкий аромат затронул какие-то фибры в нем, проникнув сквозь сковывавшую его броню из льда и железа.

— Не понимаю, о чем это я думаю, Мекс, — сказал он своим обычным мягким и певучим голосом. — Как это я мог забыть про один рождественский подарок? Завтра ночью я поеду и застрелю Мэдисона Лэна в его собственном доме. Он отбил у меня мою девушку. Розита вышла бы за меня, не встань он между нами. Сам не понимаю, как я это откладывал до сих пор.

— А, ерунда, Малыш! — сказал Мексиканец. — Не говори вздора. Ты знаешь, что завтра нельзя будет и на милю подъехать к дому Мэда Лэна. Я видел третьего дня старика Аллена и он сказал мне, что у Мэда на Рождестве будут гости. Помнишь, как ты испортил торжество в день свадьбы Мэда, и какие ты посылал угрозы? Неужели ты

думаешь, что Мэд Лэн не держит теперь ухо востро в предположении, что некто мистер Малыш может незванно появиться среди гостей? Тошно слушать, Малыш, такие речи.

— Я поеду, — спокойно повторил Малыш, — на праздник к Мэдисону Лэну и убью его. Мне давно надо было сделать это. Знаешь, Мекс, ровно две недели назад я видел во сне, что я женат на Розите, а не он; и мы жили вместе в доме, и я видел, как она мне улыбается... и — проклятье, Мекс! — она досталась ему! но зато он будет моим, — да, сударь, она стала его в канун Рождества, и в этот же день он будет моим.

— Есть ведь и другие способы самоубийства, — посоветовал Мексиканец. — Почему бы тебе просто не отдаться в руки шерифу?

— Он будет моим, — сказал Малыш.

Канун Рождества наступил; воздух был мягок, точно в апреле. Быть может, был отдаленный намек на мороз, но он только пощипывал, как сельтерская вода, и в воздухе носился легкий запах поздних полевых цветов и мескитной травы.

Вечером все пять или шесть комнат ранчо ярко осветились. В одной из комнат горела елка: у Лэнов был трехлетний сынишка и ожидалось человек двенадцать или более гостей с ближай-

ших ранчо.

Когда стемнело, Мэдисон Лэн отозвал в сторону Джима Бэлчэра и еще троих ковбоев, служивших у него на ранчо.

— Слушайте, ребята, — сказал Лэн, — держите ухо востро. Ходите вокруг дома и наблюдайте зорко за дорогой. Все вы знаете Малыша из Фрио, как его теперь зовут; если вы его увидите, откройте по нему огонь без всяких предисловий. Я не очень-то боюсь, что он явится сюда, но Розите страшно. Она боится этого каждое Рождество, с тех пор как мы женаты.

Вскоре приехали гости, в таратайках и верхами, и начали располагаться в комнатах. Вечер проходил весело. Гости с удовольствием ели отличный ужин, приготовленный Розитой, и похваливали хозяйку, а затем разбрелись группами по комнатам и по широкой галерее, куря и болтая.

Елка, разумеется, привела в восторг малышей; в особенности они обрадовались, когда появился рождественский дед, с великолепной белой бородой, одетый в белый мех, и начал раздавать игрушки.

— Это мой папа, — объявил шестилетний Билли Сэмпсон, — я видел, как он одевался.

Беркли, овчар, старый приятель Лэна, остано-

вил Розиту, когда она шла мимо него по галерее, где он сидел и курил.

— Ну, что же, миссис Лэн, — сказал он, — вы, надеюсь, перестали теперь каждое Рождество бояться этого парня, Мак-Роя, не правда ли? Мы как раз толковали об этом с Мэдисоном.

— Почти, — улыбаясь, ответила Розита, — но я все-таки иногда нервничаю. Никогда не забуду я этого ужаса, когда он чуть не убил нас.

— Это самый безжалостный негодяй в мире, — сказал Беркли. — Всем жителям округа следовало бы подняться и устроить на него облаву, как на волка.

— Он совершил ужасные преступления, — сказала Розита, — но... я... не знаю. Я думаю, что в каждом человеке где-то в глубине души таится крупица добра. Он не всегда был злодеем — я это знаю.

Розита вышла в коридор между комнатами. Рождественский дед, в бороде и мехах, как раз проходил мимо.

— Я слышал в окно, что вы говорили, миссис Лэн, — сказал он. — В тот момент я только что опустил руку в карман, чтобы вынуть рождественский подарок вашему мужу. Но вместо этого я оставил вам подарок Он там, в комнате

направо.

— Спасибо, милый дедушка, — весело сказала Розита.

Она вошла в комнату, а рождественский дед вышел на свежий воздух.

В комнате направо она нашла одного Мэдисона.

— Где же мой подарок? Дед сказал, что оставил его здесь для меня, — сказала Розита.

— Я не видел ничего похожего на подарок, — смеясь, сказал ей муж, — разве только, что он меня назвал подарком?

На следующий день Габриэль Родд, старший на ранчо Хо, вошел в почтовую контору в Лома-Альта.

— Ну, вот, Малыш из Фрио получил наконец свою порцию свинца, — сказал он почтмейстеру.

— Да неужели? Каким образом?

— Отличился один из мексиканцев-овчаров старого Санхеса. Подумайте только: Малыш из Фрио убит овчаром! Пастух увидел около полуночи, что он едет мимо лагеря, и так перепугался, что схватил свой винчестер и выпустил заряд. Но всего забавнее то, что Малыш оказался наряженным в полное одеяние рождественского деда, с ног до головы. Подумайте только, Малыш из Фрио

вздумал разыгрывать Санта-Клауса.

Особенный Нью-Йоркский колорит

Перевод Л. Каневского.

Как-то в разговоре с Ривингтоном я упомянул, что мне нужны характерные для Нью-Йорка сцены или эпизоды, ну, что-то типичное, без расставленных точек над «i».

— В вашем писательском бизнесе, — ответил Ривингтон, — это очень нужно, и вы обратились по адресу. Я знаю о Нью-Йорке практически все, ну а то, что не знаю, едва уместится в сонете из шести строк или в старомодной женской шляпке. Я вам покажу такой местный колорит, что вы не поймете, что это — яркая обложка журнала или палата для пациентов с рожистым воспалением. Ну, когда начнем?

Ривингтон — молодой повеса, коренной ньюйоркец по рождению, по своим предпочтениям, по своей верности городу.

Я сказал ему, что буду рад взять его в свои провожатые и ангелом-хранителем, чтобы с его помощью сделать необходимые записи о великих, мрачных, особо характерных чертах Манхэттена. А когда начать — это его дело, когда

ему будет удобно.

— Что ж, тогда начнем сегодня же вечером, — сказал Ривингтон, видимо, тоже заинтересовавшись моим предложением, как и любой добропорядочный парень. — Давайте вместе пообедаем часов в семь, после я поведу вас и покажу такое разнообразие метрополии, что вам придется вооружиться кинетоскопом, чтобы успеть все разглядеть.

Мы с Ривингтоном приятно пообедали в его клубе, на Пятьдесят первой улице, затем отправились на поиски вечно ускользающих колоритных впечатлений.

Когда мы выходили из клуба, то увидели двух мужчин. Они стояли на тротуаре и вели о чем-то серьезную беседу.

— И с помощью какого рационального процесса, — говорил один из них, — вы пришли к выводу, что разделение общества на класс производителей и на класс неимущих обречено на провал по сравнению с системой конкуренции, которая имеет тенденцию к монополизации и неблагоприятно сказывается на промышленном развитии?

— Да спорхните вы со своей жердочки! — сказал второй, в очках. — Все ваши выкладки похожи

на карточный домик. Ваши болтуны, которые увязывают свои хромающие на обе ноги теории с конкретными силлогизмами и логическими заключениями, несут несусветную чепуху. Вам не обмануть меня своим старым софизмом с поседевшими от времени усиками. Вы цитируете Маркса, Хиндлана и Каутского, а кто они? Тьфу! А Толстой? Да у него давно чердак с крысами поехал! Сколько можно вбивать вам в голову, что идея кооперативного благоденствия и отмена конкурентоспособной системы только усиливает мою болевую чувствительность. По вам плачет дурдом!

Я, остановившись в нескольких ярдах от спорящих, вытащил свою маленькую записную книжку.

— Бросьте, пошли дальше, — довольно нервно сказал Ривингтон, — для чего вам слушать весь этот вздор?

— Ну, что вы, — зашептал ему я, — это как раз то, что мне нужно. Ведь эти типы, разговаривающие на чудовищном сленге, — самая выдающаяся характеристика вашего города. Это, наверное, сленг с улицы Бауэри? Мне хотелось бы побольше его услышать.

— Если я правильно вас понял, — продолжал

тот, который начал первым, — вы не верите в возможность реорганизовать общество на основе общих для всех интересов?

— Машите хвостом на своей территории! — парировал человек в очках. — Из моего горна, оповещающего о туманах, не вылетала такая музыка. Я только говорил и говорю сейчас, что она непрактична. Ребята под полицейским надзором не полезут в драку, а пьяницу с жестяной канистрой в заднем кармане не затащишь на урок по Закону Божьему. Можете держать пари на ваши дырявые носочки, что ситуация повсюду поганая — от района Бэттери до вашего завтрака на столе! Сейчас стране нужен мерзавец, личности типа старика Кобдена или мудрый малый типа старика Бена Франклина, которые выйдут на первый план и дадут по мозгам ниггерам бейсбольной битой. Врубаетесь в то, что я вам говорю? Нет?

Ривингтон нетерпеливо теребил меня за руку.

— Да пошли отсюда, прошу вас. Пойдемте куда-нибудь в другое место. Для чего вам все это?

— Что вы, мне как раз это и нужно. Крутой разговор, то, что нужно! В языке низших слоев общества есть нечто такое живописное, что на самом деле просто уникально. Так по вашему мнению, это сленг с улицы Бауэри?

— Ну ладно, — смирился Ривингтон. — Не буду больше скрывать. Один из спорщиков — профессор колледжа. Он проторчал пару дней в клубе. У него в последнее время появилась своя причуда — говорить на диком сленге. Он думает, что сленг только украшает речь. А второй — один из известных нью-йоркских экономистов. Ну, теперь пошли? Для чего он вам, это сленг, все равно вы не станете им пользоваться.

— Не стану, конечно, — согласился я с ним. — Но разве это не типично для Нью-Йорка? Что скажете?

— Совсем нет, — сказал Ривингтон, вздохнув с облегчением. — Я рад, что вы учуяли разницу. Но если вы хотите услыхать настоящий крутой сленг с улицы Бауэри, то я отведу вас туда, насладитесь, мало не покажется!

— Мне бы очень хотелось, — сказал я, — если это на самом деле то, что мне нужно. Как вы думаете, а небезопасно ли идти на встречу с такими характерными типами безоружными?

— Да нет, — уверил меня Ривингтон, — только не в это время. По правде говоря, я давненько не был на Бауэри-стрит, но все равно знаю ее не хуже Бродвея. Найдем там нескольких колоритных местных типов, и вы с ними поговорите. Не

пожалеете. Они говорят на особом диалекте, его вы нигде больше не услышите, это точно.

Мы с Ривингтоном сели на трамвай на Сорок второй улице и поехали на юг третьим маршрутом по Третьей авеню.

На Хьюстон-стрит мы вышли и пошли пешком.

— Вот мы и на знаменитой Бауэри, — сказал Ривингтон, — той самой Бауэри-стрит, которая прославлена в песнях и прозе.

Мы проходили квартал за кварталом, мимо магазинов со всем необходимым для мужчин, мимо выставленных в витринах рубашек с манжетами и продетыми в них запонками, с прицепленными к ним ценниками. В других витринах мы видели только мужские галстуки и никаких рубашек. Люди разгуливали по тротуарам вверх и вниз по улице.

— В каком-то роде, — сказал я, — это мне напоминает Кокомойно, штат Индиана, когда наступает сезон сбора персиков.

Мое замечание почему-то рассердило Ривингтона.

— Войдите в один из этих салунов или «шоу» с водевилем имея пачку денег потолще, и за несколько мгновений увидите, как Баэури-стрит

поддержит свою звонкую репутацию.

— Вы ставите какие-то просто невыполнимые условия, — холодно ответил я.

Время от времени Ривингтон останавливался и сообщал мне, что мы находимся в самом сердце Бауэри. На углу стоял знакомый Ривингтону полицейский.

— Хэлло, Донахью! — сказал мой гид. — Ну, как дела? Мы с приятелем пришли сюда к вам, чтобы увидеть местный колорит. Моему другу не терпится увидать ваших живописных типов. Не покажешь ли чего-нибудь попроще в этом плане? Ну что-то, имеющее свой особый колорит?

Полисмен Донахью развернул к нам свое грузное тело, его красная физиономия излучала доброжелательность. Он махнул своей дубинкой в сторону улицы.

— О чем разговор! — хрипло сказал он. — Вот идет один малый, который родился здесь, на Бауэри-стрит. Он-то знает ее всю назубок, каждый ее дюйм. Но за ней, далее Бликер-стрит, он уже ни черта не знает.

Нам навстречу, припрыгивая, шел молодой человек лет двадцати восьми — двадцати девяти, с гладким лицом, засунув руки в карманы пальто. Полицейский Донахью остановил его грациоз-

ным взмахом своей дубинки.

— Добрый вечер, Керри, — поприветствовал его коп. — Вот тут парочка чуваков, мои друзья, хотят кое-что узнать о Бауэри, потрепать с кем-нибудь языком. Не проводишь ли их пару ярдов?

— Чего ж не проводить, Донахью, — любезно согласился молодой человек.

Донахью пошел дальше по своему участку.

— Ну и рожа! — прошептал мне Ривингтон, подталкивая локтем. — Вы только посмотрите на его челюсть!

— Послушай, приятель, — сказал Ривингтон, сдвигая на затылок свою шляпу, — ты понял, что нам от тебя нужно? Мы с приятелем хотим прогуляться по этой старушке-улице. Коп сказал нам, что ты все знаешь здесь, на Бауэри, так?

Я не мог без восхищения наблюдать за тем, как ловко Ривингтон умел приспосабливаться к новому окружению.

— Донахью вам сказал правду, — откровенно признался молодой человек. — Я на самом деле вырос здесь, на Бауэри-стрит. Кем я только не был в своей жизни: разносчиком газет, водителем грузовика, боксером, членом организованной преступной банды громил, барменом и спортсменом в самом разнообразном значении этого слова.

Такой мой большой опыт, несомненно, говорит, по крайней мере, о моем шапочном знакомстве с некоторыми областями бауэрской жизни. Буду рад предложить все свои знания, весь свой опыт к услугам друзей моего друга Донахью.

Ривингтон, судя по всему, был чем-то недоволен.

— Послушайте, — несколько робко начал он, — не водите ли вы нас за нос? Нам такой жаргон ни к чему. Мы ожидали другого. Вы даже ни разу не произнесли «Здорово! Чтоб мне провалиться!». Вы на самом деле с Бауэри-стрит?

— Боюсь, — улыбнулся бауэрский парень, — что когда-то вы заглянули в винный погребок литераторов и там вам всучили фальшивую монету относительно Бауэри. То «арго», которое вы, несомненно, имеете в виду, стало изобретением некоторых ваших литературных первооткрывателей, которые обследовали необозримые глубины Третьей авеню и стали вкладывать в уста ее обитателей какие-то странные, нечленораздельные звуки. Доверчивые читатели в своих надежно укрытых домах далеко на Севере и на Западе были обмануты этим новым «диалектом», читали все это и верили. Это были пионеры, типа Марко Поло и Мунго Парка, но

их тщеславные души были неспособны провести демаркационную линию между истинным открытием и собственным изобретением, от литературного праха этих исследователей разит отбросами подземки. Совершенно верно, что после опубликования этого мифического языка, приписываемого обитателям Бауэри-стрит, некоторые из любимых фраз и удачных метафор были в довольно ограниченном масштабе восприняты, их использовали на местном уровне, потому что у нас такой народ — он быстро ассимилирует все, что может дать коммерческое преимущество. Туристам, посещающим наш по новой открытый край и мечтающим на практике увидеть и услышать то, о чем они читали в своих литературных справочниках, давали всю нужную информацию — спрос рождает предложение. Рынок, никуда не денешься!

Но, может, я ухожу в сторону от поставленного вопроса? Чем я могу быть вам, джентльмены, полезен? Можете мне поверить на слово, гостеприимство нашей улицы распространяется на всех без исключения. У нас здесь, думаю, немало злачных местечек для развлечений, но вряд ли они соблазнят вас.

Я почувствовал, как Ривингтон всем телом

прижался ко мне, видимо опасаясь упасть от удивления.

— Послушайте, — сказал он весьма неуверенно, — не зайти ли нам куда, не пропустить ли по стаканчику?

— Благодарю вас, но я не пью. Я считаю, что алкоголь, даже в самых незначительных количествах, не позволяет видеть все в истинном свете. А мне это совсем ни к чему, ведь я изучаю Бауэри. Я прожил на ней почти тридцать лет и только теперь начинаю ощущать биение ее истинного пульса. Она похожа на могучую реку, в которую втекают чуждые ей по природе ручейки. Каждый из них несет в своем течении странные семена, странный ил, водоросли и только весьма редко — дающий надежду цветочек.

Чтобы сконструировать такую реку, нужен человек, умеющий возводить плотины против избытка воды, который являлся бы натуралистом, геологом, гуманитарием, хорошим пловцом, умеющий к тому же хорошо нырять. Я люблю свою Бауэри-стрит. Она была моей колыбелью и моим вдохновением. Я опубликовал одну книгу. Критики оказались ко мне весьма добры. Я вложил в свое сочинение всю свою душу. Теперь пишу вторую, в которую намерен, кроме души, вложить

сердце и весь свой мозг. Можете, джентльмены, смело считать меня своим гидом. Куда вы хотите, чтобы я вас повел, какие места вам показать?

Я посмотрел на Ривингтона только одним глазом, опасаясь глядеть сразу двумя.

— Нет, спасибо, — сказал Ривингтон. — Мы искали… мы, то есть… мой друг… все перепутал, ничего подобного мы не предполагали… не было прецедента… но тем не менее весьма вам обязаны…

— Ну, если вы хотите, — продолжал наш друг, — встретиться с некоторыми молодыми ребятами с Бауэри, то я с удовольствием отведу вас в штаб-квартиру нашего филологического общества Ист-Сайд-Каппа-Дельта.

— Нам ужасно жаль, — сказал Ривингтон, — мой друг просто изводит меня, когда начинает требовать — подавай ему местный колорит, и баста! Просто ужас! Так что мы с удовольствием зашли бы в филологическое общество «Каппа Дельта»… но только в другой раз!

Мы попрощались и сели на трамвай, чтобы вернуться домой. На Верхнем Бродвее мы с Ривингтоном немного поссорились и попрощались на углу.

— Но в любом случае, — сказал он, взяв себя в

руки и немного успокоившись, — такое могло случиться только в нашем маленьком, старом Нью-Йорке.

Это было типично для Ривингтона, если говорить скромно.

Резолюция

Перевод Зин. Львовского.

Если вам случится побывать в Главном Земельном Управлении, зайдите в комнату чертежника и попросите его показать вам карту графства Саладо. Медлительный немец — возможно, сам Кемпфер! — принесет вам ее. Эта карта будет четырех футов в квадрате, на толстой кальке. Надписи и чертеж выполнены художественно, ясно и четко. Заголовок написан великолепным неразборчивым немецким текстом и украшен классически-тевтонским орнаментом — вероятно, Церерой или Помоной, прислоненной к заглавным буквам и держащей рог изобилия, откуда сыплются виноград и венские колбаски. Вам следует сказать ему, что вы желали бы видеть не эту карту и что вы просите принести вам предыдущую, официальную. Он ответит вам «Ach so!» — и принесет карту вполовину меньше первой — тусклую, старую, рваную и вылинявшую.

Посмотрев внимательно ее северо-западный угол, вы сейчас же найдете стертые контуры реки Чиквито и, может быть (если у вас хорошее

зрение!), различите безмолвного свидетеля этого рассказа.

Начальник Земельного Управления был человек старого стиля; его старинная вежливость была слишком церемонна даже для его современников. Он одевался в тонкое черное сукно, и в длинных фалдах его сюртука был намек на римскую тогу. Воротнички у него были не пристегнутые; галстук представлял собою узкую, траурную ленточку, которая завязывалась таким же узлом, как и шнурки его башмаков. Его седые волосы были сзади немного длинноваты, но лежали гладко и аккуратно. Лицо его, гладко выбритое, походило на лицо государственного деятеля былых времен. Большинство людей находило это лицо суровым, но когда с него сходило официальное выражение, некоторым случалось видеть его совершенно иным. Особенно милым и нежным оно казалось тем, кто был при нем во время последней болезни его единственного ребенка.

Управляющий давно овдовел, и жизнь его, вне официальных обязанностей, до такой степени была посвящена малютке Джорджии, что об этом говорили, как о чем-то замечательном и трогательном. Он был человек сдержанный,

корректный почти до суровости, но девочка все это переделала и так забралась в самое его сердце, что едва ли чувствовала отсутствие матери, любви которой была лишена. Между ними установились удивительные, чисто товарищеские отношения, так как вдумчивая и серьезная не по годам девочка во многом была похожа на отца.

Однажды, когда она лежала в постели и щеки ее горели от лихорадочного жара, она вдруг сказала:

— Папа, мне хотелось бы сделать что-нибудь доброе для массы, массы детей!

— А что бы ты хотела сделать, дорогая? — спросил управляющий. — Устроить пикник?

— О, я не об этом говорю. Я думала о бедных детях, у которых нет дома, которых не любят и не балуют, как меня. Я тебе сейчас скажу, папочка, что я хочу!

— Что, моя детка?

— Если я не поправлюсь, я оставляю им тебя. Не совсем отдам тебя, а только на время, потому что ты ведь должен прийти к маме и ко мне, когда тоже умрешь. Но, если у тебя будет время, не поможешь ли ты им как-нибудь, если я очень попрошу тебя об этом?

— Что ты, дорогая, ненаглядная детка, что

ты? — сказал управляющий, держа ее горячую ручонку у своей щеки. — Ты скоро поправишься, и тогда посмотрим, что бы нам вместе сделать для них.

Но управляющему не суждено было работать совместно с любимым ребенком. В ту же ночь маленькое, хрупкое тельце внезапно устало бороться, и Джорджия сошла с большой сцены, едва начав при свете рампы играть свою роль. Но, очевидно, где-то был режиссер, знающий свое дело. Она успела подать реплику тому, кто должен был говорить после нее.

Через неделю после ее похорон управляющий снова появился в конторе, немного еще более церемонный, немного еще более бледный и серьезный, чем всегда, но в том же черном сюртуке, еще свободнее висевшем на его высокой фигуре.

Его стол был завален бумагами, набравшимися за четыре ужасных недели его отсутствия. Старший клерк сделал все, что мог, но были вопросы чисто юридического характера, требовавшие вмешательства знатока и касающиеся продажи и аренды школьных земель, разбивки их на луговые, посевные, орошаемые и лесные участки; точно так же надо было решить вопрос об отводе земли для поселенцев.

Управляющий безмолвно и упорно принялся за работу, отгоняя свое горе как можно глубже и стараясь сосредоточить свои мысли на сложных и важных работах своей конторы. На второй день после возвращения он позвал привратника, указал ему на стоявший около него обитый кожей стул и приказал вынести его в чулан для ненужных вещей, который находился на чердаке здания. На этом стуле обычно сидела Джорджия, когда приходила после полудня в контору за отцом.

Проходило время, и управляющий, казалось, становился все более молчаливым, одиноким и сдержанным. В нем стала проявляться новая черта: он не переносил присутствия детей. Когда ребенок одного из клерков, болтая, входил в большую канцелярию, прилегающую к его небольшому кабинету, управляющий часто тихонько подкрадывался к двери и запирал ее. Он постоянно переходил улицу, чтобы не встречать школьников, когда те счастливой толпой вприпрыжку бежали по тротуару; и при этом его строгие губы вытягивались в прямую линию.

Прошло около трех месяцев после того, как дожди смыли последние лепестки увядших цветов с холмика над малюткой Джорджией, когда

«земельные акулы» Хэмлин и Эверай подали заявление о предоставлении им вакантной и самой «жирной» (как они считали) земли.

Не следует думать, что все так называемые земельные акулы действительно заслуживали, это название. Многие из них были люди почтенные и весьма деловые, а некоторые могли беспрепятственно войти в самые высшие учреждения штата и сказать: «Джентльмены, мы хотели бы получить то-то и то-то, и дело обстоит вот так». Но действительный поселенец ненавидел земельную акулу немногим менее, чем трехлетнюю засуху и червя.

Акула обычно осаждала Земельную Контору, где хранились все земельные документы, и упорно охотилась за «вакансиями», то есть за участками бесхозной казенной земли, обычно не указанными на официальных картах, но фактически существующими «на местах». Закон предоставлял право всякому, получившему от штата разрешение, делать на основании последнего заявку на любую землю, не имеющую законного владельца. Большинство этих бумаг было теперь в руках земельных акул. Таким образом, они за несколько сот долларов приобретали земли, стоившие столько же тысяч. Естественно,

что поиски вакансий были очень энергичны. Но часто — очень часто! — земля, приобретенная таким способом и считавшаяся по закону «бесхозной», на самом деле была занята счастливыми и довольными поселенцами, которые годами трудились над созданием собственного очага и вдруг узнавали, что их документы не имеют никакой цены, и получали категорическое приказание выселиться. Благодаря этому возникла горькая и понятная ненависть трудящихся поселенцев к хитрым и только в редких случаях жалостливым спекулянтам, которые выгоняли бедняков, лишали их крова и хлеба и не давали им возможности пользоваться плодами трудов своих. История штата была полна этого антагонизма. Земельная акула редко показывалась на участке, откуда ей предстояло выбросить несчастные жертвы чудовищно запутанной земельной системы, а всю неприятную работу поручали своим агентам. В каждом домике был свинец, из которого готовились пули для врага, многие из собратьев которого удобрили луга своею кровью. Причина всего этого лежала в далеком прошлом.

Когда штат был еще молод, он ощущал потребность в привлечении новых поселенцев и вознаграждал пионеров, уже находившихся

в его пределах. Каждый год он выдавал многочисленные бумаги на право владения землей за деньги, а затем в качестве премий, дарственных записей ветеранам войны, а также железным дорогам, оросительным компаниям, колонистам и земледельческим артелям. От получавших требовалось одно: чтобы участок был правильно зарегистрирован у земельного инспектора; после этого земля переходила в вечное владение отдельного человека или учреждения или же их наследников или уполномоченных.

В те времена — и в этом лежит весь корень беспорядков! — государственные земли были безграничны, и старые землемеры отмеряли хорошей мерой, всегда с излишком, с царской и даже западноамериканской щедростью. Часто веселый землемер обходился совсем без астролябии и цепи. Верхом на лошади, отмерявшей каждым шагом около «вары», имея в кармане лишь компас для проверки направления, он рысью объезжал участок, отсчитывая удары лошадиных копыт, отмечая углы и делая заметки с довольным видом человека, хорошо исполняющего свою обязанность. Иногда — и кто осудит за это землемера? — насытившаяся и застоявшаяся лошадь ступала несколько выше и шире

обычного, и в этом случае владелец документа мог получить на тысячу и две больше акров, чем было обозначено в бумаге. Но надо было видеть бесконечные лиги земли, которыми располагали штаты! Во всяком случае, никто и никогда не имел основания жаловаться на шаг лошади. Почти в каждом старом участке штата был излишек земли.

В позднейшие годы, когда штат стал более населенным и стоимость земли повысилась, эта небрежная работа землемеров создала неисчислимые хлопоты, бесконечные тяжбы и породила период необузданного земельного захвата и значительного кровопролития. Земельные акулы жадно набрасывались на эти излишки старых участков, глядя на них как на бесхозное государственное имущество. Там, где границы старых участков были не ясны и утлы не могли быть точно восстановлены, Земельная Контора признавала новые заявки действительными и выдавала документы на владение ими. Это вызвало невообразимую путаницу. Старые участки, взятые по собственному выбору, были уже почти все заселены ничего не подозревавшими мирными поселенцами, и, когда их документы на владение признавались недействительными,

пред ними вставал выбор: или выкупить свою землю за двойную цену, или немедленно покинуть ее — с семьями и личным имуществом. Желающих получить землю появились целые сотни. Вся местность была поднята на ноги, и в целях нахождения «вакансии» площадь измерялась по точной стрелке компаса. Великолепные участки стоимостью в сотни тысяч долларов были отняты у их невинных покупателей и владельцев. Начался грандиозный исход выгнанных поселенцев, которые в старых, дырявых повозках направлялись без цели, без крова, без надежды неведомо куда и, оглушенные горем, проклинали все и вся. Детки со слезами на глазах просили хлеба и не всегда получали его.

Вследствие всех этих обстоятельств Хэмлин и Эверай подали заявление на кусок земли около мили шириной и трех миль длиной, заключавший в себе около двух тысяч акров и составлявший излишек законного девятимильного участка Элиаса Денни, находящегося на реке Чиквито, в одном из среднезападных графств. Они утверждали, что этот кусок в две тысячи акров — свободная земля и неправильно считается частью владений Денни. Свое утверждение и претензию на землю они основывали на доказанных

фактах: что основной угол участка Денни точно установлен; что полевые заметки указывают, будто к западу он тянется на 5760 вар и затем идет к Чиквито-Ривер; оттуда направляется к югу, по извивам реки, и так далее, но что на самом деле Чиквит-Ривер находится на целую милю дальше на запад от пункта, намеченного вначале. В итоге имеется две тысячи акров свободной земли между законным участком Денни и рекой Чиквито.

Однажды в знойный июльский день управляющий потребовал бумаги, относящиеся к этой новой заявке. Бумаги были принесены и сложены кучей вышиною в фут на его письменном столе. Тут были полевые заметки, заявления, чертежи, доверенности, объяснительные записки, всякого рода документы, — словом, все то, что хитрость и деньги могли призвать на помощь Хэмлину и Эвераю.

Фирма торопила управляющего выдать ей бумаги на владение. У нее имелась секретная информация касательно новой железной дороги, которая, по всем данным, должна была пройти где-то поблизости.

В Главном Земельном Управлении было совсем тихо, когда управляющий с головой ушел в эту массу документов. На крыше старого здания,

похожего на замок, слышно было воркованье и ухаживание голубей. Клерки дремали, даже не притворяясь, что иногда без пользы зарабатывают свое жалованье. Каждый мягкий звук глухо и громко отражался от голого, выложенного камнем пола, от оштукатуренных стен и потолка с железными стропилами. Неощутимая известковая пыль, никогда не оседавшая, белела в длинном солнечном луче, пробивавшемся сквозь рваную маркизу.

По-видимому, Хэмлин и Эверай хорошо все рассчитали. Обмер участка Денни был сделан небрежно даже для того прославившегося своей небрежностью периода. Его основной угол совпадал с таким же углом хорошо вымеренного старого испанского имения, но остальные пункты были установлены вопиюще небрежно. В полевых заметках не содержалось указания ни на один оставшийся предмет — ни на дерево, ни на какой-либо другой естественный объект, за исключением реки Чиквито, обозначенной на целую милю ниже. Согласно прецедентам, Управление было бы вправе установить законные границы участка, а все остальное считать свободной, «вакантной» землей.

Фактический поселенец осаждал контору

частыми и отчаянными протестами. Обладая нюхом пойнтера и глазами сокола, когда дело касалось земельных акул, он уже заметил подозрительных клевретов, бегавших вдоль его границ. Наведя справки, он узнал, что хищник готовится атаковать его дом, и тогда он оставил плуг в борозде и взял в руку перо.

Один из этих протестов управляющий прочел два раза. Он был написан женщиной, вдовой, внучкой самого Элиаса Денни. Женщина эта рассказывала, как ее дед, много лет назад, распродал большую часть участка по ничтожной цене — продал землю, которая в настоящее время могла бы равняться княжеству по протяжению и ценности.

Мать ее тоже продала кое-что, а сама она унаследовала эту западную часть, вдоль реки Чиквито. Много и ей пришлось продать, чтобы иметь возможность есть и пить. Теперь ей принадлежало только около трехсот акров и дом, в котором она сейчас живет. Письмо заканчивалось довольно патетически:

«У меня восемь человек детей, и старшему пятнадцать лет. Я работаю весь день и половину ночи, обрабатывая, сколько могу, земли, чтобы доставить одежду и книги. Я сама обучаю своих

детей. Все мои соседи — бедняки, и у всех — большие семьи. Засуха уничтожает посевы через каждые два или три года, и тогда у нас наступают тяжелые времена, когда трудно иметь самое насущное. На этой земле, которую акулы пытаются отнять у нас, живут десять семейств, и все они купили землю у меня. Я продала им дешево, и еще не вся земля оплачена, но некоторые соседи уплатили полностью, и если бы у них отняли эту землю, я бы умерла от горя. Мой дед был честным человеком и помогал основанию этого штата; он учил своих детей быть честными, — а как бы я могла возместить тем, кто купил у меня землю? Господин управляющий, если вы позволите этим земельным акулам сорвать кров над моими детьми и отнять то немногое, на что они могут жить, то всякий, назвавший после этого наше государство великим, и правительство его справедливым, скажет ложь».

Управляющий со вздохом отложил письмо в сторону. Много, много подобных писем получал он. Он никогда не обижался на них и никогда не считал, что они обращены лично к нему. Он был слуга государства и должен был соблюдать его законы. И все-таки эти размышления не всегда заслоняли какое-то чувство ответственности,

висевшее над ним. Из всех должностных лиц в штате, он был высшим в своем ведомстве, не исключая и губернатора. Правда, он должен был соблюдать общие земельные законы, но у него была широкая возможность применения специальных примечаний. В своей деятельности он руководствовался не столько законом, сколько практикой управления и прецедентами. В сложных и новых вопросах, вызванных развитием штата, решения управляющего редко вызывали апелляцию. Даже суды поддерживали его, когда справедливость была очевидна.

Управляющий подошел к двери и заговорил с клерком в соседней комнате, — заговорил, как всегда, как будто обращаясь к принцу крови.

— Мистер Уэльдон, не будете ли вы добры попросить мистера Эша, государственного оценщика школьных земель, зайти в мой кабинет, как только ему будет удобно.

Эш, сидевший за большим столом, где он редактировал свой доклад, сейчас же пришел.

— Мистер Эш, — сказал управляющий — вы во время вашего последнего объезда, кажется, работали на реке Чиквито, в графстве Саладо? Не помните ли чего-нибудь относительно участка в три лиги Элиаса Денни?

— Да, сэр, я помню, — ответил грубоватый землемер. — Я проезжал через него по дороге в Н., который лежит к северу от него. Дорога идет вдоль Чиквито-Ривер, по долине. Участок Денни на протяжении трех миль тянется вдоль Чиквито.

— Поступило заявление, — продолжал управляющий, — что он на милю не доходит до реки.

Оценщик пожал плечами. По рождению и по инстинкту он принадлежал к действительным поселенцам и был естественным врагом земельных акул.

— Всегда считалось, что он простирается до самой реки, — сухо ответил он.

— Но я не это хотел обсуждать с вами, — сказал управляющий. — Какого рода местность в этой долине, составляющей часть (скажем пока так!) участка Денни?

Душа действительного поселенца отразилась на лице Эша.

— Очаровательная! — сказал он с энтузиазмом. — Долина ровная, как пол, с чуть-чуть волнистой поверхностью, точно море, и жирная, как сливки. Кустарника ровно столько, сколько нужно для защиты скота зимой. Черная, мергельная почва в шесть футов глубины, а под ней

глина, которая задерживает воду. В долине около дюжины хорошеньких домиков, с ветряными мельницами и садами. Жители, мне кажется, довольно бедные — слишком далеко от рынка! — но живут счастливо! Никогда в жизни я не видал столько молодняка.

— Разводят скот? — спросил управляющий.

— Ха-ха! Я говорю о двуногом молодняке, — засмеялся землемер, — о двуногом, босом, с волосами как пакля.

— Дети! ах, дети! — задумчиво протянул управляющий, как будто бы ему открылась новая точка зрения. — Они разводят детей!

— Это глухая местность, господин управляющий, — заметил оценщик. — Можно ли осуждать их?

— Я предполагаю, — продолжал управляющий медленно, как будто выводя заключение из новой, изумительной теории, — что не у всех у них волосы как пакля. — Я думаю, что можно с некоторой достоверностью полагать, что есть некоторые с русыми или даже черными волосами?

— Разумеется, есть и русые и черные, — сказал Эш, — и даже рыжие.

— Без сомнения, — произнес управляющий:

— Теперь позвольте поблагодарить вас за любезное сообщение, мистер Эш. Я не стану больше отвлекать вас от вашей работы.

Позже, после полудня, пришли Хэмлин и Эверай — высокие, красивые, веселые молодцы, одетые в белые парусиновые костюмы и низкие полуботинки. Они пропитали всю контору духом благополучия и довольства. Обходя клерков, они оставили за собой след уменьшительных имен и толстых коричневых сигар.

Они были аристократы среди земельных акул, так как вели крупные дела. Полные непоколебимой уверенности в себе, они не считали никакую корпорацию, никакой синдикат, никакую железнодорожную компанию и даже прокурора слишком важными для себя. Замечательный дым их редких, толстых, коричневых сигар разносился в самых недоступных комнатах всех государственных учреждений штата, на заседаниях всевозможных комиссий, во всех директорских кабинетах и на аристократических частных собраниях. Всегда любезные, никогда и никуда не торопящиеся, они, казалось, располагали неограниченным свободным временем; никто не понимал, когда, собственно говоря, они занимаются теми многочисленными рискован-

ными предприятиями, которые, как известно, были раскинуты повсюду.

Через некоторое время они с независимым видом вошли в кабинет управляющего и лениво развалились в его больших кожаных креслах. Они проворчали добродушную жалобу на погоду, а Хэмлин рассказал управляющему одну занимательную историю, которую утром слышал от статс-секретаря.

Но управляющий знал, зачем они пришли. Он почти обещал им сообщить в этот день свое решение относительно их заявки.

Старший клерк принес управляющему целую груду отношений на подпись. Пока он чертил на каждом свою длинную подпись «Халлис Семмерфилд, Управл. Главн. Земельной Конторой», старший клерк стоял рядом, быстро отодвигая бумаги и прикладывал к ним пресс-папье.

— Я вижу, — сказал старший клерк, что вы рассматриваете бумаги, касающиеся графства Саладо. Кемпфер чертит новую карту Саладо и, кажется, сейчас работает над этой частью графства.

— Я хочу посмотреть на эту карту, — сказал управляющий и через несколько минут направился в комнату чертежника.

Когда он вошел туда, пятеро или шестеро чертежников столпились около стола конторки Кемпфера, разговаривая между собой на немецком языке и разглядывая что-то на этом столе. При виде управляющего они рассыпались по своим местам. Кемпфер, сухонький немец, небольшого роста, с длинными, подвижными буклями и водянистыми глазами, начал заикаясь бормотать что-то вроде извинения; управляющий подумал, что он извиняется за собрание своих сослуживцев у его стола.

— Ничего, ничего, — сказал управляющий, — я хотел только посмотреть карту, которую вы чертите. — И, обойдя старого немца, он сел на его высокий табурет. Кемпфер продолжал коверкать английский язык, стараясь дать должные объяснения.

— Господин управляющий, уверяю вас, что я не сделал это предумышленно… что это сделалось… вышло само собой. Посмотрите! Вот данные из путевых заметок… обратите внимание на описание: юг — 10 градусов, запад — 1050 вар.; юг — 10 градусов, восток — 300 вар.; юг — 100; юг — 9, запад — 200; юг — 40 градусов, запад — 400 и т. д. Господин управляющий, я бы никогда…

Управляющий безмолвно поднял свою белую

руку. Кемпфер уронил трубку и убежал.

Подпирая голову ладонями обеих рук и опираясь локтями на конторку, управляющий уставился на карту, которая была на ней разложена и прикреплена, — уставился на нарисованный на ней милый и живой профиль маленькой Джорджии, на ее нежное, задумчивое, детское личико, вычерченное с поразительным сходством.

Когда наконец ум его стал доискиваться объяснения, он увидел, что все должно было произойти именно так, как сказал Кемпфер, — без предвзятого намерения. Старый чертежник работал над участком Элиаса Денни, а портрет Джорджии, как это ни было удивительно, образовался единственно из извивов реки Чиквито. И действительно, черновая Кемпфера, на которой была сделана его предварительная работа, указывала на тщательное нанесение пограничных знаков и на бесконечные уколы циркуля. Потом по легкому карандашному следу Кемпфер тушью и сочным, твердым пером нанес профиль реки Чиквито, и вместе с этим профилем таинственно расцвел тонкий трогательный образ ребенка.

Управляющий сидел около получаса, опустив голову на руки и глядя вниз, — и никто не смел подойти к нему. Затем он поднялся и вышел. В

канцелярии он задержался ровно на столько, чтобы попросить принести ему дело об участке Денни.

Он застал Хэмлина и Эверая все еще сидевшими в креслах и, по-видимому, забывшими о деле. Они лениво разговаривали о летней опере, как всегда стараясь показать сверхъестественное равнодушие, когда дело касалось крупных дел, в исходе которых они не были уверены. Весьма возможно, что они даже гордились своей выдержкой. А на этом деле они надеялись выиграть более, чем кто-либо мог представить себе. Они получили частную информацию, что не дольше, как через год, новая железная дорога перережет эту самую долину реки Чиквито и бешено подымет цену на все земельные участки будущей линии. Если бы это сбылось, то они заработали бы тридцать тысяч долларов, никак не меньше. Поэтому, легкомысленно болтая и ожидая, что управляющий первый заговорит на эту тему, они бросали по сторонам быстрые, боковые взгляды, явно обнаруживавшие все их желание получить наконец документ на владение этой прекрасной землей на Чиквито.

Клерк принес требуемые бумаги. Управляющий сел и сделал на них надпись красными

чернилами. Затем он встал и простоял некоторое время, глядя прямо в окно. Земельное Управление помещалось на вершине отлогого холма. Взгляд управляющего направился поверх крыш многочисленных домов, окруженных темной зеленью и перемежающихся в шахматном порядке с полосами ослепительно белых улиц. На горизонте, куда он устремил свой пристальный взор, поднималась едва заметная, покрытая лесом возвышенность, испещренная неясными, белыми, блестящими пятнами. Это было кладбище, где лежало много забытых, но и несколько таких людей, которые не напрасно прожили свою жизнь. Здесь лежал кто-то, кто занимал очень мало места, но чье детское сердце было достаточно велико для того, чтобы при последних ударах пожелать добра людям. Губы управляющего слегка зашевелились, когда он прошептал про себя: «Это было ее последней волей и завещанием, а я так долго не приводил его в исполнение».

Большие коричневые сигары Хэмлина и Эверая давно потухли, но молодые люди все еще кусали их зубами и ждали, поражаясь отсутствующему выражению в глазах управляющего.

Но вот он заговорил, — заговорил внезапно и быстро:

— Джентльмены, я только что сделал на обороте надпись о выдаче патента на участок Элиаса Денни. Наше Управление не считает законной вашу претензию на часть этой земли. — Он на минуту замолчал, а затем, протянув руку, как в прежние милые годы люди делали это во время дебатов, он объяснил им дух своего решения, которое впоследствии приперло земельных акул к стене и вернуло мир и радостный покой десяткам тысяч человек.

И, кроме того, — продолжал он, и лицо его озарилось ясным, мягким светом, — вам, может быть, будет интересно узнать, что начиная с сегодняшнего дня Управление будет руководствоваться следующим: крепости на землю, отмежеванную на основании сертификатов, пожалованных штатом людям, отвоевавшим эту землю у пустыни, получившим ее вполне законно, оставившим ее так же законно своим детям и наследникам или же законно продавшим ее честным землеробам, — такие крепости будут отныне считаться Управлением вполне действительными и правильными. Действительными и правильными они будут считаться даже в том случае, если в свое время такая земля была отмерена со значительным излишком. Управление

будет настаивать лишь на одном: чтобы были какие-нибудь естественные вехи, которые видимы человеческому глазу и по которым проходят границы того или иного участка. Позвольте уверить вас, что отныне дети этого штата могут ночью спать совершенно спокойно и что никакие слухи о нарушении их прав на землю не будут тревожить их. Ибо, — закончил управляющий свои слова, — их есть царствие небесное.

Как только он замолчал, снизу из комнаты, где производилась выдача патентов, донесся смех. Человек, отнесший вниз «дело» Денни, показывал его остальным клеркам.

— Посмотрите, — с восхищением говорил он, — старик позабыл свое имя. Он написал: «Выдать патент первоначальному владельцу» и подписал: «Джорджия Семмерфильд, Управл.».

Речь управляющего легко подействовала на непроницаемых Хэмлина и Эверая. Они улыбнулись, грациозно поднялись, поговорили о бейсболе и стали горячо доказывать, что едва уловимый ветерок поднялся с востока. После этого они закурили новые толстые коричневые сигары и вежливо удалились. Но впоследствии, через высшую инстанцию, они, точно тигры, сделали еще один наскок на свою добычу. Но выс-

шая инстанция, по сообщению газет, «холодно отжарила их» (поразительное действие, напоминающее опыты с жидким воздухом) и утвердила резолюцию управляющего.

А эта резолюция стала прецедентом; действительный поселенец вставил ее в рамку и по ней учил своих детей грамоте; и по ночам с тех пор все стали спать здоровым сном — от сосен до кустов шалфея и от чапарраля до большой темной реки на севере.

Но я думаю (а управляющий, наверно, убежден в этом!) что независимо от того, старый ли, весь пропитанный табаком Кемпфер послужил орудием судьбы, или же извивы реки Чиквито случайно, сами по себе, образовали этот прелестный, нежный профиль, — «что-то доброе для массы, массы детей» было наконец сделано, и постановление приведшее к этому, по всей справедливости могло быть названо «Резолюцией Джорджии».

Перспектива

Перевод В. Александрова.

Горе человеку и художнику, у которых постоянно меняется перспектива. Первому жизнь представится в виде запутанного лабиринта разнообразных дорог; против второго восстанет весь пейзаж, который он рисует, и он сам в нем запутается. Возьмем хотя бы случай Лорисона. Временами ему казалось, что он самый слабохарактерный дурак во всем мире; иногда же он считал, что стремится к возвышенным идеалам, к восприятию которых еще не подготовлен мир. В одном настроении он проклинал себя за глупость; но когда его охватывало другое, он держал себя со спокойной величавостью, и тогда он бывал почти велик; но в том и другом случае он грешил против перспективы.

Много поколений тому назад фамилия его произносилась «Ларсен». У него был свойственный его народу чуткий меланхолический темперамент, спасительно уравновешенный трудолюбием и бережливостью.

С своей точки зрения; в которой отсутствовала

перспектива, он казался себе изгнанником из общества, осужденным на вечное скитание в тени, за гранью того, что называется «миром порядочных людей», гражданином «des trois quarts du monde», этой жалкой планеты, находящейся на полпути между высшим светом и полусветом, жители которой завидуют и тем и другим своим соседям и испытывают на себе презрение как первых, так и вторых. Это был лишь его личный взгляд, и на основании его он сам себя осудил на изгнание и жил в этом совершенно своеобразном южном городе, отстоявшем на тысячу миль от его родных мест. Он прожил в нем уже более года, знакомясь лишь с немногими, витая в каком-то субъективном мире теней, куда подчас досадно врывались приводившие его в недоумение мелочи реальной жизни. Здесь он влюбился в девушку, с которой познакомился в дешевом ресторане; и с этого начинается рассказ о нем.

Улица Шартр в Новом Орлеане — улица призраков. Она находится в той части города, куда французы, бывшие тогда в полном расцвете сил, перенесли свою любовь к пышности и славе, где так же гордо расхаживал высокомерный дон, мечтая о золоте, королевских милостях и о перчатке своей дамы. В каждой плите виднеются углубле-

ния, вытоптанные ногами людей, с княжеской беспечностью отправлявшихся на любовные или бранные подвиги. Нет дома, который не был бы погружен в величественное уныние; нет ворот, которые не говорили бы о великих надеждах и медленном падении.

Теперь улица Шартр ночью представляет собой лишь мрачное ущелье; бредущий по нему ощупью пешеход может, подняв голову, увидеть на фоне неба причудливый ажур мавританских балконов. Старинные дома французских господ все еще стоят, не тронутые столетием; но дух, живший в них, исчез.

Но в одном уголке, где помещается кафе «Карабин д'Ор», все еще смутно чувствуется биение пульса прежней славной жизни. Когда-то здесь собирались люди, чтобы составлять заговоры против королей и давать предупреждения президентам. Это делается там и до сих пор, но люди уже не те. Эти, теперешние, готовы разбежаться при виде медной пуговицы на мундире полицейского; те, прежние, пошли бы навстречу целой армии. Над дверью весит вывеска, на которой изображен огромный зверь неведомой породы. Какое-то незаметное человеческое существо прицеливается в чудовище из весьма заметно-

го ружья, некогда раскрашенного блестящей золотой краской. Надпись над картиной так стерлась, что стала совершенно неразборчивой; что ружье имеет какое-то отношение к названию кафе, это предоставляется каждому принимать на веру; намеченная жертва, устав бесконечно находиться под прицелом охотника, расплылась в бесформенное пятно.

Заведение это известно под именем «Кафе Антонио»; об этом свидетельствует название, написанное белыми буквами по красному транспаранту и золотыми на стеклах окон.

Имя «Антонио» звучит многообещающе; оно возбуждает вполне понятную надежду на разные экзотические кушанья, приправленные прованским маслом, перцем и вином; быть может, даже с нежным, как шепот ангела, привкусом чеснока. Но вторая половина имени «О'Райли». Антонио О'Райли! «Карабин д'Ор» — один из низко павших призраков улицы Шартр. Кафе, где обедали Бьенвиль и Конти, где некогда преломлял хлеб принц крови, превратилось теперь в «семейный ресторан».

Посетители его — все, почти без исключения, народ рабочий, как мужчины, так и женщины. Иногда вы можете встретить там хористок из

дешевых театров и мужчин разных профессий, подверженных внезапным превратностям судьбы; но у Антонио — сколько обещаний звучит в этом имени, и как убого выполнение! — развязность и веселость допускаются лишь в размере, приличествующем «семейному» ресторану. Если бы вы закурили там папиросу, хозяин тотчас же тронул бы вас за плечо и напомнил бы вам, что следует соблюдать приличия. «Антонио» снаружи заманивает и притягивает вас своими горящими, как жар, буквами, а «О'Райли» внутри обучает вас уменью держать себя.

В этом-то ресторане Лорисон впервые увидал девушку. Какой-то франт с нахальными глазами вошел вслед за ней и уже собирался занять второе место за столиком, у которого она остановилась, но Лорисон быстрым движением успел занять стул раньше. Так началось это знакомство, и вот уже два месяца, как они сидели каждый вечер за одним столом, не назначая друг другу свиданий, но встречаясь точно неожиданно, благодаря целому ряду счастливых случайностей. После обеда они шли гулять в один из небольших городских парков или же толкались среди живописной панорамы рынков — этих подмостков, всегда оживленных шумом и разнообразными зрели-

щами. Но в восемь часов прогулка их неизменно заканчивалась на одном и том же углу, где она милым, но твердым тоном прощалась с ним, а затем покидала его.

— Я живу недалеко отсюда, — всегда говорила она, — и вы должны оставить меня, я дойду одна.

Но вскоре Лорисон почувствовал, что ему хочется провожать ее до конца; иначе, казалось ему, из его жизни исчезнет вся радость, и он навсегда очутится один на пустынном перекрестке. Но как только он открывал в себе это чувство, тайна его изгнания из среды порядочных людей накладывала на него свою тяжелую руку и напоминала ему о том, что этого быть не должно.

В мужчинах эгоизм так силен, что они не могут не быть также и эгоистами; если они любят, предмет их любви должен об этом узнать. Другой может всю жизнь скрывать свою тайну из чувства чести или по необходимости; но, умирая он пролепечет ее своими устами, даже если нескромность его внесет раздор в целую округу. Впрочем, известно, что большинство мужчин не ждут так долго, чтобы открыться в своей страсти. Что касается Лорисона, его особая этика определенно запрещала ему высказывать свои чувства,

но он не мог не ходить кругом да около запретной темы и не ухаживать хотя бы намеками.

В тот вечер, после обычного обеда в «Карабин д'Ор», он пошел со своей спутницей по темной старинной улице, ведшей к реке.

Улица Шартр кончается у старинной площади Плас д'Арм. Напротив нее стоит древнее здание Кабильдо, откуда градом сыпались наказания, расточаемые испанским правосудием; тень от кафедрального собора — другого призрака — падает на нее. В середине ее находится маленький, окруженный железной решеткой парк с цветами и безупречными аллеями, усыпанными гравием, где по вечерам граждане города дышат воздухом. На высоком пьедестале сидит полководец верхом на своем вздымающемся на дыбы коне, устремив свой каменный взор на реку по направлению к Инглиш Тэрн; но британцы больше не появляются оттуда, чтобы бомбардировать его тюки с хлопком.

Лорисон и его знакомая часто сидели в этом сквере, но на этот раз он повел девушку через ворота с каменными ступеньками — дальше, к реке. Пока они шли, он с улыбкой думал о том, как мало он знает о ней; ему известно только, что ее зовут Нора Гринуэ и что она живет со своим

братом. Они говорили обо всем, но не о себе. Быть может, ее сдержанность была вызвана сдержанностью с его стороны.

Наконец, они достигли берега и уселись на огромном лежавшем там бревне. Воздух был весь пропитан пылью бойкого торгового места. Большая река, желтая, скользила мимо. На другой стороне лежал Алжир — темная масса на дрожащем фоне электрического света, в котором сверкали звезды.

Девушка была молодая и пикантного типа; в ней чувствовалась какая-то ясная меланхолия без грусти; она обладала свежестью и немного бледной красотой, которая не могла не нравиться. Когда она начинала говорить, голос ее как-то суживал рамки всех вопросов. Это был голос, придававший многозначительность и интерес самым мелким вещам. Она сидела свободно, уложив складки юбки легким, чисто женским движением, невозмутимая и довольная, точно грязная пристань была цветущим садом. Лорисон тыкал палкой в гниющие доски.

Он начал с того, что он влюблен в кого-то, кому он не смеет об этом сказать.

— А почему же нет? — спросила она, сразу соглашаясь на его выдумку о каком-то вообража-

емом третьем лице.

— Мое положение среди людей таково, — сказал он, — что я не могу просить женщину разделить его со мной. Я изгнанник из общества честных людей. Меня неправильно обвиняют в преступлении, которого я не совершил, но я, мне кажется, виновен в другом.

И затем он перешел к рассказу о том, как он отрекся от общества. Повесть эта, если отнять ее морально-философскую подкладку, заслуживает упоминания лишь мимоходом. Это повесть не новая — о постепенном падении игрока. Одну ночь он все проигрывал и затем рискнул частью денег своего хозяина, которые случайно оказались при нем. Он продолжал проигрывать, вплоть до последней ставки, а затем стал выигрывать и отошел от стола с весьма внушительной суммой. В ту же ночь сейф его хозяина был взломан. Произвели обыск и нашли в комнате у Лорисона его выигрыш, сумма которого подозрительно близко подходила к похищенной сумме. Его задержали, судили и оправдали вследствие того, что присяжные не могли прийти к единогласному решению. Репутация его запятнана. Он оправдан по недостатку улик.

— Меня тяготит, — сказал он девушке, — не

ложное обвинение, но сознание, что с того момента, как я поставил на карту первый доллар из денег фирмы, я стал преступником — независимо от того, выиграл я или проиграл. Теперь вы понимаете, почему я не могу признаться ей в своей любви.

— Грустно подумать, — сказала Нора после небольшой паузы, — что есть на земле такие исключительно хорошие люди.

— Хорошие? — спросил Лорисон.

— Я думала об этой необыкновенной женщине, которую вы, по вашим словам, любите. Жалкое она существо.

— Я не понимаю…

— Почти такое же жалкое, — продолжала она, — как вы сами.

— Вы не понимаете, — сказал Лорисон, снимая шляпу и откидывая назад свои тонкие белокурые волосы. — Представьте, что она отвечает мне взаимностью и согласна выйти за меня замуж. Вообразите, если можете, чем это кончится. Не пройдет дня, чтобы что-нибудь не напомнило ей о принесенной жертве. В ее улыбке я видел бы снисхождение в самой любви ее — жалость, и это сводило бы меня с ума. Нет, этот призрак всегда стоял бы между нами. Сходиться могут только

равные. Я ни за что не мог бы унизить ее до себя.

Отблеск дугового фонаря слабо озарял лицо Лорисона. Но оно светилось еще изнутри. Девушка увидела его полный экстаза и самоотвержения взгляд; это было лицо или рыцаря без страха и упрека, или же глупца.

— Ваш недоступный ангел, — сказала она, — нечто вроде звезды. Она так высоко, что до него не доберешься.

— Мне не добраться, это правда.

Она вдруг повернулась к нему лицом.

— Добрый друг, не предпочли бы вы, чтобы ваша звезда упала?

Лорисон сделал широкий жест.

— Вы ставите меня лицом к лицу с голым фактом, — объявил он. — Вы не хотите считаться с моими доводами. Но я вам отвечу в том же духе. Если бы я мог добраться до этой моей звезды и снять ее с неба, я все-таки не сделал бы этого; но если бы она упала сама, я поднял бы ее и благодарил бы небо за это счастье.

Несколько минут они молчали. Нора вздрогнула и глубже засунула руки в карманы кофточки. Лорисон, почувствовав угрызения совести, что-то воскликнул.

— Мне не холодно, — сказала она. — Я просто

задумалась. Мне следовало бы сказать вам одну вещь. Странную вы себе выбрали поверенную для ваших тайн. Но не можете же вы ожидать, чтобы случайная знакомая, подобранная в каком-то подозрительном ресторане, оказалась ангелом.

— Нора! — воскликнул Лорисон.

— Дайте мне кончить. Вы мне рассказали про себя. Мы с вами стали добрыми друзьями. Я должна рассказать вам теперь то, что я хотела от вас скрыть. Я… хуже вас… я была на сцене… пела в хоре… и не очень-то хорошо себя вела… я украла брильянты примадонны… меня арестовали, я вернула большую часть, и меня отпустили… Каждую ночь я пила… много пила… я была очень скверная, но…

Лорисон мгновенно опустился на колени рядом с ней.

— Дорогая Нора! — с безумным восторгом сказал он. — Вас, вас я люблю. Вы так и не угадали этого, не правда ли? Ведь я про вас все время говорил. Теперь я могу говорить. Дайте мне помочь вам забыть прошлое. Мы оба страдали; уйдем от мира и будем жить друг для друга. Нора… Слышите ли вы? Я говорю вам, что люблю вас.

— Несмотря на…

— Скорее — поэтому. Мы вышли из всех испы-

таний благородными и хорошими. У вас сердце ангела. Отдайте мне его.

— А недавно еще вы так боялись за будущее, что не хотели даже говорить?

— Только за вас, не за себя. Можете ли вы полюбить меня?

Она кинулась к нему на грудь, безумно рыдая.

— Больше жизни… больше самой истины… больше всего!

— А мое собственное прошлое? — сказал Лорисон, и в голосе его звучала заботливость о ней. — Можете ли вы простить и?…

— Я уже ответила вам на это, — шепнула она, — когда сказала вам, что люблю вас. — Она отодвинулась и задумчиво посмотрела на него.

— Если бы я вам не сказала про себя, вы бы… вы бы не?…

— Да, — перебил он ее, — я никогда не сознался бы вам, что люблю вас. Я никогда не спросил бы вас: Нора, согласны ли вы быть моей женой?

Она опять зарыдала.

— О, поверьте мне! Я теперь стала лучше, я уже больше не такая скверная. Я буду самой верной женой в мире. Не думайте… что я все еще дрянная. Если вы это подумаете, я умру… я умру.

Он стал утешать ее, и она вдруг повеселела и

пылко, стремительно объявила:

— Согласны ли вы сегодня же жениться на мне? Можете ли вы таким образом доказать, что говорите правду? У меня есть причины желать, чтобы это было именно сегодня. Вы согласны?

Эта необычайная откровенность могла вызываться лишь двумя причинами: или это была наглая навязчивость, или же полнейшая невинность. Но в перспективе влюбленного умещалось лишь второе предположение.

— Чем скорее, тем я буду счастливее.

— Что же нужно сделать? — спросила она. — Какие бумаги нужно достать? Пойдем. Вы должны знать.

Ее энергия побуждала мечтателя действовать.

— Сначала надо посмотреть во «Всем Орлеане»! — весело воскликнул он. — Надо найти, где живет этот человек, который выдает разрешения на счастье. Поедем вместе! Все должно прийти нам на помощь — извозчики, трамваи, полиция, телефоны и духовенство.

— Нас обвенчает патер Роган, — с жаром сказала девушка. — Я поведу вас к нему.

Час спустя оба стояли перед открытыми дверями громадного, мрачного кирпичного здания на узкой и пустынной улице. Нора крепко сжимала

в руке разрешение на заключение брака.

— Подождите здесь минутку, — сказала она, — пока я отыщу патера Рогана.

Она скрылась в темном коридоре, а влюбленный остался на улице в ожидании. Но терпение его испытывалось не слишком долго. Взглянув с любопытством в темный коридор, казавшийся преддверием к Эребу он вскоре успокоился, увидев в глубине его луч света, прорезавший мрак. Вслед за этим она позвала его, и он кинулся, как мотылек на свет лампы. Нора стояла в дверях и, поманив его пальцем, ввела в комнату, откуда исходил свет. В этой комнате не было почти ничего, кроме книг, заполнявших все это пространство. Лишь кое-где были свободные места, отвоеванные у них. У стола стоял пожилой лысый человек, со спокойным, далеким взглядом; он держал в руках книгу, заложив пальцем страницу. Одежда его была темного цвета и свидетельствовала о его принадлежности к духовенству. По глазам его было видно, что он никогда не ошибается в перспективе.

— Патер Роган, — сказала Нора, — вот он.

— Что же, — сказал патер Роган, — вы оба согласны обвенчаться?

Они не стали отрицать. Он обвенчал их. Обряд

был совершен быстро. Всякий, кто присутствовал бы при нем, понимая всю важность его, задрожал бы при мысли о несоответствии этой простоты с многозначительностью бесконечной цепи последствий.

После этого священник кратко, словно по затверженному, объяснил им некоторые гражданские и юридические формальности, которыми должен быть впоследствии завершен обряд. Лорисон протянул священнику гонорар, но тот от него отказался, и не успела дверь закрыться за удаляющейся четой, как книга патера Рогана уже открылась опять на заложенной пальцем странице.

В темном проходе Нора быстро обернулась и обняла своего спутника.

— И ты никогда, никогда не будешь раскаиваться?

Он успокоил ее.

Когда они вышли на улицу и дошли до первого фонаря, Нора спросила, который час, — совершенно так же, как она это делала каждый вечер. Лорисон взглянул на часы. Была половина девятого.

Лорисон думал, что она только по привычке повела его к перекрестку, где они всегда расстава-

лись. Но когда они дошли до него, она остановилась в нерешительности и затем выпустила его руку. На углу находился аптекарский магазин; яркий, мягкий свет из его окон озарял их.

— Прошу тебя, расстанемся сегодня здесь, как всегда, — кротко попросила Нора. — Я должна… я предпочла бы, чтобы ты… Ты ничего не имеешь против? Завтра, в шесть, я встречусь с тобой у Антонио. Я хочу еще раз посидеть там с тобой. А затем — я пойду, куда ты мне скажешь. — Она улыбнулась ему очаровательной, ясной улыбкой и быстро пошла прочь.

Несомненно, нужна была вся сила ее очарования, чтобы заставить его помириться с таким необычным поведением. И у более сильного, чем Лорисон, человека голова пошла бы кругом. Он сунул руки в карманы, растерянно подошел к окну аптекарского магазина и начал добросовестно изучать названия всех патентованных средств, выставленных в нем. Немного придя в себя, он пошел бесцельно бродить по улицам. Пройдя два или три квартала, он очутился на другой, более бойкой улице, по которой он часто ходил во время своих одиноких скитаний. Здесь находился целый ряд магазинов, представлявших огромный выбор самых разнообразных пред-

метов: произведения искусства, все продукты человеческого мастерства и фантазии, все, что дает природа и труд, — все это привозилось сюда из разных стран.

Здесь он некоторое время бродил, останавливаясь у наиболее выдающихся витрин, где помещались, залитые потоками яркого света, самые любопытные из товаров каждого магазина. Прохожих было немного, и Лорисон был рад этому. Он был теперь не от мира сего. Долгое время он соприкасался с людьми, как зубчатое колесо, только под прямым углом, в разных плоскостях. Он вращался по совершенно иной орбите. Его несчастье подействовало на него, как действует на одну механическую игрушку — так называемый музыкальный волчок — удар по кончику его оси: если хлопнуть по нему, пока он вертится, он почти не замедляет движения, но тотчас же издает совершенно иную ноту, в другом тоне.

Гуляя по тихому проспекту, Лорисон чувствовал в себе поразительное, неестественное спокойствие при необычайной ясности мысли. Задумавшись над недавними событиями, он старался убедить себя, что бесконечно счастлив, получив в жены ту, которую так страстно жаждал; но вместе с тем он сам смутно удивлялся, что

не испытывает более сильного возбуждения. Ее странное поведение, когда она покинула его в самый вечер свадьбы без уважительной причины, возбуждало в нем лишь неясное, задумчивое любопытство. Потом он начал вспоминать, равнодушно и невозмутимо, все обстоятельства ее богатой приключениями, жизни. Прежняя точка зрения его — вся, так сказать, перспектива — как-то странно сдвинулась в сторону.

Он остановился где-то на углу, у окна магазина. Вдруг до слуха его достиг какой-то все возраставший шум и движение. Он прижался к окну, чтобы дать дорогу причине всей этой суматохи — целой процессии людей, которая повернула за угол и направлялась к нему. Он заметил что-то ярко-голубое, что-то медное, блеснувшее рядом с центральной фигурой, одетой в сверкающий белизной и серебром костюм, и следовавшую позади свиту из темных, оборванных, раскачивавшихся теней.

Два рослых полисмена шли по бокам женщины, одетой точно для сцены, в короткую белую атласную юбку, доходившую ей до колен, в розовые чулки и нечто вроде лифа без рукавов, с ярко горевшей, похожей на панцирь, чешуей. На ее курчавой, белокурой голове был залихватски

надет набекрень, блестящий шлем из жести. Сразу было видно, что это костюм театральный. Один из полицейских нес на руке длинный плащ, который, несомненно, был захвачен с целью прикрыть довольно откровенно выставленные напоказ прелести лучезарной пленницы; однако это намерение по каким-то причинам не было приведено в исполнение, к шумной радости всего хвоста процессии.

Внезапным сильным движением женщина заставила все шествие остановиться у окна, около которого стоял Лорисон. Он увидел, что она молода; на первый, обманчивый, взгляд она казалась хорошенькой, но эта красота была поддельная и пропадала при более внимательном разглядывании. Во взгляде ее были наглость и бесшабашность, а на лицо ее, еще не утратившее юношеской округлости, бессонные ночи, эти фельдъегери надвигающейся старости, уже наложили свою печать.

Молодая женщина остановила свой смелый взгляд на Лорисоне и начала взывать к нему тоном невинно пострадавшей героини, попавшей в затруднительное положение:

— Послушайте-ка. Вы, видно, человек добрый: пойдемте, дайте поручительство за меня, хоро-

шо? Я ничего такого не сделала, за что бы меня сажать. Все это только недоразумение. Посмотрите, как они со мной обращаются. Вы не пожалеете, если поможете мне выпутаться. Подумайте, что бы вы сказали, если бы потащили так по улице вашу сестру или девушку, которую вы любите! Послушайте, пойдемте, сделайте доброе дело.

Вероятно, на лице Лорисона мелькнуло, несмотря на хотя и трогательную, но малоубедительную просьбу, нечто вроде сочувствия, ибо один из полицейских, отойдя от женщины, приблизился к нему.

— Это правильно, сэр, — сказал он хрипло, понижая голос до конфиденциального тона, — ее правильно арестовали. Мы арестовали ее в театре «Грин Лайт», после первого акта, — был приказ по телеграфу от начальника чикагской полиции. До участка всего квартала два. Платье-то у нее не того, но она отказалась переодеться, или, вернее, — полицейский улыбнулся, — одеться. Я решил объяснить вам, в чем дело, чтобы вы не подумали, что тут что-то неладно.

— В чем она обвиняется? — спросил Лорисон.

— Крупная кража. Брильянты. Муж ее — ювелир в Чикаго. Она обчистила у него целую витрину камней и сбежала с опереточной труппой.

Полицейский, заметивший, что весь интерес группы зрителей сосредоточился теперь на нем и на Лорисоне, — все думали, что разговор их может повести к новым осложнениям, — закончил кратким комментарием философского характера.

— Таким господам, как вы, сэр, — любезно продолжал он, — трудно это заметить, но мне по роду службы часто приходится наблюдать, какие осложнения может создать эта комбинация — я говорю о сцене, брильянтах и легкомысленных женщинах, которых не удовлетворяет честная жизнь в семье. Право, сэр, в нынешнее время человеку приходится день и ночь следить за своим бабьем.

И полицейский, с улыбкой пожелав Лорисону спокойной ночи, вернулся к арестованной женщине; та в течение всего разговора внимательно наблюдала за выражением лица Лорисона, без сомнения, стараясь уловить на нем признак желания прийти ей на помощь. Теперь, увидев, что она обманулась, и почувствовав, что ей придется продолжать позорное шествие, она бросила всякую надежду на него и резко на него напала:

— Вишь, обманщик поганый, бледная рожа! Хотел помочь мне и дал фараону уговорить себя.

Нечего сказать, хорош гусь! Будет у тебя когда-нибудь своя девушка, здорово ей будет житься. Вывернет она тебя наизнанку, как старую перчатку, так что ты правого от левого не отличишь. Уж она тебя обработает! Ха-ха-ха!

Она закончила тираду насмешливым, резким хохотом, от которого Лорисона резнуло, точно ножом. Полицейский потащил ее вперед; восхищенная свита зевак двинулась в арьергарде, а пленная амазонка, примирившись со своей судьбой, включила в круг своих проклятий всех своих провожатых, стараясь не обойти никого из тех, кто только мог слышать ее.

Но тут с Лорисоном произошла странная перемена: перспектива вокруг него радикально изменилась. Быть может, этот переворот давно назревал в нем, и то ненормальное душевное состояние, в котором он так долго находился, уже собиралось дать реакцию в обратную сторону; во всяком случае, нет сомнения, что события последних минут дали направление этому душевному перевороту, а может быть, даже и послужили толчком к нему.

Первоначальное решающее влияние оказала сущая мелочь — тот факт, что к нему подошел полицейский, и тон, которым он говорил. Этот

человек своим обращением вновь поставил изгнанника на принадлежащее ему в обществе место. В мгновенье ока Лорисон превратился из несколько двусмысленного бродяги, разгуливавшего по окраинам мира порядочности, в честного джентльмена, с которым даже блюстителю закона было лестно обменяться приветствиями.

Это сознание впервые рассеяло наваждение, и в Лорисоне заговорило желание вернуться в среду себе подобных и наслаждаться наградой добродетельных. К чему, спрашивал он себя, было все это его чрезмерное самоосуждение, это самоотречение, эта чрезмерная нравственная щепетильность, заставившая его отказаться от всего, что принадлежало ему в жизни по праву, да и по заслугам? Юридически он был чист; единственное преступление его было совершено, скорее, в мыслях, чем на деле, и ни один человек не знал о нем. Ради каких нравственных благ, ради удовлетворения какого чувства скитался он теперь, прячась, как еж от собственной тени, по этой стране богемы, где даже и живописности-то не было?

Но чувствительнее всего был удар, нанесенный ему пленной амазонкой; он доводил его до бешенства. Ведь не прошло трех часов с тех пор,

как он связал себя узами брака с двойником этой необычайной воительницы — с женщиной, во всяком случае, шедшей когда-то по одной дороге с ней и, по ее собственному признанию, павшей так же низко. Каким желательным и естественным казался ему тогда этот брак — и каким чудовищным казался он теперь. Как ясно звенели у него в ушах слова воровки брильянтов номер второй: «Будет у тебя своя девушка, здорово ей будет житься!» Что это могло означать, как не то, что женщина инстинктивно признавала в нем человека, которого легко околпачить? А вслед за этим прозвучало мудрое изречение полицейского, еще увеличившее его пытку: «В нынешнее время человеку приходится день и ночь следить за своим бабьем». О да, он до сих пор был глупцом; он глядел на все с неправильной точки зрения.

Но хуже всего, среди этой бури, разразившейся у него в душе, были терзания ревности, от которых у него точно поворачивался нож в сердце. Теперь, во всяком случае, он узнал эту муку, самую страшную из всех: всевозрастающую любовь, отданную недостойной женщине. Какова бы она ни была, он все-таки *любил* ее; он носил свой приговор в собственном сердце. Вдруг его точно кольнула мысль о том, сколько, в сущности, комизма в его

приключении, и он рассмеялся злобным хохотом и быстрее зашагал по звонким плитам тротуара. Его охватило неудержимое желание действовать, бороться с судьбой. Он остановился, топнул ногой и вдруг с торжеством хлопнул одной ладонью о другую. Его жена была… где же? Но у него в руках все же было нечто вещественное — конец нити; он видел узкий просвет между скалами, через который ему, быть может, удастся провести уже потерпевший крушение корабль брачной жизни до безопасной пристани: ведь он мог обратиться к священнику.

Лорисон, как все люди с развитым воображением и неустойчивым характером, способен был, когда что-нибудь сильно возбуждало его, на бурную стремительность. Полный ярого, упрямого возмущения, он вернулся на улицу, пересекающую ту, по которой он шел. Быстро направился он по этой улице к перекрестку, где он расстался — судорога почти исказила его лицо при этой мысли — …с своей женой. Оттуда он продолжал следовать обратно но прежнему пути, ориентируясь в незнакомой ему местности посредством обострившейся вдруг памяти, чтобы отыскать дорогу, по которой они шли после этой нелепой свадьбы. Он не раз ошибался, но, точ-

но нюхом, опять находил путь и с бешенством мчался дальше.

Наконец, когда он достиг темного, зловещего здания, где его безумие было увенчано, и нашел темный проход, он ринулся вдоль него, но нигде не заметил ни света, ни шума. Тогда он возвысил голос и начал громко звать, забыв обо всем, кроме жажды найти виновника своих мучений — старика с устремленным вдаль взором, не ведавшим беды, которую он на него наслал. Открылась дверь, и в полосе света показался патер Роган с книгой в руках, в которой он заложил пальцем страницу.

— Ага! — крикнул Лорисон. — Вы тот, кого я ищу. Несколько часов назад я получил из ваших рук жену. Я не стал бы беспокоить вас, но я не обратил тогда внимания на все подробности обряда. Не будете ли вы так добры разъяснить мне, поправимо ли еще дело или нет?

— Войдите в комнату, — сказал священник, — здесь есть еще жильцы, и они, быть может, предпочитают сон даже интересному зрелищу.

Лорисон вошел в комнату и сел на указанный ему стул. Во взгляде священника он прочел вежливый вопрос.

— Еще раз прошу извинить меня, — сказал

молодой человек, — за то, что я надоедаю вам со своей семейной неурядицей, но так как моя жена не потрудилась дать мне свой адрес, я не могу прибегнуть к законному выходу и устроить супружескую сцену.

— Я человек очень простой, — добродушно сказал патер Роган, — но я, право, не знаю, как мне спросить вас… в чем, собственно, дело?

— Простите меня, что я не прямо разъясню вам все, — сказал Лорисон. — Я сам хочу спросить у вас одну вещь. Сегодня в этой комнате вы обвенчали меня. Затем вы говорили о каких-то добавочных обрядах или формальностях, которые не то можно, не то нужно еще совершить. Я тогда мало обратил внимания на ваши слова… но безвозвратно ли я связал себя этим браком или нет?

— Ваш брак так же законен и нерасторжим, — сказал священник, — как если бы он был совершен в соборе, в присутствии тысячи человек. Те добавочные формальности, о которых я упоминал, не являются необходимыми для придачи законности обряду; я советовал соблюсти их лишь для того, чтобы вы могли оградить себя в будущем — чтобы иметь доказательства в случае спора о духовном завещании, наследстве и тому

подобном.

Лорисон разразился резким хохотом.

— Покорнейше благодарю вас, — сказал он. — Итак, сомнений нет, я — счастливый новобрачный. Мне, очевидно, остается только пойти и встать на моем свадебном перекрестке. А когда моей жене надоест таскаться по улицам, она придет ко мне.

Патер Роган спокойно взглянул на него.

— Сын мой, — сказал он, — когда ко мне приходят мужчина и женщина с просьбой обвенчать их, я их всегда венчаю. Я делаю это ради других людей, с которыми они могли бы обвенчаться, если бы им не удалось повенчаться друг с другом. Вы видите, я не любопытствую и не расспрашиваю вас, но ваш случай мне кажется не лишенным интереса. Очень немногие из браков, которые мне удалось наблюдать, так быстро влекли за собой столь сильно выраженное раскаяние. Я рискну предложить вам один вопрос: не казалось ли вам, когда вы пришли венчаться, что вы любите женщину, на которой вы женились?

— Люблю ли я ее? — диким голосом крикнул Лорисон. — Да я никогда не любил ее больше, чем сейчас, хотя она и призналась мне, что она обманывала, что она была преступницей и воровкой.

Никогда я не любил ее сильнее, чем сейчас, когда она, быть может, смеется над дураком, которого она околпачила и которого покинула без единого слова объяснения, чтобы вернуться к неизвестно какому из ее прежних позорных занятий.

Патер Роган ничего не ответил. Наступило молчание, во время которою он сидел неподвижно, мельком взглядывая на Лорисона своими умными глазами.

— Если бы вы согласились выслушать… — начал Лорисон.

Священник поднял руку вверх.

— Я на это надеялся, — сказал он. — Я думал, что вы решитесь довериться мне. Подождите только одну секунду.

Он принес длинную глиняную трубку и закурил ее.

— Говорите, сын мой, — сказал он.

Лорисон излил перед отцом Роганом все накопившееся у него на душе за целый год. Он рассказал все, выдавая себя и не умалчивая ни о каких обстоятельствах из своего прошлого; он упомянул и о событиях этого вечера, и о своих предположениях, тревогах и опасениях.

— Самое существенное в этом, по-моему, вот что, — сказал священник, когда он кончил, —

вполне ли вы уверены в том, что любите эту женщину, на которой вы женились?

— Да разве я могу это отрицать? — воскликнул Лорисон, стремительно вскочив с места. — Но посмотрите на меня! Кто я — человек из плоти или рыба? Для меня, уверяю вас, вот что самое существенное.

— Я понимаю вас, — сказал священник, также вставая и кладя на стол трубку. — Состояние, в котором вы находились, могло бы сломить и более старого человека, чем вы. Я постараюсь избавить вас от него и не позже, как сегодня же вечером. Вы сами увидите, на что вы себя обрекли и каким образом вы, быть может, сумеете выпутаться. Нет доказательства лучше очевидности.

Патер Роган надел мягкую черную шляпу. Застегнув свой сюртук на все пуговицы, он взялся за ручку двери.

— Мы пойдем пешком, — сказал он.

Оба вышли на улицу. Они шли по нищенской местности, где с обеих сторон высились покосившиеся и нежилые на вид дома. Вскоре они свернули в менее мрачную боковую улицу, где дома были меньше, и хотя они говорили лишь о самом первобытном комфорте, однако они не носили отпечатка скученности и нищеты, как на

главных и более густо населенных улицах.

У дверей отдельно стоявшего двухэтажного домика патер Роган остановился; он поднялся по ступенькам крыльца с уверенностью частого посетителя. Он ввел Лорисона в узкий коридор, еле освещенный висячей лампой, покрытой паутиной. Почти тотчас же открылась дверь справа, и грязная ирландка просунула голову.

— Добрый вечер, миссис Гихан, — сказал священник. — Не можете ли вы мне сказать, что Нора, ушла опять на всю ночь?

— Ах, это вы, ваше преподобие? Конечно, я могу вам все сказать. Голубушка ушла, как всегда, только немножко попозже. И она мне говорит: «Тетка Гихан, — говорит она, — это последняя ночь, что я ухожу, слава всем святым, — самая последняя ночь». И какое на этот раз у нее было платье, ваше преподобие, — чистая мечта. Все из белого атласа и шелка, и лент, и с кружевом у ворота и на рукавах… Просто грех, ваше преподобие, тратить столько золота на такие вещи.

Священник услыхал, как у Лорисона захватило дыхание, и его резко очерченные губы сложились в еле заметную улыбку.

— В таком случае, миссис Гихан, — сказал он, — я поднимусь наверх и немного поговорю с

малышом; этот господин пойдет со мной.

— Он не спит, — сказала женщина. — Я только что ушла от него — целый час просидела и все рассказывала ему всякие чудесные истории про милую нашу Ирландию. А уж как жадно он меня слушает, ваше преподобие, — прямо страх.

— Еще бы! — сказал патер Роган. — Покачайте его в люльке, так и то не так скоро уснет, как от ваших сказок.

Женщина шумно запротестовала против этой шутки, а оба гостя под звук ее болтовни начали взбираться по крутой лестнице. Почти на самом верху ее священник толкнул дверь одной из комнат.

— Ты уже вернулась, сестричка? — певуче прозвучал нежный детский голосок.

— Нет, голубчик, это старый патер Денни зашел тебя навестить; посмотри, какого важного господина я к тебе привел, — он к тебе с визитом явился. А ты нас принимаешь в кровати. Это, по-твоему, вежливостью называется?

— Ах, так это вы, отец Денни? Как я рад! Зажгите лампу, пожалуйста, она вон там на столе, рядом с дверью.

Священник зажег лампу, и Лорисон увидел маленького мальчика с шапкой спутанных во-

лос, с худеньким нежным личиком; он сидел на кровати в углу комнаты. Быстрым взглядом Лорисон оглядел комнату и обстановку ее. В ней заметен был известный комфорт, а в стараниях ее украсить, несомненно, проглядывал разборчивый вкус женщины. Сквозь открытую дверь виднелась смежная, совсем темная, комната.

Мальчик схватил патера Рогана за обе руки.

— Я так рад, что вы здесь, — сказал он, — но почему вы пришли ночью? Сестра, что ли, вас прислала?

— Проваливай ты. Да ты что думаешь, что меня, в мои годы, так-таки можно посылать туда да сюда? Я пришел по собственному почину.

Лорисон тоже приблизился к кроватке ребенка; он любил детей, и вид этого малыша, который спал один в этой темной комнате, тронул его сердце.

— А ты не боишься тут один, детка? — спросил он, наклоняясь к нему.

— Иногда, — ответил мальчик, робко улыбаясь, — когда крысы уж очень разойдутся. Но каждый почти вечер, когда моя сестра уходит, тетка Гихан сидит со мной часок и рассказывает мне смешные сказки. Я не так часто боюсь, сэр.

— Этот храбрый молодой человек, — сказал

патер Роган, — мой ученик Каждый день от половины седьмого до половины девятого — когда за ним заходит сестра — он сидит у меня в кабинете, и мы с ним узнаем, о чем говорится в книгах Он уже знает умножение, деление и дроби и все пристает ко мне, чтобы нам приняться за ирландские хроники.

Лорисон никак не мог — даже если бы от этого зависела вся его жизнь — предложить ребенку хотя бы один из тех важнейших вопросов, которые кружились у него в голове и до сих пор оставались без ответа. Малыш был очень похож на Нору у него были такие же блестящие волосы и правдивые глаза.

— Ах, патер Денни! — вдруг воскликнул мальчик. — А я ведь забыл вам сказать. Моя сестричка больше не будет уходить по ночам. Она мне это сказала сегодня, когда поцеловала меня на прощанье, как всегда, перед уходом. А потом она сказала, что так счастлива, а сама заплакала. Правда, как это странно? Но я очень рад, а вы?

— Я тоже, мальчик. Ну а теперь, проказник, спи — и простись с нами, нам нужно идти.

— А что сделать раньше, патер Денни?

— Ишь ты! Опять ведь поймал меня. Ну, ладно, дайте мне срок, а уж как только я познакомлю

этого разбойника с анналами Тагеруха-гагиографа, так прямо заморю его гэльским языком, чтобы научить его почтительности.

Свет потух, и тонкий голосок из темной комнаты мужественно пожелал им спокойной ночи. Они ощупью спустились вниз по лестнице и быстро вышли, спасаясь от болтовни тетки Гихан.

Опять священник повел Лорисона по темным улицам, но на этот раз он взял другое направление. Он шел спокойно, молча, и Лорисон, стараясь следовать его примеру, заговаривал лишь изредка. Спокойным же он быть не мог. Сердце его так колотилось в груди, что он задыхался. Ему чудилось, что это зловещее путешествие вслепую по следам любимой им женщины должно закончиться открытием какой-нибудь унизительной тайны.

Они вышли на более бойкую улицу, где днем, очевидно, шла оживленная торговля. Опять священник остановился, — на этот раз перед высоким зданием; тяжелые двери и окна нижнего этажа были закрыты ставнями и заперты на засов. Верхние окна были темны, кроме окон третьего этажа, ярко освещенных. До слуха Лорисона донеслось приятное отдаленное ритмическое жужжание, точно наверху играла музыка. Оба

спутника стояли около угла здания. По ближайшему фасаду вилась вверх железная лестница. За верхней площадкой ее виднелся в стене светлый четырехугольник. Патер Роган остановился и погрузился в размышления.

— Я все-таки скажу одно, — задумчиво проговорил он, — я считаю вас более хорошим человеком, чем вы сами считаете себя, вы лучше, чем мне казалось несколько часов назад. Но не воображайте, — с улыбкой добавил он, — что это большая похвала. Я обещал вам возможное избавление от мучительного затруднения. Мне придется внести поправку в мое обещание. Я могу только раскрыть вам тайну, которая увеличивала мучительность этого затруднения. Избавиться же от него — зависит от вас самих. Пойдем.

Он повел своего спутника вверх по лестнице. Когда они дошли до половины ее, Лорисон схватил священника за рукав.

— Помните! — задыхаясь, проговорил он. — Я люблю эту женщину.

— Вы хотели знать.

— Я! Идем дальше.

Священник ступил на верхнюю площадку. Лорисон, стоя позади него, увидел, что освещенный четырехугольник не что иное, как верхняя

стеклянная часть двери, ведущей в залитую огнями комнату. По мере приближения к ней, ритмическая музыка усиливалась; даже лестница дрожала от вибраций.

Лорисон затаил дыхание, когда поставил ногу на последнюю ступеньку; священник отошел в сторону и знаком показал ему, чтобы он посмотрел сквозь стеклянную дверь.

Глаза его, привыкшие к темноте, сначала были ослеплены ярким светом, но затем он начал различать фигуры и лица множества людей, бродивших посреди целой выставки роскошных платьев, тонких кружев, разноцветных украшений, лент, шелка и прозрачных тканей. И вдруг он понял, отчего происходило это громкое жужжание, и увидел усталое, бледное, счастливое лицо своей жены; она склонилась, как и множество других женщин, над швейной машиной и работала, работала без устали. Так вот в чем заключалось то безумие, которому она предавалась? Вот где была разгадка тайны!

Разгадка тайны, но не избавление от мук, хотя его тут же охватило раскаяние. Его пристыженная подозрительность еще раз взмахнула крыльями, раньше чем исчезнуть и уступить место другим, более возвышенным чувствам. Ибо точно для

того, чтобы умерить радость, от которой он весь задрожал, блеск атласа и сверкающие украшения напомнили ему усыпанную блестками фигуру амазонки-воительницы, внесшей тревогу в его душу; вспомнился ему и рассказ о театре и об украденных брильянтах. Любовь пересилила у Лорисона нравственную щепетильность. Он даже шагнул и протянул руку к ручке двери. Но патер Роган еще более быстрым движением остановил его и оттащил прочь.

— Вы странно злоупотребляете моим доверием, — строгим тоном сказал священник. — Что вы хотите сделать?

— Я иду к моей жене, — сказал Лорисон. — Пустите меня.

— Послушайте, — сказал священник, с силой удерживая его за руку. — Я сейчас сообщу вам, хотя вы еще недостойны это узнать. Не думаю, чтобы вы вообще когда-либо заслужили это, но об этом говорить не стоит. Здесь, в этой комнате, вы видите ту женщину, на которой вы женились; она зарабатывает на насущный хлеб себе и на всевозможные удобства для своего брата, которого она обожает. Это здание — главная костюмерная мастерская в городе. Вот уже несколько месяцев, как благодаря множеству заказов на костюмы для

наступающих празднеств карнавала работа здесь идет и день и ночь. Я сам устроил сюда Нору. Она шьет здесь каждую ночь от девяти часов до утра, а кроме того, уносит с собой на дом более сложные костюмы, требующие более тонкой работы. Каким-то образом случилось, что каждый из вас оставался в странном неведении относительно образа жизни другого. Убедились ли вы теперь, что ваша жена не таскается по улицам?

— Пустите меня к ней! — воскликнул Лорисон, опять борясь со священником. — Дайте мне вымолить у нее прощение.

— Сын мой, — сказал священник — разве вы считаете, что ничем мне не обязаны? Успокойтесь. Как часто драгоценнейшие дары небес попадают в руки, которые сами не умеют их удержать. Слушайте дальше. Вы забываете, что раскаявшийся грешник не должен унижать до себя чистое и добродетельное существо, а, наоборот, сам должен стремиться возвыситься до него и тем искупить свой грех. Вы пришли к ней с хитросплетениями и софизмами о том, что двое людей могут найти успокоение в сознании своей взаимной преступности; а она, боясь утерять то, чего так жаждало ее сердце, решила, что оно стоит той дорогой цены, которую она

заплатила, — ее вызванной отчаянием чистой, возвышенной лжи. Я знаю ее со дня рождения: она чиста и непорочна и словом и делом, как святая. Она родилась там, на этой жалкой улице, где она и сейчас живет; там она прожила всю жизнь, каждый день великодушно принося жертвы ради других. Эх вы, бездельник! — продолжал патер Роган, с добродушным гневом грозя пальцем Лорисону. — Стоите ли вы того, чтобы она такие глупости из-за вас делала и брала бы грех на свою непорочную душу из-за вас.

— Сэр, — сказал Лорисон, весь дрожа, — называйте меня как хотите. Вы, конечно, не можете не сомневаться во мне, но вы увидите, что я сумею доказать вам мою благодарность, а ей — мою преданность. Но позвольте мне сейчас сказать ей хоть одно слово, дайте мне хоть на мгновенье опуститься перед ней на колени и…

— Тише, тише! — сказал священник. — Как вы думаете, в состоянии ли такой старый, как я, человек, вечно погруженный в свои книги, присутствовать при стольких сценах из любовной драмы? А кроме того, поймите же, за кого нас могут принять, если увидят, как мы тут стоим и подглядываем ночью тайны изготовления дамских платьев? Приходите завтра на свидание с

вашей женой, как она вам приказала, и впредь всегда слушайтесь ее, и тогда, быть может, мне как-нибудь простится мое участие в делах сегодняшней ночи. Ну а теперь марш вниз! Уже поздно, пора мне, старику, и на покой.

Мадам Бо-Пип на ранчо

У крошки Бо-Пип голосок охрип -
Разбежались ее овечки.
Не надо их звать: все вернутся опять,
Хвосты завернув в колечки.

Сказки Матушки-Гусыни

Перевод И. Гуровой.

— Тетя Эллен, — весело сказала Октавия, метко швырнув черными лайковыми перчатками в важного персидского кота на подоконнике. — Я — нищая.

— Ты так любишь преувеличивать, дорогая Октавия, — мягко заметила тетя Эллен, опуская газету. — Если у тебя сейчас нет мелочи на конфеты, поищи мой кошелек в ящике письменного стола.

Октавия Бопри сняла шляпу и, обняв руками колени, уселась на низенькой скамеечке рядом с креслом своей тетки. Но и в этом неудобном положении ее тонкая, гибкая фигура, облаченная в модный траурный костюм, не потеряла своей грациозности. Октавия тщетно пыталась придать требуемую обстоятельствами серьезность своему

юному, оживленному лицу и сверкающим, жизнерадостным глазам.

— Тетя, милая, дело не в конфетах. Это самая настоящая, ничем не прикрытая скучная нищета: меня ждут платья в рассрочку, чищенные бензином перчатки и, может быть, обеды в час дня. Я только что от моего поверенного, тетя, и: «Подайте, сударыня, бедной обездоленной! Цветы, мадам? Бутоньерку, сударь? Карандаши, сэр, три штуки пять центов — помогите бедной вдове!» Хорошо у меня получается, тетечка? Или я напрасно брала уроки декламации и мое ораторское искусство не поможет мне снискать хлеб насущный?

— Постарайся хоть минуту быть серьезной, дорогая, — сказала тетя Эллен, роняя газету на пол, — и объясни мне, что это значит. Состояние полковника Бопри…

— Состояние полковника Бопри, — прервала Октавия сопровождая свои слова надлежащим драматическим жестом, — солидно, как воздушный замок. Недвижимость полковника Бопри — ветер, акции полковника Бопри — вода, прибыли полковника Бопри — выбыли. Данной речи не хватает юридических терминов, которые мне только что пришлось выслушивать в течение

часа, но в переводе они означают именно это.

— Октавия! — Было заметно, что тетя Эллен обеспокоена. — Я не могу поверить. Он производил впечатление миллионера. И ведь его представили сами де Пейстеры!

Октавия рассмеялась, затем обрела надлежащую серьезность.

— De mortuis nil[236], тетя, даже и конца поговорки. Милейший полковник — какой подделкой он оказался! Свои обязательства я выполнила честно — вот я вся здесь. Статьи: глаза, пальцы, ногти, молодость, старинный род, завидные светские связи, — что и требовалось по контракту. Никаких дутых акций. — Октавия подняла с полу газету. — Но я не собираюсь «хныкать» — так, кажется, называются жалобы на судьбу, когда игра проиграна? — Она спокойно переворачивала страницы газеты. — «Курс акций» — не нужно. «Светские новости» — с этим кончено. Вот моя страница: «Спрос и предложение труда». Посмотрим «предложение». Разве Ван-Дрессеры могут «просить»? Горничные, кухарки, продавщицы, стенографистки…

— Дорогая, — голос тети Эллен дрогнул, — не

[236] Примечания: 236

«О мёртвых ничего…» — начало латинской поговорки «О мёртвых ничего, кроме хорошего».

говори так, прошу тебя. Даже если твои дела в столь плачевном состоянии, остаются мои три тысячи…

Октавия вскочила и запечатлела звонкий поцелуй на нежной восковой щеке чопорной старой девы.

— Тетя, душечка, ваших трех тысяч хватает только на ваш любимый китайский чай и на стерилизованные сливки для кота. Я знаю, что вы будете рады помочь мне, но я предпочту пасть с горних высот, подобно Вельзевулу, а не бродить, как Пери, у черного хода, пытаясь услышать музыку. Я буду работать. Другого выхода нет. Я… Ах, я совсем забыла. Кое-что уцелело в катастрофе. Корраль, нет, ранчо в… ах да, в Техасе. Актив, как выразился милейший Бэннистер. Как он был доволен, что может хоть про что-то сказать «свободно от обязательств». Где-то в этих глупых бумагах, которые он заставил меня взять с собой, есть описание ранчо. Я сейчас поищу.

Октавия нашла свою сумку и извлекла из нее длинный конверт с отпечатанными на машинке документами.

— Ранчо в Техасе, — вздохнула тетя Эллен, — по-моему, больше похоже на пассив, чем на актив. Ведь там водятся сколопендры, ковбои и

фанданго[237].

— «Ранчо Де Лас Сомбрас, — читала Октавия ядовито-лиловые строчки, — расположено в ста десяти милях к юго-востоку от Сан-Антонио и в тридцати восьми милях от Нопаля, ближайшей железнодорожной станции. Ранчо включает семь тысяч шестьсот восемьдесят акров орошаемых земель, право собственности на которые утверждено патентом штата, и двадцать две квадратных мили, или четырнадцать тысяч восемьдесят акров, частично арендованных на условии ежегодного возобновления аренды, частично купленных на основании акта о двадцатилетней рассрочке. На ранчо восемь тысяч породистых овец-мериносов, необходимое количество лошадей, повозок и прочего оборудования; дом из кирпича, шесть комнат, удобно меблированных согласно с требованиями климата. Все обнесено крепкой изгородью из колючей проволоки.

Теперешний управляющий производит впечатление человека умелого и надежного. В его руках дело, которое сильно пострадало от небрежности и дурного управления, начинает приносить

---

[237] Примечания: 237
Испанский танец.

доход.

Эта собственность приобретена полковником Бопри у одного из западных оросительных синдикатов. Право на владение представляется несомненным. При правильном управлении и учитывая естественное возрастание стоимости участка, ранчо Де Лас Сомбрас может стать для своего владельца надежным источником приличного дохода».

Когда Октавия кончила, тетя Эллен издала нечто, настолько напоминавшее презрительное фырканье, насколько это допускается хорошим тоном.

— В этом описании, — заявила она с непреклонной подозрительностью столичной жительницы, — не упоминается ни о сколопендрах, ни об индейцах. И ведь ты никогда не любила баранины, Октавия. Не понимаю, какую пользу ты собираешься извлечь из этой… э… пустыни.

Но Октавия не слышала. Ее глаза смотрели в беспредельную даль, губы полураскрылись, лицо осветилось священным безумием исследователя, беспокойным стремлением искателя приключений. Вдруг она ликующе захлопала в ладоши.

— Проблема разрешается сама собой, тетечка, — вскричала она. — Я поеду на это ранчо. Я

буду там жить. Я научусь любить баранину и попробую отыскать положительные стороны в характере сколопендр — на почтительном расстоянии, разумеется. Это как раз то, что мне нужно. Новая жизнь на смену старой, которая кончается сегодня. Это выход, тетя, а не тупик. Подумайте только — скачка по просторам прерий, ветер, треплющий волосы; возвращение к земле, снова сказки растущей травы и диких цветов без названия! Это будет дивно. Как, по-вашему, стать ли мне пастушкой Ватто в соломенной шляпе, с посохом, чтобы отгонять гадких волков от овечек, или типичной стриженой девушкой с ранчо на Западе — помните иллюстрации в воскресных газетах? Пожалуй, я предпочту второе, и мое изображение тоже появится в газете — я верхом на лошади, а с седла свисают пумы, сраженные моей рукой. И будет подпись: «С Пятой авеню в прерии Техаса», — а рядом напечатают фотографии старого особняка Ван-Дрессеров и церкви, где я венчалась. В редакциях нет моего портрета, но его закажут художнику. Я буду дикая, косматая и буду продавать свою шерсть.

— Октавия! — Все возражения, для которых тетя Эллен не находила слов, слились в этом возгласе.

— Ни слова, тетя. Я еду. Я увижу ночное небо, опрокинутое над землей, как крышка огромной масленки. Я опять подружусь со звездами — ведь я не болтала с ними с тех пор, как была совсем крошкой. Я хочу уехать. Мне все надоело. Я рада, что у меня нет денег. Я готова благословить полковника Бопри за это ранчо и простить все его мыльные пузыри. Пусть жизнь там будет трудной и одинокой. Я… Так мне и надо! Мое сердце было закрыто для всего, кроме жалкого тщеславия. Я… Ах, я хочу уехать отсюда и забыть — забыть!

Октавия неожиданно соскользнула на пол, спрятала разгоревшееся лицо в коленях тетки и зарыдала. Тетя Эллен склонилась над ней и погладила каштановые волосы.

Я не знала, — сказала она мягко. — Этого я не знала. Кто это был, дорогая?

Когда миссис Октавия Бопри, урожденная Ван-Дрессер, сошла с поезда в Нопале, она на мгновение утратила ту светскую уверенность, которая отличала каждое ее движение. Город возник совсем недавно и, казалось, был сооружен наспех из неотесанных бревен и хлопающего брезента. И хотя в поведении личностей, слонявшихся по станции, не было ничего вызывающего, чувствовалось, что каждый из граждан города

всегда равно готов к нападению и к отпору.

Октавия стояла на платформе у входа на телеграф и пыталась угадать в этой прогуливающейся вразвалку толпе управляющего ранчо Де Лас Сомбрас, которому мистер Бэннистер поручил встретить ее на станции. Пожалуй, вот этот серьезный пожилой человек в синей фланелевой рубахе с белым галстуком. Но нет, он прошел мимо, и когда их взгляды встретились, поспешил отвести глаза, как делают южане при встрече с незнакомой дамой. Управляющий должен был бы сразу найти ее, подумала она, сердясь, что ей приходится ждать. Не так уж много в Нопале молодых женщин, одетых в самые модные серые дорожные костюмы.

И вот, пока Октавия выискивала в толпе возможных управляющих, она, вздрогнув от удивления, осознала, что по платформе к поезду спешит Тэдди Уэстлейк, или, по крайней мере, его загорелый призрак, в шевиотовом костюме, высоких сапогах и в шляпе с кожаной лентой — Теодор Уэстлейк Младший, почти чемпион любительского поло, легкомысленный мотылек и небокоптитель, но возмужавший, уверенный в себе Тэдди, более определенный и законченный, чем тот, которого она помнила со времени их

последней встречи год тому назад.

Он заметил Октавию почти в тот же момент, круто повернул и с былой непосредственностью направился прямо к ней. Нечто вроде священного трепета охватило Октавию, когда она рассмотрела вблизи его странную метаморфозу. Густой красно-коричневый загар особенно подчеркивал желтые, как солома, усики и серые, как сталь, глаза. Он казался повзрослевшим и почему-то далеким. Но когда он заговорил, это был прежний мальчишка Тэдди. Они были друзьями детства,

— Тэви?! — Его недоумение отказывалось укладываться в связную речь. — Как — что — когда — откуда?

— Поездом, — ответила Октавия, — необходимость — десять минут назад — из дому. Ты испортил себе цвет лица, Тэдди. Ну: как — что — когда — откуда?

— Я работаю неподалеку, — сказал Тэдди, искоса оглядывая платформу, как человек, пытающийся соединить вежливость и долг. — Не заметила ли ты в поезде старую даму с седыми буклями и пуделем, занявшую два места своими свертками и скандалившую с проводником?

— Кажется, нет, — ответила Октавия размышляя. — А ты случайно не заметил высокого

человека с седыми усами, одетого в синюю рубаху и кольты, у которого в волосах торчал клок овечьей шерсти?

— Да сколько угодно, — сказал Тэдди, подавляя симптомы безумия. — А тебе знаком подобный индивид?

— Нет, описание продиктовано воображением. А почему тебя интересует седовласая дама? Твоя знакомая?

— Никогда ее не видел. Портрет создан фантазией. Это владелица ранчо, где я зарабатываю себе на хлеб с маслом, — ранчо Де Лас Сомбрас. Я приехал встретить ее по телеграмме поверенного.

Октавия прислонилась к стенке телеграфа. Возможно ли это? И неужели он не знает?

— Ты управляющий этого ранчо? — спросила она растерянно.

— Да, — гордо ответил Тэдди.

— Я миссис Бопри, — сказала Октавия тихо, — только мои волосы никак не завиваются и я была вежлива с проводником.

На мгновение Тэдди стал опять взрослым, чужим и бесконечно далеким.

— Надеюсь, вы извините меня, — сказал он неловко. — Видите ли, я год прожил в прерии. Я не слыхал. Будьте добры, дайте мне ваши кви-

танции, и я погружу багаж в фургон. Его отвезет Хосе, а мы поедем вперед на двуколке.

Сидя рядом с Тэдди в легкой двуколке, запряженной белоснежной парой диких испанских лошадей, Октавия забыла о прошлом и будущем, завороженная настоящим. Городок остался позади, и они неслись по ровной дороге на юг. Потом дорога исчезла, двуколка помчалась по бескрайнему ковру кудрявой мескитовой травы. Стука колес не было слышно. Неутомимые лошади шли ровным галопом. Ветер, напоенный ароматом тысяч акров синих и желтых степных цветов, упоительно свистел в ушах. Возникало пьянящее чувство полета и безграничной свободы. Октавия молчала, охваченная чисто физическим ощущением блаженства. Тэдди, казалось, решал какую-то проблему.

— Я буду называть вас мадама, — сообщил он результат своих размышлений. — Так вас будут называть мексиканцы — на ранчо работают почти одни мексиканцы. Мне кажется, так будет правильно.

— Превосходно, мистер Уэстлейк, — чопорно сказала Октавия.

— Нет, послушайте, — сказал Тэдди в некотором замешательстве, — это уж слишком, вы не

находите?

— Не приставайте ко мне с вашим противным этикетом. Я только-только начала жить. Не напоминайте мне ни о чем искусственном. Почему этот воздух нельзя разливать по бутылкам! Уже ради него одного стоило приехать. Ой, посмотрите, олень!

— Заяц, — сказал Тэдди, не повернув головы.

— Разрешите… Можно, я буду править? — спросила раскрасневшаяся Октавия, глядя на него умоляющими, как у ребенка, глазами.

— С одним условием. Разрешите… Можно, я буду курить?

— Когда угодно! — воскликнула Октавия, торжественно беря вожжи. — А куда мне править?

— Курс — юго-юго-восток, на всех парусах. Видите эту черную точку на горизонте, пониже тех облаков с Мексиканского залива? Это — дубовая роща и ориентир. Курс — посредине между рощей и холмиком слева. Сейчас я продекламирую вам правила управления лошадьми в прериях Техаса: не распускать вожжи и почаще ругаться.

— Я слишком счастлива, чтобы ругаться, Тэд. Зачем только люди покупают яхты и ездят в салон-вагонах, когда двуколка, пара одров и вот такое весеннее утро могут удовлетворить все

земные желания?

— Я попрошу вас, — запротестовал Тэдди, тщетно чиркая спичкой о крыло двуколки, — не называть одрами этих обитателей воздуха. Они способны отмахать сто миль за день.

Наконец, ему удалось прикурить сигару от огонька, спрятанного в ладонях.

— Простор! — убежденно заявила Октавия. — Вот откуда это чувство. Теперь я знаю, чего мне не хватало, — простора, пространства, места!

— Для курения, — прозаически заметил Тэдди. — Я люблю курить в двуколке. Ветер вдувает и выдувает дым из легких, и экономится энергия на затяжку.

Они так естественно перешли на старый товарищеский тон, что только постепенно начинали осознавать всю странность своего нового положения.

— Мадама, — спросил удивленно Тэдди, — почему вам пришло в голову покинуть общество и явиться сюда? Или среди высших классов теперь модно проводить сезон на овечьем ранчо вместо Ньюпорта?

— Я разорилась, Тэдди, — беззаботно объяснила Октавия, интересовавшаяся в этот момент только тем, как без ущерба проскочить между грозными

штыками «испанского меча» и зарослями чапарраля. — У меня, кроме этого ранчо, не осталось ничего, даже другого дома.

— Послушайте, — сказал Тэдди обеспокоенно, но недоверчиво, — вы шутите?

— Когда мой муж, — сказала Октавия, смущенно комкая последнее слово, — скончался три месяца назад, я считала, что обладаю достаточным количеством земных благ. Его поверенный вдребезги разнес эту теорию в шестидесятиминутной лекции, проиллюстрированной соответствующими документами. А вы ничего не слышали об очередной прихоти золотой молодежи Манхэттена — бросать поло и окна клубов, чтобы стать управляющими на овечьих ранчо в Техасе?

— Что касается меня, это объяснить нетрудно, — не задумываясь ответил Тэдди. — Мне пришлось взяться за работу. В Нью-Йорке для меня работы не было. Поэтому я покружился возле старика Сэндфорда — он был членом синдиката, которому принадлежало ранчо до того, как полковник Бопри его купил, — и получил тут место. Сначала я не был управляющим. Я целые дни мотался в седле, изучая дело в подробностях, пока во всем не разобрался. Я понял причины убытков и сообразил, как можно их избежать. И

тогда Сэндфорд вручил мне бразды правления. Я получаю сто долларов в месяц и могу сказать — не даром.

— Бедный Тэдди! — улыбнулась Октавия.

— О нет, мне нравится. Я откладываю половину моего жалованья и крепок, как втулка от бочки. Это лучше поло.

— А хватит тут на хлеб, чай и варенье другому изгою цивилизации?

Весенняя стрижка, — сказал управляющий, — как раз покрыла прошлогодний дефицит. Прежде бессмысленные расходы и небрежность были здесь правилом. Осенняя стрижка даст небольшой положительный баланс. В следующем году будет варенье.

Когда в четыре часа дня лошади обогнули пологий холм, поросший кустарником, и обрушились двойным белоснежным вихрем на ранчо Де Лас Сомбрас, Октавия вскрикнула от восторга. Величественная дубовая роща бросала густую прохладную тень, которой ранчо было обязано своим именем Де Лас Сомбрас — ранчо Теней. Под деревьями стоял одноэтажный дом из красного кирпича. Высокий сводчатый проход, живописно украшенный цветущими кактусами и висячими терракотовыми вазами, делил его пополам. Дом

окружала низкая широкая веранда, увитая зеленью, а вокруг тянулись садовый газон и живая изгородь. Позади дома поблескивал на солнце длинный узкий пруд. Дальше виднелись хижины мексиканских батраков, загоны для овец, склады шерсти, станки для стрижки. Справа простирались невысокие холмы с темными пятнами зарослей чапарраля, слева — безграничная зеленая прерия сливалась с голубыми небесами.

— Какая прелесть, Тэдди, — прошептала Октавия. — Я… Я приехала домой.

— Не так уж плохо для овечьего ранчо, — согласился Тэдди с извинительной гордостью. — Я здесь кое-что подштопал в свободное время.

Откуда-то из травы выскочил мексиканский юноша и занялся лошадьми. Хозяйка и управляющий вошли в дом.

— Это миссис Макинтайр, — сказал Тэдди, когда навстречу им на веранду вышла добродушная, аккуратная старушка. — Миссис Мак, это наша хозяйка. С дороги ей, наверное, не повредит тарелка бобов и кусок бекона.

Подобные наветы на продовольственные ресурсы ранчо вызвали у миссис Макинтайр, экономки и такой же неотъемлемой принадлежности усадьбы, как пруд или дубы, вполне понятное

негодование, которое она как раз собиралась излить, когда Октавия заговорила.

— О миссис Макинтайр, не извиняйтесь за Тэдди. Да, я зову его Тэдди. Так его зовут все, кто знает, что его нельзя принимать всерьез. Мы с ним играли в бирюльки и вырезали бумажные кораблики еще в незапамятные времена. Никто не обращает внимания на его слова.

— Да, — сказал Тэдди, — никто не обращает внимания на его слова при условии, что он их больше повторять не будет.

Октавия бросила на него быстрый лукавый взгляд из-под опущенных ресниц, взгляд, который Тэдди когда-то называл ударом в челюсть. Но загорелое обветренное лицо хранило простодушное выражение, и нельзя было предположить, что Тэдди на что-то намекает. Несомненно, думала Октавия, он забыл.

— Мистер Уэстлейк любит пошутить, — заметила миссис Макинтайр, сопровождая Октавию в комнаты. — Но, — прибавила она лояльно, — здешние обитатели всегда принимают к сведению его слова, когда он говорит серьезно. Не могу представить, во что превратилось бы это место без него.

Для хозяйки ранчо были приготовлены две

комнаты в восточном крыле дома. Когда она вошла, ее охватило уныние — такими пустыми и голыми они показались ей, — но она быстро сообразила, что климат здесь субтропический, и оценила продуманность меблировки. Большие окна были распахнуты, и белые занавески бились в морском бризе, лившемся через широкие жалюзи. Прохладные циновки устилали пол, глубокие плетеные кресла манили отдохнуть, стены были оклеены веселыми светло-зелеными обоями. Целую стену гостиной закрывали книги на некрашеных сосновых полках. Октавия сразу кинулась к ним. Перед ней была хорошо подобранная библиотека. Ей бросились в глаза заголовки романов и путешествий, совсем недавно вышедших из печати.

Сообразив, что подобная роскошь как-то не вяжется с глушью, где царят баранина, сколопендры и лишения, она с интуитивной женской подозрительностью начала просматривать титульные листы книг. На каждом томе широким росчерком было написано имя Теодора Уэстлейка Младшего.

Октавия, утомленная дорогой, в этот вечер легла спать рано. Она блаженно отдыхала в белой прохладной постели, но сон долго не приходил.

Она прислушивалась к незнакомым звукам, мешавшим ей своей новизной: к отрывистому тявканью койотов, к неумолчной симфонии ветра, к далекому кваканью лягушек у пруда, к жалобе концертино в мексиканском поселке. Ее сердце теснили противоречивые чувства — благодарность и протест, успокоенность и смятение одиночество и ощущение дружеской заботы, счастье и старая щемящая боль.

И она, как всякая другая женщина на ее месте, искала и нашла облегчение в беспричинном потоке сладких слез, а последние слова, которые она пробормотала засыпая, были: «Он забыл».

Управляющий ранчо Де Лас Сомбрас не был дилетантом. Он был «работягой». Дом еще спал, а он уже отправлялся в утренний объезд стад и лагерей. Это было, собственно говоря, обязанностью главного объездчика, старика мексиканца с внешностью и манерами владетельного князя, но Тэдди, судя по всему, предпочитал полагаться на собственные глаза. Если не было спешной работы, он обычно возвращался к восьми часам и завтракал с Октавией и миссис Макинтайр за маленьким столом, накрытым на центральной веранде. Он приносил с собой веселье, живительную свежесть и запах прерий.

Через несколько дней после приезда он заставил Октавию достать амазонку и укоротить ее, насколько это требовалось из-за колючих зарослей.

С некоторой опаской Октавия надела амазонку и кожаные гетры, также предписанные Тэдди, и на горячей лошадке отправилась с ним обозревать свои владения. Он показал ей все: стада овец и баранов, пасущихся ягнят, чаны для замачивания шерсти, станки для стрижки, отборных мериносов на особом пастбище, водоемы, приготовленные к летней засухе, — и отчитывался в своем управлении с неугасающим мальчишеским энтузиазмом.

Куда девался прежний Тэдди, которого она так хорошо знала? Эту черту мальчишества она всегда любила в нем. Но теперь, кроме этой черты, как будто ничего и не осталось. Куда исчезли его сентиментальность, его прежнее изменчивое настроение то бурной влюбленности, то изысканной рыцарской преданности, то душераздирающего отчаяния, его нелепая нежность и надменное безразличие, вечно сменявшие друг друга? Он был тонкой, почти артистической натурой. Она знала, что этому великосветскому спортсмену-щеголю свойственны более высокие

стремления. Он писал стихи, он немного занимался живописью, он разбирался в искусстве, и когда-то он делился с ней всеми мыслями и надеждами. Но теперь — ей пришлось это признать — Тэдди забаррикадировал от нее свой внутренний мир, и она видела только управляющего ранчо Де Лас Сомбрас и веселого товарища, который простил и забыл. Почему-то ей вспомнилось описание ранчо, составленное мистером Бэннистером: «Все обнесено крепкой изгородью из колючей проволоки».

«Тэдди тоже огорожен», — сказала себе Октавия.

Ей было нетрудно догадаться, почему он воздвиг свои укрепления. Все началось на балу у Хэммерсмитов. Незадолго до этого она решила принять полковника Бопри и его миллионы — цену совсем не высокую при ее наружности и связях в самых недоступных сферах. Тэдди сделал ей предложение со всей свойственной ему стремительностью и пылкостью, а она поглядела ему прямо в глаза и сказала неумолимо и холодно: «Прошу никогда больше не говорить мне подобной чепухи». — «Хорошо», — сказал Тэдди с новым, чужим выражением — и теперь Тэдди был обнесен крепкой изгородью из колю-

чей проволоки.

Во время первой поездки по ранчо на Тэдди снизошло вдохновение, и он окрестил Октавию «Мадам Бо-Пип» по имени девочки из «Сказок Матушки-Гусыни». Прозвище, подсказанное сходством имен и занятий, показалось ему необычайно удачным, и он называл ее так постоянно. Мексиканцы на ранчо подхватили это имя, прибавив лишний слог, так как не могли произнести конечного «п», и вполне серьезно величали Октавию «ла мадама Бо-Пиппи». Постепенно это прозвище привилось в округе, и название «ранчо Бо-Пип» употреблялось не реже, чем «ранчо Де Лас Сомбрас».

Наступил долгий период жары между маем и сентябрем, когда на ранчо работы мало. Октавия проводила дни, вкушая лотос. Книги, гамак, переписка с немногими близкими подругами, новый интерес к старой коробке акварельных красок и мольберту помогали коротать душные дневные часы. А сумерки всегда приносили радость. Лучше всего была захватывающая скачка с Тэдди в лунном свете по овеянным ветром просторам, когда их общество составляли только парящий лунь или испуганная сова. Часто из поселка приходили мексиканцы с гитарами и пели

заунывные, надрывающие душу песни. Иногда — долгая уютная болтовня на прохладной веранде, бесконечное состязание в остроумии между Тэдди и миссис Макинтайр, чье шотландское лукавство нередко одерживало верх над веселой шутливостью Тэдди.

Вечера сменяли друг друга, складываясь в недели и месяцы, — тихие, томные, ароматные вечера, которые привели бы Стрефона к Хлое[238] через любые колючие изгороди, вечера когда, возможно, сам Амур бродил, крутя лассо, по этим зачарованным пастбищам, но ограда Тэдди оставалась крепкой.

Как-то июньским вечером мадам Бо-Пип и ее управляющий сидели на восточной веранде. Тэдди долго строил научные прогнозы относительно продажи осеннего настрига по двадцать четыре цента и, истощив все возможные предположения, окутался анестезирующим дымом гаванской сигары. Только такой непросвещенный наблюдатель, как женщина, мог столько времени не замечать, что, по крайней мере, треть жалования Тэдди улетучивается с дымом этих импортных регалий.

---

[238] Примечания: 238
Герои пастушеской поэмы Филиппа Сиднея «Аркадия».

— Тэдди, — неожиданно и довольно резко сказала Октавия, — что вам дает работа на ранчо?

— Сто в месяц, — без запинки ответил Тэдди, — и полное содержание.

— Я думаю, мне следует вас уволить.

— Не выйдет, — ухмыльнулся Тэдди.

— Почему это? — запальчиво осведомилась Октавия.

— Контракт. По условиям продажи вы не имеете права расторгать ранее заключенные контракты. Мой истекает в двенадцать часов ночи тридцать первого декабря. В ночь на первое января вы можете встать и уволить меня. А если вы попытаетесь сделать это раньше, у меня будут все законные основания для предъявления иска.

Октавия, видимо, взвешивала последствия такого шага.

— Но, — весело продолжал Тэдди, — я сам подумываю об отставке.

Качалка его собеседницы замерла. Октавия ясно почувствовала, что кругом повсюду сколопендры, и индейцы, и громадная, безжизненная, унылая пустыня. А за ними — изгородь из колючей проволоки. Кроме ван-дрессеровской гордости, существовало и ван-дрессеровское сердце. Она должна узнать, забыл он или нет.

— Конечно, Тэдди, — заметила она, разыгрывая вежливый интерес, — здесь очень одиноко, и вас влечет прежняя жизнь — поло, омары, театры, балы.

— Никогда не любил балов, — добродетельно возразил Тэдди.

— Вы стареете, Тэдди. Ваша память слабеет. Никто не видел, чтобы вы пропустили хоть один бал, разве что вы танцевали в это время на другом. И вы пренебрегали правилами хорошего тона, слишком часто приглашая одну и ту же даму. Как звали эту Форбс — ту, пучеглазую? Мэйбл?

— Нет. Адель. Мэйбл — это та, у которой острые локти. И Адель совсем не пучеглазая — это ее душа рвется наружу. Мы беседовали о сонетах и Верлене. Я тогда как раз пытался пристроить желобок к Кастальскому ключу.

— Вы танцевали с ней, — упорствовала Октавия, — пять раз у Хэммерсмитов.

— Где у Хэммерсмитов? — рассеянно спросил Тэдди.

— На балу, — ядовито сказала Октавия. — О чем мы говорили?

— Насколько я помню, о глазах, — ответил Тэдди после некоторого размышления. — И о локтях.

— У этих Хэммерсмитов, — продолжала Октавия милую светскую болтовню, подавив отчаянное желание выдрать клок выгоревших золотистых волос из головы, уютно покоившейся на спинке шезлонга, — у этих Хэммерсмитов было слишком много денег. Рудники, кажется? Во всяком случае, что-то, приносившее сколько-то с тонны. В их доме было невозможно получить стакан простой воды — вам непременно предлагали шампанское. На этом балу всего было сверх меры.

— Да, — сказал Тэдди.

— А сколько народу! — продолжала Октавия, сознавая, что впадает в восторженную скороговорку школьницы, описывающей свое первое появление в свете. — На балконах было жарче, чем в комнатах. Я… что-то… потеряла на этом балу.

Тон последней фразы был рассчитан на то, чтобы обезвредить целые мили колючей проволоки.

— Я тоже, — признался Тэдди, понизив голос.

— Перчатку, — сказала Октавия, отступая, как только враг приблизился к ее траншеям.

— Касту, — сказал Тэдди, отводя свой авангард без малейших потерь. — Я весь вечер общался с

одним из хэммерсмитовских рудокопов. Парень не вынимал рук из карманов и, как архангел, вещал о цианових заводах, штреках, горизонтах и желобах.

— Серую перчатку, почти совсем новую, — горестно вздохнула Октавия.

— Стоящий парень этот Макардл, — продолжал Тэдди одобрительным тоном. — Человек, который ненавидит анчоусы и лифты, который грызет горы, как сухарики, и строит воздушные туннели, который никогда в жизни не болтал чепухи. Вы подписали заявление о возобновлении аренды, мадама? К тридцать первому оно должно быть в земельном управлении.

Тэдди лениво повернул голову. Кресло Октавии было пусто.

Некая сколопендра, проползая путем, начертанным судьбой, разрешила ситуацию. Случилось это рано утром, когда Октавия и миссис Макинтайр подрезали жимолость на западной веранде. Тэдди, получив известие, что ночная гроза разогнала стадо овец, исчез еще до рассвета.

Сколопендра, ведомая роком, появилась на полу веранды и затем, когда визг женщин подсказал ей дальнейшие действия, со всех своих желтых ног бросилась в открытую дверь крайней ком-

наты — комнаты Тэдди. За нею, вооружившись домашней утварью, отобранной по принципу длины, и теряя драгоценное время в попытках занять арьергардную позицию, последовали Октавия и миссис Макинтайр, боязливо подбирая юбки.

В комнате сколопендры не было видно, и ее грядущие убийцы принялись за тщательные, хотя и осторожные поиски своей жертвы.

Но и в разгаре опасного и захватывающего приключения Октавия, очутившись в святилище Тэдди, испытывала трепетное любопытство. В этой комнате сидел он наедине со своими мыслями, которыми он теперь ни с кем не делился, и мечтами, которые он теперь никому не поверял.

Это была комната спартанца или солдата. Один угол занимала широкая брезентовая койка, другой — небольшой книжный шкаф, третий — грозная стойка с винчестерами и дробовиками. У стены стоял огромный письменный стол, заваленный корреспонденцией, справочниками и документами.

Сколопендра проявила гениальные способности, ухитрившись спрятаться в этой полупустой комнате. Миссис Макинтайр тыкала ручкой метлы под книжный шкаф. Октавия подошла

к постели. Тэдди второпях оставил комнату в полном беспорядке. Горничная-мексиканка не успела ее убрать. Большая подушка еще хранила отпечаток его головы. Октавию осенила мысль, что отвратительное создание могло забраться на постель и спрятаться там, чтобы укусить Тэдди, ибо сколопендры жестоко мстят управляющим, где только могут.

Октавия осторожно перевернула подушку и чуть было не позвала на помощь — там лежало что-то длинное, тонкое, темное. Но она вовремя удержалась и схватила перчатку — серую перчатку, безнадежно измятую — надо полагать, за те бесчисленные ночи, которые она пролежала под подушкой человека, забывшего бал у Хэммерсмитов. Тэдди должно быть, так торопился утром, что на этот раз забыл скрыть ее в дневном тайнике. Даже управляющие, люди, как известно, хитрые и изворотливые, иногда попадаются.

Октавия спрятала серую перчатку за корсаж утреннего летнего платья. Это была ее перчатка. Люди, которые окружают себя крепкой изгородью и помнят бал у Хэммерсмитов только по разговору с рудокопом о штреках, не имеют права владеть подобными предметами.

Но все-таки какой рай эти прерии! Как они цве-

тут и благоухают, когда находится то, что давно считалось потерянным! Как упоителен бьющий в окна свежий утренний ветерок, напоенный дыханием желтых цветов ратамы! И разве нельзя постоять минутку с сияющими, устремленными вдаль глазами, мечтая о том, что ошибку можно исправить?

Почему миссис Макинтайр так нелепо тычет повсюду метлой?

— Нашла, — сказала миссис Макинтайр, хлопая дверью. — Вот она.

— Вы что-нибудь потеряли? — спросила Октавия с вежливым равнодушием.

— Гадина! — яростно воскликнула миссис Макинтайр. — Разве вы о ней забыли?

Вдвоем они уничтожили сколопендру. Такова была ее награда за то, что с ее помощью вновь отыскалось все потерянное на балу у Хэммерсмитов.

Очевидно, Тэдди не забыл о перчатке и, вернувшись на закате, предпринял тщательные, хотя и тайные поиски. Но нашел он ее только поздно вечером, на залитой лунным светом восточной веранде. Перчатка была на руке, которую он считал навеки для себя потерянной, и поэтому он решился повторить некую чепуху, повторять

которую ему когда-то строго запретили. Ограда Тэдди рухнула.

На этот раз тщеславие не стояло на пути, и любовный дуэт прозвучал так естественно и успешно, как и должно быть между пылким пастухом и нежной пастушкой.

Прерии превратились в сад, ранчо Де Лас Сомбрас стало ранчо Света.

Через несколько дней Октавия получила от мистера Бэннистера ответ на письмо, в котором она просила его выяснить некоторые вопросы, связанные с ранчо. Вот часть этого письма:

«Я не совсем понял ваше упоминание об овечьем ранчо. Через два месяца после вашего отъезда было установлено, что означенное ранчо не являлось собственностью полковника Бопри, поскольку документально было доказано, что перед смертью оно было им продано. Об этом мы сообщили вашему управляющему мистеру Уэстлейку который незамедлительно перекупил таковое. Не представляю себе, каким образом этот факт мог остаться неизвестным вам. Прошу вас незамедлительно обратиться к вышеупомянутому джентльмену, который, по крайней мере, подтвердит мое сообщение».

Когда Октавия разыскала Тэдди, она была на-

строена очень воинственно.

— Что вам дает работа на ранчо? — повторила она свой прежний вопрос.

— Сто… — начал было Тэдди, но увидел по ее лицу, что ей все известно. В ее руке было письмо мистера Бэннистера, и он понял, что игра кончена.

— Это мое ранчо, — признался он, как уличенный школьник. — Чего стоит управляющий, который со временем не вытеснит своего хозяина?

— Почему ты здесь работаешь? — упорствовала Октавия, тщетно пытаясь подобрать ключ к загадке Тэдди.

— Говоря начистоту, Тэви, — сказал Тэдди с невозмутимой откровенностью, — не ради жалованья. Его только-только хватало на табак и на крем от загара. На юг меня послали доктора. Правое легкое что-то захандрило из-за переутомления от гимнастики и поло. Мне требовался климат, озон, отдых и тому подобное.

Мгновенно Октавия очутилась в непосредственной близости от пораженного органа. Письмо мистера Бэннистера соскользнуло на пол.

— Теперь… теперь оно здорово, Тэдди?

— Как мескитный пень. Я обманул тебя в одном. Я заплатил пятьдесят тысяч за твое ранчо, как только узнал, что твое право владения не действительно. Примерно такая сумма накопилась на моем счету в банке, пока я тут пас овец, и практически ранчо досталось мне даром. Тем временем там еще наросли проценты, Тэви. Я подумываю о свадебном путешествии на яхте с белыми лентами по мачтам в Средиземное море, потом к Гебридам, а оттуда в Норвегию и до Зюдерзее.

— А я думала, — шепнула Октавия, — о свадебном галопе с моим управляющим среди овечьих стад и о свадебном завтраке с миссис Макинтайр на веранде и, может быть, с веточкой флердоранжа в красной вазе над столом.

Тэдди рассмеялся и запел:

У крошки Бо-Пип голосок охрип —
Разбежались её овечки.
Не надо их звать: все вернутся опять…

Октавия притянула его к себе и что-то шепнула. Но говорила она совсем о других колечках.

Примечания к сборнику

Дверь и мир (The World and the Door), 1907. На русском языке под названием «Как я выкупил Мака» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Теория и собака (The Theory and the Hound), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. В. Азова.

Гипотетический казус (The Hypotheses of Failure), 1904. На русском языке под названием «Гипотетический случай» в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Шифр Кэллоуэя (Calloway's Code), 1906. На русском языке публикуется впервые.

Вопрос высоты над уровнем моря (A Matter of Mean Elevation), 1904. На русском языке под названием «Уровень моря» в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

«Девушка» («Girl»), 1906. На русском языке под названием «Девушка» в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Костюм и шляпа в свете социологии (Sociology

in Serge and Straw), 1906. На русском языке под названием «Социология, шевиот и солома» в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова. Фельетон О. Генри на социальные темы. Ср. «Социальный треугольник» (в сб. «Горящий светильник»).

Вождь краснокожих (The Ransom of Red Chief), 1907. На русском языке под названием «Красный вождь» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Брачный месяц Май (The Marry Month of May), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Формальная ошибка (A Technical Error), 1910. На русском языке под названием «Техническая ошибка» в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Так живут люди (Suite Homes and Their Romance), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Тысяча долларов. Л.-М., 1925, пер. Зин. Львовского.

Коловращение жизни (The Whirligig of Life), 1903. На русском языке под названием «Круго-

ворот жизни» в книге: О. Генри. Сердце Запада. Пг., 1915.

Жертва невпопад (A Sacrifice Hit), 1904. На русском языке под названием «Решительный удар» в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Дороги, которые мы выбираем (The Roads We Take), 1904. На русском языке под названием «Пути, которые мы избираем» в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Сделка (A Blackjack Bargainer), 1901. На русском языке под названием «Необыкновенная продажа» в журнале «Красная нива», 1924, № 33, 34, пер. Зин. Львовского.

Оперетка и квартальный (The Song and the Sergeant), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Игрушечка-пастушечка. М.-Л., 1924, пер. В. Александрова.

Фальшивый доллар (One Dollar's Worth), 1903. На русском языке в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова.

Сила печатного слова (A Newspaper Story), 1904. На русском языке в книге: О. Генри. Шуми-городок над Подземкой. Л.-М., 1924, пер. под ред.

В. Азова.

Громила и Томми (Tommy's Burglar), 1905. На русском языке под названием «Громила маленького Томми» в книге: О. Генри. Пути, которые мы избираем. Пг., 1923, пер. под ред. В. Азова. О. Генри высмеивает здесь слащавую беллетристику в современных американских журналах «для семейного чтения».

Рождественский подарок (A Chaparral Christmas Gift), 1903. На русском языке в книге: О. Генри. О старом негре, больших карманных часах и вопросе, который остался открытым. Л., 1924, пер. под ред. В. Азова.

Особенный нью-йоркский колорит (A Little Local Color), 1904. На русском языке публикуется впервые.

Резолюция (Georgia's Ruling), 1900. На русском языке под названием «Постановление Джорджии» в книге: О. Генри. Игрушечка-пастушечка. М.-Л., 1924, пер. В. Александрова.

Перспектива (Blind Man's Holiday), 1905. На русском языке в книге: О. Генри. Игрушечка-пастушечка. М.-Л., 1924, пер. В. Александрова.

Мадам Бо-Пип на ранчо (Madame Bo-Peep of the Ranches), 1902. На русском языке под названием «Игрушечка-пастушечка» в книге: О. Генри.

Игрушечка-пастушечка. М.-Л., 1924, пер. В. Александрова.